

5463





8p  
с-69

# СОЧИНЕНИЯ

# В. Г. БѢЛИНСКАГО.

## ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора со снимка В. Васнецова и избранными  
письмами БѢлинскаго.

Со справочнымъ указателемъ соч. БѢлинскаго.

5483

4 ДЕК 1921

### ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

1844—1849.

Библиотека  
В. Г. БѢлинскаго  
у ЧИТЕВЪСКОГО  
№ 3255 761.



НБ ПНУС



5463

Южно-Русское Книгоиздательство

**Ф. А. ЮГАНСОНА.**

КІЕВЪ—ПЕТЕРБУРГЪ—ХАРЬКОВЪ.

1902.

1902.

---

Дозволено цензурою. Кієвъ, 3 Сентября 1901 года.

---

**К І Е В Ъ.**

Типографія И. И. Чоколова, Фундуклеевская улица, домъ № 22-й.

**1902.**

# I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

## ТАРАНТАСЪ.

Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. С.-Петербургъ. 1845.

Въ современной русской литературѣ журналъ совершенно убилъ книгу. Между разнымъ балластомъ, все-таки только въ журналахъ, — разумѣется, лучшихъ (которыхъ такъ немного), — можно встрѣчать болѣе или менѣ замѣчательныя произведенія по части изящной литературы. Сюда должно отнести еще сборники или альманахи: въ лучшихъ изъ нихъ тоже попадаются иногда хорошія пьесы. Но хорошая книга теперь истинная рѣдкость, такъ что критикамъ и рецензентамъ ех officio приходится хоть совсѣмъ не упоминать о книгахъ и вмѣсто ихъ разбирать вновь выходящія книжки журналовъ и даже листки газетъ. Тѣмъ большее вниманіе должна обращать критика на всякую книгу, сколько-нибудь выходящую изъ-подъ уровня посредственности. Нечего и говорить, что появленіе книги, которая слишкомъ далеко выходитъ изъ-подъ этого уровня, должно быть истиннымъ праздникомъ для критики. Къ такимъ книгамъ принадлежитъ «Тарантасъ» графа Соллогуба. Несмотря на то, что изъ двадцати главъ, составляющихъ это произведеніе, цѣлыхъ семь главъ были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ 1840 году, — «Тарантасъ» — столько же новое, сколько и прекрасное произведеніе, которое своимъ появленіемъ составило бы эпоху и не въ такое бѣдное изящными созданіями время, каково наше. Семь главъ «Тарантаса», давно уже извѣстныхъ публикѣ, давали понятіе только о достоинствѣ цѣлаго произведенія, а не о идеѣ его, прекрасной и глубокой, которую можно понять только по прочтеніи всего сочиненія, проникнутаго удивительной цѣлостностью и совершеннымъ единствомъ. Многіе видятъ въ «Тарантасѣ» какое-то двойственное произведеніе, въ ко-

торомъ сторона непосредственнаго, художественнаго представленія дѣйствительности превосходна, а сторона возрѣній автора на эту дѣйствительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксовъ, оскорбляющихъ въ читателѣ чувство истины. Подобное мнѣніе несправедливо. Тѣ, кому оно принадлежитъ, не довольно глубоко вникли въ идею автора — и объективную вѣрность, съ какой изобразилъ онъ характеръ одного изъ герсевъ «Тарантаса» — Ивана Васильевича, приняли за выраженіе его личныхъ убѣжденій, — тогда какъ на самомъ дѣлѣ авторъ «Тарантаса» столько же можетъ отвѣчать за мнѣнія героя своего юмористическаго разсказа, сколько, напримѣръ, Гоголь можетъ отвѣчать за чувство, понятія и поступки дѣйствующихъ лицъ въ его «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ Душахъ». Между тѣмъ обычный взглядъ лучшей части читателей на «Тарантасъ» очень понятенъ: при первомъ чтеніи можетъ показаться, будто бы авторъ не чуждъ желанія, хотя и не прямо, а предположительно, высказать черезъ Ивана Васильевича нѣкоторыя изъ своихъ возрѣній на русское общество, и тѣмъ легче увлечется подобнымъ ошибочнымъ мнѣніемъ, что необыкновенный талантъ автора и его мастерство живописать дѣйствительность липаютъ читателя способности спокойно смотреть на картины, которыя такъ быстро и живо проходятъ передъ его глазами. Мы сами на первый разъ увлеклись рѣзкимъ противорѣчіемъ, которое находится между этими безпрестанно смѣняющимися и безпрестанно поражающими новымъ удивленіемъ картинами, и между странными — чтобъ не сказать нелѣпыми, мнѣніями Ивана Васильевича. Это заставило насъ забыть, что мы

читаемъ не легкіе очерки, не силуэты, а произведеніе, въ которомъ характеры дѣйствующихъ лицъ выдержаны художественно, и въ которомъ нѣтъ ничего произвольнаго, но все необходимо протстекаетъ изъ глубокой идеи, лежащей въ основаніи произведенія. Такимъ образомъ беремъ назадъ свое выраженіе въ рецензій о «Тарантасѣ», что въ немъ вмѣстѣ съ дѣльными мыслями много и парадоксовъ. Только въ XV и XVI-й главахъ авторъ «Тарантаса» говоритъ съ читателемъ отъ своего лица; и вотъ—кетати замѣтить—эти-то главы больше всего сбиваютъ читателя съ толку, раздвоя въ его умѣ произведеніе графа Соллогуба и ужасая его множествомъ страшныхъ парадоксовъ. Но мы не скажемъ, чтобъ это были парадоксы: это скорѣе мнѣнія, съ которыми нельзя согласиться безусловно и которыя вызываютъ на споръ. Последнее обстоятельство даетъ имъ полное право на книжное существованіе; съ чѣмъ можно спорить и что стоитъ спора,—то имѣетъ право быть написаннымъ и напечатаннымъ. Есть книги, имѣющія удивительную способность смертельно наскучать читателю, даже говоря все истину и правду, съ которой читатель вполне соглашается; и, наоборотъ, есть книги, которыя имѣютъ еще болѣе удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью ихъ направленія съ его убѣжденіями; онѣ служатъ для читателя повѣркой его собственныхъ вѣрованій, потому что, прочитавъ такую книгу, онъ или вовсе отказывается отъ своего убѣжденія, или умѣряетъ его, или, наконецъ, еще болѣе въ немъ утверждаетъ. Такой книгѣ охотно можно простить даже и парадоксы, тѣмъ болѣе, если они искренны, и авторъ ихъ далеко отъ того, чтобъ подозрѣвать въ нихъ парадоксы. Вотъ другое дѣло—парадоксы умышленные, порожденные эгоистическимъ желаніемъ поддержать вопіющую ложь въ пользу касты или лица: такіе парадоксы не стоятъ опроверженія и спора: прерзательная насмѣшка—единственное достойное ихъ наказаніе...

Не будемъ пускаться въ изслѣдованія—къ какому роду и виду поэтическихъ произведеній принадлежитъ «Тарантасъ». Въ наше время, слава Богу, признается въ мірѣ изящнаго только одинъ родъ—хорошій, запечатлѣнный талантомъ и умомъ, а обо всѣхъ другихъ родахъ и видахъ теперь никто не заботится. Наше время вполне принимаетъ глубоко мудрое правило Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго». Но мы въ отношеніи къ этому правилу гораздо послѣдовательнѣе самого Вольтера, который противорѣчилъ своему собственному принципу, держась преданій и повѣрій фран-

цузскаго псевдо-классицизма. Къ правилу Вольтера: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго», наше время настоятельно прибавляетъ слѣдующее дополненіе: «и несовременнаго».—такъ что полное правило будетъ: «всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго и несовременнаго». Поэтому мы если не признаемъ безусловно хорошимъ всего, что имѣло огромный успѣхъ въ свое время, то во всемъ этомъ видимъ хорошія стороны, смотря на предметъ съ исторической точки. Вслѣдствіе этого, удивляясь великимъ гениямъ Данте, Шекспира, Сервантеса, наше время не отрицаетъ заслугъ Корнеля, Расина и Мольера; не становясь на колѣни передъ Ломоносовымъ, Державинымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, не видя въ нихъ слишкомъ многого для себя собственно,—тѣмъ съ меньшимъ уваженіемъ произноситъ имена ихъ, какъ людей, которыхъ творенія въ ихъ время были современно хороши, т. е. удовлетворяли потребностямъ ихъ современниковъ. Чисто художественная критика, недопускающая историческаго взгляда, теперь нигде не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагоприятная. Художественность и теперь великое качество литературныхъ произведеній; но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духѣ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому теперь посредственно-художественное произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному сознанію, будить вопросы или рѣшаетъ ихъ, гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію внѣ сферы искусства. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всѣ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго, теперь искусство—не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цѣлямъ.

Мы сказали, что «Тарантасъ» графа Соллогуба—произведеніе художественное, но къ этому должны прибавить, что оно въ то же время и современное произведеніе,—что составляетъ одно изъ важнѣйшихъ его достоинствъ, которому обязано оно своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ. Слѣдовательно, «Тарантасъ»—художественное произведеніе въ современномъ значеніи этого слова. Оттого въ него вошли не только разсужденія между дѣйствующими лицами, но и цѣлыя диссертаціи. Оттого оно—не романъ, не повѣсть, не очеркъ, не трактатъ, не изслѣдованіе, но то и другое, и третье вмѣстѣ. Пусть называетъ его каждый какъ кому угодно: тутъ дѣло въ дѣлѣ, а не въ названіи. «Та-

рантасъ» имѣлъ большой успѣхъ: его не только раскупили и прочли въ короткое время, но однимъ онъ очень понравился, другимъ очень не понравился, третьимъ очень понравился и очень не понравился въ одно и то же время; одни его хвалятъ безъ мѣры, другіе бранятъ безъ мѣры, третьи хвалятъ и бранятъ вмѣстѣ; авторъ черезъ него приобрѣлъ себѣ и друзей, и враговъ; о его произведеніи говорятъ, судятъ и спорятъ. Это успѣхъ! По нашему мнѣнію, незавиденъ успѣхъ произведенія, которое возбудило бы однѣ похвалы, одну любовь, безъ порицаній, безъ ненависти; подобный успѣхъ немногимъ лучше полного неуспѣха, т. е. когда произведеніе возбуждаетъ одну брань безъ похвалы,—хотя то и другое все-таки лучше, нежели не возбудить ни похвалы, ни брани, а встрѣтить одно равнодушное невниманіе.

Этого-то необыкновенный успѣхъ «Тарантаса» и налагаетъ на критику обязанность — разсмотрѣть его внимательно со всѣхъ сторонъ. Для этого необходимо прослѣдить все развитіе этого произведенія, безпрестанно выражаясь словами автора или прибѣгая къ выпискамъ. Такой способъ критики нисколько не опасенъ для «Тарантаса», какъ книги: онъ упредилъ нашу статью слишкомъ тремя мѣсяцами, а въ это время его уже вездѣ прочли, и едва ли найдется хотя одинъ читатель, который прочелъ бы нашу статью, еще не успѣвъ прочесть «Тарантаса».

Русская литература, къ чести ея, давно уже обнаружила стремленіе — быть зеркаломъ дѣйствительности. Мысль изобразить въ романѣ героя нашего времени не принадлежитъ исключительно Лермонтову. Евгенийъ Онегинъ тоже — герой своего времени; но и самъ Пушкинъ былъ упрежденъ въ этой мысли, не будучи никѣмъ упрежденъ въ искусствѣ и совершенствѣ ея выполненія. Мысль эта принадлежитъ Карамзину. Онъ первый сдѣлалъ не одну попытку для ея осуществленія. Между его сочиненіями есть неоконченный или, лучше сказать, только что начатый романъ, даже и названный «Рыцаремъ нашего времени». Это былъ вполнѣ «герой того времени». Назывался онъ Леонъ, былъ красавецъ и чувствительный мечтатель. «Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души, первой краской, первой чертой на бѣломъ листѣ ея чувствительности.» Онъ и родился не такъ, какъ родятся нынче, а совершенно романтически, совершенно въ духѣ своего времени. Судите сами по этому отрывку: «На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ прозрачная рѣка Свѣяга и гдѣ, какъ извѣстно по исторіи Натальи бояр-

ской дочери, жалъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій,—тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ, отецъ Леонъ; тамъ родился и самъ Леонъ въ то время, когда природа, подобно любезной кокеткѣ, сидящей за туалетомъ, убиралась, наряжалась въ лучшее свое весеннее платье; бѣлилась, румянилась... веселыми цвѣтами; сморѣлась въ зеркало... водъ прозрачныхъ и завивала себѣ кудри... на вершинахъ древесныхъ — то-есть въ май мѣсяцъ, и въ самую ту минуту, какъ первый лучъ земного свѣта коснулся до его глазной перепонки, въ орѣховыхъ кустахъ зашѣли вдругъ соловей и малиновка, а въ березовой рошѣ закричали вдругъ филинъ и кукушка: хорошее и худое предзнаменованіе! по которому, осмидесятилѣтняя повивальница бабка, принявшая Леона на руки, съ веселой усмѣшкой и съ печальнымъ вздохомъ предсказала ему счастье и несчастье въ жизни, ведро и ненастье, богатство и нищету, друзей и непріятелей, успѣхъ въ любви и рога при случаѣ.» Этого слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что Карамзинъ имѣлъ бы полно правъ своего «Рыцаря нашего времени» назвать «Героемъ нашего времени». Въ повѣсти: «Чувствительный и холодный» (для характера) Карамзинъ, въ лицѣ своего Эраста, тоже изобразилъ одного изъ героев своего времени. Въ юмористическомъ очеркѣ: «Моя исповѣдь», представилъ онъ еще одного изъ героев своего времени, хоть и совсѣмъ въ другомъ родѣ, нежели въ какомъ были его Леонъ и Эрастъ. Послѣ Онегина и Печорина въ наше время никто не брался за изображеніе героя нашего времени. Причина понятна: герой настоящей минуты — лицо въ одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопредѣленное, тѣмъ болѣе требующее для своего изображенія огромнаго таланта. Сверхъ того наша современность кипитъ необыкновеннымъ разнообразіемъ героевъ: въ этомъ отношеніи Чичиковъ, какъ приобретатель, не меньше, если еще не больше Печорина,—герой нашего времени. И потому вся современная русская литература, по необходимости принявъ исключительно юмористическое направленіе, устремилась на изображеніе героевъ современности, смотря по силѣ и средствамъ таланта cadaго писателя. Иванъ Васильевичъ, герой «Тарантаса» — тоже одинъ изъ героевъ нашего времени. Онъ до того мелокъ и ничтоженъ, что авторъ не могъ рисовать его серьезно, и съ перваго же раза выводитъ его смѣшнымъ, — явный знакъ, что это одинъ изъ второстепенныхъ героевъ нашего времени. Но въ то же время нельзя не вмѣнить графу Сол-

логу въ большую заслугу, что онъ именно Ивана Васильевича, а не другого какого-нибудь героя, выбралъ для своего юмористическаго карандаша. потому что современная дѣйствительность кишитъ такими героями, вѣрнѣе сказать, кишитъ Иванами Васильевичами...

Что такое Иванъ Васильевичъ? — Это нѣчто въ родѣ маленькаго донъ-Кихота. Чтобы объяснить отношенія Ивана Васильевича къ настоящему, къ большому, къ испанскому донъ-Кихоту, надо сказать нѣсколько словъ о послѣднемъ. Донъ Кихотъ — прежде всего прекраснѣйшій и благороднѣйшій человекъ, истинный рыцарь безъ страха и упрека. Несмотря на то, что онъ смѣшонъ съ ногъ до головы, внутри и снаружи, — онъ не только не глушь, но, напротивъ, очень уменъ; мало этого: онъ — истинный мудрецъ. Потому ли, что такова уже натура его, или отъ воспитанія, отъ обстоятельствъ жизни, — но только фантазія взяла у него верхъ надъ всѣми другими способностями и сдѣлала изъ него шута и посмѣшище народовъ и вѣковъ. Отъ чтенія вздорныхъ рыцарскихъ сказокъ у него, по русской пословицѣ, умъ за разумъ зашелъ. Живя совершенно въ мечтѣ, совершенно въ современной ему дѣйствительности, онъ лишился всякаго такта дѣйствительности и вздумалъ сдѣлаться рыцаремъ въ такое время, когда на землѣ не осталось уже ни одного рыцаря, а волшебникамъ и чудесамъ вѣрила только тупая чернь. И онъ свято выполнилъ свой обѣтъ — защищать слабыхъ противъ сильныхъ, остался вѣренъ своей воображаемой Дульциней, несмотря на всѣ жестокия разочарованія, которымъ подвергала его совсѣмъ не рыцарская дѣйствительность. Если бъ эта храбрость, это великодушіе, эта преданность, если бъ всѣ эти прекрасныя, высокія и благородныя качества были употреблены на дѣло, въ-время и кстати, — донъ-Кихотъ былъ бы истинно великимъ человекомъ! Но въ томъ-то и состоитъ его отличіе отъ всѣхъ другихъ людей, что сама натура его была парадоксальная, и что никогда не увидѣлъ бы онъ дѣйствительности въ ея настоящемъ образѣ и не употребилъ бы кстати, въ-время и на дѣло богатыхъ сокровищъ своего великаго сердца. Родись онъ во времена рыцарства, — онъ навѣрное устремился бы на уничтоженіе его, и если бъ узналъ о существованіи древняго міра, сталъ бы корчить изъ себя грека или римлянина. Но какъ не было уже и слѣдовъ рыцарства, когда онъ родился, то рыцарство сдѣлалось точкой его помѣшательства, его *idée fixe*. Когда ему случалось выходить на минуту изъ этой мысли, онъ

удивлялъ всѣхъ своимъ умомъ, здравымъ смысломъ, говорилъ какъ мудрецъ. Даже когда мистификація сильныхъ людей осуществилась мечты его рыцарскихъ стремленій, — онъ, въ качествѣ судьи, обнаружилъ не только великій умъ, но даже мудрость. И между тѣмъ въ сущности онъ тѣмъ не менѣе былъ сумасшедшій, шутъ, посмѣшище людей... Мы не беремся примирить это противорѣчіе; но для насъ ясно, что такія парадоксальныя натуры не только не рѣдки, но даже очень часты вездѣ и всегда. Онъ умны, но только въ сферѣ мечты; онъ способны къ самоотверженію, но за призракъ; онъ дѣятельны, но изъ пустяковъ; онъ даровиты, но бесплодно; имъ все доступно, кромѣ одного, что всего важнѣе, всего выше — кромѣ дѣйствительности. Онъ одарены удивительной способностью породить изъ себя цельную идею и увидѣть ея подтвержденіе въ наиболѣе противорѣчащихъ ей фактахъ дѣйствительности. Чѣмъ нелѣпѣе заповшая имъ въ голову идея, тѣмъ сильнѣе пьютъ онъ отъ нея, и на всѣхъ трезвыхъ смотрятъ какъ на пьяныхъ, какъ на сумасшедшихъ, какъ на безумныхъ, а иногда даже какъ на людей безнравственныхъ, злонамѣренныхъ и вредныхъ. Донъ-Кихотъ — лицо въ высшей степени типическое, родовое, которое никогда не переведется, никогда не устарѣетъ, — и въ этомъ-то обнаружилась вся великость генія Сервантеса. Развѣ изувѣръ по убѣжденію въ наше время не донъ-Кихотъ? Развѣ не донъ-Кихоты — эти безумные бонапартисты, которыхъ только смерть герцога рейхштадтскаго заставила разстаться съ мечтой о возможности восстановленія имперіи во Франціи? Развѣ не донъ-Кихоты — нынѣшніе легитимисты, нынѣшніе ультрамонтанисты, нынѣшніе тори въ Англіи? А этотъ нѣкогда великій мыслитель, который въ молодости далъ такое сильное движеніе развитію человѣческой мысли, а въ старости вздумалъ разыграть роль каждаго-то самозваннаго пророка, этотъ Шеллингъ, однимъ словомъ, — развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Къ особеннымъ и существеннымъ отличіямъ донъ-Кихотовъ отъ другихъ людей принадлежитъ способность къ чисто-теоретическимъ, книжнымъ, внѣ жизни и дѣйствительности почерпнутымъ убѣжденіямъ. Есть люди, по мнѣнію которыхъ не только Атилла, самъ Адамъ былъ славянинецъ... это ли не донъ-кихотство?... Другимъ не нравится созданная Петромъ Великимъ Россія, и они съ горя, видно, мечтаютъ о реставраціи блаженной эпохи, когда за употребленіе табака рѣзали носы; другіе идутъ далѣе и хотятъ реставраціи Руси до нашествія татаръ, а третьи желаютъ о возвращеніи въ XIX вѣкъ Руси Гостомыслов-



скихъ временъ, т. е. Руси баснословной... Это ли еще не донъ-кихотство?... А между тѣмъ послушайте-ка этихъ господъ: если вы не согласитесь съ ними, они вамъ скажутъ, что вы отстали отъ вѣка, что вы невѣжда, апостатъ, человекъ безнравственный, вредный.

Теперь обратимся къ Ивану Васильевичу. Это донъ-Кихотъ маленький, донъ-Кихотъ въ миниатюрѣ. У испанскаго донъ-Кихота достало души, чтобъ осуществить на дѣлѣ свою мечту и великодушно пожертвовать ей всѣмъ существомъ своимъ. Только на смертномъ одрѣ понялъ онъ, что онъ—не донъ-Кихотъ, а мирный манчскій помѣщикъ... У Ивана Васильевича стало силы воли только на то, чтобъ отъ Москвы до села Мордасъ провезти въ чужомъ тарантасѣ бѣдную тетрадь, назначенную для путевыхъ замѣтокъ. Иванъ Васильевичъ въ мужикѣ нашель идеаль русскаго человека и хотѣлъ даже двоянъ нарядить въ костюмъ очень похожій на мужицкій, за исключеніемъ желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (собственнаго его, Ивана Васильевича, изобрѣтенія),—а между тѣмъ самъ скорѣе рѣшился бы умереть, нежели на одну складку отступитъ отъ моднаго парижскаго костюма. Такихъ микроскопическихъ донъ-Кихотовъ въ наше время развелось на Руси многое множество. Всѣ они, за исключеніемъ незначительныхъ, разнообразныхъ отгѣнковъ, похожи одинъ на другого, какъ двѣ капли воды. Всѣ они—люди добрые, умные, сочувствующие всему прекрасному, высокому, любятъ разсуждать и спорить о Байронѣ и о матеріяхъ важныхъ, страшные либералы и, въ дополненіе ко всему этому, препустѣйшіе и прескучнѣйшіе люди. Но мы оставимъ ихъ въ сторонѣ и обратимся, наконецъ, исключительно къ ихъ достойному представителю—къ Ивану Васильевичу.

Иванъ Васильевичъ—одинъ изъ этихъ червячковъ, которые имѣютъ свойство блестять въ темнотѣ. Въ глуши провинціи вы обрадовались бы, какъ неожиданному счастью, знакомству съ такимъ человекомъ; даже въ столицѣ, куда вы недавно пріѣхали и всему чужды, вы поздравили бы себя съ подобнымъ знакомствомъ. Сначала вы очень подлюбили бы Ивана Васильевича и не могли бы довольно нахвалиться имъ; но скоро вы съ удивленіемъ замѣтили бы, что въ немъ ничего не обнаруживается новаго, что онъ весь высказался и выказался вамъ, что вы его выучили наизусть, и что онъ сталъ вамъ скученъ, какъ книга, которую вы, за неимѣніемъ другихъ, сто разъ перечли и наизусть знаете. Сначала вамъ покажется, что онъ добръ, даже очень добръ; но потомъ вы увидите, что эта доброта въ немъ—со-

вержно отрицательное достоинство, въ которомъ больше отсутствія зла, нежели положительнаго присутствія добра, что эта доброта похожа на мягкость, свидѣтельствующую объ отсутствіи всякой энергіи воли, всякой самостоятельности характера, всякаго рѣзкаго и опредѣленнаго выраженія личности. И тогда вы поймете, что доброта Ивана Васильевича тѣсно связана въ немъ съ безсиліемъ на зло. Сначала вамъ покажется, что онъ уменъ, даже очень уменъ; вы и потомъ никогда не скажете, чтобъ онъ былъ глупъ, потому что это была бы вопіющая неправда; но вы скоро замѣтите, что умъ его—ограниченный, легкій и поверхностный, который неспособенъ долго и постоянно останавливаться на одномъ предметѣ, неспособенъ къ сомнѣнію и его мукамъ и борьбѣ. Тогда вы поймете, что его умъ чисто страдательный, т. е. способный раздражаться и приходить въ дѣятельность отъ чужихъ мыслей, но неспособный самъ родить никакой мысли, ничего понять самостоятельно, оригинально, неспособный даже усвоить себѣ ничего чужого. Такъ же скоро исчезнетъ и ваше мнѣніе о его талантахъ—и исчезнетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше вы въ нихъ видѣли. Если вы и замѣтите въ немъ способность къ чему-нибудь, то скоро увидите, что она служить ему для того только, чтобъ все начинать, ничего не оканчивая, за все браться, ничѣмъ не овладѣвая. Но всего болѣе приобрѣлъ онъ ваше расположеніе, вашу любовь, даже ваше уваженіе—избыткомъ чувства, готоваго откликнуться на все человѣческое, и что же! съ этой-то стороны всего болѣе и долженъ потерять онъ въ вашихъ глазахъ, когда вы лучше разсмотрите и узнаете его. Его чувство такъ чуждо всякой глубины, всякой энергіи, всякой продолжительности, и между тѣмъ такъ легко воспламеняется и проходитъ, не оставляя слѣда, что оно похоже больше на нервическую раздражительность, на чувствительность (susceptibilité), нежели на чувство. Умъ, сердце, дарованія, словомъ, вся натура Ивана Васильевича такъ устроена, что онъ неспособенъ понять ничего такого, чего не испытать, не видѣть, и потому его могутъ беспокоить или радовать одніи случайности, одни частные факты, на которые ему приходится наткнуться. Слѣдствіе занимаетъ его безъ причины, явленія останавливаютъ его вниманіе, но идеи всегда проходятъ мимо его, такъ что онъ не подозрѣваетъ ея присутствія. Онъ не можетъ жить безъ убѣжденій и гоняется за ними; впрочемъ, ему легко имѣть ихъ, потому что въ сущности ему все равно, чему бы ни вѣрить, лишь бы вѣрить. Когда чье-нибудь рѣзкое возраженіе или какой-нибудь фактъ разобьетъ

его убѣжденіе, — въ первую минуту ему какъ будто больно оттого, но въ слѣдующую затѣмъ минуту онъ или самъ сочиняетъ себѣ новое убѣжденіе, или возьметъ на прокатъ чужое, и на этомъ успокоится. Сильное сомнѣніе и его муки чужды Ивану Васильевичу. Умъ его — парадоксальный и бросающій или на все блестящее, или на все странное. Что дважды-два — четыре, это для него истина пошлая, грустная, и потому во всемъ онъ старается изъ двухъ, умноженныхъ на два, сдѣлать четыре съ половиной или съ четвертью. Простая истина невыносима ему, и, какъ всѣ романтики и страдательно-поэтическія натуры, онъ предоставляетъ ее людямъ съ холоднымъ умомъ, безъ сердца. Во всемъ онъ видитъ только одну сторону, — ту, которая прежде бросится ему въ глаза, и изъ-за нея ужъ никакъ не можетъ видѣть другихъ сторонъ. Онъ хочетъ во всемъ встрѣчать одно, и голова его никакъ не можетъ мирить противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ, напримѣръ, во Франціи онъ увидѣлъ борьбу корыстныхъ расчетовъ и мелкихъ интригъ — и съ тѣхъ поръ Франція, его прежній идеалъ, вовсе перестала существовать для него... Онъ неспособенъ понять, что добро и зло идутъ д-бокъ, и что безъ борьбы добра со зломъ не было бы движенія, развитія, прогресса, словомъ — жизни; что историческое лицо можетъ въ одно и то же время дѣйствовать и по искреннему убѣжденію и по самолюбію, и что исторія — говоря метафорически — есть гумно, на которомъ цѣнами анализа отдѣляются зерна отъ мякины человѣческихъ дѣяній, и что количество мякины, хотя бы и превосходящее количество зеренъ, никогда не можетъ уничтожить цѣны и достоинства самыхъ зеренъ. Нѣтъ, ему давайте или одно бѣлое, или одно черное, но тѣней и разнообразія красокъ онъ не любитъ. Для него не существуютъ люди такъ, какъ они суть: онъ видитъ въ нихъ или демоновъ, или ангеловъ. Все это происходитъ отъ бѣдности его натуры, рѣшительно неспособной ни къ убѣжденіямъ, ни къ страстямъ, способной только къ фантазіямъ и чувствованіямъ. А между тѣмъ съ тѣхъ поръ, какъ только началъ онъ себя помнить, онъ смотрѣлъ на себя, какъ на чловѣка, отмѣченнаго перстомъ Провидѣнія, назначеннаго къ чему-то великому или по крайней мѣрѣ необыкновенному... Это очень обыкновенное явленіе въ обществахъ неустановившихся, полуобразованныхъ, гдѣ все пестро, гдѣ невѣжество рядомъ идетъ съ знаніемъ, образованность — съ дикостью. Въ такомъ обществѣ всякому чловѣку, который обнаруживаетъ какое-нибудь стремленіе или

хоть просто претензію на образованность, который живетъ не совсемъ такъ, какъ всѣ живутъ, и любитъ разсуждать, — всякому такому чловѣку легко увѣрить себя (и при томъ очень искренно) и другихъ, что онъ — гениальный чловѣкъ. Если же при этомъ онъ не глупъ и не тупъ, одаренъ способностью легко схватывать со всего вершки, много читаетъ, обо всемъ говоритъ съ жаромъ и рѣшительно, бранить толпу, да собирается путешествовать — то онъ гений, непременно гений! Вслѣдствіе этого онъ всю жизнь къ чему-то готовится... Прежде Иваны Васильевичи носились съ своими непонятными толпѣ внутренними страданіями, восторгами и разочарованіями, корчили изъ себя Фаустовъ, Манфредовъ, Корсаровъ; теперь мода на эти глупости проходить, и потому Иваны Васильевичи теперь пустились изучать Западъ и Россію, чтобъ разгадать будущность отечества и узнать, чѣмъ они могутъ быть ему полезны. Въ томъ и другомъ случаѣ главную роль играетъ непомѣрное самолюбіе бѣдной натуры; самолюбіе — единственная страсть такихъ людей. Прежде Иваны Васильевичи съ истинно-гениальнымъ самоотверженіемъ доходили до грустнаго убѣжденія, что толпѣ не понять ихъ, и что имъ нечего дѣлать на землѣ; теперь это сдѣлалось пошло, и потому теперь Иваны Васильевичи рѣшились убѣдиться, что Западъ гниеть...

Вотъ нашъ взглядъ на Ивана Васильевича, какъ на лицо, на характеръ. Когда мы прослѣдимъ нить событій, развивающихся въ «Тарантасѣ», — читатели увидятъ сами, до какой степени вѣренъ нашъ взглядъ. Но прежде намъ надобно сказать, что авторъ «Тарантаса» очень умно и ловко далъ своему маленькому донъ-Кихоту спутника, — не Санчо-Пансу, а олицетворенный непосредственный здравый смыслъ, въ лицѣ Василія Ивановича, медвѣдеобразнаго, но весьма почтеннаго казанскаго помѣщика. Иванъ Васильевичъ — непризнанный, самозванный гений, питающій реформаторскія намѣренія насчетъ толпы; Василій Ивановичъ — толпа, которая своимъ пошлымъ здравымъ смысломъ обиваетъ восковыя крылья самозванному гению. Здравый смыслъ толпы кажется пошлымъ истинному гению и рано или поздно падаетъ во прахъ передъ его высокимъ безуміемъ; но онъ — бичъ самолюбивой посредственности, и немилосердно бьетъ ее, даже иногда самъ не зная, какъ и чѣмъ. Таковы отношенія другъ къ другу обоихъ героевъ «Тарантаса». Первую и главную роль играетъ, безъ сомнѣнія, Иванъ Васильевичъ; но Василій Ивановичъ необходимъ для Ивана Васильевича: безъ перваго послѣдній не былъ бы такъ опредѣлительнъ,

ярко, рельефно обрисованъ,—извѣстно, что ничто такъ рѣзко не выказываетъ вещи, какъ противоположность. Въ нравственномъ отношеніи между Иваномъ Васильевичемъ и Василиемъ Ивановичемъ существовала такая же противоположность, какъ и между героями извѣстной повѣсти Гоголя; у одного голова похожа на рѣдкую хвостомъ внизъ; у другого—на рѣдкую хвостомъ вверхъ. Впрочемъ, нельзя рѣшить, кто изъ нихъ правъ и съ кѣмъ изъ нихъ должно соглашаться; мы даже думаемъ, что въ дѣйствительности истинно дѣянный человекъ убѣжитъ отъ того и другого: отъ одного, какъ отъ неуклюжаго, косолапаго медвѣдя,—отъ другого, какъ отъ крикливаго ученаго попугая. Но книга—не жизнь; въ книгѣ можно съ кѣмъ угодно ужиться, въ книгѣ очень милы даже и герои «Ревизора». И потому мы не убѣжимъ отъ Ивана Васильевича и Василия Ивановича, а, напротивъ, побѣжимъ къ нимъ. Они очень интересны для изученія, а изучать ихъ можно только обоеихъ вмѣстѣ. Итакъ, къ нимъ,—но не на Тверской бульваръ въ Москвѣ, гдѣ они встрѣтились, даже не въ тарантасъ, въ которомъ они ѣхали, а въ ихъ деревни—посмотримъ, какъ они родились, выросли и стали такими, какими встрѣчаетъ ихъ читатель на Тверскомъ бульварѣ, въ первой главѣ «Тарантаса».

Итакъ, мы начнемъ даже и не съ середины, а чуть ли не съ конца—съ XV и XVI главъ, отъ которыхъ уже перейдемъ къ первой главѣ. Начнемъ, какъ это сдѣлалъ и самъ авторъ, съ медвѣдя:

„Василій Ивановичъ родился въ Казанской губерніи, въ деревнѣ Мордасахъ, въ которой родился и жилъ его отецъ, въ которой и ему было суждено жить и умереть. Родился онъ въ восьмидесятихъ годахъ и мирно развился подлѣ сѣньи отеческаго крова. Ребенку было привольно расти. Въгаль онъ весело по господскому двору, погоняя кнутикомъ трехъ мальчишекъ, изображающихъ тройку лошадей, и поспегивая весьма порядочно притяжныхъ, когда онъ недостаточно закидывали головы на сторону. Любилъ онъ также тѣшить вѣчныи свой досугъ чуркомъ, бабками, свайкой и городками, но главное основаніе системы его воспитанія заключалось въ голубятнѣ. Василій Ивановичъ провелъ лучшія минуты своего дѣтства въ голубятнѣ, сманивалъ и ловилъ крестьянскихъ чистыхъ голубей и приобрѣлъ весьма обширныя свѣдѣнія касательно козырныхъ и турмановъ.

„Отецъ Василія Ивановича, Иванъ Федотовичъ, имѣлъ какое-то несчастье испортить себѣ въ молодости желудокъ. Такъ какъ по близости доктора не обрѣталось, то какой-то сосѣдъ присовѣтовалъ ему прибѣгнуть для поправленія здоровья къ постоянному употребленію травничка. Иванъ Федотовичъ до того пристрастился къ своему способу лѣченія, до того усиливалъ приемы, что скоро приобрѣлъ въ околоткѣ весьма недиковинную славу человека, пьющаго запоемъ. Современемъ барскій запой сдѣлался постояннымъ, такъ что каждый день утромъ, въ десять часовъ,

Иванъ Федотовичъ съ хозяйской точностью былъ уже немощко подшефе, а въ одиннадцатъ совершенно пьянъ. А какъ пьяному человеку скучно одному, то Иванъ Федотовичъ окружилъ себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговаль онъ, правда, себѣ карлу, но карла пришелся слишкомъ дорого, и былъ тогда же отправленъ въ Петербургъ къ какому-то вельможѣ. Надлежало, слѣдовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которыхъ одѣвали въ затрапезныя платья съ красными фигурами и заплатами на спинѣ, съ рогами, хвостами и прочими смѣшными украшениями. Иногда морили ихъ голодомъ для смѣха, били по носу и по щекамъ, травили собаками, кидали въ воду и вообще утребляли на всевозможныя забавы. Въ такихъ удовольствіяхъ проводилъ цѣлый день, и когда Иванъ Федотовичъ ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки, обрваные казачки щекотали ему леговко пятки и обгоняли кругомъ его мухъ. Дураки должны были ссориться въ уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучеръ вдругъ прогонялъ дремоту и оживлялъ ихъ бесѣду звонкимъ прикосновеніемъ арапника.

„Мать Василія Ивановича, Арина Анкимовна, имѣла тоже свою дуру, но ужъ больше для приличія и, такъ сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрѣла за работами, знала, кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотбѣ, свидѣтельствовала на мельницѣ закромы, надматривала ткацкую, мужичи приказывала наказывать при себѣ, а женщинъ иногда и сама трепала за косу. Само собой разумѣется, кругомъ ея образовалась цѣлая куча разностепенной дворни, приживалокъ, наушницъ, кумушекъ, нянекъ, дѣвокъ, которыя, какъ водится, цѣловали у Василія Ивановича ручку, кормили тайкомъ медомъ, поили бражкой и угождали ему всячески въ ожиданіи будущихъ благъ.“

Говоря о такомъ произведеніи, какъ «Тарантасъ», нѣтъ никакой возможности избѣжать выписокъ, и частыхъ, и довольно длинныхъ; у какаго рецензента поднимется рука—пересказывать своими словами, напримѣръ, содержаніе сейчасъ выписаннаго нами отрывка, заключающаго въ себѣ такую вѣрную, такъ мастерски написанную картину русскаго семейства? Здѣсь не знаешь, чему больше удивляться въ авторѣ, глубокому ли его знанію дѣйствительности, которую онъ изображаетъ, или его мастерству изображать! Но обратимся къ Василію Ивановичу. Онъ росъ себѣ, говоритъ авторъ, по простымъ законамъ природы, какъ растетъ капуста или горохъ. Десяти лѣтъ началъ онъ учиться у дьяча грамотѣ и два года добилъ азы; писалъ онъ выучился прескверно и кончилъ свой курсъ наукъ катехизисомъ и ариметикой въ вопросахъ и отвѣтахъ. Кромѣ дьячка, у него былъ еще учителемъ отставной унтеръ-офицеръ изъ малороссіянъ, Вухтичь.

„Получалъ онъ (Вухтичь) жалованья шестьдесятъ рублей въ годъ, да отсыпной муки по два пуда въ мѣсяцъ, да изношенную платку съ

N 761.

барскаго плеча и нѣчто изъ обуви. Кромѣ того, такъ какъ платья было немного, потому что Иванъ Федотовичъ вѣчно ходилъ въ халатъ, то Вухтичу было еще предоставлено въ утѣшеніе держать свою корову на господскомъ кормѣ. Василій Ивановичъ мало оказывалъ почтенія учителю, ѣздилъ верхомъ на его спящъ, дразнилъ его языкомъ и нерѣдко швырялъ ему книгой прямо въ носъ. Если же терпѣливый Вухтичъ и выйдетъ, бывало, наконецъ изъ терѣбна и схватится за линейку, Василій Ивановичъ кувиркомъ побѣжитъ жаловаться тятенькѣ, что учитель его, такой, сякой, бьетъ-де его палкой и бранить его дурными словами. Тятенька съ пьяна раскричится на Вухтича: „Ахъ, ты, съдой этакой цесъ, я тебя кормлю и одѣваю, а ты у меня въ дому шумѣть задумалъ! Вотъ я тебя... смотри, по шеямъ велю выводить... Не давать коровѣ его сѣна...“ А кумушки и приживалки окружаютъ Василія Ивановича и начнутъ его утѣшать: „Неаглядное ты наше красное солнышко, свѣтъ наша радость, баринъ ты нашъ, позвольте ручку поцѣловать... Не слушайте, ягода, золотой вы нашъ, хохла поганого. Овъ — мужикъ, нашъ братъ... Гдѣ ему знать, какъ съ знатными господами обиходить имѣть...“

— „Что же въ самомъ дѣлѣ,—думалъ Вухтичъ, не ходить же по міру“. Заключеніемъ всего этого было то, что Вухтичъ женился на дворовой дѣвкѣ, получилъ въ награжденіе двѣ десятины земли, и воспитаніе Василія Ивановича было окончено.“ (Стр. 177).

Изобразивъ съ такой поразительной вѣрностью «воспитаніе» Василія Ивановича и сказавъ, что даже и оно не испортило его доброй натуры, — авторъ удивляется тому, что все наши дѣды и прадѣды воспитывались такъ же, какъ и Василій Ивановичъ, а между тѣмъ не въ примѣръ намъ были отличнѣйшіе люди, съ твердыми правилами, — что особенно доказывается тѣмъ, что они «крѣпко хранили не по логическому убѣжденію, а по какому-то странному (?) внушенію (?), любовь ко всемъ нашимъ отечественнымъ постановленіямъ.» Здѣсь авторъ что-то темновато разсуждаетъ; но, сколько можемъ мы понять, подъ отечественными постановленіями онъ разумѣетъ старыя обычаи, которыхъ наши дѣды и прадѣды дѣйствительно крѣпко держались. Кому неизвѣстно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только съ малѣйшей части своихъ подданныхъ? Впрочемъ, добродѣтель, которая возбуждаетъ такой энтузіазмъ въ авторѣ «Тарангаса» и которая заключается въ крѣпкомъ храненіи старыхъ обычаевъ, — именно изъ того и вытекла, что наши дѣды и прадѣды, какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «были точно люди не грамотные». Мы не можемъ прійти въ себя отъ удивленія, не понимая, чему же авторъ тутъ удивляется... Эта добродѣтель и теперь еще сохранилась на Руси, именно — между старообрядцами разныхъ толковъ, которые, какъ извѣстно, въ грамотѣ очень несильны. Китайцы тоже отличаются этой добродѣтелью, именно

потому, что они, при своей грамотности, ужасные невѣжды и обскуранты. Но еще больше китайцевъ отличаются этой добродѣтелью безчисленныя породы безсловесныхъ, которыя совѣмъ неспособны знать грамотѣ и которыя до сихъ поръ живутъ точь-въ-точь, какъ жили ихъ предки съ перваго дня созданія. Вотъ, если бы авторъ «Тарангаса» напелъ гдѣ-нибудь людей просвѣщенныхъ и образованныхъ, но которые крѣпко держатся старыхъ обычаевъ, и удивился бы этому, — тогда бы мы нисколько не удивились его удивленію и вполнѣ раздѣлили бы его...

Мы не будемъ говорить, какъ Василій Ивановичъ служилъ въ Казани, плясалъ на одномъ балу казачка и влюбился въ свою даму; но мы не можемъ пропустить рачеи его «дражайшаго родителя» въ отвѣтъ на «покорнѣйшую» просьбу «послушнѣйшаго» сына о благословеніи на бракъ: «Вишь, щенокъ, что затѣялъ; еще на губахъ молоко не обсохло, а ужъ о бабѣ думаетъ». Отъ матери онъ услышалъ то же самое. Воля мужа была ей закономъ. Даромъ, что пьяница, думала она, а все-таки мужъ. При этомъ авторъ не могъ удержаться отъ восклицанія: «такъ думали въ старину!». Хорошо думали въ старину! прибавимъ мы отъ себя. Когда милый «тятенька» Василія Ивановича умеръ отъ сивухи, добрые его крестьяне горько о немъ плакали; картина была умиленная... Авторъ очень остроумно замѣчаетъ, что «любовь мужика къ барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая»: мы въ этомъ столько же увѣрены, какъ и онъ... Наконецъ, Василій Ивановичъ женился и поѣхалъ въ Мордасы; на границѣ помѣстья все мужики, «стоя на колѣняхъ», ожидали молодыхъ съ хлѣбомъ и съ солью. «Русскіе крестьяне, — говоритъ авторъ, — не кричатъ виватовъ, не выходятъ изъ себя отъ восторга, но тихо и трогательно выражаютъ свою преданность; и жалокъ тотъ, кто видитъ въ нихъ только лукавыхъ, безсловесныхъ рабовъ и не вѣруетъ въ ихъ искренность.» Объ этомъ предметѣ мы опять думаемъ точно такъ же, какъ самъ авторъ. Если бы Василій Ивановичъ спросилъ у своего старосты, отчего крестьяне такъ радуются, — староста навѣрное отвѣтилъ бы:

...они

На радости, тебя увидя, пляшутъ.

Послѣ этого Василій Ивановичъ сдѣлался, какъ и слѣдовало отъ такого воспитанія и такихъ примѣровъ, предобродѣтельнымъ помѣщикомъ. Онъ поправилъ мужиковъ, управляя ими по «русской методѣ», безъ агрономическихъ и филантропическихъ усю-

вершенствованій. Учитъ сына поручилъ уже не дьячку, а семинаристу. Старые сосѣди говорили о Василии Ивановичѣ, что онъ— «продувная шельма», а молодые, что онъ— «попильный дуракъ»; но въ сущности онъ былъ добродѣтельный помѣщикъ села Мордасъ, въ которомъ пока и оставимъ его, чтобъ захватъ въ сосѣдную деревню— къ родителямъ Ивана Васильевича.

Иванъ Васильевичъ родился черезъ тридцать лѣтъ послѣ Василия Ивановича. Это даетъ намъ надежду, что авторъ представить намъ совсѣмъ другую картину воспитанія, въ которой будетъ виденъ прогрессъ цѣлыхъ тридцати лѣтъ— огромнаго періода времени для Россіи, которая такъ быстро развивается. Василий Ивановичъ родился въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія; слѣдовательно, Иванъ Васильевичъ родился или около 1815 года. Или немного позже. Мать его была какая-то княжна средней руки, недавняго восточнаго происхожденія, какъ говоритъ авторъ, и была помѣшана на французскомъ языкѣ. Несмотря на всѣ свои претензіи, какъ старая дѣвка безъ приданого, она была принуждена выйти замужъ за помѣщика, который «не былъ похожъ на Малекъ-Аделя или на Eugène de Rothelin, не былъ похожъ даже на лютаго тирана, а скорѣй на сурка: ѣлъ, спалъ, да рыскалъ цѣлый день по полю.» Отъ этой-то достойной четы родился Иванъ Васильевичъ. Воспитаніе его поручено было французскому гувернеру. «Всѣмъ извѣстно,—говоритъ авторъ, что французы долго мстили намъ за свою неудачу, оставивъ за собою несмѣтное количество фельдфебелей, фельдшеровъ, сапожниковъ, которые, подъ предлогомъ воспитанія, испортили на Руси едва ли не цѣлое поколѣніе» (стр. 197). Замѣчаніе энергическое и остроумное, но, во-первыхъ, совсѣмъ не новое—уже тысячу тысячъ разъ было предметомъ сильныхъ остротъ журналовъ и нравоучительныхъ романовъ добраго стараго времени; во-вторыхъ, оно едва ли основательно. Человѣку, несчастной судьбой занесенному въ чуждую страну, нечего ѣсть, а умирать съ голоду естественно не хочется: что жъ тутъ острить, что онъ схватился даже и за воспитаніе, чтобъ добыть кусокъ хлѣба? Авторъ могъ бы безъ всякихъ натяжекъ обнаружить свое остроуміе на счетъ невѣждъ, которые Богъ знаетъ кому поручали воспитаніе своихъ дѣтей: все смѣшное на сторонѣ этихъ дражайшихъ родителей. Эмигрантовъ авторъ не смѣшиваетъ съ этой саранчей: да, французскіе эмигранты, конечно, люди почтенные въ глазахъ многихъ, и мы не станемъ спорить съ этими «многими». Гувернеръ Ивана Васильевича былъ эмигрантъ. Съ уди-

вительной ироніей авторъ рассказываетъ намъ, какъ Иванъ Васильевичъ узналъ, что Расинъ первый поэтъ въ мірѣ, а Вольтеръ— такая тьма мудрости, что и подумать страшно. Воспитаніе Ивана Васильевича, какъ и слѣдуетъ, было самое поверхностное и безтолковое, уже потому только, что его воспитывалъ человѣкъ, который случайно слѣдался воспитателемъ. Это такъ естественно! А между тѣмъ мы далеки отъ того, чтобъ слишкомъ нападать и на родителей, поручавшихъ своихъ дѣтей такимъ воспитателямъ. Гдѣ же имъ было искать лучшихъ? Университеты русскіе тогда были совсѣмъ не то, что теперь, а ученые того времени, за слишкомъ рѣдкими исключеніями, часто казались сродни «зеленому господину» въ «Петебургскихъ Углахъ» Некрасова. Слѣдовательно, въ такомъ состояніи воспитанія никто не былъ виноватъ, и въ мѣ кажется, что даровитый авторъ обращаетъ на воспитаніе слишкомъ исключительное вниманіе, почти вовсе упуская изъ вида натуру своего героя. Въ такомъ воспитаніи—вся надежда на добрую натуру воспитанника. Въдъ Василий Ивановичъ, по словамъ автора, не погибъ же отъ самаго ужаснаго воспитанія, благодаря добрымъ наклонностямъ его природы? Почему же съ Иваномъ Васильевичемъ не то сбылось? А гдѣ же онъ, даже и по воспитанію, имѣлъ огромныя преимущества предъ Василиемъ Ивановичемъ, потому что зналъ хотя одинъ иностранный языкъ (а это совсѣмъ не пустяки) и имѣлъ хоть какія-нибудь познанія, какъ бы поверхностны и пусты они ни были. Будь у него добрая натура, ему не поздно было бы проснуться отъ своего ничтожества даже въ двадцать лѣтъ, и дѣльнымъ трудомъ (который для него былъ такъ возможенъ, потому что онъ зналъ уже иностранный языкъ) воротить потерянное въ дѣтствѣ время. И какую пользу принесло бы ему путешествіе въ Европу!.. Но мы сейчасъ увидимъ, какъ воспользовалась этимъ путешествіемъ слабая голова Ивана Васильевича. Авторъ самъ чувствовалъ необходимость взглянуть на натуру своего героя, но слѣдалъ это вскользь и не совсѣмъ впадать: «Иванъ Васильевичъ былъ мальчикъ совершенно славянской породы, то есть лѣнивый, но бойкій» (стр. 199). Такъ, русская лѣнь—большая помѣха во всемъ русскому человѣку, но еще не непреодолимое препятствіе, и не въ ней корень зла: корень лежитъ глубже, его надо искать въ отсутствіи опредѣленнаго общественнаго мнѣнія, которое каждому указывало бы его путь, а не становило бы его на распутии, говоря: иди, куда хочешь. Что же касается до Ивана Васильевича, корень зла его жизни заключался въ его слабой,

ничтожной натурашкѣ, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти, и вѣчно гонящейся за убѣжденіями и страстями не по внутренней потребности, а по самолюбію и отъ скуки. Отъ гувернера перешелъ въ одинъ частный пансіонъ въ Петербургѣ, гдѣ наблюдалась удивительная чистота, а ушли вздорамъ и плохо. Иванъ Васильевичъ лѣнился и молодечествовалъ трубкой, водкой и другими пороками взрослыхъ, а на выпускномъ экзаменѣ срѣзался. Это заставило его подумать о себѣ. «Онъ почувствовалъ, что не рожденъ для безсмысленнаго разврата, а что въ немъ таится что-то живое, благородное, просящееся на свѣтъ, требующее дѣятельности, возвышающее душу.» Онъ бы не прочь былъ и приняться за свое перевоспитаніе; «но какъ начать учиться, когда нѣкоторые товарищи уже титулярные совѣтники и веселятся въ свѣтъ?» А! вотъ что! Малая натура сказала! Ступайте-ка служить, Иванъ Васильевичъ,—куда вамъ учиться! Но оказалось, что онъ не годился и въ чиновники, и потому бросилъ службу; потомъ влюбился,—и тутъ толку не было; бросился въ свѣтъ,—и то надобло; хватался за поэтовъ, за науки, «принимался за все горяча, но горячность скоро проходила; онъ утомлялся и искалъ минутнаго разсѣянія, глупой забавы. Онъ сдѣлался истинно жалкимъ человѣкомъ, не оттого, чтобъ положеніе его было несчастливое, но оттого, что онъ ни въ чемъ не могъ принимать долго участія, оттого, что самъ собою былъ недоволенъ, оттого, что усталъ самъ отъ самого себя.» Наконецъ, онъ отправился за границу. Сперва посѣтилъ Берлинъ. «Знаменитости, передъ которыми онъ готовился благоговѣть, произвели на него то же самое впечатлѣніе, какъ кассиръ его министерства или излеровскій маркеръ. У одной знаменитости былъ носъ толстый, у другой—бородавка на щекѣ.» Вздумалъ, было, носѣщать лекціи, но увидѣлъ, что безъ приготовленія нельзя ихъ понимать. «Въ Германіи объяснилась ему тайна воспитанія. Онъ видѣлъ, какъ здѣсь каждый человѣкъ, отъ мужика до принца, вращается въ своемъ кругѣ терпѣливо и систематически, не запуская слишкомъ высоко, не падая слишкомъ низко. Онъ видѣлъ, какъ каждый человѣкъ выбираетъ себѣ дорогу и идетъ себѣ постоянно по этой дорогѣ, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу изъ виду своей цѣли.» И жалкій бѣднякъ, который уже своей натурой осужденъ на вѣкъ остаться духовно-малолѣтнимъ, принялся проклинать своего француза-наставника, вмѣсто того чтобъ ругнуть хорошенько самого себя... Потомъ онъ началъ ругать нѣмцевъ

за то, что они дѣлѣе его: для слабыхъ натуръ это не послѣднее средство утѣшиться въ горѣ! Но кромѣ того вообще въ русской натурѣ—оправдываться въ своихъ недостаткахъ недостатками другихъ; одна изъ любимыхъ поговорокъ русскаго человѣка: «славы бубны за горами».

Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ Парижъ. Сначала онъ увлекся шумнымъ и разнообразнымъ движеніемъ парижской жизни, но скоро «онъ увидѣлъ собственную исторію въ огромномъ размѣрѣ: вѣчный шумъ, вѣчную борьбу, вѣчное движеніе, звонкія рѣчи, громкіе возгласы, безмѣрное хвастовство, желаніе высказаться и стать передъ другими, а на днѣ этой кипящей жизни—тяжелую скуку и холодный эгоизмъ.» Подлинно, всякій во всемъ видитъ свое, въ оправданіе Шеллинговской системы тождества и въ то же время въ оправданіе басни Крылова, извѣстная героиня которой, затесавшись на барскій дворъ, ничего не увидѣла тамъ, кромѣ навоза... Бѣдный Иванъ Васильевичъ! ему вездѣ и во всемъ суждено видѣть ужасную дрянъ—самого себя... Нѣтъ—виноваты!—въ Италіи онъ увидѣлъ искусство, и оно освѣжило его. По крайней мѣрѣ такъ увѣряетъ авторъ. Мы вѣримъ ему, хотя въ то же время вѣримъ и тому, что безъ приготовленія, безъ страсти, безъ труда и настойчивости въ развитіи чувства изящнаго въ самомъ себѣ искусство никому не дается. Минутное раздраженіе нервовъ—еще не проникновеніе въ тайны искусства; минутное развлеченіе новыми предметами—еще не наслажденіе ими.—Авторъ увѣряетъ (стр. 210), что Италія не пала, не погибла, не скоронена, и совѣтуетъ ей не вѣрить коварнымъ словамъ, истину которыхъ она сама хорошо понимаетъ. Впрочемъ, никто не станетъ спорить, чтобъ природа Италіи, развалины и обломки ея прежней богатой жизни не были обаятельно прекрасны. Къ ней идетъ сравненіе, сказанное Байрономъ о Греціи: это прекрасная женщина, которая еще прекрасна и въ гробѣ. Но Греція воскресла, и для нея это сравненіе уже не годится.

Непріязненные толки иностранцевъ о Россіи заставили Ивана Васильевича думать о своемъ отечествѣ и полюбить его. Черта, вполнѣ достойная Ивана Васильевича! Пустота составляетъ душу этого человѣка, и въ его пустотѣ есть какое-то тревожное, суетливое стремленіе безъ всякой способности достиженія. Въ немъ нѣтъ ничего непосредственнаго, живого: ему нужно, чтобъ его толкали извнѣ, и только тогда можетъ онъ бросаться, на время и не надолго, то на то, то на другое. Такимъ образомъ безъ побѣдки за границу ему никогда не пришло

бы въ голову полюбить Россію, даже никогда не вздумалось бы, что земля, въ которой онъ живетъ, называется Россіей, и что онъ самъ—гражданинъ этой земли. Поэтому, какъ понятно, что и теперь, когда, благодаря путешествію, онъ полюбилъ Россію,—какъ понятно, что это — не чувство, а новая мечта его празднопатающей фантазіи! «Тогда рѣшилъ онъ изучить свою родину основательно, и такъ какъ онъ принимался за все съ восторгомъ, то и отчизнолюбіе въ немъ загорѣлось бурнымъ пламенемъ.» Возвратившись въ Россію, онъ вооружился книгой для своихъ путевыхъ впечатлѣній и очинилъ перо. Но что будетъ изъ этого? Что напишетъ онъ? Что откроетъ? Что скажетъ вамъ? — Кажется, ничего!» (стр. 212). Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что Иванъ Васильевичъ не приученъ къ упорному труду: мы принимаемъ эту причину, но какъ одну изъ второстепенныхъ. Первая и главная причина—въ натурѣ Ивана Васильевича, неспособной ни къ убѣжденію, ни къ страсти,—въ его умѣ, неспособномъ выдерживать отрицанія и идти до послѣднихъ слѣдствій...

Теперь пойдемъ за нашими героями въ Москву на Тверской бульваръ и послушаемъ нѣкоторые отрывки изъ разговора.

- Откуда ты?  
 — Я былъ за границей.  
 — Вотъ-съ! а гдѣ, жоль смѣю спросить?  
 — Въ Парижѣ шесть мѣсяцевъ.  
 — Такъ-съ.  
 — Въ Германіи, въ Италіи.  
 — Да, да, да, да... Хорошо... а коли смѣю спросить, много деньжонокъ изволятъ порастрасти?  
 — Какъ-съ?  
 — Много ли, братъ, промотыжничаль...  
 — Довольно-съ.  
 — То-то... а батюшка-то твой, мой сосѣдъ, что скажетъ на это? Вѣдь старжки-то не очень сговорчивы на дѣтское мотовство... Да и годы-то плохіе. Ты, чай, слышала, что у батюшки всю гречиху градомъ побилло?  
 — Батюшка писалъ съ; я самъ теперь къ нему собираюсь.  
 — Хорошее дѣло—старика утѣшить. А... смѣю спросить, какого чина?  
 — Такъ и есть! подумалъ молодой человекъ, — 12 класса, отвѣчалъ онъ, запинаясь...  
 — Гм... не важно... а ужъ въ отставкѣ, чай?  
 — Въ отставкѣ.  
 — То-го же. Вы, молодые люди, вбили себѣ въ голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишкомъ, изволите видѣть, стали.—А теперь, коли смѣю спросить, что вы намѣрены дѣлать-съ... Ась?  
 — Да я хотѣлъ бы, Василій Ивановичъ, посмотреть на Россію, познакомиться съ ней.  
 — Какъ-съ?  
 — Я хотѣлъ бы изучить свою родину.  
 — Что, что, что?...  
 — Я намѣренъ изучить свою родину.  
 — Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?...  
 — Изучать мою родину... изучать Россію.  
 — А какъ это вы, батюшка, будете изучать Россію?...

— Да въ двухъ видахъ... въ отношеніи ея древности и въ отношеніи ея народности, что, впрочемъ, тѣсно связано между собой. Разбрасывая наши памятники, наши повѣрья и преданья, прислушиваясь ко всѣмъ отголоскамъ нашей старины, мнѣ удастся... виноватъ, намъ... мы, товарищи и я... мы дойдемъ до познанія народнаго духа, нрава и требованія, и будемъ знать, изъ какого источника должно возникать наше народное просвѣщеніе, пользуясь примѣромъ Европы, но не принимая его за образецъ.

— По-моему, сказалъ Василій Ивановичъ:— я нашелъ тебѣ самое лучшее средство изучать Россію—жениться. Брось пустяга слова, да поѣдемъ-ка, братъ, въ Казань. Чинъ у тебя небольшой, однако офицерской. Имѣние у васъ дворянское. Партію легко найдешь. На невѣсть у насъ, слава Богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить со старикомъ. Пора и объ немъ подумать.—Эхъ братъ, право—ну! Ты вѣдь думаешь, въ деревнѣ скучно? Ничуть. Поугру въ поле; а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ! Да главное, какъ заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь самъ-восемь, да на гумнѣ столько хлѣба наберется, что не успеешь молотить, а въ карманѣ столько цѣлковыхъ, что не сочтешь, такъ, по-моему, ты славно будешь знать Россію. А?..“

Видите ли: не правы ли мы, сказавъ, что при этомъ миниатюрномъ донъ-Кихотѣ, Иванѣ Васильевичѣ, авторъ назначилъ Василію Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетвореннаго здраваго смысла, который, впрочемъ, и не подозреваетъ ни мало, что онъ—здравый смыслъ?—Мало этого: Василій Ивановичъ, въ отношеніи къ Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смыслъ, но и олицетворенная иронія. Все, что говорилъ онъ ему, можно перевести такъ: знаемъ мы васъ, голубчики! вы и молничаєте, и умничаєте, и ѣздите за границу, проматываетесь и дома, и на чужбинѣ и подымаете носъ кверху передъ нами, степными медвѣдями,—а вѣдь кончите же тѣмъ, что сами омедвѣдитесь не лучше нашего, и въ законномъ сожителствѣ съ какой-нибудь Авдотьей Петровной, съ кучей дѣтей, разѣввшись, разошавшись и располдѣвъ, отъ полноты сердца будете говорить: «Въ деревнѣ скучно? Ничуть! Поугру въ полѣ, а тамъ закусить, да пообѣдать, да выспаться, а тамъ къ сосѣдямъ... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, братъ... что твой Парижъ!» Если бы Василій Ивановичъ былъ хоть немного филосовски образованъ, онъ могъ бы прибавить къ этому: какъ ни заносись, мой милый, а дѣйствительность возьметъ свое,—и быть тебѣ не рыцаремъ, не философомъ, не реформаторомъ, а помѣщикомъ, да еще женатымъ на какой-нибудь Авдотьѣ Петровнѣ, которая смолоду болтала по-французски, а въ лѣтахъ будетъ держать дѣвичью въ страхѣ не хуже моей Авдотьи Петровны. Я

же тебе знаю: ты боекъ только на словахъ. а натурка твоя жиденькая, и ты спасуешь передъ прозой жизни, даже и не попытавшись побороться съ нею!... Конечно, Василій Ивановичъ и не думалъ иронизировать, и самъ не подозрѣвалъ глубокаго смысла своихъ словъ, но вѣдь онъ—безсознательный, непосредственный здравый смыслъ: онъ уменъ, какъ дѣйствительность, какъ природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знаетъ ни того, что она разумна, ни того, какъ она разумна, ни даже того, что она существуетъ... Да и зачѣмъ Василю Ивановичу сознание? онъ силенъ и безъ него—большинство, толпа, словомъ, дѣйствительность за него; а на сторонѣ Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на лѣстницѣ нравственнаго совершенства послѣдній стоить несравненно выше перваго; но по собственному, исключительному свойству дѣйствительности, среди которой оба они живутъ,—въ сущности оба они сходятъ на нуль. Одинъ, какъ медвѣдь, мечтаетъ, идя по Тверскому бульвару, о московскихъ удовольствіяхъ

„Въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, Англійскій клубъ, Нѣмецкій клубъ, Коммерческій клубъ, и все столы съ картами, къ которымъ можно присѣсть, чтобы посмотреть, какъ люди играютъ большую и малую игру. А тамъ лото, за которымъ сидятъ помѣщики, и бильярдъ съ усатыми игроками и шутивыми маркерами. Что за раздолье!... а цыгане-то, комедія-то, а медвѣжья травля меделянскими мордашками у Рогожской Заставы, а гулянье за городомъ, а театръ-то, театръ, гдѣ пляшутъ такія красавицы, и ногами такіе вонзая выдѣлываютъ, что просто глазамъ не вѣришь...“

Другой, какъ попугай, мечтаетъ о парижскихъ удовольствіяхъ:

„Господи, Боже мой, какъ жаль, что такъ мало здѣсь движенія и жизни.. Nel fuor... то ли дѣло Парижъ.. della tempesta. Ахъ Парижъ, Парижъ! Гдѣ твои ризетки, твои театры и балы Мюзара... Nel fuor. Какъ вспомнишь: Лаблашъ, Гризи, Фанни Эльслеръ, а здѣсь только что спрашиваютъ, какой у тебя чинъ. Скажешь: губернской секретарь—никто на тебя и смотрѣть не хочетъ... della tempesta!“

Что за странная пустота, что за странное ничтожество въ чувствахъ этихъ двухъ представителей двухъ вѣковъ!

Мы не будемъ распространяться о дивномъ экипажѣ, по имени котораго названо новое сочиненіе графа Соллогуба, о сундукахъ, сундучкахъ, коробкахъ, коробочкахъ, боченкахъ, которыми этотъ экипажъ загроможденъ и увязанъ снаружи, о перинахъ, тюфякахъ, подушкахъ, которыми онъ заваленъ внутри: скажемъ только, что талантъ автора на столько слабъ въ отношеніи всѣхъ этихъ подробностей. Тарантасъ готовъ двинуться; наконецъ, явился и Иванъ Васильевичъ.

„Воротникъ его макинтоша былъ поднятъ выше ушей; подъ мышкой былъ у него небольшой чемоданчикъ, а въ рукахъ держалъ онъ шелковый зонтикъ, дорожный мѣшокъ со стальнымъ замочкомъ и прекрасно переплетенную въ коричневый сафьянъ книгу со стальными застежками и тонко очиненнымъ карандашомъ.

— А, Иванъ Васильевичъ! сказалъ Василій Ивановичъ.—Пора, батюшка. Да гдѣ же кладъ твой?

— У меня ничего нѣтъ больше съ собой.

— Эва! да ты, братъ, этакъ въ мѣшкѣ-то своемъ замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишній тулупчикъ на заячьемъ мѣху. Да-бишь, скажи, пожалуйста, что подѣ тебя подложить, перину или тюфякъ?

— Какъ? съ ужасомъ спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфякъ или перину? Иванъ Васильевичъ готовъ былъ бѣжать и съ отчаяніемъ поглядывать со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидитъ его въ тулупѣ, въ перинѣ и въ тарантасѣ“ (стр. 20).

Да, было отчего въ отчаянье прійти! И вотъ въ чемъ состоитъ европеизмъ господъ въ родѣ Ивана Васильевича. Этимъ людямъ и въ голову не входитъ, что если въ Европѣ всѣ стремятся къ опозитивованію своего быта,—зато никто, при недостаткѣ, при переворотѣ обстоятельствъ, при случаѣ, не постыдится ни сѣсть въ какой угодно тарантасъ, ни вычистить себѣ, при нуждѣ, сапоги. Этого рода европейцевъ, въ отличіе отъ истинныхъ европейцевъ, не худо бы называть европейцами-татарами...

Ивану Васильевичу было грустно, но дѣлать нечего. Онъ промотался по-русски и нашелъ случай доплестись до дому; при томъ же дорогой онъ можетъ изучать Россію и вести свои записки... Все бы хорошо. «Но эта неблагородная перина, но эти ситцевыя подушки, но этотъ ужасный тарантасъ!..» Въ самомъ дѣлѣ ужасно!.

— Василій Ивановичъ?

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чемъ я думаю?

— Нѣтъ, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что такъ какъ мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествіе?

— Да вѣдь мы теперь путешествуемъ.

— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, совсѣмъ нѣтъ. Мы просто ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы, черезъ Казань.

— Ну, да вѣдь это тоже путешествіе.

— Какое, батюшка, путешествіе. Путешествуютъ тамъ, за границей, въ Нѣмечинѣ; а мы что за путешественники? Просто—дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню.“

О, Василій Ивановичъ! о, великій практической философы, отъ роду не философствовавшій! Какъ, съ своей безграмотностью, какъ умнѣ ты этого полуграмотнаго фертика! Потому умнѣ, что какъ бы ни были грубы твой понятія, ихъ корень въ дѣйствительности, а не въ книгѣ, и, вѣрный степовому началу своей жизни, ты знаешь



что въ степяхъ ѣздить по дѣламъ и по нуждѣ, а не изъ любопытства, не для изученія! Ты называешь всѣ вещи ихъ настоящими именами, мѣсяць называешь просто мѣсяцемъ, а не воздушной или небесной ночной лампадой! Ахъ, если бы зналъ ты, какъ уменъ твой глупый отвѣтъ: «мы не путешествуемъ, а ѣдемъ изъ Москвы въ Мордасы; мы — не путешественники, а просто — дворяне, ѣдемъ-себѣ въ деревню!»

Иванъ Васильевичъ книжнымъ языкомъ толкуетъ своему спутнику о пользѣ путешествій, — и Василій Ивановичъ, ничего не понимая, но смутно предчувствуя, что юноша несетъ страшную дичь, отвѣчаетъ ему: «Вотъ-съ». Иванъ Васильевичъ съ риторическимъ восторгомъ говоритъ о своихъ предполагаемыхъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, о пользѣ, которую сдѣлаетъ его книга; Василій Ивановичъ, наконецъ, объясняется на-прямки: «Ты все такое мелешь странное». Иванъ Васильевичъ толкуетъ о своей любви и своемъ уваженіи къ русскому мужику и русскому барину, и о своей ненависти и своемъ презрѣніи къ чиновнику. Василій Ивановичъ, человекъ умный по привычкѣ, и потому совершенно чуждый и благоговѣнія къ мужику и барину, и презрѣнія къ чиновнику, такъ какъ всѣхъ ихъ онъ находитъ въ порядкѣ вещей, спрашиваетъ: «А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновниковъ?» Иванъ Васильевичъ прѣблгаетъ къ уловкѣ всѣхъ людей, которые ничего не въ состояніи понять въ идеѣ, въ принципѣ, въ источникѣ, а все понимаютъ случайно, и раздѣляютъ чиновниковъ на благородныхъ, которыхъ онъ уважаетъ, и на такихъ, которыхъ презираетъ за ихъ трактирную образованность, за отсутствіе въ нихъ всего русскаго, за взяточничество. Отсутствіе всего русскаго — и взяточничество! Какое?.. Браня чиновниковъ, онъ восхищается мужиками, увѣряя, что ничего не можетъ быть красивѣе и живописнѣе ихъ. «Въ мужикѣ, — говоритъ онъ, — таится зародышъ русскаго богатскаго духа, начало нашего отечественнаго (народнаго, національнаго) величія». — «Хитрыя бываютъ бестіи!» замѣтилъ Василій Ивановичъ... Аполוגистъ не смѣшался отъ этого замѣчанія, совершенно чуждаго всякихъ претензій на остроуміе или юморъ, но которое тѣмъ паразитнѣе, чѣмъ невиннѣе и простодушнѣе, — и поставилъ въ огромную заслугу мужику его, будто бы, способность сдѣлаться, по желанію (желательно бы знать, чьему?), музыкантомъ, механикомъ, живописцемъ, управителемъ, чѣмъ угодно. Если хотите, — это, къ сожалѣнію, справедливо: изъ страха или изъ корысти русской человекъ возьметъ за все, вопреки мудрому правду:

Бѣда, коль пироги начнетъ печь сапожникъ,  
А сапоги тачать пирожникъ.

Покажите русскому человекѣу хоть Аполлона Бельведерскаго: онъ не сконфузится и топоромъ, и скобелью сдѣлаетъ изъ еловаго бревна Аполлона Бельведерскаго, да еще будетъ божиться, что его работа настоящая нѣмецкая. Потому-то русскіе покупатели такъ страстны къ иностранной работѣ и такъ боятся отечественныхъ издѣлій. Конечно, способность и готовность ко всему, хотя бы и вынужденная, имѣетъ свою хорошую сторону и иногда творить чудеса: противъ этого мы ни слова. Но вѣдь иногда совѣмъ не то, что всегда, и *tour de force*, какъ дѣло случайности и удачи, совѣмъ не то, что свободное произведение таланта или природной способности, развитой правильнымъ ученіемъ. Умы поверхностные любятъ увлекаться блестящимъ, бросающимся въ глаза, парадоксальнымъ; но умъ основательный не позволитъ себѣ увлечься лицевой стороной предмета, не посмотрѣвъ на изнанку; естественное и простое онъ всегда предпочтетъ насильственному и хитрому.

Есть однако жъ въ апологій Ивана Васильевича мысль очень умная и дѣльная — о гнусности и вредѣ существа, называемаго дворовымъ человекомъ; есть честь истинны и въ его одностороннемъ взглядѣ на чиновника, какъ потомка двороваго чѣловѣка.

„Дворовый не что иное, какъ первый шагъ къ чиновнику. Дворовый обрѣтъ, ходитъ въ длиннополомъ сюртукѣ домашняго сукна. Дворовый служитъ потѣхой празднаго лѣни и привываетъ къ тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствуетъ и воруетъ, и важничаетъ, и презираетъ мужика, который за него трудится и платитъ за него подушныя. Потомъ, при благополучныхъ обстоятельствахъ, дворовый вступается и въ конторщики, въ вольнослушанные, въ приказные; приказный презираетъ и двороваго, и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку отъ исправника подбѣраетъ себѣ куръ да гривенники. У него сюртукъ нанковый, волосы примазанные. Онъ обучается уже воровству систематическому. Потомъ приказный спускается еще на ступень ниже, дѣлается писцомъ, побыточникомъ, секретаремъ и, наконецъ, настоящимъ чиновникомъ. Тогда сфера его увеличивается; тогда получаетъ онъ другое бытіе: презираетъ и мужика, и приказнаго, потому что они, извольте видѣть, люди необразованные. Онъ имѣетъ уже высшія потребности, и потому крадетъ уже ассигнаціями. Ему вѣдь надо пить донское, курить табакъ Жукова, играть въ банчикъ, ѣздить въ тарантасѣ, выписывать для жены чепцы съ серебряными колосьями и шелковыя платья. Для этого онъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти вступаетъ на свое мѣсто какъ купецъ вступаетъ въ лавку, и торгуетъ своимъ вліяніемъ, какъ товаромъ. Полагаясь на другую... „Ничто ему, говорятъ собраты, дѣла да умѣй“ (стр. 30—31).

Дѣйствительно, эта генеалогія, отъ двороваго черезъ конторщика изъ вольноотпущенныхъ и приказнаго до чиновника, не только остроумна, но и отчасти справедлива. Реформа Петра Великаго, которой основнымъ принципомъ было преимущество личныхъ достоинствъ или способностей надъ породой, пересоздала двороваго въ подъячаго, подъячій родилъ приказнаго, приказный—чиновника. Итакъ, дворовый—яйцо, подъячій—червь, приказный—куколка, чиновникъ—бабочка! Тутъ, какъ видите, есть развитие, и каждая новая ступень выше и лучше прежней. Мы сами не охотники до «чиновника», но тѣмъ не менѣе мы чужды всякаго несправедливаго и односторонняго недоброжелательства къ этому почтенному члену нашего общества. Мы никакъ не можемъ согласиться съ Иваномъ Васильевичемъ, что лучшія сословія у насъ—мужикъ и баринъ, а худшее—чиновникъ. Пусть образованіе чиновника трактирное, какъ увѣряетъ Иванъ Васильевичъ, пусть онъ пьетъ донское, куритъ жуковскій, ѣздитъ въ тарантасѣ и выписываетъ для жены своей чепцы съ серебряными колосьями, да шелковыя платья: во всемъ этомъ есть своя хорошая сторона, которая состоитъ въ томъ, что формы жизни чиновника близко подходятъ къ формамъ жизни барина. Сынъ чиновника годится на все и всюду: онъ поступаетъ въ кадетскій корпусъ и оттуда выходитъ хорошимъ офицеромъ; онъ поступаетъ въ университетъ, откуда для него открыты честные и благородные пути на всѣ поприща жизни, и онъ всегда способенъ съ честью идти по одному развѣ избранному имъ поприщу; онъ можетъ быть ученымъ, художникомъ, литераторомъ, словомъ,—всѣмъ, чѣмъ можетъ быть и баринъ. Скажутъ: кто же не можетъ, и почему это привилегія сына чиновника?—Потому, отвѣчаемъ мы, что военный офицеръ, чиновникъ, приготовившійся къ службѣ университетскимъ образованіемъ, ученый, профессоръ, учитель, художникъ, литераторъ изъ мужиковъ, изъ купцовъ, изъ духовнаго званія,—всѣ они—больше исключенія изъ общаго правила, нежели общее правило, и всѣ они находятся въ прямой противоположности съ формами жизни сословій, изъ которыхъ вышли. И потому-то, образовавшись, они спѣшатъ выйти изъ своего сословія, съ которыми чувствуютъ себя на вѣкъ разорванными черезъ образованіе, и слѣдовательно, спѣшатъ увеличить собою чиновничье сословіе. Какъ? спросятъ насъ, да какое же отношеніе между музыкантомъ, напримѣръ, и чиновникомъ?—Очень большое: и заключается одинаковость формъ жизни. Потому-то сынъ чиновника, сдѣлавшійся, напримѣръ, ученымъ или художникомъ,

какъ будто совсѣмъ не выходитъ изъ своего сословія: его костюмъ тотъ же, образъ жизни тотъ же, отъ утренняго чаю или кофе—до поклонна знакомои дамѣ или до танца съ нею на балѣ. Скажемъ прѣмъе: формы жизни чиновника могутъ быть нѣсколько грубѣе, аляповатѣе формъ жизни барина, но сущность тѣхъ и другихъ совершенно одинакова, и чиновникъ изъ бѣдныхъ людей, котораго образованіе допустить въ свѣтскій кругъ, никогда не будетъ такимъ [страннымъ исключеніемъ, какимъ былъ бы члвкъ изъ другого сословія, особенно купеческаго. Чиновничье сословіе играетъ въ Россіи роль химической печи, проходя черезъ которую люди мѣщанскаго, купеческаго, духовнаго и, пожалуй, двороваго сословія теряютъ рѣзкія и грубыя внѣшности этихъ сословій и отъ отца къ сыну вырождаются въ сословіе баръ. Это потому, что въ Россіи чинъ, обязывая члвка носить европейскій костюмъ и держаться европейскіхъ формъ жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ обязываетъ его во всемъ тянуться за баринкомъ. Сверхъ того между баринкомъ и чиновникомъ—не во гнѣвъ будетъ сказано всѣмъ Иванамъ Васильевичамъ—существуетъ болѣе живая и крѣпкая связь, нежели между баринкомъ и мужикомъ, купцомъ, духовнымъ или члвкомъ изъ другого какого-либо сословія—это все чиновничество же. Развѣ баринъ—не чиновникъ? Много ли у насъ дворянъ—неслужащихъ и неимѣющихъ чина? Скажутъ: они служатъ въ военной. Неправда! Ихъ больше въ статской, и статской службой по большей части оканчиваютъ и тѣ, которые начали съ военной. А сколько теперь дворянъ, сдѣлавшихся дворянами черезъ службу? Два-три поколѣнія—и вы ни въ какой телескопъ не отличите ихъ отъ родового дворянства. Чтѣ же касается до вѣрности, право, никому не легче давать взятку засѣдателю или квартальнаго, нежели стряпчему или писцу квартальнаго, потому что взятка—все взятка, кто бы ни взялъ ее съ васъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что въ Петербургѣ, напримѣръ, служащіе въ министерскихъ департаментахъ чиновники не подвержены никакому упреку въ этомъ отношеніи. Вообще это предметъ, о которомъ... о которомъ мы не хотимъ больше говорить, «чтобъ гусей не раздражить». Иванъ Васильевичъ—гусь породистый: маменька его была татарская княжна,—и потому для него нужна генеалогія людей. Мы съ этой стороны совсѣмъ въ другомъ положеніи,—и намъ нѣсколько нѣтъ нужды до того, кто былъ отецъ этого члвка; для насъ важно одно: каковъ самъ этотъ члвкъ.

Иванъ Васильевичъ наговорилъ очень

много хорошаго о состояніи, до какого дошли теперь дворянскіе выборы, и по своему верхоглядству сложили всю вину на богатыхъ дворянъ. Мы не беремся объяснить это явленіе, и скажемъ только, что все, что есть или что сдѣлалось, есть и сдѣлалось по причинамъ неотразимымъ и съ самаго начала носило въ себѣ сѣмена своего будущаго состоянія. Объ этомъ бы и слѣдовало говорить Ивану Васильевичу или ничего не говорить. А іереміады-то мы слышали и не отъ него, и онѣ всѣмъ надобли, потому что ихъ способенъ повторять всякій человѣкъ, неумѣющий порядочно связать двухъ идей. Что новаго въ этихъ, на-примѣръ, словахъ Ивана Васильевича?—«Всѣ старинныя имена наши исчезаютъ. Гербы нашихъ княжескихъ домовъ развалились въ прахъ, потому что не на что ихъ возстановить, и русское дворянство зажиточное, радушное, хлѣбосольное отдало родовыя свои вотчины оборотливымъ купцамъ, которые въ роскошныхъ палатахъ подѣлали себѣ фабрики.» Какая же, по мнѣнію Ивана Васильевича, причина этого важнаго явленія?—«Пропрототались на праздники, на театры, на любовницы, на всякую дрянъ... Знаете ли, на что похоже подобное объясненіе! Вопросъ: Отчего умеръ этотъ человѣкъ? Отвѣтъ: Отъ болѣзни.—Хорошо; но отчего онъ заболѣлъ, и почему онъ умеръ отъ этой болѣзни, когда другой, у котораго была та же самая болѣзнь, не умеръ отъ нея? Но это сравненіе еще не совсемъ вѣрно: человѣкъ можетъ умереть отъ случайности, а случайность не объясняется общими законами; измѣненіе же или упадокъ цѣлаго сословія не можетъ быть дѣломъ случайности,—и мотовство тутъ плохое объясненіе. Что праздники, театры и любовницы богачей нашего времени передъ роскошью вельможъ прошлаго вѣка! Однако жъ имъ доставало своихъ средствъ.... Нѣтъ; подобный вопросъ надо было или рѣшить поглубже и поосновательнѣе, или вовсе не братья за него. Василій Ивановичъ гораздо лучше рѣшилъ его. «Что думаете вы о нашихъ аристократахъ?» спрашиваетъ его Иванъ Васильевичъ. «Я думаю,—сказалъ Василій Ивановичъ,—что на станціи намъ не дадутъ лошадей.»

Описаніе станціи превосходно: при каждой строкѣ такъ и хочется вскрикнуть: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.» Анекдотъ станціоннаго зрителя о генералѣ прекрасенъ и самъ по себѣ, и по тому восторгу, въ который привелъ онъ Василія Ивановича. Описаніе жилища или, лучше сказать, логовища, въ которомъ помѣщается станціонный зритель и въ которомъ такъ вѣрно, какъ въ зеркалѣ, отражаются его

духъ, понятія и наклонности,—это описаніе—верхъ мастерства, и хотя нѣкоторые правоописательные романисты, они же и критики, объявили, ради весьма понятныхъ причинъ, что графъ Соллогубъ пишетъ въ поверхностномъ родѣ,—однако для насъ одна страница въ «Тарантасѣ», которая знакомитъ читателя съ покоями станціоннаго зрителя, въ тысячу разъ лучше всѣхъ правоописательныхъ и правствено-сатирическихъ романовъ. Превосходенъ также этотъ вскользь, но вѣрно обрисованный маюръ, который въ ожиданіи лошадей всѣмъ говорилъ «ты» и всѣмъ разсказалъ обстоятельства своей жизни, хотя о нихъ никто у него не спрашивалъ, и котораго Василій Ивановичъ трепалъ по плечу, приговаривая: «военная кочка!» (стр. 43). Никѣмъ неподозрѣваемый и въ чаившихъ движеніи лошадей, внезапный проѣздъ тайнаго совѣтника, для котораго у станціоннаго зрителя нашлись лошади, есть истинно-художественная черта, которая удивительно вѣрно доканчиваетъ картину «станціи». За станціей слѣдуетъ гостиница, но въ промѣжуткѣ этихъ двухъ любопытныхъ фактовъ русской жизни съ Василіемъ Ивановичемъ случилось несчастье: отъ тарантаса были отрѣзаны два чемоданы и нѣсколько коробовъ, а съ ними пропали чепчикъ и тюрбанъ отъ мадамъ Лебуръ, съ Кузнецкаго моста, приобрѣтенные для Авдотьи Петровны.

«Приѣхавъ на станцію, онъ бросился къ зрителю съ жалобой и просьбой о помощи. Зритель отвѣчалъ ему въ утѣшеніе: „Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уже не въ первый разъ. Вы тутъ въ двѣнадцать верстахъ проѣзжали черезъ деревню, которая тѣмъ извѣстна: все шалуны живутъ.“

— Какіе шалуны? спросилъ Иванъ Васильевичъ.

— Извѣстно-съ. На большой дорогѣ шалать ночью. Коли заснете, какъ разъ задній чемоданъ отрѣжутъ.

— Да это разбой!

— Нѣтъ, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости, уныло говорилъ Василій Ивановичъ, отговариваясь снова въ путь.—А что скажетъ Авдотья Петровна?» (стр. 47).

Иванъ Васильевичъ торопится во Владиміръ, которымъ онъ, какъ древнимъ городомъ, прекрасно можетъ начать свои путевыя впечатлѣнія. «Я вамъ уже говорилъ, Василій Ивановичъ, что я... и не я одинъ, а насъ много, мы хотимъ выпутаться изъ гнусаго просвѣщенія Запада и выдумать свое бытное просвѣщеніе Востока.» И эту дичь Иванъ Васильевичъ несетъ простодушно, безъ всякой задумки... Какой чудакъ!...

Наконецъ, путешественники наши во Владимірѣ, въ губернской гостиницѣ, которая изображена и вѣрно, и оригинально.

— „Что есть у васъ? спросилъ Иванъ Васильевичъ у полового.

— Все есть, отвѣчалъ надменно половой.

— Постели есть?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А что есть обѣдать?

— Все есть.

— Какъ все?

— Ши-съ, супъ-съ. Биштекъ можно сдѣлать.

Да вотъ на столѣ записка, прибавилъ половой, гордо подавая сѣрый лоскутокъ бумаги.

Иванъ Васильевичъ принялся читать:

#### О б ѣ т ы !

1. Супъ.—Липотажъ.
2. Говядина.—Телятина съ цидрономъ.
3. Рыба.—Раки.
4. Соусъ.—Патиса
5. Жаркое.—Курица съ рысью
6. Хлѣбное.—Желе сапельсиновъ.“

На вопросъ о винахъ половой тоже съ увѣренностью отвѣчалъ: «Какъ не быть-съ? Всѣ вина есть: шампанское, полшампанское, три-мадера, лафиты есть. Первѣйшія вина.» Нечего и говорить, что онъ собиралъ на столъ долго, перемѣнялъ и встряхивалъ грязныя салфетки, и что ничего ни ѣсть, ни пить не было возможности. Это однако жъ не помѣшало Василию Ивановичу ѣсть за троихъ—русскій баринъ! Лежа на снѣгъ и поворачиваясь съ боку на бокъ, Иванъ Васильевичъ началъ съ горя бранить русскія гостиницы на нѣмецкій ладъ и мечтать о заведеніи гостиницы на русскую статью. Много хорошихъ фразъ отпустилъ онъ на этотъ предметъ, но дѣла, по своему обыкновенію, не сказалъ. Гоняясь за теоретическими, отдаленными причинами, онъ не увидѣлъ ближайшихъ, практическихъ. Онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ, что дѣло сдѣлано и воротить его невозможно; что все на Руси, волей или неволей, тянется за европеизмомъ и коверкаетъ его на монгольскую статью. Иванъ Васильевичъ, видно, не бывалъ въ губернскихъ трактирахъ, гдѣ по-русски угощаются русскій людъ, тогда бы онъ понялъ, почему всѣ дрянную гостиницу предпочитаютъ хорошему трактиру. А что наши губернскія гостиницы скверны, въ этомъ виноваты не отсутствіе національнаго элемента, не подражаніе вѣншему европеизму, а просто-на-просто отсутствіе конкуренціи между заведеніями такого рода. Въ иномъ губернскомъ городѣ одна гостиница и та плохо до невозможности, потому что пуста и рѣдко принимаетъ гостей; а Торжокъ—бѣдный городъ, и въ немъ двѣ гостиницы: одна сносная, а другая даже поря-

дочная, оттого, что по значительному числу проѣзжающихъ обѣ могутъ существовать, не подрывая одна другой. Видите ли, «ларчикъ просто открывался»; но Иванъ Васильевичи не любятъ простыхъ причинъ, которыя не даютъ предмета для риторики и вычурно-умныхъ фразъ.

Отправившись осматривать историческій городъ, Иванъ Васильевичъ, по своему невѣдѣнію, не много нашелъ удовольствія въ созерцаніи древностей. Не понимаемъ, какъ не догадался онъ, что люди, живущіе среди этой древности, до того равнодушны къ ней, что даже не считаютъ за нужное пожалѣть, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. А вѣдь это фактъ, о которомъ можно пораздуматься. Тутъ естественно представляется вопросъ: кто виноватъ въ этомъ равнодушіи—люди или древности?... Вѣдь любовь къ родному, къ древностямъ, къ исторіи должна быть непосредственная, живая, самородная, а не книжная, не искусственная, и если на что само собою не откликается цѣлое общество, это едва ли стоитъ изученія и едва ли не нѣмо само по себѣ... Но если Иванъ Васильевичъ ничего не узналъ о древностяхъ Владиміра, зато хорошо узналъ его настоящее положеніе, какъ губернскаго города. Сдѣлавъ яркую и вѣрную характеристику губернскаго города, которая, право, въ тысячу разъ стоитъ больше всякой самой ученой диссертации о гнилыхъ древностяхъ,—приятель Ивана Васильевича рассказываетъ ему свою исторію, по имени которой эта глава названа «простой и глупой исторіей». Тутъ много вѣрнаго и правдиваго, хотя въ цѣломъ разсказѣ преобладаетъ догматическій и нравоучительный тонъ. Разсказъ начинается съ опредѣленія на службу въ Петербургъ. «Жить въ Петербургъ и не служить—все равно, что быть въ водѣ и не плавать. Весь Петербургъ кажется огромнымъ департаментомъ, и даже строенія его глядятъ министрами, директорами, столоначальниками, съ форменными стѣнами, съ вицмундирными окнами. Кажется, что самыя петербургскія улицы раздѣляются, по табели о рангахъ, на благородныя, высокоблагородныя и превосходительныя.» Но служба не далась приятелю Ивана Васильевича, что онъ приписалъ своему невѣжеству. Странное униженіе! «служба—лѣстница. По этой лѣстницѣ ползаютъ, шагаютъ, карабкаются и прыгаютъ люди зеленого цвѣта, то толкая другъ друга, то срываясь отъ неосторожности, то зацѣпляясь за фалды надежнаго аквилибриста; немногіе идутъ твердо и безъ помощи. Немногіе думаютъ объ общей пользѣ, но каждый думаетъ о своей. Каждый по-

мышляетъ, какъ бы схватить крестикъ, чтобъ поважничать передъ собратіями, да какъ бы набить карманъ по-туже. Не думай, впрочемъ, чтобъ петербургскіе чиновники брали взятки. Сохрани Богъ! Не смѣшивай петербургскихъ чиновниковъ съ губернскими. Взятки, братецъ, дѣло плохое, опасное, и при томъ не совсѣмъ прибыльное. Но мало ли есть проселочныхъ дорогъ къ той же цѣли. Займы, аферы, акціи, облигаціи, спекуляціи... Этимъ способомъ, при нѣкоторомъ служебномъ вліяніи, при удачной смѣтливости въ дѣлахъ, состоянія точно также наживаются. Честь спасена, а деньги въ карманѣ. Не понимаемъ, зачѣмъ же послѣ этого нужны для службы наука и образование? Тутъ нужны, напротивъ, гибкая спина, ловкость акробата и практическая способность пріобрѣтать благонамѣреннымъ образомъ...

Разсказчикъ пустился въ свѣтъ. Слѣдуютъ моральные нападки на гибельную страсть низшихъ сословій тянуться за высними, бѣдныхъ—за богатыми. Потерянное время, потерянные слова! сколько ни толкуй знатный ничтожному, сколько ни увѣрай богатый бѣднаго, что, онъ, ничтожный, такъ же осужденъ судьбой на ничтожество, какъ онъ, знатный, опредѣленъ на знатность; что онъ, бѣдный, такъ же осужденъ судьбой на нищету, какъ онъ, богатый, назначенъ для богатства,—ничтожный и бѣдный никогда не будутъ такъ глупы, чтобъ простодушно повѣрить подобнымъ увѣреніямъ. Никто изъ земнородныхъ не считаетъ себя ниже и хуже другого—и лѣзтъ на верхъ, гдѣ такъ спокойно и безопасно, вмѣсто того чтобъ ползти внизъ, въ грязь, подъ ноги другихъ, служа имъ мостовой,—это такой же инстинктъ, какъ пить и ѣсть. Только сильные и богатые убѣждены, что хорошо быть слабымъ и бѣднымъ, и то до тѣхъ поръ только, пока не ослабѣютъ и не обѣднѣютъ сами; но лишь случись это, они вдругъ измѣняютъ свое кровное убѣжденіе. И потому, право, давно бы пора оставить эту риторическую мораль, потому что теперь уже нѣтъ такихъ людей, которые допустили бы убѣдить себя въ ней. Свѣтскость пріятели Ивана Васильевича кончилась тѣмъ, что онъ въ конецъ разорился и для поправленія обстоятельствъ рѣшился жениться, а для этого еще болѣе сталъ прикидываться багачомъ. Но женившись, онъ узналъ, что и его супруга такимъ же образомъ дѣлала спекуляцію, выходя замужъ. Жить было имъ нечѣмъ. Ему хотѣлось въ деревню, а она, какъ женщина образованная и свѣтская, не хотѣла и слышать о деревнѣ, и потому помирились на Москвѣ, гдѣ онъ попалъ въ особенный кружокъ, «составляющій въ огром-

номъ городѣ нѣчто въ родѣ маленькаго досаднаго городка. Этотъ городокъ—городокъ отставной, отечество усовъ и венгерокъ, пріютъ бѣдовольныхъ всякаго рода, вертепъ самыхъ странныхъ разбоевъ, горнило самыхъ странныхъ разсказовъ. Въ немъ живутъ отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбіемъ, вообще все люди лѣнныя и доброжелательныя. Оттого и господствуетъ между ними духъ праздности и празднословия, и не даромъ называютъ этотъ городъ старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во чтобы ни стало. Онъ разскажетъ вамъ, что сѣрый волкъ гуляетъ по Кузнецкому мосту и заглядываетъ во всѣ лавки; онъ повѣдаетъ вамъ на ухо, что турецкій султанъ усыновилъ французскаго короля; онъ выдумаетъ особую политику, особую Европу,—было бы о чемъ поболтать.» Очень недурно еще замѣчаніе: «Пороки петербургскіе происходятъ отъ напряженной дѣятельности, отъ желанія выказаться, отъ тщеславія и честолюбія; пороки московскіе происходятъ отъ отсутствія дѣятельности, отъ недостатка живой цѣли въ жизни, отъ скуки и тяжелой барской лѣни» (стр. 83). Насчетъ жены пріятели Ивана Васильевича пошли по Москвѣ шлетни, за которыя онъ трепалъ одинъ хохоль и одни усы и вызвалъ ихъ на дуэль. А между тѣмъ жить ему съ женой было совершенно нечѣмъ, потому что онъ промоталъ все до копѣйки. Такъ какъ «русскій человекъ крѣпокъ заднимъ умомъ», онъ тогда только замѣтилъ, что у его жены есть и хорошія качества, и что онъ ее любить; жена его поняла то же въ отношеніи къ нему. Вызванные имъ на дуэль хохоль и усы распорядились такъ, что его за вызовъ отправили на телѣгъ во Владиміръ, гдѣ онъ и обрѣтался подъ присмотромъ полиціи, а жена его уѣхала въ Петербургъ къ отцу.

Этотъ разсказъ произвелъ на Ивана Васильевича тяжелое впечатлѣніе и заставилъ попризадуматься. Онъ вспомнилъ о своемъ путешествіи:

„Въ Германіи удивила меня глупость ученыхъ; въ Италіи страдалъ я отъ холода; во Франціи опротѣвля мнѣ безразличности и нечистота. Вездѣ нашель я подлую алчность къ деньгамъ, грубое самодовольствіе, всѣ признаки испорченности и смѣшныя притязанія на совершенство. И повѣловъ полюбить я тогда Россію и рѣшился посвятить остатокъ дней на познаніе своей родины. И похвально бы, кажется, и не трудно.

Только теперь вотъ вопросъ: какъ ее узнаешь? Хватился я сперва за древности, — древностей нѣтъ. Думалъ изучить губернскія общества, — губернскія общества нѣтъ. Всѣ они какъ говорятъ, форменныя. Столичная же жизнь не русская, перенявшая у Европы и методное

образованіе, и крупные пороки. Гдѣ же искать Россію? Можетъ быть, въ простомъ народѣ, въ простомъ всеневномъ быту русской жизни. Но вотъ я вду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и глажу и вглядываюсь, и хотѣ что хочешь дѣлать, ничего отмѣтить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, земля столько, что глаза устаютъ смотрѣть, дорога скверная... по дорогѣ идутъ обозы... мужики ругаются... Вотъ и все!.. а тамъ, то смотритель пьянъ, то тараканы по стѣнамъ ползаютъ, то щи салными свѣчами пахнутъ... Ну, можно ли порядочному человѣку заниматься подобной дрянью?... И всего безотраднѣе то, что на всемъ огромномъ пространствѣ господствуетъ какое-то ужасное однообразіе, которое утомляетъ до чрезвычайности и отдохнуть не дастъ... Нѣтъ ничего новаго, ничего неожиданнаго. Все то же да то же... и завтра будетъ какъ нынче. Здѣсь станція, а тамъ еще та же станція; здѣсь староста, который проситъ на водку, а тамъ опять до безконечности все старосты, которые просятъ на водку... что же я стану писать? Теперь я понимаю Василія Ивановича. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ правъ, когда увѣрялъ, что мы не путешествуемъ и что въ Россіи путешествовать невозможно. Мы просто ѣдемъ въ Мордасы. Пропали мои впечатлѣнія!" (стр. 88—89).

Бѣдный Иванъ Васильевичъ! Жалкая карикатура на донъ-Кихота! У него голова устроена рѣшительно вверхъ ногами: тамъ, гдѣ земля усѣяна развалинами рыцарскихъ замковъ и готическими соборами, онъ видѣлъ только мельницы и барановъ и сражался съ ними; а тамъ, гдѣ только мельницы и бараны, онъ ищетъ рыцарей... Въ уѣздномъ городишкѣ онъ спрашивалъ у мужика.

„—А что здѣсь любопытнаго?—Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нѣтъ. — Древнихъ строеній нѣтъ?“ — Никакъ нѣтъ-съ... Да бишь... былъ точно деревянный острогъ, неча сказать, никуда не годился... да и тотъ въ прошломъ году сгорѣлъ. — „Давно, видно, былъ построенъ?“ — Нѣтъ-съ, не такъ давно, а лѣсомъ мошеникъ подрядчикъ надулъ совѣсьмъ. Хорошо, что и сгорѣлъ... право-съ — „А много здѣсь живущихъ?“ — Нашей братьи мѣщанъ довольно-съ, а то служащіе только.— „Городничій?“ — Да-съ, извѣстное дѣло городничій, судья, исправникъ и прочіе—весь комплектъ.— „А какъ они время проводятъ?“ — Въ присутствіе ходятъ, пуншты пьютъ, картишками гѣшася... Да-бишь:—теперь у насъ за городомъ цыганскій таборъ, такъ вотъ они повадился въ таборъ таскаться. *Словно московскіе баря или купецкіе сынки.* Такой куражъ, что чудо. Судья на скрипкѣ играетъ, Артамонъ Ивановичъ, засѣдатель, отхватываетъ въ присядку; ну, и хмѣльного-то тутъ не занимать... Гуляютъ себѣ да и только. Эвтакая, знать, нація“ (стр. 90—91).

И вотъ наши путешественники въ таборѣ Иванъ Васильевичъ прежде всего огорчился, увидѣвъ на цыганкахъ жалкіе европейскіе костюмы; такой чудакъ! Потому онъ чуть не заплакалъ съ отчаянія, когда цыганки заплѣли не дикую кочевую пѣсню,

а русскій водевильный романсъ. Вынуть изъ галстука золотую булавочку, онъ подарилъ ее красавицѣ Наташѣ, съ тѣмъ, чтобы она ходила въ своемъ національномъ костюмѣ и не пѣла русскихъ пѣсень... Больше этого быть шутомъ не позволено чело-вѣку, и сентиментальное, донъ-кихотовское фразерство Ивана Васильевича въ этомъ смѣшномъ поступкѣ дошло до послѣднихъ предѣловъ возможнаго. Что бы онъ могъ еще сдѣлать?—развѣ жениться на Наташѣ, замѣтивъ въ ней какія-нибудь добрыя качества... Но довольно и того, что уже сдѣлалъ онъ, чтобы Наташа смѣялась надъ нимъ цѣлую жизнь...

Зато степная натура Василія Ивановича плавала въ блаженствѣ. Онъ забывалъ и себя, и грозную свою Авдотью Петровну, улыбался, притопывалъ, прищелкивалъ, сыпалъ въ жадную толпу двугривенными и четвертаками и прикривалъ: «а вотъ эту пѣсню, а вотъ ту», и т. д. Это для него была истинная итальянская опера, единственная, доступная ему. Въ заключеніе онъ бросилъ цыганамъ десятирублевую ассигнацію... Это называется широкимъ размахомъ русской души, богатирствомъ. Иностранецъ выпьетъ бутылку шампанскаго: русскій одну выпьетъ, а другую выльетъ на полъ; изъ этого нѣкоторые выводятъ такое сльдствие, что у людей гнѣущаго Запада мѣшнина природы, а у насъ—чисто медвѣжья...

Эпизодъ объ витригѣ мѣщанина съ женой частнаго присава разсказанъ съ неподражаемымъ, истинно художественнымъ совершенствомъ и превосходно заканчивается собою картину жизни уѣзднаго города.

Теперь послушаемъ проповѣдь Ивана Васильевича противъ русской литературы, до которой, какъ и до всякой другой, Василію Ивановичу никакой нужды не было;—это однако жъ не помѣшало его спутнику ораторствовать громко, фразисто, книжно, съ надутымъ восторгомъ и натянутымъ негодованіемъ. Подобно Ивану Александровичу Хлестакову, который безграмотнымъ людямъ объявилъ рѣшительно, что все, что ни пишется и ни издается въ Петербургѣ, все это—его сочиненіе, — Иванъ Васильевичъ такъ же рѣшительно объявилъ безграмотному Василію Ивановичу, что литература теперь вездѣ—торговля и спекуляція, и что «въ Европѣ чистыя чувства задушены пороками и расчетомъ.» Что нужды, что Иванъ Васильевичъ, какъ мы уже видѣли выше, ничему не учился, ничего ни читалъ и—можно побиться о закладъ—понятія не имѣетъ о нравственномъ движеніи и литературѣ современной Европы: ему тѣмъ легче корчить судью грознаго и неумоли-

маго, и изрекать приговоры рѣшительные и неизмѣнные! Вѣдь Василю Ивановичу, который въ этомъ дѣлѣ ничего не понимаетъ и совершенно равнодушенъ къ нему, вѣдь ему все равно, и онъ не помѣшаетъ болтать этому витязю, сражавшемуся съ мельницами и баранами... Всего больше досталось отъ него русской литературѣ. Онъ раздѣлил ее на двѣ литературы: на благородную и подлую, на безкорыстную и торговую, на даровитую и бездарную. «Одна даровитая, но усталая, которая показывается въ люди рѣдко, смиренно, иногда съ улыбкой на лицѣ, а всегда чаще съ тяжелой грустью на сердцѣ. Другая наша литература, напротивъ, кричитъ на всѣхъ перекресткахъ, чтобъ только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую... Оттого наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются отъ ея прикосновения, опасаясь быть замѣшанными въ ея странную дѣятельность.» Вотъ какія бѣлоручки, подумаешь! Имъ нельзя писать и дѣйствовать потому только, что наша литература, подобно всѣмъ литературамъ въ мірѣ, бывшимъ, сущимъ и будущимъ, имѣетъ свои пятна, свои темныя стороны! Чтобъ они могли писать, для этого нужно сперва настрого запретить писать всѣмъ, кто, по ихъ мнѣнію, недостойнъ писать въ то время, когда они сами изволятъ писать! Иначе они станутъ появляться на литературномъ поприщѣ рѣдко и смиренно, чуть не со слезами на глазахъ, будутъ удаляться отъ его прикосновения, опасаясь быть замѣшанными въ его странную дѣятельность! Иванъ Васильевичъ и не подозреваетъ, что подобными обсахаренными и переслащенными комплиментами онъ дѣлаетъ смѣшными тѣхъ, кого прославляетъ. Изъ этого видно, что онъ и о русской литературѣ имѣетъ такое же ясное понятіе, какъ о европейской, и что русскую литературу онъ изучалъ за границей по столовымъ картамъ въ трактирахъ. У кого есть талантъ, тотъ съ особеннымъ жаромъ дѣйствуетъ именно тогда, когда въ литературѣ застой, бездарность и духъ спекуляціи. Только маленькіе таланты или таланты самозванные, прославленные въ своемъ кружкѣ и признанные за гениевъ своими друзьями, удаляются отъ литературы въ ея бѣдномъ, безпомощномъ состояніи. Если наши таланты, истинные и большіе, рѣдко напоминаютъ о себѣ своими новыми произведеніями, — значить или они лѣнны, или имъ нечего писать, или не о чемъ писать. Можетъ быть, нашлись бы и другія причины, только совсѣмъ не тѣ, о которыхъ декламируетъ Иванъ Васильевичъ... Если ужъ предположить, что истинный талантъ можетъ не

писать изъ презрѣнія къ настоящему положенію литературы, то ужъ не должно писать совсѣмъ и никого не смѣшить рѣдкими появленіями, какъ признаками невыдержаннаго характера. А между тѣмъ изъ живущихъ теперь литераторовъ и писателей нѣтъ ни одного, который бы хоть изрѣдка не показывался, если ужъ не съ чѣмъ-нибудь дѣльнымъ, то хоть со стишками — вѣдь привычка другая натура! Когда начиналась «Библиотека для Чтенія», въ нее все бросились съ своими вкладками, отъ Пушкина и Жуковского до людей съ самыми маленькими именами. Пересчитывать же имена для доказательства, что и теперь пишутъ всѣ, которые и прежде писали, — трудъ совсѣмъ лишній: нѣтъ рѣшительно ни одного имени въ подтвержденіе такъ нелѣпо выдуманнаго Иваномъ Васильевичемъ факта... Многимъ покажется странно, что мы такъ вооружились противъ лица, существующаго въ книгѣ, а не въ дѣйствительности. Въ томъ-то и горе, что Ивановъ Васильевичей слишкомъ много въ дѣйствительности; мы не даромъ говорили, что даровитый авторъ «Тарантаса» слишкомъ хорошо проникъ мыслью въ типъ людей этого рода и такъ художественно-вѣрно воспроизвелъ его. Эгипто Иваны Васильевичи издавна уже твердятъ и повторяютъ время отъ времени, будто нашимъ даровитымъ писателямъ то негдѣ печататься, то вовсе нельзя писать по причинѣ торговаго и недобросовѣстнаго направленія литературы, — и мы очень рады случаю отбить охоту у этихъ господъ повторять подобныя нелѣпости. Иванъ Васильевичъ въ особенности сердитъ на русскую критику, какъ въ «Горѣ отъ Ума» скалужубъ сердить на басню, и называетъ ее «чудовищной неблагопристойностью». Это понятно: мыши не любятъ кошекъ. Извѣстное дѣло, Иваны Васильевичи большіе охотники «пописать, иногда прозой, иногда стишками — какъ выкинется» (какъ говоритъ Хлестаковъ); но критика мѣшаетъ имъ попасть въ гени, т. е. выдавать всякій вздоръ за удивительныя красоты поэзіи. Разумѣется, и русская критика, подобно всякой отрасли русской литературы, имѣетъ свои пятна и черныя стороны; но изъ этого не слѣдуетъ бросать анашему на всю критику, которая принесла и приноситъ столько пользы и литературѣ, и публикѣ очищеніемъ вкуса, преслѣдованіемъ ложныхъ авторитетовъ и ложныхъ произведеній. Мы понимаемъ, впрочемъ, что разумѣютъ Иваны Васильевичи подъ критику благородной и благопристойной: критику безъ убѣжденій, безъ принциповъ, безъ энергіи, безъ жара, безъ души, безъ оригинальности, безъ таланта, холодную, мелочную, — критику, которая выѣзжаетъ

на обширѣхъ мѣстахъ, кадить признаннымъ знаменитостямъ за все, что бы ни написали онѣ, не смѣетъ признать новаго таланта, рабски угождаетъ своей партіи и бросаетъ камешки изъ-за угла только въ чужихъ, — наконецъ, критику, на которую никто не сердится, которой никто не ненавидитъ, потому что все презираютъ ее. Такая критика есть полное выраженіе слабѣнкихъ и пошленкихъ натуръ Ивановъ Васильевичей. Чтобы хорошенько поразить ненавистную ему критику, Иванъ Васильевичъ представляетъ ее въ видѣ заморскаго шута, который коверкается передъ мужиками, а мужики на него не хотятъ и смотрѣть; очень остроумно! жаль только, что ни мало не правдоподобно и натянуто, потому что критика пишется не для мужиковъ, а мужики не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ея существованіи. «Русскій человекъ (продолжаетъ декламировать Иванъ Васильевичъ) не отвѣтаетъ ни на одинъ голосъ ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родныя картины, чтобъ забилося его сердце, чтобъ засвѣтлѣло въ его душѣ.» Что за фразы! какая риторика!.. Далѣе Иванъ Васильевичъ предлагаетъ рѣшительную мѣру: выбросить за окошко все, что сдѣлано слишкомъ столѣтіемъ и что дѣйствительно существуетъ, и замѣнить это тѣмъ, что проблематически существуетъ въ головахъ славянофильскихъ... Какой яростный реформаторъ—ему все ни по чѣмъ! Сказано—и сдѣлано! Въ заключеніе онъ зоветъ нашихъ поэтовъ и писателей въ мужицкую избу—набираться тамъ мудрости. Особенно совѣтуетъ онъ слушать со вниманіемъ слова умирающаго мужика: въ этихъ словахъ, по его убѣжденію, заключается богатое содержаніе для литературы... Что за пустой человекъ Иванъ Васильевичъ!..

Тарантасъ повстрѣчалъ карету, у которой опустилась рессора и лопнула шина. Въ каретѣ Иванъ Васильевичъ узналъ русскаго князя, съ которымъ познакомился за границей. Этотъ князь варварскимъ русскимъ языкомъ, испещреннымъ галлицизмами, кричитъ на ямщиковъ и лакеевъ и каждому судить по пятисотъ палокъ. Въ деревню ѣду (говоритъ князь Ивану Васильевичу). Нечего дѣлать. Бурмистръ оброка не высылаетъ; чортъ ихъ знаетъ, что пишутъ. Неурожай у нихъ тамъ какой-то, деревня кака-то сгорѣла. А мнѣ что за дѣло? Я—человекъ европейскій, я не мѣшаюсь въ дѣла своихъ крестьянъ; пускай живутъ какъ хотятъ, только чтобъ деньги доставляли аккуратно. Я ихъ ласковозъ знаю. Такіе мошенники, что ужаси. Они думаютъ, что я за границей, такъ они могутъ меня обманыв-

вать. Да я знаю, какъ надо поступать. Сынвей бурмистра въ рекруты, неплательщиковъ въ рабочій домъ, возьму весь доходъ за годъ впередъ, да на зиму въ Римъ.. Къ несчастью, портретъ этого европейца не совсѣмъ невѣренъ: бывають такіе. Хуже всего въ этихъ выродкахъ то, что многіе добродушные невѣжды по нимъ дѣлаютъ свои заключенія о русскіхъ путешественникахъ и пользѣ путешествій вообще. Простодушнымъ невѣждамъ трудно растолковать, что люди бывають всякіе: одни, побывавъ за границей, дѣлаются еще хуже и дерутся еще больше; а другіе переменяются къ лучшему и научаются уважать человеческое достоинство даже и въ своемъ собственномъ лакеѣ..

Разъ Иванъ Васильевичъ былъ не въ духѣ и, презрительно поглядывая на своего спутника, говорилъ про себя: «О, дубина, дубина, самоваръ безтолковый, подъяческая природа, ты самъ не что иное, какъ тарантасъ, уродливое созданіе, начиненное дрянными предрасудками, какъ тарантасъ начиненъ перинами. Какъ тарантасъ, ты не видишь ничего лучше степи, ничего далѣе Москвы. Лучъ просвѣщенія не пробилъ твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается въ вѣтренной мельницѣ, наука въ молотильной машинѣ, а поэзія въ ботвиннѣ, да въ кулебякѣ. Дѣла тебѣ нѣтъ до стремленія вѣка, до современныхъ европейскіхъ задачъ. Были бы у тебя лишь ши, да баня, да погребецъ, да тарантасъ, да плѣсень твоя деревенская. Дубина ты, Василій Ивановичъ!» Вся эта филиппика усмирена противъ Василія Ивановича за то, что онъ не хотѣлъ помедлить въ Нижнемъ и дать оратору время изучать Россію на ярмаркѣ. Но Василій Ивановичъ тотчасъ же представился своему спутнику совсѣмъ съ другой стороны—исгиннымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, точь въ точь какъ представляютъ ихъ въ дивертисментахъ на нашихъ театрахъ. Тутъ все дѣло вертится на любви крестьянъ къ господамъ, внушенной имъ уже самой природой, и еще на томъ, что Авдотья Петровна сама дѣлаетъ больныхъ простыми средствами. Изъ всего этого выводится слѣдствіе, что все хорошо, какъ есть, и никакихъ измѣненій къ лучшему, особенно въ иноземномъ духѣ, вовсе не нужно. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему больница и докторъ, развращенный познаніями гнилаго Запада,—къ чему они тамъ, гдѣ всякая безграмотная баба умѣетъ дѣлать простыми средствами?.. Какъ бы то ни было, но Иванъ Васильевичъ (чувствительная душа!) чуть не расплакался при рассказѣ Василія Ивановича о томъ, какъ будетъ онъ встрѣченъ своими мужиками, которые



на радости свиданія съ баринѣмъ предста-  
нутъ передъ его свѣтлыя очи, кто съ индю-  
комъ подъ мышкой, кто съ ковригой хлѣба.  
Эта сцена изображена на картинкѣ: Василій  
Ивановичъ съ своей полу-русской и полу-  
татарской физиономіей, а мужички съ гре-  
ческими лицами героевъ «Илиады», можетъ  
быть, въ ознаменованіе того, что всѣ мужики  
красавцы, и непріятныхъ физиономій между  
ними не бываетъ.

Въ запятномъ городѣ неизвѣстнаго звя-  
нія тарантасъ измѣнилъ довѣренности дру-  
га своего, Василія Ивановича, и потребо-  
валъ починки. Кузнецъ, впрочемъ, незна-  
комый съ развратнымъ Западомъ, запро-  
силъ за починку 50 рублей, а согласился  
за три пѣлковыхъ. Съ горя путешествен-  
ники наши зашли въ харчевню напитокъ  
чаю. Тамъ сидѣли купцы, чистые русаки,  
несколько не знакомые съ развращеннымъ  
Западомъ. Одинъ изъ нихъ хвастался, какъ  
онъ купилъ у проигравшагося въ карты  
помѣщика скверной муки, смѣшалъ ее съ  
хорошей, да и продалъ въ Рыбинскъ за  
лучшій сортъ. «Что жъ, коммерческое  
дѣло!» сказалъ одинъ. — «Оборотень извѣст-  
ный», прибавилъ другой. Разумѣется, они  
пили чай, держа блюдечки на растопыр-  
ной пятернѣ, и потъ ручьями катился съ  
ихъ физиономій—но попадалъ ли въ блю-  
дечки, объ этомъ авторъ ничего не гово-  
ритъ. Вообще купцы изображены превос-  
ходно, и наблюдательный талантъ автора  
торжествуетъ въ этомъ изображеніи такъ же,  
какъ и вездѣ, гдѣ приходится ему изобра-  
жать. Очень ловко сумѣлъ онъ заставить  
ихъ высказываться передъ Иваномъ Ва-  
сильевичемъ, который думалъ, что онъ ви-  
дитъ все это во-снѣ,—такъ пораженъ онъ  
былъ принципомъ этой особой «коммерціи»,  
которая избѣгаетъ по возможности вежливости  
и всякихъ формальностей, и вертится на  
навыкѣ, рутинѣ, обманѣ и плутняхъ. Какъ  
ни убѣждалъ онъ ихъ въ превосходствѣ пра-  
вильной, систематической европейской ком-  
мерціи передъ этимъ испорченно-восточнымъ  
барышничествомъ на-авось,—купцы остались  
при своемъ. Одинъ изъ нихъ, помолчавъ  
нѣсколько, сказалъ:

—Вы, можетъ быть, кое-что, признательно  
сказать, и справедливо тутъ говорите, хоть и  
больно грозное. Да извольте видѣть, люди-то  
мы не грамотные. Дѣловъ всѣхъ разсудить не  
въ состояніи. Какъ разъ повернулся французъ,  
да аферисты, заведутъ компаніи, а тамъ гля-  
дишь и поклонился капиталу. Чего добраго въ  
несостоятельные попадешъ. Нѣтъ ужъ, батюшка,  
по старому-то оно не такъ складно, да ладно.  
Нашъ порядокъ съ-изстари такъ ведется. Отцы  
наши такъ дѣлали и не промотались, слава  
Богу, и капиталъ намъ оставали. Да вотъ-съ,  
и мы потрудились на своемъ вѣку, и тоже,  
слава Богу, не промотали отцовскаго благосло-

венія, да и дѣтей своихъ надѣлили. А дѣти  
пушай дѣлаютъ, какъ знаютъ. Ихняя будетъ  
воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?

— Нѣтъ, спасибо.

— Одну хоть чашечку.

— Право, не могу...

— Со сливочками!...“ (стр. 170).

Въ большомъ селѣ, гдѣ былъ праздникъ,  
Иванъ Васильевичъ пустился изучать рус-  
скую народность, но его аристократическій  
носъ безпрестанно отворачивался отъ на-  
родныхъ спенъ, которыя, какъ извѣстно,  
бываютъ грязноваты не у насъ однихъ.  
Увидя молодицъ, онъ поправилъ на себѣ  
пальто п, въ надеждѣ вѣрнаго эффекта, по-  
дошелъ къ толпѣ.

„Однако онъ ошибся. Здоровая румяная  
дѣвка указывала на него довольно нахально,  
обращаясь къ подругамъ: „Вишь, какой обли-  
занный вѣмець идетъ!“

Молодицы засмѣялись, а парень въ красной  
рубашкѣ вмѣшался въ разговоръ:

— Эка зубастая Матрѣха. Смотри *рыло ра-  
зобью!*

Матрѣха улыбунулась.

— Вишь, больно науужалъ... Озорникъ этакой.  
Я и сама тресну, что сдачи не попросишь.“  
(стр. 220).

Насладившись этой сценой сельской идил-  
ліи и рыцарской любезности, нашъ изыска-  
тель наткнулся на раскольника и попробо-  
валъ допроситься у мужика, чѣмъ за секта,  
много ли у нихъ раскольниковъ, и проч.  
Но на всѣ свои вопросы получалъ одинъ от-  
вѣтъ: «по старымъ книгамъ». Далѣе пьяный  
солдатъ разсказывалъ, какъ онъ ходилъ подъ  
турку, и объяснялъ причину войны тѣмъ,  
что «турецкій салтанъ, по ихъ вѣмецкому  
языку, вишь, государь такой значить, при-  
слалъ къ нашему Царю грамоту: я хочу-де,  
чтобъ ты посторонился, а то мѣста не даешь;  
да изволь-ка еще окрестить всѣхъ твоихъ  
православныхъ въ нашу языческую поганую  
вѣру», и проч. Долго еще бродилъ Иванъ  
Васильевичъ, много еще видѣлъ пьяныхъ  
спенъ,—а народности все не нашелъ. Mimo  
его проталкался на тройкѣ засѣдатель, и  
Иванъ Васильевичъ воскликнулъ: «О, чи-  
новники! Ужъ не вы ли, по привычкѣ къ  
воровству, украли у насъ народность!» Вотъ  
что называется съ большой-то головы да на  
здоровую! Ужъ не чиновники ли, по при-  
вычкѣ къ воровству, украли у Ивана Ва-  
сильевича способность смотрѣть прямо на  
вещи? Или онъ не получилъ ея отъ при-  
роды? Послѣднее вѣроятнѣе.

Какъ нарочно, при входѣ въ избу на слѣ-  
дующей станціи, Иванъ Васильевичъ встрѣ-  
тилъ чиновника, это былъ исправляющій  
должность исправника, выѣхавшій навстрѣчу  
губернатору. Василій Ивановичъ пригласилъ  
его съ собою напитокъ чаю и спросилъ,  
давно ли онъ служитъ.— Съ восемьсотъ чет-

вертаго. «А почему служите по выборамъ?» лукаво спросилъ его Иванъ Васильевичъ. Чиновникъ объяснилъ свое житье-бытье очень просто, безъ риторики, — и Ивану Васильевичу отъ чего-то стало грустно... Народность опять увернулась у него изъ-подъ рукъ. Отдернувъ занавѣсъ стоявшей въ сторонѣ кровати, онъ увидѣлъ на ней больного старика съ дѣтьми, и первое чувство этого Европейца, который такъ гнушается развратнымъ просвѣщеніемъ Запада, этого либерала, который такъ любитъ трактовать объ отношеніяхъ мужика къ барину, — первое движеніе его было — обидѣться, что простой станціонный смотритель осмѣлился не встать передъ нимъ, европейцомъ и либераломъ 12-го класса! Оказалось, что старикъ давно лишился ногъ, и, по милости начальства, должность за него править его сынъ, мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Ивану Васильевичу опять стало грустно, и его гнѣвъ на чиновниковъ утихъ.

Въѣхавъ въ Казань, Иванъ Васильевичъ словно помѣшался: такую дичь понесъ о Западъ и Востокъ, притиснувшихъ между собою бѣдное славянское начало, что у насъ рѣшительно нѣтъ силы и смѣлости остановиться на этой декламаци, въ которой на каждомъ словѣ умъ за разумъ заходитъ. За нее Востокъ, въ лицѣ татаръ, надулъ Ивана Васильевича: продалъ ему за большія деньги разную дрянь, которую опытный Василій Ивановичъ не хотѣлъ оцѣнить и въ 15 рублей ассигнаціями.

Но вотъ мы уже у послѣдней главы, которая оканчивается сномъ Ивана Васильевича. Это чудный сонъ: авторъ истощилъ въ немъ всю иронию и чудесно дорисовалъ имъ своего миниатюрнаго донъ-Кихота. Вообще старикъ Дмитріевъ сказалъ о снахъ великую истину: «Когда же складны сны бывають?» Прибавьте къ этому, что сонъ этотъ видится такому человѣку, какъ Иванъ Васильевичъ, — и трепещите заранее. А между тѣмъ дѣлать нечего — станемъ бредить съ Иваномъ Васильевичемъ. Пропускаемъ подробности, какъ тарантасъ обратился въ птицу и попалъ въ пещеру съ тѣнями, какъ мертвые призраки подъячихъ поднялись за Иваномъ Васильевичемъ, ругали его поддецомъ и канальей и хотѣли растерзать живого. Намъ лучше хотѣлось бы пересказать, все, что видѣлъ онъ на землѣ, мчавшись на тарантасѣ-птицѣ по воздуху, но не умѣемъ, а выписывать цѣликомъ — слишкомъ много. И потому, волей или неволей, пропускаемъ даже возрожденіе русскаго тарантаса на европейскую стать, и спѣшимъ къ встрѣчѣ Ивана Васильевича съ тѣмъ княземъ, который недавно ругалъ своихъ людей въ сломанной каретѣ. Встрѣча послѣдовала въ Мо-

сквѣ, которая въ чудномъ снѣ, по своей архитектурѣ, перещеголяла Италію. «На головѣ его (князя) была бобровая шапка, станъ былъ плотно схваченъ тонкимъ суконнымъ полушубкомъ на собольемъ мѣху, а на ногахъ желтые сафьянные сапоги докazyвали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство.» Въ нравственномъ отношеніи князь такъ же измѣнился, какъ и наружно; онъ уже считаетъ глупостью путешествія... Почему? спросите вы, ужъ не изъ патриотизма ли? — Отчасти такъ. — Но, скажете вы: если въ чемъ всего менѣе можно упрекнуть англичанъ, такъ это въ отсутствіи или недостаткѣ патриотизма; напротивъ, ихъ любовь къ отечеству переходить даже въ недостатки, въ пороки, въ какое-то слѣпое и фанатическое пристрастіе ко всему англійскому — и между тѣмъ вся Европа наводнена англійскими туристами, особенно Парижъ и Римъ. Это правда, но вѣдь не забудьте, что за человѣкъ Иванъ Васильевичъ, и не забудьте, что все это онъ бредитъ во снѣ. Главная же причина, почему князь съ гордостью отвергалъ въ русскомъ даже возможность желанія путешествовать, состоитъ въ томъ, что русскому въ эти блаженные времена желтыхъ сафьяновыхъ сапожекъ (какъ жаль, что эта эпоха не означена цифрами!), что русскому тогда не зачѣмъ будетъ ѣхать ни на западъ, ни на востокъ, ни на югъ, ни на сѣверъ, ибо въ огромной Россіи есть свой западъ и востокъ, югъ и сѣверъ. Изъ этого можно, навѣрное, заключить, что въ это вождельное время, которое можетъ только представиться во снѣ, и то развѣ какому-нибудь Ивану Васильевичу, въ Россіи будетъ свой Римъ, свой Неаполь, свой Везувій, свое Средиземное море, свои Альпы, своя Швейцарія, свой Гималай и Индія, словомъ, будетъ все, чего нѣтъ теперь, и что манитъ и раздражаетъ любопытство путешественниковъ всѣхъ странъ. Далѣе, въ эту вождельную желто-сапожную эпоху уже не будетъ существовать между народами братскаго размѣна идей, никакихъ связей, торговли, науки, образованности, и новый Гумбольдтъ уже не поѣдетъ къ намъ изучать природу Уральскаго хребта!.. Нѣтъ, ужъ лучше бы князь попрежнему проматывался за границей и обнаружилъ свой европеизмъ пятьюстами палокъ, чѣмъ вдаваться въ такую дикую философію!.. Да! чуть, было, не забыли мы: въ желто-сапожную эпоху будетъ процвѣтать арзамаская школа живописи, которая, вѣроятно, смѣнитъ собою нынѣшнюю суздальскую... Князь исчезъ — и Иванъ Васильевичъ очутился въ объятіяхъ своего пансіоннаго товарища, — того самаго, который на владимірскомъ бульварѣ рассказывалъ

ему о себѣ «простую и глупую исторію». Этотъ такъ же исправился, какъ и князь, и съ своею милою супругою сталъ идеаломъ семейнаго блаженства. Но главная его добродѣтель въ томъ, что онъ не завидуетъ богатымъ и безъ ума радъ, что бѣденъ... Позвольте! опять чуть, было, не забыли мы одного изъ самыхъ характеристическихъ обстоятельствъ желто-сапожной эпохи (въ которую процвѣтаетъ Торжокъ, бойко торгующій сафьянными издѣліями): въ эту желто-сафьянную эпоху будутъ равно отвратительны и тунеядцы, надувающиеся глупой надменностью, и жадные завистники всякаго отличія (желтыхъ сапожекъ?) и всякаго успѣха (наслѣдства?), и голодная зависть нищей бездарности. Жаль, что Иванъ Васильевичъ, поствѣтшій во снѣ эту славянофильскую эпоху, не выглядѣлъ въ ней ничего насчетъ зависти нищей даровитости, нищей гениальности: вѣроятно, таланты и гении будутъ ходить въ красныхъ сапожкахъ, и потому имъ нечего будетъ завидовать желтымъ. Обращаемся къ семейному блаженству пансіонаго товарища Ивана Васильевича.

—Есть на землѣ счастье! сказалъ Иванъ Васильевичъ съ вдохновеніемъ:—есть цѣль въ жизни... и она заключается...

—Батюшки, батюшки, помогите!.. Бѣда. помогите!.. Валимся, падаемъ!..

Иванъ Васильевичъ вдругъ почувствовалъ сильный толчокъ и, шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдругъ проснулся отъ сильнаго удара.

А... что?.. что такое?..

„Батюшки, помогите, умираю!“ кричалъ Василій Ивановичъ: „кто бы могъ подумать!.. тарантасъ опрокинулся!“

Въ самомъ дѣлѣ, тарантасъ лежалъ во рву вверхъ колесами. Подъ тарантасомъ лежалъ Иванъ Васильевичъ, ошеломленный неожиданнымъ паденіемъ. Подъ Иваномъ Васильевичемъ лежалъ Василій Ивановичъ въ самомъ ужасномъ испугѣ. Книга путевыхъ впечатлѣній утонула навѣки на днѣ влажной пропасты. (Туда ей и дорога! скажемъ мы отъ себя.) Сенька висѣлъ внизъ головой, задрѣвывая ногами за козлы...

Одинъ ящикъ успѣлъ выпутаться изъ постромка и уже стоялъ довольно равнодушно у опрокинутаго тарантаса... Сперва оглядѣлся онъ кругомъ, нѣтъ ли гдѣ помощи, а потомъ хладнокровно сказалъ вопіющему Василю Ивановичу:

—„Ничего, ваше благородіе!“

Превосходно! Юморъ какого бы ни было автора, хотя бы съ талантомъ первой величины, не могъ лучше прервать вздорнаго сна и лучше закончить прекрасной книги... Нельзя не согласиться, что юморъ автора «Тарантаса» тѣмъ болѣе исполненъ глубины и желчи, что онъ замаскированъ удивительнымъ спокойствіемъ, такъ что мѣстами читателю можетъ казаться, будто авторъ раздѣляетъ образъ мыслей своего жалкаго и смѣшного героя, этого мален-

каго донъ-Кихота въ миниатюрѣ и въ карикатурѣ. Между тѣмъ ясно, что эта книга, по ея тонкому и глубокому юмору, принадлежитъ къ разряду книгъ въ родѣ „Epistolae obscurorum Virorum“, «Писемъ Юнія» и „Lettres Persannes“ Монтескье. Славянофилы, въ лицѣ Ивана Васильевича, получили въ ней страшный ударъ, потому что ничего нѣтъ въ мірѣ страшнѣе смѣшного: смѣшное — казнь уродливыхъ нелѣпостей. Какъ! эти люди... но оставимъ людей и поговоримъ объ одномъ человѣкѣ—объ Иванѣ Васильевичѣ... Какъ! этотъ человѣкъ съ жидкой натурой, слабой головой, безъ энергіи, безъ знаній, безъ олытности, съ одной мечтательностью, съ одними пошлыми фантазіями могъ вообразить, что онъ нашелъ дорогу, на которую Россія должна сверотить съ пути, указаннаго ей ея великимъ преобразователемъ!.. Комары, мошки хотятъ поправлять и передѣлывать громадное зданіе, сооруженное исполиномъ!.. Близорукіе, косые, кривые и слѣпые, они хотятъ заглядывать въ будущее и думаютъ видѣть его такъ же ясно, какъ и настоящее! Ихъ маленькому самолюбію не приходится въ голову, что и настоящее-то въ ихъ головѣ отражается невѣрно, какъ въ кривомъ или разбитомъ зеркалѣ. Головы, устроенныя вверхъ ногами, онѣ мыслятъ вѣчно заднимъ числомъ, и если имъ удастся замѣтить кое-что такое, что вѣсьмъ бросается въ глаза и что на вѣсьмъ производитъ грустное и тяжелое впечатлѣніе, — онѣ ждуть исцѣленія не отъ будущаго, но, вычеркивая настоящее (какъ будто бы его вовсе не было или какъ будто бы оно не есть необходимый результатъ прошедшаго), обращаются къ давно-прошедшему, котораго или вовсе не знаютъ, или плохо знаютъ, смотря на него въ очки своей фантазіи, — и посредствомъ какого-то невозможнаго, чудовищнаго salto mortale хотятъ выдвинуть это давно-прошедшее, мимо настоящаго, прямо въ будущее. Не понимая современнаго, не будучи гражданами никакой эпохи, никакого времени (потому что кто живетъ внѣ настоящаго, современнаго, тотъ нигдѣ не живетъ), новые донъ-Кихоты, они сочинили себѣ одно изъ тѣхъ нелѣпныхъ убѣжденій, которыя такъ близки къ толкамъ старообрядческихъ сектъ, основанныхъ на мертвомъ пониманіи мертвой буквы, и изъ этого убѣжденія сдѣлали себѣ новую Дульцинею тобозскую, ломаютъ за нее перья и льютъ чернила. Не понимая, что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть противниковъ (потому что невинное помѣшательство пользуется счастливою привилегіей не имѣть враговъ) — они выдумываютъ, ищутъ себѣ враговъ и думаютъ видѣть

главнаго своего врага въ просвѣщеніи Запада; но Западъ не хочетъ и знать о ихъ существованіи: онъ идетъ себѣ, куда указало ему Провидѣніе, не замѣчая ни ихъ бумажныхъ шлемовъ, ни ихъ деревянныхъ копій.. Подобныя нелѣпости давно уже требовали одной изъ тѣхъ жестокихъ и бьющихъ на смерть сатиръ, которыми можетъ поражать только художественный талантъ... «Тарантасъ» графа Соллогуба явился такой сатирой, исполненной ума, остроумія, мысли, юмора, художественности...

Мы все сказали. Прощайте жъ, Иванъ Васильевичъ! Спасибо вамъ: вы заняли насъ, вы

и посердили, и позабыли насъ на свой счетъ. Прощайте, смѣшной и жалкій донъ-Кихотъ! Вѣчное спасибо вамъ за то, что вы сказали всему свѣту, какъ зовутся по имени и по отчеству люди извѣстнаго разряда: ихъ зовутъ Иванами Васильевичами...

Прощай, «Тарантасъ»! прощай, книга умная, даровитая и—что всего важнѣе—книга дѣльная! Благодаримъ тебя за наслажденія, которыми подарила ты насъ и которыхъ, вѣроятно, долго, долго не дожидаться намъ, потому что такія книги и не у насъ рѣдко появляются...

## Опытъ исторіи русской литературы.

Сочиненіе э.-о. профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, доктора философіи А. Никитенко. Книга первая. Введеніе. Спб. 1845.

Давно чувствуется всеми настоятельная потребность въ исторіи русской литературы. Впрочемъ, въ послѣднее время обнаружались нѣкоторые признаки, по которымъ можно судить, что уже предпринята не одна попытка къ удовлетворенію этой потребности. Еще въ 1839 году Максимовичъ издалъ первую часть своей «Исторіи Древней Русской Словесности»; когда выйдетъ вторая часть, и выйдетъ ли она когда-нибудь,—намъ не извѣстно, и потому эта попытка доселѣ остается попыткой, непременной въ дѣло. Вышедшая теперь въ свѣтъ первая часть «Опыта Исторіи Русской Литературы» Никитенко была упреждена многочисленными чтеніями Шевырева въ «Москвитинѣ», касающимися до исторіи древней, преимущественно теологической, русской словесности и предвѣщающими появленіе полной исторіи всей русской литературы. Къ этому мы можемъ присовокупить, что готовится и еще сочиненіе по тому же предмету, подъ именемъ «Критической Исторіи Русской Литературы» (преимущественно новой, съ обзоромъ, въ видѣ введенія, произведеній народной поэзіи); впрочемъ, мы ничего не можемъ сказать положительнаго о времени выхода этого сочиненія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не желать, чтобъ всѣ эти сочиненія вышли какъ можно скорѣе, вполне оконченныя: каковы бы ни были ихъ направленія и степень достоинства — они не могутъ не способствовать довольно сильно движенію общественнаго сознанія въ столь

важномъ предметѣ, какъ отечественная литература. И чѣмъ различнѣе и противоположнѣе въ своихъ взглядахъ и направленіяхъ будутъ всѣ эти сочиненія, тѣмъ больше принесутъ они пользы.

Есть три способа знакомиться съ литературой и изучать ее. Первый—чисто критическій, который состоитъ въ критическомъ разборѣ каждаго замѣчательнаго писателя; второй — чисто-историческій, который состоитъ въ обзорѣни хода и развитія всей литературы: здѣсь обращается больше вниманія на эпохи и на школы литературы, чѣмъ на отдѣльныя дѣйствующія лица. Третій способъ состоитъ въ соединеніи, по возможности, обоихъ первыхъ. Этотъ способъ самый лучшій. Во всякомъ случаѣ, вліяніе и важность критики не подвергаются никакому сомнѣнію. Первымъ критикомъ и, слѣдовательно, основателемъ критики въ русской литературѣ былъ Карамзинъ. Самая замѣчательная его критическая статья была «О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ»; къ числу критическихъ же его статей должно отнести и статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ», въ которой онъ сообщаетъ краткія извѣстія, не чуждаясь мѣстами критическаго взгляда, о старинныхъ писателяхъ—Несторѣ, Никонѣ, Матвѣевѣ (Артамонѣ Сергѣевичѣ), царевнѣ Софіи, Симеонѣ Полоцкомъ, Дмитріи Тупталѣ, Феофанѣ Прокоповичѣ, князѣ Хилковѣ, князѣ Каменскѣ, Татищевѣ, Климовскомъ, Буслаевѣ, Тредьяковскомъ, Сильвестрѣ, Кулябкѣ, Крашенинниковѣ,

Барковъ, Геденовъ, Дмитрій Сѣченовъ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Федоръ Эмиль, Майковъ, Поповкомъ, Поповъ. Не говоримъ о множествѣ мелкихъ рецензій Карамзина въ его «Московскомъ Журналѣ» и «Вѣстникѣ Европы»,—рецензій, которыми онъ такъ много способствовалъ къ очищенію и утверждению вкуса публики.—Кромѣ Карамзина, какъ критикъ, заслуживаетъ почетнаго упоминенія современникъ его, Макаровъ, изъ критическихъ статей котораго особенно замѣчательны: «Сочиненія и переводы Ивана Дмитриева» и «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgъ російскаго языка». Онѣ были напечатаны въ его журналѣ: «Московский Меркурій», который онъ издавалъ въ 1803 году.—Черезъ нѣсколько лѣтъ Жуковский написалъ двѣ критическія статьи «О Сатирахъ Кантемира» и «Васняхъ Крылова». Батюшковъ разобралъ сочиненія Муравьева (М. Н.) и писалъ объ «Освобожденномъ Иерусалимѣ» Тасса и сонетахъ Петрарки.—Князь Вяземскій долженъ быть упомянутъ, какъ одинъ изъ первыхъ критиковъ эпохи русской литературы до двадцатыхъ годовъ: онъ написалъ «О Жизни и Сочиненіяхъ Озерова», «О Державинѣ» и другія критическія статьи, въ свое время очень замѣчательныя. Но критикомъ по ремеслу, критикомъ ex officio во второе десятилѣтіе настоящаго вѣка былъ Мерзляковъ, писавшій въ особенности о Сумароковѣ и Херасковѣ. Въ то же время Мерзляковъ былъ и теоретикомъ поэзій, какъ искусства.—Въ началѣ двадцатыхъ годовъ критика начали размножаться, и къ альманачнымъ «обозрѣніяхъ литературы» за тотъ или другой годъ видны попытки дѣлать очерки исторіи русской литературы. Представителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но безпокойной и горячей, ратовавшей за такъ-называемый романтизмъ противъ такъ-называемаго классицизма,—критики, распростиравшей много поверхностныхъ и неосновательныхъ мыслей, но и принесшей большую пользу сближеніемъ литературы съ жизнью,—представителями этой критики были Марлинскій и Полевой. Послѣдній около десяти лѣтъ былъ главнымъ органомъ русской критики, черезъ свой журналъ—«Московский Телеграфъ». Потомъ, въ 1839 году, онъ издалъ, подъ именемъ «Очерковъ Русской Литературы», свои важнѣйшія критическія статьи въ двухъ томахъ: въ нихъ онъ показалъ крайніе предѣлы, до которыхъ могла доходить наша такъ-называемая романтическая критика—равно какъ и собственная его критическая тенденція. Въ самомъ дѣлѣ, еще до выхода этихъ двухъ томовъ Полевой уже отсталъ отъ самого себя

и началъ издавать такія произведенія, которыя еще такъ недавно и такъ жестоко преслѣдовала его критика и въ принципѣ, и въ исполненіи. Поэтому на его «Очерки Русской Литературы» можно смотрѣть, какъ на памятникъ, сооруженный авторомъ своей критической славѣ.—Шевыревъ вышелъ на поприще критики вскорѣ послѣ Полевого. До тридцатыхъ годовъ характеръ и направленіе его критики носили отпечатокъ знакомства съ нѣмецкими эстетиками и вообще съ нѣмецкой литературой. Въ критикѣ его замѣтно было присутствіе чего-то похожаго на принципъ, и потому въ ней меньше было произвольныхъ мнѣній, чѣмъ въ критикѣ Полевого; но со стороны таланта Шевыревъ далеко уступалъ Полевому,—и потому послѣдній имѣлъ большое вліяніе на современную ему литературу, а первый не имѣлъ на нее почти никакого вліянія. Съ тридцатыхъ годовъ критика Шевырева приняла какое-то quasi-итальянское направленіе; по крайней мѣрѣ онъ безпрестанно, и кстати, и некстати, толковалъ о Дантѣ, Петраркѣ и Тассѣ, говоря о русскихъ писателяхъ. Это, вѣроятно, было слѣдствіемъ его пребыванія въ Италіи. Въ эту-то итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ, во-первыхъ, напечаталъ знаменитое свое стихотвореніе, названное имъ: «Чтеніе Данта», и начинающееся этимъ безсмертнымъ стихомъ:

Что въ морѣ купаться, то Данта читать!

во-вторыхъ, учинилъ два безцѣнныя критическія открытія касательно русской литературы: первое сдѣлано имъ по поводу разбора «Трехъ Повѣстей» Н. Павлова, и мы передаемъ его, это открытіе, словами самого изобрѣтателя, Шевырева:

„Жизнь есть какое-то складное бюро, со множествомъ ящиковъ, между которыми есть одинъ глубокий, тайный ящикъ съ пружиной. Въ повѣствователи шарятъ въ этомъ бюро, но не всякому извѣстна пружина закрытаго ящика. Въ немъ то лежитъ тайна повѣсти истинной, повѣсти глубокой. Авторъ повѣстей, мною разбираемыхъ, нащелъ путь къ этому секрету онъ открылъ въ немъ маленький уголокъ: но этотъ ящикъ чрезвычайно сложенъ. Въ немъ такъ много пружинокъ и пружинокъ. Есть надежда, что и тѣ онъ откроетъ со временемъ, послѣ такого прекраснаго начала; но есть святое мѣсто этого ящика, которое надо непремѣнно заранее открыть всякому повѣствователю, но которое нашъ авторъ только что вскрылъ слегка, коснувшись одной его поверхности. Въ этомъ ящикѣ лежитъ вещь, сильно дѣйствующая въ нашемъ мірѣ, лежитъ половина насъ самихъ, а иногда и все мы. Это сердце женское.“

Кто не согласится, что это открытіе очень оригинально?.. Второе открытіе, уже чисто-литературное, еще оригинальнѣе. Разбирая стихотворенія Бенедиктова, Шевыревъ, съ

свойственной критической прощательностью, замѣтилъ, что въ русской поэзіи до появленія Бенедиктова не было мысли;— замѣтите: не было мысли въ поэзіи, которой представителями были Державинъ, Фонвизинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ и Грибоедовъ,—а, по мнѣнію Шевырева, ея представителями были еще и Языковъ, Хомяковъ и tutti quanti.. Вотъ его собственныя слова: «Эго была эпоха извѣстнаго матеріализма въ поэзіи... Слухъ нашъ дрожалъ отъ какой-то роскоши раздражительныхъ звуковъ... упивался ими, скользилъ по нимъ, иногда не ведунчиваясь въ нихъ... Воображеніе наслаждалось картинными, но болѣе чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной, вѣяло чѣмъ-то духовнымъ въ нашей поэзіи... Но матеріализмъ торжествовалъ надъ всѣмъ... Формы убивали духъ... Нѣжные, сладкіе, упоительные звуки оплетали насъ своей невидимой сѣтью...» Итакъ, въ этой поэзіи недоставало мысли: Бенедиктовъ—первый поэтъ, въ поэзіи котораго нѣтъ матеріальности—одна духовность, т. е. проникновеніе мыслью, и потому Шевыревъ, въ восторгѣ отъ своего открытія, воскликнулъ: «Вотъ почему съ особенной радостью встрѣчаю я такого поэта, въ первыйхъ преддѣлахъ котораго доносится мнѣ сквозь матеріальные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна возможная спасительница нашей поэзіи!»

Въ этомъ можно на-слово повѣрить Шевыреву: онъ самъ поэтъ, и ему ли не знать толка въ поэзіи? Потому-то онъ мало того, что расхвалилъ Бенедиктова, но и нашелъ въ его стихахъ мысль, которой не находилъ даже въ созданіяхъ Пушкина! Въ эту же итальянскую эпоху своей критики Шевыревъ пустился, было, на изобрѣтеніе русской октавы, по примѣру итальянской: но предпріятіе такъ же точно не удалось, какъ и введеніе гексаметровъ въ русскую поэзію другимъ извѣстнымъ поэтомъ, критикомъ и профессоромъ. Можетъ быть, октавы потому не восторжествовали, что въ поэтическомъ достоинствѣ нисколько не превосходили помянутые гексаметры, хотя между тѣми и другими легло чуть не столѣтіе...

Въ первую эпоху своей критической дѣятельности Шевыревъ дѣйствовалъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» Погодина (1827—1830); во вторую—въ «Московскомъ Наблюдателѣ» Андреева (1835—1837). Но онъ не ограничился этими двумя эпохами, и теперь обрѣтается въ третью, въ которой онъ отступился не только отъ Германіи, но и отъ Италіи, равно какъ и отъ всего Запада. Эта третья эпоха—восточная, сла-

вянофильская; ея дѣятельность проявилась въ «Москвитинѣ». Она ознаменовалась многими любопытными и оригинальными открытіями и изобрѣтеніями, такъ что перечестъ ихъ все нѣтъ никакой возможности; но лучшимъ изъ нихъ кажется намъ замѣчаніе о Лермонтовѣ, какъ подражателѣ не только Пушкина и Жуковского, но даже и Бенедиктова!...

Много было и другихъ критиковъ, изъ которыхъ каждый чѣмъ-нибудь да прославилъ себя: одинъ—душегрѣйкой новѣйшаго унынія»; другой—мыслью, что Пушкинъ не болѣе какъ легкой и пріятный стихотворецъ, мастеръ на мелочи, что герои поэмъ его—бѣсенята, и что изящество его произведеній есть не болѣе, какъ изящество хорошо сшитаго моднаго фрака; а Ломоносовымъ-де не налюбоваться «въ сытость» и позднѣйшему потомству, и что Шекспиръ и Байронъ неомовенными руками возлагали возрѣбія нечестыя и уметы поганья на алтарь чистыхъ дѣвъ, сирѣчь музъ...<sup>1)</sup> Третій сняскалъ себѣ безсмертную славу просто прославленіемъ писателей своего прихода и бранью на чужихъ; четвертый—похвалой и бранью однимъ и тѣмъ же лицомъ, смотря по обстоятельствамъ и погодѣ. Обо всѣхъ такихъ мы умалчиваемъ. Наша цѣль была поименовать только главнѣйшихъ дѣйствующихъ на поприщѣ критики въ различныя эпохи русской литературы.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каждая эпоха русской литературы имѣла свое сознаніе о самой себѣ, выразившееся въ критикѣ. Но ни одна эпоха не выразила этого сознанія о цѣлой литературѣ въ историческомъ изложеніи ея хода и развитія. Были попытки, но до того ничтожныя, что не стоитъ и упоминать о нихъ. Впрочемъ, такъ—называемый «Краткій опытъ исторіи русской литературы» Греча имѣетъ по крайней мѣрѣ достоинство литературнаго адресъ-календаря и справочной книги о времени рожденія, смерти, о служебномъ поприщѣ, чинахъ, орденахъ и времени появленія въ свѣтъ сочиненій значительной части нашихъ писателей. Какъ справочная книга, она очень полезна для современниковъ и будетъ полезна даже для отдаленнѣйшаго потомства, которое узнаетъ изъ нея, что старинные литераторы и поэты были вмѣстѣ и чиновники. Что же касается до практической и критической стороны этой книги, — смѣшно и говорить о ней.

<sup>1)</sup> Все это факты не только не преувеличенныя, но еще ослабленныя нами. Если бы вужо было, мы представили бы печатныя доказательства, что такимъ слогомъ писалась критика назадъ тому лѣтъ восемнадцать.

Многіе изъ нашихъ читателей изъясняли намъ свое удивленіе, что мы рѣшились на серьезный и дѣльный разборъ новаго изданія «Учебной Книги Русской Словесности», вмѣсто того, чтобъ посмѣшить публику забавной рецензіей на эту поистинѣ забавную книгу. Мы очень рады случаю объясняться на этотъ счетъ съ чиновниками. Во-первыхъ, мы хотѣли быть полезны многочисленному классу учащихся и учащихся «россійской словесности», для которой на русскомъ языкѣ нѣтъ ни одного сколько-нибудь сноснаго руководства. Во-вторыхъ, сочинителя этой невѣроятной книги мы хотѣли лишить всякой возможности утѣшить себя мыслью, что наша статья—брань безъ доказательствъ и что она внушена намъ завистью и недоброжелательствомъ къ автору такого превосходнаго учебника... Безъ такихъ причинъ, которыя, конечно, гораздо важнѣе для насъ, чѣмъ для нашихъ читателей,—мы никакъ не рѣшились бы съ важною все доказывать, что книга, въ которой все—противорѣчіе, нигуда не годится. Поступивъ такъ, мы за одинъ разъ вырвали зло съ корнемъ,—и жалкаго учебника теперь какъ не бывало!... Есть и еще книга, претендующая знакомить своихъ читателей съ исторіей русской литературы. Это—«Руководство къ познанію литературы» Плаксина. Но Плаксинъ даже не означилъ въ заглавіи своей книги—какой литературы хочетъ онъ повѣствовать исторію; зато въ самой книгѣ, рассказавъ кратко исторію литературъ еврейской, индійской, греческой, римской и объяснивъ духъ новыхъ литературъ, классицизмъ и романтизмъ, пространнѣе изложилъ исторію русской литературы. Эта книга—повѣрять ли?—далеко ничтожнѣе книги Греча... Впрочемъ, всё учебники и ученныя сочиненія такого рода ровно нигуда не годятся по совершенному отсутствію въ нихъ всякаго начала, которое проникало бы собою всё ихъ сужденія и приговоры и давало бы имъ единство. Для Плаксина, напримѣръ, и Пушкинъ—поэтъ, и Херасковъ—тоже поэтъ, да еще какой!... Есть ли тутъ что-нибудь похожее на взглядъ, на образъ мыслей, на мнѣніе, на убѣжденіе, на принципъ? Не такъ мыслили и понимали въ этомъ отношеніи, напримѣръ, Мерзляковъ. Можно не соглашаться съ его системой и даже считать ее ложной; но нельзя не видѣть въ ней ни чуждаго мнѣнія, ни послѣдовательности въ доказательствахъ и выводахъ. Каково бы ни было его начало, онъ вѣренъ ему и ни въ чемъ не противорѣчитъ самому себѣ. Признавая великимъ поэтомъ Ломоносова, находя поэтическія достоинства и красоты въ сочиненіяхъ Сумарокова, Хераскова и

Петрова,—Мерзляковъ не видѣлъ (потому что не могъ видѣть, оставаясь вѣрнымъ своему началу) въ Пушкинѣ великаго поэта. И потому вы или вовсе отвергнете осковное начало критики Мерзлякова и, следовательно, его выводы, или во всемъ согласитесь съ нимъ. А у этихъ господъ все смѣшано и перемѣшано: въ ихъ книгѣ мирно уживаются самыя разнородныя, прогнворѣчанія понятія,—и то, что дважды-два—четыре, и то, что дважды-два—пять съ половиной...

Тѣмъ важнѣе теперь появленіе всякаго опыта исторіи русской литературы, хоть сколько-нибудь отличающагося самостоятельнымъ взглядомъ на предметъ и послѣдовательностью въ выводахъ. Но опытъ Никитенко далеко не принадлежитъ къ числу какихъ-нибудь и сколько-нибудь сносныхъ или порядочныхъ опытовъ: онъ обѣщаетъ гораздо больше. Говоримъ, обѣщаетъ, потому что «Опытъ» пока состоитъ еще только въ одномъ введеніи; но это введеніе тѣмъ не менѣе даетъ надѣяться читателю найти въ исторіи русской литературы Никитенко сочиненіе прекрасное и по взгляду на предметъ, и по изложенію содержания,—сочиненіе, болѣе чѣмъ прекрасное, сочиненіе дѣльное. Но пока оно еще не въ рукахъ публики, пока мы еще не прочли его, поговоримъ пока не о будущемъ, а о настоящемъ, поговоримъ о «Введеніи», тѣмъ болѣе, что, обобщая хорошую исторію русской литературы, оно въ то же время и само по себѣ, какъ отдѣльное произведеніе, заслуживаетъ большого вниманія. Содержаніе этого «Введенія» само по себѣ можетъ служить предметомъ особеннаго сочиненія, и потому, пока не явятся въ свѣтъ остальные части труда Никитенко,—мы имѣемъ право рассмотреть его «Введеніе», какъ само по себѣ полное и оконченное сочиненіе.

Вотъ предметы, которые разсматриваются во «Введеніи» къ исторіи русской литературы: 1) идея и значеніе исторіи литературы; 2) методъ изученія исторіи литературы; 3) источники исторіи литературы; 4) идея и значеніе исторіи литературы русской; 5) раздѣленіе исторіи русской литературы на періоды. Этотъ простой перечень главъ, изъ которыхъ состоитъ «Введеніе», много говоритъ въ пользу сочиненія, свидѣтельствуя, что авторъ началъ съ начала и принялся за тѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ должно быть положено во главу, краеугольнымъ камнемъ исторіи русской литературы, и что въ послѣдующихъ частяхъ труда его изложеніе фактовъ будетъ озарено свѣтомъ мысли. Мы сейчасъ увидимъ, какъ счастливо успѣлъ авторъ избѣ-

жать двухъ крайностей, которыя для писателей бываютъ Спилдой и Харибдой—успѣль избѣжать односторонняго идеализма, гордо отвергающаго изученіе фактовъ, и односторонняго эмпиризма, который дорожитъ только мертвой буквой и, набирая фактъ на фактъ, подавляется бесполезнымъ избыткомъ собственныхъ приобрѣтеній и завоеваній. Авторъ «Введенія» начинаетъ прямымъ нападениемъ на послѣднюю крайность...

Въ мысли, въ идеѣ видитъ авторъ таинственную психею народной жизни, которая составляетъ содержаніе исторіи; а преимущественно откровеніе этой мысли, этой идеи видитъ онъ въ словѣ. «Человѣкъ,—говоритъ онъ,—есть органъ мысли; это верховнѣйшее изъ его преимуществъ, долгъ его, злополучіе и благо.» По нашему мнѣнію, думать такъ, значить — думать справедливо объ исторіи. Несмотря однако жъ (говоритъ авторъ) ни на очевидность успѣховъ мыслительной дѣятельности, ни на требованіе вѣка, многие писатели не совсѣмъ еще чуждаются прежней методы и воззрѣній исторіи. Направленіе, характеръ и мысли народной, выраженные въ словѣ, судьба науки и литературы у нихъ все еще составляетъ одно какое-то дополненіе къ жизни внѣшней. Они, кажется, до сихъ поръ не довольно выжили въ тѣсную органическую связь глубокихъ внутреннихъ явленій этого рода со внѣшними; ихъ не слѣдуетъ разлучать тамъ, гдѣ дѣло идетъ о полнотѣ знанія. Такое положеніе науки дѣлаетъ необходимымъ специализированіе главнѣйшихъ элементовъ исторіи, и мы принуждены изъ исторіи литературы составлять особую науку, тогда какъ настоящее ея мѣсто въ общей великой наукѣ, обнимающей жизнь и судьбу народа въ цѣлости и нераздѣльно.» Вотъ истинный взглядъ на истинную литературу! Исторія народа есть исторія развитія мысли, выраженной и непосредственной, и сознательной стороны жизни народа, а мысль народа преимущественно выражается въ его литературѣ, потому что обнаруживается въ ней прямѣе и сознательнѣе. Правда, литература не есть исключительное и полное выраженіе умственной жизни народа, которая еще высказывается и въ искусствѣ въ обширномъ значеніи этого слова. Громадные храмы Индіи, высѣченные изъ скаль, построенные изъ горъ, стоятъ «Махабхараты» или «Рамаяны»; изысканные памятники древней греческой архитектуры и скульптуры составляютъ какъ бы одно съ «Иліадой», «Одиссеей» и трагедіями; огромныя римскія зданія, ознаменованныя печатью гражданскаго и государственнаго величія, не менѣе

повѣствованія Тита Ливія и Тацита, не менѣе Юстиніанова кодекса свидѣтельствуютъ о бытій народа, который былъ державнымъ владыкой міра, властелиномъ царей и народовъ и который, даже по смерти своей, внесъ преобладающій элементъ своей жизни въ жизнь новѣйшихъ народовъ Европы, ознакомивъ ихъ съ лучшими идеями о правѣ. Въ готическихъ соборахъ, картинахъ и музыкѣ мастеровъ среднихъ вѣковъ жизнь этой по преимуществу религиозно-христианско-католической эпохи отразилась едва ли еще не полнѣе и роскошнѣе, нежели въ поэмѣ Данте и романсахъ менестрелей. И теперь, въ наше время, жизнь народовъ выражается не въ одной литературѣ, а только преимущественно въ литературѣ. Это, впрочемъ, было и всегда, за исключеніемъ развѣ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, что литература объемлетъ собою несравненно обширнѣйшій кругъ народнаго созданія, нежели всякое другое искусство,—ея памятники прочнѣе, несокрушимѣе, вѣковѣчнѣе, потому что она, по сущности своей, духовнѣе другихъ искусствъ, менѣе зависитъ отъ матеріальныхъ средствъ.

Но здѣсь есть недоразумѣніе: мы назвали литературу искусствомъ и противопоставили ее другимъ искусствамъ. Это не совсѣмъ опредѣлительно, и на этотъ счетъ надо яснѣе выразиться: надо начать съ начала, надо опредѣлить литературу, съ точностью указать, что входитъ въ ея кругъ, съ чѣмъ она соприкасается, и что должно исключать изъ ея круга. Авторъ «Опыта», какъ и должно, не миновалъ этого вопроса, но разсмотрѣлъ и по-своему рѣшилъ его. Онъ начинаетъ разсматривать его съ отношеній между частнымъ и общимъ, національнымъ и общечеловѣческимъ, и въ основу сокровенной внутренней жизни литературы полагаетъ общія всему человѣчеству идеи разума...

Во всемъ, что онъ говорилъ по этому поводу, много истины, и все очень близко къ истинѣ, многое выражено необыкновенно удачно и опредѣленно; но намъ кажется, что тутъ вопросъ рѣшенъ не вполне удовлетворительно. Прежде всего обратимъ вниманіе на то, что Никитенко противопоставляетъ науку литературѣ. Это не совсѣмъ вѣрно съ его же собственной точки зрѣнія на литературу, потому что подъ его опредѣленіе литературы подходитъ и наука, какъ «мысль человѣческая, возникающая у народа вмѣстѣ съ намъ изъ его духа, жизни, историческихъ и мѣстныхъ обстоятельствъ и посредствомъ слова выражающая свое народо-человѣческое развитіе подъ совокупнымъ вліяніемъ верховныхъ и всеобщихъ идей истиннаго и изящнаго.»



Повторяемъ: это опредѣленіе такъ же идетъ и къ наукѣ, какъ и къ литературѣ, и по этому самому не выражаетъ вѣрно ни той, ни другой. Содержание науки и литературы одно и то же—истина; слѣдовательно, вся разница между ними состоитъ только въ формѣ, въ методѣ, въ пути, въ способѣ, которыми каждая изъ нихъ выражаетъ истину. Такъ какъ у обѣихъ одно и то же орудіе выраженія—слово то и отдѣлить ихъ другъ отъ друга можно только на существennomъ отличіи. Литература, въ общирномъ значеніи, обнимаетъ собою и науку, и потому говорится: литература исторіи, литература химіи, литература медицины и т. д. Такимъ образомъ въ этомъ смыслѣ сама наука относится къ литературѣ, какъ видъ къ роду, какъ часть къ цѣлому. Противопоставивъ литературѣ науку, авторъ хотѣлъ яснѣе и точнѣе опредѣлить первую черезъ ея противоположность. Цѣль хорошая и средство вѣрное; но тутъ есть ошибка, которая парализировала средство и не допустила вполнѣ достигъ цѣли: авторъ упустилъ изъ вида и искусство, которое и слѣдовало противопоставить литературѣ, чтобъ точно и вѣрно опредѣлять послѣднюю. Но, можетъ быть, мы сами ошибаемся, и авторъ подъ литературой разумѣетъ именно искусство. Въ такомъ случаѣ его ошибка дѣлается еще большей. Во-первыхъ, подъ его опредѣленіе литературы искусство никакъ не подойдетъ, потому что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ни слова о творчествѣ; во-вторыхъ, литература состоитъ не изъ однихъ только произведеній искусства. Говоря объ искусствѣ по поводу литературы, должно разумѣть искусство словесное, т. е. поэзію. Опредѣлять поэзію—значитъ опредѣлять и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзію, потому что послѣдняя отъ первыхъ разнится не сущностью, а способомъ выраженія. Правда, этотъ способъ, т. е. слово, дѣлаетъ ее выше всѣхъ другихъ искусствъ и производитъ цѣлый кругъ эстетическихъ законовъ, только ей одной свойственныхъ и всякому другому искусству чужихъ. Но это показываетъ только, что теорія поэзій существенно раздѣляется на двѣ части—общую и прикладную; въ первой объясняется значеніе искусства вообще и излагаются законы, равно общіе всѣмъ искусствамъ; а во второй поэзія разсматривается какъ особенное искусство, имѣющее свои, только ей свойственные законы. Вотъ это то словесное или литературное искусство, т. е. поэзія, и должно противопоставляться наукѣ, для взаимнаго опредѣленія той и другой, какъ двухъ самостоятельныхъ областей литературы. Въ такомъ случаѣ ихъ

различіе очевидно: наука—область спекулятивнаго, диалектическаго развитія истины, какъ мысли прямо, безъ всякаго посредства образовъ. Главный дѣятель науки—умъ, и всего менѣе фантазія. Искусство, слѣдовательно, и поэзія, есть, напротивъ, непосредственное развитіе истины, въ которомъ мысль высказывается черезъ образъ и въ которомъ главный дѣятель есть фантазія. Наука, разлагающей дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творящей дѣятельностью фантазій, общія идеи являетъ живыми образами. Наука мертва для непосвященнаго въ ея тайнства; искусство оказываетъ свое вліяніе иногда надъ самыми грубыми и невѣжественными людьми. Наука требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка, искусство болѣе или менѣе дается почти всякому. Наука дѣйствуетъ мыслью прямо на умъ; искусство дѣйствуетъ непосредственно на чувство человѣка. Это два полюса, совершенные противоположные. Только въ исторіи наука и искусство соединяются вмѣстѣ для достиженія одной и той же цѣли, потому что въ наше время исторія есть столько же ученое, по внутреннему содержанію, сколько художественное, по изложенію, произведеніе. Доселѣ мы говорили о наукѣ спекулятивной, которая весь міръ явленій переводитъ на языкъ мысли, идеи, и въ которой бытіе является единымъ изъ самого себя вѣчно развивающимся идеальнымъ началомъ; другая наука—наука опытная, эмпирическая, терпѣливымъ и постояннымъ трудомъ медленно, шагъ за шагомъ, приобретающая и приготавливающая поприще для завоеваній мысли,—эта наука тоже противоположна искусству. Она находитъ, разлагаетъ, сравниваетъ, приводитъ въ порядокъ безконечный міръ фактовъ, классифицируетъ ихъ. Она тоже не для толпы, а для избранныхъ, тоже требуетъ всей жизни человѣка, всего человѣка, также имѣетъ своихъ героевъ и мучениковъ.

Итакъ, вотъ первое различіе науки отъ искусства въ отношеніи къ обществу; тайны ея, т. е. процессъ ея дѣятельности, доступны только для посвященныхъ, для труженниковъ, по страсти обречшихъ себя ея служенію,—слѣдовательно, для самой малѣйшей части общества: результаты же науки доступны уже для большей части общества, т. е. не для однихъ ученыхъ, но и для дилетантовъ. Искусство, напротивъ, по его доступности, существуетъ для всѣхъ, хотя и не въ равной мѣрѣ, и не для всѣхъ одинаково.

Искусство существуетъ даже для дикихъ народовъ. Пѣсню дикарь торжествуетъ свою побѣду надъ врагомъ; пѣсню возбуждаетъ

онъ въ себѣ воинственный пылъ, готовясь на битву; въ пѣснѣ изливаетъ онъ и горе, и радость. Но неизмѣримое пространство раздѣляетъ народную пѣсню отъ художественной поэмы или драмы. Въ образованныхъ обществахъ (у которыхъ однихъ можетъ быть художественная поэзія) художественныя произведенія имѣютъ обширный кругъ читателей, а драматическая поэзія, чрезъ театръ, дѣлается доступной даже безграмотнымъ людямъ. Однако жъ изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ художественныя произведенія были не только доступны всему обществу, но и вполнѣ доступны только его меньшей части. Для полнаго, истиннаго постиженія искусства, а слѣдовательно, и полнаго, истиннаго наслажденія имъ необходимо основательное изученіе, развитіе;—эстетическое чувство, получаемое человекомъ отъ природы, должно возвыситься на степень эстетическаго вкуса, приобретаемаго изученіемъ и развитіемъ. А это возможно только для тѣхъ, кто на искусство смотритъ не какъ на пріятное препровожденіе времени, веселое занятіе отъ нечего дѣлать или легкое средство отъ скуки, но кто видитъ въ искусствѣ серьезное дѣло, требующее размышленія, вызывающее на мысль, развивающее и умъ, и сердце. Искусство должно имѣть не однихъ только диллетантовъ, но и жрецовъ, героевъ и мучениковъ, которые, не производя ничего сами, тѣмъ не менѣе занимаютъ имъ какъ дѣломъ своей жизни, какъ своимъ назначеніемъ, горячо берутъ въ сердце его усѣхъ, его ослабленіе, его упадокъ; изучая его сами, объясняютъ его другимъ. Это та же наука, та же ученость, потому что для истиннаго постиженія искусства, для истиннаго наслажденія имъ нужно много и много всегда и всегда учиться, и при томъ учиться многому такому, чтó, повидимому, находится совершенно внѣ сферы искусства. Сами диллетанты, эти любезники искусства, ищущіе въ немъ только наслажденія и развлеченія, сами диллетанты раздѣляются на множество разрядовъ по степени ихъ страсти или пристрастія къ искусству. Для толпы же собственно существуютъ только результаты искусства, и то безъ ихъ вѣдома и сознания: само искусство вовсе не существуетъ для нея такъ же, какъ и наука. Толпа никогда не понимаетъ высокихъ произведеній искусства, и они рѣдко ей нравятся, потому что, какъ мы сказали выше, искусство требуетъ изученія, требуетъ особеннаго посвященія въ его тайнства. А между тѣмъ необходимо, чтобъ и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имѣетъ то и другое въ такъ-называемой беллетристичѣ, за неизмѣнимъ другого, болѣе

опредѣлительнаго термина. Дѣятели беллетристики—таланты, иногда большіе, всего чаще малые. Беллетристика (belles-lettres) есть ежедневная пища общества, которая перемѣняется ежедневно, потому что одни и тѣ же блюда скоро надоедаютъ. Беллетристика относится къ искусству, какъ гравюры и литографіи относятся къ картинамъ, какъ статуэткы и фигуркы, бронзовыя, мраморныя и гипсовыя,—къ вѣковѣчнымъ произведеніямъ скульптуры, къ статуямъ Венеры Медичейской и Аполлона Бельведерскаго. Какъ бы ни была хороша гравюра или литографія, хотя бы это была мастерская копія съ мастерской картины, она—не болѣе, какъ украшеніе вашей комнаты,—украшеніе, которое скоро наскучаетъ, и вы сдѣлите замѣнить ее другой, какъ сдѣлите перемѣнить мебель, обои вашихъ комнатъ, занавѣски вашихъ оконъ, сообразуясь съ требованіями моды. Но если вы владѣете картиной великаго мастера и если умѣете понимать ее,—она никогда не наскучитъ вамъ, вы никогда не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать въ ней новыя красоты, прежде незамѣченныя вами; вы повѣсите ее не для украшенія комнаты, потому что комната, какъ бы ни была великолѣпна, такъ же не стоитъ этой картины, такъ же недостойна украшаться ею, какъ не стоитъ она человѣка. И вы для этой картины выберете не лучшую, не великолѣпнѣйшую, не роскошнѣйшую, а удобнѣйшую, хотя бы самую простую комнату вашего дома,—комнату, которая должна быть удобно для картины освѣщена и въ которой не должно быть никакихъ игрушекъ. Изъ сказаннаго видно, въ чемъ состоитъ существенная разница между художественными и беллетристическими произведеніями. Вѣдь и гравюра, и статуэтка принадлежатъ къ области изящнаго, и въ нихъ есть и творчество, и художественность; но въ какой мѣрѣ—вотъ вопросъ! Мало этого: всѣ эти игрушки, всѣ домашнія принадлежности—лампы, жирандолы, шандалы, чернильницы, прессы-папье, сигарочницы, мебель, и пр., и пр.,—всѣ эти вещи теперь дѣлаются съ такимъ вкусомъ, такимъ изяществомъ, что тѣ, которые избирѣютъ ихъ форму, болѣе имѣютъ право называться артистами, нежели мастерскими. Но естественно, что гравюры и статуэткы стоятъ еще на высшей степеніи художественности, нежели домашнія утварь, и болѣе, нежели она, принадлежатъ къ міру изящнаго. И такъ, гдѣ же, въ чемъ же та рѣзкая черта, которая отдѣляетъ искусство отъ беллетристики?—Рѣзкой черты нѣтъ и быть не можетъ, такъ же, какъ и въ психологическомъ мірѣ нѣтъ рѣзкой черты между

геніальностью и бездарностью, умомъ и глупостью, красотой и безобразіемъ, потому что между всѣми этими крайностями есть посредствующія звенья, переходы и отгѣнки незамѣтные и невидимые. Рѣзкой черты нѣтъ, но черта есть. Истинно-художественное произведеніе безсмертно; оно составляетъ вѣчный капиталъ литературы. Оно при своемъ появленіи иногда можетъ быть даже не узнано и не признано современниками, не только толпой, но и учеными; однако жъ оно возьметъ свое, и будущія поколѣнія преклонятся передъ нимъ, вдохновенныя вблуждямъ въ немъ духомъ новой жизни. Беллетристическія произведенія, напротивъ, могутъ добиваться только развѣ долговѣчности, но никогда не достигнуть безсмертія; родятся они тысячами, — тысячами и умираютъ; вчера еще побѣдоносныя, владѣвшія вниманіемъ свѣта, восхищавшія и радовавшія его, веселыя, гордыя, свѣжія, яркія, блестящія, — сегодня они уже блекнуть, вянуть, а завтра ихъ нѣтъ. Всего болѣе и всего чаще они имѣютъ огромный успѣхъ при своемъ появленіи; толпа тотчасъ же провозглашаетъ ихъ геніальными произведеніями, кромѣ ихъ не хочетъ ничего знать, ничего читать, ни о чемъ слышать, ни о чемъ говорить; но время идетъ, и колоссальное, великое произведеніе умираетъ вмалѣ, и неблагодарная толпа забываетъ даже, какъ она превозносила его, и нагло отпирается даже отъ знакомства съ нимъ, какъ отпираются люди отъ знакомства съ разорившимся богачемъ, у ногъ котораго недавно ползали они...

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ беллетристическія эфемериды были ничтожными явленіями и не заслуживали вниманія и уваженія людей дѣльных. Нѣтъ, онѣ необходимы, онѣ имѣютъ великое значеніе, великій смыслъ. Само искусство такъ же не замѣнить ихъ, какъ и онѣ не замѣняютъ искусства; онѣ необходимы и благотѣльны, какъ и художественныя произведенія. Онѣ — искусство толпы; безъ нихъ толпа была бы лишена благодѣяній искусства. Сверхъ того, въ беллетристикѣ выражаются потребности настоящаго, душа и вопросъ дня, которыхъ иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни самъ авторъ подобнаго беллетристическаго произведенія. Слѣдовательно, подобныя произведенія, такъ же какъ и наука, и искусство, бываютъ живыми откровеніями дѣйствительности, живой почвой истины и зерномъ будущаго.

Итакъ, мы нашли уже три области литературы: науку, искусство (поэзію) и беллетристику. Но это еще не все: остается еще область, неназванная нами, но не менѣе великая и важная, особенно въ наше время,

въ которое она такъ развилась и усилилась. Для этой области нѣтъ названія на русскомъ языкѣ, и потому мы назовемъ ее такъ, какъ она называется тамъ, гдѣ родилась, гдѣ ея владычество и сила — прессой (la presse). Въ эту область литературы входятъ журналистика, брошюра, словомъ — все, что легко, изящно и доступно для всѣхъ и каждого, для общества, для толпы, что популяризируетъ, обобщаетъ идеи, знакомитъ съ результатами науки и искусства и распространяетъ энциклопедическое образованіе, превращаетъ интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокіе, въ интересы и вопросы жизни, для всѣхъ и каждого равно близкіе и важныя, словомъ, сближаетъ науку и искусство съ жизнью.

Теперь взглянемъ на взаимныя отношенія этихъ четырехъ областей литературы, чтобъ увидѣть, какъ и въ какой мѣрѣ всѣ онѣ могутъ служить содержаніемъ исторіи литературы.

Наука имѣетъ свою исторію, искусство также; но искусствъ много, и каждое изъ нихъ, независимо отъ другихъ, можетъ имѣть свою исторію, слѣдовательно, и словесное или литературное искусство — поэзія. Но исторія поэзіи безъ связи съ исторіей беллетристики и прессы вообще была бы неполна и односторонняя; слѣдовательно, она такъ и просится сама въ исторію литературы, какъ одна изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ частей ея. Наука, несмотря на всю свою противоположность поэзіи, не можетъ не дѣйствовать на нее, ни не принимать на себя ея влиянія. Мы не будемъ говорить уже о томъ, какъ дѣйствуетъ философія на поэзію и поэзія на философію: это завлекло бы слишкомъ далеко; скажемъ только, что никакъ невозможно отрицать хотя не прямого и невидимаго влиянія на искусство даже положительныхъ наукъ, какова, напримѣръ, математика. Новый способъ рѣшать теорему, конечно, не можетъ имѣть никакого влиянія на искусство; но рѣшеніе вопроса о круглотѣ земли и ея обращеніи вокругъ неподвижнаго въ отношеніи къ ней солнца, о движеніи всей мировой системы, — рѣшеніе такихъ вопросовъ, развязавъ умы, сдѣлавъ ихъ смѣлѣе и полѣтистѣе, могло ли не имѣть влиянія на фантазію поэта и его произведенія? Все живое въ связи между собою; наука и искусство суть стороны бытія, которое едино и цѣло: могутъ ли стороны одного предмета быть чужды другъ другу? Итакъ, исторія науки должна входить въ исторію литературы, по крайней мѣрѣ въ той мѣрѣ, въ какой наука, по своимъ результатамъ, имѣла влияніе на искусство. Вліяніе поэзіи на беллетристику очевидно: беллетристика есть также поэзія,

только низшая, менѣе строгая и чистая,— то же золото, только низшей пробы, только смѣшанное съ металлами низшаго достоинства. Поэзія даетъ беллетристикѣ жизнь и направленіе, и потому иногда одно высокое художественное произведеніе порождаетъ множество болѣе или менѣе прекрасныхъ беллетристическихъ явленій; одинъ гений даетъ полетъ множеству талантовъ. Но и беллетристика, съ своей стороны, имѣетъ вліяніе на искусство: она переводитъ на языкъ толпы его идеи и даже дѣлаетъ толпѣ доступными художественныя произведенія, подражая имъ. Сверхъ того, беллетристика имѣетъ свои минуты откровенія, указывая на живыя потребности общества, на непредвидѣнные вопросы дня, и не даетъ искусству изолироваться отъ жизни, отъ общества и принять характеръ педантической и аскетической. Что же касается до прессы,—она всему служитъ, она равно

необходима и наукѣ, и искусству, и беллетристикѣ, и обществу.

Итакъ, содержаніе исторіи литературы составляютъ: исторія поэзіи, беллетристики, прессы и отчасти науки. Въ этомъ случаѣ мы нисколько не разнимся съ Никитенко во взглядѣ на предметъ; но намъ кажется, что онъ не довольно опредѣлительно выразился въ рѣшеніи этого вопроса. Вотъ почти единственное мѣсто во всемъ «Введеніи», которое мы могли не оспаривать, потому что въ сущности мы согласны къ нимъ, но противъ котораго мы нашли сказать что-нибудь. Почти во всемъ остальномъ мы вполне согласны съ идеями автора, такъ прекрасно вездѣ изложенными. Мы могли бы прослѣдить ихъ, чтобъ представить содержаніе всей книги Никитенко, но думаемъ, что для читателей будетъ пріятнѣе непосредственно познакомиться съ этою книгою...

## Князь Антіохъ Дмитріевичъ Кантемиръ.

Русскую литературу начинаютъ съ Ломоносова,—и справедливо. Ломоносовъ дѣйствительно былъ основателемъ русской литературы. Какъ гениальный человѣкъ, онъ далъ ей форму и направленіе, которыя она надолго удержала. Каковы были эта форма и это направленіе—вопросъ другой; дѣло въ томъ, что дать форму и направленіе цѣлой литературѣ могъ только человѣкъ необыкновенный, но, несмотря на общее согласіе въ томъ, что русская литература начинается съ Ломоносова, всѣ начинаютъ ея исторію съ Кантемира. Это тоже справедливо. Если Кантемиръ и Тредьяковскій не были основателями русской литературы, ихъ труды нѣкоторымъ образомъ были какъ бы предисловіемъ къ ея основанію. Оба они, особенно послѣдній, брались за то, за что прежде всего должно было взятыя; но оба они не имѣли достаточныхъ средствъ для выполнения предлежаваго имъ дѣла. Впрочемъ, къ Кантемиру это относится гораздо меньше, чѣмъ къ Тредьяковскому. Кантемиръ не столько начинаетъ собой исторію русской литературы, сколько заканчиваетъ періодъ русской письменности. Кантемиръ писалъ такъ-называемыя силлабическія стихи,—размѣромъ, который совершенно несвойственъ русскому языку; но этотъ размѣръ существовалъ на Руси задолго до Кантемира. Онъ

запелъ къ намъ изъ Польши чрезъ Малоросію, въ XVI столѣтіи. Этимъ размѣромъ писали и Петръ Могила, и Дмитрій Ростовскій, и Симеонъ Полоцкій; но ихъ стихи были духовнаго содержанія, не блестяли поэзіей и отличались однажды-навсегда принятой и неподвижной риторической формой; Кантемиръ же первый началъ писать стихи, тѣмъ же силлабическимъ размѣромъ, но содержаніе, характеръ и цѣль его стиховъ были уже совсѣмъ другіе, нежели у его предшественниковъ на стихотворческомъ поприщѣ. Кантемиръ началъ собой исторію свѣтской русской литературы. Вотъ почему всѣ, справедливо считая Ломоносова отцомъ русской литературы, въ то же время не совсѣмъ безъ основанія Кантемиромъ начинаютъ ея исторію. Несмотря на страшную устарѣлость языка, которымъ писалъ Кантемиръ, несмотря на бѣдность поэтического элемента въ его стихахъ, Кантемиръ своими сатирами воздвигъ себѣ маленькій, скромный, но тѣмъ не менѣе безсмертный памятникъ въ русской литературѣ. Имя его уже пережило много эфемерныхъ знаменитостей, и классическихъ, и романтическихъ, и еще переживетъ ихъ многія тысячи. Этотъ человѣкъ, по какому-то счастливому инстинкту, первый на Руси свелъ поэзію съ жизнью,—тогда какъ самъ Ломоносовъ только развелъ ихъ надолго. Поэзія Кантемира

уже по тому одному, что она была сатирической, не могла быть риторической. Не только при Кантемиръ, но и гораздо спустя послѣ него, русская литература могла, если бѣ повяла свое положеніе, смѣяться и осмѣивать, а между тѣмъ она больше восторгалась и надувалась. Впрочемъ, дѣйствительность — таки взяла свое, — и русская литература какъ-то, сама собой, безсознательно, раздѣлилась на сатирическую и риторическую. Значительная часть сочиненій Сумарокова въ сатирическомъ родѣ, — и, несмотря на тупость и аляповатость сатирической музыки этого неутомимаго писателя, стремившагося къ всеобщему мѣлкости и ничего не объясняго, его нападки на подъячихъ не были бесполезны; если онѣ не исправляли правовъ, зато поддерживали въ обществѣ сознаніе, что порокъ есть все-таки порокъ, хотя бы онъ былъ и неизбѣжнымъ зломъ. Слѣдовательно, благодаря, можетъ быть, заслугѣ одной только литературы, у насъ зло не смѣло называться добромъ, а лихоимство и казнокрадство не тигудовались благонамѣренностью, какъ это всегда водилось и теперѣ водится, напримѣръ, въ Китаѣ. И могло ли это быть у насъ иначе, если сатирическое направленіе со временъ Кантемира едѣлалось живой струей всей русской литературы? Не говоря уже о Фонвизинѣ, котораго превосходный талантъ былъ по преимуществу сатирической, — самъ Державинъ, который по духу своего времени риторическую превыспренность считалъ за-одно съ поэзіей, — заплатилъ большую дань сатиры. И еще далеко не успѣлъ блестящій лирикъ въѣка Екатерины допѣть своихъ громозвучныхъ одъ, какъ явился на Руси національный баснописецъ — Крыловъ. Это сатирическое направленіе, столь важное и благодѣтельное, столь живое и дѣйствительное для общества, въ которомъ такъ странно боролась прививная европейская форма съ азиатской сущностью родной старины, — это сатирическое направленіе никогда не прекращалось въ русской литературѣ, но только переродилось въ юмористическое, какъ болѣе глубокое въ психологическомъ отношеніи и болѣе родственное художественному характеру новѣйшей русской поэзіи.

Говоря о Кантемиръ, нѣтъ нужды распространяться въ біографическихъ подробностяхъ; но не мѣшаетъ взглянуть бѣгло на жизнь Кантемира въ ея связи съ литературой. Есть на русскомъ языкѣ старинная книжица, изданная Новиковымъ въ 1783 году, подъ титуломъ: «Исторія о жизни и дѣлахъ молдавскаго господаря князя Константина Кантемира, сочиненная Санктпетербургской Академіи Наукъ покойнымъ про-

фессоромъ Бееромъ, съ російскимъ переводомъ и съ приложеніемъ родословной князей Кантемировъ.» Въ этой книжицѣ сказано, что Кантемиры свой родъ производятъ отъ крымскихъ татаръ, и доказано ксгати, что въ этомъ обстоятельстве для Кантемировъ нѣтъ ничего унижительнаго, потому что «знатностью породы, каковую предки наши или на прямой добродѣтели, или на некой мнимой славѣ въ своемъ утвердили потомствѣ татары намъ не токмо ни мало не уступаютъ, но еще гораздо больше, нежели мы, благородствомъ знаменитѣйшихъ мужей превозносятся: ибо нѣтъ у нихъ ни единого таковаго важнаго и храбраго дѣла, за которое подлой или простолудинъ могъ бы когда-нибудь причтенъ быть въ число мурзь.» Послѣ такого поневнѣ татарскаго возрѣнія на несомнѣнность родовой знаменитости князей Кантемировъ напевая книжица неоспоримо доказываетъ, что Кантемиры происходятъ по прямой линіи отъ Тамерлана, что видно изъ самаго ихъ имени: Канъ-Тимуръ, т. е. родственникъ Тимура. Но для русской литературы все равно, отъ Тамерлана или, еще древнѣе — отъ Адама произошелъ сатирикъ Кантемиръ. Для нея довольно знать, что онъ былъ сынъ молдавскаго господаря Дмитрія Кантемира, столь извѣстнаго въ исторіи Петра Великаго по турецкой войнѣ, кончившейся миромъ при Прутѣ. Князь Дмитрій былъ человекъ ученый; съ особеннымъ удовольствіемъ занимался онъ исторіей, «былъ весьма искусенъ въ философіи и математикѣ и имѣлъ знаніе въ архитектурѣ»; былъ членомъ Берлинской Академіи; говорилъ по-турецки, по-персидски, по-гречески, по-латыни, по-итальянски, по-русски, по-молдавски, порядочно зналъ французскій языкъ и оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій на латинскомъ, греческомъ, молдавскомъ и русскомъ языкахъ. Изъ нихъ «Система Мухаммеданскаго Закона», по повелѣнію Петра Великаго, напечатана въ Петербургѣ въ 1722 году. Очень естественно, что у такого отца дѣти были людьми учеными и образованными.

Антиохъ былъ четвертымъ сыномъ князя Дмитрія и родился въ Константинополѣ 1708 года сентября 10. Такъ какъ отецъ скоро замѣтилъ въ немъ отличныя дарованія, то и приложилъ особенное стараніе о его воспитаніи преимущественно передъ всеми другими своими сыновьями. Сначала Антиохъ воспитывался въ Харьковѣ, потомъ въ Москвѣ, наконецъ, въ Петербургѣ. Вездѣ пользовался онъ уроками лучшихъ въ то время преподавателей. Не желая ни на минуту спустить глазъ своихъ съ любимаго сына, князь Дмитрій взялъ Антиоха съ со-

бою въ персидскій походъ, въ которомъ онъ сопровождалъ Петра Великаго, въ 1722 году. Во время похода учене Антіоха не прерывалось ни на минуту; самое путешествіе это практически не могло не быть чрезвычайно полезно любознательному четырнадцатилѣтнему юношѣ. Страсть и уваженіе къ учености были такъ сильны въ старомъ Кантемирѣ, что онъ желалъ имѣть наслѣдникомъ своего имѣнія того изъ сыновей, который больше другихъ отличится въ наукахъ. Онъ даже просилъ объ этомъ Петра Великаго, а въ духовномъ завѣщаніи прямо указалъ на Антіоха, какъ на того изъ своихъ сыновей, который по способностямъ и познаніямъ достоинъ быть наслѣдникомъ его имѣнія. \*) Въ 1725 году была учреждена С.-Петербургская Императорская Академія Наукъ, и Антіохъ выслушалъ курсъ высшихъ наукъ у иностранныхъ профессоровъ, приглашенныхъ Петромъ Великимъ въ Россію. Математикѣ учился онъ у Бернуллія, физикѣ—у Бильфингера, исторіи—у Беера, нравственной философіи—у Гросса. Блестящія дарованія скоро обратили на молодого Кантемира общее вниманіе. Еще бывъ поручикомъ преображенскаго полка, почти двадцати лѣтъ отъ роду, онъ едва не былъ посланъ къ французскому двору; намѣреніе это почему-то было отмѣнено, но оно показываетъ, какой репутаціей пользовался этотъ молодой человѣкъ въ такое время, когда молодость считалась порокомъ, отъ котораго едва избавлялись въ сорокъ лѣтъ. По нѣкоторымъ словамъ книги Беера можно заключить не безъ основанія, что первыя три сатиры Антіоха Кантемира не мало способствовали его возвышенію въ глазахъ самаго правительства. Въмѣстѣ съ его братьями, Матвѣемъ и Сергіемъ, и сестрой Марьею Анна Иоанновна пожаловала ему тысячу тридцать крестьянскихъ дворовъ. Въ 1731 году онъ былъ посланъ въ Лондонъ въ качествѣ резидента. Проѣзжая чрезъ Голландію, Кантемиръ запасся книгами и поручилъ одному книгопродавцу въ Гагѣ напечатать сочиненіе своего отца: «Описаніе историческое и географическое Молдавіи»; впрочемъ, это сочиненіе не было напечатано.

\*) Впрочемъ, это дѣло какъ-то безтолково объяснено въ книгѣ Беера: на стр. 321 сказано о второмъ сынѣ князя Димитрія, Константинѣ, что „Императоръ Петръ II, снисходя на желаніе умершаго родителя его, князя Димитрія, повелѣлъ (19 мая 1729 года) въ недвижимомъ имѣніи быть одному ему наслѣдникомъ.“ Во всякомъ случаѣ, и всѣ другіе братья Константина не остались бѣдняками, благодаря щедретамъ Петра Великаго и его преемниковъ. Такъ какъ Антіохъ не былъ жепать и не оставилъ по себѣ наслѣдниковъ, то имѣніе его перешло къ братьямъ.

Въ Лондонѣ Кантемиръ былъ принятъ съ отличіемъ, какъ ученый человѣкъ и глубокий политикъ. За удовлетворительное окончаніе возложеннаго на него порученія онъ былъ облеченъ значеніемъ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра. Свободное отъ политическихъ занятій время онъ посвящалъ наукамъ и бесѣдѣ съ учеными людьми Англій, которую онъ почиталъ просвѣщеннѣйшей страной въ мірѣ. Знакомство съ нѣкоторыми итальянцами побудило его выучиться итальянскому языку, которымъ онъ такъ хорошо овладѣлъ, что и говорилъ, и писалъ на немъ какъ природный итальянецъ. Вслѣдствіе оспы, которую Кантемиръ перенесъ въ дѣтствѣ, онъ всегда страдалъ истеченіемъ мокроты изъ глазъ. Отъ усиленнаго занятія чтеніемъ въ Лондонѣ эта болѣзнь до того у него усилилась, что онъ побѣжалъ въ 1736 году въ Парижъ лечиться у знаменитаго въ то время врача Жандрона, лейбъ-медика французскаго регента. Жандронъ дѣйствительно помогъ Кантемиру; а когда, въ 1738 году, Кантемиръ пріѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ полномочнаго министра, то и совсѣмъ излѣчилъ его отъ глазной болѣзни. Въ 1739 году Кантемиръ былъ наименованъ чрезвычайнымъ посломъ при французскомъ дворѣ. При запутанныхъ обстоятельствахъ этой эпохи Кантемиръ удержался въ милости и при Правительницѣ, которая пожаловала его въ 1741 году въ тайныя совѣтники, и при Елисаветѣ Петровнѣ, подтвердившей его въ этомъ чинѣ. Въ Парижѣ Кантемиръ велъ жизнь уединенную, зная только съ людьми учеными и литераторами, и съ страстью предавался ученію. Съ особеннымъ рвеніемъ занимался онъ тогда алгеброй и сочинилъ на русскомъ языкѣ «Руководство къ Алгебрѣ», которое осталось въ рукописи. Батюшковъ, представившій Кантемира въ бесѣдѣ съ Монтескьѣ, аббатомъ В. и аббатомъ Гуаско, справедливо замѣтилъ, что Кантемиръ писалъ бы стихи и на необитаемомъ островѣ, потому что онъ писалъ ихъ въ Парижѣ, который въ отношеніи къ нему, какъ къ стихотворцу, былъ для него дѣйствительно необитаемымъ островомъ. Весь характеръ, вся личность Кантемира отразилась въ этихъ, его же, стихахъ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ  
довольнъ,  
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ во-  
лѣтъ  
Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ на-  
дежду  
Стезю добродѣтели къ концу незахѣгну.  
Небольшой домъ, на своемъ построенный полѣ,  
Даетъ нужное моея умѣренной волѣ;  
Не скудный, не лишній кормъ, и средню за-  
баду,

*Гдѣ бѣ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему  
нраву*  
Выбраннымъ, въ лишни часы прогнать скуки  
время,

*Гдѣ бѣ, отъ шуму отдаленъ, прочее все время  
Провождаю межъ мертвыми греки и латини,  
Изълюдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,*  
И, учась, знать образцомъ другихъ, что по-  
лезно,

Что вредно въ нравахъ, что въ нихъ гнусно  
иль любезно:

*То одно желанія мои составляетъ.*

Съ 1740 года здоровье Кантемира начало совершенно разстроиваться. Вотъ чтó говорить объ этомъ книжца Беера: «Князь Антиохъ подверженъ былъ человѣческимъ слабостямъ, какъ и другіе люди. Онъ чувствовалъ то самъ, яко человѣкъ, и имѣлъ несчастіе искушаться въ скорби, свойственной человѣческому роду. Съ 1740 года почувствовалъ онъ внутреннюю болѣзнь, которая отъ часу умножалась. И хотя онъ въ пищѣ весьма былъ воздержанъ, однако желудокъ его почти ничего уже варить не могъ.» Въ 1741 году онъ ѣздилъ на ахенскія воды, отъ которыхъ и получилъ облегченіе, равно какъ и отъ лѣкарства какой-то дѣвицы Стефенсъ, которое онъ употреблялъ по совѣту же Жандрона. Въ 1743 году онъ пользовался пломбьерскими водами, которыя однако не помогли ему. По возвращеніи въ Парижъ онъ отдался на руки разнымъ врачамъ, которые совсѣмъ залѣчили его. Въ это время онъ страдалъ крайнимъ ослабленіемъ желудка, рѣзью въ почкахъ и бессонницей. Потомъ онъ схватилъ лихорадку, довольно, впрочемъ, легкую, и у него открылся кашель. По совѣту одного изъ друзей своихъ, который, вопреки мнѣнію докторовъ, смотрѣлъ серьезно на эти припадки, Кантемиръ рѣшился провести зиму въ Неаполь. Но, когда онъ получилъ на это разрѣшеніе отъ своего двора, было уже поздно: усилившаяся болѣзнь и дурное время года не позволили ему тронуться съ мѣста. Полгода страдалъ онъ болѣзнью въ груди, не переставая чтеніемъ прогонять скуку бессонницы. На увѣщанія, что онъ этимъ вредитъ себѣ, онъ обыкновенно отвѣчалъ, что «тогда только не чувствуетъ болѣзни, когда трудится.» Охоту къ чтенію онъ потерялъ только за три или за четыре дня до своей смерти, и это-то обстоятельство открыло ему опасность его положенія. Одинъ изъ друзей его, читая съ нимъ разсужденіе Цицерона «о дружбѣ», во имя налагаемаго этимъ чувствомъ долга, заговорилъ съ нимъ прямо о его положеніи и посовѣтовалъ заняться послѣдними распоряженіями. Кантемиръ съ благодарностью принялъ этотъ совѣтъ, какъ доказательство истинной дружбы, и не медля приступилъ къ составленію духовной, въ которой, отказавъ все свое имѣніе братьямъ и сестрамъ,

завѣщалъ, чтобъ тѣло его, по вскрытіи, было набальзамировано, отвезено въ Россію и похоронено, безъ всякой церемоніи, въ греческомъ монастырѣ, въ Москвѣ, гдѣ скончаны были его родители. До самой минуты своей смерти онъ былъ въ полномъ разумѣ. Умеръ онъ 1744 г., марта 31, тридцати пяти лѣтъ и семи мѣсяцевъ отъ роду. По вскрытіи тѣла оказалось, что у него была водяная въ груди.

О личномъ характерѣ Кантемира извѣстно только, что онъ былъ человѣкъ благородный, правдивый и кроткій. Сначала онъ казался непривѣтливымъ, но эта непривѣтливость постепенно исчезала въ отношеніи къ людямъ, которые ему болѣе и болѣе нравились. Слабое и болѣзненное его тѣло-сложеніе придавало его характеру меланхолическій оттѣнокъ, чтó однако жъ не мѣшало ему быть и любезнымъ, и веселымъ въ обществѣ людей, которые ему нравились, и съ которыми онъ могъ быть откровененъ. Въ частной жизни онъ былъ экономенъ и, какъ говоритъ книжца Беера, изъ которой мы замѣтвовали эти подробности: «никогда не признавалъ, что долги были знакомъ благородства и высокаго достоинства.» Вотъ все, чтó дошло до потомства о Кантемирѣ, какъ о человѣкѣ; въ его сатирахъ мы увидимъ его, какъ поэта, и вновь встрѣтимся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ.

Въ 1739 году написалъ Кантемиръ свою первую сатиру, слѣдовательно, ровно за десять лѣтъ до первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), написанной новымъ размѣромъ. Это едва ли не лучшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира. Она была направлена противъ обскурантовъ (людей, одержимыхъ болѣзнью мракобѣсія), враговъ просвѣщенія, словомъ, славянофиловъ того времени. Въ ней, какъ и во всѣхъ сатирахъ Кантемира, нѣтъ ни жолчнаго негодованія, ни бурнаго паеоса; но въ ней много ума, много комической соли и есть одушевленіе, тихое, ровное, но постепенно выдерживаемое. Кантемиръ не бичуетъ, а только сбываетъ обскурантовъ. Оно и естественно; сатира страстная, грозная, бѣшеная, вооруженная свитымъ изъ змѣй бичомъ, сатира въ образѣ Немезиды, бросающей молніи изъ очей, съ пѣной у рта, такая сатира возможна только или у народа, который уже пережилъ самого себя, для котораго уже нѣтъ ни выхода, ни будущаго, или у народа, который еще полонъ свѣжихъ силъ жизни, но уже созналъ причины, которыя удерживаютъ его стремленіе на пути дальнѣйшаго развитія. Ни то, ни другое положеніе не могло относиться къ Россіи временъ Кантемира. Прогрессъ, который тогда для нея былъ возможенъ, весь заключался больше въ формѣ, нежели въ духѣ, слѣ-

довательно былъ слишкомъ вѣшенъ, и потому не могъ имѣть слишкомъ сильныхъ и опасныхъ враговъ. Эти враги были больше смѣшны, нежели страшны, и для нихъ нуженъ былъ не свистящій бичъ ювеналовской сатиры, а легкая доза насмѣшки и иронии. И въ этомъ отношеніи сатиры Кантемира были именно такими, какія тогда были нужны и могли быть полезны. Первая сатира, «На хулящихъ ученіе», особенно богата смѣшными чертами и вѣрными свѣтками съ общества того времени. Поэтъ дѣлаетъ обращеніе къ уму своему, прося его не понуждать его рукъ къ перу. Можно, говоритъ поэтъ, и не писавши достигъ славы: вѣдь въ нашъ вѣкъ къ ней ведутъ многіе пути; а изъ нихъ самый трудный и невыгодный — тотъ, «что босы прокляли девять сестеръ».

..... Кто надъ столомъ гнется,  
Пляя на книгу глаза, большихъ не добьется  
Палатъ, ни расцвѣченна мраморами саду;  
Овцы не прибавитъ онъ къ отцовскому стаду.  
Правда, въ нашемъ молодомъ монархѣ \*) на-  
дежда

Всходитъ музамъ не мала: со стыдомъ не-  
вѣжда

Бѣжитъ его. Аполлонъ славы въ немъ защиту  
Своей не слабу почувъ, чтыща свою свиту  
Видѣлъ его самого, и во всемъ обильно  
Тщится множить жителей Парнаскихъ онъ  
сильно:

Но та бѣда, многіе въ царѣ похваляютъ  
За страхъ то, что въ подданномъ дерзко осуж-  
даютъ.

Какъ ловко [выражена мысль двухъ послѣднихъ стиховъ! За ними слѣдуетъ рядъ картинъ тогдашняго общества, написанныхъ мастерской кистью. Поэтъ заставляетъ невѣждъ, подъ вымышленными именами, говорить филиппики противъ просвѣщенія. И каждый изъ этихъ антагонистовъ свѣта Божія высказывается сообразно своему характеру, и ни одинъ изъ нихъ не повторяетъ другого.

„Расколы и ереси наукъ суть дѣти,  
Вольше вретъ, кому далось больше разумѣти,  
Приходитъ въ безбожіе, кто надъ книгой гаеетъ“,  
Критонъ съ чотками въ рукахъ ворчитъ и взы-  
хаеетъ,

И проситъ свята душа съ горькими слезами  
Смотрѣть, сколь стѣмя наукъ вредно между  
нами:

„Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны  
Праотческимъ или слѣдомъ, къ Вожией про-  
ворны

Службъ, съ страхомъ слушающа, что сами не  
знали,

\*) Поэтъ говоритъ о Петрѣ Второмъ, которому тогда было четырнадцать лѣтъ. Онъ въ дѣтствѣ съ особенной ревностью учился, а впоследствии подтвердилъ данныя его предшественниками привилегіи Академіи наукъ и назначилъ ея членамъ и даже чиновникамъ постоянные оклады.

Теперь, къ церкви соблазну, Библию честь стали.  
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,  
Мало вѣры подая священному чину;  
Потеряли добрый нравъ, забыли нить квасу,  
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;  
Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не

знаютъ,  
Мирскую въ церковныхъ власть рукахъ линину  
чаютъ,  
Шепча, что тѣмъ, что мирной жизни ужъ от-  
стали,

Помѣстия и вотчины весьма не пристали“.  
Сильванъ другую вину наукамъ находить:  
„Учене, говорить, намъ голодъ наводитъ;  
Живали мы прежь сего, не зная латынѣ,  
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ, мы нынѣ.  
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,  
Перевявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.  
Буде рѣчь моя слаба, буде нѣтъ въ ней чину,  
Ни связи, должно ль о томъ тужить дворянину.  
Доводъ, порядокъ въ словахъ, подлыхъ то есть

дѣло;  
Знатнымъ полно подтверждать, или отрицать  
смѣло.

Съ ума сошелъ, кто души силу и предѣлы  
Испытаеетъ, кто въ поту томится дни пѣлы.  
Чтобъ строй міра и вещей вывѣдать премѣну  
Иль причину; глупо онъ лѣпить горохъ въ  
ствѣну.

Приростетъ ли мнѣ съ того день къ жизни или  
въ ящикъ  
Хоть грошъ? могу ль чрезъ то узнать, что при-  
казчикъ,

Что дворецкій крадетъ въ годъ? какъ приба-  
вить воду

Въ мой прудъ? какъ бочекъ число съ виннаго  
заводу?

Не умнѣе, кто глаза, половъ безпокоитъ,  
Коптитъ, печась при огнѣ, чтобъ вызвать рудъ  
свойства;

Вѣдь не теперь мы твердимъ, что буки, что  
вѣди;

Можно знать различіе злата, серебра, мѣди.  
Травъ, болѣзней знаніе—все то голы враки;  
Глава ль болитъ? тому врачъ ищетъ въ рукѣ  
знаки;

Всему въ насъ виновна кровь, будетъ ему вѣру  
Нятъ хочешь. Слабѣемъ ли?—кровь тихо чрезъ  
мѣру

Течетъ; если спѣшно — жаръ въ тѣлѣ отвѣтъ  
смѣло

Даеетъ, *хотя внутри никто видѣлъ живо тѣло.*  
А пока въ басняхъ такихъ время онъ прово-  
дитъ,

Лучшій сокъ изъ нашего мѣшка въ его вхо-  
дитъ.

Къ чему звѣздъ теченіе числить, и ни къ дѣлу,  
Ни кстати за однимъ ночь пятномъ не спать  
цѣлу?

За любопытствомъ однимъ лишиться покою,  
Ища—солнце ль движется, или мы съ землею?  
Въ часовникѣ можно честь на всякій день года  
Число мѣсяца и часъ солнечнаго входа.

*Землю въ четверти дѣлитъ безъ Эклида смы-  
слимъ;*

*Сколько копѣекъ въ рублѣ безъ алгебры числимъ,*  
.....

Румяный, трижды рыгнувъ, Лука подпѣваетъ:  
„Наука содружество людей разрушаетъ:

Люди мы къ сообществу Божия тварь стали  
Не въ нашу пользу одну смысла даръ пріяли:  
Что же пользы иному, когда я запруся  
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей живущихъ  
липуся?

Когда все содружество, вся моя ватага  
Будетъ чернило, перо, песокъ да бумага?



Въ весельи, въ пирахъ мы жизнь должны про-  
водить;

И такъ она недолга: на что коротати,  
Крушиться надъ книгою и повреждать очи?  
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и  
ночи?

Вино—даръ божественный, много въ немъ про-  
вору;

Дружить людей, подаетъ поводъ къ разговору,  
Веселить, всѣ тяжкія мысли отымаетъ,  
Скудость знаетъ облегчать, слабыхъ ободряетъ,  
Жестокихъ смягчитъ сердца, угрюмость отво-  
дитъ,

Любовникъ лучше виномъ въ цѣль свою до-  
ходитъ.

Когда по небу сохой бразды водить стануть,  
А съ поверхности земли звѣзды ужъ про-  
глянуть,

Когда будутъ течь къ ключамъ своимъ быстры  
рѣки,

И возвратятся назадъ минушіе вѣки;  
Когда въ постъ чернецъ одну вѣсть станетъ ви-  
зигу,

Тогда, оставя стаканъ, примуся за книгу“.

Медоръ тужить, что черезчуръ бумаги исходитъ  
На письмо, на печать книгъ, а ему приходится,  
Что не во что завертѣтъ завитыя кудри;  
Не смѣнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры.

Предъ *Егоромъ* \*) двухъ денегъ *Виргилій* не  
стоитъ,

*Рексу* \*\*), не Цицерону, похвала достойтъ.

Обращаясь вновь къ своему уму и дока-  
зывая ему бесплодность борьбы съ невѣж-  
дами, сатирикъ говоритъ:

Гордость, лѣньность, богатство, мудрость одо-  
лѣло;

Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:  
Подъ митрой гордится, то въ шитомъ платьѣ  
ходитъ,

Судить за краснымъ сукномъ, смѣло полки во-  
дитъ.

Наука ободрана въ доскутахъ обшита,  
Изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ  
сбита,

Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея друзья,  
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.  
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ съ  
науки!

Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки!  
Коли кто карты мѣшатъ, разныхъ винъ вкусъ  
знаетъ,

Танцуетъ, на дудочкѣ пѣсни три играетъ,  
Смыслить искусно прибрать въ своемъ платьѣ  
цвѣты,—

Тому ужъ и въ самыя молодая лѣты  
Всякая высша степень—мзда ужъ не велика,  
Седми мудрецовъ себя достойнымъ лика.

Вторая сатира, «Филаретъ и Евгений», на-  
писанная мѣсяца черезъ два послѣ первой,  
нападаетъ «на зависть и гордость дворянъ  
здонравныхъ». Это, впрочемъ, чуть ли не  
слабѣйшая изъ всѣхъ сатиръ Кантемира.

Въ ней больше разсужденій, больше морали,  
нежели желчи. Впрочемъ, и въ ней есть мѣ-  
ста замѣчательныя.

Вотъ, напримѣръ, картина жизни фата или  
лѣва того времени:

\*) Славный сапожникъ того времени въ Мо-  
сквѣ.

\*\*) Славный портной того времени въ Москвѣ.

Пѣлъ пѣтухъ, встала заря, лучи освѣтили  
Солнца верхи горъ; тогда войско выводили  
На поле предки твои, а ты подъ парчою,  
Углублень мягко въ пуху тѣломъ и душою,  
Грозно сопешь; когда дни пробѣгутъ двѣ доли,  
Зѣвнешь, растворишь глаза, выспишься до  
воли,

Тянешься ужъ часъ другой, нѣжнисься ожи-  
дая

Пойла, что шлеть Индія иль везуть съ Китая.  
Изъ постели къ зеркалу однимъ прыгнешь  
скокомъ,

Тамъ ужъ въ попеченіи и трудѣ глубокомъ,  
Женскихъ достойную плечъ завѣску на спину  
Вскинувъ, волосъ съ волосомъ прибираешь къ  
чину.

Часть надъ плоскимъ лбомъ торчатъ будутъ  
сановиты,

По румянымъ часть щекамъ въ колечки за-  
виты

Свободно станеть играть, часть уйдетъ за темя  
Въ мѣшокъ. Дивится тому строенію племя!

Тебѣ подобныхъ; ты самъ, новый Нарцисъ,  
жадно

Глотаешь очми себя; нога жметя складно  
Въ тѣсномъ башмакѣ твоя, потъ со слугъ ва-  
лится,

Въ двѣ мозоли и тебѣ красота становится:  
Избитъ полъ и подъ башмакъ стерто много  
мѣлу.

*Деревию* вздѣнешь потомъ на себя ты чѣлу.

Дальнѣйшее описаніе облаченія фата и въ  
особенности слова сатирика насчетъ того,  
какъ хорошо воспользовался фатъ своимъ  
путешествіемъ по Европѣ, чрезвычайно за-  
бавны, за исключеніемъ устарѣлаго языка,  
слога и силлабическаго стихосложенія. Пусть  
читатели сами повѣрятъ справедливость на-  
шихъ словъ, прочтя эту сатиру вею, а мы  
выпишемъ изъ нея еще вотъ эти стихи:

Бѣдныхъ слезы предъ тобой льются, пока  
злбно

Ты смѣешься ничетѣ; каменный душою  
Въешь холопа до крови, что махнулъ рукою  
Вмѣсто правой лѣвою (звѣрямъ лишь прилична  
Жадность крови; *плоть въ слугѣ твоей одно-  
лична*).

Мало, правда, ты конишь денегъ, но къ нимъ  
жаденъ:

Мотъ почти всегда живеть сребролюбьемъ смра-  
денъ,

И все законно онъ мнитъ, что ужъ истощен-  
ной

Можеть дополнить мѣшокъ; нужды совершен-  
ной

Стала ему золота куча, безъ которой  
Прохладамъ долженъ своимъ ковецъ видѣть  
скорой.

Въ этомъ отрывкѣ есть стихи (не указы-  
ваемъ на нихъ: человѣческое чувство чита-  
теля ихъ угадаетъ и безъ насъ), которые  
могутъ служить торжественнымъ и неопро-  
вержимымъ доказательствомъ, что наша ли-  
тература, даже въ самомъ началѣ ея, была  
провозвѣстницей для общества всѣхъ благо-  
родныхъ чувствъ, всѣхъ высокихъ понятій.

Да, она умѣла не только льстить, но и вы-  
говаривать святыя истины о человѣческомъ  
достоинствѣ. Самая лестъ у ней была не

столько·убъженіемъ, сколько, во-первыхъ, подчиненіемъ всѣми принятому обычаю, а во-вторыхъ, риторической манерой. До поэзіи достигала она и у самого Державина только тамъ, гдѣ онъ переставалъ быть поэтомъ въ духѣ времени и становился просто человѣкомъ. Простимъ же ей, нашей литературѣ, ея грѣхи, вольные и невольные, и будемъ ей благодарны за то, что она, и только одна она, была воспитательницей юнаго, созданнаго Петромъ Великимъ, общества, отъ Кантемира до нашихъ временъ. По мнѣ, нѣтъ цѣны этимъ неуклюжимъ стихамъ умнаго, честнаго и добраго Кантемира:

..... Лучшую дорогу  
Избралъ, кто правду всегда говорить принялся;  
Но и кто правду молчить, виновенъ не стался,  
Буде ложью утаить правду не посмѣетъ.  
Счастливъ, кто средину оной держаться умѣетъ;  
Умъ свѣтлый нуженъ къ тому, разговоръ при-  
ятный,

Учтивость приличная, что даетъ родъ знат-  
ный,  
*Ползати не советую, хоть сплеси гнушалося,*  
.....

Адамъ дворянъ не родилъ, но одному сыну  
Жребій былъ копать садъ, пастъ другому ско-  
тину;  
Ной въ ковчегѣ съ собою спасъ все себѣ рав-  
ныхъ

Простыхъ земледѣтелей, права лишь славныхъ:  
Отъ нихъ мы произошли, одинъ поранѣе  
Оставя дудку, соху, другой—попозднѣе.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному  
и тому же предмету, вышпшемъ теперь же  
изъ шестой сатиры стихи, въ которыхъ  
Кантемиръ казнить насмѣшкой доброволь-  
ное униженіе человѣческаго достоинства низ-  
копоклонствомъ и лестью:

Съ пѣтухами пробудясь, нужно потащиться  
Изъ дому въ домъ на поклонъ, въ переднихъ  
томиться,

Полдни торчатъ на ногахъ съ колоны въ бе-  
сѣдѣ,

Ни сморкнуть, ни кашлянуть смѣя. По обѣдѣ  
Та же жизнь до вечера; ночь вся безпокойно  
Пройдетъ, думая, къ кому поутру пристойно  
Еще бѣжать, передъ кѣмъ гнуть шею и спину,  
Что слугѣ въ подарокъ, что повестъ господину,  
Нужно часто полагать, небылицъ вѣрить,  
Что одною скорлупою можно море смѣрять;  
Господскую сносить спѣсь, признавать, что ро-  
домъ

Моложе Владимира однимъ только годомъ,  
Хоть ты помнишь, какъ отецъ носилъ кафтанъ  
сврой,

Кривую жену его называть Венерой.  
И въ шальныхъ дѣтяхъ хвалить острогу при-  
родну;

Не зѣвать, когда онъ самъ несетъ сумасбродну.  
Нужно благодѣтелемъ звать того, другого,  
Отъ кого вѣкъ не видать добра никакого...

Третья сатира, «Къ Θεофану, епископу новгородскому», написанная въ 1730 году, разсуждаетъ о различіи страстей человѣческихъ. Тутъ осмѣиваются сребролюбцы, сплетники, болтуны, ханжи, самолюбцы, пьяницы,

завистники и т. п. Въ четвертой сатирѣ, написанной въ 1731 г., Кантемиръ спрашиваетъ свою музу, не пора ли имъ перестать писать сатиры?

..... Многимъ тѣ нелюбы,  
И ворчить ужъ не одинъ, что гдѣ нѣтъ мнѣ  
дѣла,

Тамъ мѣшаюсь, и кажу себя черезчуръ смѣла.

Ты (говоритъ онъ своей музѣ) смѣло ху-  
лишь и находишь свое веселіе въ томъ, что-  
бы бѣсить злыхъ, «а я вижу, что въ чу-  
жомъ пиру мнѣ похмѣлье». Одинъ (продол-  
жаетъ сатирикъ) хочетъ потянуть меня къ  
суду, что, нападая на пьяницъ, «умалюю  
кружальные доходы»; другой, похваляясь,  
что отъ доски до доски прочелъ Библию о-  
строжской печати, убѣдился изъ нея, что «во  
мнѣ нечистый духъ злословить бороду»; тре-  
тій сердится, что нападетъ на взятки. Тогда  
сатирикъ, желая переменить грубый тонъ  
на вѣжливый, начинаетъ иронически хва-  
лить глушцовъ и негодяевъ; но это дово-  
дитъ его до сознанія, что онъ не умѣетъ и  
въ шутку хвалить того, что считаетъ дур-  
нымъ.

..... когда хвалы принимаюся  
Писать, когда Муза, твой нравъ сломить ста-  
раюсь,—

Сколько ногти ни грызу, и трулюбъ испотѣлый,  
Съ трудомъ сплещу два сплету, да и тѣ не спѣлы,  
Жестки, досадны ушамъ, и на тѣ походить,  
Что по цѣлой азбукѣ святыхъ жить водять.\*)  
Духъ твой лѣвивъ, и въ зубахъ вязнетъ твое

слово  
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;  
А какъ въ нравахъ вредно что усмотрю, ум-  
ная

Самъ ставши, подъ перомъ стихъ течетъ ско-  
ряе;

Тогда я стихотворцемъ самъ себя поздравлю,  
И чтецовъ моихъ зѣвать тщетно не заставлю;  
Проворенъ, весель спѣшу, какъ вождь на по-  
бѣду,

Иль какъ попъ съ похоронъ къ жирному обѣду.

Кантемиръ заключаетъ эту сатиру тѣмъ,  
что сатиры могутъ не нравиться только  
дурнымъ людямъ и глушцамъ, на которыхъ  
нечего смотрѣть:

Такимъ однимъ сатира наша быть противна  
Можетъ; да ихъ нечего щадить, и не дивна  
Мнѣ любовь ихъ, какъ и гнѣвъ ихъ мнѣ стра-  
шенъ мало.

Просить у нихъ не хочу, съ ними не пристало  
Вестись, чтобъ не почернѣть, касаяся сажи;  
Вредить не могутъ тѣ мнѣ, пока въ сильной  
стражи

Нахожуся матери отечества правой.

\*) Вотъ примѣчаніе, изъ изданія 1762 г., на этотъ стихъ: „нѣкто, прозвание *Максимовичъ*, стихами описалъ и по азбукѣ расположилъ житія святыхъ печерскихъ. Сія книга напеча-  
тана въ Кіевѣ въ листъ и пальца въ два тол-  
щины; однако жъ въ ней, кромѣ именъ свя-  
тыхъ и государя царевича Алексѣя Петровича,  
которому приписана, ничего путнаго не най-  
дешь“.

А коимъ Богъ чистой духъ далъ и разумъ здравой,  
Безлобны безлобные наши стихи залюбятъ,  
И охотно стануть честь, надѣясь, что сгубятъ,  
Можетъ быть, или уменьшать злые людей нравы.  
Сколько тѣмъ придется имъ и пользы, и славы!

Въ этихъ стихахъ — весь Кантемиръ! Этотъ человекъ не былъ поэтомъ; непосредственный художественный талантъ не былъ его удѣломъ. Его поэзія — поэзія ума, здраваго смысла и благороднаго сердца. Кантемиръ въ своихъ стихахъ — не поэтъ, а публицистъ, пишущій о нравахъ энергически и остроумно. Насмѣшка и иронія — вотъ въ чемъ заключался талантъ Кантемира.

Пятая сатира, «Сатиръ и Періергъ», написанная въ 1737 г. въ Лондонѣ, устремлена «на человѣческія зловравія вообще». Ея форма очень изысканна, и въ цѣломъ она скучна; но подробности есть удивительныя, какъ, напримѣръ, это мѣсто:

Болваномъ Макаръ вчера казался народу,  
Годенъ лишь дрова рубить или таскать воду;  
О безуміи его худая шла повѣсть,  
Углемъ чернымъ всякъ пятналъ его плоху со-  
вѣсть.

Улыбнулося тому же счастью Макару,—  
И сегодня временщикъ: ужъ совсѣмъ подъ-пару  
Честнымъ, знатнымъ, искуснымъ людямъ ста-  
новится,

Всякъ уму наперерывъ дивится.  
Сколько пользы отъ него царство ждать имѣеть.  
Поправить взглядомъ однимъ все легко умѣеть.  
Чѣмъ бывший глушець предъ нимъ народъ весь  
озлобилъ;

Богъ въ благополучіе ваше его собилъ.

Заключеніе этой сатиры особенно забавно. Исчисляя разныя человѣческія глупости, сатирикъ говорить:

Пахарь, соху ведучи ель оброкъ считая,  
Не однажды привадохнетъ, слезы отирая:  
За что-де меня Творецъ не сдѣлалъ солдатомъ?  
Не ходилъ бы въ сѣрякѣ, но въ платьѣ бо-  
гатомъ;

Зналъ бы лишь одно свое ружье да капрала,  
На правожѣ бы нога моя не стояла.  
Для меня бь свинья моя только поросилась,  
Съ коровы мнѣ бь молоко, мнѣ бь кура ко-  
силась,

А то все приказчицѣ, страпчицѣ, княгинѣ  
Понесъ въ поклонѣ, а самъ жирѣи на мякинѣ.  
Пришелъ наборъ, пахара вписали въ солдаты:  
Не однажды дымные вспомнить уже палаты.  
Проклинаетъ жизнь свою въ зеленомъ кафтанѣ,  
Десятью заплачетъ въ день по сѣромъ жупанѣ.  
Толь не житѣ было мнѣ, говорятъ, въ крестъ-  
янствѣ?

Правда, тогда не ходилъ я въ такомъ убран-  
ствѣ;

Да лѣтомъ въ подклѣтѣ я, на печи зимою  
Сыналъ, въ дождикъ изъ избы я вонь ни  
ногою;

Заплачу подушное, оброкъ господину,  
Какую жь больше найду я тужить причину?  
Щей горшокъ, да самъ большой, хозяинъ я  
дома.

Хлѣба у меня черезъ годъ, а скотамъ солома.  
Дальна ѣзда мнѣ была съѣздить въ торгъ для  
соли

Иль въ праздникъ войти въ село, и то съ доб-  
рой воли!

А теперь — чортъ, не жтѣе, волочися по свѣту,  
Все бы рубашка бѣла, а вымытъ чѣмъ нѣту;  
Ходи въ штанахъ, возися за ружьемъ по-  
стрѣлымъ,

И гдѣ до смерти всѣхъ бьютъ надобно быть  
смѣлымъ.

Ни высатѣя некогда, часто нѣтъ что кушать;  
Наряжать мнѣ все собой, а сотерыхъ слушать.  
Чернецъ тотъ, коль день назадъ чрезмѣрну  
охоту

Имѣлъ ходить въ клобукѣ, и всяку работу  
Въ церкви легку сказывалъ, прося со слезами,  
Чтобъ и онъ съ небесными былъ въ счетъ чи-  
нами,—

Сегодня не то поетъ: радъ бы скинуть ясу,  
Скучили ужъ сухари, полетѣлъ бы къ мясу;  
Радъ къ чорту въ товарищи, лишь бы бѣль-  
цомъ быти.

Нѣтъ мочи ужъ ангеломъ въ слабомъ тѣлѣ  
слыти.

Шестая сатира, написанная въ 1738 г., разсуждаетъ «о истинномъ блаженствѣ». Сатирикъ доказываетъ въ ней, что истинное счастье заключается въ благородной срединѣ и въ бесѣдѣ съ музами. Седьмая сатира, «Къ князю Никитѣ Юрьевичу Трубецкому», написанная въ 1739 году въ Парижѣ, разсуждаетъ «о воспитаніи». Эта сатира исполнена такихъ здравыхъ, гуманныхъ понятій о воспитаніи, что стоила бы и теперь быть напечатанной золотыми буквами; и не худо было бы, если бы вступающіе въ бракъ предварительно заучивали ее наизусть.

Вотъ нѣсколько отрывковъ на выдержку:

Завсегда дѣтямъ твердя строгіе уставы,  
Наскучишь; истребишь въ нихъ всяку любовь  
славы,

Если часто предъ людьми обличать ихъ ста-  
нешь:

Дай имъ время и играть; самъ себя обманешь,  
Буде станешь торопить лишню спѣша дѣло;  
Наединѣ исправлять можешь ты ихъ смѣло.  
Ласковость больше въ одинъ часъ дѣтей испра-  
вить,

Нежъ суровость въ цѣлый годъ; кто часто за-  
ставить

Дрожать сына предъ собой, хвалюу въ немъ  
загладитъ

Смѣлость, и безвременно торопѣтъ поवादитъ.  
Счастливъ кто надеждою похвалъ възбудитъ  
знаетъ

Младенца; много къ тому примѣръ пособляетъ:  
Относятъ къ сердцу глаза вѣсть уха скоряе.

Не одни тѣ растятъ насъ, коимъ наше дѣтство  
Ввѣрено; со всѣхъ сторонъ находятъ посредство  
Вскользнуться внутрь сердца нравъ: все, что  
окружаетъ

Младенца, произвести въ немъ нравъ помогаетъ.

Обычно цвѣтъ чистоты первый увядаетъ  
Отрока въ объятіяхъ рабыни; и знаетъ  
Унесши младенецъ, что небомъ и землею  
Отлыгаться предъ отцомъ наставленъ слугою.  
Слуги язва суть дѣтей; родителей злѣе  
Всѣхъ примѣръ. Часто дѣти были бы честивѣ,  
Если бь и мать, и отецъ предъ младенцемъ  
знали

Собой владѣть, и языкъ свой въ уздѣ держали.

Повторяемъ: такія мысли о воспитаніи и теперь скорѣ новы, нежели стары.

Восьмая сатира, «На безстыдну нахальчивость», написанная въ 1739 году въ Парижѣ, заключаетъ въ себѣ понятіе сатирика о скромности. Онъ говоритъ о томъ, какъ осторожно пишеть свои стихи, не дѣлаетъ ихъ «хѣрить», прячетъ на долго въ ящикъ и, собираясь печатать, выправляетъ.

Стыдливимъ, боязливымъ и всегда собою Недовольнымъ быть во мнѣ природы рукою Вписано, иль отеческимъ совѣтомъ изъ дѣтства.

Въ параллель себѣ, сатирикъ противопоставляетъ людей наглыхъ и безстыдныхъ.— Кантемиръ началъ, было, и девятую сатиру, но за болѣзнь не могъ ее написать.

Мелкія стихотворенія Кантемира любопытны, но не столько, какъ поэтическія произведенія, сколько какъ произведенія чловѣка съ умомъ и сердцемъ. Если хотите, въ нихъ есть своя гармонія, свой ритмъ, замѣтна поэтическая иди, лучше сказать, стихотворческая замашка; но поэзіи мало. Кантемиръ писалъ пѣсни, басни и эпиграммы. Пѣсни его раздѣляются на любовныя и на нравственныя. Первые остались не напечатанныя и, вѣроятно, погибли для потомства, — что очень жаль, потому что, по словамъ самого Кантемира, они имѣли большой успѣхъ: онъ самъ говоритъ въ четвертой сатирѣ:

Довольно моихъ поютъ пѣсней и дѣвицы  
Чистыя, и отроки, коихъ отъ денницы  
До другой невидимо колеть любви жало.

А въ примѣчаніи къ этимъ стихамъ сказано: «сатирикъ сочинилъ многія пѣсни, которыя въ Россіи и нынѣ поются». Кантемиръ какъ бы раскаивается въ этихъ пѣсняхъ, какъ въ грѣхъ своей юности; въ этой же сатирѣ онъ говоритъ:

Любовны пѣсни писать, я чаю, тѣхъ дѣло,  
Кохъ столько умъ не спѣлъ, сколько слабо  
тѣло.

Вотъ образчикъ нравственныхъ пѣсней Кантемира:

Видишь, Никита, какъ крылато племя  
Ни землю пашеть, ни жнегъ, ниже сѣть;  
Отъ руки вышней однакъ въ свое время  
Пишу довольно, жизнь продлить, имѣть.  
Лилеи въ полѣ, какъ зришь, многодѣтной  
Ни прядеть, ни тчетъ; даръ мудрый Сіона  
Однако въ славѣ своей столь примѣтной  
Не имѣлъ одежды. Ты голосъ закона,  
Въ сердцахъ природа кой отъ вѣкъ вложила.  
И Богъ во плоти подтвердилъ, внушая,  
Что честно, благо, путь того лишь сила  
Тобой владѣть, злости убѣгая, и пр.

Изъ этого отрывка достаточно видно, что преобладающее направленіе Кантемира было не поэтическое, а дидактическое, и что

трудность выражаться на языкѣ, не только необработанномъ, даже не тронутомъ, много мѣшала ясности и красотѣ его слога. Басни Кантемира интересны, какъ первые опыты въ этомъ родѣ—не самаго автора, а русскаго азыка. Ихъ, впрочемъ, немного — всего шесть. Изъ девяти эпиграммъ выпишемъ одну для образчика.

На что Друзь Лиду беретъ?—Дряхла ужъ и сѣда,  
Съ трудомъ ножку воробья сгрызеть въ пол-  
обѣда.  
Къ старинѣ охотникъ Друзь, въ томъ забаву  
ставить:  
Лидой медалей число собранныхъ прибавить.

Наконецъ, къ числу стихотворческихъ трудовъ Кантемира принадлежатъ еще «Десять Писемъ Гораціевыхъ», стихами безъ приемъ, съ приложеніемъ письма о русскомъ стихосложеніи, подъ вымышленнымъ именемъ Макетина, «Оды Анакреонтовы» (были ли напечатаны, когда и гдѣ, или не были напечатаны — неизвѣстно). Сверхъ того, Кантемиръ предуредилъ Ломоносова въ намѣреніи — воспѣть въ эпической поэмѣ подвиги Петра Великаго: поэма Ломоносова называлась «Петридой», Кантемира— «Петрендой» и, подобно первой, не была кончена. 1)

Всѣ эти стихотворныя, равно какъ и прозаическія труды Кантемира очень важны, какъ первые опыты, которые должны были и другихъ подвинуть къ литературной дѣятельности; важны они еще и какъ первый памятникъ тяжелой борьбы умнаго, ученаго и даровитаго писателя съ трудностями языка, не только не разработаннаго, но и нетронутаго, подобно полю, которое, кромѣ дикихъ самородныхъ травъ, ничего не произращало. Перо Кантемира было

1) Труды Кантемира въ прозѣ были слѣдующіе: 1) *Разговоры о множествѣ мировъ, соч. Фонтенелла*, перев. съ франц. Санктпетербургъ; три изданія (когда вышло первое изданіе, неизвѣстно; второе — въ 1761, третье — въ 1802); оставшіяся въ рукописи: 2) *Юстинова исторія*; 3) *Корнелій Непотъ*; 4) *Кесита таблица*; 5) *Письма Персидскія Монтеスキе*; 6) *Эпикетово нравоученіе*; 7) *Итальянскіе разговоры Алгеротти о святыхъ*. Всѣ эти переводы интересны, какъ живой памятникъ первой борьбы русскаго языка съ европейскими идеями, и какъ факты исторіи русскаго языка. Сверхъ того, осталось въ рукописи сочиненіе Кантемира: *Руководство къ Алгебрѣ*, и никогда не были обнаружены его дипломатическія изъ Лондона и Парижа реляціи, письма, замѣчанія, вѣроятно, очень любопытныя не въ одномъ литературномъ отношеніи. Изъ напечатанныхъ его сочиненій извѣстно еще: *Симфонія или согласіе на боговдохновенную книгу псалмовъ царя и пророка Давида* (Спб. 1727, второе изданіе 1821). Это сводъ всѣхъ стиховъ псалтыря, по азбучному порядку, для удобнѣйшаго присканія текстовъ.

первымъ плугомъ, который прошелъ по этому полю. Скажутъ: у насъ и до Кантемира была словесность. Такъ, но какая? теологически-схоластическая или лѣтописная, или, наконецъ, состоявшая изъ произведеній народной поэзіи. Но честь усилія — найти на русскомъ языкѣ выраженіе для идей, понятій и предметовъ совершенно новой сферы, — сферы европейской, принадлежитъ прямѣ всѣхъ Кантемиру. И еще большее и высшее значеніе имѣютъ его сатиры. Здѣсь Кантемиръ является первымъ писателемъ, вызваннымъ реформой того Петра Великаго, образъ и духъ котораго глубоко впечатлѣлся еще въ юношеской душѣ будущаго сатирика. Такимъ образомъ Кантемиръ былъ первымъ сподвижникомъ Петра на такомъ поприщѣ, котораго Петръ не дождался увидѣть, но которое, какъ и все въ Россіи, приготовлено имъ же. О, какъ бы горячо обнялъ великій преобразователь Россіи двадцатилѣтняго стихотворца, если бы дожидъ до его первой сатиры! Но за Петра это сдѣлалъ одинъ изъ птенцовъ его орлиного гнѣзда — Теофанъ Прокоповичъ. Сатиры Кантемира — подражаніе и большей частью то переводъ, то передѣлка сатиръ Горация, Буало и частью Ювенала; но тѣмъ не менѣе онѣ — въ высшей степени оригинальныя произведенія: такъ умѣлъ Кантемиръ примѣнять ихъ къ быту и потребностямъ русскаго общества! Онѣ не нападаютъ въ нихъ на пороки, свойственные созрѣвшимъ или перезрѣвшимъ цивилизациямъ: нѣтъ, онѣ нападаютъ на фанатизмъ невѣжества, на предразсудки современнаго ему русскаго общества. Во второй сатирѣ онѣ осмѣиваютъ дворницкую спѣсь — порокъ столь же свойственный русскимъ, сколько и всякому другому народу въ Европѣ; но колоритъ этого порока, равно какъ и манера нападать на него въ его сатирѣ — чисто русскіе. Короче: подражая Горацию и Буало, Кантемиръ до того обрусилъ ихъ въ своихъ сатирахъ, что аббатъ Гуаско не усомнился перевести ихъ на французскій языкъ, какъ произведенія, которыя для французовъ могли имѣть всю предѣсть оригинальности. И вотъ въ чемъ состоитъ великая заслуга Кантемира не только передъ русскимъ языкомъ или русской литературой, но и передъ русскимъ обществомъ его времени. Теперь вопросъ: какъ велико было вліяніе сатиръ Кантемира на русское общество, въ которомъ грамотность была мало распространена, а о литературности не было и помина? Сатиры Кантемира изда ны гораздо послѣ его смерти (въ 1762 г.), но съ его собственноручнаго списка, посланнаго имъ изъ Парижа къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, съ посвященіемъ ей.

Онѣ снабжены многочисленными подробными примѣчаніями въ выноскахъ, къмъ писанными — неизвѣстно, но, кажется, не самимъ Кантемиромъ. При каждой сатирѣ въ примѣчаніи говорится: издана въ такое-то время; но, кажется, здѣсь слово «издана» значитъ ни больше, ни меньше, какъ — написана, и при жизни Кантемира, кажется, ни одна сатира его не была напечатана. Но тѣмъ не менѣе не подвержено никакому сомнѣнію, что сатиры Кантемира, какъ и всѣ его стихотворныя произведенія, пользовались большою извѣстностью въ обществѣ того времени. Самъ Кантемиръ говорить о большомъ успѣхѣ его любовныхъ пѣсенъ. Рукописныя сатиры свои онѣ прислалъ императрицѣ: значитъ, онѣ были ей извѣстны и прежде, а если такъ: значитъ, на нихъ всѣ смотрѣли, какъ на что-то важное. Если ихъ читала императрица, то читалъ и весь дворъ. Сверхъ того онѣ нашли себѣ большую извѣстность и большое одобреніе въ духовенствѣ, между которымъ было тогда много людей ученыхъ и образованныхъ. Теофанъ Прокоповичъ до того былъ восхищенъ первой сатирой Кантемира, что написалъ къ ихъ автору, не зная его, извѣстное посланіе, которое начинается стихомъ: «Не знаю, кто ты, пророче рогатый». и къ которое дышитъ неподдѣльнымъ восторгомъ. Новоспасскій архимандритъ Теофилъ Кроликъ пріивѣтствовалъ Кантемира тоже посланіемъ въ стихахъ, только на латинскомъ языкѣ. О чемъ говорятъ и чѣмъ интересуются высшіе представители общества по уму, образованности и знатности, — о томъ, разумѣется, говорить и общество. Поэтому очень могло быть, что сатиры Кантемира скоро пошли разгуливать въ спискахъ по всей Россіи между грамотнымъ народомъ. Это тѣмъ естественнѣе, что въ сатирахъ Кантемира почти вовсе нѣтъ или есть очень мало риторички, что въ нихъ говорится только о томъ, что у всѣхъ было передъ глазами, и говорится не только русскимъ языкомъ, но и русскимъ умомъ. Въ жизнеописаніи Кантемира сказано, что всѣ сатиры его имѣли большой успѣхъ, и что «многіе его стихи пошли въ пословицы». И не мудрено: въ сатирахъ Кантемира попадаются стихи до того забавные и живо-остроумные, что невольно остаются въ памяти. Таковы, напримѣръ, эти два стиха въ первой сатирѣ:

И просить свята душа съ горькими слезами  
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами.

Таковы же стихи, которые приведемъ изъ разныхъ сатиръ.

Ябеда и ея другъ дьякъ или подъячій.

..... Безъ всякой украсы

Волгнешь что не дѣлають чернца одиѣ ясы.

Сегодня одиѣ изъ тѣхъ дней святъ Николаю,  
Для чего весь городъ пьянъ отъ края до краю.

Вино должень перевестъ, кто пьяныхъ не лю-  
бить.

Пространный столъ, что семьѣ поповской съѣсть  
трудно,

Въ тридцать блюдь, еще ему мнилось яство  
скудно.

Мнѣ ли въ такомъ возрастѣ поправлять дов-  
лгетъ

Съдыхъ, пожилыхъ людей, кои чутъ съ очками,  
И чуть три зуба сберечь могли за губами;  
Кои помнятъ морь въ Москвѣ, и какъ сего года  
Дѣла Чигиринскаго сказують похода.

Послѣдній стихъ невольно приводить на  
память стихи Грибоѣдова:

Извѣстѣ черпають изъ забытыхъ газетъ  
Время очаковскихъ и покоренья Крыма.

Кантемиръ, по своему болѣзненному сло-  
женію, меланхолическому характеру, былъ  
наклоненъ къ нравственному дидактизму.  
Немного суровый моралистъ (что доказы-  
ваетъ его раскаяніе въ любовныхъ пѣсняхъ)  
и весьма остроумный человѣкъ, Кантемиръ  
любилъ только избранное общество, слѣдова-  
тельно, не любилъ общества вообще, которое  
оскорбляло его своими пороками и недо-  
статками; такой характеръ предполагаетъ  
раздражительность и любовь къ уединенію.  
Всѣ эти обстоятельства необходимо дѣлали  
Кантемира сатирикомъ. По языку неточному,  
неопредѣленному, по конструкціи часто запу-  
танной, не говоря уже о страшной устарѣ-  
лости въ наше время того и другого, по  
стихосложенію, столь несвойственному рус-  
ской просодіи, сатиры Кантемира нельзя  
читать безъ нѣкотораго напряженія, тѣмъ  
болѣе нельзя ихъ читать много и долго.  
Но, несмотря на то, въ нихъ столько ориги-  
нальности, столько ума и остроумія, такіа

яркія и вѣрныя картины тогдашняго обще-  
ства, личность автора отражается въ нихъ  
такъ прекрасно, такъ человѣчно, что развер-  
нуть изрѣдка старика Кантемира и про-  
честъ которую-нибудь изъ его сатиръ есть  
истинное наслажденіе. По крайней мѣрѣ  
для меня гораздо легче и пріятнѣе читать  
сатиры Кантемира, нежели громозвучныя оды  
Ломоносова, поэмы Хераскова и даже многія  
оды Державина (какъ, напримѣръ, «На взятіе  
Измаила», «Цѣленіе Саула» и т. п.); отъ  
всѣхъ этихъ одъ и поэмъ можно заснуть,  
а отъ сатиръ Кантемира проснуться. Во-  
обще для меня Кантемиръ и Фонвизинъ,  
особенно послѣдній,—самые интересные писа-  
тели первыхъ періодовъ нашей литературы:  
они говорятъ мнѣ не о заоблачныхъ превы-  
шенностяхъ по случаю плосечныхъ пллю-  
минацій, а о живой дѣйствительности, исто-  
рически существовавшей, о правахъ обще-  
ства, которое такъ не похоже на наше об-  
щество, но которое было ему роднымъ дѣ-  
душкой.

Посвященіе сатиръ Кантемира императрицѣ  
Елисаветѣ Петровнѣ, по своему изобрѣтенію,  
напоминаетъ оду Державина «По слѣдамъ  
Анакреона».

О Кантемирѣ, кромѣ статьи Жуковского,  
напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1890  
года, почти ничего дѣльнаго писано не было.  
Сочиненія и переводы его большей частью  
остались ненапечатанными, а напечатанныя  
изданы врзнь. Въ 1836 году къ-то было  
предпринято изданіе «Русскихъ Классиковъ»,  
началось съ Кантемира, да на немъ и оста-  
новилось, кажется, на пятой сатирѣ. Изда-  
ніе было это красивое и снабженное био-  
графіей Кантемира и необходимыми примѣ-  
чаніями. Жаль только, что примѣчанія не  
были слово въ слово перепечатаны съ изда-  
ній 1762 года: они необходимы, потому что  
характеризують духъ времени, состояніе рус-  
скаго языка и общества того времени.

## Петербургъ и Москва.

Предки наши, принужденные въ крова-  
выхъ боихъ познакомиться съ божіими  
дворянами и съ берегами Невы, конечно,  
не воображали, чтобъ на этихъ дикихъ, бѣд-  
ныхъ, низменныхъ и болотистыхъ берегахъ  
суждено было возникнуть Россійской Импе-  
ріи, равно какъ не воображали они, чтобы  
Московское царство когда-нибудь сдѣлалось  
Россійской Имперіей. И возможно ли было  
вообразить что-нибудь подобное? Кто можетъ

предузнуть явленіе генія, и можетъ ли толпа  
предвидѣть пути генія, хотя этотъ геній и  
есть не что иное, какъ мысль, разумъ, духъ  
и воля самой этой толпы, съ той только  
разницей, что все, что таится въ ней, какъ  
смутное предчувствіе, въ немъ является от-  
четливымъ сознаниемъ? Въ концѣ XVII вѣка  
Московское царство не представляло собой  
уже слишкомъ рѣзкій контрастъ съ евро-  
пейскими государствами, уже не могло бо-

лѣе двигаться на ржавыхъ колесахъ своего азиатскаго устройства; ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее и потому изъ него же самого Богъ воздвигъ ему генія, который долженъ былъ сблизить его съ Европой. Какъ всѣ великіе люди, Петръ явился въ пору для Россіи, но во многомъ не походилъ онъ на другихъ великихъ людей. Его доблести, гигантскій ростъ и гордая, величавая наружность съ огромнымъ творческимъ умомъ и исполненной волей, — все это такъ походило на страну, въ которой онъ родился, на народъ, который возсоздать былъ онъ призванъ, страну безпредѣльную, но тогда еще не сплоченную органически, народъ великій, но съ однимъ глухимъ предчувствіемъ своей великой будущности. Поэтому Петръ самъ долженъ былъ создать самого себя и средства для этого самовоспитанія найти не въ общественныхъ элементахъ своего отечества, а внѣ его и первымъ пестуномъ его было отрипаніе. Совершенные невѣжды и фанатики обвиняли его въ презрѣніи къ родной странѣ; но они обманывались: Петра тѣсно связывало съ Россіей обоемъ имъ родное и ничѣмъ не побѣдимое чувство своего великаго призванія въ будущемъ. Петръ страстно любилъ эту Русь, которой самъ онъ былъ представителемъ по праву высшаго, отъ Бога истекавшаго избранія; но въ Россіи онъ видѣлъ двѣ страны, — ту, которую онъ засталъ, и ту, которую онъ долженъ былъ создать: послѣдней принадлежали его мысль, его кровь, его потъ, его трудъ, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученикъ Европы, онъ остался русскимъ въ дуплѣ, вопреки мнѣнію слабоумныхъ, которыхъ много и теперь, будто бы европеизмъ изъ русскаго человѣка долженъ сдѣлать не-русскаго человѣка, и будто бы, слѣдовательно, все русское можетъ поддерживаться только дикими и невѣжественными формами азиатскаго быта. Москва, столица Московскаго царства, Москва, уже по самому своему положенію въ центрѣ Руси, не могла соответствовать видамъ Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Сѣвернаго и Восточнаго океана и Каспійское море нисколько не могли способствовать сближенію Россіи съ Европой. Надо было немедля завоевать новое море. Два моря могъ онъ имѣть въ виду для завоеванія — Черное и Балтійское. Но для перваго ему нужно имѣть Малороссію въ своемъ полномъ подданствѣ, а не подъ своимъ только верховнымъ покровительствомъ, а это совершилось не прежде, какъ по измѣнѣ Мавзы. Кромѣ того ему нужно было отнять

у турковъ Крымъ и взять въ свое владѣніе обширныя степныя пустыни, прилегающія къ Черному морю, а взять ихъ во владѣніе значило — населить ихъ: трудъ несвоевременный! и при томъ къ чему бы повелъ онъ? Столица на берегу Чернаго моря сблизила бы Россію не съ Европой, а развѣ съ Турціей, и насильственно притянула бы силы Россіи къ пункту столь отдаленному, что Россія имѣла бы тогда свою столицу, такъ сказать, въ чужомъ государствѣ. Не такіе виды представляло Балтійское море. Прилежашія къ нему страны изстари знакомы были русскому мечу; много пролилось на нихъ русской крови, и оставить ихъ въ чуждомъ владѣніи, не сдѣлать Балтійскаго моря границей Россіи — значило бы сдѣлать Россію навсегда открытой для непріятельскихъ вторженій и навсегда закрытой для сношеній съ Европой. Петръ слишкомъ хорошо понималъ это и война съ Швеціей по необходимости сдѣлалась главнымъ вопросомъ всей его жизни, главной пружиной всей его дѣятельности. Ревель и особенно Рига какъ бы просились сдѣлаться новой столицей Россіи, — мѣстомъ, гдѣ русскій элементъ лицомъ къ лицу столкнулся бы съ европейскимъ, не для того, чтобы погибнуть въ немъ, но принять его въ себя. Но Ревель и Рига сдѣлались позднѣе достояніемъ Петра, который вначалѣ хлопоталъ не изъ многого — только изъ уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, въ ожиданіи завоеваній, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и дѣйствовать, — и потому, когда Ревель и Рига сдѣлались русскими городами, — городъ Санктпетербургъ существовалъ уже семь лѣтъ, на него было уже истрачено столько денегъ, положено столько труда, а по причинѣ Котлина острова и Невы съ ея четвернымъ устьемъ онъ представлялъ такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положеніе, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другомъ мѣстѣ для новой столицы. Онъ давно уже смотрѣлъ на Петербургъ, какъ на свое твореніе, любилъ его, какъ дитя своей творческой мысли; можетъ быть, ему самому не разъ казалась трудной и отчаянной эта борьба съ дикой, суровой природой; съ болотистой почвой, сырымъ и нездоровымъ климатомъ, въ краю пустынномъ и отдаленномъ отъ населенныхъ мѣстъ, откуда можно было получать продовольствіе, — но непреклонная сила воли надо всѣмъ восторжествовала; геній упоренъ потому именно, что онъ — геній, и чѣмъ тяжелѣе борьба, охлаждающая слабыхъ, тѣмъ больше для него наслажденія развертывать передъ міромъ и самимъ собою все богатство своихъ неисчерпаемыхъ силъ. Торжественна была минута,

когда, при осмотрѣ дикихъ береговъ Финскаго залива, впервые заронилась въ душу Великаго мысль основать здѣсь столицу будущей имперіи. Въ этой минутѣ была заключена цѣлая поэма, обширная и грандіозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ея содержания этими немногими стихами:

*На берегу пустынныхъ волнъ  
Стоялъ Онь, думъ великихъ полнъ,  
И вдаль глядѣлъ... Передъ нимъ широко  
Рѣка неслася; бѣдный челнъ  
По ней стремился одиноко;  
По мшистымъ, топкимъ берегамъ  
Червьли избы здѣсь и тамъ,  
Пріютъ убогаго чужоца;  
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ  
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,  
Кругомъ шумѣлъ...*

И думалъ Онь:  
„Отсель грозить мы будемъ шведу,  
Здѣсь будетъ городъ заложенъ  
На зло надменному сосѣду;  
Природой здѣсь намъ суждено  
Въ Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при морѣ;  
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,  
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ,  
И запируемъ на просторѣ“.

Петербургъ строился экспромптомъ: въ мѣсяцъ дѣлалось то, чего бы стало дѣлать на годъ. Воля одного человѣка побѣдила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всѣмъ расчетамъ вѣроятностей, захотѣла забросить столицу Россійской Имперіи въ этотъ непріязненный и враждебный человѣку природой и климатомъ край, гдѣ небо блѣдно-зелено, тощая травка мѣшается съ ползучимъ верескомъ, сухимъ мохомъ, болотными порослями и сѣрыми кочками; гдѣ царствуютъ колючая сосна и печальная ель и не всегда нарушаетъ ихъ томительное однообразие чахлая береза—это растение сѣвера; гдѣ болотистыя испаренія и разлистая въ воздухѣ сырость проникаютъ и каменные дома, и кости человѣка; гдѣ нѣтъ ни весны, ни лѣта, ни зимы, но круглый годъ свирѣпствуетъ гнилая и мокрая осень, которая пародируетъ то весну, то лѣто, то зиму... Казалось, судьба хотѣла, чтобы спавшій дотолѣ непробуднымъ сномъ русскій человѣкъ кровавымъ потомъ и отчаянной борьбой выработалъ свое будущее, ибо прочны только тяжкимъ трудомъ одержанныя побѣды, только страданиями и кровью стяжанныя завоеванія! Можетъ быть, въ болѣе благоприятномъ климатѣ, среди менѣе враждебной природы, при отсутствіи неодолимыхъ препятствій, русскій человѣкъ скоро возгордился бы своими легкими успѣхами, и его энергія снова заснула бы, не успѣвъ даже и проснуться вполнѣ. И для того-то тотъ, кто посланъ ему былъ отъ Бога, былъ не только царемъ и повелителемъ, дѣйствовалъ

не однимъ авторитетомъ, но еще болѣе собственнымъ примѣромъ, который обезоруживалъ законѣное невѣжество и вѣками взлѣбляющую лѣнь:

То академикъ, то герой,  
То мореплаватель, то плотникъ,  
Онъ всеобъемлющей душой  
На тронѣ вѣчный былъ работникъ!

Несмотря на всю дѣятельность, которой исторія не представляетъ подобнаго примѣра Петербургъ, оставленный Петромъ Великимъ, былъ слишкомъ бѣдный и ничтожный городокъ, чтобъ объ немъ можно было говорить, какъ о чемъ-то важномъ. Казалось, этому городку, обязанному своимъ насильственнымъ существованіемъ волѣ великаго человѣка, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного изъ его наслѣдниковъ могла осудить его на вѣчное забвеніе или на ничтожное чахоточное существованіе... Но здѣсь-то и является во всемъ блескѣ творческій геній Петра Великаго: его планы, его предначертанія должны были продолжаться вѣковѣчно. Таковы право и сила генія: онъ кладетъ камень въ основаніе новому зданію и оставляетъ его чертежъ; преемники дѣла, можетъ быть, и хотѣли бы перенести зданіе на другое мѣсто, да негдѣ имъ взять такого прочнаго камня въ основаніе, а камень, положенный геніемъ, такъ великъ, что съ человѣческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его.

Петербургъ не могъ не продолжаться, потому что съ его существованіемъ тѣсно было связано существованіе Россійской Имперіи, смѣнившей собою Московское царство. И росъ Петербургъ не по днямъ, а по часамъ.

Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,  
Полночныхъ странъ краса и диво,  
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топч. блатъ,  
Вознесся пышно, горделиво.  
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,  
Печальный пасынокъ природы,  
Одинъ у низкихъ береговъ  
Вросалъ въ невѣдомыя воды  
Свой ветхій неводъ; нынѣ тамъ  
По оживленнымъ берегамъ  
Громады стройныя тѣнятся  
Дворцовъ и башенъ; корабли  
Толпой со всѣхъ концовъ земли  
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;  
Въ гранитъ одѣлася Нева,  
Мосты повисли надъ водами;  
Темнозелеными садами  
Бя покрылись острова;  
И передъ младшею столицей  
Главой склонилася Москва,  
Какъ передъ новою царицей  
Порфиросная вдова.

Такимъ образомъ Россія явилась вдругъ съ двумя столицами—старой и новой, Московской и Петербургомъ. Исключительность



этого обстоятельства не осталась безъ послѣдствій болѣе или менѣе важныхъ. Въ то время какъ росъ и украшался Петербургъ, по-своему измѣнялась и Москва. Вслѣдствіе неизбѣжнаго вторженія въ нее европеизма, съ одной стороны, и въ пѣлости сохранившагося элемента старинной неподвижности, съ другой стороны, она вышла какимъ-то причудливымъ городомъ, въ которомъ пе-стрѣютъ и мечутся въ глаза перемѣшанныя черты европеизма и азиатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный городъ! А походите по ней,—и вы увидите, что ея обширности много способныють длинныя, предлинныя заборы. Огромныхъ зданій въ ней нѣтъ; самыя большіе дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурнымъ достоинствомъ они не щеголяютъ. Въ ихъ архитектуру явно вмѣшался гений древняго Московскаго царства, который остался вѣренъ своему стремленію къ семейному удобству. Стоить часъ походить по кривымъ и косымъ улицамъ Москвы—и вы тотчасъ же замѣтите, что это городъ патриархальной семейственности: дома стоятъ особнякомъ, почти при каждомъ есть довольно обширный дворъ, поросшій травой и окруженный службами. Самый бѣдный москвичъ, если онъ женатъ, не можетъ обойтись безъ погреба и, при наймѣ квартиры, болѣе заботится о погребѣ, гдѣ будутъ храниться его съѣстные припасы, нежели о комнатахъ, гдѣ онъ будетъ жить. Нерѣдко у самаго бѣднаго москвича, если онъ женатъ, любимѣйшая мечта цѣлой его жизни—когда-нибудь перестать шататься по квартирамъ и зажить своимъ домкомъ. И вотъ, съ горемъ пошламъ, призвавъ на помощь родное «авось», онъ покупаетъ или нанимаетъ на извѣстное число лѣтъ пустопорожнее мѣсто въ какомъ-нибудь захолустьѣ, и лѣтъ пять, а иногда и десять строитъ домишко о трехъ окнахъ, покупая материалы то въ долгъ, то по случаю, изворачиваясь такъ и сякъ. И, наконецъ, наступаетъ вождѣлѣнный день переѣзда въ собственный домъ; домишко плохъ, да зато свой, и при томъ съ дворомъ—стало быть, можно и куръ водить, и теленка есть гдѣ пасти; но главное, при домишкѣ есть погребъ—чего же болѣе? Такихъ домишекъ въ Москвѣ неисчислимае множество, и они, то способствуя ея обширности, если не ея великолѣпію. Эти домишки попадаютъ даже на лучшихъ улицахъ Москвы, между лучшими домами, такъ же, какъ хорошіе (т. е. каменные въ два или три этажа) попадаютъ въ самыхъ отдаленныхъ и плохихъ улицахъ, между такими домишками. Для русскаго, который родился и жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ, Москва такъ же точно изу-

мительна, какъ и для иностранца. По дорогѣ въ Москву нашъ петербуржецъ увидѣлъ бы, разумѣется, Новгородъ и Тверь, которые совсѣмъ не приготовили бы его къ зрѣлищу Москвы; хотя Новгородъ и древній городъ, но отъ древняго въ немъ осталась только его кремль, весьма невзрачнаго вида, съ Софійскимъ соборомъ, примѣчательнымъ своей древностью, но ни огромностью, ни изяществомъ. Улицы въ Новгородѣ не кривы и не узки; многіе дома своей архитектурой и даже цвѣтомъ напоминаютъ Петербургъ. Тверь тоже не дастъ нашему петербуржцу идеи о Москвѣ: ея улицы прямы и широки, а для губернскаго города она довольно красива. Слѣдовательно, въѣзжая въ первый разъ въ Москву, нашъ петербуржецъ въѣдетъ въ новый для него міръ. Тщетно будетъ онъ искать главной или лучшей московской улицы, которую могъ бы онъ сравнить съ Невскимъ проспектомъ. Ему покажутъ Тверскую улицу,—и онъ съ изумленіемъ увидитъ себя посреди кривой и узкой, по горѣ тянущейся улицы, съ небольшою площадкой съ одной стороны,—улицы, на которой самый огромный и самый красивый домъ считался бы въ Петербургѣ весьма скромнымъ, со стороны огромности и изящества, домомъ; съ страннымъ чувствомъ увидѣлъ бы онъ, привыкшій къ прямымъ линиямъ и угламъ, что одинъ домъ выбѣжалъ на нѣсколько шаговъ на улицу, какъ будто бы для того, чтобы посмотришь, что дѣлается на ней, а другой отбѣжалъ на нѣсколько шаговъ назадъ, какъ будто изъ спѣси или изъ скромности,—смотря по его наружности; что между двумя довольно большими каменными скромно и уютно помѣстился ветхій деревянный домишко и, прислонившись стѣнами своими къ стѣнамъ сосѣднихъ домовъ, кажется, не парадуетъ тому, что они не даютъ ему упасть и сверхъ того защищаютъ его отъ холода и дождя; что подлѣ великолѣпнаго моднаго магазина лѣпится себѣ крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще болѣе удивился бы нашъ петербуржецъ, почувствовавъ, что въ странномъ гротескѣ этой улицы есть своя красота. И пошелъ бы онъ на Кузнечій мостъ: тамъ все то же, за исключеніемъ деревянныхъ домишекъ; зато увидѣлъ бы онъ каменные съ модными магазинами, но до того миниатюрные, что ему пришла бы въ голову мысль—ужъ не заѣхалъ ли онъ, новый Гуливеръ, въ царство лиллипутовъ... Хотя ни одинъ истинный петербуржецъ ничему не удивляется и ничѣмъ не восторгается, но не удержался бы онъ отъ какого-нибудь громко произнесеннаго междометія, если бы, пройдя кругъ опоясывающихъ Москву бульваровъ—луч-

ниго ей украшенія, которому Петербургъ всегда полное право завидовать,—онъ, то спускаясь подъ гору, то подымаясь въ гору, надъѣлъ бы со всѣхъ сторонъ амфитеатры крышъ, перемѣшанныхъ съ зеленью садовъ: будь при этомъ вмѣсто церквей минареты, онъ счелъ бы себя перенесеннымъ въ какой-нибудь восточный городъ, о которомъ читалъ въ Шехерезадѣ. И это зрѣлище ему понравилось бы, и онъ по крайней мѣрѣ въ продолженіе весны и лѣта охотно не сталъ бы искать столицы и города тамъ, гдѣ, взаимно этого, есть такіе живописные ландшафты...

Многія улицы въ Москвѣ, какъ-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обѣ линіи по сторонамъ Тверского и Никитскаго бульваровъ, состоятъ преимущественно изъ «господскихъ» (московское слово!) домовъ. И тутъ вы видите больше удобства, чѣмъ огромности или изящества. Во всемъ и на всемъ печать семейственности: и удобный домъ, обширный, но тѣмъ не менѣе для одного семейства, широкій дворъ, а у воротъ въ лѣтніе вечера многочисленная дворня. Вездѣ разбѣдиненность, особность; каждый живетъ у себя дома и крѣпко отгораживается отъ сосѣда. Это еще замѣтнѣе въ Замоскворѣчьи, этой часто купеческой и мѣщанской части Москвы: тамъ окна завѣшаны занавѣсками, ворота на запоръ; при ударѣ въ нихъ раздается сердитый лай цѣпной собаки, все мертво или, лучше сказать, сонно; домъ или домишко похожъ на крѣпостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Вездѣ семейство, и почти нигдѣ не видно города!.

Въ Москвѣ много трактировъ, и они всегда биткомъ набиты преимущественно тѣмъ народомъ, который въ нихъ пьетъ только чай. Не нужно объяснять, о какомъ народѣ говоримъ мы; это народъ, выпивающій въ день по пятнадцати самоваровъ,—народъ, который не можетъ жить безъ чаю, который пять разъ пьетъ его дома и столько же разъ въ трактирахъ. И если бы вы посмотрѣли на этотъ народъ, вы не удивились бы, что чай не разстраиваетъ ему нервъ, не мѣшаетъ спать, не портитъ зубовъ; вы подумали бы, что онъ безнаказанно для здоровья можетъ пудами употреблять опиумъ... Кондитерскихъ въ Москвѣ мало; въ нихъ покупаютъ много, но посѣщаютъ ихъ мало. Гостиницы въ Москвѣ существуютъ преимущественно для пріѣзжающихъ или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обѣдаютъ въ Москвѣ больше дома. Тамъ даже бѣдные холостые люди по большей части любятъ обѣдать у себя дома, вѣрные семейственному характеру Москвы. Если же они обѣдаютъ внѣ дома, то въ какомъ-нибудь

знакомомъ имъ семействѣ, особенно у родныхъ. Вообще Москва, славная своимъ хлѣбосольствомъ и гостепріимствомъ, чуждается жизни городской, общественной и любитъ обѣдать у себя дома, семейно. Славится своими сытными обѣдами Англійскій клубъ въ Москвѣ; но попробуйте въ немъ пообѣдать —и, несмотря на то, что вы будете сидѣть между пятьюстами или болѣе человекъ, вамъ непременно покажется, что вы пообѣдали у родныхъ. Что же касается до постоянныхъ членовъ клуба, они потому и любятъ въ немъ обѣдать, что имъ кажется, будто они обѣдаютъ у себя дома, въ своемъ семействѣ. Характеръ семейственности лежитъ на всемъ и во всемъ московскомъ! Родство даже до сихъ поръ играетъ великую роль въ Москвѣ. Тамъ никто не живетъ безъ родни. Если вы родились бобылемъ и пріѣхали жить въ Москву,—васъ сейчасъ женятъ, и у васъ будетъ огромное родство до семьдесятъ-седьмого колѣна. Не любятъ и не уважаютъ родни въ Москвѣ считается хуже, чѣмъ вольнодумствомъ. Вы обязаны будете знать день рожденія и именинъ по крайней мѣрѣ полтора года человѣкъ, и горе вамъ, если вы забудете поздравить хоть одного изъ нихъ. Это немножко хлопотно и скучно, но вѣдь зато родство—священная вещь. Гдѣ развита въ такой степени семейственность, тамъ родство не можетъ не быть въ великомъ почетѣ. По смерти Петра Великаго Москва сдѣлалась убѣжищемъ опальныхъ дворянъ вышшаго разряда и мѣстомъ отдохновенія удалившихся отъ дѣлъ вельможъ. Вслѣдствіе этого она получила какой-то аристократическій характеръ, который особенно развился въ царствованіе Екатерины Второй. Кто не слышалъ о широкой, распашной жизни вельможъ въ Москвѣ? Кто не слышалъ разказовъ о томъ, какъ въ своихъ великолѣпныхъ палатахъ ежедневно угощали они столomъ и званого, и незваного, и знакомаго, и незнакомаго, и въ городѣ, и въ деревнѣ, гдѣ для всѣхъ отворяли свои пышные сады? Кто не слышалъ разказовъ о ихъ шракахъ,—разказовъ, похожихъ на отрывки изъ «Тысячи и Одной Ночи»? Видите ли, что Москва и тутъ осталась вѣрна своему древне-московскому элементу: чванство и чинность, распашная и потѣшная жизнь въ ней нашли свой пріютъ! Но съ предшествовавшаго царствованія Москва мало-по-малу начала дѣлаться городомъ торговымъ, промышленнымъ и мануфактурнымъ. Она одѣваетъ всю Россію своими бумажно-прядильными издѣліями; ея отдаленныя части, ея окрестности и ея уѣздъ—все это усѣяно фабриками и заводами, большими и малыми. И въ этомъ отношеніи не Петербургу тягаться съ нею, потому что самое ея поло-

женіе почти въ серединѣ Россіи назначило ей быть центромъ внутренней промышленности. И то ли будетъ она въ этомъ отношеніи, когда желѣзная дорога соединитъ ее съ Петербургомъ и, какъ артерія отъ сердца, потянутся отъ нея шоссе въ Ярославль, въ Казань, въ Воронежъ, въ Харьковъ, въ Кіевъ и Одессу...

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками; она—сама историческая древность и во внѣшнемъ и во внутреннемъ отношеніи! Но какъ она сама, такъ и ея допетровскія древности представляють странное зрѣлище смѣси съ новымъ: отъ Кремля остался одинъ чертежъ, потому что его ежегодно поправляютъ, а въ немъ возникаютъ новыя зданія. Духъ новаго вѣетъ и на Москву, и стираетъ мало-по-малу ея древній отпечатокъ.

Мы начали о Петербургѣ, а распространились о Москвѣ, но это совсѣмъ не отступленіе отъ главнаго предмета. У насъ двѣ столицы; какъ же говорить объ одной, не сравнивая ея съ другой? Только чрезъ такое сравненіе можемъ мы узнать особенности и характеръ каждой изъ нихъ. Ничто въ мірѣ не существуетъ напрасно: если у насъ двѣ столицы—значитъ каждая изъ нихъ необходима, а необходимость можетъ заключаться только въ идеѣ, которую выражаетъ каждая изъ нихъ. И потому Петербургъ представляетъ собою идею; Москва—другую. Въ чемъ состоитъ идея того и другого города, это можете узнать, только проведя параллель между тѣмъ и другимъ. И потому мы не разъ еще, говоря о Петербургѣ, будемъ обращаться и къ Москвѣ. Пока мы нашли, что отличительный характеръ Москвы—семейственность. Обратимся къ Петербургу.

О Петербургѣ привыкли думать, какъ о городѣ, построенномъ даже не на болотѣ, а чуть ли не на воздухѣ. Многіе, не шутя, увѣряютъ, что это городъ безъ исторической святости, безъ преданій, безъ связи съ родной страной,—городъ, построенный на сваяхъ и на расчетѣ. Всѣ эти мнѣнія немного ужъ устарѣли и ихъ пора бы оставить. Правда, коли хотите, въ нихъ есть своя сторона истины, но зато много и лжи. Петербургъ построенъ Петромъ Великимъ какъ столица новой Россійской Имперіи, и Петербургъ—городъ неисторическій, безъ преданія!... Это нелѣпость, не стоящая опроверженія! Вся бѣда вышла изъ того, что Петербургъ слишкомъ молодъ для самого себя и совершенное дитя въ сравненіи со старушкой Москвой. Такъ неужели молодой человѣкъ, ознаменовавшій свое вступленіе въ жизнь великихъ подвиговъ,—не историческій человѣкъ, потому что онъ мало жилъ; а старичокъ какой-нибудь истори-

ческій человѣкъ, потому что онъ много жилъ? Не только много жилъ, но и много испытала древняя Москва, столица Московскаго царства; а неей есть своя исторія—никто не споритъ противъ этого, но что же всея исторія въ сравненіи съ великимъ эпосомъ біографіи Петра Великаго? А не тѣсно ли связанъ Петербургъ съ этой біографіей? Отвергать историческую важность Петербурга—не значитъ ли не умѣть цѣнить Петра для русской исторіи? Говоря объ исторической святости, спрашиваютъ: гдѣ у Петербурга эти памятники, надъ которыми пролетѣли вѣка, не разрушивъ ихъ? Да, милостивые государи, такихъ памятниковъ въ Петербургѣ нѣтъ и быть не можетъ, потому что самъ онъ существуетъ со дня своего заложения только сто сорокъ одинъ годъ; но зато онъ самъ есть великій историческій памятникъ. Всюду видите вы въ немъ живые слѣды его строителя, и для многихъ (въ томъ числѣ и для насъ) такія маленькія строенія, какъ, на примѣръ, домикъ на Петербургской сторонѣ, дворецъ въ Лѣтнемъ саду, дворецъ въ Петергофѣ, стоятъ не одного, а многихъ Кремлей... Чтѣ дѣлать—у всякаго свой вкусъ! Петербургъ построенъ на расчетѣ—правда; но чѣмъ же расчетъ ниже слѣпого случая? Мудрые вѣка говорятъ, что желѣзныи гвоздь, сдѣланныи грубой рукой деревенскаго кузнеца, выше всякаго цвѣтка, съ такой красотой рожденнаго природою,—выше его въ томъ отношеніи, что онъ—произведеніе сознательнаго духа, а цвѣтокъ есть произведеніе непосредственной силы. Расчетъ есть одна изъ сторонъ сознанія. Говорятъ еще, что Петербургъ не имѣетъ въ себѣ ничего оригинальнаго, самобытнаго, что онъ есть какое-то, будто бы, общее воплощеніе идеи столичнаго города и, какъ двѣ капли воды, похожъ на всѣ столичные города въ мірѣ. Но на какіе же именно? На старыя, каковы, напр., Римъ, Парижъ, Лондонъ, онъ подходит никакъ не можетъ; стало быть, это суцая неправда. Если онъ похожъ на какіе-нибудь города, то вѣроятно на большіе города Сѣверной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчетѣ. И развѣ въ этихъ городахъ нѣтъ своего, оригинальнаго? Развѣ въ стѣнахъ города и въ каждомъ камнѣ его видѣтъ будущее, не значитъ—видѣтъ что-то оригинальное и при томъ прекрасно оригинальное? Но Петербургъ оригинальнѣе всѣхъ городовъ Америки, потому что онъ есть новый городъ въ старой странѣ, слѣдовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великаго была только великой исторической ошибкой,

или Петербургъ имѣть необъятно-великое значеніе для Россіи. Что-нибудь одно: или новое образованіе Россіи, какъ ложное и призрачное, скоро исчезнетъ совсѣмъ, не оставивъ по себѣ и слѣда, или Россія навсегда и безвозвратно оторвана отъ своего прошедшаго. Въ первомъ случаѣ, разумѣется, Петербургъ—случайное и эфемерное порожденіе эпохи, принявшей ошибочное направленіе, — грибокъ, который въ одну ночь выросъ и въ одинъ день высохъ; во второмъ случаѣ Петербургъ есть необходимое и вѣковѣчное явленіе, величественный и крѣпкій дубъ, который сосредоточить въ себѣ всѣ жизненные соки Россіи. Нѣкоторые доморожденные политики, считающіе себя удивительно глубокомысленными, думаютъ, что такъ какъ де Петербургъ явился непосредственно, выросъ и расширился не вѣками, а обязанъ своимъ существованіемъ вѣдъ одного человѣка, то другой человѣкъ, амбюирующій власть свыше, также можетъ оставить его, выстроить себѣ новый городъ на другомъ концѣ Россіи: мнѣніе крайне дѣтское! Такія дѣла не такъ легко затѣваются и исполняются. Былъ человѣкъ, который имѣлъ не только власть, но и силу сотворить чудо, и былъ мигъ, когда эта сила могла проявиться въ такомъ чудѣ, — и потому для новаго чуда въ этомъ родѣ требуется опять два условія: не только человѣкъ, но и мигъ. Произволъ не производитъ ничего великаго: великое исходитъ изъ разумной необходимости, слѣдовательно, отъ Бога. Произволъ не соорудитъ въ короткое время великаго города: произволъ можетъ выстроить развѣ только вавилонскую башню, слѣдствіемъ которой будетъ не возрожденіе страны къ великому будущему, а раздѣленіе языковъ. Гораздо легче сказать — оставить Петербургъ, чѣмъ слѣдовать это: языкъ безъ костей, по русской пословицѣ, и можетъ говорить, что ему угодно; но дѣло не то, что пустое слово. Только господамъ Маниловымъ легко строить въ своей празднофантазіи мосты черезъ пруды, съ лавками по обѣимъ сторонамъ.

Иностранецъ Альгаротти сказалъ: «Петербургъ есть окно, черезъ которое Россія смотритъ на Европу», — счастливое выраженіе, въ немногихъ словахъ удачно схватившее великую мысль! И вотъ въ чѣмъ заключается твердое основаніе Петербурга, а не въ сваяхъ, на которыхъ онъ построенъ, и съ которыхъ его не такъ-то легко сдвинуть! Вотъ въ чѣмъ его идея и, слѣдовательно, его великое значеніе, его святое право на вѣковѣчное существованіе! Говорятъ, что Петербургъ выкачаетъ собою только внѣшній европеизмъ. Положимъ, что

и такъ: но при развитіи Россіи, совершенно противоположномъ европейскому, т. е. при развитіи сверху внизъ, а не снизу вверхъ, внѣшность имѣетъ гораздо высшее значеніе, большую важность, нежели какъ думаютъ. Что вы видите въ поэзіи Ломоносова? — одну внѣшность, русскія слова, втиснутыя въ латинско-нѣмецкую конструкцію: выписныя мысли, какихъ и признака не было въ обществѣ, среди котораго и для котораго писалъ Ломоносовъ свои риторическіе стихи! И однако жъ Ломоносова не безъ основанія называютъ отцомъ русской поэзіи, которая тоже не безъ основанія гордится, напимѣръ, хоть такимъ поэтомъ, какъ Пушкинъ. Нужно ли доказывать, что если бы у насъ не было заведено этой мертвой, подражательной, чисто внѣшней поэзіи, — то не родилась бы у насъ и живая, оригинальная и самобытная поэзія Пушкина? Нѣтъ, это и безъ доказательствъ ясно, какъ день Божій. Итакъ, иногда и внѣшность чего нибудь да слѣдуетъ. Скажемъ болѣе: внѣшнее иногда влечетъ за собой внутреннее. Положимъ, что надѣтъ фракъ или сюртукъ, вмѣсто овчиннаго тулупа, синяго армяка или смураго кафтана, еще не значить слѣзаться европейцемъ; но отъ чего же у насъ, въ Россіи, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтеніемъ, и обнаруживаютъ и любовь, и вкусъ къ изящнымъ искусствамъ только люди, одѣвающиеся по-европейски? Что ни говорите, а даже и фракъ съ сюртукомъ — предметы, кажется, совершенно внѣшніе, не мало дѣйствуютъ на внутреннее благообразіе человѣка. Петръ Великій это понималъ, и отсюда его гоненіе на бороды, охабни, терлики, шапки-мурмолки и всѣ другія завѣтныя принадлежности московитскаго туалета.

Есть мудрые люди, которые прираютъ всѣмъ внѣшнимъ: имъ давай идею, любовь, духъ, а на факты, на міръ практический, на будничную сторону жизни они не хотятъ и смотрѣть. Есть другіе мудрые люди, которые, кромѣ фактовъ и дѣла, ни о чемъ знать не хотятъ, а въ идеѣ и духѣ видятъ однѣ мечты. Первые изъ нихъ за особенную честь поставляютъ себѣ слушать съ презрительнымъ видомъ, когда при нихъ говорятъ о желѣзной дорогѣ. Эти средства къ возвышенію нравственнаго достоинства страны имъ кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждутъ отъ чуда и думаютъ, что образованіе въ одно прекрасное утро свалится прямо съ неба, а народъ возьметъ на себя трудъ только поднять его, да проглотить, не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именемъ романтиковъ. Мудрецы второго разряда спятъ и видятъ шоссе,

железныя дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разных спекуляцій: въ этомъ ихъ идеаль народнаго и государственнаго блаженства; духъ, идея въ ихъ глазахъ — вредныя или безполезныя мечты. Это классики нашего времени. Не принадлежатъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, мы въ послѣднихъ видимъ хоть что-нибудь, тогда какъ въ первыхъ виноваты — ровно ничего на видимъ. Есть два способа проводить новый источникъ жизни въ застоявшійся организмъ общественнаго тѣла: первый — наука или ученіе, книгопечатаніе, въ обширномъ значеніи этого слова, какъ средство къ распространенію идей; второй — жизнь, разумѣя подъ этимъ словомъ формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычай. Тотъ и другой способъ равно важны, и послѣдній едва ли еще не важнѣе въ томъ отношеніи, что и само чтеніе, и самая идея тогда только важны и дѣйствительны, когда входятъ въ жизнь, становятся, такъ сказать, обычаемъ или обыкновеніемъ. Нѣтъ ничего сильнѣе и крѣпче обычая: гораздо легче убѣдить людей логикою въ какой угодно истинѣ, нежели преклонить ихъ къ практическому примѣненію этой истины, если въ этомъ мѣшаетъ имъ обычай. Намъ кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпала вторая способъ распространения и утверждения европеизма въ русскомъ обществѣ. Петербургъ есть образецъ для всей Россіи во всемъ, что касается до формъ жизни, начиная отъ моды до свѣтскаго тона, отъ манеры класть кирпичи до высшихъ тайнствъ архитектурнаго искусства, отъ типографскаго изищества до журналовъ, исключительно владѣющихъ вниманіемъ публики. Сравните петербургскую жизнь съ московскою — и въ ихъ различіи или, лучше сказать, ихъ противоположности вы сейчасъ увидите значеніе того и другого города. Несмотря на узкость московскихъ улицъ, снабженныхъ тротуарами въ поларшина шириною, онѣ только днемъ бываютъ тѣсны, и то далеко не всѣ, и при томъ больше по причинѣ ихъ узкости, чѣмъ по многолюдству. Съ десяти часовъ вечера Москва уже пустѣетъ, и особенно зимой скучны и пустыжны эти кривыя улицы съ еще болѣе кривыми переулками. Широкія улицы Петербурга почти всегда оживлены народомъ, который куда-то спѣшитъ, куда-то торопится. На нихъ до двѣнадцати часовъ ночи довольнолюдно и до утра вездѣ попадаются то тамъ, то сямъ запоздалые. Кондитерскія полны народомъ; нѣмцы, французы и другіе иностранцы, туземные и заѣзжіе, пьютъ, ѣдятъ и читаютъ газеты; русскіе больше пьютъ и ѣдятъ, а нѣкоторые пробѣгаютъ «Пчелу», «Инвалидъ» и

иногда пристально читаютъ толстыя журналы, переплетенные, для удобства, въ особенныя книжки, по отдѣламъ: это охотники до литературы; охотниковъ до политики у насъ вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерскія заведенія тоже. Тутъ то же самое: пьютъ, ѣдятъ, читаютъ, курятъ, играютъ на бильярдѣ, и все большей частью молча. Если и говорятъ, то тихо, и то сосѣдъ съ сосѣдомъ; зато часто случается слышать прегромкіе голоса, которые ни мало не жнируются говорить о предметахъ, нисколько для постороннихъ не интересныхъ, напримеръ, о томъ, какъ Иванъ Семеновичъ вчера остался безъ двухъ, играя семь въ червяхъ, или о томъ, что Петръ Николаевичъ получилъ мѣсто, а Василій Степановичъ произведенъ въ слѣдующій чинъ и тому подобныя литературныхъ и полическихъ новостяхъ. Дома въ Петербургѣ, какъ извѣстно, огромныя. Петербуржецъ о погребѣ не заботится: если не женатъ, онъ обѣдаетъ въ трактирѣ; женатъ, — онъ все беретъ изъ лавочки. Домъ, гдѣ нанимаетъ онъ квартиру, — сущій ноевъ ковчегъ, въ которомъ можно найти по парѣ всякихъ животныхъ. Рѣдко случается узнать петербуржцу, кто живетъ ноздѣ него, потому что и сверху, и снизу, и съ боковъ его живутъ люди, которые такъ же, какъ и онъ, заняты своимъ дѣломъ и такъ же не имѣютъ времени узнавать о немъ, какъ и онъ о нихъ. Главное удобство въ квартирѣ, за которымъ гонится петербуржецъ, состоитъ въ томъ, чтобы ко всему быть поближе — и къ мѣсту своей службы, и къ мѣсту, гдѣ все можно достать и лучше, и дешевле. Послѣдняго удобства онъ часто достигаетъ въ своемъ ноевомъ ковчегѣ, гдѣ есть и погребокъ, и кондитерская, и кухмистеръ, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свѣтѣ. Идея города больше всего заключается въ сплошной сосредоточенности всѣхъ удобствъ въ небольшомъ скатомъ кругѣ: въ этомъ отношеніи Петербургъ несравненно больше городъ, чѣмъ Москва, и, можетъ быть, одинъ городъ во всей Россіи, гдѣ все разбросано, разъединено, запечатлѣно семейственностью. Если въ Петербургѣ нѣтъ публичности въ истинномъ значеніи этого слова, зато ужъ нѣтъ и домашняго или семейнаго затворничества. Петербургъ любитъ улицу, гулянье, театръ, кофейную, вокзалъ, словомъ, любитъ всѣ общественныя заведенія. Этого пока еще немного, но зато изъ этого можетъ многое выйти впереди. Петербургъ не можетъ жить безъ газетъ, безъ афишъ и разнаго рода объявленій; Петербургъ давно уже привыкъ, какъ къ необходимости, къ «Полицейской Газетѣ», къ городской почтѣ. Едва проснув-

шисъ, петербуржець хотеть тотчасъ же знать, что дается сегодня на театрахъ, нѣтъ ли концерта, скачки, гулянья съ музыкой; словомъ, хотеть знать все, что составляетъ сферу его удовольствій и развѣяній, — а для этого ему стоить только протянуть руку къ столу, если онъ получаетъ все эти извѣстительныя изданія, или забѣжать въ первую попавшуюся кондитерскую. Въ Москвѣ многіе подписчики на «Московскія Вѣдомости», выходящія три раза въ недѣлю (по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ), посылаютъ за ними только по субботамъ и получаютъ вдругъ три номера. Оно и удобно: подъ праздникъ есть свободное время заняться новостями всего міра... Кромѣ того, по неизмѣннѣ городской почты и рассыльныхъ, надо посылать своего человека въ контору университетской типографіи, а это не для всякаго удобно и не для всѣхъ даже возможно. Для петербуржца взглянуть каждый день въ «Пчелу» или «Инвалидъ» — такая же необходимость, такой же обычай, какъ выпить по-утру чаю... Въ противоположность Москвѣ, огромные дома въ Петербургѣ днемъ не затворяются и доступны черезъ ворота и черезъ двери; ночью у воротъ всегда можно найти дворника или вызвать его звонкомъ, слѣдовательно, всегда можно попасть въ домъ, въ который вамъ непременно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звочка, а на многихъ дверяхъ не только нумеръ, но и мѣдная или желѣзная дощечка съ именемъ занимающаго квартиру. Хотя въ Москвѣ улицы не длинны, каждая носитъ особенное названіе и почти въ каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать кого нужно, если знаешь адресъ; однако жъ, отыскивать тамъ — истинное мученіе, если въ домъ есть не одинъ жилецъ. Обыкновенно входите вы тамъ на довольно большой дворъ, на которомъ, кромѣ собаки или собакъ, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться въ двери съ вопросомъ: не здѣсь ли живетъ такой-то, потому что въ Москвѣ дворники рѣдки, а звонки еще и того рѣже. Нѣтъ никакой возможности ходить по московскимъ улицамъ, которые узки, кривы и наполнены пробѣгающими. Надо быть москвичемъ, чтобы умѣть смѣло ходить по нимъ, такъ же, какъ надо быть парижаниномъ, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязныхъ улицахъ. Впрочемъ, сами москвичи ходить не любятъ; отъ того извозчикамъ въ Москвѣ много работы. Извозчики тамъ дешевы, но на плохихъ дрожкахъ и прескверныхъ саняхъ; дрожки вездѣ скверны по самому ихъ устройству; это просто орудіе пытки для допроса обви-

ненныхъ; но саней плохихъ въ Петербургѣ не бываетъ: здѣсь самыя скверныя санишки сдѣланы на манеръ будто бы хорошихъ и покрыты полостью изъ теленка, похожаго на медвѣдя, а полость покрыта чѣмъ-то въ родѣ сукна. Въ Петербургѣ никто не сѣлъ бы на сани безъ медвѣдя!... Впрочемъ, въ Петербургѣ мало вѣздятъ, больше ходятъ: оно и здорово, ибо движеніе есть лучшее и при томъ самое дешезое средство противъ геморроя, да при томъ же въ Петербургѣ удобно ходить: горъ и косо-горовъ нѣтъ, все ровно и гладко, тротуары изъ плитняка, а индѣ и изъ гранита, широкіе, ровные и во всякое время года чистые, какъ полы.

Чтобы ближе познакомиться съ обѣими нашими столицами, сравнимъ между собою ихъ народонаселеніе.

Высшее сословіе или высшій кругъ общества во всѣхъ городахъ въ мірѣ составляетъ собою нѣчто исключительное. Большой свѣтъ въ Петербургѣ еще болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, есть истинная terra incognita для всѣхъ, кто не пользуется въ немъ правомъ гражданства; это городъ въ городѣ, государство въ государствѣ. Непосвященные въ его тайнства смотреть на него издалека, на почтительномъ разстояніи, смотреть на него съ завистью и томленіемъ, съ какими путникъ, заблудившійся въ песчаной степи Аравіи, смотритъ на миражъ, представляющійся ему цвѣтущимъ оазисомъ; но недоступный для нихъ рай большого свѣта, стрегомый булавой швейцара и толпой официантовъ, разодѣтыхъ маркизами XVIII вѣка, даже и не смотреть на этихъ чающихъ для себя движенія райской воды. Люди различныхъ слоевъ средняго сословія, отъ высшаго до низшаго, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваются къ отдаленному и непонятному для нихъ гулу большого свѣта и по своему толкуютъ долетающіе до ихъ ушей анекдоты, искаженные ихъ простодушіемъ. Словомъ, они такъ заботятся о большомъ свѣтѣ, какъ будто безъ него не могутъ дышать. Не довольствуясь этимъ, они изо всѣхъ силъ бьются, бѣдные, передразнивать бытъ большого свѣта, и — à force de forger — достигаютъ до сладостной заморѣченности, что и они — тоже большой свѣтъ. Конечно, настоящій большой свѣтъ очень бы добродушно разсмѣялся, если бы узналъ объ этихъ безчисленныхъ претендентахъ на близкое родство съ нимъ; но отъ этого тѣмъ не менѣе страсть считать себя принадлежащимъ или прикосновеннымъ къ большому свѣту доходить въ среднихъ сословіяхъ Петербурга до изступленія. Поэтому въ Петербургѣ счету нѣтъ различнымъ ку-

гамъ «большого свѣта». Всѣ они отличаются со стороны высшаго къ низшему—величаво или лукаво насмѣшливымъ взглядомъ; а со стороны низшаго къ высшему—досадой обиженного самолюбія, впрочемъ, утѣшающаго себя тѣмъ, что и мы-де не отстанемъ отъ другихъ и постоянно за себя въ хорошемъ тонѣ. Хорошій тонъ это—точка помѣшательства для петербургскаго жителя. Послѣдній чиновникъ, получающій не болѣе семисотъ рублей жалованья, ради хорошаго тона отпускаетъ при случаѣ искаженную французскую фразу—единственную, какую удалось ему затвердить изъ «Самоучителя»; изъ хорошаго тона онъ одѣвается всегда у порядочнаго портного и носить на рукахъ хотя и засаленныя, но желтыя перчатки. Дѣвицы даже низшихъ классовъ ужасно любятъ вернуть въ безграмотной русской запискѣ безграмотную французскую фразу, — и если вамъ понадобится писать къ такой дѣвицѣ, то ничѣмъ вы ей такъ не польстите, какъ смѣшеніемъ нижегородскаго съ французскимъ: этимъ вы ей покажете, что считаете ее дѣвицей образованной и «хорошаго тона». Любятъ онѣ также и стишки, особенно изъ водевильныхъ куплетовъ; но нѣкоторыя возвышаются своимъ вкусомъ даже до поэзія Бенедиктова, — и это дѣвицы самыхъ аристократическихъ, самыхъ бонтонныхъ круговъ чиновническаго сословія. Видите ли: Петербургъ во всемъ себѣ вѣренъ; онъ стремится къ высшей формѣ общественнаго быта... Не такова въ этомъ отношеніи Москва. Въ ней даже большій свѣтъ имѣетъ свой особенный характеръ. Но кто не принадлежитъ къ нему, тотъ о немъ и не заботится, будучи весь погруженъ въ сферу собственнаго сословія.

Ядро кореннаго московскаго народонаселенія составляетъ купечество. Девять десятыхъ этого многочисленнаго сословія носятъ православную, отъ предковъ завѣщанную бороду, длиннополоый сюртукъ синяго сукна и ботфорты съ кисточкой, скрывающіе въ себѣ оконечности плисовыхъ или суконныхъ брюкъ; одна десятая позволяетъ себѣ брить бороду и, по одеждѣ, по образу жизни, вообще во внѣшности, походить на разночинцевъ и даже дворянъ средней руки. Сколько старинныхъ вельможескихъ домовъ перешло теперь въ собственность купечества! И вообще эти огромныя зданія, памятники уже отжившихъ свой вѣкъ нравовъ и обычаевъ, почти всѣ безъ исключенія превратились или въ казенныя учебныя заведенія, или, какъ мы уже сказали, поступили въ собственность богатаго купечества. Какъ расположились и какъ живутъ въ этихъ палатахъ и дворцахъ «поштенное» купечество, — объ этомъ любопытные могутъ

справиться между прочимъ въ повѣсти Вельтмана «Пріѣзжій изъ уѣзда, или сума-тоха въ столицѣ». Но не въ однихъ княжескихъ и графскихъ палатахъ, — хороши также эти кушцы и въ дорогихъ каретахъ и коляскахъ, которыя вихремъ несутся на превосходныхъ лошадяхъ, блистающихъ самой дорожной сбруей: въ экипажѣ сидитъ «поштенная» и весьма довольная собой борода; возлѣ нея помѣщается плотная и объемистая масса ея дражайшей половины, разбѣленная, разурмяненная, обремененная жемчугами, иногда съ платкомъ на головѣ и съ косичками отъ висковъ, но чаще въ шляпкѣ съ перьями (прекрасный полъ даже и въ купечествѣ далеко обогналъ мужичья на пути европеизма!), а на заняткахъ стоитъ сидѣлецъ въ длиннополомъ жидовскомъ сюртукѣ, въ рыжихъ сапогахъ съ кисточками, пуховой шляпѣ и въ зеленыхъ перчаткахъ... Проходящіе мимо кушцы средней руки и мѣщане съ удовольствіемъ пощолкиваютъ языкомъ, смотря на лихихъ коней; и гордо приговариваютъ: «Вишь, какъ наши-то!», а дворяне, смотря изъ окошъ, съ досадой думаютъ: «мужикъ проклятый, развалился, какъ и Богъ знаетъ кто!»... Для русскаго купца, особенно москвича, толстая статистая лошадь и толстая статистая жена—первыя блага въ жизни... Въ Москвѣ повсюду встрѣчаете вы купцовъ, и все показываетъ вамъ, что Москва по преимуществу городъ купеческаго сословія. Ими населенъ Китай-городъ; они исключительно завладѣли Замоскворѣчьемъ, и ими же кипитъ даже самая аристократическія улицы и мѣста въ Москвѣ, каковы—Тверская, Тверской бульваръ, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другія улицы. Базисомъ этому многочисленному сословію въ Москвѣ служатъ еще многочисленнѣйшее сословіе: это—мѣщанство, которое создало себѣ какой-то особенный костюмъ изъ національнаго русскаго и изъ басурманскаго нѣмецкаго, гдѣ неизбѣжно красуются зеленныя перчатки, пуховая шляпа или картузь такого устройства, въ которомъ равно изуродованы и опошлены и русскій, и иностранный типы головной мужской одежды; выросковые сапоги, въ которыхъ прячутся нанковые или суконныя штанишки; сверху что-то среднее между долгополымъ жидовскимъ сюртукомъ и кучерскимъ кафтаномъ; красная александрійская или ситцевая рубаха съ косымъ воротомъ, а на шеѣ грязный пестрый платокъ. Прекрасная половина этого сословія представляетъ своимъ костюмомъ такое же дикое смѣшеніе русскою одежды съ европейскою: мѣщанки ходятъ большей частью (кромѣ ужъ самыхъ бѣдныхъ) въ платьяхъ и шляхахъ порядочныхъ жи-

цинь, а волосы причуть подь шапочку, сдѣланную изъ цвѣтнаго шелковаго платка; бѣлила, румяна и сюрма составляютъ неотъемлемую часть ихъ самихъ, точно такъ же, какъ стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мѣщанство есть вездѣ, гдѣ только есть русскій городъ, даже большое торговое село. Типъ этого мѣщанства вполнѣ постигъ петербургскій актеръ, Григорьевъ 2-й, — и этому-то типу обязанъ онъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ на Александринскомъ театрѣ.

Но въ Москвѣ есть еще другого рода среднее сословіе — образованное среднее сословіе. Мы не считаемъ за нужное объяснять нашимъ читателямъ, что мы разумѣемъ вообще подь образованными сословіями: кому неизвѣстно, что у насъ; въ Россіи, есть рѣзкая черта, которая отдѣляетъ необразованныя сословія отъ образованныхъ и которая заключается, во-первыхъ, въ костюмахъ и обычаяхъ, обнаруживающихъ рѣшительное притязаніе на европеизмъ; во-вторыхъ, — въ любви къ преферансу; въ-третьихъ, — въ большемъ или меньшемъ занятіи чтеніемъ. Касательно послѣдняго пункта можно сказать съ достовѣрностью, что кто читаетъ постоянно хоть «Московскія Вѣдомости», тотъ уже принадлежитъ къ образованному сословію, если кромѣ того онъ въ одеждѣ и обычаяхъ придерживается западнаго типа. Къ числу необходимыхъ отличій «образованнаго» человека отъ «необразованнаго» у насъ полагается и чинъ, хотя съ нѣкотораго времени и у насъ уже начинаютъ убѣждаться, что и безъ чина такъ же можно быть образованнымъ человѣкомъ, какъ и невѣждой съ чиномъ. Впрочемъ, подобное мнѣніе нисколько не проникло въ низшіе классы общества, и — миллионеръ-купецъ, поглаживая свою бородку, смѣло претендуетъ на умъ (благо, плутовать и мастеръ надуть и недруга, и друга), но никогда на образованность. Различій и степеней между «образованными» людьми у насъ множество. Одни изъ нихъ читаютъ только дѣловыя бумаги и письма, до нихъ лично касающіяся, да еще календари и «Московскія Вѣдомости»; нѣкоторые идутъ далѣе — и постоянно читаютъ «Сѣверную Пчелу»; есть такіе, которые читаютъ рѣшительно всѣ русскіе журналы, газеты, книги и брошюры и не читаютъ ничего иностраннаго, даже зная какой-нибудь иностранный языкъ; наконецъ, есть такіе esprits-forts, которые очень много читаютъ на иностранныхъ языкахъ и рѣшительно ничего на своемъ родномъ; но «образованнѣйшими» должно почитать безъ сомнѣнія тѣхъ немногихъ у насъ людей, которые, иногда заглядывая въ русскіе журналы, постоян-

но читаютъ иностранныя, и зрѣдка прочитывая русскія книги (благо, хорошихъ-то изъ нихъ очень мало), часто читаютъ иностранныя книги. Но еще многочисленнѣе отличіи нашей образованности въ отношеніи къ одеждѣ, обычаямъ и картамъ. Есть у насъ люди, которые европейскую одежду носятъ только официально, но у себя дома, безъ гостей, постоянно пребываютъ въ татарскихъ халатахъ, сафьянныхъ сапогахъ и разнаго рода ермолкахъ; нѣкоторые халату предпочитаютъ ухарскій архахуть — шегольство провинціальныхъ лакеевъ; другіе, напротивъ, и дома остаются вѣрны европейскому типу и ходятъ въ пальто, въ которомъ могутъ, безъ нарушенія приличія, принимать визиты за-просто; одни слѣдуютъ постоянно модѣ, другіе увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, заливчатыми и ухарскими изобрѣтеніями провинціального изянцаго вкуса. Въ образѣ жизни главный отличіокъ различій состоитъ въ томъ, что одни поздно встаютъ, обѣдаютъ никакъ не ранѣе четырехъ часовъ, вечеромъ пьютъ чай никакъ не ранѣе десяти часовъ, и чѣмъ позже ложатся спать, тѣмъ лучше, а другіе въ этомъ отношеніи болѣе придерживаются старинны. Въ обращеніи отличіи нашего общества такъ безчисленны, что нѣтъ никакой возможности и говорить объ нихъ. Но въ этомъ отношеніи всѣ отличіи, отъ самаго высшаго до самаго низшаго, имѣютъ въ себѣ то общаго, что всѣ равно вѣрны внѣшности, которая не обязываетъ ни къ чему внутреннему: это та же одежда. Въ отношеніи къ картамъ есть только три различія: одни играютъ только въ преферансъ; другіе — только въ банкъ и въ палки; третьи — и въ преферансъ, и въ палки. Различіе кушей подразумѣвается само собою. Въ Петербургѣ въ преферансъ играютъ по мастьямъ и на семь не прикупаютъ; въ Москвѣ и въ провинціи прикупаютъ и на десять, безъ различія мастей. Образованный классъ въ Москвѣ довольно многочисленъ и чрезвычайно разнообразенъ. Несмотря на то, всѣ москвичи очень похожи другъ на друга, къ нимъ всегда будетъ итти эта характеристика, сдѣланная знаменитѣйшимъ москвичемъ Фамусовымъ:

Отъ головы до пятокъ  
На всѣхъ московскихъ есть особый отпечатокъ.

Москвичи — люди на распашку, истинные афиняне, только на русско-московскій ладъ. Они любятъ пожить, и въ ихъ смыслѣ дѣйствительно хорошо живутъ. Кто не слышалъ о московскомъ Англійскомъ клубѣ и его сытныхъ обѣдахъ? Кромѣ Англійскаго и Нѣмецкаго клубовъ, теперъ въ Москвѣ



есть еще—Дворянскій. Кто не слышалъ о московскомъ хлѣбосольствѣ, гостепріимствѣ и радушіи? Въ какомъ другомъ городѣ въ мірѣ можете вы съ такимъ удобствомъ и жениться, и пообѣдать, какъ въ Москвѣ?.. Гдѣ, кромѣ Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, (какъ только для собственнаго развлечения, для отдыха? Гдѣ лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, какъ не въ Москвѣ? Гдѣ, если не въ Москвѣ, можете вы много говорить о своихъ трудахъ, настоящихъ и будущихъ, прослыть за дѣятельнѣйшаго человѣка въ мірѣ—и въ то же время ровно ничего не дѣлать? Гдѣ, кромѣ Москвы, можете вы быть довольнѣе тѣмъ, что вы ничего не дѣлаете, а время проводите пріятно? Оттого-то въ Москвѣ такъ много заѣзжаго празднаго народа, который собирается туда изъ провинціи жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то тамъ такъ много халатовъ, венгерокъ, штатскихъ панталонъ съ лампасами и такихъ невиданныхъ скрутковъ съ шнурами, которые, появившись на Невскомъ проспектѣ, заставили бы смотрѣть на себя съ ужасомъ все народонаселеніе Петербурга. Въ Москвѣ есть, говорятъ, даже шапки-мурмолки, въ родѣ той, которую, по увѣренію москвичей, носилъ еще Рюрикъ. Оттого-то, наконецъ, въ Москвѣ только можетъ процвѣтать цыганскій хоръ Ильюшки. Лицо москвича никогда не озабочено: оно добродушно и открыто, и смотритъ такъ, какъ будто хочетъ вамъ сказать: а гдѣ вы сегодня обѣдаете? Кто хоть сколько-нибудь знаетъ Москву, тотъ не можетъ не знать, что, кромѣ англійскаго комфорта, есть еще и московскій комфортъ, иначе называемый «жизнью на распанку». Москвичи такъ рѣзко отличаются отъ всѣхъ не-москвичей, что, напримѣръ, московскій баринъ, московская барыня, московская барышня, московскій поэтъ, московскій мыслитель, московскій литераторъ, московскій архивный юноша, все это—типы, все это—слова техническія, рѣшительно непонятныя для тѣхъ, кто не живетъ въ Москвѣ. Это происходитъ отъ исключительнаго положенія Москвы, въ которое постановила ее реформа Петра Великаго. Москва одна соединила въ себѣ тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва—городъ промышленный. Въ Москвѣ находится не только старѣйшій, но и лучший русскій университетъ, привлекающій въ нее свѣжую молодежь изъ всѣхъ концовъ Россіи. Хотя значительная часть воспитанниковъ этого университета, по окончаніи курса, оставляетъ Москву, чтобъ хоть что-нибудь дѣлать на этомъ свѣтѣ, но все

же изъ нихъ довольно остается и въ Москвѣ. Эти остающіеся, вмѣстѣ съ учащимися, составляютъ собою особенное среднее сословіе, въ которомъ находятся люди всѣхъ сословій. Ихъ соединяетъ и подводитъ подъ общій уровень образованіе или по крайней мѣрѣ стремленіе къ образованію. Среднее сословіе такого рода—оазисъ на песчаномъ грунтѣ всѣхъ другихъ сословій. Такіе оазисы находятся во многихъ, если не во всѣхъ, русскихъ городахъ. Въ иномъ городѣ такой оазисъ состоитъ изъ пяти, въ иномъ и изъ одной только души, а въ нѣкоторыхъ городахъ и совсѣмъ нѣтъ такихъ оазисовъ—все чистый песокъ, или чистый черноземъ, пороспій бурьяномъ и крапивой. Къ особенной чести Москвы, никакъ нельзя не согласиться, что въ ней такихъ оазисовъ едва ли не больше, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ русскомъ городѣ. Это происходитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ исключительнаго положенія Москвы, чуждой всякаго административнаго, бюрократическаго и officialнаго характера, ея значенія и столицы, и вмѣстѣ огромнаго губернскаго города; во-вторыхъ,—отъ вліянія Московскаго университета. Оттого въ дѣлѣ вопросовъ, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяемъ, лучшая сторона московскаго быта. Но на свѣтѣ все такъ чудно устроено, что самое лучшее дѣло непрѣмѣнно должно имѣть свою слабую сторону. Что нѣтъ въ мірѣ народа ученѣе нѣмцевъ—это извѣстно всякому: сами москвичи, по наукѣ, не годятся нѣмцамъ въ ученики. Но зато и у нѣмцевъ есть та слабая сторона, что они до тридцати лѣтъ бываютъ буршами, а остальную—и большую половину жизни—филистерами, и поэтому не имѣютъ время быть людьми. Такъ и въ Москвѣ: люди, поставившіе образованность цѣлью своей жизни, сначала бываютъ молодыми людьми, обладающими о себѣ большія надежды, и потомъ, если во-время не выйдутъ изъ Москвы, дѣлаются москвичами, и тогда уже перестаютъ подавать о себѣ какія-нибудь надежды, какъ люди, для которыхъ прошла пора обѣщать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «обладающие о себѣ большія надежды», въ Москвѣ имѣютъ тотъ общій недостатокъ, что часто смѣшиваются между собой самыя различныя и противоположныя дѣянія, какъ-то стихотворство съ дѣломъ, развѣзаніе празднаго ума—съ мышленіемъ. Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стоитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію или фан-

тазію о чемъ бы то ни было,—и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи или этой фантазіи въ самой дѣйствительности,—и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностью. Отсюда игра словами, которая принимается за дѣла, игра въ понятія, которые считаются фактами. Все это очень невинно, но отъ того не меньше смѣшно. Чтѣ бы ни дѣлали въ жизни молодые люди, оставляющіе Москву для Петербурга,—они дѣлаютъ; москвичи же ограничиваются только бесѣдами и спорами о томъ, чтѣ должно дѣлать, бесѣдами и спорами часто очень умными, но всегда рѣшительно безплодными. Страсть разсуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дѣла изъ этихъ разсужденій и споровъ у нихъ не выходитъ. Нигдѣ нѣтъ столько мыслителей, поэтовъ, талантовъ, даже геніевъ, особенно «высшихъ натуръ», какъ въ Москвѣ; но всѣ они дѣлаются болѣе или менѣе извѣстными внѣ Москвы только тогда, какъ переѣдутъ въ Петербургъ; тутъ они, волей или неволей, или попадаютъ въ составъ той толпы, которую всегда бранили, и дѣлаются простыми смертными, или дѣйствительно находятъ, какое бы то ни было, попріище своимъ способностямъ, часто болѣе или менѣе замѣчательнымъ, если и не геніальнымъ. Нигдѣ столько не говорятъ о литературѣ, какъ въ Москвѣ, и между тѣмъ въ Москвѣ-то и нѣтъ никакой литературной дѣятельности, по крайней мѣрѣ теперь. Если тамъ появится журналъ, то не ищите въ немъ ничего, кромѣ напыщенныхъ толковъ о мистическомъ значеніи Москвы, опирающихся на царь-пушкѣ и большомъ колоколѣ, какъ будто городъ Петра Великаго стоитъ внѣ Россіи, и какъ будто исполнѣн на Исаакіевской площади не есть величайшая историческая святыня русскаго народа; не ищите ничего кромѣ множества посредственныхъ стихотвореній къ дѣвѣ, къ лунѣ, къ Ивану-Великому, Сухаревой башнѣ, а иногда—повѣрять ли?—къ пѣвному вину, будто бы источнику всего великаго въ русской народности, плохихъ повѣстей, запоздалыхъ сужденій о литературѣ, исполненныхъ враждой къ Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащихъ къ приходу этого журнала и не удивляющихся геніальности его сотрудниковъ. Если выйдетъ брошюрка,—выходки противъ будто бы гнѣющаго Запада; это опять или не совсѣмъ образованныя или какія-нибудь дѣтскія фантазіи съ самонадѣянными притязаніями на открытіе глубокихъ истинъ въ родѣ тѣхъ, что Гоголь—

не шути нанѣ Гомеръ, и «Мертвыя Души»—единственный послѣ «Иліады» типъ истиннаго эпоса.

Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о слабыхъ сторонахъ, не отрицая возможности прекраснѣйшихъ исключеній изъ нихъ. Вездѣ есть свое хорошее и, слѣдовательно, свое слабое или недостаточное. Петербургъ и Москва—двѣ стороны или, лучше сказать, двѣ односторонности, которыя могутъ со временемъ образовать своимъ сдѣяннемъ прекрасное и гармоническое цѣлое, прививъ другъ другу то, чтѣ въ нихъ есть лучшаго. Время это близко: желѣзная дорога дѣлательно дѣлается.

Обратимся къ Петербургу.

Нижшій слой народонаселенія, собственно простой народъ, вездѣ одинаковъ. Впрочемъ, петербургскій простой народъ нѣсколько разнится отъ московскаго: кромѣ полугара и чая, онъ любитъ еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный полъ петербургскаго простонародья, въ лицѣ кухарокъ и разнаго рода служанокъ, чай и водку отнюдь не считаетъ необходимою, а безъ кофею рѣшительно не можетъ жить; подгородныя крестьянки Петербурга забыли уже національную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуютъ подъ звуки гармоники, ими самими извлекаемые: вліяніе лукаваго Запада, разсчитанное слѣдствіе его адскихъ козней! Петербургскія швейки и вообще всѣ простыя женщины, усвоившія себѣ европейскій костюмъ, предпочитаютъ шляпки чепцамъ, тогда какъ въ Москвѣ наоборотъ, и вообще одѣваются съ болѣе вѣковымъ вкусомъ противъ московскихъ женщинъ даже не одного съ ними сословія. То же должно сказать и о мужчинахъ: къ какому сословію принадлежить иной служитель и мастеровой, это можно узнать только по его манерамъ, но не всегда по его платью. Это опять вліяніе того же лукаваго Запада! Далѣе въ нашей книгѣ благосклонный читатель со временемъ найдетъ описаніе такъ-называемыхъ «лакейскихъ баловъ», о которыхъ въ Москвѣ люди этого сословія еще и не мечтали. Говоря о Москвѣ, мы нарочно распространились о купеческомъ и мѣщанскомъ сословіяхъ, какъ о самыхъ характеристическихъ ея принадлежностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, мѣщане, въ родѣ тѣхъ, которыхъ такъ удачно представляютъ на сценѣ Александринскаго театра Григорьевъ 2-й, есть и въ Петербургѣ, и при томъ еще въ довольномъ количествѣ; но здѣсь они какъ будто не у себя дома, какъ будто въ гостяхъ, какъ будто колонисты или заѣзжіе иностранцы. Петербургскій нѣмецъ болѣе ихъ туземецъ пе-

тербургскій. На улицахъ Петербурга они попадаются гораздо рѣже, чѣмъ въ Москвѣ; ихъ надо искать на Шукиномъ, въ овощныхъ лавкахъ, въ мясныхъ рядахъ и всякаго рода маленькихъ лавочкахъ, которыя разсыпаны тамъ и сямъ по Петербургу. Мѣщане-сидѣльцы и приказчики въ лавкахъ, находящихся на болѣе видныхъ улицахъ Петербурга,—какъ-то цивилизованнѣе своихъ московскихъ собратій. Вообще же все они такъ перетасованы въ петербургскомъ народонаселеніи, что не бросаются въ глаза прежде всего, какъ въ Москвѣ; скажемъ болѣе: въ Петербургѣ они какъ-то совсѣмъ незамѣтны. И вотъ почему мы думаемъ, что Григорьевъ 2-й не имѣлъ бы такого успѣха на московской сценѣ, какимъ пользуется онъ на петербургской: представляемый имъ типъ, конечно,—не невидаль въ Петербургѣ, но въ то же время онъ—и не такое обыкновенное явленіе, которое своимъ рѣзкимъ контрастомъ съ нравами преобладающаго сословія въ Петербургѣ могло бы не возбуждать громкаго и веселаго смѣха на свой счетъ. Чтѣ же касается до петербургскаго купечества,—оно рѣзко отличается отъ московскаго. Купцовъ съ бородами, особенно богатыхъ, въ Петербургѣ очень мало, и они кажутся рѣшительными колонистами въ этомъ оевропеившемся городѣ; они даже выбрали особенныя улицы своимъ исключительнымъ мѣстомъ жительства: это—Троицкій переулокъ, улицы, сопридѣльныя Пяти-угламъ и около старообрядческой церкви. Въ Петербургѣ множество купцовъ изъ нѣмцевъ, даже англичанъ, и потому большая часть даже русскихъ купцовъ смотрять не купчинами, а негодантами, и ихъ не отличить отъ сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословіе. Наконецъ, мы дошли до главнаго (по его многочисленности и общности его фисіономіи) «петербургскаго сословія». Известно, что ни въ какомъ городѣ въ мірѣ нѣтъ столько молодыхъ, пожилыхъ и даже старыхъ бездомныхъ людей, какъ въ Петербургѣ, и нигдѣ осѣдлые и семейные такъ не похожи на бездомныхъ, какъ въ Петербургѣ. Въ этомъ отношеніи Петербургъ—антиподъ Москвы. Это рѣзкое различіе объясняется отношеніями, въ которыхъ оба города находятся къ Россіи. Петербургъ—центръ правительства, городъ по преимуществу административный, бюрократическій и officialный. Едва ли не цѣлая треть его народонаселенія состоитъ изъ военныхъ, а число штатскихъ чиновниковъ едва ли еще не превышаетъ собою число военныхъ офицеровъ. Въ Петербургѣ все служить, все хлопочетъ о мѣсѣ или объ опредѣленіи на службу. Въ Москвѣ вы

часто можете слышать вопросъ: «чѣмъ вы занимаетесь?»; въ Петербургѣ этотъ вопросъ рѣшительно замѣненъ вопросомъ: «гдѣ вы служите?». Слово «чиновникъ» въ Петербургѣ такое же типическое, какъ въ Москвѣ «баринъ», «барыня», и т. д. Чиновникъ—это туземецъ, истый гражданинъ Петербурга. Если къ вамъ приплюютъ лакея, мальчика, дѣвочку хоть пяти лѣтъ, каждый изъ этихъ посланныхъ, отыскивая въ домѣ вашу квартиру, будетъ спрашивать у дворника или у самого васъ: «здѣсь ли живетъ чиновникъ такой-то?», хотя бы вы не имѣли никакого чина и нигдѣ не служили и никогда не намѣревались служить. Такой ужъ петербургскій «норовъ»! Петербургскій житель вѣчно боленъ лихорадкой дѣятельности; часто онъ въ сущности дѣлаетъ ничего, въ отличіе отъ москвича, который ничего не дѣлаетъ, но «ничего» петербургскаго жителя для него самого всегда есть «нѣчто»: по крайней мѣрѣ онъ всегда знаетъ, изъ чего хлопочетъ. Москвичи, Богъ ихъ знаетъ какъ, нашли тайну все на свѣтѣ дѣлать такъ, какъ въ Петербургѣ отдыхаютъ или ничего не дѣлаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже визитъ, прогулка, обѣдъ—все это петербуржецъ исправляетъ съ озабоченнымъ видомъ, какъ будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это рѣшается онъ не всегда безъ цѣли и безъ расчета. Въ Москвѣ даже солидные люди молчатъ только тогда, когда спать, а юноши, особенно «подающие о себѣ большія надежды», говорятъ даже и во снѣ, а потомъ даже иногда печатактъ, если имъ случится сказать во снѣ что-нибудь хорошее,—чѣмъ и должно объяснить инныя литературныя явленія въ Москвѣ. Петербуржецъ, если онъ—человѣкъ солидный, скупъ на слова, если они не ведутъ ни къ какой положительной цѣли. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, привѣтливо; москвичъ всегда радъ заговорить и заспорить съ вами о чемъ угодно, и въ разговорѣ москвичъ откровенъ. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржецъ всегда вѣжливъ, часто даже любезенъ, но какъ-то холодно и остороженъ; если разговорится, то о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ; серьезно онъ говоритъ только о службѣ, а спорить и разсуждать ни о чемъ не любитъ. По лицу москвича видно, что онъ доволенъ своимъ и другимъ; по лицу петербуржца видно, что онъ доволенъ—самимъ собой, и, раздумывая, дѣла его идутъ хорошо. Отсюда происходитъ его тонкая наблюдательность; отъ этого безпрестанно вспыхиваетъ его тонкая иронія; онъ сейчасъ замѣтитъ, если ваши сапоги не хорошо вы-

чищены или у вашихъ панталонъ оборвалась штрипка, а у жилета виситъ готовая оборваться пуговка, замѣтить—и улыбнется лукаво, самодовольно... Въ этой улыбкѣ, впрочемъ, и состоитъ вся его иронія. Москвичъ снисходителенъ ко всякому туалету и не замѣтителенъ вообще во всемъ, что касается до наружности. Прежде всего онъ требуетъ, чтобы вы были или добрый малый, или человѣкъ съ душой и сердцемъ... При первой же встрѣчѣ онъ съ вами заспоритъ, и только тогда начнетъ иронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши мнѣнія не сходятся съ мнѣніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ или въ которомъ онъ слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ, и который онъ непремѣнно считаетъ за литературную или философскую «партію». Вообще всякій москвичъ, къ какому бы званію ни принадлежалъ онъ, вполне доволенъ жизнью, потому что доволенъ Москвою и по-своему умѣетъ наслаждаться жизнью, потому что по-своему онъ живетъ широко, раздольно, на-распашку. Въ чемъ заключается его наслажденіе жизнью—это другой вопросъ. Умные люди давно уже согласились между собой, что крѣпкій сонъ, сильный аппетитъ, здоровый желудокъ, внушающее уваженіе размѣры брюшныхъ полостей, полное и румяное лицо и, наконецъ, завидная способность быть всегда въ добромъ расположеніи духа суть самое прочное основаніе истиннаго счастья въ этомъ подлунномъ мірѣ. Москвичи, какъ умные люди, вполне соглашаясь съ этимъ, думаютъ еще, что чѣмъ менѣе человѣкъ о чемъ-нибудь заботится серьезно, чѣмъ менѣе что-нибудь дѣлаетъ и чѣмъ болѣе обо всемъ говорить, тѣмъ онъ счастливѣе. И едва ли они не правы въ этомъ отношеніи, счастливые мудрецы! Зато одинъ видъ москвича возбуждаетъ въ васъ аппетитъ и охоту говорить много, горячо, съ убѣжденіемъ, но рѣшительно безъ всякой цѣли и безъ всякаго результата! Не такое дѣйствіе производитъ на душу наблюдателя видъ петербургскаго жителя. Онъ рѣдко бываетъ румяный, часто бываетъ блѣденъ, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальнымъ колоритомъ, свойственнымъ петербургскому небу; и на этомъ лицѣ почти всегда видна бываетъ забота, что-то безпокойное, тревожное и вмѣстѣ съ этимъ какое-то довольство самимъ собою, что-то похожее на непобѣдимое убѣжденіе въ собственномъ достоинствѣ. Петербургскій житель никогда не ложится спать ранѣе двухъ часовъ ночи, а иногда и совсѣмъ не ложится; но это не мѣшаетъ ему въ девять часовъ утра сидѣть уже за дѣломъ или быть въ департаментѣ. Послѣ обѣда онъ, непремѣнно

въ театрѣ, на вечерѣ, на балѣ, въ концертѣ, маскарадѣ, за картами, на гуляньи, смотря по времени года. Онъ успѣваетъ вездѣ, и какъ работаетъ, такъ и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, какъ будто боясь, что у него не хватить времени. Москвичъ—предобрѣйшій человѣкъ, добѣрчивъ, разговорчивъ и особенно наклоненъ къ дружбѣ. Петербуржецъ, напротивъ, не говорливъ, на другихъ смотритъ съ недобѣрчивостью и съ чувствомъ собственного достоинства: ему какъ будто все кажется, что онъ или занятъ дѣловыми бумагами, или играетъ въ преферансъ, а извѣстно, что важныя занятія требуютъ вниманія и молчаливости. Петербуржецъ рѣзко отличается отъ москвича даже въ способѣ наслаждаться: въ столѣ и винахъ онъ ищетъ утонченнаго гастрономическаго изящества, а не изливства, не разливаннаго моря. Въ обществѣ онъ рѣшится лучше скучать, нежели, предавшись обаянію живого разговора, манкировать передъ чинностью и перемонностью, въ которыхъ онъ привыкъ видѣть величіе и хорошій тонъ. Исключеніе остается за холостыми пирушками; русскій человѣкъ кутитъ одинаково во всѣхъ концахъ Россіи, и въ его кутежѣ всегда равно проглядываетъ какое-то степное раздолье, напоминающее древне-новгородскіе нравы.

Въ Москвѣ нѣтъ чиновниковъ. Порядочные люди въ Москвѣ, къ чести ихъ, вмѣста своей службѣ умѣютъ быть просто людьми, такъ что и не догадаешься, что они служатъ. Низшій классъ бюрократіи тамъ слыветъ еще подъ именемъ «приказныхъ» и мало замѣтенъ, разумѣется, для тѣхъ, кто не имѣетъ до нихъ дѣла, и зато, разумѣется, тѣмъ замѣтнѣе для тѣхъ, кому есть до нихъ нужда. Военныхъ въ Москвѣ мало, при томъ многие изъ нихъ являются туда на время, въ отпускъ. Словомъ, въ Москвѣ почти не замѣтно ничего оффиціальнаго, и петербургскій чиновникъ въ Москвѣ есть такое же странное и удивительное явленіе, какъ московскій мыслитель въ Петербургѣ. Хотя москвичъ вообще оригинальнѣе и какъ будто самобытнѣе петербуржца, однако, тѣмъ не менѣе онъ очень скоро свыкается съ Петербургомъ, если переѣдетъ въ него жить. Куда дѣваются высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи! Петербургъ въ этомъ отношеніи пробный камень человѣка: кто, живя въ немъ, не увлекся водоворотомъ призрачной жизни, умѣла оборвать и душу, и сердце не насчетъ одрагасъ смысла, сохранить свое человѣческое достоинство, не предаваясь донкихотству, тому смѣло можете вы протянуть руку, какъ человѣку...

Петербургъ имѣть на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣждения; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣждения, а мечты, порожденныя праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаниемъ дѣйствительности, — и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоятъ въ глазахъ дѣла и аго (въ разумномъ значеніи этого слова, человѣка самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина) и при томъ плодотворная въ будущемъ...

Для дополненія нашей картины выпишемъ нѣсколько строкъ о Москвѣ и Петербургѣ изъ одной старой статьи, которая такъ хороша, что въ ней многое осталось новымъ и по прошедшии семи лѣтъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака: съ полночи начинается печь французскіе хлѣбы, которые назавтра все съестъ разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свѣтится, то другой; Москва ночью вся спитъ и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужскаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ, не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, чтобы во всей формѣ была мода: если талія длинная, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней какъ сарайныя двери. Петербургъ—аккуратный человѣкъ, совершенный нѣмецъ, на все глядитъ съ расчетомъ, и прежде, нежели задумаетъ дать вѣтъ ринку, посмотритъ въ карманъ; Москва—русскій дворянинъ, и если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ, она не любитъ середины. Москва всегда ѣдетъ завернувшись въ медвѣжью шубу и большей частью на обѣдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу или въ „должность“. Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи, и на другой день не подымается съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшитъ въ своемъ байковомъ сюртукѣ въ присутствіе. Въ Москву ташится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается налегкѣ: въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежныя и развѣжаются во всѣ стороны свѣта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву ташится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, въ зимнимъ ухабамъ сбывать и покупать; въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ, въ ней порою строить и работаютъ Москва—кладовая: она навалываетъ тюки да вѣшки, на мѣлаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазины и

ловить мелкихъ покупателей. Москва говоритъ: „коли нужно покупщику—сыщеть“; Петербургъ суетъ вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вапъ польъ съ „ренскимъ погребомъ“ и ставитъ извозчичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва—большой гостинный дворъ; Петербургъ—свѣтлый магазинъ. Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фраковъ безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусицею. Москва колышетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадется въ самой срединѣ модной толпы какаля-нибудя матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой талии“. („Современникъ“, 1837, т. VI, стр. 403).

Мы выпустили нѣсколько строкъ изъ этого отрывка, потому что онъ уже устарѣли и безъ комментариевъ не годятся. Кромѣ этого нельзя оставить безъ замѣчанія фразы: «Москва нужна Россіи; для Петербурга нужна Россія». Эта фраза болѣе остроумна, чѣмъ справедлива. Петербургъ такъ же нуженъ Россіи, какъ и Москва, а Россія такъ же нужна для Москвы, какъ и для Петербурга. Нельзя отнять важнаго значенія у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, въ чемъ именно оно состоитъ. Значеніе самаго Петербурга еще пока à priori, чѣмъ à posteriori. Это отъ того, что мы все еще находимся въ настоящемъ моментѣ нашей исторіи; наше прошедшее такъ еще невелико, что по немъ мы можемъ только догадываться о будущемъ, а не говорить о немъ утвердительно. Мы все еще въ переходномъ положеніи. Поэтому мудрено схватить вѣрно и опредѣленно характеристику обоихъ городовъ. Говоря о томъ, что они теперь, все надо думать, чѣмъ они могутъ сдѣлаться въ будущемъ. Можетъ быть, назначеніе Москвы состоитъ въ удержаніи національнаго начала (сущности котораго, какъ сущности многихъ вещей этого міра, пока нѣтъ возможности опредѣлить) и въ противоборствѣ иноземному влиянію, которое могло бы оставаться рѣшительно внѣшнимъ, а потому и бесплоднымъ, если бъ не встрѣчало на своемъ пути національнаго элемента и не боролось съ нимъ. Все живое есть результатъ борьбы; все, что является и утверждается безъ борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новыхъ мнѣній или, пожалуй, и до новыхъ идей—она, моя матушка, до сихъ поръ живетъ все по-старому и не тужитъ.

Съ этими идеями она обращается какъ-то по-нѣмецки; идеи у нея сами по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Ясно, что въ ней есть свое собственное консервативное начало, которое только уступаетъ, и то понемногу и медленно, новизнѣ, но не покоряется ей. Представитель этой новизны есть Петербургъ, и въ этомъ его великое значеніе для Россіи. Петербургъ не заносится идеями, онъ—человѣкъ положительный и разсудительный. Своего байкового скюртука онъ никогда не называетъ римской тогой; онъ лучше будетъ играть въ преферансъ, нежели хлопотать о невозможномъ; его не удивитъ ни теоріями, ни умозрѣніями, а мечты онъ терпѣть не можетъ; стоять на болотѣ ему не совсѣмъ приятно, но все-таки лучше, чѣмъ держаться безъ всякихъ подпоръ на воздухѣ. Его законъ—нудящая сила обстоятельствъ, и онъ готовъ сдѣлаться чѣмъ угодно, если это угодно будетъ обстоятельствамъ. Поэтому его мудроно опредѣлить на основаніи того, чѣмъ онъ былъ и что онъ есть. Ни одинъ петербуржецъ не лѣзетъ въ геніи и не мечтаетъ передѣлывать дѣйствительности: онъ слишкомъ хорошо ее знаетъ, чтобъ не смиряться передъ ея силой. Геніи рождаются сотнями только тамъ, гдѣ, вслѣдствіе обстоятельствъ, царствуетъ полное невѣдѣніе того, что называется дѣйствительностью, гдѣ каждый собой мѣряетъ весь міръ, и мечты своей праздношатающейся фантазіи принимаетъ за несомнѣнные факты исторіи и современной дѣйствительности. Въ Петербургѣ каждый является на своемъ мѣстѣ и самимъ собой, потому что, если бы въ немъ кто-нибудь объявилъ при-

тизанія быть лучше и выше другихъ, ему сказали бы: «а ну-те, попробуйте!». Словомъ, Петербургъ не вѣрять, а требуетъ дѣла. Въ немъ каждый стремится къ своей цѣли, и какова бы ни была его цѣль, петербуржецъ ее достигаетъ. Это имѣетъ свою пользу, и при томъ большую: какова бы ни была дѣятельность, но привычка и приобретаемое чрезъ нее умѣнье дѣйствовать—великое дѣло. Кто не сидѣлъ сложа руки и тогда, какъ нечего было дѣлать, тотъ сумѣетъ дѣйствовать, когда настанетъ для этого время. Городъ—не то, что человѣкъ; для него и сто лѣтъ не Богъ знаетъ какое время. Короче: мы думаемъ, что Петербургу назначено всегда трудиться и дѣлать, такъ же, какъ Москвѣ готовить дѣлателей. Это видно и теперь: сколько молодыхъ людей, окончившихъ въ Московскомъ университетѣ курсъ наукъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ на службу! Вслѣдствіе вліянія Московскаго университета и вслѣдствіе такого провинціального положенія Москвы въ ней, говоря вообще, читаютъ не больше, чѣмъ въ Петербургѣ, но въ дѣлѣ вопросовъ науки, искусства, литературы москвичи обнаруживаютъ больше простора, знанія, вкуса, такта, образованности, чѣмъ большинство петербургской читающей и разсуждающей публики. Вслѣдствіе тѣхъ же самыхъ обстоятельствъ въ Москвѣ больше, чѣмъ въ Петербургѣ, молодыхъ людей, способныхъ къ дѣлу, но дѣлаютъ что-нибудь они опять-таки только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ только говорятъ о томъ, что бы и какъ бы они дѣлали, если бы стали что-нибудь дѣлать.

## Голосъ въ защиту отъ „Голоса въ защиту русскаго языка“.

Wär der Gedank nicht so verwünscht gescheidt,  
Man wär versucht ihn herzlich dumm zu nennen.  
Schiller (*Wallenstein*).

Но умысль другой тутъ былъ:  
Хозяинъ музыку любилъ...

Крыловъ (*Музыканты*).

Должно однако жъ замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное что, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали однимъ законнымъ и честнымъ оружіемъ; тогда искали торжества мнѣнію своему, хотѣли выказать искусство свое, удовлетворить нѣкоторой удалости ума, искавшаго въ подобныхъ спсикахъ случайностей, гласности и блеска. По вышеприведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе аматоровъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сихъ распряхъ выходили другъ противъ друга добровольные, безкорыстные бойцы, а не наемники, которые ратуютъ изъ денегъ, нападаютъ сегодня на того, за котораго, дрались вчера, торгуютъ равно и присягой, и оружіемъ своимъ и за безсиліемъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всѣмъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытаго поля битвы, поруганные и уязвленные побѣдителемъ, они не признаютъ себя побѣжденными: если стрѣлы ихъ не мѣтки и удары не вѣрны, то они имѣютъ въ запасъ другое оружіе, потаенное, ядовитое, имѣютъ свои непреступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣрное.

Князь Вяземскій (*Библиографическія и Литературныя записки о Фонвизинѣ и его времени, помѣщенные въ Утренней Звѣзѣ 1841 года*).

Всѣ согласны въ очевидности успѣховъ нашей литературы. Каждая эпоха ея имѣла своихъ достойныхъ представителей: настоящая имѣетъ своихъ, и въ этомъ отношеніи ей нечѣмъ гордиться передъ своими предшественницами. Но она имѣетъ полное право гордиться передъ ними своей зрѣлостью. Съ годами она стала мужественнѣе, опытнѣе, умнѣе. И если она пережила не слишкомъ много годовъ, зато въ пережитые ею немногіе годы подвергалась многимъ неожиданнымъ измѣненіямъ, перепробовала много новыхъ путей мысли и формы; это принесло ей ту великую пользу, что «новості» мысли или формы она уже не принимаетъ болѣе за достоинство этой мысли или за достоинство этой формы. Съ литературой, естественно, возмужала и публика. Теперь посредственность тщетно стала бы ридиться въ павлиньи перья изысканной оригинальности, ложнаго паэоса, блестящей фразеологии: время успѣховъ ея миновало. Разсчитливое корыстолюбіе, въ связи съ добродушной ограниченностью, тщетно стало бы теперь надѣваться на себя маску изступленнаго фанатизма; оно никого не увѣритъ въ глубокости своихъ убѣжденій, въ которыхъ

всѣ увидятъ одно только низкое лицемѣріе. Старый, выписавшійся сочинитель можетъ теперь, сколько ему угодно, нападать на талантъ и геній, на убѣжденіе и заслугу, и хвалить много себя и свои сочиненія: отъ этого ни ему, ни его сочиненіямъ не будетъ лучше, такъ же, какъ не будетъ хуже ни таланту, ни генію, ни убѣжденію, ни заслугѣ. Имена потеряли теперь все свое очарованіе. Публика восхищается сочиненіями, а не именами. Кто бы ни издалъ для нея сборникъ хорошихъ статей, — если статьи хороши, она раскупаетъ сборникъ, хотя бы его издатель былъ вовсе ей неизвѣстенъ; если статьи плохи, она не покупаетъ сборника, хотя бы его издатель былъ знаменитое лицо въ литературѣ и подъятыми статьями сборника тоже выставлены были громкія имена. Если бы гениальный писатель вдругъ издалъ что-нибудь недостойное его таланта и имени, это сочиненіе безъ всякихъ обиняковъ было бы названо всѣми посредственнымъ или плохимъ. Новый талантъ, великій или обыкновенный, можетъ теперь смѣло выходить на литературное поприще безъ журнальныхъ и всякихъ другихъ протекцій: онъ сейчасъ же будетъ

признать за то, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и его успѣхъ всегда будетъ болѣе или менѣе соответственъ его степеней. Направление современной литературы русской носить на себѣ отпечатокъ зрѣлости и мужественности. Литература наша съ недоступныхъ высотъ великихъ идеаловъ, которыхъ осуществленій никто не видалъ и не встрѣчалъ на землѣ, спустилась на землю и принялась за разработку современной дѣйствительности, представляемой толпой. Этимъ изъ предмета праздной забавы она сдѣлалась предметомъ дѣльнаго занятія. Въ ней теперь утвердились два великіе элемента—стражи здраваго эстетическаго вкуса противъ всего фразѣрскаго, натянутого, неестественнаго, слабаго, сентиментальнаго, ложнаго: мы говоримъ объ ироніи и юморѣ. Съ ними открыты для нашей литературы прямой, широкой и надежный путь къ истиннымъ, плодотворнымъ успѣхамъ въ будущемъ.

Но главная, существенная сторона успѣховъ современной русской литературы заключается, конечно, въ томъ, что теперь широкъ и легкокъ путь для таланта, узокъ и труденъ для посредственности, невозможно для бездарности. Но изъ этого самаго прогресса вышло не совсѣмъ отрадное слѣдствіе, какъ бы для доказательства того, что, если справедлива поговорка, «нѣтъ худа безъ добра», видно, правда и то, что не бываетъ и добра безъ худа. Посредственность и бездарность всегда были завистливы, безпокойны и раздражительны; но теперь неудачи доводятъ ихъ до готовности пользоваться всѣми средствами для поддержанія своего падшаго кредита, для пораженія всѣхъ и каждаго, кто съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствуетъ на литературномъ поприщѣ. Журнальная полемика не новость въ нашей литературѣ. Почти всѣ записные читатели на святой Руси до страсти любятъ полемическія статьи—и въ то же время почти всѣ любятъ бранить полемику. Многие изъ нихъ точно такъ же отъ всей души убѣждены въ страшномъ вредѣ полемики для нравовъ, какъ и въ великой пользѣ для тѣхъ же нравовъ отъ преферанса, сплетенъ и зѣботы. Что до насъ,—мы убѣждены, что въ благоустроенномъ обществѣ нестерпимы злоупотребленія полемики, т. е. дурной тонъ, площадная рѣзкость выраженій, личности; но что въ полемикѣ умѣющей держаться въ предѣлахъ чисто-литературныхъ вопросовъ и выражаться прилично, нѣтъ никакого вреда. а, напротивъ, есть много пользы, потому что такая полемика даетъ литературѣ жизнь и движеніе. Если бы иногда полемика и позволила себѣ немного забы-

ваться и проговариваться—большой бѣды въ этомъ нѣтъ, и такого рода промахи должны подлежать суду общественнаго мнѣнія. Назадъ тому лѣтъ двѣнадцать полемика наводняла собою всѣ журналы, и нельзя сказать, чтобъ иногда она не грѣшила противъ хорошаго тона; но зато и нельзя сказать, чтобы позволила себѣ такіа страннаго выходки, которыя скорѣе можно назвать «юридическими», нежели «литературными».

Что русскій языкъ—одинъ изъ богатѣйшихъ языковъ въ мірѣ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но при этомъ не должно забывать историческаго развитія Россіи и быстрого оборота, произведеннаго въ немъ реформой Петра Великаго. До Петра Великаго русскій языкъ вполне соответствовалъ нравственному состоянію Руси и былъ болѣе, чѣмъ только достаточенъ для выраженія всего круга понятій того времени. Но съ реформой Петра Великаго, отворившей двери Россіи дотолѣ чуждымъ ей понятіямъ, русскій языкъ по необходимости долженъ былъ подвергнуться наводненію чужестранныхъ словъ и даже оборотовъ, а высшее общество по необходимости должно было предпочесть чужой языкъ своему родному. Теперь, когда у насъ есть уже литература и когда самый языкъ подвергся большимъ измѣненіямъ, эта необходимость не существуетъ болѣе и для высшаго общества. Но, несмотря на то, еще не близко время окончательнаго установленія русскаго языка, и чѣмъ оно отдаленнѣе, тѣмъ болѣе надежды на болѣе богатое развитіе нашего языка.

Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» назвалъ слова: «фабрика, губернія, маляръ, кучеръ, мастеръ, мастерство, подмастерье, смастерить» — иностранными, вошедшими въ составъ русскаго языка. Рецензентъ «Москвитинина», прибавивъ къ нимъ, какъ онъ говоритъ, и старшихъ ихъ братьевъ азіатскаго происхожденія: «ясакъ, ерлыкъ, аргамакъ, халать», изъявляетъ свое согласіе признать всѣ эти слова не русскими, а иностранными, но не просто, а на томъ условіи, чтобъ рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» доказалъ ему, что «тѣ, чьи предки выѣхали въ XIV столѣтіи отъ нѣмецъ и изъ Золотой-Орды къ Дмитрію Іоанновичу Донскому, и доселѣ не русскіе, а иностранцы, хотя 500 лѣтъ исповѣдаютъ (исповѣдываютъ) православную вѣру, говорятъ русскимъ языкомъ, служатъ и пользуются всѣми правами гражданства.» Рецензентъ «Отечественныхъ Записокъ» рѣшительно отказывается доказывать такую странность; а что касается до упомянутыхъ словъ, онъ такъ же признаетъ ихъ не русскими, а иностранными, какъ русскіе лю-



дей иностраннаго, и при томъ древняго происхожденія, признаетъ совершенно русскими, а не иностранцами,—и основывается на томъ, что національность чловѣка способна къ перерожденію физическому и нравственному, и что слова не исповѣдываютъ никакой вѣры, не женятся и не рожаютъ.

Особенное негодованіе возбудило въ «Москвитянинѣ» мнѣніе «Отечественныхъ Записокъ» о непереводимости на русский языкъ французскаго слова *charité*, котораго значеніе не вполне передается русскими словами «милосердіе». «Москвитянинъ» почелъ долгомъ воспользоваться этимъ случаемъ. Онъ приводитъ тексты изъ апостола Павла на французскомъ, русскомъ, церковно-славянскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, изъ которыхъ видно, что французское слово *charité* по-русски и по-нѣмецки замѣнено словомъ любовь. Не явное ли это доказательство, что у французовъ словомъ больше противъ русскихъ и нѣмцевъ, потому что, кромѣ слова *amour* (любовь), у нихъ есть еще слово *charité*, которое означаетъ дѣятельную, практическую любовь, обнаруживающуюся стремленіемъ облегчать страданія ближняго. Мы не думали доказывать, что отсутствіе этого слова у народа можетъ служить признакомъ отсутствія и выражаемаго имъ понятія. Нѣтъ, отсутствіе слова *charité* даетъ слову любовь только обширнѣйшее значеніе, а у французовъ оно служитъ признакомъ филологическаго, а отнюдь не христіанскаго преимущества передъ нами.

«Москвитянинъ» увѣряетъ, что «нашлось возможнымъ передать на нашемъ языкѣ философію, даже (?) Шеллинга и Окена». А кто же говорилъ, что они непереводимы по-русски? Мы говорили только, что ихъ невозможно перевести, не испестривъ русскаго перевода множествомъ иностранныхъ словъ, и повторяемъ это теперь. Если нѣкоторые пуристы слова: «индивидуумъ» и «фактъ» замѣняютъ словами «недѣлимый» и «быть», такъ это только смѣшно, а ничуть не доказательно. Что французскій языкъ былъ разработанъ и развитъ два вѣка назадъ,—это фактъ, несмотря на всѣ цитаты «Москвитянина». Тутъ невозможны никакія

параллели съ русскимъ языкомъ. Не говоря уже о превосходствѣ гения, сравните по чистотѣ языка — Расина (и даже Корнеля) съ Озеровымъ, — и вы увидите, что тутъ неумѣстны всѣ сравненія; а между тѣмъ это писатели XVII вѣка, Озеровъ же — писатель XIX вѣка. Тутъ нечего восклицать: «этому ли богатству намъ завидовать?». Именно этому! Что Вольтеръ жаловался на бѣдность французскаго языка,—это не доказываетъ богатства русскаго; это доказываетъ только, что Вольтеръ не принадлежалъ къ числу тѣхъ посредственностей, которыя способны остановиться на чемъ-нибудь и удивляться чѣмъ-нибудь. Сверхъ того никакой языкъ ни въ какую эпоху не можетъ быть до того удовлетворительнымъ, чтобъ отъ него нечего было больше желать и ожидать.

Царство вѣры не отъ міра сего. Церковь для ея дѣйствованія не нуждается въ обыкновенныхъ средствахъ. Для ея вѣчныхъ, непреходящихъ и неизмѣнныхъ истинъ всякій чловѣчскій языкъ былъ, есть и будетъ достаточенъ и богатъ. Проповѣдь требуетъ больше и любви, и убѣжденія отъ проповѣдника, нежели богатаго развитія отъ языка, на которомъ говорить проповѣдникъ. Первые апостолы были рыбаки, которые, въ простотѣ сердечнаго убѣжденія, прозрѣвъ духовно, увидѣли больше мудрыхъ міра и сдѣлались «ловцами чловѣковъ»... Короче: мы думаемъ, что исторія духовнаго краснорѣчія должна быть изучаема и излагаема отдѣльно отъ исторіи свѣтской литературы. Это дѣло людей, посвятившихъ себя изученію богословія. Говоря о духовныхъ витіяхъ, нельзя же ограничиться одной внѣшней стороною ихъ «словъ» и «рѣчей», т. е. однимъ краснорѣчіемъ, но невозможно коснуться и содержанія, съ которымъ оно связано, и отъ котораго оно получаетъ свою силу. А это значитъ войти въ сферу теологіи. О предметахъ теологическихъ должны разсуждать теологическіе, а не литературные журналы, наполняемые стихами, сказками, всякой мірской суетой, а иногда — что грѣха таить! — и спорами, которые перопадаютъ не совсѣмъ христіанскими чувствами...

# Петербургскій сборникъ,

изданный Н. Некрасовымъ. Спб. 1846.

«Бѣдные люди», романъ Достоевскаго, въ этомъ альманахѣ—первая статья и по мѣсту, и по достоинству. Начинаемъ съ нея.

Появленіе всякаго необыкновеннаго таланта рождаетъ въ читающемъ и пишущемъ міры противорѣчія и раздоры. Если такой талантъ является въ раннюю эпоху еще неустановившейся литературы, — онъ встрѣчаетъ, съ одной стороны, восторженные клики, неумѣренные хвалы, съ другой—безусловное осужденіе, безусловное отрицаніе. Такъ было съ Пушкинымъ. Одни увидѣли въ немъ «сѣвернаго Байрона» (какъ будто гдѣ-нибудь былъ южный Байронъ!), представителя современнаго чело-вѣчества, и все это—по первымъ его произведеніямъ, особенно по тѣмъ, которыя были слабѣе другихъ и теперь совершенно потеряли безотносительную цѣнность; другіе упорно смотрѣли на его произведенія, какъ на униженіе, профанацію поэзіи, во имя дельныхъ торжественныхъ одъ, къ которымъ привыкли съ дѣтства. Понятъ Пушкина предоставлено было уже другому поколѣнію, и едва ли уже не послѣ его смерти. Нѣсколько иначе было съ Гоголемъ. Много встрѣтилъ себѣ враговъ талантъ Пушкина, но несравненно болѣе явилось преданныхъ ему друзей, восторженныхъ его почитателей. Противъ него были старцы лѣтами и духомъ; за него — и молодые поколѣнія, и сохранявшіе свѣжесть чувства старики. Какъ всякій великій талантъ, Гоголь скоро напелъ себѣ восторженныхъ поклонниковъ, но число ихъ было уже далеко не такъ велико, какъ у Пушкина. Можно сказать, что какъ на сторонѣ Пушкина было большинство, такъ на сторонѣ Гоголя — меньшинство; большинство же было сначала рѣшительно противъ Гоголя. И это очень естественно: мѣръ поэзіи Гоголя такъ оригиналенъ и самобытенъ, такъ принадлежитъ исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастіемъ и не лишенными эстетическаго смысла, нашлись такіе, которые не знали, какъ имъ о немъ думать. Въ недоумѣніи имъ казалось, что это или ужъ слишкомъ хорошо, или уже слишкомъ дурно, — и они помирились на половинѣ съ твореніями самаго національнаго и, можетъ быть, самаго великаго изъ русскихъ поэтовъ, т. е. рѣшили,

что у него есть талантъ, даже большой, только идущій по ложной дорогѣ. Естественность поэзіи Гоголя, ея страшная вѣрность дѣйствительности изумила ихъ уже не какъ смѣлость, но какъ дерзость. Если и теперь еще не совсѣмъ исчезла изъ русской литературы та чапорность, которая такъ прекрасно выражается французскимъ словомъ *puérilité*, и въ которой такъ вѣрно отразились нравы полубоярскаго и полумѣщанскаго части нашего общества; если и теперь еще существуютъ литераторы, которые естественность считаютъ великимъ недостаткомъ въ поэзіи, а неестественность великимъ ея достоинствомъ, и новую школу поэзіи думаютъ унижить эпитетомъ «натуральной», — то понятно, какъ должно было большинство публики встрѣтить основателя новой школы. И потому естественно, что еще и теперь въ немъ упорствуютъ признавать великій талантъ часто тѣ самыя люди, которые съ жадностью читаютъ и перечитываютъ каждое его новое произведеніе; а кто теперь не читаетъ съ жадностью его новыхъ и не перечитываетъ съ наслажденіемъ его старыхъ произведеній? Нѣтъ нужды говорить, что безпощадная истина его созданій—одна изъ причинъ этого нерасположенія большинства публики признать на словахъ великимъ поэтомъ того, кого оно же, это же большинство, признало великимъ поэтомъ на дѣлѣ, читая и раскупая его творенія, и даже самими своими нападками на нихъ давая имъ больше, нежели только литературное значеніе. Но при всемъ томъ первая и главная причина этого непризнанія заключается въ непримѣрной въ нашей литературѣ оригинальности и самобытности произведеній Гоголя. Говоримъ безпримѣрной, потому что, съ одной стороны, ни одинъ русский поэтъ не можетъ идти въ сравненіе съ Гоголемъ. Всякій геніальный талантъ оригиналенъ и самобытенъ; но есть разница между одной и другой оригинальностью, между одной и другой самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина въ отношеніи къ предшествовавшимъ ему поэтамъ, кромѣ печати особенности, положенной личностью его на его творенія, состояла преимущественно въ томъ, что ихъ произведенія были только стремленіемъ къ

поэзіи, а его—самой поэзіей; они, такъ сказать, были кандидатами на званіе поэтовъ, а онъ былъ поэтомъ-художникомъ въ полномъ и совершенномъ значеніи этого слова. Но тѣмъ не менѣ къ чести предшественниковъ Пушкина должно сказать, что они имѣли на него большее или меньшее вліяніе, и ихъ поэзія больше или меньше была предвѣстницей его поэзіи, особенно первыхъ его опытовъ. Еще прямѣе и непосредственнѣе было вліяніе на Пушкина современныхъ ему европейскихъ поэтовъ. Если при всемъ этомъ первыя произведенія Пушкина, однихъ неприятно, другихъ къ полному ихъ удовольствію и восторгу, поразили не только новостью, но оригинальностью и самобытностью,—это показываетъ, какъ гѣніаленъ былъ талантъ его. Но все-таки его первыя произведенія напоминали собой многое и въ русской литературѣ, хотя и отдаленно, и еще болѣе многое, и при томъ ближайшимъ образомъ, въ иностранныхъ литературахъ,—чему доказательствомъ служитъ неудачно и неловко приданный ему титулъ русскаго Байрона. У Гоголя не было предшественниковъ въ русской литературѣ, не было (и не могло быть) образцовъ въ иностранныхъ литературахъ. О родѣ его поэзіи, до появленія ея, не было и намековъ. Его поэзія явилась вдругъ, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзію. Конечно, нельзя отрицать вліянія на Гоголя со стороны, напримѣръ, Пушкина; но это вліяніе было не прямое: оно отразилось на творчествѣ Гоголя, а не на физиономіи, такъ сказать, творчества Гоголя. Это было вліяніе болѣе времени, которое Пушкинъ подвинулъ впередъ, нежели самого Пушкина. Разумѣется, если бы Гоголь явился прежде Пушкина, онъ не могъ бы достигнуть той высоты, на которой онъ стоитъ теперь. Но прямого вліянія, такого, какое имѣли (въ болѣе или меньшей степени, ближе или отдаленнѣе) на Пушкина предшествовавшіе ему русскіе и современные ему европейскіе поэты,—такого вліянія со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никакихъ слѣдовъ въ сочиненіяхъ послѣдняго. Сверхъ того, поэзія, избирающая своимъ предметомъ только положительно прекрасныя явленія жизни и рѣдко испытываемыя человѣкомъ высокія ощущенія,—такая поэзія если не совсѣмъ понятна въ сущности, то всѣмъ доступна по наружности. По крайней мѣрѣ она до того нравится толпѣ, что даже и ложные таланты, если они не лишены блеска и смѣлости, увлекаютъ ее, пародируя въ своихъ хитроизысканныхъ выдумкахъ высокую сторону дѣйствительности; это доказываетъ чрезвычайный, хотя и мгновенный успѣхъ Марлинскаго и... но не будемъ называть дру-

гихъ—довольно и одного примѣра... Скажемъ болѣе: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпѣть не можетъ, чтобъ поэзія занималась ею, хотя и не смиреніе, а опасливость неувѣреннаго въ себѣ самолюбія причиною этого; напротивъ, она любитъ, чтобъ поэзія представляла ей все героевъ, да твердила ей все о высокомъ и прекрасномъ. За голосомъ немногихъ, которымъ дано дѣйствительно понимать высокую жизни, толпа готова провозгласить великимъ гѣніемъ даже Байрона, въ которомъ она, толпа неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно плѣняется и увлекаетъ ее только театральное и мелодраматическое пародированіе высокой стороны жизни (какъ въ повѣстяхъ Марлинскаго), или истинное и дѣйствительно прекрасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не слишкомъ великое, нѣсколько незрѣлое и и дѣтское, потому что сама толпа есть не что иное, какъ вѣчный недоросль, что-то похожее на дряхлаго ребенка или младенчествающаго старика. Лучшимъ доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить Пушкинъ. Когда слава его была въ своей апогеѣ, когда представители толпы провозглашали его «сѣвернымъ Байрономъ и представителемъ современнаго человечества»?—Тогда, какъ онъ удивлялъ ихъ «Русланомъ и Людмилой», «Братьями Разбойниками», «Кавказскимъ Плѣнникомъ», «Бахчисарайскимъ фонтаномъ» и тѣми стихами, въ которыхъ воспѣвалъ золотую дѣнь, шипучее вино и тому подобное. «Цыгане» приняты были уже съ меньшимъ восторгомъ; «Полтава» публично принята холодно, а журналисты встрѣтили ее бранью; «Борисъ Годуновъ» вовсе не былъ оцененъ... и многіе ли даже теперь догадываются, что за великія созданія—«Моцартъ и Сальери», «Ширъ во время чумы», «Скупой Рыцарь», «Галубъ», «Мѣдный Всадникъ», «Каменный Гость»? Одинъ изъ критиковъ того времени въ седьмой главѣ «Евгенія Онѣгина», которая, по глубинѣ чувства, по зрѣлости мысли, по художественной отдѣлкѣ, гораздо выше первыхъ шести главъ,—увидѣлъ «рѣшительное паденіе, chute complète», и съ торжествомъ возвѣстилъ его на двухъ языкахъ—русскомъ и французскомъ.. Другой критикъ, говоря о той же седьмой главѣ «Онѣгина», сдѣлалъ такое заключеніе, что Пушкинъ отсталъ отъ вѣка, и что на него «прошла мода», какъ нѣкогда прошла мода на Наполеона, потому что и онъ отсталъ отъ вѣка.. Еще двое другихъ, какъ будто сговорясь между собою, несмотря на то, что были противниками по мнѣніямъ, объявили, что въ третьей части стихотвореній Пушкина (вышедшей въ 1832

году) не видно прежняго Пушкина.. И они не ошиблись бы, если бы сказали это въ томъ смыслѣ, что Пушкинъ въ этой третьей части сталъ выше, нежели какъ былъ въ первыхъ двухъ частяхъ своихъ стихотвореній; но—увь!—добрые критики говорили тутъ о паденіи Пушкина!.. Все это факты, которые, если бы понадобилось, мы скрѣпили бы указаніемъ на страницы журналовъ блаженной памяти, въ которыхъ печатались такіа диковинки. И вотъ какъ судила толпа и о поэтѣ, избравшемъ предметомъ пѣсень своихъ высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась отъ него тотчасъ, какъ сталъ онъ мастеромъ, и какимъ еще мастеромъ—великимъ!..

Какъ же должна была судить толпа о поэтѣ, дерзнувшемъ пойти по дорогѣ, до него никому невѣдомой, рѣшившемся, оставивъ въ покоѣ героевъ (которые, по правдѣ сказать, на землѣ являются гораздо рѣже, нежели въ фантази поэтовъ), обратиться къ толпѣ и къ будничной жизни?... Сначала, какъ и слѣдуетъ, она подумала, что этотъ поэтъ не знаетъ ничего лучше ея, толпы, и неспособенъ вознестись мыслію за границу всеневной прозаической жизни. И такое заключеніе было очень естественно съ ея стороны: она не встрѣчала въ сочиненіяхъ этого поэта ни моральныхъ сентенцій, ни комическихъ выходокъ. Напротивъ, она видѣла, что онъ рисуетъ своихъ странныхъ героевъ и ихъ бѣдную, жалкую жизнь очень серьезно, говорить о нихъ почти съ такой же важностью, какъ въ дѣйствительности говорятъ они о самихъ себѣ и своихъ дѣлшкахъ. Конечно, это писатель, положимъ, не безъ дарованія, но мелкій, безъ фантази, безъ души, безъ сердца, безъ способности понимать высокое и прекрасное, любящій изображать только грязную, неумытую природу! Но—странное дѣло!—толпа сама не могла не замѣтить, что она съ жадностью его читаетъ, что онъ чѣмъ-то сильно задѣваетъ и сердитъ ее; потомъ съ изумленіемъ узнаетъ она, что высшій свѣтъ, верховный представитель хорошаго тона и приличія, оставляя безъ вниманія бонтоныя, опрятныя произведенія дюжинныхъ сочинителей, безъ перчатокъ и съ удовольствіемъ читаетъ сочиненія этого писателя, исполненныя дурнаго тона, оскорбляющихъ приличіе выражений и картинъ и, кажется, назначенныхъ для потѣхи самыхъ необразованныхъ читателей... Въ то же время нашлись люди, которые по поводу сочиненій этого писателя заговорили о юморѣ, какъ могущественномъ элементѣ творчества, посредствомъ котораго поэтъ служить всему высокому и прекрасному, даже не упоминая

о нихъ, но только вѣрно воспроизводя явления жизни, по ихъ сущности противоположныя высокому и прекрасному,—другими словами, путемъ отрипанія достигая той же самой цѣли, только иногда еще вѣрнѣе, которой достигается и поэтъ, избравшій предметомъ своихъ твореній исключительно идеальную сторону жизни. Все это не могло не имѣть вліянія на мнѣніе толпы; а между тѣмъ съ теченіемъ времени она все болѣе и болѣе привыкала къ его сочиненіямъ, и все, что казалось ей въ нихъ страннымъ и рѣзкимъ, со дня на день становилось въ ея глазахъ очень естественнымъ,—чему способствовала много и основанная имъ литературная школа. И вотъ теперь, когда французскій переводъ нѣсколькихъ его повѣстей доставилъ ему громкую извѣстность въ Европѣ,—теперь и самые враги его таланта, имѣющіе свои причины вести отчаянную войну противъ его успѣховъ, уже не рѣшаются говорить о немъ прежнимъ языкомъ...

Вообще литература наша, въ лицѣ Пушкина и Гоголя, перешла черезъ самый трудный и самый блестящій процессъ своего развитія: благодаря имъ, она если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла изъ состоянія дѣтства и той юности, которая близка къ дѣтству. Это обстоятельство совершенно измѣнило судьбу явленія новыхъ талантовъ въ нашей литературѣ. Теперь каждый новый талантъ тотчасъ же оцѣняется по его достоинству. Явился Лермонтовъ—и первыми своими опытами заставилъ всѣхъ смотрѣть на его талантъ съ изумленнымъ ожиданіемъ чего-то великаго. Много ли успѣлъ написать онъ въ теченіе своего краткаго (четырёхлѣтняго) литературнаго поприща?—а между тѣмъ нуженъ былъ только одинъ смѣлый голосъ, чтобъ за Лермонтовымъ, съ первыхъ же опытовъ его, утвердить имя великаго, гениальнаго поэта... Съ другой стороны, какъ ни хлопочетъ теперь посредственность выдавать себя за гениальность,—ей это никакъ не удается. Не помогаютъ ей ни драмы, русскія и итальянскія, ни романы и повѣсти русскіе, французскіе, литовскіе и нѣмецкіе, ни стихотворенія, ни дагерротипы, ни иллюстраціи... Недавно одна газета хотѣла сдѣлать изъ Буткова опаснаго соперника таланту Гоголя, и что же? Всѣ нашли, что у Буткова точно есть дарованіе, но что больше о немъ сказать нечего, а ожидать отъ него чего-то необыкновеннаго тоже нечего...

Правда, и теперь появленіе необыкновеннаго таланта не можетъ не возбуждать довольно противорѣчащихъ толковъ; но, во-первыхъ, это свойство необыкновеннаго та-

данта во всякой литературѣ, пока не привыкнутъ къ нему (привычка—умъ толпы), а во-вторыхъ, въ самомъ противорѣчій этихъ толковъ уже лежитъ безусловное признаніе необыкновенности таланта. Говорятъ и спорятъ о томъ, что хорошо и что дурно въ его первыхъ произведеніяхъ; но что онъ необыкновенный талантъ—объ этомъ говорятъ, но не спорятъ. Нѣсколько невѣжественныхъ или завистливыхъ голосовъ тутъ ничего не значить. Если какой-нибудь quasi-критикъ или критиканъ рѣшится объявить, что произведение новаго писателя, возбудившаго своимъ появленіемъ сильное движеніе въ читательскомъ мірѣ, рѣшительно дурно, что въ немъ нѣтъ ни искры таланта, — такой критиканъ поступитъ очень неразумно въ отношеніи къ самому себѣ. Самые недогадливые увидятъ ясно, что онъ, критиканъ, не иное что, какъ жалкая и купно завистливая посредственность. Но, съ другой стороны, и преувеличенно восторженные похвалы, критическіе гимны и диэпиграмы теперь тоже возможны только со стороны людей, не могущихъ имѣть никакого вліянія на общественное мнѣніе. Литература наша пережила свою эпоху энтузіастическихъ увлеченій, восторженныхъ похвалъ и безотчетныхъ восклицаній. Теперь отъ критика требуютъ, чтобы онъ спокойно и трезво сказалъ, какъ понимаетъ онъ поэтическое произведение, а до восторговъ, въ которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нѣтъ нужды: это его домашнее дѣло.

Слухи о «Бѣдныхъ Людяхъ» и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задало предугадать появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ все равно—быть или не быть предубежденными въ пользу или не въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства не много на бѣломъ свѣтѣ, а не знатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ уже не видитъ въ произведеніи и того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное, понравилось бы ему, если бы онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусовъ-покусовъ. Несмотря на то, успѣхъ «Бѣдныхъ Людей» былъ полный. Если бы эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ без-

условнымъ восторгомъ, — это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть талантъ, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ быть, двухъ-трехъ испугавшихся за себя писаекъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ обыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего болѣе и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иной многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ей появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ самый великій, самый гениальный, самый непогрѣшительный—время. Впрочемъ, не должно забывать, что романъ Достоевскаго прочтенъ всѣми только въ Петербургѣ, и что только Петербургъ обнаружилъ свое мнѣніе о талантѣ новаго поэта. Въ Москвѣ еще только читаютъ его «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника» (помѣщеннаго въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»), а въ провинціи еще и не читали ихъ. Мы очень любимъ и уважаемъ Петербургъ во многихъ отношеніяхъ, но отнюдь не въ климатическомъ и не въ эстетическомъ: нигдѣ въ Россіи такъ много не читаютъ, какъ въ Петербургѣ, слѣдовательно, нигдѣ въ Россіи нѣтъ такой многочисленной читающей публики, сосредоточенной на такомъ маломъ пространствѣ, какъ въ Петербургѣ,—и при всемъ томъ насъ (chaque baron a sa fantaisie!) почему-то всегда интересуетъ болѣе мнѣніе Москвы и провинціи о книгѣ, нежели Петербурга. Мы никогда не говоримъ: «это сочиненіе такъ хорошо, что даже въ провинціи имѣло огромный успѣхъ»; но, напротивъ, мы какъ-то особенно не расположены къ сочиненіямъ, которыя только въ Петербургѣ возбуждаютъ общій восторгъ. Можетъ быть, по этому самому намъ не нравятся стихотворенія Венедиктова, «Сенсаціи мадамъ Курдюковой» и всѣ патріотическія и патетическія драмы, возбуждающія такіе оглушительные аплодисманы на сценѣ Александринскаго театра. Можетъ быть, въ этомъ случаѣ мы и не правы, но намъ кажется, что жители Петербурга—ужъ черезчуръ занятые, черезчуръ дѣловые люди, и потому едва ли могутъ блистать особенно развитымъ эстетическимъ вкусомъ. Имъ надо что-нибудь, во-первыхъ, не слишкомъ большое, а во-вторыхъ, и это главное—что-нибудь полегче, что-нибудь не слишкомъ требующее углубленія мыслью, не слишкомъ вызывающее на размышленіе, словомъ,—такое, что было бы и коротко, и ясно и не застѣ-

видо бы думать, какъ фельетонная статья въ «Сѣверной Пчелѣ», какъ правоописательная статья Булгарина. И это понятно: въ Петербургѣ всѣ бѣдны временемъ: кто служить, кто спекулируетъ, кто играетъ въ преферансъ, а часто случается и такъ, что одно и то же лицо несетъ на себѣ эти три тягости разомъ. Когда тутъ читать съ самоуглубленіемъ въ читаемое, съ размышленіемъ о читаемомъ? Тутъ дай Богъ успѣть только перелистывать часть того бѣднаго количества печатныхъ листовъ, которые вырабатываютъ наши типографіи. Въ Москвѣ число читателей несравненно меньше, но въ массѣ московскихъ читателей есть довольно людей, для которыхъ сколько-нибудь замѣчательная книга есть фактъ, есть «нѣчто», которые читаютъ ее сами, читаютъ другимъ или настоятельно рекомендуютъ другимъ читать ее, думаютъ о ней, толкуютъ, спорятъ. Смѣшно было бы утверждать, что и въ Петербургѣ нѣтъ такихъ читателей; но мы знаемъ достоверно, что въ немъ ихъ очень мало въ сравненіи со всею читающей массой, и что большая часть ихъ состоитъ изъ такого молодого народа, который не успѣлъ еще ни послужить на службу, ни постичь поэзію преферанса. Что касается до провинціи, въ ней можетъ быть въ сложности не менѣе, если не болѣе истинно образованныхъ и съ эстетическимъ вкусомъ людей, нежели въ обѣихъ столицахъ нашихъ; и если ихъ кажется такъ мало въ провинціи, это потому, что они разбѣяны на огромномъ пространствѣ и живутъ въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что отъ одного до другого иногда хоть мѣсяць скачи на лихой тройкѣ—не доѣдешь! Велика магушка Россія!.. По всему этому очень интересно узнать, какое впечатлѣніе талантъ Достоевскаго произведетъ на Москву и на провинцію. Но, въ ожиданіи этого, мы поспѣшимъ отдать отчетъ въ собственныхъ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Съ перваго взгляда видно, что талантъ Достоевскаго не сатирической, не описательный, но въ высокой степени творческой, и что преобладающій характеръ его таланта—юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и при томъ глубоко знаетъ, но а priori, слѣдовательно, чисто поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такіа сравненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко от-

дѣлился отъ всей толпы нашихъ писателей болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обѣихъ романовъ Достоевскаго («Бѣдныхъ Людей» и «Двойника») видно сильное вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ въ талантѣ Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ даже никакого намека на подражательность: сынъ, живя своей собственной жизнью и мыслью, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился впоследствии талантъ Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Колумбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать, индивидуальность и личность таланта Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по «Бѣднымъ Людямъ», мы заключили, было, что глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляющій особенную черту въ характерѣ его таланта; но, прочтя «Двойника», мы увидѣли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ «Двойникѣ» глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, этого колорита и тона въ «Двойникѣ» спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ «Запискахъ Сумасшедшаго» Гоголя... Вообще талантъ Достоевскаго при всей его огромности еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и высказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писателя, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многого ожидать нельзя. Какъ ни хороша «Герой Нашего Времени», но если бы кто подумалъ, что Лермонтовъ впоследствии не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ

показалъ бы, что онъ не слишкомъ высоко мнѣнія о талантѣ Лермонтова.

Мы сказали, что въ обоихъ романахъ Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ талантъ Достоевскаго блеститъ яркой самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣвичу Дѣвушкину, старику Покровскому и Голядкину старшему Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ и Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только первый навелъ всѣхъ (и въ этомъ его заслуга, которой подобной уже никому болѣе не оказать) на эти забытыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что Достоевскій самъ собой взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности.

Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта «Бѣдные Люди» и непосредственно за ними «Двойникъ» — произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобы Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однако жъ со всѣмъ тѣмъ подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бѣ онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ «Бѣдныхъ Людяхъ»: вѣдь и рассказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится рассказывать, если уже рѣшиться на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброй душой и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, искищаетъ бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтели, дѣвической красотой. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское,

не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобы не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холода, и которому всего естественнѣе любить существо, обязанное ему, должное ему, — существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его «маточкѣ, ангельчику и херувимчику Варинькѣ» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое онъ сидитъ не признавать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если бѣ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, насчетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говорить, что «все въ розовомъ цвѣтѣ представляется». Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его дѣла, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, — все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варинькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье, входить въ долги, терпитъ страшную нужду, и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человекъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодарѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя, — до послѣдней крайности обманываетъ свою Вариньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходится въ голову, что онъ приобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ въ тѣснотѣ и узкости его понятій онъ могъ бы навязать себя Варинькѣ въ мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для нея самой, и жертвовать для нея всѣмъ — было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у

него всё умственные способности изъ головы перешли въ сердце. Многие могут подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ въ лицѣ Макара Алексѣевича показал намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святаго лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всё бѣдники такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно продающій сто, двѣсти и больше рублей, броситъ нищему двадцать пять рублей, всё замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душой отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копѣекъ мѣдью, какъ отдать ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,—такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшнаго. Честь и слава молодому поэту, муза котораго любить людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говорить о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: «вѣдь это тоже люди, ваши братья!»

Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлехой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ человекъ! Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку, но если, смѣясь надъ ней, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкой, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына,—не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка..

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшнѣе и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы,—какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего

похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти, то къ тому, то къ другому!.. Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственной особой, ни лица Анны Федоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственной особой. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писавъ Ратазяевъ, ростовщикъ,—словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вариньки какъ-то не совсѣмъ опредѣленно и неоконченно; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины, или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось въ лицѣ Татьяны схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтской дамой, чтобъ сообщить ей характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вариньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученое въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Федоровны, отношенія Вариньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ, смерть Покровскаго, все это рассказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Федоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все такъ ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій.

Рассказывать содержаніе этого романа было бы излишне; дѣлать большія выписки тоже. Но не мѣшаетъ инымъ, можетъ быть, забывчивымъ читателямъ напомнить ихъ же собственные впечатлѣнія, ихъ же самихъ призвать въ свидѣтели справедливости и вѣрности нашего мнѣнія о высокому художественному достоинствѣ «Бѣдныхъ Людей», и потому считаемъ необходимымъ выписать нѣсколько мѣстъ изъ писемъ Мака-



ра Алексѣевича. Это не дастъ большой работы вниманію читателей, — а между тѣмъ посреди нихъ, вѣроятно, найдутся такіе, которымъ эти выписанныя нами мѣста покажутся какъ будто новыми, въ первый разъ прочитанными, и это обстоятельство, можетъ быть, заставитъ ихъ вновь перечестъ всю повѣсть и сознаться себѣ, что они только при этомъ второмъ чтеніи поняли ее... Такия произведенія, какъ «Бѣдные Люди», никому не даются съ перваго раза: они требуютъ не только чтенія, но и изученія.

„Пишу къ вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я расскажу-то вамъ теперь! Вотъ мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ: я все это предчувствовалъ. Все это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже намедни во снѣ что-то видѣлъ подобное.

„Вотъ что случилось. — Расскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положитъ. Пошелъ я сегодня въ должность Пришель, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ вчера подоходитъ ко мнѣ Тимофей Ивановичъ и лично изволить показывать, что—вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говоритъ, Макарь Алексѣевичъ, почище, поспѣшно и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ. — Замѣтитъ вамъ чужою, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли нечистый меня попуталъ, или тайными судьбами какими опредѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться—только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его знаетъ какой, просто никакого не вышелъ. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавняго времени сталъ вдвое болѣе прежняго совѣситься и въ стыдъ приходитъ. Я въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стугль заскрипитъ у кого-нибудь, такъ ужъ я ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, приниць, присмарѣль, ежомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было) сказалъ во всеуслышаніе: Что, дескать, вы, Макарь Алексѣевичъ, сидите сегодня такимъ у-у-у! да тутъ такую гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня ни были, такъ и покатались со смѣху, и ужъ, разумеется, на мой счетъ! И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ, и глаза зажмурилъ, сижу себѣ, не шевелюсь. Таковъ ужъ обывай мой; они этакъ скорѣе отстаютъ. И такъ я уткнулся носомъ въ бумагу и пишу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу—не обманываются ли уши мои? зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвущкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужъ самъ не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни

со мной не было. Я присрѣкъ къ стулу,—и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ ужъ надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвущкина! Дѣвущкина! гдѣ Дѣвущкинъ? Подымаю глаза: передо мной Евстафій Ивановичъ; говоритъ: Макарь Алексѣевичъ! къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказалъ, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду—ну, да ужъ просто ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ—предсталъ! Положительнаго отчета, объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоятъ его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было отъ чего, маточка. Во-первыхъ, совѣстно; я взглянулъ направо въ зеркало, такъ просто было, отъ чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ видѣлъ. А во-вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ будто бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можетъ быть, слышали, такъ мелькомъ, что есть у нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвущкинъ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

„Начали гнѣвно: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это,—тутъ его превосходительство обратился къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетаютъ:—перадѣнь! неосмотрительность! Вводите въ неприятели! — Я раскрывъ, было, ротъ для чего-то. Хотѣлъ, было, прощенья просить, да не могъ, убѣжалъ—покусятся не смѣютъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда.—Моя пуговка—ну ее къ бѣсу—пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ—вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатила и прямо, такъ-таки прямо, прокатая, къ стопамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Последствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспомнилъ, что я видѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить пуговку, нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ухахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза, и Фальдони, и пошло переэванивать. Наконецъ, поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ коли дуракъ, такъ стоялъ бы себѣ смирно, руки по швамъ! Такъ нѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно оттого она и пристанетъ; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потомъ опять на меня взглянули — слышу говорить Евстафію Ивановичу: какъ же?... посмотрите, въ какомъ онъ видѣ?... какъ онъ!... что онъ!... — Ахъ, родная моя, что ужъ тутъ—какъ онъ? Да что онъ? отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился. Слышу, Евстафій Ивановичъ говорить—не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ,

поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу... Ну, облегчите его какъ-нибудь говорить его превосходительство. Выдать ему впередь...—Да забралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то времени впередь забралъ. Обстоятельства, вѣрно, такія, а поведенія хорошаго и не замѣчтъ, никогда не замѣчтъ.—Я англичаникъ мой, горьль, въ адскомъ огнѣ горьль! Я умираю!—Ну, говорятъ его превосходительство громко: переписать же вновь поскорѣе: Двухъ книжъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки; да послушайте: тутъ его превосходительство обернулись къ прочимъ, раздали приказанія разнымъ, и всѣ разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспѣшно вынимаетъ книжничъ и изъ него сторублевою: вотъ—говорятъ они—чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите... да и всунуль мнѣ въ руку. Я, ангель мой, вадрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я, было, схватить мнѣ ручку хотѣлъ. А онъ-то весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да—вотъ ужъ тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя; взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровнѣ своей, словно такому же какъ самъ генералу. Ступайте, говорить; чѣмъ могу... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.“

Такая страшная сцена можетъ не потрясти глубоко только душу такого человѣка, для котораго человѣкъ, если онъ чиновникъ не выше 9-го класса, не стоитъ ни вниманія, ни участія. Но всякое человеческое сердце, для котораго въ мѣрѣ ничего нѣтъ выше и священнѣе человѣка, кто бы онъ ни былъ, всякое человеческое сердце судорожно и болѣзненно сожмется отъ этой, повторяемъ, страшной, глубоко-патетической сцены... И сколько потрясающаго душу дѣйствія заключается въ выраженіи его благодарности, смѣшанной съ чувствомъ сознанія своего паденія и съ чувствомъ того самоуниженія, которое бѣдность и ограниченность ума часто считаютъ за добродѣтель!..

„Теперь, мамочка, вотъ какъ я рѣшилъ: вась и Федору прошу, и если бы и дѣти у меня были, то и имъ бы повелѣлъ, чтобъ Богу молились, то-есть вотъ какъ: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю—слушайте меня, маточка, хорошенько—клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дорого, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пъяницѣ, руку мою недостойную пожалъ изволили. Этими они меня самому себѣ возвратили. Этими поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще навѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастья и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!..“

Другимъ образомъ, но не менѣе ужасна эта картина:

„Сего числа случилось у насъ въ квартирѣ до нелзя горестное, ни чѣмъ необъяснимое и неожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка) совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливе кончилось. Какая тамъ была видна на немъ, за нерадѣніе и неосмотрительность—на все вышло полное отпущеніе. Приступили выправить въ его ползау съ купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше,—однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, блѣдный какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается—обнялъ жену дѣтей. Мы всѣ гурьбой ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ, кланялся на всѣ стороны, жалъ у каждого изъ насъ руку по нѣскольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-то, и выпрямился-то, что у него и слезнички-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такъ, бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ знаетъ что такое—говорилъ: „честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои!“—и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частью прослезились. Ратазаяевъ, видно, хотѣлъ его ободрить и сказалъ—„что, батюшка, честь, когда нечего ѣсть, деньги, батюшка, деньги главное, вотъ за что Бога благодарите!“—и тутъ же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, т. е. не то чтобы прямо неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ какъ-то странно на Ратазаяева, да руку его съ плеча своего смялъ. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочемъ, различные бываютъ характеры.—Вотъ я, напримѣръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній и униженіе изъясляешь, не отъ чего иного, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца.. но, впрочемъ, не во мнѣ тутъ и дѣло-то.—Да, говорить, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!.. и потомъ все время, какъ мы у него были, твердилъ: слава Богу, слава Богу!.. Жена его заказала обѣдъ поделкатнѣе, пообильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ стирала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его. Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ; скажетъ что-нибудь, а иногда и ничего не скажетъ и уйдетъ. У мячмана даже карты въ руки взялъ: его и усидли играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, малугалъ въ игрѣ какого-то вздора, сдѣлалъ три-четыре хода и бросилъ играть. Нѣтъ, говорить, вѣдь я такъ, я это только такъ—и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ корридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно, пожалъ мнѣ руку и отошелъ, и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ у нихъ

было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говорить женѣ:—„Послушайте, душевьяка, вотъ я немного прилягу“— да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на голову руку и долго, долго гладилъ по головѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женѣ; дескать, а что жъ Петинька? Петя нашъ, Петинька?.. Жена перекрестилась, да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ ужъ умеръ.— Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь въ царствѣ небесномъ.— Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говоритъ ему—вы бы, душевьяка, заснули.— Да, говорить, я сейчасъ... я немножко, —тутъ онъ отвернулся, полежакаль немного, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена его не разлышала; спросила его: что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко—ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась—видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ, не шелохнется. Она думала, что спитъ, съѣла и стала работать что-то. Она рассказываетъ, что она работала съ полчаса и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже и не помнитъ, о чемъ она думала, говорить только, что она и позабыла объ мужѣ. Только вдругъ она очулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кровать и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотритъ—а ужъ онъ холодехонекъ — умеръ, маточка, умеръ Горшковъ, внезапно умеръ, словно его громомъ убило. А отчего умеръ, Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до сихъ поръ опомниться не могу. Не вѣрится что-то, чтобы такъ просто могъ умереть человекъ! Этакой бѣднѣга, горемыка этакъ Горшковъ! Ахъ судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголъ забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать... ужъ не могу самъ навѣрное сказать. Только жалко! Грустно подумать, что этакъ въ самомъ дѣлѣ ни дѣя, ни часа не вѣдаешь!.. Погибаетъ ни за что...“.

Что передъ этой картиной, написанной такой широкой и мощной кистью, что передъ нею мелодраматическіе ужасы въ повѣстьяхъ модныхъ французскихъ фельетонныхъ романовъ! Какая страшная простота и истина! И кто все это рассказываетъ?—ограниченный и смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ!..

Мы не будемъ больше указывать на превосходныя частности этого романа: легче перечестъ весь романъ, нежели пересчитать все, что въ немъ превосходнаго, потому что онъ весь, въ цѣломъ—превосходенъ. Упомянемъ только о послѣднемъ письмѣ Дѣвушкина къ его Варинькѣ: это слезы, рыданіе, вопль, раздирающее душу! Тутъ все истинно, глубоко и велико, а между тѣмъ это пишетъ ограниченный, смѣшной Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ! И читая его, вы сами готовы рыдать и въ то же время вы улыбаетесь... Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчаянія въ этихъ простыхъ словахъ старика, теряющаго все,

чѣмъ мила была ему жизнь: «Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда вы ѣдете-то, маточка? Вы, можетъ быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь чистая, голая степь, вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный пьяница ходить...».

Мы думаемъ, что теперь можно сказать нѣсколько словъ и о «Двойникѣ», хотя онъ и не относится къ «Петербуржскому Сборнику». Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,—и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа—г. Голядкинъ—одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на амбиціи людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глухъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ, и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ недурно, но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть чернѣйшій демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательно осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ, и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интригантъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямой дорогой. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. Итакъ, герой романа—сумасшедшій! Мысль смѣлая и выподненная авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ «Двойникѣ» еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ «Бѣдныхъ Людяхъ». А между тѣмъ почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянуть и оттого ужасно скученъ, изъ чего де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго!.. Справедливо ли такое заключеніе?—Мы, не обинуясь, скажемъ, что, съ одной стороны,

оно крайне ложно, а съ другой—что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что «Двойникъ» нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ-называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта,—вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго, и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишней плодovitостью. Если бы авторъ «Двойника» далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключать изъ рукописи его «Двойника» все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ,—у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ—верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ «Двойникѣ» ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ, и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и властью; но, наконецъ, бѣжалъ же отъ нея. Очевидно, что авторъ «Двойника» еще не приобрѣлъ себѣ такта мѣры и гармоніи, и оттого не совсѣмъ безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости даже и «Бѣдныхъ Людей», хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ «Двойнику». Итакъ, въ этомъ отношеніи судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодovitость только служить доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли итти своей дорогой, никого не слушая, или, желая угодить толпѣ, стараться приобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за немнѣнимъ естественнаго, прибѣгнуть къ поддѣльному чувству мѣры? По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно губельны. Талантъ долженъ итти своей дорогой, съ каждымъ днемъ естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время онъ долженъ, обязанъ «принимать къ свѣдѣнію», чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ «Двойникѣ» растянутостью, такъ это частое и мѣстами вовсе ненужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ, напримѣръ: «Дожилъ я до бѣды, дожилъ я вотъ такимъ-то образомъ до бѣды... Эта бѣда вѣдь какая!.. экая вѣдь бѣда одолѣла какая!..» Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ въ романѣ найдется довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ въ сознаніи своей силы и своего богатства какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще «Двойникъ» носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что если бы авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой «Двойникъ», чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки,—мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ рассказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это, съ одной стороны, показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но, съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно въправѣ не понять и не догадаться, что писма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Голядкинъ-старшій сочиняетъ самъ къ себѣ въ своемъ разстроенномъ воображеніи,—даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшателствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ этомъ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что.

Мы только слегка коснулись обонихъ произведеній Достоевскаго, особенно послѣдняго; говорить о нихъ подробно,—значило бы зайти гораздо далѣе, нежели сколько позволяютъ предѣлы журнальной статьи. Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талан-

такъ огромнаго размѣра, — и это богатство видимо мучить и тяготить автора «Бѣдныхъ Людей» и «Двойника». Отсюда и ихъ мнимая растянутасть, на которую такъ жалуются люди, очень любящие читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ «Парижскія Тайны», «Вѣчный Жидъ» или «Графъ Монте-Кристо» были растянуты. И съ одной стороны чтенія такого рода правы; не всякому дано знать тайны искусства, такъ же, какъ не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтенія имѣютъ полное право не знать ни причины, ни истиннаго значенія того, что называютъ они «растянутостью»; они знаютъ только, что чтеніе «Бѣдныхъ Людей» нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а «Двойникъ» не многимъ изъ нихъ удается осмыслить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, — такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унижительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности — Сцилла и Харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ «Двойника», все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любясь каждымъ словомъ, важнымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вторыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что же касается до толковъ большинства, что «Двойникъ» — плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены и т. п., — обѣ этомъ Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много въ продолженіе его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностью поспѣшатъ схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудро и окончательно рѣшили по «Двойнику», что у него или вовсе нѣтъ таланта, или есть, да такъ-себѣ, небольшой...

Теперь намъ слѣдовало бы сказать что-нибудь о печатныхъ толкахъ и сужденіяхъ по поводу «Бѣдныхъ Людей»; но мы чувствуемъ себя на эту минуту въ такомъ добромъ расположеніи духа, что хотимъ ограничиться съѣздомъ Достоевскому — пере-

печатать всѣ эти сужденія при будущемъ изданіи своихъ сочиненій, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ, приложившій ко второму или третьему изданію «Руслана и Людмилы» всѣ критики и рецензіи, въ которыхъ бранили эту поэму...

Обращаемся къ остальнымъ статьямъ «Петербургскаго Сборника».

«Три портрета», рассказъ Тургенева, при ловкомъ и живомъ изложеніи имѣетъ всю заманчивость не повѣсти, а скорѣе воспоминаній о добромъ старомъ времени. Къ нему шелъ бы эпиграфъ: «Дѣла минувшихъ дней»...

«Мартингаль» (изъ записокъ гробовщика), кн. Одоевскаго, исполненъ интереса и по содержанію, и по изложенію. Можно замѣтить только, что этотъ рассказъ былъ бы естественнѣе, если бы въ немъ не былъ вмѣшанъ гробовщикъ, которому, несмотря на то, что онъ нѣмецъ и ученъ, едва ли бы молодой человѣкъ сталъ открывать свои завѣтныя и страшныя тайны, готовясь, можетъ быть, умереть насильственной смертью...

Къ отдѣлу рассказовъ въ альманахѣ должно присовокупить и «Парижскія Увеселенія», легкій и живой очеркъ того, какъ веселятся французы и какъ поддѣлываются подъ ихъ способъ веселиться русскіе, живущіе въ Парижѣ. Эта статья тоже интересна.

Переходимъ къ стихотворной части альманаха. Онъ украшенъ цѣлыми двумя, и къ тому еще прекрасными, поэмами. «Помѣщикъ» Тургенева — легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, пропіи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ Тургенева нашелъ свой истинный родъ, и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ. Стихъ легкий, поэтиченъ, блестятъ эпиграммой. Кто-то увѣрялъ печатно, будто «Помѣщикъ» — подраженіе «Евгенію Онѣгину»: ужъ не «Энеидъ» ли *Virgilia*? Право, послѣднее предположеніе ничѣмъ не несправедливѣе перваго. Первое произведеніе такого рода въ русской литературѣ принадлежитъ Дмитріеву, автору «Модной Жены». Оно было написано въ духъ и вкусъ своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени Пушкинъ далъ образцы такихъ произведеній въ «Графѣ Нулинѣ» и «Домикѣ въ Коломнѣ». А обѣ «Онѣгинѣ» тутъ и помянуть нечего, какъ о произведеніи совсѣмъ другого и при томъ высшаго рода. Пусть успокоится на этотъ счетъ почтенный критиканъ, одаренный такой удивительной способностью находить сходство тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ. Что «Помѣщикъ» Тургенева можетъ ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякаго свой вкусъ. Есть люди, которымъ, напримѣръ, очень не нра-

вится, что повѣсти Гоголя переведены на французскій языкъ (черезъ что талантъ Гоголя получилъ европейскую извѣстность); а намъ нравятся (и при томъ еще какъ!) и «Помѣщикъ» Тургенева, и то, что повѣсти Гоголя изданы въ Парижѣ въ такомъ прекрасномъ переводѣ. Къ «Помѣщику» приложены прекрасныя картинки, рисованныя Агинымъ. Мы очень рады случаю отдать должную справедливость таланту этого молодого художника. Тиммъ—безспорно лучший рисовальщикъ въ Россіи, но въ его карандашѣ ничего нѣтъ русскаго. Смотря на картинки Агина, невольно вспомнишь стихи Пушкина: «Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ». Его картинки къ «Помѣщику»—заглядѣнье!—за исключеніемъ, впрочемъ, четырехъ, которыя не удались, какъ 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, какъ 11-я.

Въ началѣ прошлаго года Майковъ подарилъ публику прекрасной поэмой—«Двѣ Судьбы»; въ началѣ нынѣшняго года онъ опять даритъ ее прекрасной поэмой—«Машенька». Рассказывать содержаніе новаго произведенія Майкова было бы излишне: оно такъ просто. У бѣднаго чиновника соблазнили страстно любимую имъ дочь; увидѣвъ ее на гуляньѣ, на островахъ, ѣдущую, въ пышномъ нарядѣ, объ-руку съ своимъ соблазнителемъ, несчастный отецъ проклинаетъ ее; оставленная своимъ любовникомъ, бѣдная Маша, которой вся вина состоитъ въ страстной натурѣ и дѣтской неопытности ума и сердца, возвращается къ отцу—и тотъ принимаетъ ее съ благословеніемъ. Вотъ и все. Сюжетъ даже не новъ. Но въ художественномъ произведеніи дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерахъ, въ краскахъ и тѣняхъ разсказа. Съ этой стороны поэма Майкова отличается красотами необыкновенными. Характеръ отца обрисованъ превосходно. Маша и ея подруга, Zizine, какъ институтки, очерчены безподобно; но характеръ Маши, какъ героини поэмъ, не совсѣмъ ровень и опредѣлительнъ; чего-то недостаетъ ему. Лучшая сторона новой поэмы Майкова—то, что на вульгарномъ языкѣ называется соединеніемъ патетическаго элемента съ комическимъ, которое въ сущности есть не иное что, какъ умѣнье представлять жизнь въ ея истинѣ. Этой истины много въ поэмѣ. Особенно порадовала насъ въ ней прелесть комическаго разговора, который даетъ надежду, что для таланта молодого поэта предстоить еще въ будущемъ богатое развитіе въ такомъ родѣ поэзіи, къ которому въ началѣ его поприща никто не считалъ его способнымъ. Не для показанія красотъ поэмы (для этого ее можно было бы перепечатать всю), а для поясненія и подтвержденія нашей мысли, выписываемъ конецъ:

Марія шла дрожащею стопой,  
Одна съ больной, растерзанной душой:  
„Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!  
Весь міръ—чужой мнѣ... А отецъ?... старикъ...  
Оставленный... и онъ... онъ проклялъ тоже!  
За что жъ? хоть на него взглянуть бы мигъ,  
Все рассказать... а тамъ—пусть прокли-  
наетъ!“

Она идетъ; сторонится народъ,  
Кто молча, кто съ угрозой, кто шепчетъ:  
„Безумная!“ и въ страхѣ отступаетъ.  
И вотъ знакомый домикъ: меркнулъ день,  
Зарей вечерней небо обагрилось,  
И длинная по улицамъ ложилась  
Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.  
Вотъ садъ, скамья, поросшая травой,  
Подъ вѣтвями широкими березъ.  
На ней старикъ. Последній клочъ волосъ  
Давно ужъ выпалъ. Влѣдній, онъ казался  
Однимъ скелетомъ. Ветхій видъ-мундиръ  
Не снятъ: онъ, видно, снять не догадался.  
Прійди отъ должности Покой и миръ  
Его лица были страшны: это было  
Спокойствіе отчаянья. Уныло  
Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.  
Вдругъ слышитъ вздохъ и листья задрожали  
Отъ шороха. „Что, ужъ не воры ль тутъ?  
А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,  
Вѣдь ужъ они... они ее украли!“  
Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,  
И чудится ему рыданья тоже,  
И голосъ: „Что я сдѣлала съ нимъ, Боже!  
Не зная какъ, онъ дочь ужъ обнималъ,  
Не въ силахъ слова вымолвить.—„Папаша,  
Простите!“—„Что, я развѣ звѣрь или жидъ!“  
—„Простите!“—„Полно! Богъ тебя проститъ!  
А ты... а ты меня простишь ли, Маша?“

Мелкихъ стихотвореній въ «Петербургскомъ Сборникѣ» немного. Самыя интересныя изъ нихъ принадлежать перу издателя сборника, Некрасова. Они проникнуты мыслью; это—не стихи къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго и современнаго. Лучшее изъ нихъ—«Въ Дорогѣ». Изъ другихъ стихотвореній въ «Сборникѣ» замѣчательны переводы Тургенева: «Тѣма», изъ Байрона, и «Римская Элегія», Гёте.

«Макбетъ» Шекспира, переведенный Кронбергомъ, оданъ заслуживалъ бы особой критической статьи, потому что это переводъ классическій, вполне достойный подлинника. «Макбетъ»—одно изъ самыхъ колоссальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ чудовищныхъ произведеній Шекспира, гдѣ съ одной стороны отразилась вся исполинская сила творческаго его гения, а съ другой—все варварство вѣка, въ которомъ жилъ онъ. Много разсуждали и спорили о значеніи вѣдмъ, играющихъ въ «Макбетѣ» такую важную роль: одни хотѣли видѣть въ нихъ просто вѣдмъ, другіе—однотвореніе честолюбивыхъ страстей Макбета, глухо свирѣпствовавшихъ на днѣ души его; третьи—поэтическія аллегоріи. Справедливо только первое изъ этихъ мнѣній. Шекспиръ—можетъ быть, величайшій изъ всѣхъ гениевъ въ сферѣ поэзіи, какихъ только видѣлъ міръ; но въ то же время онъ былъ сынъ своего вре-

мени, своего вѣка, того варварскаго вѣка, когда разумъ человѣческій едва началъ пробуждаться отъ своего тысячелѣтнаго сна, когда въ Европѣ тысячами жгли колдуновъ, и когда никто не сомнѣвался въ возможности прямыхъ сношеній человѣка съ нечистой силой. Шекспиръ не былъ чуждъ слѣпоты своего времени, — и вводя въ свою великую трагедію, онъ нисколько не думалъ дѣлать изъ нихъ философскія олицетворенія и поэтическія аллегоріи. Это доказывается между прочимъ и важной ролью, какую играетъ въ «Гамлетѣ» тѣнь отца героя этой великой трагедіи. «Другъ Горацио, — говоритъ Гамлетъ: — на землѣ есть много такого, о чемъ и не бредила наша философія». Это убѣжденіе Шекспира, это говорить онъ самъ или, лучше сказать, невѣжество и варварство его вѣка, — а обскуранты нашего времени такъ и ухватились за эти слова, какъ за оправданіе своего слабоумія. Шекспиръ видѣлъ и Богъ-вѣсть какую удивительную драматическую и трагическую пружину въ ходѣ Бирнамскаго Лѣса и въ томъ обстоятельствѣ, что Макбетъ не можетъ пасть отъ руки человѣка, рожденнаго женой. Дѣло оказалось чѣмъ-то въ родѣ плохого каламбура; но такова творческая сила этого человѣка, что, несмотря на всѣ нелѣпости, которыя ввелъ онъ въ свою драму, «Макбетъ» все-таки огромное, колоссальное созданіе, какъ готическіе храмы среднихъ вѣковъ. Что-то сурово-величаво-грандіозно-трагическое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судьбѣ; кажется, имѣешь дѣло не съ людьми, а съ титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженныхъ тайнъ человѣческой природы, сколько рѣшенныхъ великихъ вопросовъ, какой страшный и поучительный урокъ!.. Вотъ доказательство, что время не губитъ гения, но гений торжествуетъ надъ временемъ, и что каждый моментъ всемирно-историческаго развитія человѣчества даетъ равнообильную жатву для поэзіи. Пройдутъ еще два вѣка, а, можетъ быть, и меньше, когда будутъ дивиться варварству XIX столѣтія, какъ мы дивимся варварству XVI-го; не найдутъ въ немъ Шекспира, но найдутъ Байрона и Жоржъ Занда...

И это не кругъ, въ которомъ безвыходно кружится человѣчество, а спираль, гдѣ каждый послѣдующій вкругъ обширнѣе предшествующаго. Нашъ вѣкъ имѣетъ передъ XVI-мъ то важное преимущество, что онъ заранѣе знаетъ, въ чемъ послѣдующіе вѣка должны увидѣть его варварство...

У насъ было довольно переводовъ стихами драмъ Шекспира. Лучшіе изъ нихъ доселѣ принадлежали Вронченко («Гамлетъ» и «Макбетъ»). Но переводы Вронченко, вѣрно передавая духъ Шекспира, не передаютъ его

изящности. Кронебергъ умѣлъ счастливо выполнить оба эти условія: его переводъ вѣренъ и духу, и изящности подлинника, исполненъ въ одно и то же время и энергіи, и легкости выраженія. Это рѣшительно не только лучший, сравнительно съ другими русскими переводами, но положительно превосходный переводъ одной изъ лучшихъ трагедій Шекспира, такъ же, какъ его же переводъ «Двѣнадцатой Ночи» («Отечественныя Записки» 1841, томъ XVII) есть единственный и превосходный переводъ одной изъ прелестнѣйшихъ комедій Шекспира.

Теперь остается намъ сказать о трехъ статьяхъ теоретическаго содержания въ «Петербургскомъ Сборникѣ». «Капризы и Раздумье», Искандера, автора повѣсти: «Кто виноватъ?» (въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года) и разныхъ статей литературно-философскаго содержанія, — есть родъ замѣтокъ и афористическихъ размышленій о жизни, исполненныхъ ума и оригинальности во взглядѣ и изложеніи. Не можемъ удержаться, чтобъ не выписать небольшого отрывка:

„Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и вѣчныхъ потребностяхъ; объ ней въ замомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плагиной жизни балладъ и глупой жизни идилліи. Только дѣта юности обставлены похудожественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви — утомительное *всегда idem* задушной жизни, ежедневной жизни — это тѣ же. *спальня*, душная дѣтская, грязная кухня, *здѣ* *засты* никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни: впрочемъ, украдкой, безознательно, *даже* вопреки убѣжденіямъ, мѣняя образъ жизни, люди не причинались въ этомъ: знамена остались тѣ же, люди, какъ испанцы, хотя только сохранить *фузросы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соответствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивившись, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время созмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженные выходы рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя правоученія благочестивыхъ ошельниковъ степей енваидскихъ и свокорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣяствія; это милый обманъ, нравственная благоприспособность, одежда — не болѣе. У каждаго человѣка за его официальной моралью есть свой сиратанный *esprit de conduite*: официально онъ будетъ плакать о томъ, что былъ

ный бѣдень, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины, — *privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ безчестить женщину, если условился съ нею въ цѣвѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сбѣдали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернитъ его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуриеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть открытую безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному бессилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ и это лганье сбѣдалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго — по тому, что никогда не добьешься отъ него, чтобы онъ открыто сказалъ свое мнѣніе.

„Наполеонъ говорилъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемирной жизни, пока не бросится въ явнѣ *подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецѣ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физиологій, а волосяные сосуды, а клѣтчатка, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненные энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр., и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говорить, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ срудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прятать не прятать — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein  
Still und fein gesponnen,  
Kommt — wie kann es anders sein? —  
Endlich an die Sonnen.

„Издѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься... для того, чтобы потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій че-

ловѣкъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобы убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, разсказанному во всей его непонятности. „Его жена уѣхала вчера отъ него“ — скверная женщина! „Отецъ его лишилъ наследства“ — скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобы преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые если шли въ театръ, то для того, чтобы посмотреть, какъ цари, герои или по крайней мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобы видѣть мѣщански проливаемые слезы.

„Людемъ необходимы декораціи, обстановка, надписи; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говорить прозой — мы хохочемъ надъ нимъ; а многие лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса — и мы не плачемъ надъ ними.

„Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное — въ этомъ никто не сомнѣвается: да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго, — разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напримѣръ, мой сорѣдъ, этотъ богатый откупщикъ своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжныя родители стояли передъ нею на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣніе, ихъ честь — продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ огливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и не мудро: ядь у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. „Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши,“ — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому что онъ хочетъ, — себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его, на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. „Все такъ, — говорятъ умнѣйшіе, — но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу.“

„А позволите спросить: возможно ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность; Курпій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали — это понятно,



а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву—да гдѣ же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву, — такая жертва само собою разумѣется, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на кулѣ, потребовалъ сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви, и не найдя ея, началъ раг дѣрит тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту раг форсе, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ: оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гieny, сказалъ бы я, если бѣ гieny улыбались: хищные зѣтри добросовѣстны: они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена—супругъ воздвигнетъ монументъ; обѣ немъ будутъ жалѣть больше, нежели обѣ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами откровеннымъ: онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

„Людамъ неперемѣнно надобны видимые знаки, несчастью нѣмому они сочувствовать не могутъ. „Вотъ видите этого толстаго мужика съ усамы — онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ“, — и вѣтъ: „ахъ, Боже мой бѣдный, что онъ вынесъ!“. Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравняться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши; тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ итти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело—я это знаю лучше многихъ, но становить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершенству, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

„Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится вочникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча, — на меня находятъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной выдаются горячія слезы, —

слезы, о которыхъ никто не вѣдаетъ, — слезы обманутыхъ надеждъ, — слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно вѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ неперемѣнно кому-нибудь да солоно жить.

„Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіе шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

„Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій, —имъ надобны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее, — дѣло дѣтское.“

Въ статьѣ своей «О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ» Никитенко разсматриваетъ одинъ изъ интереснѣйшихъ современныхъ вопросовъ изъ сферы искусства и удовлетворительно рѣшаетъ его съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ и изяществомъ изложенія, показавъ настоящія отношенія между народными и общечеловѣческимъ. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывокъ не далъ бы о ней никакого понятія, потому что вся она есть не что иное, какъ стройно-логическое развитіе одной основной идеи.

О статьѣ Бѣлинскаго «мысли и замѣтки о русской литературѣ» по извѣстнымъ публикѣ отношеніямъ ея автора къ нашему журналу, мы не считаемъ себя въ правѣ говорить, предоставляя судить о ней читателямъ. Думаемъ однако жъ, что во всякомъ случаѣ она не повредила достоинству альманаха.

Успѣхъ «Петербургскаго Сборника» упродилъ наше о немъ сужденіе. Дивиться этому успѣху нечего: такой альманахъ—еще небывалое явленіе въ нашей литературѣ. Выборъ статей, ихъ многочисленность, объемъ книги, внѣшняя изящность изданія, — все это, вмѣстѣ взятое, есть небывалое явленіе въ этомъ родѣ; оттого и успѣхъ небывалый.

## Мысли и замѣтки о русской литературѣ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жиз-

ни. Только въ ея сферѣ, перестанемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разьединенія: у каждого нашего сословія

все свое, особенное—и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стѣдѣть только провести вечеръ, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студентъ, семинаристъ, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществѣ, вы можете подумать, что присутствуете при раздѣленіи языковъ... Такъ велико раздѣденіе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ раздѣденія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста раздѣденяетъ ихъ. Многіе думаютъ, что спѣсь, остатокъ славянской старины, уничтожаетъ у насъ социальность (sociabilité). Если это и справедливо, то развѣ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходится съ людьми низшаго званія; но люди низшихъ званій чѣмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бѣда въ томъ, что это сближеніе всегда бываетъ внѣшнимъ, формальнымъ, похожимъ на шапочное знакомство; самолюбію богатаго купца льститъ знакомство даже съ бѣднымъ дворяниномъ, но, перознакомившись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается вѣрнѣ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, то есть купеческаго, званія. Этотъ духъ особености такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенныя отгѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не походить, если иногда то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?.. У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать, что такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозреваютъ живой связи ихъ искусства съ наукой, съ литературой, съ жизнью. И потому свѣдѣе такого ученаго съ такимъ художникомъ, — и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будутъ не разговоромъ, а работой. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятилъ себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ проницательской улыбкой на философію и исторію и на тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику смотритъ просто какъ на вздоръ. Такъ-называемый нашъ «словесникъ» съ презрѣніемъ смотритъ на математику, которая не далась ему въ школѣ. Скажутъ: все это не духъ раздѣдені-

ня, а духъ полупросвѣщенія или полуобразованности. Такъ! но вѣдь всѣ эти люди получили первоначальное образованіе, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школѣ математикѣ, а математикъ—словесности. Многіе изъ нихъ даже очень хорошо рассуждаютъ при случаѣ о томъ, что существуетъ только искусственное раздѣденіе наукъ, а существаго нѣтъ и быть не можетъ, потому что всѣ науки составляютъ одно знаніе объ одномъ предметѣ—о бытіи, что искусство такъ же, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формѣ, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всѣхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя разсужденія придется имъ приложить къ дѣлу, — тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые поглядываютъ другъ на друга или съ нѣкоторой проницательской улыбкой и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какой-то недовѣрчивостью... Какъ же тутъ требовать социальности между людьми различныхъ сословій, изъ которыхъ каждое по-своему и думаетъ, и говоритъ, и одѣвается, ѣстъ и пьетъ?..

И однако жъ, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомнѣнно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это ужъ важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другого; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ, — и теперь со дня на день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ что починять ихъ — значило бы придавать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрываго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того неизбежное, паденіе. И если теперь раздѣденныя этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескочивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незамѣтно, теперь дѣлается быстрѣе и замѣтнѣе, — и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается. Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами, и черезъ стѣны, туннелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между

собой въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

Но начало этого сближенія сословіи между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ исключительно нашему времени; оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, сплоченное въ одну массу только одними матеріальными интересами, было бы жалкимъ и нечеловѣческимъ обществомъ. Какъ бы ни были велики внѣшнее благоденствіе и внѣшняя сила какого-нибудь общества, — но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, желѣзныя дороги и вообще всѣ матеріальныя движущія силы составляютъ первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвѣщенію и образованію, — то едва ли можно позавидовать такому обществу... Въ этомъ отношеніи намъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвѣщеніе и образованіе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ мелкимъ и едва замѣтнымъ, но зато изъ выспяго и благороднѣйшаго источника — изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укоренилось. Листвъ его мелко и рѣдко, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубоко, что его не вырвать никакой бурѣ, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ, — корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанете онъ давать новые отпрыски и разрастаться...

Говори объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятія и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другаго, положила начало внутреннему сближенію сословіи, образовала родъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто въ родѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго средняго сословія отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословіи, сблизившихся между собой черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

Если хотите понять и оцѣнить вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ея различныхъ эпохъ, поговорите съ ними или заставьте ихъ поговорить

между собой. Литература наша такъ молодая, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществѣ всѣхъ ея представителей. Первое замѣчательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ разбѣромъ, Ломоносова «Ода на взятіе Хотина», явилось въ 1739 году, ровно 107 лѣтъ тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 лѣтъ назадъ тому. Теперь, конечно, нѣтъ уже людей, которые видѣли бы Ломоносова хотя въ дѣтствѣ ихъ, или, видѣвши его, могли бы помнить объ этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу, и которые и теперь считаютъ его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помнятъ и лицо, и голосъ Державина, и эпоху его полной славы считаютъ лучшимъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убѣждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэтъ Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ поколѣній къ таланту творца «Россіады» и «Владимира»? Есть еще много стариковъ, которые съ умилениемъ вспоминаютъ о трагедіяхъ Сумарокова и при спорѣ готовы наизусть продекламировать лучшія, по ихъ мнѣнію, тирады изъ «Димитрія Самозванца». Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова дѣйствительно очень устарѣлъ, укажутъ вамъ съ особымъ уваженіемъ на трагедію и комедію Княжнина, какъ на образецъ драматическаго паѳоса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковѣ и Княжнинѣ, но тѣмъ съ большимъ жаромъ и съ большей увѣренностью заговорятъ объ Озеровѣ. Что же касается до Карамзина, — не только старыя, но и старѣющія поколѣнія беззавѣтно принадлежатъ ему душой и тѣломъ, чувствуютъ, думаютъ и живутъ его духомъ, несмотря на то, что они не только читали Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всѣми ими болѣе или менѣе... Потомъ есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина и съ благоговѣніемъ говорятъ о Жуковскомъ, какъ будто уваженіе къ послѣднему несомнѣнно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдываютъ свое предубѣжденіе на счетъ его тѣмъ, что они понимаютъ Пушкина!... Но не думайте, чтобы все это были чисто-литературныя факты; нѣтъ, если вы внимательнѣе присмотритесь и прислуша-

етесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества,—вы не можете не замѣтить болѣе или менѣе живого отношенія между ихъ литературными и ихъ житейскими понятіями и убѣжденіями. Что же касается собственно до литературнаго ихъ образованія,—это люди, раздѣленные другъ отъ друга какъ будто столѣтіями, потому что наша литература съ небольшимъ во сто лѣтъ пробѣжала разстояніе не одного вѣка. И потому была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эпическихъ поэмъ, и обществомъ, которое ходило плакать на Лизинъ прудъ;—между обществомъ, которое жадно читало «Людмилу» и «Свѣтлану», упивалось фантастическими ужасами «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» или вѣжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки «Золовой Арфы».—и между обществомъ, которое для «Евгенія Онегина» забыло и «Кавказскаго Пльнника», и «Бахчисарайскій Фонтанъ», для «Горя отъ Ума»—комедіи Фонвизина, для «Бориса Годунова»—«Дмитрія Донскаго» Озерова (какъ нѣкогда для послѣдняго забыло оно «Дмитрія Самозванца» Сумарокова, а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ будто охолодѣло къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всѣхъ романистовъ и нувеллистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось... Подумайте только, какое неизмѣримое пространство времени легло между «Иваномъ Выжигинымъ», который вышелъ въ 1829 году, и между «Мертвыми Душами», которыя вышли въ 1842 году... Это различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь и раздѣлило людей на различно дѣйствующія, мыслящая и убѣжденные поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собой признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирой и въ лицѣ Кантемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическія нападки на «крапивное сѣмя» всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминовенія отъ историка русской

литературы. Комедіи Фонвизина были еще болѣе заслугой предъ обществомъ, нежели предъ литературой. Отчасти то же можно сказать и объ «Ябедѣ» Капниста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ по преимуществу лирической, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ, напримѣръ, въ «Фелицѣ», «Вельможѣ» и другихъ пьесахъ. Наконецъ, пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно, смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многие у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя, и его «Ревизора» называютъ «безнравственнымъ» сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ теперь уже никто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человѣкомъ,—нѣтъ, кривое дерево, когда оно уже выросло и потелстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но вѣдь у взяточника также бывають дѣти, какъ и у невзятчиковъ; тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность-то и принимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшение общества! Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственныя убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію...

Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкой соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ в н у т р е н н о разьединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ за свой талантъ и свою ученость достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускають его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сбли-

жасть его съ людьми бѣдными и ничтожными въ гражданскомъ отношеніи. Бѣдный дворянинъ Державинъ за свой талантъ самъ дѣлается вельможей, — и между людьми, съ которыми сблизила его литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу «Громвалдъ», пріѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него переснакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому сорокъ лѣтъ, когда купцы хаживали только въ передніе дворянскихъ домовъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплатѣ котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою черезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время уже нисколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣшанинъ, — кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія ихъ внѣшнія различія и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ «просто людей». Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературой! Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множественномъ людей, связанныхъ между собою внутренно. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы, — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно, не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связываютъ людей и общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и при этомъ взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивались до сихъ поръ и еще долго будутъ сосредоточиваться исключительно въ литературѣ: она — живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія...

• По видимому, нѣтъ ничего легче, а въ сущности нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать о русской литературѣ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, положимъ, младенецъ-Алкидъ, но все же младенецъ. А о дѣтяхъ вообще гораздо труднѣе сказать что-нибудь положительное, опре-

дѣленное, нежели о взрослыхъ людяхъ. При томъ же наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собой зрѣлице всевозможныхъ противорѣчій, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама собой, а была сперва пересадкомъ на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому объ нашей литературѣ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаетъ въ богатствѣ и зрѣлости ни одной европейской литературѣ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ гениевъ и сотнями нашихъ талантовъ; или доказывайте, что у насъ вовсе нѣтъ литературы, что наши лучшіе писатели — или случайныя явленія, или просто ничего не стоятъ: въ обонхъ случаяхъ васъ по крайней мѣрѣ поймутъ, и ваше мнѣніе найдетъ себѣ жаркихъ послѣдователей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ — одно изъ свойствъ еще не установившейся природы русской; русскій человѣкъ любитъ или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать. И потому у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ европейцевъ, которые съ восхищеніемъ говорятъ о послѣдней фельетонной сказкѣ выписавшагося французскаго беллетриста, или съ амфазомъ поютъ новый водевильный куплетъ, давно забытый парижанами, — и съ презрительнымъ равнодушіемъ или съ оскорбительной недовѣрчивостью смотрятъ на гениальное произведеніе русскаго поэта, для которыхъ Россія не имѣетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можетъ; а съ другой стороны, у насъ такъ много къ снѣжныхъ патротовъ, которые всѣми силами натягиваются ненавидѣть все европейское — даже просвѣщеніе и любить все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристаньте къ одной изъ этихъ партій, — она сейчасъ же произведетъ васъ въ великіе люди и въ гении, тогда какъ другая — возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣя враговъ, вы будете имѣть и друзей. Держась же безпристрастнаго, трезваго мнѣнія объ этомъ предметѣ, вы возстановите противъ себя обѣ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, полугайнымъ презрѣніемъ; другая, пожалуй, объявитъ васъ человѣкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ, и будетъ писать на васъ литературныя донесенія — разумѣется, публикѣ... Самое неприятное тутъ то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣмъ его добромъ

и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчiями, которыя онъ носитъ въ самомъ себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собой столько крайностей и противорѣчiй, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицанiемъ или противорѣчiемъ. Такъ напримѣръ, сказавши о сильномъ и благотворномъ влiянiи нашей литературы на общество и, слѣдовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому влiянiю и этой важности не приписали большихъ размѣровъ, нежели какiе мы разумѣли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенiя, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любой европейской литературой. Подобное заключенiе было бы всячески должно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведениями, если брать въ соображенiе ея средства и молодость,—но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованiя, потому что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредѣленна и безцвѣтна для того, чтобы иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себѣ за славу копировать европейскiе образцы, который за картины русской жизни выдавалъ коши съ картинъ европейской жизни. И это составляетъ характеръ цѣлой эпохи литературы нашей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдѣлалась мастеромъ, и вмѣсто того, чтобы копировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, просто-душно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смѣло начала воспроизводить картины и европейской, и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполне мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспѣшно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ перiода нашей литературы отъ Пушкина до Гоголя. Съ появленiя Гоголя литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дѣйствительности. Можетъ быть, черезъ это она сдѣлалась болѣе односторонней и даже однообразной, зато и болѣе оригинальной, самобытной, а слѣдовательно, и истинной.

Теперь взглянемъ на эти перiоды русской литературы въ отношенiи къ ихъ значенiю не для насъ, а для иностранцевъ. Нѣтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имѣютъ для насъ великое значенiе; но попробуйте перевести ихъ сочиненiя на любой европейскiй языкъ, — и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтутъ, то много ли найдутъ въ нихъ интереснаго для себя. Они скажутъ: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ русскихъ писателей.» То же бы самое сказали они и о сочиненiяхъ Дмитрiева, Озерова, Батюшкова, Жуковского. Изъ всего этого перiода былъ бы имъ интересенъ только одинъ писатель—баснописецъ Крыловъ; но онъ рѣшительно непереводимъ ни на какой языкъ въ мiрѣ, и его могутъ опѣнить только тѣ изъ иностранцевъ, которые знаютъ русскiй языкъ и долго жили въ Россiи. Итакъ, цѣлый перiодъ русской литературы рѣшительно не существуетъ для Европы. Что же касается до второго,—онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ извѣстной степени. Если бы такiя произведения Пушкина, какъ, напримѣръ, «Мопартъ и Сальери», «Скупой Рышарь», «Каменный Гость», были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскiй языкъ,—иностранцы не могли бы не признать ихъ превосходными созданiями поэзiи, но тѣмъ не менѣе эти пьесы не имѣли бы для нихъ почти никакого интереса, какъ созданiя русской поэзiи. То же можно сказать и о лучшихъ произведенiяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хороши были переводы ихъ сочиненiй. Причина очевидна; хотя въ творенiяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскiй умъ, сила и глубокость чувства,—однако жъ эти качества виднѣе намъ, русскимъ, нежели иностранцамъ, потому что русская національность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскiй поэтъ могъ налагать на свои произведенiя ея рѣзкую печать, выражая въ нихъ общечеловѣческiя идеи. А требованiя европейцевъ въ этомъ отношенiи велики. И не мудрено: национальный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытно и рѣзко отражается въ ихъ литературахъ, что, какъ бы ни было велико въ художественномъ отношенiи произведенiе, не запечатлѣнное рѣзкой печатью национальности,—оно уже теряетъ въ глазахъ европейца главное свое достоинство. Въ какомъ-нибудь Марриетѣ, Бульверѣ или еще менѣе значительномъ беллетристѣ англiйскомъ вы такъ же точно видите англiчани-

на, какъ и въ Шекспирѣ, Байронѣ, Вальтеръ-Скоттѣ. Жоржъ-Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собой крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаетъ собой все прекрасное, человѣческое и высокое, а послѣдній—ограниченное и пошлое французской національности, — однако вы сейчасъ видите, что оба они равно могли явиться только во Франціи. Какой-нибудь Клауренъ или Августъ Лафонтенъ такъ же нѣмцы, какъ Гёте и Шиллеръ. Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую или слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штемпель, лежитъ тамъ какъ на произведеніи генія, такъ и на произведеніи бездарнаго писака. Французы оставались въ высшей степени національными, изъ всѣхъ силъ подражая грекамъ и римлянамъ. Видандъ остался нѣмцемъ, подражая французамъ. Барьеры національности непреходимы для европейцевъ. Можетъ быть, это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всѣ національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся въ своихъ произведеніяхъ и греками, и римлянами, и французами, и нѣмцами, и англичанами, и итальянцами, и испанцами; но эта выгода въ будущемъ, какъ указание на то, что наша національность должна выработаться широко и многосторонне. Въ настоящемъ же это пока скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредѣленность своего собственного личнаго начала.

И потому для иностранцевъ интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ «Евгеній Онѣгинъ» былъ бы для иностранцевъ интереснѣе «Моцарта и Сальери». «Скупой Рыцаря» и «Каменнаго Гостя». И вотъ почему самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Это не предположеніе, а фактъ, доказанный замѣчательнымъ успѣхомъ во Франціи перевода пяти повѣстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Парижѣ Луи Виардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ громадности своего художественнаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской житейской дѣйствительности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ страной, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи Гоголь—самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочине-

ній, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобъ геній его былъ признанъ вездѣ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобъ, будучи національнымъ, онъ въ то же время былъ и всемірнымъ, то есть, чтобы національность его твореній была формой, тѣломъ, плотью, физиономіей, личностью духовнаго и безплотнаго міра, общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имѣлъ великое историческое значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло всемірно-историческое значеніе. Такие поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ челоуѣчества всемірно-историческую роль, то есть своею національною жизнью имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего челоуѣчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы нельзя быть всемірно-историческимъ поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не всемірно-историческимъ поэтомъ, то есть имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право ставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы,—даже и въ такомъ случаѣ, если бы мы ясно видѣли, что со стороны таланта онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Пьесы Пушкина: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» и «Каменный Гость» такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онъ достоинъ генія самого Шекспира; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Пушкинъ былъ равенъ Шекспиру. Не говоря уже о томъ, что есть большая разница въ силѣ и объемѣ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина,—если бы Пушкинъ написалъ столько же и въ такой же мѣрѣ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смѣлой гипотезой. Тѣмъ болѣе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бѣдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ произведеній Шекспира. Вообще мы скорѣе можемъ сказать, что въ нашей литературѣ есть нѣсколько произведеній, которыя мы можемъ, по ихъ художественному до-

стоинству, противопоставлять нѣкоторымъ гениальнымъ произведениямъ европейскихъ литературъ; но мы не можемъ сказать, чтобъ у насъ были поэты, которыхъ мы могли бы противопоставлять европейскимъ поэтамъ первой величины. Есть глубокой смыслъ въ томъ, что мы пуждаемся въ знакомствѣ съ великими поэтами иностранныхъ литературъ, и что иностранцы не нуждаются въ знакомствѣ съ нашими. Отношеніе нашихъ великихъ поэтовъ къ великимъ поэтамъ Европы можно выразить такъ: о нѣкоторыхъ пьесахъ Пушкина можно сказать, что самъ Шекспиръ не постыдился бы назвать ихъ своими, такъ же какъ нѣкоторыя пьесы Лермонтова самъ Байронъ не постыдился бы назвать своими; но не рискуя властью въ нелѣпность, нельзя сказать наоборотъ, что подъ нѣкоторыми сочиненіями Шекспира и Байрона Пушкинъ и Лермонтовъ не постыдились бы подписать своего имени. Мы можемъ называть нашихъ поэтовъ Шекспирами, Байронами, Вальтеръ-Скоттами, Гете, Шиллерами и пр. только для показанія силы или направленія ихъ таланта, но не ихъ значенія въ глазахъ всего образованнаго міра. Кого называютъ не своимъ именемъ, тотъ не можетъ быть равенъ тому, чьимъ именемъ его называютъ. Байронъ явился послѣ Гете и Шиллера,—и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ Гёте или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россіи придетъ время производить поэтовъ всемірнаго значенія,—этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому что будетъ типическимъ.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можетъ въ настоящее время достигать равнаго съ нимъ значенія,—мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можетъ соперничествовать съ нимъ только въ формѣ, но не въ содержаніи своей поэзіи. Содержаніе даетъ поэту жизнь его народа, съидовательно, достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависятъ прямо и непосредственно не отъ самого поэта и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только тридцать-шесть лѣтъ прошло съ того вѣчно-памятнаго дня, какъ Россія громами подтавской битвы возвѣстила міру о своемъ приобщеніи къ европейской жизни, о своемъ вступленіи на поприще всемірно-историческаго существованія,—и какой блестящій

путь преусианія и славы совершила она въ этотъ короткій срокъ времени! Это что-то баснословно-великое, безпримѣрное, нигдѣ и никогда не бывало! Россія рѣшила судьбы современнаго міра, «поваливъ въ бездну тяготѣвншія надъ царствами кумирь», и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мѣсто между первоклассными державами Европы, она вмѣстѣ съ ними держитъ судьбы міра на вѣсахъ своего могущества... Но это показываетъ, что мы ни отъ кого не отстаемъ, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи—важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но въ одномъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всѣхъ сторонъ, долженствующихъ составлять полноту и цѣлость жизни великаго народа. Въ будущемъ мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, помимо на всѣхъ европейской жизни еще и русскую мысль. Тогда будутъ у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имѣть право равнять съ европейскими поэтами первой величины. Но теперь будемъ довольны тѣмъ, что есть, не превеличивая и не уменьшая того, чѣмъ владѣемъ. По времени наша литература оказала огромные успѣхи, свидѣтельствующіе несомнѣнно о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинается интересоваться даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно одностороненъ, потому что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы могутъ находить для себя только мѣстный колоритъ, живопись правды и обычаевъ столь рѣзко противоположной имъ страны...

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто бы равнодушіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературѣ; то на критиковъ, будто бы старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія; между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неутомимые защитники нашей литературы, скромно величающіе себя «патріотами» и «правдолюбями», больше всего жалуются на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но факты говорятъ совсѣмъ другое: изъ нихъ ясно, какъ дважды два—четыре, что у насъ хорошо расходятся даже сколько-нибудь порядочныя книги, не говоря уже о превосходныхъ. «Героя нашего времени» въ прс-



долженіе шести лѣтъ разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуется третье изданіе, несмотря на то, что они всё были первоначально напечатаны въ журналѣхъ; «Вечера на Хуторѣ» Гоголя печатались едва ли не четыре раза; «Ревизора» разошлось три изданія; второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; «Мертвыя Души», напечатанныя въ 1842 году въ числѣ двухъ тысячъ четырехсотъ экземпляровъ, давно расхvatаны до послѣдняго экземпляра. Даже повѣсти графа Соллогуба, прочитанныя публикой въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; «Таранасъ», вѣроятно, тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорятъ даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатаютъ такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ «правдолюбивъ», жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это доказываетъ только, какъ невыгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазіи эти господа вздумали свалить вину паденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будто бы ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія стоятъ одно другого. Обвинители говорятъ, будто наша литература гибнетъ оттого, что въ журналахъ печатаются цѣликомъ многотомные романы, исторіи и тому подобное. Они даже увѣряютъ, что сама публика недовольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесятъ рублей въ годъ приобретать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдѣльно, обошлись бы ей чуть ли не впятеро дороже!.. Какъ же послѣ этого публикѣ не жаловаться на журналы! Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своимъ чередомъ?—Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большомъ количествѣ экземпляровъ: журналы вамъ не помѣшаютъ. Несмотря на то, что книги и у насъ сдѣлались гораздо дешевле, нежели какъ были онѣ лѣтъ за пятнадцать назадъ тому, когда крошечные альманахи, сѣренько издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтеръ-Скотта и оригинальные русскіе романы—по двадцати и больше рублей ассигнаціями за экземпляръ,—несмотря на то, книги у насъ еще и теперь—страшно дорогой товаръ. Это, къ несчастію, слишкомъ хорошо знаютъ тѣ, кто считаетъ за необходимое имѣть въ своей библиотекѣ сочиненія всѣхъ извѣстныхъ русскихъ писателей. Только въ прошломъ году вышло изда-

ніе сочиненій Державина, стоящее три рубля серебромъ,—тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слѣдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоитъ пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковского теперь съ трудомъ можно приобрести и за пятнадцать рублей серебромъ, потому что изданіе давно разошлось, а новаго все нѣтъ какъ нѣтъ. Сочиненія Пушкина, дурно изданныя, стоятъ до шестидесяти рублей ассигнаціями. «Мертвыя Души» Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новомъ изданіи даже и не слышно. Какъ же процвѣтаетъ книжной торговлѣ, когда публикѣ нечего покупать, при всей ея охотѣ покупать? Скажутъ: у насъ есть книгопродавцы издатели, которые вмѣсто того, чтобы наживаться, только разоряются отъ изданія книгъ. Такъ, но многіе ли изъ этихъ книгопродавцевъ знаютъ толкъ въ товарѣ, которымъ торгуютъ?.. Кто же тутъ виноватъ—неужели толстые журналы?..

Конечно, нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совсемъ похожа, напримѣръ, на французскую въ ея любви къ отечественнымъ талантамъ и отечественной литературѣ. Въ Парижѣ вышло новое изданіе (которое счетомъ—и сказать трудно) сочиненій Гюго въ то самое время, когда Французская академія отказала ему въ званіи своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тѣмъ, что въ нѣсколько дней раскупила все изданіе... У насъ еще невозможны такія явленія. Почти каждый образованный французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библиотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ—что грѣха таить!—не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще у насъ всё охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ гени и славѣ. Это отчасти происходитъ оттого, что наше образованіе еще не установилось и образованныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ быть, еще болѣе существенная, причина, которая не только объясняетъ, но частью и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до сихъ поръ читаютъ, напримѣръ, Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни французы, но

и нѣмцы, и англичане, словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ, но содержаніе ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому что оно тѣсно связано со смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только содержаніе, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, несмотря на измѣненіе языка, нравовъ и понятій въ обществѣ. Тутъ даже и талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ былъ великій, гениальный человѣкъ; его ученныя сочиненія всегда будутъ имѣть свою цѣну; но его стихи для насъ могутъ имѣть только одинъ интересъ—какъ историческій фактъ рождающейся литературы, а больше никакого. Читать ихъ и скучно, и трудно. На это можно рѣшиться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ гениемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читаютъ теперь, то больше съ цѣлью изученія исторіи русской литературы, нежели для прямого эстетическаго наслажденія. Карамзинъ изъ торной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкціи, славяно-церковныхъ реченій и оборотовъ и схоластической надутости выраженія вывелъ русскій языкъ на настоящій и естественный ему путь, заговорилъ съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу, и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всей охотой, и считаемъ для себя не только за долгъ, но и за наслажденіе быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не даетъ содержанія «Вѣдной Лизѣ», «Натальѣ Боярской Дочери», «Марѣ Посадницѣ» и пр., яе сдѣлаетъ ихъ интересными для нашего времени и не заставитъ насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразятъ: «Таково было ихъ время, они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время.» Согласны, совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусахъ спорить трудно; но если кого изъ старыхъ писателей нашихъ можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонвизина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совѣтъ не записки или мемуары. Фонвизинъ былъ необыкновенно умный человѣкъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминированной сторонѣ своего времени, но смотрѣлъ больше

на его внутреннюю, домашнюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловѣ не говоримъ: всѣ мы, разъ заучивъ его въ дѣтствѣ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовѣ, Державинѣ и Карамзинѣ многими принято будетъ за *flagrant délit* злостнаго униженія критикой нашихъ литературныхъ славъ. Въ самомъ дѣлѣ, улика на лицо—и намъ нѣтъ спасенія! Но, какъ говорить русская пословица, «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!». Къ счастью, мнѣніе объ униженіи критикой литературныхъ славъ со дня на день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на долю самихъ же такъ-называемыхъ критиковъ, сдѣлалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извѣстностей, падшихъ талантовъ, вышесавшихся сочинителей,—орудіемъ, вполне достойнымъ ихъ!.. Кто не хочетъ превозносить ихъ или, еще болѣе, кто не хочетъ замѣчать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избыточныхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнѣній, но хочетъ, по своему разумію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оцѣнить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мѣсто и значеніе въ русской литературѣ; чтó дѣлать съ такимъ критикомъ, особенно если его мнѣнія находятъ отзывъ въ публикѣ?—Больше нечего съ нимъ дѣлать, какъ кричать о немъ, сколько можно громче и чаще, что онъ унижаетъ литературныя славъ, порочитъ Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского, даже Пушкина!.. Кстати можно намекнуть, что онъ проповѣдуетъ безравственность, развращаетъ молодя поколѣнія, что онъ.. по крайней мѣрѣ—ренегатъ, если не что-нибудь еще хуже.. Это тоже называется «критикой»... Неужели такая критика находитъ еще себѣ послѣдователей въ публикѣ?.. Какихъ—это другой вопросъ, но что находить, это очень возможно, потому что наша читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между ней есть люди, для которыхъ «Ревизоръ» и «Мертвыя Души»—грубые фарсы, а «Сенсация госпожи Курдюковой»—остроумнѣйшее произведеніе; есть люди, которые, какъ сказалъ Гоголь, «любятъ потолковать о литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорить съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ.» Такие люди, или такіе чтецы (читателями ихъ грѣхъ называть) въ критикѣ видятъ или безусловную похвалу, или безусловную брань: имъ такъ легко понимать такую критику, отъ

всякой другой у нихъ закружилась бы голова, потому что имъ пришлось бы думать, что для нихъ всего тяжелѣе и труднѣе. Когда является разборъ сочиненій писателя, написанный въ духъ истинной критики, отдѣляющій въ авторѣ безусловныя достоинства отъ условныхъ, недостатки таланта отъ недостатка времени,—такого разбора помянутые чтецы не станутъ читать; но имъ скажетъ о немъ какой-нибудь присяжный ихъ критикъ, какой-нибудь творецъ всякой всячины, который изо всей мочи хвалить себя да старыхъ писателей, уже не опасныхъ ему, и бранить наповаль все даровитое въ новомъ поколѣніи. Этотъ критикъ по-своему разберетъ для своихъ чтецовъ вновь явившійся разборъ, вырветъ изъ него по строчкѣ, по слову изъ страницы и воскликнетъ: можно ли такъ унижать вслуженные авторитеты! И чтецы вѣрятъ ему, потому что понимаютъ его: онъ говорить имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями, ихъ чувствами, ихъ вкусомъ,—*les beaux esprits se rencontrent*... Имъ, этимъ чтецамъ, и въ голову не входитъ, что правда не унижаетъ таланта, такъ же, какъ и ошибочное мнѣніе не вредитъ ему, что унижить можно только незаслуженную извѣстность, и что, слѣдовательно, независимое сужденіе о литературѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вредно, но часто бываетъ полезно. Изобрѣтатель такой критики увѣритъ своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что критикъ, при имени котораго онъ не можетъ оставить хладнокровнымъ, хвалить только своихъ друзей; а чтецы и вѣрятъ печальному: гдѣ же имъ справляться, что этотъ критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми писателями, которымъ онъ удивляется?—Это дѣло частное; и гдѣ же имъ сообразить, что онъ еще не родился на свѣтъ, когда умеръ Ломоносовъ, и не знаетъ еще грамоты, когда умеръ Державинъ и когда былъ въ полномъ своей славы Карамзинъ и Жуковский, заслугамъ и гению которыхъ онъ отдастъ полную справедливость, но только не съ чужого голоса и не безотчетно?—Для соображенія вѣдь нужна способность соображать. Гораздо легче повѣрить на слово тому, кто повторяетъ себѣ да и то только: хвалить-де все своихъ приятелей...

Вообще вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи проглядываетъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткость и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно сдѣлавшіяся аксіомами, давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ,—у насъ все еще не подвергались сужденію,

еще не всеѣмъ извѣстны. Вы, напримеръ, не написали никакой книги, а между тѣмъ издаете журналъ, пользующійся огромнымъ успѣхомъ,—и ваши противники кричатъ, что вашъ журналъ плохъ, потому что вы не написали никакой книги. Это «потому что» очень оригинально! Да если журналъ хорошъ, какое вамъ дѣло до того, написалъ или не написалъ его издатель книги?—Вы занимаетесь критикой, и хоть на столько успѣшно, чтобы живо затронуть чужія мнѣнія или пристрастія и нажать себѣ враговъ: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положенія, оспаривать ваши выводы. Нѣтъ, вмѣсто всего этого они начнутъ вамъ говорить, что, ничего не написавши сами, вы не имѣете права критиковать другихъ; что вы молоды, а между тѣмъ судите о произведеніяхъ людей, которые уже стары, и т. д. Подобныя выходы хоть кого приведутъ въ затруднительное положеніе,—не потому, чтобы трудно было отвѣчать на нихъ, а потому именно, что слишкомъ легко отвѣчать на нихъ. Но у кого же достанетъ духу опровергать подобныя мнѣнія, съ важностью доказывать, что можно не быть поваромъ—и вѣрно судить о столѣ; не быть портнымъ—и безошибочно сказать свое мнѣніе о достоинствѣ или недостаткахъ новаго фрака;—такъ же точно, какъ не умѣть писать стиховъ, романовъ, повѣстей, драмъ—и быть въ состояніи дѣльно и здраво судить о чужихъ произведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастрономіи имѣть тонкій вкусъ есть своего рода талантъ—то тѣмъ болѣе это въ сферѣ искусства, и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которыя даже пошлы, потому именно, что слишкомъ очевидны, какъ, напримеръ, то, что лѣтомъ тепло, а зимой холодно, что подъ дождемъ можно вымочиться, а передъ огнемъ высушиться. А между тѣмъ у насъ иногда необходимо защищать подобныя истины всей силой логики и диалектики... Но это еще можетъ быть только или смѣшно, или досадно, смотря по расположенію вашего духа; но бываютъ явленія, отъ которыхъ не захочется смѣяться. Вспомните только, что произведеніе, вѣрно схватывающее какіе-нибудь черты общества, считается у насъ часто пасквиломъ то на общество, то на слово, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели, да мелодраматическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобъ ему было широко и просторно жить, готовъ, если бы могъ, запретить другимъ жить... Писаки

фризовыхъ шинеляхъ, съ небритыми подбородками, пишутъ на заказъ мелкимъ книгопродавцамъ плохія книжонки: что жъ тутъ худого? Почему писака не находитъ свой кусокъ хлѣба, какъ онъ можетъ и умѣть? — Но эти писаки портятъ вкусъ публики, унижаютъ литературу и званіе литератора? — Положимъ, такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика. — Нѣтъ, намъ этого мало: будь наша воля — мы запретили бы писакамъ писать вздоры, а книгопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходятъ подобныя мысли? — изъ журналовъ, отъ литераторовъ!... Между ними есть ужасные запретители: кромѣ своихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ... Нѣкоторые и на этомъ не остановились бы, но желали бы запретить продажу всякихъ другихъ товаровъ, — даже хлѣба и соли, кромѣ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направленіе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ — Поль-де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шелъ себѣ впередъ. Публика въ отношеніи къ нему раздѣлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рѣшительно противъ него, — что, впрочемъ, нисколько не мѣшало ей раскупать, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ, и большинство публики стало за него: что дѣлать порицателямъ? Они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій не по настоящему пути; но вмѣстѣ съ этимъ стали давать знать и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ и т. п. Но эти господа хлопочуть совсѣмъ не о чиновникахъ, а о самихъ себѣ: имъ бы хотѣлось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имѣя ничего хорошаго, поневолѣ принялась за чтеніе ихъ сочиненій и начала бы снова покупать ихъ... И это все печатается, а публика читаетъ, потому что если бы этого никто не читалъ, то это и не печаталось бы... Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже послѣдователей. Что же это, если не незрѣлость и не шаткость общественнаго мнѣнія? Но со всѣмъ этимъ истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой безпорядочной битвы мнѣній. Если всякій ложный и пустой, но блестящій талантъ непременно пользуется успѣхомъ, то не было еще примѣра, чтобы истинный талантъ не былъ

у насъ признанъ и не получилъ успѣха. Ложные авторитеты падаютъ со дня на день. Давно ли слава Марлинскаго — этого жонглера фразы, казалась колоссальной? — Теперь о немъ уже и не говорятъ, не только не хвалятъ, даже и не бранятъ его. Такихъ примѣровъ можно привести много. Все это доказываетъ, что и литература, и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, обѣщающей богатое развитіе въ будущемъ.

Разъ гдѣ-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели беллетристическихъ произведеній, больше гениевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбуждала толки. И дѣйствительно, съ перваго взгляда эта мысль можетъ показаться страннымъ парадоксомъ; но тѣмъ не менѣе она справедлива въ основаніи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только бросить бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы, отъ ея начала до настоящаго времени. Беллетристъ есть подражатель, онъ живетъ чужою мыслью — мыслью генія. Правда, геніи перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были не чѣмъ инымъ, какъ беллетристами въ отношеніи къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились писать, заимствовали и форму, и мысли; но въ нашей литературѣ роль ихъ была совсѣмъ другая. Кантемиръ подражалъ Гоцію и Буало и со всѣмъ тѣмъ въ русской литературѣ былъ совершенно оригинальнымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видѣли въ немъ генія, и уваженія для потомства, которое видитъ въ немъ одно изъ замѣчательныхъ лицъ нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношеніи о Ломоносовѣ, Державинѣ и Фонвизинѣ: это были дѣйствительно гениальные люди, а второй изъ нихъ даже былъ дѣйствительно гениальнымъ поэтомъ. Но и Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ считались въ ихъ время и даже долго послѣ ихъ смерти великими поэтами. Сергій Николаевичъ Глинка — этотъ почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы — и теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаетъ объ этомъ совсѣмъ иначе, однако жъ оно не можетъ не согласиться, что и мнѣніе Сергія Николаевича Глинки и его времени имѣетъ свое основаніе. Первые дѣятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размѣрахъ, которые уже не существуютъ для такихъ

же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успѣховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убѣжденію его современника, далеко оставилъ за собой и баснописца Лафонтена, и трагикова Корнеля и Расина и сравнялся съ господиномъ Вольтеромъ. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Петровъ — Пиндаромъ, Богдановичъ — Зефиръ давалъ ему перо изъ своихъ зрыль, и Амуръ водилъ его рукой, когда онъ писалъ «Душеньку»... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные гении? Много ли породилъ подражателей самъ Державинъ? Правда, торжественныхъ одъ было въ тѣ блаженные времена написано и напечатано миллионы; но это оттого, что тысяча рукъ писали ихъ, и если на каждую руку по одной одѣ — такъ ужъ выйдетъ страшный итогъ. Но много ли дошло до насъ именъ талантливыхъ беллетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, сообщеннымъ нашей литературѣ ея первыми гениями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть талантливыхъ подражателей; но много ли было ихъ у Державина? Нѣсколько одъ написалъ Дмитріевъ, и немного больше написалъ ихъ Капнистъ — вотъ и все... Оды обоихъ этихъ поэтовъ по числу — ничто въ сравненіи съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между тѣмъ такъ естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образу; но у насъ это всегда бывало наоборотъ. Макаровъ и Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно послѣдній, дѣйствовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шаликовъ и, право, не помнимъ, кто еще: такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковского было обширнѣе: у него и теперь, и всегда можно учиться переводить, стихъ его тоже всегда будетъ образцовымъ. Козловъ, Ѳ. Глинка и частью Туманскій были отголосками музы Жуковского. Гений Пушкина породилъ еще болѣе подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта и которые въ свое время пользовались огромной извѣстностью, но всѣ, вмѣстѣ взятые, они едва ли написали половину того, что написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написалъ не очень много, — и какъ скоро пережили они свой талантъ и свою извѣстность! И теперь пишутъ многіе; одинъ сходитъ со сцены, то есть забывается (это у насъ дѣлается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всѣ производятъ довольно много (по крайней мѣрѣ относительно), но каждый особенно пишетъ очень мало. И при томъ всѣ претендуютъ на художественность, на творчество, никто не хочетъ быть

просто рассказчикомъ, сказочникомъ, беллетристомъ. Почти вѣ пишутъ на заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая строчка, каждое слово, каждая запятая, но въ то же время всѣ пишутъ и по вдохновенію. Многіе продаютъ еще ненаписанныя повѣсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разразится повѣстью въ годъ — и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удастся написать въ годъ двѣ повѣсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого у насъ нѣтъ беллетристики, и публикѣ нечего читать. Всѣ сколько-нибудь замѣчательныя произведенія каждаго года (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечестъ по пальцамъ. Во Франціи это дѣлается иначе: тамъ пишутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извѣстный беллетристъ исписываетъ ежегодно цѣлые томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что приметъ его публика — за гения или просто за талантъ. Тамъ беллетристъ пишетъ гораздо болѣе, чѣмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ Занда написала много больше, нежели сколько у насъ пишется многими въ продолженіе многихъ лѣтъ; но кипа сочиненій Жоржъ-Занда въ сравненіи съ киною сочиненій Эжена Сю или Александра Дюма — то же, что озеро въ сравненіи съ моремъ или море въ сравненіи съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется волѣ, и художнику нужно время обдумать и выносить въ умѣ своемъ концентрированную имъ мысль... Въ настоящемъ, въ истинномъ значеніи этого слова у насъ было и есть только три беллетриста: это — Бургаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неумоимость ихъ изумительна...

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи слабѣе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По крайней мѣрѣ хотъ такъ-называемая классическая трагедія имѣла у насъ свое время развитія и успѣховъ. Трагедіи Сумарокова дали пищу нашему рождающемуся театру и не только восхищали современниковъ, но «Димитрій Самозванецъ» давался на провинціальныя театры еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Трагедіи и комедіи Княжнина имѣли для своего времени неотъемлемое достоинство, — и вообще можно сказать, что наше время много бы выиграло, если бъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по части драматической литературы, какимъ для своего времени былъ Княжнинъ. Еще выше его былъ Озеровъ. Изъ этого видно, что классическая

трагедія у насъ развивалась въ продолженіе цѣлыхъ трехъ поколѣній. Явился романтизмъ, — и пошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ, даже народныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужъ и онѣ пишутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсѣмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великолѣпнаго или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дѣлѣ драмы еще больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемъ больше гениевъ (хоть ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ въ своемъ «Борисѣ Годуновѣ» далъ намъ истинный и гениальный образецъ народной драмы; но потому-то, можетъ быть, онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ истиненъ и гениаленъ. По крайней мѣрѣ ни на одномъ драматическомъ произведеніи съ признаками таланта не отразилось вліяніе «Бориса Годунова». Скажутъ: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! но отчего же у насъ появлялись и появляются поэмы въ стихахъ съ признаками таланта, да иногда еще и замѣчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?.. Послѣ «Бориса Годунова» лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежитъ Пушкину же; это — «Русалка». Его драматическія поэмы: «Сцена изъ Фауста», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» «Каменный Гость», тоже не отозвались въ русской литературѣ никакими сколько-нибудь счастливыми опытами. А между тѣмъ во всѣхъ драматическихъ опытахъ Пушкина — великія художественныя созданія...

Такова же участь и нашей комедіи: или что-нибудь необыкновенное, или — меньше чѣмъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это были или переводы, или передѣлки, и въ этомъ отношеніи труды Княжнина заслуживаютъ уваженія, но какъ оригинальныя русскія комедіи—это было странное уродство. «Бригадиръ» и «Недоросль», не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тѣмъ не менѣе были гениальными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вѣрными и мѣткими сатирами въ формѣ комедіи. Были имъ подражанія, но уродливыя и нелѣпыя. Впрочемъ, хоть и поздно, во ихъ вліяніе отозвалось въ комедіи Основьяненко «Дворянскіе Выборы», — произведеніи, имѣющемъ свои недостатки, но и не безъ достоинствъ.

Между «Бригадиромъ» и «Недорослемъ» Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водевилемъ. Это была случайность, хотя и прекрасная; ей и слѣдовало остаться безъ послѣдствій для литературы. «Ябеда» Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейти прямо къ «Горю отъ Ума» Грибоѣдова, потому что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежуткѣ времени отъ Фонвизина до Грибоѣдова, не стѣяютъ упоминовенія. «Горе отъ Ума»—это на половину художественная, на половину сатирическая комедія, этотъ высокій образецъ ума, остроумія, таланта, гениальности, злого, желчнаго вдохновенія,—«Горе отъ Ума» до сихъ поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей литературѣ, въ родѣ котораго ни одинъ талантъ не рѣшился попытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибоѣдова должно перейти прямо къ «Ревизору». Кромѣ этой въ высочайшей степени художественной комедіи, исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истины, Гоголь еще написалъ небольшую комедію — «Женитьба» и нѣсколько сценъ, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему и которыя относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора «Ревизора» и, подобно ему, до сихъ поръ остаются въ нашей литературѣ уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни дерева, ни былинки.. Были, правда, двѣ или три попытки, не совсѣмъ неудачныя, но слишкомъ нерѣшительныя...

Односторонность во взглядѣ на предметы всегда ведетъ къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не былъ лишенъ глубокости и проникаемости. Способность убѣжденія, одна изъ прекраснѣйшихъ способностей человѣческой природы, при односторонности ведетъ къ фанатизму. Литературный фанатизмъ такъ же глухъ и слѣпъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живетъ во имя теорій. Нѣмецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на воспримчивой почтѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ послѣдователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотрѣли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія. Для неисправимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая ихъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они ни

мало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это, впрочемъ, не удивительно: вѣдъ нѣкоторые историки временъ реставраціи настаивали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII.. Въ самомъ дѣлѣ, съ чисто-теоретической точки зрѣнія, не прибѣгая къ живому историческому созерцанію, не много хорошаго можно найти во французской литературѣ, восторгаясь нѣмецкой. Нѣмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нѣмецкая поэзія вышла изъ нѣмецкой эстетики. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стѣдуетъ только вспомнить, какъ писалъ, впрочемъ, гениальный Шиллеръ: въ «Валленштейнѣ» все было имъ не только заранее обдуманно, но и доказано и оправдано, все вышло изъ теоріи, и авторъ писалъ эту драму восемь лѣтъ. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэму изъ жизни Фридриха Великаго; но хотѣлъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всѣ эти явленія, немного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія гению Шиллера, какъ и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціального положенія нѣмцевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, все вышла изъ общественной и исторической жизни и тѣсно слита съ нею. Поэтому о французской литературѣ нельзя судить по готовой теоріи, не впаши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедія Корнеля, правда, очень уродлива по ихъ классической формѣ, и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный гений Корнеля влѣдствіе насильственнаго вліянія Ришельё, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, если бы за уродливой псевдо-классической формой корнелевскихъ трагедій проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ паэоса. Французы нашего времени говорятъ, что Мирабо обязанъ Корнелю лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого удивляйтесь французамъ, что они забываютъ скоро свои романическія трагедіи à la Шекспиръ и до сихъ поръ читаютъ и всегда будутъ читать стараго Корнеля. Каждый изъ знаменитыхъ ихъ писателей неразрывно связанъ съ эпохой, въ которой онъ жилъ, и имѣетъ право на мѣсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторіи Франціи. Здѣсь всѣ мысли о творчествѣ имѣютъ уже нѣсколько другое значеніе, нежели какое имѣютъ онѣ въ нѣмецкой

литературѣ: онѣ должны раздѣлить свою власть и силу съ мыслями объ обществѣ и его историческомъ ходѣ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что «Ревизоръ» есть глубоко-творческое и художественное произведеніе, и что ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводѣ, который они дѣлаютъ изъ этого факта. Дѣйствительно, ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики, потому что всѣ онѣ больше сдѣланы, нежели созданы, часто сбиваются на фарсъ или по крайней мѣрѣ допускаютъ въ себѣ фарсы (какъ, напримеръ, ложные: муфтіи, дервишъ и турки въ „Le Bourgeois-Gentilhomme“); пружины ихъ дѣйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, сатира слишкомъ рѣзко выглядываетъ изъ-подъ формы поэтического изобрѣтенія и т. д. Но вмѣстѣ съ этимъ Мольеръ имѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко поднялъ французскій театръ, — что могъ сдѣлать только человѣкъ даже не просто съ талантомъ, а съ гениемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видѣть на сценѣ, и при томъ непременно на французской сценѣ, потому что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имѣютъ права гордиться именно той или вотъ этой комедіей Мольера, но имѣютъ полное право гордиться комедіями или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому что Мольеръ далъ имъ цѣлый театръ. То же можно сказать и о Скрибѣ. Нельзя указать ни на одну его драму, ни на одинъ водевилъ, какъ на художественное произведеніе, которое всегда будетъ имѣть свою цѣну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ имѣть свою цѣну. а теперь ему и цѣны нѣтъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всѣхъ классовъ, образованныхъ и необразованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя...

У насъ есть нѣсколько высоко-художественныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могутъ составить постоянного репертуара для театра и которыя, при всемъ ихъ достоинствѣ, смертельно надобли бы всѣмъ, если бы кромѣ ихъ ничего не давалось на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надобдается...

У французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но зато есть театръ, который существуетъ для всѣхъ и въ которомъ общество и учится, и эстетически наслаждается...

На чьей сторонѣ выгода?..

Пусть рѣшаютъ читатели. Наме дѣло—сторона.

Чѣмъ отличается гений отъ таланта?—Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудро. Не беремся, но попытаемся объяснить его просто. Что гений и талантъ дается природой, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самого организма человѣка, какъ свѣтъ и теплота есть свойство огня,—объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, на счетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта, и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любятъ, напримѣръ, читать, слѣдить за литературой и хотятъ судить о ней; но которые тогда только смѣло судить о новой книгѣ, когда успѣли прочитать о ней сужденіе журнала, пользующагося ихъ безусловной довѣренностью, и которые чувствуютъ себя въ самомъ затруднительномъ положеніи, если рецензія или критика на книгу, надѣлавшую шуму, долго не является въ ихъ журналѣ? Кому не случалось встрѣчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь кто нибудь рѣзко возразитъ имъ, они тотчасъ же отказываются отъ своего мнѣнія и безусловно соглашаются съ мнѣніемъ возразившаго? Это люди безъ мнѣнія, безъ способности имѣть мнѣніе,—люди, которые могутъ быть сильны только чужимъ мнѣніемъ, и для которыхъ авторитетъ есть необходимость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развитъ инстинктъ чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между тѣмъ это могутъ быть совсѣмъ не глупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самодѣтельности и требуетъ опоры въ авторитетѣ. Толпа болѣею частью состоитъ изъ такихъ людей, и ею всегда и вездѣ управляютъ люди съ болѣею или меншею самодѣтельностью мнѣнія. И вотъ причина, почему толпа не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее дѣйствуютъ другіе, а она только повинуется. Безъ этой нравственной дисциплины въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшная анархія.

Талантъ, какъ способность дѣлать, производить, относится болѣе къ формѣ созданія, и съ этой точки зрѣнія талантъ есть сила внѣшняя, которая можетъ

существовать въ человѣкѣ независимо отъ ума, сердца и другихъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ сторонъ человѣческой природы. Но для формы нужно содержаніе,—и вотъ здѣсь-то получаетъ всю свою важность самостоятельная дѣятельность духовныхъ силъ человѣка. Если есть люди, которые лишены способности имѣть о вещахъ свое мнѣніе и которые принимаютъ чужое мнѣніе цѣликомъ, какъ что-то готовое, о чемъ имъ уже нечего болѣе и думать, то есть люди, которые, вѣчно живя чужимъ мнѣніемъ, имѣютъ способность усвоить его себѣ, развивать, выводить изъ него новыя слѣдствія, находить черезъ него на другія мысли,—и эта способность до того обманываетъ людей этого рода, что они очень добросовѣстно убѣждены въ самостоятельности своей собственной мыслительности. И они почти правы въ этомъ: природы живыя и восприимчивыя, они сами не знаютъ и не помнятъ, отъ кого зашла къ нимъ та или другая мысль, потому что все извнѣ легко и быстро пристаётъ къ нимъ почти безознательно, инстинктивно. Имъ стоить только поговорить съ умнымъ человѣкомъ или прочесть хорошую книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цѣлый рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могутъ не принять за свои собственные. Эти люди, управляясь другими, въ свою очередь имѣютъ большое вліяніе на толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; особенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чѣмъ просвѣщеннѣе и образованнѣе общество, тѣмъ болѣе въ немъ такихъ людей. Наконецъ, есть люди (такихъ очень мало), которые дѣйствительно обладаютъ способностью творческой самодѣтельности своихъ способностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, оригинально, во всемъ видятъ именно то, чего безъ нихъ никто не видитъ, а послѣ нихъ всѣ видятъ и всѣ удивляются, что прежде этого не видѣли. Эти люди совсѣмъ не хитрые и не мудреные; они все понимаютъ просто, но ихъ простое пониманіе сначала кажется всѣмъ очень мудренымъ, а иногда безумнымъ и непонятнымъ, а потомъ кажется ужъ столь простымъ, что нѣтъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ голову — вѣдь это такъ просто! Когда Колумбъ обирался открыть Америку,—на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотѣлъ признать въ этомъ даже заслуги, потому что открытую Америку всѣмъ казалось такъ легко открыть!...

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мы хотѣли сказать о томъ, что талантъ и гений...



Въ наше время талантъ не рѣдкость во всемъ, но особенно въ литературѣ. Просто ни по чемъ! Его часто даже смѣшиваютъ съ гениемъ. И не мудрено, нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ гения. Это приводитъ намъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ разсказываетъ объ авторствѣ своего героя.

«Онъ признавался, что все начатое имъ принимало послѣ первыхъ десяти строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ такое сходство съ писателями, которыхъ читалъ онъ, что онъ краснѣлъ, видя себя способнымъ только на подражаніе. Онъ показалъ мнѣ нѣсколько стиховъ и фразъ, подъ которыми Ламартина, Викторъ Гюго, Поль Курье, Шарль Нодье, Балзакъ и даже Беранже могли бы подписать имена свои. Но всѣ эти опыты, которые можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили бы въ сочиненіяхъ тѣхъ писателей для украшенія индивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ хотѣлъ выразить какую-нибудь идею, вы тотчасъ и увидѣли бы (онъ и самъ тотчасъ же увидѣлъ) явную кражу: идея эта была не его; она принадлежала

этими писателямъ, принадлежала всемъ, только не ему.»

Вотъ вѣчная исторія таланта! Конечно, она не всегда бываетъ именно такой, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ни былъ великъ, онъ не можетъ наложить печати своей личности на свои произведенія, и потому не можетъ быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоить себѣ чужія идеи, онъ не надолго скроетъ, что его вдохновеніе не бьетъ живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только «плѣнной мысли раздраженіе». Но зато какъ бы ни тѣсна и ни ограничена была сфера таланта, но если на его произведеніяхъ виденъ тотъ рѣзкій отпечатокъ личности, который дѣлаетъ произведенія такъ оригинальными, что подъ нихъ невозможно поддѣлаться, тогда это уже не талантъ, а гений. Къ числу такихъ гениальныхъ поэтовъ принадлежитъ въ нашей литературѣ баснописецъ Крыловъ.

## Николай Алексѣвичъ Полевой.

...На жизненныхъ браздахъ,  
Мгновенной жатвой, поколѣнья,  
По тайной волѣ провидѣнья,  
Восходить, зрѣютъ и падаютъ;  
Другія имъ во слѣдъ идутъ...

Пушкинъ.

Всякая сфера дѣятельности безконечно разнообразна и требуетъ различныхъ дѣятелей. Съ перваго взгляда кажется, что науку можетъ поднять и двинуть впередъ только ученый, поэзію—поэтъ, литературу—литераторъ. Безъ всякаго сомнѣнія, безъ ученыхъ наука не могла бы не только подниматься и двигаться, но даже и существовать, такъ же какъ и поэзія—безъ поэтовъ, литература—безъ литераторовъ; однако жъ тѣмъ не менѣе справедливо и то, что наукѣ, искусству и литературѣ оказывали иногда величайшія услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое вліяніе на успѣхи литературы можетъ иногда имѣть книгопродавецъ-издатель? Вспомнимъ Новикова. Этотъ человѣкъ, — столь мало у насъ извѣстный и оцѣненный (по причинѣ почти совершеннаго отсутствія публичности), — имѣлъ сильное вліяніе на движеніе русской литературы и, слѣдовательно, русской обра-

зованности. Самъ онъ ничего или почти ничего не писалъ, но онъ обладалъ удивительною способностью заставлять писать другихъ. Владѣя значительными средствами, онъ издавалъ множество книгъ въ такое время, когда у насъ почти вовсе не было книгъ. Но и въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ не какъ книгопродавецъ, хотя въ то время и роль дѣльнаго книгопродавца была бы еще благодѣтельнѣе, нежели какъ могла бы она быть теперь. Нѣтъ! Новиковъ не былъ книгопродавцемъ: нажитья продажей книгъ нисколько не было его дѣлю. Благородная натура этого человѣка постоянно одушевлялась высокою гражданской страстью — разливать свѣтъ образованія въ своею отечествѣ. И онъ увидѣлъ могущественное средство для достиженія этой цѣли въ распространеніи въ обществѣ страсти къ чтенію. Для чтенія нужны книги и журналы, а ихъ-то и не было тогда. И вотъ Новиковъ издаетъ книги и журналы, всюду ищетъ молодыхъ людей, способ-

ныхъ или охотливыхъ къ книжному дѣлу. Знающимъ иностранныя языки онъ закачиваетъ переводы, у стихотворцевъ печатаетъ стихи, у прозаиковъ—прозу; всѣхъ одобряетъ и понуждаетъ, бѣднымъ даетъ средства къ образованію. Кому не извѣстно, что самъ Карамзинъ многамъ былъ обязанъ Новикову? Если бы это и несправедливо было приписано Новикову, все же это важный фактъ въ его пользу. Когда явился Пушкинъ, всякое ходячее по рукамъ стихотвореніе, дѣйствительно хорошее или только казавшееся хорошимъ, приписывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Такъ и Новикову приписывалось изданіе всякой книги и одобреніе всякаго таланта: это выразительно указываетъ на его роль на сценѣ русской литературы.

Но эта роль, какъ ни важна и ни велика она, имѣла опредѣленный и ограниченный характеръ. Новикову нужно было, во что бы ни стало, захотить общество къ чтенію, давши ему средства удовлетворять этой охотѣ—книги и журналы. О направленіи этой охоты онъ не думалъ, да и думать тогда объ этомъ было рано. Онъ печаталъ почти все, что ни писалось, и считалъ за писателя всякаго, кто только имѣлъ охоту писать для печати. Новиковъ не былъ архитекторомъ: онъ приготавливалъ только строительные матеріалы и строительныхъ мастеровъ. Давать литературѣ направленіе, дѣйствовать на нее лично—это роль людей другого рода. Но и для этой роли—повторяемъ—нужны не одни ученые и поэты.

Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на русскую поэзію и вообще русскую изящную литературу въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были Ломоносовъ, Карамзинъ и Полевой... Каждый изъ нихъ оказалъ свое вліяніе на литературу своимъ особеннымъ образомъ, сообразно съ обстоятельствами и требованіями своего времени.

Ломоносовъ, Карамзинъ — и Полевой!.. Какъ многихъ оскорбить такое сближеніе именъ! Имена еще до сихъ поръ играютъ въ нашей литературѣ чрезвычайно важную роль, потому что для многихъ еще замѣняютъ они идеи... Имена въ нашей литературѣ—то же, что чины въ нашей общественной жизни, т. е. легкое видѣніе средство оцѣнить человѣка... Не всякому дана способность судить вѣрно о качествахъ человѣка и узнавать безошибочно, хорошъ онъ, или нѣтъ. Такъ точно, но всякому дана способность судить вѣрно объ истинномъ значеніи и достоинствѣ писателя; но нѣтъ глупца и невѣжды, который бы, услышавъ громкое или извѣстное имя, не догадался

бы тотчасъ же, что это — большой сочинитель. Чѣмъ старѣе имя писателя, тѣмъ болѣе мы уваженіемъ пользуемся оно (особенно со стороны людей, никогда не читавшихъ этого писателя),—и поставить съ нимъ рядомъ имя хоть бы и весьма извѣстнаго, но еще живого или только недавно умершаго писателя—значитъ разсердить на смерть множество людей, которымъ литература, по разнымъ отношеніямъ, близка къ сердцу, а еще болѣе людей, которымъ до литературы вовсе нѣтъ никакого дѣла... Въ настоящемъ случаѣ мы дѣлаемъ большой рискъ въ этомъ отношеніи. Старики, которые и теперь считаютъ Ломоносова вмѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ образцовыми писателями, увидятъ страшную профанцію въ сближеніи имени Полевого съ именемъ Ломоносова. Но этихъ уже не много, и они будутъ жаловаться про себя и между собой; ихъ дрожаніе голоса не возвысится среди общества, которое такъ молодо въ отношеніи къ нимъ, что уже не помнитъ пудренныхъ косъ съ кошельками... Но что скажутъ тѣ, которые съ личностью и эпохой Карамзина сливаютъ воспоминаніе о лучшемъ времени своей жизни; которые, наконецъ, помнятъ въ Полевомъ человѣка, писавшаго противъ Карамзина, хотя и послѣ его смерти?... Что скажутъ бывшіе журналисты, современники Полевого, и многіе писатели и писачи, которыхъ нѣкогда уничтожалъ онъ своимъ журналомъ, и у которыхъ еще дѣлы шрамы отъ глубокихъ ранъ, нанесенныхъ его перомъ ихъ самолюбію?... Что скажутъ всѣ они?—Пусть говорятъ, что хотятъ: страшнѣе сонъ, да милоститъ Богъ!... Истина выше людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человѣкѣ, могила котораго требуетъ суда, а не осужденія, должной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей или пристрастнаго ропота раненыхъ самолюбіи...

За Ломоносовымъ потомство не безъ основанія утвердило имя основателя и отца русской поэзіи и литературы. Что онъ былъ первый, по времени, русский поэтъ, это такъ же очевидно, какъ и то, что Державинъ былъ первый, по таланту, русскій поэтъ! Но Ломоносовъ, натура поэтическая, какъ всякая гениальная натура, тѣмъ не менѣе не былъ поэтомъ. Онъ поэтически чувствовалъ и мыслилъ, но не владѣлъ поэтическимъ даромъ творчества. Лучшая оцѣнка въ этомъ отношеніи была сдѣлана ему Пушкинымъ:

„Ломоносовъ былъ великій человѣкъ. Между Петромъ I и Екатериной II онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ университетомъ. Но въ этомъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное, какъ исправный чи-

новникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ которыя отливаетъ онъ свои мысли, даютъ его прозѣ холь утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость полу-славянская, полу-латинская; сдѣлалась, было, необходимою; къ счастью, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова.

„Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредно, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ. Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіей, и гораздо болѣе заботился о своихъ химическихъ опытахъ, нежели о должностныхъ одахъ на высококортежественный день тезоименитства и проч. Съ какимъ презрѣніемъ говорить онъ о Сумароковѣ, страстно къ своему искусству.—объ этомъ человѣкѣ, который ни о чемъ, кромѣ какъ о бѣдномъ своемъ ремеслѣ, не думаетъ... Зато съ какимъ жаромъ говорить онъ о наукахъ, о просвѣщеніи“.

Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно вѣрный, но тѣмъ не менѣе односторонній. «Вліяніе Ломоносова на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается»: это такъ и не такъ въ одно и то же время. Подъ статьей Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому намъ слѣдуетъ ограничиться увѣренностью, что она была написана не раньше 1836 г.,—десять или около того лѣтъ назадъ тому. Въ Россіи все идетъ скоро, и десять лѣтъ для насъ—много времени. Въ новой школѣ, которую сами враги ея почтили именемъ «натуральной», нѣтъ уже ни малѣйшихъ слѣдовъ Ломоносовскаго вліянія, слѣдовательно, оно уже прошло. Даже въ старой школѣ видно устарѣлое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова. Если вліяніе послѣдняго и было вредно, все же оно не было зломъ неизлѣчимымъ. Съ другой стороны, если и нельзя согласиться, что вліяніе Ломоносова на русскую литературу было вредное, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ оно не было необходимо. А что необходимо, то уже полезно, хотя бы съ другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова намъ не нужно было народнои поэзіи: тогда великій вопросъ—быть или не быть заключался для насъ не въ народности, а въ европеизмѣ. Далекъ ли ушелъ бы Ломоносовъ въ наукѣ, если бы, оставивъ безъ вниманія ея успѣхи въ Европѣ, сталъ хлопотать о наукѣ русской, рѣшился бы сдѣлаться не нововводителемъ въ этой области, а продолжателемъ трудовъ российскихъ книжниковъ и мудрецовъ до него бывшихъ?.. Первымъ благотѣльнымъ слѣдствіемъ воз-

никавшей тогда литературы должноствовало быть отрѣшеніе общества не отъ національности, а отъ непосредственнаго или безсознательнаго характера этой національности. Мы должны были на время перестать быть русскими, чтобы потомъ сознательно сдѣлаться русскими. Что вліяніе Ломоносова на литературу было надолго вредно,—это правда; но развѣ не правда и то, что и результаты реформы Петра Великаго были во многихъ отношеніяхъ временно вредны? Однако жъ изъ этого вѣдь не слѣдуетъ, чтобы реформа Петра Великаго не была въ высочайшей степени полезна и благотѣльна для Россіи.—Ломоносовъ былъ Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кромѣ ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія; но многое ли осталось теперь и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тѣмъ Россія нашего времени—все-таки твореніе Петра Великаго...

Сужденіе Пушкина о Ломоносовѣ очень вѣрно, какъ отвѣтъ на безсознательно восторженные возгласы слѣпыхъ почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, упорно хотятъ видѣть въ немъ не только поэта, но еще и великаго поэта, тогда какъ въ сущности онъ не былъ ни то, ни другое; но какъ окончательный приговоръ надъ Ломоносовымъ, сужденіе о немъ Пушкина—повторяемъ—одностороннее. Имя основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежитъ тому великому человѣку. Натура по преимуществу практическая, онъ былъ рожденъ реформаторомъ и основателемъ. Не приписывая не принадлежащаго ему титла поэта, нельзя не видѣть, что онъ былъ превосходный стихотворецъ (версификаторъ). Если прибавить къ этому его глубокое знаніе русскаго языка (хотя по духу и потребностямъ своего времени онъ и старался придавать ему полу-славянскую и полу-латинскую величавость),—то нельзя не согласиться, что въ отношеніи къ стиху можно подуматъ, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова. Этого мало: въ нѣкоторыхъ стихахъ Ломоносова, несмотря на ихъ декламаторскій и напыщенный тонъ, промелькиваетъ иногда поэтическое чувство—отблескъ его поэтической души. Въ словахъ нашихъ нѣтъ противорѣчій: живая натура—всегда поэтическая натура, хотя изъ этого и нисколько не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ съ живой натурой былъ непременно поэтъ: иначе и изъ Наполеона легко было бы сдѣлать поэта, и имя его внести въ исторію французской поэзіи... Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзіи, есть большая заслуга съ его стороны. Нѣкоторые

думаютъ, что ямбы, хорей, дактили, амфибрахия и анапесты несвойственны просодической натурѣ русскаго языка. Говорятъ, будто самъ Пушкинъ въ послѣдствіи ставилъ себѣ въ вину, что своими дивными стихами окончательнo и безвозвратно утвердилъ эти размѣры за русской поэзіей, и будто онъ хотѣлъ воротиться къ размѣрамъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, для чего и написалъ свою «Сказку о Рыбакѣ и Рыбкѣ». Если это правда,—это была ошибка со стороны великаго поэта. Метръ народныхъ пѣсенъ былъ хорошъ для выраженія бѣднаго круга понятій, выражаемыхъ ими; но и въ томъ кругѣ онъ далеко не исчерпывалъ просодическаго богатства русскаго языка; для выраженія же новой безконечно-разнообразной и широкой сферы понятій онъ былъ бы совершенно недостаточенъ и крайне однообразенъ. Версификація Ломоносова не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу; отъ этого всѣ попытки замѣнить ее были и будутъ безплодны.

Что касается до славяно-латино-нѣмецкихъ періодовъ Ломоносова, напыщенности его рѣчи,—намъ теперь до всего этого такъ же мало дѣла, какъ и до странныхъ костюмовъ эпохи Петра Великаго: то и другое замѣнено теперь лучшимъ. По словамъ Пушкина, Карамзинъ къ счастью освободилъ нашъ языкъ отъ чуждаго ига. Слово къ счастью указываетъ какъ бы на случайность, тогда какъ тутъ была необходимость, и Карамзинъ—или кто бы ни былъ лишь бы съ такими же способностями—не могъ бы послѣ Ломоносова сдѣлать ничего другого, кромѣ этого освобожденія языка отъ чуждаго ига. Карамзинъ, разрушивъ дѣло Ломоносова, тѣмъ самымъ только продолжалъ его. Великій реформаторъ приходитъ не съ тѣмъ, чтобы разрушить, а съ тѣмъ, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзинъ возвратилъ свободу нашему языку и обратилъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова? Извѣстно, что его прозаическій слогъ дѣлится на двѣ эпохи—до-историческую и историческую, т. е. что слогъ его «Исторія Государства Россійскаго» рѣзко отличается отъ слога всѣхъ его сочиненій, предшествовавшихъ ей. До-историческій слогъ Карамзина былъ великимъ шагомъ впередъ со стороны и языка литературы русскою: въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но не менѣе несомнѣнно и то, что этотъ слогъ далеко еще не русскій, хотя и несравненно болѣе свойственный духу русскаго языка, нежели слогъ Ломоносова. Скажемъ болѣе: не безъ причины восхищавшій современниковъ, до-историческій слогъ Карамзина теперь блѣденъ и безцвѣ-

тенъ. Онъ относится къ настоящему русскому слогу, какъ языкъ новѣйшихъ латинистовъ къ языку Горація и Тацита. Въ немъ и для иностранца, учащагося по-русски, будетъ все просто и легко, потому что иностранецъ не встрѣтитъ въ немъ того, что называется идиотизмами, т. е. чисто-русскихъ оборотовъ или речизмовъ. Историческій же слогъ Карамзина слишкомъ отзывается искусственной поддѣлкой подъ языкъ лѣтописей и слишкомъ не лишенъ риторическаго оттѣнка. Впрочемъ, все это мы говоримъ не для униженія великаго подвига Карамзина, а какъ бы въ отвѣтъ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзинъ не сдѣлалъ всего, какъ не сдѣлалъ всего Ломоносовъ, и что, относительно, потомство въ правѣ обвинять и Карамзина въ тѣхъ же недостаткахъ, въ какихъ обвиняетъ Пушкинъ Ломоносова; но что тотъ и другой—и Ломоносовъ, и Карамзинъ—оба сдѣлали именно то, что нужно было сдѣлать въ ихъ время, и, слѣдовательно, обоимъ имъ равно принадлежитъ вѣчная честь великаго подвига...

Карамзинъ явился въ то самое время, когда направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ, такъ сказать, истощило само себя и обратилось въ застою. Въ духѣ этого направленія уже ничего нельзя было дѣлать. Въ самой литературѣ обнаружилась ему реакція: языкъ и самый характеръ сочиненій Фонвизина уже отошли отъ Ломоносовскаго типа. Позднѣе Макаровъ, независимо отъ Карамзина, началъ переводить и писать языкомъ, совершенно Карамзинскимъ. Нуженъ былъ только человекъ, который, по своимъ интеллектуальнымъ средствамъ, былъ бы способенъ завладѣть общественнымъ мнѣніемъ и стать во главѣ литературнаго движенія. Такимъ человекомъ явился Карамзинъ. Онъ былъ для своей эпохи всѣмъ: и реформаторомъ, и теоретикомъ, и практикомъ, и стихотворцемъ, и прозаикомъ, и поэтомъ, и журналистомъ, лирикомъ, сказочникомъ, нувелистомъ, археологомъ. Его стихи учились наизусть, его повѣсти, особенно «Бѣдная Лиза» и «Марья Посадница», сводили съ ума всю публику. И хотя Карамзинъ нисколько не былъ поэтомъ, тѣмъ не менѣе этотъ успѣхъ былъ вполне заслуженный. Его «Письма Русскаго Путешественника» познакомили тогдашнее общество съ Европой, которая только для высшаго слоя его не была terra incognita,—и въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ истиннымъ Колумбомъ. Письма Фонвизина изъ Франціи были несравненно дѣльнѣе «Писемъ Русскаго Путешественника», но они не могли произвести на общество такого вліянія, потому что были понятны только для людей,

знакомыхъ съ состояніемъ дѣла въ Европѣ того времени, а всѣмъ другимъ могли сообщить о ней самое превратное понятіе. Письма Фонвизина такъ дѣльны, что только теперь настало время для ихъ настоящей оцѣнки. Но во времена переходныя, въ эпохи преобразованій часто бываютъ нужнѣе и полезнѣе тѣ легкія произведенія, которыя, могущественно увлекая толпу, тотчасъ умираютъ, какъ скоро сдѣлаютъ свое дѣло. И вотъ гдѣ самая слабая, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самая важная сторона литературной дѣятельности Карамзина. Онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, творенія которыхъ всегда свѣжи и юны, не знаютъ ни старости, ни смерти. Нѣтъ, къ чему лицебрити! «Бѣдная Лиза». «Наталья Боярская Дочь», «Счастливый Карло», «Мареа Посадница», «Островъ Борнгольмъ»,—всѣ эти и другія повѣсти Карамзина для однихъ теперь дороги только какъ воспоминаніе о свѣтлыхъ дняхъ юности, какъ память о сказочкѣ нянюшки, подъ разсказъ которой когда-то сладко было засыпать; для другихъ онѣ интересны какъ стародавніе костюмы, какъ факты образованія и развитія общества во времена давнопрошедшія; но читать ихъ для эстетическаго наслажденія, читать ихъ какъ поэтическія произведенія теперь никто не будетъ... Еще въ то время, когда авторитетъ Карамзина только стремился къ своей апогеѣ, равно какъ и въ то время, когда онъ достигъ ея, появились Крыловъ, Жуковский и Батюшковъ,—поэты по натурѣ, люди, призванные давать неувыдаемые образцы настоящей поэзіи, а не преходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремѣло по всей Россіи, когда умеръ Карамзинъ...

Но все это служить не къ уменьшенію заслугъ Карамзина, а къ опредѣленію рода и характера его литературной дѣятельности. Если его творенія, какъ говорится, отжили свое время, тѣмъ не менѣе имя его будетъ всегда знаменито и почтено, если хотите—бессмертно: его навсегда сохранить не только исторія литературы, но и благодарная память образованной части народа русскаго.

Новиковъ старался распространить въ русскомъ обществѣ охоту къ чтенію множествомъ книгъ; Карамзинъ дѣлалъ то же самое, но уже заманчивостію сочиненій. Удивительно ли, что онъ болѣе Новикова успѣлъ въ своемъ дѣлѣ? Онъ создалъ въ Россіи многочисленный, въ сравненіи съ прежнимъ, классъ читателей, создалъ, можно сказать, нѣчто въ родѣ публики, потому что образованный имъ классъ читателей получилъ уже извѣстное направленіе, извѣстный вкусъ, слѣдовательно, болѣе или менѣе отличался характеромъ единства. До

Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились къ прежнимъ, какъ относятся люди съ гастрономическими замашками къ людямъ, которые безъ разбору ѣдятъ все, что ни поставятъ передъ ними, ни чѣмъ особенно не усаждаясь, ни чѣмъ не оскорбляясь. Это былъ безмѣрный шагъ впередъ. Повѣсти Карамзина, извлекишія столько слезъ изъ очей его нѣжныхъ читателейницъ и столько вздоховъ изъ груди его чувствительныхъ читателей, нисколько не были произведеніями поэзіи, какъ искусства, какъ творчества; но тѣмъ не менѣе онѣ были для своего времени прекрасными беллетристическими произведеніями человѣка съ большимъ дарованіемъ. Самая сентиментальность направленія вообще всего, написаннаго Карамзинымъ, имѣетъ свое великое достоинство: она была необходима, какъ для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новой ступеню, новымъ шагомъ впередъ начавшей развиваться литературы. До Карамзина у насъ были періодическія изданія, но не было ни одного журнала: онъ первый далъ намъ его. Его «Московский Журналъ» и «Вѣстникъ Европы» были для своего времени явленіемъ удивительнымъ и огромнымъ, особенно если сравнить ихъ не только съ бывшими до нихъ, но и съ бывшими послѣ нихъ на Руси журналами, до самаго «Московского Телеграфа»... Какое разнообразіе, какая свѣжесть, какой тактъ въ выборѣ статей, какое умное, живое передаваніе политическихъ новостей, столь интересныхъ въ то время! Какая по тому времени умная и ловкая критика!

Къ чему не обратитесь въ нашей литературѣ,—всему начало положено Карамзинымъ: журналистикѣ, критикѣ, повѣсти-роману, повѣсти исторической, публицизму, изученію исторіи. Мы не говоримъ уже о его стихотворствѣ, имѣвшемъ большую цѣну для своего времени; ни о его «Исторіи Государства Россійскаго», положившей начало дѣльному, ученому изученію русской исторіи и давшей для этого возможность. Въ «Исторіи Государства Россійскаго»—весь Карамзинъ, со всей огромностью оказанныхъ имъ Россіи услугъ и со всей несостоятельностью на безусловное достоинство въ будущемъ своихъ твореній. Причина этого—повторяемъ—заключается въ родѣ и характерѣ его литературной дѣятельности. Если онъ былъ великъ, то не какъ художникъ-поэтъ, не какъ мыслитель-писатель, а какъ практическій дѣятель, призванный проложить дорогу среди непроходимыхъ дебрей, расчистить арену для будущихъ дѣятелей, приготовить матеріалы, чтобы гениальные писатели въ разныхъ

родахъ не были остановлены на ходу своемъ необходимою предварительныхъ работъ. Державинъ былъ геніальный поэтъ по своей натурѣ, но если онъ не явился такимъ же по своимъ творениямъ,—это потому именно, что прежде его были только Ломоносовъ, а не Карамзинъ,—тогда какъ для Пушкина было большимъ счастьемъ явиться уже на закатѣ дней Карамзина... Это вѣдливъ опредѣляетъ нашу мысль о сущности дѣятельности и заслугъ Карамзина... Онъ, сказали мы, создалъ на Руси если еще не публику, то возможность публики, нѣчто въ родѣ публики: подвигъ великій, но для котораго требовался не геній, обыкновенно устремляющій всѣ силы свои на одну сторону, на одинъ предметъ, а энциклопедическій, разнообразный талантъ.

Сильно было движеніе, сообщенное нашей литературѣ Карамзинымъ. И оно принесло свои плоды. При полномъ владычествѣ и очарованіи имени Карамзина, тихо и незамѣтно возникло то новое, которое должно было смѣнить собою Карамзинскую эпоху. Но новый духъ не сознавалъ своихъ правъ и охотно подчинялся влиянію Карамзина. Крыловъ считался не больше какъ замѣчательнымъ послѣ Дмитріева баснописцемъ, и дѣйствительно, самобытность его таланта проявлялась только изрѣдка; но большей частью онъ или подражалъ въ своихъ басняхъ Лафонтену, или морализировалъ въ нихъ въ пользу и назиданіе дѣтей. Жуковского, пересадившаго романтизмъ на почву русской литературы, всѣ похвалили, но немногіе подозрѣвали его истинное значеніе. Батюшковъ, основатель пластически-художественнаго элемента въ русской поэзіи, восхищалъ своихъ современниковъ совсемъ не тѣмъ, что составляло величайшее достоинство его музы, родственной музѣ эллинской. Всѣ эти люди смотрѣли на Карамзина, какъ на своего учителя и хорега; всѣ они находились подъ влияніемъ его идеи. Очевидно, что это была школа или, лучше сказать, это были школы новыя, но переходныя, и потому нерѣшительныя, изъ которыхъ ни одна не была въ силахъ стоять во главѣ движенія и руководить имъ. Все какъ будто колебалось между прошедшимъ и будущимъ, и только ждало человѣка, который сдѣлалъ бы рѣшительный шагъ. И этотъ человѣкъ не замедлилъ явиться: то былъ Пушкинъ... Съ нимъ явилась новая школа поэзіи, не совсемъ удачно провозглашенная «романтической»...

Съ Пушкинымъ почти исчезли изъ русской поэзіи всѣ слѣды карамзинскаго направленія. Новое время и новое положеніе вещей дали поэту той эпохи другое направленіе. Но онъ былъ силенъ не столько

силой времени, сколько своей глубоко-художественной натурой: вотъ что съ перваго же шагу эманципировало его отъ влияния Карамзина. Первоначальному направленію своему онъ измѣнилъ вполнѣ, именно потому, что источникъ его скрывался въ современности, а не въ натурѣ его. Какъ человѣкъ, Пушкинъ отразилъ на себѣ всю неопредѣленность и шаткость направленій и убѣжденій своего времени, и въ умѣ его какъ-то странно уживались вмѣстѣ тенденціи поэта и помѣщика, человѣка и дворянина, мѣщанина и аристократа. Какъ поэтъ, Пушкинъ противорѣчилъ себѣ какъ человѣку, по крайней мѣрѣ вездѣ, гдѣ былъ онъ вѣренъ своей артистической натурѣ, гдѣ онъ былъ преимущественно художникомъ. Повторяемъ: сила его всегда была въ его художественной натурѣ. Становясь человѣкомъ (лицомъ частнымъ—*particulier*), онъ суетно благоговѣлъ передъ карамзинскими идеями; становясь поэтомъ, онъ опережалъ ихъ на цѣлые вѣка...

Пушкинъ былъ главой поэтическаго движенія. Но времена перемѣнились: если уже беллетристъ-публицистъ не могъ быть главой литературной эпохи, то и одинъ поэтъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, уже не могъ удовлетворить собою всѣмъ требованіямъ эпохи. До какой степени эта эпоха рѣзко отдѣлилась отъ предшествовавшей, можно видѣть изъ обстоятельности появленія Пушкина на литературное поприще. Прежде всѣ поэты принимались безусловно и каждому, кому только ни захотѣлось бы въ поэтическіе боги, готово было почетное мѣсто въ капищѣ поэзіи. Когда явился Карамзинъ, ограниченный кругъ тогдашнихъ читальщиковъ почти съ равнымъ восторгомъ произносилъ имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Самъ Карамзинъ высоко поставилъ Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всѣми съ восхищеніемъ. Появленіе Жуковского и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только нѣкоторыя сомнѣнія въ безусловномъ достоинствѣ Сумарокова и Хераскова, обнаруженныя Мерзляковымъ (1815 года), да юношески-рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева \*) нѣсколько нарушили аркадскую безмятежность, съ которой весь пишущій людъ пользовался заслуженной и незаслуженной славой. Явившись на поприще литературной дѣятель-

\*) Теперь почтеннаго археолога. Въ 1815 году онъ издавалъ журналъ: *Современный наблюдатель российской словесности*, въ которомъ отъ него порядкомъ и дѣльно досталось *Россиады* и *Владимиру* къ величайшему соблазну литературныхъ старовѣровъ.

ности, Карамзинъ принялъ всё авторитеты; по крайней мѣрѣ не считалъ нужнымъ вставать противъ тѣхъ, которыхъ не признавалъ тайнѣ. Самъ онъ былъ вполнѣ главой литературной эпохи и изъ новыхъ писателей только Дмитріеву уступалъ пальму первенства въ стихотворствѣ. Во всемъ прочемъ онъ безусловно первенствовалъ въ литературѣ и былъ въ ней не только первымъ литераторомъ, но и первымъ поэтомъ, какъ нувеллистъ-романистъ. И это первенство было безусловно признано всѣми. Нанадки на Карамзина славянофиловъ того времени, подъ предводительствомъ Шипкова, касались одного языка и были при томъ слишкомъ ничтожны сами по себѣ, потому что на сторонѣ пуристовъ были только книжники, а на сторонѣ Карамзина — вся публика. Не такъ былъ принятъ Пушкинъ. Онъ былъ слишкомъ великъ, чтобы тотчасъ же быть понятнымъ и оцѣненнымъ всѣми. И потому его встрѣтили, съ одной стороны, восторженные клики молодого поколѣнія, а съ другой — ожесточенная брань теоретиковъ и людей привычки, для которыхъ хорошо все старое, и дурно все новое. При томъ же хотя поэзія Пушкина, въ смыслѣ историческаго развитія, и была, такъ сказать, результатомъ поэтическихъ усилій всѣхъ прежде него бывшихъ поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова, — тѣмъ не менѣе однако жъ она была и ихъ отрицаніемъ. По крайней мѣрѣ такъ могло казаться съ перваго взгляда. Тогда естественно многимъ могла прийти въ голову такая дилемма: «Если сочиненія Пушкина, писанныя вопреки всѣмъ правиламъ, извлеченнымъ изъ твореній великихъ гениевъ и утвержденнымъ вѣками, если они — истинныя поэтическія произведенія, то произведенія нашихъ великихъ поэтовъ (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанныя по вѣковымъ правиламъ, — уже не истинныя поэтическія творенія.» Это ихъ по инстинкту рѣшило не признавать въ Пушкинѣ поэта или по крайней мѣрѣ видѣть въ немъ не болѣе, какъ обыкновенный талантъ, способный писать только безъ правилъ. Съ своей стороны, восторженные почитатели Пушкина естественнымъ образомъ доходили до такой же несправедливости въ отношеніи къ его предшественникамъ на поэтическомъ поприщѣ. Такъ всегда раздѣляетъ людей на двѣ крайнія стороны всякая рѣзкая реформа. Тогда литература стала вопросомъ, съ которымъ незамѣтно слились многіе вопросы о жизни. Вопросъ долженъ былъ родить живые споры, упорныя битвы за мнѣнія, ареной которыхъ должна была сдѣлаться журналистика.

Теперь понятна роль Полевого въ нашей литературѣ. Она условливалась обстоятельствомъ. По роду своихъ способностей, Полевой имѣлъ большое сходство съ Карамзинымъ, его доставало на все — на повѣсть, на романъ, на драму, на стихи, на исторію. Но играть первую роль въ литературѣ для него было уже невозможно, потому что тогда былъ Пушкинъ, а при истинномъ великомъ поэтѣ нельзя играть роль поэта человѣку, не рожденному поэтомъ. Сверхъ того, Полевой въ вопросѣ о поэзіи находился подъ влияніемъ Пушкина, какъ живой практики всѣхъ теорій о поэзіи; но Пушкинъ въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны не могъ находиться ни подъ чьимъ влияніемъ, потому что самъ могъ черпать идеи изъ того же источника, который служилъ всякому журналисту, т. е. изъ личнаго знакомства съ иностранными литературами. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своей эпохи, и ужь, конечно, не изъ русскихъ журналовъ могъ учиться и слѣдить за ходомъ европейскаго развитія.

Но, несмотря на это, Полевою предостояла роль дѣятельная и блестящая, вполнѣ сообразная съ его натурой и способностями. Онъ былъ рожденъ на то, чтобы быть журналистомъ, и былъ имъ по призванію, а не по случаю. Чтобы оцѣнить его журнальную дѣятельность и ея огромное влияние на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояніе, въ которомъ находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились по всей Россіи, проникали во все ея захолустья, въ которыя дотолѣ проникли только буквари и сонники. Масса читателей увеличилась чрезъ это по крайней мѣрѣ вдесятеро и стала походить на публику. Вездѣ чувствовалась потребность въ опредѣленномъ вкусѣ, слѣдовательно, и въ теоріи. А этого-то тогда и не было. Всѣ авторитеты стояли на непреступной высотѣ: Сумарокова считали великимъ писателемъ; между Ломоносовымъ и Державинымъ не видѣли никакой разницы; басни Крылова считались ниже басенъ Дмитріева. Великихъ писателей было безъ счета, и объ нихъ позволялось говорить оди только похвальные фразы, которыя давно уже обратились въ общія мѣста. Литературные нравы вполнѣ соотвѣтствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться лестной чести — попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій инокусъ: прежде всего онъ обязанъ былъ «не

смѣть своего сужденія имѣть»; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже приобретя лестную репутацію грибоѣдовскаго Молчалива, могъ онъ дерзнуть просить позволенія—прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ переимѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоковъ словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное его дѣтище поступало, наконецъ, въ печать. Еще лѣтъ десятокъ—и литература русская обогащалась, въ лицѣ этого новизанта, или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакой. Во всякомъ случаѣ онъ поступалъ тогда, съ благословенія своихъ меценатовъ, въ число опытныхъ и знаменитыхъ писателей,—и воѣ вѣрили, что онъ—большой писатель, потому что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авторитеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и меценаты, и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которые «вывели его въ люди». Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ!

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Всякое независимое, самобытное мнѣніе, всякій свѣжій голосъ, все, что не отзывалось рутинной, преданіемъ, авторитетомъ, общимъ мѣстомъ, ходячей фразой,—все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйствомъ...

А журналы тогдашніе?.. «Вѣстникъ Европы», вышедши изъ-подъ редакціи Карамзина, только подъ кратковременнымъ заведываніемъ Жуковскаго напоминалъ о своемъ прежнемъ достоинствѣ. Затѣмъ онъ становился все суше, скучнѣе и пустѣе, наконецъ, слѣдился просто сборникомъ статей, безъ направленія, безъ мысли, и потерялъ совершенно свой журнальный характеръ. Конечно, всегда, даже въ самые худшіе годы свои, былъ онъ лучше всѣхъ журналовъ, существовавшихъ въ Россіи до «Московскаго Журнала», издававшихся Карамзинимъ въ 1791 и 1792 годахъ. И не диво: благодаря Карамзину, ему и не было возможно быть хуже ихъ; но онъ долженъ былъ бы считать своей обязанностью быть лучше даже карамзинскаго «Вѣстника Европы», потому что съ тѣхъ поръ, какъ Карамзинъ оставилъ его (съ 1804 года), много прошло времени, и отъ издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы воз-

всичить и улучшить начатый имъ журналъ. Но вышло не такъ. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ «Вѣстникъ Европы» былъ идеаломъ мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплѣсневѣлости. О другихъ журналахъ не стоить и говорить: иные изъ нихъ были сравнительно лучше «Вѣстника Европы», но не какъ журналы съ мнѣніемъ и направленіемъ, а только какъ сборники разныхъ статей. «Сынъ Отечества» даже принималъ на свои, до крайности сѣрые и жесткіе, листки стихотворенія Пушкина, Баратынскаго и другихъ поэтовъ новой тогда школы, даже открыто взялъ на себя обязанность защищать эту школу; но тѣмъ не менѣе самъ онъ представлялъ собой смѣсь стараго съ новымъ и отсутствіе всякихъ началъ, всего, что похоже на определенное и ни въ чемъ не противорѣчащее себѣ мнѣніе. Какъ судилъ и рядилъ «Сынъ Отечества» объ искусствѣ даже впоследствии, можно видѣть изъ его опредѣленія романтизма, который, по его мнѣнію, начался съ Байрона и отличается отъ классицизма тѣмъ, что начинается съ половины или даже съ конца дѣла!..

Вообще должно замѣтить, что война за такъ-называемый романтизмъ противъ такъ-называемаго классицизма была начата не Полевымъ. Романтическое броженіе было общимъ между молодежью того времени. Острыя и бойкія полемическія статейки Марлинскаго противъ литературныхъ старовѣровъ, печатавшіяся въ «Сынѣ Отечества», и его же такъ-называемые обзоры русской словесности, печатавшіяся въ извѣстномъ тогда альманахѣ, трех-мѣсячный сборникъ «Мнемозина», все это выразило собою совершенно новое направленіе литературы, котораго органомъ былъ «Телеграфъ», и все это нѣсколькими годами упредило появленіе «Телеграфа». Слѣдовательно, Полевой не былъ ни первымъ, ни единственнымъ представителемъ новаго направленія русской литературы, какъ Карамзинъ былъ въ свое время первымъ и почти единственнымъ представителемъ новаго направленія, почти имъ же однимъ и произведеннаго, потому что подѣвъ его имени въ этомъ лѣтъ можно вспомнить только два другихъ имени—Макарова и Дмитріева.

Но это нисколько не уменьшаетъ заслуги Полевого: мы увидимъ, что онъ сумѣлъ на своемъ пути стать выше всѣхъ соперничествъ и даже восторжествовать въ борьбѣ противъ всѣхъ враждебныхъ соперниковъ...

Романтизмъ—вотъ слово, которое было написано на знамени этого смѣлаго, неутомимаго и даровитаго бойца,—слово, которое отстаивалъ онъ даже и тогда, когда



потеряло оно свое прежнее значеніе и когда уже не было противъ кого отстаивать его!.. Что же такое этотъ «романтизмъ», который наполнялъ собой пѣлуду литературную эпоху, за который было столько чернильныхъ войнъ, столько полемиическихъ битвъ на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, въ европейской литературѣ уже давно кипѣли страшныя войны за него. Но не вездѣ онъ имѣлъ одинаковое значеніе. Первое движеніе въ его пользу обнаружилось въ Германіи, какъ реакція вліянію французской литературы, какъ протестъ въ пользу нѣмецкой національности въ литературѣ. Въ своей настоящей современной дѣйствительности Германія не видѣла, по извѣстнымъ причинамъ, никакихъ национальныхъ элементовъ и обратилась къ своему прошедшему, къ своимъ среднимъ вѣкамъ, къ рыцарскимъ замкамъ, съ ихъ башнями и подъемными мостами, съ ихъ поэтическимъ варварствомъ и романтической дикостью ихъ нравовъ. Гёте и Шиллеръ не были вполнѣ представителями этого романтическаго движенія, но заплатили ему не малую дань, особенно послѣдній. Потомъ нѣмецкій романтизмъ началъ принимать новое направленіе, какъ реакція сухой и обнаженной простоты, протестантизма, какъ усиліе въ пользу мистицизма среднихъ вѣковъ и противъ философскаго рационализма. Жаркими поборниками этого направленія явились братья Шлегели. Думая найти всякую опору своимъ теоріямъ въ посредствѣномъ, но зато ультра-романическомъ Тивѣ, они провозгласили его великимъ поэтомъ, имѣли жалкую смѣлость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затѣя не больше, какъ воспоминаніе: романтизмъ, на время искусно воскрешенный, давно уже вновь опочилъ сномъ непробуднымъ. Шлегелей нѣтъ, — а Тиву удивляется только рѣдѣющая толпа стариковъ, скудно вознаграждая его этимъ удивленіемъ за насмѣшки и презрѣніе молодыхъ поколѣній... Въ Англіи романтизмъ былъ освобожденіемъ отъ вліянія французскаго классицизма, принятаго школой Попе, Адассона и Драйдена. Байронъ и не думалъ быть романтикомъ въ смыслѣ поборника среднихъ вѣковъ: онъ смотрѣлъ не назадъ, а впередъ. Романтизмъ во Франціи сперва былъ реакціей революціонному рационализму и явился въ ней съ Шатобрианомъ, этимъ рыцаремъ неиставраціи. Потомъ французскій романтизмъ превратился въ простой, чисто литературный вопросъ о свободѣ поэтическихъ формъ, до уродливости сжатыхъ и искаженныхъ прежнимъ классицизмомъ. Въ сущности дѣло тутъ шло о томъ, которая школа натуральнѣе —

Расина или Шекспира, и можно ли въ трагедіи вводить лица низшихъ сословій и патетическое мѣшать съ комическимъ. Представителемъ этого романтическаго движенія во Франціи былъ Викторъ Гюго, поэтъ даровитый, отнюдь не гениальный, болѣе богатый воображеніемъ, нежели тактомъ истины. По чувству противорѣчія, онъ дошелъ до величайшихъ нелѣпостей: вмѣсто того, чтобы отрицать въ прежней псевдо-классической школѣ однѣ ея крайности, онъ почелъ за нужное итти ей наперекоръ даже и въ томъ, что составляло ея истинное и высокое достоинство, что дѣлало ее глубоко национальной: чувство мѣры и постоянное присутствіе того, что французы называютъ *le bon sens*. Онъ дошелъ до того, что гордо объявилъ чудовищное прекраснымъ: *le laid, c'est le beau...* Подчиняясь нѣмецкому вліянію, онъ ринулся въ средніе вѣка, но вынесъ оттуда только одни нелѣпыя преувеличенія. Гюго имѣлъ свою минутку торжества, но давно уже во Франціи и онъ, и романтизмъ не больше, какъ преданіе... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится тамъ условныхъ и стѣснительныхъ формъ псевдо-классицизма, но за это никого уже не называютъ тамъ «романтикомъ».

Само собою разумѣется, что у насъ романтизмъ не могъ имѣть никакого соотношенія ни съ католицизмомъ, ни съ средними вѣками. Онъ могъ бы еще быть стремленіемъ къ лирической, субъективной настроенности въ поэзіи, усиліемъ сдѣлать поэзію выраженіемъ преимущественно внутреннихъ тайнъ сердца, мистики человѣческой личности, потому что такое направленіе поэзіи есть дѣйствительно романтическое. Но Жуковский уже ввелъ въ нашу поэзію этотъ романтизмъ гораздо прежде, нежели слово «романтизмъ» сдѣлалось извѣстнымъ въ нашей литературѣ. И однако жъ Жуковскаго ни тогда, ни послѣ никто не называлъ романтикомъ: это названіе было утверждено общимъ голосомъ за Пушкинымъ, который и по своей натурѣ, и по характеру своей поэзіи несравненно меньше Жуковскаго былъ романтикомъ. За что же прослылъ онъ такимъ ультра-романтикомъ? — За то, что откинулъ въ своихъ произведеніяхъ всѣ старыя формы и началъ писать элегіи и поэмы. Изъ этого ясно видно, что нашъ романтизмъ никогда не былъ ничѣмъ другимъ, какъ реакціей стѣснительнымъ и условнымъ формамъ, занятымъ нашей литературой у французской литературы. Новѣйшій классицизмъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ усиліемъ поддѣлываться подъ формы древнихъ литературъ, греческой и латинской, произведенія которой

были признаны классическими, т. е. образцовыми, — такими, которые могли читаться въ училищахъ, въ классахъ, какъ непогрѣшительные образцы, достойные подражанія. Потомъ дошли до убѣжденія, что писать хорошо можно не иначе, какъ рабски подражая древнимъ. Разумѣется, подражать древнимъ можно было только въ формѣ, а не въ духѣ, но и это не могло не вредить добровольнымъ подражателямъ, потому что это значило новый духъ заковывать въ старыя и чуждыя ему формы. Такъ и было во Франци. Но французскіе писатели, подражая древнимъ, на зло самимъ себѣ и безъ собственного вѣдома, оставались вѣрными своему національному духу, тогда какъ ихъ подражатели, думая быть греками и римлянами, были ровню ничѣмъ. Объ уравниваніи природы и духа, выражавшемся въ пластически-прекрасной формѣ, никто не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, а всѣ твердили только о знаменитомъ тріединствѣ, плохо понятомъ изъ Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что въ классическомъ искусствѣ форма преобладаетъ надъ идеей, а въ романтическомъ, наоборотъ, — идея надъ формой. Но это, во-первыхъ, не совсѣмъ было вѣрно въ отношеніи къ древнему искусству, потому что въ немъ видно было примиреніе духа съ природою, уравниваніе идеи съ формою, а не перевѣсъ формы надъ идеей. Равнымъ образомъ не совсѣмъ вѣрно судили и о романтизмѣ, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона, — тогда какъ истинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а изъ извѣстныхъ поэтовъ развѣ только Петрарка и Дантъ, первый въ своихъ сонетахъ, исполненныхъ мечтательною идеальной любовью, а второй въ своей чудовищной и тѣмъ не менѣе великой поэмѣ, исполненной католическихъ тенденцій и богословскихъ аллегорій и такъ полно отразившей въ себѣ всю уродливо-величавую жизнь среднихъ вѣковъ. Новѣйшее искусство скорѣе должно стремиться подойти къ древнему, нежели къ романтическому, оставаясь въ сущности ровно ни тѣмъ, ни другимъ. Все это теперь ясно, какъ день. Но тогда вопросъ былъ многосложенъ, и спорящія стороны не понимали ни себя, ни другъ друга. Какъ ни бросались въ философію, что ни твердили о внѣшнемъ и внутреннемъ, о формѣ и идеѣ, но главнымъ вопросомъ все-таки оставалось освобожденіе отъ условныхъ правилъ, безъ нужды стѣснявшихъ вдохновеніе и отдалявшихъ искусство отъ естественности, самобытности и народности.

Вопросъ стоилъ споровъ, дѣло стоило битвы. Теперь на этомъ полѣ все тихо и

мертво, забыты и побѣжденные, и побѣдители; но плоды побѣды остались, и литература навсегда освободилась отъ условныхъ и стѣснительныхъ правилъ, связывавшихъ вдохновеніе и стоявшихъ непреодолимой плотной для самобытности и народности. И первымъ поборникомъ и пламеннымъ бойцомъ является въ этой битвѣ Полевой, какъ журналистъ, публицистъ, критикъ, беллетристъ.

«Московский Телеграфъ» былъ явленіемъ необыкновеннымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Человѣкъ, почти вовсе неизвѣстный въ литературѣ, нигдѣ не учившійся, купецъ званіемъ, беретая за изданіе журнала, — и его журналъ съ первой же книжки изумляетъ всѣхъ живостью, свѣжестью, новостью, разнообразіемъ, вкусомъ, хорошимъ языкомъ, наконецъ, вѣрностью въ каждой строкѣ однажды принятому и рѣзко выраженному направленію. Такой журналъ не могъ не быть замѣченнымъ и въ толпѣ хорошихъ журналовъ, но среди мертвой, вялой, безвѣтной, жалкой журналистики того времени онъ былъ изумительнымъ явленіемъ. И съ первой до послѣдней книжки своей издавался онъ въ теченіе почти десяти лѣтъ съ той постоянной заботливостью, съ тѣмъ вниманіемъ, съ тѣмъ неослабваемымъ стремленіемъ къ улучшенію, которыхъ источникомъ могутъ быть только призваніе и страсть. Первая мысль, которую тотчасъ же началъ онъ развивать съ энергіей и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью, которую почти всѣ приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы прости ее въ обществу, сдѣлать ходячей истиной. И это совершилъ Полевой! Боже мой! какъ взвѣлись на него за эту мысль ученые невѣжды, безталантные литераторы, плохіе журналисты, закончившіе въ предразсудкахъ старика! И какъ усилилась эта буря негодованія и злобы умной, оригинальной, чуждой предразсудковъ критикой «Московскаго Телеграфа», высказывавшаго свои мнѣнія прямо, не смотрѣвшаго ни на какіе авторитеты! И было изъ чего сердиться на этотъ журналъ: нѣтъ возможности пересчитать всѣ авторитеты, уничтоженные имъ! И сколько было тогда великихъ писателей, которые ничего путнаго не написали! Одинъ дубовымъ стилишинами переложилъ расвиновскую трагедію; другой написалъ мадригалъ Лилетъ и триолетъ Хлобъ; третій — дюжину плаксивыхъ

стишонковъ; четвертый — сентиментальную повѣсть; извѣстность пятого была основана на статьѣ, выкраденной изъ иностранной книги, а шестой просто выдать за свое сочиненіе забытый трудъ какого-нибудь стараго русскаго писателя. «Московский Телеграфъ» на все навелъ справки, все вспомнилъ, все вывелъ наружу... Многимъ сказало оны, что ихъ сочиненія въ свое время могли имѣть свою относительную цѣнность, но что время ихъ прошло, и что теперь мальчишки пишутъ лучше ихъ, заслуженныхъ и знаменитыхъ авторовъ. На все на это нужно было тогда много смѣлости: въ то время самое легкое замѣчаніе не въ пользу автора или сочиненія принималось за брань и ругательство и служило поводомъ ко множеству критикъ, антикритикъ, рекритикъ, отвѣтовъ, возраженій и проч. Считавшіе себя обиженными не забывали этого; а кому пріятно имѣть безчисленное множество враговъ, иногда просто изъ ничего? Да, для этого нужно было больше, чѣмъ смѣлость, — нужно было самоотверженіе. Особенную ненависть навлекъ на себя Полевой со стороны ученаго люда, учившагося по старымъ книгамъ и не подозрѣвавшаго, что могутъ быть новыя и лучшія. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что оны, да кто оны, гдѣ оны училися, гдѣ его аттестаты, какіе его ученые званія? оны купецъ, торгашъ, самоучка, всезнайка и т. п. Повѣрятъ ли, что многіе «ученые» въ своихъ выходкахъ противъ Полевого не стыдились дѣлать намеки на его водочный заводъ, — пятно, какъ сказалъ Пушкинъ, ужасное, какъ извѣстно, всему нашему дворянству!.. Вотъ что, напрямѣръ, было сказано между прочимъ о Полевомъ въ «Вѣстникъ Европы» (1828 года, № 23, стр. 199). «Оны прикидывается къ нимъ (къ поэтамъ) волчокъ критики съ размаху и опредѣляетъ мигомъ, сколько въ нихъ поэгическаго угара»..

Загляните въ современные «Московскому Телеграфу» журналы — и вы подумаете, что Полевой не умѣлъ иначе говорить, какъ страшными ругательствами, что журналъ его былъ складочнымъ мѣстомъ полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московский Телеграфъ» хоть за все время его существованія, — и вы увидите, что всегда, въ жару самой запальчивой полемики, оны умѣлъ сохранять свое достоинство, уважать приличіе и хорошій тонъ, и что въ самыхъ любезностяхъ его противниковъ было больше грубости и плоскости, нежели въ его брани. Мы пишемъ не панегирикъ, не эллогу, а характеристику замѣчательнаго дѣятеля на поприщѣ русской литературы, и потому мы не скажемъ не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался,

но и того, чтобы оны всегда былъ безпристрастенъ въ отношеніи къ своимъ противникамъ, всегда умѣлъ отдавать имъ должную справедливость. Нѣтъ, оны былъ человекъ, и при томъ постоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношеніи къ нему несправедливостями, ошибался и бывало не правъ; но въ исторіи человѣческихъ дѣлъ вопросъ не въ томъ, кто былъ безупреченъ и непогрѣшителенъ, а въ томъ, кто болѣе другихъ относительно, по возможности, былъ справедливъ, или у кого сумма добраго стремленія и добрыхъ дѣлъ если не перевѣшиваетъ недостатковъ и слабостей, то искупляетъ ихъ... И въ этомъ отношеніи издатель «Московского Телеграфа» смѣло могъ бы разсказать всему свѣту исторію своихъ отношеній къ противникамъ, не скрывая своихъ промаховъ и ошибокъ, смѣло могъ бы одинъ противостать цѣлой ихъ фалангѣ... Наведя справки, не трудно убѣдиться, что полемики въ «Московскомъ Телеграфѣ» было не много, по крайней мѣрѣ меньше, нежели въ каждомъ изъ современныхъ ему журналовъ, не говоря уже о томъ, что его полемическія статьи всегда были умны, дѣльны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общаго ожесточенія противъ этого журнала должно искать не столько въ полемическихъ статьяхъ, сколько въ его критикѣ и библиографіи, гдѣ правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась больнѣе. До «Телеграфа» въ нашей журналистикѣ уклончивый тонъ принимали за одно съ вѣжливымъ; старались какъ можно меньше говорить о писателяхъ и сочиненіяхъ, а если говорили, то съ тѣмъ, чтобы хвалить общими избитыми фразами. Полевой показалъ первый, что литература — не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины есть ея главный предметъ, и что истина — не такая бездѣлица, которой можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Изъявить публично такой образъ мыслей въ то время значило сдѣлать страшную дерзость и высказать себя человекомъ «безпокойнымъ», т. е. хуже чѣмъ безнравственнымъ.

Многіе раздѣляютъ людей въ нравственномъ отношеніи на благонамѣренныхъ и безпокойныхъ: первые не мѣшаютъ другимъ обдѣлывать свои дѣлашки, каковы бы они ни были, лишь бы только и имъ никто не мѣшалъ втихомолочку заниматься тѣмъ же самымъ; вторые никакъ не могутъ вытерпѣть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что ихъ сосѣдъ, посредствомъ справокъ и отношеній, пустилъ по міру цѣлое семейство, или,

*Когда весь городъ знаетъ,  
Что у него ни за собой,*

Ни за женой—

А смотришь, помаленьку

То домикъ выстроить, то купить деревеньку.

И въ литературномъ мѣрѣ даже и теперь «благонамѣренныхъ» несравненно больше, нежели «безпокойныхъ», а въ то время, то есть до «Телеграфа», послѣднихъ почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этотъ журналъ многими казался чудовищнымъ явленіемъ, именно потому, что здравый смыслъ, образованный вкусъ и истину ставилъ выше людей и ради ихъ не щадилъ авторскихъ самолюбій. Теперь съ трудомъ можно повѣрить, чтобы когда-нибудь могло быть такимъ образомъ и до такой степени: и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указываетъ на рѣзкое различіе роли Полевого отъ роли Карамзина на одномъ и томъ же, впрочемъ, поприщѣ. Карамзинъ не былъ связанъ прошедшимъ, и ему не съ чѣмъ было бороться, почему онъ и не оскорбилъ ничего самолюбія, не возбудилъ ни чьей вражды къ себѣ, кромѣ завистниковъ, блѣдный рой которыхъ скоро долженъ былъ исчезнуть при быстрыхъ усѣбахъ его славы и при общей любви къ нему большинства образованнаго общества. Обстоятельства, положеніе литературы дали Полевому роль бойца. Онъ не столько утверждалъ, сколько отрицалъ, не столько доказывалъ, сколько оспаривалъ. Кромѣ того во время Карамзина было не до идей и вопросовъ; первыхъ никто не спрашивалъ, вторыхъ не было, общество было для нихъ еще слишкомъ молодо, неразвито и бессознательно. Спорили о фразахъ, хлопотали о правильности и чистотѣ языка, и всѣ вопросы заключались въ стилистикѣ. Во всемъ остальномъ дѣло шло о томъ, чтобы педантическую школьную литературу сдѣлать свѣтской, общественной и общительной, равно привлекательной и для кабинетнаго труженика, и для дѣловаго человѣка, и для свѣтскаго щеголя и свѣтской дамы. И Карамзинъ это сдѣлалъ не теоріями, не спорами, а образчиками сочиненій, которыхъ требовалъ духъ времени. Онъ былъ знакомъ хорошо и съ французской, и съ нѣмецкой, и съ англійской литературами, но ихъ вліяніе на него было больше внѣшнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII вѣка не возмѣтали его, по крайней мѣрѣ этого не замѣтно въ его сочиненіяхъ. Фоввизинъ, предшественникъ Карамзина, гораздо больше былъ сыномъ своего вѣка. Карамзинъ занялъ у XVIII вѣка только сентиментальное направленіе и обожаніе природы, которую называлъ онъ Нагурой, тоже сентиментальное, но не пантеистическое; о любви и всѣхъ сердечныхъ склонностяхъ говорилъ онъ какъ

будто съ голосу Руссо, но въ сущности смотрѣлъ на нихъ не больше, какъ на извинительныя слабости человѣческаго естества. Вотъ все, чѣмъ ограничилось вліяніе на него вѣка. Но чрезъ двадцать-пять лѣтъ явились уже другія потребности, явилось стремленіе къ сознанию, къ изслѣдованію, къ анализу. Захотѣли узнать, что такое Шекспаръ и Байронъ, Данте и Сервантесъ, Гёте и Шиллеръ, что такое Востокъ и классическая древность, что такое философія, политическая экономія и т. д., и все это свели на вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, или по крайней мѣрѣ кстати и некстати все это привязали къ нему.

Всѣ новыя идеи, возникшія въ Европѣ въ началѣ XIX вѣка, смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались въ ней. Это было время, когда хотѣли ломать и строить, но на половинѣ ломки останавливались, чтобы сдѣлать новую надстройку, а на половинѣ стройки останавливались, чтобы кончить по старому. Это была эпоха чисто переходная. И «Телеграфъ», вѣрный своему названію, былъ полнымъ представителемъ этой эпохи. Въ немъ было много силы, энергіи, жару, стремленія, безпокойства, тревожности; онъ неуспѣшно слѣдилъ за всѣми движеніями умственнаго развитія въ Европѣ и тотчасъ же передавалъ ихъ такъ, какъ они отражались въ его понятіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ все въ немъ было неопредѣленно, часто смутно, а иногда и противорѣчиво. Это давало полную возможность придирается къ нему людямъ, стоявшимъ внѣ умственнаго движенія своей эпохи. И они не шутя считали себя неизмѣримо выше Полевого и съ важностью ловили и высчитывали его обмолвки, промахи, ошибки, не понимая, что ихъ преимущество надъ нимъ состояло только въ томъ, что они спали, а онъ жилъ и дѣйствовалъ: кто спитъ, тотъ, разумѣется, не грѣшитъ, особенно если спитъ такъ крѣпко, что и во снѣ ничего не видитъ... Они гордо величали его то самоучкой, то недоучкой, и на основаніи его ошибокъ (а часто и того, что только имъ казалось ошибками, то есть чего они не въ состояніи были понять) доказывали, что онъ невѣжда и шарлатанъ.

Правда, онъ учился самоучкой, и то, что другимъ давалось безъ труда, досталось ему страшными усиліями; но если этотъ путь къ знанію не могъ не повредить Полевому, болѣе или менѣе разладивши его съ систематичностью и методой, зато и принесъ ему большую пользу: спасъ его отъ школьныхъ предрасудковъ, отъ педантизма и образовалъ изъ него публициста, которому нужно имѣть дѣло не съ аудиторіей, а съ обществомъ. Его все ин-

тересовало, ко всему влекло, и онъ учился съ жаромъ, съ упорствомъ, съ настойчивостью; но этотъ энциклопедизмъ, эта жажда всезнанія при житейскихъ заботахъ, при изданіи журнала естественно не допускала его углубиться въ какой-нибудь исключительный предметъ, сдѣлаться ученымъ. Неопредѣленность идей (свойство той эпохи) и поверхностность многосторонняго знанія (результатъ энциклопедическаго направленія и самообразованія) отзывались во многомъ, что писалъ онъ, особенно въ его философскихъ воззрѣніяхъ; но онъ равно былъ чуждъ и невѣжества, и шарлатанства, въ которыхъ его обвиняли противники. Натура живая и воспримчивая, онъ страстно увлекался всѣми современными идеями, и его можно было обвинять только въ томъ, что онъ часто понималъ ихъ по-своему, но не въ томъ, чтобы онъ говорилъ о нихъ, не понимая ихъ. Журналистъ и беллетристъ по призванію, человекъ практической по своей природѣ, онъ всегда былъ ясенъ и опредѣленъ, когда не бросался въ теорію, но говорилъ просто, какъ человекъ со вкусомъ, съ здравымъ смысломъ и съ образованіемъ. Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямого источника, недоступнаго для диллетантовъ и любителей философіи, а изъ популярныя лекцій Кузена, — и его главная ошибка тутъ состояла въ томъ, что этого беллетриста философіи онъ принялъ за главу философскаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ. Даже и въ этомъ отношеніи, можетъ быть, составляющемъ самую слабую сторону образованія Полевого, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремившейся, ничего не оставившей безъ вниманія. Въмѣстѣ съ нимъ много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потому называвшихъ себя «учеными»; всѣ они были противъ него одного; но что же сдѣлали они, или что они дѣлаютъ теперь?.. Гдѣ свершеніе тѣхъ надеждъ, которыя они подавали?.. Черезъ два года послѣ «Московского Телеграфа» явился «Московский Вѣстникъ», за нимъ — «Атеней» и «Галатея», даже дряхлый «Вѣстникъ Европы» оживился, ударился въ ожесточенную полемику, схватился за теорію и даже философію, потомъ всѣ они соединились въ «Телескопъ» чтобы сильнѣе ударить на своего общаго врага; но они могли только поднять его своими нападами, ничего не сдѣлавши ни для себя, ни для публики...

Сначала въ «Телеграфѣ» принимали участие, хотя и не большое, даже Жуковский и Пушкинъ, и весьма значительное участие

принималъ въ немъ князь Вяземскій. Но вскорѣ участь этого журнала стала зависѣть только отъ дѣятельности и таланта его издателя, постоянно вспомоществуемаго только своимъ братомъ, К. А. Полевымъ; но журналъ отъ этого не упалъ, а годъ отъ году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже двѣ важныя ошибки его издателя. Первая изъ нихъ была — примиреніе съ однимъ петербургскимъ журналомъ и одной петербургскою газетою послѣ продолжительной и постоянной войны съ ними. Такъ какъ эта война дѣлала особенную честь «Телеграфу», то примиреніе не могло не окомпрометтировать его. Эта важная ошибка была слѣдствіемъ другой, еще важнѣйшей. Въ 1829 году Полевой напечаталъ въ своемъ журналѣ критическую статью объ «Исторіи Государства Россійскаго». Статья была превосходно написана, мѣра заслугъ Карамзина оцѣнена въ ней была вѣрно, безпристрастно, съ полнымъ уваженіемъ къ имени знаменитаго писателя. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось въ «Телеграфѣ» объявленіе о скоромъ выходѣ «Исторіи Русскаго Народа». Тогда поднялась противъ Полевого страшная буря: его статья объ исторіи Карамзина обяснялась его противниками, какъ предисловіе къ объявленію о подпискѣ на собственную исторію. Но всѣ эти вопли Полевому легко сдѣлать ничтожными и обратиться къ собственной чести и къ предосудженію своихъ противниковъ: ему стоило только всегда сохранять тонъ должнаго уваженія къ Карамзину, даже доказывая его ошибки; но онъ не вытерпѣлъ — и досаду на своихъ противниковъ сталъ вымещать на «Исторіи» Карамзина. «Исторія Русскаго Народа» явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была исторія, а въ другомъ — довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отведено ровно по полустраницѣ... Пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человека, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги, но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью...

Къ этой же эпохѣ «Телеграфа» относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя съ его статьями, многоглаголивыми, широкովѣщательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ подъ фирмою ратованія за новое скрывались отсталость и страшная ограниченность въ понятіяхъ... Но «Телеграфъ» вынесъ и этотъ сильный ударъ, имъ же самимъ нанесенный себѣ: несмотря на все это, онъ не падалъ, а улучшался. Причина этого заключалась въ личности его издателя. Онъ былъ литера-

торомъ, журналистомъ и публицистомъ не по случаю, не изъ расчета, не отъ нечего дѣлать, не по самолюбію, а по страсти, по призванію. Онъ никогда не negliжировалъ издаемъ своего журнала, каждую книжку его издавалъ съ тщаніемъ, обдуманно, не жалѣя ни труда, ни издержекъ. И при этомъ онъ владѣлъ тайной журнальнаго дѣла, былъ одаренъ для него страшной способностью. Онъ постигъ вполне значеніе журнала, какъ зеркала современности, «и современное» и «кстати» — были въ рукахъ его поистинѣ два волшебные жезла, производившіе чудеса. Пронесется ли слухъ о пріѣздѣ Гумбольдта въ Россію, онъ помѣщаетъ статью о сочиненіяхъ Гумбольдта; умираетъ ли какая-нибудь европейская знаменитость, — въ «Телеграфѣ» тотчасъ является ея біографія, а если это ученый или поэтъ, то критическая опѣнка его произведеній. Ни одна новость никогда не ускользала отъ дѣятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущей новостью, и каждая статья въ ней была на своемъ мѣстѣ, была кстати. Поэтому «Телеграфъ» совершенно былъ чуждъ недостатка, столь общаго даже хорошимъ журналамъ: въ немъ никогда не было балласту, т. е. такихъ статей, которыхъ помѣщеніе не оправдывалось бы необходимостью... И потому, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать положительно, что «Московскій Телеграфъ» былъ рѣшительно лучшимъ журналомъ въ Россіи онъ начала журналистики.

Въ 1832, 1833 и 1834 годахъ «Телеграфъ», нисколько не ослабѣвая ни въ энергіи, ни въ разнообразіи, ни въ достоинствѣ, тѣмъ не менѣе былъ уже въ своей апогеѣ, даже на поворотѣ съ нея. Онъ сдѣлалъ свое дѣло и, попрежнему хлопоча о движеніи впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, наперекоръ самому себѣ, началъ принимать характеръ коснѣнія. Въ эти три года были напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полевого сочиненій Державина, Жуковскаго, Пупкина и повѣсти: «Блаженство Безумія», «Живописецъ», «Эмма». Въ тѣхъ и другихъ Полевой высказался вполне, въ тѣхъ и другихъ вполне выказались уголъ его зрѣнія, стигъ его ума, характеръ его образованія, равно какъ вполне отразилась его эпоха съ ея живой дѣятельностью, безпокойнымъ, тревожнымъ движеніемъ, заносчивостью, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностностью и неопредѣленностью въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ

громкими словами и туманными фразами вмѣсто теорій, съ смѣлостью, отвагой, одушевленіемъ. Въ этихъ статьяхъ и повѣстяхъ Полевой какъ бы поспѣшилъ представить результатъ своей журнальной дѣятельности, разомъ пѣлостно и обдуманно высказавъ въ нихъ все, о чемъ говорилъ нѣсколько лѣтъ отрывочно и случайно. Онъ какъ будто чувствовалъ, не сознавая этого ясно, что возникаетъ въ нашей литературѣ новое движеніе, ему невѣдомое и непонятное, — и торопился высказаться вполне и опредѣленно. А новое между тѣмъ дѣйствительно возникало, — и Полевой отступилъ отъ Пупкина, какъ отъ отсталаго поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшего великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понялъ онъ Гоголя и, по искреннему убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи...

Съ прекращеніемъ «Телеграфа» поприще Полевого, какъ журналиста, было кончено, и ему слѣдовало ограничиться такъ-называемыми солидными трудами — доканчивать свою исторію, писать и издавать книги... Но что приважете дѣлать съ неугомонной журнальной натурой? Быть столько времени и съ такимъ успѣхомъ первымъ голосомъ въ журналистикѣ — и слышать новые, долготѣ безвѣстные голоса, которые поютъ уже совсѣмъ другую пѣсню, на это у него не достало силы резиньироваться. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходилъ съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался, было, за редакцію новыхъ — и только доказывалъ этимъ, что время его прошло невозвратно... При этомъ естественно не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикой, выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонѣ... Но довольно объ этомъ: заслуги Полевого такъ велики, что, при мысли о нихъ, нѣтъ ни охоты, ни силы распространяться о его ошибкахъ...

О его драмахъ мы ничего не скажемъ, кромѣ того, что онѣ доказываютъ его удивительную способность быть всѣмъ въ области беллетристики и во всемъ дѣйствовать съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Возьмись онъ за нихъ въ началѣ, а не въ концѣ своего поприща, — и онѣ, можетъ быть, умножили бы его права на общую признательность... Повѣсти его потому именно имѣютъ свое относительное достоинство, что явились въ-время. Не долго нравились онѣ, но нравились сильно, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ былъ вѣренъ себѣ, и для него онѣ были только особенной отъ журнальныхъ статей формой для

развитія тѣхъ же тенденцій, которыя развивались онъ и въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. То же должно сказать и о его романахъ, изъ которыхъ «Клятва при Гробѣ Господнемъ» отличается мѣстами замѣчательнымъ умѣньемъ пользоваться историческими источниками для романическихъ сценъ и картинъ.

Вѣренъ онъ былъ себѣ и въ своей «Исторіи Русскаго Народа»: какъ во всемъ, что ни писалъ онъ, и въ ней былъ онъ журналистомъ, а не историкомъ. Въ этомъ ея слабая сторона, но въ этомъ и ея относительныя достоинства. Онъ взялся за нее не по призванію, однако жъ и не изъ расчета, какъ утверждали это его противники, а по страстному влеченію своей журнальной природы — все представлять въ новомъ видѣ, ко всему прилагать новыя идеи. Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ его головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприложимъ къ русской исторіи. Это значило вовсе не понять русской исторіи, и не нужно говорить, что изъ этого вышло. Истина взяла, наконецъ, свое, и послѣдніе томы «Исторіи Русскаго Народа» ужь очень похожи на «Исторію Государства Россійскаго»... Конечно, нельзя сказать, чтобы въ первой не было ничего дѣльнымъ образомъ новаго, но въ сущности «Исторія» Полевого только возвысила «Исторію» Карамзина... Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая изъ хорошаго источника, ошибка человѣка умнаго и даровитаго, думавшаго быть дальше своей эпохи, но на дѣлѣ бывшаго только однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ ея выраженій... Впослѣдствіи Полевой написалъ русскую исторію для дѣтей; это былъ трудъ простой, безъ претензій, и потому очень дѣльный и полезный, отличавшійся даже ясностью и картинностью историческаго изложения.

Полевой родился въ купеческомъ семействѣ и готовился быть купцомъ. Ему было около двадцати лѣтъ отъ роду, когда рѣшился онъ учиться и образоваться. Отецъ его, человѣкъ стараго времени, неблагоклонно смотрѣлъ на его любовь къ книгамъ, и Полевой занимался ими тайкомъ. Кончивъ днемъ дѣла свои по торговлѣ, ночью, вмѣсто того чтобы спать, принимался онъ за ученье. Не всегда могъ доставать онъ для этого огарокъ свѣчки, потому что отецъ его запретилъ ему сидѣть

по ночамъ. Не было свѣчи — онъ пользовался луннымъ свѣтомъ; доставалъ свѣчу — и затыкалъ щелки своей комнаты, чтобы предательскій свѣтъ огня не бросился въ глаза отцу. Въ такихъ страшныхъ, разрушительныхъ для здоровья трудахъ провелъ онъ три года. Въ это время написалъ онъ статью о провѣздѣ императора Александра черезъ Курскъ и послалъ ее въ «Московскія Вѣдомости». Статья обратила на себя вниманіе курскаго губернатора, который захотѣлъ познакомиться съ молодымъ авторомъ. Это живо затѣнуло самолюбіе старика-отца, и онъ позволилъ своему сыну заниматься книгами. У пьянаго дядька началъ Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенной памятью, для начала выучилъ наизусть цѣлый французскій лексиконъ... Эта неудержимая страсть къ ученію, эта страшная сила воли въ достиженіи цѣли и преодоленіи препятствій достаточно доказываютъ, что Полевой не былъ человѣкомъ обыкновеннымъ. Почти двадцати-двухъ лѣтъ началъ онъ самоучкой учиться русской грамматикѣ: это было около 1818 года, а въ 1825 году, т. е. чрезъ семь лѣтъ, Полевой былъ издателемъ лучшаго журнала въ Россіи... Такие люди не часто являются, и гораздо легче попасть въ доктора всѣхъ возможныхъ наукъ, нежели сравниться съ ними...

Заключаемъ. Предлагаемая статья не есть ни памфлетъ, ни панегирикъ; мы старались безъ преувеличенія оцѣнить заслуги одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы, не скрывая слабыхъ сторонъ его литературной дѣятельности, но смотря на нихъ *sine ira et studio*. Пусть судятъ читатели, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Явится много толковъ о Полевомъ: одни будутъ безъ мѣры превозносить, другіе безъ мѣры унижать его, тѣ провозгласятъ его великимъ ученымъ, другіе — великимъ романистомъ и нувеллистомъ, третьи — чего добраго? — великимъ драматургомъ; но едва ли кто-нибудь признаетъ его тѣмъ, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ замѣчательнѣе... Такъ думаемъ мы, хороше зная современную литературу и ея дѣятели... Дай Богъ, чтобы мы ошиблись въ этомъ; но во всякомъ случаѣ смѣемъ думать, что голосъ нашъ, упредивши другія сужденія, не будетъ бесполезенъ для тѣхъ, которые возьмутся судить о Полевомъ.

## Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.

Русскій бытъ —

Увы!—совсѣмъ не такъ глядять,  
Хоть о семейности его  
Славянофилы намъ твердятъ  
Уже давно,—но, виновать,  
Я въ немъ не вижу ничего  
Семейнаго... О старинъ  
Разказовъ много знаю я,  
П память вѣрная моя  
Тѣмъ пѣсенъ сохранила мнѣ  
Однообразныхъ и простыхъ,  
Но страшно грустныхъ... Слышенъ въ нихъ  
То голосъ воли удалой,  
Все злою долею женой,  
Все подколодною змѣей  
Опутанный,—то плачь о томъ,  
Что тускло зимнимъ вечеркомъ  
Горитъ лучина,—хоть не спать  
Бѣдняжкѣ ночь, и друга ждать,  
И тѣшить старую любовь,—  
Что ту лучину залила  
Лихая старая свекровь...  
О, вѣрьте мнѣ, не весела  
Картина—русская семья...  
Семья для насъ всегда была  
Лихая мачиха, не мать...

А. Григорьевъ.

Издавая въ свѣтъ полное собраніе стихотвореній покойнаго Кольцова, мы прежде всего думаемъ выполнить долгъ справедливости въ отношеніи къ поэту, до сихъ поръ еще не понятому и не оцѣненному надлежащимъ образомъ. Конечно, нельзя сказать, чтобы Кольцовъ не обратилъ на себя общаго вниманія еще при первомъ появленіи своемъ на литературное поприще; но это вниманіе относилось не столько къ поэту съ сильнымъ самобытнымъ талантомъ, сколько къ любопытному феномену. Большой частью въ немъ видѣли русскаго мужичка, который, едва зная грамоту, самъ собою открылъ и развилъ въ себѣ способность писать стишки, и при томъ недурные. Всѣ поняли, что по таланту Кольцовъ выше Слѣбушкина, Суханова, Алипанова; но не многие поняли, что у него рѣшительно не было ничего общаго съ этими поэтами-самоучками, какъ ихъ тогда величали. Впрочемъ, это естественно, и тутъ некого винить. Для вѣрной оцѣнки всякаго поэта нужно время, и не разъ случалось, что даже великіе гении въ области искусства были признаваемы только потомствомъ. Теперь этого уже не бываетъ, потому что теперь пустому, но блестящему таланту легче попасть въ геніи, нежели генію не быть признаннымъ; но и теперь это признаніе цѣлой массой общества

тоже требуетъ времени и обходится не безъ борьбы. То же самое можно отнести ко всякому замѣчательному таланту, выходящему изъ-подъ уровня обыкновенности.

Кромѣ этого обстоятельства, Кольцовъ явился въ то время русской литературы, когда она, такъ сказать, кипѣла новыми талантами въ новыхъ родахъ. Едва замолкли поэты, вышедшіе по слѣдамъ Пушкина, какъ начали появляться романисты, нувеллисты, а потомъ поэты-стихотворцы, рѣзко отличавшіеся отъ прежнихъ своимъ направлениемъ и колоритомъ. Въ литературѣ молодой и не установившейся новостъ возбуждаетъ такое же вниманіе, какъ и гениальность, и часто считается за одно съ нею, хотя и не надолго. Среди всѣхъ этихъ новостей самъ Кольцовъ возбудилъ собою вниманіе, какъ новостъ, появившаяся подъ именемъ поэта-прасола. Будь онъ не мѣщанинъ, почти безграмотный, не прасоль, — его стихотворенія, можетъ быть, едва ли были бы тогда замѣчены. Первые стихотворенія Кольцова печатались изрѣдка въ разныхъ малоизвѣстныхъ изданіяхъ. Публика узнала о немъ только въ 1835 году, когда въ Москвѣ вышла книжка его стихотвореній, въ числѣ восемнадцати пьесъ, изъ которыхъ едва ли половина носила на себѣ отпечатокъ его самобытнаго таланта, потому что пора на-



стоящаго творчества и полного развитія таланта Кольцова настала только съ 1836 года. Однако же вниманіе, какое обратили на Кольцова многие литераторы и между ними Жуковский и самъ Пушкинъ, отозвалось и въ публикѣ. Книжка имѣла успѣхъ, и имя Кольцова приобрѣло общую извѣстность. Съ 1836 года онъ постоянно писалъ свои стихотворенія въ журналахъ: «Современникъ», «Телескопъ», «Литературныхъ Прибавленіяхъ въ Русскому Инвалиду», «Сынъ Отечества» (1838), «Московскомъ Наблюдателѣ» (1838—1839), а потомъ большей частью въ «Отечественныхъ Запискахъ», и въ альманахахъ: «Утренняя Заря» и «Сборникъ». Когда даже и большія сочиненія, повѣсти и драмы, разбросаны такимъ образомъ по разнымъ изданіямъ, и тогда публикѣ неудобно составить себѣ о ихъ авторѣ опредѣленное понятіе: тѣмъ болѣе это относится къ автору мелкихъ стихотвореній, которые въ продолженіе почти восьми лѣтъ печатались въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Появляется въ журналѣ новое стихотвореніе даровитаго поэта, производитъ свой эффектъ—и, какъ все въ мірѣ, мало-по-малу забывается. Иной читатель и хотѣлъ бы вновь перечестъ его, но для этого надо отыскивать стихотвореніе въ кучѣ журналовъ; а при томъ не всякій помнитъ, гдѣ именно помѣщено оно, и не всякій имѣетъ возможность доставать старые журналы. Такимъ образомъ общій колоритъ и характеръ произведеній поэта ускользаютъ отъ читателей. Отъ времени до времени поэтъ производитъ на нихъ впечатлѣніе то тѣмъ, то другимъ своимъ стихотвореніемъ, но не общностью, не цѣлостью своей поэзіи, которая, если онъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ, должна представлять собою особый, самобытный и оригинальный міръ дѣятельности.

Прежде, нежели приступимъ мы къ разсмотрѣнію произведеній Кольцова, считаемъ нужнымъ коснуться нѣкоторыхъ подробностей его жизни. Жизнь Кольцова не богата ими, лучше сказать, вовсе бѣдна внѣшними событіями; но тѣмъ богатѣе исторія его внутренняго развитія и тяжелой борьбы между его призваніемъ и его суровой судьбой.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мѣщанинъ, былъ человѣкъ не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки материала на салотопленные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получилъ никакого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ у насъ и не въ одномъ этомъ сословіи. Само-собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ онъ не могъ набраться не

только какихъ-нибудь нравственныхъ правилъ или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не могъ обогатиться никакими хорошими впечатлѣніями, которыя для юной души важнѣе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видѣлъ вокругъ себя домашнія хлопоты, мелочную торговлю съ ея продѣлками, слышалъ грубыя и не всегда пристойныя рѣчи даже отъ тѣхъ, изъ чьихъ устъ ему слѣдовало бы слышать одно хорошее. Всѣмъ извѣстно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она въ особенности въ среднемъ классѣ, гдѣ мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена съ мѣщанской спѣсью, ломаньемъ и кривляньемъ. По счастью къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой былъ воспитанъ. Съ дѣтства онъ жилъ въ своемъ особенномъ мірѣ,—и ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты производили на него гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели грубая и удручливая атмосфера его домашней жизни. Предоставленный самому себѣ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всѣмъ дѣтямъ любившій бродить босикомъ по травѣ и по лужамъ, чуть было, не лишился на всю жизнь употребленія ногъ, и долго былъ боленъ, такъ что хотя его влѣдствіемъ и вылѣчили, однако онъ всегда чувствовалъ отзвѣвы этой болѣзни. Только необыкновенно крѣпкое сложеніе могло спасти его отъ калѣчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ, напри- мѣръ, будучи уже старше шестнадцати лѣтъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ея голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но, несмотря на все это, онъ всегда былъ здоровъ и крѣпокъ.

На десятомъ году Кольцова начали учить грамотѣ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ какъ грамота ребенку удалась, и онъ скоро ей выучился, его отдали въ воронежское уѣздное училище, изъ котораго онъ былъ взятъ, пробывши около четырехъ мѣсяцевъ во второй классѣ: такъ какъ онъ умѣлъ уже читать и писать, то отецъ его и заключилъ, что болѣе ему ничего не нужно знать, и что воспитаніе его кончено. Не знаемъ, какимъ образомъ былъ онъ переведенъ во второй классъ, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищѣ, потому что, какъ ни коротко мы знали Кольцова лично, но не замѣтили въ немъ никакихъ признаковъ элементарнаго образованія. Мало того: изъ примѣра Кольцова мы больше всего убѣдились въ важности элементарнаго образованія, которое можно получить въ уѣздномъ училищѣ. При всѣхъ его удивительныхъ способностяхъ, при всемъ его

глубокомъ умѣ, — подобно всеѣ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ всегда чувствовалъ, что его интеллектуальному существованію недостаетъ твердой почвы, и что вслѣдствіе этого ему часто достается съ трудомъ то, что легко усвоивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодѣяніями первоначальнаго обученія. Такъ, напримѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ дѣтствѣ, чтобы понимать его. Для всякаго, кто въ уѣздномъ училищѣ прошелъ хоть Кайданова «Исторію» незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героевъ древности. Древняя жизнь и древній бытъ такъ не похожи на нашу жизнь и бытъ, что только чрезъ науку въ лѣта дѣтства можемъ мы осваиваться съ ними и привыкать находить ихъ возможными и естественными. Вслѣдствіе этого же недостатка въ элементарномъ образованіи, Кольцовъ, при всей глубокости и гибкости своего эстетическаго вкуса, не могъ понимать «Иліады», хотя и не разъ принимался читать ее въ переводѣ Гнѣдича, — между тѣмъ какъ Шекспиръ восхищалъ его даже въ посредственныхъ и плохихъ переводахъ, и онъ съ жадностью собиралъ, читалъ и перечитывалъ ихъ. Что онъ немного вынесъ изъ уѣзднаго училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ, — это всего яснѣе видно изъ того, что онъ не имѣлъ почти никакого понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орѳографіи.

Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе его интеллектуальной жизни: онъ началъ приращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на игрушки онъ употреблялъ на покупку сказокъ, и «Бова Королевичъ» съ «Ерусланомъ Лазаревичемъ» составляли его любимѣйшее чтеніе. На Руси не одна одаренная богатой фантазіей натура, подобно Кольцову, начала съ этихъ сказокъ свое литературное образованіе. Охота къ сказкамъ всегда есть вѣрный признакъ въ ребенкѣ присутствія фантазіи и наклонности къ поэзіи, — и переходъ отъ сказокъ къ романамъ и стихамъ очень естественъ: тѣ и другіе даютъ пищу фантазіи и чувству, съ той только разницей, что сказки удовлетворяютъ дѣтскую фантазію, а романы и стихи составляютъ потребность уже болѣе развитой и болѣе подружившейся съ разумомъ фантазіи. Но вотъ особенная черта, обнаружившаяся въ Кольцовѣ не только пассивную и воспринимающую, но и дѣятельную фантазію: читая сказки, онъ почувствовалъ охоту составлять самому что-

нибудь въ ихъ родѣ. Но такъ какъ тогда онъ еще не имѣлъ привычки повѣрять бумагѣ все, что ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались въ однихъ мечтахъ.

Десятилѣтній Кольцовъ взятъ былъ изъ училища отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему въ торговлѣ. Онъ бралъ его съ собою въ степи, гдѣ въ продолженіе всего лѣта бродилъ его скотъ; а зимой посылалъ его съ приказчиками на базары для закупки и продажи товара. Итакъ, съ десятилѣтняго возраста Кольцовъ окунулся въ омутъ довольно грязной дѣятельности; но онъ какъ будто и не замѣтилъ ее: его юной душѣ полюбили широкое раздолье степи. Не будучи еще въ состояніи понять и оцѣнить торговой дѣятельности, кипѣвшей въ этой степи, — онъ тѣмъ лучше понялъ и оцѣнилъ степь, и полюбилъ ее страстно и восторженно, полюбилъ ее какъ друга, какъ любовницу.

Степь раздольная  
Далеко вокругъ,  
Широко лежитъ,  
Ковылемъ-травой  
Разстилается!  
Ахъ, ты степь моя,  
Степь привольная,  
Широко ты, степь,  
Пораскинулась,  
Къ Морю Черному  
Понадвинулась!

Многія пьесы Кольцова отзываются впечатлѣніями, которыми подарила его степь: «Косарь», «Могила», «Путникъ», «Ночлеги Чумаковъ», «Цвѣтокъ», «Пора любви» и другія. Почти во всѣхъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь даже не играетъ никакой роли, есть что-то степное, широкое, размашистое и въ колоритѣ, и въ тонѣ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ — сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣяла. И потому ремесло прасола не только не было ему неприятно, но еще и нравилось ему: оно познакомило его со степью и давало ему возможность цѣлое лѣто не разставаться съ ней. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша, любилъ ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травѣ; любилъ иногда цѣлые дни не слѣзать съ коня, перегоняя стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь не была безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось цѣлые дни и недѣли проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вѣтру, засыпать на голой землѣ, подъ шумъ дождя, подъ защитой войлока или овчиннаго тулупа. Но привольное раздолье степи въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта вознаграждало его за всѣ лишения и тягости осени и бурной погоды.

Разставаясь со степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно на другое: въ городѣ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Бывши еще въ училищѣ, онъ сблизился съ мальчикомъ, ровесникомъ ему по лѣтамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотворение: «Ровеснику» написано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмѣстѣ читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не что-нибудь дѣльное, а романы Дюкре-дю-Мевилля, Августа Лафонтена и подобныхъ имъ; но если для впечатлительной, одаренной сильной фантазіей природы и сказки о Бовѣ и Ерусланѣ могли служить нравственнымъ будильникомъ, — то естественно, что эти романы еще болѣе не могли не быть ей полезными. Больше всего полюбилъ Кольцову изъ этихъ книгъ «Тысяча и одна ночь» и «Кадмъ и Гармонія» Хераскова, особенно первая. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы плѣнять и очаровывать впечатлительное воображеніе дѣтей и младенчествующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цѣну; это былъ съ его стороны первый шагъ впередъ на пути развитія. Ему уже не хотѣлось сочинять сказокъ: романы овладѣли воимъ существомъ его и, разубѣясь, у него родилось желаніе самому произвести что-нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтѣ.

Такимъ образомъ между степью съ баранами и чтеніемъ съ пріятелемъ провелъ Кольцовъ три года. Въ это время ему суждено было въ первый разъ узнать несчастье: онъ лишился своего друга, умершаго отъ болѣзни. Горестъ Кольцова была глубока и сильна; но онъ не могъ не утѣшиться скоро, потому что былъ еще слишкомъ молодъ, и въ немъ было слишкомъ много жизни, стремленія и отзова на призывы бытія. Чтеніе сдѣлалось его прибѣжищемъ отъ горести и утѣшеніемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободѣ, и въ городѣ и въ степи. До сихъ поръ онъ не читалъ стиховъ и не имѣлъ о нихъ никакого понятія. Вдругъ нечаянно покупаетъ онъ на рынкѣ, за сходную цѣну, сочиненія Дмитріева. Въ восторгѣ отъ своей покупки бѣжитъ онъ съ нею въ садъ и начинаетъ пѣть стихи Дмитріева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пѣть: такъ заключалъ онъ по пѣснямъ,

между которыми и стихами не могъ тотчасъ же не замѣтить близкаго сходства. Гармонія стиха и рѣзмы полюбились Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что такое стихъ и въ чемъ состоитъ его отличіе отъ прозы. Многія пѣсы онъ заучилъ наизусть, и особенно понравился ему «Ермакъ». Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать такія же звучныя строфы съ рѣзными, но у него не было ни матеріала для содержанія, ни умѣнія для формы. Однако жъ матеріалъ вскорѣ ему представился, и онъ по своему воспользовался имъ для перваго опыта въ стихахъ. Тогда ему было 16 лѣтъ. Одному изъ его пріятелей приснился странный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодяя лѣта всякій сколько-нибудь странный или необыкновенный сонъ имѣетъ для насъ таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ и рассказалъ его Кольцову, чѣмъ и произвелъ на него такое глубокое впечатлѣніе, что тотъ сейчасъ же рѣшился описать его стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засѣлъ за дѣло, не имѣя никакого понятія о размѣрѣ и версификаціи; выбралъ одну пѣсу Дмитріева и началъ подражать ей стиху. Первые стиховъ десятокъ достались ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, и въ ночь готова была пречудовищная пѣса, подъ названіемъ «Три Видѣнія», которую онъ потомъ истребилъ, какъ слишкомъ нелѣпый опытъ. Но какъ ни плохъ былъ этотъ опытъ, однако жъ онъ навсегда рѣшилъ поэтическое призваніе Кольцова: послѣ него онъ почувствовалъ рѣшительную страсть къ стихотворству. Ему хотѣлось и читать чужіе стихи, и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже не охотно читалъ прозу, и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Такъ какъ въ Воронежѣ и тогда существовала небольшая книжная лавка, то на деньги, которыя иногда давалъ ему отецъ, Кольцовъ скоро приобрѣлъ себѣ сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжалъ писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе: ему некому было показывать своихъ опытовъ, не съ кѣмъ было совѣтоваться на ихъ счетъ, а между тѣмъ совѣтниківъ ему было необходимо, — и онъ рѣшился обратиться за совѣтами къ воронежскому книгопродавцу, навивно предполагаая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дѣлѣ, и принесъ ему «Три Видѣнія» и другія свои пѣсы. Книгопродавецъ былъ человекъ необразованный, но не глухой и добрый; онъ сказалъ Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хоть онъ и не можетъ ему объяснить, почему именно; но что если

онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка: «Русская Просодія, изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона». Видно, какой-то инстинктъ сказалъ этому книгопродавцу, что онъ видитъ передъ собою челоуѣка не совсѣмъ обыкновеннаго, и видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарилъ ему «Русскую Просодію» и предложилъ ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ приобрѣлъ книгу, которая должна посвятить его въ таинства стихотворства и дать ему возможность самому сдѣлаться поэтомъ, и сверхъ того у него очутилась подъ руками цѣлая бібліотека! Это было для него счастьемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать однѣ и тѣ же книги; цѣлый новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всею жаромъ, со всею жадностью нестерпимаго голода, и безъ разбору пожиралъ чтеніемъ и хорошее, и дурное. Книги, которыя ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая бібліотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковского, Пушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ въ раздолѣ этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство прошло пять лѣтъ. Кольцовъ достигъ семнадцатилѣтняго возраста, и тогда съ нимъ совершилось событіе, имѣвшее могущественное вліяніе на всю жизнь его. Мы уже говорили, что Кольцовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ страстныхъ организацій, которыя рано открываются для всѣхъ симпатій сердца, для любви и дружбы въ особенности. До сихъ поръ это были чувства и привязанности хотя жаркія, но дѣтскія: теперь настала пора чувствъ и привязанностей другого рода. Въ семейство Кольцова вошла молодая дѣвушка, въ качествѣ служанки. Несмотря на низкое званіе, она получила отъ природы все, чѣмъ можно было потратить въ основаніи такую сильную и поэтическую натуру, какова была натура Кольцова. И его чувство не осталось безъ отвѣта. Не знаемъ, долго ли продолжалась эта связь; но знаемъ, что она не была шалостью или легкимъ безотчетнымъ чувствомъ, впервые пробудившейся потребностью молодой кипящей крови. Нѣтъ, это была страсть глубокая и сильная, вліяніе которой Кольцовъ чувствовалъ всю жизнь свою. Онъ не только любилъ, онъ уважалъ, свято чтить предметъ своей любви, въ которомъ нашелъ свой осуществленный идеалъ женщины, еще не мечтавъ объ идеалахъ и не ища ихъ. Но эта связь, составлявшая жизнь и блаженство молодого поэта, не нравилась его семейству

и даже беспокоила его. Извѣстное дѣло, что въ этомъ сословіи первое задушевное желаніе отца состоитъ въ томъ, чтобы поскорѣе женить своего сына на какомъ-нибудь размалеванномъ бѣлилами, румянами и сурьмой болванѣ съ черными зубами и хорошимъ, соответственно состоянію семьи жениха, приданымъ. Связь Кольцова была опасна для этихъ мѣщанскихъ плановъ, не говоря уже о томъ, что въ глазахъ дикихъ невѣждъ, простодушно и грубо чуждыхъ всякой поэзіи жизни, она казалась предосудительной и безнравственной. Надо было разорвать ее во что бы ни стало. Для этого воспользовались отсутствіемъ Кольцова въ степь, — и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ ея тамъ... Это несчастье такъ жестоко поразило его, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни и признавши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи развѣдывать о несчастной. Сколько могъ, далеко ѣздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньгами людей. Не знаемъ, долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная жертва варварскаго расчета, попавшись въ донскія степи, въ казачью станицу, скоро зачахла и умерла въ тоскѣ разлуки и въ мукахъ жестокаго обращенія...

Эти подробности мы слышали отъ самого Кольцова въ 1838 году. Несмотря на то, что онъ вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его устъ и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ... Только одинъ разъ говорилъ онъ съ нами объ этомъ, и мы никогда не рѣшались болѣе разспрашивать его объ этой исторіи, чтобъ узнать ее во всей подробности; это значило бы раскрывать рану сердца, которая и безъ того никогда вполне не закрывалась...

Эта любовь, и въ ея счастливую пору, и въ годину ея несчастья, сильно подѣйствовала на развитіе поэтическаго таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не стихотворцемъ, одолаваемымъ охотой слагать разбѣренные строчки съ римами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдѣлался отзывомъ на призывы жизни, грудь котораго носила въ себѣ богатое содержаніе для поэтическихъ изліяній. Пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Первая любовь», «Къ ней» (Опять тоску, опять любовь), «Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь», «Къ Милой», «Примиреніе», «Міръ Музыки» и нѣкоторыя другія явно относятся къ этой любви, которая всю жизнь не переставала

вдохновлять Кольцова. Натура Кольцова была крѣпка и здорова физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія-нибудь сладковато-мистическія утѣшенія, какъ это дѣлаютъ послѣ несчастья нравственно-слабыя натуры. Нѣтъ, онъ взялъ свое горе съ собой, бодро и мощно понесъ его по пути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни и ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи увидѣлъ онъ вознагражденіе за тяжкое горе своей жизни и весь погрузился въ море поэзіи, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ, и по ихъ слѣдамъ пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтическіе звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же онъ уже не имѣлъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому что нашелъ себѣ совѣтника и руководителя, какого давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата любви, у него, какъ бы въ вознагражденіе за нее, остался другъ. Это былъ человѣкъ замѣчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ. Натура сильная и широкая, Серебрянскій, будучи семинаристомъ, рано почувствовалъ отвращеніе къ схоластикѣ, рано понялъ, что судьба назначила ему другую дорогу и другое призваніе, и, руководимый инстинктомъ, онъ самъ себѣ создалъ образованіе, котораго нельзя получить въ семинаріи. Въ его натурѣ и самой судьбѣ было много общаго съ Кольцовымъ, и ихъ знакомство скоро превратилось въ дружбу. Дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинной школой развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ Кольцовъ нашелъ себѣ въ Серебрянскомъ судью строгаго, безпристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ, знающаго дѣло. Въ посланіи къ нему (написанномъ неизвѣстно въ которомъ году — должно быть, между 1827 и 1830) Кольцовъ говоритъ:

Вотъ мой досугъ; въ немъ умъ твой строгій  
Найдешь ошибокъ слишкомъ много;  
Здѣсь каждый стихъ—чай грѣшный бредъ  
Что жь дѣлать? Я—такой поэтъ,  
Что на Руси смѣшнѣе нѣтъ.  
Но не пади ты недостатки,  
Замѣть, что требуетъ поправки.

Это посланіе вполне обнаруживаетъ взаимныя отношенія обоихъ друзей и какъ важенъ былъ Серебрянскій для развитія

таланта Кольцова. Въ самомъ дѣлѣ, только съ тѣхъ поръ, какъ онъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совѣту Серебрянскаго, а насчетъ удававшихся сразу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго пользовался Кольцовъ совѣтами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ дорогу, и не столько по влеченію, сколько по расчету поприще врача онъ предпочелъ другимъ, чтобы не отчаиваться въ будущемъ, по крайней мѣрѣ, въ кускѣ хлѣба, и поступилъ въ московскую медико-хирургическую академію.

Какъ бы то ни было, но поэтическое призваніе Кольцова было рѣшено и сознано имъ самимъ. Непосредственное стремленіе его натуры преодолѣло всѣ препятствія. Это былъ поэтъ по призванію, по натурѣ,— и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще болшую энергію. Прасоль, верхомъ на лошади гонящій скотъ съ одного поля на другое; по колѣни въ крови присутствующій при рѣзаніи или, лучше сказать, при бойнѣ скота; приказчикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ—и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца, и умственными сомнѣніями, и въ то же время дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смысленный и бойкій русскій торговецъ, который продаетъ, покупаетъ, бранится и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ копейки и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отвращается какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!.. Возвращаясь домой, онъ встрѣчаетъ не ласку, не привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочетъ быть человѣкомъ и въ этомъ отношеніи уже рѣзко отличился отъ невѣжественныхъ животныхъ въ человѣческомъ образѣ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головѣ,  
Много въ сердцѣ огня!—

и онъ закрываетъ глаза на грязную дѣйствительность, не замѣчаетъ презрѣнія, не видитъ ненависти. Презрѣніе, ненависть!.. За что же?... Кому онъ сдѣлалъ зло, кого обидѣлъ? Не жертвуетъ ли онъ лучшими своими чувствами, благороднѣйшими своими стремленіями этой грязной и сальной дѣй-

отвѣтственности, чтобы тяжкимъ трудомъ и скучными хлопотами въ чуждой ему сферѣ способствовать матеріальному благосостоянію своего семейства? Но, увы! удивляться этому презрѣнію и этой ненависти безъ причины—значитъ не знать людей. Сойдись съ пьяницей, сами оставаясь трезвыми человѣкомъ: онъ не влюбится васъ. Неряха никогда не проститъ вамъ опрятности, низкопоклонникъ — благородной гордости, негодяй — чести. Но еще болѣе невѣжество не проститъ вамъ ума и стремленія къ образованности. И какъ проститъ! Не желая оскорблять его, будучи съ нимъ ласковы и обязательны, вы все-таки унижаете его вашимъ достоинствомъ, вы — живой упрекъ ему! И если это невѣжество — пожилой, почтенный человѣкъ, ничего неумѣющій дѣлать, а вы — юноша, который и въ житейскихъ дѣлахъ превосходитъ его способностью и соображеніемъ, тогда онъ лютый, непримиримый врагъ вашъ. Онъ воспользуется вашими услугами, выжметъ васъ насухо, какъ апельсинъ, а потомъ распотчетъ ногами и выброситъ за окно, вида, что вы уже больше не нужны ему...

Слухъ о самородномъ талантѣ Кольцова дошелъ до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ Московскомъ университетѣ и пріѣзжавшій на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Кольцовымъ, прочелъ его опыты и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году Кольцовъ, по дѣламъ отца своего, пріѣхалъ въ Москву и черезъ Станкевича приобрѣлъ тамъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, въ послѣдствіи довольно важныхъ для него. Въ это время двѣ или три пьески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ, впрочемъ, довольно плохомъ московскомъ журналѣ. Для Кольцова, не смѣвшаго вѣрить въ свой талантъ, это было лестно и приятно. Въ послѣдствіи Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это намѣреніе было выполнено въ 1835 году. Изъ довольно увѣсистой и толстой тетради Станкевичъ выбралъ 18 пьесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ въ маленькой опрятной книжкѣ, которая доставила Кольцову большую извѣстность въ литературномъ мірѣ. Правда, тутъ больше всего дѣйствовало волшебное слово поэта-самоучка, поэтъ-прасолъ, — и будь эти 18 стихотвореній изданы какъ произ-

веденія человѣка хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, но кончившаго курсъ въ университетѣ и уже служившаго чиновникомъ въ департаментѣ, — на нихъ не обратили бы такого вниманія. Но надо и то сказать, что въ этой книжкѣ видно было больше обѣщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836-й годъ былъ эпохой въ жизни Кольцова. По дѣламъ отца своего онъ долженъ былъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ и пробыть довольно долгое время въ обихѣ столицахъ. Въ Москвѣ онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ литераторомъ, съ которымъ познакомился еще въ первый пріѣздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомилъ его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили его книгами, потому что почти каждый литераторъ сѣбѣ спсѣшилъ дарить его своими сочиненіями и изданиями. Такимъ образомъ библіотека его въ короткое время значительно умножилась. Что же касается до чести знакомства со всѣми литературными знаменитостями, большими и малыми, — то нельзя сказать, чтобы Кольцовъ добивался ея или слишкомъ дорожилъ ею. Съ одной стороны, онъ былъ скромнень и робокъ, а съ другой — въ немъ сильно было чувство своего достоинства, и потому онъ не любилъ быть на выставкѣ. По чувству деликатности и благодарности онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ, но игралъ тутъ болѣе пассивную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убѣдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имѣлъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представляясь кому бы то ни было въ качествѣ таланта или литературной рѣдкости ему было и неловко, и больно. При томъ же Кольцовъ былъ очень проникателенъ и имѣлъ много такту: онъ очень хорошо понималъ и видѣлъ, что одни принимали его, какъ диковинку, смотрѣли на него, какъ смотрятъ на заморскаго звѣря, на великана, на карлика; что другіе, снисходя до равенства въ обращеніи съ нимъ, были въ восторгѣ отъ своей просвѣщенной готовности уважать талантъ даже и въ мѣщанинѣ; и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіемъ и искренностью. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достоинства и говорили съ нимъ тономъ покровительства, а нѣкоторые только изъ вѣжливости не оборачивались къ нему спиной. Все это онъ очень хорошо видѣлъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и вѣжливо; потомъ, встрѣтившись съ моло-

дымъ литераторомъ, который представилъ ему Кольцова, началъ надъ нимъ подшучивать: «Что-де вы нашли въ этихъ стишонкахъ, какой тутъ талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку ради шутки.» Другой, тоже очень извѣстный литераторъ, не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а, напротивъ, увидѣлъ въ немъ очень положительнаго человѣка, изъ чего и заключилъ, что у него не можетъ быть таланта... Это послѣднее заключеніе особенно замѣчательно: такъ судить толпа о поэтѣ! Не находя въ себѣ довольно способности, чтобъ изъ сочиненія поэта удостоверить въ его талантѣ,—она требуетъ отъ него, чтобъ онъ показывался передъ ней не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирѣ, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженной рѣчью, съ поэтическимъ опьянѣніемъ или безуміемъ въ манерахъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ насколько не подходилъ подъ этотъ идеалъ поэта: онъ былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль энтузіаста. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе и думалъ, что въ обществѣ особенно должно держать себя прилично, быть просто человѣкомъ, какъ все, а не гениемъ, не поэтомъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ глупцовъ, которые думаютъ, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повѣстку или десятокъ стихотвореній, то все должны считать за счастье видѣть ихъ, и что кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скорѣ ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ видѣлъ съ чьей-нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что-нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. «Что я ему? Что такое во мнѣ?»—говаривалъ онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходилъ съ человѣкомъ, когда увѣрялся, что тотъ не изъ прихоти, а дѣйствительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему тѣмъ же,—тогда раскрывалъ онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умѣлъ любить, глубоко чувствовалъ потребность дружбы и любви и, какъ немногіе, былъ способенъ къ нимъ; но не любилъ шутить ими...

Однако жъ знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался отъ замѣшательства перваго представленія и сколько-нибудь осваивался съ новымъ лицомъ, оно

интересовало его. Говоря мало, глядя немножко исподлобья, онъ все замѣчалъ, и едва ли что ускользало отъ его пронизательности,—что было ему тѣмъ легче, что каждый готовъ былъ видѣть въ немъ скорѣ замѣшательство и нелююдимость, нежели пронизательность. Ему любопытно было видѣть себя въ кругу тѣхъ умныхъ людей, которые издалека казались ему существами высшаго рода; ему интересно было слышать ихъ умныя рѣчи. Много ли наслушался онъ ихъ, объ этомъ мы кое-что слышали отъ него впоследствии.

Въ Петербургѣ Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, съ Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ, былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоминалъ онъ всегда о радушиемъ и тепломъ приемѣ, который оказывалъ ему тотъ, кого онъ съ трепетомъ готовился увидѣть, какъ божество какое-нибудь—Пушкина. Почти со слезами на глазахъ рассказывалъ намъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минутѣ. Кто познакомился въ Петербургѣ съ первыми литературными знаменитостями, тому ничего не стоитъ перезнакомиться съ второстепенными. Сперва онъ и здѣсь больше все молчалъ и наблюдалъ, но потомъ, смекнувъ дѣломъ, давалъ волю своей ироніи... О, какъ бы удивились многіе изъ фельетонныхъ и стихотворныхъ рыцарей, если бы могли догадаться, что этотъ мужичокъ, котораго они думали импонировать своей литературной важностью, видитъ ихъ насквозь и умѣетъ настоящимъ образомъ цѣнить ихъ таланты, образованность и ученость...

Въ 1838 году Кольцовъ опять былъ по дѣламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи изъ него, и жизнь въ Москвѣ особенно полюбилась ему. Постоянно-пріятное расположеніе духа было причиной, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращеніе домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе манитъ его къ себѣ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладѣло чувство одиночества, которое преодолѣвалось въ немъ только любовью къ природѣ и чтеніемъ. Вотъ что писалъ онъ объ этомъ къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей: «Въ Воронежѣ я пріѣхалъ хорошо; но въ Воронежѣ жить мнѣ противу прежняго вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, а не то. Дѣла коммерціи безъ меня разстроились порядочно, новыхъ неприятностей куча, что день—то горе, что шагъ—то на-

пасть. Но, слава Богу, какъ-то я всё ихъ переношу теперь терпѣливо, и онѣ сдѣлались для меня будто предметами посторонними и до меня почти не касающимися. На душѣ тепло, покойно. Хорошее лѣто, славная погода, синее небо, свѣтлый день, вечерняя тишь—все прекрасно, чудесно, очаровательно,—и я жизнью живу и тону своей душой въ удовольствіяхъ нашего лѣта. Благодарю васъ, благодарю вмѣстѣ и всѣхъ вашихъ друзей. Вы и они много для меня сдѣлали; о, слишкомъ много, много! Эти послѣдніе два мѣсяца стоили для меня пяти лѣтъ воронежской жизни. Я теперь гляжу на себя, и не узнаю. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного—некогда, въ говѣ дрянъ такая набита, что хочется плюнуть, материализмъ дрянной, гадкій, и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водѣ, гдѣ велятъ дѣла житейскія; ныряй и въ тинѣ, когда надобно нырять; гнись въ дугу и стой прямо въ одно время. И я все это дѣлаю теперь даже съ охотой. Новаго не написалъ ничего—некогда. Воронежъ принялъ меня противу прежняго въ десять разъ радушнѣе; я благодаренъ ему. До меня люди выдумали, будто я въ Москвѣ женился; будто въ Питерѣ уѣхалъ навсегда жить; будто меня оставили въ Питерѣ стихи писать. И всё встрѣчаются со мной, и такъ любопытно глядятъ, какъ на заморскую чучелу. Я егоряча немного посердился на нихъ за это; но подумалъ,—и вышло, что я былъ глупъ. На людей сердиться нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разогнешь прямо, а въ лѣсу больше кривого и суковатаго, чѣмъ ровнаго. Люди правы: они судятъ по-своему. Спасибо и за это, и мнѣ они нравятся въ этихъ странностяхъ. Старикъ-отецъ со мной хорошъ; любить меня болѣе за то, что дѣло хорошо кончилось: онъ всегда такія вещи очень любить. Степь опять очаровала меня, я чортъ знаетъ до какого забвенія любвался ею. Какъ она хороша показалась, и я съ восторгомъ пѣлъ: Пора Любви—она къ ней идетъ. Только это чувство было другого совсѣмъ рода; послѣ мнѣ стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а самъ-другъ, и то не надолго. Къ ней пріѣхалъ погостить—и въ городъ, въ столицу, въ князютокъ жизни, въ борьбу страстей! А то она сама по себѣ слишкомъ однообразна и молчалива. Серебрянскій доѣхалъ до двора, но очень боленъ; кажется, прожить не болѣе мѣсяцевъ двухъ, а можетъ, я ошибаюсь. Съ моими знакомыми расхожусь помаленьку, насучили мнѣ ихъ разговоры поплые. Я хотѣлъ съ пріѣзда увѣрить ихъ, что они криво смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ такъ и такъ. Они

надо мной смѣются, думаютъ, что я несую имъ вздоръ. Я повернулъ себя отъ нихъ на другую дорогу; хотѣлъ ихъ научить—да ба!—и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушаю, думая самъ-про-себя о другомъ; всѣхъ ихъ хвалю во всю мочу; всѣ они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мной довольны; и я самъ про себя смѣюсь надъ ними отъ души. Такимъ образомъ все идетъ ладно; а то что въ самомъ дѣлѣ изъ ничего наживать себѣ дураковъ-враговъ. Ужъ видно, какъ кого Господь умудрилъ, такъ онъ съ своей мудростью и умретъ.»

Въ этомъ письмѣ весь Кольцовъ. Такъ писалъ онъ всегда и почти такъ говорилъ. Рѣчь его была всегда нѣсколько вычурна, языкъ не отличался опредѣленностью, но зато поражалъ какой-то наивностью и оригинальностью. Тогдашнее состояніе души его выражено въ этомъ письмѣ вѣрнѣе, нежели какъ, можетъ быть, думалъ онъ самъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сдѣлалась скучна; только прекрасная пора лѣта составляла всю его отраду, онъ любилъ еще степь, но уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту и то не одному... Итакъ, кончилась эпоха непосредственной жизни. Прошедшее спало съ пѣвы, настоящее стало грустно, и взоры невольно начали обращаться на будущее. Прежнія знакомства, дотогдѣ сносныя и, можетъ быть, даже пріятныя, сдѣлались невыносимы, и тѣ же люди явились въ другомъ свѣтѣ. Все родное Кольцова было уже не въ опустѣломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всѣ думы его. Въ семействѣ своемъ онъ горячо любилъ младшую сестру, и между ними существовала самая тѣсная дружба. Кольцовъ видѣлъ въ сестрѣ много хорошаго, уважалъ ея вкусъ и часто совѣтовался съ ней насчетъ своихъ стихотвореній,—словомъ, дѣлился съ ней своей внутренней жизнью. Вѣря въ ея къ нему задушевное расположеніе, онъ дѣлалъ для нея все, что могъ. Настойчивостью, просьбами, лестью, всякими хитростями онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанялъ учителя музыки и французскаго языка. Новыя связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабилъ этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось вдаль. Натура Кольцова была не только сильна, но и нѣжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходился съ ними недовѣрчиво, сближался медленно; но когда уже отда-



ался имъ, то отдавался весь. Это имѣло для него гибельныя слѣдствія въ отношеніи къ нѣкоторымъ привязанностямъ: предательство, вѣроломство, низкія интриги особы, которой онъ былъ преданъ безусловно и которая казалась ему также преданной, были для него страшнымъ ударомъ. Онъ все на свѣтѣ могъ перенести, кромѣ этого, и кошачья лапка имѣла силу ранить его сильнѣе львиной лапы. Горячо любилъ онъ также своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Съ отцомъ онъ былъ всегда на политическихъ отношеніяхъ, которыя и въ размолвкѣ, и въ мирѣ были борьбой. Тутъ старые предрасудки и невѣжество явно и тайно боролись съ смѣлымъ умомъ и стремленіемъ къ свѣту. Счастливое окончаніе нѣкоторыхъ важныхъ для благосостоянія семейства дѣлъ и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову, — вниманіе, которому свидѣтелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 году, способствовали наружному миру и согласію между отцомъ и сыномъ. Къ тому же сынъ былъ еще необходимъ для отца: на немъ лежали всѣ торговыя дѣла, на него переведены были всѣ долги, всѣ векселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣни и ловкости вести дѣла лежала участь цѣлага дома, который былъ въ такомъ положеніи, что еще нѣсколько счастливо продолженныхъ препятствій — и его благосостояніе совершенно упрочивалось; но въ случаѣ неуспѣха должно было слѣдовать конечное разореніе.

Если бы Кольцовъ принялся за дѣла, будучи лѣтъ 18-ти, не раньше, навѣрное можно сказать, что онъ съ ними никакъ бы не освоился, и его поэтическая натура съ ужасомъ и омерзениемъ отворотилась бы отъ этой грязной дѣятельности. Но онъ понемногу и незамѣтно для самого себя освоился съ ними съ дѣтства; эта дѣятельность украдкой подошла къ нему и овладѣла имъ прежде, нежели онъ былъ въ состояніи увидѣть ея безобразіе. Самъ не зная какъ, втянулся онъ въ дѣла мелкаго торгашества, тѣмъ легче, что они не отнимали же у него вовсе возможности предаваться чтенію, мечтамъ, природѣ и поэзій. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дѣятельности и людей, и борьба съ ними; здѣсь была его школа жизни. Тутъ случались съ нимъ обстоятельства не только неприятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за что-то такъ озлобился на него, что рѣшился его зарѣзать. Намекнули ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался, но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защи-

щаться невозможно. Надобно было рѣшиться на траги-комедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не подозрѣвая и не замѣчая, онъ сталъ съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ и братался. Этимъ опасность была отстранена, потому что русскаго мужика такъ же можно и отвести отъ убійства, какъ и навести на него. Только по возвращеніи въ Воронежъ Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удалцомъ, требовавшимъ расчета. При этомъ расчетѣ, продолжавшемся очень долго, злодѣй имѣлъ причину и время раскаяться въ своемъ умыслѣ, а, можетъ быть, и въ томъ, что не удалось ему его выполнить... Вотъ миръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дѣятельностью!.. Не съ одними волками, которые стаями слѣдили за стадами барановъ, приходилось вести ожесточенную борьбу...

Около этого времени, т. е. послѣдней поѣздки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинѣ своей, долженъ былъ давать около семи тысячъ ассигнаціями ежегоднаго дохода. Къ несчастію, не одинъ онъ былъ наследникомъ этого дома, — обстоятельство, которое въ слѣдствіи дорого ему стоило... Всѣ эти дѣла онъ велъ и ладилъ, и черезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше и больше усиливалось отвращеніе къ нимъ. Это не было слѣдствіемъ пошлаго идеальничанья, которое любить одни облака и не любить земли; нѣтъ, тутъ былъ другой, благороднѣйшій источникъ. Кольцовъ полагалъ большое различіе между купцомъ-капиталистомъ, которому не только необходимо, даже выгодно быть честнымъ, потому что честность даетъ кредитъ, а безъ кредита большая торговля невозможна, — и между мелкимъ торговцемъ, котораго положеніе всегда скроузно, ненадежно, неопредѣленно, который всегда принужденъ вертѣться ужомъ и жабой, кланяться, подличать, божиться, натягивать всѣми правдами и неправдами... Кольцовъ не боялся дѣла, но не любилъ низости и грязи. Волей и неволей былъ онъ съ дѣтства за-вербованъ въ эту грязную дѣятельность; запряженный разъ, терпѣливо тащилъ свою ношу въ надеждѣ будущихъ благъ; но по временамъ эта ноша доводила его до отчаянія. Съ послѣдней поѣздки въ Москву эти минуты унынія, апатій и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкѣ дома она думалъ сдать ихъ привденныя имъ въ порядокъ дѣла по степи, а самому заняться присмотромъ за домомъ

и открыть въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей природы съ внѣшней дѣйствительностью. Но при всемъ своемъ знаніи жизни и людей, Кольцовъ жестоко обманывался въ своей надеждѣ... Но пока надо было жить, какъ судьба хотѣла. Слѣдующія строки изъ письма его къ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще въ 1836 году, представляютъ яркую картину его занятій: «Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ рошѣ рублю дрова; осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ зари до полночи.» Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года писалъ въ Москву къ другу: «Писать къ вамъ хочется а ничего нейдетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сдѣлалась въ Воронежѣ, одурѣла вовсе, и самъ не знаю отъ чего—не то отъ этихъ дѣлъ торговыхъ, не то отъ переменъ жизни. Я, было, такъ привыкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другого; а тутъ вдругъ все надобно позабыть, дѣлать другое, думать о другомъ—вѣдь и дѣла торговыя тоже сами не дѣлаются, тоже кой о-чемъ надобно подумать. Такъ одряхлѣлъ, такъ отяжелѣлъ: право, боюсь, чтобъ мнѣ не сдѣлаться вовсе человѣкомъ матеріальнымъ. Боже избави! ужъ это будетъ весьма рано; не хотѣлось бы это слышать отъ самого себя. Что-то скажете осень. Кажется, у ней будетъ для меня больше свободнаго времени—посмотримъ. Стройка дома безъ меня и дѣла торговыя у отца шли дурно. Теперь, слава Богу, плыветъ ровнѣе. Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно—и лучше. Онъ ко мнѣ больше имѣетъ уваженія теперь, нежели прежде, а все виною хорошаго конца дѣла. Онъ эти вещи очень любитъ, и хорошо дѣлаетъ: ему старику это идетъ.»—Мѣсяца черезъ два онъ писалъ къ тому же лицу: «Хотѣлось бы писать къ вамъ совсѣмъ не такъ, какъ пишу теперь; но что жъ прикажете дѣлать, когда дѣла дьявольски работаютъ со мной. Бойка скота, стройка дома, туда, сюда—ажъ на душѣ тошнить, такъ хорошо мнѣ жить!—Серебрянскій умеръ. Да, лишился я человѣка, котораго любилъ столько дѣть душой и котораго потеряю горько оплакиваю. Много желаній не сбылось, много надеждъ не исполнилось—проклятая болѣзнь! Прекрасный міръ прекрасной души, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внѣшнія обстоятельства могутъ подавить и великую душу человѣка, если они непрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ защиты нѣтъ. На плодотворной почвѣ земли

хорошо удобрить человѣкъ свою ниву, посеять хлѣбъ; но не соберетъ плода, если дѣто выжжетъ корень, роса зари ему не помочъ—ей нуженъ въ пору дождь. А этой-то земной благодати и капли не сошло на его жизнь; нужда и горе сокрушили тѣло страдальца. Грустно думать, были нѣкогда, недавно даже, милый человѣкъ—и нѣтъ его, и не увидишь никогда, и все кругомъ тебя молчитъ, и самый зовъ свиданія мреетъ безотвѣтно въ безчувственной дали.» Интересны и слѣдующія строки изъ одного письма Кольцова, какъ живое свидѣтельство того, что значили для этой симпатической природы дружескія связи и отношенія: «Не было еще мучительнѣе въ жизни моей состоянія, какъ въ прошломъ годѣ. Плохое, мучительное дѣло: больной Серебрянскій—смерть его все довершила. скажите, въ одну минуту разломить, что крѣпко нѣсколько дѣтъ—моя любовь къ нему, прекрасная душа его, желанія, мечты, стремленія, ожиданія, надежды на будущее—и все вдругъ! Вмѣстѣ мы съ нимъ росли, вмѣстѣ читали Шекспира, думали, спорили. И я такъ много было ему обязанъ. Онъ черезчуръ меня баловалъ. Вотъ почему я онѣмѣлъ, было, совсѣмъ, и всему хотѣлъ сказать: проща ѡ! и если бы не ѡ, я все бы потерялъ навсегда. Вѣдь меня не очень увлекала и увлекаетъ блестящая толпа; сходка, общество людей—конечно, хорошо, но если есть человекъ, то такъ; а безъ него толпа немного даетъ. Опять я такой человѣкъ, которому надобны сильныя потрясенія; иначе я—ноль. Никто меня не уничтожитъ съ другой душой, а собственно мою уничтожитъ всякій.»

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова и еще годъ, и горизонтъ его жизни все гуще заволакивался тучами. Свѣтлыя минуты навѣщали его все рѣже и рѣже. «Пророчески угадали вы мое положеніе (писалъ онъ въ 1840 году въ Петербургъ, къ другу); у меня у самого давно уже лежитъ на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсенъ мой кругъ, грязенъ мой міръ, горько жить мнѣ въ немъ, и я не знаю какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія. И если я не перемигну себя, то скоро упаду; это неминуемо, какъ дважды-два четыре. Хотъ я и отказалъ себѣ во многомъ и частью, живя въ этой грязи, отрѣшилъ себя отъ ней, но все-таки не совсѣмъ, но все-таки я не вышелъ изъ нея.» Въ это время Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложеніе принять управленіе книжной лавкой, основанной на акціяхъ. Другое предложеніе было сдѣлано ему А. А.

Краевскимъ—принять на себя завѣдываніе конторой «Отечественныхъ Записокъ». Первое предложеніе было ему совершенно не по душѣ. Сумма акцій была незначительна, а онъ былъ убѣжденъ, что начинать какую бы то ни было торговлю можно только съ большимъ капиталомъ, и что иначе поневолю выйдетъ или разореніе, или не торговля, а торгашество со всеми его продѣлками, при одной мысли о которыхъ ему дѣлалось гадко. Кромѣ того ему ни того, ни другого предложенія нельзя было принять еще и потому, что, по причинѣ долга въ 20,000, векселя котораго были сдѣланы на его имя, онъ не могъ выѣхать изъ Воронежа противъ воли отца. Разъ какъ-то Кольцовъ зажилъ въ Москвѣ, и только что пріѣхалъ домой, какъ его зовутъ въ полицію по векселю въ 3,000 рублей. Опоздай онъ нѣсколькими днями, и вексель былъ бы посланъ въ Москву, гдѣ онъ не имѣлъ бы никакой возможности расплатиться по немъ. И это было бы дѣломъ отца его. «Онъ человекъ простой, купецъ, спекулянтъ, вышелъ изъ ничего, вѣкъ рожа молотилъ на обухѣ. Такъ его грудь такъ черства, что его на все достанетъ для своей пользы и для своей торговли. Настоящій купецъ устраиваетъ одни свои дѣла, а есть ли польза отъ нихъ другимъ—ему и дѣла нѣтъ, и онъ что только съ рукъ сойдетъ, все дѣлать во всякую пору готовъ. Мнѣ отъ него и такъ достается довольно. Чуть маломальски что не такъ, ворчитъ и сердится: вы, говорить, все по-книжному, да по-печатному, народъ грамотный—ума палата.» —Далѣе: «Вы боитесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся, Это правда, и такая правда, какая она лишь можетъ быть,—не только черезъ пять лѣтъ, даже и скорѣе, живя такъ и въ Воронежѣ. Но что жъ дѣлать? Буду жить, пока живетъ, работать, пока работаетъ. Сколько могу, столько сдѣлаю; употреблю всѣ силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу въ дѣйствіе всѣ зависяшія отъ меня средства. И когда послѣ этого упаду—мнѣ краснѣть будетъ не передъ кѣмъ, и предъ самимъ собой я буду правъ. Другого дѣлать нечего. А что въ 1838 году написалъ такъ много порядочнаго—это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вами и съ людьми, которые меня каждый день настраивали, а во-вторыхъ, я почти ничего не дѣлалъ и былъ празденъ. Тяготило меня до смерти одно дѣло, но только одно дѣло, не больше. И я все еще писалъ такъ мало. А здѣсь кругомъ меня другой народъ—татаринъ на татаринѣ, жидъ на жидѣ, а дѣлтъ беремя: стройка дома (которая кончилась съ мѣсяць назадъ), судебныя дѣла, услуги, при-

слуги, угожденія, посѣщенія, счеты, расчеты, брани, ссоры. И какъ еще я пишу? И для чего пишу?—для васъ, для васъ однихъ; а здѣсь я за писанія терплю одни оскорбленія. Всякій подлецъ такъ на меня и лѣзетъ, дескать писака-то и крылья ошибитъ... Это часто меня смѣшитъ, когда какой-нибудь чужакъ пѣтушится.»

Осеню 1840 года снова представился Кольцову случай ѣхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжбынымъ дѣламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа и увидѣться съ людьми, родными ему по чувству и по мысли. Это была его послѣдняя поѣздка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петербургѣ, и по пріѣздѣ сюда Кольцовъ остановился у него и прожилъ съ нимъ около трехъ мѣсяцевъ. Одно дѣло его было проиграно. Надо было спѣшить въ Москву поправить и спасти другое, самое важное. Такъ какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправился въ нее съ тоской. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращеніи въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петербургѣ навсегда, кончивши дѣло въ Москвѣ; но остаться безо всего, съ одними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидѣльца, приказчика, мелкаго торгаша—одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. Онъ все надѣялся, что отецъ дастъ ему тысячь десять денегъ, на условіи отказаться отъ дома и всякаго другого наслѣдства, и что съ этимъ небольшоимъ капиталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Изъ Москвы онъ писалъ къ своему пріятелю: «Ахъ! если бы къ вамъ скорѣе! Если бы вы знали, какъ не хочется ѣхать домой—такъ холодомъ и обдастъ при мысли ѣхать туда, а надо ѣхать, необходимость, желѣзный законъ.» Дѣло его въ Москвѣ кончилось хорошо, чѣмъ, какъ и въ прежнихъ дѣлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными письмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Новый годъ встрѣтилъ онъ шумно и весело въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвѣ. «Не хочется ѣхать (писалъ онъ), да и только. Вотъ пришло время—и домъ, и родные не взлюбились, наконецъ. И если бы была какая-нибудь возможность жить въ Питерѣ—я бы прямо маршиъ, и остался

бы въ немъ навсегда. Но безъ средствъ этого сдѣлать нельзя, и я ѣду домой. И эта поѣздка много похожа на ловлю сурковъ: ихъ изъ земли выливаютъ водой, а меня нужда посылаетъ голодомъ. Я писалъ къ отцу по окончаніи дѣла, чтобы онъ прислалъ мнѣ денегъ. Старикъ мой говоритъ: «Денегъ нѣтъ тебѣ ни копѣйки, а что дѣло кончилось хорошо, мнѣ все равно, хотя бы кончилось и дурно. Мнѣ 68 лѣтъ и жить осталось меньше, чѣмъ вамъ. Я даже слышалъ, что ты хочешь остаться въ Питерѣ—съ Богомъ, во святой часъ. Благословеніе дамъ, а больше ничего.»—Я прочелъ сіи родительскія строки и сказалъ: вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день! Спросите, отчего это такъ сдѣлалось? А вотъ отчего: дѣло кончилось послѣднее и самое гадкое; слѣдственно, его кредитъ теперь очищенъ совершенно. Прежде онъ боялся полиціи, и потому любилъ меня до излишества: а теперь она ему не страшна—и домъ его, и все у него въ рукахъ: такъ я, выходя, сталъ ему не нуженъ... Эта новость и особенно эта непризнательность срѣзали меня глубоко. Вотъ отчего я такъ долго живу въ Москвѣ и не ѣду домой, и ѣхать не хочется, и не пишу къ вамъ. Я думалъ сначала махнуть въ Питеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, я и присѣлъ—и хорошо сдѣлалъ.»

По возвращеніи домой Кольцовъ нашелъ, по обыкновенію, всѣ дѣла въ упадкѣ и разстройствѣ, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялъ ихъ устраивать. Отецъ принялъ его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей въ годъ изъ семи тысячъ, которыя долженъ былъ приносить домъ, въ ожиданіи чего Кольцовъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копѣйки въ карманѣ,—онъ, которому одному все семейство было обязано своимъ благосостояніемъ... Тогда имъ овладѣла одна мысль—устроитьши дѣла, ѣхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативши всѣ долги по векселямъ на имя сына и рѣшившись прекратить торговлю со скотомъ. Но въ это время Кольцовъ началъ себя дурно чувствовать, и на страстной недѣлѣ чуть не умеръ, но однако жъ кое-какъ оправился. Къ счастью, докторъ его былъ человѣкъ благородный и симпатичный, который лѣчилъ его болѣе изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ расчета; онъ зналъ впередъ, что получить бездѣлицу, а занимался своимъ пациентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болѣзни Кольцовъ говорилъ ему: «Докторъ, если моя болѣзнь неизлѣчима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и вамъ

меньше хлопотъ.» Докторъ ручался за его излѣченіе: «Когда такъ, будемъ лѣчиться.» Что терпѣлъ Кольцовъ во время болѣзни отъ близкихъ и кровныхъ, за исключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать. Это усилило разстройство его здоровья. Но тутъ, какъ нарочно, судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое онъ дорого долженъ былъ расплатиться. Страстной любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зловѣщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. Закрывъ глаза на все, полной чашей, съ безумной жадностью пилъ нашъ страдалецъ отравительные восторги. На бѣду его, эта женщина была совершенно по немъ—красавица, умна, образована, и ея организація вполне соответствовала его кипучей, огненной натурѣ. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ. Еще до этой разлуки онъ уже почувствовалъ ослабленіе во всемъ организмѣ своемъ; вскорѣ открылась болѣзнь. Знакомый ему докторъ снова помогъ ему; но вслѣдъ затѣмъ открылась боль въ груди, слабость во всемъ тѣлѣ, по ночамъ сильная испарина, разстройство желудка и желудочный кашель. По совѣту доктора, Кольцовъ поѣхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ успѣлъ кончить курсъ своего купанья, и надо было прекратить его. Вслѣдъ затѣмъ сдѣлалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ все-таки сталъ оправляться. До сихъ поръ онъ ничего не читалъ, не писалъ, ни о чемъ не думалъ кромѣ лѣкарства, лѣченія, обѣда и ужина; но тутъ опять приваялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силѣ духа этого человѣка. Правда, онъ надѣялся выздороветь, и не хотѣлось ему умереть; но возможность смерти онъ видѣлъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо, не мигая глазами. Вотъ слова, которыми онъ заключаетъ письмо свое къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте—на долго ли?—не знаю. Но какъ-то это слово горько отозвалось въ душѣ моей. Но еще—прощайте, и въ третій разъ прощайте. Если бы я былъ женщиной, хорошая бы пора плавать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!» А между тѣмъ все письмо проникнуто бодростью духа, надеждой и даже веселостью...

Но это выздоровленіе было только отсрочкой смерти. Для восстановленія его здоровья нужно было прежде всего спокойствіе, а между тѣмъ его ежедневно, ежеминутно оскорбляли, мучили, дразнили, какъ дикаго

звѣря въ клѣткѣ. Иногда ему не на что было купить лѣкарства; иногда у него не было ни чая, ни сахару, ни свѣчей, а иногда мать его только украдкой отъ отца могла доставлять ему обѣдъ и ужинъ. Отецъ требовалъ, чтобы онъ жилъ вмѣстѣ съ ними, гдѣ ему не было бы покою ни на минуту. Онъ перешелъ на мезонинъ, который вѣдуо зиму не топился,—ему отказано было въ дровахъ, и онъ добывалъ ихъ по ночамъ, какъ воръ. Узнавши объ этомъ, ему обѣщали выгнать его по шею изъ дому... Дѣлать было нечего, и онъ перешелъ внизъ. Разъ въ сосѣдней комнатѣ у сестры его много было гостей, и онъ затѣялъ игру: поставили на середину комнаты столъ, положили на него дѣвушку, накрыли ее простыней и начали хоромъ пѣть вѣчную память рабу Божию Алексѣю... Это была невинная шутка...

Вскорѣ послѣдовала свадьба сестры. «Все начало ходить и бѣгать черезъ мою комнату; полы моютъ то и дѣло, а сырость для меня убійственна. Трубки, благовоиія курятъ каждый день; для моихъ разстроенныхъ легкихъ все это плохо. У меня опять образовалось воспаление сначала въ правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здѣсь-то я струсилъ не на шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскѣ. Лѣкаръ мой, несмотря на то, что я ему очень мало платилъ, пріѣзжалъ три раза въ день. А въ эту пору у насъ вечерники каждый день—шумъ, крикъ, бѣготня, двери до полночи въ моей комнатѣ ни минуты не стоятъ на петляхъ. Прошу не курить,—курятъ больше; прошу не благовоинить—больше, прошу не мыть половъ—моютъ». Все это потому кое-какъ уладилось; свадьба кончилась; больной, для спасенія жизни, прибѣгъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивши у всѣхъ извиненія за мерзости, которыя съ нимъ дѣлали; его оставили въ покой, и онъ увидѣлъ себя точно въ раю. «Я теперь, слава Богу, живу покойно, смиренно. Они меня не беспокоятъ. Въ комнатѣ тишина; самъ большой, самъ старшой. Съ отцомъ вижу рѣдко; онъ меня не оскорбляетъ больше пока, и я имъ доволенъ. Обѣдъ готовятъ порядочный. Чай есть, сахаръ тоже, а мнѣ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Началъ прохаживаться, и два раза былъ въ театрѣ. Лѣкаръ увѣряетъ, что я въ постъ не умру, а весной меня вылѣчитъ. Но силъ, не только духовныхъ, и физическихъ еще нѣтъ; памяти тоже. Волоса начали расти, съ лица зелень сошла, глаза чисты.» Въ заключеніи письма, говоря о своемъ нравственномъ состояніи, онъ прибавляетъ: «Что, если и выздоровѣвши, такимъ останусь?—Тогда

пожайте, друзья, Москва, Петербургъ! Нѣтъ, дай Господи умереть, а не дожить до этого подлипаго состоянія. Или жить для жизни, или—маршъ на покой.»

Мысль о переѣздѣ въ Петербургъ съ новой силой воскресла въ немъ, какъ скоро начиналъ онъ себя чувствовать лучше. Онъ только ждалъ для этого совершеннаго выздоровленія. Но и тутъ внутри его происходила страшная борьба, которую мы перескажемъ его собственными словами: «Какъ вы скажете: удерживаться ли въ Воронежѣ дома, бросить ли все, ѣхать въ Петербургъ? Удерживаться дома—жизнь мнѣ будетъ плохая. Но все старикъ меня, какъ не говори, а со двора не сгонитъ. У меня много здѣсь людей хорошихъ, которымъ я еще ни слова. Про это знаетъ лѣкаръ и тотъ, у кого я жилъ на дачѣ: скажи я имъ, они помогутъ. Съ старикомъ уладиться легко—жениться, и онъ будетъ ко мнѣ хорошъ. Но зато надо взять тамъ, гдѣ ему будетъ угодно. Это значитъ пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ѣхать въ Питеръ—онъ не дастъ ни гроша. Ну, положимъ, я найду туда пріѣхать; у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но пріѣхавши туда, что я буду дѣлать? Наняться въ приказчики? не могу; отъ себя заниматься?—не на что. Положить надежду на мои стигшонки: что за нихъ дадутъ! И что за нихъ буду получать въ годъ—пустяки: на сапоги, на чай, и только. Талантъ мой—надо говорить правду—особенно теперь, въ рѣшительное время, талантъ мой пустой. Нѣсколько пѣсенекъ въ годъ—дрянь. За нихъ много не дадутъ. Писать въ прозѣ не умѣю; а мнѣ тридцать-три года. Вотъ мое положеніе. Пожалуйста, напишите мнѣ ваше мнѣніе; я имъ дорожу болѣе всего. В. Г. пишетъ: ѣхать. Да боюсь, страшно. Я, живя на свѣтѣ, хорошаго не видалъ, или видѣлъ, да немного, да и то живя въ Москвѣ и Питерѣ, а въ Воронежѣ не помню когда. Что, если въ сорокъ лѣтъ придется нищенствовать?—Плохо!»

Послѣднее письмо, которое мы получили отъ Кольцова, было отъ 27-го февраля 1842 года. Лѣтомъ мы писали къ нему, но отвѣта не было; а осенью мы получили изъ Воронежа отъ незнакомыхъ намъ людей извѣстіе о его смерти... Поэтому подробностей о послѣднемъ времени его жизни мы не знаемъ, и только можемъ предполагать, что это была продолжительная агонія, страданіе, мученичество... Онъ умеръ 19 октября 1842 года, въ три часа пополудни, на тридцать-четвертомъ году отъ рожденія.

Такова была жизнь этого человѣка! Рожденный для жизни, онъ исполненъ былъ необыкновенныхъ силъ и для наслажденія ею и для борьбы съ нею, а жить для него зна-

чло—чувствовать и мыслить, стремиться и познавать. Любовь и симпатія были основной стихіей его натуры. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ быть въ любви идеалистомъ, и былъ слишкомъ деликатно и благородно созданъ, чтобъ быть въ ней материалистомъ. Грубая чувственность могла увлекать его, но не надолго, и онъ умѣлъ отрѣшаться отъ нея, не столько силой воли, сколько природнымъ отвращеніемъ ко всему грубому и низкому. Нѣжнымъ вздыхателемъ, довольствующимся обожаніемъ своего идеала, онъ никогда не былъ и не могъ быть потому что для такой смѣшной роли онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ одаренъ жизнью и страстью. Женщина никогда не была въ его глазахъ безплотнымъ идеаломъ, эфирной мечтой, туманнымъ образомъ, таинственнымъ видѣніемъ невѣдомаго міра; но въ то же время онъ умѣлъ понимать ее поэтически; видѣлъ въ ней существо родное мужчинѣ, слѣдовательно, подобно ему, земное, и тѣмъ болѣе прекрасное, и поклонялся въ ней красотѣ, граціи, жизни, чувству, могуществу страсти. Но вполне обаять и покорить эту сильную натуру могла только женщина съ сильнымъ характеромъ, которой страсти и воля не останавливались передъ деревяннымъ болваномъ общественнаго мнѣнія, передъ лицемѣрнымъ судомъ безнравственныхъ моралистовъ, глухихъ умниковъ и невѣжественныхъ глупцовъ. И вотъ почему его послѣдняя любовь совершенно изгладила въ его сердцѣ всѣ скорбныя воспоминанія первой, и ему казалось, что онъ любить только въ первый разъ... Онъ не могъ наслаждаться безъ чувства, безъ раздѣла; но когда его страсти отвѣчала страсть—онъ предавался ей и ея наслажденіямъ со всѣмъ самозабвеніемъ, всей стремительностью натуры пламенной и сильной, думая не о послѣдствіяхъ, а только о томъ, что «жить намъ на свѣтѣ не дважды!..»

Въ дружбѣ онъ не зналъ расчета и эгоизма. Грубая и грязная дѣйствительность, въ среду которой втолкнула его судьба, какъ неизбѣжной жертвы, требовала отъ него и поклоновъ, и униженія, и лжи, и всѣхъ изворотовъ мелкаго торгашества, но онъ и тутъ умѣлъ сохранить свое человѣческое достоинство и всегда держаться неизмѣримо выше людей своего сословія, находящихся въ такомъ же положеніи. Внутренно онъ всегда оставался чистъ отъ этой грязи, и ничего изъ нея не внесъ въ задушевный міръ своей жизни. Всегда готовый одолжить близкаго чловѣка, онъ избѣгалъ всякаго случая одолжиться имъ: его пугала одна мысль внести расчетъ въ чистоту дружественныхъ отношеній, и съ этой стороны онъ доходилъ до ребячества. Какъ всѣ люди

съ глубокимъ чувствомъ, онъ больше всего боялся сдѣлать изъ чувства комедію, и потому медленно и робко сходилъ съ чловѣкомъ; но разъ облизавшись, онъ умѣлъ любить, умѣлъ быть преданнымъ безъ утврѣній и фразъ. Увы! эта сила любви и привязанности больше всего и сгубила его. Мы уже говорили, какъ года за полтора передъ смертью, вдалекѣ отъ тѣхъ, которые понимали и любили его, онъ видѣлъ себя въ кругу дикихъ невѣждъ, которые уже не нуждались въ немъ и потому поспѣшили снять съ себя маску родственной любви и отомстить ему за его превосходство надъ ними. Какъ ни тяжело было подобное разочарованіе, но у Кольцова всегда стало бы силы перенести его, тѣмъ болѣе, что онъ никогда не дорожилъ особенно связями крови безъ связи духа; да, у него стало бы силы отвѣтить презрѣніемъ на подлости и предательство, порожденныя ограниченностью и невѣжествомъ. Но сила измѣнила ему, когда ко всему этому—и къ болѣзни, и къ нуждѣ, и къ черной неблагодарности за услуги, ему пришлось еще горько разочароваться въ тѣхъ дорогихъ и нѣжныхъ отношеніяхъ, гдѣ, по его мнѣнію, связь крови была скрѣплена связью духа, и когда тутъ за свою любовь, дружбу и преданность онъ вдругъ и неожиданно увидѣлъ вражду, ненависть, неблагодарность, предательство, и все это въ формѣ грязной, наглой, безстыдной... Тутъ все было оскорблено въ немъ—и благороднѣйшія, свѣтлѣйшія чувства его сердца, и его самолюбіе: ему горько было убѣдиться, что его такъ долго и такъ коварно обманывали, и что бисеръ души своей онъ бросалъ подъ ноги нечистымъ животнымъ...

Говорятъ, будто любящее сердце, умъ, талантъ и всякое превосходство надъ людьми есть страшный даръ природы, родъ проклятыя, изрекаемаго судьбой надъ чловѣкомъ избраннымъ въ самую минуту его рожденія... Говорятъ, будто несчастіемъ и страданіями цѣлой жизни избранникъ долженъ расплатиться за дерзкую привилегію быть выше другихъ. И все это доказываютъ примѣрами людей замѣчательныхъ... Но справедливо ли такое мнѣніе, и должна ли жизнь быть мачихой въ отношеніи къ любимѣйшимъ дѣтямъ природы?.. О нѣтъ, эта вражда жизни съ природой отнюдь не есть законъ разумной необходимости, но есть только результатъ несовершенства чловѣческихъ обществъ. Избранный чловѣкъ болѣе, чѣмъ всякій другой, родится для жизни и наслажденія ею,—и не жизнь, а общество виновато въ томъ, что, едва родившись, онъ съ бою долженъ браться даже самый воздухъ, чтобъ ему можно было дышать... Въ своемъ семействѣ, гдѣ, кажется, естественная любовь должна

была бы стоять на стражѣ его дѣтства и дѣлать его,—въ своемъ семействѣ прежде всего встрѣчаетъ онъ, съ ужасомъ и отвращеніемъ, чудовищный образъ общества, которое въ человѣкѣ не хочетъ признавать человѣка, но видитъ въ немъ только породу и касту или смотритъ на него только какъ на работника, какъ на живой капиталъ, съ котораго нѣкогда можно будетъ брать проценты... Семейство, узы крови: чтѣ вы, если не бичи и цѣпи тамъ, гдѣ полудикое и невѣжественное общество еще въ колыбели встрѣчаетъ человѣка, въ видѣ патриархальнаго логовица, глава котораго есть степной деспотъ съ нагайкой въ рукѣ, «самодовѣйный, упрямый, хвастунъ безъ совѣсти, не любить жить съ другими въ домѣ человѣчески, а любить, чтобы все передъ нимъ трепетало, боялось и рабствовало?..»

Мы уже говорили, что Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего образования. «Будь человѣкъ и гениальный (говоритъ онъ въ одномъ письмѣ), а не умѣй грамотѣ—не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы. Прежде я-таки, грѣшный человѣкъ, думалъ о себѣ и то, и то, а теперь кровь какъ угомонилась, такъ и осталось одно желаніе въ душѣ—учиться. И думаю, что это хлѣбъ прочный, и его мнѣ надолго станетъ; а тамъ чтѣ Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всѣ дурныя пьесы бросайте безъ вниманія, а какія нравятся, тѣ печатайте.» Люди обыкновенно не столько наслаждаются тѣмъ, чтѣ имъ дано, сколько горюютъ о томъ, чего имъ не дано; притомъ они мало пѣнять то, чтѣ дается имъ безъ труда, и видятъ верхъ совершенства только въ томъ, чтѣ добывается цѣтомъ и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не далась проза, которая, по его выраженію, «съ нимъ еще при рожденіи разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ». Въ 1840 году нашъ знаменитый трагическій актеръ, Мочаловъ, посѣтилъ Воронежъ и давалъ представленія на тамошнемъ театрѣ. Кольцову, горячо любившему Мочалова, какъ художника и какъ человѣка, очень хотѣлось написать что-нибудь для журнала о его представленіяхъ; но онъ, разумѣется, не рѣшился и попробовать. Досада его очень наивно излилась въ письмѣ къ пріятелю: «Глутое положеніе нашей братіи-приемачей! Вотъ теперь и хочется написать статейку о Павлѣ Степановичѣ, а чертовскіе размѣры не даютъ ходу прозѣ и велютъ молчать.» Отдѣлаться отъ мелочной торговли и на свободѣ предаться ученью было любимѣйшей мечтой всей жизни Кольцова. Не имѣя яснаго понятія о наукахъ, онъ хотѣлъ учиться всему—и тому, чему бы могъ и

долженъ былъ учиться, и тому, чему не могъ и не долженъ былъ; но сквозь этотъ хаосъ темныхъ представленій о наукѣ ясно было видно, что если бы онъ и не могъ заняться исторіей, какъ наукой, то съ жаромъ и страстью предался бы чтенію преимущественно историческихъ сочиненій. Онъ желалъ учиться и языкамъ; но для осуществленія всѣхъ этихъ проектовъ его время прошло, и все, чтѣ оставалось для него,—это предаться съ упоеніемъ чтенію всего, чтѣ могъ найти, лучшаго на русскомъ языкѣ. Приобрѣтеніе книгъ было счастьемъ и радостью его жизни. «Вы не можете представить (писалъ онъ въ 1840 году къ пріятелю), какой богачъ я сталъ хорошими книгами. Есть чтѣ читать! Вашъ подарокъ получилъ; «Отечественныя Записки», «Современникъ» тоже; отъ Губера получилъ «Фауста», отъ Владиславлева—«Утреннюю Зарю»; купилъ полное собраніе сочиненій Пушкина, «Исторію философскихъ системъ» Галича; мнѣ ее наши бурсаки сильно расхвалили; прочелъ первую часть—вовсе ничего не понималъ. Развѣ философія—другое дѣло? Можетъ быть и такъ; будемъ читать еще до конца. Теперь одинъ недостатокъ оказался: надобно непременно обзавестись «Исторіей» Карамзина; у меня есть Полевого и Ишимова краткія, да хочется имѣть полную, да оперъ нѣсколько.» Какъ человѣкъ необразованный или, лучше сказать, какъ полубразованный самоучка, Кольцовъ нѣкоторые изъ лучшихъ своихъ пѣсень хотѣлъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить ихъ. Не изъ этого ли источника происходило и его страстное желаніе написать либретто для оперы,—дѣло, къ которому онъ едва ли былъ способенъ? Другое дѣло—къ готовому, но голому драматическому очерку написать арію, разумѣется, въ родѣ его русскихъ пѣсень—это онъ могъ бы выполнить прекрасно, и, можетъ быть, этого-то и хотѣлось ему. Какъ бы то ни было, но оперныя либретто на русскомъ языкѣ онъ собиралъ съ жадностью. Изъ другого, болѣе истиннаго и глубокаго источника выходило у него страстное желаніе путешествовать по Россіи. Это было тоже любимѣйшей его мечтой, которой, какъ и многимъ другимъ, не суждено было осуществиться.

Какъ человѣку не только съ истиннымъ, но еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знаками были горькія минуты разочарованія въ своемъ поэтическомъ призваніи. Не зная, что всякому мастеру часто всего труднѣе быть судьей собственныхъ произведеній, онъ думалъ, что у него вовсе нѣтъ эстетическаго вкуса. Такъ писалъ онъ разъ къ одному изъ своихъ друзей объ одной изъ лучшихъ своихъ пѣсень: «Чортъ знаетъ

иногда прочтешь Хуторокъ—покажется, а иногда разорвать хочется.» Въ другой разъ онъ писалъ: «Сколько я ни бьюся съ самими собой, но все эстетическое чувство не управляетъ мной, не обладаю имъ я, какъ бы хотѣлось—хоть лягъ, да умри.»

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся пьесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ, наиболѣе ему нравившихся. Таковы пьесы: «Сирота», «Ровеснику», «Маленькому брату», «Ночлегъ чумаковъ», «Путникъ», «Красавицъ», «Сестрѣ», «Приди ко мнѣ», «Разувѣреніе», «Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный», «Мщеніе», «Вздохъ на могилѣ Веневитинова», «Къ рѣкѣ Гайдарѣ», «Что значу я», «Утѣшеніе», «Я былъ у ней», «Первая любовь», «Къ ней же», «Найда», «Къ N.», «Соловей», «Къ Другу», «Изступленіе», «Поэтъ и няня», «А. П. Серебрянскому». Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторыя изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоваться до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усиленно выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ всякаго желанія подражать или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ приема, съ которой онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ пьесы: «Цвѣтокъ», «Бѣдный призракъ», «Товарищу») пьесы: «Послѣдняя борьба», «Къ милой», «Примиреніе», «Миръ музыки», «Не разливай волшебныхъ звуковъ», «K\*\*\*», «Воля страданія», «Звѣзда», «На новый 1842 годъ». Пьесы же. «Очи, очи голубья», «Размолвка», «Люди добрые, скажите», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ», «Совѣтъ старца», «Глаза», «Домикъ

лѣсника», «Женитьба Павла»—составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду—русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ бессознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простаго народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня—не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастью, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между «настоящими» стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ—вѣдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь, и, вѣрно, онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало быть, русская пѣсня не вздоръ, не глупость, а тоже поэзія... И съ тѣхъ поръ онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первые пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднимъ между романсомъ и русской пѣсней, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мерзлякова. Но еще съ 1830 года ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта, и пьесамъ: «Кольцо», «Удалецъ», «Крестьянская пирушка», «Размышленіе поселенина» (1830—1832) недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобъ быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсней: «Ты не пой, соловей» (1830) и «Не шуми ты, рожь» (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсней, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются большей частью два слова: талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ—высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно; оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже второго, а второй выше перваго; но чѣмъ же именно ниже или выше—вотъ вопросъ! Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и, наконецъ, историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ жи-



ветъ. Геній всегда открываетъ своими твореніями новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но безосознательно; переживши извѣстный историческій моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній—и возвѣщаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ, и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; мико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающійся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новыя поколѣнія упорчиваютъ за нимъ побѣду. Имя генія—милліонъ, потому что въ груди своей носить онъ страданія, радости, надежды и стремленія милліоновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или другого сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достояніе таланта,—и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его, и т. д. Есть люди, которые нечаянно открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь внѣшній и случайный толчокъ: одинъ отъ того, что ослѣпъ, другой отъ того, что лишился любимой имъ женщины, третій отъ того, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступленіе, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей всѣ эти люди никогда не сдѣлались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствіе оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта: онъ живетъ не своей, а чужой жизнью, его вдохновеніе есть не что иное, какъ «плѣнной мысли раздраженіе»,—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпой, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идетъ за модой; куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше

всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и въ свою очередь порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исчезаетъ, какъ скоро привыкнуть и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣетъ степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположныя полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скуденъ, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человеческой дѣятельности исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе, и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и отъ обыкновенныхъ талантовъ. Но это названіе довольно неопредѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло названіе геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ средоточіе съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значатъ, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому мы должны оправдать употребляемое нами выраженіе «геніальнаго таланта», показавши его отношеніе къ «генію» и «таланту». Геніальный талантъ отличается отъ обыкновеннаго таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственной жизнью, творитъ свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаетъ печать оригинальности и самобытности со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому геній есть полный властелинъ своего времени, которое носить на себѣ его имя,—тогда какъ вліяніе геніальнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собой цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніальный талантъ—одинъ уголокъ ея. Чтò въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія.

Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства,—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе гениальнаго таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между гениемъ и толпой, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями гения, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала и тѣмъ самымъ приближаетъ ихъ къ разумнѣю толпы. Подъ рукой таланта, идеи гения, такъ сказать, мельчаютъ и оползаютъ, но этимъ самымъ онѣ и дѣлаются популярными, становятся всѣмъ доступными и каждому известными. И потому талантъ совершаетъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ онъ дѣлается жертвой собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомитъ и сближаетъ толпу съ гениемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собой,—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому гению, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются; имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдняго слова о существенномъ различіи между гениальнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ природы человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который — не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно нажать другой: капиталъ — виѣшнее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые, долгое время пользовавшись огромной известностью своего таланта, пережили свой талантъ и свою известность, и которые, несмотря на то, сумѣли вознаградить себя другими благами жизни: приобрѣли большіе чины и большія деньги и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный гениальнымъ талантомъ: его нельзя отдѣлить отъ его таланта, его талантъ — его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, бленіе его сердца, дыханіе его груди, словомъ — весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчаться его къ одной

цѣли. къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рожденію, воспитанію, всѣмъ внѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неударимаго стремленія къ творчеству: оно у него — инстинктъ, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,  
Одну, но пламенную страсть:  
Она, какъ червь, во мнѣ жила,  
Игрызала душу и сожгла.

Я эту страсть во тѣмъ ночной  
Вскормилъ слезами и тоской;  
Ее предъ небомъ и землей  
Я нынѣ громко признаю  
И о прощеніи не молю.

Сила гениальнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствѣ человѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ природы, тогда какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собой необыкновеннаго человѣка; тутъ человѣкъ и талантъ — каждый самъ по себѣ, и человѣкъ въ отношеніи къ таланту есть то же, что ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуръ обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна, — и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человѣка есть лицо, слѣдовательно, всякій человѣкъ есть личность; и однако жъ въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ неопредѣленныхъ, безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно, безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ особенности. Лицо есть выраженіе, душа человѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидѣвши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цѣлые годы и забываешь, не видя недѣлю. Слѣдовательно, личность имѣетъ свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣ, тѣмъ ничтожнѣе она; чѣмъ болѣе поражаетъ оригинальностью, тѣмъ она выше. Поэтому гений есть высочайшее развитіе личности. Тайну гения составляетъ собственно не умъ; умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей; — не талантъ; талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей; — не сердце: оно тоже, и

очень часто, бываетъ удѣломъ людей обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то также неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе физиономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но физиологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда гениальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходитъ къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученіемъ, и свѣтской жизнью; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ въ присутствіи гениальнаго невѣжды какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ бы боясь проговориться. Вотъ что значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурой человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностью и натурой человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто внѣшняя сила производить на основаніи увлеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, онъ уже сила творческая, зиждительная, слѣдовательно, въ немъ уже заключается искра гениальности,—и если, по его объему, его нельзя назвать «гениемъ», то можно и должно назвать «гениальнымъ талантомъ».

Къ числу такихъ талантовъ принадлежить и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ периодическимъ изданіямъ, подобное заключенію его талантъ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ просто мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся «народными», до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсенъ хотя многіе рус-

скіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже приобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ «народныхъ». Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова подаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать талантъ. Но, несмотря на то, въ цѣломъ его русскія пѣсни не что иное, какъ романсы, пропѣтые на русскій народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига—это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсемъ русскій, а скорѣе нѣмецкій или, еще ближе къ дѣлу, итальянскій баринъ. Мерзляковъ по крайней мѣрѣ перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское горованье, отъ котораго щемитъ сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенкой задумчивости, слѣдовательно, нѣтъ ничего русскаго. Впрочемъ, наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженію его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскій человѣкъ, сынъ народа въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформой Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массой народа. Въ пьесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формѣ, видна душа глубоко-русская, но въ то же время видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ «Каменномъ Гостѣ» изобразилъ природу и нравы Испаніи съ такой же поразительной вѣрностью, какъ въ «Русалкѣ» изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой «Русалкѣ», если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту,—нельзя не открыть въ ней примѣси поэтическихъ элементовъ, болѣе русскихъ чѣмъ русскихъ поэтовъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта пьеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пѣсенъ

Кольцова: въ нихъ и содержаніе, и форма чисто русскія,—и, несмотря на всю объективность своего гения, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни въ родѣ Кольцова, потому что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайной этой пѣсни. Этой пѣсней онъ создалъ свой особенный, только одному ему довѣвшій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать,—но не по недостатку таланта, а потому, что міръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для гения, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тѣсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ Пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа въ полномъ значеніи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ и выросъ среди степеней и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтой, а душой, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что какъ зародышъ, какъ возможность живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—зналъ ихъ не по слышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ и по своей натурѣ, и по своему положенію былъ вполне русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали, и веселью, а вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаяннѣя, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размахистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшие дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ  
На людей поглядѣть:  
Чтобъ порой предъ бѣдой  
За себя постоять;  
Подъ грозой роковой  
Назадъ шагу не дать;  
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,  
Быть съ весельемъ лицомъ;  
На погибель ити—  
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣ слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собой сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его «Пѣсню пахаря» и «Урожай». Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его «Крестьянской пирушкѣ» и въ пѣснѣ:

Что ты спишь, мужичокъ!  
Вѣдь ужъ лѣто прошло,  
Вѣдь ужъ осень на дворъ  
Черезъ прясло глядѣть;  
Вслѣдъ за нею зима  
Въ теплой шубѣ идетъ,  
Путь снѣжкомъ поросить,  
Подъ санямъ хруститъ.  
Всѣ сосѣди на нихъ  
Хлѣбъ везуть, продаютъ,  
Собираютъ казну,  
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ пѣтикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и склоченныя бороды, и старыя онучи—и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзіи. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ быть, еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъза копѣйки, то прожитое счастье, то жалоба на судьбу-мачиху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одному; въ другой выражено разумѣе крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отпомъ, рассказывать ребятишкамъ сказки, ботѣть, старѣться. Такъ говорить онъ, хоть оно и не того, но ужъ такъ бы и быть, да кто поидетъ за нищаго? «Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежитъ?» И это разумѣе разрѣшается въ саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь—всюду наша степь;  
На горахъ—лѣса, сады, домъ;  
На днѣ моря—груды золота;  
Облака идутъ—нарядъ несутъ!..

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка — тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая  
На кручинную головушку;  
Мучить душу мука смертная,  
Вонь изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,  
Безъ дороги въ путь отправилъ —  
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:  
Съ злой долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни («Измѣна суженой») прочтите пѣсню: «Ахъ, зачѣмъ меня» — какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя, здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающая душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отдѣлить ее отъ содержанія — значитъ уничтожить само содержаніе; и наоборотъ: отдѣлить содержаніе отъ формы — значитъ уничтожить форму. Эта живая связь или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формой и формы съ идеей бываетъ достояніемъ только одной гениальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со стороны формы, или преимущественно блистаютъ формой, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное, и въ томъ, и другомъ случаѣ, богатая мысль или щеголяющія вѣншей красотой, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего явнѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образами, — и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство гениальности, есть черта, которая отдѣляетъ гениальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателей въ языкѣ поэта, не должна быть искусственной или изысканной: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная какъ, и

если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истиннѣ выраженія: оригинальность придетъ сама собой, если въ талантѣ его есть гениальность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно, и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такой оригинальностью Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова. Даже русскія пѣсни, созданныя народомъ, не могутъ равняться съ пѣснями Кольцова въ богатствѣ языка и образовъ, чисто русскіяхъ. Это естественно: въ народныхъ пѣсняхъ заключаются только элементы народнаго духа и поэзіи, но въ нихъ нѣтъ художественности, подъ которой должно разумѣть цѣлость, единство, полноту, оконченность и выдержанность мысли и формы. Многія русскія пѣсни имѣютъ значеніе только въ пѣніи, а въ чтеніи почти, или и вовсе, лишены смысла; другія при богатствѣ наивныхъ поэтическихъ образовъ не чужды прозаическихъ выраженій и слабыхъ мѣстъ, и только очень немногія, и то не вполне, удовлетворяютъ болѣе или менѣе богатствомъ содержанія при силѣ выраженія. Изъ поэтовъ только Мерзляковъ, и то въ одной только пѣснѣ, и то не вполне, умѣлъ приблизиться къ языку народному безъ изысканности, народному не внѣшнимъ только образомъ, но и внутренне; умѣлъ сохранить силу чувства и избѣжать будуарной сентиментальности романса, — въ пѣснѣ: «Чернобровый, черноглазый». По крайней мѣрѣ слѣдующіе стихи изъ этой пѣсни нельзя не признать удивительными:

Воетъ сыр-боръ за горою,  
Метелица въ полѣ;  
Встала вьюга, непогода,  
Запала дорога...

Кольцовъ, напротивъ, никогда не проговаривается противъ народности ни въ чувствѣ, ни въ выраженіи. Чувство его всегда глубоко, сильно, мощно и никогда не впадаетъ въ сентиментальность, даже и тамъ, гдѣ оно становится нѣжнымъ и трогательнымъ. Въ выраженіи онъ также вѣренъ русскому духу. Даже въ слабыхъ его пѣсняхъ никогда не найдете фальшиваго русскаго выраженія; но лучшія его пѣсни представляютъ собою изумительное богатство самыхъ роскошныхъ, самыхъ оригинальныхъ образовъ въ высшей степени русской поэзіи. Съ этой стороны языкъ его столь же удивителенъ, сколько и неподражаемъ. Гдѣ, у кого, кромѣ Кольцова, найдете вы такіе обороты, выраженія и образы, какими, напримѣръ, усыпаны, такъ

окавать, двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича? У кого, кромѣ Кольцова, можно встрѣтить такіе стихи:

Грудь бѣлая волнуется,  
Что рѣченка глубока—  
Песку со дна не выкиваетъ.  
Въ лицѣ огонь, въ глазахъ туманъ...  
Смеркаетъ степь, горитъ заря...

На гумнѣ—ни снопа,  
Въ закромахъ—ни зерна;  
На дворѣ, по травѣ,  
Хоть шаромъ покати.  
Изъ клѣтѣй домовой  
Соръ метлою посмелъ,  
И лошадокъ за долгъ  
По сосѣдямъ развелъ.

Иль у сокола  
Крылья связаны,  
Иль пути ему  
Всѣ заказаны?

Не держи жъ, пусти, дай волюшку  
Тамъ опять мнѣ жить, гдѣ хочется,  
Безъ талана—гдѣ таланиться,  
Молодымъ кудрямъ счастливиться.

Отчего жъ на свѣтъ  
Глядѣть хочется,  
Облетѣть его  
Душа проснется?

Мы не выбирали этихъ отрывковъ, но брали, что прежде попадалось на глаза. Выписывать все хорошее—значило бы большую часть пьесъ Кольцова въ одной и той же книгѣ напечатать вдвойнѣ. И потому мы не войдемъ въ подробный разборъ отдѣльных пьесъ. Скажемъ просто: если бы Кольцовъ написалъ только такія пьесы, какъ «Совѣтъ старца», «Крестьянская прорубка», «Размышленіе поселанина», «Два прощанія», «Размолвка», «Кольцо», «Пѣсня старика», «Не шуми ты, рожь», «Удалецъ», «Ты не пой, соловей», «Пѣсня пахаря», «Не на радость, не на счастье», «Всякому свой талантъ», «Пѣсня о Прозномъ», «Я любила его», «Что онъ ходитъ за мной», «Нынче ночью къ себѣ»,—и тогда въ его талантѣ нельзя было бы не признать чего-то необыкновеннаго. Но что же сказать о такихъ пьесахъ, какъ «Урожай», «Молодая жница», «Косарь», «Раздумье селянина», «Горькая доля», «Пора любви», «Послѣдній поцѣлуй», «Въ полѣ вѣтеръ вѣетъ», «Пѣсня разбойника», «Тоска по волѣ», «Говорилъ мнѣ другъ прощакчись», «Безъ ума, безъ разума», «Разлука», «Разсчетъ съ жизнью», «Перепуте», «Дуютъ вѣтры», «Грусть дѣвушки», «Доля бѣдняка», «Ты прости-прощай», «Разступитесь, лѣса темные», «Какъ здоровъ да молодъ?»—Такія пьесы громко говорятъ сами за себя, и кто бы не увидалъ въ нихъ огромнаго таланта, съ тѣмъ нечего и словъ тратить—съ слѣпыми о цвѣтахъ не разсуждаютъ. Что же касается до пьесъ: «Лѣсъ»

(посвященный памяти Пушкина), «Двѣ пѣсни Лихача-Кудрявича», «Ахъ, зачѣмъ меня», «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», «Путь», «Что ты спишь, мужичокъ», «Въ непогоду вѣтеръ», «Дума сокола», «Свѣтитъ солнышко», «Такъ и рвется дуна», «Много есть у меня», «Не весна тогда», «Хуторокъ» и «Ночь»—эти пьесы принадлежатъ не только къ лучшимъ пьесамъ Кольцова, но и къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній русской поэзіи. Мы не говоримъ уже о неподражаемомъ превосходствѣ собственно лирическихъ пьесъ—талантъ Кольцова былъ по преимуществу лирический; но не можемъ не указать на повѣствовательный характеръ пьесъ: «Измѣна суженой», «Деревенская бѣда», «Бѣгство», обѣ пѣсни Лихача-Кудрявича, и на страстно-драматическій характеръ пьесъ: «Хуторокъ» и «Ночь».

Почти всѣ пѣсни Кольцова писаны правильнымъ размѣромъ, но этого вдругъ не замѣтишь, а если замѣтишь, то не безъ удивленія. Дактилическое окончаніе ямбовъ и хореевъ и полуриема, вмѣсто рѣмы, а часто и совершенное отсутствіе рѣмы, какъ созвучія слова, но, взамѣнъ, всегда рѣма смысла или цѣлаго реченія, цѣлой соотвѣтственной фразы—все это приближаетъ размѣръ пьесъ Кольцова къ размѣру народныхъ пьесъ. Кольцовъ не имѣлъ яснаго понятія о версификаціи, и руководствовался только своимъ слухомъ. И потому безъ всякаго старанія и даже совершенно безсознательно умѣлъ онъ искусно замаскировать правильный размѣръ своихъ пьесъ, такъ что его и не подозреваешь въ нихъ. При томъ онъ придавалъ своему стиху такую оригинальность, что и самыя ихъ размѣры кажутся совершенно оригинальными. И въ этомъ отношеніи, какъ и во всемъ другомъ, подражать Кольцову невозможно: легче сдѣлаться такимъ же, какъ онъ, оригинальнымъ поэтомъ, нежели въ чемъ-нибудь поддѣлаться подъ него. Съ нимъ родилась его поэзія, съ нимъ и умерла ея тайна.

Нѣкоторыя пѣсни Кольцова положены на музыку многими нашими композиторами. Жаль, что это большей частью не лучшія его пѣсни, что произошло, вѣроятно, отъ того, что пѣсни Кольцова были доселѣ разсѣяны во множествѣ періодическихъ изданій. Теперь выходомъ въ свѣтъ этой книги музыкальному таланту предоставляется прекрасное поприще для состязанія съ поэтическимъ талантомъ. Русскіе звуки поэзіи Кольцова должны породить много новыхъ мотивовъ національной музыки. И придетъ время, когда пѣсни Кольцова пойдутъ въ народъ и будутъ пѣться на всемъ пространствѣ безпредѣльной Руси, какъ

нѣкогда пройдутъ въ народъ и будутъ зачтены ими наизусть басни Крылова...

Къ третьему разряду произведеній Кольцова принадлежатъ думы—особый и оригинальный родъ стихотвореній, созданный имъ. Эти думы далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ его пѣснями; нѣкоторыя изъ нихъ даже слабы, и только немногія прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порыванія своего духа къ знанію, силился разрѣшить вопросы, возникавшіе въ его умѣ. И потому въ нихъ естественно представляются двѣ стороны: вопросъ и рѣшеніе. Въ первомъ отношеніи нѣкоторыя думы прекрасны, какъ, на примѣръ: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Молитва», «Вопросъ». Такъ, на примѣръ, что можетъ быть прекраснѣе этихъ стиховъ, проникнутыхъ глубокой мыслью, выраженной поэтически и страстно:

Спаситель, Спаситель!  
Чиста моя вѣра,  
Какъ пламя молитвы!  
Но, Боже, и вѣрѣ  
Могила темна!  
Что слухъ мой замѣнить?  
Потухшія очи?  
Глубокое чувство  
Остывшего сердца?  
Что будетъ жизнь духа  
Безъ этого сердца?

Но во второмъ отношеніи эти думы естественно не могутъ имѣть никакого значенія. Сильный, но неразвитый умъ, томясь великими вопросами и чувствуя себя не въ силахъ разрѣшить ихъ, обыкновенно старается успокоить себя или какой-нибудь риторической фразой о высшемъ мірѣ, или иронической выходкой противъ слабости ума человѣческаго, какъ, на примѣръ, сдѣлалъ это Кольцовъ въ думѣ: «Неразгаданная истина», которая оканчивается такъ:

Подсѣку жъ я крылья  
Дерзкому сомнѣью,  
Проклянц усылъя  
Къ тайнамъ провидѣнья.  
Умъ нашъ не шагаетъ  
Міра за границу,  
Наобумъ мѣшаетъ  
Съ быльею небылицу.

Это случилось и случается и съ великими мыслителями, когда они брались или берутся за вопросы выше ихъ времени или выше ихъ самихъ. Кольцовъ съ его вопросами не могъ быть ни въ какихъ отношеніяхъ ни съ какимъ вѣкомъ: они были важны только для него, и тѣмъ труднѣе было ему рѣшать ихъ. Но самый вопросъ излагается у него часто съ необыкновенной поэзіей, доходящей до высокаго (sublime); чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть его «Великую тайну». Несмотря

на мистическую темноту выраженія, которая иногда доходитъ до рѣшительной бессмыслицы, какъ, на примѣръ, въ трехъ первыхъ стихахъ думы «Божій міръ», и естественная причина которой была та, что поэтъ больше ощущалъ и чувствовалъ или, лучше сказать, больше предощущалъ и предчувствовалъ сердцемъ, нежели сознавалъ умомъ то, что хотѣлъ выразить словомъ,—несмотря на эту мистическую темноту, почти во всѣхъ его думахъ есть поэзія и мысли, и выраженія. Многіе осуждали Кольцова за этотъ родъ стихотвореній, видя въ нихъ претензіи полуграмотнаго прасола на философское умничанье. Да если вспомнить, мало ли за что не осуждали Кольцова эти «многіе»—даже за то, что въ бесѣдахъ онъ сидѣлъ не все молча, но иногда осмѣливался высказывать свое мнѣніе о предметѣ общаго разговора. Этой строгостью къ Кольцову особенно отличались умные и образованные люди, книжники, литераторы, полулитераторы и литературщики. И подѣломъ ему: какъ было смѣть ему, безграмотному мѣщанину, удостоенному за его талантъ чести быть принятымъ въ общество умныхъ людей,—какъ было ему при нихъ «смѣть свое сужденіе имѣть!»... Люди съ книжнымъ, вычитаннымъ умомъ, съ готовыми сужденіями о чемъ угодно, никогда не поймутъ, чтобы человѣкъ съ высшей натурой, но обдѣленный образованіемъ, могъ на своемъ странномъ языкѣ вслухъ выговаривать то, что глубоко запало въ его душу и сильно заняло его умъ; никогда не растолкуете вы имъ, что такой человѣкъ и ошибается—то лучше, нежели какъ они говорятъ дѣло, потому что онъ ошибается по-своему, а они говорятъ чужое...

Особенное достоинство думъ Кольцова заключается въ ихъ чисто-русскомъ, народномъ языкѣ. Кольцовъ не по кокетству таланта, а по необходимости прибѣгалъ къ этому складу. Въ своихъ думахъ Кольцовъ—русскій простолудинъ, ставшій выше своего сословія на столько, чтобы только увидѣть другую, высшую сферу жизни, но не на столько, чтобы овладѣть ею и самому совершенно отрѣшиться отъ своей прежней сферы. И потому онъ по необходимости говорить ея понятіями и ея языкомъ объ увидѣнной имъ вдали сферѣ другихъ, высшихъ понятій; но потому же онъ въ своихъ думахъ искрененъ и истиненъ до наивности,—что и составляетъ главное ихъ достоинство. Хотя пѣсни Кольцова были бы понятны и доступны для нашего простаго народа, но все же онъ былъ бы для него гораздо высшей школой поэзіи, а слѣдовательно, чувствъ и понятій, нежели поэзія народныхъ пѣсенъ,—и потому были

бы очень полезны для нравственного и эстетическаго его образования. Такимъ же точно образомъ думы Кольцова, изложенныя образами и складомъ чисто-русскими и представляющія собою первую высшую ступень простаго русскаго человѣка въ стремленіи къ нравственно-идеальному развитію,—были бы очень полезны для избранныхъ натуръ въ простомъ народѣ.

Мистическое направленіе Кольцова, обнаруженное имъ въ думкахъ, не могло бы у него долго продолжиться, если бъ онъ остался живъ. Этотъ простой, ясный и смѣлый умъ не могъ бы долго плавать въ туманакъ неопредѣленныхъ представлений. Довзательствомъ этому служить его превосходная дума «Не время ль намъ оставить», написанная имъ менѣе нежели за годъ до смерти. Въ ней виденъ рѣшительный выходъ изъ тумановъ мистицизма и крутой поворотъ къ простымъ созерцаніямъ здраваго разсудка.

Теперь намъ остается сказать слова два о редакціонной части изданія сочиненій Кольцова. Мы расположили его сочиненія по годамъ и раздѣлили ихъ на два отдѣла. Въ первомъ помѣстили мы одно лучшее, избранное, не нарушая однако же хронологической послѣдовательности, — и потому въ этомъ отдѣлѣ сперва идугъ пьесы перваго періода поэтическихъ опытовъ Кольцова, которыя естественно слабѣе послѣдующихъ, которыя занимаютъ собой середину и большую часть отдѣла; а въ концѣ его по той же причинѣ рѣшились мы помѣстить и четыре послѣднія стихотворенія, довольно слабыя и написанныя Кольцовымъ уже незадолго до смерти, во время тяжелой болѣзни, въ мучительныхъ обстоятельствахъ. Изъ нихъ стихотвореніе «На новый 1842-й годъ» имѣетъ свой интересъ, какъ скорбное предчувствіе поэта,—увы!—слишкомъ вѣрно сбывшееся; остальные же три—

какъ послѣдніе, уже замирающіе звуки еще недавно громкаго, мощнаго и гармоническаго голоса... Думы помѣстили мы отдѣльно, непосредственно послѣ пѣсень, и не отдѣлили лучшихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому что эти пьесы слишкомъ тѣсно слиты съ личностью Кольцова и интересны болѣе какъ факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произведенія, хотя нѣкоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки зрѣнія, какъ, напримѣръ: «Великая тайна», «Могила», «Не время ль намъ оставить». Такимъ образомъ изъ 125 пьесъ въ первомъ отдѣлѣ помѣщено 79 пьесъ. Остальныя 46 стихотвореній мы напечатали въ особомъ отдѣлѣ, въ видѣ приложения. Между ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нѣтъ ни одного, которое не имѣло бы хотя относительнаго интереса или замѣчательной степени одушевленія, даже страсти, или оригинальной мысли, или счастливыми оборотами выражений, или, наконецъ, болѣе или менѣе любопытнымъ отношеніемъ къ жизни и личности автора. Нѣкоторыя изъ стихотвореній этого отдѣла были бы даже очень недурны, если бы отзывались большей зрѣлостью и выдержанностью. Таковы, напримѣръ, пьесы: «Если встрѣчусь съ тобой», «Теремъ», «По-надъ Дономъ садъ цвѣтеть», «Домикъ тѣсника», «Размышленіе поселянина», «Глаза», «Два прощанья», «Вѣдный призракъ», «Товарищу», «Не скажу никому», «Гдѣ вы, дни мои».

Такъ же, въ видѣ приложения, рѣшились мы, при собраніи стихотвореній Кольцова, напечатать «Мысли о музыкѣ», статью друга его Серебрянскаго. Это единственный оставшійся послѣ Серебрянскаго литературный памятникъ, погребенный въ одномъ малоизвѣстномъ и при томъ старомъ уже журналѣ. Мы увѣрены, что отношенія Серебрянскаго къ Кольцову, равно какъ и достоинство статьи, которая сама такъ похожа на музыкальное произведеніе, вполне оправдываютъ ея помѣщеніе въ книгѣ сочиненій Кольцова.

## Взглядъ на русскую литературу 1846 года.

Настоящее есть результатъ прошедшаго и указаніе на будущее. Потому говорить о русской литературѣ 1846 года—значитъ говорить о современномъ состояніи русской литературы вообще, чего нельзя сдѣлать, не коснувшись того, чѣмъ она была, чѣмъ должна быть. Но мы не владимся ни въ какія историческія подробности, которыя завлекли бы насъ далеко. Главная цѣль нашей

статьи—познакомить заранѣе читателей «Современника» съ его взглядомъ на русскую литературу, слѣдовательно, съ его духомъ и направленіемъ, какъ журнала. Программы и объявленія въ этомъ отношеніи ничего не говорятъ: онѣ только обѣщаютъ. И потому программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обѣщаніями, чисто вѣшними. Пред-



полагаемая статья вмѣстѣ съ статьей самого редактора, напечатанной во второмъ отдѣлѣ этого же нумера, будетъ второй, в н у т р е н н ей, такъ сказать, программой «Современника», въ которой читатели могутъ сами до извѣстной степени повѣрять обѣщанія исполненіемъ.

Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ отличительный характеръ современной русской литературы, мы отвѣчали бы: въ болѣе и болѣе тѣсномъ сближеніи съ жизнью, съ дѣйствительностью, въ большей и большей близости къ зрѣлости и возмужалости. Само собой разумѣется, что подобная характеристика можетъ относиться только къ литературѣ недавней, молодой, и при томъ возникшей не самобытно, а вслѣдствіе подражательности. Самобытная литература зрѣетъ вѣками, и эпоха ея зрѣлости есть въ то же время и эпоха числительнаго богатства ея замѣчательныхъ произведеній (chefs d'oeuvres). Этого нельзя сказать о русской литературѣ. Ея исторія, какъ исторія самой Россіи, не похожа на исторію никакой другой литературы. И потому она представляетъ собой зрѣлище единственное, исключительное, которое тогчасъ дѣлается страннымъ, непонятнымъ, почти бессмысленнымъ, какъ скоро на нее будутъ смотрѣть, какъ на всякую другую европейскую литературу. Какъ и все, что ни есть въ современной Россіи живого, прекраснаго и разумнаго, наша литература есть результатъ реформы Петра Великаго. Правда, онъ не заботился о литературѣ и ничего не сдѣлалъ для ея возникновенія, но онъ заботился о просвѣщеніи, бросивъ въ плодотворную землю русскаго духа сѣмена науки и образованія, — и литература безъ его вѣдома явилась впоследствии сама собой, какъ необходимый результатъ его же дѣятельности. Въ томъ-то, скажемъ мимоходомъ, и состояла органическая жизненность преобразования Петра Великаго, что оно породило много и такого, о чемъ онъ, можетъ быть, и не думалъ, чего онъ даже и не предчувствовалъ. Даровитый и умный Кантемиръ, вполнину подражатель, вполнину перелагатель на русскіе нравы сатиръ римскихъ поэтовъ (преимущественно Горация) и ихъ подражателя и перелагателя на французскіе нравы — Буало, Кантемиръ, съ его силлабическимъ размѣромъ, съ его языкомъ полу-книжнымъ, полу-народнымъ, который по самой этой смѣси былъ языкомъ образованнаго общества того времени, Кантемиръ и, вслѣдъ за нимъ, Тредьяковскій, съ его бесплодной ученостью, съ его бездарнымъ трудолюбіемъ, съ его схоластическимъ педантизмомъ, съ его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тоническіе размѣры и древніе гекзаметры,

съ его варварскими виршами и варварскимъ двоекратнымъ переложеніемъ Роллена, — Кантемиръ и Тредьяковскій были, такъ сказать, прологомъ, предисловіемъ къ русской литературѣ. Отъ смерти перваго прошло съ небольшимъ сто два года (онъ умеръ 31 марта 1744 года); отъ смерти второго прошло только съ небольшимъ 77 лѣтъ (онъ умеръ 6 августа 1769 года). Тредьяковскій былъ еще въ цвѣтѣ своей славы и еще только шесть лѣтъ величалъ себя «профессоромъ элоквенціи и хитростей питическихкихъ»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкій къ смерти, Кантемиръ былъ живъ\*), когда въ 1739 году двадцативосьмилѣтній Ломоносовъ — Петръ Великій русской литературы — прислалъ изъ нѣмецкой земли свою знаменитую «Оду на взятіе Хотина», съ которой по всей справедливости должно считать начало литературы. Все, что сдѣлано было Кантемиромъ, осталось безъ слѣда и вліянія въ книжномъ мірѣ; все, что было сдѣлано Тредьяковскимъ, оказалось неудачнымъ — даже его попытки ввести въ русское стихотворство правильные тоническіе метры... Поэтому ода Ломоносова показала всѣмъ первымъ стихотворнымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ, которое было написано правильнымъ размѣромъ. Вліяніе Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, какъ вліяніе Петра Великаго на Россію вообще: долго литература шла по указанному имъ ей пути, но, наконецъ, совершенно освободясь отъ его вліянія, пошла по дорогѣ, которой самъ Ломоносовъ не могъ ни предвидѣть, ни предчувствовать. Отъ даль ей направленіе книжное, подражательное, и оттого, повидимому, бесплодное и безжизненное, слѣдовательно, вредное и губительное. Это совершенная правда, которая однако жъ нисколько не умаляетъ великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимаетъ у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорятъ о Петрѣ Великомъ наши литературные старообрядцы? И надо сказать, что ихъ ошибка состоитъ не въ томъ, что они говорятъ о Петрѣ Великомъ и созданной имъ Россіи, а въ томъ, какое они выводятъ изъ этого слѣдствіе. По ихъ мнѣнію, реформа Петра убила въ Россіи народность, а слѣдовательно, и всякій духъ жизни, такъ что Россіи для своего спасенія не остается ничего другого, какъ снова обратиться къ благодатнымъ полупатриархальнымъ нравамъ эпохи Котошихина. Повторяемъ: ошибаясь въ выводѣ, они правы въ положеніи, и поддѣльный, искусственный европеизмъ Россіи, созданный реформой Пе-

\*) Кантемиру тогда было 31 годъ, а Тредьяковскому — 36 лѣтъ.

тра Великаго, дѣйствительно можетъ казаться не болѣе, какъ внѣшней формой безъ внутренняго содержанія. Но развѣ нельзя того же самаго сказать о всѣхъ поэтическихъ ораторскихъ опытахъ Ломоносова? За что же, по какому же странному противорѣчію съ собственнымъ своимъ взглядомъ эти самые люди благоговѣютъ передъ именемъ Ломоносова и съ странной раздражительностью принимаютъ за преступленіе всякое свободное мнѣніе объ этомъ риторѣ и въ поэзіи, и въ краснорѣчій? Не было ли бы съ ихъ стороны гораздо послѣдовательнѣе и разнообразнѣе съ логикой и здравымъ смысломъ и на Ломоносова смотрѣть такъ же точно, какъ смотреть они на Петра Великаго?..

Чужое, извнѣ взятое содержаніе никогда не можетъ замѣнить ни въ литературѣ, ни въ жизни отсутствія своего собственнаго, національнаго содержанія; но оно можетъ породиться въ него со временемъ, какъ пища, извнѣ принимаемая человѣкомъ, перерождается въ его кровь и плоть и поддерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдѣлалось съ Россіей, созданной Петромъ, и русской литературой, созданной Ломоносовымъ; но что это дѣйствительно сдѣлалось и дѣлается съ ними—это историческій фактъ, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибоедова, произведенія Пушкина, Лермонтова и въ особенности Гоголя,—сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи, вы подумаете, что въ русской литературѣ все случайно—и талантъ, и гений; а можетъ ли имѣть какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призракъ, мечта? И дѣйствительно, было время, когда вопросъ—есть ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ. И такое рѣшеніе естественно и неизбежно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы, наконецъ, поняли, что у Россіи была своя исторія, нисколько не похожая на исторію ни одного европейскаго государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основаніи ея же самой, а не на основаніи исторій, ничего не имѣющихъ съ ней общаго, европейскихъ народовъ. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школой дѣйствительно нѣтъ ничего об-

щаго, никакой связи, если сравнивать ихъ, какъ двѣ крайности; но между ними сей часъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать въ хронологическомъ порядкѣ всѣхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движеніе русской литературы заключалось въ стремленіи, хотя и бессознательномъ, освободиться отъ вліянія Ломоносова и сблизиться съ жизнью, съ дѣйствительностью, слѣдовательно, сдѣлаться самобытной, національной, русской. Если въ произведеніяхъ Хераскова и Петрова, такъ незаслуженно превознесенныхъ современниками, нельзя увидѣть ни малѣйшаго прогресса въ этомъ отношеніи,—зато прогрессъ есть уже въ Сумароковѣ писателѣ безъ гения, безъ вкуса, почти безъ таланта, но на котораго современники смотрѣли, какъ на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачныя, на комедію изъ русскихъ нравовъ, его сатиры, а главное его простодушно-желчныя выходки противъ «красивнаго сѣмени», равно какъ и нѣкоторыя прозаическія статьи, болѣе или менѣе касавшіяся вопросовъ современной ему дѣйствительности,—все это показываетъ какое-то стремленіе на сближеніе литературы съ жизнью. И въ этомъ отношеніи сочиненія Сумарокова, лишенные всякаго художественнаго или литературнаго интереса, заслуживаютъ изученія, такъ же какъ имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потомъ столько же несправедливо унижаемое, заслуживаетъ уваженія въ потомствѣ. Нельзя смотрѣть, какъ на безплозныя явленія, даже и на Хераскова съ Петровымъ: современники видѣли въ нихъ гениевъ, превозносили ихъ до седьмого неба, стало быть, читали ихъ, а если читали, стало быть, эти писатели сильно способствовали распространенію въ Россіи вкуса къ занятію и наслажденію литературой. Безобразныя притчи Сумарокова явились извѣстными, по тому времени, переводами французскихъ басенъ въ басняхъ Хемницера и Дмитріева, а въ басняхъ Крылова онѣ явились впоследствии превосходными народными произведеніями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговѣвшій даже передъ Херасковымъ и Петровымъ, Державинъ, если не былъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ, то уже не былъ и только риторомъ. Одаренный отъ природы великимъ поэтическимъ гениемъ, онъ потому только не могъ создать самобытной русской поэзіи, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественныхъ силъ и средствъ. Русскій языкъ былъ тогда еще не выработанъ, духъ книжничества и риторики царилъ въ литературѣ; но главное—тогда была только госу-

дарственная жизнь, но не было жизни общественной, потому что тогда не было общества, а былъ только дворъ, на который всѣ смотрѣли, но который знали только принадлежавшіе къ нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественных интересовъ; поэзія и литературѣ не откуда было брать содержаніе, и потому онѣ существовали и поддерживались не сами собой, а покровительствомъ сильныхъ и знатныхъ, и носили характеръ официальный. Такъ должно смотрѣть на эту эпоху, сравнивая ее съ нашей; но не такъ должно смотрѣть на нее, сравнивая ее съ эпохой Ломоносова: тутъ былъ сравнительно большой прогрессъ. Если въ это время еще не было общества, зато именно въ это время оно зарождалось, потому что блескъ и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднемъ дворянствѣ, и тогда же начали устанавливаться въ немъ тѣ нравы, которые мы видимъ теперь. И потому, кромѣ огромной разницы въ поэтическомъ гениі, Державинъ уже имѣлъ передъ Ломоносовымъ большое преимущество и со стороны содержанія для своей поэзіи, хотя онъ былъ человѣкомъ безъ образованія, не только безъ учености. Поэтому поэзія Державина далеко разнообразнѣе, живѣе, человѣчнѣе со стороны содержанія, нежели поэзія Ломоносова. Причина этого не въ томъ только, что Ломоносовъ былъ больше превосходный стихотворецъ, нежели поэтъ, тогда какъ Державинъ отъ природы получалъ поэтический гениі, но и въ сравнительномъ успѣхѣ общества временъ Екатерины Великой передъ обществомъ временъ императрицы Анны и Елизаветы.

По этой же причинѣ литература екатерининскаго времени рѣшительно заслоняетъ собой предшествовавшую ей литературу, Кромѣ Державина, въ то время были Фонвизинъ, — первый даровитый комикъ въ русской литературѣ, писатель, котораго теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслажденіе. Въ его лицѣ русская литература какъ будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью: его сочиненія — живая лѣтопись той эпохи. Въ это же время литература наша отъ древнихъ литературъ, учававшихся въ семинарияхъ и на семинарскій ладъ, начала исключительно наклоняться къ французской литературѣ. Вслѣдствіе этого начали хлопотать о такъ-называемой легкой литературѣ, въ которой блисталъ Богдановичъ. Къ концу царствованія Екатерины явился Карамзинъ, давшій русской литературѣ новое направленіе. Мы не будемъ говорить о его великихъ за-

слугахъ, его великомъ влияніи на нашу литературу и черезъ нее на образованіе нашего общества. Мы не будемъ также входить въ подробности о слѣдовавшихъ за нимъ писателяхъ. Скажемъ коротко, что въ каждомъ изъ нихъ видно постепенное освобожденіе отъ книжнаго, риторическаго направленія, даннаго Ломоносовымъ нашей литературѣ, и постепенное сближеніе литературы съ обществомъ, съ жизнью, съ дѣйствительностью. Загляните въ лицейскія стихотворенія Пушкина, даже во многія изъ пьесъ въ первой части его сочиненій, имъ самимъ изданныхъ — и вы увидите въ нихъ влияніе почти всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова включительно. Васноиисецъ Крыловъ, предшествуемый Хемницеромъ и Дмитриевымъ, такъ сказать, приготовилъ языкъ и стихъ для безсмертной комедіи Грибоедова. Стало быть, въ нашей литературѣ всюду живая историческая связь, новое выходитъ изъ стараго, послѣдующее объясняется предыдущимъ и ничто не является случайно. «Но, — спросятъ насъ, можетъ быть, — въ чемъ же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга послѣдующихъ писателей состояла въ постепенной эманципации русской литературы изъ-подъ его влиянія, слѣдовательно, въ томъ, что они старались писать не такъ, какъ онъ писалъ? И не странное ли это противорѣчіе — говорить съ уваженіемъ о заслугахъ и гениі писателя, котораго вы же сами называете риторомъ?»

Во-первыхъ, Ломоносовъ нисколько не былъ риторомъ по его натурѣ: для этого онъ былъ слишкомъ великъ; но его сдѣлали риторомъ не отъ него зависѣвшія обстоятельства. Его сочиненія раздѣляются на ученые и литературныя: къ послѣднимъ мы относимъ оды, «Петриаду», трагедіи, словомъ, — всѣ стихотворные его опыты и похвальные слова. Въ его ученыхъ сочиненіяхъ по части астрономіи, физики, химіи, металлургіи, навигаціи — нѣтъ риторики, хотя онѣ и писаны длинными періодами по латинонѣмецкой конструкціи, съ глаголами въ концѣ; но его стихотворныя произведенія и похвальные рѣчи преисполнены риторикой. Отчего же это? Оттого, что для ученыхъ своихъ сочиненій у него было готовое содержаніе, которое добылъ онъ себѣ наукой и трудомъ въ нѣмецкой землѣ; и котораго ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Приобрѣтенное ученіемъ и трудомъ онъ развилъ и увеличилъ собственнымъ гениемъ. Стало быть, онъ зналъ, что писать, и не нуждался въ риторикѣ. Содержанія же для своей поэзіи онъ не могъ найти въ общественной жизни своего отечества, потому что тутъ не было не толь-

ко сознанія, но и стремленія къ нему, стало быть, не было никакихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ; слѣдовательно, онъ долженъ былъ взять для своей поэзіи совершенно чуждое, но зато готовое содержаніе, выражая въ своихъ стихахъ чувства, понятія и идеи, выработанныя не нами, не нашей жизнью и не на нашей почвѣ. Это значило сдѣлаться риторомъ поневолю, потому что понятія чуждой жизни, выдаваемые за понятія своей жизни, всегда риторика. Еще болѣе риторикой были въ то время европейскіе кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кромѣ теоретиковъ и фантазеровъ, скажетъ, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сдѣлались національными для лучшей, т. е. образованнѣйшей части русскаго общества, нисколько не мѣшая ему быть русскимъ на самомъ дѣлѣ, а не по названію только? Скажемъ болѣе: въ отношеніи только къ образованнѣйшей части русскаго общества, но и всего народа русскаго, теперь сдѣлались чистой риторикой всѣ понятія, опредѣленія и слова до-петровскаго русскаго быта,—и если бы военные и гражданскіе чины наши были переименованы въ стратеговъ, бояръ, стольниковъ и т. п.,—просто народъ тутъ ровно бы ничего не понималъ. То же самое, благодаря Ломоносову, совершилось и въ литературномъ мірѣ: всѣ поддѣлки подъ народность теперь пахнутъ простонародностью, т. е. пошлостью, и всѣ попытки въ этомъ родѣ самыхъ даровитыхъ писателей отзываются риторикой.

«Но какимъ же чудомъ, — спросятъ насъ, — внѣшнее, абстрактное заимствованіе чужого и искусственное перенесеніе его на родную почву,—какимъ чудомъ могло породить оно живой органической плодъ?»—Въ отвѣтъ на это скажемъ то же, что уже говорили: рѣшеніе этого вопроса безъ сомнѣнія интересно; но намъ нѣтъ дѣла до него: для насъ довольно сказать, что такъ, именно такъ было, что это историческій фактъ, достовѣрности котораго не можетъ и подумать опровергать тотъ, у кого есть глаза, чтобъ видѣть, и уши, чтобъ слышать. Писатели, въ которыхъ выразилось прогрессивное движеніе черезъ освобожденіе литературы русской отъ Ломоносовскаго вліянія, нисколько не думали объ этомъ: это дѣлалось у нихъ безсознательно; за нихъ работала душа времени, котораго они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, какъ поэта, благоговѣли передъ его гениемъ, старались подражать ему, и все-таки больше и больше отходили отъ него. Разительный примѣръ этого — Державинъ. Но въ томъ-то и со-

стоитъ жизненность европейскаго начала, привитаго къ нашей народности Петромъ Великимъ, что оно не коснется въ мертвой стоячести, но движется, идетъ впередъ, развивается. Если бы Ломоносовъ не вздумалъ писать одъ по образцу современныхъ ему нѣмецкихъ поэтовъ и французскаго лирика Жанъ-Батиста Руссо, не вздумалъ писать своей «Петриады» по образцу Виргилиевой «Энеиды», гдѣ вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, героемъ своей поэмы, сдѣлалъ дѣйствующимъ лицомъ и Нептуна, засадивъ его съ тритонами и наядами на дно прохладнаго Бѣлаго моря; если бы, говоримъ мы, вмѣсто всѣхъ этихъ книжныхъ школярныхъ нелѣпостей онъ обратился къ источникамъ нашей народной поэзіи—къ «Слову о Полку Игоревомъ», къ русскимъ сказкамъ (извѣстнымъ теперь по сборнику Кирши Данилова), къ народнымъ пѣснямъ и, вдохновленный, проникнутый ими, на ихъ чисто-народномъ основаніи рѣшился бы построить зданіе новой русской литературы: что бы тогда вышло?—Вопросъ, повидимому, важный, но въ сущности препустой, похожей на вопросы въ родѣ слѣдующихъ: что было бы, если бы Петръ Великій родился во Франціи, а Наполеонъ—въ Россіи, или: что было бы, если бы за зимой слѣдовала не весна, а прямо лѣто? и т. п. Мы можемъ знать, что было и что есть, но какъ намъ знать, чего не было или чего нѣтъ? Разумѣется, и въ сферѣ исторіи все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не такъ, какъ было; но ея великія событія, имѣющія вліяніе на будущность народовъ, не могутъ быть иначе, какъ именно такъ, какъ они бывають, разумѣется, въ отношеніи къ главному ихъ смыслу, а не къ подробностямъ проявленія. Петръ Великій могъ построить Петербургъ, пожалуй, тамъ, гдѣ теперь Шлезельбургъ, или по крайней мѣрѣ хоть немного выше, т. е. дальше отъ моря, чѣмъ теперь; могъ сдѣлать новой столицей Ревель или Ригу; во всемъ этомъ играла большую роль случайность, разныя обстоятельства; но сущность дѣла была не въ томъ, а въ необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы намъ средство легко и удобно сносятся съ Европой. Въ этой мысли уже не было ничего случайнаго, ничего такого, что могло бы равно и быть, и не быть, или быть иначе, нежели какъ было. Но для тѣхъ, для кого не существуетъ разумной необходимости великихъ историческихъ событій, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, если съ Ломоносовъ основать новую русскую литературу на народномъ началѣ?—и отвѣтимъ имъ, что изъ этого ровно ничего не вышло бы. Однообразныя

формы нашей бѣдной народной поэзіи были достаточны для выраженія ограниченнаго содержанія племенной, естественной, непосредственной, полу-патріархальной жизни старой Руси; но новое содержаніе не шло къ нимъ, не улегалось въ нихъ; для него необходимы были и новыя формы. Тогда спасеніе наше зависѣло не отъ народности, а отъ европеизма; ради нашего спасенія тогда необходимо было не задушить, не истребить (дѣло или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, такъ сказать, задержать на время (suspendre) ея ходъ и развитіе, чтобы привить къ ея почвѣ новые элементы. Пока эти элементы относились къ нашимъ роднымъ, какъ масло къ водѣ,—у насъ естественно все было риторикой—и нравы, и—ихъ выраженіе—литература. Но тутъ было живое начало органическаго сращенія, черезъ процессъ усвоиванія (assimilation), и потому литература отъ абстрактнаго начала мертвой подражательности двигалась все къ живому началу самобытности. И мы дождались, наконецъ, до того, что переводъ нѣсколькихъ повѣстей Гоголя на французскій языкъ обратилъ на русскую литературу удивленное вниманіе всей Европы,—говоримъ удивленное, потому что переводы русскихъ романовъ и повѣстей на иностранныя языки дѣлались и прежде, но вмѣсто вниманія порождали въ иностранцахъ совсѣмъ не лестное для насъ невниманіе къ нашей литературѣ, по той причинѣ, что эти русскіе повѣсти и романы, переведенные на ихъ языки, они считали, напротивъ, переводами съ ихъ языковъ: такъ чужды они были всего русскаго, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзинъ окончательно освободилъ русскую литературу отъ Ломоносовскаго вліянія, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ освободилъ ее отъ риторики и сдѣлалъ національной: онъ много для этого сдѣлалъ, но этого не сдѣлалъ, потому что до этого было еще далеко. Первымъ національнымъ поэтомъ русскимъ былъ Пушкинъ;\* съ него началась новый періодъ нашей литературы, еще больше противоположной Карамзинско-

\*) Намъ могутъ замѣтить, ссылаясь на собственныя наши слова, что не Пушкинъ, а Крыловъ; но вѣдь Крыловъ былъ только баснописецъ-поэтъ, тогда какъ трудно было бы такимъ же образомъ однимъ словомъ опредѣлить, какой поэтъ былъ Пушкинъ. Поэзія Крылова—поэзія здраваго смысла, житейской мудрости, и для нея скорѣе, чѣмъ для всякой другой поэзіи, можно было найти готовое содержаніе въ русской жизни. При томъ же самыя лучшія, слѣдовательно, самыя народныя басни свои Крыловъ написалъ уже въ эпоху дѣятельности Пушкина, и слѣдовательно, новаго движенія, которое послѣдній далъ русской поэзіи.

му, нежели этотъ послѣдній Ломоносовскому. Вліяніе Карамзина до сихъ поръ ощутительно въ нашей литературѣ, и полное освобожденіе отъ него будетъ великимъ шагомъ впередъ со стороны русской литературы. Но это не только ни на волосъ не уменьшаетъ заслугъ Карамзина, но, напротивъ, обнаруживаетъ всю ихъ великость: вредное во вліяніи писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не въ свое время, необходимо чтобы въ свое время оно было новымъ, живымъ, прекраснымъ и великимъ.

Въ отношеніи къ литературѣ, какъ къ искусству, поэзіи, творчеству, вліяніе Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставивъ никакихъ слѣдовъ. Въ этомъ отношеніи литература наша всего ближе къ той зрѣлости и возмужалости, рѣчь о которыхъ мы начали эту статью. Такъ-называемую «натуральную школу» нельзя упрекнуть въ риторикѣ, разумѣя подъ этимъ словомъ вольное или невольное искаженіе дѣйствительности, фальшивое идеализированіе жизни. Мы отсюда не хотимъ этимъ сказать, чтобы всѣ новые писатели, которыхъ (въ похвалу имъ или въ осужденіе) причисляютъ къ натуральной школѣ, были все гении или необыкновенные таланты; мы далеки отъ подобнаго дѣтскаго обобщенія. За исключеніемъ Гоголя, который создалъ въ Россіи новое искусство, новую литературу, и котораго гениальность давно уже признана не нами одними и даже не въ одной Россіи только,—мы видимъ въ натуральной школѣ довольно талантовъ, отъ весьма замѣчательныхъ до весьма обыкновенныхъ. Но не въ талантахъ, не въ ихъ числѣ видимъ мы собственно прогрессъ литературы, а въ ихъ направленіи, ихъ манерѣ писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали дѣйствительность, т. е. изображали несуществующее, рассказывали о небываломъ; а теперь они воспроизводятъ жизнь и дѣйствительность въ ихъ истинѣ. Отъ этого литература получила важное значеніе въ глазахъ общества. Русская повѣсть въ журналѣ предпочитается переводной, и мало того, чтобы повѣсть была написана русскимъ авторомъ, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Безъ русскихъ повѣстей теперь не можетъ имѣть успѣха ни одинъ журналъ. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имѣющая глубокой смыслъ, глубокое основаніе: въ ней выражается стремленіе русскаго общества къ самосознанію, слѣдовательно, пробужденіе въ немъ нравственныхъ интересовъ, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая по-

средственностью иностранная казалась выше всякаго таланта русскаго. Умѣя отдавать справедливость чужому, русское общество уже умѣетъ пѣнить и свое, равно чуждаясь какъ хвастливости, такъ и уничиженія. Но если оно болѣе интересуется хорошей русской повѣстью, нежели превосходнымъ иностраннымъ романомъ, въ этомъ виденъ огромный шагъ впередъ съ его стороны. Въ одно и то же время умѣтъ видѣть превосходство чужого надъ своимъ и все-таки ближе принимать къ сердцу свое, — тутъ нѣтъ ложнаго патриотизма, нѣтъ ограниченаго пристрастія: тутъ только благородное и законное стремленіе сознать себя...

Натуральную школу обвиняютъ въ стремленіи все изображать съ дурной стороны. Какъ водится, у однихъ это обвиненіе — умысленная клевета, у другихъ — искренняя жалоба. Во всякомъ случаѣ возможность подобнаго обвиненія показываетъ только то, что натуральная школа, несмотря на ея огромные успѣхи, существуетъ еще недавно, что къ ней не успѣли еще привыкнуть, и что у насъ еще много людей Карамзинскаго образованія, которыхъ риторика имѣетъ свойство утѣшать, а истина — огорчать. Разумѣется, нельзя, чтобы всѣ обвиненія противъ натуральной школы были положительно ложны, а она во всемъ была непогрѣшительно права. Но если бы ея преобладающее отрицательное направленіе и было односторонней крайностью, и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни даетъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время, вѣрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически.

Но внѣ міра собственно беллетристическаго вліяніе Карамзина до сихъ поръ еще очень ощутительно. Это всего лучше доказываетъ такъ-называемая партія славянофильская. Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи новой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы, впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ въ свою очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ-называемое славянофильство безъ всякаго сомнѣнія касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно

ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится — это другое дѣло. Но прежде всего славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны. Славянофиловъ у насъ много, и число ихъ все увеличивается, — фактъ, который тоже говоритъ въ пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а съ нею и часть публики, если не вся публика, раздѣлилась на двѣ стороны — славянофиловъ, и не-славянофиловъ. Много можно сказать въ пользу славянофильства, говоря о причинахъ, вызвавшихъ его явленіе; но, разсмотрѣвши его ближе, нельзя не увидѣть, что существованіе и важность этой литературной котеріи чисто-отрицательныя, что она вызвана и живетъ не для себя, а для оправданія и утвержденія именно той идеи, на борьбу съ которой обрекла себя. Поэтому нѣтъ никакого интереса говорить съ славянофилами о томъ, чего они хотятъ, да и сами они неохотно говорятъ и пишутъ объ этомъ, хотя и не дѣлаютъ изъ этого никакой тайны. Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія, не въ томъ, что она говоритъ противъ гнѣющаго будто бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ); но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напримѣръ, что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно, отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выразившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени. Но нельзя остановиться на признаніи справедливости какаго бы то ни было факта, а должно изслѣдовать его причины, въ надеждѣ въ самомъ злѣ найти и средства къ выходу изъ него. Этого славянофилы не дѣлали и не сдѣлали; но зато они заставили если не сдѣлать, то

дѣлать это своихъ противниковъ. И вотъ гдѣ ихъ истинная заслуга. Заснуть въ самолюбивыхъ мечтахъ, о чемъ бы онѣ не были — о нашей ли народной славѣ, или о нашемъ европеизмѣ, — равно бесплодно и вредно, ибо сонъ есть не жизнь, а только грѣзы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прерветъ такой сонъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не имѣло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ послѣднее время. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значеніе, за наше прошедшее и будущее, и скорѣе хотимъ рѣшить великій вопросъ: «быть или не быть?». Тутъ уже дѣло идетъ не о томъ, откуда пришли варяги — съ Запада или съ Юга, изъ-за Балтійскаго или изъ-за Чернаго моря, — а о томъ, проходитъ ли черезъ нашу исторію какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходитъ, какая именно; какія наши отношенія къ нашему прошедшему, отъ котораго мы какъ будто оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изслѣдованій начинаетъ оказываться, что, во-первыхъ, мы не такъ рѣзко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тѣсно связаны съ Западомъ, какъ воображали. Когда русскій бываетъ за границей, его слушаютъ, имъ интересуются не тогда, какъ онъ истинно-европейски разсуждаетъ о европейскихъ вопросахъ, но когда онъ судитъ о нихъ, какъ русскій, хотя бы по этой причинѣ сужденія его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому онъ чувствуетъ тамъ необходимость придать себѣ характеръ своей національности и, за неимѣніемъ лучшаго, становится славянофиломъ, хотя на время и при томъ искренно, чтобы только чѣмъ-нибудь казаться въ глазахъ иностранцевъ. Съ другой стороны, обращаясь къ своему настоящему положенію, смотря на него глазами сомнѣнія и изслѣдованія, мы не можемъ не видѣть, какъ во многихъ отношеніяхъ смѣшно и жалко успокоилъ насъ нашъ русскій европеизмъ насчетъ нашихъ русскихъ недостатковъ, забывая и зарумянивая, но вовсе не изглаживая ихъ. И въ этомъ отношеніи поѣздки за границу чрезвычайно полезны намъ: многіе изъ русскихъ отправляются туда рѣшительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная къмъ, и по тому самому съ искреннимъ желаніемъ сдѣлаться русскими. Что же все это означаетъ? — Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великаго

только лишила насъ народности и сдѣлала междуумками? И неужели они правы, говоря, что намъ надо воротиться къ обществу устройству и нравамъ временъ не то баснословнаго Гостомысла, не то царя Алексѣя Михайловича (насчетъ этого сами господа славянофилы еще не условились между собой)?..

Нѣтъ, это означаетъ совсѣмъ другое, а именно то, что Россія вполнѣ исчерпала, изжила эпоху преобразованія, что реформа совершила въ ней свое дѣло, сдѣлала для нея все, что могла и должна была сдѣлать, и что настало для Россіи время развиваться самобытно, изъ самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, такъ сказать, эпоху реформы и воротиться къ предшествовавшимъ ей временамъ: неужели это значитъ развиваться самобытно? Смѣшно было бы такъ думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, какъ и переменить порядокъ годовыхъ временъ, заставивъ за весной слѣдовать зиму, а за осенью — лѣто. Это значило бы еще признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи (можетъ быть, до самаго 1812 года, — эпохи, съ которой началась новая жизнь для Россіи), признать ихъ случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человекъ открываетъ глаза. Но такъ думать средно господамъ Маниловымъ. Подобныя событія въ жизни народа слишкомъ велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Въмѣсто того чтобы думать о невозможномъ и смѣшить всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнимую дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не Маниловскими фантазіями. Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашей волей, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшей насъ волей. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать казаться и начать быть, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшности принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно человѣческое, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣтъ человѣче-

скаго, отвергать съ такой же энергіей, какъ и все азиатское, въ чемъ нѣтъ человѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европѣ, чтобъ сознавать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно.

Повторяемъ, славянофилы правы во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе ихъ роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина ихъ странныхъ выводовъ заключается въ томъ, что они развѣзливо упреждаютъ время, процессъ развитія принимать за его результатъ, хотѣть видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ и предлагаютъ огромный лѣсъ, разросшійся на необозримомъ пространствѣ, пересадить на другое мѣсто и приложить къ нему другого рода уходъ. По ихъ мнѣнію, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россія такъ же молода, какъ Сѣверная Америка, что въ будущемъ ей представляется гораздо больше, чѣмъ въ прошедшемъ. Они забыли, что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатомъ процесса. Въ этомъ отношеніи Россію нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которыхъ исторія шла диаметрально противоположно нашей, и давно уже дала и цвѣтъ, и плодъ. Безъ всякаго сомнѣнія, русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука, и современная дѣятельность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себѣ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развившагося, сформировавшагося. Разумѣется, въ этомъ есть нѣчто грустное, но зато какъ много и утѣшительнаго въ этомъ же самомъ! Дубъ растетъ медленно, зато живетъ вѣка. Человѣку средно желать скораго свершенія своихъ желаній, но скороспѣлость ненадежна: намъ болѣе, чѣмъ кому другому, должно убѣдиться въ этой истинѣ. Извѣстно, что французы, англичане, нѣмцы такъ національны каждый по-своему, что не въ состояніи понимать другъ друга,—тогда какъ русскому равно доступны и социальность француза, и практическая дѣятельность англичанина, и туманная философія нѣмца. Одни видятъ въ

этомъ наше превосходство передъ всѣми другими народами; другіе выводятъ изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра: ибо, говорятъ они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко поддѣлываться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе; но поддѣлываться подъ чужую жизнь—не значить жить; понять чужіе интересы—не значить усвоить ихъ себѣ. Въ послѣднемъ мнѣніи много правды, но не совсѣмъ лишено истины и первое мнѣніе, какъ ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, слѣдовательно, живущихъ чисто внѣшней жизнью. Въ Европѣ есть одно такое искусственное государство, склеенное изъ многихъ національностей; но кому же неизвѣстно, что его крѣпость и сила—до поры и времени?.. Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы сложились въ крѣпкое и могучее государство, и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели, и всегда успѣвали спастись отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ, чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости, этой силы. Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль,—объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими... Такъ какъ русская литература есть главный предметъ нашей статьи, то въ настоящемъ случаѣ будетъ очень естественно сослаться на ея свидѣтельство. Она существуетъ всего какихъ-нибудь сто семь лѣтъ, а между тѣмъ въ ней уже есть нѣсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно, оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность,—этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго.

Что же касается до многосторонности, съ



какой русскій человекъ понимаетъ чуждыя ему національности—въ этомъ заключается равно и его слабая, и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности дѣйствительно много помогаетъ его настоящая независимость отъ односторонности собственныхъ національныхъ интересовъ. Но можно сказать съ достовѣрностью, что эта независимость только помогаетъ этой многосторонности; а едва ли можно сказать съ какой-нибудь достовѣрностью, чтобы она производила ее. По крайней мѣрѣ намъ кажется, что было бы слишкомъ смѣло приписывать положенію то, что всего болѣе должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданій и мечтаній и пуще всего боясь произвольныхъ, имѣющихъ только субъективное значеніе, выводовъ, мы не утверждаемъ за непреложное, что русскому народу предназначено выразить въ своей національности наиболѣе богатое и многостороннее содержаніе, и что въ этомъ заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себѣ все чуждое ему; но смѣемъ думать, что подобная мысль, какъ предположеніе, высказываемое безъ самохвальства и фанатизма, не лишена основанія...

Просимъ извиненія у гг. славянофиловъ, если мы приписали имъ что-нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если бы они могли упрекнуть насъ въ чемъ-нибудь подобномъ, пусть примутъ это за простую и неумышленную ошибку съ нашей стороны. Каковы бы ни были ихъ понятія или, по-нашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному въ его началѣ убѣжденію, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметральную противоположность нашему убѣжденію. На чьей сторонѣ истина—разсудить время, великій и непогрѣшительный судья всѣхъ умственныхъ и теоретическихъ тяжбъ. Журналъ, который теперь одинъ остался органомъ славянофильскаго направленія, объявилъ нѣкогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направленію. Что касается до насъ, имѣя свое опредѣленное направленіе, свои горячія убѣжденія, которыя намъ дороже всего на свѣтѣ, мы тоже готовы защищать ихъ всѣми силами нашими и вмѣстѣ съ тѣмъ противоборствовать всякому противоположному направленію и убѣжденію, но мы хотѣли бы защищать наши мнѣнія съ достоинствомъ, а противоположнымъ—противоборствовать съ твердостью и спокойствіемъ, безъ всякой вражды. Къ чему вражда? Кто враждуетъ, тотъ сердится, а кто сердится, тотъ чувствуетъ, что онъ не правъ. Мы

имѣемъ самолюбіе до того считать себя правыми въ главныхъ основаніяхъ нашихъ убѣжденій, что не имѣемъ никакой нужды враждовать и сердиться, смѣшивать идеи съ лицами, и вмѣсто благородной и позволенной борьбы мнѣній заводимъ бесполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбій...

На свѣтѣ нѣтъ ничего безусловно важнаго или неважнаго. Противъ этой истины могутъ спорить только тѣ исключительно теоретическія натуры, которыя до тѣхъ поръ и умны, пока носятъ въ общихъ отвлеченностяхъ, а какъ скоро спустятся въ сферу приложеній общаго къ частному, словомъ,—въ міръ дѣйствительности, тотчасъ оказываются сомнительными насчетъ нормальнаго состоянія ихъ мозга. О такихъ людяхъ русская поговорка выражается, что у нихъ умъ за разумъ зашелъ,—выраженіе, столько же глубокомысленное, сколько и справедливое, потому что оно не отрицаетъ у людей этого разбора ни ума, ни разсуда, но только указываетъ на ихъ неправильныя, превратныя дѣйствія, словно на два испортившіяся колеса въ машинѣ, которыя дѣйствуютъ одно за другое, вопреки своему назначенію, и этимъ дѣлаютъ всю машину негодной къ употребленію. Итакъ, все на свѣтѣ только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. «Какъ,—скажутъ намъ,—и истина, и добродѣтель—понятія относительныя?»—Нѣтъ, какъ понятіе, какъ мысль, онѣ безусловны и вѣчны; но какъ осуществленіе, какъ фактъ—онѣ относительны. Идея истины и добра признавалась всѣми народами во все вѣка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью или зломъ для другого народа въ другой вѣкъ. Поэтому безусловный, или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный; теперь онъ называется абстрактнымъ, или отвлеченнымъ. Ничего нѣтъ легче, какъ опредѣлить, чѣмъ долженъ быть человекъ въ нравственномъ отношеніи; но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человекъ сдѣлался тѣмъ, что онъ есть, а не сдѣлался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теоріи нравственной философіи, слѣдовало быть.

Вотъ точка зрѣнія, съ которой мы находимъ признаки зрѣлости современной русской литературы въ явленіяхъ, повидимому, самыхъ обыкновенныхъ. Присмотритесь, послушайте: о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?—о народности, о дѣйствительности. На что болѣе всего нападаютъ они?—на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность. О нѣкоторыхъ изъ этихъ предме-

Тотъ много было толковъ и прежде, да не тотъ они имѣли смыслъ, не то значеніе. Понятіе о «дѣйствительности» совершенно новое; на «романтизмъ» прежде смотрѣли, какъ на альфу и омегу человѣческой мудрости, и въ немъ одномъ искали рѣшенія всѣхъ вопросовъ; понятіе о «народности» имѣло прежде исключительно литературное значеніе, безъ всякаго приложенія къ жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно въ сферѣ литературы; но разница въ томъ, что литература-то теперь сдѣлалась эхомъ жизни. Какъ судятъ теперь объ этихъ предметахъ—вопросъ другой. По обыкновенію, одни лучше, другіе хуже, но почти всѣ одинаково въ томъ отношеніи, что въ рѣшеніи этихъ вопросовъ видятъ какъ будто собственное спасеніе. Въ особенности вопросъ о «народности» сдѣлался всеобщимъ вопросомъ и проявился въ двухъ крайностяхъ. Одни смѣшали съ народностью старинныя обычаи, сохранившіеся теперь только въ простонароды, и не любятъ, чтобы при нихъ говорили съ неуваженіемъ о курной и грязной избѣ, о рѣдкѣ и квасѣ, даже сивухѣ; другіе, сознавая потребность высшаго національнаго начала и не находя его въ дѣйствительности, хлопчутъ выдумать его и неясно, намеками указываютъ намъ на смиреніе, какъ на выраженіе русской національности. Съ первыми смѣшно спорить; но вторымъ можно замѣтить, что смиреніе есть въ извѣстныхъ случаяхъ весьма похвальная добродѣтель для человѣка всякой страны, для француза, какъ и для русскаго, для англичанина, какъ и для турка, но что она едва ли можетъ одна составить то, чтѣ называется «народностью». При томъ же этотъ взглядъ, можетъ быть, превосходный въ теоретическомъ отношеніи, не совсемъ уживается съ историческими фактами. Удѣльный періодъ нашъ отличается скорѣе гордыней и драчливостью, нежели смиреніемъ. Татарамъ поддались мы совсемъ не отъ смиренія (что было бы для насъ не честью, а безчестьемъ, какъ и для всякаго другого народа), а по безсилію, вслѣдствіе раздѣленія нашихъ силъ родовымъ, кровнымъ началомъ, положеннымъ въ основаніе правительственной системы того времени. Іоаннъ Калита былъ хитеръ, а не смиренъ; Симеонъ даже прозванъ былъ «гордымъ»; а эти князья были первоначальниками силы Московскаго царства. Димитрій Донской мечомъ, а не смиреніемъ предсказалъ татарамъ конецъ ихъ владычества надъ Русью. Іоаннъ III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смиреніемъ. Только слабый Феодоръ составляетъ исключеніе изъ правила. И вообще какъ-то странно видѣть въ смиреніи причину, по которой ничтож-

ное Московское княжество сдѣлалось вполнѣдствіи сперва Московскимъ царствомъ, а потомъ Россійской имперіей, пріосѣнивъ крыльями двуглаваго орла, какъ свое достоинствіе, Сибирь, Малороссію, Бѣлороссію, Новороссію, Крымъ, Бессарабію, Лифляндію, Эстляндію, Курляндію, Финляндію, Кавказъ. Конечно, въ русской исторіи можно найти поразительныя черты смиренія, какъ и другихъ добродѣтелей, со стороны правительственныхъ и частныхъ лицъ; но въ исторіи какого же народа нельзя найти ихъ, и чѣмъ какой-нибудь Людовикъ IX уступать въ смиреніи Феодору Іоанновичу?.. Толкуютъ еще о любви, какъ о національномъ началѣ, исключительно присущемъ однимъ славянскимъ племенамъ, въ ущербъ галльскимъ, тевтонскимъ и инымъ западнымъ. Эта мысль у нѣкоторыхъ обратилась въ истинную мономанію, такъ что кто-то изъ этихъ «нѣкоторыхъ» рѣшился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью отдѣлались мы не только отъ татаръ, но и отъ нашествія Наполеона.. Не правда ли, что въ этихъ словахъ высокій образецъ ума, зашедшаго за разумъ, вслѣдствіе увлеченія системой, теоріей, несообразной съ дѣйствительностью?.. Мы, напротивъ, думаемъ, что любовь есть свойство человѣческой природы вообще и такъ же не можетъ быть исключительной принадлежностью одного народа и племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово... Ошибка тутъ въ томъ, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основаніе европейскимъ государствамъ, тотчасъ же породила тамъ чистоярідической бытъ, въ которомъ само наследіе и угнетеніе приняло видъ не произвола, а закона. У славянъ же, напротивъ, господствовалъ обычай, вышедшій изъ кроткихъ и любовныхъ патріархальныхъ отношеній. Но долго ли продолжался этотъ патріархальный бытъ, и что мы знаемъ о немъ достовѣрнаго? Еще до удѣльнаго періода встрѣчаемъ мы въ русской исторіи черты вовсе нелюбовныя—хитраго воеводы Олега, суроваго воеводы Святослава, потомъ Святлополка (убійцу Бориса и Глѣба), дѣтей Владиміра; возставшихъ на своего отца, и т. п. Это, скажутъ, занесли къ намъ варяги и—прибавимъ мы отъ себя—положили этимъ начало искаженію любовнаго патріархальнаго быта. Изъ чего же въ такомъ случаѣ и хлопотать? Удѣльный періодъ такъ же мало періодъ любви, какъ и смиренія; это скорѣе періодъ рѣзни, обратившейся въ обычай. О татарскомъ періодѣ нечего и говорить: тогда лицемѣрное и предательское смиреніе было нужнѣе и любви, и настоя-

щаго смиренія. Уголовные законы, пытки, казни періода Московскаго царства и послѣдующихъ временъ, до самаго царствованія Екатерины Великой, опять посылаютъ насъ искать любви въ до-историческія времена славянъ. Гдѣ же тутъ любовь, какъ національное начало? Национальнымъ началомъ она никогда и не была, но была человѣческимъ началомъ, поддерживавшимся въ племени его не историческимъ положеніемъ. Положеніе измѣнилось, измѣнились и патриархальные нравы, а съ ними исчезла и любовь, какъ бытовая сторона жизни. Ужъ не возвратиться ли намъ къ этимъ временамъ? Почему жъ бы и не такъ, если это такъ же легко, какъ старику сдѣлаться юношей, а юношѣ—младенцемъ?..

Естественно, что подобныя крайности вызываютъ такія же противоположныя крайности. Одни бросались въ фантастическую народность; другіе—въ фантастическій космополитизмъ, во имя человѣчества. По мнѣнію послѣднихъ, національность происходитъ отъ чисто-внѣшнихъ вліяній, выражаетъ собою все, чтѣ есть въ народѣ неподвижнаго, грубаго, ограниченаго, неразумнаго, и диаметрально противопологается всему человѣческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать въ народѣ и человѣческаго, противоположнаго, по ихъ мнѣнію, національному, они раздѣляютъ недѣлимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая послѣднему качества, диаметрально противоположныя качествамъ перваго. Такимъ образомъ, безпрестанно нападая на какой-то дуализмъ, который они видятъ всюду, даже тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ, они сами впадаютъ въ крайность самаго отвлеченнаго дуализма. Великіе люди, по ихъ понятію, стоятъ внѣ своей національности, и вся заслуга, все величіе ихъ въ томъ и заключается, что они идутъ прямо противъ своей національности, борются съ нею и побѣждаютъ ее. Вотъ истинно-русское и въ этомъ отношеніи рѣзко-национальное мнѣніе, которое не могло бы прійти въ голову европейцу! Это мнѣніе вытекло прямо изъ ложнаго взгляда на реформу Петра Великаго, который, по общему въ Россіи мнѣнію, будто бы уничтожилъ русскую народность. Это мнѣніе тѣхъ, которые народность видятъ въ обычаяхъ и предрасудкахъ, не понимая, что въ нихъ дѣйствительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляютъ народности. Раздѣлить народное и человѣческое на два совершенно чуждыя, даже враждебныя одно другому начала, значить впасть въ самый абстрактный, въ самый книжный дуализмъ.

Чтѣ составляетъ въ человѣкѣ его высшую, его благороднѣйшую дѣйствительность?—Ко-

нечно, то, чтѣ мы называемъ его духовностью, т. е. чувство, разумъ, воля, въ которыхъ выражается его вѣчная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается въ человѣкѣ низшимъ, случайнымъ, относительнымъ, преходящимъ?—Конечно, его тѣло. И вѣстно, что наше тѣло мы сыздѣства привыкли презирать, можетъ быть, потому именно, что вѣчно живя въ логическихъ фантазіяхъ, мы мало его знаемъ. Врачи, напротивъ, больше другихъ уважаютъ тѣло, потому что больше другихъ знаютъ его. Вотъ почему отъ болѣзней чисто-нравственныхъ они лѣчатъ иногда средствами чисто-материальными, и наоборотъ. Изъ этого видно, что врачи, уважая тѣло, не презираютъ души: они только не презираютъ тѣла, уважая душу. Въ этомъ отношеніи они похожи на умнаго агронома, который съ уваженіемъ смотритъ не только на богатство получаемыхъ имъ отъ земли зеренъ, но и на самую землю, которая ихъ произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючій навозъ, который усилилъ плодотворность этой земли.—Вы, конечно, очень цѣните въ человѣкѣ чувство?—Прекрасно!—такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, который вы называете сердцемъ и котораго замедленное или ускоренное бѣненіе вѣрно соотвѣтствуетъ каждому движенію вашей души.—Вы, конечно, очень уважаете въ человѣкѣ умъ?—Прекрасно,—такъ останавливайтесь же въ благоговѣнномъ изумленіи и передъ этой массой мозга, гдѣ происходятъ все умственные отправленія, откуда по всему организму распространяются черезъ позвоночный хребетъ и три нервъ, которыя суть органы оцущеній и чувствъ и которыя исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что онѣ ускользаютъ отъ матеріальнаго наблюденія и не даются умозрѣнію. Иначе вы будете удивляться въ человѣкѣ слѣдствию мимо причины, или—что еще хуже—сочините свои небывалыя въ природѣ причины и удовлетворитесь ими. Психологія, не опирающаяся на физиологію, такъ же несостоятельна, какъ и физиологія, не знающая о существованіи анатоміи. Современная наука не удовлетвовалась и этимъ: химическимъ анализомъ хочетъ она проникнуть въ таинственную лабораторію природы, а наблюденіемъ надъ эмбриономъ (зародышемъ) прослѣдить физическій процессъ нравственнаго развитія. Но это внутренній міръ физиологической жизни человѣка, все его сокровенныя отъ насъ дѣйствія, какъ результатъ, выказываются наружи въ лицѣ, взглядѣ, голосѣ, даже манерахъ человѣка. А между тѣмъ, чтѣ такое лицо, глаза, голосъ, манеры? Вѣдь это все—тѣло, вѣшность, слѣдовательно, все прехо-

лице, случайное, ничтожное, потому что въдъ все это — не чувство, не умъ, неволя? — такъ! но вѣдь во всемъ этомъ мы видимъ и слышимъ и чувство, и умъ, и волю. Всего случайнѣе въ человѣкѣ его манеры, потому что онѣ больше всего зависятъ отъ воспитанія, образа жизни, отъ общества, въ которомъ живетъ человѣкъ; но почему же иногда и въ грубыхъ манерахъ мужика чувство ваше угадываетъ добраго человѣка, которому вы смѣло можете довериться, и въ то же время изящныя манеры свѣтскаго человѣка заставляютъ васъ иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свѣтѣ людей съ душой, съ чувствомъ; но у каждаго пзъ нихъ его чувство имѣетъ свой характеръ, свою особенность. Сколько на свѣтѣ умныхъ людей, и между тѣмъ у каждаго изъ нихъ свой умъ. Это не значитъ, чтобы умы людей были разны: въ такомъ случаѣ люди не могли бы понимать другъ друга, но это значитъ, что у самаго ума есть своя индивидуальность. Въ этомъ его ограниченность, и поэтому умъ величайшаго гения всегда неизмѣримо ниже ума всего человѣчества; но въ этомъ же и его дѣйствительность, его реальность. Умъ безъ плоти, безъ физиономіи, умъ, не дѣйствующій на кровь и не принимающій на себя ея дѣйствія, есть логическая мечта, мертвый абстрактъ. Умъ — это человѣкъ въ тѣлѣ или, лучше сказать, человѣкъ черезъ тѣло, словомъ, — личность. Оттого на свѣтѣ столько умовъ, сколько людей, и только у человѣчества одинъ умъ. Посмотрите, сколько нравственныхъ оттѣнковъ въ человѣческой натурѣ: у одного умъ едва замѣненъ изъ-за сердца, у другого сердце какъ будто помѣстилось въ мозгу; это странно уменьъ и способенъ на дѣло, да ничего сдѣлать не можетъ, потому что нѣтъ у него воли; у того страшная воля, да слабая голова, и изъ его дѣятельности выходитъ или вздоръ, или зло. Перечестъ этихъ оттѣнковъ такъ же невозможно, какъ перечестъ различія физиономій: сколько людей, столько и лицъ, и двухъ совершенно схожихъ найти еще менѣе возможно, ижели найти два древесныя листа, совершенно схожіе между собою... Когда вы влюблены въ женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ея ума и сердца: иначе, когда вамъ укажутъ на другую, которой нравственныя качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предметъ своей любви для новаго, какъ оставляютъ хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственныхъ качествъ на чувство любви, но когда любятъ человѣка, любятъ его всего, не какъ идею, а какъ живую личность; любятъ въ немъ особенно то, чего не умѣютъ ни опредѣлить, ни назвать. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы

опредѣлили и назвали вы, напримѣръ, то неудовимое выраженіе, ту таинственную игру его физиономіи, его голоса, словомъ — все то, что составляетъ его особность, что дѣлаетъ его непохожимъ на другихъ, и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе зачѣмъ бы вамъ было рыдать въ отчаяніи надъ трупомъ любимаго вами существа? — Вѣдь съ нимъ не умерло то, что было въ немъ лучшаго, благороднѣйшаго, что называли вы въ немъ духовнымъ и нравственнымъ, — а умерло только грубо-материальное, случайное?.. Но объ этомъ то случайномъ и рыдаете вы горько, потому что воспоминаніе о прекрасныхъ качествахъ человѣка не замѣнитъ вамъ человѣка, какъ умирающаго отъ голода не насытитъ воспоминаніе о роскошномъ столѣ, которымъ онъ недавно наслаждался. Я охотно согласусь съ спиритуалистами, что мое сравненіе грубо, но зато оно вѣрно, а это для меня главное. Державинъ сказалъ:

Такъ! весь я не умру; но часть меня большая,  
Отъ тѣна убѣжавъ, по смерти станетъ жить.

Противъ дѣйствительности такого безсмертія нечего сказать, хотя оно и не утѣшитъ людей близкихъ поэту; но что передаетъ поэтъ потомству въ своихъ созданіяхъ, если не свою личность? Не будь онъ личность больше, чѣмъ кто-нибудь, личность по преимуществу, его созданія были бы безцвѣтны и блѣдны. Отъ этого творенія каждаго великаго поэта представляютъ собой совершенно особенный, оригинальный міръ, и между Гомеромъ, Шекспиромъ, Байрономъ, Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Гёте и Жоржъ Зандомъ общаго только то, что всѣ они — великіе поэты...

Но чтѣ же эта личность, которая даетъ реальность и чувству, и уму, и волѣ, и гению, и безъ которой все — или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много могъ бы наговорить вамъ объ этомъ, читатели, но предпочитаю лучше открыто сознаться вамъ, что чѣмъ живѣе созерцаю внутри себя сущность личности, тѣмъ менѣе умѣю опредѣлить ее словами. Это такая же тайна, какъ и жизнь: всѣ ее видятъ, всѣ ощущаютъ себя въ ея нѣдрахъ, и никто не скажетъ вамъ, что она такое. Такъ точно ученые, хорошо зная дѣйствіе и силы дѣятелей природы, каковы электричество, гальванизмъ, магнетизмъ, и потому, нисколько не сомнѣваясь въ ихъ существованіи, все-таки не умѣютъ сказать, чтѣ они такое. Страннѣе всего, что все, что мы можемъ сказать о личности, ограничивается тѣмъ, что она ничтожна передъ чувствомъ, разумомъ, волей, добродѣтелью, красотой и тому подобными вѣчными и непреходящими

идеями; но что безъ нея, преходящаго и случайнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродѣтели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глупости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія...

Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Другими словами: народности суть личность человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманистическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ, какъ таюе то изданіе такой-то логики... Но къ счастью я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому...

Человѣческое присуще человѣку потому, что онъ—человѣкъ, но оно проявляется въ немъ не иначе, какъ, во-первыхъ, на основаніи его собственной личности и въ той мѣрѣ, въ какой она можетъ его вмѣстить въ себя, а во-вторыхъ—на основаніи его національности. Личность человѣка есть исключеніе другихъ личностей и по тому самому есть ограниченіе человѣческой сущности; ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпаетъ самимъ собою не только всѣхъ сферъ жизни, но даже и одной какой-нибудь ея стороны. Ни одинъ человѣкъ не только не можетъ замѣнить самимъ собою всѣхъ людей (т. е. слѣлать ихъ существованіе не нужнымъ), но даже и ни одного человѣка, какъ бы онъ ни былъ ниже его въ нравственномъ или умственномъ отношеніи, но всѣ и каждый необходимы всѣмъ и каждому. На этомъ и основано единство и братство человѣческаго рода. Человѣкъ силенъ и обезпеченъ только въ обществѣ, но чтобы и общество въ свою очередь было сильно и обезпечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь—национальность. Она есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное, родовое происхожденіе всѣхъ національностей. Чѣмъ ближе человѣкъ или народъ къ своему началу, тѣмъ ближе онъ къ природѣ, тѣмъ болѣе онъ ея рабъ; тогда онъ не человѣкъ, а ребенокъ, не народъ, а племя. Въ томъ и другомъ человѣческое развивается по мѣрѣ ихъ освобожденія отъ естественной непосредственности. Этому освобожденію

часто способствуютъ разныя внѣшнія причины; но человѣческое тѣмъ не менѣе приходитъ къ народу не извнѣ, а изъ него самого, и всегда проявляется въ немъ національно.

Собственно говоря, борьба человѣческаго съ национальнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается черезъ заимствованіе у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается национально. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ себѣ силы перерабатывать ихъ самодѣятельностью собственной національности, въ собственную же сущность,—тогда онъ гибнетъ политически. На свѣтѣ много людей, извѣстныхъ подъ именемъ «пустыхъ»: они умны чужимъ умомъ, ни о чемъ не имѣютъ своего мнѣнія, а между тѣмъ и учатся, и слѣдятъ за всѣмъ на свѣтѣ. Пустота ихъ въ томъ и состоитъ, что они заимствуютъ цѣликкомъ, и ихъ мозги не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличныя, потому что чѣмъ человѣкъ личнѣе, тѣмъ способнѣе обращать чужое въ свое, т. е. налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тѣмъ, что всѣ націи, игравшія и играющія первыя роли въ исторіи человѣчества, отличались и отличаются наиболѣе рѣзкой національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно. Французъ уже не питаетъ ненависти къ англичанину за то, что онъ—англичанинъ, и наоборотъ. Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утѣшительное, гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А между тѣмъ они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности. Исторія говоритъ, что подобныя опасенія могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно-бессиль-

нихъ и ничтожныхъ. Древняя Эллада была наслѣдницей всего предшествовавшаго ей древняго міра. Въ ея составъ вошли элементы египетскіе и финикійскіе, кромѣ основнаго пелазгическаго. Римляне приняли въ себя, такъ сказать, весь древній міръ, и все-таки остались римлянами, и если палъ, то не отъ виѣнскихъ заимствованій, а отъ того, что были послѣдними представителями исчерпавшаго всю жизнь свою древняго міра, долженствовавшаго обновиться черезъ христіанство и тевтонскихъ варваровъ. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила ихъ заимствованіями, — и все-таки осталась національно французской. Все отрицательное движеніе французской литературы XVIII вѣка вышло изъ Англіи; но французы до того умѣли усвоить его себѣ, наложивъ на него печать своей національности, что никто и не думалъ оспаривать у ихъ литературы чести самобытнаго развитія. Нѣмецкая философія пошла отъ француза Декарта, насколько не сдѣлавшись отъ этого французской.

Раздѣленіе народа на противоположныя, враждебныя будто бы другъ другу, большинство и меньшинство, можетъ быть, и справедливо со стороны логики, но рѣшительно ложно со стороны здраваго смысла. Меньшинство всегда выражаетъ собой большинство, въ хорошемъ или въ дурномъ смыслѣ. Еще страннѣе приписать большинству народа только дурныя качества, а меньшинству одни хорошія. Хороша была бы французская нація, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времени Людовика XV-го! Этотъ примѣръ указываетъ, что меньшинство скорѣе можетъ выражать собою болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа, потому что она живетъ искусственной жизнью, когда противопоставляетъ себя большинству, какъ что-то отдѣльное отъ него и чуждое ему. Это видимъ мы и въ современной намъ Франціи въ лицѣ bourgeoisie, — господствующаго теперь въ ней сословія. Что же касается до великихъ людей, они по преимуществу — дѣти своей страны. Великій человекъ всегда націоналенъ, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ собою свой народъ. Борьба гения съ народомъ не есть борьба человеческого съ національнымъ, а просто-напросто — новаго со старымъ, идеи съ эмпиризмомъ, разума съ предразсудками. Масса всегда живетъ привычкой, и разумнымъ, истиннымъ и полезнымъ считаетъ только то, къ чему привыкла. Она защищаетъ съ остревѣніемъ то старое, противъ котораго вѣкомъ или менѣе назадъ съ остревѣніемъ же боролась она, какъ противъ новаго.

Противодѣйствіе массы гению необходимо: это съ ея стороны экзаменъ гению; если онъ возьметъ свое, ни на что не смотря, значить, онъ точно гений, т. е. въ самомъ себѣ носитъ свое право дѣйствовать на судьбы своего отечества. Иначе всякій резонеръ, всякій мечтатель, всякій философъ, всякій маленькій великій человекъ сталъ бы обходиться съ народомъ, какъ съ лошадью, направляя его по волѣ своихъ прихотей и фантазій то въ ту, то въ другую сторону... Нѣтъ никакой необходимости раздѣлять народу на самого себя, чтобы доставить себѣ источникъ новыхъ идей. Источникъ всего новаго есть старое; по крайней мѣрѣ старымъ пріобрѣтается новое. Въ гении не столько поражаетъ находчивость новаго, сколько смѣлость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведеній въ Россіи чувствовали еще предшественники Петра: она указывалась настоящимъ положеніемъ государства; но произвести реформу могъ только Петръ. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебныхъ отношеніяхъ къ своему народу, но, напротивъ, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство съ нимъ. Что въ народѣ безсознательно живетъ какъ возможность, то въ гении является какъ осуществленіе, какъ дѣйствительность. Народъ относится къ своимъ великимъ людямъ, какъ почва къ растеніямъ, которыя производитъ она. Тутъ единство, а не раздѣленіе, не двойственность. И, вопреки силлогистамъ (новое слово!), для великаго поэта нѣтъ большей чести, какъ быть въ высшей степени національнымъ, потому что иначе онъ и не можетъ быть великимъ. То, что называютъ резонеры человѣческимъ, противопоставляя его національному, есть въ сущности новое, непосредственно и логически слѣдующее изъ стараго, хотя бы оно и было чистымъ его отрицаніемъ. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелѣпости, изъ нея одинъ естественный путь — переходъ въ противоположную крайность. Это въ натурѣ и человека, и народовъ. Слѣдовательно, источникъ всего прогресса, всякаго движенія впередъ заключается не въ двойственности народовъ, а въ человѣческой натурѣ, такъ же, какъ въ ней заключается и источникъ уклоненій отъ истины, коснѣнія и неподвижности.

Важность теоретическихъ вопросовъ зависитъ отъ ихъ отношенія къ дѣйствительности. То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины

жизни, въ которыхъ никто не сомнѣвается, о которыхъ никто не спорить, и въ которыхъ все согласны. И—что всего лучше—эти вопросы рѣшены тамъ самой жизнью, или если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности.— Но это нисколько не должно отнимать у насъ смѣлости и охоты заниматься рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, потому что, пока не рѣшимъ мы ихъ сами собой и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они рѣшены въ Европѣ. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого рѣшенія.— Теперь Европу занимаютъ новые великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы вовсе безплодно принимать эти вопросы какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль донъ-Кихотовъ, горячася изъ-за него. Этимъ мы заслужили бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ—близость ея зрѣлости и возмужалости. Въ этомъ отношеніи литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодотивѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней,—а это великій успѣхъ съ ея стороны.

Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ признаковъ зрѣлости современной русской литературы—это роль, которую играетъ въ ней стихотворная поэзія. Бывало, стихи и стишки составляли отраду и утѣшеніе нашей публики. Ихъ читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалѣя денегъ, или переписывали въ тетради. Новая поэма въ стихахъ, отрывокъ изъ поэмы, новое стихотвореніе, появившееся въ журналѣ или альманахѣ,— все это пользовалось привилегіей производить шумъ, толки, восторги, споры и т. п. Стихотворцы являлись безъ счету, росли, какъ грибы послѣ дождя. Теперь не то. Стихи играютъ второстепенную въ сравненіи

съ прозой роль. Ихъ читаютъ будто нехотя, едва замѣчаютъ, хладнокровно похваливаютъ хорошее и ничего не говорятъ о посредственности. Стихотворцевъ, противъ прежняго, стало теперь несравненно меньше. Изъ этого многие заключили, будто въкъ поэзіи миновался для русской литературы, что поэзія скрылась отъ насъ чуть ли не навсегда. Мы такъ, напротивъ, видимъ въ этомъ скорѣе торжество, нежели упадокъ русской поэзіи. Что поколебало, а потомъ вовсе изгнало манію стихописанія и стихотченія?— Прежде всего появленіе Гоголя, потомъ появленіе въ печати посмертныхъ сочиненій Пушкина и, наконецъ, явленіе Лермонтова. Поэтическую дѣятельность Пушкина можно раздѣлить на два періода: въ первомъ она является прекрасной, но еще не глубокой, не установившейся, еще доступной для копирования и подражанія; во второмъ мы видимъ ее на неприступной высотѣ художественной зрѣлости, глубины, могущества; тутъ уже нельзя копировать ее, нельзя подражать ей. Талантъ Лермонтова съ перваго же своего дебюта обратилъ на себя всеобщее вниманіе, отбилъ у всѣхъ и у всякаго охоту подражать ему. Послѣ этого доступъ къ поэтической славѣ сдѣлался очень труденъ, такъ что талантъ, который прежде могъ бы играть блестящую роль, теперь долженъ ограничиться болѣе скромнымъ положеніемъ. Это значить, что вкусъ публики сдѣлался разборчивѣе, требованія строже: а это, конечно, успѣхъ, а не упадокъ вкуса. Теперь нуженъ новый Пушкинъ, новый Лермонтовъ, чтобы книжка стихотвореній привела въ восторгъ всю публику, въ движеніе— всю литературу. Но уже теперь сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ для господъ поэтовъ обращать на себя вниманіе или приобрѣтать славу или извѣстность хоть на волосъ выше той мѣры, въ какой они дѣйствительно заслуживаютъ, по своему таланту, вниманія, славы и извѣстности. Талантъ теперь всегда будетъ оцѣненъ, и его успѣхъ уже не зависить ни отъ покровительства, ни отъ преслѣдованія журналовъ (если еще чѣмъ могутъ они повредить ему, такъ развѣ молчаніемъ, но уже не похвалами и не бранью); онъ будетъ замѣченъ и оцѣненъ, но не иначе, какъ по мѣрѣ его истиннаго достоинства—ни больше, ни меньше.

Въ прошломъ 1846 году вышли стихотворенія Григорьева, Полонскаго, Лизандера, Пленцеева, Жадовской, «Троянъ и Ангелица» Вельтмана— что-то въ родѣ дѣтской сказки не то въ стихахъ, не то въ мѣрной прозѣ; «Слово о Полю Игоря», передѣланное Мишевскимъ на поэму во вкусѣ не древности, не старины, того недавняго времени, когда была мода на поэмы. Это въ сущности не больше,

никъ распространение или разжиженіе довольно бойкими стихами довольно короткаго и сжатаго «Слова о Полку Игоревомъ». Мы рады будемъ, если попытка Минаева понравится публикѣ; но что до насъ собственно касается, намъ такъ нравится «Слово о Полку Игоревомъ» въ его настоящемъ видѣ, что мы не можемъ безъ неприятнаго чувства смотрѣть на его передѣлки. Намъ кажется, что его вовсе не нужно ни измѣнять, ни переводить, ни перелгать, но довольно замѣнить въ немъ слишкомъ очевидными и непонятными слова болѣе новыми и понятными, хотя и взятыми же изъ народнаго языка. Мы назвали стихи Минаева бойкими; прибавимъ къ этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что въ нихъ больше риторики, нежели поэзіи. Минаевъ—энтузіастическій поклонникъ «Слова о Полку Игоревомъ»; въ его глазахъ оно чуть ли не выше всей русской поэзіи отъ Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняетъ онъ въ послѣсловіи къ стихотворному труду своему, которое носитъ слѣдующее наивно-семинарское названіе: «Для любознательныхъ отроковицъ и юношей».

Стихотворенія Юліи Жадовской были превознесены почти всѣми нашими журналами. Дѣйствительно, въ нихъ нельзя отрицать чего-то въ родѣ поэтическаго таланта. Жаль только, что источникъ вдохновенія этого таланта не жизнь, а мечта, и что потому онъ не имѣетъ никакого отношенія къ жизни и бѣдѣнъ поэзіей. Это, впрочемъ, выходитъ изъ отношеній Жадовской къ обществу, какъ женщины.. Вотъ стихотвореніе, которое вполне объясняетъ это положеніе:

Меня гнететъ тоски недугъ;  
 Мнѣ скучно въ этомъ мѣрѣ, другъ;  
 Мнѣ надобля сплетни, вздоръ—  
 Мужчинъ ничтожный разговоръ,  
 Смѣшной, нелѣпый женщинъ толкъ,  
 Ихъ выписные бархаты, шелкъ,  
 Ума и сердца пустота  
 И накладная красота.  
 Мирскихъ суетъ я не терплю,  
 Но Божій міръ душой люблю,  
 Но вѣчно будутъ милы мнѣ—  
 И звездъ мерцанье въ вышнѣхъ,  
 И шумъ развесистыхъ деревьевъ,  
 И зелень бархатныхъ луговъ,  
 И водъ прозрачная струя,  
 И въ роцѣ тѣсни соловья.

Нужно слишкомъ много смѣлости и героизма, чтобы женщина, такимъ образомъ отстраненная или отстранившаяся отъ общества, не заключилась въ ограниченный кругъ мечтаній, но ринулась бы въ жизнь для борьбы съ нею, если не для наслажденія, котораго возможности не видятъ въ ней. Жадовская предпочла этому трудному пагу безмятежное смотрѣніе на небо и звѣзды. Почти въ каждомъ своемъ стихотвореніи не

спускаетъ она глазъ съ неба и звѣздъ, но новаго ничего тамъ не замѣтила. Это не то, что Леверье, который открылъ тамъ планету Нептунъ, до него никѣмъ не знаемую. Леверье больше поэтъ, чѣмъ Жадовская, хоть онъ и не пишетъ стиховъ. Охотно согласимся съ тѣми, кто найдетъ наше сближеніе неумѣстнымъ или натянутымъ, но все-таки скажемъ, что смотрѣть на небо и не видѣть въ немъ ничего, кромѣ общихъ фразъ съ приемами или безъ приемъ, — плохая поэзія. Да и что путнаго можетъ увидѣть въ небѣ поэтъ нашего времени, если онъ совершенно чуждъ самыхъ общихъ физическихъ и астрономическихъ понятій, и не знаетъ, что этотъ голубой куполъ, плѣняющій его глаза, не существуетъ въ дѣйствительности, но есть произведеніе его же собственнаго зрѣнія, ставшаго центромъ видимой имъ сферической окружности; что тамъ на высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нѣтъ воздуха для дыханія, что отъ звѣзды до звѣзды и въ тысячу лѣтъ не долетишь на лучшемъ аэростатѣ... То ли лѣло земля! —на ней намъ и свѣтло, и тепло, на ней все наше, все близко и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія... Зато кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной высотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы...

Изъ поименованныхъ нами стихотворныхъ книжекъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣе другихъ «Стихотворенія Аполлона Григорьева». Въ нихъ по крайней мѣрѣ есть хоть блески дѣльной поэзіи, т. е. такой поэзіи, которой не стыдно заниматься, какъ дѣломъ. Жаль, что этихъ блесковъ не много; ими обязанъ былъ Григорьевъ влиянію на него Лермонтова; но это влияніе исчезаетъ въ немъ все больше и больше и переходитъ въ самобытность, которая вся заключается въ туманно-мистическихъ фразахъ, при чтеніи которыхъ невольно приходится на память эта старая эпитаграмма:

Ужъ подлинно Бибрусъ боговъ языкомъ пѣлъ:  
 Изъ смертныхъ бо его никто не разумѣлъ.

Вотъ самобытность, которая не стоитъ даже подражательности!

Но истиннымъ приобретеніемъ для русской литературы вообще было вышедшее въ прошломъ году изданіе стихотвореній Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворенія всѣ были уже напечатаны и прочтены въ альманахахъ и журналахъ,—они производятъ впечатлѣніе новости, потому именно, что собраны вмѣстѣ и даютъ читателю понятіе о всей поэтической дѣятельности Кольцова, представляя собою нѣчто цѣлое. Эта книжка—капитальное, классическое приобретѣ-



теніе русской литературы, не имѣющее ничего общаго съ тѣми эфемерными явленіями, которыя, даже и не будучи лишены относительныхъ достоинствъ, перелистываются, какъ новости, для того, чтобы быть потомъ забытыми. Въ наше время стихотворный талантъ ни по чѣмъ—вещь очень обыкновенная; чтобы онъ чего-нибудь стоилъ, ему нужно быть не просто талантомъ, но еще большимъ талантомъ, вооруженнымъ самобытною мыслью, горячимъ сочувствіемъ къ жизни, способностью глубоко понимать ее. Благодаря толкамъ журналовъ, нѣкоторые маленькіе таланты кое-какъ поняли это по своему и стали на заглавныхъ листкахъ своихъ книжекъ ставить эпиграфы во свѣдѣтельство, что ихъ поэзія отличается современнымъ направленіемъ, да еще латинскіе, въ родѣ слѣдующаго: *Homo sum, et nihil humani a me alienum puto*. Но ни ученость, ни латинскіе эпиграфы, ни даже дѣйствительное знаніе латинскаго языка не дадутъ человѣку того, чего не дала ему природа, и такъ-называемое «современное направленіе» поэтовъ извѣстнаго разряда всегда будетъ только «плѣвнной мысли раздраженіемъ». Вотъ отчего полуграмотный прасоль Кольцовъ безъ науки и образованія нашель средство сдѣлаться необыкновеннымъ и самобытнымъ поэтомъ. Онъ сдѣлался поэтомъ, самъ не зная какъ, и умеръ съ искреннимъ убѣжденіемъ, что если ему и удалось написать двѣ, три порядочныя пьесы, все-таки онъ былъ поэтъ посредственный и жалкій... Восторги и похвалы друзей не много дѣйствовали на его самолюбіе... Будь онъ живъ теперь, онъ въ первый разъ вкусилъ бы наслажденіе увѣрившагося въ самомъ себѣ достоинства; но судьба отвала ему въ этомъ законномъ вознагражденіи за столько мукъ и сомнѣній... Такъ какъ мы не можемъ сказать о поэзіи Кольцова ничего, кромѣ того, что уже высказано объ этомъ предметѣ въ статьѣ: «О жизни и о сочиненіяхъ Кольцова», вошедшей въ составъ изданія его сочиненій, то и отсылаемъ къ ней тѣхъ, которые не читали ея, но хотѣли бы знать наше мнѣніе о талантѣ Кольцова и его значеніи въ русской литературѣ.

Изъ стихотворныхъ произведеній, появившихся не отдѣльно, а въ разныхъ изданіяхъ прошлаго года, замѣчательны: «Помѣщикъ», рассказъ (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»), и «Андрей», поэма (въ «Отечественныхъ Запискахъ») Тургенева; «Машенька», поэма Майкова (въ «Петербургскомъ Сборникѣ»); «Макбетъ» Шекспира, переводъ Кронеберга стихами и прозой. Замѣчательныхъ мелкихъ стихотвореній въ прошломъ году, какъ и вообще въ послѣднее время, было очень

мало. Лучшія изъ нихъ принадлежатъ Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотвореніяхъ послѣдняго мы могли бы сказать болѣе, если бы этому рѣшительно не препятствовали его отношенія къ «Современнику»...

Кстати о стихотворныхъ переводахъ классическихъ произведеній. А. Григорьевъ перевелъ Софоклову «Антигону» («Библиотека для чтенія», № 8). За многими изъ нашихъ литераторовъ водится заманка говорить съ таинственною важностью о вещахъ давнымъ давно извѣстныхъ и приниматься съ самоувѣренностью за совершенно чуждую имъ работу. Григорьевъ объявляетъ въ небольшомъ предисловіи къ своему переводу, что онъ со временемъ «изложитъ свой взглядъ на греческую трагедію»,—взглядъ, «особенное начало котораго есть, впрочемъ, непосредственная связь ея съ ученіемъ древнихъ мистерій.» Да это знаютъ дѣти въ низшихъ классахъ гимназій! Вотъ, напримеръ, идея, что въ одной «Антигонѣ» является борьба двухъ началъ человѣческой жизни—личнаго права и долга противъ общаго права и долга, и что, слѣдовательно, въ «Антигонѣ» изъ-за древнихъ формъ вѣетъ предчувствіемъ иной жизни—эта идея принадлежитъ исключительно Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за нимъ. Что касается до самой «Антигоны», то едва ли Софокль—«аттическая пчела»—узналъ бы себя въ этомъ торопливомъ, исполненномъ претензій и каііе невѣрномъ переводѣ Григорьева. Величавый древній сенаръ (шести-стопный ямбъ) превратился въ какую-то рубленую, неправильною прозу, напоминающую новѣйшія «драматическія представленія» нашихъ доморощенныхъ драматурговъ; мелодическіе хоры являются пустозвоннымъ наборомъ словъ, часто лишенныхъ всякаго смысла; о древнемъ колоритѣ, характеристикѣ каждаго отдѣльнаго лица нѣтъ и помина. \*) Спрашивается, для чего и для кого трудился Григорьевъ? Развѣ для того, чтобы отбить у насъ и безъ того не слишкомъ сильную охоту къ классической старинѣ, съ которою онъ такъ необдуманно обошелся?..

По части беллетристической прозы отдѣльными изданіями вышли въ прошломъ году только два сочиненія: «Брынскій Лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго», романъ Загоскина, и вторая часть «Петербургскихъ Вершинъ», Буткова.

Новый романъ Загоскина отличается всею, какъ дурными, такъ и хорошими, сто-

\*) Нечего говорить о безчисленныхъ промахахъ; по мнѣнію Григорьева, Аресь (Марсъ) должно выговаривать Аресь, и пр

ронами его прежнихъ романовъ. Отчасти это нѣмецкое, не помнимъ уже которое счетомъ, подражаніе Загоскина своему первому роману — «Юрiю Милославскому». Но герой послѣдняго романа еще безцвѣтнѣе и безличнѣе, нежели герой перваго. О героинѣ нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тѣмъ менѣе русская женщина конца XVII столѣтія. По своей завязкѣ «Брынской Лѣсъ» напоминаетъ сентиментальные романы и повѣсти прошлаго вѣка. Стрѣлецкій сотникъ Лѣвшинъ романтически влюбляется въ какую то неземную дѣву, съ которой сводить его судьба на постояломъ дворѣ. Изъ первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолѣтняя дочь въ Брынскомъ лѣсу, гдѣ онъ остановился проѣздомъ отдохнуть съ своей холопской свитой, состоявшей человекъ изъ пятидесяти. Узнавши это, вы сейчасъ догадываетесь, что идеальная дѣва, плѣнившая Лѣвшина, есть дочь Буйносова, а вмѣстѣ съ тѣмъ узнаете, что будетъ далѣе въ романѣ и чѣмъ онъ кончится. Любовь двухъ голубковъ высказывается избитыми фразами романовъ прошлаго вѣка фразами, которыя никоимъ образомъ не могли бы войти въ голову русскаго человекъ послѣдней половины XVII столѣтія, когда еще не появлялась и знаменитая книжица, рекомая: «Приклады, какъ пишутся комплименты разные на нѣмецкомъ языкѣ, то есть писанія отъ potentатовъ къ potentантамъ, поздравительныя и сожалѣтельные и иные; такжежде между сродниковъ и пріятелей.» Къ слабымъ сторонамъ романа принадлежитъ и его направленіе, происходящее отъ охоты автора приходить въ восторгъ отъ всякихъ старинныхъ обычаевъ и нравовъ, даже самыхъ нелѣпныхъ, невѣжественныхъ и варварскихъ, и ими, кстати и некстати, колотъ глаза современнымъ обычаямъ и нравамъ. Впрочемъ, это недостатковъ не важный: гдѣ авторъ рисуетъ старину неправдоподобно, невѣрно, слабо, тамъ онъ, разумѣется, не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, кромѣ скуки; тамъ же, гдѣ онъ изображаетъ «доброе старое время» въ его истинномъ видѣ, какъ писатель съ талантомъ,—тамъ онъ всегда достигаетъ результата, совершенно противоположнаго тому, котораго добивается, т. е. разубѣждаетъ читателя именно въ томъ, въ чемъ хочетъ его убѣдить, и наоборотъ. И это лучшія страницы романа, написанныя съ замѣчательнымъ талантомъ и отличающіяся большимъ интересомъ, какъ, напр., картина Земскаго приказа и достойнаго подьяка, Ануфрiя Трифоньича, рассказъ приказчика Буйносова о пропажѣ его дочери въ глазахъ семи нянекъ и полусотни челядинцевъ, а главное—киргина суда на та-

тарскій манеръ,—суда, гдѣ, въ лицѣ боярина Куродавлева и пришедшихъ къ нему судиться двухъ мужиковъ, выказывается вся предельность нѣкоторыхъ изъ старинныхъ нравовъ. Къ числу хорошихъ сторонъ новаго романа Загоскина должно отнести еще вообще не дурно, а мѣстами и прекрасно очерченные характеры раскольниковъ: Андрея Поморянина, старца Пафнутiя, отца Филиппа и Волосатаго старца, и боярина Куродавлева, добровольнаго мученика мѣстнической спѣси. Но всѣхъ ихъ лучше обрисовать Андрей Поморянинъ. Нельзя не пожалѣть, что Загоскинъ занимаетъ въ своемъ романѣ вниманіе читателя больше безцвѣтной и скучной любовью своего героя, нежели картинными нравовъ и историческихъ событiй этой интересной эпохи. Языкъ новаго романа Загоскина, какъ и всѣхъ прежнихъ его романовъ, вездѣ ясенъ, простъ, плавленъ, мѣстами одушевленъ и живъ.

Вторая книга «Петербургскихъ Вершинъ» Буткова показала намъ гораздо лучше первой, хотя и первую мы не нашли дурной. По нашему мнѣнію, у Буткова нѣтъ таланта для романа и повѣсти, и онъ очень хорошо дѣлаетъ, оставаясь всегда въ предѣлахъ свойственнаго ему одному рода дагерротипическихъ рассказовъ и очерковъ. Это не творчество, не поэзія, но это стодитъ творчества, поэзіи. Рассказы и очерки Буткова относятся къ роману и повѣсти, какъ статистика къ исторiи, какъ дѣйствительность къ поэзіи. Въ нихъ мало фантазіи, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много иронiи и остроумiя, источникъ которыхъ симпатичная душа. Можетъ быть, талантъ Буткова одностороненъ и не отличается особеннымъ объемомъ, но дѣло въ томъ, что можно имѣть талантъ и многостороннѣе и больше таланта Буткова—и напоминать имъ о существованіи то того, то другого, еще большаго таланта; тогда какъ талантъ Буткова никого не напоминаетъ—онъ совершенно самъ по себѣ. Вотъ почему особенно любимъ мы имъ и уважаемъ его. Рассказы, очерки, анекдоты—называйте ихъ, какъ хотите—Буткова представляютъ собой какой-то особенный родъ литературы, доселѣ небывалый. Съ большимъ удовольствіемъ замѣтили мы, что въ этой второй книжкѣ Бутковъ рѣже впадаетъ въ карикатуру, меньше употребляетъ странныхъ словъ, что языкъ его сталъ точнѣе, опредѣленнѣе, и содержаніе еще болѣе прониклось мыслью и истиной, чѣмъ было все это въ первой книжкѣ. Это значитъ идти впередъ. Отъ души желаемъ, чтобы третья книжка «Петербургскихъ Вершинъ» поскорѣе вышла.

Обращаясь къ замѣчательнымъ произве-

деніямъ беллетристической прозы, являвшимся въ сборникахъ и журналахъ прошлаго года, — взгляды нашъ прежде всего встрѣчаетъ «Бѣдныхъ Людей», романъ, вдругъ доставившій большую извѣстность до того времени совершенно неизвѣстному въ литературѣ имени. Впрочемъ, объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всѣхъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предметѣ. Сила, глубина и оригинальность таланта Достоевскаго была признана тотчасъ же всѣми, и — что еще важнѣе — публика тотчасъ же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которая имѣетъ свойство возбуждать только сильный талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ «Бѣдныхъ Людяхъ» Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхваляя его, и приписали это свойство одни — растянутости, другіе — неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что если бы «Бѣдные Люди» явились, хотя десятой долей въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повторовъ однѣхъ и тѣхъ же фразъ и словъ, — это произведеніе явилось бы безукоризненно-художественнымъ. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» Достоевскій вышелъ на судъ заинтересованной имъ публики со вторымъ своимъ романомъ: «Двойникъ. Приключеніе господина Голядкина». Хотя первый дебютъ молодого писателя уже достаточно уладилъ ему дорогу къ успѣху, однако должно сознаться, что «Двойникъ» не имѣлъ никакого успѣха въ публикѣ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведеніе Достоевскаго, какъ неудачное, и еще менѣе, какъ неимѣющее никакихъ достоинствъ, — то нельзя также и признавать судъ публики неосновательнымъ. Въ «Двойникѣ» авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истины въ этомъ произведеніи много, художественнаго мастерства тоже; но вмѣстѣ съ этимъ тутъ видно страшное неумѣнье владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что въ «Бѣдныхъ Людяхъ» было извинительными для перваго опыта недостатками, въ «Двойникѣ» явилось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣннѣ богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примѣромъ. Гоголь такъ глубоко и

живо концепировалъ идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдѣлать его героемъ еще цѣлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичъ являлся бы вѣрнымъ самому себѣ, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедіи, нѣтъ сомнѣнія, были бы такъ же превосходны, какъ и «Ревизоръ», но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорѣе бы наскучили, нежели нравились, потому что все уха да уха, хотя бы и «Демьянова», пріѣдается. Какъ скоро поэтъ выразилъ своимъ произведеніемъ идею, его дѣло сдѣлано, и онъ долженъ оставить въ покоѣ эту идею, подѣ опасеніемъ наскучить ею. Другой примѣръ на тотъ же предметъ: что можетъ быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедій, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно онѣ не уступаютъ въ достоинствѣ ни одной изъ остальныхъ сценъ комедіи, почему же онъ выключилъ ихъ? — Потому, что онъ въ высшей степени обладаетъ тактомъ художественной мѣры и не только знаетъ, съ чего начать и гдѣ остановиться, но и умѣетъ развить предметъ ни больше, ни меньше того, сколько нужно. Мы убѣждены, что если бѣ Достоевскій укоротилъ своего «Двойника» по крайней мѣрѣ цѣлой третью, повѣсть его могла бы имѣть успѣхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колоритъ. Фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находится въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ «Двойникъ» оцѣнили только немногіе диллетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоитъ не изъ диллетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читаютъ только то, что имъ непосредственно нравится, не разсуждая, почему имъ это нравится, и тотчасъ закрываютъ книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не нравится большинству, можетъ имѣть свои достоинства, но истинно хорошее произведеніе есть то, которое нравится обѣимъ сторонамъ, или, по крайней мѣрѣ, нравясь первой, читается и второй; Гоголь не всѣмъ нравился, да прочли-то его всѣ...

Въ десятой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» появилось третье произведеніе Достоевскаго; повѣсть «Господинъ Прохарчинъ», которая всѣхъ почитателей таланта Достоевскаго привела въ несприятное изумленіе.

Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не даетъ рассмотретьъ читателю... Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повѣсть, а что-то въ родѣ... какъ бы это сказать?—не то умничанье, не то претензія... иначе она не была бы такой вычурной, манерной, непонятной, болѣе похожей на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствѣ не должно быть ничего темнаго и непонятнаго; его произведенія тѣмъ и выше такъ-называемыхъ «истинныхъ происшествій», что поэтъ освѣщаетъ пламенникомъ своей фантазіи всѣ сердечныя изгибы своихъ героевъ, всѣ тайныя причины ихъ дѣйствій, снимаетъ съ рассказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбѣжный результатъ достаточной причины. Мы не говоримъ уже о замашкѣ автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, напримѣръ, «Прохарчинъ мудрецъ!») и тѣмъ ослаблять силу его впечатлѣнія: это недостатокъ второстепенный, и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя нѣтъ такихъ повтореній. Конечно, мы не въ правѣ требовать отъ произведеній Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя; но тѣмъ не менѣе думаемъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примѣромъ еще большаго.

Къ замѣчательнымъ произведеніямъ легкой литературы прошлаго года принадлежатъ помѣщенные въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсти: «Небывалое въ быломъ, или бывшее въ небываломъ» Луганскаго, и «Деревня» Григоровича. Оба эти произведенія имѣютъ между собою то общее свойство, что они интересны не какъ повѣсти, а какъ мастерскіе физиологическіе очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажемъ, чтобы собственно повѣсть Луганскаго не имѣла интереса; мы хотимъ только сказать, что она гораздо интереснѣе своими отступленіями и аксессуарами, нежели своей романической завязкой. Такъ, напримѣръ, превосходная картина избы съ рѣзными окнами, въ сравненіи съ малороссійской хатой, лучше всей повѣсти, хотя входитъ въ нее только эпизодомъ и ничѣмъ внутренно не связана съ сущностью ея содержанія. Вообще въ повѣстяхъ Луганскаго всего интереснѣе подробности, и «Небывалое въ быломъ, или бывшее въ небываломъ» въ особенности богато интересными частностями, помимо общаго интереса повѣсти, которая служить тутъ только рамкою, а не карти-

ною, средствомъ, а не цѣлью. Объ этомъ можно было бы сказать болѣе, но какъ мы скоро будемъ имѣть случай высказать наше мнѣніе о всей литературной дѣятельности этого писателя, то пока и ограничимся этими немногими строками.

О Григоровичѣ мы теперь же скажемъ, что у него нѣтъ ни малѣйшаго таланта къ повѣсти, но есть замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе «физиологическихъ». Но онъ хотѣлъ сдѣлать изъ своей «Деревни» повѣсть, и отсюда вышли всѣ недостатки его произведенія, которыхъ онъ легко бы могъ миновать, если бы ограничился безсвязными вѣтвистыми образомъ, но дышащими одной мыслью картинами деревенскаго быта крестьянъ. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ героини его повѣсти, и вообще изъ его Акулины вышло лицо довольно безцвѣтное и неопредѣленное, именно потому, что онъ старался сдѣлать изъ нея особенно интересное лицо. Къ недостаткамъ повѣсти принадлежатъ также и натянутыя, изысканныя и вычурныя мѣстами описанія природы. Но что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это блестящая сторона произведенія Григоровича. Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла, и умѣлъ выказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его «Деревня»—одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года.

Статья Луганскаго: «Русскій Мужикъ», явившаяся въ третьей части «Новоселья», исполнена глубокаго значенія, отличается необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія и вообще принадлежитъ къ лучшимъ физиологическимъ очеркамъ этого писателя, котораго необыкновенный талантъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ этомъ родѣ литературы.

Съ шестой книжки «Библиотеки для Чтенія» тянется романъ Вельмана: «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», который еще не кончился послѣднею книжкою этого журнала за прошлый годъ. Вельманъ обнаружилъ въ новомъ своемъ романѣ едва ли еще не болѣе таланта, нежели въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ же недостатокъ умѣнія распоряжаться своимъ талантомъ. Въ его «Приключеніяхъ» толпится страшное множество лицъ, изъ которыхъ многія очеркнуты съ необыкновеннымъ мастерствомъ; много поразительно вѣрныхъ картинъ современнаго русскаго быта, но

вмѣстѣ съ тѣмъ есть лица неестественныя, положенія натянутыя, и слишкомъ зачутанные узлы событій разрѣшаются посредствомъ *deus ex machina*. Все, что есть прекраснаго въ этомъ романѣ, принадлежитъ таланту Вельтмана, который безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени; а все, что составляетъ слабыя стороны «Приключеній», вышло изъ намереннаго желанія Вельтмана доказать превосходство старинныхъ нравовъ передъ нынѣшними. Странное направленіе! Мы нисколько не принадлежимъ къ безусловнымъ почитателямъ современныхъ нравовъ русскаго общества, не менѣе всякаго другого видимъ ихъ странности и недостатки и желаемъ ихъ исправленія. Какъ и у славянофиловъ, у насъ есть свой идеалъ нравовъ, во имя котораго мы желали бы ихъ исправленія, но нашъ идеалъ не въ прошедшемъ, а въ будущемъ, на основаніи настоящаго. Впередъ идти можно, назадъ — нельзя, и что бы ни привлекло насъ въ прошедшемъ, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутятъ на новый ладъ и лучше умѣютъ проматывать ражитое отцами, нежели приобретать сами, — мы согласны, что они страннѣе и негнѣе своихъ отцовъ, которые упорно держатся старины. Но мы никакъ не можемъ согласиться, чтобы ихъ отцы не были тоже странны и негнѣы. Молодые поколѣнія даже купчиковъ выражаютъ собою переходное состояніе своего сословія, переходное отъ худшаго къ лучшему, но это лучшее окажется хорошимъ только какъ результатъ перехода, а какъ процессъ перехода оно, разумѣется, скорѣе хуже, нежели лучше стараго. Дѣйствуйте на исправленіе нравовъ сатирою, или — что лучше всякой сатиры — вѣрнымъ ихъ изображеніемъ; но дѣйствуйте не во имя отжившихъ нравовъ, а во имя разума и здраваго смысла, не во имя мечтательнаго и невозможнаго обращенія къ прошедшему, а во имя возможнаго развитія будущаго изъ настоящаго. Присрастіе, къ чему бы оно ни прильпилось — къ старинѣ или новизнѣ, всегда мѣшаетъ достиженію цѣли, потому что невольнo вводитъ въ ложь человѣка, самаго страстнаго къ истинѣ и дѣйствующаго по самому благородному убѣжденію. Это и сбылось съ Вельтманомъ въ его новомъ романѣ. Онъ придалъ безнравственнымъ лицамъ своего романа таковой колоритъ, какъ будто они безнравственны по милости новыхъ нравовъ, а живи-де они въ Кошихинскія времена, то были бы отличнѣйшими людьми. По крайней мѣрѣ мы считаемъ себя въ правѣ сдѣлать подобное заключеніе изъ того, что

авторъ нигдѣ и не думаетъ маскировать своей симпатіи къ старинѣ, своей антипатіи къ новизнѣ. Такъ, напримѣръ, повинувшись истинѣ, онъ безпристрастно показалъ естественныя причины страшнаго богатства купчины Захолустева, но въ то же время счелъ за необходимое противопоставить ему Селифонта Михѣича, который тоже страшно богатѣлъ, но честностью и порядкомъ, а главное потому, что «жилъ по старому русскому обычаю». Желали бы мы знать, что бы наши купцы сказали объ этой утопіи честнаго благопріобрѣтенія огромнаго имѣнія... По мнѣнію Вельтмана, русскій человѣкъ, имѣющій несчастье знать французскій языкъ, есть человѣкъ погибшій... Какихъ, подумаешь, не бываетъ предрасудковъ у людей съ умомъ и талантомъ!..

Герой романа, Дмитрицкій — нѣчто въ родѣ Ваньки Каина новыхъ временъ, или того, что французы называютъ *chevalier d'industrie*, лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное авторомъ. Зато героиня, Саломея Петровна, которой выпала невыгодная роль представительницы и жертвы новѣйшихъ нравовъ и знанія французскаго языка, — лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницей, холодной лицемеркой, до пошлости неискусной актрисой, а потомъ самой страстной женщиной, какую только можно вообразить. Дѣйствіе романа презапутанное, въ немъ столько эпизодовъ, сколько лицъ, а лицамъ, какъ мы сказали, счету нѣтъ. Какъ только является новое лицо, авторъ безъ церемоніи бросаетъ героя и героиню и начинаетъ рассказывать читателю исторію этого новаго лица, со дня его рожденія, а иногда и со дня рожденія его родителей, по день его появленія въ романѣ. Большая часть изъ этихъ вводныхъ лицъ изображены или очеркнуты съ большимъ искуствомъ. Ходъ романа очень интересенъ, въ событіяхъ много истины, но въ то же время и много невѣроятностей. Когда автору нѣтъ средства естественно развязать узелъ завязки или завязать новый, у него сейчасъ является *deus ex machina*. Таково, напр., похищеніе Саломеи холопами Филиппа Савича, помѣщика Кіевской губерніи, — самая невѣроятная романтическая натяжка, на какую только когда-либо рѣшался писатель съ талантомъ. Такихъ сказочныхъ невѣроятностей особенно много въ событіяхъ жизни Дмитрицкаго; ему все удается, онъ всегда выходитъ съ выгодой для себя изъ самаго затруднительнаго, самаго невыгоднаго положенія. Пріѣзжаетъ въ Москву безъ бумагъ, съ однимъ червонцемъ, останавливается въ гостиницѣ, пьетъ, ѣстъ на широкую ногу, и вдругъ судьба посылаетъ ему

литературщика, который принял его за литератора, занимавшего еще вчера этот же самый номер гостиницы. везет его къ себѣ, предлагаетъ у себя квартиру, даетъ денегъ. Все это дѣлается по шутью вельнью, а по моему прошенью, и доказываетъ, что у Вельмана больше таланта для частностей и подробностей, нежели для созданія чего-нибудь цѣлаго, больше склонности къ сказкѣ, нежели къ роману, и что системы и теории много дѣлаютъ вреда его замѣчательному таланту...

Упомянувши еще о «Венгерцахъ», физиологическомъ очеркѣ, въ «Финскомъ Вѣстникѣ», мы окончимъ нашъ перечень всего особенно замѣчательнаго, что явилось въ прошломъ году по части изящной словесности. Перечень этотъ вышелъ не великъ; \*) обо многомъ мы не хотимъ упоминать вовсе не потому, чтобы во всемъ, о чемъ умалчиваемъ, видѣли мы одно дурное и ничего хорошаго, но потому, что считали нужнымъ говорить только объ особенно замѣчательномъ.

«Воспоминанія Оаддея Булгарина (Отрывки изъ видѣннаго, слышаннаго и испытаннаго въ жизни), не принадлежатъ собственно ни къ ученой, ни къ поэтической, но къ такъ-называемой легкой литературѣ, есть книга во многихъ отношеніяхъ интересная и замѣчательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочиненія мы выскажемъ ниже наше о немъ мнѣніе, а пока ограничимся однимъ упоминаньемъ.

Къ числу такого же рода произведеній отнесли бы мы и «Записки Доктора», сочиненіе Малиновскаго, если бы эти записки больше были вѣрны своеѣ прекрасной цѣли и больше походили на записки, нежели на мелодраму въ формѣ неудавшагося романа, написаннаго безъ таланта, безъ умѣнія и такту.

Отъ чисто-литературныхъ произведеній переходя къ сочиненіямъ ученаго или серьезнаго содержанія, начнемъ съ того, что сдѣлано было въ прошломъ году по части русской исторіи. Скажемъ здѣсь кстати, что въ «Современникѣ» будетъ обращено особенное вниманіе на этотъ предметъ. Кромѣ статей по части русской исторіи, журналъ нашъ, не обѣщая своимъ читателямъ полной библіографіи по другимъ ча-

\*) Это произошло частью оттого, что множество замѣчательныхъ беллетристическихъ произведеній, особенно повѣстей, должно бы было появиться въ прошломъ году въ одномъ огромномъ сборникѣ, предполагавшемся къ изданію. Но по случаю «Современника» литераторъ, предпринимавшій изданіе этого сборника, счелъ за лучшее оставить свое предпріятіе и передать «Современнику» собранныя имъ статьи.

стямъ, будетъ представлять отзывы обо всемъ, что будетъ являться сколько-нибудь замѣчательнаго по части русской исторіи \*)...

«Исторія русской словесности, преимущественно древней, — XXXIII публичныя лекціи Шевырева» (доселѣ вышло двѣ части), принадлежатъ къ замѣчательнымъ явленіямъ ученой русской литературы прошлаго года. Въ этомъ сочиненіи авторъ обнаружилъ короткое знакомство съ источниками, обширную начитанность, словомъ, — эрудицію, которая сдѣлала бы честь самому кропотливому нѣмецкому гелертеру. При этомъ оно отличается глубокимъ и искреннимъ убѣжденіемъ, самой наивной добросовѣстностью, которая однако жъ не помѣшала трудолюбивому и почтенному профессору представлять факты въ самомъ неистинномъ видѣ. Это странное явленіе будетъ очень понятно, если взять въ соображеніе, какую ужасную силу имѣетъ надъ здравомысліемъ человѣка духъ системы, обаяніе готовой идеи, еще прежде изученія фактовъ принятой за непреложно-истинную. Вотъ причина, почему Шевыревъ въ духовныхъ сочиненіяхъ древней и старой Руси непременно хочетъ видѣть произведенія народной словесности, а въ русскомъ сказочномъ витязѣ Ильѣ Муромцѣ находить что-то общее съ Сидомъ, рыцарственнымъ героемъ національныхъ испанскихъ романсовъ... Въдъ ученый и трудолюбивый Венедикъ находилъ же Атиллу славяниномъ, а въ Меровингахъ франкскихъ видѣлъ славянскихъ «мировыхъ» или «міровыхъ» — не помнимъ, право... Это доказываетъ, что господа ученые, платя дань человѣческой слабости, бываютъ подвержены такимъ же странностямъ, какъ и самые простые, все безграмотные люди... Можетъ быть, это происходитъ оттого, что они, какъ говорятъ простой народъ, зачитываются, и у нихъ умъ за разумъ заходитъ; можетъ быть, это происходитъ и отъ другихъ причинъ — не знаемъ; но знаемъ только то, что духъ истины и доктрины имѣетъ удивительное свойство омрачать и фанатизировать даже самые свѣтлые умы... Впрочемъ, книга Шевырева, въ своего славянофильскаго направленія, имѣетъ много достоинствъ, какъ памятникъ примѣрнаго трудолюбія и добросовѣстности, хотя и однойсторонней, учености. Больше всего важны примѣчанія, которыми снабжена она, и куда отнесены авторомъ самые интересные факты, которые съ особеннымъ упорствомъ

\*) Слѣдующее за тѣмъ въ этой статьѣ 1-го № «Современника» о русской исторической литературѣ написано Кавелинымъ и помѣщено во второй части «Собранія его сочиненій», стр. 299—315.

отказались свидетельствовать въ пользу любимыхъ идей его. Замѣчательна еще книга Шевырева и тѣмъ, что подала поводъ къ четыремъ прекраснымъ критическимъ статьямъ (въ «Отечественныхъ Запискахъ» №№ 5 и 12, въ «Библиотекѣ для Чтенія» и «Финскомъ Вѣстникѣ»).

Къ числу блистательнѣйшихъ приобретений по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлаго года, принадлежить вышедшее въ прошломъ году второе отдѣленіе второй части «Руководства къ Всеобщей Исторіи»—сочиненіе профессора Лоренца. Этой книжкой заключается средняя исторія. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ продолженія и окончанія этого превосходнаго труда.

«Исторія консульства и имперіи» Тьера появилась въ двухъ переводахъ. Вышла шестая часть «Всемирной Исторіи» Беккера.

«Нравы, обычаи и памятники всѣхъ народовъ земного шара», изданіе Семена и Стойковича, превосходными иллюстрированными картинками и полиптиками и вообще типографскимъ изяществомъ затмило собою всѣ когда-либо являвшіяся въ Россіи такъ-называемыя великолѣпныя изданія. Содержаніе книги соответствуетъ ея внѣшнему достоинству и—что даетъ ей особенную важность—есть не переводъ, а почти оригинальный трудъ двухъ русскихъ литераторовъ, которые, пользуясь иностранными источниками, умѣли придать ему достоинство одушевленнаго одной идеей сочиненія. Въ вышедшей книгѣ содержится описаніе Индустана, сдѣланное Тютчевымъ, и Заганскаго полуострова, сдѣланное Стойковичемъ. Во второй книгѣ издатели общають описаніе Китая и Японіи.

Въ журналахъ прошлаго года было очень много интересныхъ статей ученаго содержанія, оригинальныхъ и переводныхъ. Изъ первыхъ въ особенности можно указать на: седьмое и восьмое «Письма объ изученіи природы» Искандера; «Кочующіе и осѣдло-живущіе въ Астраханской губерніи инородцы» барона Ф. А. Бюлера; «Европейскія желѣзныя дороги въ историческомъ, географическомъ и статистическомъ отношеніяхъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Нога и рука человѣка» С. С. Курторги (въ «Библиотекѣ для Чтенія»); «Жизнь и нравы змѣй; Жизнь и нравы пауковъ» Ушакова (въ «Финскомъ Вѣстникѣ»). Изъ переводныхъ статей особенно замѣчательна «Оливеръ Кромвель» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Знаменитое ученое твореніе Гумбольдта было переведено въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ именемъ «Космоса», а въ «Библиотекѣ для Чтенія»—подъ именемъ «Козмоса». Нельзя не от-

дать справедливости обоимъ журналамъ за ихъ поспѣшность познакомить русскую публику съ произведеніемъ великаго ученаго, столь важнымъ по предмету и написаннымъ популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цѣли. Популярность изложенія Гумбольдта чисто-нѣмецкая, слѣдовательно, вполне доступная только людямъ, специально занимающимся естественными науками и астрономіей. Въ этомъ отношеніи гораздо полезнѣе перевода обоимъ журналамъ была статья въ «Сѣверной Пчелѣ» (№№ 175—180): «Александръ Гумбольдтъ и его Вселенная (Kosmos)». Не знаемъ, откуда переведена или къмъ написана она, но непосвященныхъ въ таинства науки она знакомитъ съ книгой Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги въ обоимъ журналахъ. Въ «Финскомъ Вѣстникѣ» переводится знаменитое твореніе Тьера: «Завоеваніе Англіи норманнами». Это сочиненіе, конечно, не ново вездѣ, кромѣ Россіи, и оттого мысль «Финскаго Вѣстника» перевести его заслуживаетъ похвалы и благодарности.

Въ послѣднее время много стало появляться книгъ, брошюръ и статей по специальнымъ предметамъ. Конечно, истинно хорошихъ между ними еще мало, но всѣ онѣ важны, какъ свидѣтельство дѣльнаго направленія литературы. Такъ, напримѣръ, въ прошломъ году вышли весьма замѣчательныя книги, которыя мы только поименуемъ, такъ какъ о нихъ было уже много говорено въ журналахъ: первая книга «Записокъ Русскаго Географическаго Общества»; третья часть «Исторіи Смутнаго времени» Бутурлина; «Объ источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній» Журавскаго; «Нижегородская ярмарка въ 1843, 1844 и 1845 годахъ» Мельникова, и пр. Особенно пріятно видѣть, что появляется довольно много книгъ, брошюръ и статей, касающихся не только сельскаго хозяйства въ его техническомъ значеніи, но и быта того многочисленнаго класса людей, который играетъ такую великую роль въ отношеніи къ сельскому хозяйству, какъ живая и разумная производящая сила. Особенно заслуживаетъ вниманія въ 103 № «Московскихъ Вѣдомостей» превосходная статья С. А. Маслова—«Жаръ и Жатва Хлѣба. (Лѣтнія замѣтки въ Московской губерніи)». Эта замѣчательная статья, за которую почтеннаго автора благословить всякій другъ человѣчества, была перепечатана почти во всѣхъ журналахъ, издающихся отъ правительственныхъ вѣдомствъ.

Мы не упоминали о нѣкоторыхъ замѣчательныхъ книгахъ, показавшихся въ кон-

цѣ прошлаго года, для того, чтобы начать съ нихъ отдѣлъ Критики и Библиографіи «Современника». Но прежде скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ отдѣлѣ нашего журнала. Почти во всѣхъ другихъ журналахъ критика составляетъ особый отъ библиографіи отдѣлъ. Пишущій эти строки семилѣтнимъ тяжкимъ опытомъ дозналъ невыгоду такого раздѣленія. Подъ критикою разумѣется статья извѣстнаго объема и даже особеннаго отъ рецензіи тона. Замѣчательныхъ книгъ, подлежащихъ вѣдомству серьезной критики, у насъ выходитъ такъ мало, что обязанность писать по критикѣ каждый мѣсяцъ поневолѣ дѣлается чѣмъ-то въ родѣ тяжелой поставки, ибо много замѣчательнаго печатается въ журналахъ. Поэтому, представляя отчеты наши публикѣ о всѣхъ болѣе или менѣе примѣчательныхъ явленіяхъ русской литературы, мы не будемъ нисколько заботиться, что выйдетъ изъ нашего разбора—критика или рецензія. Пусть сами читатели наши рѣшаютъ это, каждый по своему вкусу и разумѣнію. Этимъ мы надѣемся доставить имъ услугу, избавивъ журналъ нашъ отъ балласта многословія и надутости, неизбежнаго иногда при двойномъ раздѣленіи критики: на большую, или собственно критику, и малую, или рецензію. Критика наша, какъ мы сказали выше, будетъ обращать вниманіе на всѣ сколько-нибудь замѣчательныя сочиненія по

части русской исторіи; затѣмъ болѣе всего обратитъ она свое вниманіе на произведенія чисто литературныя; но въ отношеніи и къ нимъ мы не общаемъ полной библиографіи, ибо о книгахъ ничтожныхъ даже отрицательно, по нашему мнѣнію, не стоитъ труда ни писать, ни читать. Мы даже будемъ считать нашей обязанностью, изъ уваженія къ публикѣ и самимъ себѣ, проходить молчаніемъ дюжинныя произведенія дюжинныхъ писаекъ, которые успѣли уже приобрести себѣ позорную извѣстность, которые, думая вѣрно изображать жизнь, какъ она есть, вмѣсто этого изображаютъ вѣрно только себя такъ, какъ они есть, т. е. во всемъ величинѣ ихъ претензій, ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумія. Съ другой стороны, чуждые всякихъ притязаній на энциклопедическую многосторонность познаній, мы не будемъ ничего говорить о специальныхъ сочиненіяхъ, какъ бы ни были они замѣчательны, если они выходятъ изъ круга нашихъ занятій. О книгахъ легкихъ и незначительныхъ будетъ у насъ говорить въ фельетонѣ «Современника», въ отдѣлѣ смѣси, и отъ времени до времени прилагаться къ его книжкамъ полныя библиографическіе списки всѣхъ, безъ исключенія, выходящихъ въ Россіи книгъ на русскомъ языкѣ, съ обозначеніемъ типографіи, формата, числа страницъ и даже по возможности цѣны.

## Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями Николая Гоголя.

Спб. 1847.

Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русскомъ языкѣ! Безпристрастный читатель, съ одной стороны, найдетъ въ ней жестокой ударъ человѣческой гордости, а съ другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бѣдной человѣческой природы... Впрочемъ, нисколько не правъ будетъ тотъ, кѣмъ, при чтеніи этой книги, попеременно стали бы овладѣвать то жестокая грусть, то злая радость,— грусть о томъ, что и человѣкъ съ огромнымъ талантомъ можетъ падать такъ же, какъ и самый дюжинный человѣкъ,—радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное, никогда не можетъ замаскироваться, но всегда безпощадно казнится собственной же пошлостью... Смыслъ этой книги не до такой степени печаленъ.

Тутъ дѣло идетъ только объ искусствѣ, и самое худшее въ немъ — потеря человѣка для искусства...

Сколько книгъ является съ эпиграфами, которые нисколько къ нимъ не идутъ и ничего въ нихъ не поясняютъ, и сколько эпиграфовъ такъ и просятся въ эту книгу, которая явилась безъ всякаго эпиграфа! Напримѣръ, какъ бы шель къ ней этотъ эпиграфъ: «Суета суетъ и всяческая суета!» или этотъ: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!»... Но не будемъ говорить о томъ, чего въ ней нѣтъ, а обратимся къ тому, что въ ней есть... Изъ предисловія узнаемъ мы, что авторъ былъ боленъ при смерти и написалъ было завѣщаніе. Все это очень обыкновенно и со всякимъ случиться можетъ. Но вотъ что вовсе не обыкновенно и чего доселѣ еще ни съ кѣмъ



изъ частныхъ лицъ не случилось. Завѣщаніе Н. В. Гоголя, напечатанное въ книгѣ вполне, не заключаетъ въ себѣ никакихъ семейныхъ подробностей, которыя, разумеется, и не шла бы въ печать, но все состоитъ изъ интимной бесѣды автора съ Россіей... То есть: авторъ говоритъ и наказываетъ, а Россія его слушаетъ и общается выполнителю... Тутъ между прочимъ говорится, какъ о вѣнцѣ творенія Гоголя, о какой-то «Прощальной повѣсти», написанной имъ въ назиданіе, поученіе и услажденіе высокихъ душъ... Потомъ объявляется, что авторъ сжегъ всѣ свои сочиненія, бывшія у него въ рукописяхъ, какъ бесполезныя... Въмѣсто этого просить онъ друзей своихъ издать его письма съ 1844 года для пользы тоже высокихъ душъ... Но вотъ конецъ завѣщанія въ подлинныхъ словахъ.

„VII. Завѣщаю... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликовать мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому право на его публичное изданіе, и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, если бы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и при томъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ соединилось другое обстоятельство: *портретъ мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принесъ значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его.* Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всѣмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло, подходящее нынѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малаго числа знаковокъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаграждать его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображеніе кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но если бы случилось такъ, что послѣ моей смерти письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хоть бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что не пользуется извѣстностью, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же по прочтеніи сихъ строкъ,

тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ схода, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: гравироваль Юрданъ. Симъ будетъ сдѣлано по крайней мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣе, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ, станутъ вмѣсто портрета моего покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составлять славу русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлался передо мной невиновно-виноватымъ, и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.“

Изданную теперь книгу «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» Гоголь проситъ своихъ соотечественниковъ прочитывать нѣсколько разъ, а достоящихъ изъ нихъ просить онъ покупать ее по нѣсколькимъ экземпляровъ для раздачи тѣмъ, которые сами купить ее не въ состояніи. Собираясь въ Сирію на поклоненіе святымъ мѣстамъ, просить онъ прощенія у всѣхъ, передъ которыми виноватъ, равно какъ и у тѣхъ, передъ которыми не виноватъ... Въ особенности сознаетъ онъ, что въ его обхожденіи съ людьми всегда было много неприятно-отталкивающаго.

„Отчасти это происходило (говоритъ онъ) оттого, что я избѣгалъ встрѣчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человѣку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить не хотѣлось), и будучи въ то же время убѣжденъ, что, причиня безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочнаго самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя въ правѣ стѣснено глядѣть на другихъ.“

За предисловіемъ и завѣщаніемъ слѣдуютъ письма. Въ этихъ письмахъ авторъ изображаетъ себя какъ бы прозрѣвшимъ вслѣдствіе своей болѣзни, исполнившимъ духа любви, кротости и въ особенности смиренія... Содержаніе ихъ совершенно соответствуетъ такому духу: это не письма, это скорѣе строгія и иногда грозныя увѣщанія учителя ученикамъ... Онъ поучаетъ, наставляетъ, совѣтуетъ, уличаетъ, упрекаетъ, прощаетъ и т. д. Къ нему всѣ обращаются съ вопросами, и онъ никого не оставляетъ безъ отвѣта. Онъ самъ говоритъ: «Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта.» Тутъ же, черезъ нѣсколько строкъ: «Въ послѣднее время мнѣ случилось даже получать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе не знакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не сумѣлъ дать прежде. А между прочимъ (?) я ничуть не умѣе

никого.» Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе, что эта мудрость произошла отъ болѣзни. Въ другомъ письмѣ, давая пріятелю совѣтъ по части хозяйства, авторъ говоритъ: «только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладъ; два человѣка уже благодарятъ меня, одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К\*\*.» Видите ли? онъ самъ сознаетъ себя чѣмъ-то въ родѣ *curé du village* или даже и папы своего маленькаго католическаго міра... Послушаемъ же его совѣтовъ и подивимся имъ...

Говоря въ письмѣ къ одной дамѣ о значеніи женщины въ свѣтѣ, авторъ открываетъ намъ главную причину лихоимства въ Россіи. Найти причину зла — почти то же, что найти противъ него лѣкарство. И авторъ «Переписки» нашелъ его... Слушайте: главная причина взточничества чиновниковъ происходитъ «отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ, большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей.» Признаемся: мы были сильно поражены этимъ страннымъ открытіемъ... Мы однако жъ не остановились на этомъ, но пошли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно, конечно, хорошо, если чиновницы перестанутъ щеголять и блистать въ свѣтѣ, но что еще будетъ лучше, если онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда оставятъ дурную привычку — по утру и вечеромъ пить чай или кофе, а въ полдень обѣдать, равно какъ и другую, не менѣе дурную, привычку прикрывать наготу свою чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы имъ вовсе не для чего было просить у мужей денегъ, а мужьямъ вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправленіе нравовъ было бы всесовершенное... Съ этимъ могутъ не согласиться только такъ-называемые практическіе люди, которые все понимаютъ не вдохновеніемъ, а здравымъ смысломъ да опытностью... Они могутъ сказать, что до Петра Великаго у насъ не было моды, и женщины сидѣли взаперти, а взточничество было, да еще въ несравненно сильнѣйшей степени, чѣмъ теперь... Пожалуй, они могутъ еще сказать, что, хорошо зная человѣческую натуру и ея слабости, они считаютъ рѣшительно невозможнымъ, чтобы у однихъ уничтожить желаніе блистать, когда другіе, по своимъ средствамъ, согласятся скорѣе умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство въ средствахъ есть неосуществимая мечта, то никакія «переписки» въ мірѣ не убѣдятъ никакаго Кира не желать быть Крезомъ, или не завидовать ему, ибо это внѣ природы человѣческой, а немногія и рѣдкія

исключенія тутъ ровно ничего не значатъ. Но мало ли чего могутъ наговорить практическіе люди, да что ихъ слушать! Вѣдь они черпаютъ свои мысли въ разумъ, расудкѣ, опытѣ и знаніи — источникахъ мірскихъ, свѣтскихъ и грѣховныхъ!.. Эти люди, пожалуй, скажутъ вамъ, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать здоровая душа, что только не страждущій никакимъ расстройствомъ мозгъ можетъ правильно мыслить... Заткните уши отъ такихъ вольнодумныхъ мыслей и плюньте (любимое выраженіе автора «Переписки») на проповѣдниковъ такой ереси; вотъ что говорить объ этомъ нашъ авторъ:

„О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества польвъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже такимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человѣка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. При томъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходятъ ко мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнѣе прежняго.“

Теперь неоспоримо, какъ дважды два — четыре, что нездоровье лучше здоровья; въ здоровѣйшъ человѣкѣ, особенно русскій, любить рисоваться и заноситься, а въ болѣзнь онъ ясно видитъ, что прежде онъ дѣлалъ однѣ глупости, а вотъ теперь-то за умъ хватился и сталъ молодецъ хоть куда! Онъ ужъ тутъ самъ видитъ, что онъ и пишетъ лучше прежняго, и если весь свѣтъ видитъ это дѣло совершенно наоборотъ, можно «плюнуть» на весь свѣтъ, брешешь, — молъ ты, дуракъ!.. Вы думаете, что съ свѣтомъ, даже съ большимъ, нельзя такъ говорить? По крайней мѣрѣ въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ дружеской переписки» свѣтскіе люди иначе не называются, какъ «глупыми умниками». Вообще, замѣтимъ кстати, обращеніе нашего смиренномудраго совѣтодателя какъ съ своими адептами, такъ и съ людьми, никогда его не знавшими, отличается немножко черезчуръ восточной откровенностью. «Критика (у него) устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь.» Вотъ, чтобы помочь этому горю и направить критику на истинный путь, онъ и написалъ свою превосходную критическую статью «Объ «Одиссеѣ», переводимой Жуковскимъ», — статью, въ которой, разумѣется, дичи не было нисколько...

Но вотъ черта еще лучше: «Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ мѣлъ, а всё твореніе его — народныя пѣсни и рapsоды.» Сколько мы помнимъ, главнымъ поборникомъ этого мнѣнія былъ профессоръ Вольфъ, — человекъ, конечно, не гениальный, но весьма ученый и совсѣмъ не дуракъ... Но вотъ бѣда: это мнѣніе раздѣлялъ и Гёте, который хотя былъ и нѣмецъ, но дуракомъ ни въ чьихъ глазахъ никогда еще не былъ... Что скажутъ о насъ нѣмцы, если узнаютъ, что ихъ Гёте былъ не болѣе, какъ — дуракъ!.. А между тѣмъ, воля ваша, а вѣдь оно должно быть такъ, потому что нашъ авторъ не знаетъ ни греческаго языка, столь знакомаго Вольфу и Гёте, да едва ли знаетъ и по-нѣмецки-то; сверхъ того онъ судить не по разуму, не по знанію, а по вдохновенію: изъ всего этого слѣдуетъ, что онъ правъ и что Гёте — дѣйствительно дуракъ... Нѣтъ, это дѣло рѣшеное — Гёте дуракъ! Да и что тутъ чиниться съ какими-нибудь нѣмцами!..

Но вотъ особенно интересное сужденіе автора о славянофилахъ, отличающееся всѣмъ достоинствомъ его патриархальной откровенности:

„Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробраются уже въ гостиницы, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудро, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти славянисты и европисты — или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покаместъ они мнѣ кажутся только карикатурами на то, чѣмъ хотѣтъ быть, — всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорять и не поперечать другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ, что видятъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ, что видятъ весь фасадъ, но по частямъ не видятъ. Разумѣется, правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ фасадъ и, стало быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посовѣтовать обоимъ — одному попробовать, хоть на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ ртуть. Разумѣется, что такимъ строптивымъ хвастов-

ствомъ вооружаютъ они еще болѣе противъ себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ него отступить, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде неслышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ расковравшемуся человеку.“

А въ другомъ мѣстѣ вотъ что говоритъ авторъ о томъ же предметѣ:

„Многие у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями и думатьъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ на показъ и сказать Европѣ: „смотрите, нѣмцы: мы лучше васъ!“ Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Наилучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалились и похвастались! А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются! Хвастаются будущимъ! Нѣтъ, по мнѣ уже лучше временное уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадѣянность въ себѣ.“

Но мы начали рѣчь о совѣтахъ, которыми авторъ надѣляетъ своихъ адептовъ; надо кончить эту интересную матерію. Одинъ изъ пріятелей автора посягнулъ на дѣло неслыханной дерзости: онъ рѣшился сказать автору письменно, что, по его мнѣнію, теперь-де самое время для выпуска второй части «Мертвыхъ Душъ»... Подобная дерзость не могла не поддѣйствовать нѣсколько смутно на смиреніе нашего автора, — и онъ разразился слѣдующимъ громовымъ отвѣтомъ неосторожному смѣльчаку:

„Вотъ, если бы ты, вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми надичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какого-то празднаго любопытства), собралъ всѣ дѣльные замѣчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, жизнью опытной и дѣльной, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околотеѣ нашемъ и во всей губерніи, въ подтвержденіе или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибавить на всякую страницу, тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успѣшнѣе пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ, моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая, ни къ чему неведущая торпливость, которой, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ, и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, завѣсилъ ли ты хорошенько слова свои: „второй томъ нуженъ теперь необходимо?“ Чтобы я изъ-за того

только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ? Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залѣзъ ты развѣ въ мою голову? Почувствовалъ существо второго тома? По-твоemu онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображеніе попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жь изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на боку, къ дѣлу настоящему лѣнивъ, а другого торопитъ, точно, какъ будто непременно другой долженъ изъ всѣхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежитъ на боку. Чуть замѣтаетъ, что хотя одинъ человѣкъ занялся серьезно какимъ-нибудь дѣломъ, ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ, и потомъ его же выбравать, если сдѣлаетъ глупо, скажутъ: зачѣмъ поторопился? Но оканчиваю тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣчалъ, и даже сказала тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще никому. Не думай однако же послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними, и буду воевать, и изгону ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ, и это вадоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ; только въ *глупой свѣтской башкѣ* могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и вставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многого тѣмъ, что, лишивши каргинова вида и рыцарской маски, подъ которой выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостью, которая всѣмъ видна. И когда повѣряю себя на исповѣди передъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мірѣ и освободиться отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себѣ пороковъ; но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году. Святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не прочесть мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣляясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебраться передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣтъ и на другіе вопросы, если попристанешь въглядѣться. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлялъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣдительныхъ и не избралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоеешь силой въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывай

вать кошмаровъ — я также не выдумывалъ; кошмары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло.“

Но истинный перлъ по совѣтодательной части составляютъ три письма автора. Въ одномъ онъ учитъ мужа и жену жить по-супружески. Жалѣемъ, что длиннота этого письма лишаетъ насъ возможности переписать его содержаніе: это чудо, предель, еще ничего не являлось подобнаго на русскомъ языкѣ, и передъ этимъ даже путевыя записки за границей Погодина — просто пасья!.. Въ другихъ двухъ письмахъ содержатся преудивительные совѣты помѣщику, какъ управлять своими крестьянами. Въ одномъ изъ нихъ замѣчательнѣе всего совѣтъ касательно сельскаго суда и расправы. Такъ какъ, по мнѣнію автора, въ спорахъ, жалобахъ, неудовольствіяхъ и тяжбахъ всегда бываютъ неправы обѣ стороны, то онъ и рѣшаетъ, что дѣло судьи — наказывать обѣ...

„Эта мысль (говорить онъ), какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и не умный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди *высшїе*, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобратъ каждое изъ дѣлъ нашихъ, придемъ къ тому же знаменію, т. е. оба виноваты. И видишь, что *весьма здраво* поступила комендантша въ повѣсти Пушкина *Капитанская Дочка*, которая, слышавши поручика рас судить городского солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шапку, снабдила его такой инструкціей: „Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обихъ и накажи“.

Въ другомъ письмѣ авторъ совѣтуетъ помѣщику прежде всего, не шутя, искренно показать своимъ крестьянамъ, что ему, помѣщику, деньги — нуль.

„Негодаямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старостѣ, приказчику, попу или даже самому тебѣ. Чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозяина, *летѣли бы шапки съ головы и встали мужиковъ*, и все бы давало дорогу, а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе или не послушается умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: „Ахъ, ты, *невѣжливое рыло!* Самъ весь зажалъ въ сажъ, такъ, что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! *Поклонись же ему съ ноги* и попроси, чтобъ навелъ тебѣ на разумъ; не наведетъ на разумъ — собачкой пропадешь.“

Хорошъ и этотъ совѣтъ: «Мужика не бей: съѣздить его въ рожу еще не большое искусство: это сумѣетъ сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ, и только что почешетъ слегка у себя въ затылкѣ.»

Затѣмъ авторъ учить помѣщика ругаться съ мужиками... Что это такое? гдѣ мы? ужъ не перенеслись ли мы въ давно-прошедшія времена?..

Но это еще не все. Вотъ лучше: «Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотѣ за тѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которые издаются для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не подѣзетъ въ голову—и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ.» Либо пойдетъ въ кабакъ, что онъ и дѣлаетъ нерѣдко... Но не понимаемъ, съ чего взялъ авторъ, будто народъ обѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги? Бумагъ юридическихъ не любить не одинъ нашъ народъ, особенно если грамотѣ не знаетъ; но грамоты нашъ народъ не боится, напротивъ, любить ее и обѣжитъ къ ней, а не отъ нея. Пусть попроситъ авторъ своихъ друзей, чтобы они переслали ему отчетъ за 1846 годъ Министра Государственныхъ Имуществъ, напечатанный во всѣхъ официальныхъ русскихъ газетахъ: изъ него увидитъ онъ, какъ быстро распространяется въ Россіи грамотность между простымъ народомъ... А если бы захотѣлъ онъ пожить въ той Россіи, которую такъ расхваливаетъ, живя въ разныхъ нѣмецкихъ земляхъ, и поприглядѣться къ нашему простому народу, о которомъ онъ судитъ такъ рѣшительно, не зная его, — онъ убѣдился бы, что эти быстрые успѣхи въ дѣлѣ распространения грамотности въ простомъ народѣ основаны именно на глубокой потребности, какую чувствуетъ народъ въ грамотности, и на сильномъ стремленіи, какое онъ оказываетъ къ учению... Авторъ увидѣлъ бы, какъ часто бородастые русскіе мужики ничего не жалѣютъ для обученія дѣтей своихъ грамотѣ и достигаютъ иногда этой цѣли при всевозможной бѣдности въ средствахъ. Да, эта любовь къ свѣту, развившаяся въ послѣдніе времена: ученіе — свѣтъ, неученіе — тьма, составляетъ одно изъ лучшихъ и благороднѣйшихъ свойствъ русскаго народа, — и это-то свойство до сихъ поръ не признано въ немъ его близорукими вохвалителями и льстецами, которые, забывъ того, навывдумывали для него множество похвальныхъ качествъ, или не бывалыхъ въ немъ, или составляющихъ еще его темную сторону.

Замѣчательна слѣдующая черта: въ началѣ письма авторъ совѣтуетъ помѣщику показывать крестьянамъ, искренно, безъ шутокъ, что деньги ему ни по чѣмъ, т. е.

вовсе не нужны; а въ концѣ письма говоритъ: «Разбогатѣешь ты, какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ...»

Особеннымъ отбѣнкомъ отличаются письма автора къ Жуковскому. Вотъ нѣсколько образчиковъ писемъ этого рода:

„Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которой произнесенъ смертный приговоръ, т. е. о статьѣ подъ названіемъ: *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ*. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобой, о мой истинный наставникъ и учитель! Пршлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже, было, хотѣлъ послать Плетневу въ *Современникъ* мои сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще оставливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько *глупостей* успѣлъ бы я уже надѣлать, если бы только послушался другихъ моихъ пріятелей... Итакъ, вотъ тебѣ моя благодарственная пѣснь—а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда подумаю, *какъ до сихъ поръ еще я глупъ* и какъ *не умю заговорить ни о чѣмъ, что поумнѣе*. *Всего не лѣтѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ*. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщено, темно и неразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать или написать ничего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчье.“

Знаменитая статья: «Объ «Одиссеѣ», переводимой Жуковскимъ», вновь является въ этой книгѣ, въ видѣ письма къ Н. М. Я...ву. Вотъ основныя мысли этой удивительной статьи:

I. Для перевода «Одиссеи» необходимо приготовленіе цѣлой жизнью, необходимы въ жизни переводчика разныя внутреннія и внѣшнія событія, поселяющія въ душѣ миръ, гармонию и другія похвальные качества. Жуковскій вполне соответствуетъ этимъ «необходимымъ» требованіямъ.

II. Переводчикъ долженъ быть христианиномъ по преимуществу, ибо язычника Гомера можно проникать и постигать только христіанскимъ чувствомъ. И съ этой стороны Жуковскій больше нежели удовлетворителенъ. (Нужно ли знать переводчику по-гречески, и знаетъ ли Жуковскій этотъ языкъ, — объ этомъ, какъ дѣлѣ мірскомъ и, слѣдовательно, ничтожномъ, авторъ умалчиваетъ.)

III. Зато переводъ «Одиссеи» вышелъ несравненно лучше подлинника.

IV. Переводъ этотъ необходимъ для нашего времени, по причинѣ общаго охлаждения и недоразумѣнія.

V. «Одиссея» произведетъ у насъ вліяніе,

съхъ, такъ и отдѣльно на  
 у насъ читать: дворяне,  
 ды, грамотѣи и не грамотѣи,  
 дагы, лакеи, дѣти обоего пола,  
 ческій политеизмъ, сирѣчь мно-  
 гобожіе, не введетъ въ искушеніе нашихъ  
 мужичковъ: они почешутъ у себя въ за-  
 тылкѣ и сейчасъ смекнутъ, въ чемъ дѣло и  
 въ чемъ вздоръ.

VIII. «Одиссея» произведетъ благотѣль-  
 ное вліяніе на нашу литературу: писатели  
 и критики наши перестанутъ нести дичь.  
 Но главное —

IX. «Одиссея» исправитъ всю нашу цивили-  
 зацию, испорченную вліяніемъ Европы, и  
 возвратитъ насъ къ незапамятнымъ бы-  
 лымъ временамъ, помолодитъ насъ десят-  
 ками тремя вѣковъ... Вѣдь это-то и значитъ  
 идти впередъ...

„Словомъ (говорить авторъ), на страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства — „Одиссея“ подѣйствуетъ. Много напомнимъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратитъ себѣ человечество, какъ свое законное наслѣдство. Многіе надъ многими призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патриархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природѣ, разнесетъ невидимо по лицу Русской земли. *Благоухающими* устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакой властью.“

Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому авторъ говоритъ:

„Твоя „Одиссея“ принесетъ много общаго добра: это тебя предрекаетъ. Она возвратитъ къ свѣжести современнаго человѣка, усталаго отъ безпорядка жизни мыслей; она обновиетъ въ глазахъ его много того, чтѣ брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ.“

Подобный великій благотѣльный пере-  
 воротъ, произведенный литературнымъ тру-  
 домъ, тѣмъ необходимѣе, что, по словамъ  
 автора, «все теперь расплылось и расшнуро-  
 валось; дрянъ и тряпка сталъ всякъ  
 человѣкъ; обратилъ самъ себя въ подлое  
 подножье всего (?) и въ раба самыхъ пу-  
 стѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ  
 теперь нигдѣ свободы въ ея истинномъ  
 смыслѣ.»

Все это прекрасно. Но вотъ два смирен-  
 ныхъ вопроса съ нашей стороны. Какъ бу-  
 детъ простой народъ читать «Одиссею»? По-  
 ложимъ, «Одиссея» не принадлежитъ къ  
 числу книжонокъ, издаваемыхъ для народа  
 европейскими человѣколюбцами; но какъ  
 будетъ читать ее нашъ народъ, которому  
 авторъ такъ положительно и строго запре-  
 щаетъ знать грамотѣ?.. Или учиться гра-  
 мотѣ, чтобъ умѣть читать, нужно только

«глухимъ» нѣмцамъ, а словенину стоить  
 только почесать у себя въ затылкѣ, чтобы  
 прочесть всякую книгу, не умѣя читать?..  
 Потому, чтѣ, если, сверхъ чаянія, мистиче-  
 скія предреченія Гоголя о вліяніи «Одиссеи»  
 на судьбу русскаго народа вовсе не сбуди-  
 дутся, и переводъ этотъ, подобно переводу  
 Гнѣдича «Иліады», будетъ существовать  
 только слишкомъ для немногихъ?.. Вѣдь  
 тогда кто жъ не скажетъ:

Надѣлала синица славы.  
 А море не загляла!..

Но самую любопытнѣйшую часть этой  
 книги составляютъ четыре письма къ раз-  
 нымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ Душъ».  
 Эти четыре письма обрадовали, привели въ  
 восторгъ, сдѣлали истинно счастливыми нѣ-  
 которыхъ литераторовъ, особенно занятыхъ  
 литературной славой Гоголя. Это не тайна,  
 ибо они успѣшили печатно выразить свое  
 торжество, забывъ мудрую русскую посло-  
 вницу: успѣшишь — людей насмѣшишь, и не  
 менѣе мудрую французскую пословицу: *bien  
 rire qui rira le dernier...* Изъ слѣдующихъ  
 выписокъ легко будетъ всякому увидѣть,  
 именно въ этихъ фразахъ такъ восхитило  
 враговъ таланта Гоголя.

Вы напрасно негодуете на неумѣренный тонъ  
 нѣкоторыхъ нападеній на „Мертвыя Души“.  
 Это имѣетъ свою хорошую сторону. Иногда  
 нужно имѣть противъ себя озлобленныхъ. Кто  
 увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостат-  
 ковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ  
 постарается выкопать въ насъ всю дрянъ и вы-  
 ставитъ ее такъ ярко наружу, что поневолѣ ее  
 увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слы-  
 шать, что уже за одну крупину ея можно про-  
 стить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ-  
 бы она ни произносилась. Въ критикахъ Бул-  
 гарина, Сенковского и Полевого есть много  
 справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ  
 совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а  
 потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, если бы  
 я не торопился печатаніемъ рукописи и подер-  
 жалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ  
 и самъ, что въ такомъ неопратномъ видѣ ей  
 никакъ нельзя было являться въ свѣтъ. Самые  
 эпиграммы и насмѣшки надо мной были мнѣ  
 нужны, несмотря на то, что съ перваго разу  
 пришли очень не по-сердцу. О! какъ намъ  
 нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскор-  
 бительный тонъ, и эти вѣдья, пронимающія на-  
 сквозъ насмѣшки! На днѣ души нашей столько  
 таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія,  
 щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ  
 ежеминутно слѣдуетъ колоты, поражать, бить  
 всѣми возможными орудіями, и мы должны  
 благодарить ежеминутно насъ поражающую  
 руку.

„Я бы желалъ однако жъ побольше критикъ,  
 не со стороны литераторовъ, но со стороны  
 людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со сто-  
 роны практическихъ людей, какъ на блду,  
 кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А  
 между тѣмъ „Мертвыя Души“ произвели много-  
 шума, много ропота; задѣли за живое многихъ  
 и насмѣшкой, и правдой, и карикатурой; кос-  
 нулись порядка вещей, который у всѣхъ еже-

дневно передъ глазами—хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ, мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, авось кто-нибудь выберитъ меня хорошенько и въ брани выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мной изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякихъ словъ, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мной описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается дѣло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и жуець, и помѣщикъ, словомъ, — всякій грамотѣй, сидитъ ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскаетъ вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человѣкъ съ того мѣста или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе или образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой кромѣ его никто другой не можетъ видѣть. По поводу „Мертвыхъ Душъ“ могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнѣйшая „Мертвыхъ Душъ“, которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что—нечего таить грѣха—всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

„И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то „мертвыя души“. И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непременно силой Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея,—безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидѣчую, затворническую жизнь, и при томъ еще большую, и при томъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ эти литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели сами отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнилъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла; но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе. И говорю это не даромъ. Видитъ Богъ, говорю не даромъ!

„Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ поэмѣ будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими передъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкѣ сочиненія, что ввели въ заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни заикнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по-дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-какъ, бѣлыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. слѣдовало по-

казать, какія части чудовищно-длины въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ,—можно было много сдѣлать нападеній несравненно дѣльнѣйшихъ, выбрать меня гораздо больше, нежели теперь бранятъ, и выбрать за дѣло.

„Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задавать другіе. Половина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ! Одинъ только запросъ умень и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, сумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно. Именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности „Мертвыхъ Душъ“, будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему близки душѣ, точно какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

„Это свойство выступило съ большою силой въ „Мертвыхъ Душахъ“. „Мертвыя Души“ не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь раны общества или внутренняго болѣзненія, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей виновности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирится бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои, одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простали, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ, но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ

его пороки и недостатки. Явление замѣчательное! **Исугъ** прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итакъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство, но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ если бы съ нимъ не соединились мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

„Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній; вы ошибаетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали, было, отъ меня требовать, чтобы я отвѣчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое—*душа и прочное дѣло жизни*. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть прочтенъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ незачѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу когда нужно жечь, и, вѣрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему.“

Вотъ почти все главное, изъ котораго мы однако же вкратцѣ извлечемъ самое существенное:

I. Гоголь самъ сознается, что онъ недоволенъ всѣмъ, что было имъ написано до сихъ поръ, а потому сжегъ рукопись второй части «Мертвыхъ Душъ» и другихъ своихъ сочиненій. Ergo: враги таланта Гоголя правы въ томъ, что столько лѣтъ выставляли его писателемъ безъ дарованія, безъ вкуса, мастеромъ на однѣхъ салыняхъ и грязныхъ картинахъ въ родѣ Поль де-Кока.

II. Гоголь самъ соглашается, что особенность его таланта состоитъ въ умѣннн «очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ.» Ergo: это явно талантъ мелкій и ничтожный...

III. Гоголь объявляетъ торжественно, что согласенъ съ тѣми, которые брали его сочиненія, и не согласенъ съ тѣми, которые хвалили ихъ. Ergo: хвалители Гоголя суть литературная партія, уцѣпившаяся за него для униженія истинныхъ, но ненавидимыхъ ей талантовъ.

IV. Гоголь самъ говоритъ, что «рожденъ онъ вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной, а за тѣмъ, чтобы спасти свою душу.» Ergo: гнали тѣ, которые провозгласили его главой новой литературной школы.

V. Гоголь признается самъ, что «въ критикахъ Булгарина, Сенковского и Полевого

есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго ему совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать», и что «если бы онъ не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, то увидѣлъ бы потомъ и самъ, что въ такомъ неопытномъ видѣ ей никакъ нельзя было являться въ свѣтъ» и пр. Ergo: кромѣ «Вечеровъ на Хуторѣ» все, написанное Гоголемъ, есть чистый вздоръ и не заслуживаетъ никакого вниманія...

Подобные выводы могутъ показаться правильными и дѣльными только тѣмъ, которымъ они полезны. Сильно ошибаются тѣ, которые думаютъ, что публику нашего времени во всемъ можно увѣрить журнальной статьей, что она вѣритъ только печатному, а сама ничего не видитъ, ничего не понимаетъ. Такимъ образомъ хотятъ увѣрить, что слава Гоголя основана на крикливыхъ возгласахъ какой-то литературной партіи, которой нужно было поднять его изъ своихъ собственныхъ расчетовъ. А добрая русская публика и повѣрила этой партіи, и начала раскупать сочиненія Гоголя и наполнять театры, когда въ нихъ давался «Ревизоръ»... Мало этого, помянутая литературная партія успѣла убѣдить въ гениальности Гоголя даже французскую, а за ней и всю европейскую публику... И все это обманъ, пуфъ, подлогъ,—потому что самъ Гоголь отрицается отъ своихъ сочиненій и своей славы... Только-то?.. А намъ какое до этого дѣло?—Когда нѣкоторые хвалили сочиненія Гоголя, они не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, а судили о нихъ сообразно съ тѣми впечатлѣніями, которыя они производили... Такъ точно и теперь мы не пойдемъ къ нему спрашивать его, какъ теперь прикажетъ онъ намъ думать о его прежнихъ сочиненіяхъ и о его «Выбранныхъ мѣстахъ изъ Переписки съ Друзьями»... Какая намъ нужда, что онъ не признаетъ достоинства своихъ сочиненій, если ихъ признало общество? Это факты, которыхъ дѣйствительности не въ состоянн же опровергнуть онъ самъ... Нѣтъ, господа противники таланта Гоголя, раненко вы вздумали торжествовать побѣду, которой не одержали и которой не одержать вамъ! Именно теперь-то еще болѣе, чѣмъ прежде, будутъ расходиться и читаться прежнія сочиненія Гоголя, теперь-то еще выше, чѣмъ прежде, будетъ цѣниться онъ, потому что теперь онъ самъ существуетъ для публики больше въ прошедшемъ...

Но оставимъ и худителей въ сторонѣ, обратимся опять къ нашему автору. Конечно, въ его смиренномудромъ признаннн собственныхъ ошибокъ и правды въ на-



паднахъ враговъ много высокаго, дѣлающаго ему особенную честь; но, смотря на дѣло проще, т. е. не со стороны самолюбія, а со стороны самого дѣла, можно замѣтить, что авторъ гораздо бы лучше поступилъ, если бы, вмѣсто всякихъ признаній, воспользовался дѣльными замѣчаніями и второе изданіе «Мертвыхъ Душъ» выпустилъ бы въ опрятномъ видѣ... То же отчасти можно сказать и о «Выбранныхъ», но отнюдь не избранныхъ мѣстахъ изъ Переписки съ друзьями»: они могли явиться въ печати и грамотнѣе, и приличнѣе, и опрятнѣе вообще, такъ сказать... Но, видно, на словахъ блистать смиреніемъ легче, нежели трудиться на дѣлѣ...

Не можемъ не выставить на видъ еще одной черты. Вотъ что говоритъ авторъ въ одномъ мѣстѣ своей книги: «Вотъ уже почти полтора ста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилицемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла,—и до сихъ поръ остаются такъ же пустыни, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же неприютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родной нашей крышей, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышитъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ приемомъ братьевъ, но какой-то холодной, занесенной вьюгой, почтовой станціей, гдѣ видится одинъ во всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «нѣтъ лошадей». Въ этомъ винить авторъ насъ же и, разумѣется, винить основательно. Но вотъ что онъ же говоритъ въ другомъ мѣстѣ своей книги: «И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умнѣе бывають у насъ и не великіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи дѣлъ—и всѣ какъ пыль сметають они съ земли вмѣстѣ съ нами.» Потомъ читаемъ мы вотъ что: «Если бы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія

эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ,—то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа.» Какъ вамъ кажутся, читатель, эти три выписки изъ различныхъ мѣстъ одной и той же книги?..

Вотъ еще оригинальный образчикъ логики автора: онъ говоритъ, что никто не можетъ признать русскихъ людей ни въ Простаковой, ни въ Тарасѣ Скотининѣ, ни въ Простаковѣ, ни въ Митрофанѣ Фонвизина,—и въ то же время всякій чувствуетъ, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи, не могли образоваться такіа существа. Вотъ тутъ и понимай, какъ знаешь!..

Теперь вопросъ: зачѣмъ написана вся эта книга?

Это такъ же трудно рѣшить, какъ и то, зачѣмъ написаны авторомъ эти строки: «О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!»

Какое слѣдствіе можно извлечь изъ этой книги?

Разумѣется, въ этомъ случаѣ всякій поступитъ по-своему, и слѣдствій будетъ выведено почти столько же, сколько людей возьмется за это дѣло. Что касается до насъ, мы вывели изъ этой книги такое слѣдствіе, что горе человѣку, котораго сама природа создала художникомъ, горе ему, если, недовольный своей дорогой, онъ ринется въ чуждый ему путь! На этомъ новомъ пути ожидаетъ его неминуемое паденіе, послѣ котораго не всегда бываетъ возможно возвращеніе на прежнюю дорогу... При этомъ мы почему-то вспомнили эти стихи Крылова:

Вѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,  
А сапоги тачать пирожникъ!  
И дѣло не пойдетъ на ладъ,  
Да и примѣчено стократъ,  
Что кто за ремесло чужое браться любитъ,  
Тотъ за всегда другихъ упрямѣй и вадорнѣй:  
Онъ лучше дѣло все погубитъ,  
И радъ скорѣй  
Посмѣшищемъ стать свѣта,  
Чѣмъ у честныхъ и знающихъ людей  
Спросить иль выслушать разумнаго совѣта.

Приходили намъ въ голову и другіе выводы изъ книги «Выбранныхъ мѣстъ изъ Переписки съ друзьями»; но... статья наша и такъ вышла черзчуръ длинна.

## ОТВѢТЪ „МОСКВИТЯНИНУ.“

Появленіе «Современника» въ преобразованномъ видѣ, подъ новой редакціей, возбудило, какъ и слѣдовало ожидать, много толковъ и шуму въ разныхъ литературныхъ кругахъ и кружкахъ, великолѣпно величающихъ себя «партіями». Особенное вниманіе обращено было ими на многія статьи по отдѣлу словесности, какъ, напримеръ: «Кто виновать?», «Обыкновенная Исторія», «Записки Охотника». Но до сихъ поръ эти сужденія о «Современникѣ» ограничивались короткими и отрывочными отзывами, иногда похвальными, чаще порицательными, мелкими нападками вразсыпную. А вотъ теперь, во второй части «Москвитянина», вышедшей въ сентябрѣ нынѣшняго года, является большая статья, подъ названіемъ: «О мнѣніяхъ Современника» историческихъ и литературныхъ.

Если бы тутъ дѣло шло только о «Современникѣ», мы не видѣли бы никакой необходимости отвѣчать на эту статью. Однимъ журналъ нашъ можетъ нравиться, другимъ не нравиться,—это дѣло личнаго вкуса, въ которое намъ всего менѣе слѣдуетъ вмѣшиваться. Но статья «Москвитянина» о «Современникѣ» касается основныхъ началъ (принциповъ) не одного «Современника», но всей русской литературы настоящаго времени. Такимъ образомъ споръ или полемика теряетъ тутъ свое личное значеніе и переходитъ въ борьбу за идеи. Въ такомъ случаѣ молчаніе съ нашей стороны не безъ основанія могло бы быть принято всеміи за тайное и невольное согласіе съ нашими противниками. Вотъ почему мы считаемъ себя обязанными возразить на статью «Москвитянина».

Въ ней разсмотрѣны три статьи, помѣщенные въ первой книжкѣ «Современника» за нынѣшній годъ: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» Кавелина, «О современномъ направленіи русской литературы» Никитенко и «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» Бѣлинскаго. Статью Кавелина критикъ «Москвитянина» силится уничтожить, выказывая ея, будто бы, противорѣчія и опровергая ея основныя положенія своими собственными; но самого Кавелина онъ оставляетъ безъ всякой опѣнки или критики. Приступая же къ разбору статей Никитенко и Бѣлинскаго, онъ счелъ за нужное представить въ легкихъ, но рѣзкихъ очеркахъ литературную характеристику ихъ авторовъ. И досаждаетъ же имъ отъ него! Впрочемъ, строго суди Никитенко, критикъ «Москвитя-

нина» еще помнить русскую пословицу: гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость; но къ Бѣлинскому онъ безпощадно строгъ; онъ вышелъ противъ него съ рѣшительнымъ намѣреніемъ уничтожить его до тла, съ знаменемъ, на которомъ огненными буквами написано *pas de grâce!* Въ своемъ мѣстѣ мы остановимся на этомъ посполитомъ рушеніи чужой литературной извѣстности и обнаружимъ ея тайныя причины и побужденія; а теперь начнемъ разборъ статьи нашего грознаго аристарха съ самаго начала. Грозенъ онъ—нечего сказать; но страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, а мы не изъ робкаго десятка... Критика была бы, конечно, ужаснымъ оружіемъ для всякаго, если бы къ счастью она сама не подлежала—критикѣ же...

Такъ какъ Кавелинъ, статья котораго отдѣльно и съ особенной подробностью разбрана критикомъ «Москвитянина», рѣшился самъ отвѣчать ему, то отвѣтъ «Современника» «Москвитянину» будетъ состоять изъ двухъ статей. Что же касается до Никитенко, онъ и на этотъ разъ остается вѣрнымъ своему «независимому положенію въ нашей литературѣ», какъ выразился о немъ критикъ «Москвитянина», и предоставляетъ намъ отвѣтить за него въ той мѣрѣ, въ какой нужно это для защиты «Современника».

Въ началѣ статьи «Москвитянина», въ видѣ интродукціи, говорится довольно темно, какими-то намеками, о какомъ-то «литературномъ спорѣ между Москвой и Петербургомъ» и о необходимости этого спора;—о томъ, что «петербургскіе журналы встрѣтили московское направленіе съ насмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ, придумали для послѣдователей его (т. е. московскаго направленія) названіе старовѣровъ и славянофиловъ, показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурломками», и что, «принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно переимѣнить его и сознаться въ легкомысліи». Въ доказательство указывается на «Отечественныя Записки», которыя въ особенности погрѣшили тѣмъ, что «такъ-называемымъ славянофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали». Въ свидѣтели всего этого призываются «московскіе ученые, не раздѣляющіе образа мыслей московскаго направленія». Потомъ отдается должная справедливость «Отечественнымъ Запискамъ» въ томъ, что «къ концу прошлаго года и въ нынѣшнемъ онѣ значительно переимѣнили тонъ и стали добросовѣстнѣе всматриваться

въ тотъ образъ мыслей, котораго прежде не удостоивали серьезнаго взгляда.» Вслѣдъ за- тѣмъ читаемъ слѣдующія строки, которыя выписываемъ вполнѣ:

„Въ это самое время отъ нихъ („Отечествен- ныхъ Записокъ“) отошли нѣкоторые изъ по- стоянныхъ ихъ сотрудниковъ и основали новый журналъ. Отъ нихъ, разумѣется, нельзя было ожидать направленія по существу своему новаго; но можно и должно было ожидать луч- шаго, достойнѣйшаго выраженія того же на- правленія; всего отраднѣе было то, что редакцію принялъ на себя человекъ, умѣвшій сохранить независимое положеніе въ нашей литературѣ и не написавшій ни одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; на- конецъ, въ новомъ журналѣ должны были участвовать лица, издавна живущія въ Москвѣ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной партіи и съ ея послѣдователями, прошедшія съ нами нѣсколько лѣтъ въ постоян- ныхъ сношеніяхъ, и узнавшія ихъ безъ по- средства журнальныхъ статей и сплетенъ, развозимыхъ заѣзжими посѣтителями.“

Но—увы!—ожиданія «Москвитянина» или его критика, М... З... К..., не сбылись!

„Скажемъ откровенно (говоритъ онъ): первый номеръ „Современника“ не оправдалъ нашего ожиданія. Можетъ быть, мы и ошибаемся; но, по нашему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: во-первыхъ, въ отсутствіи единства направленія и согласія съ самимъ собой; во-вторыхъ, въ односторонности и тѣсотѣ своего образа мыслей; въ-третьихъ, въ искаженіи образа мыслей противниковъ.“

Остановимся на этомъ. Увертюра разы- грана мастерски и вполнѣ подготовила къ впечатлѣнію самой оперы; остается только слушать, восхищаться и аплодировать. Яв- но, что изъ трехъ важныхъ обвиненій, взводи- мыхъ критикомъ «Москвитянина» на «Со- временникъ», въ его глазахъ истинно важно только то, которое онъ не безъ умысла по- ставилъ послѣднимъ, какъ менѣе другихъ важное. Съ первыхъ же строкъ статьи видно, что тутъ дѣло собственно не о «Со- временникѣ».

Но умыселъ другой тутъ былъ:  
Хозяинъ музыку любилъ.

Что такое «московское направленіе», за- гадочной рѣчью о которомъ начинается статья? Разумѣется, такъ-называемое славянофил- ство. Очевидно, что авторъ статьи — славяно- филъ. Но онъ не хочетъ этого названія; онъ говоритъ, что его партію окрестили имъ петербургскіе журналы. Изъ этого видно, что онъ самъ чувствуетъ все смѣшное, заключаю- щееся въ этомъ словѣ, но онъ не чувству- етъ, что слово можетъ быть смѣшно не само собою, а заключеннымъ въ немъ понятіемъ, и что перемѣнить названіе вещи не значить измѣнить самую вещь. Петербургскіе журналы не сговаривались давать названіе славяно-

филовъ литераторамъ извѣстнаго образа мы- сли; вѣроятно, они или подслушали его у самихъ этихъ литераторовъ, или извлекли изъ сущности ихъ ученія, альфа и омега котораго суть славяне, враждебно и тор- жественно противоположаемые гниющему За- паду. На свѣгѣ много охотниковъ называть своихъ противниковъ смѣшными или не смѣшными именами. Это же и не мудрено; но мудрено дать кому-либо такое названіе, ко- торое бы принято было всеми! Такія удач- ныя названія рѣдко выдумываются кѣмъ- нибудь, но принадлежатъ всеѣмъ и никому въ особенности. Таково и названіе славяно- филловъ. Но пусть славянофилы не будутъ больше славянофилами; намъ это все равно: мы не видимъ важнаго вопроса не только въ названіи славянофилловъ, но даже и въ сущности ихъ ученія. Итакъ, пусть они изъ славянофилловъ переименуются во что имъ угодно, но только не въ «московское направ- леніе»: этого не можетъ допустить здравый смыслъ. Во-первыхъ, выраженіе «московское направленіе» неловко и неудобно для обозна- ченія литературной партіи: какъ называть людей «направленіемъ»? А во-вторыхъ—и это главное—почему славянофильство имен- но московское направленіе? Мы понима- емъ, что господамъ славянофиламъ, живу- щимъ въ Москвѣ, очень лестно прикрыться именемъ такого важнаго въ Россіи города, какъ Москва, и завербовать въ свои ряды всѣхъ москвичей поголовно; но лестно ли это будетъ для Москвы и москвичей—вотъ вопросъ! И что на это скажутъ съ, одной стороны, тѣ московскіе ученые, которые, по словамъ самого критика «Москвитянина», не раздѣляютъ образа мыслей «московскаго на- правленія», но хорошо съ нимъ знакомы; а съ другой стороны, лица, которыя раздѣляютъ этотъ образъ мыслей, но живутъ и пишутъ въ Петербургѣ?... Намъ кажется, что славяно- фильству чуть ли не болѣе слѣдуетъ назва- ніе петербургскаго направленія, чѣмъ московскаго. По крайней мѣрѣ, сколько мы знаемъ славянофильство, оно всеѣмъ не такъ ново на Руси, какъ, можетъ быть, ду- маютъ сами послѣдователи этого ученія. Кому не извѣстно, что успѣхи Карамзина въ пре- образованіи русскаго литературнаго языка вызвали въ началѣ нынѣшняго столѣтія партію, которая, вооружаясь противъ его но- вовведеній, думала отстаивать отъ иноземнаго вліянія родной языкъ и добрые протчскіе нравы! Какъ вы думаете, не сродни ли эта партія нынѣшнимъ славянофиламъ? Вотъ нѣсколько стиховъ на выдержку изъ посланія Василія Пушкина къ Жуковскому,— пьесы, по которой можно до извѣстной сте- пени судить о живости и характерѣ борьбы двухъ партій нашей литературы того времени:

**Въ чемъ** утѣряютъ насъ Паскаль и Боссюэтъ,  
**Въ Синописисъ** того, въ Степенной Книгѣ  
нѣтъ.

Отечество люблю, языкъ я русский знаю;  
Но Тредьяковскаго съ Расиномъ не равняю,—  
И Пиндаръ нашихъ странъ тѣмъ слогомъ не

Какимъ Баянъ въ свой вѣкъ героевъ воспѣ-  
валъ.

Я правъ, и ты со мной, конечно, въ томъ со-  
гласенъ;  
Но правду говорить безумцамъ—трудъ напра-  
сенъ.

Я вижу весь соборъ безграмотныхъ славянъ,  
Которыми здѣсь вкусъ къ изящному поправяъ,  
Противъ меня теперь рыкающій ужасно.  
Къ дружинѣ воцѣтъ нашъ Валдусъ веде-  
гласно:

О брати мои, зову на помощь васъ!  
Ударимъ на него—и первый буду азъ.  
Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,  
Во тьму кромѣшную, въ гienну погрузится;  
И аще смѣетъ кто Карамзина хвалить,  
Нашъ долгъ, о людѣ, злодѣя истребить.\*

И такъ, любезный другъ, я смѣло въ бой  
вступаю;

Въ словесности расколъ, какъ должно осу-  
ждаю.

Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной,  
И намъ отъ книгъ его нѣтъ пользы никакой.  
Въ страницѣ каждой онъ слогъ древній вы-  
хваляетъ

И русскимъ всемъ словамъ прямой источ-  
никъ знаетъ;

Что нужды? Толстый томъ, гдѣ зависть лишь  
видна,

Не есть лагарповъ курсъ, а пагуба одна.

Въ славянскомъ языкѣ и самъ я ползу  
вижу,

Но вкусъ я варварскій гоню и ненавижу.

Въ душѣ своей кошу къ изящному любовь;

Творенье безъ идей мою волнуетъ кровь.

Словъ много затвердить не есть еще ученье:

*Намъ нужны не слова, намъ нужно просвѣ-  
щенье.*

Видите ли: и здѣсь уже люди, объявив-  
шіе себя противъ европейскаго образованія,  
названы с л а в я н а м и; а далеко ли отъ сла-  
вянъ до славянофиловъ? Правда, съ обѣихъ  
сторонъ здѣсь споръ чисто литературный, по-  
тому что другого тогда и не могло быть; и,  
разумѣется, славянофильская партія нашего  
времени двинулась дальше своей прароди-  
тельницы. А гдѣ было гнѣздо этой старой  
славянской партіи?—въ Петербургѣ. Посла-  
ніе, изъ котораго мы выписали нѣсколько  
стиховъ, написано было въ Москвѣ—цен-  
тръ литературной реформы того времени.  
Въ послѣднее время славянофильство, какъ  
новое направление, рѣзко и рѣшительно  
провозгласило себя въ московскомъ журна-  
лѣ «Москвитининъ»; но и тутъ оно упре-  
ждено было въ Петербургѣ: издание «Мая-  
ка» началось годомъ раньше «Москвитянина».  
Многіе славянофилы не любятъ вспоминать  
о «Маякѣ», какъ будто чуждаются его,  
никогда не высказываютъ своего мнѣнія  
ни за, ни противъ него; подумаетъ, что они

и не знаютъ ничего о существованіи подоб-  
наго журнала. А это оттого, что «Маякъ»  
былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣ-  
довательнымъ органомъ славянофильства.  
Вѣрный своему принципу, исходному пунк-  
ту своего ученія, онъ никогда не противорѣ-  
чилъ ему и логически дошелъ до край-  
нихъ, до послѣднихъ своихъ результатовъ.  
Онъ не признавалъ ни тѣни истины во всемъ,  
что хотъ сколько-нибудь противорѣчило его  
основному убѣжденію; и если знаменитѣй-  
шихъ представителей русской литературы,  
отъ Ломоносова и Державина до Пушкина,  
онъ объявилъ зараженными западной ересью,  
вредными и опасными для нравственной  
чистоты русскаго общества,—онъ сдѣлалъ  
это не по чему другому, какъ по строгой  
послѣдовательности, строгой вѣрности на-  
чалу своего ученія. Въ немъ все было еди-  
но и цѣло, все сообразно съ его направле-  
ніемъ и цѣлью: и языкъ, и манера выра-  
жаться, и литературное, и художественное  
достоинство его стиховъ и прозы. Онъ  
больше славянофилъ, чѣмъ «Москвитянинъ»,  
и потому имѣлъ полное право смотрѣть на  
него, какъ на противорѣчивый, непослѣдо-  
вательный органъ того ученія, которое во  
всей чистотѣ своей явилось только въ немъ,  
пресловутымъ «Маякѣ». Но этимъ самымъ,  
разумѣется, онъ оказалъ очень дурную  
услугу славянофильству, потому что вы-  
ставилъ его на позорище свѣта въ его  
истинномъ, настоящемъ видѣ; а извѣстно,  
что есть предметы, которые стоитъ только  
высказать въ ихъ дѣйствительномъ значеніи  
и образѣ, чтобы уронить ихъ, хотя это дѣ-  
лается иногда и съ цѣлью, напротивъ, под-  
нять и повысить ихъ въ глазахъ общества..

Какъ бы то ни было, но изъ всего сказан-  
наго нами неоспоримо слѣдуетъ, что на-  
зывать славянофильство «московскимъ на-  
правленіемъ» отнюдь не слѣдуетъ, потому  
что Петербургу славянофильство принад-  
лежитъ не только не меньше, но чуть ли  
еще не больше, чѣмъ Москвѣ. Отграничивши  
отъ Москвы такъ невпопадъ навязывае-  
мое ей московскими славянофилами исклю-  
чительное право на славянофильство, мы  
дѣйствуемъ въ ея пользу, а не противъ нея.  
Но точно такъ же мы не согласились бы на-  
зывать славянофильство и «петербургскимъ  
направленіемъ». Только тогда можно озна-  
чить какое-нибудь направленіе именемъ го-  
рода, когда оно дѣйствительно есть главное,  
исключительное направленіе этого города, а  
все другія, существующія въ немъ направле-  
нія, являются на второмъ и третьемъ пла-  
нѣ, слабы, незначительны, ничтожны. Но  
по поводу славянофильства этого нельзя  
сказать ни о Петербургѣ, ни о Москвѣ. Въ  
томъ или другомъ городѣ жили и дѣйствовали

знаменитѣйшіе представители нашей литературы, имѣвшіе рѣшительное и важное вліяніе и на литературу, и на образование общества, и они-то между тѣмъ нѣсколько не принадлежатъ къ славянофиламъ. Мы знаемъ, что гг. московскіе славянофилы могутъ указать намъ съ торжествомъ по крайней мѣрѣ на два знаменитыя въ литературѣ имени, какъ такія, которыя, если бы и не принадлежали имъ вполне, то болѣе или менѣе симпатизируютъ съ ними—особенно на имя Гоголя, послѣ изданія его «Переписки съ Друзьями». Но это ровно ничего не доказывало бы въ ихъ пользу, потому что великое значеніе Гоголя въ русской литературѣ основывается вовсе не на этой «Перепискѣ», а на его прежнихъ твореніяхъ, положительно и рѣзко антиславянофильскихъ. И потому гг. московскіе славянофилы были бы вполне вѣрны своей точкѣ зрѣнія, если бы восхищались только «Перепиской», а на всѣ другія произведенія Гоголя смотрѣли бы косо. Но они и ихъ приняли подъ свое высокое покровительство, вѣроятно, ради будущихъ, новыхъ его произведеній, которыхъ характеръ заранѣе опредѣляется въ ихъ глазахъ «Перепиской». «Маякъ» никогда не обнаружилъ бы такой непоследовательности: если бы онъ здравствовалъ доселѣ, вѣроятно, онъ расхвалилъ бы «Переписку» и простилъ бы за нее Гоголю его прежнія произведенія, но только простилъ бы, не отрицая настоящей необходимости для нихъ очистительнаго ауто-да-фе.

Что касается до массы русскихъ литераторовъ, прежнихъ и теперешнихъ, старыхъ и молодыхъ, они избираютъ мѣстомъ своего жительства Петербургъ или Москву по разнымъ обстоятельствамъ ихъ жизни, не всегда зависящимъ отъ ихъ воли, и ужь, конечно, всего менѣе по уваженію къ тому образу мыслей, который раздѣляютъ. И потому отвести для славянофиловъ городъ Москву, а для литераторовъ противоположнаго направленія—городъ Петербургъ можетъ войти въ голову только квартирмейстерамъ особаго, исключительнаго рода. Какъ въ Петербургѣ много славянофиловъ, такъ точно въ Москвѣ много не-славянофиловъ, и наоборотъ. Критикъ «Москвитянина» указываетъ на Петербургъ, какъ на мѣстопробываніе противоположной «московскому направленію» партіи, и самъ же говоритъ, что въ Москвѣ есть ученые, не раздѣляющіе этого направленія, и отзывается о нихъ съ уваженіемъ. Странное дѣло: почему же направленіе славянофиловъ, живущихъ въ Москвѣ, «московское», а направленіе этихъ ученыхъ, тоже живущихъ въ Москвѣ, да еще издавна, по сло-

вамъ критика «Москвитянина», не-московское?... Въ этомъ видно притязаніе на первенство значенія, высокое уваженіе къ своему славянофильскому значенію, въ ущербъ всякому другому значенію. Мы такъ думаемъ, что право на первенство въ этомъ случаѣ можетъ дать только преимущество таланта, а не отношеніе къ той или другой партіи... Что же ввело въ заблужденіе критика «Москвитянина» и заставило его выдумать «московское направленіе»? Неужели то обстоятельство, совершенно внѣшнее и случайное, что въ Петербургѣ мало журналовъ, но все же есть ихъ нѣсколько, и нѣкоторые изъ нихъ направленія славянофильскаго, другіе—не имѣютъ ничего общаго съ славянофильствомъ; а въ Москвѣ всего-на-все одинъ журналъ, и онъ славянофильскій? И что поэтому московскіе ученые и литераторы, не принадлежащіе къ славянофильской партіи, помѣщаютъ свои труды въ петербургскихъ журналахъ? Нѣтъ, это не то! Тутъ скрываются болѣе важныя причины. Господамъ славянофиламъ нужно, необходимо, волей или неволей, навязать Москвѣ славянофильство. По ихъ мнѣнію, это ученіе одно истинно-русское, національное, а Москва—представительница и хранительница русской народности. Итакъ, очевидно—что-нибудь одно изъ двухъ: или славянофильство—направленіе ложное, или оно московское... Москва, вишь, виновата! И потому, говоря такъ много о выраженіи «московское направленіе», мы не привязались къ мелочи, а обратили особенное вниманіе на одинъ изъ важнѣйшихъ спорныхъ пунктовъ славянофильства... Читатели уже видятъ, какъ крѣпокъ и проченъ этотъ спорный пунктъ; но мы покажемъ это еще больше, обратившись къ другимъ такимъ же точкамъ опоры направленія, претендующаго на званіе «московскаго»...

Такимъ же точно образомъ, какъ не признаемъ мы этого названія, не признаемъ мы существованія спора между Москвой и Петербургомъ. Правда, бывали прежде и бываютъ теперь споры между московскими и петербургскими литераторами, но такъ же точно, какъ и споры московскихъ съ московскими же и петербургскихъ съ петербургскими же литераторами; но ни Москва съ Петербургомъ, ни Петербургъ съ Москвой никогда и не думали спорить. Да изъ чего же бы имъ и спорить? Было время, когда Москва спорила съ Тверью и Рязанью, но на то были свои историческія причины, которыхъ теперь не существуетъ, и время это давно прошло. Петербургъ и Москва—оба принадлежатъ Россіи и равно дороги, важны и необходимы какъ ей, такъ

и другъ другу. Петербургъ можетъ похваляться передъ Москвою такими хорошими сторонами, какихъ въ ней нѣтъ, и отсутствіемъ такихъ недостатковъ, которые въ ней есть; Москва въ свою очередь можетъ на достаточномъ основаніи сдѣлать то же самое въ отношеніи къ Петербургу. Но именно то, что, кромѣ общихъ имъ выгодныхъ сторонъ, каждый изъ нихъ имѣетъ еще свои собственные,—это-то самое и дѣлаетъ ихъ и необходимыми и полезными другъ другу, и должно соединять ихъ, вмѣсто того, чтобъ раздѣлять. Подобное отношеніе должно быть источникомъ не споровъ, а взаимнаго другъ на друга полезнаго вліянія. Петербургъ—резиденція правительства и въ административномъ смыслѣ центральный городъ Россіи, хотя и стоитъ на одной изъ ея оконечностей; Петербургъ—окно въ Европу, посредникъ между Европой и Россіей. Такой роли не могъ бы играть городъ съ иностраннымъ народонаселеніемъ, какъ, напр., Ревель или Рига, хотя бы это былъ и столько же огромный, какъ Петербургъ, городъ. Москва—центральный городъ Россіи по географическому положенію. Вся сѣверо-восточная, восточная и южная Россія и съ самимъ Петербургомъ сносятся черезъ Москву. Сверхъ того, Москва—городъ по преимуществу промышленный, торговый и, по своему университету, городъ науки. При этомъ не должно упускать изъ виду, что Москва есть городъ древній, историческій, городъ преданія, представительница народнаго духа. Петербургъ, напротивъ, городъ новый, построенный на завоеванной землѣ, торговая колонія, разросшаяся въ столицу; его почва чужда преданій; онъ кипитъ народонаселеніемъ преимущественно наноснымъ, приплывающимъ къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, болѣею частью чисто русскимъ, меньшей частью обрусѣлымъ иностраннымъ. Это послѣднее никогда не можетъ дать ему иностраннаго характера, уже по одному тому, что оно состоитъ изъ людей разныхъ націй и вѣроисповѣданій, и потому не представляетъ собою сплошной массы, которая бы могла контро-балансировать съ массой русскаго народонаселенія Петербурга. Находясь подъ вліяніемъ русскихъ законовъ и тѣмъ болѣе чувствуя нравственный перевѣсъ надъ собою массы русскаго народонаселенія, эти иностранцы скоро дѣлаются почти русскими, дѣти же ихъ—совершенно русскіе; а между тѣмъ въ торговлѣ, въ ремеслахъ, въ формахъ жизни они приносятъ съ собою новыя, необходимыя намъ элементы. Благодаря морю и пароходству, Петербургъ отдѣленъ отъ Европы только тремя сутками пути; а благодаря желѣзнымъ дорогамъ, безъ перерыва идущимъ теперь отъ Штетина до Га-

вра, онъ ближе всѣхъ другихъ русскихъ городовъ и къ Парижу, и къ Лондону. Черезъ Петербургъ передаются Россіи всѣ новѣйшія изобрѣтенія, сдѣланныя въ Европѣ, по части наукъ, искусствъ, мануфактуръ, ремеслъ. Такимъ образомъ безъ Петербурга Москва представляла бы только крайность народнаго начала, не оживляемаго и не умѣряемаго элементами европейской жизни; а Петербургъ безъ Москвы имѣлъ бы на провинцію болѣе административное, нежели живое нравственное и социальное вліяніе, потому что если Петербургъ есть посредникъ между Европой и Россіей, то Москва есть посредникъ между Петербургомъ и Россіей. Называя Петербургъ посредникомъ между Европой и Россіей, мы не думаемъ этимъ сказать, что, только живя въ немъ, можно слѣдить за успѣхами наукъ и искусствъ въ Европѣ. Напротивъ, это можно дѣлать, живя не только въ Москвѣ, но и въ Тамбовѣ и въ Саратовѣ. Но подобное наблюденіе успѣховъ ума человеческого въ Европѣ видъ Петербурга возможно только для отдѣльныхъ лицъ, а не для массы. Можно, напримѣръ, и живя въ Москвѣ, знать лучшій способъ кладки камня и кирпичей при строеніи зданій; но говорятъ, при постройкѣ кремлевскаго дворца и храма Спасителя въ Москву было привезено изъ Петербурга нѣсколько работниковъ для наученія московскихъ мастеровъ надлежащему способу класть кирпичъ при выводѣ стѣнъ. Безъ сомнѣнія, московскіе архитекторы знали, какъ кладется въ Европѣ камень и кирпичъ; а въ Петербургѣ мастеровые, не заботясь объ Европѣ, умѣли класть кирпичъ, какъ кладутъ его тамъ.

Этотъ простой и ничтожный, повидимому, фактъ показываетъ, какое вліяніе имѣетъ Петербургъ по своей близости къ Европѣ не на однѣ избранныя личности, но на самую жизнь Россіи. Его роль чисто практическая; его вліянія надо искать не въ однѣхъ книгахъ, но въ нравахъ, въ образѣ жизни. Его замѣчательнѣйшія учебныя заведенія—спеціальныя, преимущественно техническія.

Естественно, что между Петербургомъ и Москвою должны быть существенныя различія, которыя должны отразиться и въ литературѣ разностью точекъ воззрѣнія на одни и тѣ же предметы. Изъ этого могъ бы возникнуть даже споръ, о которомъ говоритъ критикъ «Москвитянина». Но этого спора доселѣ не было, хотя и бывали споры между петербургскими и московскими литераторами. Можетъ быть, это происходитъ отъ сильнаго и быстрого вліянія другъ на друга обоихъ городовъ. Напримѣръ, было время, когда московскіе литераторы (разумѣется, нѣкоторые) упрекали петербургскихъ за то, что тѣ берутъ деньги за свои труды, а не на-

шуть изъ одной любви къ литературѣ, и еще за то, что ихъ журналистика отличается не направлениемъ, не идеями, а только аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ. Если хотите, въ этомъ фактѣ вырази-лось болѣе или менѣе различіе обоихъ городов; но на долго ли? Еще не успѣлъ прекратиться этотъ споръ на перьяхъ, какъ причины его уже и не существовало: въ Петербургѣ явились журналы и съ направле-ніемъ, и съ идеями, да вдобавокъ и съ аккуратнымъ, своевременнымъ выходомъ книжекъ; а въ Москвѣ такъ же, какъ и въ Петербургѣ, стали брать деньги за литератур-ные труды, и безденежныя литературныя предприятия стѣлались невозможны; но отъ этого въ Москвѣ не перевелись люди съ убѣ-жденіями и идеями. Въ сущности же весь этотъ споръ вышелъ больше изъ того, что однихъ литераторовъ приписали къ Петер-бургу, другихъ — къ Москвѣ, и по нимъ су-дила о томъ и другомъ городѣ. Такъ, напри-мѣръ, московскіе журналисты въ своей поле-мической войнѣ съ Петербургомъ имѣли въ виду преимущественно Греча, Вулгарина и Воейкова, и какъ будто забывали, что кромѣ ихъ въ Петербургѣ жили Крыловъ, Гнѣдичъ, Жуковскій, Пушкинъ, потомъ Гоголь, — писа-тели, которыхъ, конечно, нельзя было обви-нять въ отсутствіи направленія. Пушкинъ съ самаго появленія на литературное по-прище продавалъ книгопродавцамъ свои со-чиненія за неслыханный до него цѣны, а между тѣмъ онъ не былъ тогда журнали-стомъ; въ его поэзіи не выражалось ни пе-тербургскаго, ни московскаго направленія: живя въ Петербургѣ, онъ, какъ поэтъ, по своему таланту, по духу, содержанію и формѣ своихъ произведеній, принадлежалъ не Петербургу, не Москвѣ только, а цѣлой Рос-сіи. Въ послѣднее время возникла полемика по поводу славянофильства, но это отнюдь не было споромъ между Петербургомъ и Мос-квой. Ссылаемся на тѣ самыя «Отечествен-ныя Записки», о которыхъ говорить въ на-чалѣ статьи своей критикѣ «Москвитянина»: онъ найдетъ тамъ возраженія и отповѣди не одному «Москвитянину» или «Московскому Сборнику», но и «Маяку». Сверхъ того, статьи противъ «Москвитянина» и «Московского Сборника» писаны тамъ не одними петербург-скими литераторами, но и московскими; такъ, напри-мѣръ, въ нынѣшнемъ году напечатана тамъ была статья московскаго профессора, Грановскаго, въ опроверженіе статьи Хомя-кова, помѣщенной въ «Московскомъ Сбор-никѣ» на 1847 годъ; въ возникшемъ затѣмъ спорѣ возраженія Хомякова печатались въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», а возраженія Грановскаго — въ «Москов-

скихъ Вѣдомостяхъ». Гдѣ жъ тутъ споръ Петербурга съ Москвой? Тутъ столько же споръ Петербурга съ Петербургомъ и Москвы съ Москвой, сколько и Петербурга съ Москвой. Нѣтъ, какъ ни хлопочите, а никакъ не удастся вамъ обыкновенные ли-тературные споры превратить въ какую-то борьбу двухъ городовъ, и еще менѣе успѣете вы смѣшать съ Москвой какой-нибудь ли-тературный кружокъ. Москва велика; и какъ ни надувайтесь, а все съ нее не будете ро-стомъ, только повредите вашему здоровью и будете смѣшны.

Бывали когда-то въ нѣкоторыхъ петер-бургскихъ журналахъ насмѣшки надъ Мос-квой, а въ московскихъ — что-то въ родѣ не совсѣмъ пріязненныхъ выходокъ противъ Пе-тербурга. Но подобный споръ могъ быть толь-ко плодомъ юношескаго, незрѣлаго состоянія нашей литературы и нашей общественной образованности. Теперь, слава Богу, по край-ней мѣрѣ въ петербургскихъ журналахъ во-все вышли изъ употребленія наивдническіе возгласы противъ Москвы и въ патетиче-скомъ, и въ ироническомъ духѣ. Со стороны московскихъ литераторовъ (по крайней мѣрѣ можно смѣло поручится за тѣхъ, которые не риздѣляютъ такъ-называемаго «московскаго направленія») тоже не видно никакихъ пре-дубѣждений противъ Петербурга. Всѣ совер-шеннолѣтніе давно уже предоставили подоб-ные споры о превосходствѣ одной столицы передъ другой дѣтямъ, юношамъ и энтузи-астамъ. И хорошо сдѣлали, потому что въ такихъ спорахъ играли главную роль не Москва и Петербургъ, а маленькое самолю-біе спорщиковъ: каждый хотѣлъ возвысить украшенный его присутствіемъ городъ на счетъ другого. Тамъ жъ, гдѣ къ самолюбію примѣшивался фанатизмъ теорій, не видно было ни малѣйшаго знанія ни того города, который превозносился, ни того, который приносился ему въ жертву. Короче, это былъ споръ дѣтскій, ребяческій. Петербургскіе жур-налы дѣйствительно подтрунивали надъ мур-молками, а московскіе журналы точно не подтрунивали надъ ними; но это не потому, чтобъ мурмолки были смѣшны только въ Петербургѣ, а въ Москвѣ же были бы не смѣшны, а опять-таки потому только, что въ Москвѣ всего-на все одинъ журналъ, да и тотъ родственникъ мурмолкамъ. А что надъ ними смѣялись петербургскіе журналы — въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго для петербургскихъ журналовъ..

Смѣяться, право, не грѣшно  
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно.

Смѣхъ часто бываетъ великимъ посред-никомъ въ дѣлѣ отличенія истины отъ лжи.

Иная мысль или иной поступокъ совершенно оправдываются логикой; вы не соглашаетесь съ ихъ истинностью, но и не находите ничего возразить на доказательства ихъ неоспоримой истинности. Но тутъ дѣло рѣшается смѣхъ! Такъ, на примѣръ, можно видѣть и понимать, что вотъ этотъ господинъ надѣлъ мурмолку по глубокому убѣжденію, которымъ онъ не шутитъ, которому онъ благородно приноситъ въ жертву всю жизнь свою, что онъ правъ съ своей точки зрѣнія и запищаетъ мурмолку съ жаромъ, краснорѣчиво, логически и умно; все это можно видѣть и понимать — и все-таки смѣяться... Можно любить человѣка, даже уважать его — и вмѣстѣ съ этимъ смѣяться надъ нимъ... Тебя зову въ свидѣтели. о знаменитый витязь ламачскій, вѣчно-памятный обожатель несравненной Дульцинеи тобовской! Ты былъ рыцарь безъ пятна и страха, краса и честь кавалеровъ, гроза и трепеть злодѣевъ, надежда и ограда угнетенныхъ и страждущихъ; благородный и великодушный, ты часто являлся мудрецомъ въ рѣчахъ своихъ, дышавшихъ возвышенностью мыслей и чувствъ, ясностью взгляда, здравымъ смысломъ и краснорѣчіемъ; храбрый воинъ, ты былъ еще и справедливымъ, искуснымъ судьей! Вижу и признаю въ твоихъ достоинствахъ, удивляюсь имъ — и все-таки, читая дивную эпопею твоей жизни, отъ всего сердца смѣюсь надъ тобой, до той самой минуты, когда, готовый изъ этого міра, населеннаго трактирщиками, волшебниками, злодѣями, вассалами, рабами и рыцарями, перейти въ другой, лучшій міръ, гдѣ вовсе нѣтъ всей этой дряни, ты вдругъ какъ бы прозрѣлъ и плачущему оруженосцу своему и будущему губернатору завоеваннаго тобою острова, Санхо-Пансѣ, сказалъ, что ты не рыцарь, а помѣщикъ... тогда мой смѣхъ, то веселый, то грустный, смѣняется уже другой безпримѣсной и глубокой грустью...

Прислуная къ разбору статьи Никитенко, критикъ «Москвитянина» говоритъ, что «здѣсь должно быть обозначено направленіе журнала, то, къ чему онъ клонитъ общественное мнѣніе, мѣрило всѣхъ его литературныхъ сужденій и оправданіе сочувствій.» То же видѣть онъ въ статьѣ Вѣлинскаго, вслѣдствіе чего основательно требуетъ, чтобы объ эти статьи выражали одно воззрѣніе, были проникнуты однимъ направленіемъ, а между тѣмъ находятъ въ нихъ страшныя противорѣчія. И поэтому мы скажемъ нѣсколько словъ о его взглядѣ на статью Никитенко только въ отношеніи къ этимъ противорѣчіямъ.

Критикъ «Москвитянина» соглашается съ Никитенко, что наша общественная образо-

ванность вообще отличается отсутствіемъ мощныхъ, широко раскрывающихся личностей, зато она разстлана въ ширину и глубину, течетъ спокойнѣе, тише, какъ дома, и работаетъ безъ шума, но работаетъ около самыхъ основаній. Но никакъ не хочется согласиться съ нимъ насчетъ той же мысли, только высказанной въ приложеніи къ современной русской литературѣ. Вотъ слова Никитенко:

„Взамѣнъ сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненные начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности... Въ ней есть сознаніе своей самостоятельности и своего назначенія. Она уже сила, организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными нуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетѣвшій изъ чужой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка удивленной гениальной мысли, печально проскользнувшая въ умахъ и потрясшая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, но есть вся литература.“

На это критикъ «Москвитянина» возражаетъ, что Никитенко, «кажется, слишкомъ снисходителенъ къ изящной литературѣ.»

При этомъ кстати онъ вспомнилъ, что мысль эту читалъ когда-то въ «Отечественныхъ Запискахъ»; но тамъ, по его мнѣнію, она была кстати, а у Никитенко некстати, потому-де, что Никитенко любитъ искусство ради самаго искусства и глубоко понимаетъ его требованія, а въ этотъ случай удовлетворяется количествомъ и легкимъ сбытомъ произведеній взамѣнъ качества и внутренняго достоинства. Остановимся на этомъ. Вѣлинскій неоднократно высказывалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ту мысль, что за исключеніемъ Гоголя, пишущаго въ послѣднее время мало и рѣдко, въ русской литературѣ теперь нѣтъ великихъ талантовъ, но зато есть теперь у насъ литература. Никитенко, независимо отъ Вѣлинскаго, въ статьѣ своей, помѣщенной въ первой книжкѣ «Современника», по-своему высказалъ, и, можетъ быть, тоже не въ первый разъ, ту же мысль. Что можно заключить изъ этого факта, касательно единства направленія «Современника»? Ничего болѣе, кромѣ того, что редакторъ «Современника» сходится съ своими сотрудниками въ одномъ изъ главныхъ пунктовъ направленія его журнала. Но благонамѣренному критику «Москвитянина» непрѣменно нужно было, во что бы ни стало, найти тутъ противорѣчія; но какъ, несмотря на всю свою готовность къ этому, онъ все-таки не могъ найти въ словахъ Никитенко противорѣчія со взглядомъ Вѣлинскаго, то счелъ за нуж-



ное найти у Никитенко противорѣчіе съ самимъ собой... И дѣйствительно, въ словахъ редактора «Современника» есть противорѣчіе, но только не съ самимъ собой, а съ критикомъ «Москвитянина»: Никитенко видитъ въ новой русской литературѣ нѣчто достойное вниманія и уваженія, а М... З... К... видитъ въ ней безобразную массу бездарныхъ и нелѣпыхъ произведеній. Что сказать на это? Ничего болѣе, какъ посоветовать Никитенку, когда онъ будетъ что-нибудь писать, посылать программу каждой своей статьи на утверженіе рѣшительнаго и непогрѣшительнаго въ своихъ приговорахъ критика «Москвитянина»: что онъ у него одобрить, такъ тому и быть, что забракуетъ, то вонъ изъ статьи. Это, кажется, единственный способъ для Никитенко избѣгать мыслей и воззрѣній неосновательныхъ и ложныхъ... въ глазахъ критика «Москвитянина».—Многіе могутъ найти не совсѣмъ согласной съ здравымъ смысломъ подобную опеку какого-то замаскировавшагося таинственными буквами неизвѣстнаго литературнаго наѣздника надъ извѣстнымъ профессоромъ и литераторомъ, обладающимъ, по сознанию самого его противника, самобытнымъ взглядомъ на предметы мысли. Намъ самимъ это кажется такъ, но М... З... К... думаетъ объ этомъ иначе: все, что не согласно съ его образомъ мыслей, онъ считаетъ рѣшительнымъ вздоромъ. Въ этомъ отношеніи онъ не менѣе всѣхъ восточныхъ людей вѣрить въ «несомнѣнную книгу», только въ отличіе отъ нихъ видитъ эту «несомнѣнную книгу»—въ себѣ.

Было бы слишкомъ утомительно и скучно слѣдить за критикомъ «Москвитянина» шагъ за шагомъ. Онъ выписываетъ изъ разбираемыхъ имъ статей цѣлыя страницы; разбирая его такъ же подробно, мы должны были бы выписывать и эти выписки, и его собственные страницы; и потому постараемся какъ можно короче изложить сущность дѣла. Въ статьѣ своей Никитенко нападаетъ мѣстами на недостатки такъ-называемой натуральной школы, состоящие въ преувеличеніи и однообразіи предметовъ. Это его мнѣніе, и онъ выражаетъ его безъ рѣзкости, безъ всякой враждебности къ натуральной школѣ; напротивъ, въ самыхъ его нападкахъ видно, что онъ уважаетъ и любитъ ее, и на этомъ-то основаніи желаетъ указать ей ея настоящую дорогу. Словомъ, онъ признаетъ и талантъ, и достоинство въ произведеніяхъ натуральной школы, но признаетъ ихъ не безусловно, хвалитъ основаніе, но порицаетъ крайности. Во всемъ этомъ критикъ «Москвитянина» увидѣлъ страшныя противорѣчія съ статьей Вѣлинскаго, липающія «Совре-

менникъ» всякаго единства мысли и направленія. «Одно изъ двухъ (говорить онъ): или журналъ не долженъ имѣть своего образа мыслей, и тогда онъ не журналъ,—а неизвѣстно что такое; или онъ долженъ имѣть его, и тогда не мѣшаетъ участвующимъ въ немъ согласиться предварительно между собой.» Здѣсь мы прежде всего считаемъ долгомъ поблагодарить грознаго критика за его уваженіе къ нашему журналу, невольно высказавшееся у него самой чрезмѣрностью требованій отъ «Современника». Прибавимъ къ этому, что его идеалъ журнала очень вѣрнъ; но къ несчастью его существованіе рѣшительно невозможно при настоящемъ состояніи литературы и общественаго образованія. Въ Европѣ не только каждое извѣстное мнѣніе можетъ сейчасъ же найти свой органъ въ журналѣ, но и каждый изъ отбѣнковъ этого мнѣнія: для этого тамъ всегда найдется достаточное число людей, способныхъ работать по опредѣленному направленію. Но и тамъ едва ли найдется хотя одинъ хорошій журналъ или одно хорошее обзорнѣе, въ которомъ все до послѣдней строки было бы проникнуто однимъ направленіемъ. Это возможно исполнѣ только въ отношеніи къ политическимъ или критическимъ статьямъ, но не всегда возможно въ отношеніи даже къ ученымъ статьямъ, и рѣшительно невозможно въ отношеніи къ произведеніямъ изящной словесности. Ни одинъ журналъ не откажется отъ превосходной статьи, потому только, что она, по духу своему, не совсѣмъ ладитъ съ направленіемъ журнала. Въ такомъ случаѣ обыкновенно статья печатается съ оговоркой отъ редакціи, а иногда въ томъ же журналѣ помѣщается и возраженіе на несогласныя съ направленіемъ журнала мѣста въ статьѣ. Что же касается до произведеній изящной словесности, на нихъ тамъ вовсе не простираются условія, налагаемыя направленіемъ журнала на статьи теоретическія. Жоржъ Зандъ, напримѣръ, по своимъ убѣжденіямъ и симпатіямъ, не имѣетъ ничего общаго съ людьми, участвующими въ «Journal des Débats» или «Revue des deux Mondes»; а между тѣмъ, вздумай она помѣстить тамъ свою повѣсть—возьмутъ, да еще съ какой радостью, не обращая никакого вниманія на духъ и направленіе повѣсти. И это очень естественно: кто дѣйствительно понимаетъ законы искусства, тотъ знаетъ, что повѣстей писать по заказу нельзя, и что тутъ направленіе и духъ должны зависѣть только отъ личности автора. Хорошихъ же поэтовъ вездѣ немного, стало быть, тутъ выборъ можетъ касаться только достоинства романа или повѣсти, но не направленія ихъ.

Что касается до нашихъ журналовъ, — необходимость имѣть известное направленіе, известныи образъ мыслей и никогда не противорѣчить ему начала обнаруживаться только въ последнее время. Журналовъ у насъ немного, но все-таки больше, нежели сколько есть у насъ людей, способныхъ своими трудами поддерживать журналы. У насъ большое счастье для журнала, если онъ успѣлъ соединить труды нѣсколькихъ людей и съ талантомъ, и съ образомъ мыслей, если не совершенно тождественнымъ, то по крайней мѣрѣ не расходящимся въ главныхъ и общихъ положеніяхъ. Поэтому требовать отъ журнала, чтобы всѣ его сотрудники были совершенно согласны даже въ отгѣнкахъ главнаго направленія, значитъ требовать невозможно. Тутъ не помогутъ мудрые совѣты въ родѣ слѣдующаго: сперва соберитесь да согласитесь между собою. Искусственнымъ образомъ нельзя соглашать людей въ дѣлѣ убѣжденія, и ни одинъ порядочный человѣкъ ничего не уступитъ изъ своего мнѣнія ради причины, лежащей внѣ его мнѣнія. Лишь бы журналъ имѣлъ общій характеръ, такъ что съ его представленіемъ въ умъ всякаго соединялось бы известное направленіе: этого для него пока совершенно достаточно, чтобы быть ему хорошимъ журналомъ. Разность въ отгѣнкахъ мыслей еще ничего; плохо какъ «изъ одного города, да не одинъ вѣсти». Вотъ, напримѣръ, какъ М... З... К... отзывается о первой теперь поэтической знаменитости не только во Франціи, но и во всей Европѣ: «Жоржъ Зандъ, котораго, конечно, не назовутъ писателемъ отсталымъ отъ вѣка, истощивъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ всѣ виды страсти, всѣ образы личности, протестующей противъ общества, въ «Консуэло», «Жаннѣ», въ «Comragnon du tour de France», изображаетъ красоту и спокойное могущество самопожертвованія и самообладанія; а въ «Чортовой Лужѣ» онъ плѣняется мирной простотой семейнаго быта.» Оставляя въ сторонѣ приложеніе, которое критикъ «Москвитянина» хочетъ сдѣлать изъ своего сужденія о Жоржѣ Зандѣ, мы замѣтимъ только, что въ этомъ сужденіи видно высокое уваженіе къ таланту знаменитаго французскаго писателя, въ чемъ мы совершенно съ нимъ согласны. Но вотъ что о томъ же писателѣ сказалъ Хомяковъ, принадлежащій къ тому же «московскому направленію», къ которому принадлежитъ и М... З... К... и печатающій свои статьи въ тѣхъ же изданіяхъ, т. е. въ «Москвитянинѣ» и «Московскомъ Сборникѣ»:

«Впрочемъ, по мѣрѣ того, какъ искусство народное дѣлается менѣе возможнымъ, такъ оскудѣваетъ и искусство вообще, и Франція по необходимости была страшной анти-художественной,

т. е. не только не способной производить, но не способной понимать прекрасное, въ какой бы то ни было области искусства. Такъ, напримѣръ, въ наше время Франція и французившаяся (?) публика встрѣчала съ слѣпымъ благоговѣніемъ произведенія Жоржъ Занда, которыя совершенно ничтожны въ смыслѣ художественномъ (какое бы они ни имѣли значеніе въ отношеніи движенія общественной мысли), и не нашла ни похвалы, ни удивленія, когда та же Жоржъ Зандъ почерпнула изъ скуднаго, но удѣлывшаго источника простаго человеческого быта прелестный и почти художественный рассказъ „Чортовой Лужи“, подъ которымъ Диккенсъ и едва ли не самъ Гоголь могли бы подписать свои имена“. („Московский Сборникъ“ 1847, стр. 350—351).

Вотъ это такъ противорѣчіе! Тутъ поневоля вспомнишь стихъ Крылова:

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,  
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

Чѣмъ другимъ давать совѣтъ «предварительно согласиться между собою», не лучше ль было бы прежде самимъ испытать на дѣлѣ возможность осуществленія такого совѣта, чтобы не подать повода говорить о себѣ:

Запѣли молодцы: кто въ лѣсъ, кто по дрова!

Обратимся къ противорѣчіямъ «Современника». Послѣ многихъ выписокъ изъ статьи Никитенко критикъ «Москвитянина» задаетъ намъ слѣдующіе вопросы: «Но если таковъ образъ мыслей редактора, почему помѣщена въ той же книгѣ повѣсть подъ заглавіемъ: «Родственники»? Развѣ для того, чтобы читатели тутъ же могли повѣрить на дѣлѣ справедливость впечатлѣній Никитенко, какъ будто произведенныхъ именно этой повѣстью? Вообще, почему отдѣлъ словесности отданъ почти исключительно въ распоряженіе тому направленію, которое такъ справедливо осуждается самимъ редакторомъ въ отдѣлѣ наукъ? На всѣ эти вопросы мы отвѣтимъ критику «Москвитянина» однимъ вопросомъ: а на какомъ основаніи вы увѣрены такъ положительно, что Никитенко раздѣляетъ вашъ образъ мыслей касательно какъ повѣсти «Родственники», такъ и всѣхъ другихъ повѣстей въ отдѣлѣ словесности нашего журнала? Кромѣ того, что Никитенко и не думалъ, подобно вамъ, уничтожать натуральной школы, а только хотѣлъ, показавши ея достоинства (на что вы ему возразили на стр. 177), показать и ея недостатки, состоящіе, по его мнѣнію, въ преувеличеніи и однообразіи. Для примѣненія онъ могъ имѣть въ виду произведенія, дѣйствительно отличающіяся грубой естественностью или впадающія въ карикатуру, какихъ немало появляется въ нашей литературѣ. Какъ бы то ни было, но какъ онъ не указалъ ни на одно произведеніе, то вы не имѣли никакого основанія

навязывать ему этихъ указаній, кромѣ вашего самолюбія, которое увѣряетъ васъ, что судить безошибочно значить судить по-вашему. И неужели вы не шутя думаете, что стоить только назвать, безъ всякихъ доказательствъ, ту или другую повѣсть дурной, чтобы всѣхъ убѣдить, что она точно дурна? Но нѣтъ, этого вамъ мало: вы, кажется, убѣждены, что вамъ ничего не нужно, и говорите, что съ вами безусловно должны быть согласны всѣ, даже не зная, какъ вы думаете о томъ или другомъ предметѣ: хотя Никитенко до появленія вашей статьи и не могъ знать вашего мнѣнія о повѣсти «Родственники», однако тѣмъ не менѣе, думаете вы, не могъ не раздѣлять его... Странная увѣренность!

Далѣе скромный критикъ «Москвитянина», въ видѣ уступки, дѣлаетъ такое замѣчаніе: «Можетъ быть, другого рода повѣстей достать нельзя; можетъ быть, даже такія повѣсти нужны для успѣха журнала, чего мы, впрочемъ, не думаемъ.» Странно видѣть человека, который, по собственному сознанию, рѣшительно не знаетъ журнальнаго дѣла, а между тѣмъ взялся разсуждать о немъ! Онъ не знаетъ, какія повѣсти можно доставать, и какія повѣсти нравятся публикѣ и, слѣдовательно, могутъ поддержать журналъ. То говорить: «можетъ быть», то: «чего мы, впрочемъ, не думаемъ». Какъ объяснить ему это? Онъ назвалъ только одну повѣсть: «Родственники». О ней можно судить съ двухъ сторонъ: съ стороны направленія и со стороны выполненія. Въ первомъ отношеніи мы на «можетъ быть» нашего критика отвѣчаемъ утвердительно; во второмъ отношеніи, эта повѣсть не безъ достоинствъ, мѣстами замѣчательныхъ, но вообще не можетъ итти въ образецъ повѣстей той школы, на которую съ такимъ ожесточеніемъ нападаетъ нашъ критикъ. Въ этомъ случаѣ намъ трудно отвѣчать ему, сколько потому, что онъ по одной первой книжкѣ журнала хочетъ произнести судъ о всѣхъ будущихъ книжкахъ этого журнала, хотя бы ему суждено было продолжаться десять лѣтъ при постоянномъ участіи однихъ и тѣхъ же лицъ, сколько и потому, что онъ, говоря о повѣстяхъ, назвалъ только повѣсть «Родственники» и неопредѣленно указалъ на отдѣлъ словесности, не сказавши ни слова о повѣсти «Кто виноватъ?» Искандера, вышедшей какъ приложение къ первой книжкѣ, ни о «Хорѣ и Калинычѣ», разсказѣ Тургенева, помѣщенномъ въ Сибси. Вѣроятно, онъ имѣлъ свои причины не высказывать своего мнѣнія объ этихъ двухъ произведеніяхъ, и въ такомъ случаѣ надо отдать ему справедливость, онъ поступилъ очень ловко. Если бы мы сказали, что онъ и ихъ считаетъ тѣмъ же, чѣмъ считаетъ всѣ произведенія натуральной школы, онъ могъ бы отвѣтить,

что о нихъ ничего не говорилъ, что онъ указалъ только на то, что было помѣщено въ отдѣлѣ словесности. Но если бы, сдѣлавши вопросъ: «можетъ быть, даже такія повѣсти нужны для успѣха журнала», онъ указалъ на «Кто виноватъ?» и «Хоръ и Калинычъ» — тогда бы мы положительно и утвердительно отвѣчали ему: да! Но онъ хочетъ быть съ нами великодушнымъ; онъ отрицаетъ мысль, чтобы мы въ выборѣ повѣстей руководствовались расчетомъ и успѣхъ журнала, а не внутреннимъ достоинствомъ повѣстей. Благодаримъ за доброе мнѣніе, но никакъ не думаемъ, чтобы потребности нашего читающаго общества были въ такомъ разладѣ съ истиннымъ вкусомъ, что удовлетворять имъ непременно значило бы — руководствоваться корыстнымъ расчетомъ, а не слѣдовать искренно своему вкусу и убѣжденію. Въ «Современникѣ» не было и не будетъ помѣщено ни одной повѣсти, которая бы, по искреннему убѣжденію редакціи, не заключала въ себѣ какихъ-нибудь хорошихъ сторонъ, дѣлающихъ ее стоящей печати, и уже было напечатано нѣсколько весьма замѣчательныхъ произведеній въ этомъ родѣ. Они были замѣчены и отличены публикой, и мы очень рады, что нашъ вкусъ, наше личное мнѣніе совпали, въ отношеніи къ нимъ, со вкусомъ и мнѣніемъ большинства публики. Эти произведенія: «Кто виноватъ», «Обыкновенная Исторія», «Разказы Охотника» и «Изъ сочиненій доктора Крупова о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности».. Замѣчательна также мысль критика, сдѣланная въ видѣ уступки, что «редакторъ «Современника» не властенъ пересоздать изящной литературы по своимъ желаніямъ». Вотъ что правда, то правда! Только съ чего вы взяли, что онъ желаетъ ее пересоздать? Желать видѣть ее въ лучшемъ, совершеннѣйшемъ видѣ, и желать пересоздать — не одно и то же.

Теперь слѣдуютъ критическія противорѣчія статьи Никитенко съ статьей Бѣлинскаго. Въ послѣдней сказано между прочимъ, что «если бы преобладающее отрицательное направленіе и было въ натуральной школѣ односторонней крайности; и въ этомъ есть своя польза, свое добро: привычка вѣрно изображать отрицательныя явленія жизни даетъ возможность тѣмъ же людямъ или ихъ послѣдователямъ, когда придетъ время вѣрно изображать и положительныя явленія жизни, не становя ихъ на ходули, не преувеличивая, словомъ, не идеализируя ихъ риторически.» Конечно, тутъ нѣтъ буквального, вишняго согласія съ статьей Никитенко; но нѣтъ и рѣзкаго противорѣчія. Съ одной стороны, тутъ уступка, согласіе въ томъ, что отрицаніе

оставляетъ дѣйствительно преобладающее направленіе новой школы; съ другой—показана польза и этого направленія. Но критикъ «Москвитянина» восклицаетъ патетически: «мы не спрашиваемъ, справедливо ли это или нѣтъ, но согласно ли съ убѣжденіями редактора и съ наставленіями, предложенными имъ къ его статьѣ? Думаетъ ли онъ, что, смотря по времени, литература можетъ изображать и темныя, и свѣтлыя стороны дѣйствительности, т. е. быть правдивою; можетъ также изображать однѣ отрицательныя стороны, то есть клеветать? Полагаетъ ли онъ, что привычка отыскивать одни пороки и носить ихъ людей способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости?» Въ этихъ словахъ отозвалось рѣшительное отсутствіе живого практическаго пониманія искусства. Критикъ «Москвитянина», мы увѣрены въ этомъ, человѣкъ умный и начитанный, который знаетъ всевозможныя теоріи и системы искусства, особенно нѣмецкія. Это бесспорно очень хорошо; но одного этого еще очень мало для дѣйствительнаго пониманія искусства; для этого прежде всего и больше всего нужно то врожденное эстетическое чувство, тотъ инстинктъ, тотъ тактъ изящнаго, которые обнаруживаются не въ теоріи, а въ ея критическомъ приложеніи къ произведеніямъ искусства. Мы еще обратимся къ этому вопросу и покажемъ, въ какомъ отношеніи находится къ нему критикъ «Москвитянина»; а теперь покажемъ, какъ мало истины въ его словахъ. Ему кажется рѣшительной недѣльностью, чтобы литература, смотря по времени, отличалась то тѣмъ, то другимъ исключительнымъ направленіемъ. А между тѣмъ это всегда такъ было и будетъ; доказательства можно найти въ исторіи каждой литературы. Изображать однѣ отрицательныя стороны жизни—вовсе не значитъ клеветать, а значить только находиться въ односторонности; клеветать же значитъ взводить на дѣйствительность такія обвиненія, находить въ ней такія пятна, какихъ въ ней вовсе нѣтъ. Давать клеветѣ другое значеніе—тоже значитъ клеветать... не на клевету, разумѣется, а на людей не нашего прихода... Находить въ людяхъ тѣ пороки, которые въ нихъ дѣйствительно есть, не значитъ поносить ихъ: поношеніе въ самихъ порокахъ, и кто пороченъ, тотъ поносить самъ себя... Привычка отыскивать дѣйствительно существующее очень близка къ привычкѣ отыскивать истину, а это, разумѣется, способствуетъ развитію безпристрастія и справедливости...

Противорѣчій между статьей Никитенко и статьѣй Вѣлинскаго критикъ «Москвитянина» находить такую бездну, что даже отказывается на всѣ указывать, а избираетъ

самыя разительныя. «Редакторъ (говоритъ онъ) нападалъ сильно на карикатурныя изображенія помѣщиковъ и деревенскаго быта; критикъ въ числѣ замѣчательныхъ стихотворныхъ произведеній прошлаго года упоминаетъ о разказѣ подъ заглавіемъ «Помѣщикъ» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Дался же славянофиламъ этотъ «Помѣщикъ!» Вотъ уже скоро два года, какъ было напечатано (въ «Петербургскомъ Сборникѣ» Некрасова, а не «Отечественныхъ Запискахъ») это стихотвореніе Тургенева, а они до сихъ поръ не могутъ отъ него прийти въ себя. Съ того времени и до сей минуты все толкуютъ о немъ. Увѣряютъ, что это произведеніе ничтожное, карикатура, что оно бездарно, плохо; кажется, стоило ли бы обращать на него вниманіе? А между тѣмъ они все продолжаютъ изъ-за него волноваться и выходить изъ себя... Обращаясь къ противорѣчю, спросимъ критика «Москвитянина»: на какомъ основаніи вообразилъ онъ, что Никитенко, говоря о карикатурныхъ изображеніяхъ помѣщиковъ, мѣтилъ именно на пьесу Тургенева? Ужъ не на основаніи ли ея заглавія, такъ положительно указывающаго на помѣщика, что и ошибиться нельзя? Въ такомъ случаѣ намъ остается только удивиться тонкой пронизательности критика «Москвитянина»... «Редакторъ (продолжаетъ онъ) строго осуждалъ направленіе тѣхъ писателей, которые созидаютъ такъ-называемыя народныя характеры изъ грязи, ломотьевъ, квасу, шей и кулаковъ русскаго человѣка, а критикъ восхваляетъ повѣсть подъ заглавіемъ «Деревня» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), которая создана именно по этому рецепту.» Опять то же! Критику «Москвитянина» кажется, что повѣсть «Деревня» создана по этому рецепту, и этого ему достаточно для убѣжденія, что и Никитенкѣ кажется то же... Но здѣсь мы остановимся и отъ частныхъ перейдемъ къ общему вопросу—къ вопросу о натуральной школѣ, которая съ такимъ живымъ участіемъ и вниманіемъ принята публикой и съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдуется двумя литературными партіями—неестественной или риторической, состоящей изъ отставныхъ беллетристовъ, и славянофильской. Намъ очень непріятно, что мы должны повторять то, что уже не разъ было сказано нами: но что жъ намъ дѣлать, если противники натуральной школы, безпрестанно нападая на нее, твердятъ все одно и то же, не умѣя выдумать ничего новаго?

Объ эти партіи бѣльшей частью согласны въ ихъ напакахъ на натуральную школу, хотя и по разнымъ побужденіямъ; ихъ доводы, доказательства, даже тонъ—почти одинаковы; но только въ одномъ онѣ суще-

ственно разнятся. Первая партія, не любя натуральной школы, еще больше не любит Гоголя, какъ ея главу и основателя. Въ этомъ есть смыслъ и логика. Идя отъ начала ложнаго, эти люди по крайней мѣрѣ не противорѣчатъ себѣ до явной безсмыслицы; нападая на плодъ, не восхищаются корнемъ; осуждая результатъ, не хвалятъ причины. Ошибаясь въ отношеніи къ истинѣ, они совершенно правы въ отношеніи къ самимъ себѣ. Что касается до причинъ ихъ нерасположенія къ произведеніямъ Гоголя, — онѣ давно извѣстны: Гоголь далъ такое направление литературѣ, которое изгнало изъ нея риторикъ, и для успѣха въ которомъ необходимъ талантъ. Вслѣдствіе этого старая манера выводить въ романахъ и повѣстяхъ риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ, вмѣсто живыхъ типическихъ лицъ, пала. Всѣ попытки писателей этой школы на поддержаніе къ нимъ вниманія публики обращаются для нихъ въ рѣшительныя паденія. Даже тѣ ихъ произведенія, которыя въ свое время имѣли успѣхъ, даже значительный, давно уже забыты. Новыя изданія ихъ остаются въ книжныхъ лавкахъ. Согласитесь, что это неприятно, и есть изъ чего выйти изъ себя и увидѣть въ новой школѣ своего личнаго врага. Къ этому присоединяются и другія обстоятельства. Эти люди вышли на литературное поприще во время господства совершенно иныхъ понятій объ искусствѣ и литературѣ. Тогда искусство не имѣло ничего общаго съ жизнью, дѣйствительностью. Написать романъ или повѣсть тогда значило — наплести разныхъ неправдоподобныхъ событій, вмѣсто характеровъ, заставить говорить и дѣйствовать аллегорическія фигуры разныхъ дурныхъ и хорошихъ качествъ, все это напичкать моральными сентенціями, и изъ всего этого вывести какое-нибудь нравственное правило, въ родѣ того, напримеръ, что добродѣтель награждается, а порокъ наказывается. При этомъ допускалась легкая и умѣренная сатира, т. е. беззубыя насмѣшки надъ общими человѣческими слабостями, не воплощенными въ лицо и характеръ, и потому существующими равно вездѣ, какъ и нигдѣ. О колоритѣ мѣстности и времени не было вопроса, и потому нельзя было понять, какой землѣ и какому вѣку принадлежатъ дѣйствующія лица романа или повѣсти; зато можно было имѣть удовольствіе по произволу переносить ихъ въ какую угодно землю, въ какой угодно вѣкъ. Но взамѣнъ этого строго требовалось, чтобы подлѣ каждаго злодѣя рисовался добродѣтельный человѣкъ, подлѣ глупца — умница, подлѣ лжеца — правдолюбъ. Именъ эти герои не имѣли, но имъ давались клички по ихъ качествамъ: Добросер-

довъ, Честоновъ, Пріатовъ, Ножовъ, Ворватинъ и т. п. Такъ писать было легко: для этого не нужно было таланта, наблюдательности, живаго чувства дѣйствительности; а нужны были только нѣкоторая образованность и начитанность, а главное — охота и навѣкъ писать. И подъ вліяніемъ этихъ-то понятій выросли и развились писатели той школы, о которой мы говоримъ. Удивительно ли, что до сихъ поръ они все такъ же понимаютъ искусство? Оно для нихъ — невинное и полезное занятіе, которое должно тѣшить читателя, представляя ему только пріятныя картины жизни, рисуя только образованныхъ людей, и ни подъ какимъ видомъ — неотесанныхъ мужиковъ въ зипунахъ и лаптяхъ. Правда, еще эти писатели были не стары, когда такъ-называемый романтизмъ вторгся вдругъ и въ нашу литературу, когда романы Вальтеръ-Скотта смѣнили «Малекъ Адела» г-жи Котэнъ и знакомство съ драмами Шекспира показало, что всякій человѣкъ, на какой бы низкой ступени общества и даже человѣческаго достоинства ни стоялъ онъ, имѣетъ полное право на вниманіе искусства потому только, что онъ человѣкъ. И многіе изъ писателей неестественной риторической школы горячо стали за романтизмъ; но это произвело въ нихъ только какую-то странную смѣсь старыхъ установившихся понятій съ новыми неустановившимися. Они не могли въ нихъ примириться по существенной противоположности другъ другу. И потому наши романисты и нувеллисты этой школы остались при старыхъ понятіяхъ, сдѣлавши нѣсколько нелогическихъ уступокъ въ пользу новыхъ. Это отразилось въ ихъ сочиненіяхъ тѣмъ, что они стали заботиться о мѣстномъ колоритѣ и позволяли себѣ рисовать и людей низшихъ сословій. Это называлось у нихъ народностью. Но въ чемъ состояла эта народность? Въ томъ, что своимъ сколкамъ съ чужеземныхъ образцовъ они давали русскія имена, да еще иногда и историческія, отчего ихъ лица нисколько не дѣлались русскими, потому что прежде всего не были созданіями искусства, а были только блѣдными копіями. Вообще ихъ романы походили на нынѣшніе русскіе водевили, передѣльваемые изъ французскихъ, посредствомъ переложенія чуждыхъ намъ французскихъ нравовъ на чуждые имъ русскіе нравы. Риторика всегда оставалась риторикой, даже и поддурманенная плохо понятнымъ романтизмомъ. Для яснаго уразумѣнія новыхъ образцовъ искусства и новыхъ о немъ понятій нужно было время, а для обращенія русской литературы на дорогу самобытности нужны новые образцы въ самой русской литературѣ. И такіе образцы даны были Пушкинымъ и потомъ Гоголемъ.

Но слѣдовать за ними можно было бы только людямъ съ талантомъ. Вотъ отчего писатели риторической школы такъ косо смотрѣли на Пушкина и почему такъ невыносимо имъ одно имя Гоголя! Въ чемъ состоятъ ихъ нападки на него? Вѣчно въ одномъ и томъ же: онъ рисуетъ грязь, представляетъ неумытую натуру и оскорбляетъ русское общество, находя въ немъ характеры низкіе и не противопоставляя имъ высокихъ... Все это совершенно согласно со старинными пѣснями и риториками.

За то же самое, тѣми же самыми выраженіями нападаютъ славянофилы на натуральную школу, но за то же самое превозносятъ они Гоголя. Чтѣ за странное противорѣчіе? Какая его причина? Если бы критикъ «Москвитянина» не находилъ никакой связи между Гоголемъ и натуральной школой, онъ былъ бы правъ съ своей точки зрѣнія, какъ бы ни была она фальшива. Но вотъ чтѣ говоритъ онъ самъ объ этомъ: «Петербургскіе журналы подняли знамя и провозгласили явленіе новой литературной школы, но ихъ мнѣнію, совершенно самостоятельной. Они выводятъ ее изъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и видятъ въ ней отвѣтъ на современныя потребности нашего общества. Происхожденіе натурализма, кажется, объясняется гораздо проще; нѣтъ нужды придумывать для него родословную, когда на немъ лежатъ явные признаки тѣхъ вліяній, которыми онъ обязанъ своимъ существованіемъ. Матеріалъ данъ Гоголемъ или, лучше, взятъ у него: это пошлая сторона нашей дѣйствительности.» Основная мысль этихъ словъ справедлива: натуральная школа дѣйствительно произошла отъ Гоголя, и безъ него ея не было бы; но фактъ этотъ толкуется критикомъ «Москвитянина» фальшиво. Если натуральная школа вышла изъ Гоголя, изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы она не была результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества, потому что самъ Гоголь, ея основатель, былъ результатомъ всего прошедшаго развитія нашей литературы и отвѣтомъ на современныя потребности нашего общества. Что онъ несравненно выше и важнѣе всей своей школы, противъ этого мы и не думали спорить,—это другое дѣло. Во взглядѣ критика «Москвитянина» на Гоголя видно рѣшительное непониманіе ни искусства, ни Гоголя. Ясно, что онъ держится тѣхъ же пѣтикъ и риторикъ, которыми руководствуются писатели неестественной школы, и что, за неимѣніемъ собственнаго прочнаго воззрѣнія на предметъ, онъ слишкомъ увлекся мнѣніемъ Пуш-

кина о Гоголѣ, съ которымъ самъ Гоголь безусловно согласился. Вотъ его собственные слова на этотъ счетъ: «Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставить такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глачъ вѣкъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей» («Выбран. Мѣста изъ Переп. съ Друзьями»). Въ этихъ словахъ много правды; но ихъ нельзя принимать за полное и окончательное сужденіе о Гоголѣ. Теньеръ былъ по преимуществу живописецъ пошлости жизни голландскаго престоноародья (чтѣ—скажемъ мимоходомъ—не помѣшало Европѣ признать его великимъ талантомъ); эта пошлость есть истинный герой его живописныхъ поэмъ, тутъ она на первомъ планѣ и прежде всего бросается въ глаза зрителю. Однако жъ было бы нелѣпо искать чего-нибудь общаго между талантомъ Теньера и Гоголя. Гогартъ—по преимуществу живописецъ пороковъ, разврата и пошлости, и больше ничего; но и съ нимъ у Гоголя такъ же мало сходства, какъ и съ Теньеромъ. Гоголь создалъ типы—Ивана Ѳедоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничаго, Бобчинскаго и Добчинскаго, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многіе другіе. Въ нихъ онъ является великимъ живописцемъ пошлости жизни, который видитъ насквозь свой предметъ во всей его глубинѣ и широтѣ и схватываетъ его во всей полнотѣ и цѣлости его дѣйствительности. Но зачѣмъ же забываютъ, что тотъ же Гоголь написалъ «Тараса Бульбу»,—поэму, герой и второстепенныя дѣйствующія лица которой—характеры высоко-трагическіе? И между тѣмъ видно, что поэма эта писана той же рукой, которой писаны «Ревизоръ» и «Мертвыя Души». Въ ней является та особенность, которая принадлежитъ только таланту Гоголя. Въ драмахъ Шекспира встрѣчаются съ великими личностями и пошлыя, но комизмъ у него всегда на сторонѣ только послѣднихъ; его Фальстафъ смѣшонъ, а принцъ Генрихъ и потомъ король Генрихъ V—вовсе не смѣшонъ. У Гоголя Тарасъ Бульба такъ же исполненъ комизма, какъ и трагическаго величія; оба эти противоположные элемента слились въ немъ неразрывно и цѣлостно

въ единую, замкнутую въ себя, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смѣтаетесь надъ нимъ. Изъ всѣхъ извѣстныхъ произведеній европейскихъ литературъ примѣръ подобнаго, и то не вполне, слиянія серьезнаго и смѣшнаго, трагическаго и комическаго, ничтожности и пошлости жизни со всѣмъ, что есть въ ней великаго и прекраснаго, представляетъ только «Донъ-Кихоть» Сервантеса. Если въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь умѣлъ въ трагическомъ открыть комическое, то въ «Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ» и «Шинели» онъ умѣлъ уже не въ комизмѣ, а въ положительной пошлости жизни найти трагическое. Вотъ гдѣ, намъ кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это — не одинъ даръ выставлятъ ярко пошлости жизни, а еще больше — даръ выставлятъ явленія жизни во всей полнотѣ ихъ реальности и ихъ истинности. Въ «Перепискѣ» Гоголя есть одно мѣсто, которое бросаетъ яркій свѣтъ на значеніе и особенность его таланта, и которое было или должно понято, или оставлено безъ вниманія. «Эти ничтожные люди (въ «Мертвыхъ Душахъ») однако жъ ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты; тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты моихъ пріятелей.» Дѣйствительно, каждый изъ насъ, какой бы онъ ни былъ хорошей человѣкъ, если вникаетъ въ себя съ тѣмъ безпристрастіемъ, съ какимъ вникаетъ въ другихъ, — то непременно найдетъ въ себѣ въ большей или меньшей степени многие изъ элементовъ многихъ героевъ Гоголя. И кому не случилось встрѣчать людей, которые немножко скупеньки, какъ говорится, прижимисты, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ — прекраснѣйшіе люди, одаренные замѣчательнымъ умомъ, горячимъ сердцемъ? Они готовы на все доброе, они не оставятъ человѣка въ нуждѣ, помогутъ ему, но только подумавши поразсчитавши, съ нѣкоторымъ усиленіемъ надъ собой. Такой человѣкъ, разумѣется, не Плюшкинъ, но съ возможностью сдѣлаться имъ, если поддастся влиянію этого элемента, и если при этомъ стеченіи враждебныхъ обстоятельствъ разовьетъ его и дастъ ему перевѣсъ надъ всѣми другими склонностями, инстинктами и влеченіями. Бываютъ люди съ умомъ, душой, образованіемъ, познаніями, блестящими дарованіями — и при всемъ этомъ съ тѣмъ качествомъ, которое теперь извѣстно на Руси подъ именемъ «хлестаковства». Скажемъ больше: многие ли изъ насъ, положиа руку на сердце, мо-

гутъ сказать, что имъ не случилось быть Хлестаковыми, кому цѣлые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть одинъ день, одинъ вечеръ, одну минуту? Порядочный человѣкъ не тѣмъ отличается отъ пошлаго, чтобы онъ былъ вовсе чуждъ всякой пошлости, а тѣмъ, что видитъ и знаетъ, что въ немъ есть пошлаго, тогда какъ пошлый человѣкъ и не подозрѣваетъ этого въ отношеніи къ себѣ; напротивъ, ему то и кажется больше всѣхъ, что онъ — истинное совершенство. Здѣсь мы опять видимъ подтвержденіе вышесказанной нами мысли объ особенности таланта Гоголя, которая состоитъ не въ исключительномъ только дарѣ живописать ярко пошлость жизни, а проникать въ полноту и реальность явленій жизни. Онъ, по натурѣ своей, не склоненъ къ идеализации, онъ не вѣритъ ей; она кажется ему отвлеченіемъ, а не дѣйствительностью; въ дѣйствительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздѣльны, а только перемѣшаны не въ равныхъ доляхъ. Ему дался не пошлый человѣкъ, а человѣкъ вообще, какъ онъ есть, не украшенный и не идеализированный. Писатели риторической школы утверждаютъ, будто всѣ лица, созданныя Гоголемъ, отрицательны, какъ люди. Справедливо ли это? — Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Возьмемъ на выдержку нѣсколько лицъ. Маниловъ поплъ до крайности, сладокъ до приторности, пусть и ограниченъ; но онъ не злой человѣкъ; его обманываютъ его люди, пользуясь его добродушіемъ; онъ — скорѣе ихъ жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное — не споримъ; но если бы авторъ придалъ къ прочимъ чертамъ Манилова еще жестокость обращенія съ людьми, тогда всѣ бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человѣческой черты! Такъ уважимъ же въ Маниловѣ и это отрицательное достоинство. Собакевичъ — антиподъ Манилова; онъ грубъ, неотесанъ, жужора, плутъ и кулакъ; но изыбы его мужиковъ построены хоть неуклюже, а прочно, изъ хорошаго лѣсу, и, кажется, его мужикамъ хорошо въ нихъ жить. Положимъ, причина этого не гуманность, а расчетъ, но расчетъ, предполагающій здравый смыслъ, расчетъ, котораго, къ несчастью, не бываетъ иногда у людей съ европейскимъ образованіемъ, которые пускаютъ по міру своихъ мужиковъ на основаніи рациональнаго хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но вѣдь если бы его не было въ Собакевичѣ, Собакевичъ былъ бы еще хуже: стало быть, онъ лучше при этомъ отрицательномъ достоинствѣ. Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ея дѣвчонка ходитъ въ грязи босикомъ, но зато не съ

рапнувшими отъ пощечинъ щеками, не сидитъ голодна, не утираетъ слезъ кулакомъ, не считаетъ себя несчастной, но довольна своей участью. Скажутъ: все это доказываетъ только то, что лица, созданныя Гоголемъ, могли бъ быть еще хуже, а не то, чтобы они были хороши. Да мы и не говоримъ, что они хороши, а говоримъ только, что они не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ.

Писатели риторической школы ставятъ въ особенную вину Гоголю, что вмѣстѣ съ пошлыми людьми онъ для утѣшенія читателей не выводитъ на сцену лицъ порядочныхъ и добродѣтельныхъ. Въ этомъ съ ними согласны и почитатели Гоголя изъ славянофильской партіи. Это доказываетъ, что тѣ и другіе почерпнули свои понятія объ искусствѣ изъ однѣхъ и тѣхъ же піитикъ и риторикъ. Они говорятъ: развѣ въ жизни одни только пошлецы и негодаи? Чтѣ сказать имъ на это? Живописецъ изобразилъ на картинѣ мать, которая любитъ своимъ ребенкомъ и которой все лицо—одно выраженіе материнской любви. Чтѣ бы сказали критику, который осудилъ бы эту картину на томъ основаніи, что женщинамъ доступно не одно материнское чувство, что художникъ оклеветалъ изображенную имъ женщину, отнявъ у нея все другія чувства? Я думаю, вы ничего не сказали бы ему, даже согласились бы съ нимъ—и хорошо бы сдѣлали. Но тутъ, скажутъ, уже потому нѣтъ клеветы, что на лицѣ женщины изображено чувство похвальное. Стало быть, по-вашему, живописецъ оклеветалъ бы женщину вообще, если бы представилъ на картинѣ Меду, убивающую, изъ чувства ревности, собственныхъ дѣтей? Стало быть, вы будете осуждать его за то, что онъ не помѣстилъ на своей картинѣ фигуры добродѣтельной женщины, которая бы во всемъ выраженіемъ своего лица и взора, всей своей позой протестовала противъ ужаснаго дѣйствія Меду? Да художникъ хотѣлъ изобразить крайнюю степень ревности; это было задушевною идеею, которую хотѣлъ онъ выразить; стало быть, все чуждое этой идее только раздвоило и ослабило бы интересъ его картины, нарушило бы единство ея впечатлѣнія. Стало быть, подобныя требованія съ вашей стороны противорѣчатъ основнымъ законамъ искусства. «Перебирая послѣдніе романы (говоритъ критикъ «Москвитянина»), изданные во Франціи, съ приязаніемъ на социальное значеніе, мы не находимъ ни одного, въ которомъ бы выставлены были одни пороки и темныя стороны общества. Напротивъ, вездѣ, въ противоположность извергамъ, негодяямъ, плутамъ, ханжамъ, изображаются лица, принадлежащія къ однимъ сословіямъ

и занимающія въ обществѣ одинаковое положеніе съ первыми, но честныя, благородныя, щедрыя и набожныя. Говорятъ, что типы честныхъ людей удаются хуже, чѣмъ типы негодяевъ; это отчасти справедливо; но еще справедливѣе то, что ни тѣ, ни другіе не имѣютъ художественнаго достоинства, пишутся не съ художественной пѣлью, а потому должно судить о нихъ не по выполненію, а по намѣренію.» Мы замѣтимъ на это, что если произведеніе, претендующее принадлежать къ области искусства, не заслуживаетъ никакого вниманія по выполненію, то оно не стоитъ никакого вниманія и по намѣренію, какъ бы ни было оно похвально, потому что такое произведеніе уже нисколько не будетъ принадлежать къ области искусства. Истиннымъ художникамъ равно удаются типы и негодяевъ, и порядочныхъ людей; когда же мы находимъ въ романѣ удачными только типы негодяевъ и неудачными типы порядочныхъ людей, это явный знакъ, что или авторъ взялся не за свое дѣло, вышель изъ своихъ средствъ, изъ предѣловъ своего таланта и, слѣдовательно, погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства, т. е. выдумалъ, писалъ и натягивалъ риторически тамъ, гдѣ надо было творить, или что онъ безъ всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведенія, только по внѣшнему требованію морали, ввелъ въ свой романъ эти лица, и слѣдовательно, опять погрѣшилъ противъ основныхъ законовъ искусства. Вотъ то-то и есть: хлопочуть о чистомъ искусствѣ, и первые не понимаютъ его; нападаютъ на искусство, служащее постороннимъ цѣлямъ, и первые требуютъ, чтобы оно служило постороннимъ цѣлямъ, т. е. оправдывало бы теоріи и системы нравственныя и социальныя. Творчество, по своей сущности, требуетъ безусловной свободы въ выборѣ предметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не въ правѣ задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не въ правѣ направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можетъ имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можетъ быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходитъ съ его талантомъ, его натурой, инстинктами и стремленіемъ. Онъ изобразилъ вамъ порока, развратъ, пошлость: судите, вѣрно ли, хорошо ли онъ сдѣлалъ это; а не толкуйте, зачѣмъ онъ сдѣлалъ это, а не другое, или вмѣстѣ съ этимъ не сдѣлалъ и другого. Говорятъ: чтѣ это за направленіе—изображать одно низкое и пошлое?—А почему бы не такъ? Одинъ живописецъ прославился изображеніемъ вообще животныхъ, другой—только коровъ или лошадей, третій—кухонныхъ



припасовъ, и каждый изъ нихъ только этимъ и занимался всю жизнь, и никого изъ нихъ не обвиняли за это, а въ области поэзіи отнимаютъ у художника это право. То, скажутъ, живопись, а то поэзія. Но вѣдь то и другое, несмотря на все ихъ различіе, равно искусство, а основные законы искусства—одни и тѣ же во всѣхъ искусствахъ. Не вѣрю я эстетическому чувству и вкусу тѣхъ людей, которые съ удивленіемъ останавливаются передъ Мадонной Рафаэля и съ презрѣніемъ отворачиваются отъ картинъ Теньера, говоря: «это проза жизни, пошлость, грязь»; но такъ же точно и не вѣрю я и эстетическому смыслу тѣхъ, которые съ нѣкоторой иронической улыбкой посматриваютъ на Мадонну Рафаэля, говоря: «это идеалы, то, чего нѣтъ въ натурѣ!» и съ умиленіемъ смотрятъ на картины Теньера, говоря: «вотъ натура, вотъ истина, вотъ дѣйствительность!» Для этихъ людей не существуетъ искусства; новая форма—и они не узнаютъ его, какъ маленькія дѣти не узнаютъ знакомаго имъ человѣка, потому только, что онъ на сюртукъ надѣлъ шинель, въ которой они никогда его не видали. Имъ не растолкуешь, что Мадонну и сцены мужиковъ, какъ ни различны эти явленія, произвелъ одинъ и тотъ же духъ искусства, что Рафаэль и Теньеръ—оба художники и оба нашли содержаніе своихъ произведеній въ той же дѣйствительности, безконечно разнообразной и всегда единой, какъ разнообразна и едина природа, какъ разнообразно и едино существо человѣка! А сколько такихъ людей на бѣломъ свѣтѣ! По крайней мѣрѣ мнѣ не разъ случалось встрѣчать такихъ тонкихъ знатоковъ и цѣнителей искусства. Одни изъ нихъ отрицаютъ всякій талантъ въ Гоголѣ, и когда такому господину намекаешь, что это отъ отсутствія эстетическаго чувства, онъ сейчасъ съ торжествомъ возразитъ: «отчего же я понимаю Пушкина и восхищаюсь имъ?» Другіе не признаютъ особеннаго таланта въ Пушкинѣ на томъ основаніи, что имъ очень нравится Гоголь. Это значитъ только, что ни тѣ, ни другіе не понимаютъ ни Пушкина, ни Гоголя и восхищаются въ нихъ все не тѣмъ, что составляетъ сущность и красоту ихъ твореній. Одинъ писатель риторической школы печатно объявилъ, что если бы ему нужно было выѣхать изъ Россіи и взять съ собой только лучшее изъ русской литературы, онъ взялъ бы только басни Крылова и «Горе отъ Ума» Грибоедова. Какъ выраженіе личнаго, частнаго вкуса, это было бы справедливо и основательно; но какъ взгляды на искусство вообще, это ложь, это все равно, какъ если бы кто, любя березу больше всѣхъ дру-

гихъ деревьевъ, сталъ доказывать, что дубъ—дерево некрасивое и дрянное.

Самое сильное и тяжелое обвиненіе, которымъ писатели риторической школы думаютъ окончательно уничтожить Гоголя, состоитъ въ томъ, что лица, которыя онъ обыкновенно выводитъ въ своихъ сочиненіяхъ, оскорбляютъ общество. Въ этомъ съ ними совершенно согласились и славянофилы, только больше въ этомъ отношеніи къ натуральной школѣ, нежели къ Гоголю; первую они нещадно бранятъ за это, а насчетъ Гоголя только изъявляютъ сожалѣніе, что онъ не рисуетъ икупительныхъ лицъ. Подобное обвиненіе больше всего показываетъ незрѣлость нашего общественнаго образованія. Въ странахъ, упредившихъ насъ развитіемъ цѣлыхъ вѣковъ, и понятія не имѣютъ о возможности подобнаго обвиненія. Никто не скажетъ, чтобы англичане не были ревнивы къ своей національной чести; напротивъ, едва ли есть другой народъ, въ которомъ національнѣйшій эгоизмъ доходилъ бы до такихъ крайностей, какъ у англичанъ. И между тѣмъ они любятъ своего Гогарта, который изображалъ только пороки, развратъ, злоупотребленія и пошлость англійскаго общества его времени. И ни одинъ англичанинъ не скажетъ, что Гогартъ оклеветалъ Англію, что онъ не видѣлъ и не признавалъ въ ней ничего человѣческаго, благороднаго, возвышеннаго и прекраснаго. Англичане понимаютъ, что талантъ имѣетъ полное и святое право быть одностороннимъ, и что онъ можетъ быть великимъ въ самой односторонности. Съ другой стороны, они такъ глубоко чувствуютъ и сознаютъ свое національное величіе, что нисколько не боятся, чтобы ему могло повредить обнаруженіе недостатковъ и темныхъ сторонъ англійскаго общества. Но и мы можемъ жаловаться только на незрѣлость общественнаго образованія, а не на отсутствіе въ нашемъ обществѣ чувства своего національнаго достоинства: это доказывается тѣмъ фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію, что, несмотря на ребяческіе возгласы невопадъ усердныхъ патриотовъ, произведенія Гоголя въ короткое время получили на Руси народность. Ихъ не читаютъ только тѣ, которые ничего не читаютъ; а «Ревизора» знаютъ многіе и изъ тѣхъ, которые вовсе не знаютъ грамоты. Успѣхъ натуральной школы есть тоже фактъ, подтверждающій ту же истину. И оно такъ должно быть: чѣмъ сильнѣе человѣкъ, чѣмъ выше онъ нравственно, тѣмъ смѣлѣе онъ смотритъ на свои слабыя стороны и недостатки. Еще болѣе можно сказать это о народахъ, которые

живуть не человѣческой вѣкъ, а пѣлые вѣка. Народъ слабый, ничтожный или состарѣвшійся, изжившій всю жизнь свою до невозможности идти впередъ, любить только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны: онъ знаетъ, что онъ смертельный, что его дѣйствительность не представляетъ ему ничего отраднаго, и что только въ обманѣ самого себя можетъ онъ находить тѣ ложныя утѣшенія, до которыхъ такъ падки слабые и дряхлые. Таковы, на примѣръ, китайцы или персіяне: послушать ихъ, такъ лучше ихъ нѣтъ народа въ мірѣ и всѣ другіе народы передъ ними—ослы и негодяи. Не таковы долженъ быть народъ великій, полный силъ и жизни; сознание своихъ недостатковъ вмѣсто того, чтобы приводить его въ отчаяніе и повергать въ сомнѣнія о своихъ силахъ, даетъ ему новыя силы, окрыляетъ его въ новую дѣятельность. Вотъ почему первый нашъ свѣтскій писатель былъ сатирикъ, и съ легкой руки его сатира постоянно шла объ руку съ другими родами литературы. Лирикъ Державинъ, воспѣвавшій величіе Россіи, былъ въ то же время и сатирикомъ, и его оды къ «Фелицѣ», его «Вельможа» принадлежатъ къ лучшимъ и оригинальнѣйшимъ его произведеніямъ. Здѣсь мы не можемъ не упомянуть о просвѣщенномъ и благодѣтельномъ покровительствѣ, которымъ наше правительство ободряло сатиру: оно допустило къ представленію и «Недоросля», и «Ябеду», и «Горе отъ Ума», и «Ревизора». И наше общество было достойно своего правительства; за исключеніемъ второй изъ этихъ комедій, слабой по исполненію, всѣ другія въ короткое время сдѣлались народными драматическими пьесами.

На чемъ основаны доказательства противниковъ и почитателей Гоголя, что его произведенія оскорбительны для русскаго имени? На томъ только—и больше ни на чемъ—что, читая ихъ, каждый убѣдится, что въ Россіи нѣтъ порядочныхъ людей. Мы вполне согласны, что точно найдется не мало людей, способныхъ вывести изъ сочиненій Гоголя такое оригинальное слѣдствіе; но гдѣ же нѣтъ такихъ простодушныхъ читателей, которые далѣе буквального смысла книги ничего въ ней не видятъ, и неужели по нимъ должно судить о всей русской публикѣ, и только соображаясь съ ихъ ограниченностью должна дѣйствовать литература? Напротивъ, намъ кажется, о нихъ она всего менѣе должна заботиться. Есть люди, для которыхъ литература и наука, просвѣщеніе и образованіе дѣйствительно только вредны, а не полезны, потому что сбиваютъ ихъ съ послѣдняго остатка здраваго смысла, скупо удѣленнаго имъ природой; неужели же для

нихъ уничтожить литературу и науку, просвѣщеніе и образованіе? Подобное предположеніе нелѣпо уже по одному тому, что такіе люди находятся въ рѣшительномъ меньшинствѣ и что литература и наука оказываютъ благодѣтельное вліяніе не на однихъ избранныхъ натуры, но на всю массу общества. Намъ скажутъ, что не одни ограниченные люди видятъ въ сочиненіяхъ Гоголя оскорбленіе русскому обществу. Положимъ такъ; но мнѣніе-то это, кому бы ни принадлежалъ оно, всегда будетъ ограниченнымъ. Писатель выведетъ въ повѣсти пьяницу, а читатель скажетъ: можно ли такъ позорить Россію? Будто въ ней все одни пьяницы? Положимъ, этотъ читатель умный, даже очень умный человѣкъ: да слѣдствіе-то, которое онъ вывелъ изъ повѣсти, нелѣпо. Намъ скажутъ, что искусство обобщаетъ частныя явленія, и что оно уже не искусство, если представляетъ явленія случайныя. Правда; но въдѣ общество и особливо народъ заключаетъ въ себѣ множество сторонъ, которыя не только повѣсть, цѣлая литература никогда не исчерпаетъ. Критикъ «Москвитянина» особенно обидѣлся повѣстью «Деревня». «Въ ней (говоритъ онъ) собрано и ярко выставлено все, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ грубаго, оскорбительнаго и жестокаго. Но поражаютъ не частности, а глубокая безчувственность и совершенное отсутствіе нравственнаго смысла въ цѣломъ быту. Ни состраданія, ни раскаянія, ни стыда, ни страха, ни даже животной привязанности между единокровными, авторъ ничего не нашелъ въ русской деревнѣ. Можетъ быть, вы подумаете, что она представляется ему въ томъ состояніи первобытной дикости, которое, по мнѣнію нѣкоторыхъ, предшествуетъ пробужденію нравственнаго сознанія и, слѣдовательно, допускаетъ развитіе; но вы ошибаетесь; въ сквернословіи крестьянъ авторъ подслушалъ какую-то иронию надъ пошлымъ чувствомъ, признакъ не дикости, а растлѣнія; имена отца, матери, слова молитвы произносятся безпрестанно, но безотзывно; ими играютъ безъ содроганія; они какъ будто выдуманы для другихъ людей, а не для жалкаго племени, утратившаго всякое подобіе съ человѣкомъ.» У! какъ сильно! Только справедливо ли? Содержаніе повѣсти «Деревня» состоитъ въ томъ, что бѣдную, загнанную сиротку, по проискамъ шута-старосты, господа выдали замужъ за негодяя, въ дурную семью. Что же критикъ «Москвитянина» думаетъ, что въ деревняхъ нѣтъ негодяевъ, нѣтъ дурныхъ семействъ? Или онъ думаетъ, что изобразить негодяя или дурное семейство значить—доказать, что въ русскіхъ деревняхъ все негодяи и дурныя семейства? Надо согласиться, что нашъ

критикъ очень щедръ въ раздачѣ другимъ разныхъ дурныхъ пѣлей и намѣреній: но, къ счастью, вовсе не попадаѣ. Въ повѣсти «Деревня» Григоровичъ изобразилъ деревню именно въ томъ видѣ, какъ это говорить критикъ «Москвитянина», хотя и не съ той цѣлью, не съ той мыслью, которыя онъ такъ великодушно ему приписываетъ. Въ нравахъ этой «Деревни» дѣйствительно только грубое и жестокое, и нѣтъ даже «животной привязанности между единокровными». Но вотъ тотъ же самый Григоровичъ, который написалъ «Деревню», предлагаетъ читателямъ въ этой книгѣ «Современника» новую свою повѣсть («Антонъ Горемыка»), въ которой на сценѣ опять деревня и которой герой — русскій крестьянинъ, но уже вовсе не въ родѣ мужа Акулины, а человѣкъ добрый, который, по-своему, нѣжно, человѣчески любитъ своего племянника, свою жену и обращается съ ними по-человѣчески. Слѣдуетъ ли же изъ этого, что Григоровичъ видитъ въ русской деревнѣ только дикость и звѣрство въ семейныхъ отношеніяхъ? Нѣтъ, изъ этого слѣдуетъ совсѣмъ другое, а именно то, что въ одной повѣсти онъ взялъ одну сторону деревни, а въ другой — другую. Вы сами сказали, что въ первой повѣсти онъ выставилъ все грубое, оскорбительное и жестокое, что можно было найти въ нравахъ крестьянъ. Если это можно было найти, значитъ, это не выдуманно, а взято съ дѣйствительности, значитъ, это истина, а не клевета. Послѣдней тутъ нельзя искать послѣ вашихъ собственныхъ словъ; ее скорѣе можно искать и найти въ вашемъ усиліи обвинить Григоровича въ дурныхъ пѣляхъ и намѣреніяхъ... Какое вы имѣете право требовать отъ автора, чтобы онъ замѣчалъ и изображалъ не ту сторону дѣйствительности, которая сама мечется ему въ глаза, которую онъ узналъ, изучилъ, а ту, которая васъ занимаетъ? Вы въ правѣ только требовать, чтобы онъ не выдумывалъ, былъ вѣренъ изображаемой имъ дѣйствительности; а все, что есть и бываетъ, принадлежитъ ему, равно какъ и выборъ изъ всего этого. Въ «Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ» есть слѣдующее статистическое извѣстіе касательно смертности въ Россіи:

„Кромѣ разницы въ численности (погибшихъ въ дракахъ) есть еще то различіе между мужчинами, женщинами и дѣтьми, что первые почти всѣ погибли въ обоюдныхъ ссорахъ и побойкахъ, часто вслѣдствіе собственной же задорливости при слабости; изъ послѣднихъ женщины преимущественно были жертвами супружескихъ неудовольствій и исправительныхъ или наставительныхъ мѣръ супруговъ, кромѣ немногихъ случаевъ, гдѣ и онѣ пала,

рабоборствуя даже иногда съ подобными же себѣ женщинами; а дѣти лишились жизни болѣе всего отъ неумѣреннаго наказанія ихъ, что называется чѣмъ попало, за шалости или проступки. Всѣ эти случаи не составляютъ убійствъ преднамеренныхъ, и не могутъ быть не причтены къ смертности отъ неосторожности. Въ Тверской губерніи, напримѣръ, одинъ крестьянинъ, желая наказать жену за что-то, убилъ ударомъ руки бывшаго у ней на груди ребенка: что это какъ не неосторожность? Весьма похожая на эту смерть постигла одного шестнадцатимѣсячнаго ребенка въ Полтавской губерніи, а въ Курской случилось точь въ точь подобное происшествіе.

Такого рода официальное извѣстіе можетъ быть до нѣкоторой степени указателемъ нравовъ простого народа. Что случается часто или нерѣдко, то не есть явленіе случайное, исключительное и можетъ служить матеріаломъ для художественнаго произведенія, но отнюдь не можетъ быть принято за всеобщее явленіе, исключющее всѣ противоположныя, и служить позоромъ обществу или народу. Такъ, напримѣръ, всѣмъ извѣстно, что, кромѣ Россіи, нигдѣ нѣтъ обыкновенія париться въ жаркой банѣ, слѣдовательно, нигдѣ же, кромѣ Россіи, не можетъ быть и примѣровъ смерти отъ запариванія. Но слѣдуетъ ли скрывать такіе факты изъ боязни какого-то нареканія на народъ? Это случается въ народѣ, но кто же скажетъ, что весь русскій народъ какъ дорвется до поля, такъ и запарится сейчасъ же? Крайняя степень всякаго зла тѣмъ еще и выносима, что обрушивается всегда на меньшинствѣ, слѣдовательно, если и можетъ принадлежать тому или другому обществу, то никогда не можетъ послужить обвиненіемъ всему обществу.

Но обратимся исключительно къ критику «Москвитянина» и разберемъ его мнѣніе о Гоголѣ и натуральной школѣ. «Гоголь (говорить онъ) первый дерзнулъ ввести изображение пошлаго въ область искусства.» Неправда. Литература наша началась не съ Гоголя, а между тѣмъ именно началась попыткой ввести изображение пошлаго въ область искусства. Помните Кантемира. Съ тѣхъ поръ, какъ мы замѣтили это выше, литература наша не оставляла вовсе этого направленія. Въ немъ блистательно отличился Фонвизинъ; оно отразилось во многихъ лучшихъ созданіяхъ Державина. Пушкинъ началъ писать своего (неоконченнаго впрочемъ) «Арапа Петра Великаго», когда еще имени Гоголя не появлялось въ печати. При этомъ не мѣшаетъ вспомнить не только «Графа Нулина», всего посвященнаго изображенію пошлости, но и «Евгенія Онегина», въ которомъ изображеніе пошлости играетъ не послѣднюю роль. Гоголь только пошлаѣ дальше всѣхъ въ томъ, что критикъ «Москвитянина» разумѣетъ подѣ

выраженіемъ — изображеніе пошлости, и что, по нашему мнѣнію, справедливѣе называть изображеніемъ дѣйствительности, какъ она есть, во всей ея полнотѣ и истинѣ. Въ этомъ отношеніи Гоголь дѣйствительно сталъ такъ выше всѣхъ другихъ писателей русскихъ, обнаружилъ въ своей манерѣ столько самобытности и оригинальности, что сталъ основателемъ новой литературной школы, хотѣлъ ли онъ этого, или нѣтъ — все равно. Но пойдѣмъ далѣе за нашимъ критикомъ.

„На то нуженъ былъ его гений. Въ этотъ глухой, безцвѣтный міръ, безъ грома и безъ потрясеній, неподвижный и ровный, какъ бездонное болото, медленно и безвозвратно втягивающее въ себя все живое и свѣжее, въ этотъ міръ *высоко поэтической самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго (?)*, онъ первый опустился какъ рудокопъ, почуявшій подъ землей еще нетронутую силу. Съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта но созвательный подвигъ цѣлой жизни, *выраженіе личной потребности внутренняго очищенія*. Подъ изображеніемъ дѣйствительности, поразительно истиннымъ, *скрывалась душевная, скорбная исповѣдь*. Отъ этого произошла *односторонность* его послѣднихъ произведеній, *которыя однако нельзя назвать односторонними (!)* именно потому, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе (!...!). Оно такъ необходимо для полноты впечатлѣнія, такъ нераздѣльно съ художественнымъ достоинствомъ его произведеній, что литературный подвигъ Гоголя только въ этомъ смыслѣ и могъ совершиться (???...). Ни страсть къ наблюденіямъ, ни благородное негодованіе на пороки и вообще никакое побужденіе, какъ бы съ виду оно ни было безкорыстно, но допускающее въ душѣ художника чувство личнаго превосходства, не дало бы на него ни права, ни силъ (??). Нужно было породниться душой съ той жизнью и съ тѣми людьми, отъ которыхъ отворачиваются съ презрѣніемъ, нужно было почувствовать въ себѣ самую ихъ слабость, пороки и пошлость, чтобы въ нихъ же почувствовать присутствіе человеческого. Кто съ этимъ не согласенъ, или кто иначе понимаетъ внутренній смыслъ произведеній Гоголя, съ тѣмъ мы не можемъ спорить — это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые рѣшаются безъ апелляции въ глубинѣ сознанія.

Мы и не споримъ, потому что спорить можно только противъ того, съ чѣмъ быяешь не согласенъ; но что въ то же время хорошо понимаешь; а въ этой выпискѣ, признаемся, мы почти ничего не поняли. Почему міръ, изображенный Гоголемъ, высокопоэтиченъ самымъ отсутствіемъ всего идеальнаго? Почему послѣднія произведенія Гоголя односторонни, однако жъ ихъ не позволяется называть односторонними на томъ основаніи, что вмѣстѣ съ содержаніемъ художникъ передаетъ свою мысль, свое побужденіе? Воля ваша — темно что-то, мистицизмомъ отзывается! Ничего не понимаемъ! Что значитъ «вмѣстѣ съ содержаніемъ передавать свою мысль»? Да въ искусствѣ

иначе мысль и не передается, какъ черезъ содержаніе и форму; это дѣлали всѣ художники и до Гоголя, и будутъ дѣлать послѣ него, потому что въ этомъ сущность искусства. Почему Гоголь открылъ міръ пошлости не вслѣдствіе своей художнической природы, своего художническаго призванія, а вслѣдствіе «личной потребности внутренняго очищенія»? Да это пахнетъ умилительной средневѣковой легендой, чѣмъ-то въ родѣ баллады «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ!» Еще разъ — ничего не понимаемъ! И потому, оставивъ въ покоѣ этотъ великолѣпный наборъ громкихъ словъ и таинственныхъ фразъ, перейдемъ къ натуральной школѣ, которая въ глазахъ нашего критика безъ вины виновата передъ Гоголемъ тѣмъ, что пошла по пути, который онъ ей самъ указалъ.

Первая ея вина та, что она переняла у Гоголя только его односторонность, т. е. взяла у него одно содержаніе, изъ чего неоспоримо слѣдуетъ, что односторонность есть содержаніе, а содержаніе есть односторонность. Но пусть будетъ такъ. Вторая вина ея та, что она подражаетъ Гоголю во всемъ, даже въ опредѣленіи людей по бородавкѣ на носу, по цвѣту жилета и т. п. Но направленіе натуральная школа заимствовала не у Гоголя, а у новѣйшей французской литературы, и это направленіе есть «кариатура и клевета на дѣйствительность, понятая какъ исправительное средство». Затѣмъ слѣдуетъ характеристика новѣйшей французской литературы и ея сравненіе съ ловкимъ приказчикомъ, который, «поддѣлаваясь подъ вкусъ публики и соблазняя ее яркими красками, заманиваетъ къ себѣ въ лавку толпу покупателей, отбиваетъ ихъ отъ сосѣдняго продавца и помогаетъ своему господину (т. е. хозяину) сбывать товаръ, иными словами: вербовать послѣдователей.» Сравненіе очень вѣрно: всякое изящное произведеніе съ социальнымъ направленіемъ есть, во-первыхъ, непременно французское, хотя бы писано было, напримѣръ, Диккенсомъ; во-вторыхъ, вербовать послѣдователей значитъ — торговать, а торговать значитъ — набирать послѣдователей. Противъ этого нечего сказать, кромѣ развѣ того, что писатели риторической школы дадутъ большаго маха, если собственными словами нашего критика не докажутъ, что Гоголь заимствовалъ свое направленіе у новѣйшей французской литературы. Это имъ будетъ тѣмъ легче сдѣлать, что они, подобно намъ, вѣроятно, не вѣрятъ мистическому увѣренію, будто Гоголь открылъ міръ пошлости вслѣдствіе личной потребности внутренняго очищенія, чѣмъ и отличался рѣзко и отъ новѣйшей французской литературы, и отъ русской натуральной школы,

подражающей ему. Но далѣе: новѣйшая французская литература приняла въ себя, какъ основное двигательное начало,—одушевленіе страсти, какъ цѣль—возбужденіе страсти; а страсть, по мнѣнію нашего критика, оскверняетъ все то, во что ее вмѣшиваютъ. Мы думали доселѣ, что, напротивъ, страсть есть источникъ всякой живой, плодотворной дѣятельности, что ею сдѣлано все великое и прекрасное, и что зло не въ страсти вообще, а въ дурныхъ страстяхъ; но что безъ страстей вообще житейское море такъ же бы чуждо было всякаго движенія, какъ водяное море безъ вѣтровъ. Иные люди нападаютъ на страсти оттого именно, что сами слишкомъ страстны, что устали и измучились волненіемъ страстей. Другіе же потому, что все ихъ не знаютъ и сами не вѣдаютъ, за что на нихъ сердится. Всякіе бываютъ люди и всякія страсти. У иного, напримѣръ, всю страсть, весь пафосъ его натуры составляетъ холодная злость, и онъ только тогда бываетъ уменъ, талантливъ и даже здоровъ, когда кусается.

Итакъ, это дѣло рѣшенное, не подлежащее никакому сомнѣнію, что сущность новѣйшей французской литературы—«клевета на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенная для поощренія къ совершенствованію.» «Стремленіе, (прибавляетъ нашъ критикъ) въ основѣ своей благородное, похвальное, но созданное ложно и потому безплодное.» Однако жъ не думайте, чтобы натуральная школа ужъ ничѣмъ не отличалась отъ французской литературы: у нея содержаніе свое, національное, разработанное Гоголемъ. Что за путаница! Какъ истина-то, противъ воли нашего критика, сама пробивается наружу сквозъ непроходимую чащу умышленно наплетенныхъ клеветъ, съ благородной цѣлью если не исправить своихъ литературныхъ противниковъ, то хоть насолить имъ! Какъ ни припутываетъ онъ къ натуральной школѣ французскую словесность, а все-таки только одинъ Гоголь является въ прямомъ отношеніи къ ней. Какъ ни бились мы, чтобы понять, чѣмъ, по мнѣнію нашего критика, разнится натуральная школа отъ Гоголя, а поняли въ его словахъ только то, что давно хорошо понимали и безъ него, т. е. что Гоголь далеко выше всѣхъ своихъ послѣдователей. Значитъ, преступленіе натуральной школы состоитъ только въ томъ, что таланты ея представителей ниже таланта Гоголя. Да, это вина! Мы пропускаемъ юмористическую характеристику натуральной школы, сдѣланную критикомъ «Москвитянина» съ цѣлью показать всю ничтожность, пустоту

и пошлость натуральной школы. Въ этой характеристикѣ онъ обнаружилъ бездну того остроумія, которое такъ и блещетъ въ его сравненіи французской социальной литературы съ лавкой приказчика. Онъ говоритъ, что произведенія натуральной школы—пародія на созданные Гоголемъ типы, карикатуры и клевета на дѣйствительность, что ея приемы всегда одни и тѣ же, характеры блѣдны и безцвѣтны, интрига завязывается слабымъ узломъ, такъ что всякій рассказъ можно на любомъ мѣстѣ прервать и также тянуть до безконечности, и что всѣмъ этимъ достигается побочная цѣль, а именно: наводитъ нестерпимая скука на читателя. Далѣе онъ говоритъ положительно, что вліяніе натуральной школы безвредно, потому что ничтожно. Эта мысль даже повторена; въ другомъ мѣстѣ критикъ говоритъ, что писатели нелюбимой имъ школы впали въ односторонность «именно потому, что у насъ односторонность невинна и безопасна, что самое направленіе есть плодъ подражанія, а не дѣйствительныхъ потребностей общества, и потому забавляетъ его или наводитъ на него скуку, не задѣвая за живое.» Наконецъ, что натуральная школа не поддержана ни однимъ сильнымъ талантомъ, что ей не поддался ни одинъ даже второклассный талантъ, и что она должна исчезнуть такъ же скоро и случайно, какъ она возникла.

Положимъ, все это справедливо; но въ такомъ случаѣ изъ чего же вы горячитесь, зачѣмъ безпрестанно пишете о натуральной школѣ, ни на минуту не сводите съ нея вашего тревожнаго вниманія, посвящаете ей цѣлыя длинныя статьи, похожія на горькія жалобы, если еще не на что-то худшее?.. Воля ваша, а тутъ есть странное противорѣчіе, которое можно объяснить только развѣ тѣмъ, что къ этому вопросу примѣшалась та страсть, которой вліяніе критикъ находитъ столь дурнымъ. Стоитъ ли толковать о пустякахъ, о вздорѣ,—словомъ, о литературныхъ произведеніяхъ, которыя клеветуютъ на общество, даже не по злонамѣренности, напротивъ, съ добрымъ и благороднымъ намѣреніемъ, а потому, что они не самобитны, на половину подражаютъ Гоголю, перенимая его односторонность и недостатки, на половину—новѣйшей французской литературѣ, перенимая у ней преувеличенія и недобросовѣстное искаженіе дѣйствительности,—о литературныхъ произведеніяхъ, чуждыхъ всякаго достоинства, не означенныхъ талантомъ, способныхъ наводить только скуку, и потому самому безвредныхъ и ничтожныхъ, несмотря на ложное ихъ направленіе? Но если уже нашъ критикъ

позволять себѣ сдѣлать такую несообразность, впасть въ такое противорѣчіе съ самимъ собой, несмотря на всю нелюбовь его къ подобнымъ противорѣчіямъ по крайней мѣрѣ въ другихъ, онъ все же бы долженъ былъ представить хоть какія-нибудь доказательства въ подтвержденіе своего мнѣнія, вмѣсто того чтобы ограничиться только изложеніемъ своего мнѣнія. Нѣтъ ничего легче, какъ доказывать общими положеніями безъ примѣненій ихъ къ подробностямъ обсуживаемаго предмета. Этакъ легко доказать, что не только натуральная школа, но и любая литература никуда не годится; но подобная манера доказывать убѣдительно только для доказывающаго, больше ни для кого. Правда, критикъ сослался на три произведенія натуральной школы: «Деревню», «Родственники» и «Помѣщикъ»; но, во-первыхъ, натуральная школа состоитъ не изъ трехъ же только этихъ произведеній, а во-вторыхъ, онъ только назвалъ ихъ дурными, не приведя никакихъ доказательствъ, вѣроятно, думая, что ему стоить только сказать то или другое, чтобы ему всё повѣрили безусловно. Правда, онъ распространился о «Деревнѣ», но изъ его диктаторскихъ возгласовъ противъ этой повѣсти видно только то, что ему не нравится ея направленіе, а не то, чтобы оно дѣйствительно было дурно. Нѣтъ, если онъ хотѣлъ, почему бы то ни было, уничтожить натуральную школу, ему бы слѣдовало, оставивъ въ сторонѣ ея направленіе, ея, какъ онъ вѣжливо выражается, клеветы на общество, разобрать главныя ея произведенія на основаніи эстетической критики, чтобы показать, какъ мало или какъ все не соответствуютъ они основнымъ требованіямъ искусства. Тогда уже и ихъ направленіе само собой уничтожилось бы, потому что когда произведеніе, претендующее принадлежать къ области искусства, не выполняетъ его требованій, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасетъ его никакое направленіе. Искусство можетъ быть органомъ извѣстныхъ идей и направленій, но только тогда, когда оно — прежде всего искусство. Иначе его произведенія будутъ мертвыми аллегоріями, холодными диссертаціями, а не живымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности. Тѣмъ болѣе обязанъ былъ сдѣлать это нашъ критикъ, что онъ особенно заботится о чистомъ искусствѣ, объ искусствѣ, какъ искусство. Но онъ предпочелъ упомянуть, и то вскользь, о трехъ только произведеніяхъ натуральной школы, а обо всѣхъ другихъ умалчиваетъ. и. кромѣ Григоровича, не назвалъ по имени ни одного изъ ея представителей.

На все на это у него были свои причины. Онъ, вѣроятно, чувствовалъ, что, путившись въ настоящую критику произведеній натуральной школы, онъ принужденъ былъ бы найти въ ней что-нибудь и хорошее, что было вовсе несообразно съ его намѣреніемъ; потому онъ не могъ бы избѣжать выписокъ, а онъ могли бы доказывать совершенно противное его доказательствамъ. Называя по именамъ писателей натуральной школы, онъ этимъ показалъ бы, что не шутитъ своимъ дѣломъ и не смотритъ на отношенія, въ которыя могла бы его поставить его откровенность ко столькимъ лицамъ. Гораздо спокойнѣе было ему назвать только одного, да намекнуть еще на двухъ: остальные не въ правѣ считать себя въ числѣ поднавшихъ его нападкамъ: при случаѣ можно сказать имъ, что онъ не относитъ ихъ къ натуральной школѣ. Но подобныя недоговорки и уклончивость никогда не разъясняютъ дѣла, а только усиливаютъ и усложняютъ недоразумѣнія, и потому мы просимъ нашего критика отвѣтить намъ прямо и откровенно: неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ не видитъ никакого таланта, не признаетъ никакой заслуги въ такихъ писателяхъ, каковы, напримѣръ: Луганскій (Даль), авторъ «Тарантаса», авторъ повѣсти «Кто виноватъ?», авторъ «Бѣдныхъ Людей», авторъ «Обыкновенной Истории», авторъ «Записокъ Охотника», авторъ «Послѣдняго Визита», о которыхъ онъ не почелъ за нужное упомянуть? Потому: неужели онъ и въ самомъ дѣлѣ ни во что ставитъ успѣхъ произведеній натуральной школы или думаетъ увѣрить насъ, что онъ его не видитъ и не признаетъ? Какіе журналы пользуются наибольшимъ успѣхомъ, если не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы, и которыхъ направленіе совпадаетъ съ направленіемъ этой школы? Скажемъ больше: безъ этихъ произведеній натуральной школы теперь невозможенъ успѣхъ никакого журнала. Или критикъ нашъ не шутя считаетъ русскую публику до сихъ поръ несовершеннолѣтней, какимъ-то недорослемъ, который шагъ не можетъ сдѣлать безъ критическихъ нянекъ, и потому поневоля допускаетъ ихъ сбивать его съ толку направляя то въ ту, то въ другую сторону? Это дѣйствительно было въ эпоху безусловной вѣры въ имена и авторитеты; но этого давно уже нѣтъ. Критика, слава Богу, давно уже изъ журналовъ перешла въ публику, сдѣлалась общественнымъ мнѣніемъ. Судьба книги или какого-нибудь литературнаго произведенія уже давно не зависитъ отъ произвола всякаго, кто только вздумаетъ ее поднять или уронить. Мо-

пополій критическихъ теперь нѣтъ, потому что у всякаго журнала свое мнѣніе, и что хвалить одинъ, то бранить другой. Но обратимся къ фактамъ. Пушкинъ былъ встрѣченъ и восторженными похвалами, и ожесточенной бранью: неужели же наша публика признала его великимъ національнымъ поэтомъ только потому, что его хвалители перекричали его порицателей? Нужно ли говорить, что съ перваго появленія Гоголя на литературное поприще до сей минуты его постоянно преслѣдуетъ одна литературная партія, что самыя рѣшительныя нападки на него раздавались изъ журнала, имѣвшаго обширный кругъ читателей, и доселѣ раздаются изъ газеты, тоже пользующейся большимъ расходомъ? Неужели же опять необыкновенный и быстрый успѣхъ сочиненій Гоголя произошелъ оттого, что, какъ увѣряетъ одна газета, его хвалители кричали громче всѣхъ? Лермонтовъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ какихъ-нибудь четыре года, и умеръ прежде, нежели талантъ его успѣлъ вполне развернуться, а между тѣмъ во мнѣніи публики онъ еще при жизни своей сталъ въ ряду первоклассныхъ знаменитостей русской литературы: неужели и это опять дѣло литературной партіи. А публика тутъ что же? Какая, подумаешь, сговорчивая публика! Но почему же наши противники съ обѣихъ сторонъ не могли увѣрить ее ни въ ничтожности прославляемыхъ нами литературныхъ именъ, ни въ великости талантовъ и заслугъ писателей своихъ партій? Вѣдь если дѣло пойдетъ на громкость голоса, рѣзкость выраженій и рѣшительность приговоровъ, наши противники едва ли уступятъ намъ въ этомъ, но, вѣроятно, еще и далеко превзойдутъ насъ... Но риторическая школа, нападая на натуральную, по крайней мѣрѣ противопоставляетъ, хотя и безъ успѣха, ей писателямъ и произведеніямъ своихъ писателей и свои произведенія, но господа славянофилы не могутъ сдѣлать и этого. А между тѣмъ самымъ простымъ, законнымъ, справедливымъ и дѣйствительнымъ средствомъ уничтожить натуральную школу и дать настоящее направление вкусу публики было бы для нихъ—противопоставить ей писателямъ своихъ писателей, ей произведеніямъ—свои произведенія... Что же мѣшаетъ имъ сдѣлать это? Они, впрочемъ, это и дѣлаютъ время отъ времени, понемножку и помяленьку: то напечатаютъ повѣсть, которой никто, кромѣ ихъ, читать не можетъ и не хочетъ, то стихотвореніе въ родѣ «свѣтикадуны», въ народномъ тонѣ котораго виденъ баринъ, неловко костюмировавшійся крестьяниномъ... Бѣдныя!..

Но мы еще не упомянули о самой главной, самой тяжелой винѣ, которая, по мнѣнію критика «Москвитянина», лежитъ на натуральной школѣ. Дѣло—видите ли—въ томъ, что «она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клеветаетъ на него, какъ и на общество»!.. Вотъ ужъ этого-то обвиненія мы, признаться, не ожидали отъ славянофиловъ, хотя и многого другого ожидали отъ нихъ! Но защищать противъ него натуральную школу мы не намѣрены, по крайней мѣрѣ серьезно, потому что видимъ въ немъ даже не клевету, а просто недѣльность. Это все равно, какъ если бы славянофиловъ обвинять въ исключительной любви къ Западу и ненависти ко всему, что носитъ на себѣ славянскій характеръ. Въ этомъ случаѣ мы искренно жалѣемъ о критикѣ «Москвитянина», что онъ не позаботился подкрѣпить ссылками на сочиненія натуральной школы и даже выписками изъ нихъ такое важное, уже не въ литературномъ, а въ нравственномъ отношеніи, обвиненіе, выставляющее въ дурномъ свѣтѣ не талантъ, а сердце его противниковъ, оскорбляющее уже не самолюбіе, а ихъ достоинство... Да, такой со стороны его необдуманный поступокъ возбуждаетъ въ насъ искреннее къ нему сожалѣніе...

Положеніе натуральной школы между двумя непріязненными ей партіями поистинѣ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ обѣихъ—самое себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... Оставимъ въ сторонѣ разглагольствованія критика «Москвитянина» о народѣ, который, по его мнѣнію, «сохранилъ въ себѣ какое-то здравое сознаніе равновѣсія между субъективными требованіями и правами дѣйствительности,—сознаніе, заглушенное въ насъ одностороннимъ развитіемъ личности», и предоставимъ ему самому разгадать таинственный смыслъ его собственныхъ словъ, а сами замѣтимъ только, что враги натуральной школы отличаются между прочимъ удивительной скромностью въ отношеніи къ самимъ себѣ и удивительной готовностью отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, Хомяковъ, съ рѣдкой въ нашъ хитрый и осторожный вѣкъ наивностью, объявилъ печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству «невольное и прирочденное», а у его противниковъ—«приобрѣтенное волей и разсудкомъ, такъ сказать, наживное» («Моск. Сборникъ», 1847). А вотъ теперь М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, моно-

полю на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всіми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что дѣлалось литераторами для споспѣшествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими. Укажемъ на «Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ: тамъ есть труды Даля, князя Одоевскаго, графа Соллогуба и другихъ литераторовъ, но ни одного изъ славянофиловъ. Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то очень не ласково и не высоко цѣнятъ его; но не будемъ здѣсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала, что могла, для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезной; а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него. И почему думаетъ критикъ «Москвитянина», что писатели натуральной школы не знаютъ народа? Сошлемся въ особенности на того же Даля, о которомъ мы уже упоминали: изъ его сочиненій видно, что онъ на Руси человекъ бывалый; воспоминанія и рассказы его относятся и къ западу и къ востоку, и къ сѣверу и къ югу, и къ границамъ и къ центру Россіи; изъ всѣхъ нашихъ писателей, не исключая и Гоголя, онъ особенное вниманіе обращаетъ на простой народъ, и видно, что онъ долго и съ участіемъ изучалъ его, знаетъ его быть до малѣйшихъ подробностей, знаетъ, чѣмъ владимірскій крестьянинъ отличается отъ тверского и въ отношеніи къ отгѣнкамъ нравовъ, и въ отношеніи къ способамъ жизни и промысламъ. Читая его ловкіе, рѣзкіе, теплые типическіе очерки русскаго простонародья, многому отъ души смѣешься, о многомъ отъ души жальешься, но всегда любишь въ нихъ простой нашъ народъ, потому что всегда получаешь о немъ самое выгодное для него понятіе. И публика послѣ этого повѣритъ какому-нибудь М... З... К..., въ продолженіе двухъ почти лѣтъ прогарцовавшему въ литературѣ двумя статейками, что такой писатель, какъ Даль, меньше его знаетъ и любитъ русскій народъ, и что онъ выставляетъ его въ карикатурѣ?... Не думаемъ! Нападая на Григоровича за злостное, будто бы, представленіе крестьянскихъ нравовъ въ его повѣсти «Деревня», критикъ «Москвитянина» не забылъ замѣтить, что лицо Акулины очерчено риторически и лишено естественности; а что въ самой неудавшейся по-

пыткѣ автора повѣсти показать глубокую натуру въ загнанномъ лицѣ его героини видна его симпатія и любовь къ простому народу,—объ этомъ онъ забылъ упомянуть, вѣроятно, по избытку безпристрастія и справедливости...

Присутная къ статьѣ Бѣлинскаго, критикъ «Москвитянина» почелъ нужнымъ отрекомендовать его публикѣ не только со стороны его литературной дѣятельности, но и со стороны характера. «Бѣлинскій (говоритъ онъ) составляетъ совершенную противоположность Никитенко. Онъ почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Всегда не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ влияніемъ чужой мысли. Несчастная восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизной и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась, наконецъ, въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей.» Не знаемъ, изъ какого источника почерпнулъ критикъ «Москвитянина» эти любопытныя свѣдѣнія о Бѣлинскомъ, но только не изъ его сочиненій; всего вѣроятнѣе, что изъ сплетенъ, развозимыхъ заѣзжими посѣтителями, о которыхъ онъ упоминаетъ въ началѣ своей статьи. Оттого и сужденіе его о Бѣлинскомъ не имѣетъ ничего общаго съ литературнымъ стывомъ. Если бы онъ обратился къ настоящему источнику, т. е. къ статьямъ Бѣлинскаго, то едва ли бы нашелъ тамъ подтвержденіе тому, что говоритъ онъ о немъ. Повѣритъ ему, такъ во всей литературной дѣятельности Бѣлинскаго нѣтъ никакого единства, что сегодня онъ говоритъ одно, завтра—другое! Это едва ли справедливо. По крайней мѣрѣ Бѣлинскому не разъ случалось читать на себя нападки своихъ противниковъ за излишнее постоянство въ главныхъ пунктахъ его убѣжденій касательно многихъ предметовъ. Вотъ ужъ сколько, на примѣръ, времени, какъ онъ говоритъ о славянофилахъ одно и то же, и можетъ положительно ручаться за себя, что никогда не измѣнится въ этомъ отношеніи. Онъ глубоко убѣжденъ, что критикъ «Москвитянина» — человекъ вполне самостоятельный и родилъ уже готовымъ славянофильомъ, а не сдѣлался имъ въ дѣтствѣ несчастной восприимчивости и таковой же



способности понимать легко и поверхностно, и что ничто не помѣшало развитію его способностей, съ такимъ блескомъ обнаруженныхъ имъ при защитѣ славянофильства. Да, Бѣлинскій охотно уступаетъ ему и самобытность, и глубину пониманія, особенно предметовъ, недоступныхъ разумѣнію другихъ, напр., того, что Гоголь сдѣлался живописцемъ пошлости вслѣдствіе личной погребности и внутренняго очищенія: словомъ, Бѣлинскій охотно уступаетъ своему противнику все, что онъ у него отнялъ; но, въ величайшему своему прискорбію, взамѣнъ этого, никакъ не можетъ признать въ немъ того, что онъ такъ великодушно, хотя и вовсе непослѣдовательно, призналъ въ немъ, т. е. эстетическаго чувства. Бѣлинскій признаетъ вполнѣ оригинальность, глубину и силу мистическаго воззрѣнія въ сужденіи критика «Москвитянина» о Гоголѣ; но никакъ не можетъ сказать того же о его эстетическомъ воззрѣніи на Гоголя и на натуральную школу. Бѣлинскому странно только, что его противникъ могъ найти въ немъ эстетическое чувство, когда вслѣдъ затѣмъ же онъ говоритъ, что онъ, Бѣлинскій, былъ всегда подъ чужой мыслью, съ тѣхъ поръ какъ явился на поприщѣ критики. Да зачѣмъ же эстетическое чувство тому, кто опредѣляетъ достоинство изящныхъ произведеній съ чужого голоса, кто чужой мысли не умѣетъ провести черезъ себя самого и претворить ее въ свою собственную? И какъ въ критикахъ такого человѣка замѣтить эстетическое чувство? Далѣе критикъ «Москвитянина» обвиняетъ Бѣлинскаго въ отсутствіи терпимости, справедливо приписывая это его привычкѣ мыслить чужимъ образомъ мыслей. Бѣлинскій, съ своей стороны, видитъ несомнѣнное доказательство мыслительной самобытности М.... З.... К.... въ его терпимости, которую такъ умиленно обнаружилъ онъ при сужденіи о натуральной школѣ и о своихъ противникахъ, Кавелинѣ и Бѣлинскомъ. Что же касается до того, что М.... З.... К.... осудилъ Бѣлинскаго на вѣчную неразвитость способностей,—Бѣлинскій нисколько не удивляется благородной умѣренности и изящной вѣжливости такого о немъ отзыва: ему же не въ первый разъ встрѣчатъ подобныя противъ себя выходы въ «Москвитянинѣ». Чего тамъ не писали о немъ? И что онъ ничему не учился, ни о чемъ не имѣетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка, и т. п. Въ началѣ прошлаго года Бѣлинскій собирался издать огромный литературный сборникъ; объ этомъ намѣреніи слегка было намекнуто въ числѣ другихъ литературныхъ слуховъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». И что

же?—въ «Москвитянинѣ» вслѣдъ затѣмъ было напечатано, что въ Петербургѣ издается огромный альманахъ съ картинками, съ цыганскими хорами и плясками и т. п. Тутъ, впрочемъ, нечему удивляться: въ подобныхъ выходкахъ славянофилы не болѣе, какъ вѣрны началу своего ученія, т. е. слѣдуютъ тѣмъ неспорченнымъ вліяніемъ лукаваго Запада правамъ, которымъ они такъ удивляются, и которые къ ихъ сожалѣнію давно уже исчезли на Руси, но которые при ихъ помощи, будемъ надѣяться, еще воротятся къ намъ... Но пока Бѣлинскій не видитъ никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибѣгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама сумѣетъ увидѣть разницу между человѣкомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многие изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ, —и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ черезъ своего камердинера и думаетъ, что любить его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который между служебными и свѣтскими обязанностями занимается также и литературой, въ качествѣ диллетанта, и изъ году въ годъ высиживаетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ и, пожалуй, талантливымъ... Въ наше время талантъ самъ по себѣ не рѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстной дѣятельностью, потому что только тогда можетъ онъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ опибаться и заблудиться. Для того же, чтобъ вѣрно судить, легко ли отдѣлялся такой человѣкъ отъ убѣжденія, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это всегда бывало для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочараній, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски,—для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности...

Говоря выше о Гоголѣ и натуральной

школъ, мы отвѣтили на большую часть возраженій критика «Москвитянина» на статью Вѣлинскаго, особенно виноватаго въ его глазахъ за хорошее мнѣніе о натуральной школѣ. Это-то критикъ нашъ и называетъ «односторонностью и тѣснотой образа мыслей», составляющихъ второй пунктъ его обвинительнаго противъ «Современника» акта. Въ сущности эта односторонность и тѣснота образа мыслей есть самобытный, независимый отъ славянофильства взглядъ на литературу. Третье и послѣднее обвиненіе противъ насъ въ статьѣ «Москвитянина» состоитъ въ искаженіи нами образа мыслей гг. славянофиловъ. Можетъ быть, мы и дѣйствительно не совсѣмъ вѣрно излагали ихъ образъ мыслей и приписывали имъ иногда такія мнѣнія, которыя имъ не принадлежатъ, и умалчивали о такихъ, которыя составляютъ основу ихъ ученія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній. Въмѣсто этого у нихъ одни

Намеки тонкіе на то,  
Чего не вѣдастъ никто.

Доели ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того они безпрестанно противорѣчатъ самимъ себѣ; такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнѣній, сколько и лицъ. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простаго народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темные намеки, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился въ продолженіе вѣковъ. Все это, можетъ быть, и заслуживаетъ по крайней мѣрѣ быть выслушаннымъ; но для этого сперва должно быть высказаннымъ. Вѣлинскій въ статьѣ своей въ первой книжкѣ «Современника» сказалъ, что явленіе славянофильства есть фактъ, замѣчательный до извѣстной степени, какъ протестъ противъ безусловной подражательности и какъ свидѣтельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитіи. Въ подобномъ отзывѣ не могло быть ничего оскорбительнаго для славянофиловъ. Напротивъ, онъ давалъ имъ удобный случай объяснить-

ся съ своими противниками, изложивъ имъ свое ученіе и показавъ имъ, въ чѣмъ и гдѣ именно они понимаютъ его невѣрно. Но славянофилы поступили иначе. Какъ люди, не привыкшіе къ благосклоннымъ о себѣ отзывамъ со стороны не принадлежащихъ къ нимъ литературныхъ партій, они до того обрадовались отзыву Вѣлинскаго, что начали смотрѣть на всѣхъ своихъ противниковъ, какъ на разбитое въ прахъ войско, а на себя—какъ на великихъ побѣдителей. Вотъ что называется—не давши сраженія, торжествовать побѣду! Въмѣсто того чтобы объяснить свой образъ мыслей, они съ ожесточеніемъ начали нападать на чужія мнѣнія.

Скажите, легко ли послѣ этого судить вѣрно о такомъ образѣ мыслей?

Давно уже замѣчена за славянофилами замашка—основывать важность своего ученія на такихъ фактахъ, которые или вовсе не существуютъ, или доказываютъ совсѣмъ противное. Мы сейчасъ представимъ доказательство этого изъ статьи М... З... К....., гдѣ между прочимъ выдается за несомнѣнную истину, будто бы «на краснорѣчивый голосъ Мицкевича взоры многихъ, въ томъ числѣ и Жоржъ Занда, обратились къ славянскому міру, который понялъ ими какъ міръ общины, и обратились не съ однимъ любопытствомъ, а съ какимъ-то участіемъ и ожиданіемъ.» Эта оригинальная выходка снабжена выноской, въ которой говорится объ извѣстномъ сочиненіи Жоржъ Занда—«Жишка» или «Зишка». Все это, по мнѣнію критика «Москвитянина», значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что Европа ужасно какъ занята такъ-называемымъ славянскимъ вопросомъ; а по нашему мнѣнію, все это ровно ничего не значить. Если Зандъ избрала предметомъ своего сочиненія гусситскую войну, это могло произойти безъ всякаго отношенія къ важности или неважности славянскаго вопроса, а, напротивъ, именно оттого, что гусситская война—событіе чисто европейское, западное, католическое; славянскаго тутъ только національное происхождение дѣйствователей, да безплодный для нихъ исходъ героической, впрочемъ, борьбы. Когда дѣло реформы взяло на себя германское племя, реформа восторжествовала надъ католицизмомъ. Что касается до Мицкевича, его дѣйствительно краснорѣчивый, хотя и сумасбродный, голосъ точно обратиться къ себѣ на нѣкоторое время вниманіе парижанъ, жадныхъ до новостей; но къ славянскому вопросу все-таки не возбудилъ никакого участія. Извѣстно, что французское правительство принуждено было запретить Мицкевичу публичныя чтенія, но не

за ихъ направленіе, нисколько не опасное для него, а чтобы прекратить сцены, несогласныя съ общественнымъ приличіемъ. Надо сказать, что въ Парижѣ есть нѣкто Товьянскій, выдающій себя за пророка и чудотворца, который призванъ, когда наступитъ время, устроить къ лучшему дѣла сего міра. Мицкевичъ увѣровалъ въ этого шарлатана,—что доказываетъ, что у него натура страстная и увлекающаяся, воображеніе пылкое и склонное къ мистицизму, но голова слабая. Отсюда ученіе его носитъ названіе мессіанизма или товьянизма, и ему слѣдуютъ нѣсколько десятковъ челоѣкъ изъ поляковъ. Когда разъ на лекціи Мицкевичъ въ фанатическомъ вдохновеніи спрашивалъ своихъ слушателей, вѣрятъ ли они новому мессіи, какая-то восторженная женщина бросилась къ его ногамъ, рыдая и восклицая: «вѣрю, учитель!» Вотъ случай, по которому прекращены лекціи Мицкевича, и о нихъ теперь вовсе забыли въ Парижѣ. Вообще въ Европѣ мало заботятся о чужихъ вопросахъ и чужихъ дѣлахъ, потому что у всѣхъ много своихъ и всѣ заняты ими. Это особенно относится къ французамъ; для нихъ всѣ другія страны существуютъ только по отношенію къ Франціи. Можетъ-быть, поэтому въ ихъ журналахъ можно находить болѣе или менѣе вѣрныя извѣстія только объ Англіи, Испаніи и Италіи: онѣ къ нимъ ближе и больше связаны съ ними политически. Говорятъ въ Парижѣ и о Россіи, но отнюдь не потому, что это славянская земля, а потому, что это великое и могущественное государство съ огромнымъ вліяніемъ въ сферѣ европейской политики.

И вотъ на какихъ фактахъ славянофилы основываютъ важность своего ученія! Но вотъ еще примѣръ, какъ трудно, какъ невозможно понимать ихъ. Кавелинъ сказалъ, что на новгородскомъ вѣчѣ «дѣла рѣшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то неопредѣленно, сообща». Эти слова объясняются цѣлымъ взглядомъ Кавелина на новгородскую общину, какъ нуждую всякаго прочнаго основанія и потому неспособную развиться ни въ какую государственную форму. М.... З.... К.... возражаетъ на это, что въ Новгородѣ было двоевластіе, и что идеаль новгородскаго быта можно опредѣлить, какъ согласіе князя съ вѣчемъ. Этимъ онъ хочетъ указать на особенности славянскаго общиннаго начала, составляющаго краеугольный камень славянофильства. Но изъ его словъ видно, что особеннаго и оригинальнаго въ этомъ бытѣ ничего не было, что онъ отзывается карикатурой на нынѣшнія конституціонныя монархіи, основа которыхъ—двоевластіе, и

Соч. Вѣлинскаго. Т. IV.

идеаль—согласіе короля съ палатой. Критикъ «Москвитянина» прибавляетъ, что рѣдкія минуты этого согласія князя съ вѣчемъ представляютъ апогей новгородскаго быта, но признается, что оно осуществлялось только иногда, и то не надолго. Что же тутъ было особенно любовнаго, согласнаго, общиннаго, по любимому выраженію славянофиловъ? Въ возраженіе на слова Кавелина критикъ «Москвитянина» замѣчаетъ, что «способъ рѣшенія по большинству запечатлѣваетъ распаденіе общества на большинство и меньшинство и разложеніе общиннаго начала; вѣче, выраженіе его (общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности, цѣль его—вынести и спасти единство; отъ этого вѣче обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулой: «снидошася вси въ любовь». Скажите, Бога ради, есть ли, можетъ ли быть въ какомъ бы то ни было совѣщательномъ правленіи другой способъ рѣшенія вопросовъ, кромѣ какъ по большинству голосовъ? Утверждать это—значитъ смѣяться надъ здравымъ смысломъ. Что на новгородскомъ вѣчѣ случалось бывать единодушному рѣшенію вопросовъ, безъ всякаго противорѣчающаго меньшинства—это не диво; это случается, даже не рѣдко, и въ представительныхъ камерахъ конституціонныхъ государствъ нашего времени; тѣмъ чаще это могло случаться въ массѣ народа, вездѣ склоннаго къ мгновенному единодушному увлеченію и порыву, какъ въ добрѣ, такъ и въ злѣ. Также часто могло случаться, что меньшинство являлось слишкомъ ничтожнымъ, чтобы спорить съ большинствомъ, и часто соглашалось съ нимъ не по убѣжденію, а изъ опасенія хлебнуть волховской водицы. Извѣстно, что въ случаѣ раздѣленія мѣнѣй на половины равныя или почти равныя бывали драки и побоища, доставлявшія Волхову обильную добычу; которая сторона побѣждала, та и рѣшала вопросъ. И потому его рѣшеніе все-таки всегда зависѣло отъ большинства или по крайней мѣрѣ отъ перевѣса физической силы. Но Кавелинъ былъ правъ, сказавши, что дѣла рѣшались на вѣчѣ не по большинству голосовъ: онъ хотѣлъ этимъ указать на отсутствіе баллотировки или другой какой-нибудь постоянной, неизмѣнной, коренной закономъ опредѣленной формы для обнаруженія большинства, а потому и прибавилъ: «а какъ-то совершенно неопредѣленно, сообща», т.-е. безтолково и нелѣпо, какъ прилично общинѣ чисто патріархальной, совершенно чуждой юридическаго элемента. И такія общины были совсѣмъ не у однихъ славянскихъ племенъ, какъ увѣряютъ славянофилы, а были и у всѣхъ племенъ и народовъ въ

патріархальномъ состояніи, даже и у дикарей, да только нигдѣ онѣ не развились, во многихъ мѣстахъ не удержались. И у цѣлѣтическихъ племенъ были эти общины, ибо они управлялись собраніями народа и совѣтами старцевъ, жрецовъ и т. д.; но только германскіе народы развили общинное начало, потому что внесли въ него юридическое начало, какъ главное и преобладающее.

А между тѣмъ общинный бытъ славянскихъ племенъ—краеугольный камень славянофильства; по крайней мѣрѣ онѣ не сходятъ у нихъ съ языка, и ему назначили они свидѣтельствовать въ пользу любви, какъ общественной стихіи, отличающей славянскія племена отъ всѣхъ другихъ. Но не значитъ ли это—основывать свое ученіе именно на тѣхъ фактахъ, которые особенно противорѣчатъ ему? Какъ же вы хотите, чтобы такое ученіе понимали, и чтобы, говоря о немъ, не выпадали въ противорѣчія? И потому Бѣлинскій охотно признаетъ, что онѣ изложилъ основанія славянофильства невѣрно и противорѣчиво, и не будетъ защищаться отъ возраженій своего противника по этому вопросу, тѣмъ болѣе, что эти возраженія не подвинули его, Бѣлинскаго, ни на шагъ впередъ по части пониманія славянофильства, а, напротивъ, повергли его еще въ большее прежняго недоразумѣніе насчетъ этого таинственнаго ученія. Онѣ не станутъ спорить съ славянофилами даже и въ такомъ случаѣ, если они скажутъ ему, что онѣ ошибся и впалъ въ противорѣчіе, назвавши славянофильство заслуживающимъ вниманіе и имѣющимъ какой-нибудь смыслъ явленіемъ, но охотно согласится съ ними въ этомъ, по личной потребности внутренняго очищенія... Да и какъ спорить съ славянофилами о чемъ бы то ни было, возражать имъ противъ чего бы то ни было или защищаться противъ нихъ въ чемъ бы то ни было, когда они, какъ кажется, окончательно порѣшили, что ихъ ученіе несомнѣннѣ самой несомнѣнной книги восточныхъ народовъ, что все несогласное съ нимъ есть оскорбленіе истины и нравственнаго чувства? Просимъ нашихъ читателей вспомнить, что наговорилъ критикъ «Москвитянина» на натуральную школу: нашелъ ли онѣ въ ней хоть что-нибудь хорошее, что находятъ въ ней иногда, хотя и не искренно, а ради приличія, даже риторическіе враги ея? Еще разъ: какъ спорить съ людьми, которымъ, во что бы ни стало, нужно оправдать свою систему, и которые поэтому не уважаютъ даже фактовъ? Бѣлинскій, напримѣръ, свазалъ: «Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-Петровская Русь лучше

Россіи новой: вотъ источникъ славянофильства.» Говоря такъ, онѣ имѣлъ въ виду не одну «Исторію» Карамзина, но и рукописный его образъ древней и новой исторіи Россіи, извѣстный многимъ. Критикъ «Москвитянина», выписывая изъ IV тома «Исторіи» Карамзина параллель между Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, самъ соглашается, что здѣсь дѣйствительно проглядываетъ предпочтеніе въ пользу Іоанна; а потомъ какъ-то выводитъ, что Бѣлинскій взвелъ на Карамзина небыллицу.

Мы отвѣтили критику «Москвитянина» на всѣ три его обвинительные противъ «Современника» пункта. Читатели видѣли, какъ важны и дѣйствительны противорѣчія между статьей Никитенко и статьей Бѣлинскаго, равно какъ и помѣщаемыми въ нашемъ журналѣ произведеніями натуральной школы. Что касается до второго пункта, т. е. до односторонности и тѣсноты образа мыслей «Современника»,—ясно, какъ день, что онѣ заключаются въ нашемъ несогласіи съ основаніями славянофильства,—въ томъ, что мы никакъ не можемъ принять за аксіому предположенія, будто европейскій бытъ долженъ своимъ основаніемъ отрицанія крайностей,—что мы не можемъ отдѣлить Гоголя отъ натуральной школы иначе, какъ только на основаніи неоспоримаго превосходства его таланта, а отнюдь не на томъ темномъ и непонятномъ для насъ основаніи, будто онѣ сдѣлался живописцемъ пошлости по личному требованію внутренняго очищенія,—что мы не можемъ ненавидѣть и преслѣдовать натуральную школу, взводя на нее разныя небыллицы и обращая противъ нея то, что составляетъ ея существенное достоинство, т. е. симпатію къ человѣку во всякомъ состояніи и званіи, за то только, что она не поняла личной потребности внутренняго очищенія. Но фанатизмъ послѣдователей какого-нибудь ученія доказываетъ не его истинность, а только его односторонность, исключительность и часто совершенную ложность. А какъ судятъ славянофилы объ изящныхъ произведеніяхъ, напримѣръ? Для нихъ тутъ все дѣло въ направленіи: согласно оно съ ихъ направленіемъ, такъ въ произведеніи есть талантъ; не согласно, оно—чистѣйшая бездарность. Вотъ изъ тысячи примѣровъ одинъ. Тургеневъ у «Москвитянина» и у «Московского Сборника» постоянно находился въ разрядѣ бездарныхъ писаекъ, особенно за его стихотворный физиологическій очеркъ: «Помѣщикъ». Но вотъ «Московскому Сборнику» показалось почему-то, что въ своемъ разсказѣ охотника: «Хоръ и Калинычъ», Тургеневъ совпалъ съ славянофилами въ понятіи о простомъ народѣ,—и

за это Тургеневъ тотчасъ же и торжественно произведенъ «Московскимъ Сборникомъ» изъ бездарностей въ талантъ, а рассказъ его названъ — шутка ли! — превосходнымъ. Да неужели же талантъ писателя прежде всего не въ его натурѣ, не въ его головѣ, а всегда только въ его направленіи? Неужели сочиненіе не можетъ въ одно и то же время отличаться и талантомъ, и ложнымъ направленіемъ? Мы не думаемъ, чтобы славянофилы не знали этого; но они съ умысломъ закрываютъ глаза на эту истину, съ умысломъ держатся этой (говоря словами М... З... К...) «клеветы на дѣйствительность, въ смыслѣ преувеличенія темныхъ ея сторонъ, допущенной для поощренія къ совершенствованію», т. е. къ переходу въ славянофильство; но (скажемъ опять словами того же М... З... К...) «никто не въ правѣ заподозрѣвать намѣренія: мы вѣримъ, что оно чисто и благородно, но средство не годится, и путь слишкомъ хитеръ», т. е. слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Но по крайней мѣрѣ «Московский Сборникъ» обнаружилъ похвальную готовность похвалить хорошее въ писателѣ противной стороны, хотя и по-своему объяснилъ это внезапное и неожиданное имъ явленіе хорошаго у писателя, котораго, по его мнѣнію, до тѣхъ поръ писалъ только дурное. Вотъ его собственныя слова по этому предмету: «Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмигъ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его рассказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ (а!), скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому

небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!» Почему же М... З... К... не замѣтилъ этого: вѣдь рассказъ «Хоръ и Калинычъ» напечатанъ въ первой же книжкѣ «Современника», въ которой напечатаны и разбираемыя имъ статьи? Ясно, что или онъ боялся это сдѣлать, чтобы его нападки на натуральную школу въ его же собственныхъ глазахъ не обратились въ совершенную ложь, или что два славянофила не могутъ говорить объ одномъ и томъ же предметѣ, не противорѣча другъ другу.

Какъ же послѣ этого требовать отъ другихъ, чтобы они вѣрно судили о такомъ ученіи, въ которомъ еще не успѣли согласиться сами его послѣдователи? Вотъ когда они сами вникнутъ хорошо и основательно въ то, что выдаютъ за начало всякой премудрости, да ясно и опредѣленно изложатъ свое ученіе, — тогда ихъ будутъ слушать, не станутъ приписывать имъ того, чего они не говорили, и, можетъ быть, не соглашаясь съ ними вполне, охотно отдадутъ справедливость тому, что есть хорошаго и справедливаго въ ихъ образѣ мыслей. Но для этого имъ нужно больше говорить о себѣ, чѣмъ о другихъ, больше доказывать свои положенія, чѣмъ опровергать чужія, потому выражаться насчетъ своихъ противниковъ повѣжливѣе, съ большимъ достоинствомъ, и вообще не ограничиваться одними общими отвлеченными разсужденіями о любви и смиреніи, но проявлять ихъ въ дѣйствіи. Любовь и смиреніе, безспорно, прекрасныя добродѣтели на дѣлѣ, но на словахъ они стоятъ не больше всякой другой болтовни.

## Взглядъ на русскую литературу 1847 года.

### I.

Время и прогрессъ.—Фельетонисты.—Враги прогресса.—Употребленіе иностранныхъ словъ въ русскомъ языкѣ.—Годичныя обзорнія русской литературы въ альманахахъ 20-хъ годовъ.—Обзорнія нашего времени.—Натуральная школа.—Ея происхожденіе.—Гоголь.—Нападки на натуральную школу.—Разсмотрѣніе этихъ нападокъ.

Когда долго не бываетъ тѣхъ замѣчательныхъ событий, которыя рѣзко измѣняютъ въ чемъ-нибудь обычное теченіе

дѣлъ и круто поворачиваютъ его въ другую сторону, всѣ года кажутся похожими одинъ на другой. Новый годъ празднуется какъ условный календарный праздникъ, и людямъ кажется, что вся переѣзна, все новое, принесенное истекшимъ годомъ, состоитъ только въ томъ, что каждый изъ нихъ и еще однимъ годомъ сталъ старѣе—

И хоромъ бабушки твердятъ:  
Какъ наши годы-то летятъ!

А между тѣмъ, какъ оглянется человѣкъ назадъ и пробѣжить въ своей памяти нѣсколько такихъ годовъ, то и видитъ, что все стало съ тѣхъ поръ какъ-то не такъ, какъ было прежде. Разумѣется, тутъ у всякаго свой календарь, свои лютстры, олимпиады, десятилѣтїя, години, эпохи, периоды, опредѣляемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И потому одинъ говорить: «какъ все переменялось въ послѣднія двадцать лѣтъ!» Для другого перемена произошла въ десять, для третьяго—въ пять лѣтъ. Въ чемъ заключается она, эта перемена, не всякій можетъ опредѣлить, но всякій чувствуетъ, что вотъ съ такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и онъ какъ будто не тотъ, да и другіе не тѣ, да не совсѣмъ тотъ порядокъ и ходъ самыхъ обыкновенныхъ дѣлъ на свѣтѣ. И вотъ одни жалуются, что все стало хуже; другіе въ восторгѣ, что все становится лучше. Разумѣется, тутъ зло и добро опредѣляется большей частью личнымъ положеніемъ каждаго, и каждый свою собственную особу ставитъ центромъ событий и все на свѣтѣ относитъ къ ней: ему стало хуже, и онъ думаетъ, что все и для всѣхъ стало хуже, и наоборотъ. Но такъ понимаетъ дѣло большинство, масса; люди, наблюдающіе и мыслящіе, въ измѣненіи обычнаго хода житейскихъ дѣлъ видятъ, напротивъ, не одно улучшеніе или пониженіе ихъ собственного положенія, но измѣненіе понятій и нравовъ общества, слѣдовательно, развитіе общественной жизни. Развитіе для нихъ есть ходъ впередъ, слѣдовательно, улучшеніе, успѣхъ, прогрессъ.

Фельетонисты, которыхъ у насъ теперь развелось такое множество, и которые, по обязанности своей еженедѣльно разсуждать въ газетахъ о томъ, что въ Петербургѣ погода постоянно дурна, считаютъ себя глубокими мыслителями и глашатаями великихъ истинъ,—фельетонисты наши очень не взлюбили слово «прогрессъ» и преслѣдуютъ его съ тѣмъ остроуміемъ, котораго неоспоримую и блестящую славу они дѣлаютъ только съ нашими же водевиллистами. За чтó же слово «прогрессъ» навлекло на себя особенное гоненіе этихъ остроумныхъ господъ? Причинъ много разныхъ. Одному слово это не любо потому, что о немъ не слышно было въ то время, когда онъ былъ молодъ и еще какъ-нибудь и смогъ бы понять его. Другому потому, что это слово введено въ употребленіе не имъ, а другими,—людьми, которые не пишутъ ни фельетонъ, ни водевилей, а между тѣмъ имѣютъ въ литературѣ такое вліяніе, что могутъ вводить въ употребленіе новыя слова. Третьему это слово противно потому, что оно

вошло въ употребленіе безъ его вѣдома, спросу и совѣта, тогда какъ онъ убѣжденъ, что безъ его участія ничего важнаго не должно дѣлаться въ литературѣ. Между этими господами много большихъ охотниковъ выдумывать что-нибудь новое, да только это никогда имъ не удается. Они и выдумываютъ, да все не впопадъ, и всѣ ихъ нововведенія отзываются чаромутіемъ и разбуждаютъ смѣхъ. Зато, чуть только кто-нибудь скажетъ новую мысль или употребитъ новое слово, имъ все кажется, что вотъ это мысль или это-то слово они и выдумали бы непременно, если бы ихъ не упредили и такимъ образомъ не перебили у нихъ случая отличиться нововведеніемъ. Есть между этими господами и такіе, которые еще не пережили эпохи, когда человѣкъ способенъ еще учиться, и, по лѣтамъ своимъ, могли бы понять слово «прогрессъ», такъ не могутъ достигъ этого по другимъ «не зависящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ». Пѣ и всемъ нашемъ уваженіи къ господамъ фельетонистамъ и водевиллистамъ и къ ихъ доказанному блестящему остроумію, мы не войдемъ съ ними въ споръ, боясь, что бой былъ бы слишкомъ не равенъ, разумѣется—для насъ... Есть еще особенный родъ враговъ «прогресса»; это—люди, которые тѣмъ сильнѣйшую чувствуютъ къ этому слову ненависть, чѣмъ лучше понимаютъ его смыслъ и значеніе. Тутъ уже ненависть собственно не къ слову, а къ идеѣ, которую оно выражаетъ, и на невинномъ словѣ вымѣшается досада на его значеніе. Имъ, этимъ людямъ, хотѣлось бы увѣрить и себя, и другихъ, что застой лучше движенія, старое всегда лучше новаго, и жизнь заднимъ числомъ есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастья и нравственности. Они соглашаются, хотя и съ болью въ сердцѣ, что міръ всегда измѣнялся и никогда не стоялъ долго на точкѣ нравственнаго замерзанья; но въ этомъ то они и видятъ причину всѣхъ зол на свѣтѣ. вмѣсто всякаго спора съ этими господами, вмѣсто всякихъ доказательствъ и доводовъ противъ нихъ, мы скажемъ, что это—китайцы... Такое названіе рѣшаетъ вопросъ лучше всякихъ изслѣдованій и разсужденій...

Слово «прогрессъ» естественно должно было встрѣтить особенную неприязнь къ нему со стороны пуристовъ русскаго языка, которые возмущаются всякимъ иностраннымъ словомъ, какъ ересью или расколомъ въ ортодоксіи родного языка. Подобный пуризмъ имѣетъ свое законное и дѣльное основаніе; но тѣмъ не менѣе онъ—односторонность, доведенная до послѣдней крайности. Нѣкоторые изъ старыхъ писателей, не любя современной русской лите-

ратуры (потому что она далеко их обогнала, а они отъ нея далеко отстали, и такимъ образомъ лишились всякой возможности играть въ ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмомъ и твердятъ безпрестанно, что въ наше время прекрасный русскій языкъ всячески искажается и уродуется, особенно введеніемъ въ него иностранныхъ словъ. Но кто же не знаетъ, что пуристы говорили то же самое объ эпохѣ Карамзина? Стало быть, наше время терпитъ тутъ совершенную напраслину, и если оно виновато въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ, то отнюдь не больше всякаго другого времени, предшествовавшаго ему. Если бы употребленіе въ русскомъ языкѣ иностранныхъ словъ и было зломъ, оно—зло необходимое, корень котораго глубоко лежитъ въ реформѣ Петра Великаго, познакомившей насъ со множествомъ до того совершенно чуждыхъ намъ понятій, для выраженія которыхъ у насъ не было словъ. Поэтому необходимо было чужія понятія и выражать чужими готовыми словами. Нѣкоторыя изъ этихъ словъ такъ и остались переведенными и незамѣненными, и потому получили право гражданства въ русскомъ словарѣ. Всѣ къ нимъ привыкли, всѣ ихъ понимаютъ: за что же гнать ихъ? Конечно, простолудинъ не пойметъ словъ «инстинктъ», «эгоизмъ», но не потому не пойметъ словъ, что они иностранныя, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятія, и слова «побудка», «ячество» не будутъ для него нисколько яснѣе «инстинкта» и «эгоизма». Простолудины не понимаютъ чисторусскихъ словъ, которыхъ смыслъ внѣ тѣснаго круга ихъ обычныхъ житейскихъ понятій, напримѣръ: «событіе, современность, возникновеніе» и т. п., и хорошо понимаютъ иностранныя слова, выражающія относящіяся къ ихъ быту или не чуждыя его понятія, напримѣръ: «пачпортъ, билетъ, ассигнація, квитанція» и т. п. Что же касается до людей образованныхъ, то «инстинктъ» для нихъ—воля ваша—яснѣе и понятнѣе «побудки», «эгоизма»—«ячества», «факты»—«бытей». Но если одни иностранныя слова удержались и получили въ русскомъ языкѣ право гражданства, зато другія съ теченіемъ времени были удачно замѣнены русскими, большей частью вновь составленными. Такъ Тредьяковскій, говорятъ, ввелъ слово «предметъ», а Карамзинъ—«промышленность». Такихъ русскихъ словъ, удачно замѣнившихъ собою иностранныхъ, множество. И мы первые скажемъ, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значитъ оскорблять и здравый смыслъ, и

здравый вкусъ. Такъ, напримѣръ, ничего не можетъ быть нецѣлѣе и диче, какъ употребленіе слова «утрировать» вмѣсто «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывомъ иностранныхъ словъ; наша, разумѣется, не избѣгла его. И это еще не скоро кончится: знакомство съ новыми идеями, выработавшимися на чужой намъ почвѣ, всегда будетъ приводить къ намъ и новыя слова. Но чѣмъ дальше, тѣмъ менѣе это будетъ замѣтно, потому что до сихъ поръ мы вдругъ знакомимся съ цѣлымъ кругомъ доголдѣ чуждыхъ намъ понятій. По мѣрѣ нашихъ успѣховъ въ сближеніи съ Европой запасы чуждыхъ намъ понятій будутъ все болѣе и болѣе истощаться, и новыми для насъ будетъ только то, что ново и для самой Европы. Тогда, естественно, и заимствованія пойдутъ ровнѣе, тише, потому что мы будемъ уже не догонять Европу, а идти съ нею рядомъ, не говоря уже о томъ, что и языкъ русскій съ теченіемъ времени будетъ все болѣе и болѣе вырабатываться, развиваться, становиться гибче и среднѣе.

Чѣмъ сомнѣнія, что ослѣпа пестрить русскую рѣчь иностранными словами безъ нужды, безъ достаточнаго основанія противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредитъ не русскому языку и не русской литературѣ, а только тѣмъ, кто одержимъ ею. Но противоположная крайность, т. е. всеумѣренный пуризмъ, производить тѣ же слѣдствія, потому что крайности сходятся. Судьба языка не можетъ зависѣть отъ произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и вѣрный; это—его же собственный духъ, гений. Вотъ почему изъ множества вводимыхъ иностранныхъ словъ удерживаются только немногія, а остальные сами собою исчезаютъ. Тому же самому закону подлежатъ и новосоставляемыя русскія слова: одни изъ нихъ удерживаются, другія исчезаютъ. Неудачно придуманное русское слово для выраженія чуждаго понятія не только не лучше, но рѣшительно хуже иностраннаго слова. Говорятъ, для слова «прогрессъ» не нужно и выдумывать новаго слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: «успѣхъ, наступательное движеніе», и т. д. Съ этимъ нельзя согласиться. Прогрессъ относится только къ тому, что развивается само изъ себя. Прогрессомъ можетъ быть и то, въ чемъ вовсе нѣтъ успѣха, приобрѣтенія, даже шагу впередъ; и, напротивъ, прогрессомъ можетъ быть иногда неуспѣхъ, упадокъ, движеніе назадъ. Это именно относится къ историческому развитію. Бываютъ въ жи-

внѣ народовъ и челоуѣчества эпохи несчастныя, въ которыя пѣлыя поколѣнія какъ бы приносятся въ жертву слѣдующимъ поколѣніямъ. Проходитъ тяжелая година—и изъ зла рождается добро. Слово «прогрессъ» отличается всей опредѣленностью и точностью научнаго термина, и въ послѣднее время оно сдѣлалось ходячимъ словомъ, его употребляютъ всѣ—даже тѣ, которые нападаютъ на его употребленіе. И потому, пока не явится русскаго слова, которое бы вполнѣ замѣнило его собою, мы будемъ употреблять слово «прогрессъ».

Всякое органическое развитіе совершается черезъ прогрессъ, развивается же органически только то, что имѣетъ свою исторію, а имѣетъ свою исторію только то, въ чемъ каждое явленіе есть необходимый результатъ предыдущаго и имъ объясняется. Если можно представить себѣ литературу, въ которой являются отъ времени до времени сочиненія замѣчательныя, но чуждыя всякой внутренней связи и зависимости, обязанныя своимъ появленіемъ внѣшнимъ вліяніямъ, подражательности, — у такой литературы не можетъ быть исторіи. Ея исторія—каталогъ книгъ. Къ такой литературѣ слово «прогрессъ» неприменимо, и появленіе новаго, почему-нибудь замѣчательнаго произведенія въ ней не есть прогрессъ, потому что произведеніе не имѣетъ корня въ прошедшемъ и не дастъ плода въ будущемъ. Тутъ время и годы ничего не значатъ: они могутъ идти себѣ, ничего не измѣняя. Не такъ бываетъ въ литературѣ, развивающейся исторически: тутъ каждый годъ что-нибудь да принести за собой, и это что-нибудь есть прогрессъ. Но не каждый годъ можно ясно увидѣть и опредѣлить этотъ прогрессъ; часто онъ оказывается только въ послѣдствіи. Но во всякомъ случаѣ очень полезно въ опредѣленные сроки, напримѣръ, по окончаніи каждаго года, обозрѣвать въ цѣломъ ходъ литературы, ея пріобрѣтенія, ея богатства или ея бѣдность. Такія обозрѣнія не бесполезны для настоящаго времени и могутъ служить важнымъ пособіемъ для будущаго историка литературы.

Отчеты о литературной дѣятельности за каждый истекшій годъ начали входить у насъ въ обыкновеніе съ 1823 года. Примѣръ былъ поданъ Марлинскимъ въ знаменитомъ того времени альманахѣ. И съ тѣхъ поръ годовыя обозрѣнія литературы почти не прерывались въ альманахахъ въ продолженіе десяти лѣтъ. Въ журналахъ же они появлялись рѣдко, но въ послѣднее время постоянно печатаются въ одномъ извѣстномъ журналѣ уже лѣтъ семь сряду. Отдѣлъ критики въ «Современникѣ» прош-

лаго года начался обзоромъ русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый годъ всегда будетъ заключать въ себѣ такое обозрѣніе литературной дѣятельности за истекшій годъ.

Подобныя обозрѣнія съ теченіемъ времени дѣлаются истинными лѣтописями литературы, важнымъ пособіемъ для ея историка. Альманачныя обозрѣнія, о которыхъ мы сейчасъ говорили, имѣютъ теперь для насъ весь интересъ старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назадъ тому! Такъ быстро идетъ впередъ наша литература! Но какой отдаленной, какой глубокой стариной отзывается «Обозрѣніе русской литературы 1814 года», написанное Гречемъ и помѣщенное въ «Сынѣ Отечества» 1815 года! На нѣсколькихъ жиденькихъ страничкахъ исчислены всѣ ученныя и литературныя пріобрѣтенія и сокровища 1814 года. Годъ этотъ дѣйствительно ознаменованъ былъ появленіемъ нѣсколькихъ замѣчательныхъ серьезныхъ книгъ, какъ, напримѣръ: «Собраніе государственныхъ россійскихъ грамотъ и договоровъ», обязанное своимъ изданіемъ графу Н. П. Румянцеву; «Исторія медицины въ Россіи» Рихтера и переводъ Дестуниса «Плутарховыхъ Жизнеописаній». Но что за страшная бѣдность по части собственно такъ называемой изящной словесности! Переводъ Делиевой поэмы «Сады» Палицина, описательная поэма князя Шихматова «Сельскій Житель», стихотвореніе Державина «Христовъ», «Ночь на размышленіе» князя Шихматова и «Размышленіе о судьбѣ» князя Долгорукова. Все это поэмы въ дидактическомъ родѣ, который тогда былъ особенно въ ходу, а теперь давно уже признанъ анти-поэтическимъ и забытъ совершенно. Потомъ въ обозрѣніи Греча упоминается объ изданіи басенъ и сказокъ Александра Измайлова и о басняхъ какого-то Агафи, и въ заключеніе замѣчено, что басни Крылова были помѣщаемы въ журналахъ. Вотъ и все! Авторъ обозрѣнія замѣчаетъ, что въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ XIX столѣтія вышло болѣе сочиненій, нежели прежде того въ теченіе десяти лѣтъ, но что, по причинѣ политическихъ обстоятельствъ того времени, съ 1806 до 1814 года, литературное движеніе въ Россіи почти совсѣмъ остановилось. Въ продолженіе второй половины 1812 и первой 1813 годовъ не только не вышло въ свѣтъ, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имѣла предметомъ тогдашнихъ происшествій. «Наконецъ, въ 1814 году,—говоритъ авторъ обозрѣнія,—увѣчавшемъ всѣ напряженія и труды истекшихъ лѣтъ, русская литерату-



ра, посвящая поэзію и краснорѣчіе въ честь и славу великаго монарха своего, обратилась снова на путь мирный, урвненный и огражденный навсегда. Въ теченіе этого года вышли многіе сочиненія и переводы, которые останутся незабвенными въ дѣтописяхъ нашей литературы.» Это отчасти справедливо, только не въ отношеніи къ произведеніямъ поэзіи... Замѣчательно, что, признавая бѣдность нѣкоторыхъ разрядовъ своего обозрѣнія, авторъ, какъ успѣху русской литературы, радуется тому, что въ теченіе 1814 года вышло въ Петербургѣ и Москвѣ только по одному роману (оба переведены съ нѣмецкаго), да двѣ историческія повѣсти! Не думалъ онъ тогда, что романъ и повѣсть скоро станутъ во главѣ всѣхъ родовъ поэзіи, и что самъ онъ напишетъ нѣкогда «Побѣдку въ Германію» и «Черную женщину»! Но вотъ еще характеристическая черта нашей литературы или, лучше сказать, нашей публики,—черта, о которой, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась старинной: извѣстнаго путешествія Крузенштерна вокругъ свѣта, изданнаго въ 1809—1843 годахъ, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, и путешествія вокругъ свѣта Лисянскаго, изданнаго въ 1812 году, на русскомъ и англійскомъ языкахъ, въ Россіи разошлось—говоритъ авторъ обозрѣнія,—едва ли по двѣсти экземпляровъ каждаго, между тѣмъ какъ въ Германіи вышло три изданія путешествія Крузенштерна, а въ Лондонѣ продана въ двѣ недѣли половина экземпляровъ книгъ Лисянскаго.

Годичныя обозрѣнія появились въ альманахахъ вслѣдствіе начинавшаго возникать критическаго духа. Приступая къ обозрѣнію литературы извѣстнаго года, критикъ начиналъ иногда очеркомъ всей исторіи русской литературы. Писать эти обозрѣнія тогда было очень легко и очень трудно. Легко потому, что все ограничивалось легкими сужденіями, выражавшими личный вкусъ обозрѣвателя,—трудно или, лучше сказать, скучно потому, что это была работа дробная, мелкая: надо было перечислить рѣшительно все, что появилось въ теченіе обозрѣваемого года отдѣльно изданнымъ въ журналахъ и альманахахъ, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда по части изящной словесности въ журналахъ и альманахахъ?—большей частью крошечные отрывки изъ маленькихъ поэмъ, изъ романовъ, повѣстей, драмъ, и т. п. Большой частью цѣлыхъ сочиненій и не существовало: отрывокъ писался безъ всякаго намѣренія написать цѣлое. О каждой такой бездѣлицѣ надо было упомянуть и сказать свое мнѣніе, потому что тогда,

при началѣ такъ-называемаго романтизма, все было ново, все интересовало собой, все считалось важнымъ событіемъ—и отрывокъ изъ несуществующей поэмы въ двадцать стиховъ счетомъ, и элегія, и сотое подражанье какой-нибудь пьесѣ Ламартина, переводъ романа Вальтеръ-Скотта и переводъ романа какого-нибудь Фанъ-дербъ-Фельде.

Въ этомъ отношеніи теперь гораздо лучше писать обозрѣнія. Теперь уже не считается принадлежащимъ къ литературѣ все, что ни выходитъ изъ-подъ типографскихъ станковъ. Теперь много испытано, ко многому приглядѣлись и привыкли. Конечно, переводъ такого романа, какъ «Домби и Сынъ», и теперь замѣчательное явленіе въ литературѣ, и обозрѣватель не въ правѣ пропустить его безъ вниманья; но зато переводы романовъ Сю, Дюма и другихъ французскихъ беллетристовъ, появляющіеся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явленіями. Они пишутся сплеча, ихъ цѣль—выгодный сбытъ, доставляемое ими наслажденье извѣстному разряду любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу, но не къ эстетическому, а тому, который у однихъ удовлетворяется сигарами, у другихъ—шелканьемъ орѣшковъ... Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произволъ критики уже не можетъ убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Французскіе романы наполняютъ собой наши журналы и издаются особо; въ томъ и другомъ случаѣ они находятъ себѣ множество читателей. Но по этому отнюдь не слѣдуетъ дѣлать рѣзкихъ заключеній о вкусѣ публики. Многіе берутся за романъ Дюма какъ за сказку, впередъ зная, что это такое; читаютъ его съ тѣмъ, чтобы развлечь себя на время чтенія небывальными приключеніями, а потомъ и забыть ихъ навсегда. Въ этомъ, разумѣется, нѣтъ ничего дурного. Одинъ любить качаться на качеляхъ, другой ѣздить верхомъ, третій плавать, четвертый курить, и многіе вмѣстѣ съ этимъ любятъ читать вздорныя сказки, хорошо рассказываемыя. Поэтому переводные романы и повѣсти уже не заслоняютъ собой оригинальныхъ; напротивъ, общій вкусъ публики отдаетъ послѣднимъ рѣшительное предпочтеніе, такъ что помѣщать въ журналахъ преимущественно переводные романы и повѣсти заставляетъ журналистовъ только одна крайность, т. е. недостатокъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ этого рода. И такое направленіе вкуса публики становится замѣтнѣе и опредѣленнѣе годъ отъ году. Въ отношеніи же къ оригинальнымъ произведеніямъ очарованіе именъ совер-

шенно исчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставить каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не придет от него въ восторгъ, если въ немъ хорошаго одно только имя автора. Сочиненія посредственныхъ, слабыя проходятъ незамѣтными, умираютъ своей смертью, а не отъ ударовъ критики. Такому положенію литературы, столь различному отъ того, въ какомъ она находилась лѣтъ двадцать назадъ тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчетъ въ годичномъ движеніи литературной дѣятельности, теперь нечего обращать вниманіе на количество произведеній или хлопотать объ оцѣнкѣ каждаго явленія изъ опасенія, что безъ указаній критики публика не будетъ знать, что считать ей хорошимъ и что — дурнымъ. Нѣтъ даже нужды останавливаться на каждомъ порядочномъ произведеніи и вдаваться въ подробный разборъ всѣхъ его красотъ и недостатковъ. Подобное вниманіе принадлежитъ теперь по праву только особенно замѣчательнымъ, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, произведеніямъ. Главная же задача тутъ — показать преобладающее направленіе, общій характеръ литературы въ данное время, прослѣдить въ ея явленіяхъ оживляющую и движущую ее мысль. Только такимъ образомъ можно если не опредѣлить, то хоть намекнуть, на сколько истекшій годъ подвинулъ впередъ литературу, какой прогрессъ совершила она въ немъ.

Собственно новымъ 1847 годъ ничѣмъ не ознаменовалъ себя въ литературѣ. Явились въ преобразованномъ видѣ нѣкоторыя изъ старыхъ периодическихъ изданій, явился даже одинъ новый листокъ; замѣчательными произведеніями по части изящной словесности прошлый годъ былъ особенно богатъ въ сравненіи съ предшествовавшими годами; явилось нѣсколько новыхъ именъ, новыхъ талантовъ и дѣйствователей по разнымъ частямъ литературы. Но не явилось ни одного изъ тѣхъ ярко-замѣчательныхъ произведеній, которыя своимъ появленіемъ дѣлаютъ эпоху въ исторіи литературы, даютъ ей новое направленіе. Вотъ почему мы говоримъ, что собственно новымъ литература прошлаго года ничѣмъ не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, котораго нельзя назвать ни новымъ, потому что онъ успѣлъ уже обозначиться, ни старымъ, потому что слишкомъ недавно открылся для литературы, — именно немного раньше того времени, когда въ первый разъ было къ-то выговорено слово «натуральная школа». Съ тѣхъ поръ прогрессъ русской литературы въ каждомъ новомъ году состоитъ въ болѣе твердомъ ея шагѣ въ этомъ

направленіи. Прошлый 1847 годъ былъ особенно замѣчательнъ въ этомъ отношеніи въ сравненіи съ предшествовавшими годами, какъ по числу и замѣчательности вѣрныхъ этому направленію произведеній, такъ и болѣею опредѣленностью, сознательностью и силой самаго направленія и большимъ его кредитомъ у публики.

Натуральная школа стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы. Съ одной стороны, нисколько не преувеличивая дѣла по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это — фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ; а какіе журналы пользуются болѣе извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и болѣе вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикой съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикой романы и повѣсти, не принадлежащія къ натуральной школѣ? Какая критика пользуется болѣе вліяніемъ на мнѣніе публики, или, лучше сказать, какая критика болѣе сообразна съ мнѣніемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоитъ за натуральную школу противъ риторической? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорятъ, спорять, на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу? Партіи, ничего неимѣющія между собою общаго, въ нападахъ на натуральную школу дѣйствуютъ согласно, единодушно, приписываютъ ей мнѣнія, которыхъ она чуждается, намѣренія, которыхъ у ней никогда не было, должно перетолковываютъ каждое ея слово, каждый ея шагъ, то бранятъ ее съ запальчивостью, забывая иногда приличіе, то жалуются на нее чуть не со слезами! Что общаго между заклятыми врагами Гоголя, представителями побѣжденнаго риторическаго направленія, и между такъ-называемыми славянофилами? — Ничего! — и однако жъ послѣдніе, признавая Гоголя основателемъ натуральной школы, согласно съ первыми нападаютъ въ томъ же тонѣ, тѣми же словами, съ такими же доказательствами на натуральную школу, и почли за нужное отличиться отъ своихъ новыхъ союзниковъ только логической непослѣдовательностью, вслѣдствіе которой они поставили Гоголю въ заслугу то самое, за что преслѣдуютъ его школу, на томъ основаніи, что онъ писалъ по какой-то «потребности внутренняго очищенія». Къ этому должно прибавить, что школы,

непріязненные натуральной, не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго произведенія, которое доказало бы дѣломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тѣмъ, которыхъ держится натуральная школа. Всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ послужили къ торжеству натурализма и паденію риторизма. Видя это, нѣкоторые изъ противниковъ натуральной школы пытались противопоставлять ей ея же писателей. Такъ, одна газета думала Бутковымъ уничтожить авторитетъ самого Гоголя...

Все это нисколько не ново въ нашей литературѣ, но было не разъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него всѣ были согласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъ мнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Тредьяковскаго и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней такъ-называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевелъ ее изъ книги въ жизнь, изъ школы въ общество. Тогда, естественно, явились и партіи, началась война на перьяхъ, раздалась вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредятъ добрымъ русскимъ нравамъ. Въ лицѣ его противниковъ, казалось, вновь возстала русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ, и тѣмъ болѣе бесплоднымъ, напряженіемъ отстаивала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонѣ права, т. е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получало свое значеніе и свою значительность, все — даже его противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ литературы того времени. Но что вся эта тревога въ сравненіи съ бурей, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всѣмъ, что нѣтъ нужды распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видѣли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзіи, несомнѣнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и — повѣрятъ ли теперь этому? — для общественной нравственности!... Не желая шевелить старыя дразги, мы удерживаемся отъ всякихъ указаній, но если у насъ ихъ потребуютъ, мы всегда готовы представить печатныя доказательства. Въ одной критикѣ на «Гра-

фа Нулина» Пушкинъ обвинялся въ непріязни, доходящемъ до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она писана: такъ и кажется, что это сейчасъ написанная статья противъ какого-нибудь произведенія теперешней натуральной школы: тотъ же языкъ, тѣ же доводы, та же манера братья за дѣло, какіе и теперь употребляются въ нападкахъ на натуральную школу.

Что же за причина, что противники всякаго движенія впередъ во всѣ эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и тѣми же словами?

Причина этого скрывается тамъ же, гдѣ надо искать и происхожденіе натуральной школы — въ исторіи нашей литературы. Она началась натурализмомъ: первый свѣтскій писатель былъ сатирикъ Кантемиръ. Несмотря на подражаніе латинскимъ сатирикамъ и Буало, онъ умѣлъ остаться оригинальнымъ, потому что былъ вѣренъ натурѣ и писалъ съ нею. Къ несчастію, однообразіе избраннаго имъ рода, грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзіи силлабическій метръ, не допустили Кантемира быть образцомъ и законодателемъ русской поэзіи. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но какъ Кантемиръ все-таки остается человекомъ съ необыкновеннымъ талантомъ, то его и нельзя выключить изъ русской исторіи литературы, какъ перваго, до времени, ея поэта. Поэтому мы въ правѣ сказать, не искажая фактовъ и не дѣлая натяжекъ, что русская поэзія при самомъ началѣ своемъ потекла, если можно такъ выразиться, двумя параллельными другъ другу руслами, которыя, тѣмъ далѣе, тѣмъ чаще сливались въ одинъ потокъ, разбѣгаясь по слѣдъ опять на два, до тѣхъ поръ, пока въ наше время не составили одного цѣлага. Въ лицѣ Кантемира русская поэзія обнаружила стремленіе къ дѣйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натурѣ. Въ лицѣ Ломоносова она обнаружила стремленіе къ идеалу, поняла себя, какъ оракула жизни высшей, высшей, какъ глашатая всего высокаго и великаго. Оба эти направленія были законны и оба вышли не изъ жизни, а изъ теоріи, изъ книги, изъ школы. Но манера, съ какой Кантемиръ взялся за дѣло, утверждаетъ за первымъ направленіемъ преимущество истины и реальности. Въ Державинѣ, какъ талантѣ высшего, оба эти направленія часто сливались, и его оды къ «Фелицѣ», «Вельможѣ», «На Счастьи» — едва ли не лучшія его произведенія, въ крайней мѣрѣ, безъ всякаго сомнѣнія, по нимъ больше оригинальнаго,

русскаго, нежели въ его торжественныхъ одахъ. Въ басняхъ Хемницера и въ комедіяхъ Фонвизина отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ уже рѣже переходитъ въ преувеличеніе и карикатуру, становится болѣе натуральной, по мѣрѣ того какъ становится болѣе поэтической. Въ басняхъ Крылова сатира дѣлается вполнѣ художественной; натурализмъ становится отличною характеристическою чертою его поэзіи. Это былъ первый великій натуралистъ въ нашей поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія «низкой природы», особенно за басню «Свинья». Посмотрите, какъ натуральны его животныя: это—настоящіе люди, съ рѣзко очерченными характерами, и при томъ люди русскіе, а не другіе какіе-нибудь. А его басни, въ которыхъ дѣйствующія лица—русскіе мужички? Не есть ли это верхъ натуральности? И однако жъ теперь уже не упрекаютъ Крылова ни за свинью, которая, «не жалѣя рыла, весь задній дворъ изрыла», ни за то, что въ своихъ басняхъ онъ выводилъ мужиковъ, да еще заставлялъ ихъ говорить самымъ мужицкимъ складомъ. Скажутъ: то басня, то такой ужъ родъ поэзіи. А развѣ законы изящнаго не одинаковы для всѣхъ его родовъ? Дмитріевъ писалъ тоже басни и въ нихъ изрѣдка вводилъ, эпизодически, крестьянъ; но его басни, имѣющія свои неотъемлемныя достоинства, нисколько не отличаются натуральностью, и его крестьяне говорятъ въ нихъ какимъ-то общимъ, не принадлежащимъ исключительно ни одному сословію языкомъ. Причина этой разницы лежитъ въ томъ, что поэзія Дмитріева и въ басняхъ его, такъ же какъ и въ одахъ, шла отъ Ломоносова, а не отъ Кантемира, держалась идеала, а не дѣйствительности. Теорія Ломоносова опиралась на древнихъ, какъ понимали ихъ тогда въ Европѣ. Карамзинъ и Дмитріевъ, особенно послѣдній, смотрѣли на искусство глазами французовъ XVIII вѣка. А извѣстно, что французы того времени понимали искусство какъ выраженіе жизни не народа, а общества, и при томъ только высшаго, дворянскаго, и приличіе считали главнымъ и первымъ условіемъ поэзіи. Оттого у нихъ греческіе и римскіе герои ходили въ парикахъ и говорили героинямъ: madame! Эта теорія глубоко проникла въ русскую литературу, и, какъ увидимъ далѣе, слѣды ея вліянія не изгладились совсѣмъ и до сихъ поръ.

Озеровъ, Жуковский и Батюшковъ продолжали собою направленіе, данное нашей поэзіи Ломоносовымъ. Они были вѣрны идеалу, но этотъ идеалъ у нихъ становился

все менѣе и менѣе отвлеченнымъ и риторическимъ, все больше и больше сближающимся съ дѣйствительностью или по крайней мѣрѣ стремившимся къ этому сближенію. Въ произведеніяхъ этихъ писателей, особенно двухъ послѣднихъ, языкомъ поэзіи заговорили уже не одни официальные восторги, но и такія страсти, чувства и стремленія, источникомъ которыхъ были не отвлеченные идеалы, но человѣческое сердце, человѣческая душа. Наконецъ, явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Въ ней слились въ одинъ широкій потокъ оба, до того текшіе раздѣльно, ручья русской поэзіи. Русское ухо услышало въ ея сложномъ аккордѣ и чисто русскіе звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вопли элементы жизни дѣйствительной, что доказывается смѣлостью, въ то время удивившей всѣхъ, ввести въ поэму не классическихъ итальянскихъ или испанскихъ, а русскихъ разбойниковъ, не съ кинжалами и пистолетами, а широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного изъ нихъ говорить въ бреду про кнутъ и грозныхъ палачей. Цыганскій таборъ съ оборванными шатрами между колесами телѣгъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и нагами дѣтми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ былъ тоже неслышанной дотогѣ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ «Евгеніи Онѣгинѣ» идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности, или по крайней мѣрѣ то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тѣмъ и другимъ, что поэма эта должна по справедливости считаться произведеніемъ, положившимъ начало поэзіи нашего времени. Тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дразгами; около двухъ или трехъ лицъ, опозитизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенныя, но не на посмѣшище, какъ уроды, какъ исключенія изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами!

Что же въ это время дѣлать романъ въ прозѣ?

Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью, къ натуральности. Вспомните романы и повѣсти Нарѣжнаго, Булгарина, Марлинскаго, Заголкина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана.

Полевого, Погодина. Здѣсь не мѣсто разсуждать о томъ, кто изъ нихъ больше сдѣлалъ, чей талантъ былъ выше; мы говоримъ объ объемѣ имъ всѣмъ стремленіи — сблизить романъ съ дѣйствительностью, сдѣлать его вѣрнымъ ея зеркаломъ. Между этими попытками были очень замѣчательныя, но тѣмъ не менѣе всѣ онѣ отзывались переходной эпохой, стремились къ новому, не оставляя старой колеи. Весь успѣхъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли староверовъ, въ романѣ стали появляться лица всѣхъ сословій, и авторы старались поддѣлываться подъ языкъ каждаго. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишкомъ отзывалась маскарадностью: русскія лица низшихъ сословій походили на перереженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ гениальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русскій бытъ, изъ-подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдѣлалъ для этого; но докончить, довершить дѣло предоставлено было другому таланту. Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1829 годъ явился отрывокъ изъ романа Пушкина: «Арапъ Петра Великаго», подъ заглавіемъ: «IV глава изъ историческаго романа». Этотъ маленький отрывокъ былъ верхъ натуральности! Въ такой тѣсной рамкѣ такая широкая картина нравовъ эпохи Петра Великаго! Но, къ сожалѣнію, этого романа было написано всего только шесть главъ и начало седьмой (вполнѣ были напечатаны уже по смерти Пушкина).

Съ появленія «Миргорода» и «Арабесокъ» (въ 1835 году) и «Ревизора» (въ 1836) начинается полная извѣстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Изъ всѣхъ сужденій объ этомъ писателѣ, высказанныхъ почитателями его таланта, самое замѣчательное и близкое къ истинѣ едва ли не принадлежитъ человѣку, который вовсе не принадлежитъ къ числу его почитателей и который, какъ будто въ какомъ-то внезапномъ вдохновеніи, самъ не зная какъ, вышелъ на минуту изъ своей обычной колеи, которой былъ вѣрнѣе всю жизнь, проговоривши о Гоголѣ слѣдующій диамантъ:

„Всѣ произведенія Гоголя обнаруживаютъ въ немъ самоувѣренность, стремленіе къ самодѣятельности, какое-то умышленное, насмѣшливое пренебреженіе къ прежнимъ знаніямъ, опытамъ и образцамъ, онъ читаетъ только книгу природы, изучаетъ только міръ дѣйствительный; потому его идеалы слишкомъ естественны и просты до наготы; они, по выраженію Ивана Никифоровича, одного изъ его созданій, являются передъ читателемъ въ натурѣ. Красоты его созданій всегда новы, свѣжи, поразитель-

ны; ошибки чуть не старательны (?); онъ, какъ будто забывъ исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искусства, вызывая его изъ небытія въ простонарное (?) хаотическое (?) состояніе; потому что его искусство какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ—великій художникъ, не знающій исторіи и не видавшій образцовъ искусства.“

Въ этомъ исполненномъ лирическаго безпорядка диамантѣ, безъ воли и сознанія автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя—оригинальность и самобытность, отличающія его отъ всѣхъ русскихъ писателей. Что это сдѣлано нечаянно, по вдохновенію, доказывается и параллелью, которую проводитъ авторъ между Гоголемъ и—къмъ бы вы думали?—Кукольниковъ!!—и странными, противорѣчащими словами и выраженіями въ самомъ диамантѣ, доказывающими, что не въ волѣ челоука даже на минуту, и при томъ въ порывѣ вдохновенія, совершенно оторваться отъ обычной колеи своей жизни. Надо сказать, что авторъ—теоретикъ и всю жизнь провелъ въ составленіи и преподаваніи разныхъ риторикъ и пѣтикъ, которыя, какъ и всѣ книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но съ толку сбили многихъ. Вотъ почему его особенно поразила въ сочиненіяхъ Гоголя ихъ полная отрѣшенность и независимость отъ всякихъ школьныхъ правилъ и преданій,—и если онъ не могъ, съ одной стороны, не вмѣнить ему этого въ заслугу, то съ другой—не могъ того же самаго не поставить ему въ заслуженный упрекъ. Отсюда и увидать онъ въ сочиненіяхъ Гоголя «ошибки чуть не отвратительныя», и «простонарное хаотическое состояніе искусства». Спросите его, какія это ошибки—и мы увѣрены, что онъ прежде всего укажетъ на будочника, который казнитъ звѣря на ногтѣ (въ «Мертвыхъ Душахъ»), и этимъ фактомъ подтвердитъ окончательно, что Гоголь «не знаетъ исторіи и не видалъ образцовъ искусства». А между тѣмъ Гоголю, вѣроятно, извѣстнѣе, нежели его критику, что одна изъ извѣстнѣйшихъ галлерей въ Европѣ хранитъ, какъ безцѣнное сокровище, картину великаго Мурильо, представляющую мальчика, который съ усердіемъ и обстоятельно занимается тѣмъ, что будочникъ сдѣлалъ съ просонья и мимоходомъ.

Какъ бы то ни было, но дѣйствительно вліяніе теорій и школъ было одной изъ главныхъ причинъ, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искрено и добросовѣстно видѣли въ Гоголѣ не болѣе, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вслѣдствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другой стороной, и важнаго значенія, которое онъ

быстро приобретать въ общественномъ мнѣнii. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ново было въ свое время направлѣніе Карамзина, — оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всѣхъ баллады Жуковского съ ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами, — но за нихъ были имена ксриоееевъ нѣмецкой литературы. Самъ Пушкинъ, съ одной стороны, былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія, а съ другой стороны, его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона—авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теории, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть ихъ изъ головы, забыть о ихъ существованіи, — а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ находится Гоголь къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно, и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнѣнія есть элементы русскіе, но кто укажетъ ихъ? Какъ доказать, что, напримѣръ, поэмы: «Моцартъ и Сальери», «Каменный Гость», «Скупой рыцарь», «Гадубъ» могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать и о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ, вслѣдствіе любви къ идеаламъ, или какихъ-нибудь заранѣе принятыхъ идей, или привычныхъ пристрастій, какъ, напримѣръ, Пушкинъ въ «Онѣгинѣ» идеализировалъ помѣщичій бытъ. Конечно, преобладающій характеръ его сочиненій—отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобъ быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, — и этотъ идеаль у Гоголя такъ же не свой, т. е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеаль. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ невозможно предложить вопроса: какъ доказать, что они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ

бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такой поразительной вѣрностью и истиной, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша была плодомъ сознательной мысли, явилась какъ нововведеніе, началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественной, натуральной. Это стремленіе, означенное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныхъ только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и носятъ на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди стараго образованія и вмѣняютъ ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкой, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства — какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ. Тутъ все дѣло въ типахъ, а идеаль тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно, ложь), а какъ отношенія, въ которыя авторъ становится другъ къ другу созданные имъ типы, сообразно съ мыслью, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

Искусство въ наше время обогнало теорію. Старая теорія потеряла весь свой кредитъ; даже люди, воспитанные на нихъ, слѣдуютъ не имъ, а какой-то странной смѣси старыхъ понятій съ новыми. Такъ, напримѣръ, нѣкоторые изъ нихъ, отвергая старую французскую теорію во имя романтизма, первые подали соблазнительный примѣръ выводить въ романѣ лицъ низшихъ сословій, даже негодяевъ, къ которымъ шли имена Воробитинныхъ и Ножовыхъ; но они же потомъ оправдывались въ этомъ тѣмъ, что вмѣстѣ съ безнравственными лицами выводили и нравственные подъ именемъ

Правдолюбныхъ, Благотворовыхъ и т. п. Въ первомъ случаѣ видно было вліяніе новыхъ идей; во второмъ — старыхъ, потому что по рецепту старой пштики необходимо было на нѣсколькихъ глушцовъ отпустить хоть одного умника, а на нѣсколькихъ негодяевъ — хоть одного добродѣтельнаго человека. \*) Но въ обоихъ случаяхъ эти междуумки совершенно упускали изъ виду главное, т. е. искусство, потому что и не догадывались, что ихъ и добродѣтельныя, и порочныя лица были не люди, не характеры, а риторическія олицетворенія отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ. Это лучше всего объясняетъ, почему для нихъ теорія, правило важнѣе дѣла, сущности: послѣднее недоступно ихъ разумѣнію. Впрочемъ, отъ вліянія теоріи не всегда избѣгаютъ и таланты, даже гениальныя. Гоголь принадлежитъ къ числу немногихъ, совершенно избѣгнувшихъ всякаго вліянія какой бы то ни было теоріи. Умѣя понимать искусство и удивляться ему въ произведеніяхъ другихъ поэтовъ, онъ тѣмъ не менѣе пошелъ своей дорогой, слѣдуя глубокому и вѣрному художническому инстинкту, какимъ щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успѣхами на подражаніе. Это, разумѣется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполнѣ ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойствомъ его личности и, слѣдовательно, подобно таланту, даромъ природы. Съ этого онъ и показался для многихъ какъ бы извнѣ вошедшимъ въ русскую литературу, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ ея необходимымъ явленіемъ, требовавшимся всѣмъ предшествовавшимъ ея развитіемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣтшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники ея думали унижить названіемъ натуральной. Послѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходы противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняютъ ее? Обвиненій не много, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ея, будто бы, постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ быта этого со-

ловія одни искренно, другіе умышленно видѣли злонамѣренныя карикатуры. Съ нѣкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняютъ писателей натуральной школы за то, что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ, дворниковъ, извозчиковъ, описываютъ углы, убѣжища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на Карамзина и Дмитріева, избравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородныя, и приводятъ въ примѣръ забытаго теперь изищества чувствительную пѣсенку: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣе розу я любилъ». Мы же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повѣсть была написана Карамзинымъ, и ея героиня была обольщенная пестиметромъ крестьянка — Бѣдная Лиза... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовоспитанной барышнѣ. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая пштика. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ болѣе крестьяне, — языкомъ литературнымъ, украшеннымъ «сими, оными, коими, таковыми», и т. п. Да чего же лучше: пастушки и пастушки французскихъ писателей XVIII вѣка представляютъ готовый и прекрасный образецъ для изображенія русскихъ крестьянъ и крестьянокъ; берите цѣликомъ: вотъ вамъ и соломенные шляпы съ голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки съ пелюшечками, башмаки на высокихъ красныхъ каблучкахъ. Только въ языкѣ держитесь литературныхъ привычекъ, потому что французы никогда не любили щеголять обещанными, неупотребляемыми въ разговорѣ словами. Это заманка чисто русская; у насъ даже первоклассныя таланты любятъ «брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, гласъ» и тому подобныя принадлежности такъ-называемаго «высшаго слога». Коротче: старая пштика позволяетъ изображать все, что вамъ угодно, но только предписываетъ при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотѣли изобразить. Слѣдуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который

\*) Тогда слово *резонёръ* для комедіи было такимъ же техническимъ словомъ, какъ и *jeune premier*, первый любовникъ, или *prima donna* для оперы.

Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку—Кузьмой: онъ можетъ снять съ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но и ни на что на свѣтѣ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слѣдуетъ совершенно противному правилу; возможно-близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образцами въ дѣйствительности не составляетъ въ ней всего, но есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можетъ быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же послѣ этого не любить и не чтить старой шитики тѣмъ писателямъ, которые когда-то умѣли и безъ таланта съ успѣхомъ подвизаться на поприщѣ поэзій? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это, конечно, относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмѣшалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убѣжденію не любятъ естественности въ искусствѣ, вслѣдствіе вліянія на нихъ старой шитики. Эти люди съ особенной горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. «Бывало—говорятъ они—поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣшныя. Пржепіе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умытой, выражающей скромно и благородно; при томъ же къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человѣкъ,—и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ была бѣдность и нищета, и благодарныя слезы орошали благодѣтельную руку,—и читатель невольно подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добрѣе и чувствительнѣе... А теперь! посмотрите, что теперь пинуть! мужики въ лаптяхъ и сермягахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухой, баба—родъ центавра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; углы—убѣжища нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору грязному по колѣни; какой-нибудь пьянюшка—подьячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы,—все это списывается съ природы, въ наготѣ страшной истины, такъ что если прочтешь въ ночи тяжелыхъ сновъ...» Такъ или такъ такъ говорятъ маститые питомцы

старой шитики. Въ сущности, ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, зачѣмъ отказалась она быть гремушкой, подъ которую дѣтямъ пріятно и прыгать, и засыпать. Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтскими и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями,—и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ! Да читайте свои старыя сказки—никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь—намъ истина: раздѣлимся безъ спору, благо вамъ не нужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего... По этому полюбовному раздѣлу мѣшаетъ другая причина—эгоизмъ, который считаетъ себя добродѣтелью. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ человѣка обеспеченнаго, можетъ быть, богатаго; онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкой кофе, передъ пылающимъ камномъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ,—и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы,—и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живуть такъ хорошо, какъ онъ, что есть углы, гдѣ подъ лохмотьями дрожить отъ холоду цѣлое семейство, можетъ быть, недавно еще знавшее довольство,—что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбой обреченные на нищету,—что послѣдняя копейка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣсть своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее! «Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!» восклицаетъ онъ.— Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный свой голодь, стоны страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой апетитъ, не нарушился твой сонъ... Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было: управляющій его, Никита Федорычъ, что-то замѣш-



кался высылкой. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга рассказываетъ ему подвиги Никиты Федоровича, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подь пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣеть «малую толику». Всѣ читаютъ—надо и ему читать; но что находить онъ въ книгѣ?—свою биографію, да еще какъ вѣрно рассказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похождения его жизни—тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю не откуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшенъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: «Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обидѣться нечѣмъ!»

Есть особенный родъ читателей, который по чувству аристократизма не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно незнающими приличія и хорошаго тона, не любитъ грязи и нищеты, по ихъ противоположности съ роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокоумнымъ презрѣніемъ, иронической улыбкой... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся «подлой чернью», которая въ ихъ глазахъ ниже хорошей лошади? Не спѣшите сираваться о нихъ въ герольдическихъ книгахъ или при дворахъ европейскихъ; вы не найдете ихъ гербовъ, они не ѣздятъ ко двору, и если видали большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы сквозъ ярко освѣщенные окна, на сколько позволяли сторы и занавѣски... Предками они не могутъ похвалиться: они обыкновенно—или чиновники, или изъ новаго дворянства, богатаго только библейскими преданіями о дѣдушкѣ управляющемъ, о дядюшкѣ отекушникѣ, а иногда и о бабушкѣ просвирнѣ и тетушкѣ торговкѣ. Авторъ этой статьи считаетъ при этомъ обязанностью довести до свѣдѣнія своихъ читателей, что упрекать ближняго

незнатностью происхожденія вовсе не въ его привычкахъ и положительно противно всѣмъ его убѣжденіямъ, и что онъ самъ отнюдь не стыдится признаться въ этомъ. Но онъ думаетъ—и, вѣроятно, читатели его согласятся съ нимъ—что ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ оборвать съ вороны павлинья перья и доказать ей, что она принадлежитъ къ той породѣ, которую вздумала презирать. Человѣкъ простого званія еще не ворона, потому что онъ простого званія; вороной дѣлаетъ не званіе, а природа, и вороны такъ же бывають во всѣхъ званіяхъ, какъ во всѣхъ же званіяхъ бывають и орлы; но, конечно, только воронѣ свойственно рядиться въ павлинья перья и величаться ими. Такъ почему же не сказать воронѣ, что она—ворона? Презрѣніе къ низшимъ сословіямъ въ наше время отнюдь не есть порокъ высшихъ сословій; напротивъ, это болѣзнь выскочекъ, порожденіе невѣжества, грубости чувствъ и понятій. Умный и образованный человѣкъ, если бъ онъ былъ одержимъ этой болѣзнью, никогда не обнаружитъ ее, потому что она не въ духѣ времени, потому что показать ее—значитъ каркнуть о себѣ во все воронье горло. Намъ кажется, что какъ ни гадко лицемѣріе, но въ этомъ случаѣ оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидѣтельствуешь объ умѣ. Павлинь, горделиво распускающій пышный хвостъ свой передъ другими птицами, слыветъ животнымъ красивымъ, но не умнымъ. Что же сказать о воронѣ, спѣсиво выказывающей заимствованный нарядъ? Подобная снѣсь всегда чужда ума и есть порокъ по преимуществу слабейскій. Гдѣ больше ломанья и притязаній, какъ не въ тѣхъ слояхъ общества, которые начинаютъ тотчасъ постѣ самыхъ низшихъ? А это потому, что тутъ всего больше невѣжества. Посмотрите, какъ глубоко презираетъ лакей мужика, который во всѣхъ отношеніяхъ лучше, благороднѣй, человѣчнѣй его! Откуда эта гордость въ лакеѣ? Онъ перенялъ пороки своего барина и оттого считаетъ себя далеко образованнѣе мужика. Внѣшній доскъ грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» восклицаютъ аристократы извѣстнаго разряда. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имѣеть свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель

Быть вѣрнѣ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой — мрачные, если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣниваютъ его съ ремесломъ. Природа — вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ — человѣкъ. А развѣ мужикъ не человѣкъ? — Но что же можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ? — Какъ что? — его душа, умъ, сердце, страсти, склонности, — словомъ, все то же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ богачище интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатомика и физиолога организмъ дикаго австрайлца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки? А потому — вы говорите, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его, на примѣръ, со стороны ума, чувства, характера. Образованіе только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословія... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совѣмъ не потому, чтобы природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ. «Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся съ кругу горемыка?» говорятъ еще эти аристократы средней руки. — Какъ чему? разумѣется не свѣтскому обращенію и не хорошему тону, а знанію человѣка въ извѣстномъ положеніи. Одинъ спивается отъ дѣлности, отъ курнаго воспитанія, отъ слабости характера; другой — отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ, можетъ

быть, нисколько не виноватъ. Въ обоихъ случаяхъ это примѣры поучительныя и любовныя для наблюденія. Конечно, отвернуться съ презрѣніемъ отъ человѣка падшаго гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утѣшеніе и помощь, такъ же какъ осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели съ участіемъ и любовью войти въ его положеніе, изслѣдовать до глубины причину его паденія и пожалѣть о немъ, какъ о человѣкѣ, даже и тогда, когда онъ самъ окажется много виноватымъ въ своемъ паденіи. Искупитель рода человѣческаго приходилъ въ міръ для всѣхъ людей; не мудрыхъ и образованныхъ, а прстѣхъ умомъ и сердцемъ рыбаковъ привалъ Онъ быть «ловцами человѣковъ»; не богатыхъ и счастливыхъ, а бѣдныхъ, страждущихъ, падшихъ искалъ Онъ, чтобы однихъ утѣшить, другихъ ободрить и возстановить. Гнойныя звыи на едва прикрытомъ нечистыми лохмотьями тѣлѣ не оскорбляли его исполненнаго любви и милосердія взгляда. Онъ — сынъ Бога, человѣчески любилъ людей и сострадалъ имъ въ ихъ нищетѣ, грязи, позорѣ, развратѣ, порокахъ, злодѣйствахъ; Онъ разрѣшилъ бросить камень въ блудницу тѣмъ, которые ничѣмъ не могли упрекнуть себя въ вѣстѣи, и устыдилъ жестокосердыхъ судей, и сказалъ падшей женщинѣ слово утѣшенія; — и разбойникъ, испуская духъ на орудіи заслуженной имъ казни, за одну минуту раскаянія услышалъ отъ него слово прощенія и мира... А мы — сыны человѣческіе — мы хотимъ любить изъ нашихъ братьевъ только равныхъ намъ, отворачиваемся отъ низшихъ, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ... Какія добродѣтели и заслуги дали намъ на это право? Не отсутствіе ли именно всякихъ добродѣтелей и заслугъ!... Но божественное слово любви и братства не втунѣ огласило міръ. То, что прежде было обязанностью только призванныхъ на служеніе алтарю лицъ или добродѣтелю немногихъ избранныхъ натуръ, — это самое дѣлается теперь обязанностью общества, служить признакомъ уже не одной добродѣтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участію низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатая вѣрными средствами общества для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбѣжнаго слѣдствія — безнравствен-

ности и разврата. Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патриархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да когда же и гдѣ же въ лучшихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такія побужденія могутъ быть причиною такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ толпу, не одушевлены болѣе благородными и высокими побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, усѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, — въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль; но за нее-то и нападаетъ на литературу безгербовная аристократія. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего они стоятъ...

Остается упомянуть еще о нападкахъ на современную литературу и на натурализмъ вообще съ эстетической точки зрѣнія, во имя чистаго искусства, которое само себѣ дѣль и виѣ себя не признаетъ никакихъ дѣлей. Въ этой мысли есть основаніе, но ея преувеличенность замѣтна съ перваго взгляду. Мысль эта чисто-нѣмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всѣхъ и каждаго представляетъ широкое поле для живой дѣятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной край-

Соч. Бѣлинскаго. Т. IV.

ности, т.-е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями не было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нѣтъ поэзіи, — въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что можно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намѣреніе, дурно выполненное. Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего типическаго, — какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ расказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго. Лица будутъ переиживаться между собою въ его глазахъ; въ разказѣ онъ увидитъ путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вѣрно съ натуры, мало умѣть писать, т. е. владѣть искусствомъ писца или писаря; надобно умѣть явленія дѣйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложенное слѣдственное дѣло, имѣющее романическій интересъ, не есть романъ и можетъ служить развѣ только матеріаломъ для романа, т. е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслью во внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайныя дугевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ. Кажется, чего бы легче было вѣрно списать портретъ человѣка? И иной цѣлый вѣкъ упражняется въ этомъ родѣ живописи, а все не можетъ списать знакомаго ему лица такъ, чтобы и другіе узнали, чей это портретъ. Умѣть списать вѣрно портретъ есть уже своего рода талантъ, но этимъ не оканчивается все. Обыкновенный живописецъ сдѣлалъ очень сходно портретъ вашего знакомаго; сходство не подвергается ни малѣйшему сомнѣнію въ томъ смыслѣ, что вы не можете не узнать сразу, чей это портретъ, а все какъ-то недовольны имъ, — вамъ кажется, будто онъ и похожъ на свой оригиналъ, и не похожъ на него.

Но пусть съ него же сниметь портретъ Тырлювъ или Брюловъ,—и намъ покажется, что зеркало далеко не такъ вѣрно повторяетъ образъ нашего знакомаго, какъ этотъ портретъ, потому что это будетъ уже не только портретъ, но и художественное произведение, въ которомъ схвачено не одно внѣшнее сходство, но вся душа оригинала. Итакъ, вѣрно списывать съ действительности можетъ только талантъ, и какъ бы ни ничтожно было произведение въ другихъ отношеніяхъ, но чѣмъ болѣе оно поражаетъ вѣрностью натурѣ, тѣмъ несомнѣннѣе талантъ его автора. Что не все должно оканчиваться вѣрностью натурѣ, особенно въ поэзій, — это другой вопросъ. Въ живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умѣнье вѣрно писать съ природы можетъ служить часто признакомъ необыкновеннаго таланта. Въ поэзій это не совсѣмъ такъ: не умѣя вѣрно писать съ природы, нельзя быть поэтомъ, но и одного этого умѣнья тоже мало, чтобы быть поэтомъ, по крайней мѣрѣ замѣчательнымъ. Обыкновенно говорятъ, что вѣрное списыванье съ природы предметовъ ужасныхъ (наприм., убійства, казни и т. п.), безъ мысли и художественности, возбуждаетъ отвращенье, а не наслажденье. Это больше чѣмъ несправедливо, это ложно. Зрѣлище убійства или казни есть такой предметъ, который самъ по себѣ не можетъ доставлять наслажденья, и въ произведеніи великаго поэта читатель наслаждается не убійствомъ, не казнью, а мастерствомъ, съ какимъ то или другое изображено поэтомъ, слѣдовательно, это наслажденье эстетическое, а не психологическое, смѣшанное съ невольнымъ ужасомъ и отвращеньемъ, тогда какъ картина выставка подвига или счастья любви доставляетъ наслажденье болѣе сложное, и потому полное, столько же эстетическое, какъ и психологическое. Но человѣкъ безъ таланта никогда вѣрно не изобразитъ убійства или казни, хотя бы онъ тысячу разъ имѣлъ случай изучить этотъ предметъ въ действительности; все, что можетъ онъ сдѣлать, — это болѣе или менѣе вѣрное его описаніе, но никогда не представить онъ вѣрной его картины. Описаніе его можетъ возбуждать сильное любопытство, но не наслажденье. Если же, не имѣя таланта, онъ пустится писать картину такого события, она всегда произведетъ только одно отвращенье, но не потому, что вѣрно списана съ природы, а по причинѣ противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральнй эффектъ не есть выраженіе чувства.

Прежде всего должно быть искусствомъ, мы тѣмъ не менѣе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ въ своей собственной сферѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдѣ не бывало. Безъ всякаго сомнѣнья, жизнь раздѣляется и подраздѣляется на множество сторонъ, имѣющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другой живымъ образомъ, и нѣтъ между ними рѣзкой раздѣляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна. Говорятъ: для науки нуженъ умъ и разсудокъ, для творчества—фантазія, и думаютъ, что этимъ порѣшили дѣло начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можетъ обойтись безъ фантазій? Неправда! истина въ томъ, что въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль, а въ наукѣ—умъ и разсудокъ. Бываютъ, конечно, произведенія поэзій, въ которыхъ ничего не видно, кромѣ сильной блестящей фантазій: но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній. Въ твореніяхъ Шекспира не знаешь, чему болѣе дивиться—богатству ли творческой фантазій, или богатству всеобъемлющаго ума. Есть роды учености, которые не только не требуютъ фантазій, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить; но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще. Искусство есть воспроизведеніе действительности, повтореннй, какъ бы вновь созданный міръ; можетъ ли же оно быть какой-то одинокой, изолированной отъ всѣхъ чуждыхъ ему вліяній дѣятельностью? Можетъ ли поэтъ не отразиться въ своемъ произведеніи какъ человѣкъ, какъ характеръ, какъ натура, — словомъ, какъ личность? Разумѣется, нѣтъ, потому что и самая способность изображать явленія действительности безъ всякаго отношенія къ самому себѣ—есть опять-таки выраженіе природы поэта. Но и эта способность имѣетъ свои границы. Личность Шекспира просвѣчивается сквозь его творенья, хотя и кажется, что онъ такъ же равнодушенъ къ изображаемому имъ міру, какъ и судьба, спасающая или губящая его героевъ. Въ романахъ Вальтеръ-Скотта невозможно не увидѣть въ авторѣ чловѣка болѣе замѣчательнаго талантомъ, нежели сознательно-широкимъ пониманіемъ жизни, тора, консерватора и аристократа по убѣжденію и привычкамъ. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, внѣ

всѣхъ вліаній извнѣ. Поэтъ прежде всего — человекъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дѣйствовать менѣе, чѣмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ старой веселой Англій, которая въ продолженіе немногихъ лѣтъ вдругъ сдѣлалась суровой, строгой, фанатической. Пуританское движеніе имѣло сильное вліаніе на его послѣднія произведенія, наложивъ на нихъ отпечатокъ мрачной грусти. Изъ этого видно, что, родись онъ десятилѣтіями двумя позже, — геній его остался бы тотъ же, но характеръ его произведеній былъ бы другой. Поэзія Мильтона — явно произведеніе его эпохи; самъ того не подозревая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апоэозу возстанья противъ авторитета, хотя и думалъ сдѣлать совершенно другое. Такъ сильно дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе общества. Вотъ отчего теперь исключительно-эстетическая критика, которая хочетъ имѣть дѣло съ поэтомъ и его произведеніемъ, не обращая вниманія на мѣсто и время, гдѣ и когда писалъ поэтъ, на обстоятельства, подготовившія его къ поэтическому подприцу и имѣвшія вліаніе на его поэтическую дѣятельность, потеряла теперь всякій кредитъ, сдѣлалась невозможной. Говорятъ: духъ партій, сектантизмъ вредятъ таланту, портятъ его произведенія. Правда! И потому-то онъ долженъ быть органомъ не той или другой партіи или секты, осужденной, можетъ быть, на эфемерное существованье, обреченной исчезнуть безъ слѣда, но сокровенной думы всего общества, его, можетъ быть, еще не яснаго самому ему стремленія. Другими словами: поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ всей его эпохѣ. Какъ же разсмотрѣть онъ въ этомъ хаосѣ противорѣчащихъ мнѣній, стремленій, которое изъ нихъ дѣйствительно выражаетъ духъ его эпохи? Въ этомъ случаѣ единственнымъ вѣрнымъ указателемъ больше всего можетъ быть его инстинктъ, темное бессознательное чувство, часто составляющее всю силу гениальной природы: кажется, идетъ наудачу, вопреки общему мнѣнію, наперекоръ всѣмъ принятымъ понятіямъ и здравому смыслу, а между тѣмъ идетъ прямо туда, куда надо идти, — и вскорѣ даже тѣ, которые громче другихъ кричали противъ него, волей или неволей, а идутъ за нимъ и уже не понимаютъ, какъ же можно было бы идти не по этой дорогѣ. Вотъ почему иной поэтъ только до тѣхъ поръ и дѣйствуетъ могущественно, даетъ новое направленіе цѣлой литературѣ,

пока просто, инстинктивно, бессознательно слѣдуетъ влущенію своего таланта; а лишь только начнетъ разсуждать и пустится въ философію, — глядь, и спотынулся, да еще какъ!... И обезсилѣетъ вдругъ богатырь, точно Самсонъ, лишенный волосъ, и онъ, который шель впереди всѣхъ, тащится теперь въ заднихъ отсталыхъ рядахъ, въ толпѣ своихъ прежнихъ противниковъ, а теперь новыхъ союзниковъ, и вмѣстѣ съ ними вооружается на собственное дѣло; да ужъ поздно: не его волей сдѣлано оно, не его волей и пасть ему, оно выше его самого и нужнѣе обществу, нежели онъ самъ теперь... И больно, и жалко, и смѣшно смотрѣть на даровитаго поэта, захотѣвшаго сдѣлаться плохимъ резонеромъ!..

Въ наше время искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общіе, доступнѣе всѣмъ, янѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во глазѣ всѣхъ другихъ вопросовъ. Это, разумѣется, не могло не измѣнить общаго направленія искусства во вредъ ему. Такъ самые гениальные поэты, увлекаясь рѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ, удивляютъ иногда теперь публику сочиненіями, которыхъ художественное достоинство несколько не соответствуетъ ихъ таланту или по крайней мѣрѣ обнаруживается только въ частностяхъ, а цѣлое произведеніе слабо, растянато, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржъ Занды: «Le Meunier d'Angibault», «Le Péché de Monsieur Antoine», «Isidore». Но и здѣсь бѣда произошла собственно не отъ вліанія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а отъ того, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопией, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи. Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ характерами, возможными, съ лицами всѣмъ знакомыми, онъ вывелъ характеры фантастическіе, лица небывалыя, и романъ у него смѣшался со сказкой, натуральное заслонило неестественнымъ, поэзія смѣшалась съ риторикой. Но изъ этого еще нѣтъ причины вопить о паденіи искусства; тотъ же Жоржъ Зандъ послѣ «Le Meunier d'Angibault» написалъ «Теверино», а послѣ «Изидоры» и «Le Péché de Monsieur Antoine» — «Дукрецію Флоріани». Порча искусства вслѣдствіе вліанія современныхъ общественныхъ вопросовъ могла бы скорѣе обнаружиться на талантахъ низшей степени, но и тутъ она обнаруживается только въ неумѣнн отличать существующее отъ небывалаго, возможное отъ невозможнаго. и

еще болѣе — въ страсти къ мелодрамѣ, къ натянутымъ эффектамъ. Что особенно хорошо въ романахъ Евгения Сю? — вѣрныя картины современнаго общества, въ которыхъ болѣе всего видно влияние современныхъ вопросовъ. А что составляетъ ихъ слабую сторону, портитъ ихъ до того, что отбиваетъ всякую охоту читать ихъ? — Преувеличенія, мелодрама, эффекты, необычальные характеры въ родѣ принца Родольфа, — словомъ, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходитъ отнюдь не изъ влияния современныхъ вопросовъ, а изъ недостатка таланта, котораго хватаетъ только на частности и никогда на цѣлое произведеніе. Съ другой стороны, мы можемъ указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты душевными симпатіями нашего времени, и которымъ это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями.

Мы сказали, что чистаго, отрѣшеннаго, безусловнаго или, какъ говорятъ философы, абсолютнаго искусства никогда и нигдѣ не бывало. Если нѣчто подобное можно допустить, такъ это развѣ художественныя произведенія тѣхъ эпохъ, въ которыя искусство было главнымъ интересомъ, исключительно занимавшимъ образованнѣйшую часть общества. Таковы, напримѣръ, произведенія живописи итальянскихъ школъ въ XVI столѣтіи. Ихъ содержаніе, по видимому, преимущественно религіозное; но это болѣею частью миражъ, а на самомъ дѣлѣ предметъ этой живописи — красота какъ красота, болѣе въ пластическомъ или классическомъ, нежели въ романтическомъ смыслѣ этого слова. Возьмемъ, напримѣръ, мадонну Рафаэля, этотъ chef d'oeuvre итальянской живописи XVI вѣка. Кто не помнитъ статьи Жуковскаго объ этомъ дивномъ произведеніи, кто съ молодыхъ лѣтъ не составилъ себѣ о немъ понятія по этой статьѣ? Кто, стало быть, не былъ увѣренъ, какъ въ несомнѣнной истинѣ, что это произведеніе по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайшій идеаль той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанію, и то въ рѣдкія мгновенія чистаго восторженнаго вдохновенія?... Авторъ предлагаемой статьи недавно видѣлъ эту картину. Не будучи знатокомъ живописи, онъ не позволилъ бы себѣ говорить объ этой удивительной картинѣ съ цѣлью опредѣлять ея значеніе и степень ея достоинства: но какъ дѣло идетъ только о его личномъ впечатлѣніи и о романтическомъ или неромантическомъ характерѣ картины, — то онъ думаетъ, что можетъ

позволить себѣ на этотъ счетъ нѣсколько словъ. Статьи Жуковскаго онъ не читалъ уже давно, можетъ быть, болѣе десяти лѣтъ, но какъ до того времени онъ читалъ и перечитывалъ ее со всѣмъ страстнымъ увлеченіемъ, со всею вѣрой молодости и зналъ ее почти наизусть, — то и подошелъ къ знаменитой картинѣ съ ожиданіемъ уже извѣстнаго впечатлѣнія. Долго смотрѣлъ онъ на нее, оставлялъ, обращался къ другимъ картинамъ и снова подходилъ къ ней. Какъ ни мало знаетъ онъ толку въ живописи, но первое впечатлѣніе его было рѣшительно и опредѣленно въ одномъ отношеніи: онъ тотчасъ же почувствовалъ, что послѣ этой картины трудно понять достоинства другихъ и заинтересоваться ими. Два раза былъ онъ въ дрезденской галлерей и въ оба видѣлъ только эту картину, даже когда смотрѣлъ на другія, когда ни на что не смотрѣлъ. И теперь, когда ни вспомнить онъ о ней, она словно стоитъ передъ его глазами, и память почти замѣняетъ дѣйствительность. Но чѣмъ долѣе и пристальнѣе всматривался онъ въ эту картину, чѣмъ болѣе думалъ тогда и послѣ, тѣмъ болѣе убѣждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковскимъ подъ именемъ рафаэлевой, — двѣ совершенно различныя картины, не имѣющія между собой ничего общаго, ничего сходнаго. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ея выражаетъ ту красоту, которая существуетъ самостоятельно, не заимствуя своего очарованія отъ какого-нибудь нравственнаго выраженія въ лицѣ. На этомъ лицѣ, напротивъ, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ея фигура, исполнены невыразимаго благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознаніемъ и своего высокаго сана, и своего личнаго достоинства. Въ ея взорѣ есть что-то строгое, сдержанное, нѣтъ благодати и милости, но нѣтъ и гордости, презрѣнія, а вмѣсто всего этого какое-то не забывающее своего величія смищеніе. Это — какъ бы сказать — *idéal sublime du comme il faut*. Но ни тѣни неудовимаго, таинственнаго, туманнаго, мерцающаго, — словомъ, романтическаго; напротивъ, во всемъ такая отчетливая, ясная опредѣленность, оконченность, такая строгая правильность и вѣрность очертаній, и вмѣстѣ съ этимъ такое благородство, изящество кисти! Религіозное созерцаніе выразилось въ этой картинѣ только въ лицѣ божественнаго младенца, но созерцаніе, исключительно свойственное только католицизму того времени. Въ положеніи младенца, въ протянутыхъ къ предстоящимъ (разумѣю зрителей картины) ру-

кахъ, въ расширенныхъ зрачкахъ глазъ его видны гнѣвъ и угроза, а въ приподнятой нижней губѣ горделивое презрѣніе. Это не Богъ прощенья и милости, не искупительный агнецъ за грѣхи міра,—это Богъ судящій и карающій... Изъ этого видно, что и въ фигурѣ младенца нѣтъ ничего романтическаго; напротивъ, его выраженіе такъ просто и опредѣленно, такъ удовимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Развѣ только въ лицахъ ангеловъ, отличающихся необыкновеннымъ выраженіемъ разумности и задумчиво созерцающихъ явленіе Божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнѣе искать такъ-называемаго искусства у грековъ. Дѣйствительно, красота, составляющая существенный элементъ искусства, была едва ли не преобладающимъ элементомъ жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякаго другого къ идеалу такъ называемаго чистаго искусства. Но тѣмъ не менѣе красота въ немъ была больше существенной формой всякаго содержанія, нежели самимъ содержаніемъ. Содержаніе же ему давали и религія, и гражданская жизнь, но только всегда подъ очевиднымъ преобладаніемъ красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе другихъ къ идеалу абсолютнаго искусства, но нельзя назвать его абсолютнымъ, т. е. независимымъ отъ другихъ сторонъ національной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте, какъ на представителей свободнаго, чистаго искусства; но это одно изъ самыхъ неудачныхъ указаній. Что Шекспиръ—величайшій творческій гений, поэтъ по преимуществу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но тѣ плохо понимаютъ его, кто изъ-за его поэзіи не видитъ богатаго содержанія, неистощимаго рудника уроковъ и фактовъ для психолога, философа, историка, государственнаго человѣка и т. п. Шекспиръ все передаетъ черезъ поэзію, но передаваемое имъ далеко отъ того, чтобы принадлежать одной поэзіи. Вообще характеръ новаго искусства—перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы, тогда какъ характеръ древняго искусства—равновѣсіе содержанія и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнѣе, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажемъ это двумя примѣрами. Въ «Современникѣ» прошлаго года напечатанъ былъ переводъ гётевскаго романа «Wahlverwandschaften», о которомъ и на Руси было иногда толковано печатно; въ Германіи же онъ пользуется страшнымъ почетомъ, о немъ написаны тамъ горы статей и цѣлыя книги. Не знаемъ, до какой степени понравился онъ

русской публикѣ, и даже понравился ли онъ ей: наше дѣло было познакомить ее съ замѣчательнымъ произведеніемъ великаго поэта. Мы даже думаемъ, что романъ этотъ больше удивилъ нашу публику, нежели понравился ей. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ многому можно удивиться! Дѣвушка переписываетъ отчеты по управленію имѣніемъ; герой романа замѣчаетъ, что въ ея копій, чѣмъ дальше, тѣмъ больше почеркъ ея становится похожъ на его почеркъ. «Ты любишь меня!» восклицаетъ онъ, бросаясь ей на шею. Повторяемъ, такая черта не одной нашей, но и всякой другой публикѣ не можетъ не показаться странной. Но для нѣмцевъ она нисколько не странна, потому что эта черта нѣмецкой жизни, вѣрно схваченная. Такихъ чертъ въ этомъ романѣ найдется довольно; многіе сочтутъ, пожалуй, и весь романъ не за что иное, какъ за такую черту... Не значитъ ли это, что романъ Гёте написанъ до того подъ влияніемъ нѣмецкой общественности, что внѣ Германіи онъ кажется чѣмъ-то странно необыкновеннымъ? Но «Фаустъ» Гёте, конечно, вездѣ великое созданіе. На него въ особенности любятъ указывать, какъ на образецъ чистаго искусства, неподчиняющагося ничему, кромѣ собственныхъ, одному ему свойственныхъ законовъ. И однако жъ—не въ осудъ будь сказано почтеннымъ рыцарямъ чистаго искусства—«Фаустъ» есть полное отраженіе всей жизни современнаго ему нѣмецкаго общества. Въ немъ выразилось все философское движеніе Германіи въ концѣ прошлаго столѣтія. Недаромъ поствѣдователи школы Гегеля цитовали безпрестанно въ своихъ лекціяхъ и философскихъ трактатахъ стихи изъ «Фауста». Недаромъ также во второй части «Фауста» Гёте безпрестанно впадалъ въ аллегорію, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Гдѣ же тутъ чистое искусство?

Мы видѣли, что и греческое искусство только ближе всякаго другого къ идеалу такъ-называемаго чистаго искусства, но не осуществляетъ его вполне; что же касается до новѣйшаго искусства, оно всегда было далеко отъ этого идеала, а въ настоящее время еще больше отдалилось отъ него; но это-то и составляетъ его силу. Собственно художественный интересъ не могъ не уступить мѣста другимъ важнѣйшимъ для человѣчества интересамъ, и искусство благородно взялось служить имъ въ качествѣ ихъ органа. Но отъ этого оно нисколько не перестало быть искусствомъ, а только получило новый характеръ. Отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ—значитъ не возвышать,

а унижать его, потому что это значить— лишать его самой живой силы, т. е. мысли, дѣлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкой праздныхъ лѣнливцевъ. Это значить даже убивать его, чему доказательствомъ можетъ служить жалкое положеніе живописи нашего времени. Какъ будто не замѣчая кипящей во кругъ него жизни, съ закрытыми глазами на все живое, современное, дѣйствительное, это искусство ищетъ вдохновенія въ отжившемъ прошедшемъ, беретъ оттуда готовые идеалы, къ которымъ люди давно уже охладѣли, которые никого уже не интересуютъ, не грѣютъ, ни въ комъ не пробуждаютъ живого сочувствія.

Платонъ считалъ униженіемъ, профанаціей науки приложеніе геометріи къ ремесламъ. Это понятно въ такомъ восторженномъ идеалистѣ и романтикѣ, гражданинѣ маленькой республики, гдѣ общественная жизнь была такъ проста и немногосложна; но въ наше время она не имѣетъ даже оригинальности милой нечѣпости. Говорятъ, Диккенсъ своими романами сильно способствовалъ въ Англіи улучшенію учебныхъ заведеній, въ которыхъ все основано было на безпопадномъ дряннѣ розгами и варварскомъ обращеніи съ дѣтьми. Чтò жъ тутъ дурного, спросимъ мы, если Диккенсъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ какъ поэтъ? Развѣ отъ этого романы его хуже въ эстетическомъ отношеніи? Здѣсь явно недоразумѣніе: видятъ, что искусство и наука не одно и то же, а не видятъ, что ихъ различіе вовсе не въ содержаніи, а только въ способѣ обрабатывать данное содержаніе. Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ— образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываетъ, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, показываетъ въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убождаютъ, только одинъ логическими доводами, другой— картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другою— всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на cadaго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію— сознаніе, а сознанію

искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука, и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаетъ самой истины. Если мы видимъ иногда людей, даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что такіе вопросы чужды искусству и губятъ его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, ихъ паденіе было бы еще разительнѣе. Плохъ, напримѣръ, былъ забытый теперь романъ «Панъ Подстоличъ», вышедшій назавдъ тому больше десяти лѣтъ и написанный съ похвальной цѣлью—представить картину состоянія бѣлорусскихъ крестьянъ; но все же онъ не былъ совсѣмъ бесполезенъ, и хоть съ страшной скукой, но прочли же его иные. Конечно, авторъ лучше достигъ бы своей благородной цѣли, если бы содержаніе своего романа изложилъ въ формѣ записокъ или замѣтокъ наблюдателя, не пускаясь въ поэзію; но если бы онъ взялся писать романъ чисто поэтической, онъ еще меньше достигъ бы своей цѣли. Теперь многихъ увлекаетъ волшебное слово: «направленіе»; думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательной мыслью,—что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самаго искусства. Идея, вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, какъ должно, но не проведенная черезъ собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капиталъ не только для поэтической, но и всякой литературной дѣятельности. Какъ ни списывайте съ природы, какъ ни слабривайте вашихъ списковъ готовыми идеями и благонамѣренными «тенденціями», но если у васъ нѣтъ поэтическаго таланта,—списки ваши никому не напомнятъ своихъ оригиналовъ, а идеи и направленія останутся общими риторическими мѣстами.

Теперь что-нибудь одно изъ двухъ: или картины нѣкоторыхъ сторонъ общественнаго быта, представляемыя писателями натуральной школы, проникнуты истиной и вѣрностью дѣйствительности, и въ такомъ случаѣ онѣ порождены талантомъ, носятъ



на себѣ отпечатокъ созданія; или, если это наоборотъ, онѣ не могутъ никого увлекать и убѣждать, и въ нихъ никто не видитъ ни малѣйшаго сходства съ дѣйствительностью. Такъ и говорятъ о нихъ противники этой школы, но тогда слѣдуетъ въпросъ: отчего же, съ одной стороны, эти произведенія пользуются такимъ успѣхомъ у большинства читающей публики, а съ другой—имѣютъ способность такъ сильно раздражать противниковъ натуральной школы? Вѣдь только золотая посредственность пользуется завидной привилегіей—никого не раздражать и не имѣть враговъ и противниковъ?

Одни говорили, что натуральная школа клеветаетъ на общество и унижаетъ его умышленно; другіе теперь прибавляютъ къ этому, что она особенно виновата въ этомъ отношеніи передъ простымъ народомъ. Последнее обвиненіе выходитъ какъ-то противорѣчиво у хулителей натуральной школы: одни изъ нихъ упрекаютъ ее съ мѣщански-аристократической точки зрѣнія, достойной прославленнаго Мольеромъ Журдена, за излишнюю симпатію къ людямъ простого званія, другіе—за скрытую враждебность къ нимъ. Мы уже имѣли случай обстоятельно и подробно возразить на это обвиненіе и доказать всю его неосновательность и неблагоприятность (въ статьѣ Отвѣтъ «Москвитяину»), такъ что новаго объ этомъ сказать ничего не имѣемъ, пока наши доброжелатели не выдумаютъ чего-нибудь новаго въ подкрѣпленіе этого, дѣлающаго имъ особенную честь, обвиненія. И потому скажемъ нѣсколько словъ о другомъ обвиненіи. Одни говорятъ (и очень справедливо на этотъ разъ), что натуральная школа основана Гоголемъ; другіе, отчасти соглашаясь съ этимъ, прибавляютъ еще, что французская неистовая словесность (лѣтъ десять назадъ тому какъ уже скончавшаяся вмагъ) еще больше Гоголя имѣла участія въ порожденіи натуральной школы. Подобное обвиненіе изъ рукъ вонъ нечисто: всѣ факты рѣшительно противъ него. Обращаясь къ его родословной, можно сказать, что оно порождено или тѣми неблагоприятными причинами, о которыхъ говорить запрещаетъ приличіе, или рѣшительнымъ непониманіемъ литературнаго дѣла. Последнее еще вѣрнѣе. Хотя эти господа и ратуютъ за искусство, но это не мѣшаетъ имъ не имѣть о немъ ни малѣйшаго понятія. Какія произведенія французской литературы причислены были у насъ почему-то къ неистовой школѣ?—Первые романы Гюго (и въ особенности его знаменитая «Notre Dame de Paris»), Сю, Дюма, «Мертвый оселъ и гильотинированная жей-

щина» Жюль Жанена. Не такъ ли? Кто жъ теперь ихъ помнить, когда сами авторы ихъ давно уже приняли новое направленіе? И что составляло главный характеръ этихъ произведеній, не лишенныхъ, впрочемъ, своего рода достоинствъ?—преувеличеніе, мелодрама, трескучіе эффекты. Представителемъ такого направленія у насъ былъ только Марлинскій, и влияніе Гоголя положило рѣшительный конецъ этому направленію. Что же у него общаго съ натуральной школой? Теперь даже и рѣдкихъ попытокъ нѣтъ на произведенія съ такимъ направленіемъ, за исключеніемъ развѣ драмъ съ испанскими страстями, восхваляющихъ обычныхъ посягателей Александринскаго театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень рѣдко, приобрести успѣхъ подражаніемъ французскимъ романамъ, то новѣйшимъ, болѣе вѣрнымъ и вздорнымъ, нежели неистовымъ. Къ такимъ попыткамъ принадлежитъ недавно напечатанный въ одномъ журналѣ романъ «Спекуляторы», наполненный небывалыми злодѣями или, вѣрнѣе сказать, негодяями, и невозможными похождениями, изъ которыхъ однако жъ выводится въ концѣ чистѣйшая нравственность. Но натуральной школѣ что за дѣло до подобныхъ произведеній? Они къ ней не относятся ни съ которой стороны.

Гораздо вѣрнѣе всѣхъ этихъ обвиненій тотъ фактъ, что въ лицѣ писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохновенія и идеаловъ, и чрезъ это сдѣлалась и современной, и русской. Съ этого пути она, кажется, уже не сойдетъ, потому что это прямой путь къ самобытности, къ освобожденію отъ всякихъ чуждыхъ и постороннихъ влияній. Этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что она всегда останется въ томъ состояніи, какъ теперь; нѣтъ, она будетъ итти впередъ, измѣняться, но только никогда уже не перестанетъ быть вѣрной дѣйствительности и натурѣ. Мы нисколько не обольщены ея успѣхами и вовсе не хотимъ преувеличивать ихъ. Мы очень хорошо видимъ, что наша литература и теперь еще на пути стремленія, а не достиженія, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успѣхъ ея заключается пока въ томъ, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищетъ ея, но съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе твердымъ шагомъ продолжаетъ итти по ней. Теперь у ней нѣтъ главы, ея дѣятели—таланты не первой степени, а между тѣмъ она имѣетъ свой характеръ и уже безъ помочей идетъ по настоящей дорогѣ, которую яено ви-

длитъ сама. Здѣсь невольно приходять намъ на память слова, сказанныя редакторомъ «Современника» въ первой книжкѣ этого журнала за прошлый годъ: «Взаимныя сильныхъ талантовъ, недостающихъ нашей современной литературѣ, въ ней, такъ сказать, отстоялись и улеглись жизненные начала дальнѣйшаго развитія и дѣятельности. Она уже, какъ мы замѣтили выше, явленіе опредѣленнаго рода; въ ней есть сознание самостоятельности и своего значенія. Она уже сила организованная правильно, дѣятельная, живыми отпрысками переплетающаяся съ разными общественными нуждами и интересами, не метеоръ, случайно залетѣвшій изъ чуждой намъ сферы на удивленіе толпы, не вспышка уединенной гениальной мысли, нечаянно проскользнувшая въ умы и потрясая ихъ на минуту новымъ и невѣдомымъ ощущеніемъ. Въ области литературы нашей теперь нѣтъ мѣстъ особенно замѣчательныхъ, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство нашихъ полей, только что освободившихся отъ ледяной земной коры: тутъ на холмахъ кой-гдѣ пробивается травка, въ оврагахъ лежитъ еще почернѣвшій снѣгъ, перемѣшанный съ грязью. Теперь ее можно сравнить съ тѣми же полями въ весеннемъ убранствѣ: хотя зелень не блистаетъ яркимъ колоритомъ, мѣстами она очень блѣдна и не роскошна, но она уже стелется повсюду; прекрасное время года наступать.»

Мы думаемъ, что въ этомъ есть прогрессъ...

Справедливость выписанныхъ нами словъ сдѣлается еще очевиднѣе, если обратить вниманіе и на другія стороны русской литературы нашего времени. Тамъ увидимъ мы явленіе, соответствующее тому, которое въ поэзіи называютъ натурализмомъ, т. е. то же стремленіе къ дѣйствительности, реальности, истинѣ, то же отвращеніе отъ фантазій и призраковъ. Въ наукѣ отвлеченныя теоріи, апіорныя построения, довѣріе къ системамъ со дня на день теряютъ свой кредитъ и уступаютъ мѣсто направленію практическому, основанному на знаніи фактовъ. Конечно, наука еще не пустила у насъ глубокихъ корней, но и въ ней уже замѣтенъ поворотъ къ самобытности, именно въ той сферѣ, въ которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки—въ сферѣ изученія русской исторіи. Въ ея событіяхъ, до сихъ поръ объяснявшихся подъ влияніемъ изученія западной исторіи, уже приводятся начала жизни, только ей свойственныя, и русская исторія объясняется по русски. То же обращеніе

къ вопросамъ, имѣющимъ болѣе близкое отношеніе собственно къ нашей, русской жизни, то же усиліе разрѣшить ихъ по-своему замѣтно и въ изученіи современнаго быта Россіи. Чтобы доказать это, мы разберемъ все, что въ прошломъ году явилось замѣчательнаго въ какомъ бы то ни было отношеніи.

## II.

Значеніе романа и повѣсти въ настоящее время.—Замѣчательные романы и повѣсти прошлаго года и характеристика современныхъ русскихъ беллетристовъ: Искандеръ, Гончаровъ, Тургеневъ, Даль, Григоровичъ, Дружининъ.— «Путевыя замѣтки» Т. Ч.—«Испанскія письма», Боткина—«Полное собраніе русскихъ авторовъ» А. Смирдина.

Романъ и повѣсть стали теперь во главѣ всѣхъ другихъ родовъ поэзіи. Въ нихъ заключилась вся изящная литература, такъ что всякое другое произведеніе кажется при нихъ чѣмъ-то исключительнымъ и случайнымъ. Причины этого въ самой сущности романа и повѣсти, какъ рода поэзіи. Въ нихъ лучше, удобнѣе, нежели въ какомъ-нибудь другомъ родѣ поэзіи, вымыслъ сливается съ дѣйствительностью, художественное изобрѣтеніе смѣшивается съ простымъ, лишь бы вѣрнымъ, списываніемъ съ натуры. Романъ и повѣсть, даже изображая самую обыкновенную и пошлую прозу житейскаго быта, могутъ быть представителями крайнихъ предѣловъ искусства, высшаго творчества; съ другой стороны, отражая въ себѣ только избранныя, высокія мгновенія жизни, они могутъ быть лишены всякой поэзіи, всякаго искусства... Это самый широкій, всеобъемлющій родъ поэзіи. Въ немъ талантъ чувствуетъ себя безгранично свободнымъ; въ немъ соединяются всѣ другіе роды поэзіи—и лирика, какъ излияніе чувствъ автора по поводу описываемаго имъ событія, и драматизмъ какъ болѣе яркий и рельефный способъ заставлять высказываться данные характеры. Отступленія, рассужденія, дактика, нетерпимыя въ другихъ родахъ поэзіи, въ романѣ и повѣсти могутъ имѣть законное мѣсто. Романъ и повѣсть даютъ полный просторъ писателю въ отношеніи преобладающаго свойства его таланта, характера, вкуса, направленія, и т. д. Вотъ почему въ послѣднее время такъ много романистовъ и повѣствователей. И потому же теперь самые предѣлы романа и повѣсти раздвинулись: кромѣ «разказа», давно уже существовавшаго въ литературѣ, какъ изящной и болѣе легкой видѣ повѣсти, недавно получили въ литературѣ право гражданства такъ-называемыя физиологіи, характеристическіе очерки разныхъ сторонъ обществен-

наго быта. Наконецъ, самые мемуары, совершенно чуждые всякаго вымысла, цѣнны только по мѣрѣ вѣрной и точной передачи ими дѣйствительныхъ событій, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляютъ какъ бы послѣднюю грань въ области романа, замыкая ее собою. Что же общаго между вымыслами фантазій и строго историческимъ изображеніемъ того, что было на самомъ дѣлѣ? Какъ что?—художественность изложенія! Недаромъ же историковъ называютъ художниками. Кажется, что бы дѣлать искусство (въ смыслѣ художества) тамъ, гдѣ писатель связанъ источниками, фактами и долженъ только о томъ стараться, чтобы воспроизвести эти факты какъ можно вѣрнѣе? Но въ томъ-то и дѣло, что вѣрное воспроизведеніе фактовъ невозможно при помощи одной эрудиціи, а нужна еще фантазія. Историческіе факты, содержащіеся въ источникахъ,—не болѣе, какъ камни и кирпичи: только художникъ можетъ воздвигнуть изъ этого матеріала изящное зданіе. Въ первой статьѣ нашей мы уже говорили о томъ, что вѣрно списывать съ природы такъ же нельзя безъ творческаго таланта, какъ и создавать вымыслы, похожіе на природу. Сближеніе искусства съ жизнью, вымысла—съ дѣйствительностью въ нашъ вѣкъ особенно выразилось въ историческомъ романѣ. Отсюда были только шагъ до истиннаго возрѣнія на мемуары, въ которыхъ такую важную роль играютъ очерки характеровъ и лицъ. Если очерки живы, увлекательны, значить—они не копія, не списки, всегда блѣдные, ничего не выражающіе, а художественное воспроизведеніе лицъ и событій. Такъ дорожатъ портретами Фанъ-Дейковъ, Тиціановъ и Веласковъ, вовсе не интересуясь знать, съ кого были писаны эти портреты: ими дорожатъ, какъ картинами, какъ художественными произведеніями. Такова сила искусства: лицо, ничѣмъ не замѣчательное само по себѣ, получаетъ чрезъ искусство общее значеніе, для всѣхъ равно интересное, и на человѣка, который при жизни не обращалъ на себя ничего вниманія, смотрятъ вѣка по милости художника, давшаго ему своей кистью новую жизнь! То же самое и въ мемуарахъ, и въ разсказахъ, и во всякаго рода снимкахъ съ природы. Тутъ степень достоинства произведенія зависитъ отъ степени таланта писателя. И вы можете въ книгѣ любоваться человѣкомъ, съ которымъ не захотѣли бы нигдѣ встрѣтиться, котораго, можетъ быть, всегда знали бы какъ самое пустое и скучное созданіе. Заподзѣвая эстетики утверждаютъ, что «поэзія не должна быть живописью, потому что въ живописи все дѣло въ вѣрномъ изобра-

женіи предмета, схваченнаго въ одномъ извѣстномъ моментѣ». Но если поэзія беретъ изображать лица, характеры, событія,—словомъ, картины жизни, само собою разумѣется, что въ такомъ случаѣ она беретъ на себя ту же самую обязанность, что живопись, т. е. быть вѣрной дѣйствительности, которую взялась воспроизводить. И эта вѣрность есть первое требованіе, первая задача поэзіи. О поэтическомъ талантѣ автора тутъ должно судить, прежде всего основываясь на томъ, до какой степени удовлетворяетъ онъ этому требованію, рѣшаетъ эту задачу. Если онъ не живописецъ,—явный знакъ, что онъ и не поэтъ, что у него вовсе нѣтъ таланта. Но что поэзія не должна быть только живописью, это опять другое дѣло, и съ этимъ кельзя не согласиться. Въ картинахъ поэта должна бѣгъ мысль, производимое ими впечатлѣніе должно дѣйствовать на умъ читателя, должно давать то или другое направленіе его взгляду на извѣстныя стороны жизни. Для этого романъ и повѣсть съ однородными имъ произведеніями, самый удобный родъ поэзіи. На его долю преимущественно досталось изображеніе картинъ общественности, поэтической анализъ общественной жизни.

Прошлый 1847 годъ былъ особенно богатъ замѣчательными романами, повѣстями и разсказами. По огромному успѣху въ публикѣ, первое мѣсто между ними принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, двумъ романамъ: «Кто виноватъ?» и «Обыкновенная Исторія», почему мы и начнемъ съ нихъ наше обзорѣніе изящной литературы за прошлый годъ.

Искандеръ давно уже извѣстенъ публикѣ, какъ авторъ разныхъ статей, отличающихся замѣчательнымъ умомъ, талантомъ, остроуміемъ, оригинальностью взгляда на предметы и оригинальностью выраженія. Но какъ романистъ, онъ талантъ новый, обратившій на себя особенное вниманіе русской публики только съ прошлаго года. Правда, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были напечатаны два его опыта въ искусствѣ разсказывать: «Записки одного молодого человѣка» (1840) и «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» (1841), въ которыхъ можно было предугадывать въ авторѣ будущаго даровитаго романиста, судя по вѣрности и живости этихъ легкихъ очерковъ. Гончаровъ, авторъ «Обыкновенной Исторіи»,—лицо совершенно новое въ нашей литературѣ, но уже занявшее въ ней одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Потому ли, что оба эти романа—«Кто виноватъ?» и «Обыкновенная исторія»—появились почти въ одно время и раздѣлили между собой славу необыкновеннаго успѣ-

жа,—о нихъ не только говорятъ вмѣстѣ, но еще и сравниваютъ ихъ между собой, будто явленія однородныя. Одинъ журналъ, объявивъ недавно романъ Искандера въ высшей степени художественнымъ произведеніемъ, изъявилъ свое недовольство романомъ Гончарова на томъ основаніи, что въ послѣднемъ не нашель достоинствъ перваго. Мы тоже намѣрены въ разборѣ этихъ романовъ ставить ихъ вмѣстѣ, но не для того, чтобы показать ихъ сходство, котораго между ними, какъ произведеніями совершенно различными по ихъ сущности, нѣтъ и тѣни, а для того, чтобы самой ихъ взаимной противоположностью вѣрнѣе очертить особенность каждаго изъ нихъ и показать ихъ достоинства и недостатки.

Видѣть въ авторѣ «Кто виновать?» необыкновеннаго художника—значить вовсе не понимать его таланта. Правда, онъ обладаетъ замѣчательной способностью вѣрно передавать явленія дѣйствительности, очерки его опредѣленны и рѣзки, картины его ярки и сразу бросаются въ глаза. Но даже и эти самыя качества доказываютъ, что главная сила его не въ творчествѣ, не въ художественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанный и развитой. Могущество этой мысли—главная сила его таланта; художественная манера схватывать вѣрно явленія дѣйствительности—второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую,—вторая окажется слишкомъ несостоятельной для самотной дѣятельности.

Подобный талантъ не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нѣтъ, такіе таланты такъ же естественны, какъ и таланты чисто художественныя. Ихъ дѣятельность образуетъ особенную сферу искусства, въ которой фантазія является на второмъ мѣстѣ, а умъ—на первомъ. На это различіе мало обращаютъ вниманія, и оттого въ теоріи искусства выходитъ страшная путаница. Хотятъ видѣть въ искусствѣ своего рода умственный Китай, рѣзко отдѣленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслѣ слова. А между тѣмъ эти пограничныя линіи существуютъ больше предположительно, нежели дѣйствительно; по крайней мѣрѣ, ихъ не уваженъ пальцемъ, какъ на картѣ границы государствъ. Искусство, по мѣрѣ приближенія къ той или другой своей границѣ, постепенно теряетъ нѣчто отъ своей сущности и принимаетъ въ себя отъ сущности того, съ чѣмъ граничитъ, такъ что вмѣсто разграничивающей черты является область, примиряющая обѣ стороны.

Поэтъ-художникъ—болѣе живописецъ, нежели думаютъ. Чувство формы—въ этомъ

вся натура его. Вѣчно соперничать съ природой въ способности творить—его высочайшее наслажденіе. Схватить данный предметъ во всей его истинѣ, заставить его, такъ сказать, дышать жизнью—вотъ въ чемъ его сила, торжество, удовлетвореніе, гордость. Но поэзія выше живописи, предѣлы ея обширнѣе, нежели предѣлы всякаго другого искусства. И потому поэтъ, разумѣется, не можетъ ограничиться одной живописью,—о чемъ мы, впрочемъ, уже говорили. Но какія бы ни были другія превосходныя, возбуждающія восторгъ и удивленіе качества его творенія,—все-таки главная сила его въ поэтической живописи. Онъ обладаетъ способностью быстро постигать всѣ формы жизни, переноситься во всякій характеръ, во всякую личность,—и для этого ему нужны не опыты, не изученіе, а достаточно иногда одного намека или одного быстрого взгляда. Два-три факта,—и его фантазія возстановляетъ цѣлый отдѣльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ жизни, со всеми его условіями и отношеніями, съ свойственнымъ ему колоритомъ и оттѣнками. Такъ Кювье наукой дошелъ до искусства по одной ископаемой кости возстановлять умственно цѣлый организмъ животнаго, которому она принадлежала. Но тутъ дѣйствовалъ геній, развитый и вспомоствуемый наукой; поэтъ же преимущественно опирается на свое чувство, свой поэтический инстинктъ.

Другой разрядъ поэтовъ, о которомъ мы начали говорить и къ которому принадлежить авторъ романа «Кто виновать?», можетъ изображать вѣрно только тѣ стороны жизни, которыя особенно почему бы то ни было поразили ихъ мысль и особенно знакомы имъ. Они не понимаютъ наслажденія представить вѣрно явленіе дѣйствительности для того только, чтобы вѣрно представить его. У нихъ недостаетъ ни охоты, ни терпѣнія на такой, по ихъ мнѣнію, бесполезный трудъ. Для нихъ важенъ не предметъ, а смыслъ предмета,—и ихъ вдохновеніе вспыхиваетъ только для того, чтобы черезъ вѣрное представленіе предмета сдѣлать въ глазахъ всѣхъ очевиднымъ и осозательнымъ смыслъ его. У нихъ, стало быть, опредѣленная и ясно сознанныя цѣль впереди всего, а поэзія—только орудіе къ достиженію этой цѣли. Поэтому доступный ихъ таланту міръ жизни опредѣляется ихъ душевной мыслью, ихъ взглядомъ на жизнь; это магическій кругъ, изъ котораго они не могутъ выйти безнаказанно, т. е. не теряя вдругъ способности изображать дѣйствительность поэтически вѣрно. Отнимите у нихъ эту одушевленную ихъ мысль, заставьте отка-

заться отъ ихъ взгляда на предметы, — и у нихъ нѣтъ больше и таланта; тогда какъ талантъ поэта-художника всегда съ нимъ, пока вокругъ него движется жизнь, кака я бы она ни была.

Что составляетъ задушевную мысль Искандера, которая служитъ ему источникомъ его вдохновения, возвышаетъ его иногда въ вѣрномъ изображеніи явленій общественной жизни почти до художественности? — Мысль о достоинствѣ человѣческомъ, которое унижается предрассудками, невѣжествомъ, и унижается то несправедливостію человѣка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искаженіемъ самого себя. Герой всѣхъ романовъ и повѣстей Искандера, сколько бы ни написалъ онъ ихъ, всегда былъ и будетъ одинъ и тотъ же: это — человѣкъ, понятіе общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ — по преимуществу поэтъ гуманности. Поэтому въ его романѣ бездна лицъ, большей частью мастерски очерченныхъ, но нѣтъ героя, нѣтъ героини. Въ первой части, заинтересовавъ насъ четою Негровыхъ, онъ выводитъ намъ героями романа Круциферскаго и Любоньку. Въ эпизодѣ, записанномъ для связи обѣихъ частей, героемъ является Бельтовъ; но мать Бельтова и его гувернеръ-женевецъ едва ли не больше, нежели онъ самъ, интересуютъ собой читателя. Во второй части героями являются Бельтовъ и Круциферская, и въ ней только раскрывается вполнѣ основная мысль романа, являющаяся сначала такъ загадочной въ его названіи «Кто виноватъ?». Но мы должны признаться, что эта-то мысль всего менѣе и интересуется насъ въ романѣ, такъ же, какъ Бельтовъ, герой романа, кажется намъ самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романѣ. Когда Круциферскій сдѣлался женихомъ Любоньки, докторъ Круповъ сказалъ ему: «не пара тебѣ эта невѣста, ужъ что хочешь, — эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепеть, который иногда пробѣгаетъ по ея лицу, — она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы, а ты, да что ты? ты — невѣста; ты братецъ, нѣмба; ты будешь жена — ну, годно ли это?» Въ этихъ словахъ лежитъ завязка романа, который, по намѣренію автора, долженъ былъ только начаться свадьбой вмѣсто того, чтобы кончиться ею. Авторъ, познакомивши насъ съ Бельтовымъ, ведетъ насъ въ мирное убѣжище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихимъ семейнымъ счастьемъ; — но, помня мрачное предсказаніе оракула въ лицѣ скептическаго доктора, читатель невольно ждетъ,

что въ самой картинѣ семейнаго счастья Круциферскихъ авторъ покажетъ ему зародышъ и начало будущихъ бѣдъ. Круциферскій дѣйствительно не женился, а вышелъ замужъ. Его жена была слишкомъ выше его, слѣдовательно, слишкомъ не по нему. Естественно, что онъ былъ вполнѣ счастливъ ею; но не естественно, чтобъ она была спокойно счастлива, не видѣла тревожныхъ сновъ, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, какъ существо младенчески чистое и благородное, которое сверхъ того вырвало ее изъ аду родительскаго дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить тѣ потребности, тѣ стремленія ея натуры, которыя тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ неопредѣленнѣе и бессознательнѣе? Знакомство съ Бельтовымъ, скоро превратившееся въ любовь, должно было только открыть ей глаза на ея положеніе, пробудивъ въ ней сознаніе того, что она не могла быть счастлива съ такимъ человѣкомъ, какъ Круциферскій. Но этого авторъ не сдѣлалъ.

Мысль была прекрасная, исполненная глубокаго трагическаго значенія. Она-то и увлекла большинство читателей и помѣнила имъ замѣтить, что вся исторія трагической любви Бельтова и Круциферской рассказана умно, очень умно, даже ловко, то зато ужъ нисколько не художественно. Тутъ мастерской разсказъ, но нѣтъ и слѣда живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умомъ онъ вѣрно понималъ положеніе своихъ героевъ, но передалъ его только какъ умный человѣкъ, хорошо понявшій дѣло, но не какъ поэтъ. Такъ иногда даровитый актеръ, взявшійся за роль, которая вовсе не въ его средствахъ и талантѣ, все-таки не портитъ ее, но умно и ловко выполняетъ ее, вмѣсто того чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а трагическій смыслъ пьесы дополняетъ недостатокъ въ выполненіи главной роли, — и зритель не вдругъ догадывается, что онъ былъ только увлеченъ, а совѣтъ не удовлетворенъ.

Это доказывается между прочимъ и тѣмъ, что во второй части романа характеръ Бельтова произвольно измѣненъ авторомъ. Сперва это былъ человѣкъ, жаждавшій полезной дѣятельности и ни въ чемъ не находившій ея, по причинѣ ложнаго воспитанія, которое далъ ему благородный женевскій мечтатель. Бельтовъ зналъ многое и обо всемъ имѣлъ общія понятія, но совершенно не зналъ той общественной ереды, въ которой одной могъ бы дѣйствовать съ пользой. Все это не только сказано, но и показано авторомъ мастерски.

Мы думаемъ, что при этомъ авторъ могъ бы еще указать слегка и на натуру своего героя, несколько не практическую и, кромѣ воспитанія, порядочно испорченную еще и богатствомъ. Тому, кто родился богатымъ, надо получить отъ природы особенное призваніе къ какой бы то ни было дѣятельности, чтобы не праздно жить на свѣтѣ и не скучать отъ бездѣйствія. Этого-то призванія и не замѣтно вовсе въ натурѣ Бельтова. натура его была чрезвычайно богата и многостороння, но въ этомъ богатствѣ и многосторонности ничто не имѣло прочнаго корня. У него много ума, но ума сощрацательнаго, теорическаго, который не столько углублялся въ предметы, сколько скользилъ по нимъ. Онъ способенъ былъ понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствія и пониманія и мѣшаетъ такимъ людямъ сосредоточить все свои силы на одномъ предметѣ, устремить на него всю свою волю. Такіе люди вѣчно порываются къ дѣятельности, пытаются найти свою дорогу, и, разумѣется, не находятъ ея.

Такимъ образомъ Бельтовъ осужденъ былъ томиться никогда неудовлетворяемой жаждой дѣятельности и тоской бездѣйствія. Авторъ мастерски передалъ намъ его неудачныя попытки служить, потомъ сдѣлаться врачомъ, артистомъ. Если нельзя сказать, что онъ вполнѣ очертилъ и разъяснилъ этотъ характеръ,—все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но въ послѣдней части романа Бельтовъ вдругъ является передъ нами какой-то высшей, гениальной натурой, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща... Это уже совсѣмъ не тотъ человекъ, съ которымъ мы такъ хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтовъ, а что-то въ родѣ Печорина. Разумѣется, прежній Бельтовъ былъ гораздо лучше, какъ всякій человекъ, играющій свою собственную роль. Сходство съ Печоринимъ для него крайне невыгодно. Не понимаемъ, зачѣмъ автору нужно было съ своей дороги сойти на чужую!.. Неужели этимъ онъ хотѣлъ поднять Бельтова до Круциферской? Напрасно! для нея онъ былъ бы также интересенъ и въ прежнемъ своемъ видѣ; и тогда онъ сталъ бы подлѣ бѣднаго Круциферскаго настоящимъ колосомъ подлѣ карлика. Онъ былъ человекъ взрослый, совершеннолѣтній, мужчина, по крайней мѣрѣ по уму и взгляду на жизнь, а Круциферскій съ его благородными мечтами вмѣсто настоящаго пониманія людей и жизни и подлѣ прежняго Бельтова все казался бы ребенкомъ, котораго развитіе задержано какой-нибудь болѣзнью.

Круциферская, въ свою очередь, является гораздо интереснѣе въ первой части романа, нежели въ послѣдней. Нельзя сказать, чтобы и тамъ ея характеръ былъ рѣзко очерченъ; но зато рѣзко было очерчено ея положеніе въ домѣ Негрова. Тамъ она хороша молча, безъ словъ, безъ дѣйствій. Читатель угадываетъ ее, хотя не слышитъ отъ нея почти ни слова. Авторъ въ обрисовкѣ ея положенія обнаружилъ необыкновенное мастерство. Только въ отрывкахъ изъ ея дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсѣмъ довольны этой исповѣдью. Кромѣ того, что манера знакомить читателей съ героинями романовъ черезъ ихъ записки — манера старая, избитая и фальшивая, — записки Любоньки немножко отзываются поддѣлкой: по крайней мѣрѣ не всякій повѣритъ, что ихъ писала женщина... Очевидно, что и тутъ авторъ вышелъ изъ сферы своего таланта. То же скажемъ мы и объ отрывкахъ Круциферской въ концѣ романа. Въ томъ и другомъ случаѣ авторъ ловко отдѣлался отъ задачи, которая была ему не по силамъ, но не больше. Вообще, сдѣлавшись Круциферской, Любонька перестала быть характеромъ, лицомъ и превратилась въ мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтовъ—два единственныхъ лица, съ которыми авторъ не совладалъ какъ слѣдуетъ. Но и въ нихъ нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддерживать интересъ до конца и поразить, растрогать большинство читателей тамъ, гдѣ съ его талантомъ, но безъ его ума и вѣрнаго взгляда на предметы, всякій другой только насмѣшилъ бы.

Итакъ, не въ картинѣ трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинствъ романа Искандера. Мы видѣли, что все это вовсе не картина, а мастерски изложенное слѣдственное дѣло. Вообще «Кто виноватъ?» — собственно не романъ, а рядъ біографій, мастерски написанныхъ и ловко связанныхъ внѣшнимъ образомъ въ одно цѣлое именно той мыслью, которой автору не удалось развить поэтически. Но въ этихъ біографіяхъ есть и внутренняя связь, хотя и безъ всякаго отношенія къ трагической любви Бельтова и Круциферской. Это—мысль, которая глубоко легла въ ихъ основаніе, дала жизнь и душу каждой чертѣ, каждому слову разсказа, сообщила ему эту убѣдительность и увлекательность, которыя равно неотразимо дѣйствуютъ на читателей симпатизирующихъ и несимпатизирующихъ съ авторомъ, образованныхъ и необразованныхъ. Мысль эта является у автора какъ чувство, какъ страсть; словомъ, изъ его романа видно,

что она столько же составляет пафосъ его жизни, какъ и его романа. О чемъ бы онъ ни говорилъ, чѣмъ бы ни увлекался въ отступленіи, онъ никогда не забываетъ ея, безпрестанно возвращается къ ней, она какъ будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль спрочасъ съ его талантомъ; въ ней его сила; если бъ онъ могъ охладѣть къ ней, отречься отъ нея, — онъ бы вдругъ лишился своего таланта. Какая же это мысль? Это — страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще больше безъ умысла; это то, что нѣмцы называютъ гуманностью (Humanität). Тѣ, кому покажется непонятной мысль, заключающаяся въ этомъ словѣ, въ сочиненіяхъ Искандера найдутъ самое лучшее ея объясненіе. О самомъ же словѣ скажемъ, что нѣмцы сдѣлали его изъ латинскаго слова humanus, что значитъ человѣческій. Здѣсь оно берется въ противоположность слову животный. Когда человѣкъ поступаетъ съ людьми, какъ слѣдуетъ человѣку поступать съ своими ближними, братьями по естеству, онъ поступаетъ гуманно; въ противномъ случаѣ онъ поступаетъ, какъ прилично животному. Гуманность есть человѣколюбіе, но развитое сознаниемъ и образованіемъ. Человѣкъ, воспитывающій бѣднаго сироту не по расчету, не изъ хвастовства, а по желанію сдѣлать добро, — воспитывающій его какъ родного сына, вмѣстѣ съ этимъ дающій ему чувствовать, что онъ его благодѣтель, что онъ на него тратится, и пр., и пр., такой человѣкъ, конечно, заслуживаетъ названіе добраго, нравственнаго и человѣколюбиваго, но отнюдь не гуманнаго. У него много чувства, любви, но они не развиты въ немъ сознаниемъ, покрыты грубой корой. Его грубый умъ и не подозреваетъ, что въ нагурѣ человѣческой есть струны тонкія и нѣжныя, съ которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сдѣлать человѣка несчастнымъ при всѣхъ внѣшнихъ условіяхъ счастья, или чтобы не огрубить, не ополнить человѣка, который, при болѣе гуманномъ съ нимъ обращеніи, могъ бы сдѣлаться порядочнымъ. А между тѣмъ сколько на свѣтѣ такихъ благодѣтелей, которые мучатъ, а иногда и губятъ тѣхъ, на кого изливаются ихъ благодѣянія, безъ всякаго дурного умысла, иногда горячо любя ихъ, смиренно желая имъ всякаго добраго, — и потомъ добродушно удивляются тому, что вмѣсто привязанности и уваженія имъ заплачено холодностью, равнодушіемъ, неблагодарностью, даже ненавистью и враждой, или что изъ ихъ воспитанниковъ вышли негодяи, тогда какъ они имъ дали самое нравственное

воспитаніе. Сколько есть отцовъ и матерей, которые дѣйствительно по-своему любятъ своихъ дѣтей, но считаютъ священной обязанностью безпрестанно твердить имъ, что они обязаны своимъ родителямъ и жизнью, и одеждой, и воспитаніемъ! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишаютъ себя дѣтей, замѣняя ихъ какими-то приемышами, сиротами, которыхъ они взяли изъ чувства благодѣтельности. Они спокойно дремлютъ на моральномъ правилѣ, что дѣти должны любить своихъ родителей, и потомъ въ старости со вздохомъ повторяютъ избитую сентенцію, что отъ дѣтей-де нечего ожидать, кромѣ неблагодарности. Даже этотъ страшный опытъ не снимаетъ толстой ледяной коры съ ихъ оцѣненныхъ умовъ и не заставляетъ ихъ, наконецъ, понять, что сердце человѣческое дѣйствуетъ по своимъ собственнымъ законамъ и никакихъ другихъ признавать не хочетъ и не можетъ, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство противное человѣческой природѣ, сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви, что любви нельзя требовать, какъ чего-то слѣдующаго намъ по праву, но всякую любовь надо приобрести, заслужить, отъ кого бы то ни было, все равно — отъ вышшаго или отъ низшаго насъ, сыну ли отъ отца, или отцу отъ сына. Посмотрите на дѣтей: часто случается, что дѣтя очень равнодушно смотрятъ на свою мать, хотя она и кормитъ его своею грудью, и подымаетъ страшный ревъ, если, проснувшись, не увидитъ тотчасъ же своей няни, которую оно привыкло видѣть при себѣ безотлучно. Видите ли: ребенокъ — это полное и совершенное выраженіе природы — даритъ своей любовью того, кто доказываетъ ему любовь свою на самомъ дѣлѣ, кто отказался для него отъ всѣхъ удовольствій, словно желѣзною цѣпью приковалъ себя къ его жалкому и слабому существованію.

Гуманность нисколько не находится въ противорѣчій съ уваженіемъ къ высокимъ общественнымъ положеніямъ и рангамъ; но она находится въ рѣшительномъ противорѣчій съ презрѣніемъ къ кому бы то ни было, кромѣ негодяевъ и подлецовъ. Она охотно признаетъ общественное первенство людей, но только смотритъ на него не съ одной внѣшней, но болѣе съ внутренней стороны. Гуманность не только не обязываетъ человѣка низшаго сословія съ грубыми манерами, привычками осмѣять непривычными ему вѣжливостями, но даже запрещаетъ это, потому что такое обращеніе поставило бы его въ неловкое положеніе, заставило бы подозревать въ немъ на-

смѣшку или дурной умыселъ. Гуманный человѣкъ обойдется съ низшимъ себя и грубо развитымъ человекомъ съ той въжливостью, которая тому не можетъ показаться странной или дикой; но онъ не допуститъ его унижать передъ нимъ свое человеческое достоинство, — не позволить ему кланяться себѣ въ ноги, не станетъ называть его Ванькой или Ванюхой и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будетъ легонько трясти его за бороду въ знакъ своего милостиваго къ нему расположенія, чтобы тотъ, подло ухмыляясь, говорилъ ему съ подобиемъ: «за что изволите жаловать?...» Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважаютъ въ другихъ человеческого достоинства, и еще болѣе оскорбляется и страдаетъ, когда человѣкъ самъ въ себѣ не уважаетъ собственнаго достоинства.

Вотъ это-то чувство гуманности и составляетъ, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя имъ на сцену лица — люди не злые, даже большей частью добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намереніями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостью чувствъ и гадостью поступковъ, представляются авторомъ болѣе какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой природы. Онъ изображаетъ преступленія, подлежащія вѣдомству законовъ и понимаемыя большинствомъ какъ дѣйствія разумныя и нравственныя. Злодѣевъ у него мало: въ трехъ повѣстяхъ, доселѣ напечатанныхъ, только въ одной «Сорокъ-Ворокъ» выведенъ злодѣй, да и то такой, котораго и теперь многіе готовы считать за самаго добродѣтельнаго и нравственнаго человѣка. Главное орудіе Искандера, которымъ онъ владѣетъ съ такимъ удивительнымъ мастерствомъ, — иронія, нерѣдко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкой, граціозной и необыкновенно добродушной шуткой: вспомните добраго почтмейстера, который два раза чуть не убилъ Бельтова, сначала горемъ, потомъ радостью, и такъ добродушно потиралъ себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ скорпириза, что «нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силу упрекнуть его за эту штуку, и которое бы не предложило ему закусить». А между тѣмъ и въ этой чертѣ, нисколько не возмутительной, а только забавной, авторъ остается вѣрнымъ своей завѣтной

идеѣ. Все, что касается этой идеи въ романѣ «Кто виноватъ?», — все это отличается вѣрностью дѣйствительности, мастерствомъ изложенія, которыя выше всякихъ похвалъ. Здѣсь, а не въ любви Бельтова и Круциферской, блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, что романъ этотъ — рядъ біографій, связанныхъ между собой одной мыслью, но безконечно разнообразныхъ, глубоко правдивыхъ и богатыхъ философскимъ значеніемъ. Здѣсь авторъ вполне въ своей сферѣ. Что лучшего въ той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, какъ въ біографія почтеннѣйшаго Карпа Кондратьича, бойкой супруги его Марьи Степановны и бѣдной дочери ихъ Варвары Карповны, по домашнему Вавы, — біографія, вошедшая сюда эпизодомъ? Когда интересны въ романѣ Круциферскій и Любонька? Тогда, какъ они живутъ въ домѣ Негровыхъ и страдаютъ отъ всего ихъ окружающаго. Такія положенія сподручны автору, и онъ необыкновенный мастеръ рисовать ихъ. Когда интересенъ самъ Бельтовъ? Когда мы читаемъ исторію его превратнаго и ложнаго воспитанія и потомъ исторію неудачныхъ попытокъ найти свою дорогу въ жизни. Это также входитъ въ сферу таланта автора. Онъ — философъ по преимуществу, а между тѣмъ немножко и поэтъ, и воспользовался этимъ, чтобы изложить свои понятія о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходнымъ рассказомъ: «Изъ сочиненія доктора Крупова — О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности». Въ немъ авторъ ни одной чертой, ни однимъ словомъ не вышелъ изъ сферы своего таланта, и оттого здѣсь его талантъ въ большей опредѣленности, нежели въ другихъ его сочиненіяхъ. Мысль его та же, но она приняла здѣсь исключительно тонъ ироніи, для однихъ очень веселой и забавной, для другихъ грустной и мучительной, и только въ изображеніи косога Лѣвки — фигуры, которая бы сдѣлала честь любому художнику, — авторъ говоритъ серьезно. По мысли и по выполненію, это рѣшительно лучшее произведеніе прошлаго года, хотя оно и не произвело на публику особеннаго впечатлѣнія. Но публика права въ этомъ случаѣ: въ романѣ «Кто виноватъ?» и въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ другихъ писателей она нашла болѣе ближайшихъ къ ней и потому нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ ей истинъ, а между тѣмъ въ послѣднемъ произведеніи тотъ же духъ, то же содержаніе, что и въ первомъ. Вообще упрекнуть автора въ односторонности



—значило бы вовсе не понять его. Онъ можетъ изображать вѣрно только міръ, подлежащій вѣдомству его задушевной мысли; его мастерскіе очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изученіи извѣстной стороны дѣйствительности. Натура воспримчивая и впечатлительная, авторъ сохранилъ въ памяти своей многіе образы, поразившіе его еще въ дѣтствѣ. Легко понять, что выводимыя имъ лица не суть чистыя созданія фантазіи, это скорѣе мастерски обдѣланные, а иногда и вовсе пердѣланные матеріалы, цѣликомъ взятые изъ дѣйствительности. Вѣдь мы сказали, что авторъ больше философъ и только немножко поэтъ...

Совершенною противоположною составляетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи авторъ «Обыкновенной Исторіи». Онъ—поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу; у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта, онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собой другой, и всѣ, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свѣтской женщиной, мечтательной и съ разстроенными нервами? И каждая изъ нихъ въ своемъ родѣ мастерское, художественное произведение. Мать молодого Адуева и мать Надиньки—обѣ старухи, обѣ очень добры, обѣ очень любятъ своихъ дѣтей и обѣ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ, обѣ глупы и пошлы. А между тѣмъ это два лица совершенно различныя: одна—барыня провинціальная стараго вѣка, ничего не читаетъ и ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства; словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая—барыня столичная, которая читаетъ французскія книжки, ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хо-

зяйства, словомъ, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. Въ изображеніи такихъ плоскихъ и пошлыхъ лицъ, лишенныхъ всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказываются талантъ, потому что всего труднѣе обозначить ихъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этой живой, вѣтренной, своенравной и немножко лукавой Надинькой, и той спокойной по наружности, но пожираемой внутреннимъ огнемъ Лизой? Тетка героя романа—лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценѣ, оканчивающей первую часть романа! Мы не будемъ распространяться насчетъ мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замѣтить, потому что до сихъ поръ они рѣдко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина—или приторно сентиментальное существо, или семинаристъ въ юбкѣ, съ книжными фразами. Женщины Гончарова живы, вѣрны дѣйствительности созданія. Это новость въ нашей литературѣ.

Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа—молодому Адуеву и его дядѣ, Петру Ивановичу: о послѣднемъ нельзя не сказать хотя нѣсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ противоположною своею еще болѣе отбѣгаетъ героя романа. Говорятъ, типъ молодого Адуева—устарѣлый; говорятъ, что такіе характеры уже не существуютъ на Руси. Нѣтъ, не перевелись и не переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производятъ не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси—Владиміръ Ленскій, по прямой линіи происходящій отъ гетевского Вертера. Пушкинъ первый замѣтилъ существованіе въ нашемъ обществѣ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченіемъ времени онѣ будутъ измѣняться, но сущность ихъ всегда будетъ та же самая... Молодой Адуевъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какой радостью обниметъ своего обожаемаго дядю и въ какомъ восторгѣ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирѣ—и боится, что дядя осердится на него, зачѣмъ онъ не пріѣхалъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разсѣиваетъ его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинциаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже неприятно былъ пораженъ тѣмъ, что дядя назвалъ дуракомъ Забѣжалова и душой деревенскую тетку съ ея желтыми цвѣткомъ, приславшихъ къ нему иреглупѣйшія письма. Провинціалы часто быва-

ить очень смѣшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка, мелка, всѣ другъ друга знаютъ, и если не враждуютъ между собой, то непременно пребываютъ въ нѣжнѣйшей дружбѣ; среднихъ отношеній почти нѣтъ. И вотъ изъ городка отправляется искать счастья въ столицу молодой человѣкъ; всѣ имъ интересуются, провожаютъ его, желаютъ ему всякаго счастья, просятъ не забывать. Онъ уже сдѣлался въ столицѣ пожилымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смутнымъ видѣніемъ; подъ влияніемъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно позабылъ и имена, и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ дѣтствѣ, и помнитъ только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляются ему въ томъ видѣ, какъ онъ ихъ оставилъ, а вѣдь они съ тѣхъ поръ перемѣнились же. По ихъ письмамъ онъ видитъ, что у него съ ними нѣтъ ничего общаго; отвѣчая имъ, онъ поддѣляется подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно ли, что онъ пишетъ къ нимъ рѣже и рѣже, наконецъ, и совсѣмъ перестаетъ писать. Мысль о пріѣздѣ въ столицу родственника или знакомаго пугаетъ его столько же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что неприятель пойдетъ ихъ дорогой. Въ столицѣ не понимаютъ заочной любви; здѣсь думаютъ, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ провинціи думаютъ совсѣмъ наоборотъ; вслѣдствіе однообразія жизни, тамъ удивительно развита наклонность къ любви и дружбѣ. Тамъ рады всякому; мѣшать другъ другу, не давать покою — тамъ считается священнѣйшей обязанностью. Если кому-нибудь перестанутъ надѣлать родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболее обиженнымъ человѣкомъ въ мірѣ. Когда къ провинциалу, живущему въ маленькомъ городкѣ, вдругъ набѣгаетъ орда родственниковъ и обращаетъ его маленькой домикъ въ боченокъ, набитый сельдями, онъ, по наружности, не знаетъ какъ и радоваться; съ веселымъ лицомъ бѣгаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклинаетъ ее. А между тѣмъ, попробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ не проститъ этого. Такова ужъ патріархальная логика провинціи! И съ такой-то логикой пріѣзжаетъ иногда провинціалъ въ столицу по дѣламъ со всѣмъ семействомъ своимъ. Въ столицѣ есть у него

родственникъ, который лѣтъ ужъ двадцать какъ выѣхалъ изъ своего мѣстечка и давнымъ давно позабылъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ малыми дѣтьми, которыхъ надо разместить по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемой супругой, которая пріѣхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, пискъ, визгъ. «А мы прямо къ вамъ, мы не смѣли остановиться въ трактирѣ!» Столичный родственникъ блѣднѣетъ, не знаетъ, что дѣлать, что сказать, онъ похожъ на жителя города, взятая неприятелемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предавшихся грабежу неприятельскихъ солдатъ. А между тѣмъ, ему уже подробно изъяснено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно говорятъ и какъ на него надѣются, какъ увѣрены, что онъ непременно поможетъ опредѣлить Костиньку, Петиньку, Оединьку, Митиньку по корпусамъ, а Машеньку, Сапеньку, Любочку и Танячку въ институты. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависитъ его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ и съ холодной вѣжливостью объясняетъ неприятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себѣ, что его квартира тѣсновата и для его собственнаго семейства, что въ корпуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по указанному порядку, что тутъ не поможетъ никакая протекція, если нѣтъ вакантныхъ мѣстъ, или если дѣти старше или моложе приемныхъ лѣтъ или не выдержатъ экзамена, а тѣмъ болѣе протекція такого незначительнаго человѣка, какъ онъ, который сверхъ того служить совсѣмъ по другому вѣдомству и не знакомъ ни съ кѣмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бѣшенствѣ, вопіютъ противъ столичнаго эгоизма и развращенія, и говорятъ о своемъ родственникѣ, какъ о чудовищѣ. А между тѣмъ это, можетъ быть, очень порядочный человѣкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотѣлъ обратиться своей квартиры въ безобразный таборъ, лишить себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься дѣлами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣснить себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишенимъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотѣлъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тѣмъ и эти провинціалы по своему люди добрые и даже неглупые; вся

вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увѣрены найти въ ней, за исключеніемъ огромности, великолѣпія и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ тѣми же нравами, обычаями и понятіями. Они по-своему любятъ роскошь и великолѣпіе, хотя и безъ вкуса: при средствахъ готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинетъ не имѣютъ понятія и не знаютъ зачѣмъ онъ; спальня и дѣтская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ничего не стоитъ потѣсниться и пожалеть; понятіе о комфортѣ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тѣснотѣ, любить ее по пословицѣ: въ тѣснотѣ люди живутъ, да и жилимъ крѣпче пахнеть. Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замѣчанію его племянника, эта черта составляетъ добродѣтель русскихъ, съ чѣмъ Петръ Ивановичъ рѣшительно не согласенъ. «Какая тутъ добродѣтель — говорить онъ. — Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помощи убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ... Препротивная добродѣтель!» Петръ Ивановичъ выразился немножко жестоко, но не совсѣмъ несправедливо. Дѣйствительно, радушие и гостеприимство провинціаловъ больше всего основываются на бездѣйствіи, праздности, скукѣ, привычкѣ. Силу столичныхъ людей они измѣряютъ не мѣстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души увѣрены, что если кто дѣйствительный статскій совѣтникъ, такъ ужъ непременно всемогущая особа, которой стоитъ только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу пользу процессъ, тянувшійся пятьдесятъ лѣтъ, приняли вашихъ дѣтей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное мѣсто, чинъ и орденъ. Откажете имъ въ какой-нибудь просьбѣ, при всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, но по невозможности выполнить, — и вотъ вы самый безнравственный человѣкъ въ мірѣ, вы зазнались, подняли носъ, презираете провинціаловъ. А у нихъ первая добродѣтель — ни передъ кѣмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣхъ и cadaго. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важничанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго мира и согласія, смягчается тамъ добродѣтельной готовностью съежиться въ присутствіи чловѣка, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронить своего

достоинства передъ тѣмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ, эта добродѣтель процвѣтаетъ и въ столицѣ, хотя и въ болѣе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дѣлается съ истинно аркадской наивностью. «Э, братецъ (говорить богатый помѣщикъ или важный чиновникъ бѣдному помѣщику или чиновнику), ты меня вовсе забылъ, аль недоволенъ мной? или плохо кормлю? кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты гороховый!» Бѣднякъ слегка конфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позѣ; но въ глазахъ его сияетъ удвольствие: онъ знаетъ, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чѣмъ въ иной ласкѣ. «Ну, да хорошо, Богъ тебя проститъ, теперь пойдемъ-ка хлѣба-соли откушать, обѣдъ готовъ». И оба довольны: одинъ, что выполнилъ въ точности законы патриархальнаго гостеприимства и обласкалъ бѣднаго чловѣка; другой, — что хорошо принять и обласканъ такой важной въ его глазахъ персоной. И этотъ бѣднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только обществу аристократовъ его заходустья, но и обществу низшихъ его людей, потому что онъ тогда только и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низшимъ. Конечно, это отнюдь не можетъ относиться ко всѣмъ провинціаламъ; вездѣ есть люди образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствѣ, а мы говоримъ о большинствѣ. Непосредственное вліяніе окружающей чловѣка среды такъ на него сильно, что лучшіе изъ провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальныхъ предразсудковъ, и на первый разъ теряются, прѣхавши въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, нараспашку; хотягъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосѣдъ къ сосѣду: въ прихожей или нѣтъ никого, или спитъ на грязномъ залавкѣ небритый лакей или оборванный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего дѣлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вотъ гость входитъ въ залу — нѣтъ никого; въ гостиную — тоже никого; онъ въ спальню — и вдругъ тамъ раздается визгливое ахъ; гость говоритъ въ пріятномъ замѣпательствѣ: «извините-съ», медленно пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выбѣгаетъ, изъявляетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все на заперти, вездѣ колокольчики, вездѣ не-

избѣжное: «какъ прикажете доложить?», а потомъ—то дома нѣтъ, то нездоровъ, то просить извинить—заняты, а когда примутъ, то, конечно, вѣжливо, но зато какъ равнодушно, холодно, никакого радужія, ни позавтракать, ни пообѣдать не пригласятъ...

Но обратимся къ герою «Обыкновенной Исторіи». Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и былъ увѣренъ, что дядя приметъ его съ восторгомъ и помѣститъ у себя въ квартирѣ, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться въ трактирѣ. Если бы онъ сдѣлалъ хорошую привычку разсуждать о томъ, что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о темномъ чувствѣ, которое заставило его вѣхаться въ трактирѣ, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понялъ бы, что нѣтъ никакихъ причинъ ожидать отъ дяди другого приѣма, кромѣ развѣ равнодушно-ласковаго, и что нѣтъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ квартирѣ. Но, къ несчастью, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбѣ и другихъ высокіхъ и далекихъ предметахъ, и потому явился къ дядѣ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненный ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное впечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ—по натурѣ, по воспитанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго человѣка и заставить его надѣлать тьму глупостей. Нѣкоторые находятъ, что онъ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совѣмъ вѣроятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ, можетъ быть, въ этомъ замѣчаніи и есть доля правды; да дѣло-то въ томъ, что полное изображеніе характера молодого Адуева надо искать не здѣсь, а въ его любовныхъ похожденияхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онъ представитель множества людей, похожихъ на него, какъ двѣ капли воды, и дѣйствительно обтекающихся въ здѣшнемъ мірѣ. Скажемъ: сколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежитъ этотъ романтический звѣрекъ.

Это порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надѣляетъ нервической чувствительностью, часто доходящей до болѣзненной раздражительности (*susceptibilité*). Они рано обнаруживаютъ тонкое пониманіе неопредѣленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ слѣдить за ними, наблюдать ихъ и называютъ это—наслаждаться внутренней жи-

знию. Поэтому они очень мечтательны и любятъ или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще они богато одарены отъ природы душевными способностями, но дѣятельность ихъ способностей чисто страдательная; иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ не способенъ что-нибудь дѣлать, производить; онъ немножко музыкантъ, немножко живописецъ, немножко поэтъ, даже при нуждѣ немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими прибрѣсти не только славы или извѣстности, но даже выработать посредственное содержаніе. Изъ всѣхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развивается воображеніе и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэтъ творитъ, а та фантазія, которая заставляя человѣка наслажденіемъ мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію дѣйствительными благами жизни. Это они называютъ жить высшей жизнью недоступной для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презрѣнная толпа пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны къ великодушнымъ движеніямъ, но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ до сознательнаго презрѣнія къ «пошлому здоровому смыслу—этому, по ихъ мнѣнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ничтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго»; сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волей, подъ управленіемъ фантазіи, скоро скудѣетъ любовью, и они дѣлаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замѣчая, а напротивъ того, будучи добросовѣстно убѣждены, что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дѣтствѣ они удивляли всѣхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное влияніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ иные были гораздо выше ихъ,—естественно, что они были захвалены съ раннихъ лѣтъ и сами о себѣ возымѣли высокое понятіе. Природа и безъ того опустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человѣческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе успѣхи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до невѣроятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они

добросовѣстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за гениальное стремленіе къ славѣ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бываютъ помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это—слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мнѣнію, достойное презрѣнной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что, кто считаетъ себя равно способнымъ ко всѣмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни къ какому,—что самые великіе люди узнавали о своей гениальности не прежде, какъ сдѣлавши сперва что-нибудь дѣйствительно великое и гениальное, и узнаютъ это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ военная слава, имъ очень бы хотѣлось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть небольшую, хоть стотысячную армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побѣдъ своихъ. Манитъ ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда готовы въ головѣ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только присесть да написать). Но какъ зависть людей сдѣлала невозможными такіе гениальные скачки для такихъ гениальныхъ людей и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще съ начала, а не съ конца, и на дѣлѣ, а не на словахъ только, доказалъ бы свою гениальность, то наши гении поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но не надолго: сухая скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нѣтъ никакой пищи сердцу и фантазіи. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обиднѣе для романтиковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія—и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху и, еще ничего не сдѣлавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблужденіе состоитъ еще не въ нелѣпомъ убѣжденіи, что въ поэзіи нужны только талантъ и вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у ко-

го дѣйствительно есть большой талантъ, тотъ силой самаго таланта скоро пойметъ нелѣпость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нѣтъ, главное и гибельное ихъ заблужденіе состоитъ въ томъ, что они увѣрили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинѣ, срослись съ этой несчастной мыслью, такъ что разочароваться въ ней—значитъ для нихъ потерять всякую вѣру въ себя и въ жизнь и въ цвѣтъ лѣтъ сдѣлаться паралитическими стариками. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говорить въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не поэтами. Онъ воспѣваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испытать, говорить о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаетъ, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человечество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Бѣднякъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинетѣ, ничего не стоитъ вдругъ возгорѣться самой неистовой любовью къ человечеству, по крайней мѣрѣ гораздо легче, нежели провести безъ сна хоть одну ночь у постели труднаго больного. Обыкновенно романтики придають страшную цѣну чувству, думаютъ, что только одни они надѣлены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, потому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство, конечно, важная сторона въ натурѣ человѣка, но не всѣ и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своей способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и такъ, что иной, чѣмъ сильнѣе чувствуетъ, тѣмъ безчувственнѣе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, отъ живого изображенія человѣческихъ бѣдъ въ романѣ или повѣсти—и равнодушно проходить мимо дѣйствительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ нѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какой-либо восторженное посланіе Шиллера къ Лаурѣ и, кончивши послѣдній стихъ, съ неменьшимъ удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсемъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благосостояніи, отъ которыхъ только одинъ онъ жирѣетъ а они все худѣютъ.—Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки, хотя въ нихъ и довольно риторической водицы, однако въ нихъ мѣ-

стами проглядываетъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой мысли),—словомъ, замѣтно что-то въ родѣ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ; а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ приобрести даже значительную извѣстность. Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извѣстность, приобретенная въ короткое время чѣмъ-то, и въ короткое же время исчезаетъ просто отъ ничего; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а, наконецъ, и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновеніе даже ложной извѣстностью: его не допустили до этого и время, въ которое онъ вышелъ со своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастіе состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него вмѣсто таланта былъ полуталантъ, который въ поэзіи хуже бездарности, потому что увлекаетъ человѣка ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ противоположности натуръ; но во всякомъ случаѣ оно чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣпляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтаютъ о ней безпрестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но дѣлаютъ другъ для друга, что могутъ. Бывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскорѣ послѣ него; другой отъ потери своего друга изъ веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбитъ, потушить, да и утѣшится, но если онъ навсегда сохранить воспоминаніе, и оно будетъ для него вмѣстѣ и грустно, и отрадно, — онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сошелъ съ ума, не сдѣлался меланхоликомъ, но еще нашелъ силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависятъ отъ личности друзей; тутъ главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутого, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то иной

готовъ и Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себѣ, а иногда и другимъ: «вотъ каковъ я въ дружбѣ!» или: «вотъ въ какой дружбѣ я пособенъ!». Этотъ-то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программамъ, заранее составленной, гдѣ съ точностью опредѣлены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключаютъ контрактовъ со своими друзьями. Имъ дружба нужна, чтобы удивить міръ и показать ему, какъ великія натуры въ дружбѣ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толпы. Ихъ тянетъ къ дружбѣ не столько потребностью симпатіи, столь сильной въ молодости лѣта, сколько потребностью имѣть при себѣ человѣка, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоценной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ слогомъ, для нихъ другъ есть драгоценный сосудъ для изліянія самыхъ святыхъ и заветныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ въ ихъ глазахъ другъ есть лохань, куда они выливаютъ помой своего самолюбія. Зато они и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, вѣроломными, извергами, и они еще сильнѣе злобствуютъ на людей, которые не умѣли и не хотѣли понять и оцѣнить ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Обыкновенно любовь раздѣляется на многіе роды и виды; всѣ эти раздѣленія большей частью недѣльны, потому что надѣланы людьми, которые способны мечтать и рассуждать о любви, нежели любить. Прежде всего раздѣляютъ любовь на матеріальную или чувственную и платоническую или идеальную, презираютъ первую и восторгаются второй. Дѣйствительно, есть люди столь грубые, что могутъ предаваться только животнымъ наслажденіямъ любви, не хлопоча даже о красотѣ и молодости; но даже и эта любовь, какъ ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнѣе ея: послѣдняя хороша только для хранителей восточныхъ гаремовъ... Человѣкъ не звѣрь и не ангелъ; онъ долженъ любить не животнo и не платонически, а человѣчески. Какъ бы ни идеализировали любовь, но какъ же не видѣть, что природа одарила людей этимъ прекраснымъ чувствомъ сколько для ихъ счастья, столько и для размноженія и поддержанія рода человеческого. Родовъ любви такъ же много, какъ много на землѣ людей, потому что каждый любитъ сообразно съ своимъ темпераментомъ, характеромъ, понятіями и

т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была въ сердцѣ, а не въ головѣ. Но романтики особенно падки къ головной любви. Сперва они сочиняютъ программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за невѣднѣемъ таковой любятъ пока какую-нибудь; имъ ничего не стоитъ вѣлѣть себѣ любить, вѣдь у нихъ все дѣлаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденія, а для оправданія на дѣлѣ своей высокой теоріи любви. И они любятъ по тетрадкѣ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота являться въ любви великими и ни въ чемъ не унизиться до сходства съ обыкновенными людьми. И однако жъ въ любви молодого Адуева къ Надинькѣ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побѣдила его. Онъ могъ бы быть счастливымъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Надинька была умнѣе его, а главное по-проще и естественнѣе. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головой, безъ теорій и безъ претензій на гениальность; она видѣла въ любви только ея свѣтлую и веселую сторону, и потому любила какъ будто шутя—шалела, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любилъ «горестно и трудно», весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ, словно лошадь, которая тащить въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ и педантъ: легкость, шутка оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотѣлъ быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталъ съ Надинькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Надинька хотѣла, чтобъ онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но къ этому Адуевъ былъ человѣкъ самый неспособный въ мірѣ, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслилъ, а мечталъ, бредилъ наяву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви, ему былъ опасенъ всякій соперникъ,—пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походилъ на него и могъ бы имѣть для Надиньки прелесть новости; а тутъ вдругъ является графъ, человѣкъ съ блестящимъ свѣтскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повелъ себя какъ глупый, дурно-

воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дѣло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой исторіи былъ виноватъ только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной природы въ послѣднемъ его объясненіи съ Надинькой и потомъ въ разговорѣ съ дядей! Страданія его невыносимы; онъ не можетъ не согласиться съ доводами дяди, и между тѣмъ все-таки не можетъ понять дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ. Какъ! ему унизиться до такъ-называемыхъ хитростей, ему, который затѣмъ и полюбилъ, чтобъ удивить себя и міръ своей громадной страстью, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ, ни о его любви! По его теоріи, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дѣвчонку, бездушную кокетку! Надинька, которая была еще недавно въ глазахъ его выше всѣхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всѣхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, если бы не было такъ грустно. Ложныя причины производятъ такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Вотъ мало-помалу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать «своей нарядной печалью». Прошелъ годъ, и онъ уже презираетъ Надиньку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженія. На вопросъ тетки: какой любви потребовалъ бы онъ отъ женщины? онъ отвѣчалъ: «я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ; любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснѣе (тутъ онъ выпрямился), лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ; въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпнуть блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишения, наконецъ, презрѣть самую смерть—вотъ любовь!»

Какъ эта галиматья похожа на слова восточнаго деспота, который говоритъ своему главному еврею: «если одна изъ моихъ одалисокъ проговоритъ во снѣ мужское имя, которое будетъ не моимъ,—сейчасъ же въ мѣшокъ и въ море!» Бѣдный мечтатель увѣренъ, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные, и

между тѣмъ тутъ выразилось только самое необузданное самолюбие и самый отвратительный эгоизмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбия. Прежде, чѣмъ требовать такой любви отъ женщины, ему слѣдовало бы спросить себя, способенъ ли самъ заплатить такой же любовью; чувство увѣряло его, что способенъ, тогда какъ въ этомъ случаѣ нельзя вѣрить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиковъ чувство есть единственный непогрѣбительный авторитетъ въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни. Но если бы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно было быть для него причиною бояться любви и бѣжать отъ нея, потому что это любовь не человѣческая, а звѣриная, взаимное терзаніе другъ друга. Любовь требуетъ свободы; отдаваясь другъ другу по временамъ, любящіяся по временамъ хотятъ принадлежать и самимъ себѣ. Адуевъ требуетъ любви вѣчной, не понимая того, что чѣмъ любовь живѣе, страстнѣе, чѣмъ ближе подходитъ подъ любимый идеалъ поэтовъ, тѣмъ она кратковременнѣе, тѣмъ скорѣе охлаждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе. И наоборотъ, чѣмъ любовь спокойнѣе и тише, т. е. чѣмъ прозаичнѣе, тѣмъ продолжительнѣе: привычка скрѣпляетъ ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь—это цвѣтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытываютъ рѣдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послѣ иные любить и еще нѣсколько разъ, да уже не такъ, потому что, какъ сказала нѣмецкій поэтъ, май жизни цвѣтетъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концѣ своей трагедіи: черезъ это они остаются въ памяти читателя героями любви, ея апопеезой; оставъ же онъ ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые, сидя въ крѣсть, зѣваютъ, а иногда и спорятся, въ чемъ вовсе нѣтъ поэзіи.

Но вотъ судьба послала нашему герою именно такую женщину, т. е. такую же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствѣ, все забылъ, все бросилъ, съ утра до поздней ночи просиживалъ у ней каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство? — Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человѣкъ, сидя наединѣ съ прекрасной молодой женщиной, которая его любитъ и которую онъ любитъ, не краснѣлъ, не блѣднѣлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви! Это,

впрочемъ, понятно: сильная склонность къ идеализму и романтизму почти всегда свидѣтельствуетъ объ отсутствіи темперамента; это люди безполюе, — то же, что въ царствѣ растений тайнобрачные, грибы, напримѣръ. Мы понимаемъ это трепетное, робкое обожаніе женщины, въ которое не входитъ ни одно дерзкое желаніе, но это не платонизмъ: это первый моментъ первой свѣжей, дѣвственной любви; это не отсутствіе страсти, а страсть, которая еще боится сказаться самой себѣ. Съ этого начинается первая любовь, но остановиться на этомъ такъ же смѣшно и глупо, какъ захотѣтъ остаться на всю жизнь ребенкомъ и вѣздить верхомъ на палочкѣ. Любовь имѣетъ свои законы развитія, свои возрасты, какъ цвѣты, какъ жизнь человѣческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лѣто, наконецъ, осень, которая для однихъ бываетъ теплой, свѣтлой и плодородной, для другихъ—холодной, гнилой и безплодной. Но нашъ герой не хотѣлъ знать законовъ сердца, природы, дѣйствительности, онъ сочинилъ для нихъ свои собственные, онъ гордо признавалъ существующій міръ призракомъ, а созданный его фантазіей приракъ — дѣйствительно существующимъ міромъ. На зло возможности, онъ упорно хотѣлъ оставаться въ первомъ моментѣ любви на всю жизнь свою. Однако жъ сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дѣло предложеніемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что рѣшился, а въ самомъ-то дѣлѣ ему только было нуженъ предметъ для новыхъ мечтаній. Между тѣмъ Тафаева начала смертельно надоедать ему своей привязчивой любовью; онъ началъ тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ за то, что уже не любилъ ее. Еще прежде этого онъ ужъ начиналъ понимать, что свобода въ любви— вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть въ правѣ пройтись по Невскому, когда хочется, отобѣдать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ, — что, наконецъ, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бѣдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ гораздо больше ея, — онъ рѣшился, наконецъ, сказать себѣ, что онъ ее не любитъ, и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ любви былъ въ дребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увидѣлъ свою несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь свою. Онъ увидѣлъ ясно, что онъ



вовсе не герой, а самый обыкновенный человекъ, хуже тѣхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и надутъ собой безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнью, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рѣшился отомстить за свое ничтожество природѣ и человѣчеству, связавшись съ животнымъ Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Послѣдняя его любовная исторія гадка. Онъ хотѣлъ погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки, и не могъ бы въ этомъ покушеніи оправдаться даже бѣшенствомъ чувственныхъ желаній, хотя и это плохое оправданіе, особенно, когда есть для этого путь болѣе прямой и честный. Отецъ дѣвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія: онъ общалъ поколотить его; герой нашъ хотѣлъ съ отчаянія броситься въ Неву, но струсилъ. Концертъ, на который затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ его на откровенное объясненіе съ теткой и дядей. Здѣсь онъ обвинялъ дядю во всѣхъ своихъ несчастіяхъ. Дядя по-своему дѣйствительно кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ былъ тутъ самимъ собою, не лгалъ, не притворялся, говорилъ по убѣжденію, что думалъ и чувствовалъ; если слова его подѣйствовали на племянника болѣе вредно, нежели полезно, въ этомъ виновата ограниченная, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ что бываютъ только около нея, но никогда въ ней. Выбѣгая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: «Художникъ-варваръ кистью сонной»... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ — такіе болтуны!

Онъ пріѣхалъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измѣнилась, мать едва узнала его. Съ нею онъ обошелся почти-тельно, но холодно, ничего ей не открывалъ, не объяснилъ. Онъ, наконецъ, понялъ, что между нимъ и ею нѣтъ ничего общаго, что если бъ онъ сталъ ей объяснять, куда дѣвались его волосы, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ

тягость. Мѣста — свидѣтели его дѣтства — расшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ невозвратной потерѣ, говоря, что счастье въ обманахъ и призракахъ. Это общее убѣжденіе всѣхъ дряблыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ натуръ. Вѣдь, кажется, опытъ достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія произошли именно оттого, что онъ предавался обманамъ и мечтамъ: воображалъ, что у него огромный поэтический талантъ, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это былъ человекъ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ, любящъ и не глупъ, не лишень образованія; всѣ несчастія его произошли оттого, что, будучи обыкновеннымъ человекомъ, онъ хотѣлъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатіи, и кто потомъ не смѣялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно; романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткѣ и дядѣ, писанное послѣ смерти его матери и исполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла, — это письмо подѣйствовало на насъ какъ-то странно; но мы объяснили его себѣ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ затѣмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ этимъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года послѣ вторичнаго пріѣзда нашего героя въ Петербургъ. На сценѣ Петръ Ивановичъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своей противоположностью съ героемъ романа лучше отѣнить его. Это набросило на тѣсь романъ нѣсколько дидактической отъ тѣнокъ, въ чемъ многіе не безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умѣлъ и тутъ показать себя человекомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Ивановичъ — не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь ростъ кистью смѣлой, широкой и вѣрной. О немъ, какъ о человекѣ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обоихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видѣть въ немъ

какой-то идеаль, образецъ для подражанія: это—люди положительные и разсудительные. Другіе видятъ въ немъ чуть не изверга: это — мечтатели. Петръ Ивановичъ по-своему человѣкъ очень хорошей; онъ уменъ, очень уменъ, потому что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ лоззю въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ—эгоистъ, холоденъ по натурѣ, неспособенъ къ великодушнымъ движеніямъ, но вмѣстѣ съ этимъ онъ не только не золь, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемеръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обѣщаетъ, чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что обѣщаетъ, то непременно сдѣлаетъ. Словомъ, это въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составилъ себѣ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своей натурой и здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ ихъ непогрѣшительно вѣрными. Дѣйствительно, мантія его практической философіи была шита изъ прочной и крѣпкой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы же были его изумленіе и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясницѣ и до сѣдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантіи прорѣху — правда, одну только, но зато какую широкую. Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастьи, но былъ увѣренъ, что утвердилъ свое семейственное положеніе на прочномъ основаніи,—и вдругъ увидѣлъ, что бѣдная жена его была жертвой его мудрости, что онъ заѣлъ ея вѣкъ, задушилъ ее въ холодной и тѣсной атмосферѣ.

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человѣку нужно и еще чего-нибудь немножко, кромѣ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человѣческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетворить, но всякій человѣкъ можетъ быть счастливымъ только сообразно съ собственной натурой! Петръ Ивановичъ хитро и тонко расчелъ, что ему надо овладѣть понятіями, убѣжденіями склонностями своей жены, не давая ей этого замѣтить, вести ее по дорогѣ жизни,

но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ, но онъ сдѣлалъ въ этомъ расчелѣ одну важную ошибку: при всемъ своемъ умѣ онъ не сообразилъ, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой онъ, можетъ быть, не захотѣлъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало вовсе не жениться.

Петръ Ивановичъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительной вѣрностью; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ; это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерожденіе для него было бы возможно только тогда, если бы онъ былъ обыкновенный болтунъ и фразеръ, который повторяетъ чужія слова, не понимая ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастью, часто бывалъ слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ и неискренности. Его романтизмъ былъ въ его натурѣ; такіе романтики никогда не дѣлаются положительными людьми. Авторъ имѣлъ бы скорѣе право заставить своего героя заглухнуть въ деревенской дичи въ апатіи и лѣни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественнѣе было ему сдѣлать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но всего лучше и естественнѣе было бы ему сдѣлать его, напр., славянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ бы мечтать о народахъ и племенахъ,—о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ—вражда,—о томъ, что во времена Гостомысла славяне имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивилизаціи, что этого не видятъ только слѣпые и ожесточенные разсудкомъ, а всѣ зрячіе и размягченные фантазіей давно это ясно видятъ. Тогда бы герой былъ вполне современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши толь-

ко Петръ Ивановичъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же въ герою романа эпилогъ хоть не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ по-пробовать свои силы на чуждой ему почвѣ — на почвѣ сознательной мысли — и пересталъ быть поэтомъ. Здѣсь всего янѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера: тотъ и въ сферѣ чуждой для его таланта дѣйствительности умѣлъ выпутаться изъ своего положенія силой мысли; авторъ «Обыкновенной Исторіи» впасть въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительной вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней слово, произнести судъ. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать; говорить и судить, и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Картины Искандера отличаются не столько вѣрностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ дѣйствительности; онъ отличается больше фактической, нежели поэтической истиной, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія, — всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта Гончарова — всегда въ изящности и тонкости кисти, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ, на примѣръ, въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ Искандера поэзія — агентъ второстепенный, а главный — мысль; въ талантѣ Гончарова поэзія — агентъ первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ; романъ Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ принадлежитъ между прочимъ языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печатная книга, а живая импровизация. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядей и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры

принадлежать къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, неидущаго къ дѣлу; это — не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себѣ, какъ человѣкъ и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ диалектическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тѣмъ больше чести Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самую по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ такъ легко было сбиться на тонъ резонера.

Теперь у насъ на очереди «Разказы Охотника» Тургенева. Талантъ Тургенева имѣетъ много аналогіи съ талантомъ Луганскаго (Дала), Настоящій родъ того и другого — физиологическіе очерки разныхъ сторонъ русскаго быта и русскаго люда. Тургеневъ началъ свое литературное поприще лирической поэзіей. Между его мелкими стихотвореніями есть пьесы три, четыре очень недурныхъ, какъ, на примѣръ, «Старый помѣщикъ», «Баллада», «Федя», «Человѣкъ, какихъ много»; но эти пьесы удалась ему потому, что въ нихъ или вовсе нѣтъ лиризма, или что въ нихъ главное не лиризмъ, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирическія стихотворенія Тургенева показываютъ рѣшительное отсутствіе самостоятельнаго лирическаго таланта. Онъ написалъ нѣсколько поэмъ. Первая изъ нихъ, «Парама», была замѣчена публикой при ея появленіи по бойкому стиху, веселой ироніи, вѣрнымъ картинамъ русской природы, а главное — по удачнымъ физиологическимъ очеркамъ помѣщичьяго быта въ подробностяхъ. Но прочному успѣху поэмы помѣшало то, что авторъ, пиша ее, вовсе не думалъ о физиологическомъ очеркѣ, а хлопоталъ о поэмѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у него нѣтъ самостоятельнаго таланта къ этому роду поэзіи. Оттого все лучшее въ ней проблеснуло какъ-то случайно, невзначай. Потомъ онъ написалъ поэму — «Разговоръ»: стихи въ ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли; но какъ эта мысль чужая, заимствованная, то на первый разъ поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. Въ третьей поэмѣ Тургенева, «Андрей», много хорошаго, потому что много вѣрныхъ очерковъ русскаго быта; но въ цѣломъ поэма опять не удалась, потому что это повѣсть любви, изображать которую не въ талантѣ автора. Письмо героини къ герою поэмы длинно и растянуто, въ немъ больше чув-

ствительности, нежели павоса. Вообще въ этихъ опытахъ Тургенева былъ замѣтенъ талантъ, но какой-то нерѣшительный и неопредѣленный. Онъ пробовалъ себя и въ повѣсти; написалъ «Андрея Колосова», въ которомъ много прекрасныхъ очерковъ характеровъ и русской жизни, но, какъ по-вѣсть, въ цѣломъ это произведение до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногіе замѣтили, что въ ней было хорошаго. Замѣтно было, что Тургеневъ искалъ своей дороги и все еще не находилъ ея: потому что это не всегда и не всѣмъ легко и скоро удается. Наконецъ, Тургеневъ написалъ стихотворный рассказъ — «Помѣщикъ», не поэму, а физиологическій очеркъ помѣщичьяго быта, шутку, если хотите, но эта шутка какъ-то вышла далеко лучше всѣхъ поэмъ автора. Бойкій апирамматическій стихъ, веселая проницаемость, вѣрность картинъ, вмѣстѣ съ этимъ выдержанность цѣлаго произведенія, отъ начала до конца, — все показывало, что Тургеневъ попалъ на истинный родъ своего таланта, взялся за свое, и что нѣтъ никакихъ причинъ оставлять ему вовсе стихи. Въ то же время былъ напечатанъ его рассказъ въ прозѣ — «Три Портрета», изъ котораго видно было, что Тургеневъ и въ прозѣ нашелъ свою настоящую дорогу. Наконецъ, въ первой книжкѣ «Современника» за прошлый годъ былъ напечатанъ его рассказъ «Хорь и Калинычъ». Успѣхъ въ публикѣ этого небольшого рассказа, помѣщеннаго въ Смѣси, былъ неожиданъ для автора и заставилъ его продолжать «Рассказы Охотника». Здѣсь талантъ его обозначился вполнѣ. Очевидно, что у него нѣтъ таланта чистаго творчества, что онъ не можетъ создавать характеровъ, ставить ихъ въ такія отношенія между собой, изъ какихъ образуются сами собой романы или повѣсти. Онъ можетъ изображать дѣйствительность видѣнную и изученную имъ, если угодно—творить, но изъ готоваго, даннаго дѣйствительностью материала. Это не простое списываніе съ дѣйствительности, она не даетъ автору идей, но наводитъ, наталкиваетъ, такъ сказать, на нихъ. Онъ перерабатываетъ взятое имъ готовое содержаніе по своему идеалу, и отъ этого у него выходитъ картина болѣе живая, говорящая и полная мысли, нежели дѣйствительный случай, подавшій ему поводъ написать эту картину; и для этого необходимъ въ извѣстной мѣрѣ поэтический талантъ. Правда, иногда все умѣніе его заключается въ томъ, чтобы только вѣрно передать знакомое ему лицо или событіе, котораго онъ былъ свидѣтелемъ потому что въ дѣйствительности бываютъ

иногда явленія, которыя стоить только вѣрно передоложить на бумагу, чтобы они имѣли всѣ признаки художественнаго вымысла. Но и для этого необходимъ талантъ, и таланты такого рода имѣютъ свои степени. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тургеневъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ талантомъ. Главная характеристическая черта его таланта заключается въ томъ, что ему едва ли бы удалось создать вѣрно такой характеръ, подобнаго которому онъ не встрѣчалъ въ дѣйствительности. Онъ всегда долженъ держаться почвы дѣйствительности. Для такого рода искусства ему даны отъ природы богатые средства: даръ наблюдательности, способность вѣрно и быстро понять и оцѣнить всякое явленіе, инстинктомъ разгадать его причины и слѣдствія, и такимъ образомъ догадкой и соображеніемъ дополнить необходимый ему запасъ свѣдѣній, когда разспросы мало объясняютъ.

Не удивительно, что маленькая пьеска — «Хорь и Калинычъ», имѣла такой успѣхъ въ ней авторъ зашелъ къ народу съ такой стороны, съ какой до него къ нему никто еще не заходилъ. Хорь съ его практическимъ смысломъ и практической натурой, съ его грубымъ, но крѣпкимъ и яснымъ умомъ, съ его глубокимъ презрѣніемъ къ «бабамъ» и сильной нелюбовью къ чистотѣ и опрятности — типъ русскаго мужика, умѣвшаго создать себѣ значащее положеніе при обстоятельствахъ весьма неблагопріятныхъ. Но Калинычъ — еще болѣе свѣжій и полный типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народѣ. Съ какимъ участіемъ и добродушіемъ авторъ описываетъ намъ своихъ героевъ, какъ умѣетъ онъ заставить читателей полюбить ихъ отъ всей души! Всѣхъ «Рассказовъ Охотника» было напечатано прошлаго года въ «Современникѣ» семь. Въ нихъ авторъ знакомитъ своихъ читателей съ разными сторонами провинціальнаго быта, съ людьми разныхъ состояній и званій. Не всѣ его рассказы одинаковаго достоинства: одни лучше, другіе слабѣе, но между ними нѣтъ ни одного, который бы чѣмъ-нибудь не былъ интересенъ, занимателенъ и поучителенъ. «Хорь и Калинычъ» до сихъ поръ остается лучшимъ изъ всѣхъ рассказовъ охотника; за нимъ — «Бурмистръ», а послѣ него «Однородецъ Овсянниковъ» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы Тургеневъ написалъ еще хоть цѣлые томы такихъ рассказовъ.

Хотя рассказъ Тургенева — «Петръ Петровичъ Каратаевъ», напечатанный во второй книжкѣ «Современника» за прошлый годъ, и не принадлежитъ къ ряду «Расска-

зовъ Охотника», но это такой же мастерской физиологическій очеркъ характера чисто русскаго, и при томъ съ московскимъ оттѣнкомъ. Въ немъ талантъ автора выказался съ такой же полнотою, какъ и въ лучшихъ изъ «Разсказовъ Охотника».

Не можемъ же упомянуть о необыкновенномъ мастерствѣ Тургенева изображать картины русской природы. Онъ любитъ природу не какъ диллетантъ, а какъ артистъ, и потому никогда не старается изображать ее только въ поэтическихъ ея видахъ, но беретъ ее, какъ она ему представляется. Его картины всегда вѣрны, вы всегда узнаете въ нихъ нашу родную, русскую природу...

Григоровичъ посвятилъ свой талантъ исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантѣ тоже много аналогій съ талантомъ Дала. Онъ также постоянно держится на почвѣ хорошо извѣстной и изученной имъ дѣйствительности; но его два послѣдніе опыта—«Деревня» и въ особенности «Антонъ-Горемыка» — идутъ гораздо дальше физиологическихъ очерковъ. «Антонъ-Горемыка» — больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что вѣшная сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ — мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустные и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ итти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многого... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта: чѣмъ бѣднѣе ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значитъ, успѣхъ огромнѣе...

Въ послѣдней книжкѣ «Современника» за прошлый годъ была напечатана «Полинька Саксъ», повѣсть Дружинина, лица совершенно новаго въ русской литературѣ. Многое въ этой повѣсти отзывается неувѣрностью мысли, преувеличеніемъ, лицо Сакса немножко идеальное; несмотря на то, въ повѣсти такъ много истины, такъ много душевной теплоты и вѣрнаго, сознательнаго пониманія дѣйствительности, такъ много самобытности, что повѣсть тотчасъ же обратила на себя общее вниманіе. Особенно хорошо въ ней выдержанъ характеръ героини повѣсти; видно, что авторъ хорошо

знаетъ русскую женщину. Вторая повѣсть Дружинина, появившаяся въ нынѣшнемъ году, подтверждаетъ поданное первой повѣстью мнѣніе о самостоятельности таланта автора и позволяетъ многого ожидать отъ него въ будущемъ.

Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ «Павель Алексѣвичъ Игривой», повѣсть Дала («Отечественныя Записки»). Карлъ Ивановичъ Гонобобель и ротмистръ Шилохвостовъ, какъ характеры, какъ типы, принадлежатъ къ самымъ мастерскимъ очеркамъ пера автора. Впрочемъ, всѣ лица въ этой повѣсти очерчены прекрасно, особенно дражайшіе родители Любоньки; но молодой Гонобобель и другъ его Шилохвостовъ—созданія гениальныя. Это типы довольно знакомые многимъ по дѣйствительности, но искусство еще въ первый разъ воспользовалось ими и передало ихъ на пріятное знакомство всему міру. Повѣсть эта нравится не однѣми подробностями и частностями, какъ всѣ большія повѣсти Дала; она почти выдержана въ цѣломъ, какъ повѣсть. Говоримъ почти, потому что трагическое для героя повѣсти событіе производитъ на читателя впечатлѣніе чего-то неожиданнаго и непонятнаго. Человѣкъ такъ любилъ женщину, столько дѣлалъ для нея; она, повидимому, такъ любила его; безпутный мужъ ея умеръ; другъ спѣшитъ за границу на свиданіе съ ней, окрыленный надеждами любви, и видитъ ее замужемъ за другимъ. Дѣло въ томъ, что авторъ не хотѣлъ окрасить своего разсказа тѣмъ колоритомъ, по которому читатель видѣлъ бы естественность такой развязки. Игривый—человѣкъ комически робкій и стыдливый, почему и дозволилъ двумъ негодьямъ изъ рукъ вырвать у него неувѣсту. Во время страданій ея супружеской жизни онъ велъ себя въ отношеніи къ ней какъ деликатнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, но нисколько какъ любовникъ; оттого ея оробѣвшее, запуганное чувство къ нему скоро обратилось въ благодарность, уваженіе, удивленіе, наконецъ, въ благоговѣніе; она видѣла въ немъ друга, брата, отца, воплощенную добродѣтель, и уже по тому самому не видѣла въ немъ любовника. Послѣ этого развязка понятна, равно какъ и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою одѣлался какимъ-то помѣшаннымъ шутомъ.

Въ «Библиотекѣ для Чтенія» прошлаго года тянулись «Приключенія, почерпнутыя изъ моря житейскаго», Вельтмана, кончившіяся во второй книжкѣ этого журнала на нынѣшній годъ. Такъ какъ этотъ романъ начался, кажется, въ 1846 г., то мы о немъ уже имѣли случай говорить. И потому снова

повторимъ, что въ этомъ произведеніи романъ смѣшанъ съ сказкой, невѣроятное—съ вѣроятнымъ, невозможное—съ возможнымъ. Такъ, напримѣръ, Дмитрицкій, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьемъ простофили молодого купчика, который, какъ нарочно, былъ очень похожъ на него лицомъ, является къ его отцу въ качествѣ его сына. Онъ такъ ловко играетъ свою роль, что ни отецъ, ни мать и никто изъ домашнихъ ни одну минуту не возымѣлъ подозрѣнія въ тождествѣ самозванца съ настоящимъ сыномъ. Самозванецъ женится на богатой невѣстѣ и, узнавши въ ночь брака, что настоящій сынъ появился, тотчасъ же выбирается изъ чужого гнѣзда съ огромнымъ пукомъ ассигнацій, полученныхъ въ приданое за женой, и съ другого же дня начинаетъ играть въ московскомъ большомъ свѣтѣ роль богатаго венгерскаго магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица въ невѣроятныя положенія, авторъ тѣмъ не менѣ увлекательно описываетъ ихъ похождения. Но тамъ, гдѣ въ романѣ нѣтъ натяжекъ, талантъ автора является въ самомъ выгодномъ для него свѣтѣ. Такъ, напримѣръ, похождения настоящего сына, который все собираетъ и никакъ не можетъ рѣшиться броситься въ ноги къ своему «тятенкѣ», боясь, что дражайшій родитель сразу пришибетъ его на смерть, исполнены истины, глубокаго знанія дѣйствительности, увлекающаго интереса. Такихъ прекрасныхъ эпизодовъ въ романѣ Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображенія купеческихъ, мѣщанскихъ и простонародныхъ нравовъ. Слабѣе всего у него картины большого свѣта. Такъ, напримѣръ, у него важную роль играетъ великосвѣтскій молодой человекъ Чаровъ, котораго вся свѣтскость состоитъ въ томъ, что онъ всеѣмъ своимъ пріятелямъ и знакомымъ говоритъ: ска-атина, у-уроль... Несмотря на всѣ странности и, можно сказать, нелѣпости романа Вельтмана, это все-таки очень замѣчательное произведеніе.

Изъ отдѣльно вышедшихъ въ прошломъ году книгъ по части изящной словесности замѣчательны только «Путевыя Замѣтки» Т. Ч. Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая въ Одессѣ; авторъ—женщина; это видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишкомъ поженски, но никогда не набѣденная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная, увлекательный рассказъ, прекрасный языкъ,—вотъ достоинство двухъ рассказовъ г-жи Т. Ч. Особенно интересенъ

первый рассказъ: «Три варіаціи на старую тему». Взрослая дѣвушка влюбилась въ мальчика. Потомъ она потеряла его изъ виду и вышла замужъ за человека добраго и порядочнаго, но къ которому она не чувствовала ничего особеннаго. Вдругъ она встрѣчается съ Лелей, который теперь уже сталъ Алексисомъ. У нихъ завязалось нѣчто въ родѣ особенныхъ отношеній, которыя разрѣшились страстнымъ поцѣлуемъ съ обѣихъ сторонъ, полнымъ объясненіемъ и отъѣздомъ Алексиса по настоящему требованію героини, въ которой любовь не побѣдила чувства долга. Потомъ она уѣхала съ большимъ мужемъ на воды за границу. Тамъ она получила письмо отъ одной изъ своихъ пріятельницъ, изъ котораго она узнала, что Алексисъ ее любитъ страстно. Письмо это сильно взволновало ее. Разъ, перечитывая его и мечтая объ Алексисѣ, она вдругъ услышала въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ былъ мужъ ея, какой-то странный шумъ. Обѣгаетъ — и видитъ своего мужа почти въ обморокъ; съ нимъ случился жестокой чахоточный припадокъ. Оправившись нѣсколько, онъ началъ говорить ей о своей скорой смерти, благодарилъ ее за вниманіе и попеченіе о немъ, радовался, что оставляетъ ее не безъ состоянія, и совѣтовалъ ей выйти замужъ, такъ какъ она молода, хороша и дѣтей у нихъ не было. По обыкновенію всѣхъ восторженныхъ женщинъ, она съ ужасомъ отвергла послѣднее предложеніе. Затѣмъ ее начали мучить угрызенія совѣсти. И какъ же иначе: мужъ ея умиралъ и благодарилъ ее за любовь и вниманіе къ нему, а она въ это время думала о другомъ, любила другого. Бѣдная женщина чуть, было, не рассказала свою тайну умирающему мужу; къ счастью случившійся съ ней обморокъ помѣшалъ этому ненужному и нелѣпому признанію, которое могло только отравить послѣднія минуты добраго и благороднаго человека. Такова логика восторженной женщины! Мужъ героини умеръ, ей было 35 лѣтъ, когда она увидѣла Алексія Петровича; онъ былъ женатъ и жилъ честолюбивъ. Героиня наша едва могла подавить свое волненіе при видѣ его; но онъ обончелся съ ней съ холодной вѣжливостью. Тутъ она совершенно разочаровалась въ извергахъ-мужчинахъ и горько плакала. Какъ! онъ все забылъ! Да что же ему помнить-то? Поцѣлуй? историю любви, которая ничѣмъ не кончилась и прервалась въ самомъ началѣ;—одну изъ тѣхъ исторій, которыя со многими мужчинами случаются не одинъ разъ въ жизни? У мужчины много интересовъ въ жизни, и потому память его удерживаетъ только исторію, которая посерьезнѣе одного по-

дѣлуя. Женщина — другое дѣло; она вся жизнь исключительно въ любви, и тѣмъ болѣе своими внутренними ощущениями, чѣмъ болѣе обязана скрывать ихъ. Женщины особенно падки до любовныхъ исторій, которыя не оканчиваются ничѣмъ серьезнымъ, въ которыхъ не нужно ничѣмъ рисковать, ничѣмъ жертвовать, можно измѣнить мужу въ сердцѣ — и остаться формально вѣрной своимъ обѣтамъ, удовлетворить потребности любить — и свято выполнить налагаемая обществу обязанности. Героиня второй повѣсти — гувернантка, одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ фантазія преобладаетъ надъ сердцемъ, которыхъ надо атаковать съ головы, т. е. прежде всего надо чѣмъ-нибудь удивить, поразить, возбудить любопытство; не красотой — такъ безобразіемъ, не умомъ — такъ глупостью, не достоинствомъ — такъ странностью, не добродѣтелью — такъ порокомъ. За нею влочится безобразный собой, нисколько не влюбившій ее человекъ, и ее же любить страстно благородный, красивый собой мужчина. Она знаетъ цѣну обоимъ имъ — и, какъ бабочка на огонь, рвется къ первому. Повѣсть рассказана хорошо; но, видно, героиня не возбудила къ себѣ особеннаго участія, и потому первая повѣсть болѣе понравилась всѣмъ, нежели вторая. Въ обѣихъ виденъ талантъ, отъ котораго можно надѣяться хорошихъ результатовъ, если онъ будетъ развиваться.

Изъ иностранныхъ замѣчательныхъ романовъ въ «Современникѣ» и въ «Отечественныхъ Запискахъ» была переведена «Луcreція Флоріани» (о ней было уже говорено въ нашемъ журналѣ), и продолжается переводомъ: «Торговый домъ подъ фирмой Домби и Сынъ»; когда этотъ превосходный романъ, далеко оставившій за собой всѣ прежнія произведенія Диккенса, появится весь въ русскомъ переводѣ, мы поговоримъ о немъ.

Къ разряду словесности принадлежатъ записки или воспоминанія былого. «Письма объ Испаніи» (въ «Современникѣ») Боткина были неожиданно пріятной новостью въ русской литературѣ. Испанія для насъ — terra incognita. Политическія извѣстія только сбиваютъ съ толку всякаго, кто бы захотѣлъ получить понятіе о положеніи этой земли. Главная заслуга автора «Писемъ объ Испаніи» состоитъ въ томъ, что онъ на все смотрѣлъ собственными глазами, не увлекается готовыми сужденіями объ Испаніи, разсѣянными въ книгахъ, журналахъ и газетахъ; вы чувствуете изъ его писемъ, что онъ сперва посмотрѣлся, наслышался, разспросилъ и изучилъ, и потомъ уже составилъ свое понятіе о странѣ. Оттого взглядъ его на нее новъ, оригиналенъ, и все завлечетъ читателя въ его вѣрности, въ томъ,

что онъ знакомится не съ какой-нибудь фантастической, а съ дѣйствительно существующей страной. Увлекательное изложеніе еще болѣе возвышаетъ достоинство «Писемъ» Боткина.

Русская критика стоитъ теперь на болѣе прочномъ основаніи; она уже не въ однихъ журналахъ, но и въ публикѣ, вслѣдствіе все болѣе и болѣе развивающагося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать развитію самой критики: она уже дѣло, подлежащее суду общественнаго мнѣнія, а не книжное, не имѣющее связи съ жизнью занятіе. Теперь уже не всякому можно быть критикомъ, кому только вздумается, не всякое мнѣніе приметъ потому только, что оно печатное. Пристрастіе партій не можетъ уже убить хорошей книги и дать ходъ дурной. Въ критикѣ нынѣшней часто слышится убѣжденіе, и люди, вовсе его не имѣющіе, стараются по крайней мѣрѣ прикрываться имъ. Борьба мнѣній, выражающаяся въ критикѣ, свидѣтельствуетъ, что русская литература только быстро подвигается къ совершеннѣйшій, но еще не достигла его. Конечно, вездѣ есть люди, которые какъ будто самой природой назначены всѣхъ затрогивать, ко всѣмъ прицѣпляться, всѣхъ хулить, безпрестанно заводитъ ссоры, шумъ, брань. Кромѣ природной наклонности, ничѣмъ не побѣдимой, ихъ побуждаетъ къ этому и раздраженное самолюбіе, и мелкіе личные интересы, нисколько не относящіяся къ литературѣ. Такіе люди — всюду зло неизбежное, имѣющее даже свою полезную сторону: эти люди добровольно берутъ на себя ту роль передъ обществомъ, которую спартанцы заставляли играть илоты передъ своими дѣтьми..

Въ прошломъ году вниманіе критики было преимущественно занято «Перепиской Гоголя съ друзьями». Можно сказать, что память объ этой книгѣ и теперь поддерживается только статьями. Лучшая изъ статей противъ нея принадлежитъ Н. Ф. Павлову. Въ своихъ письмахъ къ Гоголю онъ сталъ на его точку зрѣнія, чтобы показать его невѣрность собственнымъ началамъ. Тонкость мысли, ловкость диалектики, при изложеніи въ высшей степени изящномъ, дѣлаютъ письма Н. Ф. Павлова явленіемъ образцовымъ и совершенно особымъ въ нашей литературѣ. Жаль, если все дѣло окончится тремя письмами!

Извѣстный книгопродавецъ нашъ Смирдинъ своими изданіями русскихъ авторовъ приготовилъ и намѣренъ еще болѣе приготовить труда и хлопотъ русской критикѣ. Онъ уже издалъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Озерова, Кантемира, Хемницера,

Муравьева, Княжнина и Лермонтова. Въ одной газетѣ было говорено о скоромъ выходѣ въ свѣтъ сочиненій Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Тамъ же увѣрили, что вслѣдъ за ними поступать въ печать: «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина, сочиненія императрицы Екатерины II, сочиненія Сумарокова, Хераскова, Тредьяковскаго, Кострова, князя Долгорукова, Капниста, Нахимова, Нарѣжнаго, — и что сверхъ того приступлено къ приобрѣтенію права на изданіе сочиненій Жуковскаго, Батюшкова, Дмитріева, Гвѣдича, Хмѣльницкаго, Шаховскаго и Баратынскаго. Довольно работы кри-

тикѣ! Пусть каждый выскажетъ свое мнѣніе, не безпокоясь о томъ, что другіе думаютъ не такъ, какъ онъ. Надо имѣть терпимость къ чужимъ мнѣніямъ. Нельзя заставить всѣхъ думать одно. Опровергайте чужія мнѣнія, несогласныя съ вашими, но не преслѣдуйте ихъ съ ожесточеніемъ потому только, что они противны вамъ, не старайтесь выставить ихъ въ невыгодномъ для нихъ свѣтѣ не въ литературномъ отношеніи. Это плохой расчетъ: желая выиграть больше простору вашимъ мнѣніямъ, вы, можетъ быть, этимъ самымъ лишите ихъ всякой почвы.



Басни И. А. Крылова. Въ десяти книгахъ. Спб. 1844.

Издаваніямъ басенъ И. А. Крылова потерянь счетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ считалось однако жъ, что ихъ издано тридцать девять тысячъ экземпляровъ. Такимъ успѣхомъ не пользовался на Руси ни одинъ писатель, кромѣ Ивана Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 40,000 экземпляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ, больше всѣхъ нашихъ писателей—кандидатъ на нивѣмъ еще не занятое на Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ народомъ. Сверхъ того, Крыловъ проложилъ и другимъ русскимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басенъ И. А. Крылова—лишнее дѣло: въ этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ грамотныхъ людей въ Россіи. Было время, когда не умѣли рѣшить, кто выше—Хемницеръ или Крыловъ, и было время, когда Дмитріева (И. И.), какъ баснописца, считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣнить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаютъ, что Крыловъ неизмѣримо выше ихъ обоехъ. Его басни—русскія басни, а не переводы, не подражанія. Это не значитъ, чтобъ онъ никогда не переводилъ, напирѣмъ, изъ Лафонтена и не подражалъ ему: это значитъ только, что онъ и въ переводахъ, и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ не быть оригинальнымъ и русскимъ въ высшей степени. Такая ужъ у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь Вяземскій въ своемъ стихотвореніи, и не сдѣлается народнымъ именемъ Крылова во всей Руси!

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по нашему мнѣнію, заключаются въ седьмой и восьмой книгахъ. Здѣсь онъ, очевидно, уклонился отъ прежняго пути, котораго болѣе или менѣе держался по преданію;

здѣсь онъ имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь больше басенъ, въ которыхъ герои—люди, именно все правослаивный людъ; даже и звѣри въ этихъ басняхъ какъ-то больше, чѣмъ бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ стихѣ ясно видно большое улучшеніе. Вотъ лучшія, по нашему мнѣнію, басни въ седьмой и восьмой книгахъ: «Совѣтъ Мышей», «Мельникъ», «Мотъ и Ласточка», «Свинья подъ Дубомъ», «Лисица и Оселъ», «Муха и Пчела», «Крестьянинъ и Овца» (едва ли не лучшая изъ всѣхъ басенъ Крылова), «Волкъ и Мышенокъ», «Два Мужика», «Двѣ Собаки», «Кошка и Соловей», «Рыбы Пляски», «Прихожанинъ», «Ворона», «Левъ состарѣвшійся», «Вѣлка», «Щука», «Кукушка и Орелъ», «Бритвы», «Бѣдный Богачъ», «Булатъ», «Купецъ», «Пушки и Паруса», «Оселъ», «Миронъ», «Волкъ и Котъ», «Три Мужика».

И въ девятой книгѣ, заключающей въ себѣ одиннадцать басенъ, талантъ Крылова еще удивляетъ своей силой и свѣжестью: для него нѣтъ старости! Намъ особенно нравятся двѣ басни: «Волки и Овцы» и «Вельможа». Также прекрасна басня «Кукушка и Пѣтухъ».

Странно: почему до сихъ поръ не изданы комедіи Крылова? Конечно, эти комедіи не такъ хороши, какъ его же басни; но все же онѣ хороши настолько, чтобы стоить имени своего автора,—а это, право, не мало! Сверхъ того комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники нравовъ и литературы стараго времени.

Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова.  
Изданіе третье. Спб. 1843. Дѣвъ частей.

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому что, при самомъ рожденіи ея, она была вспырнута живой водой поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы, было, взяли первое изданіе ея, чтобъ справиться о его годѣ,—взглядъ нашъ упалъ

на первую страницу—и страницы начали одна за другой переворачиваться под рукой. Сколько раз читали мы эту книгу—пора бы ужь было ей надобсть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года; какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ будто для того, чтобъ рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русской поэзіей въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многие изъ нихъ надѣлали шуму и доставили своимъ авторамъ славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и расчетливости журнальныхъ крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ: но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечестъ, ихъ наберется таки довольно; но, кромѣ «Мертвыхъ Душъ» и нѣсколькихъ новыхъ пьесъ Гоголя, — «Герой нашего времени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова—все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только, пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ сѣденъ и завтра его ужь нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно и въ то же время такъ проникнуто жизнью, мыслью, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда впадаетъ на умъ вопросъ: что жъ еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собой въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?.. Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ гений, эта великая духовная сила привязана къ скудельному организму личности человѣка: не стало человѣка—и нѣтъ уже въ мѣрѣ его силы...

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ новая книга, хотя она уже и прочтена публикой еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго и нынѣшняго

годовъ,—такъ что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось—развѣ какіе-нибудь незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ Отечественныхъ Записокъ стихотвореніе «Пророкъ» принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по времени) его произведеніе. Какая глубина мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ долго не дождался Россія!.

Третье изданіе «Героя нашего времени» въ типографическомъ отношеніи прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи мы не будемъ хвалить этой книжки; похвалы для нея такъ же бесполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу—пока не разойдется она до послѣдняго экземпляра: тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ.

**Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. Николая Костомарова. Писано для полученія степени магистра историческихъ наукъ. Харьковъ. 1844.**

Въ наше время если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было сказано. Но Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о малороссійской народной поэзіи; о русской тутъ упоминается мимоходомъ. Въ разсказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудиновича Костомаровъ нашелъ—что бы вы думали?—романтизмъ!!! На 200 страницѣ сочинитель по-ученому классифицируетъ русскую удалъ... Изъ потока словъ, разлитаго на 214 страницахъ, сочинитель силится доказать только три тезиса:

I. Народная поэзія особенно важна для историка, потому что въ ней виденъ взглядъ народа на свою жизнь. (Какая новость!)

II. Жизнь народа, разсматриваемаго въ его произведеніяхъ, можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую и общественную (sic!..).

III. Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя отрасли: южноруссовъ, или малоруссовъ, и сѣверноруссовъ, или великорус-

совъ; а потому подъ именемъ русской народной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведенія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стоило хлопотать изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію бѣды, еще и не совсемъ истинны?

Стихотворенія М. Лермонтова: *Часть IV. Сиб. 1844.*

Говорятъ: время поэзіи прошло, и стиховъ уже никто не хочетъ читать. Не подумайте, чтобъ это говорилось гдѣ-нибудь далеко за моремъ; нѣтъ, тамъ люди давно уже на столько поумнѣли, что не говорятъ подобныхъ пустяковъ. И не мудрено: тамъ люди давно живутъ, и потому уже успѣли выжить нѣсколько истинъ, о которыхъ у нихъ никто не споритъ, въ которыхъ все единодушно согласились. У насъ не такъ; у насъ еще не для всехъ доказанная истина, что дважды-два — четыре: многие думаютъ, что дважды-два такъ же легко могутъ производить пять и восемь, какъ и четыре. Вотъ отчего у насъ еще спорятъ о томъ, что наряднѣе и величественнѣе — русскіе пудовые сапоги, убитые со стороны подошвы полусотней остроголовыхъ гвоздей и смазываемые саломъ и дегтемъ, или легкіе нѣмецкіе выворотные сапоги, которые лакируются ваксой; спорятъ о томъ, что лучше: въ нѣмецкомъ ли костюмѣ наслаждаться преимуществами, присущими человѣческой натурѣ, или въ шапкѣ мурмолкѣ стоять ниже человѣчества, во имя любви къ обычаю старообрядчества. Мы думаемъ, что у насъ скоро возникнетъ споръ о томъ, кого должны мы разумѣть подъ нашими праотцами — московитовъ ли XVII-го вѣка, славянъ ли IX-го вѣка, или скиѳовъ и сарматовъ, вочевавшихъ по сю сторону Азовскаго и чернаго морей еще въ то время, когда Мильгядъ поразилъ ихъ родственниковъ, персовъ, при Марасонѣ, — когда на олимпійскихъ играхъ Иродотъ читалъ свою исторію, а юнона Фукидидъ плакалъ, внимая ему, — когда на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ Пиндаръ пѣлъ свои восторженныя оды, — когда Эсхилъ, Софокль и Эврипидъ зрѣлищемъ своихъ трагедій заставляли аѳинянъ дѣлиться съ богами блаженствомъ олимпійской жизни, — когда Фидій созидалъ статуи Зевса и Паллады, — когда Сократъ проповѣдывалъ свое ученье народу, Демосенъ гремѣлъ своими рѣчами, а Платонъ въ академіи полагалъ начало ученію чистаго идеализма... Чѣмъ дальше въ дѣсь, тѣмъ больше дровъ, по русской пословицѣ;

Соч. Балинскаго. Т. IV.

отыскивая родоначальниковъ скиѳовъ и сарматовъ, а потомъ родоначальниковъ ихъ родоначальниковъ, мы непременно дойдемъ до Адама и, какъ истинные археологи, рѣшимъ, что намъ надо ходить въ костюмъ Адама, чтобъ ни въ чемъ не отставать отъ своихъ предковъ. Вѣдь надобно же и намъ когда-нибудь быть послѣдовательными и перестать противорѣчить самимъ себѣ!.

Въ ожиданія этого вождѣбнаго и, кажется, еще весьма неблизкаго времени обратимся къ вопросу о поэзіи. У насъ есть журналъ, который издается какъ будто для доказательства, что стихи пишутся дѣтьми для забавы дѣтей же, — и чтобъ быть вѣрнымъ самому себѣ, этотъ журналъ потчуетъ своихъ читателей дѣйствительно дѣтскими стихами. У насъ есть другой журналъ, который, въ противоположность первому, такъ высоко уважаетъ поэзію, что видитъ ее во всякихъ заостренныхъ рѣемой, размѣренныхъ строчкахъ, и, чтобъ тоже не противорѣчить самому себѣ, помѣщаетъ стихи, уже отзывающіеся старческой дряхлостью, и стихи даровитыхъ, но юныхъ поэтовъ — весьма юныхъ, если судить по тревожности чувства, неопредѣленности идей, по неумѣнью соглашать слова со смысломъ и другимъ признакамъ, которыми отличаются эти плоды счастливаго досуга, не связаннаго условіями логики и здраваго смысла. Вотъ двѣ крайнія стороны вопроса, о томъ, — вздоръ или важное дѣло поэзія? Мы думаемъ, что обѣ эти крайности равно чужды истинѣ и при томъ недалеко разбѣжались другъ съ другомъ, потому что обѣ выходятъ изъ одного источника — отсутствія того органа, которымъ понимается поэзія. Мы, русскіе, очень богаты стихами и не совсемъ бѣдны поэзіей. По крайней мѣрѣ въ томъ и другомъ отношеніи мы бы должны были дойти до той разборчивости, которая любить одно чистое золото и уже не увлекается блестящей мишурой. И мы уже почти дошли до этого. Говоримъ почти, потому что дошли пока еще безосознательно. Публика не перестала читать стихи, но уже рѣдко перечитываетъ ихъ. Это не значитъ, чтобъ стихи надобно ей; это значитъ, что она хочетъ только хорошихъ стиховъ. А стихи теперь уже не могутъ считаться хорошими только по отношенію къ формѣ, мимо ихъ содержанія. Изъ уваженія къ заслугамъ поэта, публика, пожалуй, прочтетъ его стихи, хотя бы въ нихъ и не наша ничего, кромѣ старыхъ, давно уже знакомыхъ ей мотивовъ и азіатскихъ сказокъ, перешедшихъ черезъ нѣмецкія руки; но перечитывать ихъ она едва ли будетъ. Изъ новыхъ талантовъ она обратитъ свое вниманіе развѣ только на что-нибудь слишкомъ самобытное и оригинальное. Потому теперь сдѣлалось очень труднымъ

ВЫЙТИ ВЪ ТАЛАНТЫ: мало таланта формы, мало даже фантазій—нуженъ умъ, источникъ идей, нужна богатая натура, сильная личность, которая, опираясь на самую себя, могла бы властительно приковать къ себѣ взоры всѣхъ. Вотъ что нужно теперь, чтобъ имѣть право называться поэтомъ. Послѣ Пушкина такимъ поэтомъ явился Лермонтовъ. Онъ, какъ извѣстно, умеръ рано и потому успѣлъ написать слишкомъ немного. Онъ дѣйствовалъ на литературномъ поприщѣ не болѣе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, а между тѣмъ въ это короткое время успѣлъ обратитъ на свой талантъ удивленные взоры цѣлой Россіи; на него точаче же стали смотрѣть, какъ на великаго поэта... И такой успѣхъ получить послѣ Пушкина!.. Согласитесь, что все это отнюдь не доказываетъ, чтобъ время поэзіи прошло, и чтобъ стихи писались только для забавы пустыхъ людей. Посредственность въ поэзіи не долговѣчна; но истинная поэзія вѣчна, вкусъ къ ней никогда не пройдетъ.

Передъ нами книга, которую могутъ считать за что кому угодно—одни за книгу, другіе—за маленькую тетрадку Тѣ, которымъ дорога память гениальнаго поэта, которые интересуются каждымъ стихомъ, вышедшимъ изъ-подъ пера его и замѣчательнымъ для нихъ, если не въ эстетическомъ, то въ психологическомъ отношеніи,—тѣ, говоримъ, совершенно въ правѣ считать ее за книгу. Но тѣ, которые любятъ въ поэзіи одно совершенное, безъ отношенія личности поэта, въ правѣ считать ее за маленькую тетрадку. Однако жъ эта маленькая тетрадка драгоценнѣе многихъ толстыхъ книгъ; въ ней они найдутъ пьесы: «Сонъ», «Тамара», «Утесъ», «Выхожу одинъ я на дорогу», «Морская Царевна», «Изъ-подъ таинственной холодной полумаски», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтви родимой», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Пророкъ», «Свиданіе»,—одиннадцать пьесъ, всѣ высокаго, хотя и не равнаго достоинства, потому что «Тамара», «Выхожу одинъ я на дорогу» и «Пророкъ», даже и между сочиненіями Лермонтова, принадлежатъ къ блестящимъ исключеніямъ... Что касается до остальныхъ десяти пьесъ (изъ нихъ одна—цѣлая поэма), которыхъ мы не доименовываемъ, большая часть ихъ ознаменована то проблесками таланта Лермонтова, то отпечаткомъ его личности, и въ этомъ отношеніи всѣ онѣ чрезвычайно любопытны. Одинъ журналъ жестоко нападалъ на «Отечественныя Записки» за помѣщеніе будто бы Лермонтовскаго хлама, дѣлаемаго будто бы изъ корыстныхъ расчетовъ, и кончилъ эти нападки тѣмъ, что самъ, для показанія своихъ безкорыстныхъ расчетовъ, въ одно прекрас-

ное утро явился вдругъ съ семью стихотвореніями Лермонтова, которыя, за исключеніемъ послѣдняго, всѣ довольно слабы и изъ которыхъ два («Весна» и «Я не люблю тебя») гораздо прежде были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ». Последнее было напечатано еще въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, 1840 г., и въ первой части второго изданія, 1842 года, но передѣланное и въ лучшемъ видѣ; тамъ оно начинается стихомъ: «Разстались мы, но твой портретъ...».

Всѣ сочиненія Лермонтова сдѣлались теперь навсегда собственностью ихъ издателя, вслѣдствіе права, приобретеннаго имъ отъ наследниковъ покойнаго поэта. Это обстоятельство насъ очень радуетъ, ибо ручается, что изданія сочиненій Лермонтова будутъ продолжаться непрерывно по мѣрѣ требованій со стороны публики, которымъ тоже нельзя ожидать перерыва. Равнымъ образомъ это обстоятельство ручается сколько за то, что сочиненія Лермонтова всегда будутъ издаваться подъ хорошею редакціей и изящно въ типографскомъ отношеніи, столько и за то, что многочисленные почитатели таланта Лермонтова могутъ надѣяться увидѣть полное собраніе его сочиненій, изданное по другому плану. Что касается собственно до насъ, то, не принимая на себя права совѣтовать, мы изъявляемъ здѣсь желаніе поскорѣе увидѣть сочиненія Лермонтова съжато изданными въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ одна заключала бы въ себѣ «Героя Нашего Времени», а другая—стихотворенія, расположенныя въ такомъ порядкѣ, чтобъ лучшія пьесы помѣщены были одна за другой по времени ихъ появленія; за ними слѣдовали бы отрывки изъ «Демона», «Бояринъ Орша», «Хаджи Абрекъ», «Маскарадъ», «Уѣздная Казначейша», «Измаилъ Бей», а наконецъ, уже всѣ мелкія пьесы низшаго достоинства.

Говорятъ, что въ рукахъ одного извѣстнаго русскаго литератора находится еще нѣсколько ни гдѣ доселѣ ненапечатанныхъ пьесъ Лермонтова. Имя этого литератора вполне можетъ служить ручательствомъ въ подлинности этихъ пьесъ. Кто не пожелаетъ поскорѣе увидѣть ихъ въ печати, особенно въ новомъ и, слѣдовательно, болѣе полномъ изданіи сочиненій Лермонтова?..

Стихотворенія В. Жуковскаго. Томъ девятый. Спб. 1844.

Литература наша всячески бѣдна. У насъ мало гениальныхъ писателей, — да и тѣ писали и пишутъ очень мало, по крайней мѣрѣ гораздо меньше, нежели сколько можно и

должно ожидать отъ ихъ средствъ; у насъ мало талантовъ,—да и тѣ писали и пишутъ еще меньше писателей перваго разряда. Самый дѣятельный и плодовитый изъ русскихъ писателей, безъ сомнѣнiя — Пушкинъ. Дѣйствительно, онъ написалъ чрезвычайно много въ сравненiи съ каждымъ изъ его литературныхъ собратьевъ; но тѣмъ не менѣе нельзя бояться утонуть въ этой безднѣ; отъ ея глубины даже и голова не закружится: количество сочиненiй Пушкина безконечно уступаетъ ихъ достоинству. И причиною этому не одна только преждевременная смерть великаго поэта: онъ могъ бы написать вчетверо больше того, сколько написалъ въ продолженiе своей литературной дѣятельности. Это частью происходило и оттого, что онъ долго не хотѣлъ вполне отдаться своему призванiю—хотѣлъ казаться больше волонтеромъ литературы, нежели писателемъ и по призванiю и ex-officio вмѣстѣ. Только незадолго передъ своей кончиной началъ онъ видѣть въ своемъ призванiи цѣль и определенiе своей жизни, началъ трудиться какъ человѣкъ, обрѣкшiй себя постоянному труду литературному, смотрѣть на себя, какъ на писателя по преимуществу. Это было необходимымъ результатомъ полнаго развитiя и полной зрѣлости его таланта. Можно сказать утвердительно, не въ видѣ предположенiя, что если бы Пушкинъ прожилъ еще десять лѣтъ,—онъ написалъ бы вдвое больше, нежели сколько написано имъ съ 1818 до 1836 года, слѣдовательно, почти въ двадцать лѣтъ,—и тѣмъ чувствительнѣе должна быть для насъ его безвременная утрата! Повидимому, какъ много произвела бездарность Сумарокова и Хераскова, а между тѣмъ это—оптический обманъ, происходящiй отъ неуклюжаго и разноразнаго изданiя ихъ издѣлiй. Если бы четыре тома сочиненiй Державина издать въ одной книгѣ большого формата, сжатой печатью, въ два столбца, какъ издаются французскiе писатели, то вышла бы книжечка, по своей тонинѣ чудовищно несообразная съ ея форматомъ. Фонвизинъ написалъ едва ли меньше Державина, а между тѣмъ изданныя книгопродавцемъ Салаевымъ четыре части сочиненiй Фонвизина (1830 г.) вошли потомъ въ одну престранно тощую книжку большого формата, компактнаго изданiя въ двѣ колонны, книгопродавца И. Глазунова (1838 г.).

Но мы почти не имѣемъ возможности пользоваться и тѣмъ, что произвела необширная дѣятельность нашихъ немногихъ писателей: всѣ они издавались и издаются у насъ такимъ образомъ, что ихъ сочиненiй нельзя имѣть тѣмъ именно людямъ, которые и читаютъ книги, и покупаютъ. Люди, которые были бы въ состоянiи приобретать не только книги, но и цѣлыя библiотеки,—эти-то люди у насъ

всего менѣе и всего рѣже покупаютъ книги, особенно русскiя. Наша книжная торговля держится читателями или не весьма богатыми, или просто бѣдными. Поэтому охотники почитать и купить книгу у насъ рѣдко дозволяютъ себѣ это удовольствiе. И какъ же иначе? У насъ книга дороже золота. Вообразите себѣ, напримѣръ, учителя словесности, которому, по его профессii, нельзя не имѣть собранiя всѣхъ замѣчательнѣйшихъ писателей русскихъ, кромѣ теоретическихъ сочиненiй по части преподаваемаго имъ предмета; представьте себѣ журналиста, рецензента, критика, которому необходимо имѣть не только замѣчательнѣйшихъ, но и всѣхъ сколько-нибудь извѣстныхъ писателей, не исключая изъ ихъ числа ни Тредьяковскаго, ни Сумарокова,—необходимо имѣть ихъ для справокъ, указанiй, ссылокъ, выписокъ; представьте себѣ, наконецъ, простаго любителя русской литературы, который занимается ею съ толкомъ и во всякомъ даже устарѣвшемъ, но въ свое время имѣвшемъ вѣсъ, авторѣ видитъ болѣе или менѣе любопытную лѣтопись вкусовъ, понятiй, нравовъ, языка, литературы прошедшаго времени:—сколько имъ надобно употребить денегъ на приобретене всѣхъ этихъ книгъ! Собранiю сочиненiй Сумарокова, въ десяти частяхъ, въ каталогѣ Смирдина, цѣна выставлена—сто рублей ассигнацiями!.. Собранiе сочиненiй Ломоносова, по этому каталогу, стоитъ шестьдесятъ рублей!.. Собранiе сочиненiй Хераскова, въ двѣнадцать частяхъ, стоитъ, по этому каталогу, восемьдесятъ рублей! Сочиненiя Каптемира и Тредьяковскаго никогда не были изданы вполне; и чтобъ собрать всѣ сочиненiя Тредьяковскаго, какъ вы думаете, сколько, по каталогу Смирдина, должно употребить на это денегъ?—Триста тридцать восемь рублей ассигн.!... И всѣхъ этихъ писателей трудно достать по случаю, а если и удастся, то они обойдутся не слишкомъ дешево цѣны, выставленной въ каталогѣ Смирдина. Необходимость искать и собирать нѣсколько книгъ, чтобъ имѣть полное собранiе сочиненiй одного автора, тоже стоитъ потери денегъ. Купивъ собранiе стихотворенiй Капниста, надо еще купить ея знаменитую въ свое время комедiю «Ябеда». Фонвизинъ перевелъ прозой поэту Битобѣ «Иосифъ», басни Гольберга. «Жизнь Снега, царя египетскаго», «Сидней и Силли, или Благодѣянiе и Благодарность», «Любовь Хариты и Полидора», «Слово похвальное Марку Аврелию» Томаса, «Торгующее Дворянство, противоположное дворянству военному»,—и всего этого, равно какъ и «Слово на выздоровленiе Великаго Князя Павла Петровича», и стихотворенiй: «Сидней» и «Матюшка Разнощикъ»,— всего этого тщетно

стали бы вы искать въ «*Полномъ собраніи сочиненія Д. И. Фонвизина*» (1838). Положимъ, вамъ въ продолженіе многихъ лѣтъ, съ потерей значительныхъ (сравнительно съ товаромъ) денегъ, удалось все это собрать: сколько нужно мѣста для помѣщенія всѣхъ этихъ книгъ, разноформатныхъ, разношерстныхъ, старинныхъ, безвкусно, неопратно изданныхъ, разгонисто напечатанныхъ! И все это изъ удовольствія или необходимости заглянуть въ иную изъ этихъ книгъ одинъ разъ въ три года! А новые-то писатели, напримѣръ, Пушкинъ? Полное собраніе его сочиненій, не всѣхъ собранныхъ и дурно изданныхъ какъ въ отношеніи къ редакціи, такъ и въ отношеніи типографскомъ (особенно первые восемь томовъ), стоить шестьдесятъ рублей!.. Шестьдесятъ рублей полное собраніе не вполне собранныхъ сочиненій писателя, уже семь лѣтъ умершаго, — сочиненій, изъ которыхъ многія еще при жизни автора были по нѣскольку разъ изданы! Шестьдесятъ рублей — одиннадцать неуклюжихъ томовъ!.. Когда авторъ самъ издаетъ свое сочиненіе, онъ воленъ назначить ему цѣну по своей прихоти, и вообще большіе проценты за новостъ сочиненія — самое законное пріобрѣтеніе. Но когда творенія автора извѣстны всѣмъ читающимъ людямъ цѣлаго народа, когда каждое изъ нихъ издавалось по нѣскольку разъ и когда, наконецъ, уже нѣтъ болѣе самого автора, — его сочиненія должны быть издаваемы вполне, для всѣхъ, слѣдовательно, дешевле. Восемь главъ «*Одѣгина*» сперва стоили сорокъ рублей; потомъ, изданный отдѣльно и вполне, «*Одѣгинъ*» продавался по десяти рублей, а наконецъ — по пяти; теперь не худо было бы, если бъ хорошенькое изданіе этой поэмы можно было имѣть за 50 или 40 к. серебромъ. Посмотрите, какъ за границей издаются классическіе писатели. Огромный томъ превосходнаго компактнаго изданія въ двѣ колонны стоить не дороже десяти рублей. Превосходнѣйшее изданіе всего Байрона въ Лондонѣ стоить восемь рублей. Къ полному собранію сочиненій извѣстнаго писателя тамъ прилагается его біографія, писанная извѣстнымъ литераторомъ; примѣчанія и комментарии почитаются тоже необходимою подобныхъ книгъ. Въ изданіи полныхъ сочиненій Байрона, о которомъ мы сейчасъ говорили, вошли не только даже слабыя и неудачныя произведенія этого поэта, каковы — «*Часы Праздности*», не только его письма, но и всѣ критики и антикритики, написанныя при его жизни по поводу каждаго изъ его произведеній. Скажутъ: сочиненія Байрона — теперь въ Англіи общее достояніе, и издателю не нужно платить денегъ за право ихъ изданія, тогда какъ произведенія большей части луч-

шихъ нашихъ писателей составляютъ собственность или самихъ ихъ, или ихъ наследниковъ, и потому еще не можетъ быть хорошихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыхъ изданій сочиненій, напримѣръ, Карамзина и Пушкина. — Это правда; но, во-первыхъ, почему не желать хотя дорогихъ, зато хорошихъ и полныхъ изданій Карамзина и Пушкина? А вторыхъ, почему до сихъ поръ еще нѣтъ компактнаго изданія сочиненій Державина, которое, будучи полно, снабжено хорошимъ портретомъ, хорошо написанной біографіей этого поэта и необходимыми примѣчаніями въ поясненіе текста его твореній, стоило бы не дороже полутора рубля серебромъ? Вѣдь уже слишкомъ три года, какъ сочиненія Державина сдѣлались общимъ достояніемъ! Почему нѣтъ такого же изданія сочиненій Ломоносова, отъ смерти котораго протекло уже 79 лѣтъ? Мы даже думаемъ, почему бы не быть компактнымъ изданіемъ всѣхъ русскихъ писателей, которые хотя только въ свое время пользовались большою извѣстностью, а теперь забыты, каковы: Кантемиръ, Тредьяковский, Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Бобровъ? Французы въ этомъ отношеніи могли бы служить намъ образцомъ, подражаніе которому не было бы ни смѣшно, ни бесполезно. Вѣдь они издаютъ же, напримѣръ, Делиля? И хорошо дѣлаютъ: кто ничего не видитъ для себя въ Делиль, тотъ пусть и не читаетъ его; но зачѣмъ же лишать удовольствія читать его тѣхъ, которые могутъ находить удовольствіе, читая его? И мы не безъ основанія думаемъ, что въ Россіи теперь еще не мало почтенныхъ пожилыхъ людей, которые Сумарокова, Хераскова и Петрова считаютъ великими писателями, гораздо выше Пушкина, и которые обрадовались бы возможности пріобрѣсти за дешевую цѣну вполне опратно, хорошо изданныя вновь сочиненія этихъ корифеевъ добраго стараго времени. Сверхъ того подобныя изданія были бы нелишними въ бібліотекахъ казенныхъ учебныхъ заведеній, были бы необходимы для всѣхъ занимающихся русской литературой по страсти или ex-officio. Можно имѣть современныя понятія объ эстетическомъ достоинствѣ сочиненій Сумарокова, Хераскова и Петрова, но нельзя лишать ихъ всякаго значенія. Правда, со стороны содержанія скоро выдохлись и сочиненія писателей выше этихъ трехъ, и потому весьма естественно скорое охлажденіе къ нимъ вслѣдъ за ними же вышедшихъ поколѣній, которыя не чувствовали слишкомъ ошутительной связи интереса между ихъ сочиненіями и своими собственными потребностями, и которыя имѣли всѣ причины болѣе смотреть впередъ, нежели оглядываться назадъ. Но, съ другой стороны, нельзя не согла-

сяться, что и сочиненія такихъ писателей, какъ Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Княжнинъ, не лишены своего интереса: они—болѣе или менѣе живая лѣтопись вкусовъ, понятій, нравовъ, литературы и языка прошедшаго времени. Въ отношеніи къ языку даже Тредьяковский не лишень для насъ интереса. Сверхъ того всякій успѣхъ основывается на какомъ-нибудь правѣ и всегда болѣе или менѣе заслуженъ. Въ царствованіе Екатерины были довольно плодотворные писатели и кромѣ тѣхъ, которыхъ мы сейчасъ назвали, однако они не пользовались почти никакой извѣстностью, тогда какъ современники Сумарокова называли его побѣдителемъ Лафонтена, Расина, Вольтера; Петровъ ставился почти наравнѣ съ Державиннымъ, а о Херасковѣ вотъ что написалъ человекъ уже другого поколѣнія, товарищъ и сподвижникъ Карамзина—Дмитрѣевъ:

Пуškai отъ зависти сердца возлюбъ поютъ:  
Хераскову они вреда не нанесутъ:  
Владиміръ, Іоаннъ сего покровятъ  
И въ храмъ безсмертѣя проведутъ.

Какъ бы то ни было, но людямъ, которые пользовались единодушнымъ, хотя и преувеличеннымъ, уваженіемъ своихъ современниковъ, потомство не можетъ, безъ несправедливости, отказать если не въ уваженіи, то во вниманіи,—и если въ школахъ считаютъ нужнымъ и полезнымъ преподавать между прочимъ и исторію русской литературы, то, знакомя учениковъ съ именами писателей, не худо было бы знакомить и съ ихъ сочиненіями,—хотя бы для того только, чтобъ они имѣли какую-нибудь возможность понять, за что учитель хвалитъ или не хвалитъ этихъ писателей. А это рѣшительно невозможно безъ изданій, о которыхъ мы разговаривали. Компактныя изданія въ большую восьмушку, въ два столбца—превосходное изобрѣтеніе: оно даетъ возможность дѣлать дешевыми дорогія книги. Если тотъ или другой авторъ написалъ довольно для наполненія такой большой книги,—пусть онъ будетъ изданъ отдѣльно. Писавшихъ мало можно соединять по нѣскольку въ одной книгѣ, съ общимъ заглавнымъ листомъ, гдѣ бы выставлены были ихъ имена подъ общей нумераціей. Такимъ образомъ въ одну книгу можно было бы соединить сочиненія Поповскаго, Дашковой, Баркова, Эмина, Кострова, Майкова, Аблесимова, Шавильщикова, Богдановича, Хемницера, Нелединскаго-Мелецкаго, Воброва, Долгорукова, Подшивалова, Муравьева (М. Н.) и другихъ. Другая книга соединила бы писателей другого поколѣнія—Макарова, Буринаскаго, Мартынова, Капниста, Дмитрѣева, Озерова, Воейкова, Панижа, Сумарокова (Панкратія), В. Пушкина,

Милонова, Крюковского, Измайлова (А.), Ильина, Иванова и другихъ. Такъ какъ мы пишемъ здѣсь не планъ такого изданія, а только предлагаемъ мысль о возможности и пользѣ его, то и не отвѣчаемъ за точность и опредѣленность раздѣленія книгъ по писателямъ, сочиненія которыхъ должны туда войти. Мы не считаемъ излишнимъ и изданіе Шишкова, сочиненія котораго интересны по ихъ полемическому характеру и еще какъ живой фактъ для сужденія о реформѣ, произведенной Карамзинимъ въ русскомъ языкѣ и русской литературѣ. Весьма было бы полезно компактное изданіе (въ двухъ или—уже много—трехъ книгахъ) «Дѣяній Петра Великаго» Голикова, потому что новое изданіе ихъ неполно (въ чемъ издатель нисколько не виноватъ) и дорого (потому что оно не компактное), а старое изданіе и уродливо, и рѣдко. Мы думаемъ еще, что труды такихъ людей, какъ Теофанъ Прокоповичъ, Конисскій, Бецкій, Рычковъ, Румовскій (переводчикъ Тацита, котораго новаго перевода намъ, кажется, не дождался), Лепехинъ, Миллеръ, Озерецковскій, Головинъ и другіе, очень бы стѣдили новаго изданія,—особенно при теперешней бѣдности русской литературы. Все это интересно, и всего этого нельзя достать.

Читатели не удивятся, что на эти мысли навелъ насъ девятый томъ «Стихотвореній В. Жуковскаго», если мы скажемъ, что первыхъ восьми томовъ сочиненій этого поэта теперь почти нѣтъ въ лавкахъ, и что теперь ихъ нельзя приобрести дешевле сорока пяти рублей... Кто не желалъ бы имѣть у себя собранія сочиненій Жуковскаго? скажемъ болѣе: кто изъ образованныхъ людей не обязанъ знать ихъ?—И между тѣмъ все ли, многіе ли въ состояніи приобрести ихъ? Мы въ этомъ никого не винимъ, ни на кого за это не жалуемся: мы только показываемъ неопровержимое существованіе факта, что сочиненія Жуковскаго немногіе могутъ имѣть, и что занятіе русской литературой для людей небогатыхъ крайне разорительно. Въ этомъ мы видимъ одну изъ причинъ холодности русской публики къ русской литературѣ и жалкаго состоянія книжной русской торговли. Иному нужно имѣть сочиненія Жуковскаго; приходитъ онъ въ русскую книжную лавку. Что стѣдить?—Сорокъ пять рублей. Дорого! и купилъ бы, да не на что! Тотъ же читатель заходитъ мимоходомъ во французскую книжную лавку; видитъ между прочимъ парижское компактное изданіе—*Oeuvres complètes de Sterne.—Oeuvres choisies de Goldsmith. Nouvelle édition, ornée de huit vignettes, revue et augmentée de notices biographiques et littéraires par Walter Scott, traduites par M.*

Francisque Michel“ Развертываетъ — издание красиво, изящно; виньетками названы — прекрасный гравированный портретъ Стерна и семь прекрасныхъ гравированныхъ картинокъ. Что стоитъ? Десять рублей. Если бъ и не нужно было этой книги, — нельзя не сожалѣться, не купить, хотя бы подь опасеніемъ быть обвиненнымъ въ пристрастіи къ лукавому Западу и въ равнодушіи къ російской словесности...

Сочиненій Жуковскаго было нѣсколько изданій; но изъ нихъ полное только одно, въ которомъ, впрочемъ, нѣтъ его переводовъ прозой («Переводы въ прозѣ В. Жуковскаго. Пять частей. Москва. 1816—1817 года»). Первые пять томовъ были изданы въ Петербургѣ въ 1835 году, подь титуломъ «Стихотворенія В. Жуковскаго»; седьмой томъ изданъ тоже въ 1835 году и подь титуломъ «Сочиненія В. Жуковскаго»; шестой томъ «Стихотвореній» въ 1836, а восьмой (тоже «Стихотвореній») — въ 1837; теперь вышелъ девятый томъ. Онъ заключаетъ въ себѣ уже извѣстныя публикѣ новыя стихотворенія знаменитаго поэта: «Наль и Дамаянти», индійская повѣсть, съ нѣмецкаго, «Камоенсъ», драматическій отрывокъ, подражаніе Гальму; «Сельское Кладбище», Греева элегія, новый переводъ; «Бородинская Годовщина»; «Молитвой нашей Богъ смягчился»; «Цвѣтъ Завѣта». Если этотъ томъ объемлетъ собою и всю дѣятельность поэта отъ 1838 до 1844 года, то нельзя сказать, чтобы онъ теперь меньше писалъ, нежели прежде, потому что эти всѣ девять томовъ (за исключеніемъ переводовъ въ прозѣ) написаны имъ въ продолженіе сорока лѣтъ. Самый избытокъ достоинства въ сочиненіяхъ Жуковскаго еще болѣе заставляетъ сожалѣть объ умѣренности въ ихъ количествѣ. Публикѣ извѣстно наше мнѣніе о значеніи этого поэта въ русской литературѣ. Оно велико: Жуковскому принадлежитъ честь введенія романтизма въ русскую поэзію. Романтикъ по натурѣ, Жуковский и до сихъ поръ остался романтикомъ по преимуществу. Отсюда великія достоинства и нѣкоторые недостатки его поэзіи. Какъ бы чувствуя самъ, что уже прошло время для романтической поэзіи, Жуковский, обремененный заслуженными лаврами, является теперь на поэтическое поприще болѣе какъ ветеранъ поэзіи, нежели какъ воинъ, состоящій въ дѣйствительной службѣ. Его теперь особенно занимаетъ не сущность содержанія, а простота формы въ изящныхъ произведеніяхъ, — и надобно сказать, что въ этой простотѣ съ нимъ было бы трудно состязаться какому угодно поэту. При этой простотѣ, которой единственный недостатокъ состоитъ въ томъ, что она нѣсколько искусственна (потому что и самая простота можетъ

быть искусственна, если за нею будете усиленно стремиться) — при этой простотѣ стихъ Жуковскаго такъ легко, прозраченъ, тепелъ, прекрасенъ, что, благодаря ему, вы можете прочесть отъ начала до конца «Наль и Дамаянти» — индійскую поэму съ нѣмецко-романтическимъ колоритомъ — къ совершенному вашему удивленію, несмотря на то, что привыкли требовать отъ поэзіи пищи не одному вашему чувству или одной фантазіи, но и уму. Прочтите отрывокъ изъ довольно посредственной драмы Гальма «Камоенсъ», и вы опять удивитесь стиху Жуковскаго и поймете, что поэтъ, владѣющій такимъ стихомъ, можетъ быть не слишкомъ строгимъ въ выборѣ пьесъ для переводовъ. Говорятъ, Жуковский переводитъ теперь «Одиссею» съ подлинника: утѣшительная новость! При удивительномъ искусствѣ Жуковскаго переводить, его переводъ «Одиссеи» можетъ быть образцовымъ, если только поэтъ будетъ смотрѣть на подлинникъ этой поэмы прямо гречески, а не сквозь призму нѣмецкаго романтизма.

Изданіе девятаго тома «Стихотвореній В. Жуковскаго» прекрасно во всѣхъ отношеніяхъ. Жаль только, что при оглавленіи не выставлено страницъ: это облегчило бы присканіе пьесы, которая нужна; но это, вѣроятно, вина редактора, а не издателя.

Исторія Наполеона. Соч. Николая Полевого. Томъ первый. Спб. 1844.

При каждомъ новомъ произведеніи Н. Полевого изумляешься неистощимой и разнообразной его дѣятельности. Чего не писалъ онъ! Лишь только зашевелится въ русской литературѣ что-нибудь похожее на новое направленіе или просто на новый вкусъ, новую моду, — онъ тутъ какъ тутъ, и всегда впереди тѣхъ, которые своими успѣхомъ прежде его открыли новое средство угождать прихоти публики. Но ему нипочемъ обгонять русскихъ писателей и состязаться съ ними о пальмѣ первенства; онъ уже соперничествуетъ съ литературными славами Европы. Еще не успѣлъ Тьеръ напечатать свою «Исторію Наполеона», какъ Полевой уже выдалъ первый томъ своей «Исторіи Наполеона». Вотъ какъ мы состязуемся съ Европой! Изъ-подъ пера Полевого, какъ видно по театральнымъ афишамъ, вышли почти въ одно и то же время драма «Павель и Вергинія» и — «Исторія Наполеона»! Впрочемъ, что жъ! Пусть читаютъ добрые люди «Исторію Наполеона», сочиненную Полевымъ, если не могутъ читать «Исторію Наполеона», сочиненную Тьеромъ. Конечно, это далеко не



одно и то же, но и «что-нибудь» лучше, нежели «ничего». При огромномъ изобиліи матеріаловъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ, трудно было бы литератору, набившему руку въ многописаніи, не составить что нибудь въ родѣ исторіи Наполеона. Сколько нибудь сносной. Жаль только, что Полевою иногда странно ошибается въ фактахъ, особенно во «Введеніи»; такъ, наприм., онъ называетъ другомъ якобинцевъ заклятаго врага ихъ, жирондиста Дюмурье. Другой недостатокъ «Исторіи Наполеона» Полевого заключается въ общемъ недостаткѣ всѣхъ его сочиненій—въ языкѣ, который очень трудно читать.

*Руководство къ познанію теоретической матеріальной философіи. Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб 1844.*

Германія — отечество философіи новаго міра. Когда говорятъ о философіи, то всегда разумѣютъ германскую, потому что никакой другой философіи человѣчество не имѣетъ. Во всѣхъ другихъ странахъ философія есть попытка частнаго лица разрѣшить извѣстные вопросы о бытіи; въ Германіи философія—наука, исторически развивающаяся; ея обрабатываніе постепенно передается отъ поколѣнія къ поколѣнію. Кантъ первый положилъ прочныя начала новѣйшей философіи и далъ ей наукообразную форму. Фихте своимъ ученіемъ выразилъ второй моментъ развитія философіи: дѣйствуя независимо отъ Канта и даже ставъ въ полемическое къ нему отношеніе, онъ тѣмъ не менѣе былъ только продолжателемъ начатаго Кантомъ дѣла. Шеллингъ и Гегель—представители дальнѣйшаго движенія философіи. Теперь гегелизмъ распался на три стороны — правую, которая остановилась на послѣднемъ словѣ гегелизма и далѣе не идетъ; лѣвую, которая отложилась отъ Гегеля и свой прогрессъ полагаетъ въ живомъ примиреніи философіи съ жизнью, теоріи съ практикой; и центральную, составляющую нѣчто среднее между мертвой стоячестью правой и стремительнымъ движеніемъ лѣвой стороны. Если мы сказали, что лѣвая сторона гегелизма отложилась отъ своего учителя, это не значитъ, чтобъ она отвергла его великія заслуги въ сферѣ философіи и признала его ученіе пустымъ и бесплоднымъ явленіемъ. Нѣтъ, это значитъ только, что она хочетъ итти далѣе и, при всемъ ея уваженіи къ великому философу, авторитетъ духа человѣческаго ставитъ выше духа авторитета Гегеля. Такъ отложился отъ Канта Фихте; такъ духомъ ученія своего

объявилъ себя противъ Канта и Фихте Шеллингъ; такъ ученикъ Шеллинга, Гегель, отложился отъ Шеллинга; но ни одинъ изъ нихъ не думалъ отрицать заслуги своего предшественника и каждый изъ нихъ считалъ себя обязаннымъ своимъ успѣхомъ трудамъ предшественника. Такой ходъ германской философіи дѣлаетъ невозможными произвольныя проявленія личныхъ философствованій. Чтобъ дѣйствовать на поприщѣ философіи, въ Германіи мало того, чтобъ объявить печатно: «я такъ думаю», но должно посвятить цѣлые годы тяжелаго труда дѣльному и основательному изученію всего, что сдѣлано по части философіи,—должно быть современнымъ.

Съ этой точки зрѣнія нѣтъ ничего забавнѣе русской философіи и русскихъ книгъ по части философіи. О философіи, какъ наукѣ, у насъ никто не заботится; но всѣ наши философы думаютъ, что для того, чтобъ сдѣлаться философомъ, стоитъ только захотѣть этого. Учиться философіи они не считаютъ нужнымъ; имъ легче объявить, что всѣ нѣмецкіе философы врутъ, нежели прочесть хотя одного изъ нихъ. Наши философы не понимаютъ, что у насъ для философіи нѣтъ еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдругъ, ни съ того, ни съ сего, придетъ охота пофилософствовать, и такъ какъ съ болтовни пошлѣе не берутъ, то вслѣдствіе этого несжданнаго припадка философствованія явится небольшая книжка, въ которой все сказано, все объяснено, все рѣшено, кромѣ одного только—зачѣмъ и для кого написанъ этотъ вздоръ...

Едва ли не смѣлѣе всѣхъ другихъ нашихъ философовъ Татариновъ. на сорока страничкахъ, разгонисто и безобразно напечатанныхъ, онъ излагаетъ какую-то небывалую до него «теоретическую-практическую» философію и начисто рѣшаетъ, что такое истина, благо и красота: истина у него есть истина, благо—благс, а красота—красота. Коротко и ясно! Изъ философовъ, бывшихъ до него, онъ знаетъ что-то только о Локкѣ Лейбницѣ и Кантѣ, а о дальнѣйшемъ ходѣ философіи рѣшительно никакихъ свѣдѣній не имѣетъ. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгой и даже книжкой ее нельзя назвать)? Для тѣхъ, кто имѣетъ хоть какое-нибудь понятіе о философіи, тетрадка Татаринова будетъ только забавна; а тѣ, которые о философіи не имѣютъ никакого понятія, ровно ничего не поймутъ въ ней, въ этой тетрадкѣ.

**Разговоръ. Стихотвореніе Ив. Тургенева. (Т. Л.) Стб 1845 г.**

Имя Тургенева, автора «Параша», еще ново въ нашей литературѣ; однако жъ уже замѣчено не только избранными цѣнителями искусства, но и публикой. Только истинный, неподдѣльный талантъ, могъ быть причиной такого быстрого и прочнаго успѣха. И дѣйствительно, Тургеневъ—поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не общается намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства:

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ  
Въ лица *необщимъ* выраженьемъ.

Произведенія Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время. Крѣпкій, энергическій и простой стихъ, выработанный въ школѣ Лермонтова, и въ то же время стихъ роскошный и поэтический, составляетъ не единственное достоинство произведеній Тургенева: въ нихъ всегда есть мысль, ознаменованная печатью дѣятельности и современности и, какъ мысль даровитой природы, всегда оригинальная. Поэтому отъ Тургенева многого можно ожидать въ будущемъ. Повторяемъ: это не изъ тѣхъ самобытныхъ и гениальныхъ талантовъ, которые, подобно Пушкину и Лермонтову, дѣлаются властителями думъ своего времени и даютъ эпохѣ новое направленіе; но въ его талантѣ есть новый элементъ, своя часть этой самобытности, оригинальности, которая, завися отъ природы, выводитъ талантъ изъ рода обыкновенныхъ, и благодаря которой онъ будетъ имѣть свое влияние на современную ему литературу. Русская поэзія уже до того выработалась и развилась, что теперь почти невозможно приобрѣсти на этомъ поприщѣ извѣстность, не имѣя болѣе или менѣе самостоятельнаго таланта,—и въ то же время почти невозможно истинному таланту не сдѣлаться извѣстнымъ въ самое короткое время. Вотъ почему «Параша»,—это произведеніе, запечатлѣнное всей свѣжестью, всей яркостью и страстностью и вмѣстѣ съ тѣмъ всей неопредѣленностью перваго опыта,—обратила на себя общее вниманіе тотчасъ по своему появленіи и удостоилась не только похвалы однихъ, но и брани другихъ журналовъ,—брань, въ которой высказалась, подъ плоскими и неудачными остротами, худо скрытая досада... Теперь передъ нами вторая поэма Тургенева. Сравнивая «Разговоръ» съ «Парашей», нельзя не видѣть, что въ первомъ поэтѣ сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ «Парашѣ» мысль похожа болѣе на намекъ, нежели на мысль, потому что поэтъ не могъ вполне совладѣть съ нею; въ «Разговорѣ» основная

мысль съ выпуклой и яркой опредѣленностью представляется уму читателя. И между тѣмъ эта мысль не высказана никакой сентенціей; она вся въ изложеніи содержанія, вся въ звучномъ, крѣпкомъ, сжатомъ и поэтическомъ стихѣ. Содержаніе поэмы просто до того, что рецензенту нечего и пересказывать. Это—разговоръ между старымъ отшельникомъ, который и на краю могилы все еще живетъ воспоминаніемъ о своей прошлой жизни, такъ полно, такъ могущественно прожитой,—и молодымъ человѣкомъ, который вездѣ и во всемъ ищетъ жизни и нигдѣ, ни въ чемъ не находитъ ея, оравляемый, мучимый какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ внутренней пустоты, тайнаго недовольства собой и жизнью.

Пусть читатели сами прослѣдятъ, въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя въ правѣ отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнию нашего вѣка—апатіей чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли,—всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный поэтический «Разговоръ» Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается!...

**Прокопій Ляпуновъ, или междуцарствіе въ Россіи, продолженіе «Князя Скопина Шуйскаго». Сочиненіе того же автора. Стб. 1845. Четыре части.**

Почти десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ появился въ свѣтъ романъ «Князь Скопинъ Шуйскій», до настоящей минуты, когда появляется продолженіе этого романа: «Прокопій Ляпуновъ, или Междуцарствіе въ Россіи». Десять лѣтъ—много времени, особенно для русской литературы, это почти цѣлый вѣкъ для нея! Въ самомъ дѣлѣ, какой огромный шагъ впередъ сдѣлала наша литература! Какъ измѣнился вкусъ нашей публики въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ. Кинемъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе русской литературы. Въ 1830 году явился «Юрій Милославскій»; въ 1831—«Рославлевъ», Загоскина; въ этомъ же году выходятъ двѣ первыя части «Новика», въ 1832—третья, въ 1833—четвертая; въ 1835 году—«Ледяной Домъ», Лажечникова. Въ эти же пять лѣтъ выходятъ романы: «Поѣздка въ Германію», Греча, «Киргисъ-Кайсакъ», Ушакова, «Дочь Купца Жолобова», quasi-Куперовскій сибирскій романъ Калашникова, «Клятва при Гробѣ Господнемъ», Полевого, «Семейство Холмскихъ», «Монастырка», Погорѣльскаго; Вельтманъ открываетъ «Кошечемъ Безсмертнымъ» длинный

рядъ своихъ археологически-фантастически-аллегорически-поэтическихъ романовъ; является «Аббадонна» Полевого; выходитъ вторая часть «Дворянскихъ выборовъ» и «Шельменко, волостной писарь», «Были и Небылицы», казака Луганскаго; въ то же время выпускается полное изданіе повѣстей Марлинскаго; Погодинъ перестаетъ писать повѣсти и издаетъ вмѣстѣ всѣ написанныя прежде; Полевой пишетъ «Живописца», «Блаженство Безумія», «Эму». Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были очень замѣчательны для своего времени, и даже въ слабѣйшихъ изъ нихъ, не исключая ни приторно-сентиментальнаго и скучно-резонернаго «Семейства Холмскихъ», ни ложно-идеальныхъ повѣстей Полевого, есть свои хорошія стороны. Вообще вся эта романическая литература носить на себѣ отпечатокъ переходности и нерѣшительности; въ ней виденъ порывъ къ чему-то лучшему противъ прежняго, къ чему-то положительному, но только одинъ порывъ, безъ достиженія. Изъ этого не исключаются и «Повѣсти Бѣлкина», Пушкина, издаанныя въ это же время. Въ то же время среди всѣхъ этихъ, болѣе или менѣе однородныхъ, явленій возникла совершенно новая романическая литература, которая не имѣла ничего общаго съ первой и вполнѣ въ концѣ концовъ убила ее, давъ всей русской литературѣ совершенно новое направленіе. Въ 1831 году вышла первая, а въ 1832 году вторая часть «Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки»; въ 1835 году напечатаны «Арабески» и «Миргородъ», а въ 1836—«Ревизоръ». Нѣтъ нужды распространяться о томъ, какое огромное вліяніе имѣли эти произведенія Гоголя на русскую литературу; только дѣйствительно слѣпые или притворяющіеся слѣпыми могутъ не видѣть и не признавать этого вліянія, вслѣдствіе котораго всѣ молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголемъ, стараясь изображать дѣйствительное, а не въ воображеніи существующее общество; изъ прежнихъ писателей нѣкоторые перемѣнили свое прежнее направленіе, подчинясь новому, данному Гоголемъ; а тѣ, которые не были въ состояніи этого сдѣлать, или перестали вовсе писать, или продолжали писать безъ всякаго успѣха. Это совершилось въ послѣдніи десять лѣтъ. Гоголь не издавалъ ничего послѣ «Ревизора» 1842 года, а дѣло шло своимъ чередомъ, и время лучше всѣхъ критиковъ рѣшило вопросъ. «Мертвыя Души», заслонившія собою все написанное до нихъ даже самимъ Гоголемъ, окончательно рѣшили литературный вопросъ нашей эпохи, упрочивъ торжество новой школы.

«Сююинъ Шуйскій» Шишкиной явился въ 1835 г., когда старая романическая шко-

да уже совершила свой кругъ, а новая, еще не бывъ признанной, уже оказывала сильное вліяніе. Романъ Шишкиной былъ не безъ достоинствъ, особенно для того времени; но онъ далеко не могъ спорить въ достоинствѣ съ романами, которые породили его. Проходить десять лѣтъ, все измѣняется въ литературѣ, какъ мы уже сказали объ этомъ; журнальные корифеи начала тридцатыхъ годовъ, «Телеграфъ» и «Телескопъ»,—теперь уже не болѣе, какъ отдаленное воспоминаніе, «дѣла давно минувшихъ дней»; даже «Библиотека для Чтенія», смѣнившая ихъ, уже дожила до глубокой старости; «Отечественныя Записки», долго колебавшіяся въ своемъ направленіи, наконецъ, вполнѣ овладѣли имъ, возмужали и укрѣпились; обо многомъ въ это десятилѣтіе было переговорено, переспорено и во многомъ даже согласились,—словомъ, все измѣнилось; но новый романъ Шишкиной, «Прокопій Ляпуновъ», вышелъ вѣрнымъ 1835 году, такъ что, читая его, не вѣришь 1845 году, выставленному на его заглавіи. Теперь этотъ романъ принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя не производятъ особеннаго впечатлѣнія, слегка похваляются, слегка почитываются и скоро забываются. Между тѣмъ онъ не безъ достоинствъ: написанъ правильнымъ и чистымъ языкомъ; рассказъ мѣстами хорошъ; историческая сторона его показываетъ основательное изученіе исторіи,—но нѣтъ творчески очерченныхъ характеровъ, нѣтъ поэтически вѣрнаго проникновенія въ духъ и значеніе исторической эпохи, нѣтъ эстетической жизни. Во многомъ замѣтенъ взглядъ слишкомъ далекой: такъ, на примѣръ, въ предисловіи сочинительница, въ доказательство, что нельзя вѣрить безкорыстію Ляпунова, приводитъ, что онъ былъ дурнымъ мужемъ и не всегда трезво велъ себя,—какъ будто нельзя быть въ одно и то же время и дурнымъ мужемъ, и ревностнымъ патриотомъ? Безъ всякаго сомнѣнія, быть дурнымъ мужемъ—не достоинство, а порокъ; но неужели патриотъ непременно долженъ быть ангеломъ и имѣть всѣ добродѣтели? Если можно быть превосходнѣйшимъ мужемъ и отцомъ, и въ то же время вовсе не быть патриотомъ: почему же нельзя быть дурнымъ мужемъ и патриотомъ! Конечно, гораздо лучше быть и хорошимъ мужемъ, и патриотомъ вмѣстѣ, но люди—прежде всего люди, что бы ни говорили на этотъ счетъ дамы... Что же касается до нетрезвости, этотъ порокъ въ тотъ вѣкъ не въ одной Россіи, но и во всей Европѣ считался добродѣтелью мужчины: тогда шли не по нынѣшнему и хвалились пьянствомъ, какъ храбростію. Лучшей оцѣнкой новаго романа Шишкиной могутъ служить ея собственные слова въ предисловіи:

„Сама верѣдко удивляюсь, какъ рѣшилась я писать историческіе романы. Много требовалось на это трудовъ и терпѣнія, много было мнѣ заботъ и препятствій. Но высокая цѣль оживотворяла меня. Я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божьимъ, желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранцами наставниками и не совсѣмъ справедливой, но великолѣпной картиной не-русскаго образованія. Исторіи должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ читаютъ, не всѣ могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но, читая „Иванго“, „Юрія Милославскаго“ и имъ подобные историческіе романы, всѣмъ пріятно, мысленно переносясь въ отдаленные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту.“

Видите ли: романы пишутся для пріятнаго развлеченія ума и сердца? «Юрій Милославскій», безъ дальнихъ околичностей, поставленъ рядомъ съ «Иванго»?... Этимъ все сказано... Какъ дѣйствительно пріятное развлеченіе для ума и сердца... «Проконій Ляпуновъ» и теперь, конечно, найдетъ себѣ читателей и даже почитателей,—чего отъ всей души желаемъ мы ему, какъ роману, написанному съ цѣлью, безъ всякаго сомнѣнія, благонамѣренной и похвальной.

*Метеоръ, на 1845 годъ. Спб.*

Наша стихотворная поэзія по справедливости можетъ гордиться созданіями истинно изящными, именами истинно гениальными; нельзя сказать, чтобъ она бѣдна была и талантами. Она совершила циклъ полный и законченный,—такъ что теперь уже нѣтъ возможности доставать славу невинными стихами, какъ бы они хороши ни были. Таланта для этого мало: нужна гениальность, а если и талантъ, то соединенный съ большимъ умомъ, съ сильной натурой. Быть поэтомъ теперь значить—мыслить поэтическими образами, а не щебетать по-птичьи мелодическими звуками. Чтобъ быть поэтомъ, нужно не мелочное желаніе выказаться, не грезы праздношатающейся фантазій, не выписныя чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствіе съ вопросами современной дѣйствительности. Поэзія, которой корни находятся въ прихотяхъ, скорбяхъ или радостяхъ самолюбивой личности, носящейся, какъ курица съ яйцомъ, съ своими прекрасными чувствами, до которыхъ никому нѣтъ дѣла,—такая поэзія, вмѣсто вниманія, заслуживаетъ презрѣнія. Всякая поэзія, которой корни не въ современной дѣйствительности, всякая поэзія, которая не бросаетъ свѣта на дѣйствительность, объясняя

ее,—есть дѣло отъ бездѣлья, невинное, но пустое препровожденіе времени, игра въ куклы и бирюльки, занятіе пустыхъ людей... Давно уже утвердилось мнѣніе и существуетъ до сихъ поръ, что поэтъ—пустой человѣкъ, неспособный ни къ какому дѣлу. Это мнѣніе варварски ложно, когда оно прилагается къ поэтамъ или гениальнымъ, или проявившимъ въ своихъ твореніяхъ положительный, никакому сомнѣнію неподлежащій талантъ,—талантъ, запечатлѣнный оригинальностью идеи, самобытностью формы. Пусть такой поэтъ и дѣйствительно неспособенъ ни къ какому другому дѣлу: онъ имѣетъ на это полное право, потому что способенъ къ своему дѣлу, для котораго годятся не всѣ, но одинъ изъ ста тысячъ, если не изъ милліона людей. Это мнѣніе страшно истинно, когда оно прилагается къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ сочиненія, какъ говорится, только что недурны, и которые, ставъ выше бездарности, все-таки не дошли до таланта. Такіе поэты—самые жалкіе люди въ мірѣ, и, конечно, всякій водовозъ, всякій дворникъ, на лѣстницѣ общественной іерархіи, есть почтенное существо въ сравненіи съ этими пискливыми и крикливыми воробьями царства поэзіи, потому что водовозъ и дворникъ полезны и необходимы для общества. Совершенно бездарный поэтъ лучше маленькихъ талантиковъ: на него по крайней мѣрѣ можно смотрѣть какъ на большого или помѣшаннаго, и онъ рѣдко заносится и зазнается, не балуемый мелочными успѣхами. Но маленькіе талантики—несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые. Они не знаютъ, какъ и оцѣнить себя; ихъ чувствованія, ихъ фантазіи, ихъ мыслишки кажутся имъ великими открытіями. Они и не догадываются, что все это у нихъ краденое, т. е. вычитанное или, какъ превосходно выразилъ это Лермонтовъ, «плѣнной мысли раздраженіе». Они увѣрены, что только одни они и чувствуютъ, и мыслятъ, и страдаютъ,—и потому нещадно бранятъ толпу, которая предпочитаетъ свои домашнія заботы и личныя выгоды ихъ крошечнымъ стихамъ. Къ дѣлу они не способны ни къ какому, потому что самолюбивы, надуты, тщеславны, все, кромѣ стихковъ, считаютъ ниже себя, не хотятъ ничему учиться, ни на что посмотрѣть со вниманіемъ. Они—извольте видѣть—гениі, толпа должна видѣть ореолъ надъ ихъ головами, а на челѣ звѣзду безсмертія. Такихъ поэтовъ надо преслѣдовать критикѣ неутомимо и строго; они вреднѣе вовсе бездарныхъ, которые не стоятъ никакого вниманія; они подають дурной примѣръ молодежи: соблазняя мальчиковъ дешево покупаемой славой, они отвлекаютъ ихъ отъ ученія и отъ дѣла.

И на что намъ они. эти пріятные поэты, эти маленькіе талантики? Что въ нихъ? Было время, и они были полезны и нужны! Но теперь, когда Пушкинъ и Лермонтовъ показали намъ образцы высокой поэзіи; когда менѣе сильныя таланты разработали ея поле, подали примѣръ всѣхъ формъ, даже всѣхъ уклоненій и странностей поэзіи,—теперь, что дѣлать мелкимъ талантамъ? Вздумаютъ ли талантики писать басни,—кто же его станетъ читать послѣ Крылова, и въ состояніи ли онъ быть для своего времени тѣмъ, чѣмъ для своего были Хемницеръ и Дмитріевъ? Вздумаютъ ли онъ, напримѣръ, попробовать свои силы въ классическо-французской трагедіи,—ему непрѣнно нужно для своего времени стать хоть тѣмъ, чѣмъ для своего былъ Озеровъ. Рѣшиться на борьбу съ Батюшковымъ еще менѣе возможно для него. Пуститься развѣ въ романтизмъ?—но тогда надо крѣпко помнить, что вѣдь у насъ есть Жуковский. Стало быть, нѣтъ надежды и на возобновленіе старины. Возможность комедіи въ стихахъ убита Грибоѣдовымъ. Пѣть буйныя плотскія потѣхи?—но это уже сдѣлалъ Языковъ. Пуститься въ дикую оригинальность—мѣшаетъ Бенедиктовъ. Итакъ, ни стараго возобновить, ни новаго изобрѣсти: что же дѣлать?.. Всею лучше ничего не дѣлать.

Но мы заговорили и забыли о «Метеорѣ»; возвратимся къ нему. Онъ украшенъ стихами графини Раstopчиной, Майкова, Бенедиктова, Мейснера, Познанскаго, Шевцова, Степанова, Якубовича, Филимонова, Дурова, Протопопова, Пальма, Бернета, Доводчикова, Огородникова, Григорьева, Гребенки, Гербадовскаго, Соколовскаго... Сколько именъ! Мы теперь столько же богаты поэтами, сколько бѣдны поэзіей. Особенно яркаго, рѣзко выдающагося изъ-подъ уровня обыкновенности въ «Метеорѣ» нѣтъ ничего...

#### Стихотворенія Петра Штавера. Спб. 1845.

Петръ Штаверъ—извините нашу нескромность—долженъ быть молодой, даже очень молодой человѣкъ—можетъ быть, не старше пятнадцати лѣтъ... Въ этомъ увѣрились мы чрезъ впечатлѣніе, которое произвело на насъ чтеніе его стихотвореній. Намъ даже очень хочется, чтобъ автору было никакъ не больше пятнадцати лѣтъ, потому что въ такомъ случаѣ мы имѣли бы удовольствіе признать въ его стихотвореніяхъ нѣчто въ родѣ таланта, чувства, и если не мысли, то стремленіе къ мысли,—а это не шуточное дѣло! Но что жъ тутъ до лѣтъ, какая нужда въ метрикахъ автора, когда его стихотворенія

сами за себя говорятъ?.. Метрика иногда много значить не въ однихъ вопросахъ о званіи и наслѣдствѣ, но и въ вопросахъ искусства и науки. Если двадцатилѣтній малый, наметавшійся въ лавкѣ, ловко и скоро сводить счеты, складываетъ и вычитываетъ, множить и дѣлать, принимаетъ и сдаетъ,—тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, нѣтъ рѣчи ни о гени, ни о талантѣ: тутъ только способность, развитая навывкомъ и рутинной. Но когда семилѣтній ребенокъ, который имѣетъ полное право не знать счета дальше десяти, но который, несмотря на то, по пальцамъ и простыми соображеніемъ умѣетъ расчесть сумму, наприм., во сто рублей серебромъ, складывая, вычитая, множа и дѣля, тогда, если вы и не увидите въ немъ гевія математики, то все-таки подивитесь въ немъ несбыкновенной природной способности. Выйдетъ ли со временемъ изъ этого мальчика замѣчательный математикъ, или ничего изъ него не выйдетъ,—это другой вопросъ. Фактъ доказанный, что иногда изъ дѣтей, ничего необщипающихъ, выходятъ гениальные люди, а изъ гениальныхъ дѣтей—дюжинные люди; но мы не будемъ распространяться объ этомъ, чтобъ не уклониться отъ главнаго предмета нашей рѣчи. Известно, что, имѣя болѣе или менѣе вѣрный слухъ, черезъ ученіе и упражненіе, можно сдѣлаться не только способнымъ музыкантомъ, но даже и сочинять кой-какія фантазіи: обыкновенно до этого доходятъ уже въ лѣта возмужалости, при охотѣ къ музыкѣ, при знакомствѣ со множествомъ музыкальныхъ произведеній. Но это еще не значить быть ни музыкантомъ-артистомъ, ни композиторомъ-художникомъ. Когда же семилѣтнее или еще болѣе малолѣтнее дитя обнаруживаетъ способность запомнить и вѣрно пропѣть всякую музыкальную пѣсню, какою удастся ему услышать, въ этомъ дитяти, конечно, еще нельзя навѣрное увидѣть будущаго Моцарта или будущаго Листа, но по крайней мѣрѣ на его счетъ простиительно ошибиться въ такихъ неумѣренныхъ надеждахъ. То же можно сказать о значеніи метрики въ отношеніи къ поэзіи. Умѣнье писать стихи—конечно, еще не талантъ, но все же способность; этой способностью владѣетъ много-много дѣтей, и она-то заставляетъ многихъ изъ нихъ видѣть въ себѣ талантъ поэтической. И вотъ, когда такой, владѣющій способностью стихотворства, человѣкъ поначитается разныхъ поэтовъ, пообразуется, понаучится, то въ известныя лѣта ему ничего не стоитъ пере-клаывать въ гладкіе и звучные стихи чужія чувства, чужія мысли, да еще такъ ловко, что ни самъ онъ, ни другіе не подозреваютъ въ немъ вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Въ наше время чувство и мысли—

нипочемъ. Не говоря уже о другихъ поэтахъ, довольно имѣть Пушкина и Лермонтова, чтобъ владѣть неисчерпаемымъ источникомъ вдохновения. Возьмите любой стихъ изъ того или другого—и вотъ вамъ тема, на которую потянутся у васъ нескончаемыя вариации... Но варіировать такимъ образомъ на чужія чувства и мысли можетъ только человѣкъ возмужалый, разившійся; безбородый же юноша, тѣмъ болѣе отрокъ, никогда не сумѣетъ, не фальшивя, пѣть съ чужого голоса. Его стихъ будетъ неуклюжъ, а заимствованныя чувства и мысли оны непременно исказить, изуродуютъ. И потому, если въ стихахъ слишкомъ молодого человѣка замѣтно что-то въ родѣ оригинальности чувства и мысли,—явный знакъ, что у него есть талантъ. Даже его неумѣнье сладить съ непокорнымъ языкомъ, съ упрямымъ стихомъ—не только не портитъ дѣла, но еще придаетъ ему ту прелесть, которой такъ исполненъ не связанный лепетъ младенца.

Намъ показалось (и мы были бы рады, если бъ послѣдствія доказали, что мы не ошиблись въ этомъ случаѣ), намъ показалось, что стихотворенія Штавера носятъ на себѣ всѣ признаки ранней молодости, при условіи которой въ нихъ нельзя не признать дарованія. Не беремъ опредѣлять степень этого дарованія, ни предсказывать границы его развитія, потому что неопредѣленность составляетъ главный характеръ слишкомъ юныхъ дарованій. Они могутъ развиваться—и могутъ исчезнуть, не давъ цвѣта. Въ нихъ не должно видѣть что-то непременно великое въ будущемъ. Стихотворенія Пушкина-ребенка были довольно плохи, и по нимъ трудно было бы въ то время признать въ немъ будущаго великаго поэта. И такъ, говоря о стихотвореніяхъ Штавера, ограничимся настоящимъ, не забывая въ будущее; будемъ говорить о томъ, что есть, не говоря о томъ, что можетъ быть и можетъ не быть.

Всѣ стихотворенія Штавера довольно слабы, и если бъ мы не предполагали ихъ автора очень молодымъ, не стоило бы труда и говорить о нихъ. Но что въ опытахъ возмужалаго человѣка поражаетъ слабостью таланта или просто посредственностью, которая хуже бездарности,—то самое въ опытахъ слишкомъ молодого человѣка можетъ быть признакомъ таланта неподдѣльнаго, но еще не овладѣвшаго собственной силой. Намъ кажется, что нельзя не видѣть этого, напримеръ, вотъ хоть въ пьесѣ—«На Кладбищѣ». Въ этомъ стихотвореніи есть что-то похожее на поэтическое чувство, даже на поэтическую мысль; стихъ не чуждъ жизни, хотя и бѣдегъ изяществомъ и точностью выраженія. И отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то мило-дѣтскимъ! Даже стихи:

Такъ ее не отгоняетъ  
Мертвецовъ безстрастныхъ ледъ,—

даже эти стихъ, возбуждая въ читателѣ улыбку, не уничтожаютъ въ немъ благо-склонной готовности одобрить пьесу. Но самымъ характеристическимъ стихотвореніемъ въ книжкѣ Штавера надо признать «Желаніе».

Я не хочу, чтобъ всѣ меня любили,  
Я не хочу вездѣ встрѣчать друзей.  
Хочу, чтобы враги меня явили  
Безсиальной злобою своей!

Пусть возстаютъ! Я каждый шагъ побѣдный  
Готовъ своею кровью залить!  
Пусть упаду намученный и блѣдный,  
Но только прежде побѣдить!

Пусть за моей побѣдной колесницей  
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ:  
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—  
И хоръ завистниковъ затихъ!

Но не для славы жажду я боренья,  
А потому, что для моей души  
Потребны страсти, бури и волненья,  
Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилахъ сталь сильнѣе закалится,  
Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтеть;  
Вода чиста, доколь она струится,  
Въ покоѣ—тиной зарастетъ.

Крѣпись, душа! Познай свое значенье,  
Познай себя, познай свою всю мочь,  
И ты поймешь, какъ сладостно мученье,  
Когда есть сила превозмочь!

И скажешь ты: „за тѣмъ даны страданья,  
Чтобъ согрѣвать остывшія сердца,  
И назначенье жизни не мечтаье,  
А дѣятельность мудреца.“

Мечта,—ты скажешь, дѣтская забава,  
Заняты мужа истиннаго—труды!  
Не за мечты дается въ мірѣ слава,  
Ее страданьями берутъ!“

Будь это стихотвореніе написано взрослымъ человѣкомъ,—оно было бы плохо въ эстетическомъ отношеніи, особенно въ отношеніи къ стиху, и было бы довольно пошлымъ фразерствомъ, исполненнымъ претензій и жалкаго самолюбія въ нравственномъ отношеніи. Но какъ стихотвореніе существа, еще колеблющагося на переходѣ отъ отрочества къ юности,—оно очень замѣчательно. Въ стихѣ, которымъ оно написано, необработанномъ, невыдержанномъ, есть сила и размахъ; въ чувствѣ, которымъ оно согрѣто, есть жизнь и жаръ; въ мысли, которой оно проникнуто, есть достоинство и благородство, именно потому, что это—дѣтская мысль.

Вотъ что сказали бы мы Штаверу, если бы онъ захотѣлъ насъ послушать:

Жаль, любезный поэтъ, что вы поторопились издать въ свѣтъ книжку первыхъ своихъ опытовъ, безъ которой публика легко бы могла обойтись, и не подождали болѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній, которые для всѣхъ были бы интереснѣе. Но дѣло сдѣлано, и да проститъ васъ за него Богъ! Но впередъ не торопитесь ни писать, ни

печатать, особенно—печататься. Если у васъ есть талантъ, и призваніе ваше велико въ будущемъ—успѣете написать и напечататься; если же это окажется не болѣе какъ «кипѣніемъ крови и избыткомъ силъ»,—ваша преждевременная книжка будетъ вамъ досадна, какъ грѣхъ юности, какъ опшибка самолюбія. Но намъ пріятнѣе думать, что у васъ есть сѣмя таланта, которое со временемъ можетъ вырасти и разрастись. Приготовьте себя къ этому, и не погубите сѣмени. Въ наше время поэтъ, какъ поэтъ, не можетъ обѣщать себѣ великаго успѣха, потому что наше время отъ каждаго—сѣдовательно, и отъ поэта—требуешь, чтобъ онъ прежде всего и больше всего былъ человекомъ. Не заботьтесь же о себѣ, какъ о поэтѣ, и воспитывайте въ себѣ человѣка. Не говорите, что вы не хотите, чтобы васъ всѣ любили, что вы не хотите вездѣ встрѣчать друзей, и жаждете имѣть враговъ; это чувство ложное и парадное, которое извиняется только его юностью. Не покупайте любви людей измѣной истинѣ, уклончивостью и низостью; но и не позволяйте себѣ не дожить ея или презирать ее: любовь ближнихъ, законно и разумно приобрѣтенная,—благо, которое выше всѣхъ благъ. Вѣрите, что люди совсѣмъ не такъ хороши, и совсѣмъ не такъ дурны, какъ дѣлаетъ ихъ фантазія поэтовъ, которые то любятъ въ нихъ восхищаться собственной своей особой, то позволяютъ себѣ вымещать на нихъ свои недостатки или раны своего самолюбія, клеймя ихъ презрѣніемъ. Вообще люди по своей натурѣ болѣе хороши, нежели дурны, и не натура, а воспитаніе, нужда, ложная общественная жизнь дѣлаетъ ихъ дурными. Почти во всякомъ изъ нихъ, даже въ самомъ дурномъ, есть своя прекрасная, человѣческая сторона, только трудно подсмотреть и открыть ее. Последнее составляетъ благороднѣйшую миссію поэта: ему принадлежитъ по праву оправданіе благородной человѣческой природы, такъ же какъ ему же принадлежитъ по праву преслѣдованіе ложныхъ и не разумныхъ основъ общественности, искажающей человѣка, дѣлающей его иногда звѣремъ, а чаще всего безчувственнымъ и бессильнымъ животнымъ. Люди—братья другъ другу, хотя неразумность ихъ отношеній и дѣлаетъ ихъ естественными врагами. Благородно, велико и свято призваніе поэта, который хочетъ быть провозвѣстникомъ братства людей! Имѣть враговъ... источникъ этого желанія заключается въ эгоизмъ и самолюбивой увѣренности быть лучше и выше всѣхъ людей: чувство жалкое и ничтожное, которое никогда не породитъ великихъ поэтическихъ созданий! Побѣдить врага пріятно: объ этомъ ни слова,—одна-

ко жъ врага, котораго мы не вызывали, а который самъ назвался на вражду; но еще пріятнѣе сдѣлать себѣ врага другомъ: это лучшая изъ побѣдъ! Человѣкъ имѣетъ право ненавидѣть въ другомъ ложь и пороки, но человѣкъ не имѣетъ права ненавидѣть человѣка, подлѣ опасеніемъ ужаснѣйшаго изъ наказаній—перестать быть человѣкомъ. Имѣть враговъ своей мысли, своему убѣжденію, и бороться съ ними до послѣднихъ силъ—въ этомъ есть свое величіе, своя прекрасная сторона; но ничего нѣтъ хуже, какъ имѣть личныхъ враговъ: этого никто не пожелаетъ себѣ, и высочайшее несчастье для человѣка—носить въ сердцѣ своемъ личную вражду къ человѣку: это болѣзнь, манія, почти сумасшествіе, отъ котораго надо лѣчиться. Ъздить на побѣдной колесницѣ, конечно, пріятно, но только тогда, когда вмѣстѣ съ вами торжествуетъ правое дѣло; иначе вы—Марій или Сулла, которые купались въ крови бессильныхъ враговъ... Чтѣ жъ тутъ хорошаго? Но вы, любезный поэтъ, говорите въ свое оправданіе:

Но не для славы жажду я боренья,  
А потому, что для моей души  
Потребны страсти, бури и волненья,  
Чтобы не замереть въ тиши.

Въ горнилахъ сталь сильнѣе закалится,  
Въ страданьяхъ—грудь всю силу обрѣтетъ;  
Вода чиста, доколь она струится,  
Въ покоѣ—тиной зарастетъ!

Прекрасно! но чтѣ бы вы сказали о человѣкѣ, который для того, что-бъ его члены и мускулы не ослабли въ бездѣйствіи и неподвижности, пошелъ бы по улицѣ, да и ну колотить встрѣчнаго и поперечнаго? Не правда ли, это смѣшно?... Нѣтъ, любезный поэтъ, не заботьтесь о врагахъ и страданьяхъ; напротивъ, употребляйте всѣ силы избѣгать ихъ, потому что враги и страданья явятся сами—ихъ никто не избѣгалъ. Обратите прежде всего вниманіе на самого себя и постарайтесь познать себя, сблизиться и разумно подружиться съ самимъ собой, чтобъ со временемъ не найти въ себѣ собственного своего врага,—а это самый опасный, самый жестокий изъ враговъ! Не лѣстите себѣ и будьте съ собой строги, чтобъ найти въ себѣ друга разумнаго и честнаго, а не предателя коварнаго. Тогда одержите вы самую великую и блестящую побѣду надъ злѣйшимъ изъ враговъ своихъ: это побѣда! Она будетъ стоить много труда и большой борьбы, которая не дастъ вамъ «замереть въ тиши»... Но это еще не все, чтобъ спастись отъ душевнаго застоя, отъ нравственной апатіи: передъ вами жизнь и міръ—полюбите ихъ и наслаждайтесь ими! Для этого также нужны трудъ и борьба. Жизнь, природа, человѣкъ, человѣчество, наука, иску-

ство—какое обширное, великое, безконечное поприще для борьбы благородной, для упражнения юных и свѣжихъ силъ! Зачѣмъ говорить:

Пусть за моей побѣдной колесницей  
Всегда слѣдитъ толпа враговъ моихъ.  
Я понесусь подъ небо вольной птицей,—  
И хоръ завистниковъ затихъ...?

Въ небѣ, т. е. въ верхнихъ слояхъ атмосферы, пусто и холодно, и человѣку хорошо только съ людьми—«въ тѣснотѣ люди живутъ»... Только гордость, основанная на самолюбіи и эгоизмѣ—одинъ изъ самыхъ гибельныхъ пороковъ,—только гордость гонитъ человѣка изъ общества ближнихъ его и стремится его на пустую и холодную высоту, откуда онъ находитъ жалкое наслажденіе видѣть подъ собой «хоръ завистниковъ». Сказать: я имѣю завистниковъ—не значить ли это: какой я замѣчательный человѣкъ! Обрадоваться числу своихъ завистниковъ—не значить ли это обнаружить то малое и пошлое чувство, которое свойственно только маленькимъ великимъ людямъ—этимъ карикатурамъ на великихъ людей? Нѣтъ, истинно хорошему, дѣльному человѣку горько имѣть завистниковъ, для него это—несчастье. Онъ хочетъ имѣть таланты и достоинства, хочетъ много знать, много смѣть и много мочь, но не для потѣхи своего самолюбія, не для жалкаго удовольствія приобрести враговъ и завистниковъ, а для разумнаго и законнаго наслажденія жизнью, потому что чѣмъ болѣе онъ имѣетъ, знаетъ, смѣетъ и можетъ,—тѣмъ болѣе онъ живетъ. Его никогда не порадуешь, но всегда огорчитъ ничтожество окружающихъ его людей,—и для него было бы величайшимъ блаженствомъ дать имъ еще больше, нежели сколько онъ самъ имѣетъ, поднять ихъ еще выше самого себя. Благородная душа, исполненная великодушныхъ стремленій, не терпитъ вокругъ себя ни рабовъ, ни угодниковъ, ни хвалителей, ни льстецовъ; ей тѣсно и душно среди этихъ искаженныхъ существъ, и она можетъ дышать свободно только среди братьевъ, связанныхъ съ ней узами симпатіи ко всему разумному и человѣческому. Для нея жизнь—богатая и роскошная трапеза, которую она хотѣла бы раздѣлить со всѣми, чтобъ тѣмъ болѣе самой насладиться ею... Да, любезный поэтъ, учитесь не увлекаться однимъ огромнымъ—оно часто только чудовищно, а не велико; учитесь не увлекаться однимъ поражающимъ, эффектнымъ, блестящимъ, яркимъ. Все истинное и великое—просто и скромно; оно цѣломудренно стыдится своего достоинства, какъ красота цѣломудренно стыдится красоты своей и от-

того дѣлается еще прекраснѣе. Истину, благо и красоту надо любить для нихъ самихъ, а не для насъ самихъ,—какъ внутренне-драгоценное само по себѣ, а не какъ пышный нарядъ, возбуждающій къ тому, кто шеголяетъ въ немъ, удивленіе и зависть толпы. Человѣкъ сильный, могущественный, огромный—еще не всегда въ то же время и великій человѣкъ. Нѣтъ спора, что, какъ воитель, Наполеонъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ исторіи человѣчества; но въ глазахъ истинно-мудрыхъ простой, скромный, неблестящій Вашингтонъ въ тысячу разъ болѣе всѣхъ возможныхъ Наполеоновъ имѣетъ право на имя великаго человѣка. Только невѣжественная толпа, гупая чернь и жалкое суемудріе преклоняютъ колѣни и обожествляютъ гнетущую ее наглуемую силу, отражающуюся на безсовѣстности, обманѣ, вѣроломствѣ и злодѣйствѣ... Покажите дикарю фольгу и золото: онъ бросится на фольгу, потому что она ярко блеститъ; покажите невѣждѣ бѣлый мраморъ Аполлона Бельведерскаго и раскрашенную восковую куклу: онъ удивится куклѣ и не обратитъ вниманія на Аполлона. Увы! сколько такихъ дикарей и невѣждъ между такъ-называемыми умными, учеными, образованными и талантливыми людьми! Бойтесь, любезный поэтъ, попасть въ число этихъ людей,—и чтобъ избѣжать такого несчастья, отвращайтесь всего эффектнаго, натянутого, ложнаго, призрачнаго! Будьте просты и скромны, радость предпочитайте горю, веселье—грусти, наслажденіе—страданію. Снесите все горькое мужественно и благородно, когда горе посѣтитъ васъ, но не желайте, не ищите горя, подобно этимъ романтическимъ совамъ, которыя боятся унижить свое достоинство глубокихъ и высшихъ натуръ, переставъ хоть на минуту морщиться и хныкать и и предавшись веселому влеченію минуты. Смотрите на жизнь, какъ на наслажденіе, и умѣйте наслаждаться ею разумно: тогда увидите вы, какъ прекрасна она, какъ много въ ней счастья и упоенія, и какъ жалки слѣпые романтическіе влечетники жизни, которые все смотрятъ куда-то туда, сами на зная куда... И пусть руководятъ вами на пути жизни любовь, которая все прощаетъ, все очищаетъ, все облагораживаетъ и освѣщаетъ,—смѣлый свободный разумъ, который не боится мукъ сомнѣнія и, многимъ рискуя, много завоевываетъ для счастья... Тогда вы увидите, что можно хорошо прожить и безъ враговъ, и безъ завистниковъ, и что безъ борьбы съ ними вамъ будетъ чѣмъ наполнить свою жизнь, не дать черствѣть чувству, погаснуть уму... Тогда, если вы будете поэтомъ, пѣсни ваши будутъ не только прекрасны, но и живительны, плодо-



родны; а если и не будете поэтомъ—что жъ! вы будете человѣкомъ, а это, право, стоить всякаго поэта...

Грамматическія разысканія. В. А. Васильева. 1) *О буквахъ ѣ.* 2) *Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго.* СПб. 1845.

Появленіе книжки Васильева очень порадовало насъ. Въ самомъ дѣлѣ, давно бы уже пора принятьсь намъ за разработываніе русской грамматики.—А то—вѣдь стыдно сказать!—грамматика полагается у насъ въ основаніе ученію общественному и частному,—а между тѣмъ у насъ нѣтъ рѣшительно ни одной удовлетворительной грамматики! И какъ же бы могла она явиться у насъ, когда теорія языка русскаго почти не начата, и для грамматики, какъ систематическаго свода законовъ языка, не приготовлено никакихъ данныхъ? Оттого, если сличить двѣ русскія грамматики разныхъ составителей, напри- мѣръ, грамматику Греча съ грамматикой Востокова,—подумаешь, что каждый изъ нихъ разсуждаетъ объ особенномъ языкѣ, или что онѣ отдѣлены одна отъ другой большимъ промежуткомъ времени. Каждый пишущій въ Россіи руководствуется своей собствен- ной грамматикой; нововведеніямъ, этимологическимъ, синтаксическимъ и орографическимъ, нѣтъ числа и мѣры: всякій молодецъ на свой образецъ! И между тѣмъ, несмотря на вопли нѣкоторыхъ старыхъ писа- ковъ противъ этой грамматической анархіи, въ которой они видятъ злоупотребленіе и чуть не разбой,—при настоящемъ положеніи русскаго языка эта грамматическая анархіа неизбежна и необходима—даже полезна и благотворна... Русский языкъ еще не устано- вился,— и дай Богъ, чтобы онъ еще какъ можно долѣе не установился, потому что чѣмъ долѣе будетъ онъ устанавливаться, тѣмъ лучше и богаче установится онъ. Есть люди, которые вѣрятъ, или только дѣлаютъ видъ, что вѣрятъ, будто Карамзинимъ рус- ский языкъ совершенно утвердился и дальше итти не можетъ: много благодарны за этотъ языкъ-скоропиську, которому только безъ году недѣля, а онъ ужъ и состарѣлся! Какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ развитія русскаго языка, мы принимаемъ Карамзинскій языкъ съ любовью, уваженіемъ, благодарностью и даже, если хотите, съ уди- вленіемъ; но намъ и даромъ не нужно Карам- зинскаго языка, если въ немъ должно видѣть совершенно установившійся языкъ русский... Мы думаемъ, что если Крыловъ и обсязъ Карамзину чистотой своего языка, то все же языкъ Крылова во сто разъ выше языка

Карамзина, по той простой причинѣ, что языкъ Крылова до нес plus ultra языкъ русский, тогда какъ языкъ Карамзина толь- ко въ «Исторіи Государства Россійскаго» обнаружилъ стремленіе быть языкомъ рус- скимъ, а до тѣхъ поръ обнаруживалъ стре- мленіе только не быть славяно-латинско- нѣмецкимъ, или Ломоносовскимъ языкомъ (что и было со стороны Карамзина великой заслугой). Но сфера языка Крылова сама по себѣ довольно ограничена, и потому не въ ней русский языкъ могъ достигъ своего установленія, и не на баснѣ остановится. Ему надо было итти, и онъ пошелъ впередъ, содѣйствіемъ Жуковскаго, Батюшкова, Гнѣдича, самого Карамзина, который въ своей «Исторіи Государства Россійскаго» говорилъ совсѣмъ другой манерой, нежели прежде,— правда, манерой еще болѣе искусственной, но зато и болѣе полезной для успѣха рус- скаго языка. Явился Пушкинъ—и русский языкъ обрѣлъ новую силу, прелесть, гиб- кость, богатство, а главное—стала развиваться, естественнѣе, стала вполне русскимъ язы- комъ. Поэтому, слушая людей, которые на-ивно утверждаютъ, что Карамзинъ кончилъ, такъ сказать, воспитаніе русскаго языка, и совсѣмъ умалчиваютъ о Пушкинѣ, какъ будто бы въ дѣлѣ языка онъ не заслужи- ваетъ и упоминенія,—невольнo вспоми- наешь стихъ Крылова, обратившійся въ по- словицу:

Слона-то я и не замѣтилъ!

Теперь посмотрите: Ломоносовъ устанавли- ваетъ славяно-латинско-нѣмецкую форму рус- скаго языка, всѣми принятую безусловно; но въ писателяхъ Екатерининскаго вѣка уже виденъ въ ходѣ языка значительный успѣхъ: Державина и Фонвизина, по отно- шенію къ языку, уже никакъ нельзя сравни- вать съ Ломоносовымъ. Карамзинъ, такъ сказать, убиваетъ на-смерть языкъ Ломо- носова, съ одной стороны, представивъ образ- цы новой прозы, а съ другой—вмѣстѣ съ Дмитріевымъ—представивъ образцы стиха, далеко въ отношеніи къ языку (а не поэзіи) опередившаго стихъ Державина. Мало этого: лишь только проза его сдѣлалась образцовой и начала развиваться далѣе содѣйствіемъ Жуковскаго, какъ онъ самъ отрекается отъ нея и въ своей «Исторіи» силится создать совсѣмъ другого рода прозу. О Крыловѣ мы говорили. Стихъ Жуковскаго и Батюшкова неизмѣримо далеко оставляетъ за собой стихъ Дмитріева и Карамзина; Гнѣдичъ создаетъ русскій гекзаметръ и дѣлаетъ рус- ский языкъ способнымъ для воспроизведе- нія изящной древней рѣчи эллинской. Кажется, много сдѣлано? Трудно повѣрить, чтобъ можно было итти далѣе? И что

же?—Пушкинъ является полнымъ реформаторомъ языка, увлекаетъ за собой Крылова.—писателя, опередившаго его пѣлою четвертью вѣка, увлекаетъ Жуковского. Въмѣстѣ съ Пушкинымъ является Грибоѣдовъ и создаетъ языкъ русской стихотворной комедіи, какъ Крыловъ создалъ языкъ русской басни. Самъ Пушкинъ не стоялъ на одномъ мѣстѣ: съ «Полтавы», вышедшей въ 1829 году, началась для его поэтической дѣятельности новая эпоха въ отношеніи и къ творчеству, и къ языку. Прозой онъ писалъ до того времени мало, но и въ его прозаическихъ отрывкахъ (особенно въ «Арапѣ Петра Великаго») видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сдѣлалось въ какія-нибудь девяносто лѣтъ, считая отъ первой оды Ломоносова—«На взятіе Хотина», написанной правильнымъ тоническимъ размеромъ, навсегда утвердившимся въ русской поэзіи (1739), до «Полтавы» Пушкина (1829)!. Какая же могла тутъ явиться грамматика? Вѣдь грамматика есть абстракція языка, существующаго въ созданіяхъ литературы, а литература измѣнялась съ каждымъ годомъ? При такихъ условіяхъ какую ни напишите грамматику,—она успѣетъ отстать отъ языка литературы, пока вы будете печатать ее.

Но почему же, спросятъ васъ, мы говоримъ все о языкѣ литературы, а не о языкѣ народа? По самой простой причинѣ: масса народа отстала отъ образованнаго общества, и языкъ ея сдѣлался для общества слишкомъ бѣднымъ, неудовлетворительнымъ: вѣдь не у всякаго же достанетъ духа объясняться маленькому мужицкимъ слогомъ. Языкъ же общества безпрестанно измѣнялся вмѣстѣ съ литературой.

Однако жъ и Пушкинымъ не кончилось развитіе русскаго языка, который и теперь еще далеко отъ того, чтобъ установиться. Особенно бѣденъ доселѣ разговорный, общественный русскій языкъ. Для поэзіи, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державинимъ, Жуковскимъ и Батюшковимъ) сдѣлано было много, а Пушкинымъ довершено ихъ дѣло. И немудрено: русскій языкъ необыкновенно богатъ для выраженія явленій природы и, по своему близкому сродству съ древне-церковнымъ славянскимъ языкомъ, причастенъ гению древнихъ классическихъ языковъ, способенъ къ передачѣ произведеній древне-греческой и латинской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, какое богатство для изображенія явленій естественной дѣятельности заключается только въ глаголахъ русскихъ, имѣющихъ виды! «Плывать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплыть, заплыть, переплыть, уплыть, уплыть,

наплывать, наплыть, подплывать, подплыть, поплывать, поплыть, расплаваться, расплыться, наплаваться, заплаваться»: это все одинъ глаголъ для выраженія двадцати отбѣнковъ одного и того же дѣйствія!

Степь раздольная  
Далеко вокругъ,  
Широко лежитъ,  
Ковылемъ травой,  
*Разстиляется!*  
Ахъ, ты степь моя,  
Степь привольная,  
Широко ты, степь,  
*Пораскинулась,*  
Къ Морю Черному  
*Понадвинулась!*

На какомъ другомъ языкѣ передали бы вы поэтическую прелесть этихъ выражений покойнаго Кольцова о степи: «разстиляется, пораскинулась, понадвинулась»?..

Да, благодаря уже самому свойству русскаго языка, поэзія природы, поэзія чувствъ и мыслей, не ознаменованныхъ ни печатью абстракціи, ни печатью общественности, навсегда установилась у насъ Пушкинымъ, и языкъ для нея вполне выработался,—такъ что дальнѣйшій прогрессъ для языка будетъ уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержания. Но такой прогрессъ возможенъ не только для юнаго русскаго языка, еще далеко не во всѣхъ отношеніяхъ вышедшаго изъ пеленъ, но и для вполне развившагося слишкомъ два вѣка назадъ французскаго языка. Каждый вновь являющийся великій писатель открываетъ въ своемъ родномъ языкѣ новыя средства выраженія новой сферы созерцанія. Такъ, напримѣръ, въ грамматическомъ отношеніи нѣтъ почти никакой разницы между языкомъ Руссо и Жоржъ-Занда; но зато какая разница между тѣмъ и другимъ языкомъ въ отношеніи къ ихъ содержанію! Въ этомъ отношеніи, благодаря Лермонтову, русскій языкъ далеко подвинулся впередъ послѣ Пушкина, и такимъ образомъ онъ не перестанетъ подвигаться впередъ до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ на Руси являться великіе писатели.

Но зато, какъ еще бѣденъ русскій языкъ для выраженія предметовъ науки, общественности,—словомъ, всего отвлеченнаго, всего цивилизованнаго, глубоко и тонко развитого, даже ежедневныхъ житейскихъ отношеній! И причина этой бѣдности заключается, къ несчастью, не въ томъ только, что русскій языкъ молодъ, неразвитъ, необработанъ, но и еще и въ историческомъ развитіи русскаго народа. Какъ богаты передъ нимъ въ этомъ отношеніи языки народовъ Западной Европы!—А почему?—Потому, что они образовались большей частью изъ обломковъ латинскаго, че-

резь который приняли въ себя не малое число даже греческихъ словъ. Исключеніе остается за нѣмецкимъ языкомъ, какъ самостоятельнымъ; а попробуйте исклѣчить и изъ него всѣ взятые нѣмцами латинскія и греческія слова, — и вы увидите, какъ страшно обѣднѣетъ онъ. Вмѣстѣ со словами искаженнаго латинскаго языка тевтонскіе варвары взяли отъ римлянъ тѣ понятія, тѣ идеи, которыя могла породить и развить только гуманическая классическая древность, и которыя не могли бы инымъ путемъ достаться варварамъ. Отъ этого, напримѣръ, французскій языкъ такъ богатъ словами, которыя заключаютъ въ себѣ философскій смыслъ, и которыя, несмотря на то, употребляются въ самомъ простомъ житейскомъ разговорѣ: «Субъектъ, объектъ, индивидуумъ, индивидуальный, абсолютный, субстанція, субстанціальный, конкретный, универсальный, абстрактный, категория, рационализмъ, рациональный, обскурантизмъ, индифферентизмъ, спеціальный, спеціализмъ, коллизія»; всѣ эти слова считаются у насъ книжными, смѣшными и дикими и навлекаютъ на себя глумленіе невѣждъ, если употребляются и не въ разговорѣ, а въ разсужденіяхъ объ умственныхъ предметахъ. Оно отчасти и понятно: ихъ не было въ русскомъ языкѣ, потому что въ русской цивилизаціи до Петра Великаго не было выражаемыхъ ими понятій; а во французскомъ языкѣ они существуютъ какъ весьма обыкновенныя слова: «l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualité, absolut, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalité, abstrait, la catégorie, le rationalisme, rationnel, l'obscurantisme, l'indifférentisme, le spécialisme, la collision»... Такихъ словъ мы не перечли здѣсь и сотой доли. Всѣ такія слова мы поневолѣ должны брать цѣликомъ у иностранцевъ; многія изъ нихъ совершенно обрусѣли и мы такъ привыкли къ нимъ, что какъ будто и не считаемъ ихъ за чужія: «коммерція, монополія, манифестъ, декларація, прокламація, инсигнетъ, фабрика, мануфактура, брильянтъ, поэзія, проза, музыка, гармонія, мелодія, администрація, губернія, мастеръ, мастерство, маляръ, кучеръ, солдатъ, офицеръ и пр., и пр., и пр. Такихъ словъ мы не исчислили здѣсь и тысячной доли. Многія изъ иностранныхъ словъ удачно переведены на русскій языкъ и получили въ немъ право гражданства: «правительство, промышленность, предметъ, личность (не оскорбленіе, apersonnalité), дѣйствительность, любезность, воспроизведеніе (reproduction), вліяніе, отношеніе, заключеніе (conclusion), изложене (exposition)», и пр. Нечего уже говорить, что чрезъ столкновеніе русскаго ума съ доселѣ

Соч. Бѣлинскаго. Т. IV.

чуждыми ему идеями русскій языкъ сталъ богаче словами, которыя умножились этимологическимъ производствомъ для выраженія оттѣнковъ уже существовавшихъ понятій. Такимъ образомъ произошло неисчислимое множество словъ въ родѣ слѣдующихъ: «враждебность, количественность, творчество, знаменитость (въ смыслѣ славнаго чѣмъ-нибудь человѣка, célébrité), множественность, письменность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, грамотность» и т. п. Но, несмотря на то, во французскомъ языкѣ остается множество словъ, въ значеніи которыхъ мы не можемъ не нуждаться, но которыхъ въ то же время не можемъ перевести (потому что у насъ нѣтъ соотвѣствующихъ имъ словъ), ни взять цѣликомъ (потому что они какъ-то не вошли сами въ нашъ языкъ). Впрочемъ, нѣкоторыя изъ нихъ мы поневолѣ мѣшаемъ въ свой русскій разговоръ, къ величайшему неудовольствію пуристовъ, которыхъ ограниченность не видятъ въ нихъ нужды; таковы: «compromettre, solidarité, alternative, charité, exagérer, se prononcer, prétendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initer, initiation, initiative, varier, remonter, prépondérance, chance, camaraderie, association, attribut, étaler, détailler, assortir, revanche» и пр. (компрометтировать, экасажировать, прононсироваться, претендовать, концепція, гарантировать, эксплуатировать, варіировать, ремонтировать, препондерансъ, шансъ, ассоціація, атрибутъ, этилировать, детализировать, сортировать, реваншъ). Нечего говорить о богатствѣ французской фразеологіи, о гибкости французскаго языка, способнаго на выраженіе всевозможныхъ тонкостей и оттѣнковъ мыслей. Выписанныя нами выше слова важны еще и по опредѣленности, съ какою выражаютъ они заключенное въ нихъ понятіе: поэтому многія изъ нихъ можно бы перевести, да только переводъ будетъ неточенъ — то же, да не то. Такъ, напримѣръ, „charité“ можно перевести словомъ «милосердіе», а будетъ не то, схвачено понятіе, но потеряны нѣкоторыя оттѣнки его; étaler — выставлять, раскладывать на показъ — опять близко, но не то, „revanche — возмездіе“: похоже, а не совсемъ! Вотъ почему французскій языкъ не у однихъ у насъ въ такомъ употребленіи. Можно быть въ немъ не слишкомъ сильнымъ — и, несмотря на то, подлинникъ хорошаго французскаго сочиненія понимать лучше, нежели превосходный переводъ его по-русски. Писать по-русски письма — просто мученіе: фраза выходитъ тяжела, пахнетъ грамматикой и семинаріей, обороты неуклюжи. Пишете, мараете — и кончите тѣмъ, что сразу напишете по-французски — и выйдетъ хо-

роно. Говорить по-русски, не вѣшивая фразъ и словъ французскихъ, очень трудно. Наши литераторы и такъ-называемые патриоты упрекали и теперь упрекаютъ высшее общество въ равнодушіи и даже презрѣніи къ русскому языку и русской литературѣ, въ пристрастии и даже страсти къ французскому языку и французской литературѣ: обвиненіе несправедливое и въ высшей степени мѣщанское! Наше высшее общество, вдругъ столкнувшись, такъ сказать, съ Европой, увидѣло, что для его новыхъ потребностей, идей и общественныхъ отношеній русский языкъ бѣденъ и недостаточенъ, хотя для своего общества (до временъ Петра Великаго) онъ, какъ и естественно, былъ не только удовлетворителенъ, но еще и очень богатъ. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однако жъ то немногое, что было, оно читало: при Еватеринѣ Великой оно читало Державина и Богдановича, смотрѣло въ театрѣ трагедіи Сумарокова и комедіи Фонвизина; при Александрѣ I-мъ оно не по однимъ слухамъ знало о Карамзинѣ, Дмитриевѣ, Озеровѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ. Но это вѣдь еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованнаго общества; годовой бюджетъ произведеній всѣхъ этихъ писателей едва могъ доставить на недѣлю чтенія. Явился Пушкинъ—высшее общество прочло его. Въ наше время оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистываетъ иногда и не столь крупныхъ писателей, заглядываетъ даже въ журналы. Въ чемъ же упрекаютъ его?—Развѣ въ томъ, что оно не проглатываетъ всего, что производитъ досужество російскихъ сочинителей?—Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индигестіи... Но оно не говорить по-русски?—Правда; и это оттого, что, какъ сказалъ Пушкинъ,

Доселѣ гордый нашъ языкъ

Къ почтовой прозѣ не привыкъ,—

и оттого, что онъ еще менѣе привыкъ къ разговору: мѣстоименія его такія длинныя, напримѣръ, к о т о р ы й, безъ котораго между тѣмъ нельзя составить фразы; а его причастія, и дѣйствительныя, и страдательныя, такъ долговязы, главное же—такъ отзываются «высокимъ слогомъ»; его фраза такъ пахнетъ книгой.

Для устраненія всѣхъ этихъ препятствій еще очень мало сдѣлано и высшимъ обществомъ, и литературой; но «мало» не значить еще «ничего». Немного сдѣлано, но уже дѣлается: съ одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говоритъ по-русски; а когда русская литература будетъ ежегодно производить хорошаго и интерес-

наго столько же, сколько ежегодно производить французская литература или хоть около того,—тогда наше высшее общество будетъ и читать, и говорить по-русски, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ по-французски. А то вѣдь, согласитесь сами,—двѣ или три, много-много пять порядочныхъ повѣстей въ годъ, романъ въ иной годъ, да десятокъ журналовъ, которые больше чѣмъ на половину наполняются переводами и изъ которыхъ развѣ только два удобны для чтенія,—согласитесь, что такая литература, если только она и въ самомъ дѣлѣ—литература, немного времени возьметъ у самаго жаднаго до чтенія, но хотя немного разборчиваго читателя! Съ другой стороны, русская литература теперь на доброй дорогѣ для того, чтобъ выработать изъ языка книги языкъ общества и жизни. Она давно уже стремится къ этому,—съ тѣхъ поръ, какъ заговорили о важности такъ-называемой легкой поэзіи и легкой литературы. Перебирая нашихъ дѣятелей въ этомъ отношеніи, пропустимъ Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера, и начнемъ съ Фонвизина, потомъ упомянемъ Крылова и Дмитриева (басни и сказки, въ особенности «Модная Жена»); отъ нихъ перейдемъ къ бессмертному созданію Грибоѣдова «Горю отъ Ума», къ «Евгенію Онѣгину» и «Графу Нулину» Пушкина, при чемъ упомянемъ о прозаическихъ опытахъ Пушкина (преимущественно объ «Арапѣ Петра Великаго»). Съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, которая, въ лицѣ этого гениальнаго писателя, обратилась преимущественно къ изображенію русскаго общества. Пуристы, грамматобды и корректоры нападаютъ на языкъ Гоголя, и—если хотите—не совѣмъ безосновательно: его языкъ точно неправиленъ, нерѣдко грѣшитъ противъ грамматики и отличается длинными періодами, которые изобилуютъ ветвочными предложеніями; но со всѣмъ тѣмъ онъ такъ живописенъ, такъ ярокъ и рельефенъ, такъ опредѣлителенъ и точенъ, что его недостатки, о которыхъ мы сказали выше, скорѣе составляютъ его прелесть, нежели порокъ, какъ иногда нѣкоторыя неправильности чертъ или веснушки составляютъ прелесть прекраснаго женскаго лица. Возьмите самый неуклюжій періодъ Гоголя: его легко поправить, и это сумѣетъ сдѣлать всякій грамотѣй десятаго разряда; но покуситься на это значило бы испортить періодъ, лишить его оригинальности и жизни, Гоголь далъ направленіе прозаической литературѣ нашего времени, какъ Лермонтовъ далъ направленіе всей стихотворной литературѣ послѣдняго времени. И направленіе, данное Гоголемъ, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые поэтому учатся и научатся хорошо

говорить о простых вещахъ, и уже не поучать, какъ прежде, торжественно и важно публику, а бесѣдовать съ ней. Съ другой стороны, еще съ появленія «Московского Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина наша журнальная литература оказала стремленіе объясняться съ публикой не параднымъ языкомъ книги, а живымъ языкомъ общества. Но Карамзинъ недолго дѣйствовалъ на журнальномъ поприщѣ, — и потому только съ появленія «Московского Телеграфа» начинается періодъ настоящей журнальной дѣятельности, полезной и для общества, и для языка. И нельзя сказать, чтобъ въ этомъ отношеніи журналистика наша не сдѣлала съ тѣхъ поръ значительныхъ успѣховъ.

Но какъ бы ни былъ языкъ неразвитъ и не обработанъ, — онъ все же вѣдь имѣетъ свой гений, свой духъ, свои законы и свои, только ему свойственные, характеръ и физиономію: изслѣдовать, опредѣлить, — словомъ, привести ихъ въ ясное сознаніе есть дѣло грамматики. Взглянемъ же на то, что сдѣлала у насъ для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзії и русской литературѣ вообще, русская грамматика насколько не была русской, но представляла какой-то странный сколокъ съ латинской, французской и нѣмецкой грамматики. Наши грамматисты отъ Мелетія Смотрицкаго до Ломоносова и бывшей Академіи Россійской, составляя русскую грамматику, какъ будто ничего другого не дѣлали, какъ только переводили латинскую, — и потому они въ русскихъ глаголахъ, кромѣ трехъ временъ — настоящего, прошедшаго и будущаго, дѣйствительно существующихъ, нашли еще «неопредѣленное прошедшее (преходящее), совершенно-прошедшее, давно-прошедшее, неопредѣленно-будущее, совершенно-будущее и другія, при каждомъ глаголѣ открыли по нѣскольку неокончательныхъ наклоненій. Такъ же неудовлетворительна была грамматика, изданная Русской Академіей. Впрочемъ, за это облагненіе русской грамматики не должно строго судить нашихъ старинныхъ грамматистовъ: вся ихъ вина состояла въ томъ, что они начали съ начала, по естественному ходу человеческого ума. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго у насъ все русское неизбѣжно должно было обностраниться. Наконецъ, знаменитый лингвистъ, нѣмецъ Фатеръ, первый прсникнувъ въ особенныя свойства русскихъ глаголовъ, положилъ твердое основаніе русской грамматикѣ, по крайней мѣрѣ сдѣлалъ ее возможной. Онъ доказалъ, что совершающееся въ глаголахъ другихъ языковъ посредствомъ множества временъ у насъ дѣлается черезъ виды, что каждый русскій глаголъ имѣетъ нѣсколько

видовъ, что каждый видъ имѣетъ только одно неокончательное наклоненіе, и что глаголы неопредѣленнаго и многократнаго видовъ имѣютъ три времени — настоящее, прошедшее и будущее, а глаголы совершеннаго (или опредѣленнаго) и многократнаго видовъ имѣютъ только два времени — прошедшее и будущее (послѣднее спрягается совершенно такъ, какъ настоящее время глаголовъ неопредѣленнаго и многократнаго видовъ). Объ этомъ самомъ писалъ покойный профессоръ Болдыревъ, котораго обвиняли въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ мысли Фатера. Справедливо ли это, мы рѣшить не можемъ; а лучше скажемъ, что профессоръ Болдыревъ написалъ еще прекрасное разсужденіе «о степеняхъ сравненія русскихъ прилагательныхъ», въ которомъ доказалъ, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на *айшій* и *кѣшій*, есть, напротивъ, сравнительная степень полной формы прилагательныхъ, тогда какъ степень, которая одна считалась сравнительной и которая оканчивается на *е*, *нѣ* и *е*, есть только сравнительная усѣченной формы прилагательныхъ. Потомъ мы помнимъ еще небольшую, но дѣльную статейку профессора И. И. Давыдова «О порядкѣ словъ». Имя Востокова по справедливости должно быть упоминаемо съ почетомъ, какъ автора лучшей доселѣ русской грамматики. Но все это — не корень, не начало. Прежде составленія грамматики необходимо аналитическое изслѣдованіе русскаго языка, глубокое проникновеніе въ атомію, въ физиологию, въ тайну организма языка. Надо начать съ звука, съ буквы. Это и сдѣлалъ знаменитый филологъ нашъ Г. П. Павскій, который одинъ стоить цѣлой академіи. Его «Филологическими Наблюденіями надъ составомъ русскаго языка» положено прочное основаніе филологическому изученію русскаго языка, показанъ истинный методъ для этого изученія. Это преисходное сочиненіе еще не кончено; но мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что послѣдняя, шестая, часть его приводится къ окончанію авторомъ и вмѣстѣ съ четвертой и пятой незамедлительно поступитъ въ печать. Первые три части этого творенія уже все распроданы и выйдутъ вторымъ изданіемъ, когда окончатся печатаніемъ три послѣднія части. Это успѣхъ, успѣхъ блестящій и славный тѣмъ болѣе, что у насъ нѣтъ еще публики для ученыхъ сочиненій, и что журналы не оцѣнили великій трудъ Павскаго, какъ слѣдуетъ, — а не оцѣнили потому, что для него, какъ сочиненія совершенно самобытнаго и оригинальнаго, которое первое полагаетъ основаніе русской филологіи, не нашлось цѣнителей, достаточно сильныхъ для подобной оцѣнки.

Но придет время, когда сочинение Павскаго сдѣлается классической и настольной книгой для всякаго ученаго, который посвятить себя изученію русскаго языка. Ужь и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой авторъ, при ея составленіи, много и крѣпко не посоветовался бы съ «Филологическими Наблюдениями надъ составомъ русскаго языка».

«Грамматическія Разысканія» Васильева явились вслѣдствіе книги Павскаго и написаны по указанному ею методу и въ ея духѣ. Не сомнѣваемся, что найдутся остряки, забавники и потѣшники: они будутъ смѣяться надъ ничтожностью и мелочностью предмета, о которомъ такъ серьезно хлопочетъ книжка Васильева. Пусть глумятся на здоровье себѣ и на потѣху своимъ читателямъ! Положимъ, что книжка Васильева порождена даже педантизмомъ; но развѣ не такому педантизму обязаны французы удивительной разработкой своего языка? Чтѣ бы ни говорили, но грамматика именно учить не чему другому, какъ правильному употребленію языка, т. е. правильно говорить, читать и писать на томъ или другомъ языкѣ. Ея предметъ и цѣль—правильность, и ни до чего остальной ей нѣтъ дѣла. Съ педантической кропотливостью задумывается она надъ тѣмъ, какъ правильнѣе произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, словомъ, употреблять то или другое слово,—и все это иногда для того, чтобъ, добившись цѣли своихъ изысканій, сказать: «такъ должно бы по правилу употреблять это слово, но такъ употребляется оно въ живомъ языкѣ общества! Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и въ то же самое время можно говорить и особенно писать дурно: это правда; но также можно хорошо говорить и писать и въ то же самое время не знать языка. А между тѣмъ теоретическое знаніе языка важно и полезно, даже необходимо, и безъ приложенія. Грамматика есть логика, философія языка, и кто знаетъ грамматику своего языка, для того по крайней мѣрѣ возможно знаніе всеобщей грамматики—этой прикладной философіи слова человеческого. Сверхъ того, люди, которые только по инстинкту хорошо говорятъ или пишутъ на своемъ языкѣ, по необходимости часто ошибаются противъ духа языка, въ ущербъ своему успѣху на поприщѣ изустной или письменной изящной рѣчи. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что когда къ инстинктивной способности хорошо говорить или писать присоединяется теоретическое знаніе языка,—сила способности удвоится, утроится. Грамматика не даетъ таланта, но даетъ таланту большую силу; а грамматику только тотъ знаетъ, кто знаетъ, какъ слѣ-

довало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которымъ живая власть употребленіе (usus loquendi) дала неправильную форму. Сидѣльцы овощныхъ лавокъ и кухарки говорятъ и пишутъ, руководствуясь только употребленіемъ, а отнюдь не грамматикой; но потому-то иногда смѣшно слышать ихъ говорящими и всегда такъ трудно понимать написанное ими...

Грамматика не даетъ правилъ языку, но извлекаетъ правила изъ языка. Общее незнаніе этихъ правилъ, т. е. незнаніе грамматики, вредитъ языку народа, дѣлая его неопредѣленнымъ и подчиняя его произволу личностей: тутъ всякій молодецъ говорить и писать на свой образецъ. Въ формахъ языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгимъ изслѣдованіемъ, какъ правильнѣе должно говорить или писать то или другое. Это исканіе правильности должно быть доведено до педантизма—для успѣха самаго языка. Пусть будутъ тутъ злоупотребленія: они отвергнутся обществомъ, и живое слово не покорится имъ; но зато все истинное и полезное, несвязывающее языка мелочными и ненужными правилами, будетъ принято всеми. Посмотрите на русскую орфографію, чтѣ это такое! Въ этомъ отношеніи русскій языкъ представляетъ собой странное исключеніе изъ общаго правила: у насъ столько же орфографій, сколько книгъ, сколько журналовъ, сколько литераторовъ,—и потому нѣтъ никакой орфографіи. Неужели это хорошо? А между тѣмъ, за это никакъ нельзя никого винить: виноватаго нѣтъ! Итакъ, вмѣсто того чтобъ пѣть іереміады противъ нововводителей,—не лучше ли было бы приняты за разработку орфографіи, за изслѣдованіе—какой орфографіи должно держаться, образно съ духомъ языка и его правилами. Объ этомъ стоитъ разсуждать и спорить. Пусть въ этихъ разсужденіяхъ и спорахъ наговорено будетъ много страннаго и нелѣпаго, лишь бы только результатомъ всего этого было, рано или поздно, удовлетворительное рѣшеніе вопроса. Но, видно, обвинять и бранить другихъ гораздо легче, нежели доказать, почему они ошибаются, и какъ имъ надо писать, чтобъ писать правильно...

Вотъ почему мы очень рады появленію брошюрки Васильева. Можетъ быть, ею начинается безконечный рядъ филологико-грамматическихъ брошюръ, разсужденій, полемическихъ статей и статейекъ, которыми должна разработаться наша грамматика и прийти въ единство наша орфографія. Брошюрка Васильева раздѣляется на двѣ части. Въ первой онъ пытается рѣшить, правы ли тѣ,

которые, вмѣсто почетный, счетъ, въ чемъ, черный, пишутъ: почотный, счотъ, въ чомъ, чорный,—и правы ли тѣ, которые нападаютъ на нихъ, какъ это дѣлаетъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы». Васильевъ не согласенъ ни съ той, ни съ другой стороной. Онъ говоритъ, что наши грамматисты, Востоковъ и Гречъ, ошибаются, утверждая, будто бы буква *ѣ* не можетъ слѣдовать за зубными буквами *ж*, *ч*, *ш*, *щ*, или по крайней мѣрѣ произносится послѣ нихъ не какъ *ѣ*, но какъ *о*; но что если внимательнѣе прислушаться къ произношенію словъ: счетъ и счотъ, щетка и щотка, желтый и желтый, то нельзя не убѣдиться, что слова эти, при звукахъ *ѣ* и *о*, совсѣмъ не одинаково произносятся, и что, слѣдовательно, должно писать въ этихъ словахъ не *о*, а *е*. Съ другой стороны, онъ не согласенъ съ доводами фельетониста «Сѣверной Пчелы», который въ употребленіи буквы *о* въ помянутыхъ словахъ видитъ нарушение исконы соблюдавшагося правила. Васильевъ справедливо замѣчаетъ, что исконы писали: оскверне~~нии~~*ии*, отшедш~~ия~~*я*, продающ~~ымъ~~*ь*, идущ~~ымъ~~*ь*, россій~~тти~~*и*, распен~~шии~~*и*, ден~~ми~~*и*; и что «Библиотека для Чтенія» слѣдуетъ вренной, древней, хотя и неправильной привычкѣ русскаго народа, утвержденной вѣками, употребляя дательный падежъ вмѣсто родительнаго, между тѣмъ какъ фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» нападаетъ же за это на «Библиотеку для Чтенія».

Спорныя буквы *е* и *о* суть бѣглыя, т. е. такия, которыя то исчезаютъ, то опять появляются въ словѣ, какъ, на примѣръ: ледъ, льда, орелъ, орла, близкій, близокъ. Павскій говоритъ, что когда надъ этими буквами должно стоять удареніе, то ихъ должно употреблять по правиламъ сочетаемости буквъ, т. е. *о* ставить послѣ согласныхъ гупыхъ, а *е*—послѣ согласныхъ острыхъ. Васильевъ, напротивъ, утверждаетъ, что бѣглая гласная, находясь между двумя согласными и имѣя на себѣ удареніе, должна угождать обѣимъ,—такъ что если послѣдняя въ словѣ требуютъ предъ собой *е*, а предыдущія *о*,—то такъ какъ обѣихъ поставить нельзя, должно поместить среднюю между *о* и *е*, т. е. *ѣ*. Основываясь на этомъ правилѣ, Васильевъ положительно утверждаетъ, что слова: дружекъ, лужекъ, мужичекъ, колпачекъ, кружекъ, и т. д. должно писать черезъ *е*, а не черезъ *о*.

Прекрасно! Но что же дѣлать съ выговоромъ-то и употребленіемъ? Чѣмъ ни говорите, а далеко не во всѣхъ словахъ звукъ *ѣ* отличается въ произношеніи отъ *о*. Въ словѣ желтый не слышно никакого *ѣ*, а слышно одно чистое *о*; то же должно сказать о словѣ хорошо, которое, какъ усѣченіе слова хорошее, должно бы и писаться: хороше,

а произносится хорошѣ; но—вопреки правилу, по прихоти употребленья, ни то, ни другое невозможно,—поэтому оно и пишется, и говорится хорошо, а не хорошѣ. Мы согласны, что въ словахъ: «щетка, счетъ, въ чемъ, черный, щеголь» слышится звукъ болѣе похожій на *ѣ*, нежели на *о*, и что, слѣдовательно, нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать щотка, счотъ, въ чомъ, чорный, щолокъ, щоголь. Но такъ же точно, сколько ни прислушивайтесь къ словамъ: «лицо, крыльцо, яйцо, кольцо, словцо, желтый, шорохъ, шопотъ, кружокъ, лужокъ, отцомъ»—а, воля ваша, звука *ѣ* въ нихъ вы не услышите; если же и услышите, то вамъ трудно будетъ выговаривать эти слова, и этотъ звукъ оскорбитъ вашъ слухъ,—слѣдовательно, нелѣпо для слуха и безобразно для глазъ писать: лице, крыльце, яйце, кольцо, желтый, шепотъ, кружекъ, лужекъ, отцемъ. Въ первомъ случаѣ буква *о*, какъ говорится, деретъ глаза; во второмъ то же дѣйствіе производитъ буква *е*. Согласны: правило Васильева вѣрно, да та бѣда, что употребленіе попортило его чѣстность, такъ что теперь, избѣгая педантизма, который иногда бываетъ хуже невѣжества, необходимо уступить деспотической волѣ употребленія, и изъ одного стараго правила сдѣлать два, т. е. помириться на серединѣ: съ буквами *щ* и *ч* писать *е*, а съ буквами *ж* и *ш* писать *о*. Возьмите слово: плече,—и произнесите въ концѣ острое *ѣ*: вы выговорите его такъ, какъ оно въ самомъ дѣлѣ выговаривается, слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды нарушить общаго правила и писать *о* (плечо); но въ словѣ лицо, какъ ни старайтесь выговаривать *ѣ*, не выговорите, а если выговорите, вамъ самимъ будетъ смѣшно своего усилія, равно какъ и звукъ, который вымучите вы изъ своихъ губъ. Остановимся на серединѣ, избѣгая равно и педантизма, и произвольности: обѣ крайности равно нехороши. Что жъ дѣлать, если духъ новаго русскаго языка часто бываетъ въ противорѣчьи съ духомъ стараго русскаго языка, и если всѣ акустическія и орфографическія преданія разорваны такъ, что иногда и слѣдовъ нельзя отыскать? Тутъ остается только покориться необходимости.

Мы не обратили бы особеннаго вниманія на брошюрку Васильева, если бъ въ ней было связано только то, въ чемъ мы съ ней не согласились. Нѣтъ, въ ней, кромѣ этого, много дѣльнаго и интереснаго, какъ, на примѣръ, критика мнѣній разныхъ грамматистовъ и изслѣдованіе, въ какихъ случаяхъ буква *е* выговаривается какъ *ѣ*. Последнее изслѣдованіе стоило автору большихъ трудовъ: чтобъ повѣрить справедливость своихъ выводовъ, онъ долженъ былъ перечестъ весь

лексиконъ русской. Хлопотливо и тяжело,— а нельзя иначе при подобныхъ изслѣдованіяхъ, если не хотите нагромоздить кучу произвольныхъ правилъ, которыхъ языкъ и не думалъ признавать. Васильевъ приводитъ въ своей брошюрѣ разительный примѣръ подобной произвольности, происшедшей отъ легкости въ работѣ. Гречь говоритъ: «Если надъ буквой *e* находится удареніе и гласная (также полугласная), то она я произносится какъ *йо* (т. е. какъ *ѣ*): напримѣръ, елка, твердо, дерну, блеклый, медъ. То же бываетъ, когда *e* находится въ концѣ слова: житье, сине, мое» («Практ. Русская Грамматика», 1834 г., стр. 416). Васильевъ приводитъ множество словъ въ опроверженіе этого правила: «верба, векша, жертва, трапеза, горе, ложе, море, поле», и проч. Но изложеніе правилъ, открытыхъ (числомъ 12) Васильевымъ объ употребленіи буквы *ѣ*, было бы излишне въ нашей статьѣ. Наше дѣло указать хорошее, а кто хочетъ увидѣть его самъ, можетъ обратиться къ самой брошюркѣ.

Очень интересно и второе разысканіе: «Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужескаго и женскаго»,—интересно, какъ по разбору мнѣній Греча и Востокова объ этомъ предметѣ, такъ и по выводамъ самого автора. Вообще брошюрка Васильева такого рода, что ни одинъ будущій составитель грамматики не обойдется безъ того, чтобъ, при трудѣ своемъ, не принять ея къ свѣдѣнію, а иногда даже и не посоветоваться съ ней.

Слова на оберткѣ брошюры: «первый выпускъ» обѣщаютъ намъ продолженіе трудовъ Васильева по части разработыванія русской грамматики: очень рады!

Сочиненія Державина. *Биографія писана Н. А. Полевымъ. Изданіе Д. П. Штуркина. Спб. 1845.*

Самое поразительное изъ отрицательныхъ достоинствъ этого изданія составляетъ приложенная къ нему статья Полевого: «Державинъ и его творенія». Это ужъ тысяча первый неудачный опытъ стараго журналиста, когда-то имѣвшаго въ русской литературѣ сильный голосъ и считавшагося отличнымъ критикомъ, удержать за собой право этого голоса и поддержать въ настоящее время идеи и взгляды, хронологически устарѣвшіе цѣлыми пятнадцатью годами, а исторически—цѣлымъ полувѣкомъ. Но хуже всего въ этой статьѣ то, что ея авторъ позволилъ себѣ забыть важность предмета, о которомъ безъ оглядки принялся судить и вкрявь, и вкось, и въ свои отсталыя сужденія о Дер-

жавинѣ вмѣшалъ мелкую журнальную полемику, вслѣдствіе досадъ и огорченій, испытанныхъ имъ отъ успѣховъ нашего времени и отъ уроковъ, полученныхъ имъ отъ людей новаго поколѣнія. Извѣстное дѣло, что вмѣстѣ съ Булгаринымъ и нѣкоторыми другими старыми литераторами Полевой видитъ въ Гоголѣ не больше какъ безграмотнаго писаку, а въ его «Ревизорѣ»—грубый фарсъ. Положимъ такъ: всякій понимаетъ вещи, какъ можетъ и какъ умѣетъ. Почему же и Полевому не понимать Гоголя по-своему? Это вѣдь старая исторія: Карамзина молодое поколѣніе встрѣтило восторгомъ, а старое кобранью; Пушкина молодое поколѣніе встрѣтило чуть не идолопоклонствомъ, а старое—ожесточенной враждой. Почему же и Гоголю не раздѣлить участи такихъ людей, какъ Карамзинъ и Пушкинъ?—это доказываетъ только его великость, какъ поэта. И почему же Полевому не смотрѣть на Гоголя по-старчески?—это доказываетъ только его отсталость отъ вѣка и близорукость, какъ критика. Но вотъ чтѣ худо: зачѣмъ мѣшать Гоголя въ биографію Державина? зачѣмъ, восхваляя Державина, бранить Гоголя?.. Это значить не кстати вмѣшивать свою личность туда, гдѣ о ней не можетъ быть рѣчи,—досаду и раздраженіе, мелочныя и ничтожныя, прицѣплять къ великому имени... Это ли уваженіе и благоговѣніе къ имени Державина, которыя Полевой вмѣняетъ себѣ въ такую заслугу?.. Вотъ чтѣ между прочимъ говоритъ онъ на VI-й страницѣ своей злополучной статьи: «Верекинъ (директоръ Казанской гимназіи, въ которой воспитывался Державинъ) учредилъ даже театръ, ибо и самъ онъ былъ драматическій писатель, и заставлялъ хохотать своимъ Такъ и Должно не менѣе Филатокъ и Ревизоровъ нынѣшнихъ»... Какъ! «Ревизоръ» наравнѣ съ «Филатками»? Но съ чѣмъ же послѣ этого можно сравнить «Парашу Сибигячку», «Елену Глинскую», «Черезполосныя Владѣнія», «Федосью Сидоровну» и другія изящныя произведенія, которыми досужество Полевого обогатило сцену Александринскаго театра?.. Если «Ревизоръ»—«Филатка», то чтѣ же онѣ, эти пьесы, эти побочныя дѣти искусства, которыхъ народила досужая фантазія Полевого?..

Но не однимъ этимъ достается Гоголю: увидимъ нѣчто получше; увидимъ, что не одному Гоголю достается. Уже тысячу-тысячу разъ повторилъ Полевой, что «Пушкинъ смѣнилъ поэзію на прозу и увлекся ничтожной свѣтской жизнью»: это же повторено и въ биографіи Державина. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ Пушкинъ увлекся ничтожной свѣтской жизнью, а не увлекся великой мѣщанской жизнью? Но на Пушкина Полевой не до конца разгнѣвался: онъ говоритъ, что послѣ



Державина у насъ былъ одинъ истинный поэтъ—Пушкинъ. Полно-те!.. Но эти слова явно порождены скромностью автора статьи: иначе онъ нашелъ бы на Руси и третьюго «истиннаго» поэта: напримеръ, хоть знаменитаго автора «Клятвы при гробѣ Господнемъ», «Аббадонны», «Живописца», «Блаженства Безумія», «Параши Сибирячки», «Федосьи Сидоровны» и другихъ воистину поэтическихъ созданий...

Статья Полевого раздѣляется на двѣ части: въ одной—собственно биографія Державина, въ другой—сужденіе о Державинѣ. За исключеніемъ пятенъ, о которыхъ мы говорили и которыми кой-гдѣ позначена биографія Державина,—она такъ себѣ, а за неимѣніемъ лучшей, годится. Вѣдь всякій пишетъ какъ можетъ и какъ умѣетъ; должно быть снисходительнымъ. Но вторая, критическая, часть статьи возбуждаетъ только состраданіе и жалость. Тутъ видно не одно отсутствіе определенной, ясной, хотя бы и ложной мысли: тутъ видно желаніе и въ то же время безсиліе остановиться на какой-нибудь мысли. И усиліе перекричать всѣхъ, и уступочки, и храбрванье, и смиренномудрая боязнь, и брань на противниковъ, и искаженіе ихъ мнѣній, и самодовольство, и много словъ, и мало дѣла, и въ заключеніе—ровно ничего... Наговоривъ много и не сказавъ ничего, авторъ, собравшись съ силами и сдѣлавъ *tour de force* отчаянной храбрости, въ такихъ вараженіяхъ пускается на брань и полемику:

„Къ сожалѣнію, *многіе* критики наши, не понимая Державина, говорятъ иначе (т. е. не такъ, какъ говоритъ Полевой—именно, *къ сожалѣнію!*). Какъ безусловно хвалили его въ старину, какъ по ложной мѣркѣ классицизма размѣривали прежде его творенія, такъ нынѣ, когда обязанностью критика многіе считаютъ непремѣнное *осужденіе*, когда каждый предметъ, подвергнутый критическому возвращенію, многіе почитаютъ чѣмъ-то въ родѣ обвиненнаго, призваннаго къ допросу передъ прокурора журнальнаго, и великая тѣнь Державина призывается къ пигмейскому суду и осуждается по статьямъ мирмидонскаго журнальнаго уложенія. Примѣры не далеко. Не упоминая именъ, вспомнимъ о критикѣ, который послѣ долгаго мудрованія осудилъ Державина за недостатокъ *художественности*, стоя на колѣнѣхъ передъ *жалкими* произведеніями новѣйшихъ *романтиковъ* (?) и съ восторгомъ разсматривая *вонючую грязь* какого-нибудь *малограмотнаго романтиста*. Такія сужденія не стоили бы другого отвѣта, кромѣ улыбки сожалѣнія, ибо время и безъ насъ смываетъ ихъ, какъ грязныя пятна, съ истинно великаго, но намъ жаль, если подобныя близорукія осужденія увлекаютъ юное поколѣніе“.

Читая эти строки, невольно думаешь, что читаешь выходы старыхъ борбниковъ такъ-называвшагося въ старину «классицизма» противъ Полевого, когда онъ ратовалъ за такъ-называвшійся въ тѣ блаженные времена

«романтизмъ». Тотъ же слогъ, тотъ же языкъ, та же манера, тѣ же уловки и та же враждебность противъ всего новаго, противъ всякаго движенія впередъ, противъ всякаго успѣха! Напрасно же Полевой въ то время отрицалъ у своихъ антагонистовъ всякое дарованіе, всякую заслугу: вѣдь вотъ пригодились же они, пришлось же и ему теперь играть ихъ роль, которая тогда ему казалась такой жалкой! Но разберемъ сказанное Полевымъ.

Напрасно избѣгаетъ онъ упоминать имена, особенно тамъ, гдѣ они сами собой выставляются и бросаются въ глаза каждому, кто не слѣпъ. Мы скажемъ, о какомъ критикъ-пигмеевъ вспоминаетъ нашъ критикъ-колосецъ, критикъ-великанъ; скажемъ, передъ какими жалкими произведеніями и какихъ новѣйшихъ романтиковъ заставляетъ критикъ-исполинь становиться на колѣни критика-пигмея: скажемъ, наконецъ, какую грязь и какого малограмотнаго романтиста критикъ-гигантъ заставляетъ съ восторгомъ разсматривать критика-пигмея. Разгадать все это очень нетрудно. Во второй книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1843 года былъ напечатанъ критическій разборъ сочиненій Державина, по случаю изданнаго Глазуновымъ собранія твореній этого поэта. Въ означенной статьѣ авторъ или, если угодно, критикъ-пигмей, равно удаляясь отъ дѣтскаго, безотчетно восторженнаго удивленія къ Державину и отъ ложной гордости успѣхами современности,—гордости, которая мѣшаетъ отдавать должную справедливость заслугамъ прошедшаго,—попытался взглянуть на сочиненія Державина и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія. Результатомъ его изслѣдованій было то, что со стороны естественнаго, непосредственнаго таланта Державинъ—гораздо болѣе, нежели необыкновенный талантъ, что въ сочиненіяхъ его брызжутъ искры гениальности; но что эпоха, въ которую онъ жилъ, не могла воспитать такого таланта, ни дать богатаго содержанія для его творческой дѣятельности, и потому сочиненія Державина, удивляя насъ страшной силой естественнаго таланта, мгновенными вспышками и проблесками гениальности, въ то же время бѣдны внутреннимъ содержаніемъ, часто до совершенной пустоты, мотивы ихъ вертятся на внѣшностяхъ и отзываются газетными реляціями; и что, наконецъ, почти ни одна пьеса Державина не выдержана въ пѣломъ, не чужда риторики, и всѣ онѣ бѣдны художественностью. Все это въ статьѣ было развито, на все приведены были доказательства, скрѣпленные выписками стиховъ Державина. Статья была замѣчена публикой (которая давно уже привыкла только въ «Отечественныхъ Запискахъ» замѣчать критиче-

скія статьи, вѣроятно, по особенной любви ея къ критикамъ-пигмеямъ и по совершенному равнодушію къ критикамъ-исполинамъ) и произвела большое волненіе въ литературномъ мірѣ, неумолкающее и теперь. Это естественно: успѣхъ пигмеевъ особенно должны раздражать гигантовъ, на которыхъ никто не обращаетъ вниманія... Такъ вотъ о какомъ критикѣ-пигмееѣ вспоминаетъ Полевой, этотъ критикъ-атлетъ! Въ «Отечественныхъ Запискахъ» со вниманіемъ и любовью слѣдятся всѣ современные дарованія; но особенное ихъ вниманіе всегда было обращено на два великія явленія нашей эпохи—Лермонтова и Гоголя; знайте же, что передъ жалкими произведеніями этихъ-то двухъ современныхъ романтиковъ Полевой ставитъ на колѣни критика-пигмея. Что же касается «до вонючей грязи какого-нибудь малограмотнаго романиста», знайте, что дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя... Если бѣ Полевой замѣтилъ намъ, что мы угадываемъ невѣрно,—мы готовы представить ему печатныя доказательства вѣрности нашихъ отгадокъ—именно множество точно такихъ же фразъ самого Полевого насчетъ Лермонтова, Гоголя вообще и его «Мертвыхъ Душъ» въ особенности,—фразъ, взятыхъ изъ «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ, мирно скончавшихся... Не считаемъ за нужное разувѣрять Полевого въ его понесеніи достойномъ сожалѣнія мнѣніи о Лермонтовѣ и Гоголѣ: это былъ бы трудъ лишній; Полевого не переувѣришь—ему уже поздно переучиваться; при томъ къ безсильной отсталости надо имѣть снисхожденіе... Но пусть же его мнѣніе и говоритъ само за себя и за него: въ этомъ мнѣніи наше оправданіе и его обвиненіе.

Однако въ чемъ же, скажите, вина критика-пигмея? гдѣ съ его стороны грязное пятно на русскую литературу? Неужели въ недостаткѣ художественности, который онъ находитъ въ сочиненіяхъ Державина? Вамъ это кажется несправедливымъ: докажите, и тогда уже бранитесь, если вы не можете не браниться... Странно! тѣмъ болѣе странно, что самъ Полевой, съ голоса критика-пигмея, находитъ уже въ Державинѣ и недостатки, которыхъ прежде не находилъ, какъ-то: преобладаніе внѣшности, исключительное увлеченіе тѣми интересами и мнѣніями своего времени, которые теперь уже мертвы для насъ, и пр. Конечно, эти у критика-пигмея занятія мысли высказаны Полевымъ такъ робко и нерѣшительно и смѣшаны съ собственными его фразами и возгласами такъ неумѣстно, что ихъ и не замѣтишь съ перваго взгляда; но все же Полевому слѣдовало бы быть нѣсколько попризнательнѣе къ критику-пигмею. Полевой уже въ другой разъ

судить и рядить о Державинѣ, но въ этой послѣдней статьѣ уже меньше риторики и пустыхъ фразъ, въ родѣ: «потомокъ Вагрима, въ его поэзіи разсыплются брилліанты: яхонты, сапфиры, рубины, топазы, бирюза» и т. п. И за это слѣдовало бы поблагодарить критика-пигмея, вмѣсто того чтобъ ругать его ни за что, ни про что...

Полевой говоритъ, что двѣнадцать лѣтъ назадъ онъ безпристрастно опредѣлилъ значеніе Державина въ русской литературѣ и «имѣлъ наслажденіе видѣть, что съ выводами его согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній, — имѣлъ счастье слышать свое мнѣніе повтореннымъ другими, писавшими послѣ того о Державинѣ», и поэтому не изъ ничтожнаго тщеславія осмѣливается считать свое мнѣніе не вовсе ошибочнымъ, и что, наконецъ, двѣнадцать лѣтъ размысленія и опыта жизни не измѣнили основн. мысли о Державинѣ.

Удивительно постоянство — надо согласиться! Однако жъ его нельзя назвать безпристрастнымъ: Мерзляковъ (умершій въ 1830 году) тоже въ двѣнадцать (даже больше) лѣтъ не измѣнилъ своего мнѣнія, что Ломоносовъ выше Пушкина; Каченовскій оставался вѣренъ этому мнѣнію лѣтъ двадцать слишкомъ. И эти люди имѣли еще то преимущество передъ Полевымъ, что знали, въ чемъ состоитъ ихъ мнѣніе... Въ статьѣ Полевого о Державинѣ, написанной имъ двадцать лѣтъ назадъ, кромѣ «потомка Вагрима, щедрой рукой рассыпаннаго въ своей поэзіи разнымъ ювелирскія издѣлія», и тому подобныхъ фразъ, доказывавшихъ безотчетный восторгъ,—ничего другого не было. Но съ нею, говоритъ онъ, согласилось общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ большинство мнѣній: правда ли это? Вѣдь когда-то Полевой сказалъ же, что «онъ знаетъ Русь и Русь знаетъ его»; а вѣдь оказалось же, что это знаменіе было только шапочное,—плачевное обстоятельство, вслѣдствіе котораго «Исторія Русскаго Народа» не могла достигнуть возжеланнаго конца и остановилась на серединѣ. Но положимъ, что многіе и согласились съ статьей Полевого, такъ какъ другой тогда не было: но вѣдь это было двѣнадцать лѣтъ назадъ; много воды утекло, много измѣнилось въ двѣнадцать лѣтъ; публика стала не та и не та стали ея требованія. «Телеграфъ» давно уже забытъ: его помнятъ только тѣ, которымъ нужно заглядывать для справокъ даже въ «Вѣстникъ Европы»... Но, видно, самолюбіе писателей похоже на самолюбіе кокетокъ: ни тѣ, ни другія никогда не признаются въ старости... Мнѣній Полевого о Державинѣ никто не повторялъ, потому что послѣ того никто не писалъ о Державинѣ; этотъ фактъ избрѣтенъ авторскимъ самолюбіемъ.

Но довольно: вспомним русскую посливицу о лежачемъ, и оставимъ Полевого въ покоѣ, чтобъ сказать нѣсколько словъ о предметѣ гораздо поважнѣе — о самомъ Державинѣ.

✓ Державинъ — истинно великій поэтъ, но въ возможности, а не въ дѣйствительности. Природа создала его гениемъ, но эпоха, въ которую онъ жилъ, обрѣзала ему крылья: видимъ могучій взмахъ, видимъ смѣлые и быстрые порывы въ небо; но ровнаго и спокойнаго паренія не видимъ: взлетитъ — и опустится, упадетъ — и опять ринется вверхъ... Если ужъ пошло на сравненія, Державинъ — могучій дубъ, котораго вершина должна бы уйти далеко въ небо, а широкія вѣтви покрыть густой тѣнью необъятное пространство, но который никогда не могъ развиваться до размѣровъ и до могучей красоты, назначенной ему природой, потому что корни его встрѣтили каменистую почву, которая не дала имъ ни углубиться, ни найти для себя достаточнаго питанія. Какъ! — скажутъ — блестящее царствованіе Екатерины II было безплодной почвой для поэзіи?.. Отвѣчаемъ: царствованіе Екатерины II потому и было велико и плодотворно для русской земли, что оно первое приготовило почву для всѣхъ благоуханныхъ и роскошныхъ цвѣтовъ гражданственности и общественной, слѣдовательно, и поэзіи; поэзія и не замедлила явиться въ благословенное царствованіе Александра I, на закатѣ котораго она развернулась, въ лицѣ Пушкина, пышнымъ цвѣтомъ. Все на свѣтѣ начинается не съ середины и не съ конца, а съ начала: истина простая, но въ приложеніи немногими понимаемая. Посредствомъ извѣстнаго химическаго раствора до невѣроятной степени можно ускорить выходъ изъ земли и развитіе нѣкоторыхъ растений; но для гражданственности, общественной и поэзіи нѣтъ такого химическаго раствора. Екатерина II именно тѣмъ и много сдѣлала для внутренней жизни Россіи, что многое сдѣлала, не торопясь видѣть результаты своихъ начинаній. Она могла способствовать началу, возникновенію русской литературы, но русской литературы создать не могла, хотя русская литература и обязана своимъ быстрымъ развитіемъ тѣмъ попеченіямъ, которыя великая монархиня прилагала о ея возникновеніи. Литература и поэзія — растения, которыя требуютъ, чтобъ для нихъ была приготовлена почва, потомъ положены въ нее зерна, и тогда они сперва всходятъ стебелькомъ, потомъ опушаются листомъ, потомъ долго растутъ прежде, нежели дадутъ цвѣтъ и плодъ. Тутъ скачковъ не можетъ быть.

И вотъ этотъ-то законъ постепенности и послѣдовательности въ развитіи осудилъ Дер-

жавина не достигнуть полнаго обладанія огромными силами, данными ему природой. Въ его время не было и не могло быть истиннаго понятія о поэзіи уже потому только, что не было въ обществѣ потребности къ поэзіи. О ней тогда знали только черезъ Ломоносова, и то потому, что она обратила на него вниманіе и милости монаршіи и изъ низкаго званія довела его до большихъ чиновъ. Если бъ въ то время за стихи не давали чиновъ, о стихахъ никто и знать не хотѣлъ бы... Сами поэты того времени понимали поэзію, какъ воспѣваніе, въ смыслѣ восхваленія сильныхъ земли, и поэзія была риторикой. Такъ понималъ ее и Державинъ, съ чувствомъ смиренія удивлявшійся паренію Ломоносова, Хераскова и даже Петрова. Чтѣ дало Державину извѣстность и славу въ тогдашней Россіи: его талантъ, его гений, его творенія? — Нисколько! На него обратила вниманіе Императрица, которую «Фелица» его восхитила до слезъ; онъ получилъ отъ Фелицы драгоцѣнную табакерку съ червонцами; онъ, бѣдный, ничтожный дворянинъ и чиновникъ, вскорѣ послѣ того былъ представленъ Императрицѣ, которая, проходя мимо него, остановилась, пристально на него посмотрѣла и молча дала ему поцѣловать свою руку. Этого было достаточно, чтобъ все и всѣ признали стихи Державина за гениальнѣйшее произведеніе, коковы бы эти стихи ни были... Какая же поэзія могла быть въ такомъ обществѣ, и на что ему была поэзія? О Державинѣ заговорилъ дворъ, и гулъ этого говора болѣе или менѣе отозвался глухо тамъ и сямъ въ среднемъ дворянствѣ и ученомъ классѣ. Достоинство стиховъ Державина измѣряли важною данными ему наградъ, гений мѣряли чиномъ... Но развѣ, скажутъ намъ, это Державину могло мѣшать быть гениемъ и писать гениальные стихи: вѣдь его поэтомъ сдѣлала природа, а не общество? — Такъ; но въ томъ-то и худо, что только природа участвовала въ его художественномъ образованіи, а тогдашнее общество только убивало въ немъ талантъ и мѣшало ему развиваться. Поэтъ столько же зависитъ отъ общества, сколько и отъ природы: и какъ одно общество безъ природы, такъ и природа безъ общества не могутъ создать полнаго поэта. Державинъ служить самымъ блестящимъ и самымъ разительнымъ доказательствомъ этой истины. Полевой какъ будто ставитъ Державину въ вину, что въ немъ всю его жизнь чиновникъ боролся съ поэтомъ, и что онъ, во чтѣ бы ни стало, хотѣлъ быть дѣловымъ человѣкомъ и бросалъ поэзію для приказныхъ бумагъ. Мы, напротивъ, нисколько не винимъ въ этомъ Державина, потому что онъ не могъ иначе чувствовать, мыслить и дѣйствовать,

и ему дѣлаетъ великую честь то, что въ немъ, наконецъ, поэтъ побѣдилъ чиновника, хотя и поздно. Еще и теперь, въ наше время, когда правительство давно уже затрудняется не наборомъ чиновниковъ, а ихъ излишествомъ, когда на каждое самое ничтожное мѣсто является по сту кандидатовъ и искаателей, и когда деньги смѣло уже соперничаютъ съ чиномъ,—и теперь, говоримъ мы, кто не служить, не имѣетъ чина, на того всё смотреть съ такимъ удивленіемъ и такимъ любопытствомъ, какъ стали бы смотреть на человѣка, который лѣтомъ, въ жары, ходить въ медвѣжьей шубѣ, а зимой—босикомъ, въ одной рубашкѣ... Вотъ какіе глубокіе корни пустила бюрократія въ русскую жизнь, вотъ какъ хорошо принялась на русской почвѣ германская табель о рангахъ!.. Чтò же въ этомъ отношеніи должно было быть во времена Державина? Тогда никакой геній, какъ бы онъ ни былъ огроменъ, не могъ видѣть къ себѣ ни малѣйшаго уваженія до тѣхъ поръ, пока не видѣлъ себя въ чинѣ по крайней мѣрѣ статскаго совѣтника... И это очень просто, очень естественно. Развѣ Байронъ, этотъ либеральный поэтъ, не гордился своимъ аристократическимъ происхожденіемъ болѣе, нежели своимъ поэтическимъ геніемъ? А почему? — потому что онъ былъ англичанинъ. Какъ же было Державину не увлечься общей заразой чиновничества? Человѣку невозможно жить безъ людей, а подъ какимъ званіемъ вошелъ бы въ ихъ кругъ Державинъ — неужели подъ званіемъ поэта? Но тогда такого званія не было, а если и было, то чѣмъ-то похожимъ на званіе шута или скомороха. Званіе чиновника тогда не только было, но и находилось въ почетѣ: и вотъ, чтобъ войти къ людямъ и выйтѣ изъ люди, Державинъ захотѣлъ быть чиновникомъ. Не самъ ли биографъ Державина говоритъ: «Дивились, что дѣла поручаются пѣить, стихоплету или, какъ они себя великолѣпно называютъ,—говорить Кургановъ въ своемъ Писемникѣ, — стихотворцу, и чины и деньги даютъ—за стихи». Чѣмъ же званіе шута или скомороха было тогда выше званія поэта?..

Этотъ духъ чиновничества, насквозь проникавшій тогдашнее общество, наложилъ свою печать и на поэзію Державина. Это поэзія хвалебная, воспѣвательная, преисполненная богами и полубогами, которые теперь всё сдѣлались простыми людьми, а нѣкоторые и вовсе забыты. Это поэзія, исполненная аффектаціи, искренняя въ отношеніи къ самому поэту, но лицемерная въ отношеніи къ эпохѣ,—этой эпохѣ меценатовъ, милостивцевъ, поклонниковъ и прихлебателей.

Это поэзія риторическая, хрипливая до хрипоты и надрыва груди, поэзія, разсуждавшая въ стихахъ и располагавшая торжественныя оды по правиламъ схоластической диссертации. Пусть критики-исполны нашего времени говорятъ, что при извѣстии о взятіи Измаила Державинъ грянулъ одой: мы, критики-пигмеи, только съ трудомъ можемъ дочитывать до конца эту длинную «похвальную рѣчь въ стихахъ», гдѣ, въ видѣ риторики, фосфорическимъ блескомъ вспыхиваютъ мѣстами искры поэзіи. Пусть люди, привыкшіе по преданію видѣть въ одѣ «Богъ» какое-то колоссальное произведеніе, величаютъ Державина пѣвцомъ Бога; но мы въ этой одѣ видимъ много внѣшняго блеска, хорошіе по своему времени стихи, больше же всего холодной декламации. Пѣвецъ «Водопада»—другое дѣло! Тутъ Державинъ великъ. Многіе не знаютъ, какъ и восхвалять Державина за «Оду на возвращеніе графа Зубова изъ Персіи», а между тѣмъ чтò въ ней?—сперва резонерство въ холодныхъ стихахъ, потомъ не совсемъ вѣрныя и живыя (даже поэтически) картины Кавказа. Чтò такое, напримѣръ, эти стихи:

Ты видѣлъ, какъ въ степи средь зною  
Огромныхъ змѣй стога кипятъ,  
Какъ блестятъ пестрой чешуею  
И льютъ, шипя, другъ въ друга ядъ.

Въ тѣ времена поэту не было никакого дѣла до дѣйствительности; онъ опирался только на свою фантазію. Чтò ему за дѣло, что Кавказъ—не Индія, и въ немъ нѣтъ огромныхъ змѣй, что змѣи нигдѣ не кипятъ стогами, что въ стога складывается только сѣно, и что змѣи никогда не забавляются переливаніемъ яда другъ въ друга? Но возьмемъ пьесу «Русскія Дѣвушки». Не будемъ ея выписывать—она и такъ слишкомъ всемію извѣстна, потому что написана прекрасными стихами. Если вы видѣли въ деревняхъ «россійскія дѣвушекъ», то знаете, какъ граціозно онѣ пляшутъ, и знаете, что онѣ пляшутъ не въ башмакахъ, а въ котлахъ, а иногда и въ лаптяхъ, въ сарафанахъ, которые вовсе не граціозно перерѣзываютъ поперекъ имъ грудь, съ головами, умышленными коровьими масломъ, съ красными и заскорузлыми руками, незнакомыми съ мыломъ; знаете, какъ богаты онѣ «золотыми лентами» и «драгими жемчугами»; знаете, что такое «россійскій» пастушокъ и его свирѣль: сравните же то, чтò вы знаете, съ тѣмъ, чтò описалъ Державинъ, и въ восторгѣ воскликните вмѣстѣ съ нимъ къ Анакреону:

Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,  
Ты бь гречанокъ позабылъ,  
И на крыльяхъ сладострастныхъ  
Твой эротъ прикованъ былъ.

Несчастный Анакреонъ, счастливый Державинъ!..

И однако жъ Державинъ въ свое время все-таки былъ великій поэтъ: чѣмъ бы онъ былъ, если бъ явился въ наше время? Время много значить, но при талантѣ природномъ. Тредьяковскій и въ наше время былъ бы плохимъ поэтомъ. Державинъ кропаетъ плохіе стихи, смиренно удивляется недостижимому гению Ломоносова и Хераскова, — и вдругъ рѣшается проложить себѣ особый путь, и пишетъ «Фелицу», — произведение до того самобытное и оригинальное, исполненное ума и поэтической граціи, что эстетики сблизись съ толку, не зная, къ какому роду сочиненій отнести его. Для «Фелицы» Державину не было образцовъ ни въ русской и ни въ какой другой литературѣ. Какъ бы онъ много выигралъ, если бъ никогда не сходилъ съ «своего особаго пути»! Но на одной струнѣ не много наиграешь, а другихъ не было. Да и не такое тогда время, чтобъ поэтъ могъ всегда игнорировать своей дорогой, не забывая на чужія: Державинъ, этотъ колоссъ не только въ сравненіи съ какимъ-нибудь Херасковымъ, но и съ самимъ Ломоносовымъ, никогда не переставалъ смотрѣть на нихъ, какъ на высшіе образцы.

И удивительно ли это, если Дмитріевъ, поэтъ уже другого, несравненно болѣе образованнаго поколѣнія, сказалъ о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца въ зоилахъ поютъ:

Хераскову они вреда не нанесутъ;  
Владимиръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ  
И въ храмъ безсмертья приведутъ.

Все это доказываетъ только, что поэзія не является вдругъ готовой: поэзіи нужно время для развитія. Державинъ былъ только первымъ ея проблескомъ и провозвѣстникомъ на Руси. Дѣлаемое Полевымъ раздѣленіе поэтовъ на истинныхъ и ложныхъ совершенно произвольно. Ложный поэтъ такое же ложное выраженіе, какъ и холодный огонь, сухая вода. Одинъ поэтъ можетъ быть выше, другой ниже, и такъ до безконечности; но какъ бы ни малъ былъ поэтъ, онъ уже не ложный поэтъ, если только онъ поэтъ. И потому мы никакъ не можемъ согласиться съ Полевымъ, чтобъ на Руси было два поэта — Державинъ и Пушкинъ. Мы считаемъ поэтами (само собой разумѣется, истинными) не только Крылова, Жуковского и Батюшкова, но Хемницера, Фонвизина, Карамзина, Дмитріева, Озерова, и думаемъ, что русская поэзія послѣ Державина должна была пройти чрезъ всѣхъ нихъ, чтобъ дойти до полнаго своего развитія въ Пушкинѣ. По-нашему, Державинъ это — Пушкинъ, не перешедшій

черезъ рядъ именованныхъ нами поэтовъ и черезъ поколѣнія, которыхъ они были выразителями; Пушкинъ — это Державинъ, перешедшій черезъ нихъ. Разумѣется, этого сравненія, сдѣланнаго для поясненія нашей мысли, нельзя принимать буквально, уже и потому, что Пушкинъ и въ отношеніи къ естественному таланту былъ выше, глубже и многостороннѣе Державина: его талантъ обнималъ и лирику, и эпопею, и драму, и во всѣхъ странахъ міра былъ у себя дома. Вспомните «Галуба», «Каменнаго Гостя», «Египетскія Ночи», «Мѣднаго Всадника», «Русалку», Сцену изъ Фауста», «Мопарта и Сальери», «Пиръ во время чумы», опыты восточной поэзіи, антологическія стихотворенія, — какое разнообразіе!..

Если у Державина нѣтъ ни одной пьесы, которая была бы художественна, т. е. вполне выдержана, т. е. въ время и на мѣстѣ заключена, окончательно отдѣлана, чужда прозаическихъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, охлаждающихъ чувство читателя, чужда риторики, неточныхъ словъ и фразъ, всего лишняго; если у него такъ много пьесъ наполовину хорошихъ, наполовину плохихъ и еще больше совершенно плохихъ, — въ этомъ, повторяемъ, виновать не онъ, а его время; это происходило не отъ слабого таланта, а отъ времени. На долю Державина выпало неудобство быть начинающимъ и явиться въ неблагоприятное для поэзіи время: вотъ причина всѣхъ недостатковъ его поэзіи, тогда какъ всѣ ея красоты принадлежатъ одному ему и составляютъ его неотъемлемую заслугу.

Но какъ бы то ни было, теперь его уже не читаютъ; теперь его поэзія болѣе предметъ изученія, нежели наслажденія. И въ этомъ отношеніи онъ вполне поэтъ классическій: немного есть писателей (и не у однихъ насъ), изученіе которыхъ можетъ быть такъ поучительно для юношества. Таково свойство гениа: его недостатки такъ же поучительны, какъ и достоинства. Только для изученія Державина одна эстетическая точка воззрѣнія никуда не годится; его должно изучать и съ эстетической, и съ исторической точки зрѣнія.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ благомыслящихъ людей: чтѣ въ нашемъ сужденіи о Державинѣ, если бъ даже оно было и совершенно ошибочно и ложно, чтѣ въ немъ оскорбительнаго для памяти Державина и для чести русской литературы, какъ угодно находить его нашему критику, Полевому?..

*Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г., или историческая картина достопамятныхъ событий въ Россіи за сто лѣтъ. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голицына-Кутузова-Смоленскаго. Сочиненіе Николая Полевого. Часть 1-я. 1845.*

Во всякой литературѣ должно отличать двѣ стороны—ученую и художественную, и беллетристическую. Къ первой принадлежатъ произведенія глубокой эрудиціи, строгаго искусства, въ обоихъ случаяхъ—плоды труда обдуманнаго, зрѣлаго. Ни ученый, ни художникъ ничего не производятъ безъ призванія, безъ любви, безъ страсти, ничего не производятъ по случаю, кстаги (à propos), на заказъ, къ сроку. И потому оба они творятъ не для минуты, не для мгновеннаго удовольствія толпы, и если не каждому изъ нихъ суждено творить для вѣковъ, то каждый изъ нихъ, трудясь, думаетъ не о настоящемъ только времени, но и о будущемъ, желая успѣха при жизни, желаетъ, чтобъ и послѣ смерти трудъ его не терялъ своего интереса. Но ученые и художники, особенно великіе—аристократы человѣчества: они трудятся не для всѣхъ, а только для избранныхъ. Это особенно относится къ обществу, въ которомъ просвѣщеніе и образованіе не равно разлиты по всѣмъ его классамъ, но однимъ доступны больше, другимъ меньше, а третьимъ и вовсе недоступны. Однако жъ благодѣянія литературы—этого могущественнаго средства къ образованію массъ—должны простираться на всѣхъ. Не всякій можетъ и долженъ быть ученымъ, но всякій долженъ имѣть общія познанія; не всякому доступно высокое искусство, но для всякаго должно существовать наслажденіе прекраснымъ. Для этого наука и искусство должны быть сведены съ ихъ высокаго, недоступнаго для толпы пьедестала, и черезъ это приближены къ понятію массъ. Эта въ одно и то же время и мелкая, и великая роль принадлежитъ беллетристикѣ. И наука, и искусство имѣютъ свою беллетристику и своихъ беллетристовъ. Что такое беллетристъ? Слово «беллетристъ» происходитъ отъ belles-lettres, т. е. изящная словесность; слѣдовательно, въ первоначальномъ своемъ значеніи слово «беллетристъ» есть то же, что литераторъ, занимающийся изящной словесностью,—то же, что стихотворецъ, нувеллистъ, романистъ. Но какъ въ послѣднее время изящество изложенія сдѣлалось необходимымъ условіемъ даже сочиненій, не принадлежащихъ къ области искусства, а потребность въ образованіи для массъ сдѣлала популярность изложенія необходимымъ условіемъ науки, то влѣдствіе этого литература приняла новый характеръ:

съ одной стороны, она перестала быть исключительнымъ достояніемъ немногихъ избранныхъ, а съ другой, угождая вкусу и потребностямъ всѣхъ и каждаго,—она перешла, такъ сказать, въ руки дѣятелей болѣе скоро и много, нежели прочно пишущихъ, болѣе многочисленныхъ, нежели замѣчательныхъ по силѣ таланта: эти-то люди и должны называться беллетристами. Беллетристъ относится къ ученому и художнику, какъ переводчикъ къ автору, котораго онъ переводитъ: владѣя своимъ собственнымъ талантомъ, онъ все-таки живетъ чужимъ умомъ, чужимъ гениемъ. Наука и искусство никогда не бываютъ ремесломъ; беллетристика тоже не ремесло—она выше ремесла, но ниже искусства: она середина между ними. Беллетристика къ поэзіи относится, какъ диллетантизмъ къ художественной дѣятельности; къ наукѣ—какъ образованіе къ просвѣщенію. Чтобъ быть беллетристомъ, надо имѣть призваніе, страсть, талантъ, особенно талантъ, но не гений. Можно сказать, что всякій поэтъ, всякій ученый, у котораго есть талантъ, но нѣтъ генія,—беллетристъ. Поэтому главное, существенное различіе между произведеніями ученаго и художника и между произведеніями беллетриста состоитъ въ томъ, что первые пишутъ для вѣковъ, а послѣдній—для минуты. Есть ученныя сочиненія, давно потерявшія цѣну, влѣдствіе дальнѣйшаго развитія и большаго успѣховъ науки; но, переставъ быть авторитетомъ, они все-таки не забыты, не потеряны изъ вида, но гордо и непоколебимо стоятъ, какъ вѣхи, указывающія путь, по которому шла наука, развитія, которыхъ она достигла. Не существующіе для толпы и диллетантовъ, эти старые труды гениевъ науки всегда живы для новыхъ ученыхъ, знающихъ исторію своей науки. Чтò касается до произведеній искусства, ихъ достоинство утверждается только временемъ, и, подобно вину, они отъ него пріобрѣтаютъ свой букетъ. Для произведеній же беллетристики время есть безпощадный Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ: время производитъ ихъ тысячами,—время и пожираетъ ихъ тысячами. Беллетристъ торопится рвать лавры, пока они растутъ для него; ему нужно утомлять вниманіе публики, и онъ изумляетъ ее своей дѣятельностью, какъ бы зная, что, забывъ его на минуту, она совсѣмъ его забудетъ. Беллетристъ пишетъ легко и скоро: онъ на все способенъ, талантъ его гибокъ; его дѣятельность можно подстрекать и, такъ сказать, покупать. Ему можетъ сказать и журналистъ, и книгопродавецъ: «напишите мнѣ то или это, въ такомъ-то родѣ, въ такомъ-то объемѣ и къ такому-то времени», и онъ возьмется и напишетъ. Извѣстно, что «Вѣчный Жидъ» на-

писанъ Эженомъ Сю по заказу журнала „Constitutionnel“, и Тьеръ, мнѣній котораго этотъ журналъ есть органъ, сказалъ Эжену Сю, какіе вопросы должно поднять въ этомъ романѣ—напасть на иезуитовъ, напомнить о поэзіи Наполеоновскаго солдата и т. д.: вотъ беллетристъ! Жоржъ Зандъ тоже печатаетъ свои романы въ фельетонахъ журналовъ и беретъ за нихъ деньги; но пишетъ не по заказу, и не торгуется за романъ, который еще не написанъ или только пишется: вотъ художникъ! «Вѣчный Жидъ» надѣлалъ шума въ тысячу разъ больше, нежели, напримѣръ, «Теверино»: «Вѣчный Жидъ» нравился толпѣ,—«Теверино» восхищаетъ немногихъ; но зато первый уже умеръ въ самой Франціи, едва успѣвъ дойти до конца, а торжество второго еще впереди, и все больше и больше...

Однако жъ было бы нелѣпымъ педантизмомъ смотрѣть на беллетристику и беллетристовъ съ презрѣніемъ: они необходимы и совершаютъ великое дѣло. Безъ нихъ умственныя наслажденія и—результаты этихъ наслажденій—развитіе ума, образованіе сердца не существовали бы для огромнаго числа людей, которые, по своей натурѣ или по недостатку воспитанія, не могли бы черпать изъ истиннаго источника искусства. Есть люди, для которыхъ «Вѣчный Жидъ»—колоссальное твореніе, идеалъ романа, и которыхъ эстетическія требованія никогда не пойдутъ дальше этой сказки: пусть же они читаютъ ее, вѣдь и имъ надобно же что-нибудь читать! Есть другіе: они начнутъ «Вѣчнымъ Жидомъ», а кончатъ «Теверино», отъ котораго уже никогда не воротятся ни къ какому «Вѣчному Жиду», за что все-таки спасибо «Вѣчному» же «Жиду»...

Беллетристика сама по себѣ не можетъ составить богатства литературы; но, при сильномъ развитіи науки и искусства въ народѣ, она дѣлаетъ литературу богатой и блестящей. Доказательствомъ тому служатъ французская литература, переводы съ которой наводняютъ все другія европейскія литературы.

Вотъ почему одинъ изъ недостатковъ, одинъ изъ очевидныхъ признаковъ бѣдности русской литературы состоитъ въ томъ, что у насъ почти нѣтъ беллетристики и больше гениевъ, нежели талантовъ (что бы ни говорили и какъ бы ни издѣвались надъ этой мыслью невѣжды, умѣющіе придираться только къ словамъ, но не понимающіе мыслей). Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоить только взглянуть на исторію русской литературы. Почти до временъ Екатерины Ломоносовъ одинъ составлялъ всю русскую литературу. Потомъ явились Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Державинъ, Богдановичъ, Фонви-

зинъ,—и все равно слыли за великихъ писателей, за гениевъ,—а между тѣмъ въ ихъ время нельзя насчитать и десятка второстепенныхъ писателей, которые пользовались бы тогда какой-нибудь извѣстностью. Въ Карамзинскую эпоху явились уже и беллетристы, но въ маломъ числѣ и мало писавшіе; за Пушкинымъ ихъ вышло уже и довольно; но это были беллетристы по таланту, а не по дѣятельности, и почти все они писали такъ мало, что ихъ можно было считать скорѣе за литературныхъ наѣздниковъ, нежели за дѣятельныхъ и плодovitыхъ беллетристовъ. Изъ нихъ должно исключить двухъ; это—Полевого и Кукольника. Вотъ беллетристы въ истинномъ значеніи слова! Кукольникъ пишетъ по крайней мѣрѣ за десятерыхъ самыхъ дѣятельныхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ; Полевой—по крайней мѣрѣ за сто... Такъ какъ предметъ этой статьи—Полевой, то и будемъ говорить только о немъ. Многие думаютъ, когда успѣваетъ онъ писать книгу за книгой, статью за статьей, романъ за романомъ, повѣсть за повѣстью, драму за драмой: удивленіе не совсемъ основательно! Оно больше шло бы къ Пушкину (если бъ Пушкинъ такъ много писалъ), нежели къ Полевому. Полевой—беллетристъ: этимъ все сказано, въ этомъ разгадка загадки. У него есть подъ рукою классическіе писатели, библиографическіе, историческіе и энциклопедическіе словари: матеріалъ готовый, источники неисчерпаемые,—а онъ вѣдь не создаетъ: онъ только пересказываетъ сказанное, передѣлываетъ сдѣланное, но пересказываетъ и передѣлываетъ такъ, какъ нужно для пользы и удовольствія той многочисленной братіи, чающей движенія воды, которая стоитъ въ преддверіи храма грамотности, еще не готовая войти въ самый храмъ. И эта дѣятельность, столь пестрая, если не многосторонняя, столь спокойная, если не энергическая и не могущественная, столь шумливая, если не громкая, столь плодущая, если не плодородная,—эта дѣятельность есть даръ природы, призваніе, страсть, а не труженичество, не торговашество, какъ у нѣкоторыхъ писавъ, которые готовы перебить у другого всякое предпріятіе и вопіютъ о своихъ заслугахъ, своей благонамѣренности и безкорыстіи при всякомъ чужомъ усѣхѣ, отнимающемъ у нихъ сонъ и аппетитъ... Итакъ, несмотря на наше рѣшительное несогласіе со взглядами Полевого, высшими и низшими, на все предметы, подлежащія вѣдомству литературы, несмотря на его вылазки прогнѣвъ нашихъ мнѣній, мы все-таки скажемъ, что желаемъ русской литературѣ побольше такихъ беллетристовъ, какъ Полевой; но вмѣстѣ съ тѣмъ желаемъ, чтобы, для ея чести и пользы, они

чаще смѣнялись новыми, и тѣмъ избавляли бы русскую литературу отъ устарѣлыхъ мнѣній, отсталыхъ понятій и безсильныхъ, возбуждающихъ болѣзненное состраданіе, попытокъ играть важную роль въ чуждомъ имъ мѣрѣ новыхъ поколѣній...

Новая книга Полевого—«Столѣтіе Россіи» есть чисто беллетристическое произведеніе. Оно написано случайно и на случай, какъ признается самъ авторъ. Въ одинъ прекрасный день—нѣтъ, въ одинъ прекрасный вечеръ... но пусть самъ Полевой расскажетъ вамъ это событіе:

Сѣверная русская столица, освѣщенная свѣтомъ *невечеряющаго* лѣтняго вечера, кипѣла жизнью, когда задумчиво остановился я передъ изваяніемъ великаго *вожденачальника*, архистратига *дванадцатаго* года князя Михаила Кутузова-Смоленскаго, и въ душѣ моей мелькнула мысль: *сто лѣтъ!*

„Сто лѣтъ“ я, думалъ я, смотря на изваніе русскаго воеводы: „сто лѣтъ совершилось съ того года, когда родился ты, мужъ великій! Сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги (?), и уже тридцать два года, какъ почилъ ты среди потухшихъ громовъ!“

Правду говорятъ иные, что поэзія—врагъ логики: по словамъ Полевого—«сто лѣтъ, въ которыя совершилъ ты свои подвиги»—можно подумать, что Кутузовъ началъ свои подвиги съ перваго же дня своего рожденія, т. е. съ 5-го сентября 1745 года... Но это сказано такъ—для красоты слога... Далѣе, тѣмъ же слогомъ описывается, какъ Полевой стоялъ на колѣняхъ подлѣ могилы великаго полководца и, облокотясь на ея рѣшетку, плакалъ, думалъ и мечталъ...

Теперь посмотрите, что такое беллетристъ. У ученаго подобная книга была бы плодомъ долговременнаго замысла, труда строгаго, дѣльнаго, серьезнаго, обдуманнаго. У Полевого это было дѣломъ минуты: лѣтмомъ онъ гулялъ, а осенью вышла книга. Не поди онъ гулять—и не было бы книги. Послѣ этого удивляйтесь, что паденіе яблока съ дерева было причиной великой теоріи Ньютона о тяготѣнн земли.. Потомъ: кому бы пришло въ голову писать исторію Россіи по поводу столѣтія, совершившагося со дня рожденія Кутузова? Кутузовъ—спаситель Россіи, мужъ доблестный и великій,—это аксіома; но все-таки важны и велики его подвиги, а *совсѣмъ* не день его рожденія, который никакъ не могъ быть эпохой въ исторіи Россіи. Но беллетристу нуженъ только поводъ, случай, придирка къ составленію книги. Полевой придрался—и довольно. Но ко дню рожденія Кутузова онъ придѣлалъ родъ введенія, въ которомъ кратко обозрѣлъ исторію Россіи отъ пришествія въ Русь норманновъ до царствованія императрицы Анны Иоанновны, которое у него уже не просто

обозрѣно, а рассказано, и съ котораго до конца рассказъ становится все подробнѣе и подробнѣе.

Разбирать книгу Полевого нѣтъ надобности: это чисто беллетристическое произведеніе или по случаю. Ни въ фактахъ, ни въ воззрѣніяхъ нѣтъ ничего новаго, ничего такого, что бъ не было много разъ говорено Кайдановымъ и подобными ему беллетристами исторіи. Ученый (а не беллетристъ) не сталъ бы писать такую книгу, если бъ видѣлъ, что онъ не умѣетъ или не можетъ сказать въ ней ничего новаго. Полевой не затруднился, а какъ будто бы даже обрадовался такому обстоятельству. И хорошо сдѣлалъ! Отъ него, какъ отъ беллетриста, никто и не будетъ требовать ничего особеннаго, а между тѣмъ найдется много людей, которые въ его книгѣ повторятъ, для памяти, читаное ими въ другихъ книгахъ, а нѣкоторые черезъ нее и въ первый разъ узнаютъ то, чего прежде не знали... Итакъ, для публики—новая книга, для журналовъ—новая пожизна, для литераторы—какъ будто новое движеніе; чего же болѣе? Да здравствуетъ беллетристика! А тамъ, глядишь, выйдетъ и вторая часть «Столѣтія Россіи». Что же будетъ въ ней?—Мечты.—Какъ? что такое?—Мечты! По крайней мѣрѣ вотъ какъ выразился самъ авторъ: «Нѣсколько мыслей будущему, — мыслей, которыя могутъ назваться мечтами». Это, вѣроятно, невольная дань прошедшему со стороны автора. Нѣкогда онъ издалъ свои повѣсти и рассказы подъ названіемъ «Мечты и Были»; это названіе (а особенно выраженная имъ мысль) такъ понравилось Полевому, что онъ рѣшился возобновить его,—и въ первой части «Столѣтія Россіи» предлагаетъ публикѣ Были, а во второй предлагаетъ ей то, что можно назвать Мечтам и...

#### По поводу дѣтскихъ книгъ.

Наконецъ, литература наша начинаетъ обращать вниманіе на дѣтей и заботиться о доставленіи имъ читательской пищи, способной развивать ихъ умъ и сердце. Странно, что она хлопочетъ о дѣтяхъ одинъ только разъ въ году—отъ праздника Рождества до праздника Пасхи, какъ будто въ убѣжденіи, что умъ и сердце дѣтей способны къ развитію именно только въ это время. Иной скептикъ, пожалуй, увидитъ тутъ чистую спекуляцію со стороны русской литературы или, лучше сказать, со стороны составителей, переводчиковъ и издателей дѣтскихъ книгъ,—увидитъ ихъ нѣжную заботливость больше



о своемъ собственномъ карманѣ, нежели о головахъ и сердцахъ дѣтей. Онъ скажетъ, пожалуй, что эти книги издаются передъ праздниками какъ игрушки, которыя покупаются «дражайшими» родителями для подарковъ дѣтямъ... Но скептики — такой народъ, который не вѣрять ничему высокому и прекрасному, никакому безкорыстію, особенно, если это безкорыстіе выгодно для кармана безкорыстныхъ людей. И потому не будемъ слушать злостныхъ навѣтовъ и внушеній, и воздадимъ должную дань хвалы безкорыстнымъ авторамъ, переводчикамъ и издателямъ тринадцати книжекъ.

Мнѣнія о полезности и необходимости дѣтскихъ книгъ теперь раздѣлились на двѣ противоположныя стороны. Одна утверждаетъ, что безъ этихъ книжекъ дѣтямъ несть спасенія; другая говоритъ, что онѣ не только бесполезны, но и положительно вредны, и что если дѣтямъ должно читать что-нибудь кромѣ учебниковъ, такъ это книги, которыя читаются и взрослыми, разумеется, при условіи строгаго выбора. Мы сами много думали объ этомъ вопросѣ, и теперь рѣшительно объявляемъ себя на сторонѣ второго мнѣнія. До семи или около семи лѣтъ воспитаніе дитяти должно быть преимущественно физическое, но не въ духъ почтенной старины, которая буквально держалась значенія слова «воспитывать» и закармливала дѣтей чуть не на смерть, такъ что матерія подавляла въ нихъ духъ, и они смотрѣли не дѣтьми, а хорошо откормленными телятами, барашками или поросятами. Хорошо воспитанный ребенокъ не долженъ быть ни животнымъ, ни человѣкомъ, а ребенкомъ: лицо его должно носить на себѣ отпечатокъ здоровья, веселости, живости, ясности, и на немъ должно отражаться не столько присутствіе ума, сколько отсутствіе тупости и глупости. Излишне сильное и преждевременное нравственное развитіе въ дѣтяхъ такъ же вредно, какъ и развитіе тѣла въ ущербъ интеллектуальности: оно вредитъ правильному физическому развитію и, слѣдовательно, вредитъ здоровью — первѣйшему и драгоценнѣйшему изъ всѣхъ благъ и даровъ жизни. Говорятъ, что сильно, не по лѣтамъ развитыя дѣти бываютъ подвержены мозговымъ воспаленіямъ, именно по причинѣ этой развитости. Развивать дѣтей должна наука, ея постепенное, медленное, но тѣмъ болѣе вѣрное изученіе, а не книжки, писанныя для забавы и приучающія дѣтей къ поверхностности, легкомыслію и мечтательности. Итакъ, до семи лѣтъ пусть дитя ѣстъ, пьетъ, спитъ, играетъ и говоритъ, а съ семи лѣтъ пусть оно сверхъ всего этого еще и учится. Чѣмъ же наполнить время, остающееся ему отъ ученія? — Игрой, рѣзвостью, бѣганьемъ, гимнастическими за-

бавами. Когда дитя подвинется къ своему двѣнадцатилѣтнему возрасту, и игры не будутъ уже вполне удовлетворять его, когда пробудится въ немъ потребность удовлетворять чѣмъ-нибудь и фантазію, и умъ, — тогда давайте ему романы Вальтеръ-Скотта и Купера; но только и тутъ не давайте ему зачитываться. Почему бы, напримеръ, не дать ему въ руки «Донъ-Кихота» не искаженного, не передѣланнаго? Для дѣтей должны существовать не дѣтскія книги, но особенныя изданія книгъ, писанныхъ для взрослыхъ, — изданія, въ которыхъ должно быть исключено все такое, о чемъ имъ рано знать, все, что можетъ дать ихъ фантазіи вредное для здоровья и нравственности направленіе. Такимъ образомъ должно замѣнить ночную сцену въ «Донъ-Кихотѣ», гдѣ драка рыцаря печальнаго образа и его оруженосца съ погонщикомъ муловъ происходитъ отъ трактирной служанки, условившейся прійти къ погонщику на постель. Но опошлять для дѣтей великія произведенія, приравливая ихъ къ дѣтскому возрасту, — ни на что не похоже: великія произведенія дѣлаются вздорными сказками, и дѣтямъ отъ нихъ нѣтъ никакой пользы. Сказочки и повѣсти, которыми напитываютъ малолѣтнихъ дѣтей нарочно для нихъ составляемыя книжки, сильно возбуждаютъ въ нихъ самую опасную изъ душевныхъ способностей — фантазію, и дѣлаютъ изъ дѣтей мечтателей, книжниковъ, ревереровъ, записныхъ читальщиковъ. Воля ваша, а гораздо пріятнѣе видѣть ребенка весело, шумливо, но прилично рѣзвящимся, нежели сидящимъ не за учебной книгой. Можно давать дѣтямъ и книги для забавы, но преимущественно съ картинками, съ объяснительнымъ текстомъ, лишеннымъ особенной занимательности. Въ такомъ случаѣ картинки непременно должны быть хороши, а текстъ писанъ правильнымъ хорошимъ языкомъ... Вообще этотъ предметъ обширный, о которомъ многое можно сказать, что теперь не позволяеть намъ ни мѣсто, ни время.

Стихотворенія Аполлона Григорьева. *Опб.* 1846.  
Стихотворенія 1845 года, Я. П. Полонскаго.  
*Одесса.* 1846.

Было время, когда всѣ твердили о томъ, что поэту нужны только талантъ и вдохновеніе; что онъ ученъ безъ науки, всезнающъ безъ ученія; что онъ самъ себѣ судья и законъ; что его фантазія есть источникъ откровенія всѣхъ тайнъ бытія; что внутренній міръ его опущеній и видѣній интереснѣе всѣхъ фактовъ дѣйствительности, и что поэтому онъ можетъ не знать, что дѣлается вокругъ него на бѣломъ свѣтѣ, и долженъ

говорить намъ, толпѣ, только о самомъ себѣ; а мы, толпа, стоя на колѣняхъ, съ разинутыми ртами, должны внимать ему съ благоговѣніемъ, считая себя счастливыми, если ему вздумается ругнуть насъ хорошенько энергическимъ стишкомъ.

Такое возрѣніе на поэта господствовало у насъ въ эпоху такъ-называемаго романтизма блаженной памяти. И дѣйствительно, тогда гениі могъ легко обходиться безъ всякихъ наукъ, кромѣ азбуки, а въ гениі попасть можно было всякому, у кого была способность точить гладкіе стинки и было довольно мелкаго самолюбія, чтобъ вообразить себя выше «презрѣнной толпы», т. е. всѣхъ людей, которые дѣйствительно что-нибудь знаютъ, что-нибудь понимаютъ и въ особенности чѣмъ-нибудь занимаются, что-нибудь дѣлаютъ...

Теперь не то: всѣ кричатъ о необходимости знанія для поэта, объ идеяхъ, о направленіи, о сочувствіи современной дѣйствительности. Явилась другая крайность: люди безъ таланта поэзіи стали дѣлаться поэтами, потому ли, что въ самомъ дѣлѣ что-нибудь узнали и поняли, или потому, что захватили нѣсколько чужихъ ходячихъ мыслей и вообразили ихъ своими собственными. Между этими весьма смѣшными крайностями есть явленія, болѣе или менѣе заслуживающія вниманія, — но опять-таки крайности. Одни изъ нихъ думаютъ умъ выдать за поэзію, другіе — обойтись безъ ума при помощи небольшого дарованія къ поэзіи... И это естественно, потому что въ обѣихъ изъ этихъ крайностей есть истина, хотя и нѣтъ ея ни въ одной отдѣльно взятой.

Безъ естественнаго, непосредственнаго таланта творчества невозможно быть поэтомъ. Тутъ не помогутъ ни знанія, ни ученость, ни умъ, ни характеръ, ни даже способность глубоко чувствовать и понимать изищное. Но и одного естественнаго таланта мало. Можно еще обойтись безъ науки, какъ науки; но невозможно не стоять по образованію наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, невозможно обойтись безъ живой, кровной симпатіи съ духомъ, направленіемъ, надеждами, радостями и болѣзнями, — словомъ, со всѣмъ добромъ и зломъ своей эпохи. Однако жъ и этимъ еще не все оканчивается. Эта симпатія не вычитывается изъ книгъ, не добывается въ аудиторіяхъ, не почерпается изъ критики и библиографіи. Ученіе, мысль могутъ только развить и укрѣпить ее, но не могутъ дать ее тому, кто не родился съ нею. Въ поэтѣ все должно быть своего рода талантомъ (даромъ природы), все — даже направленіе.

Не всякому быть гениемъ, и талантъ имѣетъ право на общее вниманіе и, если хотите, удивленіе. Пусть онъ является не

съ своей собственной мыслью, но съ мыслью гениа, покорившаго его своему неотразимому вліянію; зато пусть онъ возьметъ эту мысль въ такой мѣрѣ, въ какой доступна она его силамъ, пусть помнитъ, что усиліе не есть сила, и потомъ пусть проведетъ эту мысль черезъ всю свою личность, а не только черезъ свою голову. Тогда онъ не только — талантъ, но еще и заслуживающій вниманія талантъ. Безъ этого же онъ — просто талантъ, явленіе для многихъ, можетъ быть, блестящее, но для всѣхъ бесплодное и пустое! Другими словами: талантъ поэта долженъ быть тѣсно связанъ съ его натурой, его личностью. Безъ этого онъ только способность подражанія — не больше. Чтò нужды, если поэтъ не переводитъ, не заимствуетъ, никому явно и съ намѣреніемъ не подражаетъ, даже никого не напоминаетъ? Пусть у него нѣтъ ничего чужого; зато у него ничего нѣтъ своего, а это значитъ 0=0... Жуковский — не оригинальный поэтъ, а переводчикъ; но выикнете въ его переводы, и вы увидите, что такимъ переводчикомъ надо было родиться. Жуковский переводилъ не все даже и изъ любимыхъ своихъ поэтовъ, но выбиралъ изъ нихъ только то, сочувствіе къ чему глубоко лежало въ его натурѣ, какъ ея свойство, ея особенность...

Талантъ, не связанный съ натурой поэта, какъ человѣка, какъ личность, есть талантъ внѣшній. Если въ немъ нѣтъ никакого сочувствія съ идеями и духомъ времени, онъ положительно пустъ и ничтоженъ; но еще жалче онъ, если вздумаетъ почерпнуть это сочувствіе изъ книгъ...

На такія мысли неволью навели насъ двѣ небольшія книжки, заглавія которыхъ выставлены выше.

Давно уже вниманіе наше останавливалось на стихотвореніяхъ Григорьева, помѣшавшихся въ одномъ изъ петербургскихъ періодическихъ изданій. Мы всегда читали ихъ съ интересомъ, хотя ожиданіе наше чаще бывало обмануто, нежели удовлетворено. Несмотря на то, книжка стихотвореній Григорьева болѣе опечалила насъ, нежели порадовала. Мы прочли не больше, чѣмъ съ принужденіемъ — почти со скукой. Дѣло въ томъ, что изъ нея мы окончательно убѣдились, что онъ не поэтъ. Въ его стихотвореніяхъ прорываются проблески поэзіи, но поэзіи ума, негодования. Видишь въ нихъ умъ и чувство, но не видишь фантазіи, творчества, даже стиха. Правда, мѣстами стихъ его бываетъ силенъ и прекрасенъ, но тогда только, когда онъ одушевленъ негодованиемъ, превращается въ бичъ сатиры, касаясь нѣкоторыхъ явленій дѣйствительности (какъ, напримѣръ, въ разсказѣ «Олимпій Радинъ», мимоходныя замѣтки о Москвѣ, о семейственности). Въ лиризмъ же его стихъ

прозаиченъ, негладокъ, нескладенъ, вяль. Вездѣ одни разсужденія, нигдѣ образы, картины. Сверхъ того паоосъ лиризма Григорьева однообразенъ, не столько личенъ, сколько эгоистиченъ, не столько истиненъ, сколько заимствованъ. Григорьевъ—почти неизбѣнный герой своихъ стихотвореній. Онъ—пѣвецъ вѣчно одного и того же предмета—собственного своего страданія. Въ наше время страданія ни по чемъ,—мы всё страдаемъ наповаль, особенно въ стихахъ. Вина этому Байронъ, который своимъ могущественнымъ влияниемъ всё литературы Европы наладилъ на тонъ страданія. У насъ это начинало, было, выхлѣдитъ изъ моды; но примѣръ Лермонтова вновь вывелъ на свѣтъ нѣсколько страдальцевъ. Правду говорятъ, что подражатели доводятъ до крайности мысль своего образа, напоминая этимъ знаменитое изреченіе Наполеона: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»... Герои Лермонтова—натуры субъективныя, которыя скорѣе готовы разрушить и себя, и міръ, нежели поддѣлываться подъ то, что отвергаетъ ихъ гордая и свободная мысль. Люди судьбы, они борются съ ней или гордо падаютъ подъ ея ударами, но говорятъ просто и не шеголяютъ страданіемъ. Григорьевъ силится сдѣлать изъ своей поэзии апофеозу страданія; но читатель не сочувствуетъ его страданію, потому что не понимаетъ ни причины его, ни его характера,—и мысль поэта носится передъ нимъ въ какомъ-то туманѣ. Какое это страданіе, отчего оно—Богъ вѣсть! Есть ли это гордость ума, эгоизмъ могущественной натуры, сила отрицанія, при жадѣ истины?—Едва ли знаетъ это самъ поэтъ. Въ его гимнахъ есть признаки довольно дешеваго примиренія при помощи мистицизма, на манеръ Ө. Глики; а въ его «разныхъ стихотвореніяхъ» проглядываетъ скептицизмъ, отзывавшійся больше неуживчивостью безпокойнаго самолюбія, нежели тревогами безпокойнаго ума. Немного есть у Григорьева стихотвореній, въ которыхъ не говорилось бы о «гордости страданія», о «безумномъ счастьи страданія». Это значитъ—сдѣлать изъ страданія ремесло, что кажется намъ не совсемъ истиннымъ и не совсемъ естественнымъ. «Гордость страданія»—сказано слишкомъ заносчиво; ее надо оправдать, разумѣется, стихами, но какими—вотъ вопросъ! «Безумное счастье страданія»—вещь возможная, но это не нормальное состояніе человѣка, романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастье отъ счастья, но счастье отъ страданія—воля ваша—отъ него надо лѣчиться классицизмомъ здраваго смысла, полезной дѣятельностью и безприязнительностью на превос-

ходство надъ остальными слабыми смертными...

Можетъ быть, мы ошибаемся; но въ такомъ случаѣ мы ошибаемся искренно. Какими бы ни казались намъ стихотворенія Григорьева, мы все-таки видѣли въ нихъ не совсемъ обыкновенное явленіе, и они возбуждали въ насъ живой интересъ къ личности ихъ автора, о которомъ мы знаемъ только по его стихотвореніямъ. Мы сказали выше, что онъ не поэтъ, и повторяемъ это теперь; но онъ глубоко чувствуетъ и многое глубоко понимаетъ; это иногда дѣлаетъ его поэтомъ. Для доказательства выпишемъ его прекрасное стихотвореніе «Городъ»:

Да, я люблю его, громадный, гордый градъ,  
Но не за то, за что другие;  
Не зданія его, не пышный блескъ палатъ  
И не граниты вѣковые  
Я въ немъ люблю, о нѣтъ! Скорбящею душой  
Я прозѣваю въ немъ иное—  
Его страданіе подъ ледяной корой,  
Его страданіе больное.  
Пусть почву шагую онъ заковалъ въ гранитъ  
И защитилъ ее отъ моря,  
И пусть сурово онъ въ самомъ себѣ таитъ  
Волненье радости и горя,  
И пусть его рѣка къ стопамъ его несетъ  
И роскоши, и вѣги дани,—  
На ихъ отпечатлѣнъ тяжелый слѣдъ заботъ,  
Людского пога и страданій.  
И пусть горятъ свѣтло огни его палатъ,  
Пусть слышны въ нихъ веселья звуки—  
Обманъ, одинъ обманъ! Они не заглушаютъ  
Безумно-страшныхъ стоновъ муки!  
Страданіе одно привыкъ я подмѣчать,  
Въ окнѣ ль съ богатою гардиной,  
Иль въ темномъ уголку—вездѣ его печать!  
Страданье уровень единой!  
И въ тѣ часы, когда на городъ гордый мой  
Ложится ночь безъ тѣмы и тѣни,  
Когда прозрачно все, мелькаетъ предо мной  
Рой отвратительныхъ видѣній...  
Пусть ночь ясна, какъ день, пусть тихо все во-  
Пусть все прозрачно и спокойно,— [кругъ,  
Въ покоѣ томъ затихъ на время злой недугъ,  
И то прозрачность язвы гнойной.

Въ этомъ стихѣ есть сила, а въ цѣлой пьесѣ дышитъ своего рода поэтическое обаяніе; но всего болѣе поражаетъ васъ въ ней болѣзненно настроенный умъ. Выпишемъ еще пьесу:

Нѣтъ, не тебѣ итти со мной  
Къ высокой цѣли бытія,  
И не тебѣ душа моя  
Звала подругой и сестрой.  
Я не тебя въ тебѣ любилъ,  
Но лучшей участи залогъ,  
Но ту печать, которой Богъ  
Твою природу заклеимилъ.  
И думалъ я, что ту печать  
Ты сохранишь среди борьбы,  
Что противъ свѣта и судьбы  
Ты въ силахъ голову поднять.  
Но дорогъ судъ тебѣ людской,  
И мнѣнье дорого рабовъ,  
Не ненавишь ты оковъ:  
Мой путь иной, мой путь не твой.

Тебя молить я слишкомъ гордъ,—  
Мы не равны ни здѣ, ни тамъ,—  
И въ хорѣ звѣздъ не слится намъ  
Въ созвучіи родственныхъ аккордъ.  
И пусть твоей образъ роковой  
Мнѣ никогда не позабыть...  
Мнѣ стыдно женщину любить,  
И не назвать ее сестрой.

И опять-таки, несмотря на опутительный недостатокъ поэтического выраженія, мы готовы были признать это стихотвореніе вполне прекраснымъ, если бы его не испортила риторическая фраза:

И въ хорѣ звѣздъ не слится намъ  
Въ созвучіи родственной аккордъ.

Но что такое, напримѣръ, стихотворенія «Героямъ нашего времени»?

Нѣтъ, нѣтъ,—вашъ путь иной. И дикъ и страшенъ вамъ,  
Чернильныхъ жаркихъ битвъ копеечнымъ бойцамъ,

Подъятый факель Немезиды;  
Вамъ низость по душѣ, вамъ смѣхъ страшнѣе зла,

Вы сердцемъ любите лишь лай изъ-за угла,  
Да бой пѣтушій за обиды!  
И гдѣ же вамъ любить, и гдѣ же вамъ страдать

Страданіемъ любви Распятаго за братій?  
И гдѣ же вамъ чело безрешетно подъять  
Подъ взмахомъ топора общественныхъ понятій?  
Нѣтъ, нѣтъ,—вашъ путь иной, и крестъ не вамъ нести:

Тяжелъ, не по плечамъ, и вы на полпути  
Сробѣте предъ общимъ крикомъ,  
Зане на трапезѣ божественной любви  
Вы не причастники, не ратоборцы вы  
О благородномъ и великомъ.  
И жребій жалкій вашъ, до пошлости смѣшной,  
Пророки ваши вамъ воспѣли...  
За сплетни праздныя, за эгоизмъ больной,  
Въ скотскомъ безстрастїи и съ гордостью нѣмой,

Безъ сожалѣнія и цѣли,  
Везумно погибать, и завѣщать друзьямъ  
Всю пустоту души и весь печальный хламъ  
Пустыхъ и дѣтскихъ грезъ, да шаткое безвѣрье;  
Иль цѣлымъ вѣкъ звонить досужимъ языкомъ  
О чудномъ вовсе вамъ великомъ и святомъ,  
Съ богохульствомъ лицемѣрья!..  
Нѣтъ, нѣтъ—вашъ путь иной!—Вы не видали ихъ,

Египта древняго живущихъ изваяній,  
Съ очами тихими, недвижныхъ и нѣмыхъ,  
Съ челою, сияющимъ отъ царственныхъ вѣнчаній.

Вы не видали ихъ,—въ недвижныхъ ихъ чертахъ

Вы жизни страшныхъ тайнъ безстрашного сознанья

Съ надеждой не прочли: имъ книга упованья  
По волѣ Вѣчнаго начертана въ звѣздахъ,  
Но вы не зрѣли ихъ, не видѣли межъ нами  
И тѣми сфинксами таинственную связь...  
Иль если бы видѣли,—нечистыми руками  
Съ подножїи совлекли бы, чтобъ уровнять ихъ съ вами

Въ демагогическую грязь!

Мы не споримъ, что въ первой половинѣ этого стихотворенія между плохими стихами есть и удачные, и смыслъ виденъ; но что

такое хотѣлъ сказать авторъ своими «египетскими изваяніями» — Богъ вѣсть!

Григорьевъ можетъ писать: но ему нужно сознать значеніе и характеръ своего таланта. По нашему мнѣнію, ключъ къ этому сознанію находится въ латинскомъ эпиграфѣ къ одной изъ неудачныхъ пьесъ его: «Fecit indignatio versum.» Но онъ вовсе не лирический поэтъ, и дѣлая себя героемъ своихъ стихотвореній, онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексїяхъ и опущенїяхъ. Пиша, онъ долженъ забыть о Лермонтовѣ, или сумѣть взять отъ него только свое, не касаясь чужого. Мы не отрицаемъ въ Григорьевѣ, какъ въ человѣкѣ, никакого нравственнаго превосходства, ни способности страдать; но желаемъ только, чтобъ онъ осторожнѣе и умѣреннѣе говорилъ въ своихъ стихахъ о томъ и другомъ, особенно о послѣднемъ.

Еще замѣчаніе: Григорьевъ любить употреблять слово *zane*, и это выходитъ у него крайне неловко. Это слово ввелъ Пушкинъ, но онъ употребилъ его только разъ въ «Борисѣ Годиноѣ», очень ловко, кстати и на мѣстѣ. Потомъ употребилъ его Баратынскій въ прекрасномъ стихотвореніи своемъ «На Смерть Гёте», гдѣ оно вышло тоже не совсемъ на мѣстѣ. Больше никто не употреблялъ этого слова. Оно хорошо для поэзіи, замѣняя книжное и бо и прозаическое потому что, по *usus tyrannus*—старая истина! Чего не могъ ввести Пушкинъ, того не введетъ Григорьевъ..

Полонскій находится въ обратномъ отношеніи къ Григорьеву. У него больше самостоятельнаго элемента поэзіи, слѣдовательно, больше таланта, но ни съ чѣмъ не связанный, чисто внѣшній талантъ этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ—такъ миниатюрень онъ... Заглавіе: «Стихотворенія 1845 года» обѣщаетъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; обѣщаніе нисколько не утѣшительное! «Стихотворенія 1845 г.» ужъ хуже стихотвореній, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ... Григорьеву есть о чемъ писать, но недостаетъ способности къ формѣ,—хотя и тутъ сила чувства и мысли иногда блистательно выручаетъ его; но Полонскому рѣшительно не о чемъ писать, т. е. нечего вкладывать въ свой гладкій, а иногда и дѣйствительно поэтический стихъ... Это заставляетъ его прибѣгать, за отсутствіемъ мысли, къ умничанію и хитрымъ рефлексїямъ. Прочтите его «Факиръ и Ключъ»: что это такое? Сто пудовъ посредственныхъ стиховъ тому, кто разгадаетъ и расплететъ эту путаницу словъ и стиховъ!... Къ числу пьесъ, подобно «Факиру и Ключу», отличающихся понятностью, принадлежатъ также «Ис-

горику» и «Юноша и Вѣкъ». Вообще въ этой книжкѣ стихотвореній Полонскаго попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и мѣста; но рѣшительно нѣтъ ни одного удачнаго стихотворенія.

Въ примѣръ лучшаго приводимъ «Тѣни»:

По небу синему тучки плывутъ,  
По дугу тѣни широко бѣгутъ;  
Тѣни ли толпой на меня налетятъ,  
Дальнія горы подь солнцемъ блестятъ;  
Солнце ль внезапно меня озаритъ,  
Тѣнь по горамъ полосами бѣжитъ.  
Такъ на душѣ чловѣка порой  
Думы, какъ тѣни, проходятъ толпой;  
Такъ иногда вдругъ тепло и светло  
Ясная мысль озаряетъ чело.

А вотъ въ примѣръ пошлости содержанія и формы:

Вы, ленты измятыя—  
*Секреты* любви!  
Вы письма завѣтныя—  
*Тираны* мои!  
Вы, пряди отрѣзанныхъ  
На память волосъ—  
Свидѣтели тайныя  
Растрченныхъ слезъ...  
Печали свидѣтели!  
Вы мнѣ, такъ и быть,  
Признайтесь хоть на ухо,  
Что весело жить...

Очень хорошо-съ?...

Вообще, прочитавъ книжку стихотвореній Григорьева, мы почему-то особенно припомнили эти стихи Лермонтова, которые во всякое приходили намъ часто на память, но никогда такъ кстати, какъ теперь:

Какъ язвы бойся вдохновенья...  
Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,  
Иль *плынной мысли раздраженья!*  
Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи...  
То кровь кипитъ, *то силъ избытокъ...*

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ  
Открыть въ душѣ давно безмолвной  
Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,  
Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный,—  
Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,  
Набрось на нихъ покровъ забвенья:  
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ  
Не передашь ты ихъ значенья.  
Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,  
Зайдетъ ли страсть съ грозой и выгой,—  
Не выходи на шумный паръ людей  
Съ своею бѣшеною подругой;  
Не унижай себя. Стыдися торговать  
То гнѣвомъ, то тоской послушной,  
И гной душевныхъ ранъ надменно выставлятъ  
На диво черни просодушной.  
Какое дѣло намъ, и пр.

Читая стихотворенія Полонскаго, мы почему-то невольно все твердили про себя эти два стиха старика добраго стараго времени, Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!  
Покойся, не понуждай къ перу мои руки!

Тереза Дюнойе. *Романъ Евгения Сю. Переводъ В. М. Строева. Спб. 1847. Четыре части.*

Матильда, записки молодой женщины. *Сочиненіе Евгения Сю, автора Парижскихъ Тайнъ и Вѣчнаго жидка. Переводъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный В. Строевымъ. Спб. 1846—1847. Тринадцатая часть частей.*

Сынъ тайны (Le Fils du Diable). *Романъ Поля Феваля. Спб. 1847. Два тома, восемь частей.*

Иезуитъ. *Характеристическая картина изъ (?) первой четверти восемнадцатаго столѣтія. Соч. К. Шиндлера. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1847. Три части.*

Романъ и повѣсть овладѣли въ наше время литературой, или вовсе вытѣснивъ, или оттѣснивъ на задній планъ всѣ другіе ея роды. Можно сказать безъ большого преувеличенія, что подь литературой въ наше время разумѣются романъ и повѣсть. Оставя на время въ сторонѣ разницу между романомъ и повѣстью, будемъ то и другое разумѣть подь однимъ первымъ именемъ, такъ какъ повѣсть есть не что иное, какъ видъ романа. Романъ выходитъ отдѣльно, — и если онъ хоть сколько-нибудь хорошъ или дуренъ въ любимомъ вкусѣ времени, — онъ будетъ имѣть успѣхъ, не залежится въ книжныхъ лавкахъ, а его авторъ и съ извѣстностью, и съ именемъ. Журналъ просто не можетъ существовать безъ романа. И добро бы еще журналъ въ нашемъ русскомъ смыслѣ, т. е. то, что въ Европѣ называется «обозрѣніемъ» (revue); нѣтъ! настоящій журналъ, то, что у насъ называется газетой, уже не можетъ поддерживаться только одной политикой, которая всѣхъ такъ интересуетъ и волнуетъ, къ которой всѣ такъ ненасытимо жадны. Въ фѣлетонахъ этихъ журналовъ печатаются длинные романы, и терпѣливые читатели въ продолженіе года, а иногда и слишкомъ, довольствуются двумя или много тремя главами «интереснаго» романа въ недѣлю, и каждый изъ нихъ пуще всего боится умереть прежде, нежели успѣетъ прочесть его послѣднюю заключительную главу, для пущей важности обыкновенно называемую «эпилогомъ»... Но вотъ и эпилогъ прочтенъ — глядь, въ слѣдующемъ, а иногда и въ томъ же листкѣ начало новаго романа — и опять трепещетъ за свою жизнь бѣдный читатель въ продолженіе года, вплоть до вождѣннаго эпилога... Журналы набили страшныя цѣны на романы, и теперь иной бездарный писакъ, въ родѣ Поля Феваля, на примѣръ, получаетъ, можетъ быть, тѣ же суммы, которыя назадъ тому дѣтъ тридцать казались баснословно-огромными, когда дѣло шло о романахъ отца и творца новѣйшаго романа, великаго и гениальнаго Вальтера Скотта... Но только люди съ замѣчательнымъ дарованіемъ, какъ Эженъ Сю, или съ какимъ-нибудь да-

ровниемъ, какъ Александръ Дюма, даже люди вовсе безъ дарованія, какъ уже упомянутый нами Поль Феваль, продаютъ по контрактамъ свое вдохновеніе или свой задоръ, свой талантъ или свою бездарность, словомъ, свою дѣятельность на столько-то лѣтъ такому-то журналу. О деньгахъ тутъ спору нѣтъ: онѣ считаются тутъ десятками тысячъ и восходятъ до сотенъ тысячъ — только пишите, пишите какъ можно больше, пишите день и ночь, пишите за двоихъ, за троихъ, а не станеть васъ на это одного, найдете себѣ сотрудниковъ, устройте фабрику... Что деньги — деньги вздоръ, дѣло — романъ, за романъ мы не пожалѣемъ денегъ и будемъ подписываться на журналы, лишь бы въ ихъ фельетонахъ тянулись безконечные романы.. Что же за чародѣй этотъ романъ? Въ чемъ заключается причина его владычества надъ грамотными массами? О чемъ онъ имъ говоритъ, чему ихъ учить, чѣмъ прельщаетъ?

Романъ порождёнъ рыцарскими временами, какъ и романсъ. Романское нарѣчіе, образованшееся на югѣ Франціи, дало ему имя. Содержание его составляли рыцарскіе подвиги; тутъ, разумѣется, важную роль играли красавицы и волшебники. Между дѣйствительнымъ и мечтательнымъ міромъ не проводилось никакой черты, и чѣмъ нелѣпѣе былъ рассказъ, тѣмъ казался онъ вѣроятнѣе. Отъ такихъ-то романовъ помѣшался благородный ламакскій дворянинъ, обезсмертившій себя, благодаря несравненному гению Сервантеса, подъ именемъ донъ-Кихота. Потомъ наступилъ вѣкъ сентиментально-аллегорическихъ романовъ, изъ которыхъ особенно былъ знаменитъ «Романъ Розы». Впрочемъ, полное торжество романа настало только въ XVIII вѣкѣ, не въ томъ смыслѣ, чтобы въ это время онъ получилъ определенное и настоящее значеніе, а въ томъ, что онъ сдѣлался любимымъ родомъ словесности преимущественно передъ всѣми другими ея родами. Но еще гораздо прежде XVIII вѣка явилось нѣсколько замѣчательныхъ твореній въ этомъ родѣ. Геніальный Рабле — этотъ Вольтеръ XVI вѣка, облекалъ сатиру въ форму чудовищно-безобразныхъ романовъ; и въ томъ же вѣкѣ великій Сервантесъ написалъ своего безсмертнаго «Донъ-Кихота», въ которомъ сатира явилась въ формѣ высоко-художественнаго романа. Въ XVII вѣкѣ Скарронъ попытался на изображеніе дѣйствительности, какъ понималъ ее веселый и циническій умъ его, въ своемъ „Roman Comique“<sup>1)</sup>, который навсегда останется за-

мѣчательнымъ произведеніемъ, какимъ по справедливости доселѣ считался.

Въ XVIII вѣкѣ романъ не получилъ никакого определеннаго значенія. Каждый писатель понималъ его по-своему. Ричардсонъ и Фильдингъ дѣлали изъ него картины частной семейной жизни, съ цѣлью установить для нея неизмѣняемыя моральныя правила, и потому онъ у нихъ былъ длиненъ, растянутъ, чопоренъ, поучителенъ и сухъ. Добрый нѣмецъ, Августъ Лафонтенъ, плѣнялъ въ романѣ чувствительныя души приторно-сладенькими мѣщанскими картинами семейственнаго счастья въ нѣмецкомъ вкусѣ. Французъ Дюкре-Дюмениль (Ducray Dumenil<sup>1)</sup>) рассказывалъ въ романѣ о дѣтяхъ, которыхъ рожденіе покрыто тайной, но которыя потомъ благополучно находятъ своихъ «дражайшихъ родителей», папеньку и мамёнку, и дѣлаются богатыми и счастливыми. Англичанка Анна Радклифъ, или Радклейфъ (Radcliffe), пугала въ романѣ воображеніемъ своихъ читателей явленіями мертвецовъ и призраковъ, которыя потомъ очень естественно объяснились тайными ходами и дверями въ замкахъ. Англичанинъ Левисъ (Lewis) угощалъ въ романѣ пылкое воображеніе своихъ читателей таинственными лицами, въ родѣ выходцевъ съ того свѣта.<sup>2)</sup> Нѣмецъ Шписъ сдѣлалъ изъ романа мистически-фантастически-аллегорическій рассказъ съ нравственной цѣлью. Многочисленное племя романовъ, подъ фирмой: «автора Ринальдо-Ринальдини», досыта кормило публику удалыми и иногда великодушными разбойниками. Г-жи Жанлисъ (Genlis) и Коттенъ (Cottin) прославились сентиментально-моральными романами, но у первой на главномъ планѣ была мораль и — ея неизбѣжная спутница — скука.<sup>3)</sup> Не распространяясь ни объ авторѣ «Таинственной Урны», ни о романахъ Коцебу и не упоминая о прочихъ, менѣе важныхъ романистахъ и романахъ прошлаго вѣка, — скажемъ, что всѣ исчисленные нами романическія школы и издѣлія, несмотря на всѣ ихъ различія, совершенно

бавнаго Скаррона, съ описаніемъ его жизни и всѣхъ сочиненій“; въ 4-хъ частяхъ.

1) Впрочемъ, Дюкре-Дюмениль принадлежитъ по времени и къ настоящему столѣтію: онъ родился въ 1761, а умеръ въ 1819 году.

2) Левисъ родился въ 1773, а умеръ въ 1818, знаменитый романъ его „Монахъ“ вышелъ въ 1795 г.

3) Stéphanie-Felicité Dugrest de St.-Aubin, comtesse de Genlis боролась въ своихъ романахъ съ энциклопедистами, называя себя *литераторомъ* (homme de lettres) и *губернеромъ* (gouverneur) дѣтей герцога Орлеанскаго. Родилась въ 1746, умерла въ 1830 году. Это былъ замѣчательнѣйшій и забавнѣйшій *синій чулокъ* прошлаго вѣка. Она оставила болѣе *восьмидесяти* сочиненій.

1) Знаменитый романъ Скаррона былъ переведенъ на русскій языкъ въ 1801 году, подъ нелѣпымъ заглавіемъ: „Смѣшныя повѣсти за-

сходны въ одномъ: всё они изображали дѣйствительность, жизнь и людей въ искаженномъ видѣ, такъ, чтобы начитавшійся ихъ и повѣрившій имъ молодой человѣкъ, вступая въ дѣйствительную жизнь, съ ужасомъ увидѣлъ, наконецъ, что она диаметрально-противоположна тому понятію о ней, которое извлекъ онъ изъ своихъ любезныхъ романовъ. Это были сказки, тѣшившія воображеніе и фантазію и добросовѣстно обманывавшія юный и неопытный умъ. Однако жъ были и пріятныя исключенія изъ общности этого явленія. Французъ Лесажъ (Lesage), авторъ «Хромоногаго бѣса» и «Жиль-Блаза», именно тѣмъ и останется навсегда знаменитъ, что, при замѣчательномъ, хотя и не саомытномъ талантѣ (ибо большей частью заимствовалъ у испанцевъ), онъ изображалъ жизнь и людей такими, каковы оны есть на самомъ дѣлѣ, а не такими, какими бы имъ слѣдовало (по личному мнѣнію автора) быть.<sup>1)</sup> Къ одной категоріи принадлежатъ французъ Пиго Лебрэнъ (Pigault Lebrun)<sup>2)</sup> и нѣмецъ Крамеръ (Gottlob Cramer): оба они съ манерой изображать дѣйствительность, отчасти цинической и преувеличенной въ наше время Поль-де-Кокомъ, соединяли иронію отрицанія, чего вовсе нѣтъ у послѣдняго. Гораздо замѣчательнѣе ихъ и со стороны таланта, и со стороны ироніи отрицанія два англичанина—Свифтъ (Swift), авторъ «Гулливерова Путешествія», и Стернъ (Sterne), авторъ «Тристрама Шанди».<sup>3)</sup> Нужно ли упоминать, что два вожда вѣка, Вальтеръ и Руссо, пользовались формой романа: одинъ для выраженія своихъ идей отрицанія, другой для выраженія своихъ восторженныхъ идей о любви («Новая Элоиза») и о воспитаніи («Эмилъ»? Но нельзя не упомянуть о романѣ, который написанъ обыкновеннымъ человѣкомъ, но которому, по его поэтической и психологической вѣрности, суждено безсмертіе: мы говоримъ объ „Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut“ аббата Прево (Prevost d'Exiles.<sup>4)</sup>

Во всѣхъ лучшихъ романахъ прежняго времени видно стремленіе быть картиной общества, представляя анализъ его основаній. Но это было только стремленіемъ; XIX-му вѣку, въ лицѣ Вальтеръ-Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значеніе романа. Въ эпоху величайшаго

торжества своего великій шотландскій романистъ былъ, разумѣется, не понятъ. Всѣ думали, что вся тайна чрезвычайнаго ихъ успѣха заключается въ исторической вѣрности нравовъ и костюмовъ,—тогда какъ всѣ дѣло заключалось прежде всего въ вѣрности дѣйствительности, въ живомъ и правдоподобномъ изображеніи лицъ, умѣннн все основать на игрѣ страстей, интересовъ и взаимныхъ отношеній характеровъ. Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія можетъ служить то, что, напримѣръ, «Сенъ-Ронаскія воды» и «Ламмермурская Невѣста», не будучи нисколько историческими, тѣмъ не менѣе принадлежатъ къ лучшимъ романамъ Вальтеръ-Скотта. Не понявши этого, явилась толпа подражателей во всѣхъ европейскихъ литературахъ, и историческіе романы свирѣпымъ потокомъ низвергнулись на литературы всей Европы и затопили ихъ. Вальтеръ-Скоттовъ ризвелось вездѣ столько, что дѣвать было некуда. Но въ сущности не они, не эти Вальтеръ Скотты, воспользовались новымъ широкимъ путемъ, продолженнымъ въ искусствѣ настоящимъ Вальтеръ Скоттомъ. Только геній понимаетъ генія и пользуется правомъ преемственности отъ него продолженія великаго дѣла, потому что только геній умѣетъ отличить въ дѣлѣ идею отъ формы. Между романами Купера и Вальтеръ-Скотта столько же сходства, сколько между старой исторической гражданственностью Англіи и юной, лишенной почвы преданій, еще не установившейся цивилизаціей Сѣверо-Американскихъ штатовъ, сколько между блѣдной природой тѣснаго пространства, занимаемаго Великобританіей, и богатой природой неисходныхъ дѣвственныхъ пустынь Сѣверной Америки. А между тѣмъ, нисколько не подражая Вальтеръ-Скотту, Куперъ больше и лучше его жалкихъ подражателей воспользовался открытой имъ новой великой дорогой въ искусствѣ. Въ исторіи искусства и литературы такъ же все преемственно, какъ и въ исторіи человѣчества, и никакъ нельзя сказать, чтобы Жоржъ Зандъ не былъ столько же обязанъ генію Вальтеръ-Скотта и Купера, сколько этотъ послѣдній первому, а между тѣмъ, что же есть общаго между романами Жоржъ Занда и романами Вальтеръ-Скотта и Купера?..

Жоржъ Зандъ есть, безъ сомнѣнія, первый поэтъ и первый романистъ нашего времени. За его романами, не безъ основанія, утверждено названіе «соціальныхъ», какъ за романами Вальтеръ-Скотта было съ меньшимъ основаніемъ утверждено названіе «историческихъ». Не нужно особенно пристально вглядываться вообще въ романы нашего времени, сколько-нибудь запечатлѣнные истин-

<sup>1)</sup> Лесажъ родился въ 1668, умеръ въ 1747 году. „Жиль-Блазъ“ показанъ въ свѣтъ между 1715—1735 годами.

<sup>2)</sup> Родился въ 1753, умеръ въ 1835 году.

<sup>3)</sup> Свифтъ родился въ 1667, умеръ въ 1745 году; Стернъ родился въ 1713, умеръ въ 1768 году.

<sup>4)</sup> Родился въ 1697, умеръ въ 1763 году. Знаменитый романъ его появился въ 1732 году.

нымъ художественнымъ достоинствомъ, чтобы увидѣть, что ихъ характеръ по преимуществу социальный. Довольно указать на романы англичанина Диккенса, обладающаго талантомъ высшаго разряда; а у насъ, въ Россіи, — на произведенія автора «Мертвыхъ Духъ», даваго живое общественное и глубокое-національное направленіе новой литературы своего отечества... Содержание романа — художественный анализъ современнаго общества, раскрытіе тѣхъ невидимыхъ основъ его, которыя отъ него же самого скрыты привычкой и безсознательностью. Задача современнаго романа — воспроизведение дѣйствительности во всей ея нагой истинѣ. И потому очень естественно, что романъ завладевалъ, исключительно передъ всѣми другими родами литературы, всеобщимъ вниманіемъ: въ немъ общество видитъ свое зеркало и черезъ него знакомится съ самимъ собой, совершаетъ великій актъ самосознанія.

«Какъ! — скажутъ намъ, можетъ быть: — и эти рассказы о небывалыхъ и невозможныхъ князьяхъ Рудольфахъ, рыцарствующихъ въ кабакахъ и убѣжищахъ нищеты и воровства, о вѣчномъ жидѣ и дрожайшей половинѣ его Иродіанѣ, обнимающихся черезъ Беринговъ проливъ, о бѣдномъ морякѣ, который превращается какимъ-то чудомъ въ графа Монте-Кристо, обладающаго билліонами, всѣ эти «тайны» — лондонскія, берлинскія, брюссельскія, всѣ эти дѣти тайны или чорта, — неужели все это не вздорныя сказки, а глубокой анализъ, вѣрная картина современнаго общества?»

Мы охотно признали бы справедливость подобнаго возраженія, если бъ оно намъ было сдѣлано; скажемъ болѣе: этотъ-то вопросъ и составляетъ предметъ нашей статьи. Но прежде, нежели мы къ нему обратимся, намъ нужно воротиться немного назадъ.

Еще прежде нежели романы Вальтеръ-Скотта получили всеобщую извѣстность и классическій авторитетъ, романъ въ XIX вѣкѣ началъ уже измѣняться въ духѣ и направленіи и стремиться къ болѣе серьезному значенію. Революція измѣнила нравы Европы, сентиментальность прошлаго вѣка стала становиться смѣшной, а легкая каламбурная иронія и насмѣшливость уступать мѣсто то сарказму и юмору, то необузданному довѣрію къ фантастическимъ идеямъ. Переходная эпоха, не понимая себя и не находя въ себѣ самой никакой прочной опоры, бросилась искать спасенія въ среднихъ вѣкахъ. Чистаго, наивнаго вѣрованія, свойственнаго вѣкамъ младенческаго состоянія чловѣчества, не было и не могло быть въ цивилизаціи, обладавшей знаніемъ и прошедшей черезъ радикальное отрицаніе XVIII столѣтія. Это отразилось и на романѣ. Онъ не хотѣлъ

больше быть сказкой для забавы празднаго воображенія; напротивъ, обнаружилъ притязанія на рѣшеніе высшихъ вопросовъ мистической стороны жизни. И вотъ въ то время, когда Дюкре-Дюмениль и г-жа Жанлисъ доказывали ещеเสมอ запоздалымъ сказки, ирландецъ Маторенъ <sup>1)</sup> изумилъ всѣхъ въ своемъ «Мельмотъ Скитальцѣ» необузданностью дикой фантазіи, которая при лучшемъ направленіи могла бы произвести что-нибудь, означенное истиннымъ талантомъ. Въ Германіи гениальный безумецъ Гофманъ возвысилъ до поэзіи болѣзненное разстройство нервъ. Обладая удивительнымъ юморомъ, при огромномъ талантѣ изображать дѣйствительность во всей ея истинности и казнить ядовитымъ сарказмомъ филистерство и гофратство своихъ соотечественниковъ, — онъ въ то же время, какъ истинный нѣмецъ, призракамъ своего разстроенаго воображенія, которыхъ искренно пугался и боялся и надъ которыми тоже искренно смѣялся, и фантастическимъ нелѣпостямъ принесъ въ жертву и свой несравненный талантъ, и безсмертіе имени своего въ потомствѣ... Артистъ по натурѣ, поэтъ, живописецъ и музыкантъ, одаренный въ высшей степени художественнымъ смысломъ, — какъ только познакомился онъ съ романами Вальтеръ-Скотта, тотчасъ понялъ и то, что это истинныя произведенія творчества, и то, что его собственные романы — незаконнорожденныя дѣти искусства. Тогда написалъ онъ лучшую свою повѣсть, такъ громко свидѣтельствующую объ огромности его таланта, — «Мастеръ Иоганесъ Вахтъ», въ которой уже не было ничего фантастическаго. Казалось, онъ рѣшился итти новой дорогой, но было уже поздно; вскорѣ послѣ того онъ умеръ, истощенный беспорядочнымъ образомъ жизни. <sup>2)</sup> Жанъ-Поль Рихтеръ въ «Титанѣ» и «Леваніи» съ замѣчательнымъ талантомъ выражалъ свои раздуто-идеальныя, натянуто-превыспренныя идеи о значеніи чловѣка и жизни его. Къ этой же категоріи должно отнести Тика, романтика по убѣжденію и довольно посредственнаго писателя, который, впрочемъ, писалъ во всѣхъ родахъ. Его «Викторія Аккарамбони» есть попытка написать романъ уже въ духѣ нашего времени.

Еще въ концѣ прошлаго вѣка (1774) Гете издалъ своего «Вертера» <sup>3)</sup>, — этого родона-

<sup>1)</sup> Родился въ 1782, умеръ въ 1842 году.

<sup>2)</sup> Гофманъ родился въ 1776, умеръ въ 1822 году.

<sup>3)</sup> Шиллеръ тоже написалъ романъ: *Духовидецъ*, въ которомъ всѣ чудеса производятся, впрочемъ, очень естественно, посредствомъ обмана, жертвой котораго дѣлается не читатель, а герой романа. Романъ этотъ не достоинъ имени своего автора.



чальника слабыхъ, болѣзненныхъ натуръ, которыми всегда такъ обильны переходныя эпохи. «Вильгельмъ Мейстеръ», по своему дидактическому характеру, принадлежитъ къ типу «Эмиля» Руссо; но въ «Вертерѣ» Гёте какъ будто опередилъ время и разгадалъ болѣзнь будущаго вѣка. Поэтому его романъ имѣлъ на нашъ вѣкъ огромное вліяніе, — и «Вертеръ» явился потомъ въ «Рене» Шатобриана, въ «Оберманѣ» Сенанкура и отразился въ безчисленномъ множествѣ другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ или незамѣчательныхъ произведеній. Шатобрианъ не довольствовался «Аталой» и «Рене»: онъ изъ «Мучениковъ» сдѣлалъ романъ, довольно надутый и риторическій; но онъ былъ въ духѣ реакціи прошлому вѣку, и потому привелъ въ восторгъ возвратившуюся во Францію эмиграцію, которая горькимъ опытомъ узнала, что для нея выгоднѣе мистическій піэтизмъ, нежели вольтеріанское кощунство, недавно столь любимое ею... Надутый Дарлинкуръ въ своихъ нелѣпыхъ романахъ довелъ до карикатуры это романтико-піэтическое направленіе.

По мѣрѣ ознакомленія Франціи съ европейскими литературами, которыхъ она прежде съ гордымъ невѣжествомъ не хотѣла знать, ея собственная литература подверглась вліянію всѣхъ другихъ литературъ, преимущественно англійской и отчасти даже нѣмецкой. Въ романѣ особенно отразилось двойственное вліяніе Вальтеръ-Скотта и Байрона. Тогда-то возникла такъ-называемая «неистовая школа», любившая изображать адъ душевныхъ и физическихъ страданій человѣка. Всѣ страсти, всѣ злодѣйства, варварства, пороки, пытки, муки — были пушены въ дѣло. Демоническія природы à la Вугон дюжинами рисовались въ качествѣ героевъ новыхъ произведеній. Это было ложно и натянато, потому что эти страшные Байроны въ сущности были предобрые и даже веселые ребята; но все это было не безъ смысла, не безъ таланта, не безъ достоинства, хотя и временнаго только.

Французы всегда умѣютъ остаться французами, подъ чьими бы и подъ сколькими бы вліяніями ни находились они. И потому эти «разочарованные» романы никогда не брались ни за отвлеченныя, ни за фантастическія идеи, но всегда имѣли въ виду общество, и если съ одной стороны страшно лгали на него, то съ другой — иногда говорили правду, а главное — подняли важные общественные вопросы, — больше всѣхъ вопросъ о пауперизмѣ. Наконецъ, явился Жоржъ Зандъ, — и романъ окончательно сдѣлался общественнымъ или социальнымъ.

Какое бы ни было направленіе французскихъ романистовъ — Бальзака, Гюго, Жюльена,

Сю, Дюма и пр., въ первую эпоху ихъ дѣятельности, — оно имѣло свои хорошія стороны, потому что происходило отъ болѣе или менѣе искреннихъ личныхъ убѣжденій и невольно выражало духъ времени. Всѣ эти романисты писали съ французской живостью и быстротой, но однакожь не на заказъ. Въ ихъ сочиненіяхъ видно было уваженіе и къ литературѣ, и къ публикѣ, и къ самимъ себѣ, потому что видны были слѣды мысли, соображенія, литературной отдѣлки. И вдругъ все это измѣнилось: потянулись романы одинъ другого длиннѣе, безобразнѣе, нелѣпѣе. Если въ прежнихъ романахъ частенько нарушалось правдоподобіе, это происходило отъ ложности убѣжденія, которое все-таки было искренно и наивно. Но теперь не то; теперь авторъ сознательно искажаетъ истину, лжетъ съ умысломъ, придумываетъ нелѣпости съ намѣреніемъ. Ему лишь бы эффектъ былъ, а каковъ этотъ эффектъ — не его дѣло; онъ обращается со своими читателями, какъ съ школьниками, какъ Далай-Лама съ своими поклонниками, морочитъ ихъ, какъ фокусникъ, выдающій себя за колдуна передъ толпой деревенскихъ простаковъ. За примѣрами ходить не далеко; они у всѣхъ въ свѣжей памяти. Но прежде надобно условиться въ значеніи романа, какъ поэтическаго произведенія. Романъ, какъ всякое художественное произведеніе, есть воспроизведеніе явленій действительнаго міра во всей ихъ истинѣ. Истина такъ же есть предметъ и цѣль искусства, какъ и философіи; вся разница въ средствахъ и приемахъ. Иначе, чѣмъ бы искусство было выше игры въ карты? Нѣтъ, оно было бы ниже всякаго ремесла, потому что ремесло полезно. Но если бы романъ былъ и просто только сказкой для развлеченія отъ скуки, и тогда люди съ умомъ въ правѣ были бы требовать отъ него, чтобы онъ, и въ качествѣ сказки, удовлетворялъ ихъ какъ людей съ умомъ, а не какъ глупцовъ. А что же можетъ быть умнаго въ невозможномъ? А развѣ возможны эти богатства частныхъ людей, превосходящія годовую бюджетъ богатѣйшаго изъ европейскихъ государствъ? Но вотъ примѣръ самый свѣжій. Въ послѣднемъ и остановившемся, кажется, надолго, къ крайнему огорченію его читателей и почитателей, романъ своему «Записки Врача» Александръ Дюма показалъ такой неслыханный опытъ безстыднаго неуваженія къ здравому смыслу публики, который долженъ привести въ отчаяніе всѣхъ другихъ сказочниковъ. Известно, что въ XVIII вѣкѣ былъ шарлатанъ, который выдавалъ себя за графа де Сенъ-Жермена и умѣлъ втереться ко двору Людовика XV. Этотъ шарлатанъ, какъ догадываются, принадлежалъ къ пайкѣ герметистовъ (обладающихъ алхимической тайной дѣлать золото).

которой главой былъ извѣстный авантюристъ Казанова; онъ разглашалъ о себѣ, что умѣетъ дѣлать золото и что онъ жилъ во всѣ вѣка и помнить, какъ своихъ современниковъ, Сократа, Платона, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, не говоря уже о замѣчательныхъ лицахъ отъ Карла Великаго до XVIII вѣка включительно. Есть преданіе, будто за веселымъ ужиномъ онъ предрекъ своимъ собесѣдникамъ ужасы революціи, и когда они показали недоувѣрчивость къ его пророчеству, онъ пригласилъ ихъ посмотреть другъ на друга,—и они съ ужасомъ увидѣли себя обезглавленными, кромѣ одного, который впоследствии дѣйствительно успѣлъ вернуться отъ гильотины. Разумѣется, это преданіе одного сорта съ преданіемъ о «Вѣчномъ Жидѣ» и сочинено заднимъ числомъ. Но Александру Дюма того и нужно. Онъ вспомнилъ кстати о другомъ знаменитомъ шарлатанѣ XVIII вѣка, фокусникѣ, интриганѣ, пройдохѣ и мошенникѣ Калліостро,—и изъ этихъ двухъ, совершенно различныхъ, лицъ сдѣлалъ одно, предоставивъ ему лестную честь играть роль героя своего новаго романа. Этотъ герой ѣдетъ въ Парижъ верхомъ на арабскомъ жеребцѣ, сопровождая карету, которая похожа на домъ и состоитъ изъ двухъ отдѣленій: въ одномъ устроена химическая лабораторія, и въ ней столѣтній старикъ, что-то въ родѣ индѣйца или тибетца, занимается дорогой отысканіемъ жизненнаго эликсира, дающаго человѣку безсмертіе; другое отдѣленіе какъ во всѣхъ каретахъ—въ немъ сидитъ прекрасная дѣвушка. Когда герою Александра Дюма нужно узнать или будущее, или что-нибудь такое, чего за отдаленностью нѣсколькихъ десятковъ или сотенъ миль онъ не можетъ видѣть и знать,—тогда онъ однимъ взглядомъ и разбѣренными движеніями рукъ приводитъ въ сомнамбулизмъ первую попавшуюся ему молоденькую и хорошенькую дѣвушку и повелительно дѣлаетъ ей нужные ему вопросы, а она, трепеща и страдая тѣломъ и душой, покорно отвѣчаетъ ему... Такимъ образомъ, посредствомъ магнетическаго вліянія, онъ влюбилъ въ себя красавицу, обреченную монастырю и уже постриженную, и увелъ ее изъ монастыря сквозь стѣны, запертыя на замки ворота, мимо караульныхъ... Ему все возможно—на то онъ и герой... Въ это время ѣхала изъ Вѣны въ Парижъ австрійская эрцгерцогиня, Марія-Антуанетта, къ своему жениху, будущему королю Франціи, Людовику XVI. На дорогѣ вздумалось ей захватить къ одному разорившемуся маркизу (т. е. Александру Дюма вздумалось вложить ей это желаніе). Маркизъ ничего не предчувствуетъ, но герой романа, остановившійся на ночь въ его развалившемся замкѣ, предсказываетъ ему это. Приѣхала принцес-

са—принять ее негдѣ, угостить нечѣмъ. Но для нашего героя это не затрудненіе, а пустяки: махнулъ рукой — и на дворѣ, подъ липами, явилась великолѣпная палатка, а въ ней—великолѣпно сервированный столъ съ чуднымъ завтракомъ: бѣлье тоньше паутины, бѣлье снѣгу, золото, серебро, фарфоръ, хрусталь... Герой ловко набивается на честь быть представленнымъ, въ качествѣ колдуна, принцессѣ. Чтобъ убѣдиться въ его чародѣйствѣ, она требуетъ, чтобъ онъ предсказалъ ей ея будущую участь. Поломавшись, онъ согласился; всѣ вышли изъ палатки, колдунъ сталъ смотрѣть въ графинъ съ какой-то жидкостью и показывать его принцессѣ: Александръ Дюма не открылъ своимъ читателямъ, что увидѣла тамъ принцесса, но когда, услышавъ крикъ ея, свита вбѣжала въ палатку, принцесса лежала на полу безъ чувствъ, а колдунъ и слѣдъ простылъ, словно сквозь землю провалился... Понятно, что онъ предрекъ ей событія 93 года, столь плачевныя для королевской фамиліи. Извѣстно достоверно, что Маріи-Антуанеттѣ никто подобнаго предсказанія не дѣлалъ; но если Александръ Дюма давно уже отрекся начисто отъ здраваго смысла, какъ унижительной для генія препоны, то что ему послѣ этого исторія — къ чорту ея!.. Приѣхавъ въ Парижъ, онъ посредствомъ магнетизированія своей красавицы (которая, было, улепетнула отъ него, но которую онъ опять сумѣлъ вырвать изъ монастыря, гдѣ настоятельницей была дочь Людовика XV) узнаетъ все, что дѣлается въ Парижѣ, и словно кашу варить въ химической кастрюлѣ кусокъ золота для кардинала Рогана въ его присутствіи,—кусокъ, цѣною въ триста тысячъ франковъ... Дальнѣйшихъ фокусъ-покусовъ интереснаго героя мы не знаемъ, за тѣмъ, что романъ остановился, какъ по причинѣ путешествія автора въ Испанію, а оттуда, на казенномъ пароходѣ, въ Алжиръ, такъ и по причинѣ процесса, въ который впутался великій господинъ Александръ Дюма за одну изъ тѣхъ продѣлокъ на манеръ Калліостро, которыя отъ однихъ удостоиваются названія «гениальныхъ», а отъ другихъ... какъ бы это сказать повѣжливей?.. ну, хоть — «безчестныхъ»... О великій господинъ Александръ Дюма, о достойный герой, о любимое, балованное дитя нашего вѣка!—что-то еще наплетешь и напутаешь ты намъ въ своемъ романѣ, когда, вдохновленный штрафами, которые принужденъ будешь заплатить по приговору суда, или — чего, вѣроятно, съ тобою не будетъ — воспользовавшись уединеніемъ тюрьмы (которой бы ты, право, стойл!),—примешься ты вновь продолжать интересныя похожденія своего интереснаго и достойнаго галеръ героя?..

И вотъ такіе-то романы теперь всѣми

читаются съ жадностью, увеличиваютъ собою число подписчиковъ на политическіе журналы, доставляютъ своимъ производителямъ огромныя деньги; потомъ отпечатываются отдѣльно и по всей Европѣ расходятся въ немнѣвномъ числѣ экземпляровъ, и, наконецъ, даютъ пища и поддерживаютъ въ переводахъ даже нѣкоторые изъ нашихъ журналовъ, и, опять отдѣльно печатаемые, расходятся въ большомъ числѣ экземпляровъ!

Что это такое? Или снова настала вѣкъ Анны Ракдлѣвъ и автора «Ринальдо Ринальдини» съ братіею? Или и въ самомъ дѣлѣ наши дряхлыя вѣкъ впали въ умственнаго младенчество и не можетъ иначе вздремнуть послѣ сытнаго обѣда, какъ подъ однообразный лепетъ старой няни, рассказывающей ему разныя небылицы?.. Или и въ самомъ дѣлѣ правъ негодующій поэтъ, который сказалъ, что

Нашъ тѣшутъ блески и обманы;  
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ при-  
выкъ

Морщины прятать подъ румяны...?

Не спѣшите обвинять нашъ вѣкъ—ему и такъ больно достается со всѣхъ сторонъ, и его только бранятъ, а никто не похвалитъ... А между тѣмъ, право, его есть за что и похвалить. Правда, онъ вовсе не рыцарь, не думаетъ нисколько ни о добродѣтели, ни о морали, ни о чести, и весь погруженъ въ пріобрѣтеніе или, какъ у насъ ловко выражаются, въ благопріобрѣтеніе; правда, онъ — торгашъ, алтынникъ, спекулянтъ, разжившійся всѣми неправдами откупчикъ: но онъ очень уменъ и, что мнѣ больше всего нравится въ немъ, очень вѣренъ самому себѣ, логически послѣдователенъ... Онъ, видите ли, лучше своихъ предшественниковъ смекнулъ, на чемъ стоять и чѣмъ держится общество, и ухватился за принципъ собственности, впился въ него и душой и тѣломъ, и развиваетъ его до послѣднихъ слѣдствій, каковы бы они ни были... Воля ваша, а тутъ нельзя не видѣть своего рода героизма логической послѣдовательности... И какъ ловко взялся онъ за это: изъ старой морали и изъ всего, чѣмъ думало держаться прежнее общество, онъ удержалъ только то, что пригодно ему, какъ полицейская мѣра, облегчающая средства къ «благопріобрѣтенію» и обезпечивающая спокойное обладаніе его сочными плодами... Чудный вѣкъ! нельзя довольно нахвалиться имъ. Его открытіе важнѣе открытія Америки и изобрѣтенія пороха и книгопечатанія, потому что открытая имъ великая тайна — теперь уже не тайна не для однихъ капиталистовъ, антрепренеровъ и подрядчиковъ, словомъ, «пріобрѣтателей», живущихъ чужими тру-

дами,—но и для тѣхъ, которые для нихъ трудятся... И эти ужъ знаютъ, на чемъ міръ стоитъ, т. е. и они хотятъ читать романы...

И дѣйствительно, кто читаетъ эти романы? Въ старину чернь называлась у насъ «подлымъ народомъ»; благодаря образованности и просвѣщенію, это подлое названіе давно уже истребилось, а слово «чернь» удержалось. Но чернь есть вездѣ, во всѣхъ слояхъ общества; Пушкинъ указалъ намъ даже на свѣтскую чернь... Вездѣ есть эти обыкновенныя, дюжинныя натуры, которымъ физическая пища нужна самая деликатная, утонченная, а нравственная — самая грубая, безкусныя издѣлія харчевенныхъ поваровъ въ родѣ Александра Дюма съ братіею. Вы думаете, много читателей во Франціи у Жоржъ Занда? Вѣроятно, гораздо меньше, нежели сколько ихъ есть у него въ сложности въ другихъ странахъ Европы и въ Америкѣ. И Жоржъ Занду журналисты платятъ большія деньги за печатаніе его романовъ въ фельетонѣ, но это больше для громкаго имени, и потомъ (мы знаемъ это изъ достовѣрныхъ источниковъ) сильно пожимаются и наперстываютъ свою потерю продажей отдѣльно напечатаннаго того же романа. Вотъ другой примѣръ. Лучшій послѣ Жоржъ Занда романистъ во Франціи—Шарль Бернаръ. Это человѣкъ не гениальный, но съ замѣчательнымъ талантомъ, истинный поэтъ, а не эффектный сказочникъ. Легитимистъ по своимъ убѣжденіямъ, онъ этимъ иногда вредитъ себѣ, какъ поэту, но поэтический инстинктъ въ немъ такъ крѣпокъ, что отъ него часто достается своимъ и нерѣдко выставляетъ онъ въ лучшемъ свѣтѣ чужихъ. Какъ всегда просты и естественны завязка, ходъ, развитіе и развязка его романовъ! Какъ хорошо выдержаны характеры, какъ вѣрно изображается современное французское общество! Вспомнимъ хотя послѣдній романъ его «Деревенскій дворянинъ»; въ немъ рассказаны происшествія двухъ или трехъ дней, до того простыя, естественныя, обыкновенныя, что мудрено было бы пересказать ихъ на словахъ, а между тѣмъ, зачитавши этотъ романъ, нельзя отъ него оторваться, не кончивши его... Вотъ это талантъ! Но пользуется ли онъ хотя десятой долей извѣстности, какой пользуется, напр., Александръ Дюма и подобные ему? Кто знаетъ его, напримѣръ, у насъ? А между тѣмъ всѣ его романы постоянно переводились въ «Отечественныхъ Запискахъ», — журналъ, который, какъ извѣстно, давно уже пользуется большимъ расходомъ.

Ежели грубыя и безкусныя издѣлія въ родѣ «Записокъ Врача» находятъ себѣ читателей, почитателей и восторженныхъ обожателей въ образованныхъ классахъ общества, сколько же должны находить они ихъ въ полу-

образованныхъ и низшихъ классахъ? И дѣйствительно, романы Сю, Дюма, Сулье и т. п. съ жадностью читаются въ Парижѣ дворниками (portiers), преимущественно ихъ женами (portières), гризетками, лоретками и т. д., которые не читаютъ романовъ Жордъ Занда, находя ихъ не интересными и скучными.

У насъ многіе негодуютъ на то, что такими романами преимущественно наполняются наши журналы, видя въ этомъ какой-то вредъ и для нравовъ, и для литературы. Подобное мнѣніе намъ всегда казалось несправедливымъ. «Тысяча и одна ночь», или арабскія сказки, не болѣе вредны для нравовъ. А что касается до искаженія вкуса и упадка литературы—это еще болѣе напрасное опасеніе. Есть люди, которые уже родятся съ такимъ вкусомъ, который только такими романами и можетъ удовлетворяться: не будь ихъ, они ничего не читали бы. А читать хотъ и вздоръ, лишь бы безвредный, все же лучше, нежели играть въ карты или сплетничать. Что же касается до людей низшихъ классовъ общества, эти романы для нихъ—истинное благодѣяніе. Соответственно съ ихъ образованіемъ, эти романы для нихъ—художественныя произведенія, способныя развить и возвысить, а не исказить и огрубить ихъ понятія. Конечно, у насъ не только дворники, но и швейки еще не читаютъ романовъ (образованіе послѣднихъ пока еще не хватаетъ дальнѣе водевильныхъ куплетовъ російскаго издѣлія); но сколько же у насъ людей, которые по образованію—тѣ же швейки, а по положенію имѣютъ и время, и способы къ чтенію? При томъ же, если чернь есть вездѣ, и въ высшихъ слояхъ общества, то и аристократія (природы) есть вездѣ, и въ низшихъ слояхъ общества. Иной переходитъ къ чтенію этихъ романовъ отъ «Бовы», «Ерусалана» и «Георга Милорда Аглицкаго», а отъ этихъ романовъ—къ романамъ Вальтеръ-Скотта, Купера и ко всему, что иностранная литература и своя отечественная представляютъ лучшаго, и уже не возвращаются назадъ. А если бъ и не такъ—что нужды, лишь бы читали!

Но если эти романы ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть вредны, напротивъ, во многихъ отношеніяхъ полезны, — изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ ихъ авторы заслуживали уваженіе или благодарность. Они тѣмъ не менѣе все таки торгаши, фигляры, гаеры, потѣшающіе за деньги толпу, безъ всякаго уваженія къ самимъ себѣ. Они трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своихъ жетейскихъ выгодъ. За что жъ ихъ уважать и благодарить? Волъ пасется на полѣ и, оставляя на немъ слѣды своего присутствія, спо-

собствуетъ его болѣшему плодородію на будущее лѣто, но кто за это поклонится ему?..

Грустите всего, что къ этой шайкѣ сказочныхъ потѣшниковъ добровольно примкнулся писатель съ несомнѣннымъ и большимъ дарованіемъ. Мы говоримъ о знаменитомъ Женѣ Сю. Въ его «Парижскіихъ Тайнахъ» столько любви къ человѣчеству, благородныхъ инстинктовъ, столько страдальческихъ, запечатлѣнныхъ признаками высокаго таланта! И между тѣмъ весь романъ основанъ на мелодрамѣ, столько неестественныхъ лицъ, особенно между отличающимися по части добродѣтели! Герой романа—лицо сказочное, невозможное; героиня—и приторная, и неестественна; поэтому эпилогъ, какъ неизбежное слѣдствіе ложной причины, бросается въ глаза своей пошлостью, приторной сентиментальностью, лицемерствомъ чувства, скукой, неестественностью, надутостью и фразерствомъ. Въ «Вѣчномъ Жидѣ» мѣстами поражаютъ читателя тѣ же яркія достоинства, какими блистаютъ «Парижскія Тайны»; но недостатки уже во сто разъ поразительнѣе, нежели въ послѣднемъ романѣ. Важность тезисовъ, сила ихъ вліянія мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мѣрѣ пѣль автора была хороша и похвальна; но къ чему припелъ онъ эту легенду о жидѣ и жидовкѣ? И что онъ ею сдѣлалъ?—насмѣшилъ всѣхъ, потому что впалъ черезъ нее не только въ неестественность разсказа, но еще и въ риторическую надутость изложенія. А это чудовищно-огромное наслѣдство, въ 200 милліоновъ, охраняемое нѣсколькими поколѣніями одной и той же жидовской фамиліи? А приторные близнецы-сестры, Роза и Бланка, а страшный успѣхъ всѣхъ продѣлокъ Родэна и мелодраматическая смерть всѣхъ добродѣтельныхъ лицъ романа? Но всего и не перечесть! Зачѣмъ же это «все» замѣшалось въ произведеніе необыкновенно-даровитаго писателя? Зачѣмъ, что нужно время и время для того, чтобы писать хорошо и обходиться безъ нелѣпостей, натяжекъ и эффектовъ, чтобы обдумывать свое произведеніе прежде, нежели оно написано, и потомъ обдѣлывать, исправлять, а мѣстами и вовсе передѣлывать все написанное сгоряча, неловкое, неровное, несообразное съ пѣлымъ. А времени-то и нѣтъ у Сю: онъ контрактомъ обязался составлять по цѣлому тому къ такому-то сроку. Написавши главу перваго тома, онъ сейчасъ же отсылаетъ ее въ типографію журнала, и такимъ образомъ первая глава перваго тома должна оставаться неизмѣняемой, хотя авторъ хорошенько не знаетъ, что онъ будетъ писать во второмъ томѣ, а всѣхъ томовъ-то десять!.. Итакъ, если въ первой главѣ онъ допустилъ, можетъ быть, и по необхо-

димости, какую-нибудь нелѣпость,—онъ уже на весь романъ связанъ этой нелѣпостью и долженъ развивать ее во всѣхъ десяти томахъ, какъ бы ни отвратительна казалась потомъ она самому ему!.. Всему злу корень—деньги. Эжену Сю платятъ огромныя суммы, и естественно—за это требуютъ, чтобы онъ работалъ за троихъ. Сколько уже разъ останавливался онъ въ своихъ работахъ, какъ останавливается воловозная лошадь, несмотря на удары кнута, ибо чувствуетъ, что ей надо остановиться и перевести духъ, или сейчасъ же повалиться замертво... Итакъ, здоровье, талантъ, литературная репутация, — все принесено въ жертву деньгамъ! Винить ли его за это?.. Не дай Богъ никому подражать ему, но я не чувствую никакой охоты винить его, тѣмъ болѣе, что и безъ меня за обвинителями дѣло не станетъ... Помоему, тутъ во всемъ виноватъ *fatum*.

Что бы ни писалъ Эженъ Сю, всегда у него есть что-то въ родѣ мысли, какое-то стремленіе рѣшить или по крайней мѣрѣ поставить на видъ какой-нибудь нравственный социальный вопросъ. Въ этомъ отношеніи онъ вѣренъ себѣ и въ двухъ романахъ, которыхъ заглавіе выставлено въ началѣ нашей статьи. Героиня перваго романа, Тереза Дюнойе, страстно полюбила величайшаго негодяя, который, несколько не любя ея, увѣрилъ въ своей любви изъ расчета, потому что женитьбой на ней думалъ поправить свои разстроеныя обстоятельства. Чтобы вѣрнѣе достигъ цѣли, онъ обманулъ ее, но когда увидѣлъ, что отецъ прогналъ Терезу и начисто отказался дать ей хоть грошъ, онъ рѣшился изъ состраданія къ ней еще нѣсколько времени обманывать ее. Она видитъ все, страдаетъ, но вѣрить ему со всѣмъ упорствомъ слѣпой страсти и сильнаго характера. Она не перестала страстно любить его и тогда, какъ вполне убѣдилась въ его подлости. Ее любила другой, спасъ съ ребенкомъ отъ голодной смерти, привезъ къ себѣ въ замокъ, противъ ея воли, обезпечилъ участь ея ребенка, въ надеждѣ, что она излѣчится, наконецъ, отъ своей несчастной страсти къ негодяю и полюбитъ его; но онъ, несмотря на эту надежду, ничего отъ нея не требовалъ. Тереза видѣла его страданія, сознавала его благородство и достоинство, была ему благодарна, глубоко уважала его, такъ же, какъ ясно видѣла, что первый предметъ ея уродливой любви—мерзавецъ,—и все-таки продолжала любить мерзавца... Мысль вѣрная, но не новая! Ее давно уже прекрасно выразилъ аббатъ Прево въ превосходномъ романѣ своемъ «Маонъ Леско». Еще шире, глубже и полнѣе развилъ эту мысль Жоржъ Зандъ въ одномъ изъ лучшихъ романовъ своихъ «Леонъ Леони».

Тягаться Сю съ такими произведеніями, конечно, не подѣ силу; но тѣмъ не менѣе романъ его, не будучи художественнымъ созданіемъ, имѣлъ бы свое значительное беллетристическое и литературное достоинство, если бы въ него, какъ и во всѣ романы Сю, не вмѣшалась мелодрама. Герой романа, баронъ Эвенъ Кереллю, влюбился въ Терезу совершенно фантастически, заочно, т. е. онъ влюбился въ портретъ какой-то женщины, по преданіямъ надѣлавшей много зла его фамиліи, а потомъ влюбился въ Терезу, увидѣвъ, что она, какъ двѣ капли воды, похожа на портретъ. А портретъ—замѣтьте—былъ сожженъ въ каминѣ еще въ дѣтствѣ Эвена, а явился вновь по волѣ рока. Къ чему всѣ эти исцертыя, пошлыя и тривиальныя «роковыя» пружины, столь обольстительныя для суевѣрія старыхъ бабъ (а не женщинъ, потому что это не одно и то же) да для легковѣрія юныхъ пансіонерокъ? Заключение романа—верхъ нелѣпости и пошлости: помѣшанный рыбакъ, старый суевѣрный бретонецъ, Моръ-Надеръ, искренно считающій себя колдунномъ и предсказателемъ, давно уже предсказалъ Эвену, что онъ погибнетъ въ волнахъ океана въ черный для его фамиліи мѣсяцъ (ноябрь),—и разъ во время прогулки въ лодкѣ по морю едва съ умыслу не утопилъ Эвена за то, что тотъ усомнился въ его дарѣ предсказанія... И вотъ наши несчастныя жертвы любви, послѣ смерти ребенка, рѣшаются въ черный мѣсяцъ оправдать предсказаніе Моръ-Надера — и погибаютъ вмѣстѣ съ нимъ втроемъ... Удивительно эффектно, но это-то и любить толпа, а деньги за то и даются теперь, что любить толпа...

Почти на эту же тему написана и «Матильда». Прежде всего это романъ длинный, длинный, длинный, растянутый, монотонный и страшно скучный; потомъ это вообще прѣхлой романъ, хотя въ немъ и встрѣчаются изрѣдка довольно удачныя страницы. «Матильда» предшествовала «Парижскимъ Тайнамъ» и имѣла, хотя и далеко не такой, какъ эти послѣднія, но все же огромный успѣхъ. Кромѣ отсутствія не только художественнаго, просто литературнаго, беллетристическаго достоинства въ изложеніи, въ романѣ этомъ авторъ обнаружилъ рѣдкое непониманіе того, что онъ дѣлалъ и что бы ему должно было дѣлать, чтобы его произведеніе не вовсе было чуждо правдоподобія и естественности. Изъ своей Матильды онъ силится сдѣлать какой-то идеаль женщины, что-то въ родѣ героини добродѣтели и страдальицу отъ злобы и развращенія свѣта; а на дѣлѣ выходитъ, что это женщина ограниченаго ума, безъ характера, легковѣрная, скучная и несносная своей навязчивостью въ

любви, своими пансіонскими мечтами о счастья вдвоемъ подъ соломенной кровлей,—и еще болѣе скучная и несносная своими вѣчными жалобами, слезами и хныканьемъ. Уже перегорѣвшая въ страстяхъ, испытанная горемъ жизни и тяжкими страданіями, она, видя, что молоденькая дѣвочка сдѣлалась больна на смерть отъ любви къ тому, котораго она, Матильда, безъ памяти любитъ и которымъ она горячо любима, рѣшается на самое нелѣпое по его бесплодности и самое опасное по его слѣдствіямъ самоотверженіе. Она возвращается добровольно къ своему мужу, грашному негодяю и развратнику, и привораживается, что опять любить его, а между тѣмъ своего благороднаго и платоническаго обожателя наводитъ на мысль—жениться на дѣвочкѣ. Тотъ вдвойнѣ въ отчаяніи—и оттого, что мечты его на счастье рушились, и оттого, что любимая имъ женщина оказалась, по его мнѣнію, весьма основательному, пошлой женщиной, ибо могла сойтись вновь съ негодяемъ, давно заслужившимъ галеры: скажите, до женитьбы ли тутъ ему? И какъ въ этомъ положеніи навести его на подобную мысль. Но для Сю нѣтъ ничего невозможнаго; онъ храбръ—и не труситъ натяжекъ и неестественности, какъ дуракъ, герой его женится на дѣвочкѣ и сталъ счастливъ. Но общій ихъ всѣхъ врагъ тайно увѣдомилъ его жену, что она обязана своимъ замужествомъ самоотверженію Матильды,—и случилось то, что рано или поздно, такъ или иначе, а непременно должно было случиться, чѣмъ обыкновенно разрѣшаются подобныя самоотверженія: Эмма чахла, чахла да и умерла. Мы охотно соглашаемся, что безъ добраго и благороднаго сердца человѣкъ не можетъ быть способенъ на подобныя самоотверженія; но въ нихъ еще гораздо больше сердца участвуетъ экзальтированное воображеніе, глубоко скрытое самолюбіе, тайное желаніе рисоваться передъ другими и въ особенности передъ самимъ собою въ качествѣ героя добродѣтели. Такіе люди—враги своего и чужого счастья; даже и хорошія ихъ качества служатъ только ко вреду другихъ и ихъ самихъ больше всего. Вотъ какъ слѣдовало бы автору понять свою «Матильду»,—и на ея несчастной натурѣ, а не на злобѣ свѣта основать всѣ перенесенныя ею страданія. Тогда, можетъ быть, вышелъ бы болѣе или менѣе интересный романъ, а не скучная сказка.

Хуже всего даются Сю добродѣтельныя лица. Почти всегда они у него и неестественны до смѣшнаго, и приторны до отвратительности. Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ де-Рошгюнь. Боже мой, что это за человѣкъ! Другъ бѣдныхъ и несчастныхъ, герой и левъ

на войнѣ, мудрецъ даже въ салонѣ—и такъ говорить, словно по книгѣ читаетъ, и никому не кажется смѣшнѣе! А еще больше портятъ романы Сю—преувеличеніе и театральные мелодраматическіе эффекты. Злодѣй его романа, Люгарто, еще довольно естествененъ самъ по себѣ, но его баснословное богатство, его всезнаніе чужихъ тайнъ и всемогущество въ преслѣдованіи многочисленныхъ жертвъ своихъ,—все это сильно отзывается арабскими сказками. Эффектовъ и *deus ex machina* въ «Матильдѣ»—бездна. Старуха Блондо, видя, что ея воспитанницу успѣли охладить къ ней, рѣшается умереть, выпрыгнувъ въ окно. Но это лицо необходимо автору въ дальнѣйшемъ развитіи романа: надо спасти его. Старуха начала прощаться съ своей восьмилѣтней питомицей, которая въ полночь спала крѣпкимъ дѣтскимъ сномъ. Старуха цѣлуетъ ребенка, плачетъ и громко говоритъ монологъ самой себѣ, потомъ бѣжитъ къ окну; но не бойтесь: дитя проснулось и удержало самоубійцу на краю пропасти... Какъ это трогательно!.. Уже замужнюю Матильду врагъ ея, Люгарто, хитростью завлекаетъ въ уединенный домъ, гдѣ всѣ слуги подкуплены и гдѣ ей за ужиномъ подають вино, въ которое всыпанъ сильный усыпляющій порошокъ. Оставшись одна, она начинаетъ чувствовать дѣйствіе порошка; является къ ней ея палачъ и объявляетъ ей, что намѣренъ ее обезчестить... Но не бойтесь: вотъ вламываются ея защитники и мстители, и начинается мелодрама, достойная ярмарочныхъ балагановъ...

Одно лицо въ «Матильдѣ» очерчено съ талантомъ: это старая мать Семерена, мужа Уреулы; даже и эти два лица довольно не дурны; но съ первымъ пріятно было бы встрѣтиться даже и не въ такомъ романѣ, какъ «Матильда».

«Сынъ Тайны»—замѣчательный романъ во многихъ отношеніяхъ. Когда модное платье франта красуется на его лакеѣ,—явный знакъ, что оно уже не модное, что мода смѣнилась. Когда бездарные писатели успѣвають въ какомъ-нибудь модномъ родѣ литературы не хуже тѣхъ талантливыхъ писателей, которые ввели его въ моду,—явный знакъ, что этотъ родъ литературы или палъ, или близокъ къ паденію. «Сынъ Тайны» доказываетъ, что на модные романы уже сочинена риторика, и ихъ съ отличнымъ успѣхомъ можно писать по рецепту. У Поля Феваля нѣтъ ни ума, ни воображенія, ни страсти, ни этого мастерства увлекательно рассказывать даже вздоры, которымъ такъ владѣють французы и въ которомъ больше всего заключается тайна успѣха ихъ нелѣпыхъ романовъ. Въ романѣ Поля Феваля не встрѣти-

те ни одной изъ тѣхъ тонкихъ поражающихъ чертъ, ни одной изъ тѣхъ увлекательныхъ страницъ, которыя попадаются даже у Дюма въ самыхъ нелѣпныхъ его романахъ,—какъ, напримѣръ, сцены между Жильборомъ и Руссо въ «Запискахъ Врача». «Сынъ Тайны» это — нелѣпость на нелѣпости, вздоръ на вздорѣ. Все дѣло вертится на томъ, что три брата-молодца уродились такъ похожими другъ на друга, что родная мать не отличила бы ихъ одного отъ другого. Они посвятили всю жизнь свою на то, чтобъ отыскать законнаго наследника замка Блутгауптъ, сына ихъ дяди, похищеннаго въ дѣтствѣ врагами ихъ фамилии, и отомстить этимъ врагамъ. И они во всемъ успѣваютъ: имъ покровительствуетъ сама судьба въ образѣ Поля Февала, какъ покровительствовала Телемаку богиня Паллада, въ образѣ Ментора. Поэтому для нихъ легко и возможно все, рѣшительно невозможное для другихъ смертныхъ. Ихъ безпрестанно сажаютъ въ тюрьмы, но выбраться изъ тюрьмы, когда нужно,—имъ ни почемъ. Когда въ замокъ Блутгауптъ собрались всѣ враги ихъ и завлекли туда свою жертву, братья немножко поопоздали явиться въ замокъ. Но ничего: они еще успѣваютъ свое сдѣлать. На жертву направлена мортира—надо ее уничтожить, а высоко—не достанешь. Одинъ братъ влѣзъ на плечо другому, а рука все недостаетъ; нижній братъ началъ присѣдать подъ тяжестью верхняго—вотъ рухнутся оба съ высокой стѣны въ бездну. Въ эту критическую минуту жестокой авторъ, по праву гения, которому законъ не писанъ, оставляетъ и братьевъ съ ихъ неразрушенной мортирой, и задахающагося отъ ужаса читателя съ его нетерпѣваемъ, и начинаетъ новую главу, гдѣ переходить къ другимъ лицамъ своего интереснаго романа. Братья-удальцы уже работаютъ другое, а мортиру, какъ видно по ходу разсказа, они уничтожили—какъ?—это авторъ почелъ за нужное утаить отъ своихъ читателей, думая, вѣроятно: много будетъ знать, скоро состарѣтесь. Поль Феваль хорошо знаетъ натуру своихъ читателей—и зато онъ съ хлѣбцемъ... Въ наше время умный человѣкъ не умретъ съ голоду, если умѣетъ тѣшить или надувать тѣхъ, которые глупѣе его...

Авторъ «Иезуита», Шпиндлеръ, нѣкогда пользовался большой извѣстностью въ Германіи, какъ счастливый подражатель Вальтеръ-Скотта. Но теперь онъ пышетъ въ модномъ родѣ. Куда бросились французскіе кени съ копытомъ, туда же поплелся и нашъ нѣмецъ съ клешней. Пока дѣйствіе его романа происходитъ въ Германіи—еще можно читать его; но какъ скоро перенесъ онъ его въ южную Америку—песыпались такіе мелодраматическіе эффекты, что мочи нѣтъ. Тутъ

дикари дѣлаютъ нападеніе на селеніе обращенныхъ и мудроуправляемыхъ добродѣтельными священникомъ дикарей, кого перерѣзали, кого забрали въ плѣнъ, въ томъ числѣ и добродѣтельнаго пастора. Но онъ, поговоривъ съ ними съ часъ времени, убѣдилъ ихъ креститься и увелъ для поселенія на свое пепелище. Тутъ кому не пропасть, всѣ находятся и другъ съ другомъ сходятся, хоть и необыкновеннымъ, но, по мнѣнію автора, возможнымъ образомъ. Къ концу романа герои соединяются законнымъ бракомъ и живутъ счастливо. Добродѣтель награждена, порокъ наказанъ, раскаяніе уважено. Только злодѣи-иезуиты урвались отъ заслуженной кары. Стало быть, все какъ слѣдуетъ.

Было время, когда переводъ всякаго иностраннаго романа на русскій языкъ составлялъ важную новость въ литературѣ и давалъ пищу критикѣ и полемикѣ, а переводчику—всеобщую извѣстность. Время это давно прошло—и безвозвратно. Если бы кто-нибудь перевелъ теперь вполнѣ, съ подлинника, всего Вальтеръ-Скотта или всего Купера,—тотъ составилъ бы себѣ имя. Но перевести, даже порядочно, модный французскій романъ—теперь ничего не значить. На подобные подвиги никто не обратитъ вниманія, тѣмъ болѣе, что они относятся скорѣе къ промышленности, нежели къ литературѣ,—и если мы рѣшились говорить объ этихъ эфемерныхъ явленіяхъ книжной торговли, то потому только, что не о чемъ говорить, хоть совсѣмъ выключай библиографію изъ журнала. Но старое обыкновеніе выставлять на переводныхъ романахъ имя переводчика опять входитъ и должно войти въ силу, потому что переводами большей частью занимаются люди, равно не знающіе ни того языка, съ котораго переводятъ, ни того, на который переводятъ, всего чаще послѣдній, слѣдовательно, публикѣ нужно ручательство извѣстнаго имени, что переводъ удобенъ къ чтенію. Къ числу такихъ классическихъ именъ принадлежитъ имя Строева: оно безпрестанно выставляется на переведенныхъ съ французскаго романахъ то въ качествѣ переводчика, то въ качествѣ пересмотрщика чужого персевода, въ обоихъ случаяхъ какъ вѣрное ручательство за достоинство персевода. Для насъ вѣрность этого ручательства немного—какъ бы сказать—сомнительна...

*Бѣдные Люди. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. 1847.*

«Бѣдные Люди» были первымъ и, къ сожалѣнію, доселѣ остаются лучшимъ произведеніемъ Достоевскаго. Появленіе этого ро-

мана было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя Достоевскаго одно занимало наши журналы. Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій. Достоевскій недавно напечаталъ свой новый романъ «Хозяйка», который не возбудилъ никакого шума и прошелъ въ страшной тишинѣ. Шумъ, конечно, не всегда одно и то же съ славой, но безъ шума нѣтъ славы. «Бѣдные Люди» доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большія надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однако жъ не мѣшаетъ «Бѣднымъ Людямъ» быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянutosть, иногда утомляющія читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительной истиной въ изображеніи дѣйствительности, мастерской обрисовкой характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ и—что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта Достоевскаго, его оригинальность,—глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ «Бѣдныхъ Людяхъ» много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготавливаетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но зато самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ,—мастерскія, художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиной взгляда и силой выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь...

«Бѣдные Люди» вышли теперь отдѣльнымъ изданіемъ, въ небольшой красивой книжкѣ. На оберткѣ сказано: «изданіе исправленное». Мы не имѣли времени слѣдить новаго изданія съ старымъ и узнать, въ чемъ состоятъ «исправленія», но, сколько можно догадываться по сравненію объема обѣихъ изданій, должно думать, что во второмъ сдѣланы авторомъ сокращенія. Это хорошо, и романъ долженъ отъ этого много выиграть.

Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношеніи. Сочиненіе монаха Іакима. Въ четырехъ частяхъ. Съ рисунками. Спб. 1848.

Странное дѣло! Кажется, весь земной шаръ или всѣ его обитаемыя людьми части равно бы должны были представлять собою рѣзлице развитія человѣчества; а между тѣмъ эта часть предоставлена только самой малѣйшей изъ пяти частей свѣта—Европѣ. Въ недавнее время и почва Сѣверной Америки сдѣлалась театромъ историческаго развитія, но его корень опять-таки въ Европѣ. Можетъ быть, что со временемъ и всѣ части свѣта примкнутъ къ общему развитію человѣчества, войдутъ въ его исторію, но опять-таки не иначе, какъ черезъ Европу. До сихъ же поръ, съ незапамятныхъ временъ, онѣ коснѣютъ въ нравственной неподвижности, непробуднымъ сномъ спятъ на лонѣ матери-природы. Въ этомъ отношеніи удивительнѣй всѣхъ другихъ странъ Азія. Ее считаютъ колыбелью человѣческаго рода, въ ней прежде другихъ странъ явились начатки общестственности, въ ней сдѣланы первыя открытія въ ремеслахъ, искусствахъ, наукѣ, въ ней родились религіи, теперь господствующія въ мірѣ, изъ нея вышли всѣ племена, заселившія Европу. И во всемъ Азія остановилась на однихъ начаткахъ, ничего не развила, не усовершенствовала, не довела до конца. Греція сложилась изъ элементовъ, выработанныхъ Азіей и Египтомъ, но она переработала всѣ эти заимствованные элементы, наложила на нихъ печать своего національнаго духа и прибавила къ этому элементу, ей собственно принадлежащій. Этотъ элементъ былъ началомъ европейскаго. У грековъ у первыхъ явились понятія объ отечествѣ, государствѣ, гражданствѣ, гражданскомъ достоинствѣ, столь чуждыя для Востока. Римляне по-своему развили европейское начало, перешедшее къ нимъ изъ Греціи въ доисторическія времена, и передали его новой Европѣ. Во всѣхъ столкновеніяхъ съ Азіей Европа всегда много выигрывала въ цивилизаціи, образованіи, въ наукахъ, въ искусствахъ, ремеслахъ; Азія ничего не выигрывала отъ столкновеній съ Европой. Александръ Македонскій хотѣлъ путемъ завоеванія сблизить обѣ части свѣта въ образованіи и нравахъ. Но что же вышло? Персы не сдѣлались греками, а македоняне развратились на персидскій манеръ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Александръ присылалъ изъ Азіи Аристотелю экземпляры рѣдкихъ животныхъ и вывезъ изъ Индіи астрономическія таблицы. Въ эпоху крестовыхъ походовъ вся Европа ринулась на Азію бурнымъ потокомъ. Это событіе имѣло самое сильное и благотворное вліяніе на Европу и—никакого на Азію! Неподвижность—натура



азиатца. Если Азіи суждено въ будущемъ цивилизоваться, то, вѣроятно, не иначе, какъ путемъ завоеванія; надобно, чтобы европейское войско, завоевавшее азиатскую страну, смѣшалось съ туземцами, и отъ этого смѣшенія произошло бы новое поколѣніе своего рода креоловъ. Въ наше время самое странное и удивительное явленіе въ Азіи есть безъ всякаго сомнѣнія Китай. Вотъ что говорить объ этомъ предметѣ почтенный отецъ Іакинѣвъ въ предисловіи къ своей книгѣ:

„Въ наше время—безпрерывныхъ нововведеній въ жизни народовъ, какъ въ Европѣ, такъ и на западѣ Азіи, существуетъ государство, которое, по своей противоположности во всемъ съ прочими государствами, составляетъ рѣдкое, загадочное явленіе въ политическомъ мірѣ. Это—Китай, въ которомъ видимъ все то же, что есть у насъ, и въ то же время видимъ, что все это не такъ, какъ у насъ. Тамъ люди такъ же говорятъ, но только не словами, а звуками, которые сами по себѣ, порознь взятые, не имѣютъ опредѣленнаго смысла. Тамъ имѣютъ и письмо, но пишутъ не буквами слагаемыми, а условными знаками, изъ которыхъ каждый представляетъ въ себѣ не выговоръ слова, а понятіе о вещи; въ письмѣ порядокъ строкъ ведутъ отъ правой руки къ лѣвой, но пишутъ не поперекъ, а сверху внизъ, и книгу начинаютъ на той страницѣ, на которой у насъ оканчиваютъ ее. Однимъ словомъ, тамъ много находится вещей, которыя и мы имѣемъ, но тамъ все въ другомъ видѣ.

Китай еще непонятнѣе для насъ въ другихъ противоположностяхъ. Коснемся ли его просвѣщенія—китайцы имѣютъ свою словесность и науки, и думаютъ, что они просвѣщеннѣе всѣхъ народовъ въ свѣтѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно было бы согласиться съ ними, потому что въ Китаѣ каждый ученый, сверхъ основательности въ сужденіи о вещахъ, основательно знаетъ все, что ему нужно на поприщѣ государственной службы. Но, съ другой стороны, китаецъ по странному народному самолюбію, ничего не хочетъ знать, да и не знаетъ ничего, что находится и что происходитъ за предѣлами его отечества. Видя на канифасѣ ярославскій гербъ съ медвѣдемъ, стоящимъ на заднихъ ногахъ съ алебардой на плечѣ, онъ отъ всего сердца вѣрить, что эта ткань выходитъ изъ государства, жители коего имѣютъ собачьи головы. Обратимъ ли вниманіе на законы Китая—они сорокъ вѣковъ проходили сквозь горнило опытовъ и вылились столь близки къ истиннымъ началамъ народоправленія, что даже образованнѣйшія государства могли бы кое-что заимствовать изъ нихъ. Со всѣмъ тѣмъ нѣкоторые злоупотребленія столь сильно укоренились, что правительство, вмѣсто истребленія оныхъ, только старается разными мѣрами облегчить зло,—неотвратимое послѣдствіе тѣхъ злоупотребленій.“

Вглядитесь въ устройство этого страннаго государства,—и вамъ съ перваго взгляда можетъ показаться, что это какое-то исключеніе изъ общаго порядка азиатской жизни, что у него нѣтъ ничего общаго съ другими азиатскими государствами (за исключеніемъ Японіи), что, наконецъ, это чисто европейское государство. Въ немъ ничего

нѣтъ оставленнаго на произволъ судьбы и людей, всѣ отношенія опредѣлены, всѣ юридическія случайности предупреждены и обсуждены, на все существуютъ положительные законы; машина администраціи самая многосложная и вмѣстѣ съ тѣмъ правильная, строго систематическая; законы нерѣдко отзываются челоуколюбивѣе и, повидимому, представляютъ вѣрныя гарантіи жизни, чести и благосостоянію частныхъ людей всѣхъ званій, отъ высшихъ до низшихъ. Для этого есть высшія инстанціи и право апелляціи; за ходомъ правосудія въ провинціяхъ наблюдаютъ прокуроры, а въ столицѣ—прокурорская палата и самъ императоръ. Какъ въ государствахъ европейскіихъ, въ Китаѣ существуютъ министерства, на коллегіальномъ положеніи: предсѣдатель палаты каждой отдѣльной вѣтви администраціи есть министр. Взгляните теперь на Китай въ другомъ отношеніи. Право на гражданскія должности даетъ тамъ не рожденіе, не привилегія, а наука и образованіе. Каждый, занимающій сколько-нибудь значительную должность, есть непремѣнно ученый; ничему не учившійся не можетъ занимать никакой должности. Экзамены студентовъ есть дѣло государственное. Съ какой стороны ни взгляните на это дивное государство—ничего азиатскаго, Европа, да и только!

Но, увы, это только миражъ, разлетающійся прежде, чѣмъ взглядишься въ него! Это такой же призракъ, какъ и политическое могущество Китая, который съ 400.000.000 жителей ничего не могъ сдѣлать противъ 3.000 англійскаго войска. Всѣ эти законы и гарантіи хороши только на бумагѣ, а на дѣлѣ служатъ только къ обогащенію берущихъ взятки и утѣсненію дающихъ взятки. Китай безъ всякаго сомнѣнія образованнѣйшее азиатское государство, но азиатское въ полномъ смыслѣ этого слова... Государственные чины, совѣты,—все это пустая формальность; тутъ главное—церемонія. Самая вѣрная гарантія при судопроизводствѣ—взятки. Этого не могъ скрыть даже почтенный отецъ Іакинѣвъ, вообще какъ нельзя нѣжнѣе расположенный въ пользу поднебеснаго государства. Напримѣръ, говоря о пыткахъ (варварскихъ и уточенно жестокихъ), онъ прибавляетъ для смягченія эффекта: «Но сіи пытки употребляются въ такомъ только случаѣ, когда въ важномъ какомъ-либо дѣлѣ всѣ улики говорятъ противъ преступника или преступницы, а они упорствуютъ въ признаніи». Хорошо оправданіе! Нѣтъ, уже, по нашему мнѣнію, гораздо лучше пытка безъ изытаній; по крайней мѣрѣ дѣло наголо, искренно,—знаешь, чего держаться! Чиновники отъ 1-го до 6-го класса подвергаются пыткамъ только съ разрѣшенія госу-

даря. «Иногда—добродушно замѣчаетъ почтенный отецъ Іакинѣвъ—судьи, по своему произволу, употребляютъ разныя маловажныя пытки». Это «иногда»—слово небольшое, а много значить: именно ни больше, ни меньше, какъ то, что подсудимый есть безотвѣтная и беззащитная жертва судьи, и если имѣетъ средства, не пожалѣетъ никакой «взятки», чтобъ иногда избавить себя отъ пытки, маловажной совѣмъ не для того, кто ей подвергается... Легко сказать: «маловажная пытка!» когда пытаются ею не насъ... Нѣтъ, не легко, или если легко, то не для всякаго, сказать такое ужасное слово! Судьи за неправосудіе подвергаются суду, ихъ не дерутъ планкой (чудесный инструментъ, подробно описанный почтеннымъ отцомъ Іакинѣомъ), а наказываютъ пониженіемъ чина, вычетомъ изъ жалованья, отставкой, ссылкой, смертной казнью, а по спинѣ дупятъ только въ экстренныхъ случаяхъ. Но что это за гарантія? Низшихъ чиновниковъ судятъ высшіе—рука руку моетъ, обѣ чисты бывають, а не то—исправление, но не за вину, а за непредставленіе достаточныхъ доказательствъ невинности золотыми и серебряными слитками. Взятничество—основа китайскаго судопроизводства. Тамъ это уже не злоупотребленіе, не порокъ, не язва общественнаго тѣла (язва можетъ быть только на здоровомъ тѣлѣ, а не на такомъ, которое все—язва). Свѣдѣній по этой части рекомендуемъ искать не въ книгахъ почтеннаго отца Іакинѣа (онъ только вскользь и въ общихъ выраженіяхъ говорить объ этой части), а въ небольшихъ статьяхъ, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1841—1843 годовъ, подъ заглавіемъ «Поѣздка въ Китай» псевдонима Дэ-мина. Это человекъ, прожившій въ Китаѣ шесть лѣтъ и знающій китайскій языкъ и китайскую грамоту, но съ понятіями и взглядами вовсе не китайскими. Почтенный отецъ Іакинѣвъ показываетъ намъ болѣе Китая officialный, въ мундирѣ и съ церемоніями: Дэ-минъ показываетъ намъ болѣе Китая въ его частной жизни, Китай у себя дома, въ халатѣ на-распашку. Дэ-минъ ничего не скрываетъ; человекъ болтливый и откровенный, онъ не держался русской половицы—«изъ избы сору не выносить», и рассказалъ намъ, что всѣ важныя мѣста въ Китаѣ на откупу, т. е. даются «за взятки». Вотъ его собственныя слова: «можетъ, вы спросите, гдѣ взять бѣдному задолжавшему чиновнику такую значительную сумму на полученіе мѣста и—что еще важнѣе—на уплату всѣхъ долговъ передъ выѣздомъ изъ столицы, равно и на то, чтобы пріѣхать къ мѣсту новаго служенія съ должной важностью? Но вы не знаете Китая, великаго

Китай, съ его 400.000.000 населенія, если думаете, что въ 4000 лѣтъ его существованія такая важная отрасль государственнаго управленія, какъ взяточничество, не приведена тамъ въ надлежащую систему.» Затѣмъ онъ рассказываетъ, что въ Пекинѣ есть ростовщики, которые заплатаютъ и долги чиновника, и цѣну мѣста, и дадутъ денегъ на дорогу, разумѣется, за страшные проценты; а ростовщикамъ выплачивають подчиненные новаго «правосуднаго» чиновника, т. е. иногда цѣлыя провинціи.

Исчисленіе родовъ китайскихъ преступлений даже у почтеннаго отца Іакинѣа хоть кого приведутъ въ ужасъ: о безчеловѣчій казней нечего и говорить. Все это свидѣтельствуетъ о нравственности народа. Лицемеріе, лукавство, ложь, притворство, униженіе—натура китайца. И какъ быть иначе тамъ, гдѣ церемонія поглощаетъ всю духовную жизнь народа, гдѣ младшій непременно долженъ удивляться уму и добродѣтели старшаго, хотя бы тотъ былъ глупѣе осла и грѣшнѣе козла? Вся жизнь китайца, словно пеленками, связана церемоніями. Становится на колѣни и бить поклоны—это его священная обязанность. Что за гибкіе должны быть хребты у этого народа! Храбрость китайца извѣстна всему міру: это урожденный трусъ. Китайское войско можетъ съ успѣхомъ воевать только развѣ съ китайскимъ же войскомъ. Слабость правительства простирается до того, что оно трепещетъ морскихъ разбойниковъ изъ собственныхъ подданныхъ и, чтобы предохранить себя отъ нихъ, стѣсняетъ морскую торговлю и частное мореходство. О китайской учености нечего и говорить: даже самъ почтенный отецъ Іакинѣвъ о ней очень невысокаго мнѣнія. Куда ни обернись, всюду миражи и призраки. Китай силенъ, но держится пока—съ сѣвера миролюбивѣе Россіи, а съ юга—боязнь Англии обременять себя дальнѣйшими завоеваніями...

Откуда эти противорѣчія, гдѣ ихъ источникъ? Китай—страна неподвижности; вотъ ключъ къ разгадкѣ всего, что въ немъ есть загадочнаго, страннаго. Тутъ ничего нѣтъ, проникнутаго идеей государственнаго и народнаго развитія; все держится на закоснѣломъ обычѣ.

Книга почтеннаго отца Іакинѣа—истинное сокровище для ученыхъ, по богатству важныхъ фактовъ. Она можетъ до извѣстной степени годиться и для публики, несмотря на ея слогъ и изложеніе, несмотря на то, что первая часть, въ память пресловутаго на Руси мужа Михайлы Меморскаго, написана въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ. Но главный ея недостатокъ—замашки автора дѣлать параллели между Европой и Ки-

таемъ, наивныя до смѣшного! Напримѣръ, онъ сравниваетъ государственныя чины въ Китаѣ съ англійскими лордами и французскими пэрами. Смѣемъ увѣрить почтеннаго отца Іакинѳа, что тутъ нѣтъ никакого сходства, а есть только безконечная разница. По всему видно, что почтенный отецъ Іакинѳъ знаетъ Китай гораздо лучше Европы. Что же касается до его умолчаній и смягченій въ пользу нѣжно любимыхъ имъ китайцевъ,—мы не считаемъ ихъ важнымъ недостаткомъ въ его книгѣ: факты говорятъ сами за себя, и истина сама такъ и бросается въ глаза. Прочтя книгу почтеннаго отца Іакинѳа, никто не сдѣлался хинифиломъ... напротивъ!

*Сельское Чтеніе, издаваемое княземъ В. О. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Книжка четвертая. Спб. 1848.*

Въ послѣднее время положеніе народа всюду стало возбуждать особенное вниманіе правительства, общества, науки и литературы. Торжество божественнаго ученія Евангелія и успѣхи образованности должны были, наконецъ, довести до этого Европу, несмотря на царствовавшіе въ ней феодальныя предрасудки и учрежденія, долго разъединявшіе государственныя сословія.

Въ Европѣ и у насъ это тотъ же вопросъ, но не тотъ его характеръ. У насъ не было завоеванія и—результата его—феодализма, стало быть, въ нашей исторіи не было борьбы двухъ враждебныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ представлялся бы племенемъ завоевавшимъ, другой—покореннымъ. Отсюда, напримѣръ, система поземельной собственности у насъ совсѣмъ другая. При дворянствѣ, владѣющемъ своей землей, у насъ существуетъ многочисленный классъ свободныхъ земледѣльцевъ, владѣющихъ своей землей на коммунальномъ началѣ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ слабымъ развитіемъ мануфактурной промышленности, причиной того, что у насъ нѣтъ пролетариата въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ въ Европѣ. Отсюда явленіе нищеты у насъ имѣетъ другой характеръ и другія причины. Оно дѣлается очевиднымъ, бросается въ глаза только при неурожаихъ. Стало быть, это зло временное и мѣстное, которое, по обширности Россіи, никогда не можетъ быть для нея общимъ. Но тѣмъ не менѣе это зло трудно предупреждать и такъ же трудно облегчать. И вотъ тутъ-то, стало бытъ, настоящее наше зло. А какія его причины?—невѣжество, старые закоренѣлыя привычки и предрасудки, ложныя начала, на которыхъ опирается наше земледѣліе, неразвитость или, лучше сказать, почти несуществованіе той

промышленности, которой потребителемъ должна бы быть масса народа, затруднительность сообщеній. Очевидно, что самое вѣрное дѣйство противъ такого зла должно состоять въ успѣхахъ цивилизаціи и просвѣщенія. Путь мирный и спокойный, ручающійся за достиженіе великой цѣли общаго благосостоянія! Петръ Великій направилъ Россію на этотъ путь и указалъ ей ея цѣль; и съ тѣхъ поръ до настоящей минуты она была вѣрна указаннымъ ей ея Моисеемъ пути и цѣли, ведома достойными потомками великаго предка, преемниками его власти и духа... Въ отношеніи къ внутреннему развитію Россіи настоящее царствованіе безъ всякаго сомнѣнія есть самое замѣчательное послѣ царствованія Петра Великаго. Только въ наше время правительство проникло во всѣ стороны многосложной машины своего огромнаго государства, во всѣ убѣжища и изгибы ея, прежде ускользавшіе отъ его вниманія, и сдѣлало опутительнымъ благотворное вліяніе свое во всѣхъ стихіяхъ народной жизни. Общественное благоустройство, не въ одномъ административномъ, но и въ нравственномъ смыслѣ этого слова, составляетъ предметъ его особенныхъ попеченій. Старыя основы общественной жизни, которыя уже заржавѣли отъ времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ея движенія впередъ, мудро отстраняются мало-по-малу, безъ всякаго сотрясенія въ общественномъ организмѣ. Обращено особое вниманіе на положеніе и бытъ народа, и сдѣланы попытки, обещающія прекрасные результаты, на его, такъ сказать, воспитаніе. Вотъ истинное продолженіе великаго дѣла Петра! Это именно то самое, за что бы теперь взялся самъ великій преобразователь Россіи, если бы онъ могъ возстать изъ гроба, и о чемъ не только въ его время, но и долго послѣ него нельзя было и думать! Не говоря о многомъ другомъ, мы, въ доказательство сказаннаго нами, укажемъ только на учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ.

Это просвѣщенное, вполнѣ соответствующее духу вѣка стремленіе правительства имѣло сильное вліяніе на направленіе общественнаго мнѣнія. Обнародованныя правительствомъ статистическія свѣдѣнія, заключающія въ себѣ драгоцѣнные факты для изученія даже нравственнаго состоянія, быта и характера народа, не могли не оказать благотѣльнаго вліянія на самую науку и не обратить ея на вопросы, представляемые русской жизнью. Отсюда рѣзкая разница между старыми и молодыми поколѣніями: первыя толкуютъ все о политикѣ, администраціи, смотрятъ на вопросы сверху внизъ,

говорять о развитіи промышленности, городов—и далѣе не идутъ; вторыя понимаютъ вопросъ наоборотъ, снизу вверхъ, и скромно ограничиваются на первый случай почвой, думая, что, прежде всего не обработавши, не сдѣлавши ея способной давать плодъ, нечего заботиться о плодахъ, а это почва для нихъ—народъ. Другими словами, послѣднія думаютъ только о тѣхъ плодахъ, которые родятся подъ открытымъ небомъ, и мало толку видятъ въ произведеніяхъ оранжерей и теплицъ.

Но теперь явилась у насъ особая порода мистическихъ философовъ, основывающихъ свое ученіе на идеѣ народности и народа. Что многочислѣннѣйшій и низшій классъ въ государствѣ, обыкновенно называемый народомъ, въ противоположность обществу, подъ которымъ разумѣются среднее и высшее сословія, есть хранитель сущности духа народной жизни,—это истина несомнѣнная. Народъ—сила охранительная, консервативная; и потому во всякой коренной реформѣ, касающейся всего государства, только то дѣйствительно, что проникнетъ и въ народъ. Своей инстинктивной преданностью преданію, обычаю, привычкѣ онъ противится всякому движенію впередъ, всякому успѣху, и медленно съ упорствомъ поддается нагиску врывающихся къ нему сверху нововведеній. Этимъ онъ, съ одной стороны, предохраняетъ само общество отъ произвольныхъ уклоненій отъ нормы народной жизни, ибо никогда не приметъ ничего несвойственнаго и, стало быть, вреднаго ей; съ другой—дѣлаетъ прочными всѣ результаты историческаго развитія, которыхъ не можетъ не принять. Непосредственное начало есть условіе всего живого, и все сознательное и искусственное, чтобъ быть дѣйствительнымъ, а не призрачнымъ, должно имѣть свои корни въ непосредственномъ. Но все непосредственное трудно для опредѣленія и яснѣе понимается чувствомъ, какимъ-то инстинктомъ, нежели умомъ. Оттого ребенокъ всегда больше загадка, нежели взрослый человѣкъ. Оттого стихія народной жизни, то, что называется народностью, національностью, никогда не можетъ быть выговорена нѣсколькими словами. Но наши мистическіе философы, о которыхъ мы заговорили, думаютъ, что они вполне разгадали и постигли тайну русской народности, на долю которой, по ихъ мнѣнію, достались любовь и синтезисъ въ пониманіи и образѣ жизни, такъ же, какъ на долю Запада, въ отличіе отъ насъ, достались вражда, анализъ и отрицаніе. Хотя нѣкоторые изъ нихъ и принимаютъ реформу Петра за необходимую, но это только увеличиваетъ путаницу и противорѣчія ихъ мистической теоріи, потому что норма нашей жи-

зни, по ихъ убѣжденію, только въ народѣ, и при томъ преимущественно въ народѣ до эпохи монгольскаго ига. Народъ для нихъ, стало быть, высшее откровеніе всякой истины, касающейся до сущности и формы нашей государственной жизни. Стоитъ только дѣлать все то, что дѣлаетъ народъ, не отставать отъ него ни въ чемъ—и все пойдетъ хорошо, больше не о чемъ будетъ заботиться. Само собою разумѣется, что всякая попытка на распространеніе просвѣщенія и образованія въ народѣ въ ихъ глазахъ есть ни больше, ни меньше, какъ святотатственное посягательство на здоровье и честь народной жизни. Вотъ до какой пелѣности можетъ довести людей самая истина, если она понята ими односторонне. Источникъ этого заблужденія заключается именно въ томъ пониманіи народа, которое мы сами сейчасъ высказали, и на которое эти господа съ торжествомъ могли бы указать, какъ на свое оправданіе. Но это только одна сторона предмета. Мы не знаемъ доселѣ ни одного народа, котораго развитіе и ходъ впередъ не были бы основаны на раздѣленіи народной жизни на народъ и общество. Этого раздѣленія нѣтъ у азиатскихъ кочевничихъ народовъ, ибо у нихъ раздѣляютъ народъ касты, привилегіи, но не просвѣщеніе и образованіе. Начиная съ грековъ, родоначальниковъ европейской цивилизаціи, у всѣхъ европейскихъ народовъ высшія сословія были представителями образованія и просвѣщенія, по крайней мѣрѣ вездѣ то и другое начиналось съ нихъ и отъ нихъ шло къ народу. Безъ этихъ высшихъ сословій, которымъ обезпеченное положеніе и присвоенныя права давали возможность обратитъ свою дѣятельность на предметы умственные, народы навсегда остались бы на первобытной степени ихъ патріархальнаго быта. Ученые и художники большей частью вездѣ выходили изъ народа, но не къ народу обращались они. Правда, во времена всеобщаго невѣжества, напримѣръ, въ мрачной ночи среднихъ вѣковъ, ученые въ особенности составляли особую касту, равно чуждую и народу, и обществу, и съ той и съ другой стороны могли ожидать для себя только обвиненія въ чернокнижничествѣ и костра. Но когда мракъ невѣжества началъ разсѣиваться, къ кому обратились служители науки? кто принялъ въ нихъ участіе?—Среднія и высшія сословія, а не народъ. Что касается до искусствъ, они всегда существовали и поддерживались высшими сословіями. Стало быть, это раздѣленіе народа на классы было необходимо для развитія человѣчества. Личность внѣ народа есть призракъ, но и народъ внѣ личности есть тоже призракъ. Одно условливается другимъ.

Народъ—почва, хранящая жизненные соки всякаго развитія; личность—цвѣтъ и плодъ этой жизни. Развитие всегда и вездѣ совершалось черезъ личности, и потому-то исторія всякаго народа такъ похожа на рядъ біографій нѣсколькихъ лицъ. Исторія показываетъ, какъ часто случалось, что одинъ человѣкъ видѣлъ дальше и понималъ лучше всего народа то, что нужно было народу; одинъ боролся съ нимъ и побуждалъ его сопротивленію, и самимъ народомъ причислялся потомъ за это къ числу его героевъ. Бывали и такіе народы, которые не стоили одного человѣка; по крайней мѣрѣ для насъ вымышленный или истинный Анахарсисъ гораздо лучше всѣхъ скивовъ, его недостойныхъ соотечественниковъ.

Итакъ, очевидно, что раздѣленіе на классы было необходимо и благодѣтельно для развитія всего человѣчества, и что выйти изъ привычекъ и обычаевъ простаго народа совсѣмъ не значить выйти изъ стихій народной жизни въ какую-то пустоту и отвлеченность и сдѣлаться призракомъ. Одинъ народъ, разумѣя подъ этимъ словомъ только людей низшихъ сословій, не есть еще нація: націю составляютъ всѣ сословія. Люди, которые презираютъ народъ, видя въ немъ только невѣжественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно въ работѣ и голодѣ, такіе люди теперь не стоятъ возраженій: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вмѣстѣ. Люди, которые смотрятъ на народъ человѣчнѣе, но думаютъ, что, по причинѣ его невѣжества и необразованности, онъ не заслуживаетъ изученія, и что вовсе нечему учиться у него, такіе люди, конечно, ошибаются, и съ ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше ихъ ошибаются тѣ, которые думаютъ, что народъ нисколько не нуждается въ урокахъ образованныхъ классовъ, и что онъ можетъ отъ нихъ только портиться нравственно. Нѣтъ, господа мистическіе философы, нуждается, да еще какъ! Народъ—вѣчно ребенокъ, всегда несовершеннолѣтнѣе. Бываютъ у него минуты великой силы и великой мудрости въ дѣйствіи, но это минуты увлеченія, энтузіазма. Но и въ эти рѣдкія минуты онъ добръ и жестокъ, великодушенъ и мстителенъ, человѣкъ и звѣрь. Никакая личность не сравнится съ нимъ въ эти минуты ни въ способности ясно видѣть истину, ни въ способности грубо заблуждаться, ни въ добрѣ, ни въ злѣ, ни въ геніальности, ни въ ограниченности. Это сила природная, естественная, непосредственная, великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слѣпая въ ея торжественныхъ проявленіяхъ. Это—море, величественное и въ тишинѣ, и въ бурѣ, но никогда не завязящее отъ са-

мого себя, никогда не управляющее само собою: вѣтеръ его повелитель...

Просвѣщеніе и образование никогда не могутъ лишить народъ его силы и очень могутъ исправить или по крайней мѣрѣ смягчить его недостатки. Звѣрь рождается почти готовымъ; какъ скоро молоко матери поставило его на ноги,—онъ совсѣмъ готовъ, его воспитаніе кончено. Въ устройствѣ своего тѣла и въ своемъ инстинктѣ онъ имѣетъ все, что нужно для поддержанія и охраненія его существованія. Чѣмъ больше похожъ онъ на звѣря своей породы, тѣмъ онъ лучше, совершеннѣе. Человѣкъ рождается въ болѣе жалкомъ и слабомъ состояніи, нежели звѣрь. Искусство объ руку съ природой встрѣчаетъ его у порога жизни и провожаетъ за порогъ жизни. Необходимость въ пеленкѣ, въ колыбели уже показываетъ его зависимость отъ искусственнаго, противоположнаго природѣ. Онъ все долженъ пережить отъ взрослыхъ—и языкъ, и понятія, и формы жизни. Предоставленный одной природѣ, отдаленный отъ всякой искусственности, онъ вырастетъ звѣремъ; дурно воспитанный, онъ будетъ животнымъ, только не дикимъ, а домашнимъ; но если звѣрь долженъ походить на звѣря, то человѣкъ тѣмъ болѣе долженъ быть человѣкомъ. Не потому ли обезьяны такъ и отвратительны, не въ примѣръ прочимъ животнымъ, что, будучи звѣрьми, похожи на людей. Что же можетъ быть отвратительнѣе человѣка, похожаго на звѣря? Конечно, все это нисколько не можетъ относиться ни къ какому народу, потому что всякій народъ живетъ общественной жизнью, всегда искусственной въ самой ея естественности, стало быть, никогда звѣриной. Но зато посмотрите на вѣчно младенчествующія племена: много ли въ нихъ человѣческаго, кромѣ всегда присущей человѣческой натурѣ возможности оцѣловѣчиться? И сколько у иного народа бываетъ племенныхъ дикихъ чертъ, какъ дружно уживается въ немъ человѣческое и прекрасное рядомъ съ звѣринымъ и безобразнымъ! Ему ли не нужно воспитаніе? его ли не надо учить, просвѣщать, образовывать? Подобнымъ мыслямъ слѣдовало бы родиться только въ дѣсахъ, выходить изъ крѣпко-лобыхъ головъ звѣриныхъ. Человѣкъ, отдѣлившійся отъ народа образованіемъ, наблюдая и изучая народный бытъ, можетъ научить простаго человѣка лучше пользоваться тѣмъ, съ чѣмъ тотъ обращался всю жизнь свою. Онъ можетъ научить его не только употребленію барометра, въ которомъ тотъ не нуждается хоть потому, что ему не на что купить такой дорогой вещи, но уходу за скотомъ, въ которомъ тотъ очень нуждается. Мало того: узнавши что-нибудь полезное отъ народа,

образованный человекъ можетъ возратить народу это же самое, у него взятое приобрѣтеніе въ улучшенномъ видѣ.

Но самъ народъ—лучшій рѣшитель этого вопроса. Бываетъ въ его жизни періодъ, иногда очень длинный, когда онъ дѣйствительно отъ всякаго нововведенія, не сообразнаго съ его привычками, отстаиваетъ себя словно отъ смерти. Но если ему суждено жить, а не прозябать растительно, другими словами: если ему суждено историческое существованіе, а не фактическое только, этотъ періодъ рано или поздно долженъ кончиться. Такъ было съ русскимъ народомъ. Назадъ тому лѣтъ пятьдесятъ матери были какъ по мертвымъ, провожая сыновей своихъ въ школы,—и эго матери не крестьянки, а разныхъ городскихъ сословій; а теперь всякій крестьянинъ радехонекъ возможности выучить своего сына грамотѣ. Ученые свѣтъ, неученые тьма, говоритъ онъ, и въ его глазахъ грамотный человекъ—существо высшаго разряда. Сдѣлай грамотный передъ неграмотнымъ подлость,—последній, упрекая его, всегда скажетъ: «а еще грамотный!» Только люди, дѣтски вѣрующіе въ непреложность апіорныхъ теорій и не признающіе доказательной силы фактовъ, могутъ думать, что реформа Петра не коснулась народа, и если зацѣпила его, то чисто внѣшнимъ образомъ. Это очевидная нелѣпость. Что русскій народъ—одинъ изъ способнѣйшихъ и даровитѣйшихъ народовъ въ мірѣ,—это онъ самъ доказалъ такъ хорошо, что въ этомъ не сомнѣваются въ Европѣ даже тѣ, которые во всемъ остальномъ не хотятъ въ немъ видѣть что-нибудь другое, кромѣ дикаго татарина. Способность переимчивости у русскаго народа равняется только его страсти къ переимчивости. Это его натура... Трудно было ему сдвинуться съ своей стоячести въ первый разъ, но сдвинувшись, онъ уже не можетъ не итти. Предразсудки, преданія гораздо меньше препятствуютъ успѣхамъ его въ образованіи, нежели какъ обыкновенно думаютъ объ этомъ. Правда, русскій человекъ ужъ такъ созданъ, что не можетъ не покоситься ни на какую новинку. Это относится не къ однимъ крестьянамъ, но и къ господамъ. Явится франтъ въ шляпѣ новаго фасона,—и насмѣшливымъ улыбкамъ нѣтъ конца; а черезъ недѣлю сами насмѣшники, глядишь, разгуливаютъ въ тѣхъ же шляпахъ. Чтѣ ни увидитъ русскій человекъ новаго у сосѣда,—рѣдко удержится похаять, а перенять никогда не удержится.

Чрезвычайный успѣхъ «Сельскаго Чтенія» можетъ между прочимъ служить не послѣднимъ доказательствомъ сильной охоты нашего простаго народа, говоря его собственнымъ выраженіемъ, набираться изъ книгъ

уму-разуму. Первая книжка «Сельскаго Чтенія» вышла въ 1843 году, и въ томъ же году появилась вторымъ изданіемъ; оба изданія состояли изъ 9000 экземпляровъ. Въ 1844 году вышла вторая, въ 1845—третья книжка «Сельскаго Чтенія»; въ 1846 году вышло пятое изданіе первой и второе изданіе второй книжки. Всѣхъ экземпляровъ этого прекраснаго изданія разошлось нѣсколько десятковъ тысячъ. Оно, разумѣется, породило подражанія; но они не имѣли никакого успѣха. Не считаемъ нужнымъ болѣе распространяться объ этомъ фактѣ: о немъ много было говорено, но самъ онъ лучше всего говорить за себя. Скажемъ только, что безсильная злоба, бессильно выражавшаяся (вѣроятно, оттого, что духъ захватило) намеками и непрямой бранью мистическихъ почитателей народа, была тоже блестящимъ доказательствомъ, что это прекрасное изданіе вполне достигло своей цѣли.

И однако жъ мы не скажемъ, чтобы въ «Сельскомъ Чтеніи» все было прекрасно, и чтобы лучше его ужъ и не могло бѣ быть изданія въ этомъ родѣ. Мы предоставляемъ эту манеру хваленія извѣстнымъ «правдолюбамъ» и безпристрастнымъ противникамъ всего западнаго. Въ «Сельскомъ Чтеніи» были статьи превосходныя (особенно изъ тѣхъ, которыя написаны Заблоцкимъ), но были и слабыя; изданіе его имѣло свои недостатки, но все-таки было прекраснымъ изданіемъ, и доселѣ не только ничего лучшаго, но и сколько-нибудь сноснаго въ этомъ родѣ еще не являлось.

#### Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ. Спб. 1847.

Книжечка эта издана для того, чтобы показать заботливымъ отцамъ и матерямъ, какіе романы могутъ читать дѣвѣицы тѣхъ лѣтъ, когда ихъ «Звѣздочка» называетъ уже «дѣтми старшаго возраста». Книжечка, какъ видите, по цѣли своей очень полезная, потому что въ нашемъ обществѣ такіе вопросы рождаются часто. Но кто скажетъ, какіе именно мы должны читать романы? Одни и тѣ же ли романы долженъ читать человекъ взрослый и юноша, однимъ и тѣмъ же ли должна интересоваться женщина, пока еще она не приняла на себя всѣхъ супружескихъ обязанностей и въ то время, когда она дѣлается матерью и съ этимъ вмѣстѣ занимаетъ новое мѣсто въ общественныхъ отношеніяхъ. У насъ по крайней мѣрѣ до настоящаго времени говорятъ, что дѣвица не должна того читать, чтѣ можетъ читать женщина,—что молодой человекъ, пока онъ учится и находится въ заведеніи, можетъ вытверживать только вѣковымъ приговоромъ

утвержденные отрывки из Корнеля, Расина, Бернардена де-Сенъ-Пьера, прозу Карамзина, стихи Ломоносова, Державина и (съ недавняго времени) нѣсколько стиховъ Пушкина. Это же почти выучиваютъ и дѣвцы. Но мы сдѣлаемъ здѣсь одинъ вопросъ: что читаютъ дѣвцы, когда онѣ бракомъ освобождаются отъ надзора родительскаго, и молодые люди, когда они сходять съ ученическихъ скамеекъ и занимаютъ мѣста въ обществѣ?—Отъ нихъ скрывали или по крайней мѣрѣ имъ мало говорили о томъ, что дѣлается въ литературѣ въ настоящее время, они жили посреди писателей XVII и XVIII вѣковъ, посреди той жизни, которая была доступна этимъ писателямъ, и вдругъ послѣ того вступаютъ въ жизнь настоящаго времени и въ литературу этой же эпохи. Имъ говорили, что новѣйшіе романы пишутъ зловредно, обольстительно, пагубно для нравственности; хорошо, они были съ этимъ согласны, пока имъ не надоѣли старинные писатели и пока они сами не вступили въ жизнь. Но какъ они только восходятъ на это новое поприще, ихъ, неприготовленныхъ, совершенно обхватываетъ и общество съ своими свѣтскими требованіями, и литература съ своими новыми интересами, о которыхъ они мало слыхали. Умъ ихъ еще свѣжъ и гибокъ, убѣжденія измѣнчивы, и новые писатели, какъ ихъ ни брани, имѣютъ въ себѣ много блестящихъ сторонъ, которыми трудно не увлечься. Что имъ дѣлать? какъ отличить истину отъ лжи, софизмъ отъ прямого доказательства? Справиться съ тѣми писателями, которыхъ они учили въ школѣ, съ тѣми наставленіями, которыя имъ дѣлалъ учитель? Но писатели эти говорятъ совсѣмъ о другихъ предметахъ, герои Корнеля и Расина, правда, чувствовали благородно, но были совсѣмъ въ другихъ положеніяхъ, чѣмъ герои нашего міра; это все были величественныя фигуры древняго Рима и Греціи, а не нашей прозаической эпохи. Какъ же быть: оправдывать и соглашаться съ романами, или отвергать и не соглашаться съ ними? Идеальные герои Бернардена де-Сенъ-Пьера такъ далеко жили отъ земли, что ихъ не могли даже смущать интересы земные. Стихи Ломоносова и Державина до того возвышенны и торжественны, что могутъ относиться только къ событіямъ государственнымъ, а не къ бѣднымъ приключеніямъ частнаго лица. Что же дѣлать молодому человеку или женщинѣ, вступившей въ свѣтъ? Въ немъ безпрестанно говорятъ о новостяхъ въ литературномъ мірѣ, о вновь вышедшихъ романахъ; о нихъ спросятъ даже мнѣнія, слѣдовательно, ихъ нужно непременно прочесть. Къ этому же влечетъ молодыхъ людей и та жажда ко всему, что запрещается въ

школѣ или по крайней мѣрѣ дозволяется съ большими оговорками. Интересъ и важность романа преувеличиваются воображеніемъ, и когда, наконецъ, доступъ къ нимъ сдѣлается легкъ, тогда-то молодые люди предаются имъ со всей необузданностью, со всей довѣренностью молодости и неопытности; и гдѣ же тѣ плоды, которые старались собрать родители и воспитатели отъ исключительнаго воспитанія одними старинными писателями! Вліяніе романовъ всегда было чрезвычайно велико и часто вредно отъ этихъ причинъ. Посмотрите на молодыхъ людей, получившихъ такое воспитаніе во время оно, когда писала Радклифъ. Они бросались на чтеніе этихъ страшныхъ романовъ съ какой-то яростью, и по прочтеніи видѣли міръ не такимъ, какъ онъ существуетъ въ самомъ дѣлѣ, а міръ, наполненный страшилищами, привидѣніями, разбойниками; имъ страшно было ходить вечеромъ, не только ночью, страшно было сидѣть однимъ въ комнатѣ, страшно было переѣхать изъ города въ городъ. Посмотрите потомъ на другихъ молодыхъ людей, которые выступили въ свѣтъ, когда мадамъ Жанлисъ и Ричардсонъ начали накладывать на міръ сентиментальную сѣть поддѣльныхъ чувствъ и нѣжностей: они, молодые люди, были нѣжны, чрезвычайно нѣжны... но послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, вступивъ въ зрѣлый возрастъ, дѣлались жестоки и суровы, дрались и ругались, какъ будто для нихъ не существовало нѣжныхъ романовъ... Тогда они ихъ называли уже глупостью. Та же исторія съ Байрономъ, худо понятымъ и кривъ перетолкованнымъ такими молодыми людьми, которые выходили изъ школъ прямо разочарованными... Всѣ эти писатели были вредны, потому что ихъ толковали по-своему молодые люди, которые до того времени не слыхивали о ихъ существованіи, а потомъ на-слово начинали имъ вѣрить и подражать въ жизни тому, что вычитывали въ романахъ, поэмахъ и драмахъ. Вѣдь правда же, что послѣ перваго представленія «Разбойниковъ» нѣсколько молодыхъ людей пошли въ дѣса промышлять по образцу героевъ Шиллера. Вѣдь теперь этого, слава Богу, нѣтъ; а отчего? Оттого, что мы рано узнаемъ эту трагедію, что намъ ее объясняютъ наставники и показываютъ, что въ ней истинно и что поддѣльно.

Какіе же романы можно и должно читать начинающимъ? Если вы хотите знать жизнь, —а романъ есть самая свободная форма, въ которой она выражается, — то читайте романы, въ которыхъ эта жизнь выражается прямо, безъ прикрасъ, безъ натяжекъ сентиментальности, безъ утопій разстроенаго воображенія. Молодымъ людямъ, начинавшимъ чтеніе, всегда совѣтывали читать Вальтеръ-

Скотта, на какомъ же это основаніи, какъ не на томъ, что въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, вы видите прошедшій бытъ народа. Если спросите, кого изъ нашихъ романистовъ можно дать въ руки молодому человѣку, не опасаясь всѣхъ вредныхъ послѣдствій односторонности и поддѣльности, вамъ укажутъ на Лажечникова, опять по той же самой причинѣ. Поэтому многіе говорятъ, что молодымъ людямъ можно читать только одни романы историческіе. Совершенно несправедливо; отчего же они не могутъ читать романа, въ которомъ отразилась настоящая жизнь со всѣхъ сторонъ: отчего, напримѣръ, разныя сочиненія Гоголя, Пушкина и Лермонтова не могутъ читать и выучивать всѣ и каждый наизусть? Если можно читать романы, въ которыхъ отразилась прошедшая жизнь, то также можно читать романы, въ которыхъ вы видите настоящую жизнь. Далѣе, по нашему мнѣнію, гораздо лучше позволять читать романы, въ которыхъ видна односторонность писателя,—но съ тѣмъ, чтобы при этомъ наставникъ пояснялъ, что ложно и не согласно съ дѣйствительностью,—нежели совсѣмъ не позволять ихъ читать, потому что вполнѣдствіи, когда молодой человѣкъ, избавившись отъ учительской фе-

рулы, добудетъ такой романъ, а онъ непременно его добудетъ, онъ прочтетъ его и на слово увѣруетъ въ справедливость разказа, въ непогрѣшимость дѣйствующихъ лицъ и даже постарается подражать одному изъ героевъ, который ему преимущественно понравится. На это скажутъ, что романъ, въ которомъ отразилась дѣйствительная жизнь во всей ея наготѣ, съ ея радостями и бѣдствами, богатствомъ и нищетою, успѣхами и страданіями, что такая жизнь можетъ очерствить сердце молодого человѣка, и очерствить преждевременно. Не знаемъ, правда ли это, но мы позволимъ себѣ сдѣлать вопросъ: что же лучше,—узнать жизнь скорѣе и прямѣйшимъ путемъ, или прежде выучиться заблужденіямъ, а потомъ въ нихъ разувѣряться съ каждымъ днемъ, съ опытностью, до того же времени прожить подъ вліяніемъ фальшивыхъ убѣжденій, сентиментальности, фантастическихъ бредней, быть смѣшнымъ нѣкоторое время въ обществѣ, фантазировать и мечтать какъ герои Жанлисъ, Ричардсона, какъ «Бѣдная Лиза» Карамзина? Всѣ романы въ этомъ родѣ нужно позволять читать, но при этомъ объяснить, какъ много въ нихъ фальшиваго и какъ мало правды.



**Павель Степановичъ Мочаловъ.**

16-го числа прошлаго мѣсяца (марта 1848 г.) скончался въ Москвѣ знаменитый русскій трагическій актеръ. Павель Степановичъ Мочаловъ. Сценическое искусство понесло въ немъ горькую утрату. Это былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ, огромнымъ талантомъ, какіе являются рѣдко. Самая противорѣчивость и преувеличенность сужденій о талантѣ Мочалова доказываютъ, что онъ дѣйствительно стоялъ далеко за чертой обыкновеннаго. Одни видѣли въ немъ высшую степень совершенства, до какого только можетъ доходить трагическій талантъ; другіе видѣли въ немъ совершенно бездарнаго актера. Какъ ни преувеличено первое мнѣніе, однако въ немъ въ тысячу разъ больше истины, нежели въ послѣднемъ, но и послѣднее существуетъ не безъ основанія; самъ Мочаловъ вызвалъ его; дѣло въ томъ, что, получивши отъ природы огромный талантъ и богатые средства для представленія трагическихъ ролей, Мочаловъ съ молодыхъ лѣтъ имѣлъ несчастье пренебречь развитіемъ своего таланта и обработкой своихъ средствъ, ничего не сдѣлалъ во-время, чтобъ овладѣть ими. Одаренный въ высшей степени страстной натурой, онъ владѣлъ при этомъ голосомъ, который способенъ былъ выражать всѣ оттѣнки страстей и чувствъ: въ немъ слышны были и громовый рокотъ отчаянія, и порывистые крики бѣшенства и мщенія, и тихій шопотъ сосредоточившагося въ себѣ негодованія, — шопотъ, который раздавался, бывало, по всему театру, и каждое слово доходило до слуха и сердца зрителя: и мелодическій лепетъ любви, и язвительность ироніи, и спокойно-высокое слово. Голосъ для актера великое дѣло. Конечно, актеру нуженъ не такой голосъ, какъ пѣвцу, но все же нуженъ необыкновенно гармоническій, звучный и гибкій голосъ; иначе онъ никогда не выкажетъ во всей полнотѣ своего таланта, какъ бы великъ онъ ни былъ. Голосъ Мочалова былъ дивнымъ инструмен-

томъ, въ которомъ заключались всѣ звуки страстей и чувствъ. Лицо его также было создано для сцены. Красивое и пріятное въ спокойномъ состояніи духа, оно было измѣнчиво, подвижно—настоящее зеркало всевозможныхъ оттѣнковъ ощущеній, чувствъ и страстей. При этомъ онъ былъ крѣпкаго здоровья,—обстоятельство, очень важное для трагическаго актера. Ростомъ онъ былъ не высокъ, но совсѣмъ не такъ, чтобъ это могло казаться въ немъ недостаткомъ на сценѣ. Сложенъ былъ хорошо.

И невозможно себѣ представить, до какой степени мало воспользовался Мочаловъ богатыми средствами, которыми надѣлила его природа! Со дня вступленія на сцену, привыкнуши надѣяться на вдохновеніе, всего ожидать отъ внезапныхъ и вулканическихъ вспышекъ своего чувства, онъ всегда находился въ зависимости отъ расположенія своего духа: найдеть на него одушевленіе—и онъ удивителенъ, неподобенъ; нѣтъ одушевленія—и онъ впадаетъ не то, чтобы въ посредственность—это бы еще куда ни шло—нѣтъ, въ пошлость и тривіальность. Тогда невысокій ростъ его дѣлался на сценѣ большимъ недостаткомъ, вся фигура его становилась непріятной, манеры—безобразными. Чувствуя внутреннюю скуку и апатію, понимая, что онъ играетъ дурно, Мочаловъ выходилъ изъ себя, и, желая насильно возбудить въ себѣ вдохновеніе, онъ кричалъ, кривлялся, ломался, хлопалъ себя руками по бедрямъ, и оттого становился еще нестерпимѣе. Вотъ въ такіе-то неудачные для него спектакли и видѣли его люди, имѣющіе о немъ понятіе какъ о дурномъ актерѣ. Это особенно пріѣзжіе въ Москву, и особенно петербургскіе жители. Они, конечно, правы въ отношеніи къ самимъ себѣ, тѣмъ болѣе, что по слухамъ ожидали увидѣть чудо таланта. Правда, едва ли когда-нибудь Мочаловъ цѣлую большую роль игралъ дурно отъ начала до конца; напротивъ, въ продолженіе большой шесы у него не разъ вспыхивало вдохновеніе, и онъ хоть въ нѣсколькихъ

только сценахъ, но все-таки бывалъ удивителенъ; но не у всякаго станетъ терпѣнія высидѣть длинную трагедю, дурно разыгрываемую даже главнымъ лицомъ, въ надеждѣ вознаградить себя нѣсколькими минутами удовольствія. Москвичи любили его, многое извиняли ему и терпѣливо дожидались его «превращеній» на сценѣ,—и какъ хорошъ онъ былъ въ этихъ «превращеніяхъ»; онъ словно вырасталъ въ глазахъ зрителя, манеры его мгновенно облагораживались, лицо и голосъ измѣнялись—точно совсѣмъ другой человекъ на сценѣ, въ глазахъ зрителей! Ему никогда не удавалось выполнить ровно свою роль отъ начала до конца, т. е. выполнить ее художнически, артистически, но ему нерѣдко удавалось въ продолженіе цѣлой роли постоянно держать зрителей подъ неотразимымъ обаяніемъ тѣхъ могущественныхъ и мучительно-сладкихъ впечатлѣній, которыя производила на нихъ его страстная, простая и въ высшей степени натуральная игра. И въ этой игрѣ бывали неровности и небольшие промахи; но зритель подъ бременемъ волнованныхъ его ощущеній не успѣвалъ приходить въ себя, чтобъ ясно видѣть отгѣвныя игры. Иногда Мочаловъ бывалъ превосходенъ только въ нѣсколькихъ актахъ трагедіи, иногда въ одномъ, иногда цѣлая роль его была безпрестанной смѣной паденія возстаніемъ и возстанія паденіемъ; невозможно исчислить всѣхъ этихъ комбинацій удачъ съ неудачами.

Торжествомъ его таланта былъ «Гамлетъ»; бывалъ онъ превосходенъ и въ «Отелло», но большей частью только въ трехъ послѣднихъ актахъ, когда выходитъ на сцену ревность. Прежде онъ блисталъ въ роляхъ Карла Моора и Фердинанда. Служивцы его увѣряютъ, что онъ былъ удивителенъ въ роли Мейнау, въ пьесѣ Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе»; онъ особенно любилъ эту роль, охотно и часто игралъ ее, и всегда, не въ примѣръ прочимъ ролямъ, выполнялъ ее съ удивительнымъ совершенствомъ съ начала до конца, какъ истинный художникъ, и немногие могли смотрѣть безъ слезъ на его игру въ этой роли.

Чтобы вѣрно оцѣнить такой талантъ, какъ Мочалова, надо было часто видѣть его на сценѣ, освоиться съ его игрой, изучить ее. По огромности таланта, Мочаловъ былъ не-

обыкновеннымъ феноменомъ; но этотъ талантъ былъ чисто природный, нисколько не развитый ни наукой, ни искусствомъ, всегда зависѣвшій отъ вдохновенія. Конечно, безъ вдохновенія нельзя сыграть какъ слѣдуетъ никакой роли, тѣмъ болѣе трагической, но и безъ вдохновенія можно играть прилично, умно, отчетливо. Почти всякая роль начинается довольно холодно и разогрѣвается по мѣрѣ хода драмы. Вотъ тутъ-то особенно важно для актера не потерять, испугавшись своего внутренняго нерасположенія къ игрѣ, но играть съ полнымъ присутствіемъ духа; вдохновеніе мало-по-малу придетъ само собой, его вызовутъ рукоплесканія публики; при томъ же, играя отчетливо, актеръ невольно входитъ въ свою роль и самъ себя разогрѣваетъ ею. Но этого самообладанія своими средствами актеръ можетъ достигъ только усиленнымъ и долговременнымъ изученіемъ своего искусства. Этого-то изученія и недоставало Мочалову, чтобъ быть истиннымъ чудомъ сценическаго искусства. И потому онъ давно уже шелъ назадъ, вмѣсто того чтобъ итти впередъ. Въ 1846 году Мочалова едва узнавали на сценѣ невидавшіе его лѣтъ шесть. Были и тутъ вспышки, но уже не прежняго Мочалова; голосъ хриплый; страсть еще есть, но ужъ средства для выраженія ея ослабли...

Въ мѣрѣ искусства Мочаловъ — примѣръ поучительный и грустный. Онъ доказалъ собою, что одни природныя средства, какъ бы они ни были огромны, но безъ искусства и науки, доставляютъ торжества только временныя, и часто человекъ ихъ лишается въ ту эпоху своей жизни, когда бы имъ слѣдовало быть въ полномъ ихъ развитіи. Мочаловъ, какъ мы уже сказали, еще довольно задолго до своей смерти началъ ослабѣвать въ талантѣ, и умеръ онъ всего на сорокъ восьмомъ году отъ роду. Біографическія подробности о жизни Мочалова читатели найдутъ въ брошюрѣ подъ названіемъ: «Воспоминанія о П. С. Мочаловѣ», которую въ скоромъ времени намѣренъ издать Межевичъ. Межевичъ коротко зналъ Мочалова, онъ имѣетъ его письма, рукописныя стихотворенія и даже краткую автобіографію, врученную ему Мочаловымъ въ 1846 году,—стало быть, можно съ достовѣрностью предполагать, что брошюра Межевича будетъ интересна.

## IV. ПРИЛОЖЕНИЕ.

### Избранныя письма В. Г. Бѣлинскаго.

1829—1848 г.

«Вся жизнь моя въ письмахъ»...

(Изъ письма В. Г. Бѣлинскаго къ Н. А. Вакуниной, 6 апрѣля 1841 г.).

«Пистина выше людей и не должна бояться ихъ, особенно истина объ умершемъ человѣкѣ, могла котораго требуетъ суда, а не осужденія, должной справедливости, а не восторженныхъ похвалъ ложныхъ друзей или пристрастнаго ропота раненныхъ самолюбія».

(Изъ собранія сочиненій В. Г. Бѣлинскаго, статья «Н. А. Полевой»).

1829—1834.

#### Къ родителямъ.

(Отцу и матери.) 1)

I—XXV.

Москва, 1829 г. сентября 1-го дни 2).

«...Теперь я не знаю, что мнѣ и дѣлать 3). Завтра опять хочу просить его пр—во Андрея Зиновьича Дурасова 4); если онъ откажется помочь, то я лишусь всякой надежды поступить нынѣшнимъ годомъ въ Московскій университетъ, и всемо этому причиною вы. Безъ свидѣтельства, которое мнѣ такъ нужно, какъ мужику паспортъ, и самое мое пребываніе въ Москвѣ опасно. Если бы на заставѣ я не сказался лакеемъ И. Н—ча, меня бы остановили... Бога самого ради прошу васъ: пришлите какъ невозможно скорѣе свидѣтельство. Я безъ него погибъ».

Москва. (Черезъ нѣсколько дней) 5).

«...Мои обстоятельства въ самомъ худомъ положеніи... Приемъ просьбъ и экзамены кончились, и уже выдали табели. Надежда потеряна совершенно 6). Но, я въ Чембарѣ не побѣду

по слѣдующимъ причинамъ: меня, яко неимѣющаго никакого вида и свидѣтельства, задержатъ на заставѣ. Во-вторыхъ, я не хочу быть предметомъ посмѣянія и насмѣшекъ всего народа, и посему лучше соглашусь умереть съ холода и голода среди московскихъ улицъ, или просить милостыню подъ окнами, нежели ѣхать къ вамъ въ Чембарѣ. Опять, если я приѣду въ Чембарѣ, то не буду имѣть случая вторично ѣхать въ Москву: ибо и сей разъ съ большимъ грѣхомъ удалось мнѣ съѣхать...

«...Я могу прискать квартиру рублей по 15-ти въ мѣсяцъ на хозяйскомъ содержаніи у какого-нибудь дьячка или пономаря, которые въ Москвѣ живутъ не хуже нашихъ поповъ. Буду заниматься языками, науками. Постараюсь найти кондичіи, и другія средства къ содержанію буду испытывать. Между тѣмъ, надѣюсь, что и вы меня не совѣсьмъ оставите. На будущій годъ я всѣхъ прежде подамъ просьбу и навѣрное буду принять... 1).

«...Безъ сего свидѣтельства меня и на квартиру никто не пуститъ, ибо надобно заявить въ части. Теперь я все равно какъ бѣглый и нахожусь въ великой опасности: ибо Москва—не Чембарѣ...»

Москва. Конецъ сентября 1829 г. 2).

«Съ живѣйшей радостью и нетерпѣніемъ спѣшу увѣдомить васъ, что я принятъ въ число студентовъ императорскаго Московскаго университета 3). Меня не столько радуетъ то, что я студентъ, сколько то, что симъ могу доставить вамъ удовольствіе. Я съ своей стороны сдѣлалъ все, что только могъ сдѣлать: я передъ вами оправдался. Тѣмъ болѣе меня радуетъ и восхищаетъ принятіе въ университетъ, что я оному обязанъ не покровительству и стараніямъ кого-нибудь, но собственно самому себѣ. Хотя Лажечниковъ и просилъ обо мнѣ двухъ профессоровъ, но его просьба потому

1) Далѣе слѣдуетъ опять убѣдительная просьба о высылкѣ документовъ.

2) Рус. Стар. 1876 г. 1. Стр. 52—53

3) Оказалось, что онъ могъ зачислиться вольнымъ слушателемъ, а по выдержаніи годичнаго экзамена и быть принятымъ въ число студентовъ.

1) «Виссарионъ Григорьевичъ Бѣлинскій». Новыя данныя для его біографіи. 1810—1840. Рус. Стар. 1876 г. 1, 2. При каждомъ письмѣ ссылки на стр. упомянутаго источника.

2) Рус. Стар. 1876 г. 1. Стр. 51.

3) 31-го августа Бѣлинскій подалъ ректору университета Дмитріевоу прошеніе о принятіи его въ университетъ, но ректоръ возвратилъ прошеніе обратно, такъ какъ при немъ не было метрическаго свидѣтельства.

4) Генералъ, къ которому у Бѣлинскаго было рекомендательное письмо.

5) Рус. Стар. 1876 г. 1 Стр. 51.

6) Т. е. на послушаніе въ университетъ.

осталась недѣйствительна, что въ то время, когда я держалъ экзаменъ, вмѣсто ихъ другіе были назначены экзаменаторами. Генераль Дурасовъ тоже въ семь случаевъ мнѣ нимало не помогъ. Впрочемъ, онъ тѣмъ сдѣлалъ мнѣ большую пользу, что собственноручною роспискою поручился въ томъ, что я буду всегда ходить въ форменной одеждѣ и поведеніемъ своимъ не нанесу никакого начальству безпокойства. По уставу, каждый студентъ долженъ найти себѣ поручителя; поручаться же можетъ отецъ, родственникъ и всякій чиновный человѣкъ. Я получилъ отъ васъ свидѣтельство о рожденіи 11-го числа, въ среду; просьбу подавъ 12-го числа, экзаменъ держалъ 19-го, табель получилъ 21-го. Итакъ, я теперь студентъ и состою въ XIV классѣ, имѣю право носить шпагу и треугольную шляпу<sup>4</sup>.

„...Рѣшеніе на мою просьбу 1) выйдетъ около Р. Х., а не прежде, и до тѣхъ поръ я долженъ жить на своемъ коштѣ...“

„... Вы не можете себѣ представить, что вышло на разныя мелочи, напримѣръ: я купилъ пару ваксенныхъ щетокъ, ваксы, помады, гребень, гребенку, рейсфедеръ, бумаги, перьевъ, чернилъ и прочихъ необходимыхъ мелочей, на которыя довольно вышло денегъ. При томъ же, прѣхавши въ Москву, надобно было нанимать ямщиковъ до тѣхъ поръ, пока не узналъ хорошо улицы. Бывало, когда пойду пѣшкомъ, то плутаю до тѣхъ поръ, что зайду отъ цѣли версты за три. При томъ же я купилъ себѣ довольно необходимыхъ книгъ, напримѣръ, ариметику Войтяковского, за которую заплатилъ два рубля, и нѣсколько другихъ учебныхъ и французскихъ нужныхъ книгъ. Рублей съ пять издержалъ дорогой. При томъ же вы знаете, что Москва не Чамбаръ, а я—не монахъ, отчужденный отъ міра. По всѣмъ симъ причинамъ у меня очень немного осталось денегъ...“

Москва. 22 января 1831 г. 2).

„... Скажу вамъ о себѣ, что я пускаюсь въ море тревоженное, въ море великое и странное, въ немъ же гадя нѣсть числа. Можетъ быть, вы скоро увидите имя мое въ печати и будете читать обо мнѣ разныя толки и сужденія, какъ въ худую, такъ и въ хорошую сторону. Не могу рѣшительно опредѣлить достоинство моего сочиненія<sup>3</sup>), но скажу, что оно много надѣлаетъ шуму. Вы въ немъ увидите многія лица, довольно вамъ извѣстныя. Но впередъ говорить нечего: когда напечатается, тогда и мнѣющіе уши слышать, да слышатъ.“

Москва. 17 февраля 1831 г. 4).

„...У насъ съ 1-го июня 1830 г. воцарился новый инспекторъ. До окончанія вакаціи и до начала открытія лекцій онъ не дѣлалъ никакихъ распоряженій: оныя послѣдовали черезъ нѣсколько дней послѣ моего прѣзда въ Москву<sup>5</sup>). У насъ прежде столы и кровати были

вмѣстѣ и мы въ одномъ и томъ же номерѣ и занимались, и спали. Это имѣло для насъ ту выгоду, что мы могли иногда и полежать, если надобно сидѣть, и каждый изъ насъ имѣлъ свой особенный уголокъ. Щепкинъ<sup>1</sup>) уничтожилъ эти выгоды, перенесши кровати въ другую половину этажа, занимаемаго нами. Бывало, въ номерѣ жило не болѣе, какъ по 10-ти, или много-много по 11-ти человѣкъ, а теперь по 15-ти, 17-ти и 19-ти. Сами посудите, можно ли при такомъ многолюдствѣ заниматься дѣломъ? Столики стоять въ такомъ близкомъ одинъ отъ другого разстояніи, что каждому даже можно читать книгу, лежащую на столѣ своего сѣзда, а не только видѣть, чѣмъ онъ занимается. Тѣснота, толкотня, крикъ, шумъ, споры; одинъ ходитъ, другой играетъ на гитарѣ, третій на скрипкѣ, четвертый читаетъ вслухъ—словомъ: кто во что гораздъ. Извольте тутъ заниматься! Сидя часовъ пять сряду на лекціяхъ, должно и остальное время вертѣться на стулѣ. Бывало, я и понятія не имѣлъ о боли въ спиѣ и поясницѣ, а теперь хожу весь какъ разломанный. Часы ударятъ 10, должно итти спать черезъ четыре длинныхъ коридора и нѣсколько площадокъ; поутру, если забудешь взять съ собою полотенце, мыло или что-нибудь подобное, надобно опять два раза пройти безконечную цѣпь коридоровъ. Пища въ столовой такъ мерзка, такъ гнусна, что невозможно ѣсть. Я удивляюсь, какимъ образомъ мы уцѣлѣли отъ холеры, питаея пакостною падалью, стервятниной и супомъ съ червями. Обращаются съ нами какъ нелзя хуже. Невозможно исчислить всѣхъ неудобствъ казеннаго кошта. Какая разница между жизнью казеннаго и жизнью своекоштнаго студента! Первый всегда находится въ глазахъ начальства; самыя ничтожныя поступки его берутся на замѣчаніе. Второй же почти не знаетъ своего начальства, которое имѣетъ на него самое слабое вліяніе. Живетъ онъ одинъ или много—съ двумя товарищами на квартирѣ. Ему никто не мѣшаетъ въ его занятіяхъ; онъ можетъ сидѣть цѣлую ночь и спать цѣлый день; никто не потребуетъ у него отчета въ образѣ его жизни. Сердце обливается кровью, какъ поглядишь—какъ живутъ своекоштные!“

„Какъ только я прѣхалъ, то ректоръ призвалъ меня въ правленіе и началъ бранить за то, что я поздно прѣхалъ. Этими я обяжалъ Перовошикову, который тогда очень помнилъ меня и отреккомендовалъ ректору и Щепкину. Когда ректоръ говорилъ со мною, то онъ (Перовошиковъ) безпрестанно кричалъ, что меня надобно выгнать изъ университета. Наконецъ, ректоръ въ заключеніе спектакля сказалъ: „за мнѣтьте этого молодца; при первомъ случаѣ его надобно выгнать.“ Многіе казенные же прѣзжали гораздо послѣ меня, и имъ за это ни слова не сказали. Передъ окончаніемъ холеры я не ночевалъ ночи двѣ или три дома. Прихожу къ Щепкину за однимъ дѣломъ, и онъ начнаетъ меня ругать: говорить, что меня за это онъ отдастъ, какъ какого-нибудь каналью, въ солдаты, и, наконецъ, съ презрѣніемъ началъ выгонять изъ своихъ комнатъ. Разумѣется, что... за такой пустой проступокъ ничего не можетъ сдѣлать, какъ только наказать выговоромъ, или у себя дома, или въ номерѣ, или въ правленіи, и много-много посадить въ карцеръ, и что его нелзя угрозы не могутъ никогда выполниться; но какво терпѣть-то?.. Надѣясь

1) Бѣлинскій подавъ 25-го сентября прошеніе въ совѣтъ о пріятіи его на казенное содержаніе.

2) Рус. Стар. 1876 г. I. Стр. 64. (Шельмо къ отцу).

3) Дѣло извѣстъ о его трагедіи.

4) Рус. Стар. 1876 г. I. Стр. 61—63.

5) Изъ Чамбара, куда Бѣлинскій все-таки попалъ на дѣтнюю побывку (Р. Ст. 76 г. I, стр. 60).

1) П. С. Щепкинъ, новый инспекторъ.

сорваться съ казеннаго кошта, я далъ себѣ клятву все терпѣть и сносить, и потому ничего ему не сказать...“

...Собравивши всѣ обстоятельства моей жизни, я въ правѣ назвать себя несчастнѣйшимъ человѣкомъ 1). Въ моей груди сильно пылаетъ пламя тѣхъ чувствъ, высокихъ и благородныхъ, которыя бывають удѣломъ немногихъ *избранныхъ*—и при всемъ томъ, меня очень рѣдкіе могутъ цѣнить и понимать... Всѣ мои желанія, намѣренія и предпріятія самыя благородныя, какъ въ разсужденіи самого себя, такъ и другихъ оканчивались или неудачами, или ко вреду мнѣ же, и, что всего хуже, навлекли на меня нареканіе и подозрѣніе въ дурныхъ умыслахъ. Доказательства передъ глазами. Вы сами знаете, какъ *сладки* были лѣта моего младенчества... Учась въ гимназіи, я жилъ въ бѣдности, скитался, по своей волѣ, по сквернымъ квартиршкамъ, находился въ кругу людей презрѣнныхъ, имѣлъ право вѣниться и проч. Побѣхалъ въ Москву съ пламеннымъ желаніемъ опредѣлиться въ университетъ; мое желаніе сбылось. По вѣтренности, а болѣе по неопытности, истратилъ данную мнѣ сумму денегъ, которая въ моихъ глазахъ казалась огромною, неистощимою. Потомъ поступилъ на *казенный коштъ*... О, да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!.. Любя своего брата 2), видя, что онъ въ дому своихъ родителей живетъ на *казенномъ коштѣ*, сострадая его слишкомъ жалкому состоянію и вмѣстѣ желая облегчить участь А. Ефремовича, я убѣдилъ васъ отправить ихъ обоихъ въ Москву. Цѣль благородная, безкорыстная: ибо я, для того, чтобы способствовать сколько-нибудь, по мѣрѣ моихъ силъ и возможности, ихъ счастью, бралъ на себя большую обузу и большую отвѣтственность. И что же вышло?... Черезъ это я ввелъ васъ въ излишніи издержки и хлопоты, чрезъ это напрасно измучены лошади, оставлена на дорогѣ бричка и, что всего важнѣе, чрезъ это я навлекъ на себя ваше неудовольствіе! Осужденный страдать на казенномъ коштѣ, я вознамѣрился избавиться отъ него и для этого написалъ книгу, которая могла скоро разойтись и доставить мнѣ не малыя выгоды. Въ этомъ сочиненіи, со всѣмъ жаромъ сердца, пламеняющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ довольно живой и вѣрной представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ. Герой моей драмы есть человѣкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными; его мысли вольны, поступки бѣшены, и слѣдствіемъ ихъ была его гибель. Вообще скажу, что мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и что цѣль его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру—и что же вышло?... Прихожу черезъ недѣлю въ цензурный кабинетъ (комитетъ) и узнаю, что мое сочиненіе цензоравалъ Л. А. *Поглавецъ* (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ редактору, сидѣвшему на другомъ концѣ стола, и вскричалъ: „Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!“ Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочи-

неніе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно признано было безразличнымъ, безцѣстнымъ университетъ и о немъ составили журналъ!.. Но послѣ это дѣло уничтожено, и ректоръ сказалъ мнѣ, что обо мнѣ ежемѣсячно будутъ подаваться особенныя донесенія...“

„Какое это?... Я надѣялся на выроченную сумму откупиться отъ казны, жить на квартирѣ и хорошенько экипироваться—и всѣ мои блестящія мечты экипировались въ противную дѣйствительность, горькую и бѣдственную. Я могъ бы найти кондицію, завести хорошия и полезныя для меня знакомства, но въ форменной одеждѣ, кромѣ аудиторіи, нигдѣ нельзя показаться, ибо она въ крайнемъ пренебреженіи; а я не только не имѣю необходимой для всякаго молодого человѣка хорошей фракной или сюртуковой пары, но даже и хорошей форменной одежды; теперь третья (исподнее платье) совершенно отказывается служить, а новаго платья, по случаю холеры, и не думаютъ шить...“

„Лестная, сладостная мечта о приобрѣтеніи извѣстности, освобожденіи отъ казеннаго кошта для того только ласкала и тѣшила меня, доврѣчиваго къ ея дѣтскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всѣхъ надеждъ моихъ, я совершенно *опустился*; *все равно*—вотъ девизъ мой...“

Москва. 17-е февраля 1831 г. 1).

„...Изъ письма Катерины Петровны 2), а болѣе чрезъ Лукерью Савельевну, я узналъ, что вы сильно на меня негодуете. Эти непріятныя извѣстія сколько опечалили меня, столько и привели въ большое недоумѣніе, тѣмъ болѣе, что я ихъ совсѣмъ не ожидалъ. Правда, я давно не писалъ къ вамъ; но позвольте спросить васъ: о чемъ и какъ мнѣ было писать къ вамъ? Увѣрять васъ въ своей почтительности, любви, преданности, осыпать васъ нѣжными названіями я не могу, ибо почитаю это не чѣмъ инымъ, какъ подлымъ ласкательствомъ, какъ низкимъ средствомъ выманить у васъ деньги. Я не умѣю нѣжничать, но умѣю чувствовать, и думаю, что священное чувство любви и уваженія къ родителямъ состоитъ не въ словахъ, а въ поступкахъ; заключается не въ мертвой бумагѣ, но въ душѣ пламенной, доступной для благородныхъ и возвышенныхъ впечатлѣній. Писать же къ вамъ такимъ образомъ: „при сей вѣрной оказіи я не могъ преминовать, чтобы не засвидѣтельствовать вамъ моего всенжайшаго почтенія и увѣдомить васъ, что я, слава Богу, живъ и здоровъ, чего и вамъ желаю, а впрочемъ, уповаю на благость Всевышняго“, я не могу и не смѣю; ибо это значило бы насмѣхаться надъ вами. Не подумайте, что я для того пишу, чтобы загладить мой проступокъ, вымолить у васъ прощеніе, подластиться къ вамъ и заставить васъ этимъ прислать мнѣ денегъ. Нѣтъ! Я слишкомъ гордъ, слишкомъ благороденъ, чтобы извиваться передъ вами ужомъ и жабкою изъ такого низкаго и подлаго побужденія... Цѣль моего письма есть оправдаться передъ вами, не какъ передъ людьми, отъ которыхъ я могу получить нѣсколько денегъ, но какъ передъ людьми, которымъ я обязанъ моимъ существованіемъ. Къ моему величайшему прискорбію, я вижу, что вы почитаете меня мальчишкою, который потому толь-

1) Рус. Стар. 1876 г. I, стр. 78—80. Отрывки этого письма см. Моск. Вѣд. 1859 г. № 293.

2) Константина Григорьевича.

1) Рус. Стар. 1876 г. 2 Стр. 330. (Письмо къ матери).

2) Приятельница Бѣлинскаго, К. П. Иванова.

ко забываетъ васъ, что не зависитъ отъ васъ въ разсужденіи содержанія и свободенъ отъ вашего вліянія тѣмъ разстояніемъ, которое раздѣляетъ его съ вами. Однимъ словомъ: вы почитаете меня мальчишкой, который вышелъ изъ училища и, встрѣтившись на улицѣ съ своимъ прежнимъ учителемъ, дразнить его языкомъ, зная, что онъ не можетъ уже высѣчь его розгами. Повѣрьте, что сынъ вашъ заслуживаетъ лучшаго о себѣ мнѣнія, нежели какое вы о немъ имѣете. Гдѣ бы я ни жилъ, чѣмъ бы я ни былъ, я всегда буду почитать священнѣйшею обязанностию быть добрымъ сыномъ, любить и уважать своихъ родителей и признавать надъ собою ихъ власть, которая есть важнѣе, законнѣе и священнѣе всѣхъ властей въ мірѣ. Я не хочу философски изслѣдовать, есть ли любовь и уваженіе къ родителямъ чувство, внушенное природою, или оно есть слѣдствіе внушенныхъ съ младенчества правилъ, или что-нибудь другое. Я способенъ питать это чувство, дочитаю его святымъ, возвышеннымъ: этого для меня довольно. Вы... не должны подозрѣвать меня въ низости чувствъ и подлости образа мыслей. Опять повторяю вамъ, что я не мальчишка, котораго должно сѣчь, чтобы заставить хорошо вести себя, не грубый мужикъ, котораго должно бить дубиною, чтобы заставить что-нибудь почувствовать. Вы, маменька, просили Лукерью Савельевну обругать меня вашимъ именемъ: радуйтесь и веселитесь! Она съ дипломатическою точностію повторила мнѣ ваши *ласковыя и благородныя* слова. Я не хочу говорить вамъ о *неприличности* этихъ словъ, о крайнемъ *неблагородствѣ* и *низости* выражений; замѣчу только мимоходомъ, что это уже слишкомъ, слишкомъ... Но мнѣ уже не привыкать къ подобнымъ поступкамъ со стороны моихъ родителей... Не хочу договаривать: можетъ быть, и сами поймете..."

Москва. 3-е марта 1831 г. 1).

„Вы уже знаете, — какимъ горестнымъ событіемъ ознаменовалась моя попытка напечатать первое произведеніе пера моего. Это событіе для меня тѣмъ горестнѣе, тѣмъ убійственнѣе, что я черезъ него слишкомъ, слишкомъ многого лишился. Смѣло могу сказать, что мое произведеніе было бы расхвачено въ мѣсяцъ и доставило бы мнѣ, по крайней мѣрѣ, тысячъ шесть. Сами посудите: чего бы въ такомъ случаѣ стоило мнѣ пожертвовать какихъ-нибудь триста или много-много шестьсотъ рублей на то, чтобы вырваться изъ пакостной, проклятой бурсы... Въ надеждѣ вырваться изъ нея я полагалъ все счастье моей жизни, на ней основывалъ все знаніе моего настоящаго и будущаго благополучія. Уже эта сладостная надежда исполнялась, — но судьба улыбнулась насмѣшливо — и ея не стало!..."

Москва. 21-е мая 1832 г. 2).

8. „Давно уже не писалъ я къ вамъ; не знаю, въ хорошую ли или въ дурную сторону толкуете вы мое молчаніе. Какъ бы то ни было, но на этотъ разъ я желалъ бы не умѣть ни читать, ни писать, ни даже чувствовать, понимать и жить! Каковымъ вамъ кажется это вступленіе? Но погодите, не торопитесь: это еще цѣвѣ-

тики, а вотъ скоро попотчую васъ и плодами... Не радостны были всѣ мои письма съ самаго проклятаго холернаго года; но теперь я не могу безъ ужаса и подумать о томъ ударѣ, которымъ готовлюсь поразить васъ, мою мать..."

„Деять мѣсяцевъ тайлъ я отъ васъ свое несчастіе, обманывалъ всѣхъ чембарскихъ, бѣгшихъ въ Москвѣ, лгалъ и лицомъ-фрѣмъ, скрѣпя сердце... но теперь не могу болѣе. Вѣдь когда-нибудь надобно же узнать вамъ. Можетъ даже быть, что вы уже знаете, можетъ быть, вамъ сообщено это съ преувеличеніями, а вы — женщина и мать... Чего не надумаетесь вы? При одной мысли объ этомъ сердце мое обливается кровью. Я потому такъ долго молчалъ, что еще надѣялся хотя сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать объ этомъ хладнокровнѣе... Я не щадилъ себя, употреблялъ всѣ усилія къ достиженію своей цѣли, ничего не упускалъ, хватался за каждую соломинку и, претерпѣвая неудачи, не унывалъ и не приходилъ въ отчаяніе — для васъ, только для васъ. Я всегда живо думилъ и хорошо понималъ мой къ вамъ отношенія и обязанности, терпѣлъ все, боролся съ обстоятельствами, сколько доставало силъ, трудился и, кажется, не безъ успѣха. Вотъ въ чемъ дѣло. Вы знаете, что проходить уже четвертый годъ, какъ я поступаю въ университетъ; вы, можетъ быть, считаете по пальцамъ мѣсяцы, недѣли, дни, часы, минуты, насъ раздѣляющіе; думаете съ восхищеніемъ о томъ времени, о той блаженной минутѣ, когда, нежданный и незванный, я, какъ снѣгъ на голову, упаду въ объятія семейства кандидатомъ, или, по крайней мѣрѣ, дѣйствительнымъ студентомъ!.. Мечта очаровательная! И меня обольщала она ивкогда! Ну, увѣ! въ сентябрѣ исполнится годъ, какъ я *выключенъ изъ университета!*... Предчувствую, что это будетъ вамъ стоить большихъ слезъ, тоски и даже отчаянія, — и это-то самое меня и сокрушаетъ... Но, маменька, все-таки умоляю васъ не отчаиваться и не убивать себя бесплодною горестью. Есть счастье и въ несчастіи, есть утѣшеніе и въ горести, есть благо и въ самомъ злѣ. Я видѣлъ людей въ тысячу-тысячъ разъ несчастнѣе себя и потому смѣюсь надъ своимъ несчастіемъ..."

„Теперь въ короткихъ словахъ разскажу вамъ мою печальную исторію. Вышедши изъ больницы, я просилъ Голохвастова, чтобы онъ, изъ уваженія къ моей долговременной болѣзни, позволилъ мнѣ въ концѣ августа или въ началѣ сентябрю (1831 г.) держать особенный экзаменъ. Онъ, хотя и не обѣщаль исполнить моей просьбы, но и не отказалъ, а сказалъ: „хорошо, посмотримъ“. Я остался въ надеждѣ, и съ половины мая до самаго сентябрю, несмотря на чрезвычайно худое состояніе моего здоровья, работалъ и трудился, какъ чортъ, готовясь къ экзамену. Но экзамена не дали, а вмѣсто его увѣдомили меня о всемілостивѣйшемъ увольненіи отъ университета..."

„Я не буду говорить вамъ о причинахъ моего выключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства. Нынѣ времена мудренныя и тяжелыя: подобный происшествія очень не рѣдки..."

1) Рус. Стар. 1876 г. I. Стр. 80.

2) Рус. Стар. 1876 г. I. Стр. 85—87. (Письмо къ матери.)

1837.

Къ \*).

I.

Пятигорскъ. 7 августа 1837 г. 1).

„...Есть между людьми братство, о которомъ проповѣдывалъ Христосъ, есть между нами родство, основанное на любви и стремленіи къ Богу, а Богъ есть любовь и истина“.

„Богъ не есть нѣчто отдѣльное отъ міра, но Богъ въ мірѣ, потому что онъ вездѣ. Да, его, какъ говоритъ великій Іоаннъ, любимѣйшей ученикъ Христа, его никто не видалъ; но онъ во всякомъ благородномъ порывѣ человѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца. Міръ или вселенная есть его храмъ, а душа и сердце человѣка, или, лучше сказать, внутреннее я человѣка есть его алтарь, престолъ, его святая святыхъ. Итакъ, ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи его въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ—и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носить въ себѣ Бога... Богъ есть истина, слѣдовательно, кто сдѣлался сосудомъ истины, тотъ есть и сосудъ Божій; кто знаетъ, тотъ уже и любитъ, потому что, не любя, невозможно познавать, а познавая, невозможно не любить; Богъ есть вмѣстѣ и истина и любовь, и разумъ и чувство, такъ, какъ солнце есть вмѣстѣ и свѣтъ и теплота“... 2)

„...Внѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгниетъ, но твое я останется; слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но я твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеѣ чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеѣ въ явленіи. Теперь, спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можешь ли для тебя быть понятна исторія человѣчества, если ты не знаешь, что такое человѣкъ, что такое человѣчество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго знанія, вотъ почему безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа.“

„Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтленію черезъ причастіе, христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ долженъ ты очи-

стить свою душу отъ проказы земной суеты, холодного себялюбія, отъ обольщеній внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины. Искусство укрѣпить и развить въ тебѣ любовь; оно дастъ тебѣ религію или истину въ созерцаніи, потому что религія есть истина въ созерцаніи, тогда какъ философія есть истина въ сознаніи. Кто увѣренъ въ истинѣ по чувству и не можетъ вывести ее изъ разума собственною свободною самостоятельностью, для того истина существуетъ только въ созерцаніи. Но не имѣя истины въ созерцаніи, невозможно имѣть ее и въ сознаніи. Ты былъ еще ребенкомъ, а уже умѣлъ отличать добро отъ зла, истину отъ лжи—значитъ, что истина въ созерцаніи всегда предшествуетъ истинѣ въ сознаніи. Но въ дѣтствѣ ты могъ чувствовать только житейскую, практическую истину; теперь ты долженъ пріобрѣсти созерцаніе истины отвлеченной, чистой, и это созерцаніе дается тебѣ искусствомъ“.

„...Только въ ней (въ философіи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душъ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страной въ мірѣ. Просвѣщеніе—вотъ путь ея къ счастью“... 3)

„Для Россіи 1) назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою законность и свою хорошую сторону. Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни. Совсѣмъ другое назначеніе Россіи. Если хочешь понять ея назначеніе—прочти исторію Петра Великаго—онъ объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра; всѣ они были выраженіемъ жизни своихъ народовъ и только выполняли волю своихъ народовъ, творя великое, словомъ, всѣ они были подъ вліяніемъ своихъ народовъ. Петръ, наоборотъ, былъ выскочкомъ изъ своего народа, онъ не воспиталъ его, не перевоспиталъ, не создалъ, но пересоздалъ. Цари всѣхъ народовъ развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на преданіе; Петръ оторвалъ Россію отъ прошедшаго, разрушивъ ея традицію, и теперь смѣшно и жалко смотрѣть на нашихъ пустоголовыхъ ученыхъ и поэтовъ, которые ищутъ народности для мышленія и искусства въ исторіи съ Рюрика до Алексѣя, въ этой допотопной исторіи

1) Письмо это писано Бѣлинскимъ къ одному близкому кождоу члену, не принадлежавшему къ кружку, въ которомъ вращался Бѣлинскій, писано въ періодъ его *«примирительнаго отношенія къ дѣятельности»*. Эта «примиряющая» нота съ дѣйствительностью, явившаяся у Бѣлинскаго подъ вліяніемъ изученія философіи Гегеля («не существующее разумно»), звучитъ во всемъ этомъ письмѣ, въ которомъ Бѣлинскій подробно излагаетъ цѣлую программу своихъ *тогдашнихъ* мнѣній, своей взгляды на исторію и тогдашнее положеніе русскаго общества.

Письмо приведено въ извѣщеніи, какъ оно напечатано у А. Пяткина «В. Г. Бѣлинскій», т. I, гл. IV, стр. 177—183.

2) Бѣлинскій совѣдуетъ своему пріятелю начинать тотъ спеціальнѣйшій предметъ, которымъ онъ занимался, и начать изучать философію, потому что главнѣйшимъ предметомъ изученія человѣка должна быть мысль. *Пяткинъ*, I, стр. 177

3) Нижеслѣдующее изложеніе его «политическихъ» мнѣній чрезвычайно любопытно для сравненія съ дальнѣйшимъ развитіемъ его взглядовъ (см. его письма къ Боткину).

Россіи. Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получитьъ то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу—значитъ погубить его. Дать Россіи, въ теперешнемъ ея состояніи, конституцію—значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа, свобода есть воля, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зилунахъ, хотя бы, впрочемъ, у большей части этихъ дворянъ не было ни дворянскихъ грамотъ, ни копейки денегъ. Вся надежда Россіи на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституціи. Во Франціи были двѣ революціи и результатомъ ихъ конституція—и что же? въ этой конституціонной Франціи гораздо менѣе свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи. И это оттого, что свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаеетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи, на философіи умоизрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла. Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренней свобода пріобрѣтается сознаніемъ. И такимъ-то прекраснымъ путемъ достигается свободы наша Россія. Приведу тебѣ еще примѣры. Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостнаго права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ. Посмотри, какъ, благодаря тому, что у насъ нѣтъ майоратства, издыхаетъ наше дворянство само собою, безъ всякихъ революцій и внутреннихъ пограсеній. И если у насъ будутъ дѣти, то, доживя до нашихъ лѣтъ, они будутъ знать о крѣпостномъ правѣ, какъ о фактѣ историческомъ, какъ о дѣлѣ прошедшемъ. И все это сдѣлается прочнѣе и лучше. Давно ли мы съ тобой живемъ на свѣтѣ, давно ли помнимъ себя, и уже посмотри, какъ перемѣнилось общественное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не презираютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему. Давно ли паденіе при дворѣ сопровождалось ссылкой въ Сибирь? А теперь оно сопровождается много-много если ссылкой въ свою деревню. Давно ли Минихъ, фельдмаршалъ, герой, былъ осужденъ на четвертованіе и только по милосердію императрицы былъ сосланъ на всю жизнь въ Сибирь, а теперь уже и насъ съ тобой, людей совершенно ничтожныхъ въ гражданскомъ отношеніи, не будутъ четвертовать даже и въ такомъ случаѣ, когда бы мы были достойны этого. Помнишь ли ты, какъ отличались, какъ мило вели себя господъ военные, особенно кавалеристы, въ царствованіе Александра, котораго мы съ тобой видѣли собственными глазами за годъ или за два до его смерти? Помнишь ли ты, какъ они нахалствовали на постояхъ, увозили женъ отъ мужей, изъ одного удачества, были ужасомъ и страхомъ мирныхъ гражданъ и беззаканно разбойничали? А теперь? Теперь они

тише воды, ниже травы. Ты уже не боишься ихъ, если имѣешь несчастье быть фрачникомъ, или имѣть мать, сестру, жену, дочь. Не болѣе, какъ года за два до нашего поступленія въ университетъ, студенты были не лучше военныя, и еще при насъ академики изрѣдка свѣршали подобные подвиги,—а теперь? Теперь студентъ, который въ состояніи выпить ведро вина и держаться на ногахъ, уже не заслужитъ, какъ прежде, благоговѣйнаго удивленія отъ своихъ товарищей, но возбудитъ къ себѣ ихъ преравніе и ненависть. А что всему этому причиню? Установленіе общественнаго мнѣнія, вслѣдствіе распространенія просвѣщенія, и, можетъ быть, еще болѣе того, самодержавная власть. Эта самодержавная власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы такія книги, которыя никакъ не позволили бы перевести и издать. И что же, все это хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая тебя можетъ сдѣлать лучше, погубила бы мужика, который, естественно, понялъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходна и похвальна. Главное дѣло въ томъ, что граница Россіи со стороны Европы не есть граница мысли, потому что мысль свободно проходитъ чрезъ нее, но есть граница вреднаго для Россіи политическаго направленія, а въ этомъ я не вижу ни малѣйшаго стѣсненія мысли, но, напротивъ, самое благонамѣренное средство къ ея распространенію. Вино полезно для людей взрослыхъ и умѣющихъ имъ пользоваться, но губительно для дѣтей, а политика есть вино, которое въ Россіи можетъ превратиться даже въ опіумъ“.

„...Итакъ, оставимъ итти дѣламъ, какъ они идутъ, и будемъ вѣрять свято и непреложно, что все идетъ къ лучшему, что существуетъ одно добро, что зло есть понятіе отрицательное и существуетъ только для добра, а сами обратимъ вниманіе на себя, возлюбимъ добро и истину, путемъ науки будемъ стремиться къ тому и другому“...

„Но когда ты возвысишься до той любви, которая полагаетъ душу свою за братій, когда ты постигнешь ясно свое назначеніе и обнимешь умомъ своимъ міровыя истины, тогда ты всегда и вездѣ будешь полезенъ своему отечеству. Если тебѣ будетъ ввѣрена судьба твоихъ ближнихъ—эта судьба будетъ вѣрна, потому что она предается человѣку благородному и просвѣщенному... Быть апостолами просвѣщенія—вотъ наше назначеніе. Итакъ, будемъ подражать апостоламъ Христа, которые не дѣлали заговоровъ и не основывали ни явныхъ, ни тайныхъ политическихъ обществъ, распространяя ученіе своего божественнаго учителя, на которые не отрекались отъ него передъ царями и судіями и не боялись ни огня, ни меча. Не суйся въ дѣла, которыя до тебя не касаются, но будь ввѣренъ своему дѣлу, а твое дѣло—любовь къ истинѣ; да, впрочемъ, тебѣ никто и не помѣшаетъ служить ей, если ты не будешь вмѣшиваться не въ свои дѣла. Итакъ, учишься, учишься, и еще-таки учишься! Къ чорту политику, да здравствуетъ наука! Во Франціи и наука, и искусство, и религія сдѣлались или,



лучше сказать, всегда были орудіемъ политики, и потому тамъ нѣтъ ни науки, ни искусства, ни религіи, и потому, еще больше французской политики, боясь французской науки, въ особенности французской философіи. Право народное должно выходить изъ права человѣческаго, а право человѣческое должно выходить изъ вопроса о причинѣ и цѣли всего сущаго, а вопросъ этотъ есть задача философіи. Французы же все выводятъ изъ настоящаго положенія общества, и потому у нихъ нѣтъ вѣчныхъ истинъ, но истины дневныя, т. е. на каждый день новыя истины. Они все хотѣли вывести не изъ вѣчныхъ законовъ человѣческаго разума, а изъ опыта, изъ исторіи, и потому не удивительно, что они въ концѣ XVIII вѣка хотѣли возобновить римскую республику, забывъ, что одно и то же явленіе не повторяется дважды, и что римляне не примѣръ французамъ. Опытъ ведетъ не къ истинѣ, а къ заблужденію, потому что факты разнообразны до безконечности и противорѣчивы до такой степени, что истину, выведенную изъ одного факта, можно тотчасъ же пришибить другимъ фактомъ; найти же внутреннюю связь и единство въ этомъ разнообразіи и противорѣчій фактовъ можно только въ духѣ человѣческомъ, слѣд., философія, основанная на опытѣ, есть нелѣпость. Новѣйшіе французы хватились за нѣмцевъ, но не поняли ихъ, потому что французъ никогда не можетъ возвыситься до всеобщности и, на зло самому себѣ, всегда остается французомъ, а въ области мышленія должны исчезать всѣ національныя различія и долженъ оставаться одинъ *человѣкъ*. Итакъ, къ чорту французамъ; ихъ вліяніе, кромѣ вреда, никогда ничего не приносило намъ. Мы подражали ихъ литературѣ — и убили свою... Германія — вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества, вотъ куда съ надеждою и упованіемъ должны обращаться его взоры. Доселѣ христіанство было истиною въ созерцаніи, словомъ, — было вѣрою; теперь оно должно быть истиною въ сознаніи — философіею. Да, философія нѣмцевъ есть ясное и отчетливое, какъ математика, развитіе и объясненіе христіанскаго ученія, какъ ученія, основаннаго на идеѣ любви и идеѣ возвышенія человѣка до божества, путемъ сознанія. Мнѣ кажется, что юной и дѣвственной Россіи должна завѣщать Германія и свою семейственную жизнь, и свои общественныя добродѣтели и свою мірообъемлющую философію. У насъ много зла, много безалаберщины, много чуждыхъ вліяній, и худшихъ, и хорошихъ, но этотъ-то беспорядокъ и ручается за наше прекрасное будущее, потому что еще никакое чуждое вліяніе, худое или хорошее, не взяло у насъ рѣшительнаго перевѣса. Мы, по праву, наследники всей Европы. Итакъ, наше (т. е. насъ, молодыхъ людей) назначеніе уже и теперь ясно; мы должны начать этотъ союзъ съ Германіею..."

### Къ М. А. Бакунину.

Пятигорскъ, 16 августа 1837 г. 1).

...Я вспомнилъ, что за разность убѣждений ты разрывалъ и не такія связи... Въ первый разъ представилось мнѣ, что идея для тебя дороже человѣка... 2)

...Можетъ быть, я не правъ; но не оскорбленное самолюбіе скрываетъ отъ меня истину. Я гордъ, самолюбивъ, тщеславенъ до того, что всякая похвала, даже со стороны глушца, вызываетъ краску удовольствія на мое лицо и ускоряетъ обращеніе крови; но никогда горькая правда, высказанная другимъ съ участіемъ, въ какихъ бы то ни было рѣзкихъ или, если угодно, ругательныхъ выраженіяхъ, не возбуждала во мнѣ отвращенія къ другу или малѣйшаго неудовольствія. Похвала скорѣе можетъ повредить мнѣ, нежели горькая истина, и нигдѣ и ни въ чемъ я не бываю такъ свято добросовѣстенъ, и нигдѣ и ни въ чемъ я не возвышаюсь до такого совершеннаго самоотверженія, какъ въ сознаніи своего ничтожества, когда мнѣ на него указываютъ. Это я всегда могу сказать о себѣ смѣло и утвердительно, это есть моя лучшая сторона. Въ самомъ глубочайшемъ моемъ паденіи я всегда сохранялъ уваженіе къ истинѣ, и теперь особенно мнѣ чуждо всякое сомнѣніе въ ней, тогда какъ сомнѣніе въ самомъ себѣ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе терзаетъ меня и лишаетъ послѣднихъ силъ...

...Я самъ начинаю увѣряться, что нѣтъ ничего мизернѣе и скучнѣе, какъ человѣкъ, который, утопая въ грязи, понимаетъ всю гадость своего положенія, а не имѣетъ силы вырваться изъ него, который имѣетъ прямыя и свѣтлыя идеи о цѣли жизни, и не можетъ перенести ихъ въ свою жизнь, который безпрестанно раскаивается, жалуется на себя друзьямъ своимъ, обвиняетъ себя въ животности, слабодушіи, пошлости и ограничивается только однимъ раскаяніемъ, самообвиненіемъ и жалобами. Да, — я чувствую, что долженъ казаться слишкомъ пошлымъ всякому, кто знаетъ меня въблизи, а не издали..."

...Во мнѣ два главныхъ недостатка: самолюбіе и чувственность. Остановимся на первомъ, потому что второй совершенно ничтоженъ, какъ покажутъ... результаты моихъ доводовъ. Ты знаешь, что я имѣю похвальную привычку краснѣть безъ всякой причины, какъ думаютъ всѣ, но въ самомъ-то дѣлѣ очень не безъ причины. Эта похвальная привычка составляетъ несчастье моей жизни... Самолюбіе — вотъ причина этого явленія. Конечно, здѣсь принимаетъ большое участіе какаго-то природная робость характера и еще одно обстоятельство въ моемъ воспитаніи, о чемъ теперь мнѣ некогда распространяться, но главная причина все-таки самолюбіе. Я краснѣю оттого, что мнѣ не отдали должной справедливости, слѣдовательно, отъ оскорбленнаго самолюбія; я краснѣю оттого, что мнѣ отдали справедливость, слѣдовательно, отъ удовлетвореннаго самолюбія; къ чести своей скажу, что еще чаще краснѣю я вслѣдствіе сознанія своего недостойности, отъ того вниманія, которое оказываютъ мнѣ хорошіе люди, знающіе меня издалика. Я понимаю самое малѣйшее движеніе моего самолюбія — и все-таки не могу убитъ въ себѣ этого пошлаго чувства. Оно овладѣло мною совершенно, сдѣлало меня своимъ рабомъ... Я не написалъ ни одной статьи съ полнымъ самозабвеніемъ въ своей идеѣ; бессознательное предчувствіе неуспѣха и, еще болѣе того, успѣха всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои умственные силы, какъ пріемъ опиума. И между тѣмъ, я унижился бы до самаго пошлаго смиренія, оклеветалъ

1) Пышинъ, I. 195—197, 170—173, 184—186, 186.

2) Это письмо писано Бѣлинскимъ въ отвѣтъ на письмо друга, записаннаго, что онъ рѣзко отбѣиваетъ себя отъ друзей (Бѣлинскаго и Станкевича), и нахвренъ разойтись съ ними, какъ съ безала-

жно-падшими. Письмо друга «обладо хододомъ» Бѣлинскаго. Подъ первымъ впечатлѣніемъ онъ написалъ Бакунину рѣзкую отповѣдь, въ которую влилъ все, что накопилось въ его душѣ со времени побѣды въ деревню къ Бакунинамъ въ 1836 г.

бы себя самымъ фарисейскимъ образомъ, если бы сталъ отрицать въ себѣ живое и плодотворное зерно любви къ истинѣ: всѣ мои статьи были плодомъ этой любви; только самолюбие всегда тутъ вмѣшивалось и играло большую или меньшую роль. Даже въ дружескомъ кругу, разсуждая о чемъ-нибудь, я вдругъ краснѣлъ оттого, что нехорошо выразилъ мою мысль, или, что бывало всего чаще, неловко сострилъ, или отъ противной причины (Боже мой! — какаѣ мелочность); *но какъ скоро дѣло касается до моихъ задушевныхъ убѣжденій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя, и тутъ давай мнѣ каведру и толпу народа, я ощущу въ себѣ присутствие Божіе, мое маленькое я исчезнетъ, и слова, полныя жара и силы, рѣкою польются съ языка моего*“...

(Дальше Бѣлинскій переходитъ къ второму своему недостатку — чувственности, и говорить):

“...Пустяки, я давно созналъ ея гадость, а сознание недостатка убиваетъ недостатокъ. Да и можетъ ли быть, чтобы человекъ, который такъ вѣрно понимаетъ назначеніе женщины, какъ я, который питаетъ къ всякой достойной женщинѣ такое святое, такое робкое чувство благоговѣнія; душа котораго такъ жаждетъ любви чистой и высокой и, можетъ быть, уже не разъ трепетала и замрала отъ предчувствія этого блаженства, можетъ ли быть, чтобы такой человекъ не имѣлъ силы побѣдить низкія чувственныя побужденія и возгнаться ими?..”

“... Тебѣ извѣстны мои понятія о людяхъ, ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса — на людей съ зародышами любви и людей, лишенныхъ этого зародыша. Последніе для меня — скоты, и я почитаю слабостью всякое снисхождение къ нимъ. Но когда я вижу человека съ зародышемъ чувства, то какъ бы глубоко ни палъ онъ, но если, въ самомъ паденіи, онъ сохранилъ инстинктъ истины и сознание, своего паденія, онъ братъ мой, и я не могу презирать его.

„Благодать Божія<sup>1)</sup> не дается намъ свыше, но лежитъ, какъ зародышъ, въ насъ самихъ; но не въ нашей волѣ вызывать ея дѣйствіе, и въ этомъ отношеніи она намъ дается. Человекъ ничего не можетъ сдѣлать для своего совершенства, дѣйствуя своею волею *положительно*, но много можетъ для него сдѣлать, дѣйствуя ею *отрицательно*. Я не могу возбудить въ себѣ чувства, когда оно замерло во мнѣ, не могу наполнить блаженствомъ мою душу, убитую и истощенную порокомъ, словомъ, я не могу взять себѣ добродѣтель, но могу бросить порокъ. Тогда во мнѣ не останется ничего, потому что не быть порочнымъ еще не значитъ быть добродѣтельнымъ; я буду пусть совершенно. Но для человека съ потребностью жизни нельзя долго оставаться въ состояніи пустоты: сильнѣйшее начало его природы скоро должно взять верхъ, если только онъ не задумаетъ удовлетворяться отрицательнымъ совершенствомъ; но такъ какъ для послѣдняго случая надо родиться подлецомъ, пошлякомъ, квакеромъ, сектантомъ и не имѣть никакого зародыша человѣческой жизни, то, повторяю, добро должно въ немъ восторжествовать. Противъ этого нельзя спорить“...

„Я презираю и ненавижу добродѣтель безъ любви, и скорѣе рѣшусь стремглавъ броситься въ бездну порока и разврата, съ ножомъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ добывать свой насущный кусокъ хлѣба, нежели, затоптавъ свое чувство и разумъ ногами въ грязь, быть добрымъ квакеромъ, пошлымъ резонеромъ, пуританиномъ, раскольникомъ, добрымъ по расчету, честнымъ по эгоизму, не воровать у другихъ, чтобы другимъ не дать права воровать у себя, не рвать ближняго, чтобы ближній не рвалъ меня. Ты знаешь, что въ моихъ глазахъ женщина, принадлежавшая многимъ по побужденію чувственности, есть женщина развратная... но гораздо менѣе развратная... нежели женщина, которая одному отдала себя на всю жизнь, по расчету или по чувству долга, или женщина, которая, любивъ одного, вышла за другого изъ уваженія къ родительской волѣ и обществу мнѣнію, боролась съ своимъ чувствомъ, какъ съ преступленіемъ, и, побѣдивъ его... убила въ себѣ всѣ человѣческія искры“..

“... Живя въ Пятигорскѣ, я перечелъ множество романовъ и между ними нѣсколько Куперовыхъ, изъ которыхъ вполнѣ поналъ стихіи сѣверо-американскихъ обществъ: моя застоявшаяся, сгустившаяся отъ тины и паутины, но еще не охладѣвшая кровь кипѣла отъ негодованія на это гнусно-добродѣтельное и честное общество торгашей, новыхъ жидовъ, отвергшихся отъ Евангелія и признавшихъ старій Заветъ. Нѣтъ, лучше Турпія, нежели Америка; нѣтъ — лучше быть падшимъ ангеломъ, т. е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизисто-лягушкою! Лучше вѣчно валяться въ грязи и болотѣ, нежели опратно одѣться, причесаться, и думать, что въ этомъ-то состоитъ все совершенство человѣческое.“

(Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій вспоминаетъ о своей жизни въ деревнѣ у Бакуниныхъ и говорить о томъ влияніи, какое она имѣла на него).

“... Душа моя смягчилась, ея ожесточеніе миновало, и она сдѣлалась способною къ воспріятію благихъ впечатлѣній, благихъ истинъ... „Я ошутилъ себя въ новой сферѣ, увидѣлъ себя въ новомъ мірѣ: окрестъ меня все дышало гармоніей и блаженствомъ, и эта гармонія и блаженство частью провикли и въ мою душу. Я увидѣлъ осуществленіе моихъ понятій о женщинѣ; опытъ утвердилъ мою вѣру. Но несмотря на все это, я уѣхалъ изъ ...на<sup>1)</sup> далеко не тѣмъ, чѣмъ почиталъ тогда себя; я былъ только взволнованъ, но еще не перерожденъ: благодать Божія стала только доступна мнѣ, но еще не сдѣлалась полнымъ моимъ достояніемъ. И потому мое пребываніе въ ...нѣ, не будучи совершенно безплоднымъ, все-таки не принесло тѣхъ плодовъ, которые я думалъ, что оно уже принесло. И этому опять та же причина: расстройство внѣшней жизни. Я хотѣлъ въ ...нѣ успокоиться, забыться — и до нѣкоторой степени успѣлъ въ этомъ; но грозный призракъ внѣшней жизни (т. е. его крайне расстроенныхъ, матеріальныхъ обстоятельствъ) отравлялъ мои лучшія минуты. Я не хотѣлъ думать о будущемъ; отбѣздъ мой представлялся мнѣ въ какомъ-то туманѣ, какъ будто бы въ ...нѣ я долженъ былъ провести всю жизнь мою. Всѣ житейскія попеченія, всѣ тревоги внѣшней жизни я старался давать въ моей душѣ, и хотя, повидимому, успѣвалъ въ этомъ, но мое спокойствіе было обманчиво; въ душѣ моей была страшная борьба. Во-первыхъ, мысль о

1) Въ это время цѣлою стремленій въ кружкѣ Бѣлинскаго была „подлая жизнь духа“, жизнь абсолютная, т. е. заключающая въ себѣ удовлетвореніе всѣхъ высшихъ нравственныхъ интересовъ человека, растоклованной философій. «Абсолютная жизнь была равнозначительна пребыванію въ любви, благодати, царствѣ Божіемъ, — такъ что философскій идеализмъ совпадалъ съ религіознымъ». (Пыпинъ, I. 184).

1) Прянухино, названіе деревни Б-хъ.

братъ и племянникъ, о томъ, что я для нихъ ничего не сдѣлалъ...; потомъ мысль о томъ, что ожидаетъ меня по возвращеніи въ Москву, гдѣ всѣ мои способы были уже истощены и гдѣ якоремъ спасенія оставался одинъ „Телескопъ“, и тотъ ненадежный. Мои недостатки нравственные терзали меня: сравнивая свои мгновенные порывы восторга съ этою жизнью ровною, гармоническою, безъ пробѣловъ, безъ пустотъ, безъ паденія и воистація, съ этимъ прогрессивнымъ ходомъ впередъ къ безконечному совершенству—я ужасался своего ничтожества. Иногда было истиннымъ безразомъ больной душѣ моей то уваженіе, которое доставляли мнѣ мои мгновенные, но энергическіе порывы въ любви къ истинѣ, эти мои рѣдкія, но сильныя вспышки чувства; но иногда я видѣлъ во всемъ этомъ слишкомъ большое участіе самолюбія, видѣлъ во всемъ какую-то одежду блестящую, но безъ подкладки, какое-то зданіе великолѣпное, но безъ фундамента, какое-то дерево вѣтвистое и пышное, но безъ корня—и я становился гадою самому себѣ. Не видя NN 1), я чувствовалъ внутри себя пожирающую лихорадку, и думалъ, что ихъ присутствіе успокоитъ мою душу, но когда снова видѣлъ ихъ, то снова увѣрялся, что видъ ангеловъ возбуждаетъ въ чертахъ только сознание ихъ паденія. И такимъ образомъ случались цѣлые дни, когда я... искалъ общества, и находя его, бѣгалъ отъ него. Полною жизнью я жилъ только въ тѣ минуты, когда увлекался сильнымъ жаромъ въ спорахъ и, забывая себя, видѣлъ одну истину, которая меня занимала, еще тогда, когда всѣ собирались въ гостиной, толпились около рояля и пѣли хоромъ. Въ этихъ хорахъ я думалъ слышать гимнъ восторга и блаженства усовершенствованнаго человѣчества, а душа моя замирала, можно сказать, въ мукахъ блаженства, потому что въ моемъ блаженствѣ, отъ непривычки ли къ нему, отъ недостатка ли гармоніи въ душѣ, было что-то тяжелое, невыносимое, такъ что я боялся моими дикими движеніями обратиться на себя общее вниманіе“...

“... Я былъ вполне блаженъ тѣмъ, что вѣрилъ въ существованіе на землѣ безконечно прекраснаго и высокаго, потому что видѣлъ своими глазами, видѣлъ передъ собою то, что доселѣ почиталъ мечтою, что давно почиталъ долженствовавшимъ существовать, но къ чему доселѣ не имѣлъ живой и сильной вѣры...”

“... Жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная всегда двоились въ моихъ понятіяхъ... Прямухинская гармонія и знакомство съ идеями Фихте, благодаря тебѣ, въ первый разъ убѣдили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ-называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота“...

“...И я узналъ о существованіи этой конкретной жизни, для того чтобы узнать свое безсиліе усвоить ее себѣ; я узналъ рай, для того чтобы удостовѣриться, что только приближеніе къ его воротамъ, не наслажденіе, но только предощупаніе его гармоніи и его ароматовъ—есть единственно возможная моя жизнь...”

“...Наконецъ, я рѣшилъ вѣхать въ Петербургъ; это было лучшее время моей жизни. Я ощутилъ въ себѣ тайную силу, я возымѣлъ какую-то благородную рѣшимость похоронить въ сердцѣ всѣ надежды, жить жизнью страданія, оторваться отъ друзей, отъ всего, что мило, и строгою жизнью, тяжкимъ трудомъ, выкупить пред-

шя заблужденія и помириться съ жизнью... Я сталъ свободенъ, гордъ, несчастенъ, и въ первый разъ узналъ счастье, потому что моя рѣшимость родила во мнѣ довѣренность и уваженіе къ самому себѣ. Словомъ, я страдалъ, но былъ счастливъ. Но скорѣй увидѣлъ, что отъ меня требуютъ невозможнаго 1) и что, поэтому, поѣздка должна не состояться...”

“Очень радъ, что ты болѣе и болѣе сходишься съ Вас. Петр. 2) Признаюсь въ грѣхѣ: меня радуетъ мысль, что я первый понялъ этого челоуѣка, и понималъ такъ, что дальнѣйшее съ нимъ знакомство ничего не прибавило къ моему о немъ мнѣнію... Его безконечная доброта, его тихое упоеніе, съ какимъ онъ въ разговорѣ называетъ того, къ кому обращается, его ясное, гармоническое расположеніе души во всякое время, его всегдашняя готовность къ воспріятію впечатлѣній искусства, его совершенное самозабвеніе, отрѣшеніе его отъ своего я—даже не производить во мнѣ досады на самого себя: я забываюсь, смотря на него. Онъ шелъ по ложному пути; встрѣтилъ людей, которые лучше его понимали истину, и тотчасъ призналъ свои ошибки, не почитая себя нисколько черезъ это униженнымъ. Меня особенно восхищаетъ въ немъ то, что у него внѣшная жизнь не противорѣчитъ внутренней, что онъ столько же честный, сколько и благородный челоуѣкъ... По дѣламъ торговли, онъ смотритъ на свои отношенія къ отцу, какъ на отношенія приказчика въ лавкѣ къ своему хозяину. Да, это единственный способъ быть независимымъ отъ внѣшней жизни и людей,—быть вполне свободнымъ. Гармонія внѣшней жизни и челоуѣка съ его внутреннею жизнью есть идеалъ жизни, и только въ Васильѣ нашелъ я осуществленіе этого идеала. Онъ умѣетъ отказать себѣ во всемъ, исполненіе чего вовлекло бы его въ обязательство и зависимость отъ людей; онъ не займетъ денегъ для своихъ издержекъ, даже похвальныхъ—и входитъ въ долги для того, чтобы помочь негодяю, своему пріятелю”.

Москва, 1 ноября 1837 г. 3).

“... Въ горестной и мертвой жизни моей одна мысль, какъ добрый гений, какъ ангель хранитель, согрѣваетъ мой изнемогающій духъ, мысль, что какъ бы глубоко ни палъ я, мнѣ всегда есть пристанище въ минуты сознанія—сердце друзей моихъ, всегда готовое простить меня, оплатить мое заблужденіе и согрѣть меня своимъ огнемъ...”

“А я,—я могу утѣшать себя только вотъ чѣмъ—

Мой путь унылъ, сузилъ мнѣ грудь и горе  
Грядущаго волнуетъ море.  
Но не хочу, о други, ужираться,  
Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать.  
И вѣдаю: мнѣ будетъ утѣшенъ  
Межъ горестей, труда и тревоженій.

“Это голосъ не жизни духа; нѣтъ—это вопль прекрасной души, которая живетъ жизнью духа только въ минутахъ, только въ непрерывныхъ возстаніяхъ, послѣ непрерывныхъ паденій. Жизнь въ минутахъ—она моя, и все-

1) Дѣло идетъ, вѣроятно, насчетъ переговоровъ съ редакторомъ «Литературныхъ Прибавленій». (Пыляевъ, А. Вѣдлинскій, т. I, стр. 219).

2) Боткинскимъ.

3) Письмо это очень длинно и писано, вѣроятно, въ нѣсколькихъ приѣздахъ. Вѣдлинскій продолжаетъ развивать свой мрачный взглядъ на жизнь,—ему она улыбнулась только огнемъ—дружбой. (Пыляевъ А. Вѣдлинскій, т. I, стр. 198—200, 191—193, 252)

гда будетъ моею. но это грустная жизнь и не она должна быть удѣломъ челоѵка. Такъ жилъ Пушкинъ—и я понимаю его. Но онъ былъ гений—и въ его минутахъ жизни замыкались цѣлыя вѣка; онъ былъ поэтъ—и способность высказывать себя и, какъ дани, требовать и получать сочувствія отъ ближнихъ вознаграждала его за минуты, вѣвъ вѣчнаго духа проведенныя. Въ немъ былъ неистощимый рудникъ любви, которой не могъ иссякнуть ни отъ какихъ причинъ, и отъ колыбели до гроба ему улыбалась любовь. Я только *понимаю* такую жизнь, и если живу иногда подобно (какъ подобно отраженіе солнца въ рѣкѣ самому солнцу), то не въ дѣйствительности, а въ фантазіяхъ. Я прячусь въ фантазіи отъ дѣйствительной жизни, и мое возвращеніе къ дѣйствительной жизни изъ области фантазіи есть горькое пробужденіе. Въ этой жизни есть свое прекрасное, но я понимаю, что такая жизнь призракъ, потому что истинная жизнь конкретна съ дѣйствительностью. Иногда мнѣ становится досадно, зачѣмъ я знаю слишкомъ много, зачѣмъ слишкомъ хорошо понимаю значеніе и цѣль жизни; мнѣ кажется, что я былъ бы счастливѣе, если бы кругозоръ моего ума былъ ограниченнѣе, а требованія чувства умѣреннѣе; мнѣ кажется, что тогда бы я нашелъ все, чѣмъ могъ бы быть счастливъ... Я знаю, что это минуты борьбы, нравственной болѣзни, что такая мысль безбожна и недостойна просвѣтленнаго челоѵка, что откровеніе истины есть единственное благо, за которое челоѵкъ умиленно долженъ молиться вѣчному духу жизни“.

„Всякая грусть есть страданіе; никакое блаженство не можетъ быть безконечно и высоко безъ этого страданія; но при полной гармоніи духа, при совершенномъ его блаженствѣ грусть или страданіе есть только характеръ, условіе необходимое, форма, такъ сказать, самаго блаженства, но не самое блаженство: это понятно, и мы давно уже согласились съ тобою въ этомъ. Но страданіе, какъ единственная и исключительная форма жизни духа и какъ конечное и возможное его блаженство, есть тоже жизнь челоѵчская, и прекрасная, но низшая, неполная, ступень къ истинной жизни духа, но не истинная жизнь духа. Вотъ эта-то жизнь, это-то блаженство доступно мнѣ... Это страданіе есть недугъ души, но недугъ сладкій, есть одна изъ священнѣйшихъ способностей нашего духа, есть призывъ присутствія высшей жизни, есть залогъ дальнѣйшаго и безконечнаго развитія, ручательство въ возможности (близкой или далекой—нѣтъ нужды) перехода въ полную жизнь духа. Какъ-то недавно ощутилъ я въ моей груди это сладостное болѣзненное стѣсненіе, этотъ божественный недугъ—и вмѣстѣ съ нимъ ощутилъ и вѣру, и силу, и жизнь... По временамъ я живу этимъ страданіемъ, и теперь... я чувствую въ груди моей это болѣзненное стѣсненіе, этотъ недугъ выше всякаго здоровья, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствую, что я живу, а не прозябаю, что я челоѵкъ, а не животное. Да, —уже не счастья, не блаженства, какъ прежде, а страданія прощу, желаю и ишу я себѣ. Мыслить и страдать—вотъ грустная и неполная жизнь, до какой только я способенъ возвыситься. Но я вѣрю, что эту жизньъ я *выстрадаю* себѣ полную и истинную жизнь духа. Боже мой, какъ бы громко я сталъ смѣяться, какъ бы горячо сталъ оспаривать, если бы года за два передъ симъ кто-нибудь сталъ меня увѣрять, что моя жизнь не въ свѣтломъ веселіи, не въ радостномъ ликованіи! Гадка моя жизнь, но не прогрессъ ли это?“...

„Теперь я началъ „Переписку двухъ друзей“,—большое сочиненіе, гдѣ въ формѣ переписки и въ формѣ какого-то полу-романа будутъ высказаны всѣ тѣ идеи о жизни, которыя даютъ жизнь и которыя, безъ полемики, должны разоблачить Шевыревыхъ и подобныхъ ему. Это будетъ собственно переписка прекрасной души съ духомъ; первое лицо, какъ разумѣется, будетъ моимъ субъективнымъ произведеніемъ, а второе—чисто объективнымъ. Въ лицѣ перваго я поражаю прекраснѣе, такъ что оно устыдится самого себя; впрочемъ, въ представителѣ прекраснѣе я выведу лицо не пошлое, но полное жизни истинной, кипучей; придамъ ему не фразы и возгласы, но слово живое, увлекательное, картинное и поэтическое; словомъ, я изображу въ немъ одного изъ тѣхъ людей, доступныхъ всему истинному, но лишенныхъ силы воли для полнаго достиженія высшей истины, одного изъ тѣхъ людей, которые понимаютъ истину, но хотять, чтобы она досталась имъ безъ труда, безъ пожертвованій, безъ борьбы и страданій; какъ цыгане, которые лучше хотять сносить всѣ неудобства непогоды, всѣ невыгоды бродяжнической жизни, нежели пожертвовать частью своей дикой свободы гражданскому порядку, такъ и эти люди хотять лучше всю жизнь свою жить рѣдкими и немногими минутами восторга, а остальную часть жизни валиться въ грязь, нежели путемъ труда и усилій перейти въ полную жизнь. Короче сказать, въ этой прекрасной душѣ я изображу себя и, надѣюсь, очень вѣрно; и въ этомъ портретѣ я наплюю на самого себя и оплачу самого себя. Я изображу себя въ двухъ эпохахъ жизни: въ той, въ которую я жилъ въ одномъ чувствѣ и пряталъ свое чувство отъ разума, какъ цвѣтокъ отъ мороза; и въ той, въ которую я созналъ тождество чувства съ разумомъ, любви съ сознаніемъ, но приобрѣлъ черезъ это не полное блаженство жизни, а только объективное сознаніе его. Что же касается до представителя жизни духа, то это не будетъ ни чей портретъ: это будутъ мои... но только глубже перечувствованныя и лучше понятыя, потому что съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ написалъ, я немного подросъ въ моихъ понятіяхъ. Первое письмо почти уже написано: въ немъ „прекрасная душа“ описываетъ свой отъѣздъ изъ Москвы, свои путевыя впечатлѣнія, жалуется на людей и жизнь, въ которыхъ она разочаровалась; доказываетъ, что истинная жизнь—въ чувствѣ, что разумнѣе есть смерть чувства; упрекаетъ своего друга за любовь къ философіи, за холодность сужденій и предрекаетъ ему вечную гибель за довѣренность къ *холодному уму* и пр. и пр. Отвѣтъ на это письмо будетъ содержать изложеніе понятія о разумѣ и чувствѣ, ихъ взаимныхъ отношеніяхъ; объ истинѣ въ созерцаніи, какъ основѣ нашего сознанія; объ ошибочномъ понятіи, вслѣдствіе котораго чувство смѣшиваютъ съ истиною въ созерцаніи, почему и думаютъ несправедливо, что чувствомъ можно узнать какую бы то ни было истину, тогда какъ оно, по существу своему, не можетъ давать намъ никакихъ идей, но, такъ сказать, подкрѣпляетъ всякую истинную, или почитаемую нами за истинную, идею, пробуждая въ насъ какъ стремленіе къ безконечному, или какъ любовь, что одно и то же, потому что высшая степень любви есть ощущеніе безконечнаго; о достоинствѣ разума, живущаго въ природѣ, какъ явленіе, и въ челоѵкѣ, какъ сознаніе; о достоинствѣ способа изслѣдованія истины à priori. Однимъ словомъ, это должно быть чѣмъ-то порядочнымъ, потому что

я ни мало не сомнѣваюсь выразить эти идеи языкомъ увлекательнымъ, живописнымъ, пламеннымъ. Несмотря на мою апатическую жизнь, я уже ощущаю въ себѣ столько внутреннего жара, сколько нужно для десяти такихъ сочиненій. Скоро примусь за статью о Пушкинѣ: это должно быть лучшею моею критическою статью“...

„Если состоится (изданіе „Наблюдателя“ Кс. Полевымъ), то ты не узнаешь меня въ моихъ статьяхъ, именно потому, что я разувѣрился въ достоинствѣ отрицательной любви къ добру и чувствую въ себѣ больше снисходительности къ подросткамъ и глупостямъ литературной братіи, но зато и больше ревности доказывать противоположнымъ образомъ дѣйствования истину. Не велика польза доказать, что Сенковский—..., а Библиотека—гадкій журналъ: публика это давно знаетъ, и подписывается на „Библиотеку“ не за то, что она гадкій журналъ, а за то, что нѣтъ лучшаго журнала; такъ гораздо лучше дать ей хорошей журналъ, нежели бранить „Библиотеку“. Поэтому полемика рѣшительно изгоняется изъ нашего журнала. Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы и правда изгонялась изъ него, но дѣло въ манерѣ и въ тонѣ; помнишь ли ты, какъ мило уничтожаетъ Гегель противниковъ истинной философіи, Круга и ему подобныхъ?—Онъ не сердится, не выходитъ изъ себя, не старается прибавить выразительнѣйшихъ браней, энергическихъ выраженій; онъ поступаетъ съ ними, какъ съ мухами—махнетъ рукою и этимъ движеніемъ убиваетъ ихъ гуртомъ, сотнями, нимало не гордясь своею побѣдою и нимало не жалѣя о неудачѣ. Но вотъ другой примѣръ, хоть гадкій, но идущій къ дѣлу—это Сенковский; онъ не помѣщаетъ статей о другихъ журналахъ и разборовъ чужихъ мнѣній, но при случаѣ, къ слову, бьетъ ихъ славно. Это и мы возьмемъ за правило. Выходитъ книга, которая несправедливо разругана въ „Библиотеку“: мы ее похвалимъ, не браня „Библиотеку“, которая ее разбранила. Я имѣлъ несчастіе обратить на себя вниманіе правительства не тѣмъ, чтобы въ моихъ статьяхъ было что-нибудь противное его видамъ, но единственно рѣзкимъ тономъ, и это очень глупо; впередъ буду умнѣе“...

„... Я хочу писать тебѣ большое письмо о творествѣ. Я, было, на Кавказѣ растолковалъ его себѣ удовлетворительно и окончательно, но —

„О коль судьба упруга!“

...К—въ (Катковъ), стакнувшись съ... Егоромъ Федоровичемъ<sup>1)</sup>, разбилъ въ прахъ мою прекрасную теорію...“

„... Славный малый, онъ далеко пойдетъ, потому что уже теперь у него убѣжденія въ мирѣ съ жизнью. Голова свѣтлая, сердце чистое --вотъ Катковъ...“

„... Катковъ читаетъ эстетику Гегеля и въ восторгъ отъ нея... Боткинъ переводитъ Марбаха и въ упоеніи отъ него“...

## Къ К. С. Аксакову.

С. П. В. 1840, Июля 14.

Переписка наша, любезный Константинъ, прозвонитъ довольно недѣйственно; но какъ ея живости мѣшаютъ обстоятельства, равно извнѣющія обоимъ намъ, то объ этомъ нечего и

говорить.—и вотъ тебѣ отвѣтъ на твое письмо, въ которомъ, по обыкновенію всѣхъ безалаберныхъ людей, не выставлено года и числа, но которое я получилъ уже нѣсколько мѣсяцевъ назадъ. Ты пишешь, что письмо мое удивило тебя искренностью тона, доказывающаго прямо-ту нашихъ отношеній, которыхъ (замѣчаешь ты) не должно смѣшивать съ дружбой. Скажу тебѣ на это, что меня очень удивило твое удивленіе, равно какъ и опасеніе, чтобы я обыкновенныхъ пріятельскихъ отношеній, скрѣпленныхъ взаимнымъ уваженіемъ и долговременнымъ знакомствомъ, не смѣшивалъ съ дружбою. Въ самомъ дѣлѣ, то и другое довольно странно съ твоей стороны. Я всегда былъ съ тобою прямъ и искрененъ, даже гораздо больше иногда, нежели сколько позволяли сущность нашихъ отношеній и деликатность. Какъ бы ни любилъ я тебя, но я любилъ тебя для тебя, а не для себя, какъ пишешь. Сколько ни мало я заслуживаю уваженія и любви, но я слишкомъ привыкъ видѣть людей, добивавшихся моего знакомства и пріязни, и если эти люди сами по себѣ не были для меня интересны, мое самолюбіе молчало, а громко говорила моя нетерпимость. Во мнѣ много пороковъ, особенно мелкаго самолюбія, но сердце мое, право, лучше всего меня и никому не сдѣлало бы стыда.

Во всѣхъ отношеніяхъ съ людьми я искалъ любви и дружбы, и если передъ многими возвышался, то—какъ тебѣ извѣстно—передъ многими и умалялся, возвышая ихъ на свой счетъ. Нѣтъ, если къ чему я всего менѣе способенъ, по натурѣ моей, такъ это къ поддержкѣ какихъ бы то ни было отношеній изъ расчетовъ самолюбія и всякихъ другихъ расчетовъ: тогда какъ если бы я былъ способенъ къ этому, то могъ бы выиграть слишкомъ много. Что же касается до тебя, ты больше нежели кто-нибудь другой не имѣлъ права на подобное подозрѣніе, потому что самыя мои несправедливости (если онѣ были) и не деликатность (которая точно была) происходили изъ моего чрезчуръ прямого и откровеннаго характера. Любезный Константинъ, перейти изъ безотчетной вѣры въ людей въ безотчетное сомнѣвіе, значить сдѣлать большой шагъ къ сознанию, но въ смыслѣ момента—не больше. Дѣйствительнаго же пріобрѣтенія тутъ нѣтъ, это промѣнь 0 на 0, и изъ 0+0=0. Ты пишешь мнѣ о новыхъ своихъ друзьяхъ (о которыхъ я не могу сказать ни худого, ни добраго, исключая Д. Щ., ибо не знаю ихъ), пишешь, какъ тебѣ съ ними пріятно, но изъ всего тона письма твоего я вижу, что ты ихъ несколько не любишь, и во всѣхъ твоихъ отношеніяхъ проглядываетъ горькая и мучающая тебя мысль: *не очаровывайся, и разочарованія не будетъ.* Правнымъ образомъ, еще не значить вырваться изъ *пустого кружка* (къ которому я за честь почитаю и теперь принадлежать) и *совершенно* забыть его, когда безпрестанно обращаешься къ нему, чтобы поносить его передъ человѣкомъ, который—какъ тебѣ извѣстно—принадлежитъ къ нему безраздѣльно и почитаетъ лучшимъ и драгоценнѣйшимъ, что дала ему жизнь. Въ переводѣ на здравый смыслъ, все это значить—*молодозелено*. Но я понимаю это, хотъ и стою далеко выше этого, и не виню тебя. Твоя врожденная деликатность не допустить, послѣ этого объясненія, говорить худо мнѣ о лучшихъ моихъ друзьяхъ, и ты можешь забыть объ этомъ, какъ забываю я, дописывая послѣднее слово этой страницы. Но я не думаю оскорбить тебя или выйти изъ границъ нашихъ отношеній, сказавши тебѣ, что тонъ твоего письма, какъ выра-

1) Такъ называли въ кружкѣ Гегеля.

женіе состоянія твоего духа, наводитъ на меня мрачную тоску. Не могу себѣ вообразить болѣе ужаснаго состоянія. Ты пишешь, что живешь хорошо, доволенъ собою, понимаешь Гегеля, видишь свое мѣсто въ наукѣ; и въ то же время говоришь, что тебѣ не выйти изъ твоей односторонности, и что дѣйствительность закрыта и недоступна для тебя. Если ты правъ, ты долженъ бояться науки, ибо дѣйствительность знанія есть дѣйствительность жизни, но безъ послѣдней она порождаетъ (въ наукѣ) Тредьяковскихъ и Шевыревыхъ. Говорю тебѣ это смѣло, не имѣя желанія оскорбить тебя, но желая показать тебѣ собственное твое противорѣчіе съ самимъ собою. Сказать правду, оно столько же радуетъ меня, сколько и трогаетъ: я вижу въ немъ начало благодѣтельнаго перелома, первый шагъ выхода изъ непосредственности. Тебѣ еще страшно взглянуть на свое положеніе прямыми глазами и назвать вещь ея настоящимъ именемъ; но ты уже много приятныхъ мечтаній принесъ въ жертву истинѣ. Я надѣюсь, что скоро кончатся и твои другія предубѣжденія, и ты убѣдишься, что если въ тебѣ что-нибудь было оскорбляемо мною, или къмъ другимъ, такъ это твое самолюбіе, а не твое человѣческое достоинство. Странно обвинять тебѣ меня въ томъ, что я не хотѣлъ и не могъ дѣлится съ тобою мечтаніями и называть ихъ дѣйствительностью, а я знаю, что это и называешь ты *гонениями*. Я способенъ принимать мечты за дѣйствительность, но я всегда жестоко наказывалъ себя за подобныя заблужденія и всегда имѣлъ силу плевать на свои пошленькія чувствованія. Теперь, слава Богу, кажется, я потерялъ навсегда способность къ дѣтскимъ увлеченіямъ. Я рѣшилъ, что самая мертвая, самая животная апатія лучше, выше, благороднѣе мечтаній и пошлыхъ чувствъ. Зато теперь я или въ апатіи, или если чувствую, то не имѣю причины стыдиться своего чувства. У меня теперь много ложныхъ мыслей и рефлексій, но нѣтъ ужъ пошлыхъ чувствъ. Вотъ, любезный Константинъ, истинная причина того, что ты называешь оскорбленіями и гоненіями съ моей стороны—это разность нашихъ направленій. Я такъ думаю, хотя могу и ошибаться. Но, всякомъ случаѣ, тебѣ не за что сердиться на меня: это отвѣтъ на твое письмо.

Теперь о Гоголѣ. Онъ великій художникъ, о томъ слова нѣтъ. Я и теперь не скажу, чтобы онъ былъ ниже В. Ск. и Купера, и не почитаю невозможнымъ, чтобы послѣдующія его созданія не доказали, что онъ выше ихъ. Сверхъ того, онъ и ближе ихъ къ намъ, слѣдовательно, понятнѣе для насъ. Но онъ не русский поэтъ въ томъ смыслѣ, какъ Пушкинъ, который выразилъ и исчерпалъ собою всю глубину русской жизни, и въ раны котораго мы можемъ вложить персты, чтобы чувствовать боль своихъ и врачевать ее. Пушкинская поэзія наше искусство, а въ созданіяхъ Гоголя я вижу только Тараса Бульбу, котораго можно рвануть съ „Вѣхисарайскимъ Фонтаномъ“, „Пытаниами“, „Борисомъ Годуновымъ“, „Модартъ и Сальери“, „Скупой рыцарь“, „Русалка“, „Египетскія ночи“, „Камеенный гость“. Въ формѣ всѣ художественныя произведенія равны, но содержаніе даетъ различную цѣнность: „Ричардъ II“, „Отелло“, „Гамлетъ“, „Король Лиръ“, „Макбетъ“, „Ромео и Юлія“ всегда будутъ выше „Венеціанскаго купца“, а „Тарасъ Бульба“ выше всего остальнаго, что напечатано изъ сочиненій Гоголя.

Засвидѣтельствуй мое искреннее почтеніе Сергѣю Тим. и всему твоему семейству. Будь здоровъ и счастливъ, да поскорѣ пріѣзжай въ

Питеръ. Панаевъ тебѣ кланяется, Языковъ также. Прощай. Твой В. В.

## Къ Н. В. Станкевичу.

Москва, съ 29 сентября до 8 октября 1839 г. 1).

„... Я понялъ, что у всякаго человѣка своя жизнь и свои личные интересы, а я, сверхъ того, во все это время находился въ ужасныхъ внутреннихъ передѣлкахъ, въ мучительныхъ процессахъ выхода изъ дѣтства въ мужество, со всѣми переруганьями, былъ истерзанъ, исколесованъ такъ, что на душѣ моей не осталось ни одной цѣлой струны, ни одного здороваго мѣста“...

„Способъ, какимъ ты рекомендуешь мнѣ Грановскаго, заставилъ меня смѣяться до слезъ: ароматъ твоей милой, неопостижимо чудной непосредственности такъ и вѣялъ вокругъ меня. Портретъ Грановскаго вѣренъ какъ нельзя больше, ты великій живописецъ! Но опасеніе, что мы не сойдемся, которое невольно высказывается въ твоихъ словахъ, оказалось совершенно ложнымъ: мы сошлись какъ нельзя лучше и ближе, и безъ всякихъ прекраснотныхъ восторговъ и натяжекъ, а совершенно свободно. Грановскій есть первый и единственный человѣкъ, котораго я полюбилъ отъ всей души, несмотря на то, что сферы нашей дѣйствительности, наши убѣжденія (самыя кровныя) — диаметрально противоположны, такъ что—бѣло для него, черно для меня, и наоборотъ. Да, это одинъ изъ тѣхъ людей, съ которыми мнѣ всегда и тепло и свѣтло, и которые никогда не могутъ придти ко мнѣ не во время, но всегда—дорогіе гости. Но Боже мой! Можно ли быть противоположнѣе въ своихъ убѣжденіяхъ, какъ *мы* и онъ. Чтѣ за сужденіе объ искусствѣ, что за вкусъ—верхъ idiotства! Уландъ выше Гейне, Шиллеръ... по погоди.“

„На Руси явилось новое могучее дарованіе — Лермонтовъ“.

„Какая образность!—такъ все и видишь передъ собой, а увидѣвъ разъ, никогда ужъ не забудешь! Дивная картина—такъ и блестяще всею яркостью восточныхъ красокъ! Какая живописность, музыкальность, сила и крѣпость въ каждомъ стихѣ, отдѣльно взятомъ! Идя къ Грановскому, нарочно захватываю № 0.3 („Отечественныхъ Записокъ“), чтобы подѣлиться съ нимъ наслажденіемъ—и чтѣ же?—снѣ предупредилъ меня: какой чудакъ Лермонтовъ—стихи гладкіе, а въ стихахъ цортъ знаетъ чтѣ—вотъ хоть его „Три Пальмы“—чтѣ за дичь!—Чтѣ на это было отвѣчать? Спорить?—но я потерялъ уже охоту спорить, когда нѣтъ точекъ соприкосновенія съ человѣкомъ. Я не спорилъ, но, какъ майоръ Ковалевъ частному пристапу, сказалъ Грановскому, разставивъ руки: „Признаюсь—послѣ такихъ съ вашей стороны поступковъ, я ничего не нахожу“—и вышелъ вонъ. А между тѣмъ, этотъ человѣкъ, со слезами восторга на глазахъ, слушалъ „0 царь И. В. молодомъ опричникѣ и удаломъ купцѣ Калашниковѣ“. Не значить ли это то, что у

1) Пыпинъ, I, 290—303, 225—226.

Это письмо могло бы составить цѣлую брошюру, говорить г. Пыпинъ. Оно вызвало письмо Станкевича и пріѣздъ въ Москву Т. Н. Грановскаго. Бѣдинскій пишетъ, что на этотъ разъ причиной долгаго молчанія была война гонимости въ его внутренней жизни; ему показалось было, что онъ пересталъ любить Станкевича, но вкорѣ успокоился отъ своего «прекраснотнаго» опасенія.

него, для искусства, есть только непосредственно чувство, не развившееся и не возвысившееся до вкуса? А как онъ понимаетъ Пушкина—да здравствуетъ идиотизм! Куда Пушкину до Шиллера! А по нашему, такъ Шиллеру до Пушкина—далеко кулику до Петрова дня! Какая полная художественная натура! Небось, онъ не впалъ бы въ аллегорію, не написалъ бы галиматіи аллегорико-символической, извѣстной подъ именемъ 2-й части „Фауста“ и не былъ способенъ писать рефлексивныхъ романовъ, въ родѣ Вертера или Вильгельма Мейстера 1). Куда ему! Его натура художественная была такъ полна, что, въ произведеніяхъ искусства, казнила безпощадно его же рефлексію: въ лицѣ Алеко... Пушкинъ безсознательно бичевалъ самого себя, своимъ образомъ мыслей и, какъ поэтъ, чрезъ это художественное объективированіе, освободился отъ него навсегда... А „Мопартъ и Сальери“, „Полтава“, „Ворисъ Годуновъ“, „Скупой Рыцарь“ и наконецъ—перлъ всемірно-человѣческой литературы—„Каменный Гость“! Нѣтъ, друзья, уберите къ чорту съ вашими нѣмцами—тутъ пахнетъ Шекспиромъ новаго міра!.. А между тѣмъ, не забудь, что онъ умеръ съ небольшимъ какихъ-нибудь 35 лѣтъ, въ самой порѣ своего созрѣваго генія: чѣ бы онъ еще сдѣлалъ!.. (Здѣсь Вѣлинскій переходитъ къ характеристикѣ П. Н. Кудрявцева).

### Къ В. П. Боткину.

Петербургъ, 18 февраля 1840 г. 2).

„Тебѣ не понравилась моя статья въ XII № „От. Зап.“ 3). Я это зналъ. Въ самомъ дѣлѣ, не вытанцовалась. А странное дѣло, писалъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такою полнотою, что и сказать нельзя—напишу страницу, да и прочту Панаеву и Я-ву. Въ разбитъ-то они больно восхищались, а какъ потомъ прочли въ цѣломъ, такъ не понравились. Я самъ думалъ о ней, какъ о лучшей моей статьѣ, а какъ напечаталась, такъ не могъ и перечестъ. Какъ нарочито это случилось тотчасъ послѣ прочтенія твоей статьи. Признаюсь въ грѣхъ—я было крѣпко приунылъ. Хотѣлось мнѣ въ ней, главное, намекнуть пояснѣе на субстанціальное значеніе идеи общества, но какъ я писалъ къ сроку и къ спѣху, сочиняя и пиша въ одно и то же время, и какъ хотѣлъ непременно сказать и о томъ, и о другомъ,—то и не вытанцовалось. Теперь я ту же бы пѣсенку, да не такъ бы спѣлъ. Что она тебѣ не понравилась—это такъ и должно быть: ты понимаешь дѣло и смотришь на него не снизу вверхъ; но досадно, что и людъ-то божій ею недоволенъ..“

„Очень радъ, что тебѣ понравилась статья о Менцелѣ. Въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть цѣлостъ, и если бы о... Фрейгангъ не надѣлалъ въ ней вычусковъ и не лишилъ ее смысла на стр. 53 и 54 (замѣть это),—она была бы очень и очень недурна. Во многихъ мѣстахъ Фрейгангъ зачеркнулъ „всеобщемлющій Гете“, говоря, что этотъ эпитетъ—божій, а не человѣчскій. Вотъ тутъ и пиши. Съ твоимъ мнѣніемъ о статьѣ „Горе отъ ума“ я совершенно согласенъ: много хорошаго въ ней, но въ цѣломъ—уродъ... Что жъ ты не сказалъ мнѣ ни слова о моей статейкѣ объ „Очеркахъ“ Полевого? Ею

я больше всѣхъ доволенъ 1)... Повѣришь ли, Боткинъ, что Полевой сдѣлался гнуснѣе Булгарина... Статья о Марлинскомъ тебѣ не понравится, но именно такія-то статьи я и буду отнынѣ писать, потому что только такія статьи и доступны и полезны для нашей публики 2). Но статья о дѣтскихъ книжкахъ—надѣюсь—будетъ такъ недурна, что понравится и тебѣ, и ты смѣло можешь сказать, что ты виноватъ въ ней. Въ самомъ дѣлѣ, если она будетъ хороша, то потому, что твое письмо возвало меня отъ смерти къ жизни, и что, пиша статью, я перечитывалъ ее, особенно одно мѣсто... Смѣйся, В., оно въ самомъ дѣлѣ смѣшно..“ 3).

„...Вѣдь ты, вѣрно, для того желаешь видѣть „Ричарда“ 4) въ печати, чтобы его читали и прочли? Знаешь ли ты, что „Макбета“, переведеннаго извѣстными литераторомъ—Бронченко, разошлось ровно пять экземпляровъ?... Я того и гляжу, что премудрый синадріонъ, состоящій изъ московскихъ душъ, вздумаетъ перевести всего Шекспира и великолѣпно издать его для удовольствія російской публики. Смотрите же, господа, печатайте больше—экземпляровъ 100,000: російская публика просвѣтится, а вы настроите себѣ каменныхъ домовъ и купите деревень. Въ Питерѣ бы васъ дураковъ—тамъ бы вы поумнѣли, тамъ бы вы узнали, что такое російская дѣйствительность и російская публика. Въ журналѣ она прочтетъ и Шекспира: за журналъ она платитъ деньги, и за свои деньги читаетъ все сплошь..“

„Кого она поддерживаетъ, кого любитъ? Или людей по плечу себѣ, или плутовъ и мошенниковъ, которые ее надуваютъ“.

„Цѣмъ взять Сенковскій? Основною мыслью своей дѣятельности, что учиться не надо, и что на все въ мірѣ надо смотрѣть шута Русскій человекъ любить жить на шеромыгу... Потомъ, кого любить наша публика?—Греча, Булгарина,—да, они, особенно первый, въ Питерѣ, даже при жизни Пушкина, были важнѣе его и доселѣ сохраняютъ свой авторитетъ. О публичныхъ лекціяхъ Греча и теперь говорятъ, какъ о чудѣ, съ восторгомъ и благоговѣніемъ. Вотъ наша публика: давайте жъ, о невинныя московскія души, скорѣе давайте ей Шекспира—она ждегъ его. Нѣтъ, переведите-ка лучше всего В. Гюго съ братією, да всего Поль-де-Кока, да и издайте великолѣпно съ романами Булгарина и Греча, съ повѣстями Брамбеуса и драмами Полевого: тутъ успѣхъ несомнителенъ; а бѣднаго Шекспира печатайте въ журналахъ—только въ нихъ и прочтутъ его..“

„Ты говоришь, что я мало развилъ въ себѣ Entsagung. Можетъ быть, его и совсѣмъ нѣтъ во мнѣ. Такъ какъ я понимаю его въ другихъ и высоко цѣню, то недостатокъ его въ себѣ и считаю ограниченностью, въ которой, однако жъ, не стыжусь признаться. Кажется, что для меня настанетъ время такихъ простыхъ признаній. По крайней мѣрѣ, теперь они для меня очень не трудны. Я этому радъ. Вообще я уже много пославилъ себѣ цѣны въ собственномъ мнѣніи, и надѣюсь, что скоро сознаю себя тѣмъ, что я есть—безъ пошлаго смиренія и пошлой гордости. А можетъ быть, во мнѣ и кроется возможность этого таинственнаго Entsagung: но какъ это мнѣ узнать. Вообрази себѣ мужика, который всю жизнь свою не вдалъ ничего, кромѣ

1) „Отч. Зап.“ 1840, № 1, Сочин., т. IV, стр. 11—12.

2) Эта статья явилась во 2-мъ № „Отч. Зап.“ 1840: Сочин. III, стр. 438—437.

3) Статья о дѣтскихъ книжкахъ была помѣщена въ № 3-мъ „Отч. Зап.“ 1840: Сочин. III, стр. 487—547.

4) Дѣло идетъ о переводѣ Шекспировскаго „Ричарда II“ Бронбергомъ, который Боткинъ хотѣлъ издать отдѣльною книжкой.

1) Ср. отзывъ Вѣлинскаго о 2-й части Фауста въ শেষъ въ Панаеву отъ августа 1839 г.

2) Липинъ, А. „Вѣлинскій“, т. II, гл. VI, стр. 21—25.

3) Объ очеркахъ Бородинскаго сраженія.

хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиною, и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы и калачей, и кондитерскихъ издѣлій, и плодовъ: можно сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣрскою жадностью, а когда у него стануть отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ? Какъ же отъ него требовать Entsagung? У всякаго есть своя исторія, мой добрый Василій... 1).

Петербургъ, 24 февраля 1840 г. 2).

...Ты пишешь, что онъ <sup>3)</sup> любить одно общее. О, пропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма!.. Лучше самая пошлая жизнь, чѣмъ такое общее, чтобы чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумѣнію маленький уголокъ живой дѣйствительности, чѣмъ это пустое, лишенное всякаго содержанія, всякой дѣйствительности, сухое и эгоистическое (общее). Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М.: такъ, да не такъ, я резонеръ и рефлектировщикъ, правда,—но зато, какъ скоро представляли передъ меня дивныя явленія дѣйствительности, въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію, и никогда не мѣнялъ *человѣка на книгу*...<sup>4)</sup>

27 февраля и 1 марта 1840 г. (продолженіе).

...Каждое письмо твое, — свѣтлый праздникъ для меня, день счастья и даже полноты, покоику она для меня возможна. А о Пушкинѣ ты врешь, хотя, по своему обыкновению, и мило врешь. Шекспиръ не зналъ новѣйшей германской рефлексіи, но міросозерцаніе его оттого не пострадало, не сузилось, равно какъ и обиліе нравственныхъ идей. У Пушкина то и другое безконечно, только труднѣе въ то и другое проникнуть, чѣмъ у нѣмцевъ. Вспомни, что ты самъ такъ глубоко и вѣрно подмѣтилъ въ „Онѣгинѣ“ — какое безконечное міросозерцаніе, какой великій нравственный урокъ — и въ чемъ же — въ нашей частной жизни, среди помѣщиковъ! А тамъ еще „Цыганы“, „Борисъ Годуновъ“, „Русалка“ (обрати на нее вниманіе), „Скупой Рыцарь“, „Каменный Гость“. Въ послѣднее время мнѣ открылся „Бахъ. Фонтанъ“: мнѣ кажется, я въ состояніи написать объ этой крошечной пщекѣ цѣлую книгу — великое міровое созданіе! Присовокупи ко всему этому, что Пушкинъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, въ порѣ возмужалости своего генія, умеръ, когда великій мірообъемлющій Пушкинъ уже кончился, и начинался въ немъ великій, мірообъемлющій Шекспиръ. Да, міръ увидѣлъ бы въ немъ новаго Шекспира...<sup>4)</sup>

„О, какъ дѣйствуютъ на меня подобныя самосознанія въ такихъ простыхъ цѣлостныхъ людяхъ, какъ Пушкинъ! Нѣтъ, Б., надо радоваться, что ядовитое дыханіе рефлексіи (ядовитое для поэзій) не коснулось Пушкина, и

тѣмъ не отняло у человѣчества великаго художника. Я понимаю цѣну, значеніе и необходимость рефлектированной поэзій — я самъ безъ ума отъ символическаго „Прометея“ Гете; но, во-первыхъ, я настаиваю на то, что когда говорится объ истинной (непосредственной) поэзій, — о рефлектированной можно и помолчать; а во-вторыхъ, — я вижу нравственную идею только въ *нерукотворныхъ, явленныхъ* образахъ, которые одни есть абсолютная дѣйствительность, а не тѣ, гдѣ хитрила человѣческая мудрость. Воля твоя, а послѣ Вертера и Вильгельма Мейстера — твое удивленіе къ Wahlverwandschaften мнѣ очень подозрительно. Я увѣренъ, что это то же, что Вильг. Мейстеръ: вино пополамъ съ водою. Такія произведенія, много давая въ частяхъ, цѣлымъ своимъ усиливаютъ болѣзненность духа и рефлексію, а не выводятъ изъ нихъ въ полноту созерцанія. А что Егоръ Федорычъ <sup>1)</sup> восхищается рефлектированностью поэзій Шиллера — брешетъ, собачій сынъ <sup>2)</sup>.. Еще разъ — счастье наше, что натура Пушкина не поддавалась рефлексіи: отъ того онъ и великій поэтъ...<sup>3)</sup>

Пиши мнѣ, пиши о каждомъ стихотвореніи Лермонтова <sup>3)</sup> — иначе я не хочу съ тобою знаться. Какъ, мой добрый и лысый Василій, — „На смерть Одоевскаго“ тебѣ больше нравится, чѣмъ „Терекъ“? Сіе мнѣніе, о Воткинѣ! — если бы ты его напечаталъ, — я бы печатно отрекся даже отъ того, что когда-либо гдѣ встрѣчалъ тебя. Неужели на святой Руси только одному мнѣ суждено было добратся (съ грѣхомъ пополамъ) до тайны поэзій, и носить съ нею среди васъ, подобно Кассандрѣ съ ея зловѣщею тайною, осуждавшю ея на отчужденіе и одиночество среди ликующаго народа въ свѣтломъ Иліонѣ! Нѣтъ, — Худряеву, вѣрно, „Терекъ“ лучше нравится, чѣмъ „На см. Од.“ — вѣдь не даромъ же я такъ люблю его... Спроси его и тотчасъ же увѣдоми или заставь его при себѣ же написать нѣсколько словъ объ этомъ — буду ждать этого съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ будто и Богъ знаетъ чего...<sup>4)</sup>

...Да, кстати: что съ тобою... дѣется? Ты безъ меня потерялъ всякое чутье къ поэзій. Новогреческія пѣсни я замѣтилъ — онѣ превосходны и переводъ хорошъ. <sup>4)</sup> Но, ради Аллаха, съ чего ты взялъ, что переводы Аксакова положительно хороши, а не положительно дурны? Неужели это Гете? — Чѣмъ же онъ выше Семена Егоровича Рачца? А Вецелевскаго стихотворенія я не понимаю: должно быть, рефлектированное. Струговикова переводъ тоже не изъ лучшихъ его переводовъ. И вообще стихотворная часть въ „Одесск. Альманахѣ“ — плоховата. Стихи Лермонтова недостойны его имени...<sup>5)</sup>

...Что, другъ, ты уже говоришь, что лучше пѣтизмъ, чѣмъ пантеистическія построенія о безсмертіи? <sup>5)</sup> Я самъ то же думаю. Для меня Ев. — абсолютная истина, а безсмертіе индив. духа есть основной его камень. Временемъ тепло вѣтрится —

Съ души какъ бремя окатится  
Сомнѣнье далеко,  
И вѣтрится, и плачется,  
и такъ легко, легко.

Да, надо читать чаще Евангеліе — только отъ него и можно ожидать полнаго утѣшенія. Но объ этомъ или все, или ничего...<sup>6)</sup>

1) Письмо оканчивается 20-го февраля разсужденіями о личныхъ отношеніяхъ Блинскаго съ нѣкоторыми друзьями кружка и о сердечной исторіи Воткина. (Пытинъ, А. „Блинскій“, т. II, гл. VI, стр. 25).

2) Это письмо относится ко времени окончательнаго разрыва съ „философскимъ другомъ“; здѣсь, между прочимъ, Блинскій имеетъ полный просторъ своему враждебному настроенію.

3) Философскій другъ, т. е. М. Бакуининъ.

4) Дальше Блинскій передаетъ содержаніе стих. Пушкина „Памятникъ“.

1) Гегель.

2) Гоголевская фраза.

3) По мнѣнію Блинскаго, у Лермонтова также мало рефлексіи: «естъ надежда, что будетъ поэтъ». (Пытинъ, II, 28)

4) Рѣчь идетъ объ „Одесскомъ Альманахѣ“ Надеждина, 1840 г.

5) Въ своихъ письмахъ Блинскій часто возвращается къ вопросу о безсмертіи, который его тревожитъ.



Петербургъ, 5 сентября 1840 г. 1).

„Ты говоришь, что тебѣ необходимо женское общество—и мнѣ оно необходимо, но вотъ уже больше году, какъ я не видалъ ни одной женщины. Что-то промелькнуло, было, мимо меня, да и скрылось такъ скоро, что я не успѣлъ и удостовѣриться—дѣйствительно ли это женственное существо. Оно оставило, впрочемъ, во мнѣ какое-то странное впечатлѣніе: я о немъ или совсѣмъ забываю, какъ будто его не было и нѣтъ на свѣтѣ, а если вспоминаю, мнѣ становится такъ хорошо, а мысль о встрѣчѣ съ нимъ приводитъ меня въ такой страхъ...

„Да все равно, все это глупости, въ итогѣ которыхъ—нуль. Ахъ, Воткинъ, ты не можешь себѣ и вообразить, какъ я замѣнила. Нѣкогда ты упрекалъ меня въ недостаткѣ Entsagung; его и теперь нѣтъ, но вмѣсто его явилось презрѣніе, какое-то недовѣріе къ тѣмъ благамъ, которыхъ такъ мучительно еще недавно жаждала душа моя. Придутъ сами—ништо, попробуемъ, вѣдь надо же чѣмъ-нибудь занимать себя, живучи на бѣломъ свѣтѣ: не придутъ—чортъ съ ними, не о чемъ жалѣть, вѣдь все глупо и ничтожно, и всякій нуль равенъ нулю.

„...Я въ томъ разнусь отъ тебя, что дымъ называю дымомъ, не стою за нашъ вѣкъ, за который ты ратуешь съ такимъ донъ-кихотскимъ задоромъ! Другъ, это все слова и фразы, это тотъ дымъ, которымъ испарилась наша молодость. Ты переживаешь себя, заживо умираешь, а все по старой привычкѣ кричишь о разумности жизни. Если какой-нибудь гегелиаецъ (кажется, Фрауэнштетъ), подкапываясь подъ основанія гегелизма, доходитъ до результата, что мысль (которую мы приняли на критеріумъ бытія) насъ надуваетъ, надѣвая на наши глаза очки, сквозь которыя мы видимъ все какъ ей угодно, а не какъ должно,—и восклицаетъ съ отчаяніемъ: „спасите меня, погибаю“,—такъ намъ ли, о, Воткинъ, не вопить, или, по крайней мѣрѣ, намъ ли защищать дѣйствительность, если она, столь безконечно могущественнѣйшая насъ, такъ плохо защищаетъ сама себя? Что до личнаго бессмертія,—какія бы ни были причины, удаляющія тебя отъ этого вопроса и дѣлающія тебя равнодушнымъ къ нему,—погоди, придетъ время, не то запоешь. Увидишь, что этотъ вопросъ—альфа и омега истины, и что въ его рѣшеніи—наше искупленіе. Я плюю на философію, которая потому только съ презрѣніемъ прошла мимо этого вопроса, что не въ силахъ была рѣшить его. Гегель не благоволилъ ко всему фантастическому, какъ прямо противоположному опредѣленно-дѣйствительному. К-в? говорить, что это—ограниченность. Я съ нимъ согласенъ“...

„Ты говоришь, что вѣришь въ свое бессмертіе, но что же оно такое? Если оно и то и другое, и все, что угодно—и стаканъ съ квасомъ, и яблоко, и лошадь,—то я поздравляю тебя съ твоей вѣрой, но не хочу ея себѣ. У меня у самого есть поползновеніе вѣрить то тому, то другому, но нѣтъ силъ вѣрить, а хочется знать достоверно. Ты говоришь, что при извѣстіи о смерти Станкевича тебя вдругъ охватилъ вопросъ: что же стало съ нимъ? А развѣ это пустой вопросъ? Развѣ безъ его рѣшенія возможно примиреніе? Если такъ, то ты не любилъ Станкевича и еще ни разу не терялъ любимаго человѣка. Нѣтъ, я такъ не отста-

ну отъ этого Молоха, котораго философія назвала *Общи́мъ*, и буду спрашивать у него: куда дѣлъ ты его и что съ нимъ стало? Ты говоришь—страшна потеря любимаго человѣка! А почему страшна она? Потому что она—потеря, потому что ужъ нѣтъ и не будетъ больше потеряннаго. А должно ли въ жизни быть что-либо страшное? Если смерть человѣка не страшна тебѣ, значитъ, ты не любилъ его; если ты любилъ его—она страшна тебѣ, а что страхъ—откуда онъ, изъ разумности или случайности? Ты говоришь, ради Бога, станемъ гнать отъ себя разсудочныя рефлексіи о *тамъ*, о будущей жизни, какъ понапрасну мѣшающія настоящему, его силѣ и жизни. Прекрасно, но гдѣ достоверность того, что эти рефлексіи—разсудочныя, а не разумныя? Потому, я хочу прямо смотрѣть въ глаза всякому страху и ничего не гнать отъ себя, но ко всему подходить. Наконецъ: что даетъ тебѣ настоящее, которому (по старой привычкѣ) приписываешь ты *силу* и *жизнь*? Что даетъ оно тебѣ? *дымъ фантазій*? Сражайся за него, ратуя елико возможно и не замѣчай, какъ злобно издѣвается оно надъ тобою“...

„...Бѣдный Кольцовъ, какъ глубоко страдаетъ онъ. Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждетъ—одни скоты блаженствуютъ, но тѣ и другіе равно умрутъ: таковъ вѣчный законъ Разума. Ай да разумъ! Какъ пріѣдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобы тотчасъ же увѣдомилъ меня, а если поѣдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мнѣ и искалъ бы меня на Васильевскомъ острову (слѣдуетъ адресъ)... У меня теперь большая квартира, и намъ съ нимъ будетъ просторно“...

Петербургъ, 30 декабря 1840 г. 1)

30 декабря 1840 г. 2). „Спасибо тебѣ, друже, за письмо—я даже испугался, увидѣвъ такое толстое посланіе, которое совсѣмъ не въ духѣ твоей лѣнкости...“

„Все, что написалъ ты о Гете и Шиллерѣ—прекрасно, и много пояснило мнѣ насчетъ этихъ двухъ чудаконъ. Признаться ли тебѣ въ грѣхъ... о Шиллерѣ не могу и думать, не задыхаясь, а къ Гете начинаю чувствовать родъ ненависти, и, ей-Богу, у меня рука не подымется противъ Менцеля; хотя сей мужъ и попрежнему остается въ глазахъ моихъ идиотомъ. Боже мой—какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно думать!“

„Да, я созналъ, наконецъ, свое родство съ Шиллеромъ, я—кость отъ костей его, плоть отъ плоти его,—и если что должно и можетъ интересоваться меня въ жизни и въ исторіи, такъ это—онъ, который созданъ, чтобъ быть моимъ богомъ, моимъ кумиромъ,—ибо онъ есть высшій и благороднѣйшій мой идеалъ человѣка. Но довольно объ этомъ. Отъ Шиллера перехожу къ Полевому...“

„Нѣтъ, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливыми, ни преувеличенными“...

15 января 1841 г. (продолженіе). 3).

„...Теперь о второмъ пунктѣ твоего письма—о Катковѣ. Признаюсь, огоршилъ ты меня!“

1) Большая доля этого письма (очень длиннаго) занята разсказомъ и опредѣленіемъ личнаго отношенія Бѣлинскаго къ Воткину, Кетчеру и Каткову. (*Литинъ, А.* «Бѣлинскій», т. II, стр. 86—92).

2) Письмо начато 30 декабря 1840 года и кончено въ концѣ января 1841 года.

3) *Невѣдомскій*. «Катковъ и его время», стр. 64—66.

Я—странная натура—никогда не смѣю высказать о человѣкѣ, что думаю, и часто наталкиваюсь на любовь и дружбу къ нему съ понятіемъ о немъ. Твое сужденіе о Катковѣ ужасно. Я то же чувствовалъ, но не смѣлъ сказать себѣ самому. Изъ этого человѣка (я увѣренъ въ этомъ) еще выйдетъ человѣкъ. Пріѣхавши въ Петербургъ, онъ началъ съ высоты величія подсмѣиваться надъ моими жалобами о ничтожествѣ человѣческой личности, столь похожей въ общемъ на мыльный пузырь, и говорить, что въ наше время объ этомъ тужатъ только дрянныя и гнилыя натуриски, а черезъ нѣсколько недѣль затянулъ ту же пѣсню, только еще заунывнѣй и отчаяннѣй. Потомъ толковалъ мнѣ, съ видомъ покровительства, о необходимости провести по своей непосредственности рѣздомъ художника, чтобы придать себѣ виртуозности. У меня странная привычка—принимать въ другіяхъ самохвальство за доказательство достоинства—я и повѣрилъ, что онъ—статуя, виртуознѣе самаго Аполлона Вельведерскаго, да и давай плевать на себя и смиряться передъ нимъ. Вообще онъ велъ себя со всѣми нами, какъ гениальный юноша съ людьми добродушными, но недалекими, и сдѣлалъ мнѣ нѣсколько грубостей и дерзостей, которыя могъ снести только я, но которыя нельзя забыть, и о которыхъ расскажу тебѣ при свиданіи. Маняеву съ Языковымъ тоже досталось порядочно за то, что они не знали, какъ лучше выразить ему свое уваженіе и любовь. Не скажу, чтобы у меня съ нимъ не было и пріятныхъ минутъ, ибо это—натура сильная и голова крѣпко работающая. Онъ многое разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многого большая часть воскресла и самодѣтельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда. Ясно, что немного прошло у него черезъ сердце; но живетъ только въ головѣ, и потому пристаётъ отъ него и понимается съ трудомъ. Когда онъ съ торжествомъ совзвалъ насъ у Краевскаго и прочелъ половину статьи о Саррѣ Толстой, я былъ оглушенъ, но нисколько не наполненъ, но казалъ Комарову и прочимъ, что такой статьи не бывало на свѣтѣ. Статья вышла. Питеръ принялъ ее съ остервенѣніемъ, что еще больше придало ей цѣны въ моихъ глазахъ. Маняевъ и Комаровъ просто сказали мнѣ, что имъ статья не нравится, а послѣдній—что онъ въ ней, за исключеніемъ двухъ, трехъ дѣйствительно прекрасныхъ мѣстъ, ничего не понимаетъ. Я чуть не побранился съ нимъ за это, хоть онъ и говорилъ мнѣ, что въ моихъ статьяхъ все понимаетъ. Уже спустя довольно времени я самъ поусомнился, замѣтивъ, что ничего не помню изъ дивной статьи. Перечитывалъ—читаю прекрасно, положу книгу—не помню ничего. Твое письмо довершило. Ты здѣсь—не то, что я, ты—человѣкъ постронній. Не забудь, что мы съ Катковымъ—соперники по ремеслу, а я по своей натурѣ способенъ видѣть всегда въ соперникахъ Богъ знаетъ что, а въ себѣ—ничего. Когда онъ изъявилъ желаніе писать о Саррѣ Толстой, я не смѣлъ и думать взяться за это дѣло. Теперь каюсь, ибо вижу, что это чудное явленіе погибло для публики. Хочу написать для „Современника“, да книги нѣтъ. Нащокинъ, говорятъ, передать для меня экземпляръ К. Аксакову, а тотъ Богъ знаетъ что сдѣлалъ съ нимъ. Не можешь ли ты хлопотать объ этомъ дѣлѣ?

„Въ немъ бездна самолюбія и эгоизма—и мы много развили въ немъ и то, и другое. Сперва держали его въ черномъ тѣлѣ, а съ

исторіи со Ш. 1) начали носить его въ хлопчаткахъ—вотъ онъ и зазнался.

„Вспоминая объ извѣстной тебѣ моей исторіи съ нимъ, ясно сознаю, что я тогда же видѣлъ то, чего никто не видѣлъ и ты особенно, и что съ другимъ кѣмъ у меня была бы невозможна подобная исторія, что онъ слишкомъ безчестно наслаждался плодами своей побѣды надо мною, и что его ненависть послѣ того, какъ все объяснилось въ его пользу, выходила изъ самаго черстватаго эгоизма, и что не онъ, а я жестоко оскорбленъ былъ. Да, Воткинъ, признаюсь въ слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить объ этой исторіи. Вотъ этотъ человѣкъ какъ-то не вошелъ въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему. И онъ не могъ войти въ него: онъ для этого слишкомъ молодъ, и онъ еще только теперь сражается тѣми болѣзнями, которыя мы или давно перестрадали, или къ которымъ притерпѣлись, такъ что не чувствуешь ихъ, какъ лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство—одновременность развитія! Да, много, много чатень въ этой, впрочемъ, прекрасной натурѣ. Время образуетъ ее: есть натуры, трудно и туго развивающіяся—къ такимъ принадлежитъ и натура нашего юноши. А между тѣмъ, это натура, полная силы, энергии, могучая, натура широкая, если пока еще не глубокая; онъ никогда не сдѣлается ни пѣгистомъ, ни резонеромъ, ни сентиментальнымъ шутомъ. Только онъ носить въ себѣ страшнаго врага—самолюбіе, которое.. чортъ знаетъ до чего можетъ довести его. Удивительно вѣрно твоё выраженіе: „бравата субъективности“. Это конекъ, на которомъ нашъ юноша легко можетъ свернуть себѣ шею. Самолюбіе ставить его въ такіе положенія, что отъ случайности будетъ зависѣть его спасеніе или гибель, смотря по тому, куда онъ повернется, пока еще есть время поворачивать себя въ ту или другую сторону...

„Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что пребываніе въ Питерѣ К-ва дало сильнѣйшій толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнѣ, не оставивъ слѣда; но его взгляды на многое,—право, мнѣ кажется, что они мнѣ больше дали, чѣмъ ему самому“.

(Дальше заходить рѣчь о бракѣ. Бѣлинскій говоритъ съ сочувствіемъ о Ж. Зандѣ и замѣчаетъ:)

„Вообще, всѣ общественныя основанія нашего времени требуютъ строжайшаго пересмотра и коренной перестройки, что и будетъ рано или поздно. Пора освободиться личности человѣческой, и безъ того несчастной, отъ гнусныхъ оковъ неразумной дѣйствительности—мнѣнія черни и преданія варварскихъ вѣковъ. Ахъ, Воткинъ, чувствуя, что при свиданіи мы подемся: письма мои не могутъ дать тебѣ и слабаго намека на то, какъ ужасно переѣмнилъся я“.

16 января 1841 г. „Ты поздравляешь меня, что я „вышелъ на широкое поле дѣйствительности, на животрепещущую почву исторической жизни“, и что „и груди и душѣ моей будетъ легче“. Отчасти это справедливо: искусство задушило, было, меня, но при этомъ направленія я могъ жить въ себѣ и думать, что для человѣка только и возможно, что жизнь въ себѣ, а вышелъ изъ себя (гдѣ было тѣсененько, но зато и тепло), я вышелъ только въ новый міръ страданія, ибо для меня дѣйствительность и историческая жизнь не существуютъ только въ прошедшемъ—я хочу ихъ видѣть въ на-

1) Послужившій поводомъ къ первому столкновенію Бѣлинскаго съ Катковымъ въ Москвѣ.

стоящемъ, а этого-то и нѣтъ и не можетъ быть... Прекрасенъ блескъ семицвѣтной радуги, прекрасно зрѣлище сѣвернаго сиянія, но вѣдь они не существуютъ въ дѣйствительности, вѣдь они только обманчивыя отраженія солнца въ атмосферѣ; вѣдь дѣйствительность должна же быть мѣрою цѣны явленій духовнаго міра, какъ золото вещей матеріальныхъ? Иначе—что же жизнь, если не сонъ и не мечта? Я теперь совершенно созналъ себя, понялъ свою натуру: то и другое можетъ быть вполне выражено словомъ That, которое есть моя стихія. А сознать это, значитъ сознать себя заживо закрытымъ въ гробу, да еще съ связанными зазади руками. Я не рожденъ для науки, ни даже для того тихаго кабинетнаго занятія любимыми предметами, которое такъ сродно твоей натурѣ. Да, я уже сказалъ себѣ: умирай—для тебя ничего нѣтъ въ жизни, жизнь во всемъ отказала тебѣ. Что до женщины—это тоже грустная исторія...

„Знаю, какъ жалокъ, какимъ ребенкомъ былъ я съ моими мечтами о сочувствіи и счастьи въ любви, съ моимъ дѣтскимъ обожествленіемъ женщины, этого весьма земнаго существа; но что же получилъ я взаменъ утраченныхъ теперь плутокъ, но поэтическихъ мечтаній? Новую пустоту въ душѣ, какъ будто она и безъ того была не довольно пуста. Женщина потеряла для меня весь интересъ, способность любить утрачена, узы брака представляются не другимъ чѣмъ, какъ узами, а одиночество терзаетъ, высасываетъ кровь капля по каплѣ. Увы!

Забылъ сердце нѣжный трепегъ  
И пламя вноски живой!

„Осталось для меня въ женщинѣ только одно—роскошныя формы, трепетъ и мнѣніе страсти, словомъ, осталась для меня только греческая женщина, а мишна среднихъ вѣковъ скрылась навсегда. Не чувствуя въ себѣ самомъ способности не только къ вѣчной страсти, но и къ продолжительной связи съ какою бы то ни было женщиной, я не вѣрю ужъ той любви, которая еще такъ недавно была первымъ догматомъ моего катехизиса. Авторитеты Пушкина и подобныхъ ему натуръ еще болѣе утвердили это невѣріе. Можетъ быть, я еще и могу увлечься женщиною и любить ее, но не могу видѣть въ ней ничего больше женщины—существа, по своей духовной организаціи слабаго, бѣднаго, жалкаго. Красота еще владѣетъ (въ мечтѣ) моей душою, но что такое красота? Годъ, одинъ годъ жизни женщины, отъ той минуты, какъ перестала быть *дѣвушкой* и почувствовала, что она *мать*“.

„Твоя исторія, Боткинъ, окончательно добила во мнѣ всякую вѣру въ чувство“...

„Сейчасъ прочелъ въ письмѣ твоемъ о Гете и Шиллерѣ—умишь и истиннѣе этого ничего не читалъ—просто не могу начитаться. Какъ хочешь, а влеку въ статью, подъ видомъ выписки изъ нѣкаго частнаго письма.“

„О „Запискахъ одного молодого человѣка“ не хочу съ тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться съ тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедливъ къ нему, какъ къ лицу, и не любишь его, какъ личность. А для меня это—человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ, какихъ у насъ, къ несчастью, мало...“

„Насчетъ Гейне тоже остаюсь при своемъ мнѣніи. То, что ты называешь въ немъ отсутствіемъ всякихъ убѣжденій, въ немъ есть только отсутствіе системы мнѣній, которой онъ, какъ поэтъ, создать не можетъ и не будучи

въ состояніи примирить противорѣчій, не можетъ и не хочетъ, по нѣмецкому обычаю, натягиваться на систему. Кто оставилъ родину и живетъ въ чужой землѣ, по мысли, того нельзя подозрѣвать въ отсутствіи убѣжденій. Гейне понимаетъ ничтожность французовъ въ мысленіи и искусствахъ, но онъ весь отдался идеи *достоинства личности*, и неудивительно, что видитъ во Франціи цвѣтъ человѣчества. Онъ ругаетъ и позоритъ Германію, но любитъ ее истиннѣе и сильнѣе всевозможныхъ гофратовъ и мыслителей, и ужъ, конечно, побольше защитниковъ и поборниковъ дѣйствительности, какъ она есть... Гейне—это нѣмецкій французъ—именно то, что для Германіи теперь всего нужнѣе“.

„О стихахъ Пушкина въ альманахѣ 1) нельзя и говорить обыкновеннымъ человѣческимъ языкомъ, а другого у меня нѣтъ. Я понялъ ихъ насквозь Такого глубокаго и граціозно-деликатнаго чувства нельзя выразить, какъ перечтѣ эти же самые стихи. Но каковы его „Три ключа“ въ 1 № „О. З.“? Они убили меня, и я твержу безпрестанно: „Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолить“...

„...Чѣмъ больше читаю отрывки изъ „Фауста“ (Струговицъ, Веневитинова и др.), тѣмъ болѣе увѣряюсь, что это—величайшее созданіе міроваго гения. О 2-й ч. не говорю: ясно, что она вышла изъ подгнившей рефлексіи, полна аллегоріями, но и въ ней должны быть дивныя частности. Понялъ я, наконецъ, что такое *рефлектированная* поэзія—великое дѣло! Мы не греки: греческій міръ существуетъ для насъ, какъ прошедшій (хотя и величайшій) моментъ развитія человѣчества, но онъ не можетъ дать намъ полнаго удовлетворенія. Младенчество—прекрасное время, время полноты, но кому 30 лѣтъ, наскучить бытъ съ одними дѣтьми, какъ бы ни любилъ ихъ“.

„...Я, было, недавно пришелъ въ отчаяніе отъ своей неспособности писать: вижу—естъ мысль, глубоко понимаю, что хочу сказать, а сказать не могу—слова не повинуются, нужны образы: ихъ не нахожу“...

„...Нѣтъ никакой возможности писать хорошо для журнала... Дай мнѣ написать въ годъ три статьи, дай каждую обработать, передѣлать—ручаюсь, что будетъ стоить прочтенія... Хорошо какому-нибудь Ретшеру издать въ годъ брошюру, много двѣ. А тутъ напишешь 5 полулистовъ, да и шлешь въ типографію.“

Петербургъ, 8 сентября 1841 г. 2).

„...Боткинъ, перекрестись,—что ты, Христосъ съ тобою; ты боленъ... и тебѣ видятся дурные сны... 3). Боткинъ, въ немъ, въ этомъ прошедшемъ, много дряни—не спорю; но забыть ее нѣтъ возможности, ибо съ нею соединено тѣсно и все лучшее, что было въ нашей жизни и что навсегда свято для насъ. Нѣтъ нужды говорить, что ни одинъ изъ насъ не можетъ похвалиться, ни упрекнуть себя большею долею дряни: количество равно съ обѣихъ сторонъ, и намъ нельзя завидовать другъ другу или стыдиться одинъ другого“...

„Ты знаешь мою натуру: она вѣчно въ

1) Речь идеѣ, вѣроятно, объ «Утренней Зарѣ» Владиславлева, на 1841 годъ, гдѣ было помѣщено стихотвореніе Пушкина: «Для береговъ отчизны дальней».

2) *Литинъ*, А. «Бѣлинскій», т. II, стр. 121—126.

3) Боткину иришло въ голову, что другъ его охладѣлъ къ нему, и онъ высказалъ это въ письмѣ къ Бѣлинскому.

крайностяхъ и никогда не попадаетъ въ центръ идеи. Я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старою идеею, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности,—это идея *соціализма*, которая стала для меня идеею идей, бытіемъ бытія, вопросомъ вопросовъ, альфой и омегой вѣры и знанія... Все изъ нея, для нея и къ ней. Она вопросъ и рѣшеніе вопроса. Она (для меня) поглотила и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни“...

„Видишь ли: мы дружились, ссорились, мирились, опять ссорились и снова мирились, враждовали, между собою, неистово любили одного другого, жили, влюблялись,—по теоріи, по книгѣ, непосредственно и сознательно. Вотъ, по моему мнѣнію, ложная сторона нашей жизни и нашихъ отношеній. Но должны ли мы винить себя въ этомъ? И мы винили себя, клялись, проклинали, а лучше не было, нѣтъ и не будетъ.“

„...Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была—возвести до дѣйствительности всю нашу жизнь и наши взаимныя отношенія, и что же? мечта была мечтой и останется ею; мы были призраками и умремъ призраками, но мы не виноваты въ этомъ и намъ не въ чемъ винить себя. Дѣйствительность возникаетъ на почвѣ, а почва всякой дѣйствительности—общество... Общество живетъ извѣстной суммой извѣстныхъ убѣжденій, въ которыхъ всѣ его члены сливаются воедино, какъ лучи солнца въ фокусъ зажигательнаго стекла, понимаютъ другъ друга, не говоря ни слова. Вотъ почему во Франціи, Англіи, Германіи люди, никогда не видѣвши другъ друга, чуждые другъ другу могутъ сознать свое родство, обниматься и плакать—одни на площади въ минуту возстанія противъ деспотизма за права человѣчества, другіе хотя въ вопросѣ о хлѣбѣ, третьи при открытіи памятникка Шиллеру. Безъ цѣли нѣтъ дѣятельности, безъ интересовъ нѣтъ цѣли, а безъ дѣятельности нѣтъ жизни. Источникъ интересовъ, цѣлей и дѣятельности—субстанція общественной жизни. Общее безъ особеннаго индивидуальнаго дѣйствительно только въ чистомъ мышленіи, а въ живой, видимой дѣйствительности оно—...мертвая мечта. Человѣкъ—великое слово, великое дѣло, но тогда, когда онъ французъ, нѣмецъ, англичанинъ, русскій. А русскіе ли мы?... Нѣтъ, общество смотритъ на насъ, какъ на болѣзненные наросты на своемъ тѣлѣ; и мы на общество смотримъ какъ на... 1) Общество право, мы еще правѣе“...

„Ясно ли, логически ли, вѣрно ли? Мы люди безъ отечества—нѣтъ, хуже, чѣмъ безъ отечества: мы люди, которыхъ отечество—призракъ, и диво ли, что сами мы—призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремленія, наша дѣятельность—призраки?“

„Богиня, ты любишь—и твой любовь кончилась ничѣмъ. Это исторія и моей любви. Станкевичъ былъ выше по натурѣ обоихъ насъ,—и та же исторія. Нѣтъ, не любить намъ и не быть намъ супругами и отцами семействъ. Есть люди, которыхъ жизнь не можетъ проявиться ни въ какую форму, потому что лишена всякаго содержанія: мы же люди, для необязательнаго содержанія жизни которыхъ ни у общества, ни у времени нѣтъ готовыхъ формъ. Я встрѣчалъ и виѣ нашего кружка людей прекрасныхъ, которые дѣйствительнѣе насъ, но нигдѣ не встрѣчалъ людей съ такою ненасытимою жаж-

дою, съ такими огромными требованіями на жизнь, съ такою способностью самоотреченія въ пользу идеи, какъ мы. Вотъ отчего *все къ намъ льнетъ*, все подлѣ насъ *измѣняется*“.

„Форма безъ содержанія—пошлость, часто довольно благовидная; содержаніе безъ формы—уродливость, часто поражающая трагическимъ величіемъ, какъ миеология древне-германскаго міра. Но эта уродливость—какъ бы ни была она величественна,—она—содержаніе безъ формы, слѣд., не дѣйствительность, а призрачность“.

„Видишь ли, въ чемъ дѣло, душа моя: непосредственно поняли мы, что въ жизни для насъ нѣтъ жизни 1), а такъ какъ, по своимъ натурамъ, безъ жизни мы не могли жить, то и ударили со всѣхъ ногъ въ книгу, и по книгѣ стали жить и любить, изъ жизни и любви сдѣлали для себя занятіе, работу, трудъ и заботу; Между тѣмъ, наши натуры всегда были выше нашего сознанія, и потому намъ слушать другъ отъ друга одно и то же становилось и скучно, и пошло, и мы другъ другу смертельно надоѣдали. Скука переходила въ досаду, досада во враждебность, враждебность въ раздоръ“...

„Ища исхода, мы съ жадностью бросились въ обаятельную сферу германскій созерцательности и думали, мимо окружающей насъ дѣйствительности, создать себѣ очаровательный, полный тепла и свѣта, міръ внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляетъ объективный интересъ германской національности, есть для нѣмцевъ то же, что социальность для французовъ. Дѣйствительность разбудила насъ, и открыла намъ глаза, но для чего... Лучше бы закрыла она намъ ихъ навсегда, чтобы тревожныя стремленія жаднаго жизни сердца утлеть сномъ ничтожества...“

Но третій ключъ—холодный ключъ забвенья—  
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердце утлѣтъ...“

„Социальность... вотъ девизъ мой. Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что гевій на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валается въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что я понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними во Христѣ, но кто—мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозреваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ порфирею подъ мышкою чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу, подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло, и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жаны: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идиотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакъ—

1) Т. е., что въ жизни обманной для нихъ нѣтъ идеальнаго интереса.

1) Отыскаемъ рѣзкія обличительныя выраженія.

и люди это видят, и никому до этого нѣтъ дѣла!.. И это общество, на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности!.. И послѣ этого имѣетъ ли право *человѣкъ* забываться въ искусствѣ, въ знаніи 1). Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ, въ качествѣ вѣрованія, волю *человѣка*!..

„Что за дивная повѣсть Кудрявцева 2), — какое мастерство, какая художественность — и все-таки эта повѣсть не понравилась мнѣ. Начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность противъ *объективныхъ* созданий искусства. Въ другое время поговорю съ этимъ побольше... Поклонись милому Петру Николаевичу — вотъ еще *человѣкъ*, къ которому любовь моя похожа на страсть“...

Петербургъ, 9 декабря 1842 г. 3).

„Смерть Кольцова тебя поразила. Что дѣлать? На меня такая вещь иначе дѣйствуетъ: я похожъ на солдата въ разгарѣ битвы — палъ другъ и братъ — ничего — съ Богомъ — дѣло обыкновенное. Оттого-то, вѣрно, потеря сильнѣе дѣйствуетъ на меня тогда, какъ я привыкну къ ней, нежели въ первую минуту. Объ отцѣ Кольцова думать нечего: такой случай могъ бы вооружить перо энергическимъ, громоноснымъ негодованіемъ гдѣ-нибудь, а не у насъ. Да и чѣмъ виновать этотъ отецъ, что онъ — мужикъ? И что онъ сдѣлалъ особеннаго? Воля твоя, а я не могу питать враждебности противъ волка, медвѣдя или бѣшеной собаки, хотя бы кто изъ нихъ растерзалъ чудо гения или чудо красоты, такъ же какъ не могу питать враждебности къ паровозу, раздавившему на пути своемъ *человѣка*. Поэтому-то Христомъ, видно, и молился за палачей своихъ, говоря: не вѣдятъ бо, что творять. Я не могу молиться ни за волковъ, ни за медвѣдей, ни за бѣшенныхъ собакъ, ни за русскихъ куццовъ и мужиковъ, ни за русскихъ судей и квартальныхъ; но и не могу питать къ тому или другому изъ нихъ личной ненависти. И что напишешь объ отцѣ Кольцова и какъ напишешь? Во 1-хъ, и написать нельзя, во 2-хъ, и напиши — онъ вѣдь и не прочтеть — а если прочтеть, не пойметъ, а если и пойметъ — не убѣдится. Издать сочиненія Кольцова — другое дѣло, но какъ издать, на что издать, и проч., и проч. Своюкупность всѣхъ такихъ вопросовъ парализуетъ мой духъ и производитъ во мнѣ апатію. Эта апатія, я начинаю догадываться, есть особенный родъ отчаянія“.

„Кр. получилъ еще стихи на смерть К., но увѣдомленія никакого — когда, какъ и пр. Все еще какъ-то ждется чуда, не воскреснетъ ли, не ошибка ли? Страдалецъ былъ этотъ *человѣкъ* — я теперь только понялъ его. Мнѣ смѣшно, горько смѣшно вспомнить, какъ перебивалъ я его въ Питерѣ, какъ спорилъ противъ его возраженій. К. зналъ дѣйствительность. Торговля въ его глазахъ была синонимомъ мошенничества и подлости. Онъ говорилъ, что хорошо быть такимъ купцомъ, какъ ты, но не такимъ, какъ (другіе)... Одна мысль о началѣ новаго поприща униженія, пролазничества, плутней, приводила его въ ужасъ, — она-то и уса-

харила его... Чичиковъ дѣйствительно Ахиллъ русской Илиады... Диогенъ, увидя мальчика, пьющаго воду изъ рѣчки рукою, бросилъ свой стаканъ, какъ неужную вещь; намъ нельзя этого дѣлать, намъ законъ: или хрустальный, граверный стаканъ, или смерть, или подлость... Что ни говори, а оно такъ“.

„Спасибо тебѣ за вѣсти о славянофилахъ и за стихи на Дмитріева 1) — не могу сказать, какъ то и другое порадовало меня. Если не ошибаюсь въ себѣ и въ своемъ чувствѣ, — ненависть этихъ господъ радуетъ меня — я смакую ее, какъ боги амброзію, какъ Боткинъ (мой другъ) всякую „сладкую дрянъ“; я былъ бы радъ ихъ мнѣнію... Я буду постоянно бѣсить, ихъ, выводить изъ терпѣнія, дразнить. Богъ мелочной, но все же бой, война съ лягушками, но все же не миръ съ баранами“.

„Жить становится все тяжелѣе и тяжелѣе — не скажу, чтобы я боялся умереть съ тоски, а не шутя боюсь или сойти съ ума, или шататься, ничего не дѣлая, подобно тѣни, по вѣякомымъ. Стѣны моей квартиры мнѣ ненавистны; возвращаясь въ нихъ, иду съ отчаяніемъ въ душѣ, словно узникъ въ тюрьму, изъ которой ему позволено было выйти погулять. Это ты отъ меня уже слышалъ: но сколько бы я ни повторялъ тебѣ этого, никогда не буду въ силахъ выразить всей дѣйствительности этого страшнаго могильнаго ощущенія. Былъ грѣшникъ — любилъ я встарину преувеличить иное радостіи содержанія и выраженія, но теперь, Богъ съ нею, со всякою поэзію — немножко поэзіи, немножко веселости я предпочелъ бы чести сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда страшно увѣряться въ прозаичной дѣйствительности собственнаго страданія, а увѣряться противъ воли“...

## Къ Н. А. Бакунину.

Петербургъ, 9 декабря 1841 г. 2).

„...Видите ли, я все тотъ же, что и былъ, все та же прекрасная душа, безумная и любящая... 3)

„Обаятеленъ міръ внутренней, но, безъ осуществленія во внѣ, онъ есть міръ пустоты, миражей, мечтаній. Я же не принадлежу къ числу чисто-внутреннихъ натуръ... Недостатокъ внѣшней дѣятельности для меня не можетъ вознаграждаться внутреннимъ міромъ, и по этой причинѣ внутренней міръ — для меня источникъ однихъ мученій, холода, апатіи, мрачная и душная тюрьма. Сердце мое еще не отказалось отъ вѣры въ жизнь, ни отъ мечтаній; (хотѣлось бы) забыться дня на два отъ мученій жизни, отдохнуть усталую душой, снова увидѣть такъ давно милые душѣ образы, которые иногда видятся сквозь житейскій туманъ, словно ангельскіе лики въ облакахъ... Но сознаніе мое покоряетъ сердце...; для моего же сознанія, жизнь равна смерти, смерть — жизни, счастье — несчастію, и несчастіе — счастью, потому что все это призраки, создаваемые субъективною настроенностью нашего духа въ ту или другую минуту, а сами мы — исчезающія волны рѣчки, тѣни преходящія. Я не вѣрю моимъ убѣжденіямъ, и не способенъ измѣнить имъ; я смѣнѣю Донъ-Кихота: тотъ по крайней мѣрѣ отъ

1) Еще базаровская черта въ сороковыхъ годахъ, замѣчаетъ г. Пышинъ (стр. 126, т. II).

2) Бѣлинскій говоритъ, вѣроятно, о новой повѣсти Кудрявцева «Цѣловъ», въ «Отеч. Зап.» 1841, кн. 9.

3) Пышинъ, А. «Бѣлинскій» т. II, стр. 157—159, 166, 168—169.

1) Въ отвѣтъ на стихотвореніе «Безыменному критику».

2) Пышинъ, II, 130—131; Миллюковъ. Р. Вѣд. 95 г. № 323.

3) Письмо писано въ отвѣтъ на приглашеніе прѣхать изъ Пражкино (деревню Бакунинахъ). Приспикъ сестеръ къ письму Бакунина, съ упомянутымъ приглашеніемъ, высказываетъ въ духѣ бѣлинскаго пѣльи взрывъ заснушаго чувства.

души вѣрилъ, что онъ рыцарь, что онъ сражается съ великанами, а не мельницами, и что его безобразная и толстая Дульцинея — красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сумасшедшій,—и все-таки рыцарствую; что я сражаюсь съ мельницами—и все-таки сражаюсь; что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гнусна, а все-таки люблю ее, на зло здравому смыслу и очевидности. Но вы не поймете этого.. Вы живете въ мѣрѣ мечтательномъ—и вы счастливы. Но я не завидую вашему счастью, но жалѣю васъ въ немъ. Мѣръ мечтаній — мѣръ призраковъ и миражей,—и кто упорно остается въ немъ на всю жизнь, тогъ или дѣлается ограниченнѣмъ человѣкомъ, или погибаетъ страшно. Для меня нѣтъ ужаснѣе мысли, какъ остаться у жизни въ дуракахъ... пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвѣчать проклятіями: это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать какъ ребенка. Гете сравнилъ мужа съ кораблемъ, презирающимъ ярость волнъ и бури—прекрасное сравненіе! Такъ вонъ же изъ мирной и тихой пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая, да квакающія лягушки, дальше отъ нихъ туда, гдѣ только волны да небо, предательскія волны, предательское небо! Конечно, рассудокъ говорить, что гдѣ бы ни утонуть, — все равно, но лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море—это дѣйствительность; лужа—это мечты о дѣйствительности. У всякаго человѣка долженъ быть свой уголокъ, куда бы онъ могъ укрыться отъ ненастья жизни; вашъ уголокъ особенно прекрасенъ. Но уголокъ и долженъ быть уголкомъ, а не міромъ. Вы, о мой птенецъ неоперенный, ушли отъ жизни въ свой маленькій уголокъ: боюсь за васъ. Въ этомъ уголкѣ хорошо быть гостемъ и отдыхать отъ борьбы съ жизнью, но не жить въ немъ“...

1843.

Къ А. А. Бакуниной и Н. А. Бакунину 1).

Петербургъ, 8 марта 1843 г. 2).

„Невозможность увидѣться съ вами 3) стоила мнѣ сильной нравственной горячки. Васъ не должно это ни удивлять, ни казаться вамъ загадкою.. Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей прекрасной души. Эта страстность — источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, при томъ, судьба отказала мнѣ слишкомъ во многомъ, то я и не умѣю отдаваться вполнину тому немногому, въ чемъ не отказала она мнѣ. Для меня и дружба къ мужчине есть страсть, и я бывалъ ревнивъ въ этой страсти. Естественно, что въ отношеніи къ женщинамъ эта страстность ярче и эксцентричнѣе, но перетолковывать ее чѣмъ-нибудь другимъ, болѣе серьезнымъ, или оскорбиться ею, — значить не понять меня.. Я самъ недавно только созналъ въ себѣ эту сторону и въ ней увидѣлъ причину многихъ моихъ глупостей, дорого стоявшихъ мнѣ. Нѣтъ несчастнѣе лю-

дей, подобныхъ мнѣ, пока они не найдутъ въ религиозныхъ убѣжденіяхъ прочной точки опоры для своей жизни... Такие люди—вѣчные мучители самихъ себя и всегда въ тягостъ особенно тѣмъ, кого они больше другихъ любятъ и кто бы больше другихъ былъ расположенъ принимать въ нихъ участіе. Во мнѣ всегда была глубокая жажда, мучительный голодъ умственной дѣятельности, и есть способность къ ней, но не было для нея ни пищи, ни почвы, ни сферы. Страстные души, въ такомъ положеніи, дѣлаются добычею собственной фантазіи и силятся создать для себя дѣйствительность внѣ дѣйствительности. Чувство дѣлается альфою и омегою жизни“ ..

„...Вы видѣли меня совсѣмъ не тѣмъ, что я теперь, и тѣмъ сильнѣе во мнѣ желаніе вновь познакомиться васъ съ собою и вновь познакомиться съ вами..“

„Вы правы, въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измѣняется: это и мой основной принципъ жизни, и я радъ, что онъ также и вашъ. Только тѣ и живутъ, которые такъ думаютъ. Старое — Богъ съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мѣрѣ, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго, а само по себѣ — прочъ его!“

„Въ нашей общественности особенно часты примѣры разочарованнаго, охладѣвшаго чувства, которое, перегорѣвъ въ самомъ себѣ, вдругъ потухаетъ безъ причины: этому причастны даже высокія и глубокия природы—ссылаюсь на Пушкина. Гдѣ, въ чемъ причина этого явленія?—въ общественности, въ которой все человѣческое является безъ всякой связи съ дѣйствительностью, которая дика, грязна, бессмысленна, но на сторонѣ которой еще долго будетъ право силы. Обращаюсь къ себѣ, какъ представителю страстныхъ душъ. Дайте такому человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности,—и онъ переродится... но эта сфера... да вы поднимаете, что ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ и никогда, никогда не будетъ ея для меня; но уже и то было великимъ шагомъ для меня, что я созналъ и поаялъ это.. Сердце человѣка, особенно пожираемаго огненною жаждою разумной дѣятельности безъ удовлетворенія, даже безъ надежды на удовлетвореніе этой мучительной жажды, — сердце такого человѣка всегда болѣе или меньше подвержено произволу случайности, — ибо пустота, воляная или невольная, можетъ родить другую пустоту, — и я меньше, чѣмъ кто другой, могу ручаться въ будущемъ за свою изрѣдка довольно сильную, но чаще расплывающуюся натуру; но я за одно уже смѣло могу ручаться — это за то, что если бы Богъ снова взлилъ на меня чашу гнѣва своего и, какъ египетскою язвою, вновь поразилъ меня этою тоскою безъ выхода, этимъ стремленіемъ безъ цѣли, этимъ горемъ безъ причины, этимъ страданіемъ, презрительнымъ и унижательнымъ даже въ собственныхъ глазахъ,—я уже не могъ бы выставлять наружу гной душевныхъ ранъ и напелъ бы силу навсегда бѣжать отъ тѣхъ, кого могъ бы оскорбить или встревожить мой позоръ. Я и прежде не былъ чуждъ гордости, но она была парализована многими причинами, въ особенности же романтизмомъ и религиознымъ уваженіемъ къ такъ-называемой „внутренней жизни“ — этимъ исчадіемъ нѣмецкаго эгоизма и филистерства“ ..

„Прежде чѣмъ западетъ въ душу чувство, я выговаривалъ его всего, такъ что ничего и не оставалось. Это значить, что не было ни одного могучаго чувства, которое охватило бы

1) А. А. Бакунина—сестра Н. А. и М. А. Бакунинныхъ, которой успѣекался Бѣлинскій.

2) См. отъ П. Милокова «Любовь и идеализмъ 30-хъ годовъ». Р. Вѣд. 95 г. № 323, и Панинъ, II, 133—135. Въ этомъ же письмѣ Бѣлинскій писалъ и Н. А. Бакунину.

3) Т. е. невозможность прѣхать въ деревню и погостить у друзей, какъ его приглашали.

все существо мое и отняло бы языкъ. Теперь ужъ такое чувство даже страшно, хотя я сожалалъ бы, увѣряя, что не желаю его. Что бы я съ нимъ сталъ дѣлать, съ моею дряблою душою, съ моимъ дряннымъ здоровьемъ, моею бѣдностью и моею совершенною расторженностью съ дѣйствительностью нашего общества. Я человѣкъ не отъ міра сего. И потому вполне убѣдился, что для меня не можетъ быть никакого счастья, и что въ самомъ счастья для меня было бы одно несчастье“.

„Я теперь много думаю объ эгоизмѣ. Это интересный предметъ для изслѣдованія.. Духъ тьмы и злобы есть не кто иной, какъ эгоизмъ. Когда эгоизмъ является въ собственномъ своемъ видѣ—онъ просто гадокъ, или просто страшень, какъ враждебная для другихъ сила; но онъ не обольстителенъ, и никого не соблазнить, а всѣхъ отворотитъ отъ себя. Опаснѣе бываетъ эгоизмъ, когда онъ добродушно самъ считаетъ себя самоутверженіемъ, внутреннею жизнью. Гете, по моему мнѣнію, былъ воплощеніемъ такого эгоизма. Выникните въ характеръ Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играетъ святыми чувствами, какъ предметомъ возвышеннаго духовнаго наслажденія; но они, эти святые чувства, видъ его и не присущи его натурѣ. „Какъ сладостна привычка къ жизни“, восклицаетъ онъ, и на это восклицаніе хочется мнѣ воскликнуть ему: „какой же ты пошлякъ, о голландскій герой!“ Гофманъ саркастически заставляетъ Кота Мурра цитировать это восклицаніе.. Для Эгмонта патриотизмъ не болѣе, какъ вкусное блюдо на пирѣ жизни, а не религиозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная въ огнѣ древней гражданственности, никогда не могла бы породить такого гнилого идеала.. На созерцаніе эгоистической натуры Гете особенно навела меня статья во 2 № „Отеч. Зап.“—„Гете и графиня Штольбергъ“. Гете любитъ дѣвushку, любимъ ею — и что же? онъ играетъ эту любовь. Для него важны ощущенія, возбужденныя въ немъ предметомъ любви, — онъ ихъ анализируетъ, воспѣваетъ въ стихахъ, носится съ ними, какъ курица съ яйцомъ; но личность предмета любви для него—ничто, и онъ борется съ своимъ чувствомъ и побѣждаетъ его изъ угожденія мерзкой сестрѣ своей и „дражайшимъ“ родителямъ. Дѣвushка потомъ умираетъ, — и ни одинъ стихъ Гете, ни одно слово его во всю остальную жизнь его не напомнило о милой, постычной Лили, которая такъ любила этого великаго эгоиста. Вотъ онъ—идеализированный, опозитизированный, холодный эгоизмъ внутренней жизни, который дорожитъ только собою, своими ощущеніями, не думая о тѣхъ, кто возбудилъ ихъ въ немъ.. Итакъ, самый опасный эгоизмъ есть тотъ, который принимаетъ на себя личину любви и добродушно убѣждаетъ, что онъ—самая возвышенная, самая эфирная любовь. Кто любитъ все, тотъ ничего не любитъ, ибо все граничитъ съ ничто. Такъ Гете любилъ все, отъ ангела въ небѣ до младенца на землѣ и червя въ морѣ, и потому не любилъ ничего.

И въ мірѣ все постигнуть онъ,  
И ничему не покорился!

сказалъ о немъ Жукъ, не думая, чтобы въ этой похвалѣ заключалось осужденіе Гете. Переписка его съ „милою Августою“ Шт. смѣшна до крайности. Какая сентиментальность—точно сладкій нѣмецкій супъ! „Разинъ, душенька, ротикъ—я положу тебѣ конфетку“ — такъ и твердитъ онъ Августу, а та, на старости лѣтъ сошедши съ ума, вадумала обращать его къ пѣтизму. Можетъ быть, я ошибаюсь на этотъ счетъ, но

Богъ съ нимъ, съ этимъ Гете: онъ великій человекъ, а благоговѣю передъ его гениемъ, но тѣмъ не менѣе я терпѣть его не могу. Недавно прочелъ я его „Германа и Доротею“ — какая отвратительная пошлость!“..

„Натура моя не чужда акта отрицанія, и я перешелъ черезъ нѣсколько моментовъ его; но отказался отъ желанія счастья, котораго невозможность такъ математически ясна для меня,—еще нѣтъ силъ, и сохрани Богъ, если не станетъ ихъ на совершеніе этого послѣдняго и великаго акта. Вы читали Ногасе? Помните Ларавиньера?—вотъ человѣкъ и мужчина. Но какъ трудно сдѣлаться такимъ человѣкомъ, право, труднѣе, чѣмъ удобиться Гете. Право, простыя добродѣтели человѣка выше и труднѣе блестящихъ достоинствъ генія“.

„...Семейнаго знакомства у меня мало, однакожь я часто бываю въ обществѣ женщинъ, очень добрыхъ и очень милыхъ, но которыя только возбуждаютъ во мнѣ глубокую, тоскливую жажду женскаго общества.. Съ горя, чтобы любить хоть что-нибудь, завелъ себя котенка и иногда развлекаю себя удовольствіемъ кроткихъ и невинныхъ душъ—играю съ нимъ“..

## Къ М. В. Орловой.

Окт. 12.

„...Третьяго дня получилъ я отъ васъ письмо, которое сдѣлало меня кротко и тихо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубоко счастливымъ; образъ вашъ въ душѣ моей снова сталъ свѣтелъ и прекрасенъ, и я сказалъ вамъ правду во вчерашнемъ письмѣ, что это ваше письмо могло бы воскресить меня умирающаго. Да, до 4 часовъ нынѣшняго дня, я былъ невыразимо счастливъ вами и черезъ васъ: мысль о васъ дѣйствовала на мою грудь освѣжительно, я чувствовалъ вокругъ себя ваше незримое присутствіе, жилъ двойною жизнью. Я не жалѣлъ о томъ, что письмо мое заставило васъ много и тяжело страдать: страданье благодатно тогда, когда оно ведетъ къ сознанію. Мнѣ было бы даже непротивно, если бы вдругъ вы спокойно согласились со мною въ томъ, чего за минуту и представитъ не умѣли себѣ какъ возможное и естественное, и потому въ вашѣмъ страданіи я видѣлъ органической, живой процессъ сознанія и благословилъ его. Ваше письмо было написано въ два приема, и составляетъ какъ бы два письма. Первое оканчивается изъясненіями вашей любви ко мнѣ, которыя тронули меня до глубины души, до слезъ; почеркъ слабѣетъ и послѣднія строки едва дописаны—волненіе души вашей прервало ихъ. Второе письмо начинается мыслью, что ваше страданье было бесполезно—и по вашему рѣшенію вѣхать въ П. я увидѣлъ, что вы съ честью и побѣдою вышли изъ борьбы. Да, ваше письмо было прекрасно; какъ въ зеркалѣ, отражало оно въ себѣ вашу душу, ваше сердце, все, что я въ васъ такъ высоко уважалъ, а потому и любилъ. Въ этомъ письмѣ вы были самой собою, безъ всякихъ постороннихъ вліяній.

Сегодня получилъ я отъ васъ второе письмо, которое вы написали, побывавъ у своего дражайшаго дядюшки, и въ которомъ *потому* я уже не узналъ васъ. Въ немъ ничего нѣтъ вашего, — особенно вашей благородной открытости: вы хитрите и лукавите со мною, а можетъ быть, прежде всего съ самой собою. „Я *приведу, непременно приведу*“, говорите вы, но къ этому прибавляете: „если вы такъ этого хотите“. А развѣ вы не знаете, что я такъ этого хочу? Развѣ вы не знаете, что я такъ этого

хочу потому, что иначе и нѣтъ возможности соединиться намъ, ибо ѣхать въ М. я рѣшительно не могу? Кажется, я объ этомъ писалъ подробно и ясно? Потому, какъ вы общаетесь прѣхать? — съ оговорками, что, можетъ быть, дурно сдѣлаете, пожертвовавъ одному чувству другими, хотя и не столь сильными, но все же святыми; что, можетъ быть, убьете сестру и отца, и что, можетъ быть, прѣдете въ бѣлой горячкѣ... Магіе, Магіе! да кто жь этакъ соглашается? этакъ только отказываютъ начисто...

„Потомъ, въ одномъ мѣстѣ вашего письма вы увѣряете меня, что ошибаюсь я, думая, что вы не поѣдете въ П. по одному только уваженію къ княгинѣ Марьѣ Алексѣевнѣ; увѣряете, что вамъ это трудно по родственнымъ отношеніямъ и по отношеніямъ къ институту. А въ концѣ письма, изъявляя сожалѣніе о мукахъ, въ которыя бросаете меня, оправдываетесь тѣмъ, что не разъ предупреждали меня, что я считаю васъ лучшею, чѣмъ вы есть на самомъ дѣлѣ. Все это, Магіе недостойно васъ, и вы лучше бы сдѣлали, если бы откровенно сказали мнѣ, что не вѣдете только по уваженію къ мнѣнью родныхъ вашихъ и княгини Марьи Алексѣевны. Оно, конечно, такое признаніе было бы тяжело для вашего самолюбія, но по крайней мѣрѣ васъ утѣшила бы мысль, что вы поступили добросовѣстно. А то истиннаго мотива вашей нерѣшительности вы не замаскировали, да и поступили-то не прямо. Я очень ясно вижу, что одна только причина, почему вы боитесь и ужасаетесь, словно смертной казни, ѣхать въ П., это — мысль, что вы, не вѣста, поѣдете ко мнѣ, къ жениху, вмѣсто того, чтобы я прѣехалъ къ вамъ, какъ это считается символомъ вѣрны московскихъ бабъ и сплетницъ, и княгиня Марья Алексѣевна. Вотъ что! Аграфена Васильевна (дай ей Богъ, здоровья!) удивляется, что я заставляю васъ ѣхать одну въ такую погоду. А если я съ вами поѣду, погода переѣмнится? помнятите, да переѣздъ изъ М. въ П. и обратно, теперь, особенно въ malle poste, да это легче, чѣмъ изъ М. съѣздить къ Троицѣ; это теперь пустая поѣздка, и сколько женщинъ и дѣвушекъ, однѣ однихоньки, ѣздятъ по этой дорогѣ! Сами вы ѣзжали и по проселочнымъ, ночевывали на столахъ въ крестьянскихъ избахъ, среди общества свиней, поросятъ, ягнятъ, куръ, мужиковъ, бабъ. Наконецъ, Магіе, я долженъ выразить откровеннѣе: у меня нѣтъ въ головѣ органа, какимъ бы я могъ понять, почему вы дѣлаете такой важный вопросъ изъ такого пустого дѣла, какъ переѣздъ вашъ изъ М. въ П.? Я вѣрю вамъ, что вы много и тяжело страдаете, да только я не понимаю, какъ же это и отчего, и потому не чувствую никакой симпатіи къ вашимъ страданіямъ, — хотя мысль о нихъ тѣмъ болѣе усиливаетъ мои собственные.

Аграфена Васильевна ссылается на Б. и на Агматсе. Напрасно: вамъ бы слѣдовало умолчать объ этихъ лицахъ, чтобы не встрѣтить ихъ обвинительнаго или насмѣшливаго взгляда, который бы заставилъ васъ покраснѣть. Не Б. для Агм. поѣхалъ за границу (онъ поѣхалъ для самого себя), а Агм. поѣхала для Б. — это разъ, потомъ Агм. прожила съ Б. около двухъ недѣль на моей квартирѣ, до брака своего съ нимъ, и все твердила ему, что вѣнчаться не нужно, что она такъ отдается ему и беретъ на себя всѣ слѣдствія этого рѣшенія, каковы бы они ни были. *Русская барышня* (существо, которое стоитъ прекрасной россиянки) не имѣетъ въ головѣ органа, чтобы понять подобную выходку со стороны страстной, любящей францу-

женки. У Агм. есть отецъ, мать и сестры, которыхъ она безумно любитъ; но она релягиозно считаетъ себя обязанной жертвовать одному чувству другими, не такъ сильными, хотя и все-таки святыми.

Письмо ваше, Магіе, заставило меня перерогѣть въ жгучемъ жупельномъ огнѣ такихъ адскихъ мукъ, для выраженія какихъ у меня нѣтъ словъ. Мнѣ хотѣлось броситься не на полъ, а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стонавая, валялся я по дивану. Мой докторъ говорилъ на сторонѣ, что если бы я не послалъ къ нему въ четвергъ, я или бы умеръ къ утру отъ удара въ голову, или сошелъ бы съ ума. Когда мнѣ объ этомъ сказали, я не только былъ уже внѣ опасности, но уже получалъ ваше милое, ваше безпѣнное письмо отъ 5-го окт., и потому весело улыбнулся при мысли объ избѣгнутой опасности, думая: теперь мнѣ есть для чего жить. Когда я прочелъ ваше письмо отъ 8-го окт., мнѣ сейчасъ пришла въ голову мысль: и зачѣмъ я посылалъ за нимъ? зачѣмъ посланный мой засталъ его дома? Лучше было бы тогда издохнуть мнѣ, какъ собакъ, чѣмъ дожить до такой минуты! Вамъ это также покажется непонятнымъ, какъ мнѣ ваши страданія. Горько мнѣ, что мы въ некоторыхъ пунктахъ такъ мало понимаемъ другъ друга. Мнѣ мало того, что вы прѣдете въ П.: меня все-таки будетъ убивать мысль, что вы этимъ принесли мнѣ жертву. Я хотѣлъ бы, чтобы эта поѣздка ничего вамъ не стоила, кромѣ обыкновенныхъ безпокойствъ дороги. Меня убиваетъ мысль, что вы, кого считалъ я лучшею изъ женщинъ, что вы, въ рукахъ которой теперь счастье и сѣдствіе всей моей жизни, что вы, которую я люблю, вы — вы раба мнѣнью московскихъ кумушекъ, салонницъ и тетушекъ. Вотъ чѣмъ Богъ-то наказалъ меня за грѣхи, а не тѣмъ, что вамъ 32 года и что вы большы!... И тяжка наказующая меня Десница!...

Въ васъ есть способность къ безграничному самоотверженію, къ любви и преданности полной и совершенной, но не иначе, какъ съ дозволенія правительства и съ одобренія дяденьки съ тенькой. Будь я вашъ мужъ, а вы моя жена, — о! вы поскакали бы на телѣгѣ ко мнѣ на край свѣта и обидѣлись бы, если бъ кто увидѣлъ въ этомъ что-то необыкновенное и сталъ бы васъ хвалить. Но теперь вы на меня смотрите не какъ на человѣка, котораго вы любите (самый человѣческій и поэтическій взглядъ!), а какъ на жениха (подлое слово, чтобы чортъ приснился тому, кто его выдумалъ), и позволите себѣ скорѣе умереть, зачехнуть въ горѣ и тоскѣ вѣчной разлуки со мною, чѣмъ увидѣться со мною противъ правилъ приличій, хотя бы отъ этого зависѣло мое спасеніе отъ смерти. Будь я въ Москвѣ, умирай я, вы не рѣшились бы прійти ко мнѣ на квартиру видѣть меня. Да это еще извинительнѣе въ глазахъ моихъ: такимъ поступкомъ въ разорвали бы всѣ связи съ обществомъ и лишили бы себя прѣстанца приклонить голову; но, выходя замужъ, у насъ, на Руси, дѣвушка ничего не теряетъ, но все выигрываетъ, и если мужъ ее уважаетъ, она имѣетъ полное право плевать на все остальное. Вы, Магіе, такъ зависите отъ чуждыхъ вліаній, что даже жаль васъ. Когда вы поѣхали къ дяденькѣ съ тенькой, — если бы эти извергѣ сказали вамъ: „конечно-де, глупо жертвовать счастіемъ жизни условному приличію“, — вы прискакали бы въ институтъ къ сестрѣ счастливой, веселая, довольная, съ твердой рѣшимостью презирать глупыя условія, и были бы въ восторгѣ отъ своего героизма. Но какъ эти добродушные



злоды оказались отпор: вашему намъренію,— оно вѣдугъ ослабло, воля ваша исчезла, характеръ спрятался, а любовь ко мнѣ сказалась больною; все святое, все ваше отлетѣло отъ васъ,— и въ письмѣ ко мнѣ очутились только слова, слова, слова, да ложь, ложь и ложь... Ахъ, Marie, Marie! Пока дѣло шло о такихъ выраженіяхъ любви, какъ, напр., подарить крестикъ и обязать меня носить его, перекрестить и проч., вы были смѣлы и рѣшительны. А какъ дѣло коснулось до пожертвованія крошечку по-настоящему, вы испугались бѣлой горячки... Что жъ ваша любовь ко мнѣ, ваше чувство?... Робко же вы любите!... Вы говорите, если бъ вы были сиротою, совершенно одинокою, вы ни минуты не поколебались бы ѣхать въ П. и не испугались бы остаться два-три дня до вѣнчанья подъ одною кровлею со мною. Не вѣрю, Marie, рѣшительно не вѣрю. Есть положенія въ жизни. для которыхъ не существуетъ условій, которыя не допускаютъ если бъ. Таково положеніе—любовь, особенно для женщинъ. Это ея долгъ, обязанность, религія, и для женщинъ нѣтъ ничего сладостнѣе, какъ всѣмъ жертвовать религіи своего сердца. Любовь даетъ ей силу творить великое и пристыжать своею силою гордаго, сильнаго мужчину. Принести жертву—еще дѣло не великое: великое въ томъ, чтобы насладиться, обрѣсти источникъ счастья въ собственной жертвѣ. Жертвы, дѣлаемые по холодному долгу, часто убиваютъ (напр., ввергая въ бѣдную горячку); жертвы, совершаемыя по любви, даютъ счастье тому, кто приноситъ ихъ. Иначе я не умю понимать ни любви, ни самоотверженія.

Вы на меня смотрите какъ на своего жениха, т. е. какъ на человѣка, съ которымъ вы можете быть связаны навѣки, но съ которымъ вы еще не связаны навѣки. Я совсѣмъ иначе смотрю на наши отношенія. Вы въ моихъ глазахъ давно уже жена моя, съ которою уже не можеть у меня быть разрыва. И поэтому я думаю, что если, женившись на васъ, я буду имѣть право выписать васъ изъ-за тысячи верстъ по первой надобности, то почему же общество теперь не признаеть моимъ этого права.

Слушайте же, Marie, что я скажу вамъ теперь, и вѣрьте—я не обманываю васъ—каждое слово мое вѣрно и честно. Вы пишете ко мнѣ, что въ М. можно обвиняться скромно, словомъ, какъ я хочу: это обстоятельство дѣлаетъ то, что *убѣжденія* мои уже не помѣшали бы мнѣ прѣзжать въ М., но *обстоятельства*, это дѣло другого рода, и клянусь вамъ Богомъ и честью, что, съ этой стороны, *прѣзжать* въ М. я *никакъ не могу*, какъ бы ни желалъ этого. Для васъ (о, только въ трудныя минуты моей жизни созналъ я, какъ глубоко и сильно люблю я васъ!)—я сдѣлалъ бы это охотно, мнѣ было бы пріятно пощадить вашу слабость и принесть вамъ эту жертву, но это не въ моей власти, по тремъ причинамъ, изъ которыхъ каждой одной достаточно, чтобъ я и не думалъ о возможности этой пощадки. *Во-первыхъ, деньги.* Marie, ваше женственное тонкое чувство деликатности не допускаетъ меня до подробныхъ объясненій по части этой статьи. Повѣрьте мнѣ, что я скорѣе могъ, чѣмъ скряга, и если ужъ я заговорилъ о деньгахъ, какъ о претяствіи, значить дѣло не шуточное. Впрочемъ, я и на деньги еще не посмотрѣлъ бы: нѣсколько бессонныхъ ночей и нѣсколько дней тяжелаго труда впереди не испугали бы меня, — хотя я знаю, вы сами потомъ брали бы меня за недостатокъ

откровенности по сей части. Во-вторыхъ, мои отношенія къ журналу и Краевскому. Оставить М. безъ статьи въ это время, въ то же время поставивъ Краевскому въ необходимость достать и дать мнѣ 3000 р. денегъ которыхъ онъ мнѣ не долженъ,—согласитесь, что если я былъ бы такъ наглъ, то онъ могъ бы не быть такъ уступчивъ. Видите ли, вы меня заставили же, наконецъ, быть вполне откровеннымъ съ вами. Я существую только „Отеч. Записками“, и больше ничѣмъ. Плату получаю не задѣльную, а круглую, т. е. не по статьямъ, а въ годъ—4500 р. Теперь я собираюсь просить его, чтобъ онъ прибавилъ мнѣ еще 1500 р., чтобъ я получалъ въ годъ ровно 6000 р., а въ мѣсяцъ 500 р. По его же собственному расчету, намъ съ вами, на столъ, чай, сахаръ, квартиру, дрова, двоихъ людей, прачку и проч. никакъ нельзя издержать менѣе 250 р. въ мѣсяцъ или 3000 р. въ годъ: такъ нельзя же, чтобы столько же не оставалось у насъ на платъ и разныя непредвидѣнныя издержки! Теперь сообразите сами: какимъ образомъ я буду имѣть безстыдство просить у Краевского прибавки жалованья и за это отпуска, т. е. права оставить одну книжку „О. З.“, въ такое критическое для журнала время, безъ моей статьи? Я ужъ не говорю о томъ, что убѣдить Краевского, какъ и многихъ въ Петербургѣ, въ томъ, что мнѣ надо ѣхать въ М., а вамъ нельзя ѣхать въ П., нѣтъ никакой возможности,—такъ же, какъ нѣтъ никакой возможности убѣдить иныхъ москвичей въ томъ, что ничего нѣтъ худого ѣхать невѣстѣ къ жениху, но что это даже хорошо, какъ знакъ ея желанія сдѣлать легкимъ тяжелый для обоихъ шагъ. О третьей причинѣ я писалъ къ вамъ въ прошедшемъ письмѣ. Документовъ у меня нѣтъ и послать въ М. нечего. Если я пошлю университетское свидѣтельство, мнѣ потомъ не по чѣмъ будетъ взять отъ части позволенія на выѣздъ и не съ чѣмъ будетъ остановиться въ трактирѣ (ибо, по моимъ убѣжденіямъ, остановиться у вашего дядюшки я никогда и ни за что въ мірѣ не соглашусь). Грамоту изъ Пензы я могу получить завтра, но могу ее же получить и черезъ три мѣсяца. Свидѣтельство о смерти отца надо выхлопывать, а когда же это? Въ Петербургѣ же, священникъ церкви института корпуса путей сообщенія вѣнчаетъ меня по одному университетскому свидѣтельству и больше ничего отъ меня не требуетъ (а отъ васъ требуется—и то, когда вы пріѣдете—метрическое свидѣтельство да позволеніе отъ вашего родителя), и съ будущаго воскресенія (17 окт.) начинается оклики, для чего я вчера переслалъ къ нему ваше имя, отчество и фамилію. Получивъ письмо, я долго былъ въ страшной нерѣшимости—отложить оклики или нѣтъ. Не знаю, худо или хорошо я сдѣлалъ, но рѣшился не откладывать. Marie, моя добрая, моя милая Marie, у вашихъ ногъ, рыдая, обнимая ваши колѣна, дѣлуга край вашего платья, умоляю васъ, спасите меня отъ горя и отчаянія, сдѣлайте меня вполне счастливымъ—пріѣзжайте; но рѣшитесь на это твердо, мужественно, проникнувшись чувствомъ обязанностей, которыя налагають на васъ любовь, если вы любите меня. Что мнѣ въ вашемъ вынужденномъ рѣшеніи? Оно убьетъ меня, отравитъ мое счастье. Я и такъ давно влеку какое-то тяжелое существованіе, которое было прервано вашимъ святымъ, благоуханнымъ письмомъ отъ 5 окт., а теперь оно опять охватило меня своимъ холодными и слизистыми лапами. Вы страдаете сами, да зачѣмъ же вы, бѣдный и милый другъ мой, страдаете безъ достаточной причины? Зачѣмъ пугаете себя

призраками, созданными вашим воображением? Вы пишете, что, похавъ въ П., убьете отца вашего. Не вѣрю, Marie! Много, много, если старикъ погрузитъ дней десятковъ, пока не получитъ отъ васъ письма, что вы уже обвѣнчаны и что я васъ не обманулъ. Чтобы утѣшить старика, я готовъ буду приписать къ вашему письму, что угодно или даже написать къ нему особое письмо подъ вашу диктовку. Повѣрьте мнѣ, Marie, вы пугаетесь призраковъ; вы не можете выносить взглядовъ и возраженій вашихъ родственниковъ—вотъ и все. Но неужели же мысль о вашемъ счастьи не даетъ вамъ силы быть слѣпою и глухою къ людямъ, которые, повѣрте, не по участію къ вамъ, а по страсти мѣшались не въ свои дѣла, будутъ изливать свое неудовольствіе, что ихъ лишили любопытнаго для нихъ зрѣлища. Ахъ, Marie, Marie, если бъ вы знали, какъ болитъ моя грудь любовью къ вамъ и скорбію о васъ; если бъ вы знали, какъ мысль о васъ слилась со всѣмъ существомъ моимъ! И если я говорю съ вами иногда такъ рѣзко и бранчливо, вѣрьте, я бы никогда на это не рѣшился, если бы полнота и сила моего къ вамъ чувства не давали мнѣ на это право. Вы—милое дитя моего сердца, и мнѣ иногда нѣтъ силъ не бранить васъ, а потомъ нѣтъ силъ не жалѣть о васъ и не сердиться на себя. Я ничего не могу дѣлать для журнала, все думая и мечтая о васъ. И больной, въ огнѣ лихорадки, я ни на минуту не переставалъ думать о васъ, и не за себя, а за васъ безпокоился моимъ положеніемъ и страшился его. Я живу вашей жизнью, ваша скорбь—отрава моей жизни, ваша смерть—моя смерть. И что же, за все это вы убиваете себя пустыми сомнѣніями, пустою борьбою, вредите своему здоровью и налагаете печать страданія на ваше лицо, которое должно сіять счастьемъ и быть прекрасно его блескомъ. О, нѣтъ, Marie, вы скажитесь надо мною, отгоните отъ себя чернаго демона и перестанете колебаться между мною и мнѣніемъ людей, близкихъ вамъ только формально? Не правда ли? Вы отвѣтите мнѣ на это письмо, что рѣшились ѣхать, и что это рѣшеніе не мучитъ, а веселитъ васъ? О, Marie, тогда дай Богъ не сойти мнѣ съ ума отъ радости! Отвѣчайте мнѣ скорѣе.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Крк. 15-го.

Сегодня почему-то ждалъ я отъ васъ письма, рано поутру, письма, посланнаго вами, какъ мнѣ казалось, въ понедѣльникъ; но вотъ уже 10 часовъ, и его нѣтъ, и я пересталъ ждать. Мнѣ тяжело, невыносимо тяжело. Ко всѣмъ другимъ причинамъ моего страданія присовокупилась новая: это—воспоминаніе о грубомъ и жесткомъ тонѣ моихъ писемъ, который долженъ оскорбить, огорчить васъ, когда вамъ и безъ того тяжело. Меня ужасаетъ мысль, что, можетъ быть, звѣрскія письма мои сильно подѣйствуютъ на ваше здоровье. О, я звѣръ, родился звѣремъ—имъ и умру. Но мое звѣрство скоро смѣняется человѣческимъ расположеніемъ, и тогда я изъ одного мученія перехожу въ другое. Marie, другъ мой, о, простите меня, если я огорчилъ васъ, забудьте это, изорвите мои несчастныя письма, и помните только одно, вѣрьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно люблю васъ. Одумавшись, я понялъ, что требовалъ отъ васъ слишкомъ много, былъ къ вамъ несправедливо строгъ. Ваша слабость

теперь понятна мнѣ, и я отъ всей души извиняю васъ въ ней. Поживя со мною, вы на многое будете смотрѣть иначе и во многомъ будете поступать иначе; но теперь—какъ винить васъ за то, что дышите тѣмъ воздухомъ, который окружаетъ васъ, а не тѣмъ, который далекъ отъ васъ. Сегодня видѣлъ я во снѣ, будто вы пріѣхали ко мнѣ. Я былъ бы счастливъ, очень счастливъ, если бы сонъ мой сбылся; но ваше спокойствіе, ваше здоровье дороже мнѣ всего, и вы поступайте свободно, не принуждая себя. Зимой мнѣ рѣшительно невозможно будетъ пріѣхать; придется подождать до весны. Такъ или сякъ, только будьте здоровы и спокойны,—здоровье и спокойствіе всего нужнѣе вамъ.

Боже мой, что со мной дѣлается! Меня мучитъ злой духъ. Не могу вспомнить о моихъ письмахъ безъ жгучаго щемленія въ груди. Вечеромъ страшно ложиться спать, и прежде чѣмъ засну совсѣмъ, не разъ забудусь и не разъ проснусь, вздрагивая. Тяжело. Неужели я надѣлалъ дѣлъ моими письмами? О, Боже, страшно подумать. Отвѣта на эти два письма буду ждать въ пятницу и субботу (22, 23), а на это въ воскресенье (24),—и если изъ отвѣта на это письмо увижу, что я опасался напрасно, что мои проклятыя письма не подѣйствовали на ваше здоровье, о, я съ ума сойду отъ радости. Сегодня никакъ не думалъ писать къ вамъ, и схватился за перо прежде, чѣмъ понять, зачѣмъ это дѣлаю. Это было какимъ-то вдохновеннымъ порывомъ.

Больше писать нечего. Вы поймете, что бы еще могъ или хотѣлъ сказать я. Прощайте. Храни васъ Господь, а мои обѣты и мольбы за васъ неотлучно съ вами, равно какъ и мысль моя.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Сердце не обмануло меня: только что полѣзъ, было, я въ ящикъ за конвертомъ, чтобы запечатать это письмо, какъ получилъ ваше. Ахъ, Marie, Marie, вы меня не понимаете, или не хотите понять: не грѣхъ ли вамъ думать, что я лгу передъ вами, обманываю васъ, увѣряя васъ, что не могу къ вамъ пріѣхать? И не могу я къ вамъ пріѣхать совсѣмъ не по боязни шутовскихъ церемоній, которыхъ—я вѣрю вамъ—не было бы теперь, если бы я пріѣхалъ. Не могу я къ вамъ пріѣхать по тому же самому, почему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя бы отъ этого зависѣло счастье всей его жизни. Я опять-таки несогласенъ съ вами, чтобы такое важное дѣло было пріѣхать вамъ въ Петербургъ. Никто съ этимъ не согласится, но спорить съ вами не буду, ибо чѣмъ же вы виноваты, что все жили въ Москвѣ, а не въ Петербургѣ? Заставъ меня на столѣ—дѣло не вѣроятное и не невозможное; это было бы для васъ страшнымъ несчастьемъ, но неужели въ Москвѣ черезъ это теряются права на уваженіе? Какой же это гнусный, подлый и киргизъ-кайсацкій городъ!

Если вы одна пріѣдете въ Петербургъ и потомъ когѣ-нибудь и когдѣ-нибудь встрѣтите изъ московскихъ, который посмотритъ на васъ такъ, что не поздоровится отъ этого взгляда, то увѣряю васъ, что мнѣ будетъ не больно, какъ вы пишете, а только смѣшно, и я буду объ этомъ рассказывать съ хохотомъ всѣмъ моимъ знакомымъ, чтобы и ихъ заставить хохотать. Ахъ Marie, Marie, какъ вы будете смѣяться надъ этими опасеніями, когда будете моею женою и почувствуете себя въ другой совершенно сферѣ петербургской жизни, гдѣ на

вещи смотрятъ диаметрально-противоположно. Но теперь ни въ чемъ васъ не увѣряю и ни о чемъ съ вами не спорю. Вижу, что рѣшиться ѣхать для васъ то же, что рѣшиться умереть. Жалѣю о силѣ смѣшного предрасудка надѣ такимъ умомъ и такимъ сердцемъ, каковы ваши; но извиняю васъ во всемъ этомъ, приписывая все это не вамъ, а судьбѣ. Что касается до Eugénie, то вы напрасно думаете уподобиться ей тѣмъ, что рѣшитесь пріѣхать въ Петербургъ. Если бы вы и пріѣхали, между ею и вами все бы ничего не было общаго; ибо Eugénie въ Петербургѣ никто бы не принялъ къ себѣ, а васъ всѣ примутъ, и вмѣсто презрѣнія, вы своимъ пріѣздомъ приобрѣли бы только большее право на уваженіе всѣхъ и каждаго. Вы неправы, думая: что я пишу подѣ чѣмъ-либо вліяніемъ, а тѣмъ болѣе подѣ вліяніемъ Краевскаго. Такъ же точно неправы вы, видя въ каждомъ моемъ словѣ *seigneur et maître*, а во мнѣ деспота. Это показываетъ, что вы еще мало знаете меня. Я *фанатикъ*, это правда, но всего менѣе деспотъ. Не мѣсто и не время объяснять вамъ теперь здѣсь разницу между деспотизмомъ и фанатизмомъ, деспотомъ и фанатикомъ, и потому оставляю эту матерію. Если когда-нибудь мы будемъ соединены, тогда, надѣюсь, вы узнаете меня лучше и будете ко мнѣ справедливы; а теперь вы судите обо мнѣ подѣ вліяніемъ тягостной для васъ идеи о поѣздкѣ въ П.

Рѣшайте вы—отъ васъ я жду рѣшенія—оно въ вашей, а не въ моей волѣ: или пріѣжайте, если хотите, чтобы къ посту кончились наши пытки и страданія, или отложите до апрѣля, когда я буду въ состояніи пріѣхать къ вамъ въ Москву.

Въ первомъ случаѣ вы можете ѣхать и не 28-го числа, а позже, лишь бы пріѣхать въ П. дня за три до поста; но въ обоихъ случаяхъ вы не замедлите увѣдомить меня. Если вы рѣшитесь отложить, я покорюсь вашему рѣшенію со всѣмъ *résignation* преданнаго вамъ друга, который ваше спокойствіе и здоровье предпочитаетъ своему счастью. Я вижу самъ, что ѣхать вамъ нѣтъ никакой возможности: почему-то вы воображаете, что такимъ поступкомъ лишаетесь права на уваженіе общества. Можетъ быть, въ Москвѣ оно и такъ, а потому больше и не спорю съ вами. Ахъ, боюсь одного, одного боюсь: моего проклятаго письма, какое получили вы уже въ воскресенье (17). Только пронеси Богъ мимо эту бурю, а тамъ пусть будетъ, что будетъ!

Вѣднй другъ мой, какъ вы страдаете! Сердце мое сжалось, когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причина вашего страданія—фантомъ, призракъ, бредъ больного воображенія; но развѣ отъ этого легче ваше страданіе? Напротивъ, тѣмъ болѣе страданіе возбуждаетъ въ моей душѣ ваше страданіе. Да, Магіе, есть пункты, въ которыхъ мы рѣшительно не понимаемъ другъ друга; зато, благодаря имъ, я понимаю, что такое Москва. Я давно уже не люблю ее; но теперь... Что касается до приглашенія, которымъ удостоиваютъ меня ваши родственники, я долженъ объяснить съ вами опредѣленіе на этотъ счетъ. Въ Петербургѣ нѣтъ обычая останавливаться у родни, своей или жениной; тамъ это не въ тонѣ, да никто и не приглашать и не пустить; для этого есть трактиры. Такъ водится и въ Европѣ; но не такъ водится въ Москвѣ, патриархальной и азиатской. Если я захочу соблести экономію, я останавлиюсь у своихъ родственниковъ, или у Щепкиныхъ, которыхъ считаю истинными своими родными въ духѣ; но что жъ мнѣ за радость остановиться у людей, совершенно чуж-

дыхъ мнѣ, быть связаннымъ, притворяться, скрывать свой образъ мыслей, говорить не то, что думаю? Бывать у нихъ я готовъ для васъ. Это другое дѣло. Вы, Магіе, совсѣмъ не понимаете меня съ моей главной и существенной стороны. Знаете ли вы, что людей, съ которыми я ни въ чемъ не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу ихъ? И знаете ли вы, что я это считаю въ себѣ добродѣтелью, лучшимъ, что есть во мнѣ?

Прощайте. Отвѣчайте мнѣ немедленно на это письмо. Будьте свободны въ вашемъ рѣшеніи, и вѣрите, что ваше спокойствіе и здоровье, въ моихъ глазахъ, стоятъ моего счастья, и что я постараюсь, какъ могу и умѣю, те *résigner*.

Вашъ В. Бѣлинскій 1).

Къ Н. В. Гоголю 2).

20-го апрѣля 1842 г. СПб.

Милостивый Государь Николай Васильевичъ! Я очень виноватъ передъ вами, не увѣдомляя васъ давно о ходѣ даннаго мнѣ порученія. Главною причиною этого было желаніе—написать вамъ что-нибудь положительное и вѣрное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время ваша рукопись прошла бы безъ всякихъ препятствій, особенно тогда, какъ вы были въ Питерѣ. Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, то все же могли навѣрное сказать, что только въ китайской Москвѣ могли поступить съ вами, какъ поступилъ г. Снѣгиревъ, и что въ П. этого не сдѣлалъ бы даже Петрушка Корсаковъ, хоть онъ и моралистъ, и пѣтистъ. Но теперь дѣло кончено, и говорить объ этомъ бесполезно.

Очень жалѣю, что „Москвитянинъ“ взялъ у васъ все и что для „О. З.“ нѣтъ у васъ ничего. Я увѣренъ, что это дѣло судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительнаго расположенія въ пользу „Москвитянина“ и къ невыгодѣ „О. З.“ Судьба же давно играетъ странную роль въ отношеніи ко всему, что есть порядочнаго въ русской литературѣ: она лишаетъ ума Ватюшкова, жизни Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова—и оставляетъ въ добромъ здоровьѣ Булгарина, Греча и другихъ подобныхъ имъ негодяевъ въ Петербургѣ и Москвѣ; она украшаетъ „Москвитянинъ“ вашими сочиненіями и лишаетъ ихъ „О. З.“ Я не такъ самолюбивъ, чтобы „О. З.“ считать чѣмъ-то соответствующимъ такимъ великимъ явленіямъ въ русской литературѣ, какъ Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Лермонтовъ; но я далека и отъ ложной скромности бояться сказать, что „О. З.“ теперь *единственный* журналъ на Руси, въ которомъ находятъ себѣ мѣсто и убѣжище честное, благородное и смѣю думать—умное мнѣніе, и что „О. З.“ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть смѣшиваемы съ холопами знаменитаго села *Портъя* 3). Но потому-то, видно, имъ то же счастье: не измѣ-

1) Послѣ этого переписка окончилась, вслѣдствіе пріѣзда невесты къ Бѣлинскому.

2) „Русская Старина“ 1889 г. I, стр. 143—145.

3) Изъяны С. С. Уварова.

нить же для „О. З.“ судьбъ своей роли въ отношеніи къ русской литературѣ.

Съ нетерпѣніемъ жду выхода вашихъ „М. Д.“ Я не имѣю о нихъ никакого понятія, мнѣ не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочемъ, и очень радъ: знакомые отрывки ослабляютъ впечатлѣніе цѣлаго. Недавно въ „О. З.“ была обѣщана статья о „Ревизорѣ“. Думаю, по случаю выхода „М. Д.“, написать нѣсколько статей вообще о вашихъ сочиненіяхъ. Съ особенною любовью хочется мнѣ поговорить о милыхъ мнѣ „Арабескахъ“, тѣмъ болѣе, что я виноватъ передъ ними: во время оной я съ жестокою запальчивостью изрыгнулъ хулу на ваши въ „Арабескахъ“<sup>1)</sup> статьи ученаго содержанія, не понимая, что тѣмъ изрыгаю хулу на духа. Онѣ были тогда для меня слишкомъ просты, а потому и непреступно высоки; при томъ же на мутномъ днѣ самолюбія безсознательно певелелось желаніе блеснуть и безпристрастіемъ. Вообще, мнѣ страхъ какъ хочется написать о вашихъ сочиненіяхъ. Я опрометчивъ и способенъ вдаваться въ дикія нелѣпости; но—слава Богу—я вмѣстѣ съ этимъ одаренъ подвижностью впередъ и способностью собственныя промахи и глупости называть настоящимъ ихъ именемъ и съ такою же откровенностью, какъ и чужіе грѣхи. И потому, подумалось, во мнѣ много новаго съ тѣхъ поръ, какъ, въ 1840 году, въ послѣдній разъ вралъ я о вашихъ повѣстяхъ и „Ревизорѣ“. Теперь я понимаю, почему вы *Хлестакова* считаете героемъ вашей комедіи, и понимаю, что онъ точно герой ея; понимаю, почему „Ст. Пом.“ считаете вы лучшею повѣстью своею въ „Миргородѣ“, также понимаю, почему одни васъ превозносятъ до небесъ, а другіе видятъ въ васъ нѣчто въ родѣ Поль-де-Кока, и почему есть люди, и при томъ не совсѣмъ глупые, которые, аная наизусть ваши сочиненія, не могутъ безъ ужаса слышать, что вы выше Марлинскаго, и что вашъ талантъ—великій талантъ. Объясненіе всего этого даетъ мнѣ возможность сказать дѣло о дѣлѣ, не бросаясь въ отвлеченныя и окольные разсужденія; а умѣренный тонъ (признать, что предметъ понять ближе къ истинѣ) даетъ многимъ возможность *сознательно* полюбить ваши сочиненія. Конечно, критика не сдѣлаетъ дурака умнымъ и толпу мыслящую; но она, у однихъ, можетъ просвѣтить сознаніемъ безотчетное чувство, и у другихъ—возбудить мысль спящей инстинктъ. Но величайшею наградою за трудъ для меня можетъ быть только ваше вниманіе и ваше доброе, привѣтливое слово. Я не занوشусь слишкомъ высоко, но—признаюсь—и не думаю о себѣ слишкомъ мало; я слышалъ похвалы себѣ отъ умныхъ людей и—что еще лестнѣе—имѣлъ счастье приобрести себѣ ожесточенныхъ враговъ: и все-таки болѣе всего этого меня радуетъ доселѣ и всегда будетъ радовать, какъ лучшее мое достояніе, нѣсколько привѣтливыхъ словъ, сказанныхъ обо мнѣ Пушкинымъ и, къ счастью, дошедшихъ до меня изъ вѣрныхъ источниковъ, и я чувствую, что это не мелкое самолюбіе съ моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человѣкъ, какъ Пушкинъ, и что такое одобреніе со стороны такого человѣка, какъ Пушкинъ. Послѣ этого вы поймете, почему для меня такъ дорогъ вашъ *человѣческой*, привѣтливый отзывъ...

Дай вамъ Богъ здоровья, душевныхъ силъ и душевной ясности. Горячо желаю вамъ этого,

1) Бѣлинскій, очевидно, имѣетъ въ виду здѣсь свой рѣзкій отзывъ объ ученыхъ статьяхъ Гоголя въ „Арабескахъ“ въ концѣ статьи: „О русской повести и повѣстяхъ Гоголя“. Соч. т. I. (Примѣч. В. Шеврака).

какъ писателю и какъ человѣку, ибо одно съ другимъ тѣсно связано. Вы у насъ теперь одинъ,—и мое нравственное существованіе, моя любовь къ творчеству тѣсно связаны съ вашею судьбою; не будь васъ—и прощай для меня настоящее и будущее въ художественной жизни нашего отечества: я буду жить въ одномъ прошедшемъ и, равнодушный къ мелкимъ явленіямъ современности, съ грустной отрадой буду бесѣдовать съ великими тѣнями; перечитывая ихъ неумирающія творенія, гдѣ каждая буква давно мнѣ знакома.

Хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ искренно мое мнѣніе о вашемъ „Римѣ“, но, не получивъ предварительнаго позволенія на откровенность, не смѣю этого сдѣлать.

Не знаю, понравится ли вамъ тонъ моего письма,—даже боюсь, чтобы онъ не показался вамъ болѣе откровеннымъ, нежели сколько допускаютъ то наши съ вами свѣтскія отношенія; но я не могу переимѣнить ни слова въ письмѣ моемъ, ибо въ случаѣ, противномъ моему ожиданію, легко утѣшусь, сложивъ всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературѣ.

Съ искреннымъ желаніемъ вамъ всякаго счастья, остаюсь готовый къ услугамъ вашимъ.

*Виссаріонъ Бѣлинскій* 1).

Зальцбруннъ, 15 іюля 1847 г. 2)

„...Вы только отчасти правы, увидавъ въ моей статьѣ разсерженного человѣка. Этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нѣженъ для выраженія того состоянія, въ которое привело меня чтеніе вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашимъ, дѣйствительно не совсѣмъ лестными, отзывамъ о почитателяхъ вашего таланта. Нѣтъ; тутъ была причина болѣе важная. Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать объ этомъ предметѣ, если бы все дѣло заключалось только въ немъ; но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истиннаго человѣческаго достоинства; нельзя молчать, когда подъ покровомъ религіи и защитою кнута проповѣдуютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель.

„Да, я любилъ васъ со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своею страною, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса. И вы имѣли основательную причину хоть на минуту выйти изъ спокойнаго состоянія духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ любовь свою наградою великаго таланта, а потому что въ этомъ отношеніи представляю не одно, а множество лицъ, изъ кото-

1) Почти съ той же почтой и того же числа Бѣлинскій писалъ въ Москву В. П. Боткину: «Я къ Гоголю послалъ письмо, которое думалъ доставить черезъ тебя, но, полагая, что эта тетрадь не будетъ отослана, послалъ сегодня по почтѣ. Прилагаю черновое: изъ него ты увидишь, что я повернулъ круто—оно и лучше: къ чорту ложныя отношенія—знай нашихъ—и любви, уважай; а не любишь, не уважаешь—не знай совѣтъ. Постарайся черезъ Щепкина узнать объ эффектѣ письма». («Бѣлинскій, его жизнь и перипетика», А. Н. Пышина, II, 153).

2) *Барсуковъ, Н.* «Жизль и труды М. П. Погодина». Томъ VIII. Стр. 596—607; выдержка изъ письма у *И. Иванова* «Обузденная книга». М. В. 97 г., 5; *А. Н. Пышина*, II, стр. 289—293 и въ ст. *Чижова* о Гоголѣ В. Е. 72 г., 7, стр. 439—443.

Когда Бѣлинскій, по прѣзвѣ въ Парижъ, прочелъ Герпену черновое этого своего письма, то Герпенъ сказалъ Аннонкоу на ухо: «Это гениальная вещь, да это, кажется, и амблѣние его». (См. *Амленковъ*: «Воспоминанія», отд. III, стр. 213 «Замѣчательное десятилѣтіе»).

рыхъ ни вы, ни я не видали самаго большого числа, и которые, въ свою очередь, тоже не видали васъ. Я не въ состояннн дать вамъ ни малѣйшаго понятнн о томъ негодованн, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ, ни о гѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленнн ея всѣ враги ваши и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, городничнн и т. д.), и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны. Вы видите сами, что отъ вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа съ ея духомъ. Если бы она и была написана вслѣдствнн глубокаго, искреннаго убѣжденнн, и тогда бы она должна была произвестн на публику то же впечатлѣнн. И если ее приняли всѣ (за исключеннмъ немногихъ людей, которыхъ надо видѣть и знать, чтобы не обрадоваться ихъ одобренн) за хитрую, но чрезчуръ нецеремонную продѣлку, для достиженн небеснымъ путемъ чисто земной цѣли,—въ этомъ виноваты только вы, и это нисколько неудивительно; а удивительно то, что вы находите это удивительнымъ. Я думаю, это отъ того, что вы глубоко знаете Россн только какъ художникъ, а не какъ мыслящнй человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ вашей фантастической книгѣ. И это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что вы столько уже лѣтъ привыкли смотрѣть на Россн изъ вашего прекраснаго далека; а вѣдь извѣстно, что ничего нѣтъ легче, какъ издалека видѣть предметы такими, какими намъ хочется ихъ видѣть, потому что въ этомъ прекрасномъ далекѣ вы живете совершенно чуждымъ ему, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразнн кружка, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него влннн. Поэтому вы не замѣтите, что Россн видятъ свое спасене не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ патрнзмѣ, а въ ~~обскурамизма, панегирнста, татарскнхъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!..~~ что въ ~~подобное ученн опираете на православную церковь, это еще понимаю!.. Христа-то зачѣмъ вы примѣшали тутъ?.. Онъ первый возвѣстнлъ людямъ ученн свободы, равенства и братства, и мученичествомъ запечатлѣлъ, утверднлъ истину своего ученн. И оно только до тѣхъ поръ было спасеннмъ людей, пока не организовалось въ церковь и не приняло за основаннн принципа ортодокснн..~~ проsvѣщеннн гуманности. Ей нужны не проповѣди, довольно она слышала ихъ, а пробужденн въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ попираемаго въ грязи и вавозѣ; права и законы, сообразные не съ ученнмъ деркви, а съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, ихъ исполненн. А вмѣсто этого она представляетъ собою ужасное зрѣлище страны, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на это и того оправданн, какому лукаво пользуются Американскнн плантаторы, утверждая, что негръ—не человѣкъ; страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантнй для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпорацн разныхъ служебныхъ воровъ и грабителей. Самые живые, ~~современные національные вопросы въ Россн теперь: уничтоженнн правосуднаго права, ослабленнн тѣлеснаго наказанн, введеннн, по возможности, строгое исполненн хотн тѣхъ законовъ, которые уже есть.~~ Это чувствуетъ даже само правительство (которое хорошо знаетъ, что дѣлаютъ помѣщики со своими крестьянами, и сколько послѣднн ежегодно рѣжутъ первыхъ), что доказывается его робкими и бесплодными полумѣрами въ пользу бѣлыхъ негровъ и комическимъ замѣненнмъ однохвостнаго кнута треххвостною плетью. Вотъ вопросы, которыми тревожно заната Россн въ ея апатическомъ полуснн. И въ это-то время великнй писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными твореннми такъ

могущественно содѣйствовалъ самознанн Россн, давши ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зеркалѣ,—является съ книгою, въ которой, во имя Христа и церкви, учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая ихъ неумытыми рылами... И это ли не должно было привести меня въ негодованн?..

„Да если бы вы обнаружили покушенн на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти поворныя строки. И послѣ этого вы хотите, чтобы вѣрили искренности направленн вашей книги. Нѣтъ, если бы вы дѣйствительно преисполнились истинною Христовою, а не дьявольскимъ ученнмъ, совѣмъ не то написали бы вашему агенту изъ помѣщиковъ. Вы написали бы ему, что такъ какъ его крестьяне его братья о Христѣ, и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя по крайней мѣрѣ пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе для нихъ, созная себя въ ложномъ въ отношенн къ нимъ положенн. А выраженн: „ахъ ты неумытое рыло!“ Да у какаго Ноздрева, у какаго Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, какъ великое открытн въ пользу и назиданн мужиковъ, которые и безъ того потому и не умываются, что, повѣривъ своимъ барамъ, себя не считаютъ за людей? А ваше понятн о національномъ русскомъ судѣ и расправѣ, идеаль котораго нашли вы въ словахъ глупой бабы въ повѣсти Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правата, и виноватаго? Да это и такъ дѣлается у насъ въ частую, хотя чаще всего порютъ только правата, если ему вѣчмъ откупиться отъ преступленн—быть безъ вины виноватымъ? И такая-то книга могла быть резултатомъ труднаго внутренняго процесса, высокаго духовнаго просвѣщенн? Не можетъ быть! Или вы болжны—и вамъ надо сбншить лѣчиться, или... не смѣю досказать своей мысли.

„Проповѣдникъ кнута, апостоль невѣжества, поборникъ обскурамизма и мракобснн, панегиристъ татарскнхъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Что вы подобное ученн опираете на православную церковь, это еще понимаю!.. Христа-то зачѣмъ вы примѣшали тутъ?.. Онъ первый возвѣстнлъ людямъ ученн свободы, равенства и братства, и мученичествомъ запечатлѣлъ, утверднлъ истину своего ученн. И оно только до тѣхъ поръ было спасеннмъ людей, пока не организовалось въ церковь и не приняло за основаннн принципа ортодокснн.. Но смыслъ Христова слова открытъ философскимъ движеннмъ прошлаго вѣка. И вотъ почему какаинбудь Вольтеръ, орудемъ насмѣшки цогасившнй въ Европѣ костры фанатизма и невѣжества, конечно, болѣе сынъ Христа, плотъ отъ плоти его и кость отъ костей его, нежели всѣ ваши попы, архереи, митрополиты и патрнрхи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете! А вѣдь это не новость теперь для всякаго гимназиста. А потому, неужели вы, авторъ Ревизора и Мертвыхъ Душъ, неужели вы искренно, отъ души пропѣли гимнъ... русскому духовенству, поставили его неизмѣримо выше духовенства католическаго? Положимъ, вы не знаете, что второе было когда-то чѣмъ-то, между тѣмъ какъ первое никогда ничѣмъ не было, кромѣ какъ слугою и рабомъ свѣтской власти. Но неужели же вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщемъ презрѣнн у русскаго общества и русскаго народа? По-вашему русскнй народъ самый религюзный въ

миръ? Основа религіозности есть пѣтизмъ, благоговѣніе, страхъ Божій... Приглядитесь поприглядѣніи, и вы убѣдитесь, что это по натурѣ глубоко атеистическій народъ. Въ немъ еще много суевѣрія, но нѣтъ слѣда религіозности. Суевѣріе проходить съ успѣхами цивилизаціи, но религіозность часто умирается и съ ними; живой примѣръ—Франція, гдѣ и теперь много искреннихъ католиковъ между людьми просвѣщенными и образованными, и гдѣ многіе, отложившись отъ христіанства, все еще упорно стоятъ за какого-то Бога. Русскій народъ не таковъ: мистическая экзальтація не въ его натурѣ, у него слишкомъ много для этого здраваго смысла, ясности и положительности въ умѣ, и вотъ въ этомъ-то, можетъ быть, огромность историческихъ судебъ его въ будущемъ. Религіозность не привилась въ немъ даже къ духовенству, ибо нѣсколько отдѣльныхъ исключительныхъ личностей, отличавшихся тихою, колодною, аскетическою созерцательностью, ничего не доказываютъ. Большинство же нашего духовенства отличалось... схоластическимъ педантизмомъ да дикимъ невѣжествомъ. Его грѣхъ обвинить въ религіозной нетерпимости и фанатизмѣ; но скорѣй можно похвалить за образцовый индиферентизмъ въ дѣлѣ вѣры. Религіозность проявилась у насъ только въ разколичныхъ сектахъ, столь противоположныхъ по духу своему массѣ народа и столь ничтожныхъ предъ нею числительно.

„Не буду распространяться о вашемъ дифирамбѣ любовной связи русскаго народа къ его владыкамъ. Скажу прямо: этотъ дифирамбъ ни въ комъ не встрѣтилъ себѣ сочувствія и уронилъ васъ въ глазахъ даже людей, въ другихъ отношеніяхъ очень близкихъ къ вамъ по направленію. Что касается до меня лично, то представляю вашей совѣсти упиваться созерцаніемъ божественной красоты самодержавія (оно покойно, да, говорятъ, и выгодно для васъ), только продолжайте благотворно созерцать его изъ вашего прекраснаго далека: вблизи-то оно не такъ прекрасно и не такъ безопасно...

„Замѣчу одно: когда европейцомъ, особенно католикомъ, овладѣетъ религіозный духъ, онъ дѣлается обличителемъ неправой власти, подобно еврейскимъ пророкамъ, обличавшимъ беззаконія сильныхъ земли. У насъ же наоборотъ: постигаетъ челоуѣка (даже порядочнаго) болѣзнь, известная у врачей психіатровъ подъ именемъ *religiosa mania*, онъ тотчасъ же земному богу поджуритъ болѣе, нежели небесному, да еще и такъ хватить черезъ край, что тотъ и хотѣлъ бы его наградить за рабское усердіе, да видитъ, что этимъ окомпрометировалъ бы себя въ глазахъ общества... Вестія нашъ братъ русскій челоуѣкъ!..

„Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да проситъ вамъ вашъ Византійскій богъ за эту Византійскую мысль, если только, передавши ее бумагѣ, вы не знали, что говорили. Но, можетъ быть, вы скажете: „полюжимъ, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему отнимаютъ у меня право заблуждаться и не хотѣть вѣрить искренности моихъ заблужденій?“ Потому, отвѣчаю я вамъ, что подобное направленіе въ Россіи давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачкомъ съ братією. Конечно, въ вашей книгѣ болѣе ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато въ ней), чѣмъ въ ихъ сочиненіяхъ, но зато они развили об-

щее имъ съ вами ученіе съ большой энергіей и большой послѣдовательностью, смѣло дошли до его послѣднихъ результатовъ; все отдали Византійскому богу, ничего не оставили сатанѣ, тогда какъ вы, желая поставить по свѣтъ тому и другому, впали въ противорѣчіе, отставив, напримѣръ, Пушкина, литературу и театр, которые съ вашей точки зрѣнія, если бы вы только имѣли добросовѣстность быть послѣдовательными, нисколько не могутъ служить къ спасенію души, но много могутъ служить къ ея гибели... Чья же голова могла перевернуть мысль о тожественности Гоголя съ Бурачкомъ? Вы слишкомъ высоко поставили себя во мнѣніи русскои публики, чтобы она могла вѣрить въ васъ искренности подобныхъ убѣжденій. Что кажется естественнымъ въ глупцахъ, то не можетъ казаться такимъ въ гениальномъ челоуѣкѣ. Нѣкоторые остановились, было, на мысли, что ваша книга есть плодъ умственного расстройтва, близкаго къ положительному сумасшествію. Но они скоро отступились отъ такого заключенія: ясно, что книга писана не день, не недѣлю, не мѣсяцъ, а можетъ быть, годъ, два или три; въ ней есть связь, сквозъ небрежное изложеніе проглядываетъ обдуманность, а гимнъ властямъ предержавшимъ хорошо устраиваетъ земное положеніе набожнаго автора. Вотъ почему въ Петербургѣ разпространился слухъ, будто вы написали эту книгу съ цѣлью попасть въ наставника къ сыну Наслѣдника. Еще прежде въ Петербургѣ сдѣлалось известнымъ письмо ваше къ Уварову, гдѣ вы говорите съ огорченіемъ, что вашимъ сочиненіямъ въ Россіи даютъ превратный голкъ, затѣмъ обнаруживаете недовольствіе своими прежними произведеніями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочиненіями, когда тотъ, который и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ писателя, и еще болѣе какъ челоуѣка?..

Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ определяется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипитъ и рвется наружу свѣжія сила, но сдавленные тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почетно, почему у насъ такъ легко литературный успѣхъ даже при маленькомъ талантѣ. Титло поэта, званіе литератора у насъ давно уже затмили мишуру эпюлетъ и разноцвѣтныхъ мундировъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ-называемое, либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта, и почему такъ скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, отдающихъ себя, искренно или неискренно, въ услуженіе православію, самодержавію и народности. Разительный примѣръ Пушкина, которому стоило только написать два, три вѣрноподданническихъ стихотворенія и надѣтъ камеръ-юнкерскую либрку, чтобы вдругъ лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурнаго направленія, а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всѣмъ и каждому. Положимъ, вы могли это думать о пишущей братіи, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ *Ревизорѣ* и *Мертвыхъ Душахъ* вы менѣе рѣзки, съ меньшею истинною и талантомъ и менѣе горькія правды высказали

ей. И она дѣйствительно осердилась на васъ до бѣшенства, но *Ревизоръ* и *Мертвые Души* отъ того не пали. тогда какъ ваша послѣдняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тутъ права: она видитъ въ русскихъ писателяхъ своихъ единственныхъ вождей, защитниковъ и спасителей отъ русскаго самодержавія, православія и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не проститъ ему зловерной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго, здороваго чутія, и это же показываетъ, что у него есть будущность. Если вы любите Россію, порадитесь вмѣстѣ со мною, порадитесь паденію вашей книги.

„Не безъ нѣкотораго чувства самодовольствія скажу вамъ, что мнѣ кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного вліянія на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся въ Петербургѣ слухъ, что правительство хочетъ отпечатать вашу книгу въ числѣ многихъ тысячъ экземпляровъ и продавать ее по самой низкой цѣнѣ, мои друзья принудили, но я тогда же сказалъ имъ, что, несмотря ни на что, книга не будетъ имѣть успѣха и о ней скоро забудутъ. И дѣйствительно, она памятна теперь всѣмъ статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русскаго человѣка глубоко, хотя и не развитъ еще, инстинктъ истины. Ваше обращеніе, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль довести о немъ до свѣдѣнія публики была самая печальная. Времена наивнаго благочестія давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимаетъ, что молиться вездѣ все равно, и что въ Иерусалимѣ ищутъ Христа только люди или никогда не носившіе его въ груди, или потерявшіе его. Кто способенъ страдать при видѣ чужого страданія, кому тяжело зрѣлище угнетенія чуждыхъ ему людей, тотъ носить Христа въ груди своей, и тому не зачѣмъ ходить пѣшкомъ въ Иерусалимѣ. Смиреніе, проповѣдуемое вами, во-первыхъ, не любовь; а во-вторыхъ, отзывается, съ одной стороны, странною гордостью, а съ другой, самымъ позорнымъ униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть, плодомъ или гордости, или слабоумія, и въ обоихъ случаяхъ ведетъ къ лицемерію, ханжеству, китаизму. И при этомъ вы позволили себѣ цинически грязно выражаться не только о другихъ (что было бы только невѣжество), но о самомъ себѣ. Это уже гадко, потому что человѣкъ, бьющій своего ближняго по щекамъ, возбуждаетъ негодованіе, но человѣкъ, бьющій по щекамъ самъ себя, возбуждаетъ презрѣніе. Нѣтъ, вы только омрачены, а не просвѣтлены; вы не поняли ни духа, ни формы христіанства нашего времени: не истинной христіанскаго ученія, а болѣзненною боязнью смерти, чорта и ада вѣетъ отъ вашей книги! И что за языкъ, что за фразы! *Дрянъ* и *тряпка* стали теперь *всякъ* человѣкъ! Неужели вы думаете, что сказать *всякъ* вмѣсто *всякій* значитъ выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человѣкъ весь отдается жи, его оставляютъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книгѣ выставлено вашего имени, и будь изъ нея выключены тѣ мѣста, гдѣ вы говорите о себѣ, какъ писатель, кто бы подумалъ, что эта неопрятная и надутая шумиха словъ и фразъ—произведеніе пера автора *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*.

„Что же касается до меня лично, повторяю вамъ: вы ошиблись, сочтя мою статью выраженіемъ досады за вашъ отзывъ обо мнѣ, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Если бы только это раасердило меня, я только объ этомъ и отзывался бы съ досадою, а обо всемъ остальномъ выразился бы спокойно, безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ почитателяхъ двоякъ нехорошъ. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своимъ восторгомъ ко мнѣ только дѣлаетъ меня смѣшнымъ, но и эта необходимость тяжела, потому что какъ-то по-человѣчески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имѣли въ виду людей ели и не съ отличнымъ умомъ, то все же и не глупцовъ. Эти люди въ своемъ удивленіи къ вашимъ твореніямъ надѣлали, быть можетъ, гораздо больше восклицаній, нежели сколько высказали объ нихъ дѣла; но все же ихъ энтузіазмъ къ вамъ выходитъ изъ такого чистаго и благороднаго источника, что вамъ вовсе не слѣдовало бы выдавать ихъ головою обнимъ ихъ и вашимъ врагамъ; да еще вдобавокъ обвинять ихъ въ намѣреніи дать какой-то превратный толкъ вашимъ сочиненіямъ. Вы, конечно, сдѣлали это по увлеченію главной мыслью вашей книги и по неосмотрительности; а Вяземскій, этотъ князь въ аристократіи и холопъ въ литературѣ, развѣивъ вашу мысль, напечаталъ на вашихъ почитателей (стало быть—на меня всѣхъ болѣе) чистый доносъ. Онъ это сдѣлалъ, вѣроятно, въ благодарность вамъ за то, что вы его, плохого приемоплета, произвели въ великіе поэты, кажется, сколько я помню, за его вялый, влачащійся по землѣ стихъ. Все это нехорошо! А что вы ожидали только времени, когда вамъ можно будетъ отдалъ справедливость и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ смиреніемъ вашимъ врагамъ), этого я не зналъ, не могъ, да, признаться, и не захотѣлъ бы знать. Предо мною была ваша книга, а не ваши намѣренія. Я читалъ и перечитывалъ ее сто разъ, и все-таки нѣ нашелъ въ ней ничего, кромѣ того, что въ ней есть, а то, что въ ней есть, глубоко оскорбило и возмутило мою душу.

„Если бы я далъ полную волю моему чувству, письмо мое скоро превратилось бы въ толстую тетрадь. Я никогда не думалъ писать къ вамъ объ этомъ предметѣ, хотя и мучительно желать этого, и хотя въ всѣмъ и каждому печатно дали право писать къ вамъ безъ церемоній, имѣя въ виду одну правду. Живя въ Россіи, я не могъ бы этого сдѣлать, ибо тамъшіе Шпекины распечатываютъ чужія письма, не изъ одного личнаго удовольствія, но и по долгу службы, ради доносовъ. Но нынѣшнее лѣто начинающаяся чухотка прогнала меня за границу, и Некрасовъ переслалъ мнѣ ваше письмо въ Зальцбруннъ, откуда я сегодня же ѣду съ Анненковымъ въ Парижъ, черезъ Франкфуртъ-на-Майнѣ. Неожиданное полученіе вашего письма дало мнѣ возможность высказать вамъ все, что лежало у меня на душѣ противъ васъ по поводу вашей книги. Я не умѣю говорить вполнину, не умѣю хитрить,—это не въ моей натурѣ. Пусть вы или само время докажетъ мнѣ, что я заблуждался въ моихъ объ васъ заключеніяхъ. Я первый порадоюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что сказалъ вамъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ. Тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ

мое послѣднее заключительное слово: если вы имѣли несчастье съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжкій грѣхъ ея изданія въ свѣтъ испустить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія<sup>1)</sup>.

## Къ А. И. Герцену.

Спб., апрѣля 6.

Вчера записалъ, было, я къ тебѣ письмо, сегодня хотѣлъ его кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получилъ твое, котораго такъ долго ждалъ. Признаюсь, я началъ, было, беспокоиться, думая, что и на мою побѣдку на югъ (о которой даже во снѣ брежу) чортъ наложилъ свой хвостъ. Что ты мнѣ толкуешь о важности и пользѣ для меня отъ этой побѣдки? Я самъ слишкомъ хорошо понимаю это, и ѣду не только за здоровьемъ, но и за жизнью. Дорога, воздухъ, климатъ, лѣнь, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это бѣ съ такимъ спугникомъ, какъ М. С., да я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровѣе. И мой докторъ (очень хорошій докторъ, хотя и не Крушовъ) сказалъ мнѣ, что, по роду моей болѣзни, такая побѣдка лучше всякихъ лѣкарствъ и лѣченій. Итакъ, М. С. ѣдетъ рѣшительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Развѣ только что-нибудь непредвидѣнное и необыкновенное заставитъ меня отказаться; но, во всякомъ случаѣ, я надняхъ беру мѣсто въ маль-постъ. Вчера я именно о томъ и писалъ къ тебѣ, чтобы ты, какъ можно скорѣе, увѣдомилъ меня, ѣдетъ ли М. С. и когда именно. Вотъ почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, такъ что куда дѣвалась лѣнь, и я сейчасъ же сѣлъ писать отвѣтъ, несмотря на то, что А. А. Т. ѣдетъ во вторникъ. Извѣстіе объ обрѣтении явленныхъ 500 р.—тоже не послѣднее обстоятельство въ письмѣ твоемъ, меня обрадовавшее. Только этихъ денегъ мнѣ не высылай, а отдай мнѣ ихъ въ Москвѣ. Оно проще и хлопотъ меньше, можетъ быть, станетъ ихъ на мѣсяцъ и по прїѣздѣ въ Питеръ, а тамъ—что будетъ, то и будетъ, а пока—*voilà la galère!* Нашему брату, подлецу, т. е. нищему, а не чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Дѣлать-то больше нечего, а при томъ, если такая поведенція можетъ сгубить, то она же иногда можетъ и спасти.

Ну, братецъ ты мой, спасибо тебѣ за интервью къ „*Кто виноватъ?*“<sup>2)</sup> Я изъ нея окончательно убѣдился, что ты—большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не навадникъ отъ нечего дѣлать. Ты не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать; но въдъ и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ *Генриадѣ*, но и въ *Кандидѣ*, однако, его *Кандидъ* потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія уже пережилъ еще и больше

пережить ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходить въ талантъ, въ творческую фантазію, и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны, а какъ люди—ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У тебя, какъ у натуръ, по преимуществу, мыслящей и сознательной, наоборотъ—талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, такъ сказать, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ твоей натурѣ. У тебя страшно много ума, такъ много, что я не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у тебя много и таланта, и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который самъ родитъ все изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ подчиненнымъ ему началомъ,—нѣтъ, твой талантъ—чортъ его знаетъ—такой же бастардъ или пасынокъ, въ отношеніи къ твоей натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ. Не умѣю яснѣе выразиться, но увѣренъ, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думалъ объ этомъ вопросѣ) и мнѣ выскажешь это, такъ ясно и опредѣленно, что я закричу: эврика! эврика! Есть умы чисто-спекулятивные, для которыхъ мышление почти то же, что чистая математика, и вотъ, когда такіе умы принимаются за поэзію, у нихъ выходятъ аллегоріи, которыя тѣмъ глуше, чѣмъ умнѣе. Сочетаніе сухого и даже влажнаго и тельнаго ума съ бездарностью родитъ камни и полѣна, которые показывала, вмѣсто дѣтей, Рея Кроносу. Но у тебя при умѣ живомъ и осердеченномъ есть своего рода талантъ: въ чемъ онъ состоитъ, не умѣю сказать, но дѣло въ томъ, что я глупѣе тебя на много разъ, искусство (если не ошибаюсь) мнѣ сроднѣе, чѣмъ тебѣ, фантазія у меня преобладаетъ надъ умомъ, и, кажись, по всему этому, такому *своего рода* таланту скорѣе слѣдовало бы быть у меня, чѣмъ у тебя (уже по одному тому, что тебѣ читать Канта, Гегелеву феноменологію и логику ни почему, а у меня трещитъ голова иногда и отъ твоихъ философскихъ статей), а вотъ у меня такого *своего рода* таланта ни больше, ни меньше, какъ настолько, сколько нужно, чтобы понять, оцѣнить и полюбить твой талантъ. И такіе таланты необходимы и полезны не менѣе художественныхъ. Если ты лѣтъ въ десять напишешь три-четыре томака, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, ты—большое имя въ нашей литературѣ, и попадешь не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благотворное вліяніе на современность. У тебя свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться такъ же опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго художества. Какъ Носъ въ гоголевской повѣсти того же имени, ты можешь сказать о себѣ: „Я самъ по себѣ!“ Дѣятельныя идеи и талантливое ихъ воплощеніе—великое дѣло, но только тогда, когда все это неразрывно связано съ личностью автора и относится къ ней, какъ изображение на сургутчѣ относится къ выдавившей его печати. Этимъ-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обрастаютъ въ достоинства. Такъ, напр., къ числу твоихъ личныхъ недостатковъ принадлежитъ страстишка безпрестанно остричь, но въ твоихъ повѣстяхъ такого рода выходы бываютъ удивительно хороши. Пиши, братъ, пиши, какъ можно больше пиши, не для себя, а для дѣла: у тебя такой талантъ, за скрытіе котораго [ты] вполне заслужилъ бы проклятіе.

1) Письмо это напечатано Н. Барсуковымъ со списка, принадлежащаго А. А. Краевскому, а нынѣ хранящагося въ отдѣленіи рукописей Императорской Публичной Библиотеки.

Отвѣтъ Н. В. Гоголя на это письмо напечатанъ В. П. Шенрокомъ въ «Р. Ст.» 88 г. 7 и въ его же «Материалахъ для біографіи Гоголя». Т. IV.

2) Вѣроятно, глава «Бельтъль», которая однако, неизвѣстно по какимъ причинамъ, вошла въ О. 3. 1846 г., а не къ Бѣдинскому.



„А объ Рошинъ и О. З. ты напрасно хлопчешь. За себя лично и за другихъ я могу бояться худа; но въ отношеніи къ общему дѣлу я предпочитаю быть оптимистомъ. Тебя смущаетъ, что въ литературѣ не останется органа благородныхъ и умныхъ убѣжденій. Это и такъ, да не такъ. Я увѣренъ, что не пройдетъ двухъ лѣтъ, какъ я буду полнымъ редакторомъ журнала. Спекулянты не упустятъ основать журналъ, рассчитывая именно на меня. Обо мнѣ теперь знаютъ многие такіе, которые ничего не читаютъ, и они смотрятъ на меня съ уваженіемъ, какъ на человѣка, одареннаго добродѣтельною способностью дѣлать другихъ богатыми, оставаясь нищимъ. „О. З.“ уже стары, и въ нихъ я самъ старъ, потому что, наладившись разъ, какъ-то противъ моей воли, иду одною и тою же походкой. Я связанъ съ этимъ журналомъ своего рода предавіемъ: привыкъ щадить людей важныхъ только для него, и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала. Вѣдь и Рошинъ не могъ же не отразить своей личности въ своемъ журналѣ. Мнѣ надо отдохнуть, во-первыхъ, для спасенія жизни и восстановленія (возможнаго) здоровья, а во-вторыхъ, и для того, чтобы страсти съ сандалій моихъ прахъ „О. З.“ забыть, что я образовалъ съ ними когда-то сіамскихъ близнецовъ. Кромѣ того, у меня на памяти много грѣховъ, надѣланныхъ во время оно въ „О. З.“. И какъ хорошо, что мои статьи печатались безъ имени, и я въ новомъ журналѣ всегда могу отпереться отъ того, что говорилъ встарь, если бы меня стали учить! Жизнь—премудрая вещь; иногда перемѣна квартиры освѣжаетъ человѣка нравственно. Повѣрь мнѣ, что всѣ мы въ новомъ журналѣ будемъ тѣ же, да не тѣ, и новый журналъ не будетъ „О. З.“ не по одному имени. Я надѣюсь, что буду издавать журналъ. А съ Рошинымъ мнѣ дѣлать нечего. Это страшно ожесточенный эгоистъ, для котораго люди—средство и либерализмъ—средство. Онъ очень умевъ по-своему и на Чичикова смотритъ со-всѣмъ не какъ на генія, какъ смотримъ на него всѣ мы, а какъ на своего брата Кондрата. Но въ литературѣ онъ человѣкъ тупой, круглый невѣжда. Не пошли ему меня его счастливая звѣзда, его мерзкія „О. З.“ лопнули бы на второмъ годѣ. Повторяю: личность его не могла не отразиться на „О. З.“, и вотъ причина, почему въ нихъ такъ много балласту, почему толщину ихъ всѣ ставятъ въ порокъ и почему, короче, онъ такъ гадки, несмотря на участіе въ нихъ мое и многихъ порядочныхъ людей. Я же не могу быть съ человѣкомъ на торговыхъ отношеніяхъ. Вотъ другое дѣло, если бы хозяиномъ „О. З.“ былъ Коршъ, я готовъ бы остаться навсегда работникомъ этого журнала. Къ Рошину у меня никогда не лежало сердце, во все же думалъ о немъ лучше, чѣмъ онъ стоилъ. Оставаясь при немъ, я долженъ лицемѣрить, на что у меня вѣтъ ни охоты, ни умѣнья. А писать у него изрѣдка—вадоръ, дудки. Ему самому смертельно хочется этого, и онъ уже подѣвжалъ ко мнѣ чрезъ Панаева, да не надуеть. У него расчетъ вѣрный: я напишу ему въ годъ рецензій десятка два (разумѣется, столько хорошихъ, сколько это въ моихъ средствахъ), да статьи три-четыре: направление и духъ журнала спасется, а я за это получу много-много рублей 500 серебромъ въ годъ. Кто же въ дуракахъ то? А, между тѣмъ, хоть и меньше, а все срочная работа, а я изъ-за нея своего дѣла не буду дѣлать, а отъ его работы сытъ не буду. Онъ теперь мечется то къ тому, то къ другому, и никого не находитъ. Заказалъ статью Миланов-

скому, котораго уже не разъ гонялъ отъ себя по шеѣ, какъ пустого и гадкаго мальчишку. Не знаю, что будетъ впередъ, а пока я просто изумленъ тѣмъ, какъ имя мое вездѣ извѣстно и въ какомъ оно почетѣ у русской публики: этого мнѣ и во снѣ не снилось. Вѣсть о разрывѣ давно уже прошла и въ провинцію. Всѣ подлены и филистимляне петербургскіе (даже и совсѣмъ не литературные) въ восторгѣ, что у „О. З.“ волоса обрѣзаны, а сыны Израиля печалатся объ этомъ. Р. этого не ожидалъ. Но теперь онъ, кажется, все повялъ, во, думая, что я играю съ нимъ комедію, хочетъ выждать и переломить меня. Посмотримъ. Въ Москву онъ не поѣхалъ. У него образовалась фистула и онъ вытерпѣлъ довольно мучительную операцію, и теперь лежитъ. Но, вѣроятно, справившись, поѣдетъ надувать Галахова. Съ Богомъ! Комчаю письмо извѣстіемъ, что мы съ Некрасовымъ взяли билетъ въ маль-постъ на 26 апрѣля.

В. Б.

### Къ В. М. Бѣлинской.

Зальцбруннъ, 5 іюня (24 мая) 1847 г. 1).

Вотъ я и въ Зальцбруннѣ, и уже началъ мой курсъ. Приѣхали мы сюда 3 іюня, по вашему 22 мая, на другой же день были у доктора Пемплина. Это благообразный старикъ, внушающій къ себѣ довѣріе. Читавъ въ исторіи моей болѣзни до имени Тильмана, онъ припрыгнулъ отъ удовольствія на стулъ. Лучше всего, что онъ сказалъ Тургеневу, что, по моему виду, ручается за мое выздоровленіе; а хуже всего то, что онъ лишилъ меня кофею, замѣнивъ его теплымъ молокомъ, потомъ запретилъ наѣдаться до-сыта и велѣлъ меньше ѣсть говядины. Въ тотъ же день, по его предписанію, началъ я мой курсъ. Въ 5 часовъ послѣ обѣда отправился я на колодець и выпилъ, черезъ 1/4 часа, два полустакана теплой сыворотки, котора изъ козьяго молока и очень пріятна на вкусъ. На другой день (т. е. вчера) поутру, проснувшись въ 5 часовъ, выпилъ я чашку ослиного молока, послѣ чего, умывшись и одѣвшись, отправился на колодець. Тамъ выпилъ стаканъ смѣси 2/3 сыворотки и 1/3 Зальцбрунна, а походивши полчаса, повторилъ то же, а чрезъ полчаса пошелъ домой завтракать.

Обѣдаютъ здѣсь въ половинѣ перваго или въ часъ—не позже. Кормятъ не дурно и дешево: за 12 билетовъ я заплатилъ 4 талера, стало быть, обѣдъ обходится въ десять серебряныхъ грошей, что составляетъ 30 к. с. на наши деньги. Однако, этотъ обѣдъ хорошъ, пока его ѣшь, а послѣ отъ него чувствуется изжога, почему мы и хотимъ слѣдующіе 12 билетовъ взять въ другой гостиницѣ, гдѣ подороже (12 билетовъ 5 талеровъ), да зато безъ оравленія; въ чемъ мы удостовѣрились, поужинавъ вчера тамъ. Квартира у насъ не дурна—двѣ опрятныя комнаты съ необходимою мебелью. За каждую изъ нихъ платимъ мы 10 талеровъ; т. е. 31 р. асс. на наши деньги, да за постель съ бѣльемъ по 15 серебр. грошей. Все это очень дешево. Квартира наша въ нижнемъ этажѣ и недалеко отъ ключа Здоровье мое въ порядочномъ состояніи, по крайней мѣрѣ, я чувствую себя лучше, чѣмъ въ Питерѣ, и почти не принимаю лекарство. А между тѣмъ, погода здѣсь мерзвѣйшая, не лучше вашей. Но теперь я пере-

1) «Братская помощь пострадавшимъ армянамъ», 1-е изд. М. 1897 г.

скажу въ порядкѣ, что упомяну, всю исторію моего вояжа. Описывать подробно плаванія на пароходѣ не стану, потому что я тебѣ уже писалъ объ этомъ, да и почти забылъ все это теперь. Однако, кое-что скажу въ добавленіе уже сказанному. Когда я почувствовалъ качку и мнѣ стало не въ мочь, я, шатаясь, какъ пьяный, сошелъ въ каюту, и тамъ почувствовалъ такое презрѣніе къ жизни, что извергнувъ на полъ весь мой завтракъ, а затѣмъ, не раздвываясь, забился въ мою койку, въ которой не то, чтобъ спать, а дремалъ часовъ до 2-хъ слѣдующаго дня. Я не ѣлъ сутки, кромѣ того, что меня рвало, — стало быть, въ желудкѣ моемъ чувствовалась пустота страшная. Въ перемежку отъ головокругленія качки, мнѣ хотѣлось ѣсть — и я съѣлъ два ломтя хлѣба, который былъ у меня въ дорожномъ мѣшкѣ. Затѣмъ велѣлъ подать себѣ двѣ порціи ветчины съ горчицею и уксусомъ: это меня поправило. Часамъ къ 5 вечера качка кончилась, и я за ужиномъ страшно жралъ. Пароходъ Владиміръ убранный великолѣпно, но удобства никакого, и тѣснота страшная. За столъ въ шубѣ съѣсть нельзя — и тѣсно, и жарко, а положить ее некуда. Я понималъ, какъ корабли набиваютъ неграми — торгующіе этимъ товаромъ. Буфетъ снабженъ гадко. Пива нѣтъ, квасу, кислыхъ шей тоже; были лимонады газезъ, да и тотъ весь вышелъ на другой же день; вода, воняетъ смолою, пить ее не было возможности. Что же пить? вино! Это расчетъ со стороны буфетчика, потому что за бутылку плохого Chateau landoups онъ бралъ 1 р. 50 к. вмѣсто 1 р. 50 к. асс. Разумѣется, я вина не пилъ для утоленія жажды, но съ ветчиною выпилъ рюмку хереса; потомъ, когда началась новая качка — другую; но на этотъ разъ меня не рвало и почти не тошнило, хотя голова и ходила кругомъ. Я уже писалъ тебѣ, что въ Свиномюнде мы пересѣли на судно, которое буксировалъ рѣчной пароходъ въ Штетинѣ. Тутъ мы вытерпѣли порядочную боковую качку, но никою не рвало, и я могъ даже ѣсть. Вмѣсто бифштекса, котораго я спросилъ, мнѣ подали небольшой кусокъ битой говядины, въ которомъ вкусу не было ни капли, а перцу много пропасть; отъ этого кушанья меня мучила изжога до той минуты, когда я заснулъ ночью въ Берлинѣ. Въ Свиномюнде деревья давно уже распустились и сирень была въ полномъ цвѣту. Въ Штетинѣплыли мы часовъ пять; у пристани Побѣдосцевъ сказалъ мнѣ, что черезъ полчаса пойдетъ въ Берлинъ поѣздъ по желѣзной дорогѣ. Какъ тутъ быть? Опоздать не хочется — оставаться въ Штетинѣ не зачѣмъ, а распорядиться безъ нѣмецкаго языка нельзя. Какой-то дюжий малый, по указанію моего пальца, схватилъ чемоданъ и потащилъ его, какъ перышко. Въ теплому пальто и шубѣ съ тяжелымъ сакомъ въ рукахъ побѣжалъ я за нимъ, да еще въ гору. Кричу ему *chemin de fer*, онъ что-то рычитъ мнѣ въ отвѣтъ и летитъ дальше. Я изнемогъ, думая, что уже умираю; остановившись; къ счастью, и дуракъ мой остановился отдохнуть и видя, какъ я тяжело дышу, взялъ у меня сакъ. Пошли опять и скоро очутились у большого отеля. Швейцаръ обратился ко мнѣ съ вопросомъ *M-g veut la chambre?* Я ему кое-какъ объяснилъ, что мнѣ нужно. Онъ помогъ мнѣ расплатиться съ носильщикомъ, позвалъ мнѣ извозчика и велѣлъ везти меня на желѣзную дорогу. Я благодарилъ его чуть не со слезами на глазахъ: вѣдь спасъ, просто спасъ! Приѣхали на станцію желѣзной дороги.

„Вынувши кошелекъ и раскрывъ его, я сказалъ кучеру: *nehmen sie!* Но онъ подвелъ

меня къ окну, гдѣ раздавались билеты, давая знать, что я могу опоздать. Кое-какъ я упрямился, и потому, что столкнулся съ П. Чемоданъ заклеили и отнесли; наконецъ, я поѣхалъ. Въ Берлинъ прибылъ часовъ въ 9 вечера. По выходѣ изъ вагона, я снова пропадаю; но вдругъ слышу обращенный ко мнѣ на чисто русскомъ языкѣ вопросъ, много ли изъ Петербурга прибыло пассажировъ. Это былъ трактирный слуга. Я объяснилъ ему затруднительность моего положенія, и онъ взялся распорядиться. Отыскавъ кого слѣдуетъ, онъ переговорилъ съ нимъ, чтобы мой чемоданъ былъ доставленъ ко мнѣ на квартиру; взявши дрожки, мы отправились съ нимъ на улицу *Behrenstrasse*, № 9, на квартиру Тургенева. Проводникъ мой метался, какъ угорѣлый, бѣгалъ по высокимъ лѣстницамъ, наконецъ, нашелъ. Тургенева не было дома, однако, хозяйка его пустила меня въ его комнату. Когда я далъ проводнику моему талеръ, то онъ чуть не припрыгнулъ до потолка отъ восторга. Ровно чрезъ 2 часа пришелъ Тургеневъ; мое внезапное появленіе видимо обрадовало его. Все это меня успокоило, и я почувствовалъ себя въ пристани: со мною была моя нянька. Проживъ въ Берлинѣ довольно скучно три дня, мы рѣшились съѣздить въ Дрезденъ, а оттуда дня на три прогуляться по саксонской Швейцаріи, такъ какъ погода была свѣжая и къ водамъ торопиться было нечего. О Берлинѣ распространяться не буду, городъ довольно скучный, хуже всего въ немъ вода: вонючая, скверная, которую невозможно даже полоскать ротъ, и которую противно умывать. Я, было, принялся за пиво, но скоро увидѣлъ, что надо быть нѣмцемъ, чтобы каждый день пить эту мерзость, и замѣнилъ пиво искусственною сельтерскою водою. Тиргартенъ — огромный садъ, тѣнистый и красивый. Въ то время цвѣли прекрасныя каштановыя деревья.

Вторникъ 13 (25) отправились мы по желѣзной дорогѣ изъ Берлина въ Дрезденъ и переночевали въ Лейпцигѣ. Мнѣ такъ хотѣлось спать, что я не пошелъ смотрѣть на Лейпцигъ, хотя было всего часовъ 9 или 10. Часовъ въ 11 на другой день мы были въ Дрезденѣ. Городъ старый, оригинальный. Пошли ходить; погода была скверная: свѣтло, ясно, но тепла всего было 13 гр. въ тѣни, и при этомъ пронзительно холодный вѣтеръ. Въ теплому пальто мнѣ было холодно. Въ тотъ же вечеръ Тургеневъ утащилъ меня въ оперу; давали Гугенотовъ, *г-ля madame Viardo*...

На другой день погода была прекрасная, мы ѣздили за городъ, и мнѣ было весело. На третій пошли въ галерею. Т. все подкидывалъ *M-me Viardo*, на что и сердился; Т. мнѣ представлялъ, что В. знаетъ толкъ въ картинахъ и покажетъ намъ все лучшее, а я говорилъ, что не хочу сводить знакомство, когда не на чемъ объясниться, кромѣ развѣ какъ на пальцахъ; но Т. успокоилъ меня, что я пойду за нимъ и никого знать не буду. Но *Viardo* упредила насъ; входимъ въ одну залу, они прямо намъ навстрѣчу, и Т. представилъ меня имъ. Но какъ дѣло обошлось однимъ нѣмымъ поклономъ съ обѣихъ сторонъ, я ничего. На другой день опять пошли. Все шло хорошо, какъ вдругъ, уже въ послѣдней залѣ, *M-me Viardo*, быстро обратившись ко мнѣ, сказала: лучше ли вы себя чувствуете? Я такъ потерялся, что ничего не понялъ, она повторила, я еще больше смѣшался: тогда она начала говорить по-русски очень смѣшно и сама хохотала. Тутъ я, наконецъ, понялъ, въ чемъ дѣло, и подлѣйшимъ французскимъ языкомъ, какимъ не говорятъ и

лошади, отвѣчалъ ей, что мнѣ лучше. Но и этимъ не кончилось дѣло. Влардо жили въ одной съ нами гостиницѣ. Когда мы дошли до нея, г-жа В. пригласила меня въ свой концертъ. Дѣлать нечего, я сказалъ, что буду,—и она прислала мнѣ свой билетъ, за который отказалась взять деньги, говоря, что она меня пригласила въ свой концертъ. Послѣ концерта Т. тащилъ, было, меня къ ней, чтобы поблагодарить, какъ оно бы и слѣдовало, но я уперся какъ быкъ—и не пошелъ.

На другой день они должны были уѣхать, но мы еще раньше уѣхали въ саксонскую Швейцарію. Утро было прекрасное и общало жаркій день, но часамъ къ 10 погода стала портиться, и день былъ ни то, ни се. Я ходилъ пѣшкомъ, ѣздилъ верхомъ, носили меня на носилкахъ, только на ослахъ не ѣздилъ; видѣлъ чудную природу, прекрасныя и грандіозныя мѣстоположенія; видѣлъ на скалахъ, по берегу Эльбы, развалины разбойничьяго рыцарскаго замка, неприступнаго, какъ орлиное гнѣздо; видѣлъ развалины одного изъ тайныхъ судилищъ, столь знаменитыхъ и страшныхъ въ средніе вѣка. Но все это скоро надоѣло мнѣ. У меня ужасная способность скоро привыкать къ новости. И потому мнѣ въ тотъ же день показалось, что я лѣтъ сто сряду видѣлъ всё эти дива дивныя, и они мнѣ давно наскучили, какъ горькая рѣдка. Погода не мѣшала, а способствовала такому настроенію духа,—и мы рѣшили завтра же воротиться въ Дрезденъ, чтобы оттуда не медля ѣхать въ Зальцбруннъ, который манилъ меня, какъ мѣсто осѣдлаго, на шесть недѣль, пребыванія. Воротились въ Перну, гдѣ и ночевали. На другой день съѣздили посмотреть одно дѣйствительно удивительное мѣстоположеніе; а потомъ съѣздили въ крѣпость Кенигштейнъ. Это по неприступности третья крѣпость въ мирѣ, съ Гибралтаромъ и Свеаборгомъ. Она стоитъ на площадке высокой, круглой горы, оканчивающейся отвѣсными скалами. Но меня все это не занимало, а только утомляло, день былъ полумрачный и холодный, а со мной не было теплаго пальто. Къ счастью, съ Т. было пальто, которое я и одѣлъ на мое бѣлое пальто, и мнѣ стало сносно. Часовъ въ 6 воротились мы въ Дрезденъ, а на другой день, въ 4 часа, по желѣзной дорогѣ, пустились въ Бреслау. Желѣзная дорога верстъ на тридцать прерывается шоссе. Ночевали въ какомъ-то городкѣ; а на другой день были часовъ въ 11 въ Бреслау. Въ исторіи моей болѣзни Тильманъ упоминаетъ „о романическихъ окрестностяхъ Зальцбрунна, которая невольно влекутъ чувствительное сердце къ наслажденію природою“. Этихъ окрестностей я не замѣтилъ на дорогѣ изъ Бреслау до Фрейбурга, но отъ Фрейбурга до Зальцбрунна мы ѣхали на лошадяхъ и ужъ все въ гору, и вдаль рисовалась полукружіемъ цѣль горъ. Но погода мерзость, хоть шубу надѣвай. Гулять не хочется да и негдѣ; всюду нивы, а по нескошенному лугу ходить нельзя—штрафъ сдерутъ; „вотъ тебѣ и романическія окрестности, невольно влекуція чувствительное сердце къ наслажденію природою!“ Тѣснота страшная и буквально . . . . . сходить человѣку. А между тѣмъ, мѣстоположенія дѣйствительно манятъ къ прогулкѣ.

Вообще изъ моего еще пока краткаго пребыванія за границею я извлекъ глубокое убѣжденіе, что я вовсе не путешественникъ, и что въ другой разъ меня и калачемъ не выманить изъ дому. Еще другое дѣло съ семействомъ, а одному—слуга покорный. Мнѣ становится страшно; это я испытываю вѣдь уже въ другой

разъ. Пріѣхавъ въ Зальцбруннъ, я началъ выкладывать чемоданъ, а мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ грустно, что хотъ и плакать. Въ глазахъ мерещились всѣ вы, а въ ухахъ все раздавалось: Висалея Глаголичъ. Но какъ мнѣ тяжело было все сегодняшнее утро (6/18 воскресенья; письмо это пойдетъ на почту завтра)! Погода была все это время холодная, вѣтряная, но свѣтлая, ясная, а сегодня небо мрачно, кромѣ холода и вѣтра. Я вовсе раскисъ и изнемогъ душевно; вспомнилось и то и другое, насилу отчитался „Мертвыми душами“. Чувствую, что, пока не получу отъ тебя добраго письма, не буду спокоенъ, и жить мнѣ будетъ тяжело. А какое еще письмо получу я отъ тебя, и отъ тебя ли еще получу я его?... Нѣтъ, впередъ ни за спасеніе жизни не уѣду вдаль отъ семейства. Я не гожусь въ путешествіи еще и по слабости моего здоровья: вставай, ложись, ѣшь безъ порядку, когда можно, а не когда хочешь. Если бъ не желаніе основательнѣе вылѣчиться, я въ августѣ махнулъ бы домой, не жалѣя, что не видалъ того и этого.

Докторъ велѣлъ мнѣ въ 8 ч. вечера быть въ комнатѣ, несмотря ни на какую погоду, а въ 9½ въ постели. Должно быть, отъ холодной погоды на меня все это время напала спячка—сидѣть я не могу, ходить много тоже, а чуть прилягу—и засну. Въ сутки сплю я отъ 12 до 14 часовъ.

Анненковъ пріѣдетъ къ намъ въ Зальцбруннъ (10 іюня) 29 мая, мы получили отъ него письмо. Іюня 4 онъ выѣзжаетъ изъ Парижа. Съ Кудрявцевымъ я надѣюсь скоро увидѣться и вѣроятно, и ты скоро увидишь его.

Прощай, chère Marie, желаю тебѣ всего добраго и хорошаго такъ же искренно и горячо, какъ желаю его самому себѣ. Обнимаю и цѣлую васъ всѣхъ.

Твой В. В.

Скажи Некрасову что онъ нелѣпо сдѣлалъ, что не послалъ со мною Тургеневу 3-й номеръ „Современника“. Онъ для насъ погибъ, потому что не жить же намъ было для него вѣкъ въ Берлиѣ. Тургеневъ этимъ очень огорчился. Скажи Некрасову же, что, по словамъ Тургенева, романъ Фильдинга „Томъ Джонсъ“ можно смѣло переводить и печатать; а гетевскаго романа „Сродства“ не совѣтуетъ переводить. Кланяйся отъ меня всѣмъ нашимъ. Письмо это посылаю не франкированное, на имя конторы, въ предположеніи, что, можетъ быть, тебѣ удалось сдать квартиру.

1847.

Къ К. Д. Кавелину.

Спб. 1847 г., ноябрь 22.

Сейчасъ только получилъ и разобралъ съ большимъ трудомъ ваше, писанное небывалыми до васъ на свѣтѣ гіероглифами, письмо милый мой Кавелинъ, и сейчасъ отвѣчаю на него. Что вы лѣтомъ ничего не дѣлали для „Современника“, за это никто изъ насъ и не думалъ сердиться на васъ. Вы—какъ сотрудникъ, соучастникъ, а не какъ работникъ, не поденщикъ, обязанный не имѣть ни лѣни, ни отдыха, ни другихъ дѣлъ, болѣе для васъ важныхъ. И вы напрасно извиняетесь, потому что

никто васъ и не обвинялъ. Вотъ что вы губите насъ, помогая... Краевскому, это намъ больно, но объ этомъ послѣ. Отъѣвъ вашъ о моей статьѣ тронулъ меня глубоко, хотя въ то же время, и посмѣшилъ своею преувеличенностью. Статья моя дѣйствительно не дурна, особенно въ томъ видѣ, какъ написана (а не какъ напечатана), но далеко не такъ хороша, какъ вы ее находите. Не называю васъ за это мальчишкою (изъ всѣхъ моихъ друзей и пріятелей, этимъ именемъ я называю только Тургенева), ни рыцаремъ. Дѣло просто: вы меня любите, а между тѣмъ, сочли за человѣка который заживо умеръ и отъ котораго больше нечего было ожидать. И такое мнѣніе съ вашей стороны не было ни справедливо, ни опрочетливо: оно основывалось на фактахъ моей прошлагодней дѣятельности для "Современника". Дѣло прошлое: а я и самъ ѣхалъ за границу съ тѣлѣмъ и грустнѣмъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я измочалился, выписался, выболтался и сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаю лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете посудить сами; тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мнѣ съ этой статьѣ. Не удивительно, что она всѣмъ вамъ показалась лучше, чѣмъ есть, особенно вамъ, по молодости и темпераменту болѣе другихъ наклонному къ увлеченію. Спасибо вамъ. Ваше сравненіе моей статьи съ Пушкина и Лермонтова послѣдними сочиненіями и еще съ послѣдними распоряженіями кого-то, чье имя я не разобралъ въ вашихъ гіероглифахъ,—это сравненіе дышитъ увлеченіемъ и вызываетъ улыбку на уста. Такъ! Но есть преувеличенія, лжи и ошибки, которая иногда дороже намъ вѣрныхъ и строгихъ опредѣленій разума; это тѣ, которая исходятъ изъ любви: видишь ихъ несостоятельность, а чувствуешь себя человѣчески тепло и хорошо. Еще разъ спасибо вамъ, милый мой Кавелинъ. Кстати о статьѣ. Я уже писалъ къ Боткину, что она искажена цензурою варварски и—что всего обиднѣе—совершенно произвольно. Вотъ вамъ два примѣра. Я говорю о себѣ, что, опираясь на истинныя истины, имѣлъ на общественное мнѣніе больше вліянія, чѣмъ многие изъ моихъ *дѣйствительно ученыхъ* противниковъ: подчеркнуты слова не пропущены, а для нихъ-то и вся фраза составлена. Я мѣтилъ на ученыхъ ословъ—Надеждина и Шевырева. Самаринъ говоритъ, что согласіе князя съ вѣчемъ было идеаломъ новгородскаго правленія. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конституціонныхъ государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдѣ же особенность новгородскаго правленія? Это вычеркнуто. Цѣлое мѣсто о Мицкевичѣ и о томъ, что Европа и не думаетъ о славянофилахъ, тоже вычеркнуто. Отъ этихъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ острый! Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь. Въ засѣданіи географическаго общества Панаевъ столкнулся съ маленькимъ, черненькимъ... Поповымъ: "Я читалъ отвѣтъ Самарину". "Что жъ мудренаго, когда онъ напечатанъ".—"Нѣтъ, вторую статью Кавелина".—"Какъ же это".—"Мнѣ показывалъ Срезневскій (цензоръ), и я уговорилъ его кое-что смягчить".—"Видите ли, сколько у насъ цензоровъ и какіе... славянофилы".

Насчетъ вашего несогласія со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне съ вами согласенъ, да и прежде думалъ такъимъ же образомъ. Вы, юный другъ мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для *кого* и для *чего* она писана. Дѣло въ томъ, что писана она не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ фискальскихъ обвиненій. Поэтому, я счелъ за нужное сдѣлать уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться, и кое-что изложилъ въ такомъ видѣ, какой мало имѣетъ общаго съ моими убѣжденіями касательно этого предмета. Напримѣръ, все, что вы говорите о различіи натуральной школы отъ Гоголя, по моему совершенно справедливо; но сказать это печатно я не рѣшусь: это значило бы наводить волковъ на овчарку, вмѣсто того чтобы отводить ихъ отъ нея. А они и такъ напали на сдѣлъ, и только ждутъ, чтобы мы проговорились. Вы, юный другъ мой, хороший ученый, но плохой политикъ, какъ слѣдуетъ быть истому москвичу. Повѣрьте, что, въ моихъ глазахъ, г. Самаринъ не лучше г. Булгарина, по его отношенію къ натуральной школѣ, а съ этими господами надобно быть осторожному.

Вы обвиняете меня въ славянофильствѣ. Это не совсѣмъ неосновательно: но только и въ этомъ отношеніи я съ вами едва ли расхожусь. Какъ и вы, я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи; но, какъ и вы, я ничего не строю на основаніи этой любви и этой вѣры, не употребляю ихъ какъ непровержимыя доказательства. Вы же пустили въ ходъ идею развитія личнаго начала, какъ содержаніе исторіи русскаго народа. Намъ съ вами жить не долго, а Россіи—вѣка, можетъ быть, тысячелѣтій. Намъ хочется поскорѣе, а ей торопиться нечего. Личность у насъ еще только наклеивается, и оттого гоголевскіе типы—пока самыя вѣрныя русскіе типы. Это понятно и просто, какъ  $2 \times 2 = 4$ . Но какъ бы мы ни были нетерпѣливы и какъ бы ни казалось намъ все медленно идущимъ, а, вѣдь, оно идетъ страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется намъ уже въ мнѣической перспективѣ, не стариную, а почти древнюю. Помните ли вы то время, когда я, не зная исторіи, посвящалъ васъ въ тайны этой науки? Сравните-ка то, о чемъ мы тогда съ вами толковали, съ тѣмъ, о чемъ мы теперь толкуемъ, и придется воскликнуть: "свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!" Терпѣть не могу я восторженныхъ патріотовъ, выхваляющихъ вѣчно на междоуметяхъ или на квасу да на кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1,000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мнѣ спокойные скептики, абстрактные человѣки, безпачпортные бродяги въ человѣчествѣ. Какъ бы ни увѣряли они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество, страны,—не вѣрю я ихъ интересамъ. Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предметѣ то, чего въ немъ нѣтъ,—правда; но иногда только любовь же и открываетъ то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму. Петръ Великій имѣлъ бы больше, чѣмъ кто-нибудь, правъ презирать Россію, но онъ—

Не презиралъ страны родной:  
Онъ зналъ ея предназначенье.

На этомъ и основывалась возможность успѣха его реформы. Для меня Петръ—моя фило-

софія, моя религія, мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотѣтъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными. Безъ непосредственнаго элемента все гнило, абстрактно и безжизненно, такъ же какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо. Но что жъ я разоврался? Вѣдь, вы и сами то же думаете, или по крайней мѣрѣ, чувствуете, можетъ быть, наперекоръ тому, что думаете.

Ну-съ, теперь о житейскихъ дѣлахъ. Во-первыхъ, вы не дали мнѣ отвѣта на мой вопросъ: хотите ли вы, по примѣру прошлаго года, составить обзоръ литературной дѣятельности за 1847 годъ по части русской исторіи? Знаю, какъ скучно писать нѣсколько разъ объ одномъ и томъ же, а потому и не настаиваю. Но, вѣдь, это можно сдѣлать покороче, лишь бы видно было, что говорить человѣкъ, знакомый съ дѣломъ. Какъ вы думаете? Если согласитесь, то не откладывайте вдаль, и во всякомъ случаѣ, не замедлите прислать мнѣ ваше да или нѣтъ. Милютина зовутъ Владиміромъ Александровичемъ. Его адресъ: на Владимірской, въ домѣ Фридриха, квартира № 54.

Насчетъ вашего зловерднаго и опаснаго для „Современника“ участія въ „Отечественныхъ Запискахъ“ отвѣчу всѣмъ вамъ заразъ. Я очень жалѣю, что потерять напрасно трудъ и время на длинное письмо къ Боткину и безъ пользы оскорбилъ людей, которыхъ люблю и уважаю. Дѣло вотъ въ чемъ: вы обѣщали статьи Краевскому, потому что, во-1-хъ, не видѣли въ этомъ вреда для „Современника“, во-2-хъ, потому что два журнала съ одинаково-хорошимъ направленіемъ лучше одного. Это ваше мнѣніе, и вы совершенно правы. Что касается насъ, мы думаемъ иначе. По нашему убѣжденію, журналъ, издаваемый (Краевскимъ), не можетъ имѣть никакого направленія, ни хорошаго, ни дурнаго; а если „Отечественныя Записки“ доселѣ имѣютъ направленіе, и еще хорошее, это потому, что онѣ еще не успѣли протѣсть отъ жаркой точки, вы знаете кѣмъ сдѣланной, а потомъ еще отъ разныхъ случайностей, изъ которыхъ главная—участіе Дудышкина. Но уже, несмотря на то, противорѣчій, путаницы, промаховъ—довольно; погодите немного—то ли еще будетъ, несмотря на ваше участіе. Вспомните мое слово, если въ будущемъ году не появится тамъ такихъ статей и мнѣній, которыя лучше всѣхъ моихъ доводовъ охладятъ ваше участіе къ этому журналу. Далѣе, мы убѣждены, что у насъ два журнала съ одинаковымъ направленіемъ существовать не могутъ: одинъ долженъ жить на счетъ другого или оба чухнутъ. Если, несмотря на вашу помощь „Отечественнымъ Запискамъ“, подписка на „Современникъ“ окажется хорошею, это будетъ несомнѣннымъ признакомъ паденія „Отечественныхъ Записокъ“. Но мы, благодаря вамъ, ожидаемъ противнаго. Тогда я въ особенности буду имѣть причины быть вамъ благодарнымъ. Вотъ наше мнѣніе. Вы стоите на своемъ, мы—на своемъ. Ссориться, стало быть, не изъ чего. Пиша мое письмо, я ожидалъ отъ васъ всякаго отвѣта, кромѣ того, какой вы дали. Если бы я это предвидѣлъ, вмѣсто яростнаго и длиннаго письма, написалъ бы вамъ три-четыре спокойныхъ строки. И потому я беру назадъ мое письмо и раскаиваясь передъ вами въ его написаніи.

Что же касается статьи Аенасьева вы, милый мой Кавелинъ, вовсе не такъ, какъ бы сдѣлало, меня поняли. Это мѣсто моего пись-

ма, взятое отдѣльно, дѣйствительно для васъ оскорбительно, а мнѣ мало дѣлаетъ чести. Если вы взглянете на него съ главной точки зрѣнія *всего письма*, вы увидите, что тутъ для васъ ничего нѣтъ обиднаго. Исключительное участіе москвичей въ „Современникъ“ мы понимали какъ главную силу нашего журнала, и основываясь на ней, начали дѣйствовать широко и размашисто, въ надеждѣ будущихъ благъ. Оттого первый годъ принесъ убытокъ. Знай мы заранѣе, что вы поддержите Краевского въ тяжелую для насъ годину, мы повели бы дѣло иначе, поскромнѣе, т.-е. платили бы хорошія деньги только немногимъ, а всѣмъ остальнымъ поумѣреннѣе: тогда расходъ не превзошелъ бы прихода. Я совершенно согласенъ съ вами насчетъ достоинствъ статьи Аенасьева, но болѣе какъ статьи ученой, нежели журнальной. Считаю васъ исключительно нашими сотрудниками, мы и не думали видѣть въ 150 р. за листъ непомѣрно большой цѣны за эту статью; но теперь—другое дѣло: теперь мы имѣемъ причины горько жалѣть и о томъ, что, вмѣсто обѣщанныхъ 250 листовъ, дали 400, а, вѣдь, это сдѣлано не по вашему же совѣту. Поняли ли вы теперь смыслъ моихъ словъ по поводу статьи Аенасьева? Если нѣтъ, то вашу руку, извините меня, и забудемъ объ этомъ такъ, какъ будто бы я вовсе не писалъ, а вы не читали моего письма.

Что касается статей Фролова, еще прежде этой исторіи, лишь только я пріѣхалъ и узналъ о его безконечномъ Гумбольдтѣ, какъ содрогнулся и сказалъ Некрасову: это зятѣмъ вы печатаете?—„Да что жъ такое, онъ хорошъ съ Грановскимъ, почему жъ не печатать?“—отвѣчалъ мнѣ Некрасовъ. Фроловъ человѣкъ умный, но умъ его пораженъ хроническою болѣзью—не то насморкомъ, не то запоромъ. Такие сотрудники—гибель для журнала. Но я, все-таки, не понимаю, чѣмъ я обидѣлъ Грановскаго, сказавши, что, изъ желанія сдѣлать ему пріятное, мы сдѣлали то, чтобы онъ на насъ вовсе не надѣялся, если бы мы этого не сдѣлали, тѣмъ болѣе, что онъ насъ и не просилъ объ этомъ. Впрочемъ, чортъ знаетъ, можетъ быть, я какъ-нибудь неуклюже выразился; въ такомъ случаѣ, опять прошу извинить меня и дружески забыть все это.

Къ В. П. Боткину я не пишу по причинѣ слуховъ о его скоромъ прибытіи въ Петербургъ: боюсь, что мое письмо его не застанетъ въ Москвѣ.

Вамъ, милый мой юноша, понравилось то, что Самаринъ говоритъ о народѣ: перечтите-ка да переведите эти фразы на простыя понятія, такъ и увидите, что это цѣликомъ взятая у французскихъ социалистовъ и плохо понятая понятія о народѣ, абстрактно примѣненные къ нашему народу. Если бы объ этомъ можно было писать, не рискуя впасть въ тонъ доноса, я бы потѣшился надъ нимъ за эту страницу. Повѣсть „Антопъ“—прекрасна, хотя и не божественна, какъ вы говорите. Читать ее—пытка: точно присутствуешь при экзекуціи.

Позвольте побранить васъ за неаккуратность. Вашею статьей (второю) о книгѣ Соловьева вы поставили насъ въ затруднительное положеніе: 12 № долженъ раздуться чудовищно. Если бы вы недѣлями двумя раньше уфѣдомили, что пришлете такую-то статью такого-то (приблизительно) размѣра, тогда изъ отдѣла „Словесности“ была бы выкинута комедія. Охъ, вы, москвичи, вѣчно полѣнитесь во-время сказать нужное слово!

Тютчевъ вамъ кланяется, а я крѣпко жму руку и остаюсь вашимъ

В. Бѣлинскимъ.

1847.

Къ И. С. Тургеневу.

Спб., 19 февраля (3 марта) 1847 г.

...Когда вы собирались въ путь, я зналъ напередъ, чего лишась въ васъ—но когда вы уѣхали, я увидѣлъ, что потерялъ въ васъ больше, нежели думалъ... Послѣ васъ я отдался скукѣ съ какимъ-то апатическимъ самоотверженіемъ и скучалъ, какъ никогда въ жизни не скучалъ. Ложусь въ 11, иногда даже въ 10 часовъ, засыпаю до 12, встаю въ 7, 8 или около 9—и цѣлый день—особенно цѣлый вечеръ—(съ послѣ обѣда)—дремлю—вотъ жизнь моя!

...\*\*получилъ отъ К—ра ругательное письмо, но не показалъ\*\*. Послѣдній ничего не знаетъ, но догадывается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объясненіи со мною, онъ былъ нехорошъ; капталъ, заикался, говорилъ, что на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы, соглашается никакъ не можетъ, по причинамъ, которыя сейчасъ же объяснить, и по причинамъ, которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отвѣчалъ, что ~~я~~ хочу знать никакихъ причинъ—и сказалъ мои условия. Онъ повеселѣлъ, и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки—видно, что доволенъ мною вполне! По тону моего письма вы можете ясно видѣть, что я не въ бѣшенствѣ и не въ *преувеличеніи*. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него, а не за себя. Мнѣ трудно *переболѣть* внутреннимъ разрывомъ съ человѣкомъ—а потомъ ничего. Природа мало дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть человѣка за разность убѣжденій или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко цѣню\*\*\*; и тѣмъ не менѣе онъ въ моихъ глазахъ—человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ—а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ.

...Скажу какъ новость: я, можетъ быть, буду въ Силезіи. Б. достаетъ мнѣ 2500 руб. асс. Я—было начисто отказался—ибо съ чѣмъ же я бы оставилъ семейство—а просить, чтобъ мнѣ выдавали жалованье за время отсутствія—мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненій съ \*\*\* я подумалъ, что переменить глупо... Онъ былъ очень радъ, онъ готовъ былъ сдѣлать все, только бы я... Я написалъ къ Б., и теперь отвѣтъ его рѣшить дѣло.

Вашъ „Каратаевъ“ хорошъ, хотя и далеко ниже „Хора и Калиныча“...

...Мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало—и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы „Ермолай и Мельничка“—не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслию. А въ „Бреттеръ“—я увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но

не опираться только на фантазію... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се; не то чтобъ не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредить тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе—лучшаго не придумалось). А „Хоръ“ общается въ васъ замѣчательнаго писателя—въ будущемъ.

...Гоголь сильно покаранъ общественнымъ мнѣніемъ и разруганъ во всѣхъ журналахъ; даже друзья его, московскіе славянофилы—и тѣ отступились, если не отъ него, то отъ гнусной его книги“...

Жена моя и всѣ мои домашніе, не исключая вашего крестника—клаваются вамъ...

Къ В. П. Анненкову.

С. Петербургъ. 15—27-го февраля 1848 г.

Дражайшій Павелъ Васильевичъ! Случайно узналъ я, что вашъ отъѣздъ изъ Парижа въ февралѣ отложился еще на два мѣсяца, но это еще не заставило бы меня приняться за перо чужою рукою, если бъ не представился случай пустить это письмо помимо русской почты. Я, батюшка, боленъ, боленъ уже шестую недѣлю; привязался ко мнѣ проклятый гриппъ, мучитъ сухой и нервическій кашель, по поверхности гѣла пробѣгаетъ ознобъ, а голова и лицо въ огнѣ; истощеніе силь страшное; еле двигаюсь по комнатѣ; 2-я номеръ „Современника“ вышелъ безъ моей статьи, теперь диктую ее черезъ силу для 3-го; вытерпѣлъ двѣ мушки, а сколько переѣлъ разныхъ аптечныхъ гадостей—страшно сказать, а все толку нѣтъ до сихъ поръ; вотъ уже недѣли двѣ, какъ не ѣмъ ничего мясного, а ко всему другому потерялъ всякій аппетитъ. Къ довершенію всего, выѣзжаю пользоваться воздухомъ въ намордникъ, который выдумалъ на мое горе какой-то чортъ англичанинъ,—чтобъ ему подавить кускомъ ростбифу! Это для того, чтобъ на холодѣ дышать теплымъ воздухомъ черезъ машинку, сдѣланную изъ золотой проволоки, а стоитъ эта вещь 25 серебромъ. Человѣкъ богатый я—изволите видѣть—и дышу черезъ золото, и только попрежнему въ карманахъ не нахожу его. Легка же мои, по увѣренію доктора, да и по собственному моему чувству, въ лучшемъ состояніи, нежели какъ были назадъ тому три года. Насчетъ гриппа Тильманнъ утѣшаетъ меня тѣмъ, что теперь въ Петербургѣ тяжелое время для всѣхъ слабогрудыхъ, и что я еще не изъ самыхъ страждущихъ; но это меня мало утѣшаетъ.

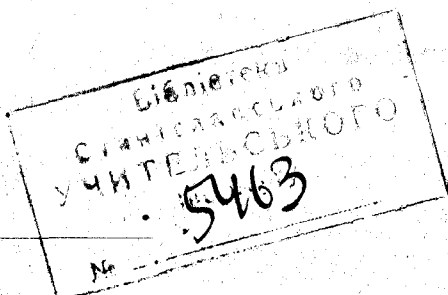
Поговоривши съ вами о моей драгоценной особѣ, но не иначе какъ съ тѣмъ, чтобъ опять возвратиться къ моей драгоценной особѣ. Читалъ я вашу повѣсть и скажу вамъ о ней мое мнѣніе съ подобающею въ такомъ важномъ случаѣ откровенностью. Вы сами вѣрно оцѣнили себя, сказавши, что вы—не поэтъ, а обыкновенный рассказчикъ; я прибавлю къ этому отъ себя, что между обыкновенными рассказчиками вы необыкновенный рассказчикъ. Не то, чтобъ у васъ было мало таланта, чтобъ быть поэтомъ, а родъ вашего таланта не такой, какой нуженъ поэту; для рассказчика же у васъ гораздо больше таланта, чѣмъ сколько нужно; но я отдамъ вамъ отчетъ въ порядкѣ въ моихъ впечатлѣніяхъ въ продолженіе чтенія вашей повести. Вступленіе мнѣ не понравилось. Толкуете вы на двухъ или болѣе страницахъ, что оба

приятеля, несмотря на всю разницу ихъ характеровъ, ничѣмъ не разнились между собою. Я это понималъ (не безъ труда и погу) такъ, что оба они были дрянъ. Если вы хотѣли сказать это, мнѣ кажется, вы могли бы сказать и короче, и простѣе, и прямѣе. а то перехитрили, повели дѣло черезчуръ тонко, а гдѣ тонко, тамъ и рвется. Но все это не важно; по праву дружбы мы сами сократили и перемѣнили бы это мѣсто: вѣдь дружба на то и создана, чтобъ друзья при всякой возможности гадали своими друзьямъ, особенно за глаза, когда тѣ далеко. Сильно заинтересовала меня ваша повѣсть съ того мѣста, гдѣ герой утѣшаетъ горемычную вдову Прѣснову; письмо къ нему армейскаго его приятеля привело меня въ восторгъ; встрѣча его со вдовой, пьяный извозчикъ, урезонившійся оплеухами, пребывание друзей на дачѣ у вдовы, сама вдова, ея тетки, ея гости, наконецъ, прогулка верхами сперва на двухъ лошадахъ, а потомъ на одной, ночное объясненіе друзей, все это прекрасно и превосходно; но конецъ повѣсти ни къ чорту не годится. Рассказъ армейскаго друга о его изгнаніи изъ деревни дѣлаетъ вдову совершенно непонятною, и слова обоихъ приятелей: „она погибнетъ“, слова, которыя должны намекать на смыслъ всей повѣсти и быть ея заключительнымъ аккордомъ, ничего не объясняютъ и ничего не заключаютъ, и аккордъ дребезжитъ такими неладными звуками, какъ будто въ его не написали, а пропѣли, да еще вмѣстѣ съ Тургеневымъ — что еще сквернѣе, нежели когда каждый изъ васъ поетъ особо. Итакъ, конецъ повѣсти — пшикъ. Какъ хотите, а по моему мнѣнію, въ такомъ видѣ печатать ее не представляется никакой возможности. Чѣмъ выше будетъ удовольствіе читателей при чтеніи ея, тѣмъ болѣе они будутъ оскорблены ея неожиданно валымъ и совершенно непонятнымъ концомъ. Мнѣ кажется, вы тутъ опять перетонили. Воля ваша, конецъ вы должны передѣлать, потому что жалъ бросать такую прекрасную вещь. Но вѣдь у васъ, я думаю, не осталось черновой! Такъ напишите намъ, прислать что ли вамъ назадъ. Бога ради не бросайте этой вещи: она такъ хороша; изъ нея видно, что вы во всемъ успѣваете и вамъ все дано, кромѣ пѣнія и каламбуровъ, отъ которыхъ снова дружески прошу васъ воздержаться. Съ чего вы это, батюшка, такъ превознесли „Лебедянь“ Тургенева? Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ рассказовъ его, а послѣ вашихъ похвалъ онъ мнѣ показался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него ни единого слова, потому что рѣшительно нечего вычеркивать. „Машиновая вода“ мнѣ не очень понравилась, потому что я рѣшительно не понималъ Степушки. Въ „Увѣдомъ лѣкаръ“ я не понималъ ни единого слова, и потому ничего не скажу о немъ; а вотъ моя жена такъ въ восторгѣ отъ него: бабѣ дѣло! Да вѣдь и Иванъ-то Сергѣевичъ — бабѣ порядочное! Во всѣхъ остальныхъ рассказахъ много хорошаго, мѣстами даже очень хорошаго, но вообще они мнѣ показались слабѣе прежнихъ. Больше другихъ мнѣ понравились „Бирюкъ“ и „Смерть“. Богатая вещь — фигура Татьяна Борисовны, недурна старшая дѣвица, но племянникъ мнѣ крайне не понравился, какъ списокъ съ Андрюши и Кирыши, на нихъ не похожій. Да воздержите вы этого милаго младенца отъ звуко-подражательной поэзи: „Рракалонъ! Че-о-экъ!“ Пока это ничего, да я боюсь, чтобъ онъ не пересолилъ, какъ онъ пересаливаетъ въ употребленіи словъ

орловскаго языка, даже отъ себя употребляя слово: *зеленя*, которое такъ же безсмысленно, какъ *мяся* и *хлѣбна* вмѣсто мяса и хлѣба. А какую Дружининъ написалъ повѣсть новую — чудо! Тридцать лѣтъ разницы отъ „Полиньки Саксъ“! Онъ для женщинъ будетъ то же, что Герценъ для мужчинъ. „Сорока-воровка“ напечатана и прошла съ небольшими измѣненіями; несмотря на нихъ, мысль ярко показывается. Я и забылъ, было, сказать, что вашу повѣсть прежде меня читалъ Боткинъ, и мы совершенно сошлись съ нимъ во мнѣніи о ней. Последніе рассказы Тургенева всѣ безъ исключенія очень нравятся Боткину и всѣмъ нашимъ друзьямъ, публикѣ тоже. „Сорока-воровка“ имѣла большой успѣхъ. Но повѣсть Дружинина не для всѣхъ писана, такъ же какъ и „Записки Крупнова“. Не знаю, писалъ ли я вамъ, что Достоевскій написалъ повѣсть „Хозяйка“ — ерунда страшная! Въ ней онъ хотѣлъ помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного Гоголя. Онъ и еще кое-что написалъ послѣ того, но каждое его новое произведеніе — новое паденіе. Въ провинціи его терпѣть не могутъ, въ столицѣ отзываются враждебно даже о „Бѣлыхъ людяхъ“. Я трепещу при мысли перечитать ихъ, — такъ легко читаются они! Надулись же мы, другъ мой, съ Достоевскимъ-гениемъ! О Тургеневѣ не говорю: онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнѣ, старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать. Я, первый критикъ, разыгралъ тутъ осла въ квадратѣ. Читаю теперь романъ Гольтера и ежеминутно мысленно плюю на дураку, ослу и сколу Луи-Блану. Изъ Руссо я только читалъ его „Исповѣдь“, и судя по ней, да и по причинѣ религіознаго обожанія ослѣвъ, возымѣлъ сильное омерзеніе къ этому господину. Онъ такъ похожъ на Достоевскаго, который убѣжденъ глубоко, что все челоѣчество завидуетъ ему и преслѣдуетъ его. Жизнь Руссо была мерзка, безнравственна. Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатія ко всему челоѣческому, разумному, къ бѣдствіямъ простаго народа! Что онъ сдѣлалъ для челоѣчества! Правда, онъ иногда называлъ народъ vile roué, но за то, что народъ невѣжественъ, суевѣренъ, изувѣръ, кровожаденъ, любить пытки и казни. Кстати: мой вѣрующей другъ и наши славянофилы сильно помогли мнѣ сбросить съ себя мистическое вѣрованіе въ народъ. Гдѣ и когда народъ освободилъ себя? Всегда и все дѣлалось черезъ личности. Когда я въ спорахъ съ вами о буржуазіи называлъ васъ консерваторомъ, я былъ оселъ въ квадратѣ, а вы были умный челоѣвъкъ. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазіи, всякій прогрессъ зависитъ отъ ней одной, а народъ тутъ можетъ по временамъ играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моемъ вѣрующемъ другѣ сказалъ, что для Россіи теперь нуженъ новый Петръ Великій, онъ напалъ на мою мысль, какъ на ересь, говоря, что самъ народъ долженъ все для себя сдѣлать. Что за наивная, аркадская мысль! Послѣ этого отчего же не предположить, что живущіе въ русскихъ лѣсахъ волки соединятся въ благоустроенное государство, заведутъ у себя сперва абсолютную монархію, потомъ конституціонную и, наконецъ, перейдутъ въ республику. Пій IX въ два года доказалъ, что значить великій челоѣвъкъ для своей земли. Мой вѣрующей другъ доказывалъ мнѣ еще, что избави-де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнется не прежде, какъ съ той минуты,

когда русское дворянство обратится въ буржуазію. Польша лучше всего доказала, какъ крѣпко государство, лишенное буржуазіи съ правами. Странный я человекъ! Когда въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелѣпость, здравомыслящимъ людямъ рѣдко удается выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мнѣ непременно нужно сойтись съ мистиками, пѣтистами и фантазерами, помѣшанными на той же мысли,—тутъ я и назадъ. Вѣрующій другъ и славянофилы наши оказали мнѣ большую услугу. Не удивляйтесь сближенію: лучшіе изъ славянофиловъ смотрятъ на народъ совершенно такъ, какъ мой вѣрующій другъ; они высосали эти понятія изъ социалистовъ и въ статьяхъ своихъ цитуютъ Жоржа Занда и Луи Блана. Но довольно объ этомъ.

Дѣло объ освобожденіи крестьянъ идетъ, а впередъ не подвигается. На-дняхъ прошелъ въ государственномъ совѣтѣ законъ, позволяющій крѣпостному крестьянину имѣть собственность съ позволенія своего помѣщика. Черезъ годъ снимутся таможи на русско-польской границѣ. Передѣлывается, говорятъ, тарифъ вообще. Когда будете писать Герцену, крѣпко кланяйтесь отъ меня Натальѣ Александровнѣ и Марьѣ Теодоровнѣ. Тургенева обнимаю и мыслью, и руками. Слышалъ я, дѣла его плохи, и живетъ онъ чортъ знаетъ гдѣ и чортъ знаетъ зачѣмъ, и по всему этому и представляется мнѣ какимъ-то миеомъ. Усталъ диктовать, а потому и говорю вамъ: прощайте, мой благоутробный и не мистически, а рационально обожаемый другъ мой Павелъ Васильевичъ!





# Оглавление IV-го тома.

## I. Критическія статьи.

СТР.

	СТР.
Тарантасъ. Путевыя впечатлѣнія. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. С. Пет. 1845.	5
Опытъ исторіи русской литературы. Сочиненіе э.-о. профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, доктора фило-софіи А. Никитенко. Книга первая. Вве-деніе. Спб. 1845.	51
Князь Антиохъ Дмитріевичъ Кантемиръ . . . . .	67
Петербургъ и Москва . . . . .	87
Голосъ въ защиту отъ „Голоса въ защиту русскаго языка“ . . . . .	121
Петербургскій сборникъ, изданный Н. Некра-совымъ. Спб. 1846 . . . . .	127
Мысли и замѣтки о русской литературѣ. . . . .	157
Николай Алексѣевичъ Полевой . . . . .	189
Алексій Васильевичъ Кольцовъ . . . . .	219
✓ Взглядъ на русскую литературу 1846 года . . . . .	267
Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзь-ями Николая Гоголя. Спб. 1847. . . . .	315
Отвѣтъ „Москвитяину.“ . . . . .	335
✓ Взглядъ на русскую литературу 1847 г. . . . .	389

## II. Библиографія.

Басни И. А. Крылова. Въ десяти книгахъ Спб. 1844. . . . .	477
Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова. Изданіе третье. Спб. 1843. Дѣя части . . . . .	478
Объ историческомъ значеніи русской народ-ной поэзіи. Николая Костомарова. Пи-сано для полученія степени магистра историческихъ наукъ. Харьковъ. 1844. . . . .	480
Стихотворенія М. Лермонтова: Часть IV. Спб. 1844. . . . .	481
Стихотворенія В. Жуковскаго. Томъ девятый. Спб. 1844. . . . .	484
Исторія Наполеона. Соч. Николая Полевого. Томъ первый. Спб. 1844. . . . .	492
Руководство къ познанію теоретической мате-ріальной философіи. Сочиненіе Александра Петровича Татаринова. Спб. 1844. . . . .	493
Разговоръ. Стихотвореніе Ив. Тургенева. (Т. II.) Спб. 1845 г. . . . .	495
Прокопій Ляпуновъ, или междоусловіе въ Рос-си, продолженіе „Князя Скопина Шуй-скаго“. Сочиненіе того же автора. Спб. 1845. Четыре части. . . . .	496
Метеоръ, на 1845 годъ. Спб. . . . .	499
Стихотворенія Петра Штавера. Спб. 1845. . . . .	501
Грамматическія разысканія. В. А. Васильева. 1) О буквѣ ё. 2) Объ образованіи именъ уменьшительныхъ рода мужскаго и жен-скаго. Спб. 1845. . . . .	509
Сочиненія Державина. Біографія писана Н. А. Полевымъ. Изданіе Д. П. Штуккина. Спб. 1845. . . . .	523
Столѣтіе Россіи съ 1745 до 1845 г., или исто-рическая картина достопамятныхъ со-бытій въ Россіи за сто лѣтъ. Сентября 5-го 1845, въ день столѣтняго юбилея, совершившагося со дня рожденія князя Голенничева-Кутузова - Смоленскаго. Со-чиненіе Николая Полевого. Часть I-я. 1845. . . . .	535
По поводу дѣтскихъ книгъ . . . . .	540
Стихотворенія Аполлона Григорьева. Спб. 1846.	
Стихотворенія 1845 года, Я. П. Полонскаго. Одесса. 1846. . . . .	542
Тереза Дюнойе. Романъ Евгенія Сю. Пере-водъ В. М. Строева. Спб. 1847. Четыре части.	
Матильда, записки молодой женщины. Сочине-ніе Евгенія Сю, автора Парижскихъ Тайнъ и Вѣчнаго жиды. Пере-водъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный В. Строевымъ. Спб. 1846—1847. Тринадцать частей.	
Сынъ тайны (Le Fils du Diable). Романъ	

СТР.

СТР.

<i>Поля Феваля. Спб. 1847. Два тома, восемь частей.</i>	<b>Нѣсколько словъ о чтеніи романовъ. Спб. 1847.</b> . . . . .	584
<b>Иезуитъ. Характеристическая картина изъ (?) первой четверти восемнадцатаго столѣтія. Соч. К. Шпидлера. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. 1847. Три части . . .</b>		550
<b>Бѣдные люди. Романъ Федора Достоевскаго. Спб. 1847.</b> . . . . .		570
<b>Китай въ гражданскомъ и нравственномъ отношеніи. Сочиненіе монаха Такина. Въ четырехъ частяхъ. Съ рисунками. Спб. 1848.</b> . . . . .		572
<b>Сельское Чтеніе, издаваемое княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и А. П. Заблоцкимъ. Книжка четвертая. Спб. 1848.</b> . . . . .		577
	<b>III. Т е а т р ъ.</b>	
	<b>Павелъ Степановичъ Мочаловъ.</b> . . . . .	589
	<b>IV. Приложеніе.</b>	
	<b>Избранныя письма Бялинскаго</b> . . . . .	593

НБ ПНУС



5463